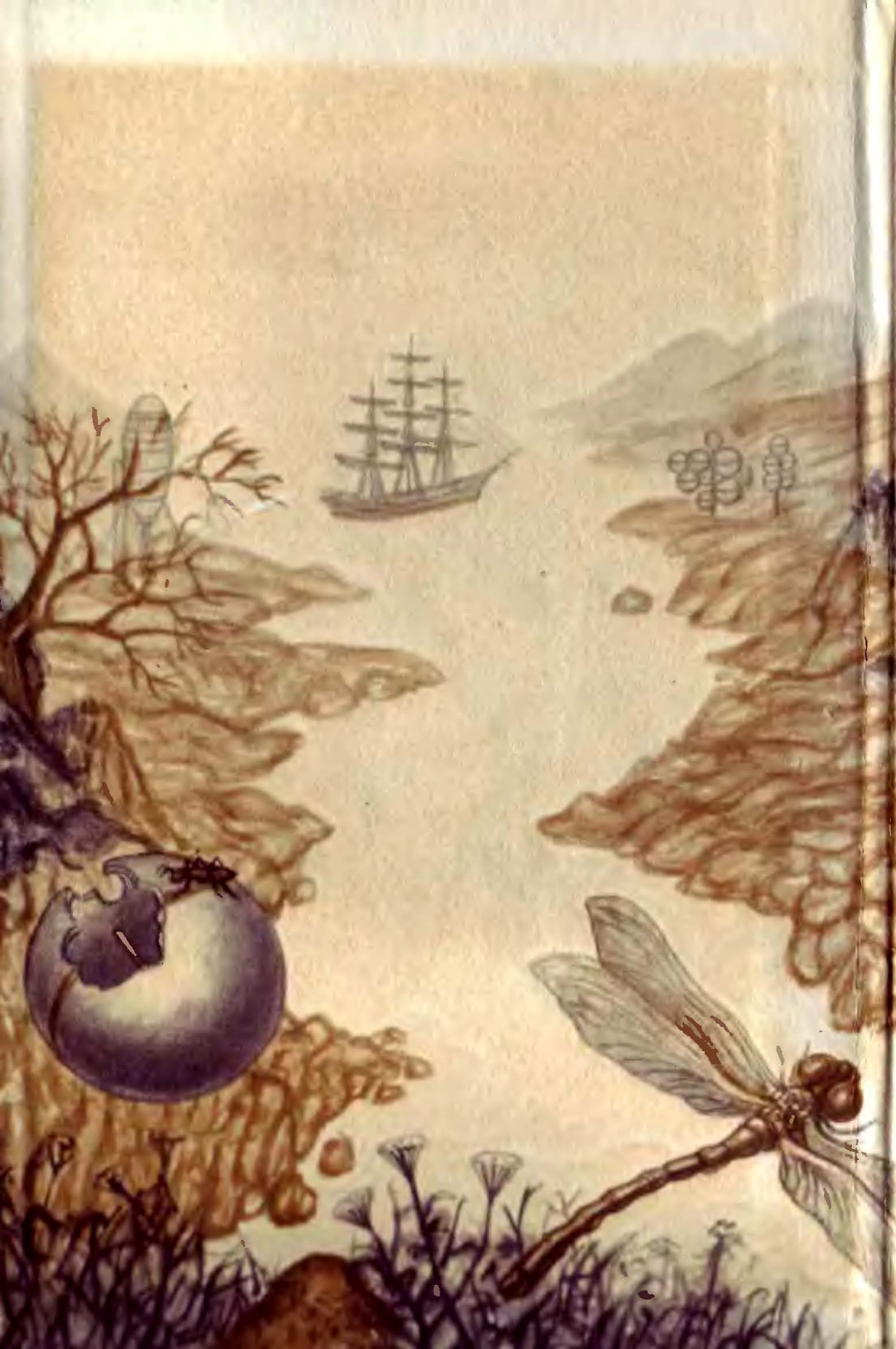
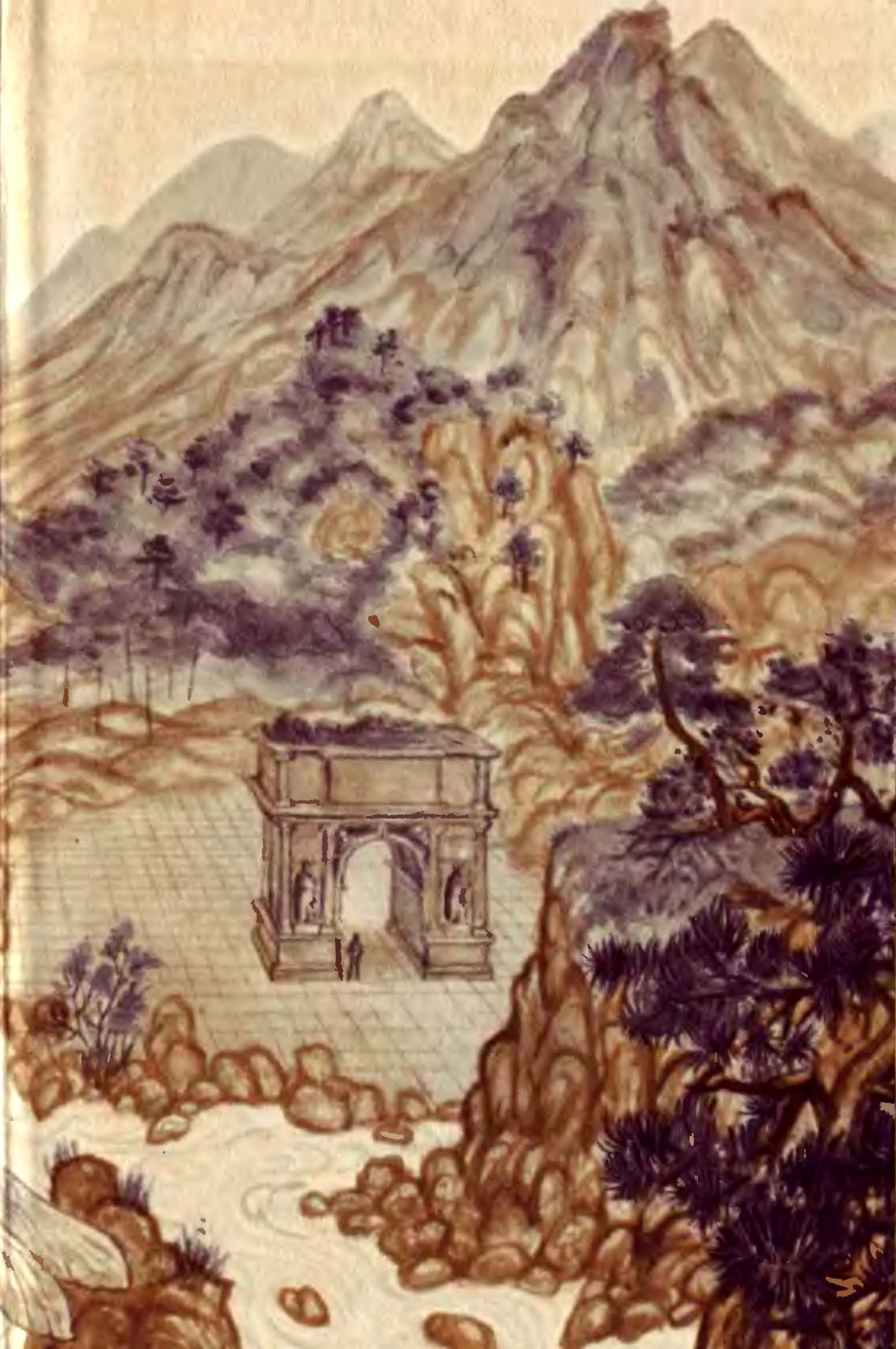


МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ



Издательство
«Детская литература»





МИР
ПРИКЛЮЧЕНИЙ



МОСКВА
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1973

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н.М. БЕРКОВА
А.Г. ГРОМОВА
А.П. КАЗАНЦЕВ
М.М. КАЛАКУЦКАЯ
Л.Д. ПЛАТОВ
Е.С. РЫСС
А.Н. СТРУТАЦКИЙ
Н.В. ТОМАН





мир приключений

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1973

С61
М63

Художник В. Сальников

М $\frac{0763-254}{101(03)73}$ 576—73



Болдырев В.

В ТИСКАХ

Приключенческая повесть

В издательстве «Детская литература» выходила повесть В. Болдырева «Гибель Синего орла». Дальний Север в годы Великой Отечественной войны. В поисках новых пастбищ молодые специалисты и пастухи Нижне-Колымского совхоза с оленьими стадами пробиваются сквозь дебри Омогонской тайги. Они открывают в горной тайге «пастбищное Эльдorado» и основывают новый оленеводческий совхоз.

Чукотский юноша Пинэтаун находит в Синем хребте свою невесту, анаульскую девушку Нангу. Вадим — руководитель похода — встречает на Омогоне дочь польских революционеров Марию. Они полюбили друг друга,

но жизнь разлучила их: Мария с родителями уезжает в Польшу и Вадим теряет ее след...

В романтической повести «Геутваль», над которой сейчас работает В. Болдырев, рассказывается о дальнейшей судьбе знакомых читателю героев. «В тисках» — первая часть этой книги.

ГЕУТВАЛЬ

Морозная мгла застлала глубокую белую долину. Воспаленными глазами я искал внизу желанное стойбище, но увя: ничто не оживляло нетронутой белизны. Над холодной, пустой долиной возносились снежные громады. Нестерпимой стужей веяло с мертвых, обледенелых вершин.

Неужели в этой замерзшей стране нет жизни и схватка с северной пустыней проиграна?

Вчера я раздал собакам последние порции корма. Только что проскочил узкую трубу Голубого перевала.

В пятидесятиградусный мороз нелегко было пролезть с голодными псами сквозь эту обмерзшую щель. Не стихая, дул дьявольский ветер, сбивая с ног собак, обжигая лицо, пронзая меха точно шилом. Кухлянку и капюшон заковало ледяной коркой, ресницы смерзлись, я ооченел и потерял надежду выбраться из ледяной ловушки.

Лишь на спуске к Анадырю пришел в себя. Собаки, спасаясь от смертельного холода, прорвались сквозь ущелье и неслись сломя голову вниз по белому желобу. Мы перевалили главный водораздел и очутились в самом сердце Анадырского края, там, где начинаются истоки Анадыря.

Нарта скользила все быстрее и быстрее, проваливаясь в туманную пропасть. Неожиданно впереди на снегу зазмеились голубоватые борозды. Они спускались по склону на дно перевальной ложбины и уходили куда-то вниз, в снежную муть распадка.

Лыжный след?!

Я забыл о морозе и ветре. Неужели цель дальнего похода близка и след приведет к людям — в неведомые долины? Двадцать лет назад сюда ушли с оленями последние крупные оленеводы Чукотки.

Что случилось с беглецами? Удастся ли раздобыть у них олений для Великого кольца совхозов?

Почувя человека, собаки ринулись по лыжне, повизгивая от возбуждения. След оставили широкие охотничьи лыжи. Слишком поздно я заметил грозящую опасность. Освирепевшие псы могли настигнуть охотника, идущего впереди, и растерзать его...

Стальное лезвие остола¹, вонзаясь в наст, взметало облако снежной пыли. Однако нарта, разогнавшись с перевала, продолжала скользить с прежней скоростью, и затормозить ее на крутом спуске было невозможно.

Я увидел внизу черную точку, двигавшуюся по дну узкой белой ложбины.

Человек!

Собаки, заметив путника, навалились с хриплым воем на постромки. Изголодавшиеся псы точно взбесились. Что тут было делать? На снегу отчетливо чернела прямая фигурка лыжника. Он спускался, не замечая надвигающейся опасности. Я заорал что есть мочи, но крик потонул в густом морозном воздухе. Человек скользил на лыжах, не оборачиваясь. На темном меху кухлянки поблескивала винтовка, белел убитый песок, перекинутый через плечо.

Вздыбив шерсть на загривках, оскалив волчьи клыки, захлебываясь от сдавленного воя, собаки настигали охотника. Ничто не могло их остановить. Я различал уже опушку меховой кухлянки, хвостики крашеного меха на рукавах, узорчатые торбаса. Меня чем-то поразила тонкая, гибкая фигура охотника.

И вдруг человек в мехах обернулся, круто затормозил, желая, видимо, убраться с дороги. Но спастись в тесной ложбине было негде. Быстрым движением он сорвал винчестер, откинул малахай...

Черные косы упали на плечи, обвивая смуглое лицо с огромными темными глазами.

Девчонка?!

Она замерла, пораженная внезапным видением, готовая дать отпор разъяренной упряжке.

Смутно помню, что случилось потом. Гаркнув команду передовику, я вцепился в дугу и опрокинул тяжелую нарту. Все смешалось в дикий клубок. Перевертываясь на крутом спуске комом, нарта врезалась в кучу воющих собак, постромки перепутались. Кувырком мы скатывались по снежному склону. Сознание отлетело, я не чувствовал толчков и ударов. Казалось, что качусь с большой мягкой горы и разглядываю себя откуда-то издали, с непомерной высоты.

Очнулся на снегу около перевернутой нарты. Где-то рядом скулили собаки. Кружилась голова, сопки плыли каруселью. Не хотелось шевелиться. Сквозь розовую пелену я видел чьи-то черные глаза, полные участия и тревоги.

Пелена пропала, сопки остановились. Из тумана выплыло девичье лицо, золотистое от полярного загара. Приподнявшись на локтях, я молчаливо разглядывал охотницу. Это была

¹ Остол — тормоз с острием.

совсем еще юная чукчанка. Опустившись на колени, стискивая крепкими смуглыми пальцами потертый меховой капор, юная дикарка с острым любопытством рассматривала неожиданного гостя.

На снегу у широких лыж, подбитых камусами, лежал пушистый песок с простреленным глазом. Только меткий стрелок мог сразить в глаз пугливого зверя. У чукчей женщины не охотятся. Откуда принесло охотницу в эту дикую долину?

Весь я был в снегу, потерял шапку. Уши и лицо стыли на крепком морозе. Перевернув на полном ходу нарту, удалось сбить собак, и девушка осталась невредимой.

— Как тебя зовут?— спросил я.

В глазах незнакомки мелькнули и погасли искорки. Не отвечая, она с любопытством смотрела на меня своими темными удлиненными глазами.

После разлуки с Марией я терпеть не мог девиц. Но что-то в этой девчонке привлекало. Может быть, прямой, ясный взгляд внимательных глаз, смотревших с искренним участием, или губы, словно вырезанные острым резцом, придававшие ее лицу выражение скрытой энергии.

— Кто ты?— повторил я по-чукотски.

— Геутваль...— едва слышно ответила она.

Облокотившись на нарту, стал растирать снегом онемевшие щеки и уши. Слабость уходила, возвращались силы. Руки и ноги были целы, спуск кувырком окончился благополучно.

— На, возьми...— прошептала Геутваль, протягивая свой малахай.

Понимал я ее с трудом — она говорила на каком-то незнакомом чукотском наречии. Быстрым движением девушка накинула меховой капор на мою взъерошенную голову, подхватила винчестер и, махнув рукавичкой, побежала вверх по склону. Ее маленькие торбаса с опушкой из меха росوماхи ловко ступали по развороченному насту. На мгновение девушка обернулась, на лице ее мелькнула улыбка: она отправилась искать потерянную шапку.

Ну и вспахали мы наст! Словно плуг прошелся вниз по ложбине. Опираясь на сани, я встал. Ноги едва держали, руки не слушались. Напрягая последние силы, разом перевернул нарту и принялся распутывать постромки — освобождать сбившихся в клубок собак. Наконец я распутал упряжь. Ездоки успокоились и легли, повизгивая зализывали ссадины и ушибы.

Скрип снега насторожил псов, они заворчали. Сверху сбегала Геутваль в моей оленьей шапке. Ее глаза блестели, лицо покраснелось, волосы и мех пыжика искрились инеем. Чем-то близким и родным повеяло от нее. Вот такой снегурочкой,

закутанной в побелевшие меха, впервые предстала передо мной Мария на далеком Омолоне.

Давно уехала она в Польшу, не писала и не отвечала на письма — видно, забыла. Только в романах описывают настоящую любовь, а в жизни все получается по-иному: женское сердце непостоянно, любовь женщины мимолетна и оставляет после себя лишь горечь...

Геутваль я встретил сумрачно. Молча мы обменялись шапками. Я положил ее лыжи и пса на сани, хорошенько притянул арканом и кивнул, приглашая садиться. Собаки рванули и понесли вниз. Нарту подбрасывало на заступгах¹, позади вихрем кружилась снежная пыль. Геутваль крепко уцепилась за мой пояс. Сквозь мех я почти ощущал тепло ее рук, и мне это было приятно. Я старался подавить непрошеное чувство.

Быстрее и быстрее катились мы вниз. Обледенные вершины поднимались выше и выше к белесому зимнему небу. Наконец собаки выбежали на дно широкой белой долины. Нарта с крошечными фигурками людей, вероятно, казалась здесь песчинкой, затерявшейся среди снежных великанов.

До сих пор во сне я вижу эту замерзшую, голую и печальную долину. Со всех сторон нас плотно обступали обледенные сопки. Ни кустика, ни деревца на утрамбованном ветрами снежном панцире. Лишь горбятся повсюду ребристые заступги.

— Где твое стойбище? — спросил я притихшую спутницу.

— Недолго ехать надо... — Голос ее почти терялся в хрустальном, замороженном воздухе.

— Кто живет там?

По-чукотски я говорил плоховато и старался подбирать самые простые слова.

— Отец, мать, Тынэтэгин, Ранавнаут еще... две яранги стоят...

— Охотники вы?

— Пастухи мы... Оленей Тальвавтына пасем.

— Тальвавтына?!

Я затормозил нарту и обернулся. Неужто нашел, что искал? Передо мной ютилась на санях пастушка Тальвавтына. Когда-то он согнул в бараний рог всю Чаунскую тундру. А в тридцатом году удрал со своими стадами в глубь Анадырских гор и не появлялся больше на побережье. Лишь смутные слухи ходили по тундре о многочисленных табунах его, бродивших где-то у истоков Анадыря. Собираясь в поход, я рассчитывал встретиться с ним в неприступных горах и купить у него оленей для новых совхозов Дальнего строительства.

¹ Заступги — плотные снежные гребни.

За Голубым перевалом, в двух переходах отсюда, пробирались по следу моей упряжки Костя и Илья. Они вели длинный караван оленьих нарт, груженных тюками обменных товаров: пестрым ситцем, бархатом, бисером, табаком, чаем, свинцом, порохом и разным скарбом для оленеводов.

Вез Костя на своей нарте и кожаный мешок, набитый деньгами, которые я получил два месяца назад разом, наличными, по чеку Дальнего строительства в Певеке. На силу денег мы особенно не надеялись и прихватили поэтому целую передвижную факторию. Ведь в глубине Анадырских гор, на последнем острове прошлого, деньги, вероятно, не имели цены...

Я спросил пастушку, далеко ли яранга Тальвавтына. Но она не ответила, мотнув лишь головой. Уж после я узнал, что Геутваль впервые видела русского человека и не решилась указать место, где жил некоронованный король Анадырских гор.

Нарта катилась по твердому скользкому насту, подпрыгивая на застругах. Нетерпеливо я оглядывал пустую, безлюдную долину. Куда запропастилось стойбище? Далеко же ушла Геутваль охотиться — ну и смелая девчонка! Собаки заводили черными носами — почуяли, видно, жилье.

И вдруг вдали, у подножия высокой двуглавой сопки, замаячили дымки. Двумя синеватыми столбиками они поднимались в морозном сумраке. Короткий зимний день окончился, небо потемнело, зажигались звезды. Долина погружалась в загадочный полумрак. Натягивая потяг¹, собаки ринулись к близкому стойбищу.

С волнением ждал я встречи с людьми, бежавшими от натиска времени. Как живут они тут, сохраняя законы старой тундры, оторванные от всего мира?!

Появление незнакомой упряжки встревожило стойбище. Из ближней яранги выскочили люди, закутанные в меха. Запах чужого стойбища подгонял упряжку. Ощетинившись, собаки зашелкали волчьими клыками. Пришлось затормозить нарту и поставить на прикол, не доезжая стойбища.

Геутваль соскользнула на снег и побежала к яранге. Взмывшие псы, натягивая потяг, рвались за ней. Я успокаивал их тумками. Наконец одичавшая свора уgomонилась и легла. Девушка, взмахивая малахаем, горячо говорила что-то людям у яранги, указывая на сопки, откуда мы спустились.

Не раз за долгий путь к Голубому перевалу мне представлялась первая встреча с отшельниками Анадырских гор. Мог ли я вообразить, что так просто все получится и нашей дружбе с кочевниками поможет маленькая охотница?!

Встретил меня коренастый старик в заплатанной кухлянке.

¹ Потяг — осевой ремень собачьей упряжки.

Красноватое скуластое лицо бороздили глубокие морщины, воспаленные веки шурились, лучики морщин расходились от глаз.

Едва слышно он произнес чукотское приветствие:

— Еtti — пришел ты?

— И-и... да... — ответил я. — Здравствуй, старина.

Старик поспешно пожал протянутую руку шершавыми, узловатыми пальцами. Было что-то приниженное в сгорбленной фигуре, робкое и заискивающее в еще живом взгляде. Вытащив трубку и кiset, я протянул ему табак. Пастух топорливо извлек костяную трубочку и дрожащими пальцами, не уронив ни пылинки, набил запальник. Звякнуло огниво, блеснули искорки — задымила трубка. Старик затаился, зажался.

— Ой... долго не курил, один мох остался... — прошептал он на странном чукотском наречии.

Это был отец Геутваль. Звали его Гырюлькай. Видно, Тальвавын не баловал своих пастухов.

Рядом, опершись на длиннотвольную бердану, стоял крепкий, широкоплечий юноша. Глубокий вырез кухлянки обнажал смуглую шею, выпуклую грудь. Старенькие меховые штаны и короткие чукотские плеки¹ ловко облегали длинные, как у лося, ноги. Молодой чукча был очень похож на Геутваль.

— Здравствуй, Тынетэгин...

Юноша с недоумением поглядывал на протянутую руку. Видно, ему впервые приходилось так здороваться. Но вот он решительно худощавой ладонью тронул кончики моих пальцев.

Геутваль, с интересом наблюдавшая всю сцену, откинула истертый рэтэм², приглашая в ярангу. Держалась она свободно и независимо.

Зимняя чукотская яранга — довольно странное сооружение. Круглый шатер из оленьих шкур натянут на шесты. Внутри подвешивается полог — небольшая меховая комната без окон и дверей. В яранге на деревянных клюшках висит закопченный котел — здесь варят пищу. Дым свободно поднимается к дымовому отверстию, где скрещиваются потемневшие от копоти шесты. Вся жизнь семьи зимой проходит в пологе.

Поманив рукой, Геутваль исчезла под шкурами. Отряхнув снег с камусов, сбросив кухлянку, я приподнял чаургин³ и очутился в тепле жилья впервые за многие недели странствования по снежной пустыне. Это было чертовски приятно!

¹ Плеки — короткие чукотские торбаса.

² Рэтэм — покрывало яранги.

³ Чаургин — меховая портьера полога.

Язычок пламени теплился в плошке старинного чукотского светильника. Вместо фитиля горел высушенный мох, пропитанный жиром. Полог устилали зимние олени шкуры, стены и потолок были сшиты из таких же мохнатых шкур. У низенького столика на корточках сидела старушка в стареньком керкере¹ и расставляла потрескавшиеся фарфоровые чашки с отбитыми ручками.

Черные с проседью волосы старушка собрала в узел. Доброе морщинистое лицо сохраняло следы прежней красоты, и в его чертах угадывалось сходство с Геутваль. Вероятно, это была мать девушки. Охотница тихо рассказывала о нашей встрече, и старушка любопытно поглядывала на бородатого гостя (у меня за время странствования отросла великолепная борода).

— Садись...— кивнула Геутваль на пеструю оленью шкуру — почетное место, у задней портьеры полога.

Девушка распорядилась как маленькая хозяйка стойбища; наверное, ее любили и баловали в семье. Я спросил Геутваль, как зовут ее мать.

— Эйгели...— отвечала она.

Это прозвище рассмешило меня. «Эйгели» означало по-русски «ветер переменный», что явно не соответствовало, по крайней мере теперь, скромному виду старушки. В полог вошла молодая чукчанка, тоже в керкере, с болезненным, бледным, но миловидным лицом, жена Тынетэгина — Ранавнаут. Она дичилась, почти не поднимала глаз и молчаливо помогала Эйгели расставлять посуду.

Так я познакомился со всеми обитателями стойбища, сыгравшими столь важную роль в последующих событиях...

Явились Гырюлькай и Тынетэгин. Они успели накормить собак и принесли кусок оленины и мороженую рыбину. Оба крихтели, словно втаскивали в полог целую оленью тушу. Так полагалось встречать гостей. Вероятно, это был последний продовольственный запас семьи, терпевшей острую нужду.

Эйгели вытащила из самодельного ящичка единственное блюдечко и посеревший кусочек сахара, неведь сколько времени хранившийся для редкого гостя. Ранавнаут подала в полог кипящий медный чайник. Старушка достала из своего ящичка тощий замшевый мешочек и вытряхнула на морщинистую ладонь последние крошки чая...

Я выбрался из полога и вышел из яранги. Спустилась дивная лунная ночь. Снежная долина, облитая призрачным сиянием, переливалась блестками, алмазной пылью искри-

¹ Керкер — меховой комбинезон; зимняя одежда чукотских женщин.

лись яранги. Синеватые тени сопок улеглись на блистающий снег. Распеленав нарту, я достал рюкзак с продовольствием (здесь было чем угостить анадырских робинзонов). Вернувшись в полог, уставил столик банками компотов и варенья, сгущенного молока и какао, насыпал груды печенья и галет, раскрыл пачки сахара и плитку чая лучшей, тысячной, марки.

Молчаливо разглядывали обитатели далекого стойбища невиданную роскошь. Ножом я раскрыл консервы. Тынэтэгин насторогал мороженой рыбы. Рыба слегка протухла, и потому всем нравилась. Ранавнаут принесла блюдо дымящейся вареной оленины. Геутваль устроилась рядом со мной на пестрой шкуре. Впечатлительная, с огненным воображением, она довольно свободно разбирала мой чукотский жаргон и взяла на себя роль переводчицы. Невольно я сравнивал юную чукчанку с Нангой — искал в ней тихости, скромности, робости, замешательства. Но дикая охотница не походила на робкую невесту Пинэтауна. Она кипела энергией, живостью и была остра на язычок.

В пологе стало жарко. Женщины откинули комбинезоны, мужчины стянули кулашки и остались полунагие. Этот чукотский обычай ушел в прошлое в современных приморских селениях, где чукчи живут в домах. Здесь же, на стойбище, затерянном в неприступных горах, иначе и не поступишь. Ведь у пастухов Тальвавтына не было ни рубашек, ни платьев; меховая одежда надевалась, как у предков, на голое тело.

Пришлось стянуть свою лыжную куртку и остаться в сорочке, потемневшей от копоти. Было ли это приличнее первозданной наготы — не знаю. Я старался не смотреть на смуглую фигурку Геутваль, точно вылитую из бронзы Майодем. Никто не замечал моего смущения.

Завязалась оживленная беседа. Выбирая простейшие обороты чукотской речи, я рассказывал о новых поселках на побережье Чукотки, где чукчи живут в домах с электрическим светом, молодые люди учатся; те, кто честно трудится, покупает на факториях вот такие же продукты, а стада оленей принадлежат не одному человеку, а всем.

Гырьюлкай слушал печально, опустив голову; Геутваль и Тынэтэгин — жадно, с загоревшимися глазами. Я спросил старика, почему так бедно они живут, хоть и пасут огромные олени табуны Тальвавтына? Все притихли, долго молчал старик и наконец ответил:

— Маленькие люди мы... нет у нас оленей, большой человек Тальвавтын — не сосчитаешь у него табуны. Много ему должны — до смерти не отдать!

— Сгинь, сгинь он совсем! — выпалила Геутваль, сверкнув глазами. — Тальвавтын злой, богатый, хитрый, как лисица...

— Девку,— кивнул Гырюлькай на дочь,— Тальвавытын четвертой женой хочет брать, все равно силой — ничего нам не дает, чаю, табака, мяса. Три дня назад говорил: не пойдет охотой — помощники, как дикую сырицу¹, арканами свяжут, возьмут вместо долгов к нему в ярангу.

— Убивать их буду...— тихо сказал Тынетэгин.

Юноша нахмурился, сжал ствол берданки. Он не расставался с винтовкой даже в пологе. Невольно вспомнилась давняя встреча в Сванетии. Эта маленькая страна в центре высокогорного Кавказа не соединялась еще дорогой с Черноморским побережьем, и мне довелось побывать там с первой своей экспедицией. У сванов сохранялась кровная родовая месть. На турбазе, в палатке походной парикмахерской, мы встретили молодого свана в круглой сванской шапочке, с винтовкой на ремне. Так он и брил бороды туристам — не расставаясь с винтовкой, каждую минуту опасаясь мести кровника. Тынетэгин напомнил мне этого свана.

Вдруг яранга вздрогнула и зашаталась, полог зашевелился. Кто-то дергал, хлестал ярангу ремнями и хрипло кричал по-чукотски:

— Эй вы, находящиеся в пологе, вылезайте! Эй вы, находящиеся в пологе...

Геутваль побледнела и замерла. Испуганно притихли женщины. Гырюлькай сидел неподвижно, подавленно опустив голову. Тынетэгин, щелкнув затвором берданки, метнулся из полога. Подхватив лыжную куртку, я выкатился за ним.

— Подожди, Тынетэгин!

Набросив куртку, я шагнул наружу. Тынетэгин стал рядом, плечо к плечу, с винтовкой наперевес. Против входа в ярангу стояли, с винчестерами в руках, двое чукчей в мехах. Дула винтовок холодно поблескивали полированной сталью.

— Убирайтесь, шелудивые росомахи...— зло прохрипел юноша.

Появление из яранги бородатого незнакомца привело в замешательство нарушителей спокойствия. Это были крепкие парни с угрюмыми лицами.

— Какомей!²— воскликнул один.

— Таньг!³— глухо откликнулся другой.

Окончательно привели их в смятение ездовые псы. Проснувшись от суматохи, они выбрались из сугроба, как привидения, и, обнажив клыки, вздыбив загривки, ринулись к пришельцам. Только опрокинувшаяся нарта удержала их. Двое с винчестерами пустились наутек, точно быстроногие олени,

¹ Сырица — молодая самка северного оленя.

² Какомей (чукот.) — восклицание удивления.

³ Таньг (чукот.) — русский.

перепрыгивая заступри. Нам достались два аркана, накинутые на шести яранги.

— Борода твоя пугала... — засмеялся Тынэтэгин. На скулах юноши блестели проступившие капельки пота.

Из яранги выглянула, тревожно озираясь, Геутваль. Юноша рассказал, что случилось. Девушка порывисто приникла ко мне щекой, мокрой от слез. Ей было чуждо притворство, она не лгала и не фальшивила, просто в ее натуре было что-то драматическое, и выразить свои чувства иначе она не могла. Я осторожно погладил ее блестящие черные волосы.

— Не плачь, дикая важенька, не будешь ты четвертой женой Тальвавтына.

Мороз загнал нас в полог. Стоит ли говорить о радости, охватившей этих простых людей. Даже Гырюлькай поднял голову и сказал, что весьма возможно, нападавшие будут бежать так долго, что упустят нечто стоящее в этой яранге.

Геутваль выпрямилась, словно стебелек после бури. Плутовка опять откинула свой керкер, и в полог снова явилась юная Ева, смутившая меня совершенно. Девушка усердно подкладывала в мою плошку лучшие кусочки оленины и наконец поднесла половину оленьего сердца, другую положила на свою тарелку.

— Спасибо, Геутваль...

Неожиданно она поднялась на колени, своими смуглыми пальцами коснулась моей бороды, провела по усам и тихо засмеялась.

— Сядь, сядь, бесстыдная... — добродушно прикрикнул на дочь Гырюлькай.

Эйгели и Ранавнаут смешливо поглядывали на свою любимицу.

Гырюлькай спросил, что привело меня в далекие горы, к Тальвавтыну. Мой ответ удивил старика; он покачал вихрастой головой:

— Мэй, мэй, мэй! ¹ Как думаешь менять живых оленей? Тальвавын только убитых оленей дает, живых не меняет... Хочет один самый большой табун держать.

— Ого!

Ловкач сохранил в сердце Анадырских гор все старые порядки. В свое время крупные оленеводы на Дальнем Севере избегали продавать живых оленей, ревниво оберегая свою монополию на живое богатство тундры. Бесконечно трудно будет поладить с Тальвавыном!

Долго еще пили чай. Тынэтэгин и Геутваль расспрашивали и расспрашивали о неведомом, манящем мире за перевалами. Гырюлькай так и не понял, для чего мне понадобились олени. Снова и снова я растолковывал старику, что такое

¹ Мэй (чукот.) — восклицание удивления.

совхозы и для чего нужны олени у золотых приисков, где люди с машинами копают золото. Старый пастух никак не мог взять в толк, чьи же будут олени.

Ужин окончился. Женщины убрали посуду. Тынэтэгин и Ранавнаут ушли спать в свою ярангу. Эйгели развернула заячье одеяло во весь полог. Геутваль рассказала, что заячьи шкурки для одеяла она добыла сама на охоте. Старики улеглись у светильника. Геутваль выскользнула из керкера и юркнула под одеяло.

Светильник погас, и полог утонул в крошечной тьме. Под заячьим одеялом было тепло. Образ смуглой охотницы трогал в душе давно позабытые струны. Неужели Геутваль вытеснит милый образ Марии?

Я гнал прочь эту мысль. Ведь я любил Марию, хоть она и не отвечала на письма: забыла, видно, свою клятву.

Не помню, как заснул; не знаю, сколько времени спал. Проснулся внезапно, в полной тьме, от странного ощущения: что-то теплое, мягкое, нежное покоилось на откинутой руке. Я лежал не шевелясь.

«Что же это такое, где я?!»

Осторожно протянул свободную руку. На моей ладони, прижавшись теплой щечкой, крепко спала Геутваль.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Прежде чем продолжить рассказ о Геутваль и злоключениях, постигших нас в Анадырских горах, вернемся на два месяца назад — в столицу Золотого края...

Сплю, что ли, и вижу удивительный сон? Вместо заснеженной Омолонской тайги — стены в лакированных панелях, натертый паркет, прикрытый пушистым ковром, высокие окна с шелковыми гардинами, дубовый письменный стол, затянутый зеленым сукном, с табуном телефонов на зеркальном стекле.

За столом, в квадратном кожаном кресле, седой генерал, плотный, коренастый, краснолицый, в кителе с колодками орденов, с широкими генеральскими погонами, шитыми золотом...

Несколько часов назад летчик выхватил меня из дебрей снежной Омолонской тайги в чем был: в замшевой куртке, меховых торбасах, с охотничьим ножом в расписных ножнах.

В своих омолонских пущах я одичал. Не знаю, куда девать руки, слова запропастились куда-то, забыл и поздороваться. Генерал усмехнулся, вышел из-за стола, протянул руку. Я сдвинул генеральскую ладонь.

— Ну, ну, Кожаный чулок, полегче...

Ростом он невелик, хоть и широк в плечах. Посматривает снизу вверх. Не решаюсь садиться, переминаюсь, как медведь. Вспотел даже.

— Эх, детинушка, и все у вас на Омолоне такие? Слышал о ваших подвигах в дебрях. Говорят, в воде не тонешь, в огне не горишь...

Генерал вернулся на свое место. Я утонул в мягком кресле напротив.

«Так вот он каков, хозяин Колымского края, генерал-лейтенант, начальник Дальнего строительства».

Генерал смотрит из-под седых бровей прямо в глаза острым, всепроникающим взглядом. В светлых глазах вспыхивают искорки.

— Как же умудрился с того света явиться? — рассмеялся он, кивнув на развернутую перед ним газету.

«Вот так штука! Неужели старый номер сохранился у него?»

История действительно была интересная. После пожара Омолонской тайги и бесследного исчезновения табуна нас «похоронили». Районная газета поместила прочувствованный некролог. Особенно много хвалебных эпитафий досталось на мою долю.

— Выкарабкались, товарищ генерал...

— И заодно порушили королевство Синего орла?

— Само рухнуло, как трухлявое дерево...

— Сомневаюсь... — нахмурился он и о чем-то задумался.

«Зачем я ему понадобился в такую пору — глубокой полярной ночью, когда и самолеты на Север почти не летают? Не наломали ли дров в Синем хребте? Крутой нрав у старика, загонит, чего доброго, прямо из кабинета, куда Макар телят не гонял...»

С тоской поглядываю в окно. Вижу заснеженные приморские сопки, обындевевшие скалы материка. Каменной грудью они уперлись в белый щит замерзшего моря. Под окнами пустая площадь, обставленная многоэтажными домами. Ветер раздувает по асфальту белые струйки поземки. Площадь дымится, словно зимняя тундра перед бураном.

— Трухлявое дерево долго не падает, валить его нужно... — вдруг жестко говорит генерал. — Правильно сделал... Потому и вызвал тебя, Вадим, по важному делу.

Генерал встал, раздвинул на стене шторы, открыв большую карту Колымского края.

— Вот полюбуйся — наши горные управления...

— Ого!

Штриховка на карте почти слилась в огромную дугу вокруг Колымы, Индигирки и Яны.

— Вот эта, синяя штриховка,— объяснял начальник строительства,— освоенные районы золотодобычи. Знаешь сам: вздыбили мы там тайгу, дороги проложили, добываем золото машинами. А красная — перспективные районы. Видал? Твой Омолон геологи недавно заштриховали, а главное вот... сюда смотри — Чукотка. Золота там, видно, немало...

С изумлением разглядываю карту. Карминовая штриховка покрывала Омолон, Анюй, Полярное побережье Чукотки, Анадырь...

— Черт поberi! Да откуда же на Чукотке взялось золото? Никто и не слыхивал о нем!

— Бог послал...— усмехнулся генерал.— Только вот беда: не дает покоя это золото соседям. Помнишь историю Калифорнии и Аляски?

Я развел руками. Генерал сказал:

— Читал я архивы русской дипломатической службы, когда собирался на Колыму — принимать край... 130 лет назад русские поселения, редуты, форты и крепости красовались на западном побережье Америки от Аляски до Сан-Франциско. Российские промышленники¹ осваивали дикие американские берега с необыкновенным рвением и упорством. Делами Русской Америки управляла российская компания.

Самый южный форт и поселение Росс российские колумбы поставили в 1813 году рядом с Сан-Франциско, неподалеку от устья Сакраменто. Калифорния тогда принадлежала, как ты должен знать, испанцам. Росс служил житницей для наших поселенцев Аляски. Обитатели Росса занимались хлебопашеством, разводили скот, покупали зерно у испанцев — отправляли на Аляску на кораблях компании.

По соседству с фортом Росс устроился подданный Соединенных Штатов бывший капитан швейцарской гвардии Зутер. Он тоже занялся хлебопашеством и скотоводством, рассчитывая нажить состояние на торговле с русскими. В долине Сакраменто построил усадьбу, крепость, защищенную пушками, завел даже личную гвардию, привез сельскохозяйственных рабочих с Гавайских островов. В 1842 году ухитрился купить у нашей компании под заклад своего поместья форт Росс со всеми прилегающими землями. А спустя шесть лет рабочие Зутера случайно открыли баснословные золотые россыпи Сакраменто, прогремевшие на весь мир.

Волна американских золотоискателей захлестнула Калифорнию, и Соединенные Штаты прибрали ее к рукам вместе со всем золотом...

— Дьявольщина! Выходит, товарищ генерал, упустили мы из рук Эльдorado?!

¹ Охотники на морских котиков и пушного зверя.

— Ну, сохранить за собой все золотые россыпи Сакраменто, пожалуй, не удалось бы — слишком далека была Россия, слишком мутный людской вал всколыхнуло золото Калифорнии. А получить свою долю золотых богатств могли. Разом окупить расходы на строительство Русской Америки, сильно-го Тихоокеанского флота, неприступных крепостей на западном побережье Аляски.

— Откуда же Зутер раздобыл деньги для постройки собственной крепости?

— Вот это и осталось загадкой. Зутер бежал из Швейцарии гол как сокол. А потом вдруг всплыл в испанской Калифорнии с паспортом гражданина Соединенных Штатов. Продав форт Росс авантюристу, мы упустили не только Эльдorado... Продвигаясь дальше и дальше на север по западному берегу Америки, американские золотоискатели открывали новые и новые золотые клады: Фразер, знаменитые золото-серебряные жилы Сьерры-Невады, россыпи Стахина. За ними шагали американские солдаты. Золотой след привел к Русской Аляске. Искатели наживы поняли, что нащупали величайший золотоносный пояс...

Я слушал генерала с жадным интересом.

— Вот тут,— продолжал он,— американцы и придумали проект Российско-Американского телеграфа. Линия его должна была пересечь все русские владения на Аляске, Берингов пролив подводным кабелем, Чукотский полуостров, далее выйти к Гижиге и по берегу Охотского моря к Владивостоку. В перспективе эту линию американцы предлагали соединить с Петербургом, Пекином, Нью-Йорком. Проблема по тому времени, конечно, грандиозная и заманчивая. С поразительной быстротой американские разведочные партии устремились обследовать трассу будущей телеграфной линии в Русской Аляске и в Сибири.

Но вот что странно, Вадим, трассу будущего телеграфа наметили точно по «золотому поясу»! Смотри: Сан-Франциско, Сакраменто, устье знаменитого Фразера, Стахин, дальше Аляска, а в Сибири — у подножия такого же горного барьера, что и у западных берегов Америки. Первые же находки, сделанные телеграфной компанией в наших владениях на Аляске, убедили американцев, что они идут по верному следу. Вот послушай, что писал в своем донесении в Петербург главный правитель Русской Америки князь Максutow...— Генерал вытащил потертую записную книжку и громко прочел: — «...Американская телеграфная компания открыла в наших владениях около горы святого Ильи золото в столь огромном количестве, что даже находятся самородки ценностью в 4—5 тысяч долларов...»

А вот что писала «Нью-Йорк геральд»: «...эта гора есть

начало и глава золотоносной цепи, пролегающей по Калифорнии, Неваде, Мексике, Средней и Южной Америке. Почему не предположить, что в ней скрываются прииски богаче всех прочих, лишь бы добраться до них...»

Видал, что пишут, черти полосатые: *«лишь бы добраться до них...»* Хитроумными дипломатическими маневрами и подкупом царского двора Соединенным Штатам удалось купить у России Аляску накануне открытия ее легендарных золотых богатств.

— А телеграфная компания? — спросил я.

— Была быстренько ликвидирована «в связи с прокладкой трансатлантического подводного кабеля». После покупки Аляски американцы нашли сумасшедшее золото Клондайка на Юконе. Позже они не раз пытались проникнуть на Чукотку, отлично понимая, что великий золотоносный пояс уходит из-под рук на нашу сторону. В двадцатые годы, пользуясь отдаленностью края и разрухой, царившей в России, американцы понастроили свои фабрики на Чукотке, отправляли проспекторов¹ искать золото на чужой земле. А сейчас за проливом пронюхали о чукотском золоте, действуют тем же манером. Вот смотри...

Он развернул на столе карту Аляски и Чукотки, изображенных на одном листе.

— Зашевелились на том берегу: войска, флот пригнали, военные базы как ошалелые строят. Видишь: северо-западные берега Аляски, Алеутские острова, подковой охватывают Чукотку...

— Ого!

— Только теперь не проведешь, шиш с маслом! — усмехнулся генерал. — Шагнем туда с машинами, дорогами, людьми. И может быть, очень скоро... — Глаза его стали колючими. — Неизбежно!

Весь этот разговор кажется сном. Может быть, потому, что слишком внезапно перенесся из гущи Омолонской тайги в комфортабельный кабинет генерала. Молчаливо рассматриваю карту Аляски.

Об охране северных рубежей я как-то не задумывался. Они казались такими недосыгаемыми, далекими от событий, потрясавших мир, надежно укрытыми самой природой. Да и война окончилась, наши войска вошли в Берлин...

Я сказал об этом генералу.

— В общем, тишь, да гладь, да божья благодать... Вот... полюбуюсь, — указал он на громадное пятно, заштрихованное на карте черной тушью.

Черная сеть затянула все внутренние районы Чукотско-

¹ Проспекторы — искатели золота.

Анадырского края: верховья Анюев, Чауна, Амгуэмы, Анадыря, Пенжины, подобралась к Омолону.

— Смотри, территория с пол-Франции! У нас под самым носом, рядом с твоим Омолоном, засели последние богачи и шаманы Чукотки. Знаешь, сколько у них оленей? Только не упади с кресла — двести тысяч! Они и делают в горах Чукотки политику. Правят этим «государством» крупные оленеводы, короли тундры, почище твоего Синего орла. На американцев надеются, что порядки им прежние вернут.

А Буранов, Золотой зуб, мямлит, цацкается с ними. Тут зубастая нужна голова, мертвая хватка, как у тебя, когда королевство Синих орлов рушил...

Генерал насупился, испытующе поглядывает, словно ожидает ответа. Я молчу, не зная, что отвечать.

«Бурановым, что ли, недоволен? Жаль, что не успел встретиться с ним перед конфиденциальным разговором. Адъютант генерала прямо с аэродрома, минуя Управление Оленеводства, доставил меня в этот роскошный кабинет».

— Читал вашу с Бурановым докладную записку. Кольцо совхозов вокруг золотых приисков без чукотских оленей не построишь. Организовал Буранов совхоз в верховьях Чауна. А «шакалы» тундры окружили своими табунами дальние стада и полсовхоза тяпнули. Буранов и в ус не дует, мудрит — надеется на постепенную коллективизацию... А нам ждать нельзя, сам понимаешь, — генерал стукнул кулаком по столу, — трухлявое дерево валить нужно! — Он в упор посмотрел мне в глаза. — Ну, атаман, возьмешь булаву?

Мне стало не по себе. Судьба Буранова висела на волоске. Я любил Андрея за полет мысли, за размах, душевное отношение к людям. Генерал предлагал мне всю полноту власти. Конечно, я мечтал строить Великое кольцо оленеводческих совхозов, но Андрей столько сил положил на его основание...

Генерал спокойно ждал ответа, словно понимая мое замешательство.

— Строить кольцо совхозов, товарищ генерал, нужно вместе с Бурановым, а меня пошлите на Чукотку — оленей добывать у крупных оленеводов.

Генерал сдвинул брови, насупился. Не любил, когда перечили.

Наши взгляды скрестились...

Дальстрой в те времена был могущественной организацией. Начальник Дальнего строительства, в сущности, был хозяином огромного края.

И вдруг что-то доброе, мягкое засветилось в ясных, холодноватых глазах под нависшими седыми бровями.

— Эх и дикие оленеводы друг за друга уцепились — водой не разольешь! Любому инженеру только дай полномочия...

Я осмелел:

— На Чукотке, товарищ генерал, оленей силой брать нельзя. Скупить побольше важенок надо у богатеев для наших совхозов.

— Да что они, дурачки, что ли, — рассердился начальник строительства, — не продадут они нам оленей!

— Товары для обмена привезем — продадут. Отгородились они на своих плоскогорьях от всего мира, нужны им товары как воздух...

Генерал задумался, помрачнел. Пауза затянулась.

— Пожалуй, ты прав, — наконец сказал он, — начнем с этого... Товары, охрану тебе выделим. Полсотни людей хватит?

— Охраны мне никакой не нужно. Костю, еще Илью с Омолону заберу...

— Да они же вас укокошат! — рявкнул генерал. — Недавно торгашей уложили. Из Анадыря к ним пробрались.

Об этом случае я слышал еще на Омолоне. Но представители фактории явились к оленеводам с оружием.

— В тундре, товарищ генерал, с оружием в гости не ходят.

— Да как же иначе? — удивился он. — Кулачье. С этими чертями на бога надейся, а сам не плошай!

— С товарами пожалуем, мирно...

— Не пойму я вас, что за люди? — развел руками генерал. — Одичали со своими оленями. И Буранов то же твердит, одно слово — лесные бродяги. Кстати, Вадим, как твои личные дела?

— Личные?!

— Нашлась ли чудная Мария? — добродушно усмехнулся он.

Я покраснел. «Откуда знает о Марии? Буранов, что ли, все рассказал?»

— Плохо, товарищ генерал, потерялась в Польше, два года ничего не пишет.

— Да-а, война... — вздохнул генерал и опустил поседевшую голову. — Друга я, Вадим, потерял, всю гражданскую войну вместе прошли. И сам виноват... Если жива на белом свете твоя суженая, — встрепенулся он, — разыщем. Обязательно. Сообщи тебе на Чукотку.

— Спасибо, товарищ генерал!

— Ну, иди отдыхай, лесной стрелок, в гостинице номер забронирован, только, чур, о разговоре нашем помалкивай. Утром пусть Буранов ко мне зайдет. Сохранил ты ему баш-

ку. — Глаза под нависшими бровями потеплели, морщины разгладились. Генерал встал. — Прощай, гвардеец, не поминай лихом, коли не встретимся.

Ох и сдал я на прощание генеральскую ладонь! Вылетел из роскошного кабинета точно пробка, сбежал по широкой лестнице, перепрыгивая через ступеньки, подмигнул опешившему вахтеру, плечистому русоволосому с густым чубом солдату, и, нахлобучив пушистую оленью шапку, вырвался вихрем на волю.

Темнело. На площади кружились снежные космы, свистел ветер, грохотали железные крыши, колющие иглы жалили разгоряченное лицо. Началась пурга — частая зимняя гостья столицы Золотого края.

Искать Буранова было уже поздно. Я отправился в гостиницу. Радостно было на душе. Предстояла новая одиссея — рискованное путешествие на загадочные внутренние плоскогорья Чукотско-Анадырского края...

Поздно вечером в гостиницу позвонила секретарша генерала и сообщила, что подписан приказ о моем переводе с Омолона в Магадан, в Главное управление строительства заместителем Буранова, и о срочной командировке в Певек «для проведения широких закупочных операций в центральной Чукотке».

Генерал сдержал слово: Буранов остался во главе Оленеводческого управления, я получал широкие полномочия и должен был вылететь на Север без промедления.

Долго не засыпал я в ту ночь, склонившись над картой, в пустом, неуютном номере гостиницы. На месте внутренних плоскогорий Чукотки, куда меня посылали, растекалось большое белое пятно неизведанных земель. Оно казалось загадочным и туманным. Как встретят нас отшельники Анадырских гор? Уцелеют ли на плечах буйные наши головушки?

Утром я пошел в Оленеводческое управление.

Буранов ходил из угла в угол маленького кабинета, увешанного цветными картами оленьих пастбищ. Высокий, лобастый, с каштановыми прядями, спадающими на выпуклый лоб, он курил папиросу за папиросой.

Андрей держал приказ генерала. Молча он стиснул мою руку. Все было ясно без слов.

— Андрей, генерал вызывает тебя...

— Знаю, — улыбнулся Буранов. — Столкнулись мы, Вадим, с ним. Хочет он кольцо совхозов единым махом построить — оленей силой взять у крупных чукотских оленеводов. А все это не так просто. Совхозы не карточные домики — сразу не построишь. Кучу денег отваливает, успевай только поворачиваться.

— Да ведь это здорово, Андрей! Эх, и размахнемся с тобой...

— Здорово, да не очень,— нахмурился Буранов,— дров можно наломать сгоряча. Ты, Вадим, романтик, человек чувства. Тебя покоряет размах. А ведь для строительства кольца совхозов в непроходимой горной тайге надо изучить пастбища, маршруты дальних перегонов оленей, собрать опытных пастухов, специалистов, раздобыть, наконец, уйму оленей и... честным путем, чтобы не оттолкнуть простых людей чукотской тундры...

— А мы, Андрей, как Петр флот строил — собственными руками. Я заберусь на Чукотку, в самое ее пекло, все там вверх тормашками переверну, оленей добуду, и честным, как ты говоришь, путем, а ты наши табуны с Чукотки через Омолон принимай, готовь в тайге пастбища, людей, снаряжение новым совхозам. Помнишь, как на Омолоне мечтали?!

— Ох и горячая ты голова, Вадим! — рассмеялся Буранов. — Не так просто все это сделать — сам знаешь. Последние могикиане встретят вас не с распростертыми объятиями. Удивляюсь, как генерал согласился на скупку оленей? Ведь я, в сущности, предлагал ему то же самое.

Буранов задумчиво прошелся по кабинету.

— Ну, Вадим, мне пора, — спохватился он. — Вот тебе печать, ключи от сейфа, располагайся. Теперь ты мой заместитель. Рад, что вместе работать будем.

Буранов быстро собрал в папку какие-то документы, откинул пряди со лба.

— Пойду на прием...

Я остался один в кабинете среди раскрашенных молчаливых карт...

«СНЕЖНЫЙ КРЕЙСЕР»

Пурга бушует во мраке полярной ночи на льду замерзшего океана. Вокруг — крошечный ад: иступленно пляшут снежные космы, хлещут с неистовой силой оголенные торосы. Ветер стонет, свистит, сшибает с ног все живое, тащит в воющую темь.

Обрушился «южак» — ураганный ветер. Здесь, у грани двух полушарий, он поднимает пурги чудовищной силы, дующие неделями. Не дай бог в такую пургу оказаться в пути. Меха леденеют, нестерпимая стужа пронзает до костей, и человек замерзает, если не закопается в снег.

Белые космы яростно бьются в смотровые стекла. Могутие порывы сотрясают кабину, и дикий, заунывный вой заглушает рев мотора и лязг гусениц. Широкий, смутный луч прожектора едва пробивает крутящуюся снежную муть, освещая

перед носом идущей машины фирновый панцирь с ребрами застрогов и грядами мелких торосов.

Мы давим их широкими стальными гусеницами.

В просторной кабине тепло и уютно. Фосфорическим светом горят циферблаты контрольных приборов. Крошечная лампочка освещает большой штурманский компас. Водитель, поблескивая белками глаз, гонит машину точно по курсу сквозь сумятицу пурги.

В руках у меня микрофон. В шлем вшиты наушники. Иногда спрашиваю, все ли в порядке, и знакомый хрипловатый голос Кости, смешиваясь с воем пурги, отвечает: «Порядок, Вадим, трещин нету. Так гони...»

Под защитой техники полярная стихия бессильна причинить вред. Как странно складывается судьба человека. Два года назад я встретил Буранова в кабине вездехода на льду Колымы, и он казался пришельцем из иного, нереального мира.

Теперь, облеченный еще более высокими полномочиями, одетый в такую же респектабельную канадскую куртку, я веду по льду полярного океана целый поезд.

Станный у него вид: впереди мчится, сметая все на своем пути, тягач с утепленной кабиной, похожей на кузов бронированного автомобиля. Он тянет две сцепленные грузовые платформы на полозьях, с высокими бортами из досок. Платформы доверху нагружены мешками муки и сахара, щиками с плиточным чаем и маслом, галетами и печеньями, тюками черкасского табака — бесценным для нас грузом.

Платформы накрыты брезентом и накрепко увязаны просмоленными канатами.

В кильватере грузовых саней грохочет гусеницами второй тягач с такой же утепленной кабиной. На буксире у него еще одна платформа с бочками горючего, углем, бревнами и разным путевым скарбом.

К платформе прицеплен походный дом на полозьях, с освещенными иллюминаторами, с дымящей трубой на обтекаемой крыше.

Свирепый ветер срывает клочья дыма и уносит их прочь. На кабинах тягачей горят прожекторы. Они освещают мятущуюся снежную пелену таинственными зеленоватыми лучами. В смутных огнях наш караван, вероятно, кажется фантастическим снежным крейсером, скользящим по льду океана.

Впереди головной машины, скрытая пургой, во всю прыть скачет упряжка из дюжины отборных псов. На длинной нарте сгорбились две фигуры в обледенелых мехах. Груза на собачьей нарте нет. Лишь походная рация с прутот антенны отличает ее от охотничьей нарты. Она несется впереди каравана, точно рыбка-лоцман перед носом акулы.

В нарте — Костя и Илья. Это наше «сторожевое охранение». Они высматривают трещины.

И все-таки... чувствуем себя на льду океана не в своей тарелке. Под нами стометровые глубины, тракторный поезд весит полсотни тонн. Что, если лед не сдержит? Не могу побороть невольного опасения...

После памятного разговора с генералом я вылетел из Магадана на специальном самолете, через Омолон в Певек. На Омолоне мы приняли на борт Костю с Ильей. Втискиваясь в крошечный самолет с тюками походного снаряжения, Костя ворчал:

— Своих дел, что ли, на Омолоне мало? Кой черт несет нас, Вадим, в Певек?

Невидимое за сопками солнце освещало Омолонскую котловину малиновым светом. Тополя и чозении¹, опушенные изморозью, склонялись над замерзшей протокой. Свежесрубленные домики совхоза, замеченные сугробами, приютились среди мохнатых коричневых лиственниц. Из труб поднимались к розоватому небу ватные столбики дыма. За лесом горбились малиновые заснеженные сопки.

Тишиной и спокойствием веяло от мирной, идиллической картины.

В самом деле, куда несет нас из теплого, насиженного гнезда? Грустно расставаться с Омолоном. Здесь все выстроено собственными руками, тайга исхожена вдоль и поперек.

Дверка кабины захлопнулась, взревел мотор, самолет развернулся, взметая лыжами снежную пыль, и понесся по белому полю замерзшей протоки, подпрыгивая на застругах. Приникли к иллюминаторам, прощаясь с Омолоном...

И вот тяжелый караван, громохая гусеницами, несется сквозь воющую темь по льду Чаунской губы. Широким языком замерзший залив глубоко врежется в чукотскую тундру. Это видно на морской карте, развернутой у меня на коленях. Идем курсом на устье Чауна, где разместились база оленеводческого совхоза, организованного Бурановым.

Там снарядим свой торговый олений караван. Оттуда кратчайшим путем можно проникнуть в сердце Чукотки, к отшельникам Анадырских плоскогорий.

Прокладываю курс, орудуя транспортиром и линейкой, как заправский штурман. Кажется, ледовый рейс окончится благополучно: сделали половину пути — вышли на середину Чаунской губы.

Пурга не стихает, беснуется с прежней силой; снежные космы бьются в зеркальные окна, как подстреленные чайки. Словно плывем в белых волнах. Хорошо за стеклами утеплен-

¹ Чозении — древовидные ивы.

ной кабины! Клонит ко сну, укачивает на пружинистых подушках комфортабельных сидений. Вспоминаю трудные дни перед выходом в снежный рейс...

В Певек мы перелетели с Омолона без всяких приключений. На следующий день в кабинете начальника Горного управления состоялось бурное совещание. Против экспедиции во внутреннюю Чукотку возражали местные ветераны. На Чукотке они прожили много лет и утверждали, что сейчас не время для такой операции. Опыт окружной торговой экспедиции окончился плачевно: представители фактории были убиты при весьма загадочных обстоятельствах, да и случай с разгромом стад Чаунского совхоза, зашедших в верховья Анюя, тоже свидетельствовал о неблагоприятной обстановке.

Старожилы предлагали подождать завершения коллективизации в районах, прилегающих к беспокойному сердцу Чукотки.

— Время не ждет! — рявкнул из своего угла Костя. — Давно нужно было кулачье прижать. А вы цацкаетесь, двадцать лет ходите вокруг да около. А они оленей у Чаунского совхоза хапнули? Хапнули. Местных работников к себе не пускают? Не пускают. К «верхним людям» их отправляют? Отправляют. Несознательных тундровиков вокруг себя мутят? Мутят. Сила тут нужна...

Характер у Кости горячий, решительный. Слишком экспансивное выступление вызвало недовольные реплики.

Старожилы, работавшие среди чукчей по двадцать лет, великолепно изучили их прямодушный характер и предпочитали действовать убеждением, примером, увещанием. В этом они видели смысл национальной политики в неосвоенных районах Чукотки.

Я задумался.

«Не странно ли, что в последние годы эти увещевания не давали толку? В центральной Чукотке происходили какие-то непонятные сдвиги. Стада крупных оленеводов увеличивались, власть их укрепилась, подняли голову шаманы, хозяйство Чукотки, разорванное на два непримиримых полюса — коллективное в приморских районах и откровенно частновладельческое во внутренних территориях, — плясало на месте. Правильны ли эти полумеры сейчас, когда жизнь всего края готова так стремительно шагнуть вперед?»

Последнее слово в те времена оставалось за представителями Дальнего строительства. Но я так погрузился в собственные мысли, что не заметил наступившей тишины.

— Ну, так что будем делать? — нетерпеливо спросил ведущий собрание начальник Горного управления, поглядывая в нашу сторону.

— Золото не ждет, — сейчас нужны... более решительные

действия, — ответил я. — Торговый караван необходимо снаряжать, и немедленно...

Тут поднялся молчавший до сих пор молодцеватый полковник, оставив на спинке кресла шинель. По-военному коротко он заявил, что гарантировать безопасность каравана во внутренних районах можно только с хорошо вооруженной охраной.

Костя одобрительно хмыкнул и громко зашептал:

— Шут с ними, Вадим, возьмем охрану, переоденем их в кухлянки, оружие в спальные мешки спрячем!

Я встал:

— Нет... охраны, оружия не возьмем... Таков приказ генерала.

Полковник развел руками, соболезнующе покачал головой и сел, поправив на блестящем ремне кобуру пистолета...

Мне так ясно представились эпизоды совещания, что я забыл о пурге, не слышал зловещего воя урагана, рокота мощного мотора.

...В снаряжении каравана приняли участие все, кто был на совещании. Иными словами — вся администрация Певека. Разногласия были позабыты, делалось все, что возможно. Нас провожали так, словно мы отправлялись в пасть дракона.

Особенно помог нам главный механик Горного управления — худой человек с грустными темными глазами и длинным лицом в глубоких морщинах, удивительно похожий на любимого моего писателя Александра Грина. Все его величали Федорычем и относились с большим почтением.

Руки у него были просто золотые. В механической мастерской он творил чудеса с разбитыми вдреизг машинами, отслужившими свой срок моторами, поломанными гусеницами, обретающими у него вторую жизнь и действовавшими безотказно в любую певекскую стужу.

С бригадой своих промасленных помощников механик в несколько суток оборудовал наш «снежный крейсер» — утеплил кабины мощных тягачей, смастерил необыкновенно прочные грузовые платформы на полозьях, построил обтекаемый вагончик с корабельными койками в два яруса, печкой и хитроумной системой труб-обогревателей.

В те времена тракторные поезда редко ходили на большие расстояния, а если и осмеливались пускаться в путь, терпели бедствия в снегах Чукотки...

Посматривая на щиток с освещенными приборами. Думаю о размахе начатого дела. С помощью «снежного крейсера» мы единым махом забрасываем громадный груз по льду Чаунской губы в преддверие центральной Чукотки. И кроме того, поднимаем на ноги ослабевший Чаунский совхоз. Подцепили к своему поезду целую платформу товаров и снаряже-

ния для совхоза и везем в вагончике на полозьях новое подкрепление — смену специалистов с семьями.

С горячей признательностью вспоминаю Федорыча. Встает перед глазами его тощая фигура, грустные глаза. Какое горе гнетет его? Сейчас он спит в вагончике после очередной вахты. Старший механик сопровождает наш караван до Усть-Чауна и после выгрузки в оленеводческом совхозе вернется с тракторным поездом обратно в Певек.

Покачиваясь в мягком кресле, я незаметно задремал...

Очнулся от страшного толчка и скрежета. Кабина накренилась, я свалился на водителя. Сквозь смотровое стекло в смутном луче прожектора вижу зубастый зеленоватый излом вздыбленной льдины, черную, как чернила, вспененную воду океана, клубящуюся на морозе паром.

Гусеницы, лязгая по льдине, вращаются с бешеной скоростью в обратную сторону, но тягач не подвигается: что-то мешает ему выбраться из ловушки. Медленно, юзом соскальзывает он по накренившейся льдине к воде.

— Двери! — заорал водитель, выключая задний ход.

Свою дверцу открыть он не может — она уже повисает над зияющей полыней.

Дальше помню все, как в полусне: рванул ручку, выскочил на обледенелую гусеницу и, не замечая вихря пурги, гигантским прыжком перемахнул край вздыбленной льдины, трещину с водой и плашмя рухнул на заснеженный целый лед. На меня наваливается водитель, прыгнувший вслед за мной.

Не чувствуя холода, барахтаемся на краю полыни. Льдина качнулась, полезла вверх, трактор, опрокидываясь набок, покатился по льдине и тяжело плюхнулся в воду, окатив нас веером холодных брызг. В полынь что-то забулькало, забурлило. Еще секунду под водой светил прожектор призрачным сиянием, освещая зеленоватую воду и громаду трактора, медленно уходящего вглубь. Буксирный трос натянулся, врезался в лед: Но тяжелые сани, груженные продовольствием, не сдвинулись с места. Погрузившись в воду, трактор потерял в весе и не мог осилить тридцатитонной махины. Тягач повис на тросе в холодной морской пучине.

Драматическая сцена, разыгравшаяся в несколько секунд, ошеломила нас. Бродим по краю полыни, вглядываясь в неспокойную воду. Ветер безжалостно хлещет лица колючим снегом. Второй тягач, осторожно подвигаясь вперед, освещает прожектором место катастрофы. К нам бегут люди. Из снежной сумятицы вынырнула Костина упряжка.

Собрались вокруг полыни, поглотившей головную машину.

— Дьявольщина! Откуда взялась, проклятая?! — удивляется Костя.

Десять минут назад он проехал тут с нартой и не заметил и признаков трещины. Видно, тяжести трактора не выдержала льдина, непрочно смерзшаяся с ледяным полем; край ее опустился, и машина ухнула в полынью. Пройди мы на пять метров вбок — и несчастья не случилось бы.

Льдина растрескалась. Осколки ее плавали в темной, как чернила, воде, сталкивались острыми боками, терлись о туго натянувшийся трос.

Пурга бушевала пуще прежнего, торжествуя победу. Люди, обсыпанные снегом, молчаливо толпились, точно у могилы. Вода курилась на морозе паром. Что могли мы предпринять на льду океана, в крошечной тьме пурги? Неужели придется бросать груз и бесславно возвращаться в Певек, на радость скептикам, предвещавшим печальный исход экспедиции?

Тут кто-то вспомнил о Федорыче, безмятежно спавшем в вагончике. Костя помчался будить его. Федорыч явился тотчас. Невыспавшийся, в короткой, не по росту, кухлянке, он молчаливо осмотрел место происшествия. Промерил своими метровыми шагами ширину полыньи. Попросил принести с грузовых саней рейку — смерил толщину льда и глубину, на которой повис трактор, обследовал прочность льда. Все это он делал спокойно, неторопливо, точно у себя в мастерской.

Он сосредоточенно размышлял о чем-то, не обращая внимания на ураганный ветер, жаливший ледяными иглами, и, наконец, словно очнувшись, позвал нас в вагончик. В каюте было тепло и уютно от раскаленной железной бочки, топившейся углем. Все собрались у маленького столика, заполнив проход между койками.

Никогда не забуду эту короткую «летучку». Суматоха разбудила обитателей вагончика. С коек свешивались пассажиры: ребятишки, встревоженные женщины. Раскаленная печка красноватыми бликами освещала сосредоточенные лица собравшихся.

Федорыч заявил, что попытается вытащить трактор, но для этого потребуется авральная работа всего экипажа. Он быстро распределил обязанности: водителям поручил выгрузить пустые железные бочки из-под горючего и подкатить к полынье; молодым специалистам совхоза — сбить из реек каркас для большой палатки; мне с Костей — изготовить из железной бочки печку. Сам он, выбрав в помощники белокурого великана, ветеринарного врача совхоза, сказал, что займется кузнечными делами.

— Ума не приложу, на кой черт ему понадобились пустые бочки? — удивился Костя...

Работа закипела. Мы с Костей притащили в вагончик железную бочку и принялись усердно рубить дверцу и от-

верстие для трубы. Ветеринарный врач, выполняя поручение Федорыча, принес четыре лома и стал их раскалывать в железной печке, обогревавшей вагончик. Молодые специалисты, не обращая внимания на свирепые порывы пурги, сбивали, под защитой грузовых саней, каркас для большой палатки. Федорыч с водителями воздвигали у края полыньи странное сооружение из бочек. Они поставили на лед три бочки, на них две, а поверх еще одну.

Всю эту пирамиду связали проволокой. Такое же сооружение воздвигли и у другого края полыньи. Скручивать бочки проволокой на обжигающем ветру было чертовски трудно.

Наконец Федорыч велел всем вооружиться ведрами и поливать железные пирамиды водой из полыньи. Вода моментально замерзала. Скоро образовались монументальные ледяные столбы, похожие на сталактиты.

Лицо механика прояснилось.

— Голь на выдумки хитра, — усмехнулся он, — добрые ряжй получились, крепче бетона...

Принесли с грузовой платформы самое длинное и прочное бревно и положили на ледяные опоры. Полынью закрыли до половины накатником. Бревна мы прихватили с собой из Певека для сооружения переправ через трещины во льду. Теперь онигодились.

Федорыч торжественно извлек из грузовых саней блок и цепи талей и вместе с водителями подвесил их к бревну. Он долго колдовал, подвешивая блоки так, чтобы равномерно распределить тяжесть будущего груза. Малейшая оплошность могла привести к несчастью. Второго такого длинного бревна у нас не было.

Все это походило на чудо. Ведь вокруг бушевала пурга, густая тьма окутывала замерзший океан. Люди, запорошенные снегом, казались в лучах прожектора белыми привидениями. Я невольно вспомнил Левшу, подковавшего, на удивление всей Европе, металлическую блоху. Замысел Федорыча был гениально прост.

Подъемник готов! Федорыч отправился в вагончик, согнул из раскаленных добела ломов здоровенные крючья и закалил их в бочке с питьевой водой.

Долго закидывали стальные крючья, пытаюсь зацепить трактор. В смутном свете прожектора, в сумятице пурги сделать это было невероятно трудно. Растянувшись на обледенелом помосте, мы вслепую шарили в воде, стараясь подцепить гусеницы, и наконец это нам удалось.

И вот цепи талей заработали. Медленно, дюйм за дюймом, показываются из воды тросы крючьев, натянутые как струны. Повисая на цепях, поднимаем страшную тяжесть. Из воды появляется мокрая крыша кабины, блеснули смотровые стекла

в стекающих каплях. Луч прожектора уперся в эти плачущие стекла. Внутри кабины колеблется темная вода, что-то белое покачивается там, приликая к стеклам...

Да это же моя карта!

Все выше и выше поднимается из воды кабина. Точно рубка субмарины всплывает в полынье.

— Еще раз... еще разок, са-ама пошла, сама пой-дет! — командует Федорыч, взмахивая обледенелыми рукавами кухлянки.

Из воды появляются мокрый радиатор, капот машины, мощные гусеницы. Забыв о стуже, гроздьями повисаем на таях. Трактор покачивается над водой и быстро покрывается беловатой коркой льда. Бревно заметно прогибается...

— Кабан!

Валимся на обледенелые бревна. Не выдержав многотонной тяжести, обломился один из крюков. Мы замерли. Трактор накренился. Крючья соскальзывают с гусениц один за другим. Машина тяжело плюхнулась в воду и снова погрузилась в пучину. Вода бурлит, сталкиваются обломки льдин. Трактор повис под водой на спасительном тросе. Стальной канат глубоко врежется в край ледяного поля...

— Тьфу, пропасть!

Чертыхаясь, барахтаемся на бревенчатом помосте, хрустит обледеневшая одежда...

— Порядок, выдержит! — кричит Федорыч, махнув на перекладину. Лицо его покраснелось, глаза блестят.

Пришлось снова «выуживать» трактор, зацеплять крючьями траки. Цепи тянули потихоньку, без рывков. И наконец тягач опять повис на таях. Мгновенно закрыли всю полынью накатником. Потихоньку опустили машину на помост и вздохнули с облегчением. Подогнали второй тягач и на буксире вытянули спасенного утопленника на ледяное поле.

Он стоял перед нами весь белый, обвешанный сосульками, точно айсберг после бури. Обледеневшую машину поставили под защиту грузовых саней, накрыли только что сделанным каркасом, натянули на каркас брезент. Ураганный ветер рвал его из рук, надувая точно парус. Края его придавили тяжеленными ящиками с консервами. Получившуюся просторную палатку обвязали канатами. В шатре установили железную печку, которую мы смастерили из бочки, вывели трубу, натаскали угля, разожгли печку и раскалили докрасна. В палатке стало жарко, как в тропиках.

Работали с неистовым воодушевлением... Все понимали, что совершается чудо. Машина оттаяла и обсохла. Федорыч разобрал и прочистил карбюратор. Мы не жалели масла, заливали во все узлы, пазы и зазоры машины, протирали каждый болт.

Наконец механик неторопливо влез в кабину, артистическим движением коснулся рычагов. И... трактор ожил: чихнул, кашлянул и вдруг взревел и зарокотал ровным, спокойным гулом, пересиливая вой пурги и восторженные крики людей.

Из кабины высунулась счастливая физиономия в масляных пятнах, горькие складки на лице разгладились, и следа грусти не осталось в сиявших глазах.

Трудно описать нашу радость. Подхватив Федорыча, мы вынесли его из кабины и принялись подбрасывать к закопченному брезентовому потолку. Всем хотелось чем-то отблагодарить старого механика, так смело и так дерзко выхватившего стального коня из объятий морской пучины.

Я посмотрел на часы: было без четверти шесть. Двенадцать авральных часов пролетели как миг...

И снова наш «крейсер» в пути. Мерцают фосфорическим светом приборы. На коленях у меня та же карта, только сморщившаяся и покоровившаяся после морского купания. В наушниках хрипловатый голос Кости — нарта сторожевого хранения по-прежнему впереди. Рядом на сиденье Федорыч и водитель. Напряженно всматриваемся в сумятицу пурги. Проектор едва пробивает снежную муть, и мы видим только заструги перед носом машины. Что, если опять попадемся в ловушку?

Еще несколько часов скользим по льду Чаунской губы навстречу скрытой, притаившейся опасности. Светает. Наступают короткие сумерки зимнего полярного дня. Пурга стихает, но барометр не предвещает ничего хорошего. Видно, «южак» уgomонился ненадолго, сделал короткую передышку, чтобы обрушиться с новой силой. Судя по карте, почти пересекли огромный залив Чаунской губы и подходим к устью Чауна.

В наушниках зашуршало, и я услышал радостный голос Кости:

— Порядок, Вадим, вижу берег, огни совхоза!

Мы еще ничего не различаем в белесом сумраке стихающей пурги. Нарта с Костей значительно опередила нас. Кричу Федорычу:

— Костя видит берег!

Водитель стирает рукавом мелкие капельки пота. Федорыч облегченно откидывается на спинку кожаного сиденья. Распахивая на ходу дверцу кабины.

Снежная сумятица улеглась, открыв бесконечное белое поле залива, курившееся поземкой. Тракторный поезд, обсыпанный снегом, едва темнел на матовом снегу. Острый, как бритва, ветерок тянул с юга.

— Бр-р... холодина!

Захлопываю дверцу. Сквозь смотровые стекла видим вдали

пустынный и дикий берег, заметенный сугробами. Крутым, обледенелым порогом он поднимается над помертвевшим заливом. Наверху поблескивают огоньками домики крошечного поселочка, погребенные снегом. Костина нарта, как птица, взлетает на снежный барьер. Собаки, почуяв жилье, несутся галопом, за нартой клубится снежное облако...

Водитель прибавляет газу, тягач устремляется вперед, давя в лепешки мелкие торосы. Проскочили припай, ползем на обледенелую бровку. Капот вздымается к небу. Гусеницы с лязгом и грохотом уминают твердый, как железо, снег, мотор оглушительно ревет. Вползаем выше и выше, волоча на буксире тяжеленные платформы...

И вдруг на самой бровке перед машиной появляется человек в мехах. Он стоит, широко расставив ноги, на пути «снежного крейсера», будто преграждает дорогу в поселок совхоза.

Поджарый, длинноногий, в щеголеватой кухлянке, опущенной волчьим мехом, в штанах из бархатистых шкурок неблюя¹, в белых чукотских торбасах. Откинутый малахай открывает высокий лоб, исчерченный морщинами, прямые черные волосы, спадающие на плечи нестриженными прядями.

Но больше всего поражало его лицо — худощавое, умное, выдубленное морозами, иссеченное глубокими морщинами, с редкой, заостренной бородкой. Любопытство, страх, недоумение отражаются в его темных глазах под насупленными мохнатыми бровями.

На крутом подъеме мы уже не в состоянии свернуть. Водитель включает воющую сирену. Человек в мехах прыгнул в сугроб, освобождая дорогу. На секунду наши взгляды скрестились. В его глазах я прочел испуг и холодную ненависть.

— Кто это? — спросил Федорыч.

— Не знаю... какой-то чукча.

«Снежный крейсер» с грохотом вкатился в поселок. Из домов выбегали люди. С изумлением разглядывали они гремящий железный караван. Костина нарта остановилась у нового бревенчатого домика с красным флагом.

— Газуй туда... там контора совхоза...

ТАЛЬВАВТЫН

И вот... Не решаюсь пошевелиться. Теплая щечка Геутваль покоится на моей ладони, согревая ее своим теплом. Девушка спит безмятежно и крепко — видно, во сне соскользнула с мехового изголовья.

¹ Неблюй — осенний теленок первого года рождения.

В пологе пусто — никого нет. За меховой портьерой в чоттагине¹ кашляет Эйгели, позванивая чайником, — раздувает огонь в очаге. Потихоньку встаю.

Душно, приподнимаю меховую портьеру, жадно вдыхаю свежий морозный воздух. Уже светло. Оленья шкура у входа откинута, и неяркий свет зимнего дня озаряет сторбившуюся над очагом Эйгели.

Черт побери! Проспал...

Давно пора ехать навстречу Косте. Поспешно натягиваю меховые чулки, короткие путевые торбасы. Они высушены и починены, внутрь положены новые стельки из сухой травы. Видно, постаралась заботливая Эйгели. Влезаю в свои меховые штаны, сшитые из легкой шкуры неблюя, туго завязываю ремешки. Выбираюсь из теплого полога, прихватив из рюкзака полотенце.

— Здравствуй, Эйгели!

Старушка закивала, добродушно щуря покрасневшие от дыма глаза. Согнувшись в три погибели, перешагиваю порог яранги...

Белая долина облита матовым сиянием. Вершины, законные в снежный панцирь, дымятся. Там, наверху, ветер — вьются снежные хвосты.

А здесь, на дне долины, тихо. Ребристые заструги бороздят замерзшую пустыню. Все бело вокруг — долина, горы, небо; белесая морозная дымка сгустилась в распадах. Лишь черноватые яранги нарушают нестерпимую белизну.

Скинув рубашку, растираюсь колючим снегом. Кожа горит, мороз обжигает, стынут пальцы. Полотенце затвердело, хрустит...

Вдруг из яранги вышла Геутваль. Меховой комбинезон полуоткинут, крепкое смуглое тело обнажено до пояса. Она потянулась, волосы ее рассыпались.

С любопытством Геутваль наблюдала мою снежную процедуру. Затем решительно шагнула в сугроб и принялась растирать снегом лицо, оголенные руки, бронзовую грудь.

На пороге яранги появилась Эйгели и замерла в удивлении.

— Какоей! Что делаешь, бесстыдница?! Перестань скорее...

Геутваль своенравно мотнула головкой.

— Простудишься, дикая важенька! На, возьми, — протянул я полотенце.

Геутваль засмеялась, схватила полотенце и стала неумело растираться. Ловко накинула на голые плечи меховой керкер и вернула мне полотенце, изрядно потемневшее.

И вдруг я понял: девушка никогда не умывалась. Позже

¹ Чоттагин — холодная часть яранги.

я узнал, что обитатели диких стойбищ Анадырских плоскогорий не мылись вовсе, называя себя потомками «немоющегося народа».

Чай мы пили втроем: Эйгели, Геутваль и я. Гырюлкай и Ранавнаут ушли к стаду. Тынэтэгин отсыпался в своем положении после ночного дежурства.

Я сказал Геутваль, что поеду встречать своих товарищей, везущих в стойбище товары.

Девушка взволновалась и заявила, что не останется в стойбище одна.

— Тальвавтын обязательно приедет, силой забирать к себе будет. Очень плохой старик, все равно — волк! — воскликнула она, драматически заломив руки. — Возьми меня с собой!

Ее решительное заявление смутило меня. Костю с караваном я рассчитывал встретить далеко за Голубым перевалом. В ледяной трубе ущелья можно было заморозить Геутваль. Но больше всего меня смущало то, что юная охотница незаметно завладевала моей душой.

— Буду тебе пищу готовить, одежду чинить в пути... — решительно проговорила она.

Что-то живое и теплое мелькнуло в ее глазах. Это окончательно привело меня в смущение. Я молчал, не зная, что ответить. Одолевали сомнения: имею ли право дружить с Геутваль, не предавая Марию?

«Но ведь Геутваль действительно нельзя оставить в стойбище на произвол судьбы. Тальвавтын может нагрязнуть каждую минуту и увезти к себе...»

— Ладно, поедем вместе, только одевайся потеплее, — махнул я рукой.

Геутваль очень обрадовалась, глаза ее вспыхнули торжеством. Наскоро допила чай с печеньем, проглотила кусочки мороженой оленины, достала свой маленький винчестер, повесила на шею мешочек с патронами, вытащила теплую кухлянку, ремень с ножнами.

Быстро увязали нарту. Отдохнувшие собаки понеслись как черти. Геутваль опять устроилась позади, уцепившись за мой пояс. В душе я проклинал своенравную девчонку, и все же... я охотно принял ответственность за ее судьбу: мне приятно было оберегать ее от всех опасностей и бед...

Собаки, повизгивая, галопом мчались по вчерашнему следу. Не прошло и часа, как мы очутились у ворот перевальной ложбины. Белый желоб, где я встретил Геутваль, круто поднимался вверх к скалистой, зияющей щели на гребне перевала.

Снизу, со дна долины, высоченные стены ущелья казались крошечными, а грозные снежные карнизы — безобидными козырьками.

Ущелье дымилося снежной поземкой, и я невольно по-ежился, представив обжигающий ледяной вихрь, дующий на-верху в обмерзшей каменной трубе.

— Олени! — пронзительно закричала Геутваль.

Я затормозил, вонзив остол в наст. Высоко-высоко из щели перевала высыпались в белую ложбину темноватые черточки, как будто связанные незримой нитью. Ущелье выстреливало и выстреливало связками нарт.

— Караван!

Неужели Костя и Илья успели осилить длинный путь?! Ведь я оставил караван далеко за перевалом, у границы леса по Анюю. Растянувшись бесконечной цепочкой, олени нарты скользили вниз по белому желобу быстрее и быстрее.

Пришлось поскорее убираться с дороги. Псы уже водили носами, чуя приближающихся оленей.

Гоню упряжку к противоположному борту долины. Там опрокидываю нарту, ставлю на прикол, и, награждая собак тумаками, вцепляемся вместе с Геутваль в потяг.

Вереница оленьих нарт скрылась в глубине перевальной ложбины. И вот уже из белых ворот распадка вылетают первые олени. Впереди на легкой нарте мчится сломя голову Костя — большой, рыжебородый, в заиндеветших мехах. На поводу у него длинная связка упряжек. Он погоняет своих оленей что есть мочи, ускользя от галопирующих позади упряжек.

Нарты взметают облако снежной пыли. Костя похож сейчас на мифического бога, слетающего в облаке с небес.

— Ну и сорвиголова!

Только он мог решиться на спуск галопом с грузовыми нартами с незнакомого перевала.

Костя гонит упряжки во всю прыть, освобождая дорогу следующей связке каравана. Ущелье наверху опять выстрелило вереницей нарт. Это по следу Кости устремился вниз Илья с главной частью каравана, удостоверившись в благополучном спуске Костиных нарт.

Заметив собак, Костя круто завернул оленей и остановил свою связку поодаль от нашей упряжки.

— Гром и молния! — рокотал он, соскальзывая с нарт. — Вадим, Вадимище, жив?!

Он бежал к нам, перепрыгивая заструги. Собаки, натягивая постромки, хрипели, лаяли, визжали — они узнали Костю. Лицо его раскраснелось, борода, усы, брови обледенели.

Геутваль растерянно смотрела на бородатого великана, тискающего меня в медвежьих объятиях.

— Ух и гнали по твоему следу! Слабых оленей бросали. Думали, прихлопнут тебя тут, как куропатку... А это что за чертенок?!

— Дочь снегов, прошу любить и жаловать, пастушка Тальвавтына.

— Тальвавтына? Ты видел Тальвавтына?! Етти, здравствуй,— кивнул Костя девушке.

— И-и...— едва слышно ответила присмирившая Геутваль.

Из ложбины вылетели в долину сцепленные упряжки. Их благополучно спустил с перевала Илья. Сгорбившись, старик восседал на своей легкой нарте, весь запорошенный снегом. Вся долина перед ними заполнилась грузовыми саними и оленями.

Илья подошел неторопливо, сдерживая волнение. Он уже успел закурить свою трубочку. Я обнял старика.

— Хорошо... жива Вадим... правильно,— бормотал он, смахивая с покрасневших век слезинки.— Эко диво! Откуда девка взялась?

Взволнованно я оглядывал похудевших товарищей. Нелегко было им с махиной грузового каравана продвинуться так быстро по следу моей легкой нарты в Белую долину.

Ох и вовремя друзья подоспели! Теперь я не один. Мы вступали в царство Тальвавтына рука об руку с верными друзьями, с армадой нарт, доверху груженных драгоценными в этой позабытой стране товарами...

К стойбищу подъехали засветло. Я мчался впереди на собаках. За мной следовали Костя, Илья с длиннющими караванами нарт. Замыкала шествие Геутваль. Она выпросила у Ильи связку нарт и управлялась с ними не хуже мужчин.

Ну и подняли мы гвалт в стойбище! Из яранг выбежали Гырьюлкай, Тынэтэгин и Эйгели. Нарты подходили и подходили. Скоро вокруг яранг образовался целый кораль. Оленей распрягали сообща, сбрасывали лямки и пускали на волю. Уставшие животные брели к ближней сопке, где паслись ездовые олени стойбища.

Тесной компанией собрались в пологе Гырьюлкай. Костя, сбросивший кухлянку в чоттагине, блаженно потягивался в тепле мехового жилья. Илья, разоблачившись, уселся на шкурах, спокойно посасывая трубку. Геутваль примостилась рядом со мной на шкуре пестрого оленя. Она не отходила от меня ни на шаг.

— Ну и везет же тебе, Вадим,— усмехнулся Костя.— Дон-Кихот с верным оруженосцем...

— Что говорит рыжебородый? — встрепелась Геутваль.

— Говорит: ты все равно олененок, а я важенка.

Геутваль прыснула и смутилась.

Эйгели поставила на низенький столик блюдо дымящейся оленины, я развязал рюкзак, уставил стол яствами и стал рассказывать Косте о ночном посещении помощников Тальвавтына и неудавшемся похищении Геутваль.

И тут в чоттагине что-тобрякнуло и загремело, полог за-колебался. Появился Тынетэгин, бледный и встревоженный.

— Тальвавтын едет! — хрипло крикнул юноша.

В пологе поднялся переполох. Толкаясь, мы ринулись из яранги. К стойбищу галопом мчалась одинокая упряжка белых оленей. Человек на легкой нарте бешено погонял их. Беговые олени неслись вихрем, разбрасывая комья снега.

Приезжий круто затормозил перед коралем из нарт. Гырюлькай, сторбившись, вышел навстречу гостю.

— Етти, о етти...

— Эгей, — отрывисто ответил гость.

Гырюлькай согнулся в три погибели, распрягая белых оленей. Я не верил глазам: перед нами стоял сухопарый, длинноногий человек в щеголеватой кухлянке, с лицом, иссеченным морщинами, с редкой, заостренной бородкой. Тот самый, что преграждал путь нашему «снежному крейсеру» на далеком берегу Чаунской губы.

Приезжий с напускным безразличием оглядывал армаду грузовых нарт. В глазах его, свирепых и бесстрашных, мелькнула тревога.

— Здравствуй, Тальвавтын, — протянул я ему руку.

Глаза старика вспыхнули и погасли: он узнал меня. Небрежно прикоснулся рукавицей к моей ладони.

— Однако, не прошли сюда твои железные дома? — язвительно спросил он по-русски, кивнув на загруженные нарты.

— Больно далеко живете...

Гырюлькай встречал Тальвавына как почетного гостя. Усадил в полог рядом со мной на шкуре пестрого оленя. Геутваль не ушла к женщинам и пристроилась тут же у моих ног. Вся ее напряженная фигурка выражала дерзкое упрямство. Она словно не замечала Тальвавына, всем своим существом понимая, что новые друзья не дадут ее в обиду.

На Гырюлькай жалко было смотреть. Старик сник, сторбился, робко и виновато поглядывал на Тальвавына. Тынетэгин сидел с каменным лицом, и лишь посеревшие скулы выдавали его волнение.

Я задумался. История с Геутваль могла поссорить нас с Тальвавыном и, может быть, сорвать все предприятие с закупкой оленей. Но оставить девушку без защиты, на произвол судьбы мы не могли. Как спасти ее, не нарушая дипломатических отношений с властным стариком?

Тальвавына поразило, видно, обилие яств на столе Гырюлькай. Но он невозмутимо пробовал печенье, сгущенное молоко, консервированный компот, джем, шоколад, конфеты...

Костя раскупорил флягу с неприкосновенным запасом и разлил всем понемногу спирта. Угощение получилось на славу.

И вдруг Тальвавын спросил по-чукотски, жестко и зло:

— Почему девку не пускали? Он,— кивнул Тальвавын на Гырюлькаю,— много мне должен...

В пологе стало тихо. Геутваль побледнела. Эйгели перестала разливать чай — у нее дрожали руки. Ранавнаут замерла. Тынэтэгин весь напрягся. В пологе было душно, как перед грозой.

И вдруг меня осенило:

— Скажи, Тальвавын, много ли Гырюлькай тебе должен?

— До смерти не отдаст,— холодно усмехнулся Тальвавын.

— Нужны ли тебе хорошие товары?

Тальвавын внимательно и остро посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде светилось любопытство.

— Оставь Гырюлькаю девку, бери любой выкуп, сам выбирай товары...

Долго молчал Тальвавын, покуривая длинную трубку. Лицо его было непроницаемо. Молчал и Костя, изумленный неожиданным поворотом дела.

— Все равно купец...— одобрительно сказал наконец Тальвавын,— девку покупаешь.— Он переборол злость.— Ладно, пойдем торговать...

Напряжение разрядилось. Эйгели шумно вздохнула и принялась поспешно разливать чай. Гырюлькай словно проснулся от глубокого сна. Лицо Тальвавына разгладилось, мелкие капельки пота выступили на скулах. Геутваль заерзала на своем месте...

Все вышли из яранги и направились к нартам. Костя распаковывал тюки и показывал товары, как заправский приказчик. Тальвавын неторопливо выбирал. Представление о ценности товаров у него было своеобразное. Он отложил два мешка муки, медный чайник, ящик с плиточным чаем, мешок с пампушками черкасского табака и болванку свинца. Таков был выкуп, назначенный Тальвавыном за девушку.

— Дьявольщина! — ворчал Костя, увязывая нарты.— Приехали покупать оленей, а покупаем людей. Ну и влетит нам, Вадим.

— Не влетит...— тихо ответил я.— Просто отдали долг Гырюлькая...

И все-таки меня грызла тревога: правильно ли поступил? Выкуп Геутваль не лез ни в какие ворота. Но что могли мы поделать? Тут, в сердце Анадырских гор, властвовали законы старой тундры. И пока мы не в состоянии были их изменить.

Гырюлькай и Тынэтэгин сложили трофеи Тальвавына на пустые нарты и крепко увязали чаутами, оставленными впопыхах ночными пришельцами.

Дипломатическая беседа продолжалась. Все вернулись в

полог и устроились вокруг столика. Геутваль от избытка чувств, не стесняясь Тальвавтына, положила свою черноволосую голову ко мне на колени. Невольно я погладил ее спутанные волосы. И вдруг девушка взяла мою ладонь и доверчиво прижалась щекой, окончательно смутив меня.

— Раз купил — терпи,— усмехнулся Костя, заметив мое смущение.

Тальвавтын спокойно пил чай, не обращая ни на что внимания. Глубокие морщины бороздили скуластое, смуглое, как у индейца, лицо. Я искал повод заговорить и не решался начать важный разговор.

Тальвавтын опередил меня.

— Зачем приехал в Пустолежащую землю? — нахмурившись, спросил он.

— Приехали к тебе в гости — оленей торговать.

Тальвавтын не выразил удивления. Видно, о цели нашей поездки хитрец давно уже знал. Недаром встретил нас в поселке на берегу Чаунской губы, в преддверии Пустолежащей земли. Видно, на разведку приезжал.

— Зачем тебе оленей? — насмешливо прищурился он.

— Табуны держать будем далеко в тайге, где люди золото копают, дороги, дома строят. Много людей кормить нужно.

— Как будешь чукотских оленей в тайге держать? Дикие они... обратно уйдут...

— Хорошие у нас пастухи. Изгороди на темные ночи строим. Большие совхозы там есть. Оленей, что у тебя купим, погоним на Омолон.

Тальвавтын задумался. Глаза его стали холодными и жестокими.

— Живых оленей чаучу¹ не продают,— резко сказал он.

— Много товаров хороших привезли, меняться будем. Деньги платить за каждого оленя и товары разные давать в придачу.

Тальвавтын задумался, выпуская из трубки синие кольца дыма.

— Давно это было,— заметил Костя,— чукчи много живых оленей американцам продали... на Аляску.

Тальвавтын холодно кивнул:

— Мой отец тоже чаучу был — не хотел продавать живых оленей мериканам...

На этом дипломатический разговор закончился. Тальвавтын пил и пил чай, перебрасываясь с Гыркулькаем односложными замечаниями о своем стаде. Он спросил меня, где «железные дома», и я ответил, что из Чауна ушли обратно в Певек.

¹ Чаучу — древнее самоназвание континентальных чукчей-оленьеводов.

Спросил и о войне: кончилась ли она совсем?

Простыми словами я рассказал ему о капитуляции Японии, о новостях, тревоживших мир. Тальвавтын внимательно слушал, не выказывая любопытства. Но о продаже оленей больше не обмолвился ни словом. Мы тоже, соблюдая тундровый этикет, не возобновили разговора, представлявшего для нас главный интерес.

Закончив затянувшееся чаепитие, Тальвавтын поднялся и хмуρο сказал:

— Приезжай завтра в гости ко мне, в Главное стойбище.

Он перевернул вверх дном чашку на блюде, показывая, что чаепитие окончено.

Тынетэгин побежал ловить ездовых оленей и вскоре пригнал их. Белых впрягли в легковую нарту Тальвавтына. К ней привязали уздечки оленей грузовой связки из двух нарт с выкупом за Геутваль.

— Аттау...¹ — отрывисто бросил Тальвавтын.

Он прыгнул в нарту, беговые олени понесли; откормленные ездовые быки не отставали. Старик унесся как привидение, так же внезапно, как появился.

Радости бедной семьи не было границ. Словно тяжелый груз упал с плеч. Наше появление спасло несчастных людей от голода и неумолимого преследования Тальвавтына.

Тынетэгин торжественно протянул мне свой нож в расписных ножнах. Я знал, что это означает; снял с пояса свой клинок и протянул ему. Глаза юноши заблестели. Этот клинок достался мне на Памире в первой моей экспедиции и был выкован таджикскими мастерами из великолепной шахирезябской стали. Обменявшись ножами, мы с Тынетэгином становились побратимами...

Только поздно вечером уgomонилось веселье в пологе Гырюлькая. Илья отправился спать к Тынетэгину. Мы с Костей остались у Гырюлькая. Улучив минутку, когда Костя вышел из полога, Геутваль на мгновение приникла ко мне и горячо прошептала:

— Мне очень стыдно сказать: я очень люблю тебя. Ты отдал за меня большой выкуп, и теперь я принадлежу тебе. Я буду хорошей, верной подругой.

Девушка юркнула под заячье одеяло и притаилась как мышонок. Признание Геутваль ошеломило и растрогало.

Множество мыслей одолевало меня, и я долго не мог заснуть. В эту ночь приснилась Мария. Она стояла на коленях на плоту среди бушующего океана, как Нанга когда-то во время тайфуна, и протягивала тонкие белые руки. Ее светлые волосы трепал ветер, и слезы бежали по лицу. Во сне мне сделалось невыносимо грустно...

¹ Аттау (чукот.) — до свидания (дословно: я пошел).

Утром мы устроили настоящий военный совет. Отказ Тальвавына продавать живых оленей ставил нас в очень трудное положение.

— Худо... совсем худо...— говорил Илья, попыхивая трубочкой.

— Ну его к чертовой бабушке! — разорялся Костя. — Не имеет он права держать столько оленей!

У Гырюлькая мы узнали, что Тальвавын владеет пятью крупными табунами и, судя по всему, скопил в своих руках больше десяти тысяч оленей.

— Целый совхоз захапал! Предъявим ему разрешение окрисполкома на покупку оленей и прижмем ультиматумом!

Пришлось охладить пыл Кости — сгоряча действовать нельзя. Это неминуемо приведет к ссоре с Тальвавыном и сорвет нашу операцию. Ведь с ним кочует многочисленная группа больших и малых оленеводов. Уведет Тальвавын их в недоступные долины и укрепит только свои позиции.

Илья одобрительно кивал. Гырюлькай, которому я перевел существо спора, считал, что уговорить Тальвавына нужно добром:

— В Пустолежащей земле он главный, и его слушают все равно как царя.

Костя тут же заметил, что царя давным-давно спровадили к «верхним людям»...

Но Гырюлькай покачал поседевшей головой и повторил:

— В Пустолежащей земле Тальвавын все равно царь.

Туманно он намекнул, что русские, приходившие год назад с оружием и товарами, ушли к «верхним людям» из Главного стойбища Тальвавына. А нарты с товарами он приказал не трогать и вернуть на побережье.

Сообщение Гырюлькая для нас было новостью. Каждый шаг в этой «стране прошлого» нужно хорошо продумать и сделать с большой осмотрительностью. Мы ступали словно с завязанными глазами по краю пропасти.

— В гости в Главное стойбище поедешь — подарки Тальвавыну привези, — окончил свою немногословную речь Гырюлькай.

Старик преобразился. Прежде никто не спрашивал его мнения на столь важном совете.

— Хитрющую лису подарками не проведешь! — пробурчал Костя.

Тут Илья заёрзал на своем месте.

— Ну говори, старина, что сказать хочешь?

— Ожерелье, Вадим, надо Тальвавыну и шаманам показывать.

— Ожерелье? Какое еще ожерелье?!

— У Пинэтауна я брал... про запас,— хитро сощурился старик.

Он долго шарил за пазухой и наконец вытащил и положил на чайный столик грудку костяных бляшек.

— Ожерелье Чандары?! — воскликнул Костя.

— Какомей! — тихо ахнул Гырюлькай.

С недоверием и страхом уставился он на грудку крошечных медвежьих голов, сцепившихся клыками, виртуозно выточенных из кости.

— Знак главного ерыма! ¹ — прохрипел Гырюлькай, не решаясь притронуться к ожерелью. — Везде Тальвавтын ищет костяную цепь, у людей спрашивает, сундуки стариков смотрит. Все, что попросишь, отдаст Тальвавтын тебе за большой знак ерымов!

Милый, мудрый Илья! Как он догадался прихватить с Омолона амулет Чандары? Собираясь на Чукотку, я и не подумал, что ожерелье может нам пригодиться. Эта красивая вещица, снятая с груди умершего Чандары, хранилась у Пинэтауна и Нанги как семейная реликвия.

— Красный кафтан, золотой нож у олойских чукчей Тальвавтын нашел,— продолжал Гырюлькай,— анюйские чукчи привезли ему денежные лепешки с блестящими лентами, старинные бумаги с висячей красной печатью...

Я осторожно расправил костяную цепь и надел на шею. Медвежьи головы загремели, сцепившись клыками, улеглись на груди ровным рядом.

Гырюлькай застыл. Потом торопливо проговорил:

— А этот главный амулет Тальвавтын не нашел — совсем пропал куда-то. Как тебе достался? Ты сын ерыма? — согнувшись в три погибели, спросил Гырюлькай.

Костя прыснул:

— Только этого не хватало, попадешь еще в самозванцы, Вадим, чукотским царем станешь.

— У чукотских ерымов, Костя, были и русские жены, и нет ничего удивительного, если у меня в жилах потечет королевская кровь. Впрочем, шутики в сторону. Ну что ж, подарим Тальвавтыну ожерелье Чандары, а?

— Не вздумай отдавать старому хрычу, пока оленей не продаст,— стукнул кулачищем Костя.

Столик Эйгели скрипнул и зашатался.

— Красиво... — тихо произнесла по-чукотски Геутваль, осторожно коснувшись ожерелья смуглыми пальчиками.

В стойбище к Тальвавтыну решили ехать не откладывая,

¹ Ерым — до революции верховный князь чукчей, наделенный царской властью.

втором с Костей и Гырюлькаем. Костя с Ильей отправились чинить легковую нарту к предстоящей поездке, Гырюлькай и Тынэтэгин — ловить ездовых оленей. Эйгели хлопотала в чоттагине. Мы с Геутваль остались в пологе одни.

После вчерашнего признания Геутваль была грустна и молчалива. Я сказал девушке, что хочу о многом с ней поговорить, но плохо знаю чукотский язык и боюсь, что она не поймет меня как следует.

Геутваль взволновалась и заявила, что она хорошо понимает мой разговор и постарается понять все, что скажу.

Я взял ее маленькую, шершавую ручку — она потонула в моей ладони — и сказал, что люблю ее, как брат любимую сестру, что мне приятно оберегать ее от всех бед и опасностей, что я всегда буду дружить с ней, но далеко-далеко на Большой земле у меня есть невеста и мы любим друг друга, что ее зовут Мария, она уехала два года назад с Омолона на материк и я очень скучаю о ней.

Из нагрудного кармана я извлек свой талисман — портрет в овальной рамке — и долго растолковывал, что это бабушка моей невесты, когда она была молодая, и что Мария очень похожа на нее: «Портрет — все равно Мария».

Растолковать все это было очень трудно, приходилось долго подбирать незамысловатые чукотские слова. Но Геутваль кивала черноволосой головкой и как будто все понимала.

Осторожно она взяла миниатюрный портрет, написанный акварелью. Долго и пристально разглядывала бледнолицую незнакомку в бальном платье, с большими печальными глазами и наконец тихо проговорила:

— Хорошая твоя невеста, умная...

Потом сказала, что сгорает от стыда и просит выбросить из головы вчерашний ее разговор. Меня поразила живой ум и необычайный такт чукотской девушки.

Геутваль спросила, где сейчас Мария и что она делает.

Объяснить это было еще труднее.

— Понимаешь, Мария уехала далеко-далеко, в свою родную страну — в Польшу. И делает так, — невольно вырвалось у меня, — чтобы поляки и русские были братьями и никогда больше не ссорились...

Геутваль, волнуясь, пылко воскликнула:

— Я не умею, как сказать: всем людям надо стать братьями! И чаучу, и русским, и полякам. — «Полякам» она произнесла с чукотским гортанным акцентом и совершенно покорила меня.

Геутваль взволнованно замолкла. Подумав, она спросила, как маленький следователь:

— Почему твоя невеста так далеко уехала без тебя и вернется ли она к тебе?

Этот вопрос поставил меня в тупик. Наконец я ответил:

— Не знаю... давно от нее нет вестей...

В глазах девушки блеснули искорки. Она еще что-то хотела спросить.

Но объяснение наше прервал Костя — он влез в полог, разгоряченный и красный.

— Нарты готовы! Ого, Вадим, молодчина, свою суженую показываешь!

— Рассказываю, чтоб ясно все было.

— Хвалю... Заморочил ты девчонке голову... Ну, поняла? — обратился Костя по-чукотски к девушке. — Невеста у него любимая есть...

Что-то живое, теплое и вместе с тем лукавое мелькнуло в глазах Геутваль. Стремительно она поднялась на колени, поцеловала меня и бросилась вон из полога.

— Ну и дьяволенок! — опешил Костя.

Гырюлькай и Тынетэгин пригнали ездовых оленей. Они выловили шестерку своих лучших беговиков.

— Поедем, как важные гости, — улыбнулся старик.

На легкие нарты положили самое необходимое — спальные мешки и рюкзак с продовольствием. Геутваль принесла свой маленький винчестер и протянула мне:

— Спрячь в спальный мешок... может быть, стрелять надо...

— Ай да молодец! — восхитился Костя. — Бери, Вадим, перестреляют, как куропаток, и отбиться нечем...

Я не взял оружие, поблагодарив юную охотницу. В стойбище мы отправлялись как гости и взяли лишь подарки Тальвавтыну: мой «цейс» — великолепный двенадцатикратный бинокль, ожерелье Чандары и рюкзак отборных продуктов.

На душе у меня скребли кошки — ведь недавно в стойбище Тальвавтына сложили свои головы представители фактории. Неспокоен был и Гырюлькай. Он курил и курил свою трубку, не решаясь идти к нартам. Рядом стояли наши друзья Тынетэгин, Геутваль, Илья — сосредоточенные и молчаливые.

— Может, поеду с тобой? — спросил Тынетэгин, сжимая широкой, сильной ладонью свою длинноствольную винтовку.

Мне очень хотелось взять его с собой, но появление Тынетэгина в Главном стойбище наверняка рассердит Тальвавтына. Я сказал об этом юноше.

Гырюлькай удовлетворенно кивнул, спрятал трубку и шагнул к оленям. Мы с Костей едва успели прыгнуть в нарты — беговые олени как бешеные рванулись вперед. Комья снега полетели в лицо.

Я обернулся: Геутваль замерла, протягивая руки, словно удерживая нарты. Лицо ее побледнело.

Вихрем мы уносились навстречу опасности...

Погонять быстходных оленей не приходилось — они мча-

лись во всю прыть. Нарты оставляли позади длинный хвост снежной пыли.

Главное стойбище было где-то недалеко — в соседней долине. Как птицы, взлетели на пологий перевал. Впереди, среди белых увалов, открылась широченная снежная долина, словно приподнятая к небу. Повсюду на горизонте вставали белые пирамиды сопок с плоскими, столовыми вершинами. У подножия дальнего увала поднимались в морозном воздухе голубоватые дымки.

Гырюлькай остановил оленей и обернулся. На его посеревшем лице мелькнула жалкая улыбка.

— Стойбище Тальвавтына... — сказал он каким-то глухим, сдавленным голосом.

Крошечной группой мы сошли на седловине, волнистой от застругов. С любопытством рассматриваем необычные столовые сопки. Наконец-то ступили на порог таинственных Анадырских плоскогорий! Гырюлькай достал кисет, набил непослушными пальцами трубку и закурил. Я вытащил из-за пазухи свой «цейс» и навел на голубые дымки.

Близко-близко я увидел дымящие яранги, множество нарт, оленей и черноватые фигурки людей, столпившихся на окраине стойбища. Мне показалось, что они смотрят на перевал, где мы стоим. На таком расстоянии они могли видеть лишь точки. Я протянул Гырюлькаю бинокль и спросил, почему так много людей там.

Старик, видимо, впервые видел бинокль. Я помог ему справиться с окулярами.

— Какомей, колдовской глаз! — воскликнул он, увидев стойбище необычайно близко. — Все старшины собрались, нас заметили...

Костя нетерпеливо потянулся к биноклю.

— А ну давай, старина.

Но Гырюлькай не хотел расставаться с невиданными стеклянными глазами.

— Орлиный глаз! — восхищенно чмокал он. — Однако, ждут нас, — отдавая наконец бинокль, проговорил он с нескрываемой тревогой.

— Заметили, черти, суетятся, в кучу сбились, побежали куда-то... готовят прием... — бормотал Костя, подкручивая окуляры. — Не разберу, что они делают? Окопы, что ли...

— Полегче, старина, многие там и русского человека никогда не видали.

— Поехали! — рявкнул Костя.

Беговые олени ринулись с перевала галопом. Никогда я еще не ездил с такой быстротой — прямо дух захватывало. Скоро уже простым глазом мы различали фигурки людей. Но странно: теперь они не толпились на окраине стойбища, а за-

нимались каким-то делом. Копошились у нарт, жгли какие-то костры...

Гырюлькай поравнялся со мной и радостно крикнул:

— Оленьи бега готовят, жертвенные огни зажгли!

Галопом мчмся к стойбищу. Но люди там словно ослепли, не замечали гостей.

— Хитрые бестии! — крикнул Костя. — И виду не подают...

Подъезжаем к стойбищу. Никто не обращает внимания на приезжих. Мужчины готовят нарты, просматривают упряжь, запрягают ездовых оленей. На окраине стойбища, в тундре, женщины жгут костры, кидают в огонь кусочки мяса и жира в жертву духам. Вокруг огня толпятся обитатели стойбища в праздничных кухлянках, шитых бисером торбасах.

На шестах у финиша висят призы: новенький винчестер, пампушки черкасского табака, узелок с плиточным чаем. Тут же привязан к нарте призовой олень.

Останавливаемся у передней, самой большой яранги, неподалеку от призовых шестов.

Люди стараются не смотреть в нашу сторону, но я вижу, с каким напряжением сдерживают они острое любопытство.

Из яранги не спеша вышел Тальвавтын в белой камлейке¹, накинута на кухлянку, отороченную мехом росомахи. Подол камлейки опоясывают нашивки из ярких шелковых лент. На ногах белые как снег чукотские торбаса.

— Ети, о ети! — поздоровался он.

— И-и, — отвечаю я.

— Бега будем делать, — говорит Тальвавтын.

Быстрым взглядом окинул сгорбленную фигуру Гырюлькая, наши великолепные упряжки и, холодно усмехнувшись, спросил старика:

— На беговиках приехал? Давай гоняться будем...

Гырюлькай радостно кивнул. По внезапному наитию я прошагал неторопливо сквозь расступившуюся молчаливую толпу к шестам с призами, снял с груди «цейс» и повесил на самый высокий шест.

Зрители сгрудились вокруг. От нарт бежали мужчины и, смешиваясь с толпой, разглядывали невиданный подарок.

— Хороший твой приз! — громко сказал Тальвавтын. — Быстро сегодня побегут олени...

Толпа шевельнулась и ответила тихим вздохом. Напряжение разрядилось.

— Здорово... вот это номер! — улучив минуту, шепнул Костя.

Подготовка к бегам продолжалась с необычайным возбуж-

¹ Камлейка — чехол из ткани, надевающийся поверх меховой кухлянки.

дением. Драгоценный приз манил гонщиков. Даже Гырьюлькай лихорадочно перепрыгал в свою нарту лучших беговиков из нашей шестерки. В короткой сегодняшней поездке олени получили хорошую разминку, и Гырьюлькай рассчитывал взять «колдовской глаз».

К бегам готовилось полсотни нарт. Оказалось, что в гонках участвует и Тальвавтын... Видно, старик увлекался бегами. Он пошел к своей нарте. Движения его стали мягки и пружинисты, как у рыси, заметившей добычу, глаза сузились, худощавое лицо окаменело.

Белая, утрамбованная ветрами долина, плоская, как дно корыта, была словно создана для оленьих бегов. Одета плотным настом, она тускло отсвечивала в неярком свете короткого зимнего дня.

Нарты одна за другой выезжали на старт. Гырьюлькай поставил свою упряжку справа от Тальвавтына. Позади гонщиков сгрудились все обитатели стойбища. Мы с Костей очутились в самой гуще пестрого сборища.

Вперед вышел сгорбленный старик в кухлянке с красными хвостиками крашеного меха на спине и рукавах — видно, шаман — и, подняв блеснувший винчестер, выстрелил...

Нарты ринулись, поднимая тучу снежной пыли. Упряжки, обгоняя друг друга, неслись сломя голову. Постепенно они вытягивались гуськом и скоро скрылись за низким увалом у дальнего поворота долины.

Без Тальвавтына нас меньше дичились. Женщины с любопытством разглядывали наши бороды, чему-то улыбаясь. Черноголазые ребятишки в меховых комбинезонах жались к матерям, опасливо посматривая на чужеземцев. Молодые чукчи, собравшись вместе, тихо переговаривались, доброжелательно поглядывая в нашу сторону. Только старики демонстративно отворачивались.

В толпе я заметил двух молодцов с знакомыми лицами — угрюмыми и неприятными. Они избегали попадаться мне на глаза. За спиной у них поблескивали винчестеры.

— Вон наши ночные гости, — толкнул я Костю локтем, — чауты нам оставили.

Костя обернулся...

С полчаса длилось томительное ожидание. И вот толпа зашевелилась, зашумела. Из-за дальнего поворота вылетали нарта за нартой. Зрители расступились, образовав широкий коридор у финиша.

Две нарты, опередив остальные, мчались к стойбищу почти рядом.

— Ого!

— Тальвавтын и Гырьюлькай!

— Молодец старина!

— Аррай! Аррай!

— Уг-уг-уг!

— Хоп-хоп-хоп!

Все были охвачены необычайным возбуждением. Олени неслись галопом, высунув розовые языки. Упряжка Гырьюлкай на полкорпуса опередила тальвавтыновских красавцев. Оба гонщика, согнувшись на своих нартах, погоняли оленей. Упряжки мчались, словно связанные невидимым ремнем. Расстояние между передовой парой и остальными нартами увеличивалось.

— Гэй, гэй, аррай! — подпрыгивали зрители, хлопая рукавицами.

Костя рокотал раскатистым басом.

— Гырьюлкай! Гырьюлкай! Давай, давай, старина!..

Чувствуя близость финиша, олени выкладывали последние силы. Тальвавтын привстал на коленях, со свистом рассекая воздух погонялкой; он что-то кричал оленям, теснил нарту Гырьюлкай. Лицо его помолодело, горело азартом. И вдруг мне показалось, что Гырьюлкай не хочет обогнать Тальвавтына. Он по-прежнему погонял оленей, согнувшись в три погибели, едва заметно уступая Тальвавтыну дорогу.

Морды их оленей поравнялись, Тальвавтын уже на четверть корпуса впереди. И вдруг он почти встал на своей нарте, бешено погоняя упряжку. Олени рванулись и... вырвались вперед у самого финиша. Молниями промелькнули мимо упряжки. Через секунду навалились и остальные нарты. Снежная пыль заволокла все вокруг...

Бега закончились. К шестам подошли Тальвавтын и Гырьюлкай.

— Быстроноги твои олени... — хрипло говорит Тальвавтын, — хорошо бежали...

Скрывая волнение, Тальвавтын неторопливо снял драгоценный приз. Гырьюлкай отвязал призового оленя. Новенький винчестер достался краснолицему юноше в кухлянке, подбитой волчьим мехом, — сыну главного шамана. Плиточный чай и пампушки табака поделили между собой двое чукчей с суровыми лицами, исполосованными глубокими, как шрамы, морщинами.

Все были довольны. Я понимал, что Гырьюлкай в последнюю секунду добровольно уступил победу Тальвавтыну, не желая, видимо, осложнять накаленную обстановку.

— Вот так старина, — тихо сказал Костя, — ну чем не дипломат!

Вокруг Тальвавтына толпились мужчины, поздравляли с выигранной гонкой, по очереди прикладывались к биноклю, удивленно цокали, разглядывая далекие вершины. Прирожденные оленеводы и пастухи оценили необыкновенный приз.

С таким «колдовским глазом» очень легко было искать отколовшихся от табуна оленей.

Костя обратил внимание на обилие оружия в стойбище. Почти на каждой нарте лежал винчестер. Многие молодые чукчи стояли с небрежно закинутыми за спину винтовками. Люди Тальвавына были вооружены до зубов. Но больше всего нас поразило состояние оружия: новенькие винчестеры блестящие, точно купленные в оружейном магазине.

Винчестеры на Чукотке остались со времен контрабандной торговли американцев. За многие годы после запрета хищнической торговли винчестеры изнашивались, истерлись...

— Откуда раздобыли новое оружие, черти? — удивился Костя.

Тальвавын пригласил нас в свою просторную ярангу. Внутри висел громадный полог, по крайней мере втрое больше, чем у Гырюлька. Мы с Костей сбросили в чоттагине кухлянки и влезли вслед за Тальвавыном в большую меховую комнату.

Жирник, похожий на блюдо, освещал роскошное меховое жилище. Пол устилали пушистые белые оленьи шкуры. У светильника висела пышная связка старинных амулетов — «семейных охранителей» — идолов, вырезанных из дерева, украшенных кусочками меха.

На шкурах восседала старуха в богато расшитом керкере и курила длинную трубку. Она кашляла, бормотала какие-то проклятия и не обращала ни малейшего внимания на гостей. Тальвавын резко оборвал ее. Она спрятала трубку, зашипела, как змея, и выбралась из полога.

— Ну и карга! — проворчал Костя.

Тальвавын расположился на шкуре пестрого оленя, пригласил сестр рядом, вытащил трубку с блестящим медным запальником и неторопливо закурил.

Старуха внесла низенький столик и поставила перед нами. Она не переставала что-то бурчать себе под нос. В полог поодиночке вползали люди. Молчаливо усаживались на оленьих шкурах вокруг столика. Меня поразили их лица: выдубленные полярными морозами, иссеченные морщинами, насупленные. Их соединяло какое-то общее выражение, словно родных братьев. Я пытался уловить это выражение и вдруг понял — высокомерие.

В отблесках огня лица их напоминали мрачные и неподвижные жреческие маски. У многих на руках болтались хвосты крашеного меха. Видно, тут собрались старшины и шаманы стойбищ, подчиненных Тальвавыну. Все они невозмутимо покуривали длинные трубки, точно индейские вожди на военном совете.

— Вот так синклит... — усмехнулся Костя.

Я спросил Тальвавтына, много ли у него стойбищ в подчинении.

— Считай,— ответил он небрежно, кивнув на людей.— Каждый человек — стойбище...

— Недурно! Двадцать гавриков,— констатировал Костя.

Тут портьера зашевелилась, и в полог явилось еще двое — те самые парни с угрюмыми физиономиями. Они уселись напротив нас, в темном углу полога, положив на колени винчестеры.

— Ничего себе...— прошептал Костя,— целая батарея...

Невольно я подумал, что именно эти парни спроводили к «верхним людям» наших предшественников. Мы сидели перед этой грозной батареей, освещенные светильником, беззащитные, как младенцы.

Старуха, кряхтя, втащила деревянное блюдо с горой дымящейся жирной оленины. Видно, для встречи гостей забили яловую важенку. Костя неторопливо поднялся и вышел из полога, провожаемый двадцатью парами внимательных, настороженных глаз.

Никто не притрагивался к дымящемуся мясу. Портьера зашевелилась — в полог вернулся Костя. Он принес с нарты рюкзак с угощениями. Мы устали сидеть перед невиданными яствами, стараясь представить полный ассортимент своих продуктов во всей красе. Костя вытащил даже флягу с неприкосновенным запасом спирта.

Лица оживились. Мясо было сочное и ароматное. Засверкали ножи. Все ели с аппетитом.

Старуха немного смягчилась и перестала бормотать свои проклятия. Она принесла котел с наваристым бульоном, достала из старинного сундучка тонкие фарфоровые пиалы и разлила гостям ароматный навар. Бульон все закусывали галетами.

После бульона Костя ножом вскрыл банки с персиковым компотом и разлил всем в чашки. Десерт понравился. Вожди тянули его крошечными глотками, поддевая скользкие персики ножами. Костя вскрывал все новые и новые банки. Раскрыв последнюю, поднес ее старухе. Она окончательно замолкла и принялась за невиданное угощение, ловко орудуя ножом.

Но Костю она наградила свирепым взглядом, в котором светились неистовая злоба и затаенное торжество.

— Ведьма чертова...— прошептал Костя.

Началось бесконечное чаепитие. Напряжение, повисшее в пологе, немного разрядилось. Лицо Тальвавтына разгладилось, подобрели лица свирепых его помощников. Только двое с винчестерами оставались настороженными, словно к чему-то прислушивались.

Кушанья перемешались. Старуха принесла блюдо, полное розоватых палочек сырого костного мозга. Он таял во рту, как масло. Мы закусывали его конфетами и запивали густо заваренным чаем.

Пламя в жирнике разгорелось, он пылал точно светильник в катакомбах, освещая желтоватыми бликами странное собрание. Двое с винчестерами нетерпеливо поглядывали на Тальвавын. Лицо старика нахмурилось и побледнело. Он едва скрывал возбуждение. Притихли и его помощники. В пологе наступила зловещая тишина.

Кажется, пора...

Незаметно расстегиваю пуговицу на рукаве лыжной куртки. Ожерелье, обмотанное кольцами вокруг руки, соскальзывает вниз. Протягиваю пустую чашку к чайнику старухи. На запястье улеглись кольцами медвежьей головы, сцепившиеся клыками. Ожерелье свободно свешивается с руки несколькими браслетами. Шлифованные костяные бляшки тускло отсвечивают в колеблющемся пламени светильника...

Блестящий носик чайника ходит ходуном. Старуха уставилась на ожерелье, забывлив лить чай. Тальвавын и его старшины словно в столбняке. Все как замороженные смотрят на ожерелье. Изумление, недоумение, страх написаны на лицах.

Старуха, схватившись обеими ладонями за дужку чайника, угодливо принялась наливать мне чай. Ставлю полную чашку около себя, поднимаю руку — костяные бляшки гремят, — ожерелье скользит, как живое, обратно в рукав лыжной куртки. Как ни в чем не бывало застегиваю пуговицу.

Такого эффекта мы не ожидали и с любопытством наблюдаем немую сцену.

Первым очнулся Тальвавын.

— Скажи, откуда у тебя ожерелье наших ерымов?

И тут моя фантазия воспламенилась:

— Последний ваш ерым подарил ожерелье моему отцу на Омолоне. А отец передал его мне, когда я поехал к вам, на Чукотку.

Это была бессовестная ложь, и до сих пор я не могу понять, почему я так ответил Тальвавыну. Я солгал, ввел в заблуждение неграмотных, полудиких людей.

Костя хмыкнул, возмущенно заерзал на своем месте, обалдело поглядывая на меня. Тальвавын опустил голову, глаза его горели. После долгого раздумья он спросил:

— А знаешь ли ты, откуда наши ерымы получили эту костяную цепь?

— Нет, отец никогда не говорил мне об этом...

— Наши ерымы, — гордо проговорил Тальвавын, — были потомками того храброго чукотского вождя, который победил

вашего жестокоубивающего Якунина¹. Сцепившиеся медвежьи головы — знак единения наших племен. Этот вождь получил в наследство от внуков Кивающего головой² — знаменитого чукотского воина, защитившего нашу землю от коряков, отбившего у них большие стада оленей. Вождь, победивший вашего Якунина, завещал медвежью цепь своему сыну. А когда сын состарился, ожерелье получил Галагын — первый чукотский тойон. Этот передал ожерелье своему сыну Яатгыргину — тоже чукотскому тойону. А Яатгыргин, когда умирал, отдал его Омракуургину — первому чукотскому ерыму. Он был все равно что царь.

Меня поразила осведомленность Тальвавтына, и я спросил, откуда он все это знает.

— Древние вести старые люди рассказывают... Очень старые люди видели твое ожерелье у старшего сына Эйгели — последнего нашего ерыма. Он кочевал летом на Олое, а зимовал на Омолоне. Потом, — вздохнул Тальвавтын, — медвежья цепь совсем пропала, и чукотские племена стали жить каждый по себе, каждый по своему разуму. Остались только кафтан ерымов, золотой нож, блестящие лепешки на лентах и бумаги старинные, что белый царь чукотскому царю дарил...

Речь Тальвавтына была куда более красочной. Я пересказываю ее своими словами, хотя и довольно точно, потому что слушал с необыкновенным вниманием и даже просил Тальвавтына повторять дважды непонятные места его речи.

Так вот откуда пошли чукотские ерымы! Тальвавтын несомненно сообщал сведения большой исторической ценности. Особенно меня поразила история ожерелья Чандары. Не случайно Синий орел берег его как символ наследственной королевской власти, легендарные чукотские богатыри считали это ожерелье магическим знаком единения раздробленных племен, а Тальвавтын разыскивал пропавшее ожерелье, чтобы заполучить символическую реликвию в свои руки и укрепить престиж неограниченной власти.

Кое-что из истории известно было и мне. В 1742 году в ответ на непослушание чукчей императорский сенат вынес жестокое решение: «На оных, немирных чукоч военною, оружейною рукой наступать и истребить вовсе». Комендант Анадырской крепости майор Павлуцкий силой оружия и жестокостью пытался выполнить это решение и подчинить непокоренных чукчей, но в 1747 году был разбит чукотским военачальником и убит в бою.

¹ Жестокоубивающим Якуниным чукчи называли в преданиях майора Павлуцкого, проводившего истребительную войну с чукчами по указу сената.

² Кивающий головой — прославленный чукотский военачальник (кивком головы подававший знак о начале битвы).

Царское правительство, решив действовать после неудачной войны с чукчами мирным путем, пожаловало сыну и внукам этого вождя знаки отличия — кафтаны и медали на лентах.

Сто лет спустя Майдель, ученый-путешественник и представитель царской власти в Колымо-Чукотском крае, попытался закрепить у чукчей начальственную организацию, разделив чукчей на ясачные роды во главе с родовыми старшинами и верховным князем Омракуургином. Как символ наследственной верховной власти Омракуургин получил царский кафтан, кортик, инкрустированный золотом, серебряные медали, жалованные грамоты с висячими сургучными печатями. А от своих предков — ожерелье знаменитого чукотского вождя Кивающего головой.

По счастливому стечению обстоятельств, эта старинная реликвия оказалась в наших руках...

— Зачем тебе ожерелье наших ерымов? — спросил вдруг Тальвавтын. — Подари мне костяную цепь.

Я задумался. Пламя светильника освещало суровые лица. Тальвавтын недаром собирал старинные прерогативы власти ерымов. Видимо, старик всеми путями стремился укрепить свою власть в Пустолежащей земле. Но спасут ли его от неумолимого наступления времени старинные побрякушки?

— Тебе, Тальвавтын, нужно ожерелье ерымов, нам — олени. Продавайте пять тысяч важенков. Мы тебе и твоим людям деньги, товары — все отдадим и ожерелье в придачу.

Тальвавтын выслушал предложение не шевельнувшись, опустив голову. Вокруг неподвижно, как мумии, сидели его приближенные. В пологе было душно и жарко. Они могли просто уюкошить нас и овладеть ожерельем и товарами. Я видел, как напрягся Костя, готовый отразить нападение. В темном углу зашевелились парни с угрюмыми физиономиями. Мне почудилось, что дула винчестеров дрогнули, поворачиваются в нашу сторону.

А Тальвавтын неподвижно сидел и молчал, словно погрузившись в забытие. Атмосфера накалялась. Все взгляды обратились к Тальвавтыну. Как будто ждали его сигнала.

— Ты говоришь, — вдруг хрипло спросил он, — что последний ерым подарил костяную цепь твоему отцу? Хорошо... Совет старейшин будем делать — отвечать тебе. А теперь прощай, — нахмурился он, — будем думать.

С облегчением мы выбрались из душного полога. Никто не вышел нас провожать. Гырюлькай, бледный, осунувшийся, ждал у нарт. Видно, не надеялся увидеть живыми.

— Поехали домой, старина, — улыбнулся Костя. — Ну и дьяволы, чуть не прикончили нас. Думал, отправимся с Вадимом к «верхним людям»...

Домой возвращались в полночь, радостные и возбужденные. Звездное небо переливало разноцветными сполохами, ярко светила луна, туманный Млечный Путь уводил куда-то выше перевала в темную пропасть неба.

Олени бежали резво и споро. Хрустел снег под копытами, визжали полозья. Нарты скользили будто по алмазной пыли.

Взлетев на перевал, мы едва не сшиблись с бешено несущимися оленьими упряжками. На передней нарте стояла на коленях Геутваль, погоняя оленей гибкой тиной¹. Кенкель² со свистом рассекал воздух. За спиной у нее блестел винчестер. Позади галопировала вторая упряжка с Тынетэгином, вооруженным длинноствольной винтовкой. Они неслись, как ночные духи, и лишь в последнюю секунду свернули, избегая столкновения.

— Куда, сумасшедшая?!

Геутваль вихрем слетела с нарты.

— Какоей! Жив ты?!

Подбежал Тынетэгин:

— Тальвавтына убивать ехали...

— Ну и дьяволята! — рассмеялся Костя.

Не сговариваясь, мы подхватили Геутваль и стали подкидывать к небу, полыхающему зеленоватыми огнями. Наконец девушка уцепилась за мой жапюшон, и я осторожно поставил ее на сверкающий снег.

— Думала, совсем пропадал... — тихо проговорила она чукотски и вдруг прижалась покрасневшей щекой к обветренному, бородавчатому моему лицу.

Я ощутил нежное тепло девичьих губ.

— Огонь девка! — восхитился Костя и взял ее маленькую ручку в свои громадные ладони.

— Осторожно, не раздави, медведь.

— Не ревнуй, хватит с тебя и Марии, — ответил Костя.

— Что он говорит? — спросила Геутваль.

— Этот говорит, что ревную тебя.

Глаза девушки плутовато блеснули. Все вместе мы стояли рука об руку на обледелом перевале, освещенные северным сиянием. Вороненные стволы винтовок тускло отсвечивали, и казалось, что никакие опасности теперь не страшны нам.

Почему-то пришла на ум песенка из джек-лондоновского романа «Сердца трех». Я обнял Геутваль и громогласно затянул гимн искателей приключений:

Ветра свист и глубь морская!

Жизнь недорого. И — гей! —

¹ Тина — искаженное чукотское «тины» — «прут погонялки».

² Кенкель — костяной наконечник погонялки.

Там, спина к спине у грота,
Отражаем мы врага!

Голос терялся в густом морозном воздухе, а пустой, обледенелый перевал мало походил на палубу корабля. Не было и грот-мачты. Но все равно — песня сложена была о таких же доблестных скитальцах, какими мы себя сейчас представляли.

— Ох и фантазер ты, Вадим! — воскликнул Костя. — А ну, давай еще: и-и раз...

Ветра свист и глубь морская!
Жизнь недорога...

Схватившись за руки, мы протанцевали дикий чукотский танец, увлекая в свой круг оторопевшего Гырьюлька. Вероятно, люди в мехах, пляшущие на пустынном перевале, в прозрачном свете луны имели довольно странный вид.

Спускаясь в Белую долину, мы гнали оленей галопом. В холодной мгле упряжки, посеребренные инеем, мчались гуськом, не отставая, точно летели на серебряных крыльях...

Две недели Тальвавын не подавал о себе вестей. Мы истомились, ожидая ответа. Каждое утро уходим с Гырьюлькаем и Тынетэгином в стадо — помогаем пасти табун Тальвавына. Илья остается в стойбище — сторожить груз. Зимний выпас северных оленей несложное дело. Олени спокойно копытят снег, добывая ягель. Ягельники здесь богатые, никем не потревоженные, одевают землю пушистым ковром. Снег рыхлый, и олени держатся почти на одном месте, не отбиваясь от стада.

Мы разделили громоздкий трехтысячный табун на две части и пасем в двух соседних распадках, не скупивая животных. У оленей хорошо развит стадный инстинкт, и теперь даже отъявленные бегуны не уходят далеко, а прибиваются к одному из косяков.

Утром обходим на лыжах распадки с оленями и следим за выходными следами. Тынетэгин или Гырьюлькай объезжают окрестности на легкой упряжке — «смотрят волчий след»: не появились ли хищники?

Геутвалъ целыми днями пропадает на охоте и возвращается в ярангу только вечером с трофеями: куропатками, зайцами, иногда приносит песка. Ведь она единственный кормилец семьи: Тальвавын, поссорившись с Гырьюлькаем, запретил старику забивать оленей на питание.

Нас поражают олени Тальвавына — все рослые, как на подбор, упитанные, несмотря на зимнее время. Оказывается, олени — страсть Тальвавына. Он знает «в лицо» большинство хороших важенков и хоров¹ во всех своих табунах и безжа-

¹ Хор — самец-производитель.

лостно бракует плохих животных во время осеннего убоя на шкуры и зимнего убоя на мясо. В отел не цацкается с новорожденными телятами.

Все это нам рассказывает Гырьюлкай:

— Тальвавтын велит: пусть остаются только самые сильные и крепкие телята, как у диких оленей. Потому люди, если его слушают, много шкур на одежду и мяса на еду получают...

— Хитрющая bestия,— покачал головой Костя,— трех зайцев убивает: людей приманивает, мехсырье получает и оленей отборных без канители выращивает.

— Ну, положим, такое натуральное хозяйство приносит мало толку Чукотке. Ведь товарной продукции огромные стада Тальвавтына почти не дают.

— Копят, гады, оленей — ни себе, ни людям...— ворчит Костя.

— Если Тальвавтын продаст важенок Дальнему строительству,— примирительно говорю я,— оправдывает свое существование.

— Реквизировать излишки у кулачья надо, слить в товарные совхозы, и баста!

— Пришелся бы ты по душе нашему генералу...

Гырьюлкай рассказывает, что всю жизнь пасет оленей, знает, как держать табун, чтобы олени жирные были. «Все сопки, долины, урочища Пустолежащей земли знаю».

— Эх, хорошо бы Гырьюлкая с семейством заполучить пастухами нашего перегона!...— размышлял Костя.

— Прежде надо выудить оленей у Тальвавтына.

Мы сидим на легковых нартах, покуривая трубки. Перед нами простерся белый распадок, усыпанный оленями. Они спокойно взрыхляют снежную целину.

— Гык!— вскочил Гырьюлкай.— Люди едут.

По длинному склону на увал, где мы расположились, быстро поднимаются две оленьих упряжки. На передней нарте Тынэтэгин. За ним — гость в темной кухлянке и в пушистом малахае. Что-то знакомое было в его подтянутой фигуре.

— Твой приятель пожаловал,— пробурчал Костя.

Нарты подъехали, гость откинул малахай, открыв хмурое, неприятное лицо. Я узнал одного из телохранителей Тальвавтына. Парень избегал моего взгляда. Мы обменялись короткими приветствиями.

— Письмо тебе привез Вельвель,— сказал Тынэтэгин, стирая рукавом капельки пота с коричневых скул,— Тальвавтын писал...

— Письмо? Тальвавтын умеет писать?!

— По-чукотски тебе писал,— ответил юноша.

Посланец молчаливо снял с шеи ремешок с узкой дощеч-

кой, ловко развязал узелок, сдернул ее с ремешка и протянул мне. На дощечке, выструганной из светлой древесины тополя, чернели странные знаки, похожие на иероглифы.

— Что это?— протянул я дощечку Тынэтэгину.

— Тальвавтын говорит: «Согласен два табуна важенок тебе продавать, приезжай — торговать будем...»

— Здорово!— Я едва скрыл радость.— Посмотри, Костя, письменность у них своя!

— Почти, чем у Синих орлов,— удивился Костя.

Действительно, это было уже не простое рисуночное письмо, а почти иероглифы.

Настоящая идеограмма. Каждый знак изображал слово или его значение.

Я вспомнил университетские лекции по этнографии: идеографическое письмо люди придумали в эпоху зарождения государства и развития торговли — потребовалось передавать на расстояние довольно сложные тексты. В чистом виде такое письмо сохранилось на старинных дощечках у обитателей острова Пасхи и Океании.

— Дощечке этой, Костя, цены нет, просто феномен какой-то — идеографическое письмо в двадцатом веке! Наши этнографы с ума сойдут.

Спрашиваю Гырюлька, давно ли люди Пустолежащей земли передают так мысли.

— Десять лет назад Тальвавтын и шаманы стали нас учить... Придумал говорящие знаки чукотский пастух Теневиль. Тальвавтын говорил: «Так рисовать мысли лучше, чем русские учат. Всем понятно — чукчам, ламутам, корякам, юкагирам: одни знаки на всех языках».

— В общем, эсперанто придумали,— усмехнулся Костя.— Ну и бестия Тальвавтын! Под тихую сколачивает здесь свое государство — прибрал к рукам оленей, прерогативы чукотских ерымов, письменность, изобретенную Теневилем, в общем, охмуряет людей Пустолежащей земли...

— И пожалуй, с большим успехом, чем Синий орел,— заметил я.

— Отвинтить Тальвавтыну голову нужно!

— Ну-ну, дружище, потише! Все-таки анадырский король продает оленей нашим совхозам.

— Кто его знает...— с сомнением покачал головой Костя. Я обратился по-чукотски к Вельвелю:

— Скажи Тальвавтыну, что хорошее письмо прислал, завтра приедем торговать оленей.

Вельвель хмуро кивнул. Костя протянул кисет с табаком. Он поспешно набил трубочку. Молчаливо выкурил, коротко попрощался, прыгнул в нарту и понесся вниз по склону к Белой долине. Упряжка скрылась в морозной дымке.

Мимолетная встреча казалась сном. Но в воздухе стоял еще терпкий запах выкуренной трубки Вельвеля, а в руках осталась белая дощечка, изукрашенная необыкновенными письменами. Все понимали важность случившегося. Дощечка с письменами пошла по кругу...

На следующее утро мы с Костей отправились к Тальвавтыну на своей собачьей упряжке. Отдохнувшие собаки неслись во всю прыть, радостно повизгивая, хватая снег на бегу,— им надоело сидеть без дела.

Вот и знакомый перевал. Вдали, у подножия сопки, темнеют яранги Главного стойбища. Подъезжаем ближе и удивляемся — стойбище словно вымерло. Не видно ни людей, ни оленей. Никто не выходит навстречу приезжим.

Ставим упряжку на прикол неподалеку от большой яранги Тальвавтына, идем к шатру, поскрипывая снегом. В чоттагине встретила знакомая старуха. Недовольно пробурчав приветствие, матрона с ядовитой любезностью пригласила в поллог. На белых шкурах, накрывшись кухлянкой, спал Тальвавтын. Необычайно высокого для чукчи роста, он едва вмещался в меховой комнатке.

— Тальвавтын! — притронулся я к спящему.

Старик вздрогнул и сел.

— Гык! Крепко заснул, — пробормотал он, вытаскивая трубку и закуривая.

— Письмо твое получили, торговать оленей приехали.

Старуха поставила свой почерневший столик, принесла чайник и блюдо с замороженным костным мозгом. Костя вытащил из-за пазухи заветную фляжку и разлил спирт в фарфоровые чашки. Спирт мы имели право расходовать в исключительных случаях — только на торжественное угощение, и точно выполняли инструкцию.

Лицо Тальвавтына оживилось.

— Хорошо торгуешь, — заметил он, кивнув на флягу, — давай разговаривать.

На тонких губах мелькнула ироническая усмешка.

Я сразу приступил к делу и сказал, что за каждую важенку мы заплатим по твердой государственной цене.

— Продашь пять тысяч важенок — получишь вот такой сундук денег, — кивнул Костя на деревянный ящик, обтянутый сыромятью, из которого старуха извлекла фарфоровые чашки.

— И в придачу, — добавил я, — все продукты и товары, которые мы привезли с собой.

— Сколько денег? — удивился Тальвавтын. — Как считать буду?

— Купить сможешь две фактории со всеми товарами и домами в придачу.

— Какомей! — Глаза Тальвавтына заблестели.

— Только, чур, важенок продавай отборных — на племя!

— Из разных стад давать буду, — поспешно сказал Тальвавытын. — Только как отбивать будешь?

— Кораль — деревянную изгородь у границы леса — построим.

— Однако, плохо, — покачал головой старик, — важеньки бока намнут о твердую загородку, много выкидышей в отел будет.

Видно, Тальвавытын не пользовался никогда коралем. Мы с Костей отлично знали, что олени, загнанные в кораль, избегают прикасаться к изгороди. Я сказал об этом Тальвавытыну. Он удовлетворенно кивнул — повадки оленей старик знал великолепно. Весной перед отелом чукчи отбивают самцов от отельных важенок, загоняя табун в ограждение из туго натянутых арканов, завешанных шкурами. И олени никогда не сметаю́т шаткой преграды.

— Как пасти купленных оленей будешь? — спросил вдруг старик. В его глазах вспыхнули недобрые искорки.

— Пастухов у нас пока нет, дай нам людей для перегона на Омолон — оттуда нам навстречу наши люди кочуют.

Тальвавытын нахмурился, долго молчал, покуривая трубку, и наконец ответил:

— Нет лишних людей у меня. Как давать стану?

— Много оленей у тебя покупаем — два табуна, — вмешался Костя, — меньше пастухов тебе нужно.

Старик одобрительно хмыкнул — ему понравилась логика ответа. Вообще он с удовольствием вел с нами дипломатическую беседу. Дело было стоящее — он получал большие оборотные средства и действительно мог стать королем Анадырской тундры. Покупая у него оленей, мы невольно укрепляли его могущество. Но людей выпускать из-под своей эгиды Тальвавытыну не хотелось.

— Очень нужны мне люди, — повторил он.

— Не насовсем у тебя просим — на четыре месяца.

Тальвавытын задумался.

— Хорошие подарки, выкуп тебе за людей дадим, — вмешался вдруг Костя.

— А что генерал скажет? — не преминул заметить я.

Костя махнул рукой.

— Его бы сюда, в это чертово пекло! — тихо ответил он. — «С волками жить — по-волчьи выть».

Мы выбросили все козыри. Не согласись старик выделить нам пастухов, вся операция полетит к чертям. Но и Тальвавытын понимал, что, если не даст нам людей, чертовски выгодная для него сделка не состоится. Все решалось на острие ножа.

— Сколько тебе людей надо? — спросил Тальвавытын.

— Человек шесть нужно.

Это было очень мало — вдвое меньше, чем требовалось. Но я понимал, что многого не выудишь. Да и мы с Костей могли помочь пастухам. Кроме того, зимний выпас требует меньше людей, а к весне с Омолона подоспеет выручка.

Долго молчал старик, о чем-то раздумывая, и наконец сказал:

— Ладно, бери пока Гырьюлка, Тынетэгина, Ранавнаут и Геутваль, Эйгели еще — торбаса, одежду чинить.

Тальвавын сделал паузу, затянулся и выпустил синие кольца дыма из длинной трубки.

— И Вельвеля еще возьмешь...

Костя обрадовался. Лицо его покраснелось, глаза заблестели. Его желание сбывалось: семейство Гырьюлка перешло в полном составе к нам.

Но Вельвель... Правая рука Тальвавына. Зачем его подсылают нам?

Но выбора не было, мы ударили по рукам. Может быть, мне показалось, но в глазах Тальвавына мелькнуло торжество. Коварство и хитрость старика мы в полной мере испытали позже.

— Праздник большой у короля устроим, — польстил я старику, — праздник отбоя оленей.

Тальвавын кивнул. Но глаза его оставались холодными и колючими.

Долго пили чай, обсуждая детали предстоящего отбоя. Король Тальвавын посоветовал построить на границе леса у Белой сопки. Ее столовую вершину мы видели с перевала. Тальвавын сказал, что пусть Гырьюлкай кочует с табуном к подножию Белой сопки, а Вельвеля он пришлет к нам завтра в помощь Гырьюлкаю.

Мы обещали выстроить кораль в десять дней — невероятно короткий срок. Но медлить нельзя — приближается время, когда беспокоить стельных важенков небезопасно.

Окончив торг и бесконечное чаепитие, распрощались, договорившись встретиться через десять дней у Белой сопки...

— В толк не возьму, почему старый лис так быстро согласился? — недоумевал Костя на обратном пути.

— Еще бы не согласиться — денежки с неба валятся и продукты на все дикие стойбища Пустолежащей земли.

— В кон ему ударили... — хмуро посетовал Костя, — власть его укрепляем...

Гырьюлкай просто не поверил известию о благополучном завершении переговоров.

— Как живых оленей продавать согласился? — недоумевал он. — Половину богатства отдает.

Геутваль заметила, что тут что-то нечисто: Тальвавын

неспроста так быстро согласился продать оленей — хитрит, как старая лисица.

И все-таки спокойнее стало у всех на душе. Вечером мы собрались в пологе Гырьюлкай. Было уютно и тепло. Казалось, что все преграды рухнули и мы почти у цели. Эйгели и Ранавнаут накрыли чайный столик. Теперь у них был целый сервиз, который мы с Костей преподнесли женщинам из «посудного отдела» своей передвижной фактории.

За чаем я торжественно объявил нашим друзьям, что отныне они пастухи перегонной бригады Дальнего строительства: Гырьюлкай — бригадир, а Эйгели — чумработница. И что каждый месяц они будут получать хорошую зарплату и покупать любые продукты, какие хотят.

Долго мы с Костей растолковывали, что такое зарплата и сколько товаров можно купить на эти деньги.

Гырьюлкай восхищенно цокал, Эйгели прыскала, удивляясь, за что она будет получать деньги, — ведь всю жизнь починала одежду Гырьюлкаю и своим детям даром. Тынэтэгин и Геутваль как замороженные слушали нас, и мне чудилось, что они видят какие-то новые, невидимые для нас горизонты.

Геутваль порывисто поднялась на колени, откинула керкер (в пологе было жарко) и, протянув обнаженную руку к светильнику, воскликнула:

— Мы будем сами себе люди, никогда не вернемся к Тальвавтыну и будем всегда кочевать с тобой, да?!

Глаза ее блеснули. Пылкая ее душа не знала покоя. Тынэтэгин подался вперед. Лицо его покрылось пятнами. Костя сидел притихший и молчаливый, поглядывая с нескрываемым восхищением на бронзовую фигурку Геутваль.

С распущенными волосами, черными и блестящими, девушка походила на жрицу дикого, первобытного племени...

Утром приехал Вельвель. Тальвавын выполнил обещание и прислал его к нам пастухом. Вельвель привез Гырьюлкаю-дощечку с иероглифами — коротким распоряжением перегонять табун к Белой сопке и там ждать подхода остальных табунов Тальвавына.

Я попросил у Гырьюлкай «говорящую дощечку». Так я начал собирать уникальную коллекцию идеографического письма Пустолежащей земли, взбудоражившую впоследствии университетских языковедов...

Несколько дней мы продвигались с табуном и со всем своим караваном вниз по Белой долине, забираясь дальше и дальше в глубь Пустолежащей земли.

Костя ехал задумчивый и хмурый.

— Заманивает нас старый плут в ловушку... сами лезем в капкан.

Но я не видел опасности. Ведь Тальвавын согласился

продать нам оленей и, видно, решил честно выполнить свое обещание.

— Посуди сам,— говорил я Косте,— зачем ему расставлять какие-то ловушки? Ведь расправиться с нами он мог уже давно. Да и сделка чертовски выгодна для него — получает в собственность и законным путем целый «королевский банк» и «универсальный магазин» с товарами.

Но Костя молчал, нахмурившись.

Только на третьи сутки мы подошли к Белой сопке с плоской, как стол, вершиной. На снежных ее склонах чернели мохнатые от древесных лишайников узловатые лиственницы. На речных террасах поднимались более стройные деревья. Граница леса частоколом перегораживала Белую долину.

Ох и обрадовались мы лесу! После бесконечных скитаний в лабиринте голых, безжизненных сопок, закованных в снежный панцирь, деревья казались близкими, родными друзьями.

Яранги поставили на опушке среди лиственниц, утоптали площадку, накололи дров из сухостоя, и сразу лагерь принял обжитой вид. Костя расположил нарты с грузом квадратом вокруг лагеря, оставив лишь узкий проход к ярангам. Получилась маленькая крепость среди снежной тайги.

Время подгоняло: через неделю к границе леса прикочует Тальвавтын с табунами. Надо успеть срубить, как договорились, кораль.

Место для изгороди выбирали всей бригадой. На плоской террасе среди лиственниц нашли просторную опушку. Долго бродили с Костей в снегу, считая шаги, и наконец составили план коралья. Конструкцию его упростили — ведь рук для строительства не хватало.

Костя принес из наших неистощимых запасов новенькие американские топоры на длинных изогнутых ручках, похожие на большие томагавки, и ручную канадскую пилу. Работа закипела.

К сумеркам уложили длинные завалы крыльев. Они суживались воронкой ко входу в будущий вспомогательный загон.

Усталые и довольные, возвращались мы в лагерь.

— Больно хорошо пастухом у тебя работать,— вдруг сказала Геутваль, поправляя выбившиеся из-под капора волосы.

— Ты работаешь не у него,— рассмеялся Костя,— а в Дальстрое, понимаешь, в Дальстрое...

Гырьюлхай шел, поглаживая блестящее лезвие топора:

— Очень нужный, хороший топор!

Приятно было растянуться в теплом пологе, пить горячий чай, уплетать сочную вареную оленину. Все были в приподнятом настроении. Наше настроение передавалось и женщинам. Смешливо переговариваясь, они суетились у чайного

столика. Гырьюлкай и Илья мирно покуривали прокопченные трубочки. На душе у меня было легко и радостно: шаг за шагом мы подвигались к своей цели.

Я спросил Костю, что такое счастье.

— Коо... кто его знает...— рассеянно ответил он, пробудившись от раздумий.

— Хочешь, выдам самое точное, самое верное определение?..

— Ну, выкладывай!

— Счастье, старина,— в достигнутой благородной цели!

Костя обалдело уставился на меня и вдруг, смутившись, отвел в сторону глаза.

Пять суток, почти не отдыхая, рубим и рубим лиственницы. Жерди приколачиваем прямо к стволам деревьев. Особенногодились нам строительные железные скобы. Целый мешок их подарил нам в Чауне Федорыч, прослышав, что собираемся строить первый кораль в центре Чукотки.

К концу недели, совершенно выбившись из сил, окончили хитроумное сооружение и были готовы принять табуны Тальвавына.

Первыми почуяли приближение чужих табунов ездовые собаки. Потом забеспокоились самые неуравновешенные олени, державшиеся по краям стада. Они норовили удрать, отбиться от табуна — разведать манящие запахи. Пасти табун стало трудно. Приходилось то и дело заворачивать беглецов.

Неожиданно в стойбище нагрянул Тальвавын. Он появился у коралья на своей упряжке белых оленей. Старик похудел, глаза его блестели недобрым огнем, но встреча была мирной. Не скрывая изумления, он осмотрел кораль. Видно, впервые видел ловчую изгородь и сразу оценил ее достоинства.

— Пять табунов привел, завтра отбивать будем.

Я предложил начать с табуна Гырьюлкай, полагая, что наши пастухи хорошо знают оленей своего стада, и мы получим в первый же день надежное ядро будущего табуна. Тальвавын хмуро кивнул.

У коралья появлялись всё новые и новые нарты — приезжали старейшины, родственники Тальвавына, возглавлявшие табуны. Собрался весь «цвет» Пустолежащей земли.

Гости важно здоровались со мной, словно не замечая Костю, Гырьюлкай, Илью. Молчаливо разглядывали кораль, перебрасываясь односложными замечаниями. Осматривая ловчую камеру, Тальвавын спросил словно невзначай:

— А какую тамгу будешь ставить?

Его свита притихла, ожидая ответа.

Вопрос о тамге — семейной метке — был особенно важен для обитателей этого острова прошлого. Каждый из них имел

собственную метку — тавро — надрезы на ушах оленей. По числу и форме этих надрезов определялась принадлежность животных.

О своем тавре мы позаботились еще в Магадане. Горький опыт Чаунского совхоза научил нас. Там оленям, купленным у последних магнатов тундры, оставили метки прежних хозяев. И этим не преминули воспользоваться крупные оленеводы. Они расставили свои табуны вокруг пастбищ, где пасся купленный табун. И совхозное стадо растаяло, как сахар в стакане воды. Представителям совхоза оленеводы заявили: «Приезжайте отбивать своих оленей, если узнаете». Буранов после этой истории имел крупные неприятности...

— Будем ставить свое тавро, — нахмурился Костя, — железное.

— Железное? — удивился Тальвавтын, в глазах его мелькнула досада.

И тут я понял: старый лис отлично знал историю с Чаунским совхозом и, может быть, готовил нам такой же удар.

Осматрив кораль, гости уехали.

— Завтра преподнесем ему тавро, — усмехнулся Костя. — Провались я на этом месте, если чертов старик не лопнет от злости...

Утром Геутваль разбудила нас затемно. В небе горели звезды, и луна освещала белую вершину столовой сопки. Облитая мягким сиянием, она словно парила над Белой долиной.

Стали подъезжать люди Тальвавтына. Пологи в наших ярангах пришлось поднять, настелить оленьих шкур, чтобы вместить всех гостей и напоить чаем. Первыми приехали рядовые пастухи, преимущественно молодые. С любопытством осматривали кораль, охотно пили чай и чувствовали себя без старшин свободно.

Они окружили Тынэтэгина и Геутваль и о чем-то расспрашивали. Разговоры моментально прекратились, как только появился Тальвавтын со своей свитой. Молодые пастухи во главе с Тыпетэгином отправились собирать табун.

И вот решительная минута наступает. Плотной кучей трехтысячный табун медленно движется к невысокому увалу. По ту сторону его широкой пастью раскрываются крылья коралья. Пойдут ли дикие олени Тальвавтына в кораль? Ведь изгородь они видят впервые.

Позади табуна, полукругом, идут загонщики, покрикивая, стучат палками по стволам деревьев, подгоняют отстающих. Передние олени переваливают гребень увала. Если сейчас испугаются изгороди, начнется невообразимая паника. Табун повернет обратно, сметая все на своем пути.

В цепь загонщиков включаются все. Мы с Костей идем

рядом с Тальвавтыном. Он молчаливо наблюдает за поведением оленей. Пока все спокойно. Поваленные лиственницы с необрубленными ветвями, образующие крылья коралла, не беспокоят полудиких животных. Табун спокойно втягивается в разверзшуюся пасть завала.

Передовые олени благополучно проходят широкие ворота, вступают в первый, вспомогательный загон. И только тут замечают изгородь. Секунда растерянности...

Но сзади напирает стесненный табун. Встревоженные вожаки устремляются вперед, увлекая за собой массу оленей. Рысью передовые олени вбегают в главный загон. И, понимая, что попали в ловушку, несутся во всю прыть. За ними неудержимым потоком льется табун. Но впереди только крошечная ловчая камера, а дальше пути нет — глухая изгородь.

Вожак в панике поворачивает назад, табун в растерянности, олени вскидываются на дыбы, бегут по кругу в просторном главном загоне. Вот живой поток хлынул обратно в камеру вспомогательного загона.

Поздно! Люди уже задвигают шесты в воротах у самых крыльев.

Путь на волю отрезан. Олени поворачивают обратно, образуя водоворот в главном загоне.

— Здорово! — кричит Костя. — Сработал, как часы!

На лицах Тальвавтына и его свиты растерянность, любопытство, недоумение.

Табун кружит в главном загоне. Здесь очень много важенков — светлошерстных, крупных, упитанных, несмотря на зимнее время. Спины оленей плоские, как доски.

— И выбирать нечего, — говорит Костя, — ставь метку и выпускай в боковую камеру.

Пора начинать. Загонщики устремляются в главный загон, отбивают первый косяк с полсотни оленей и загоняют в небольшую ловчую камеру. Обезумевшие олени теснятся, лезут друг на друга, молотят копытами своих сородичей. Но высокую изгородь не перепрыгнуть.

К ловчей камере примыкают два боковых загона. В один будем пускать отобранных важенков, в другой — остальных оленей.

Костя приносит гремящий мешок и бросает на свою нарту: — Вот наши метки!

Вокруг теснятся старшины, пастухи Тальвавтына, любопытно заглядывают через плечи своих товарищей.

Костя вытаскивает пригоршню наших «волшебных кнопков». Это последняя новинка института оленеводства — полые пуговицы и бляшки с остриями. Демонстрирую несложную операцию на ездовом олене, пронзаю острием бляшки ухо, надеваю полу пуговицу и сдавливаю...

Щелк! Пуговица намертво скреплена с бляшкой. Не отдерешь от уха. На бляшке выгравирован номер.

— И-кхх!

— Какомей!

— Колдовская метка!

С острым любопытством наши гости рассматривают невиданную метку. Осторожно передают друг другу алюминиевые пуговицы. Тальвавын прокалывает свой малахай и застегивает кнопку намертво. Шапка идет по кругу. Каждый повторяет несложный опыт. Полный успех! Теперь все наши гости щеголяют в меченых малахаях. Шутят, смеются. Даже шаманы, отбросив надменную чопорность, радуются, как дети.

Костя, Тынэтэгин и несколько молодых пастухов, набив карманы бляшками, спрыгивают в ловчую камеру, в гущу оленей. Мы с Тальвавыном оседлали изгородь — будем считать отобранных важенок.

В камере начинается суматоха. Парни снуют среди оленей, ловят обезумевших важенок, ловко прокалывают ухо острием бляшки. Щелк! И готово! Приотворяют калитку и выпускают меченую важенку в наш загон. Я ставлю точку в блокноте, Тальвавын кидает спичку в малахай. После конца отбивки мы сличим счет...

Кораль действует безотказно. Ловцы воодушевлены ритмом слаженной работы. Через десять минут в ловчей камере остаются лишь непринятые олени. Тынэтэгин выпускает их в другую калитку, в пустой боковой загон. Загонщики отбивают в главном загоне следующий косяк и загоняют в опустевшую ловчую камеру. И снова суматоха, едва успеваю отмечать в блокноте меченых важенок.

И так целый день. Ловчая камера кипит, как котел. Мечутся олени, люди. Отбивка идет стремительно, как по конвейеру. Времени не замечаем...

Табун в главном загоне тает. А когда стало смеркаться, мы пропустили последнюю партию оленей. Табун разделился на две части. В нашем загоне медленно кружат меченые важенки, крупные, как на подбор. В боковом загоне теснится отставшая часть табуна.

— Больно хорошая твоя изгородь, — говорит Тальвавын, стирая пот с лица. — Сами будем теперь такие делать.

— Подарим тебе кораль, как отобьем всех важенок, — говорит Костя.

Тальвавын удовлетворенно кивает.

Мы считаем спички в малахае Тальвавына. Их там 952. В блокноте у себя я насчитал 953 точки...

Пять суток, не смыкая глаз, пропускаем громадные табуны Тальвавына через кораль и наконец отбиваем шестую тысячу важенок.

В этот же вечер в пологе Гырюлька мы составили акт передачи важенок Дальнему строительству. В пологе собрались все старшины Тальвавына. Они молчаливо наблюдают всю процедуру. Наконец Костя громогласно переводит текст исторического акта — первого торгового документа Пустолежащей земли. Подписываем его, передаем Тальвавыну.

При гробовом молчании старик ставит вместо подписи иероглиф, обозначающий семейную тамгу...

Костя высыпает из кожного мешка посреди полога груды пухлых денежных пачек. Тальвавын неторопливо складывает деньги в сундук, обтянутый сыромятью, и заполняет его доверху. К нему переключивается содержимое нашего кожного мешка.

— Разводим миллионеров... — ворчит Костя, чертыхаясь.

Снимаю с груди и передаю Тальвавыну ожерелье Чандары. Он сейчас же надевает его. Медвежьи морды, сцепившиеся клыками, улеглись на смуглое тело. Старейшины склоняют головы. Глаза Тальвавына блестят торжеством, лицо помолодело. Исполнилось заветное его желание — он получил старинную реликвию ерымов — пропавший талисман чукотских вождей.

Вручая Тальвавыну копию акта, говорю, что завтра может забрать наши товары...

Вся эта сцена производит глубокое впечатление на присутствующих; мне она врезалась в память навсегда. День мы завершили великолепным пиршеством в нашей яранге. Только поздно вечером гости покинули лагерь, вполне удовлетворенные невиданным зрелищем. Теперь у нас образовался громадный шеститысячный табун. Табун после отела в пути удвоится. На Омолон, в случае счастливого завершения похода, мы приведем целый оленеводческий совхоз!

Хлопот с выпасом шеститысячной армады прибавилось. Собранные из нескольких табунов, олени стремились вернуться к своим сородичам.

Особенно тревожными были последние сутки. Мы сбились с ног, заворачивая беглецов целыми косяками. Управляться с громоздким табуном было невероятно трудно. Разделить его на две части не решались: уследить за двумя косяками при таком наэлектризованном состоянии оленей мы просто не могли...

Ночью, когда я спал, меня разбудила Геутваль. Я так крепко заснул, что долго не мог очнуться. Девушка тормошила меня и встревоженно говорила:

— Проснись, проснись, Вадим, беда, да проснись же ты...

Ее слова едва достигали моего сознания. Но слово «беда» мгновенно отрезвило меня. В пологе тускло светил жирник.

Горячо и сбивчиво она рассказала, что пошла на лыжах

по следу отбившегося оленя. Он шел быстро, не останавливаясь, и она не смогла нагнать его. За ближним увалом в распадке она увидела табун Тальвавына, который мы пропустили днем через кораль.

— Тальвавын ночью не отогнал его, и наш олень убежал к ним. Я почуяла недоброе,— продолжала Геутваль,— пошла дальше на лыжах, и везде в распадках притаились табуны Тальвавына. Ночью они потихоньку подогнали их и, как ястребы, окружили твое стадо. И теперь заманивают наших оленей. Говорила я тебе: Тальвавын все равно волк, хитрая лисица, коварная росوماха!

Лицо девушки пылало. Она только что пробежала на лыжах километров пятнадцать и вся кипела возмущением.

Геутваль так хороша была в эту минуту, что я притянул ее к себе и поцеловал. Это случилось неожиданно, само собой.

Девушка тихо засмеялась:

— Оставь... у тебя на Большой земле невеста есть...

Известие Геутваль ошеломило меня. Неужели Костя оказался прав: Тальвавын заманил в ловушку и мы очутились в тисках?

— Кочевать надо, убежать скорее из кольца!— воскликнула Геутваль.

Накинув кухлянки, мы выбрались из яранги в лунную морозную ночь. Голубоватый снег исполосовали угольно-черные тени лиственниц. Свежий лыжный след Геутваль, взрыхляя серебристый склон сопки, спускался прямо к ярангам.

Подвывая лыжи, мы заскользили к близкому стаду. Подоспели вовремя. Нас встретили встревоженные друзья, обессиленные борьбой с растекающимися оленями. Табун волновался как море. Чувствуя близкий запах сородичей, охваченные нервным возбуждением, олени целыми косяками как одержимые устремлялись к близким сопкам.

Приходилось непрерывно объезжать стадо и заворачивать беглецов. Горстка людей боролась из последних сил.

— Не пойму, что с этими дьяволами случилось, белены объелись, что ли?!— прохрипел, подъезжая на своей нарте, Костя.

— Быстрее, старина, собирайте стадо! Тальвавын табуны ночью подогнал— взял нас в кольцо. Удирать надо!..

— Чертов хрыч!— загремел Костя. Он дернул поводок упряжки и понесся к дальнему краю табуна.

Соединенными усилиями мы быстро собрали многотысячный табун на опушке, освещенной лунным сиянием. Стесненные олени медленно закружились плотной, живой массой. Неукротимой силой веяло от табуна.

«Точно туго натянутый лук,— невольно подумал я.— Что, если тетива лопнет?»

Мы сошлись у трех сухих лиственниц. Геутваль посохом нарисовала на серебристом снегу расположение стад Тальвавтына.

— О-кка!— удивился Гырьюлкай.— Душить табун хочет. Сюда будем убегать,— показал он на замерзшее русло реки.

Действительно, по льду можно было вырваться из окружения. Решили, не теряя времени, двинуть табун вверх по заснеженному руслу и гнать до тех пор, пока хватит сил. Яранги лагеря оставим на месте до приезда Тальвавтына, сохраняя видимость присутствия табуна. К рассвету я предполагал вернуться в лагерь — встретить Тальвавтына и передать ему обещанные товары.

Геутваль заявила, что вернется со мной и будет готовить гостям мясо и подавать чай. Вельвеля решили не будить. Он спал в пологе с Тынетэгином и Ильей, отдыхая после дежурства. Ранавнаут потихоньку разбудила их. Приготовления к стремительному ночному маршу начались...

Через час мы вытеснили живую громаду табуна на замерзшее русло. Молчаливо провожали нас лиственницы, отбрасывая длинные черные тени на светящийся снег. Вытянувшись лентой, табун лился живой рекой среди заснеженных берегов.

Двигались молчаливо, стараясь не шуметь. В тихом морозном воздухе скрипел снег, под копытами потрескивали суставы бесчисленных оленьих ног, постукивали рога.

Движение «походной колонной» успокоило оленей. Они послушно брели за нартой Гырьюлкай со связкой ездовых оленей на поводу. По бокам стада ехали Илья и Тынетэгин. Вооружившись длинноствольной винтовкой, юноша прикрывал левый фланг табуна.

Мы с Костей ехали сзади, подгоняя отстающих. Геутваль, Ранавнаут и Эйгели вели легкий обоз из нескольких нарт. Невольно я вспомнил такую же лунную ночь далеко на Омолоне. Тогда мы двигались по заснеженному его руслу на штурм Синего хребта и чувствовали себя победителями. Теперь наше шествие напоминало отступающую, потрепанную в боях кавалерийскую часть.

Уходим налегке, прихватив лишь самое необходимое: немного продовольствия, палатку с печкой, спальные мешки, скудное лагерное снаряжение и стволы сухостоя — запас дров на первое время.

Яранги и основной груз я рассчитываю привезти после завтрашней встречи с Тальвавтыном.

Почти всю ночь двигаемся по Белой долине, уходя дальше и дальше от границы леса и манящих запахов чужих стад. Через каждые два часа останавливаем табун, пасем на заснеженных террасах и снова пускаемся в путь.

Небо едва заметно светлеет. Останавливаем табун на очередной кормежку. Олени успокоились.

— Пора...— волнуясь, сказал Костя.— Пора тебе, Вадим, возвращаться... А мы с табуном еще километров двадцать отмахаем. Ну и взбесится старый хрыч! Держись... кремневая встреча будет.

Гырюлькай привел лучших беговых оленей. Ведь к рассвету мы с Геутваль должны вернуться в наши яранги.

— Прощай, дочь снегов, береги Вадима.— Костя приподнял девушку могучими ручищами и чмокнул в губы.

— Ох нет, пусть!— Геутваль закрыла лицо руками.

Все собрались у наших быстроногих упряжек. Мы прощались с друзьями, может быть, навсегда...

В ТИСКАХ

Блаженствуем в теплом пологе. Еще затемно примчались на беговых оленях в покинутый лагерь. Вельвель по-прежнему беспробудно спал в соседней яранге — видно, здорово утомился на дежурстве.

Теперь Геутваль — маленькая хозяйка стойбища. Она старательно наливает чай в мою большую кружку и себе в расписную фарфоровую чашечку, которую я ей подарил, нарежет мелкими ломтиками мороженое мясо, ставит на столик сахар, масло, печенье.

Мы одни в этом огромном снежном мире. Освещенные колеблющимся светом жирника, среди пушистых оленьих шкур... С незапамятных времен женщина отдавала свою заботу и ласку мужчине, и он защищал ее от всех бед и опасностей. В кочевом шатре, осененном веками, я особенно остро ощущаю свое одиночество.

Смотрю на Геутваль, на ее фигурку, крепкую как орешек, смуглое личико, спокойное перед надвигающейся грозой, и вдруг понимаю, что за эту маленькую, смелую девушку готов отдать жизнь.

Геутваль подняла голову, посмотрела пристально в глаза и неожиданно потянулась ко мне доверчиво и просто.

— Зачем страдать заставляешь?..

И вдруг снаружи слышится хруст копыт и скрип полозьев: кажется, ярангу со всех сторон окружают бесчисленные нарты.

— Тальвавтын!— метнулась к винчестеру девушка.

— Спрячь винчестер, сумасшедшая!

Выкатываюсь из полога, выскакиваю наружу. Рассветает, звезды померкли. К ярангам подходят вереницы пустых грузовых нарт. Совсем близко белеет упряжка Тальвавыны.

— Приехал?!

— Нарты привез, грузить будем...

Показываю сани с товарами, приготовленными для передачи. Каюры Тальвавына начинают перегружать наши богатства. На каждой нарте винчестер в чехле. Целый арсенал! Тревожный признак. Идем с Тальвавыном в ярангу. В чотагине он долго отряхивает кивичкеном¹ торбаса, кухлянку.

Тут все в порядке: Геутваль, согнувшись в три погибели, усердно раздувает костер под чайником. Вползаем в полог. Вытягиваю из полевой сумки список товаров, передаваемых в уплату за оленей. Неторопливо читаю бесконечный перечень.

— О-к-к-а! Много!— удовлетворенно кивает старик.

Он подписывает акт передачи — ставит свою классическую тамгу, похожую на трезубец Нептуна. Операция завершена!

Геутваль втаскивает чайник, степенно расставляет чашки, разливает чай. Неторопливо пьем крепкий, как кофе, напиток. Знает ли старик, что наш табун ускользнул из мертвой петли? Лицо его спокойно, непроницаемо.

— Как олени?— вдруг спрашивает он.

— Хорошо, только бегают очень — держать трудно, — отвечаю, не сморгнув.

Тальвавын пьет и пьет чай, о чем-то размышляя. Наконец переворачивает чашку вверх дном.

— Однако, пошел, — говорит он по-русски, — ехать далеко надо. Хорошо торговали. Через два дня в гости к тебе приедем — праздник отбоя будем делать...

Облегченно вздыхаю. Геутваль в волнении роняет чашку. Не унюхал еще, старый лис!

Выходим из яранги. Каюры перегрузили нарты и покуривают трубочки. Прощаюсь с Тальвавыном как ни в чем не бывало.

Белая упряжка рванула с места. Старик обернулся. На тонких его губах змеилась холодная усмешка. Караван тяжело груженных нарт тронулся по следу Тальвавына.

Мы с Геутваль молчаливо стояли у порога яранги до тех пор, пока последняя нарта не скрылась за лесистым увалом.

— Ну, Геутваль, снимай скорее яранги, удирать будем!

Я побежал будить Вельвеля. Нельзя было терять ни минуты. Втроем быстро свернули лагерь, пригнали ездовых оленей. Через час наш легкий караван несясь вверх по Белой долине, в противоположную сторону, по следам ушедшего табуна. Только тут Вельвель сообразил, что случилось. Он ехал хмурый и злой.

¹ Кивичкен — палочка, выточенная из дерева или рога, для отряхивания одежды от снега.

На месте нашего стойбища оставалась вытоптанная в снегу площадка и холодный пепел потухшего очага...

Только в сумерки нагнали табун. В глухом распадке, как ветер, налетела легковая нарта Тынетэгина. Юноша, вооруженный винтовкой, спустился галопом с ближнего увала, где устроил, видно, сторожевой пост. Соскользнул с нарты и, не выпуская поводка, в волнении закурил трубку.

— Гык! Давно ждем вас, Костя совсем не спит...

Подражая взрослым, он старается скрыть радость, но юношу выдают глаза — сияющие и счастливые.

— Как олени?

— В Большом распадке,— махнул в сторону увала Тынетэгин,— совсем смирные стали...

Наше появление всполошило лагерь. Из палатки выскочили Костя, Гырюлькай, Ранавнаут, Эйгели. Костя окинул быстрым взглядом наш караван.

— Молодец, Вадим! — тискает он меня в могучих объятиях.— Собирался уже ехать на вырубку.

— Едва догнали вас... далеко увели табун...

— Ах ты чертенюк! — обрадовался Костя, увидев Геутваль.— Сберегла Вадима!

На шум подъехал Илья, дежуривший у стада. Все собрались вокруг. Расспросам не было конца. Снова сошлись вместе — маленький, непобедимый отряд. Лишь Вельвель сумрачно стоял у своей упряжки, не разделяя общей радости.

Яранги решили не расставлять — повесили на шестах одни пологи. На рассвете уйдем с табуном дальше...

Утром мы обнаружили исчезновение Вельвеля. Это встревожило нас: через несколько часов Тальвавтын узнает о нашем скрытом маневре.

В путь собрались быстро. Решили продвинуться возможно дальше. Табун гнали ускоренным маршем, почти не останавливаясь на кормежку. В этот день сделали особенно большой переход, достигнув того перевала, откуда мы с Костей впервые увидели Главное стойбище Пустолежащей земли.

Теперь табуны Тальвавтына не страшны. Вряд ли он решится беспокоить стельных важенюк утомительным маршем. Да и нам двигаться дальше такими стремительными переходами нельзя — погубим приплод.

На общем совете решили устроить отдых. Расположились у перевала комфортабельно — поставили две яранги с пологами, вокруг сдвинули нарты в каре, добыли льда на промерзшей до дна речке, напилили и нарубили дров из привезенного сухостоя. Костя торжественно поставил у яранги шест с красным флагом — символ нашей полной независимости.

— Настоящий форт получился! — восторгался Костя.— Голыми руками не возьмешь.

— Только пушек не хватает,— съязвил я.

Но все-таки на соседней возвышенности выставил сторожевой пост.

Олени спокойно копытили снег на пологих гривах Белой долины, украшая тонким кружевом следов склоны.

Дежурили у стада в три смены. Я выходил с Геутваль, Костя с Гырьюлкаем, Тынетэгин с Ранавнаут. Илья помогал ночной смене. В дежурство один объезжал табун на легковых нартах, другой безотлучно находился на сторожевом посту, обозревая окрестности и широкую тропу, пробитую табуном во время отступления.

Распорядок был твердый, как в армии. Всем это очень нравилось. Работали с увлечением. Особенно охотно несли сторожевую службу Геутваль и Тынетэгин...

Ночью, в пологе, я сквозь сон услышал близкий выстрел. «Р-ра-рах!» — тревожно повторило эхо в горах.

Я не успел проснуться, как Геутваль затормошила меня в темноте:

— Винтовка Тынетэгина стреляла, просыпайся скорее!

Девушка быстро зажгла светильник, принялась будить Костю, Гырьюлкаю. В пологе поднялась суматоха. Геутваль заряжала винчестер; Костя, чертыхаясь, натягивал торбаса; Гырьюлкай лихорадочно одевался.

— А ну давай сюда! — потянулся Костя к девушке.

Маленький винчестер потонул в Костиных ручищах.

— Только, чур, старина, уговор оружие пускать в крайнем случае!

Костя неопределенно хмыкнул. Снаружи послышался скрип полозьев, свист кенкеля, хриплое дыхание галопирующих оленей...

Мы с Костей выскочили из яранги. К нам бежал Тынетэгин, затормозивший упряжку у короля из нарт.

— Куда стрелял?! — крикнул Костя.

— Спящих в пологе разбудить хотел — Тальвавтын едет...

— Один?!

— На беговой упряжке.

— Уф... дьявол, — облегченно вздохнул Костя.

Он едва успел сунуть винчестер в ярангу. Из морозного тумана вынырнула белая упряжка. В лунном мареве белые олени, опушенные изморозью, казались привидениями, а седок, запорошенный серебристым снегом, — пришельцем из лунного мира.

Олени как вкопанные остановились рядом с упряжкой Тынетэгина.

— Какомей! Далеко убегали... — вместо приветствия насмешливо проговорил Тальвавтын.

— Твои табуны близко подошли, — резко ответил Костя.

Тальвавытын нахмурился, угрюмо посмотрел на Костю и дерзко сказал:

— Мои пастухи плохо оленей стерегли.

Я пригласил Тальвавытына в полог. Беседа не клеилась. Костя сидел у чайного столика, хмурый, закипая бешенством. Тальвавытын молчаливо курил длинную трубку.

— Экельхут, главный шаман, разговаривал с духами,— вдруг сказал старик.— Большая беда будет. Нельзя вам кочевать дальше в горы — погибнут олени, надо обратно к границе леса уходить...

Тальвавытын замолчал и снова погрузился в раздумье, словно подчеркивая длинной паузой зловещее предупреждение.

— Ну и шельма... — пробормотал Костя.

Действительно, маневр Тальвавытына был шит белыми нитками. К границе леса нас и калачом не заманишь.

— И что же говорит Экельхут, какая беда грозит нашему табуну?

— Сильно сердятся келе¹ — живых оленей тебе отдавали. Большое бедствие на Пустолежащую землю насылают. Экельхут говорит: быстрее кочевать тебе нужно к границе леса — обманывать духов, — повторил Тальвавытын.

— А где твои табуны? — спросил я старика.

— В лесные долины быстро кочуют.

— Не пойдем к лесу, мало времени осталось, — грубо отрезал Костя.

— Спешить надо... отел скоро, — подтвердил я отказ в более вежливой форме.

— Добра желаю вашему табу, — презрительно взглянул на Костю Тальвавытын. — Поехал я. Аттау!

Тальвавытын исчез так же внезапно, как появился. Поведение его было для меня непостижимо. Зачем он приезжал? Чего хотел? Чем грозил нашему табу?

— Мэй, мэй, мэй! — встревожился Гырьюлкай. — Экельхут очень сильный шаман, большая беда будет!

Мы долго еще обсуждали предостережение Тальвавытына и решили не принимать его во внимание — двигаться дальше, возможно быстрее покидая Пустолежащую землю...

Неделю мы кочевали, совершая небольшие переходы, уходя далее и далее от границы леса, в лабиринт безлесных снежных долин обширного горного водораздела между Анадырем, Анюем и Олоем. Теперь нас отделяли от границы леса добрые сто пятьдесят километров, и мы почувствовали себя наконец в безопасности.

В этот памятный день мы поставили свои яранги у подножия сопки с одинокими кекурами.

¹ Келе (чукот.) — духи,

На следующее утро, когда мы с Геутваль отправились дежурить, нас встретил Гырьюлкай. Лицо старика посерело от волнения.

— Совсем плохо,— сказал он,— посмотри, какое грязное небо.

Обычно зимнее небо было белесым и тусклым, теперь же облака набухли странной синевой. Мороз упал, стало необычайно тепло, и воздух пропитывала непонятная свежесть.

Подождал Костя:

— Черт знает, что творится! Все шиворот-навыворот... Лесных куропаток видимо-невидимо налетело, сороки появились, белую сову видел, кукушка пролетела. Не пойму, откуда их несет?!

— Плохие облака,— повторил Гырьюлкай,— давно такие видел зимой, когда мальчиком был...

Он что-то еще хотел сказать, но не успел. Где-то в вышине утробно забулькало, как в горлышке большой пустой бутылки, и мы увидели двух черных как уголь птиц. Медленно махая крыльями, они пролетели на север.

— Вороны! Откуда их в такую пору дьявол принес?!— удивился Костя.

Появление на безлесных плоскогорьях птиц, давно улетевших на юг, к тайге, поражало...

Но больше всего нас пугали облака. Они все гуще наливались синевой, точно перед грозой. С востока потянул теплый ветерок, напоенный необычной свежестью. Казалось, что надвигается грозовая туча. Но вокруг лежал снег девственной белизны, толпились снежные сопки. Посиневшие облака никак не вязались с картиной белого безмолвия.

И вдруг на лице я ощутил влажную морось. Гырьюлкай, бледный и подавленный, молчаливо опустил голову.

— Дождь?! Зимой?!

Ошеломленные, мы стояли с Костей и Геутваль, подняв лица к посиневшему небу. Я видел мелкие капельки на смуглых щеках девушки. Костя, чертыхаясь, стирал шарфом бусинки воды со лба. Дождь моросил и моросил. Падая на снег, вода не замерзала. Наступила сильная оттепель. Снег на глазах посерел, и можно было лепить мокрые снежки.

— Большая беда пришла...— глухо проговорил Гырьюлкай.

Мы с Костей не сразу постигли грозный смысл случившегося.

— Дьявольщина!— заорал вдруг приятель.— Гололедица, мертвая гололедица!

Пастушеский посох согнулся и треснул, переломившись, как спичка, в его ручищах. Только теперь перед нами открылась неотвратимость поразившего нас бедствия.

После оттепели с дождем неминуемо грянет мороз и скует снежную целину непробиваемым панцирем. Олени не в состоянии будут разбить копытами лед, и гибель их неизбежна.

Так вот о чем предупреждал нас Тальвавтын! Он звал нас в лесные долины, где снег не так подвержен оледенению. Вероятно, Экельхут — хранитель мудрости поколений — сумел по каким-то признакам предсказать наступление зимней оттепели. Послушай мы вовремя Тальвавтына, успели бы вернуть оленей к лесу!

Дождь моросил и моросил, все усиливаясь, и вдруг хлынул как из ведра. Странная, ужасная картина: ливень зимой. Поверхность снега превратилась в мокрую кашу. Вершины сопок почернели от проталин. Дождь стекал по мокрому меху кухлянок. Казалось, все в мире перевернулось вверх дном.

«Почему так легкомысленно мы пренебрегли предупреждением опытного оленевода? Неужели все наши усилия тщетны и олени обречены на гибель?!»

— Скорее, братцы! — крикнул Костя. — Оттепель продержится несколько дней, и мы сумеем вырваться к лесу!

Пожалуй, это был последний шанс спасения табуна. Мы побежали к ярангам. Быстро собрали лагерь, погрузили свой скудный скарб, пригнали ездовых оленей, запрягли в нарты и бросились собирать табун.

Пробираться по раскисшему снегу было тяжело. Но олени держались кучно, спокойно разгребали мокрый снег и лакомились ягельниками. Не мешкая, собрали шеститысячный табун.

Наконец двинулись по старой кочевой тропе. Нарты с грузом едва тащились по раскисшему снегу. Зимний дождь не прекращался, обильно смачивая снег, набухший точно вата.

Оставив позади грузовой караван, подгоняем табун на легковых нартах. Но продвигаемся слишком медленно. Олени проваливаются в рыхлый, промокший снег. Обычный дневной переход совершаем за сутки и, вконец утомив табун, встаем на отдых у подножия горы, похожей на колоссальный монумент.

Венчал ее массивный останец, сложенный горизонтальными слоями скальных пород. Каменный чемодан покоился на огромном конусе более рыхлых пород и возносился над пустой снежной долиной. На отвесных его стенах снег не удерживался, и побеленные инеем стены холодно темнели в вышине.

Такая причудливая вершина осталась, вероятно, от древнего водораздельного плато, размытого в течение тысячелетий. Невольно я подумал, что эта сопка самой природой приспособлена для обороны...

Яранг не расставляем — натянули палатки. Необычайно тепло, и это нас радует. Даже воспрянули духом: может быть,

успеем спасти табун. Засыпаем как убитые, решив сделать только трехчасовую передышку...

Разбудила нас Геутваль. Было еще темно. Первое, что я ощутил, — холод в палатке.

— Мороз... — жалобно воскликнула девушка.

Все лихорадочно одевались. Костя тихо ругался, не попадая в штанину меховых брюк. Выбрались из палатки. Светила лунная морозная ночь. Холодно и беспощадно мерцали звезды. Вокруг все звенело и шуршало. Сначала я не понял, что происходит.

Тысячи копыт молотили непробиваемую ледяную корку. Олени пытались пробить панцирь и добраться до ягельника. Замерзшая долина отсвечивала полированной сталью. Душу сдавил мертвящий ужас. Все было кончено, все рушилось на глазах — судьба шеститысячного табуна предрешена...

Олени оказались в тисках. Преодолеть 130 километров обледенелых снегов и выбраться к лесу голодный табун не в состоянии. Да и там, у границы леса, гололед, видимо, не пощадил снегов. Грозное стихийное бедствие обрушилось на Чукотку.

Вероятно, случайное воздушное течение вынесло массы сравнительно теплого, насыщенного влагой беренгийского морского воздуха в континентальные области — наступила внезапная зимняя оттепель. А потом массы арктического воздуха пересилили случайное воздушное течение и заковали снежную целину в ледяной панцирь...

Подавленные обрушившимся несчастьем, мы пытались что-то предпринять. Захватив топоры, остервенело рубили и кромсали матовую, скользкую, как каток, ледяную корку. Толщина ее была не менее семи сантиметров, и олени не могли ее пробить.

К рассвету все выбились из сил, так и не облегчив участи табуна.

Наши «царапины» привлекали толпы проголодавшихся оленей. Они теснились вокруг, пытаясь расширить ямки, ожесточенно били и били копытами. Напрасно! Непробиваемая толща не поддавалась, лишь счастливым удавалось выхватить клочки ягельника. Несчастные животные ранили ноги. Повсюду алели пятна крови, и, когда рассвело, снежная долина стала похожа на поле сражения, политое кровью.

Гырюлькай предложил разделить табун на мелкие части и загнать оленей на вершины сопок с проталинами. Там росли черные высокогорные лишайники, жесткие, как проволока: олени смогут некоторое время продержаться.

Мы понимали тщетность этих усилий: слишком велик наш табун, проталины на вершинах малы и людей у нас мало, очень мало. Но сидеть сложа руки невозможно...

Вместе с Гырюлькаем я полез на сопку с причудливым останцем на вершине — высмотреть сопки с проталинами. Остальные принялись из последних сил взрыхлять топорами ледяной панцирь в долине.

С высоты их работа казалась работой пигмеев. Крошечные фигурки людей терялись среди моря теснящихся оленей.

Подымаемся медленно. Крутые склоны сопки скользкие, не за что уцепиться. Рубим топорами ступеньки. Хорошо, что торбаса подшиты щетками¹ и ноги не так скользят.

Обындевевшей громадой сверху нависает каменный чемодан. Подползаем ближе и ближе. Если нога соскользнет, покатишься вниз, как на салазках, пронесешься через всю долину и угодишь в гущу табуна.

— Плохая сопка... — говорит Гырюлькай. — Сильно здесь воевали с коряками. Сюда Кивающий головой последних корягов загонял — на вершине всех убивал...

— Полезем? — кивнул я на скальную стену.

— Тут нельзя — упадешь... С другой стороны тропа Кивающего головой осталась...

Мы выбрались к подножию отвесной каменной стены, обдутой ветрами. Слои каменных пород лежали горизонтально слоеным пирогом. У основания останца был довольно широкий плоский карниз. Держась за стены, мы стали огигать «каменный чемодан» и скоро подошли к месту, где останец был косо срезан наподобие пирамиды, слои, разрушенные временем, образовали естественные ступени.

— Вот тропа Кивающего головой... Тут он приказал своим воинам стрелять из всех луков и со своими подмышечными первый избежал на вершину и убил много врагов...

— Подмышечными? — удивился я. — Кто это?

— Самые сильные воины, охранявшие его от копий, — невозмутимо ответил старик.

Сопка ожила в моем воображении. Эта неприступная скалистая вершина была почище любого средневекового замка. Я позабыл о табуне и представил себе штурм неприступной вершины. Это был подвиг. Недаром чукотские предания сохранили его в веках!

По этим ступеням легко взобрались на плоскую вершину. Тут могли свободно поместиться несколько сот людей. Проталины обнажали мелкокаменистую поверхность, покрытую бриопогеном — черным высокогорным лишайником с перепутанными, как проволока, стебельками.

— Смотри...

Я обернулся.

¹ Щетки — мохнатая кожа между копыт северного оленя, с жесткими волосами, направленными в разные стороны.

— Боже мой!

Перед нами открывалась целая страна снежных сопков. Точно белые валы окаменевшего в бурю океана. Все сопки сверкали ослепительными бликами, а долины, врезающиеся между ними, отливали сталью, словно огромные катки. Гололедица сплошным панцирем заковала снега...

Лишь вершины сопков там и тут чернеют проталинами. Но это крошечные островки среди океана обледенелых снегов. Да и не ко всем вершинам подступишься с оленями по скользким, обледенелым склонам. Доступны для нас лишь те из них, что соединяются с плоскогорьями перемычками гребней.

Исцарапанными пальцами карандашом набрасываю в блокноте расположение спасительных сопков.

— Приметные сопки,— говорит Гырюлькай.— Все их помню...

Теперь скорее вниз к табуну!

Но спуститься не так просто. Вонзая ножи в обледенелый снег, часа два сползаем по ступенькам. Собрались вшестером вокруг табуна. Гырюлькай каждому разрисовывает на листке из моего блокнота путь к сопкам с проталинами.

Удивительно! Вся топография местности отпечаталась в голове старика, как на фотопластинке. Он точно рисует ее на бумаге.

Все молчаливы и сосредоточенны. Понимаем, что с бродячими косяками станем вечными скитальцами замерзшей пустыни. Косяки отбиваем без счета прямо на дне Белой долины. И вскоре шесть косяков уводим в разные стороны. Белая долина опустела. Лишь одинокие яранги чернеют у подножия обледенелой сопки. Над ними реет красный флаг и вьется синеватый дымок.

В лагере остались лишь женщины: Эйгели и Ранавнаут. Они будут варить пищу, разыскивать нас по следам, привозить еду и чай. Мы стали людьми, живущими на сендуке¹, без крова и пристанища, привязанными каждый к своему косяку. Куда заведет нас судьба?

Мне достался остаток табуна с тысячу важенков. Поглядывая на листок с приметами Гырюлькай, сверяясь с компасом, потихоньку тесно косяк на легкой нарте. Голодные олени послушно бредут, куда их гонят, словно понимая, что человек ведет их к спасению.

Сопку я нашел в верховьях бокового распада. С трудом преодолев пологий, но скользкий склон, поднялись на седловину. Ослабевшие олени тяжело дышат, часто ложатся на замерзший снег передохнуть. На перевале оставляю свою истомленную упряжку. Дальше идем по гребню.

¹ Сендук — дикая, бесплодная тундра.

Ну и крестный путь! Вытянувшись бесконечной лентой, бредем и бредем по узкой, как лезвие ножа, перемычке. Справа и слева круто спадают обледенелые скаты. Неверный шаг — и покатишься неудержимо бог знает куда. Чужая опасность, олени осторожно переставляют широкие копыта, украшенные мохнатыми щетками.

«Может быть, ошибся и гоню косяк к обледенелой вершине, где нет никаких проталин?»

Передние олени выбирают на плосковерхую сопку. Визжу, как они устремляются вперед...

— Проталины!

Олени растекаются по вершине, приподнятой к небу. С потрясающей быстротой счищают плотный слой черного бриопогена.

Ужасно! Через пятнадцать минут на проталинах все съедено до камней. Вершина сопки оголяется, точно после пожара. Олени ожесточенно долбят скудную каменистую почву, раскапывают и съедают какие-то корешки.

Вдали, на соседней сопке, — олени. Они облепляют проталины, как мухи. На вершине танцует крошечная фигурка, размахивая какой-то одеждой.

— Да это же Геутваль! Милая девочка...

Сбрасываю кухлянку и отвечаю ей. А еще дальше на плоской, как стол, вершине — тоже олени, но фигурка человека так мала, что различить, кто это, невозможно. Висматриваю следующую сопку с проталинами, куда можно двинуть свой косяк...

Счет часам потерян, семь суток на ногах, сплю урывками, забываясь чутким, тревожным сном, пока косяк расправляется с очередной вершиной, и снова в путь. Вверх, вниз; вверх, вниз... В голове шумит, глаза слипаются. Остановиться невозможно.

Бродим со своими косяками по кругу, как лунатики, все дальше и дальше уходя от стойбища. Просто уму непостижимо, как находят нас женщины в лабиринте обледенелых сопкок! Раз в сутки привозят вареную оленину, горячий бульон в бутылках и... крепкий чай, последнюю отраду скитальцев. Как мы благодарны им — это наши сестры милосердия.

Эйгели уже привезла мне одно письмо с каракулями Геутваль. Она изобразила на клочке бумаги волнистые сопки, крошечных оленей на вершине, бородатую фигуру на соседней сопке и летящую к бородачу птицу. Яснее не напишешь! Я люблю маленькую Геутваль. А как же Мария?

Олени очищают проталины до камней. Но что толку? Животные слабеют с каждым днем — слишком много сил теряют на бесконечные подъемы и переходы к сопкам.

Мы не видимся друг с другом вот уже семь суток. Пред-

ставляю, как истомились люди почти без сна. Ведь каждый день нам приходится еще взламывать топорами обледенелый панцирь — добывать ягельник для ездовых оленей в упряжке. На моей нарте всегда в запасе мешок ягеля, добытый с невероятным трудом!

Иногда я засыпаю в пути, и ездовики долго тащат вслед за бредущими оленями нарту с человеком, спящим сидя.

Уходят последние силы. Понимаю, что дальше не выдержат ни людям, ни оленям. Мои олени едва волокут ноги, часто ложатся на снег и никуда не хотят двигаться. Приходится поднимать их силой и гнать, гнать на сопки...

В этот памятный день мы с Костей оказались на соседних сопках. Я видел, с каким невероятным трудом ему удалось загнать на вершину ослабевший косяк. Костя заметил моих оленей и поспешил ко мне на сопку.

Лицо друга осунулось и почернело, губы запеклись. Он тяжело дышал, взобравшись на мою высокую сопку.

— Амба! — махнул он рукой. — Пропали олени, пора спускать флаг. Распустим табун, пока могут уйти на своих ногах. Может, протянут до весны в одиночку на проталинах, а?

Костя прав: пока у оленей остались хоть какие-то силы, надо пустить их на волю.

— Падеж начнется со дня на день — видишь, сколько слабых появилось. Понос начался...

Костя — ветеринарный врач и ясно видит надвигающийся конец. Лежим высоко над Белой долиной, у плиты, расколотой морозами. Оранжевые, желтые, зеленые пятна на скальных лишайниках пестрым узором расцвечивают серый камень. Вокруг сгрудились олени, справляясь с последними проталинами. Безумно хочется спать, звенит в ушах.

И вдруг...

Смотрю на Костю, он на меня — испуганно и подозрительно.

— Ты слышишь?

— Слышу...

Тихий, непрерывный гул то пропадает, то возникает вновь. Вскликаем как безумные. Сон слетел.

— Самолет! — кричит Костя.

Гул с неба слышен явственнее.

Перед нами простирается море заснеженных сопок. Но сколько ни вглядываемся в блеклое небо, пусто, ничего не видим. И все-таки это не галлюцинация!

Гул нарастает, перекачивается, точно весенний гром, в сопках. Теперь и олени услышали странный звук — насторожились. Внезапно из-за дальней сопки выскальзывает крошечный самолетик.

Он деловито и целеустремленно рыщет над вершинами.

— Нас ищет!

Скинув кухлянки, пляшем на сопке, размахивая одеждой, точно потерпевшие кораблекрушение, призывающие корабль. Что-то вопим охрипшими глотками. По лицу Кости, похудевшему и заросшему, бегут слезы. Нервы сдали и у меня. Но мне не стыдно.

Самолет круто разворачивается, устремляется к нашей сопке. Рев мотора оглушает. Олени, сбившись в табун, галопируют по кругу. Самолет закладывает головоломный вираж на уровне вершины. Сквозь колпак кабины вижу улыбающееся, небритое знакомое лицо, сдвинутый на затылок лётный шлем.

— Сашка! Дьявол!

— Да он же врежется!— вопит Костя.

В крутом вираже самолет дважды огибает вершину, чуть не задевая крылом разрисованные лишайниками плиты. Кажется, что пилот вывалится из своего кресла нам на головы. Бурная радость теснит душу; как по команде, сжимаем кулаки в ротфронттовском приветствии.

Самолет выравнивается, выстреливает выпелом и уносится на север, покачивая на прощание крыльями. Скатываемся на седловину, бежим наперегонки к ленте выпела, алеющей на снегу.

Спотыкаюсь о ребро заструга и растягиваюсь на фирновом склоне. Костя первый схватывает алую ленту. Торопливо вытаскивает из патрона записку и громогласно читает:

— «Соберите табун к яранге с красным флагом, ждите, утром прилетим. Целую лохматые образины».

Невольно вспоминаю Омолон. Вот так же, в самую трудную пору, появился на самолете Саша. Но там он мог нам помочь разыскать ускользнувших оленей. Теперь же, будь он самим богом, бессилен спасти шесть тысяч оленей, истомленных голодом...

— Ясно?!

— Ничего не пойму. Зачем собирать табун? Кто прилетит? И как они сядут к нам? Разобьют лыжи о ледяные заступы.

— Приказ есть приказ,— решительно говорит Костя.— Давай собирать табун к ярангам. А ночью разобьем топорами заступы в Белой долине — подготовим посадочную площадку для Сашки...

Быстро спустили оленей с сопки, соединили в один косяк, и Костя погнал их к лагерю. Я отправился искать косяк Гырюлькая. Через час напал на следы его оленей. Поднялся к перевалу и пошел по гребню к вершине. Наконец очутился на вершине среди оленей. Они сожрали уже альпийские лишайники и ожесточенно копытили каменистую почву.

— Какомей! Вадим!— обрадовался Гырьюлкай, заметив меня.

Давно я не видел старика. Он похудел, глаза покраснели, возбужденно блестели.

— Железная птица летала!— воскликнул старый пастух.— Оленей смотрела, смеялась с неба, потом вот это бросала...

Гырьюлкай протянул флягу, обшитую войлоком, с длинной алой лентой, привязанной к горлышку.

— Боялся открывать без людей.

Я отвинтил металлическую крышку, вытащил ножом пробку и попробовал жидкость, налитую во флягу. Ого! Крепчайший ром!

— Попробуй, старина...

Гырьюлкай глотнул и поперхнулся.

— Крепкая вода!

Мы так ослабели за эти дни, что несколько глотков рома закружило головы. Ноги не держат. Уселись на снег— продолжаем разговор в более устойчивом положении.

— Железная птица и у нас с Костей была, письмо бросала: табун велела к ярангам собирать.

— Келе, что ли, брать оленей хочет?!— испугался старик.

— Самолет— хорошая птица,— успокоил я.

Спустили оленей Гырьюлкай с сопки на дно долины, и я повел их к ярангам.

Гырьюлкай, отлично знавший местность, поехал собирать косяки Ильи, Тынэтэгина и Геутваль...

В сумерки весь табун собрался у яранг. Олени улеглись и стали пережевывать жвачку. Несчастные, что они пережевывают? Ведь за эти дни они наглопались лишь жестких, как проволока, горных лишайников.

Собрались все в одном пологе. С наслаждением отогреваемся в тепле мехового жилища. Растянулись на шкурах, дремлем, не в силах побороть сон. Геутваль, свернувшись калачиком, спит, положив мне на колени голову. Пожалуй, она устала больше всех. Ей пришлось забираться с оленями на самые дальние сопки.

Несчастье сплотило нас в одну семью. И матерью этой большой семьи была Эйгели. Старушка обрадовалась, что все ее «сыновья» собрались вместе.

Разливая чай, она рассказала, что днем, когда светил полный день, вдруг что-то сильно загудело, она выскочила из яранги и увидела железную птицу совсем близко. Она кружилась над ярангами, «чуть не задевая красную материю на шесте». От испуга Эйгели упала в снег. Поднялся страшный ветер, и птица унеслась прочь, «ничего не схватив». Илья и Тынэтэгин видели летящий самолет издали, а Геутваль слышала только далекий рев железной птицы. Я рассказал о Са-

шином самолете, о полетах на Омолоне. Людям, никогда не видевшим самолета, все это казалось красивой сказкой...

Недолго пришлось нам нежиться в тепле. Когда появилась луна и осветила серебряную долину, мы вышли разбивать обледенелые заструги. Ну и помучились мы с посадочной площадкой! Но дело подвигалось быстро. К полуночи разбили ледяные гребни, отметили свой «аэродром» по углам разостланным шкурами.

Остаток ночи спали в теплом пологе вповалку как убитые. У табуна по очереди дежурили Эйгели и Ранавнаут, оберегая сон скитальцев. Утром Эйгели едва добудилась нас:

— Беда! Тальвавын опять едет!

Выскакиваем из яранги полусонные. К лагерю подъезжает знакомая упряжка. Олени бегут неторопливо, дышат тяжело — видно, очень устали.

Не узнаю старика — похудел, состарился, лихорадочно блестят глаза. Не распрягая оленей, он снимает мешок с нарты и вытряхивает ягельник утомленным ездовикам.

— Трудно далеко ездить, — говорит он осипшим, простуженным голосом, — корм возить надо...

Тальвавын с любопытством осматривает отдыхающий табун. Олени спокойно лежат по соседству на гладком, как капок, дне долины.

— Как, живы?! — воскликнул старик, не скрывая своего изумления.

— Семь дней на вершинах сопok пасли, на проталинах, — ответил я. — Отдыхать табун собрали.

Тальвавын понимающе оглядел наши измученные лица и тихо проговорил:

— Все равно слабые олени — очень большой табун, маленькие проталины, подохнут, однако.

Костя протянул Тальвавыну кисет; он пошел по кругу, все закурили.

— Как твои олени в лесу?

— Трудно живут: в густолесьях остался рыхлый снег. До весны неретерпят, — ответил Тальвавын. — Плохо, не слушались вы, далеко уходили в горы. Экельхут правильно говорил...

— А что сейчас говорит Экельхут? — поинтересовался я.

— Говорит: твой табун распускать надо, пока ходят олени. А весной все равно придут на знакомые места в мои табуны. Тамга твоя крепкая — железная, отобьешь потом своих оленей.

И вдруг я понял Тальвавына: ему просто жаль было оленей и он предлагал единственно правильный путь их спасения. Собственно, к этому же выводу мы с Костей пришли на сопке, где нас настиг Сашкин самолет.

Я посмотрел на Костю — лицо его было хмурое и злое. Он не успел ответить...

Откуда-то с неба послышался монотонный нарастающий гул. Тальвавтын, отвернув ухо малахая, прислушался.

— Сашка летит! — завопил Костя.

Гул нарастал и нарастал, раскатывался эхом в сопках Пустолежащей земли, наполняя долины грохотом. Все замерли, подняв лица к небу.

И вдруг из-за сопки с «каменным чемоданом» вылетела странная машина. Она неслась слегка юзом, похожая на громадную пузатую стрекозу. Таких летательных аппаратов мы с Костей еще не видывали.

Сверху над металлической стрекозой вращались громадные лопасти. На хвосте тоже вертелась какая-то вертушка. И вся тяжеленная махина с невероятным гулом легко и свободно неслась над долиной.

Тальвавтын окаменел, словно пораженный громом, лицо его побледнело, глаза расширились...

— Геликоптер! — изумился Костя.

— Вертолет! — поправил я.

В те годы вертолеты только что появлялись в авиации, и увидеть такую необычную машину в сердце Чукотки мы не ожидали.

Огромная махина с отвислым брюхом, внезапно как-то ко-со изменив курс, помчалась к нам.

— Железная птица! — воскликнул Гырюлькай. Воздевая руки к небу, он подпрыгивал, словно приглашая невиданную машину к себе.

Оглушительный рев заполнил долину, летательный аппарат пронесся над ярангами, взметая вихри, и вдруг повис над площадкой, которую мы приготовили ночью для посадки Сашиного самолета.

Вихрь разметал оленьи шкуры, расстеленные по углам площадки.

Вертолет величиной с добрый автобус, с длинным хвостом, украшенным вертушкой, плавно и вертикально опускался на отполированное дно долины. В воздухе бешено крутились лопасти, похожие на крылья железной ветряной мельницы.

И вдруг мы увидели под брюхом вертолета нечто невероятное! Покачиваясь на тросах, там висел знакомый тягач с утепленной кабиной. Головная машина нашего «снежного крейсера», испытывавшая ледяное купание в полярном океане!

Чудесная машина опустилась и, осторожно щупая надутыми шинами разбитые заструги, поставила свой драгоценный груз на обледелый снег.

И только тут мы с Костей сообразили — пришло спасение! Мы как ошалелые тискали друг друга в объятиях. Я расцело-

вал Геутваль. Костя, подхватив Эйгели и Гырюлька, пустился в пляс.

Сквозь стекла кабины мы видели смеющихся пилотов. И вот лопасти замерли. Распахнулась металлическая дверь, выскользнула узкая дюралевая лесенка...

На обледенелый снег выскакивали люди. Коренастый; в комбинезоне, в меховых унтах, в лётном шлеме Саша, побритый и радостный. За ним высокий — в канадской куртке и пыжиковой шапке.

— Да это же Буранов. Андрей!

За ним неловко спускается по лесенке длинная, сутулая фигура в короткой, не по росту, кухлянке.

— Неужто Федорыч?!

Механик уже копается у тягача. Из вертолета выпрыгивают парни в штормовых куртках, с откинутыми капюшонами. Они выгружают какие-то железные рамы, сваренные треугольником из рельсов, с массивными стальными ножами.

— А это что?

— Снегопахи... Федорыч придумал, — смеется Буранов, поглядывая на растерянные наши физиономии.

— Просто чудо какое-то! Андрей, как ты здесь очутился?!

— На выручку прилетел... — блеснув золотым зубом, ответил Буранов.

— А вертолет?!

— Авиаторы выручили.

Все это похоже на сон. Голова идет кругом.

— Порядок, Вадим... — усмехается Буранов. — Вы здесь вон какой табунице отхватили — целый совхоз! А мы тоже не зевали. Благодарю Сашу — он вас разыскал.

— Ваша сопка помогла, — кивнул на причудливую каменную вершину летчик. — Издали увидел «каменный чемодан», подлетел, гляжу — флаг у стойбища, значит, свои...

Федорыч завел трактор, и впервые с сотворения Белая долина ответила эхом на рокот тракторного мотора. Механик вывел машину из-под фюзеляжа вертолета. Парни прицепили рамы из рельсов с приваренными зубьями.

— Показывай, Вадим, где у вас тут ягельники, сейчас накормим табун, — говорит Буранов.

Зову Гырюлька. Опасливо подходит старик к невиданной машине.

Федорыч влезает в кабину, распахивает дверку:

— Садись, старина, показывай, где ягельники хорошие...

Растолковываю растерявшемуся Гырюлька, что надо показывать. Подвел к железным рамам с зубьями. И вдруг Гырюлькай радостно закивал поседевшей головой.

— Крепкие ножи! — воскликнул старик.

Федорыч поманил его в кабину. Мы с Костей подхватили

старика и посадили на мягкое сиденье, рядом сел Буранов. Дверца захлопнулась. Тягач взревел и двинулся, волоча тяжелые рельсовые бороны.

Зубья дробили обледеневший наст на мелкие куски. За трактором оставалась широкая полоса взрыхленного снега.

Мы с Тынетэгином и Геутваль поднимаем многотысячный табун, тесним к взрыхленной целине. Передние олени, учуяв запах ягеля, выбегают на широкий след, легко разгребают взрыхленный наст и жадно набрасываются на освобожденные ягельники.

Скоро весь шеститысячный табун вытянулся узкой лентой позади трактора. Грохот мотора не пугает оленей. Они чувствуют, что громыхающее чудовище избавляет их от гибели.

Люди молчаливо смотрят, потрясенные невиданным зрелищем.

— Здорово!— восхищается Костя.— Ну и башка у Федорыча!

Чудесный снегопах быстро взрыхляет пологий склон увала, особенно богатый ягелем. Тальвавтын поражен — с недоумением следит за оленями, неторопливо разгребающими изрубленный снег.

Авиаторы принялись выкатывать из вертолета бочки с горючим. Тягач, оставив на склоне увала свои могучие бороны, мчится к нам.

На снег выпрыгивают разгоряченные и раскрасневшиеся Буранов, Гырюлькай, Федорыч.

— Большой шаман, сильнее Экельхута,— кивает на Федорыча старик,— победил духов...

— Ну, Вадим, принимай снегопах на десять дней и Федорыча в придачу. Пойдете с трактором на запад, по кратчайшему пути к границе гололеда. Сто километров гололед будет, а дальше рыхлый снег, там и встанете... Саша,— позвал Буранов,— передавай свои кроки.

Саша подошел и вытащил из лётного планшета лист.

— Вот тебе схема маршрута и азимут движения. Вот граница гололеда и приметная сопка с кигиляхом¹ на вершине. Там заберем Федорыча с его колымагой.

Знакомлю Буранова со всеми нашими друзьями. Подвожу смутившуюся Геутваль:

— А это дочь снегов — великая охотница. Она подружилась с обитателями Пустолежащей земли.

— Хороша...— тихо говорит Буранов.— Кстати, Вадим, генерал просил тебе передать: в Польше твою Марию не нашли. Уехала куда-то в Советский Союз. Поиски продолжают. Найдут — сообщу.

¹ Кигилях — останец скальных пород на вершине.

У меня подкосились ноги. «Неужели жива? Но почему не пишет?!»

Тальвавтына не успеваю познакомить с Бурановым. Старик словно очнулся от сна, лицо его исказила судорога. Круто развернув нарту, он помчался прочь от нашего лагеря, нещадно погоняя оленей.

— Кто это?— спросил Буранов.

— Тальвавтын — король Анадырских тундр.

— Ого! Птица высокого полета. Много слышал о нем. Жаль, что не познакомились.

Парни откатали бочки с горючим для трактора.

— Прощайте, друзья...— говорит Буранов.— Улетать пора. Надо засветло в Певек вернуться с вертолетом, к последнему контрольному сроку...

Вертолетчики уселись в свои кресла, пристегиваются ремнями. Обнимаем Сашку, Андрея...

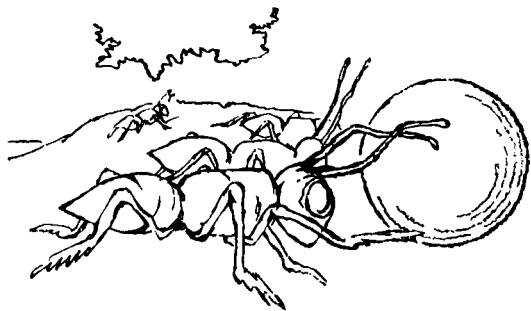
— Увидимся ли? Передай привет генералу.

Буранов скрылся в пузатом брюхе вертолета. Саша, махнув шлемом, втаскивает лесенку и захлопывает дверь. Вертолетчики подняли в прощальном приветствии руки, одетые в мохнатые рукавицы. Взревел мотор. Завертелись лопасти винта. Вихрь подхватывает и уносит наши малахай, оленьи шкуры, разбросанные на снегу.

Схватившись за руки, смотрим, как медленно подымается вверх чудесная металлическая стрекоза. Косо прочертив воздух, вертолет уносится ввысь, наполняя долину невероятным грохотом.

Неяркий свет полярного дня озаряет обледенелые снега. Они холодно отсвечивают. Но теперь этот мертвый ледяной панцирь не страшен нам...





Домбровский Н.

СЕРЫЕ МУРАВЬИ

Фантастическая повесть

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
(«Мир приключений», 1969)

Вся история началась с того, что в Америке взорвали очередную атомную бомбу, давно, еще в сороковых годах. Подземные воды, насыщенные радиоактивными веществами, просочились на поверхность и образовали в глухом лесу маленькое озеро.

Около него прижился муравейник.

Спустя много лет, уже в наше время, в окрестностях маленького университетского городка Нью-Карфагена начали происходить странные события. Внезапно умер, то ли от укуса муравья, то ли отравленный бразильским ядом кураре, Роберт Григ-младший — один из местных промышленников. В этой смерти оказалась замешана жена профессора Нерста — Мэрджори Нерст. Из боязни скандала она тщательно скрывает свое знакомство с Григом, но все подробности их отношений очень скоро становятся известны полиции.

В городе совершаются таинственные кражи. Из радиоприемников исчезают германевые транзисторы. В ювелирном магазине пропадают рубины, аккуратно вырезанные из своих оправ каким-то неизвестным инструментом. Все эти события так или иначе связываются с появлением в окрестностях города серых муравьев.

Изучением этих муравьев занимается профессор Нерст. Ряд обстоятельств приводит к выводу, что он имеет дело с совершенно новым, не известным науке видом муравья, отличающегося сравнительно высоким интеллектом и зачатками того, что можно назвать технической культурой. Некоторые наблюдения указывают на то, что муравьи связаны между собой биологической радиосвязью. В исследованиях Нерсту помогает ассистентка Линда Брукс и профессор физики доктор Ширер. Последний подвергался в прошлом преследованиям по обвинению в антиамериканской деятельности, но под давлением властей отказался от своих взглядов.

Некоторые сведения о муравьях Нерсту доставляет бразилец Васко Мораес — поденщик, работающий на ферме Томаса Рэнди. Здесь тоже появляются серые муравьи, и от их укуса погибает сын Рэнди — мальчик Дэви.

Химический концерн Грига, заинтересованный в увеличении продажи ядохимикатов, раздувает сенсацию вокруг появления опасных серых муравьев. Непосредственно этим занимается репортер местной газеты Ганнибал Фишер. Провокационные сообщения в газетах и по радио приводят к тому, что окрестные фермеры под водительством Томаса Рэнди устраивают поход против муравьев. Но это не дает желаемых результатов, и после гибели одного из фермеров остальные разбегаются. Однако при этом Васко Мораесу удается поймать «стальную» стрекозу, как-то связанную с появлением муравьев. Он приносит ее доктору Нерсту, который сразу устанавливает ее искусственное происхождение. Перед собравшимися возникает вопрос — кто же ее сделал?

1

8 июля.

10 часов 55 минут.

— Муравьи? — переспросил Ган Фишер.

— Да, муравьи, — повторил доктор Нерст. — Эту механическую стрекозу создали муравьи, теперь я в этом совершенно уверен. — Он смотрел на корреспондента, но, казалось, не видел его и обращался сразу ко всем, кто находился в этот момент в лаборатории: и к своему другу Ширеру, и к молчаливой ассистентке Линде Брукс, и к стоявшему в сторонке Мораесу, и к сотням своих студентов, ожидавших в аудиториях, и к миллиону американцев, сегодня еще ничего не знавших о серых муравьях. — Эта стрекоза, — продолжал доктор Нерст, — не насекомое. Это искусственно созданный летательный аппарат, построенный разумными муравьями. Ни один человек, даже самый искусный, своими грубыми руками никогда не смог бы сделать что-либо подобное... По сравнению с этой стрекозой механизм даже самых изящных дамских часов выглядел бы вроде кукурузного комбайна...

Лестер Ширер стоял перед экраном проекционного микро-

скопа и разглядывал изображение внутренностей «стрекозы» — тонкие беловатые трубки, разветвляющиеся, как пучки проводов или нервы на школьных анатомических моделях, какие-то ритмичные кристаллические структуры с четкими гранями и явно металлическими включениями, сероватые разорванные пленки, почти прозрачные и, казалось бы, влажные...

Местами все это напоминало машину, местами — просто внутренности раздавленного насекомого.

— Быть может, вы немного увлекаетесь, доктор Нерст, и забегаете вперед в своих высказываниях, — заметил Ширер. — Пока можно сказать лишь то, что мы в данном случае имеем дело, по-видимому, не с биологическим объектом. Я говорю «по-видимому», потому что пока не сделаны химические анализы материалов, пока мы не имеем ни малейшего представления о функционировании объекта в целом, об устройстве и назначении отдельных частей, о его энергетике наконец, нельзя делать никаких окончательных выводов. То, что, вскрыв один из сегментов брюшка насекомого, мы обнаружили детали, напоминающие известные нам приборы, созданные людьми, еще ничего не доказывает. Возможно, это результат какого-то еще не известного нам эволюционного процесса, возможно, и то, что это простая случайность, приведшая к грубому заблуждению. Представьте себе, что мы вскрыли желудок акулы, проглотившей корабельный компас, и не видим ничего, кроме его поврежденных деталей. Было бы опрометчиво делать на этом основании вывод, что рыбы двигаются с помощью электромотора. Необходимо провести подробное исследование и прежде всего хотя бы в общих чертах ознакомиться с «анатомией» этого объекта.

— Ваше замечание, дорогой Ширер, относительно акулы, проглотившей компас, может быть, и остроумно, но едва ли уместно в данном случае, — возразил Нерст. — Я далек от мысли делать какие-либо окончательные выводы, разумеется, для этого необходимы подробные исследования, но все же то, что в данном случае мы имеем дело не с насекомым, а с механическим прибором, кажется мне бесспорным. Что же касается общей «анатомии», как вы говорите, то этим я предполагаю заняться немедленно.

Нерст выключил экран микроскопа и, уткнувшись в окуляры, принялся наладывать манипулятор.

— Вам не помешает, доктор Нерст, если я сделаю несколько снимков для газеты? — спросил Ган Фишер.

— Помешает, — не оборачиваясь, ответил Нерст. — Сегодня я не могу дать вам никакой информации.

— Но... — возразил Фишер.

— Никаких «но», мистер Фишер, — вмешался Ширер. —

До тех пор пока мы не закончим исследования и не придем к достаточно обоснованным выводам, в газетах не должно появиться ни одной строчки.

— Но вы забываете, доктор Ширер...

— Я все помню.

— Вы забываете, доктор Ширер, что эта стрекоза, или этот объект, называйте как хотите, принадлежит мне. Это моя собственность. И только от меня зависит, разрешу ли я производить над ним какие-либо эксперименты или исследования. Я заплатил за него пятьдесят долларов, и он принадлежит мне.

Фишер говорил очень тихо и сдержанно, чувствуя за собой неоспоримое право. Ширер посмотрел на него удивленным, недоумевающим взглядом. Он не сразу воспринял несколько непривычный для ученого чисто коммерческий подход к делу. Ему казалось само собой разумеющимся, что подобное научное исследование должно в равной мере интересоваться всех имеющих к нему отношение. Минуту помедлив, он достал из кармана чековую книжку и автоматическую ручку.

— Я готов немедленно возместить вам расходы, мистер Фишер.

Ган Фишер отрицательно покачал головой:

— Вряд ли у вас хватит денег, доктор Ширер. Я не собираюсь продавать эту стрекозу ни за пятьдесят, ни за тысячу долларов. Я гораздо больше смогу заработать на сообщениях о нашем открытии. Я готов оставить вам для исследования этот объект, но с условием, что мне будет предоставлено исключительное право публикации сообщений о ваших исследованиях. Как о том, что вами и доктором Нерстом уже сделано, так и о том, что может быть выяснено в дальнейшем.

Фишер замолчал, давая время ученым обдумать его ультиматум.

Этой паузой воспользовался Мораес для того, чтобы внести свое предложение.

— Босс,— робко сказал он,— если вам нужны такие стрекозы, то по сто долларов за штуку я мог бы их вам приносить каждый день...

Нерст продолжал возиться со своим микроскопом. Кажется, он даже не слышал того, что говорили Фишер и Мораес.

— Лестер,— позвал он Ширера,— взгляните, Лестер, я никак не могу разобраться в том, как они крепят связки к панцирю. Сегменты панциря соединены эластичным материалом, но впечатление такое, словно... словно этот пластик прирос к металлу... Мне не хотелось бы его разрезать...

Ширер, все еще держа в руке перо и чековую книжку, нагнулся к микроскопу.

— Конечно, было бы лучше не разрезать,— сказал он.— В технике существует правило, что всякая машина, всякая

конструкция, созданная людьми, обязательно должна разбираться на части.

— Да, но эта конструкция создана не людьми,— возразил Нерст.

— Это не имеет значения. Техника должна оставаться техникой. Даже в муравьиных масштабах. Разборность механизма — это один из всеобъемлющих принципов конструирования. В этом, по-видимому, основное различие между произведениями техники и биологическими объектами. Любая машина изготавливается по частям и потом собирается, тогда как биологические объекты формируются сразу как единое целое путем одновременного наращивания деталей на молекулярном уровне. Поэтому животное нельзя разобрать на части, как машину.

— Это справедливо для человеческой техники. А здесь мы можем столкнуться с иными, нам совершенно чуждыми и непонятными технологическими приемами.

— Все равно. Любая машина должна изнашиваться или ломаться. Они должны были предусмотреть возможности ремонта, а для этого машина должна разбираться.

— Опять же с человеческой точки зрения... Что... вы хотите сами попробовать действовать манипулятором?

— Да.

Ширер неумело пытался продеть пальцы в кольца на ручьях манипулятора. Нерст показал ему правильное положение руки.

— Это очень просто, вы быстро освоитесь. Захваты манипулятора повторяют движения ваших пальцев и рук, но уменьшенные в масштабе одна двухсотая. Самое трудное — привыкнуть к левому изображению в поле зрения... Это обычный принцип пантографа...

Ширер осторожно и неуверенно попробовал управлять манипулятором.

Ган Фишер достал из футляра фотокамеру и установил на ней фотолампу. Линда Брукс, следившая за его действиями, встретила с ним взглядом и отрицательно покачала головой; неслышно, одними губами, она произнесла слово «нельзя». Фишер сделал вид, что не понял ее знаков, и, выбрав подходящий момент, нажал спуск фотокамеры. Полыхнула и погасла фотолампа. Доктор Нерст резко обернулся:

— Что это было?

— Поймите меня правильно, доктор Нерст,— сказал Фишер,— я никоим образом не хочу мешать вашей работе. Наоборот, вы могли убедиться в том, что я всячески рад вам содействовать, но вы должны понять и меня: пресса — это мой бизнес, моя работа. Вся эта история с муравьями интересует меня лишь постольку, поскольку она может дать материал для печати. Это мой бизнес...

— Я прошу вас возможно скорее уйти из лаборатории,— сказал Нерст.

— Подождите, Клайв, не нужно горячиться.— Ширер повернулся от микроскопа и старался выпростать пальцы из захватов манипулятора.— Подождите, Клайв, от прессы мы все равно не избавимся, а мистер Фишер действительно оказал нам некоторую помощь, и кое в чем он прав. Если бы не он, мы бы сейчас не имели в руках этой стрекозы.

— Но я не могу допустить безответственных публикаций в газетах и по радио. Если бы не эта безграмотная передача, фермерам никогда не пришло бы в голову устраивать поход против муравьев. Гибель этого старика на вашей совести, мистер Фишер.

Фишер сделал протестующий жест:

— Я не давал этой информации, доктор Нерст. Я передал на радио только то, что было напечатано в газете и что мы с вами согласовали. Эту передачу финансировало местное отделение химического концерна «Юнион кемикл»: они заинтересованы в продаже ядохимикатов и ради этого несколько сгустили краски. Я здесь ни при чем.

— Но это возмутительно! Какая может быть гарантия, что нечто подобное не повторится снова?

— Такой гарантии быть не может. Мы живем в свободной стране, и каждый вправе публиковать то, что он считает нужным.

— Если это не вредит интересам общества,— вставил Ширер.

— Обычно это бывает очень трудно доказать.

— Вот поэтому я и не хочу давать никакой информации, пока мы не придем к определенным выводам,— сказал Нерст.

— Я думаю, вы не правы, Клайв,— возразил Ширер.— Заставить замолчать прессу не в нашей власти. Какие-то сведения все равно будут появляться и будоражить общественное мнение. Единственное, что мы можем сделать,— это позаботиться о том, чтобы информация носила по возможности объективный и научно достоверный характер. События, участниками которых мы стали, имеют слишком большое значение не только для нас. Впервые за всю историю Земли люди столкнулись с технической культурой, с цивилизацией, которая имеет нечеловеческое происхождение. Это подобно появлению инопланетных пришельцев, о которых пишут в фантастических романах. Мы не вправе брать на себя всю полноту ответственности и замалчивать факты в ожидании исчерпывающих научных результатов.

— Но тогда я категорически настаиваю на том, чтобы любое сообщение, которое будет публиковаться со ссылкой на на-

шу лабораторию, было предварительно мне показано. Вы правильно заметили, Ширер, что на нас лежит слишком большая ответственность перед обществом и мы обязаны проследить за тем, чтобы в печати не появлялось ничего такого, что может ввести людей в заблуждение.

— Это я могу вам обещать, доктор Нерст. Вы уже имели случай убедиться в моей корректности, и я обещаю вам передавать в печать лишь ту информацию, которую вы сочтете уместной.— Фишер, как полководец, одержавший сомнительную победу, спешил закрепить на завоеванной позиции.— Но, понятно, я не могу нести ответственность за то, что будут писать мои коллеги... Если вы не возражаете, я хотел бы сделать еще несколько снимков в лаборатории...

Нерст молча отвернулся. Его воображению представились те сотни и тысячи холодных, равнодушных, эгоистичных, иногда более или менее честных, иногда подлых людей, которые будут делать свои большие и мелкие бизнесы на его открытии.

2

9 июля.

13 часов 20 минут.

Самолет набирал высоту.

Пассажир у восьмого окна с правой стороны равнодушно смотрел в мутный кружок иллюминатора. На стекле розовел косой след раздавленной мошки, отброшенной встречным потоком воздуха.

В детстве он любил давить мух на окнах. Это было немного противно, немного жутко и щекотало нервы ощущением власти и безнаказанности.

Это же сознание безнаказанности, возможность вызывать в людях чувство страха, стало для него источником удовлетворения в его теперешней деятельности в роли специального инспектора Федерального бюро расследований. Сейчас он направлялся в один из юго-западных штатов для проверки хода следствия по делу Грига.

Под крылом самолета медленно скользили желто-зелено-серо-лиловые клетки полей, четко разграниченные внизу, прямо под самолетом, и сливающиеся в общий голубоватый тон вдаль, на непривычно высоком горизонте. Тонкие, прямые, белые нити дорог расчленили лоскутную пестроту полей на большие квадраты, подобно координатной сетке на географической карте. Разница была лишь в том, что на географических картах меридианы и параллели изображают обычно черными, а здесь они казались почти белыми. Все было очень правильным и прямоугольным. Редкие извилистые ленты рек и висевшие

кое-где между землей и темным, фиолетовым небом белые хлопья облаков только еще больше подчеркивали строгую геометричность разграфленных по линейке посевов и пашен. Это была прочно обжитая, хорошо ухоженная, крепко прибранная к рукам земля. Старательный хозяин трудом нескольких поколений очень хорошо оборудовал ее для жилья. Она казалась причесанной, приглаженной, подстриженной, выскобленной до стерильной чистоты, обсосанной пылесосами, напомаженной и смазанной там, где ей полагалось быть смазанной. Это была очень удобная и совершенная машина для жилья людей, снабженная электричеством, сеткой оросительных каналов, гладкими дорогами, уютными фермами с телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и удручающей скукой по вечерам.

Инспектора Федерального бюро расследований весьма мало интересовала панорама напомаженной страны за окном самолета. Он равнодушно отвернулся, открыл объемистый желтый портфель и занялся своими бумагами.

До того, как стать инспектором ФБР, он переменял несколько профессий. Он был агентом по продаже недвижимости, гидом на Ниагарском водопаде, держал маленькую рекламную контору в Кентукки и даже пробовал свои силы в кино. Пожалуй, ни одна область человеческой деятельности не привлекает к себе в такой степени мечты неудачников, как кино. Это кажется так просто — жить на экране, увлекать миллионы людей выдуманными поступками выдуманных героев и собирать с этих миллионов людей миллионы долларов. Он не имел никаких данных для того, чтобы стать артистом. Его крошечное личико, сморщенное, как старушечий кулачок, с остреньким носиком, никак не подходило для звезды экрана. Поэтому он решил попытать счастья в качестве продюсера. Его расчет был прост. Не полагаясь на свой талант или профессиональный опыт, он предполагал добиться успеха, показывая на экране то, что всегда вызывает отвращение в людях с развитым интеллектом, но что привлекает нездоровое любопытство толпы обывателей. Ему удалось собрать некоторую сумму денег, достаточную, чтобы начать съемки фильма и тем поставить своих кредиторов перед дилеммой: или потерять деньги, или продолжить финансирование в надежде закончить картину и вернуть затраты.

В фильме из современной американской жизни много и подробно убивали людей. Их били дубинками, им выдавливали глаза и заливали глотки горячей нефтью. Все это делалось с большой изобретательностью и претензией на новое слово в искусстве. Опасаясь, что зритель может не поверить в истинность того, что ему показывают, и догадается, что все это лишь изображается актерами, а не происходит на самом деле, он до-

бавил несколько настоящих, подлинных истязаний — забил на смерть собаку и переломал ноги лошади. Но обыватели его почему-то не поняли и не понесли свои доллары в кассы кинотеатров. Не помогли ни реклама, ни глубокомысленные замечания некоторых критиков, боявшихся прослыть отсталыми.

Потерпев финансовый крах, он был вынужден ликвидировать свою рекламную контору и заняться иного рода деятельностью. Используя некоторые неофициальные связи, ему удалось поступить на службу в Федеральное бюро расследований. На выбор новой профессии повлиял один, казалось бы незначительный, факт: по странной случайности его звали Джеймс Бонд. Собственно говоря, его звали не Джеймс, а Оливер, и не Бонд, а Бонди, так звали его, когда он был маленький. Полное имя — Оливер Мартин Джеймс Бонди. В школе его звали Слизняк Бонди за унылую внешность и пристрастие к доносам. В шестидесятых годах, когда он прочел романы Флемминга о героических похождениях легендарного сыщика — «агента 007» Джеймса Бонда, когда посмотрелся фильмов, повествующих о невероятных приключениях этого супермена, преследователя гангстеров и борца с коммунистами, он утвердился в мысли, что сходство имен дает ему право на преэминентность по отношению к литературному герою. Так бывает иногда с глупым актером, стяжавшим известность исполнением роли великого человека. Постепенно он так вживается в образ, что и в жизни начинает путать себя с киногероем. Такой актер, правда, не совершает великих деяний, свойственных его прототипу, но зато всегда с удовольствием принимает преклонение публики, относящееся вовсе не к нему лично как к актеру, а к тому, кого он изображал. Постепенно ему начинает казаться, будто он и в самом деле совершил те подвиги, которые только изобразил перед стеклянным глазом кинокамеры.

Оливер Джеймс Бонди так привык отождествлять себя со своим почти однофамильцем, что стал путать действительность с вымыслом, свою настоящую, весьма прозаическую, жизнь с насыщенной приключениями жизнью киногероя. Он изменил свою фамилию, откинув «и» на конце, и добился того, что был принят на работу в ФБР. Нельзя сказать, что сходство фамилий так уж совсем не способствовало его новой карьере. Каждый, с кем он встречался, услышав знаменитое имя Джеймс Бонд, невольно переносил на него уже сложившееся под влиянием кино и телевидения отношение к Джеймсу Бонду — неподобному сыщику. Правда, его деятельность в ФБР носила весьма скромный характер. Поручение заняться делом Грига было его первым серьезным заданием, и сейчас, направляясь в штат Южная Миссисипи, он был полон решимости доказать, на что способен настоящий, невыдуманный Джеймс Бонд.

Впереди в проходе между креслами появилась профессионально прелестная стюардесса. Оливер Бонди не любил женщин такого типа, слишком уверенных в своей привлекательности. Он вообще не любил всех здоровых, веселых и красивых людей, словно бы они захватили полагавшуюся ему долю радостей жизни.

— Леди и джентльмены, — сказала стюардесса с дежурной голливудской улыбкой, — приветствую вас на борту самолета «Америкен эрлайнз» пятнадцать восемьдесят один. Мы летим на высоте тридцать две тысячи футов со скоростью шестьсот миль в час. Температура воздуха за бортом самолета — минус пятьдесят градусов по Фаренгейту. Сейчас мы находимся над штатом Западная Вирджиния, через несколько минут с левого борта можно увидеть город Чарлстон. Наш самолет следует по маршруту Вашингтон — Денвер — Парадайз-сити. Командир корабля капитан Дональд Роклин, стюардессу зовут Мюриэл Акерс. Она охотно исполнит все ваши просьбы.

Стюардесса еще раз кокетливо улыбнулась. Оливер Бонди покосился на ее стройную фигурку и отвернулся. Он достал из портфеля подборку материалов по делу Грига и занялся чтением.

Работать в самолете не очень удобно. Как бы ни был обычен в наше время воздушный транспорт, как бы часто ни приходилось летать человеку, все равно каждый новый полет — это всегда событие, несколько выходящее из ряда обыденных впечатлений. Настойчивые заботы администрации о комфорте и безопасности лишь подчеркивают исключительность полета. Биологически человек не приспособлен для жизнедеятельности в воздушном пространстве, и любой воробей должен чувствовать себя в самолете спокойнее и увереннее, чем даже самый опытный летчик.

Оливер Бонди сделал над собой усилие и постарался думать не о тридцати двух тысячах футов, отделявших его от земли, а о бумагах, лежавших у него на коленях.

В докладе, составленном по материалам следствия, которое вел местный агент в Нью-Карфагене, весьма скупо излагались факты, касающиеся смерти сына полковника Грига во время загородной поездки вместе с женой профессора Нерста, и высказывались некоторые предположения относительно возможных обстоятельств убийства. Все выглядело довольно обычно, за исключением туманных упоминаний о серых муравьях, которые, видимо, играли в этом деле более существенную роль, чем это хотелось показать автору доклада.

Оливер Бонди откинулся на спинку кресла и постарался представить себе, с чем ему придется иметь дело в ближайшие дни. Те, кто его послали, довольно ясно намекнули, что в этом

деле далеко не все так просто, как может показаться с первого взгляда, особенно если судить только по докладу местного агента. Ему советовали основательно заняться муравьями и не спешить с выводами.

Оливер Бонди перевернул плотную хрустящую пачку листов доклада и стал просматривать газетные вырезки. Первые сообщения местной печати по тону и освещению событий мало отличались от того, что содержалось в докладе инспектора. Но чем дальше, тем все большее место уделялось муравьям. Последние сообщения о нападениях муравьев на людей и неудачном походе фермеров были перепечатаны некоторыми центральными газетами. В корреспонденции высказывались упреки в адрес местных властей и сельскохозяйственной инспекции, которые не приняли никаких мер для уничтожения ядовитых насекомых. В общем, все это носило довольно обыденный характер, за исключением одной статьи в распространенной газете, где высказывались явно бьющие на сенсацию совершенно фантастические домыслы о какой-то особой породе муравьев, научившихся пользоваться металлами и похищающих драгоценности из ювелирных магазинов. «Если бы это оказалось хотя бы на десять процентов правдой,— подумал Оливер Бонди,— я мог бы считать свою карьеру обеспеченной. Нет в современной Америке более легкого способа сделать деньги, как оказаться в центре сенсации, а из этого безусловно можно сделать сенсацию, если с умом взяться за дело».

В конце статьи скупое упоминалось о том, что муравьи пользуются какими-то летающими приспособлениями, по виду напоминающими стрекоз.

Оливер Бонди захлопнул папку с документами и рассеянно взглянул в окно.

Реактивные двигатели воздушного лайнера пели на одной ноте. Этот звук не повышался и не понижался и по тону походил на жужжание стрекозы. В окно был виден край крыла с подвешенными под ним моторами. Корпус мелко вибрировал, усиливая сходство самолета с каким-то гигантским насекомым, с единым организмом, живущим своей жизнью. Оливер Бонди представил себе такой же самолет, но пропорционально уменьшенным в сотни раз. Какая нежная, хрупкая штучка должна получиться! Такая же или даже еще более хрупкая, чем живое насекомое. Одного щелчка, одного движения пальца было бы достаточно для того, чтобы превратить это сложное сооружение в кровавую кашу из раздавленных пассажиров, скорлупок металлической обшивки и перепутанных клубков тончайших трубочек и проводов. Хрустнет, как раздавленная муха, и все...

Стюардесса начала подавать завтрак, ловко маневрируя в узком проходе между креслами.

Оливер Бонди укрепил поднос на подлокотниках. Стакан сока, ножка цыпленка с листиком салата и кусок шоколадного торта. Он отпил сок и готов был приняться за цыпленка, но в этот момент заметил на краю подноса маленького муравья. Он не сразу подумал, что это может быть один из тех самых муравьев, о которых он только что читал. Повинуясь первому импульсу, он придавил его пальцем. На подносе остался грязный след. Половина муравья — голова и грудь — осталась цела и продолжала шевелить лапками. Бонди еще раз прижал его ногтем, и только тут у него мелькнула мысль о грозящей смертельной опасности. Он попытался подняться, но ему мешал поднос. Он почувствовал себя в ловушке. Стараясь освободиться от подноса и встать с кресла, он рассыпал лежавшие на коленях бумаги и опрокинул стакан с томатным соком. Ему показалось, что весь он облеплен муравьями. Они ползали у него за воротником, копошились на спине под рубашкой, кусали икры и плечи. Залитые соком брюки противно липли к телу.

Подбежала испуганная стюардесса.

— У нас не может быть муравьев в самолете, сэр, это ошибка... это хлебная крошка... Позвольте мне заменить вам завтрак...

Оливер Бонди окончательно потерял самообладание. Он вскочил на ноги. Толкнув соседа, задев стюардессу, встречая возмущенные, сочувствующие, насмешливые и просто безразличные взгляды пассажиров, Оливер Бонди пробрался в туалетную комнату.

Ему вдогонку из репродуктора слышался равнодушно-любезный голос:

— Леди и джентльмены! Наш самолет пролетает над рекой Миссури южнее города Сан-Луи. Вы можете любоваться открывающимся видом через окна правого и левого борта...

3

9 июля.

14 часов ровно.

— Джентльмены!

Окружной агроном сделал паузу и обвел взглядом собравшихся.

Члены Совета графства и несколько человек, специально приглашенных на это заседание, расположились за длинным столом в унылой казенной комнате и делали вид, что пришли сюда с единственной целью: выполнить свой гражданский долг. Перед каждым лежал чистый лист бумаги, на котором еще не появились ни записи, ни пометки с большими восклицатель-

ными или вопросительными знаками, ни бессмысленные закорючки, которые так любят рисовать «отцы города» во время подобных заседаний.

Справа от окружного агронома, несколько отодвинувшись от стола, жался в кресле смущенный доктор Нерст. Он чувствовал себя стесненным этой, непривычной ему, официальной обстановкой и совершенно бессмысленно перебирал бумаги в разложенной на коленях папке.

Тихо гудел мотор кондиционера.

— Джентльмены! — повторил окружной агроном. — Совет графства просил меня сделать сообщение о тех мерах, которые уже предпринимает или может предпринять в ближайшее время сельскохозяйственная инспекция нашего округа для уничтожения появившихся в последнее время в окрестностях города вредных насекомых. Я имею в виду ядовитых серых муравьев. Все вы, несомненно, читали газеты и находитесь в курсе происшедших событий. Мне нет нужды говорить о той опасности для населения, которую представляют собой серые муравьи, и поэтому я сразу перейду к изложению тех данных, которые имеются в распоряжении сельскохозяйственной инспекции. К сожалению, эти данные носят в значительной части случайный, отрывистый или недостаточно систематизированный характер. Тем не менее сейчас уже можно считать установленным, что серые муравьи отнюдь не являются неуязвимыми, как это может показаться после недостаточно обоснованных газетных сообщений. Серые муравьи, как и большинство насекомых, подвержены действию ядохимикатов, в частности, они быстро погибают при обработке их такими веществами, как гексахлоран, хлорпикрин или дихлордифенилтрихлорэтан. Однако сложность проблемы состоит в том, что муравей погибает лишь при непосредственном воздействии на него ядохимиката. Нужно производить опрыскивание на довольно большой площади, охватывающей весь район распространения насекомых, и делать это так тщательно, чтобы ни один муравей не мог избежать контакта с ядохимикатом. Мы сейчас еще не знаем точного расположения места их гнездования, мы можем лишь предполагать, что муравейник — или муравейники — находится где-то в окрестностях лесного озера, в нескольких милях от федеральной дороги. Сложность проблемы усугубляется тем, что вблизи озера находится очаг повышенной радиации. По некоторым наблюдениям, мощность излучения такова, что исключает возможность пребывания там человека сколько-нибудь длительное время. Неудачная попытка фермеров уничтожить муравьев теми средствами, которые они обычно применяют для истребления вредителей на своих полях, убедительно показывает всю сложность стоящей перед нами проблемы...

— Что же вы предлагаете? — задал вопрос один из членов Совета графства.

— Сложность проблемы... — Агроном остановился, заметив, что он злоупотребляет повторением одного и того же выражения. Он потянулся за сифоном с содовой водой. — Передайте мне, пожалуйста, воды, — сказал он. — Спасибо. — Он отпил несколько глотков и начал фразу с другого конца: — Сейчас я перейду к тем предложениям, которые может сделать сельскохозяйственная инспекция. На наш взгляд, представляются два возможных варианта. Так сказать, радикальное решение и компромиссное. Мы можем примерно определить границы района, где локализована деятельность серых муравьев. Это лесной массив площадью около двадцати тысяч акров. Единственное, что возможно сейчас сделать в рамках нашей обычной деятельности по защите посевов, — это постараться воспрепятствовать дальнейшему распространению муравьев за пределы этой зоны. Я полагаю, для этого мы могли бы обработать ядохимикатами более или менее широкую полосу по границам участка. Это не приведет к полному уничтожению муравьев, но, несомненно, затруднит их распространение за пределы участка. Это, так сказать, простейшее мероприятие, которое мы могли бы провести своими силами. Другое, как я сказал, радикальное решение — это обработка всего лесного массива с воздуха. Это мероприятие поведет к полному уничтожению очага размножения муравьев, но оно потребует расхода довольно значительных средств и может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Дело в том, что для полного уничтожения муравьев необходимо тщательно обработать каждое дерево, каждый куст. Возможно, потребуются предварительное применение дефолиантов для устранения листвы на деревьях. Все это неизбежно приведет к полному истреблению всего живого на территории леса, а возможно, и к гибели всего лесного массива. Так как лес находится в ведении федеральных властей, мы не вправе принимать эти меры, не согласовав их с вышестоящими организациями.

— Едва ли федеральное правительство будет возражать. Это можно легко уладить.

— Сколько будет стоить проведение операции?

— По предварительной смете, обработка с воздуха обойдется 57 832 доллара.

— Какой убыток причиняют муравьи и какова предполагаемая сумма убытков на ближайшие годы, если вообще не принимать никаких мер по уничтожению муравьев? — Этот вопрос задал тот же член Совета графства, который интересовался стоимостью операции. Он сделал первые пометки на своем листке бумаги.

— Видите ли... — Окружной агроном замаялся, подыскивая

более точную формулировку.— Видите ли... собственно говоря, до сих пор, если не считать несчастных случаев с людьми, муравьи не приносили убытка. Скорее, даже наоборот: серые муравьи, как и другие обычные лесные муравьи, приносят некоторую пользу — они уничтожают вредных насекомых, вредителей леса, и тем способствуют его росту.

— Значит, они полезны?

— В этом смысле — да. Но они представляют определенную опасность для жизни людей...

— Это можно легко подсчитать... — Член Совета графства, интересующийся стоимостью, посмотрел на сидящего напротив другого члена Совета графства, связанного со страховым обществом.— Мой коллега,— продолжал он,— надеюсь, сообщит нам, кто из пострадавших и на какую сумму был застрахован?

— Только двое: бармен на пять тысяч долларов и Григ на тридцать шесть тысяч.

— Итого — сорок одна тысяча долларов. Но Григ — это не типичный случай. Я думаю, следует принять среднюю сумму страхования жизни фермеров что-нибудь около десяти тысяч... Какое число жертв ежегодно можно считать вероятным в том случае, если не будет предпринято никаких мер по уничтожению муравьев? Вы меня понимаете, джентльмены? Я ищу приемлемых критериев для оценки экономической эффективности мер по уничтожению муравьев. Сколько стоит человек и сколько стоит муравей? Мертвый муравей.

— Я полагаю,— заметил член Совета графства, связанный со страховым обществом,— я полагаю,— повторил он,— что, если муравьи не будут уничтожены, наша компания будет вынуждена пересмотреть тарифные ставки страхования жизни. Во всяком случае, ставки для данного района страны. Я считаю, что наш долг перед избирателями, наша священная обязанность — как можно скорее принять все необходимые меры для полного уничтожения серых муравьев.

— Вопрос установления тех или иных тарифных ставок страхования жизни — это частное дело компании и не может быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения,— заметил молчавший до этого член Совета графства.— Единственная задача наша — это принять такое решение, которое наиболее полно отвечает интересам налогоплательщиков. С этой, и только с этой, точки зрения мы и должны рассматривать всю проблему. Насколько я понял из объяснений окружного агронома, муравьи, пока они находятся в лесу, не приносят вреда посевам, наоборот: они являются, в известном смысле, полезными насекомыми. Что же касается опасности для людей, то это мне кажется сильно преувеличенным. На земле существует много ядовитых животных — змеи, пауки, осы и множество других,

я не буду их перечислять, дело не в этом, а в том, что если от их укусов и бывают случаи гибели людей, то всегда это происходит по собственной неосторожности. Главным образом, оттого, что люди не применяют необходимых защитных мер. Я не вижу необходимости уничтожать огромный лесной массив ради того, чтобы истребить несколько муравьев. Гораздо проще предоставить заботу о собственной безопасности самим фермерам. Фирма «Юнион кемикл», в которой я имею честь сотрудничать, может обеспечить население любым количеством весьма эффективных инсектицидов и по достаточно низким ценам. В настоящее время наша фирма разрабатывает новый препарат — «формикофоб», специально предназначенный для защиты от муравьев. Он обладает приятным запахом и совершенно безвреден для человека. Мой коллега интересовался экономической стороной дела. Мне кажется, предложенный им способ оценки стоимости одного человека, по средней сумме страховки в десять тысяч долларов, крайне завышен. В среднем человек стоит гораздо меньше, так что с этой точки зрения нет никаких экономических оснований для проведения весьма сложного и дорогостоящего мероприятия по уничтожению муравьев.

Член Совета графства замолчал. Насколько он мог судить, его выступление произвело нужное впечатление, и, если не будет приведено новых, более веских аргументов, Совет графства не примет ассигнований на полное уничтожение муравьев.

Некоторое время в зале заседаний царило молчание.

По гладкой, хорошо отполированной ножке стола, с той стороны, которая находилась по диагонали от угла, за которым сидел доктор Нерст, медленно ползли два серых муравья.

— Я шериф, — сказал шериф, — и на моей обязанности лежит забота о безопасности жителей нашего графства. Должен сказать, что это первый случай в моей практике, когда людям, населению нашего округа, угрожают не люди, а... как бы это сказать... очень маленькие насекомые. Но тем не менее это опасность, а с каждой опасностью надо бороться. Я не специалист и не могу судить обо всем так подробно, как другие, но за последнее время мы имели несколько случаев правонарушений, которые, возможно, связаны с муравьями. Я имею в виду хотя бы ограбление ювелирного магазина. Следствие по этому делу еще не закончено, и сейчас нельзя сказать ничего определенного, но не исключена возможность, что это дело рук... — Он поправился: — ...дело ног муравьев... — Поняв, что совсем запутался, он махнул рукой и продолжал: — Все равно... если

подобные случаи будут повторяться, они так же должны быть приняты в расчет при определении убытков, приносимых муравьями. Было бы интересно выслушать по этому вопросу мнение доктора Нерста, присутствующего на нашем заседании.

Все посмотрели на доктора Нерста. Он сидел в своем кресле, несколько отодвинувшись от стола, как бы показывая этим свою непричастность к этому собранию людей, считающих себя вправе распоряжаться судьбами города. Ему никогда не приходилось принимать участие в подобных собраниях, никогда не приходилось так близко наблюдать в действии американскую демократию. То, что здесь говорилось, мысли и соображения, которые здесь высказывались, даже сам подход к проблеме с точки зрения стоимости одного среднего человека был совершенно чужд складу его ума. Если оценивать это собрание с позиций тех научных дискуссий, участником которых он часто бывал, все это производило впечатление крайнего дилетантизма и непрофессиональности. «Очевидно,— думал он,— управление городом должно быть такой же профессией, как и всякая другая. И главное, здесь так же, впрочем, как и в любой деятельности, необходима полная честность, отрешенность от предвзятых мнений и личных интересов. Что было бы с наукой, если бы ученые в своих спорах руководствовались не поисками истины, а конъюнктурными интересами коммерческих предприятий, политических партий или отдельных лиц? Собранным здесь «отцам города» нет никакого дела до существа проблемы, они даже не задумываются над тем, что из себя представляют серые муравьи. Они интересуют их лишь в той мере, в какой могут оказать влияние на их личные планы, на развитие их бизнеса. Шериф хочет быть переизбранным на следующих выборах, и поэтому ему важно успокоить общественное мнение; член Совета графства, очевидно связанный со страховым делом, опасается увеличения числа несчастных случаев, так как это, естественно, повлечет за собой убытки. Поэтому он заинтересован в полном уничтожении муравьев и восстановлении статус-кво. Но в то же время он подумывает о том, что небольшая ложная паника могла бы пойти на пользу дела, так как вызвала бы приток новых клиентов. Представитель фирмы, торгующей инсектицидами, уже все подсчитал и взвесил. Он пришел к выводу, что ему гораздо выгоднее увеличение розничного сбыта, чем единовременный заказ, связанный с тотальным уничтожением муравьев. Окружной агроном пытается сохранить объективность, но он совершенно не понимает всей сложности возникшей проблемы, хотя сам все время повторяет эти слова. Председатель Совета графства...»

— Итак, доктор Нерст,— обратился к нему председатель,— что могли бы вы сказать по этому поводу?

— Я думаю,— сказал Нерст,— я думаю, что мы, все здесь

собравшиеся, несколько недооцениваем те факты, с которыми нам приходится иметь дело. Если обратиться к историческому опыту, то нужно с сожалением признать, что еще ни в одном случае, когда перед людьми вставала задача полного уничтожения вредных муравьев, не было достигнуто успеха. Трудность в данном случае усугубляется тем, что мы имеем дело не с обычными муравьями. Появившиеся отличаются от всех ранее известных видов насекомых и не только насекомых. Дело в том, что они, видимо, стоят на иной, более высокой ступени развития, чем все известные нам живые существа, кроме нас самих. Они обладают тем, что я назвал бы «технической культурой». Они не только строят дороги и жилища, как все муравьи, но они создают машины. И это главное. Машины. Орудия производства. А раз так, то, помимо чисто практических трудностей борьбы с вредными насекомыми, перед нами встанет прежде всего вопрос, я бы сказал, этического характера. Целесообразно ли, вправе ли мы уничтожать эту возникшую рядом с нами культуру только потому, что она не такая, как наша? Уничтожать, не подвергнув ее прежде доскональному и всестороннему изучению?

— Скажите, доктор Нерст, если я вас правильно понял, вы возражаете против тотального уничтожения муравьев с воздуха? — Этот вопрос задал тот член Совета графства, который был связан с торговлей химикатами.

— Я считаю,— ответил Нерст,— что это принесет нам больше вреда, чем пользы.

— Хорошо. Тогда, если мне будет позволено,— член Совета графства обратился к председателю,— я хотел бы сформулировать проект нашего решения по этому вопросу... — Член Совета графства взглянул на лежащий перед ним лист бумаги, на котором он делал заметки, и увидел ползущего серого муравья. Член Совета графства машинально смахнул его со стола, но тут же, с некоторым опозданием осознав, что это один из тех муравьев, вскочил со своего места и затопал, застучал каблуками, стараясь раздавить невидимого муравья. Он вертелся так, словно учился плясать чечетку.

Почтенные «отцы города» невозмутимо сохраняли благопристойность...

4

11 июля.

10 часов 30 минут.

Если на землю смотреть с вертолета, она не теряет своей привычной реальности. Это не то, что вид из окна самолета с большой высоты, когда все затянуто голубоватой дымкой и цвета меняются, становятся блеклыми. С вертолета хорошо

видны участки полей, разделенных узкими полосками живых изгородей, дороги с автомобилями, отдельные деревья и люди, работающие на полях.

Мальчик, который сидел у окна в кабине, смотрел на землю и старался узнавать знакомые места. Все выглядело обычно и в то же время странно, потому что он еще не привык видеть землю сверху. Он сидел рядом с пилотом и глядел на проносящиеся внизу черепичные кровли ферм, на проезжающие по дорогам автомобили, на тень вертолета, машущую своими лопастями и легко скользящую по темно-зеленым группам деревьев. Сверху они были похожи на клочки густого лесного мха. Такой мох растет в сырых еловых лесах. Мальчик жил раньше в северных штатах, где много таких лесов.

— Папа, мы полетим вдоль дороги? — спросил он.

Отец его не услышал. Мальчик потянулся за ларингофоном, который висел на стенке кабины. Отец увидел, что мальчик прилаживает переговорное устройство, и улыбнулся. Он поправил свой шлемофон и отключил связь с аэродромом.

— Что ты хочешь спросить, сынок? — сказал он.

— Я говорю: мы полетим вдоль дороги?

— Нет, я думаю, сперва пролетим над лесом, чтобы осмотреть весь участок, а потом начнем обрабатывать западный клин. Там ждет репортер из Ти-Ви. Он хочет снять нас для вечерней программы.

Мальчик промолчал. Ему было жаль, что они не полетят вдоль дороги. Ему хотелось сравнить скорость их вертолета с проносящимися по шоссе машинами. Все мальчишки любят быструю езду, и в машинах они прежде всего обращают внимание на крайнюю цифру спидометра, не задумываясь над тем, что никто никогда не ездит с этой максимальной скоростью.

— Папа, а ты дашь мне самому включить эжектор, когда мы прилетим на место?

— Я же тебе обещал.

— Они прячутся в лесу?

— Кто?

— Муравьи.

— Конечно. Муравьи обычно живут в лесах. Разве ты не знаешь?

— Знаю. Только я никогда не видал этих серых муравьев.

— Их мало кто видел. Больше разговоров.

— И мы их всех уничтожим?

— Вряд ли.

— Почему?

— Лес — это не хлопок. На хлопке или на капусте можно за один раз уничтожить всех вредителей, да и то не всегда. А в лесу это трудно.

— Почему?

— Нужно, чтобы ядохимикат проник в почву. Муравьи живут на земле. На деревья они поднимаются только за пищей, а в основном прячутся в своих муравейниках. А с воздуха разве можно обработать весь лес так, чтобы опрыскать каждое дерево от макушки до корня. Из этого все равно ничего не выйдет.

— Зачем же мы тогда летим?

— Нам платят за это деньги. Это моя работа. Совет графства принял решение, а я должен его выполнять. Конечно, нужно было бы сперва обработать лес дефолиантами, чтобы опали листья, но на это не согласились. Не хотят портить леса. Не понимают, что сперва надо уничтожить листья на деревьях, а потом пускать в дело инсектициды. Тогда они пропитали бы всю почву и муравьям некуда было бы деваться. А так вся наша химия останется на листьях, а муравьи будут спокойно сидеть в своих муравейниках и только посмеиваться.

Мальчик представил себе хохочущих муравьев, и ему самому стало смешно.

Вертолет пересек магистральное шоссе и теперь летел вдоль восточной окраины леса. Справа, до самых холмов на горизонте, раскинулся сплошной лесной массив. Слева — расчерченные светлыми полосками дорог поля фермеров.

Пилот посмотрел на приборы. Давление масла в норме. Бензина — почти полный бак. Обороты в норме. По серой серебристой панели щитка пробирался муравей. Он почти сливался с фоном панели — его серое брюшко мутно поблескивало совсем так же, как серебристая эмаль отделки панели. Пилот достал из-под сиденья тряпку и раздал муравья. На панели остался влажный беловатый след раздавленных муравьиных внутренностей. Пилот перехватил тряпку и снова чистым концом протер панель. Теперь на ней уже не осталось никаких следов.

Пилот потянул к себе укрепленную на планшете карту. Зеленый клин леса и желтый треугольник автомобильной свалки были обведены жирной красной чертой. Он взглянул на расстилавшуюся под ним местность. Впереди и немного левее по курсу виднелось буро-ржавое автомобильное кладбище. Он снова посмотрел на карту и попытался в уме прикинуть площадь, обведенную красной чертой, — примерно пять на восемь... сорок квадратных миль... около двадцати пяти тысяч акров... Если по полтора доллара за акр, то опрыскивание всего леса должно стоить около тридцати семи тысяч долларов... Недурная сумма. Жаль, что Совет графства решил ограничиться только полосой шириной в сто ярдов по границе леса... но и это составит 1350 долларов — совсем неплохой заработок за несколько дней.

Мальчик сидел неподвижно, уткнувшись в ветровое стекло. Вертолет летел медленно над самыми верхушками деревьев. Они колыхались и пригибались от потока воздуха, отбрасываемого винтом. Под вертолетом образовывалась гудящая воронка из трепещущих, вывернутых наизнанку листьев. Эта воронка медленно двигалась по лесу вместе с вертолетом.

— Скоро будем включать эжектор, — сказал отец. — Репортер просил пролететь пониже, чтобы ему удобнее было снимать.

— Да, вон он стоит, около голубой машины. Ты видишь?

— Вижу. Сейчас мы развернемся и начнем опрыскивание.

Ган Фишер стоял около своей машины с ручной кинокамерой и махал платком.

Вертолет повис в воздухе, потом развернулся и полетел вдоль границы леса, примыкавшей к автомобильному кладбищу. Из эжектора вырвалось белое облако распыленной жидкости. Ган Фишер сунул платок в карман и начал снимать. Вертолет удалялся — он летел вдоль опушки леса и был плохо виден. Ган положил камеру на капот машины и открыл дверцу кабины. Он потянулся за телефонной трубкой и набрал номер.

— Карфаген. Диспетчер аэродрома слушает.

— Не могли бы вы связать меня с вертолетом «Би-Икс двадцать семь — одиннадцать»? Говорит репортер Ти-Ви-Ньюз Фишер.

— Сейчас постараюсь, мистер Фишер.

Ган через ветровое стекло автомобиля следил за удаляющимся вертолетом.

— «Би-Икс двадцать семь — одиннадцать» слушает.

— Хэлло, это Фишер. Из Ти-Ви-Ньюз. Я вас вижу. Я стою левее автомобильной свалки, вы должны были меня видеть — голубая машина с белым верхом...

— Я вас видел, мистер Фишер.

— Я прошу повторить заход. Пройдите немного правее, над самой свалкой раза два-три, а потом разворачивайтесь вдоль леса.

— О'кей, мистер Фишер. Я понял. Над самой свалкой, потом влево над лесом.

Ган Фишер вышел из машины, взял камеру и приготовился снимать. Вертолет был еще далеко, и Фишер, не выпуская его из поля зрения визира, ждал, когда он приблизится настолько, что будет хорошо видно белое облако распыленной жидкости.

Вертолет медленно приближался.

Ган Фишер нажал спусковую кнопку. Камера мягко заше-

лестела. В прямоугольном окошечке визира он ясно видел сербристо-серый вертолет и белый конус выбрасываемой жидкости. Ударяясь о землю, облако распадалось на отдельные клубы, быстро тающие в нагретом воздухе. У основания облака возникла небольшая радуга. Вертолет находился теперь точно над самой свалкой. Он летел низко и очень медленно.

Через визир Фишер не заметил никакой вспышки, никакого взрыва. Просто в какой-то момент все четыре лопасти винта одна за другой оторвались, как бы обрезанные невидимой нитью, на которую натолкнулся вертолет. С резким гудением лопасти полетели по касательным, одна из них пролетела над головой Фишера и тяжело шлепнулась в нескольких футах позади машины. Вертолет резко качнулся и, вращаясь на одном месте, начал падать. Он со скрежетом врезался в гору наваленных друг на друга машин. От места падения взметнулся крутящийся столб дыма с пламенем.

Винтом, спиралью, черным штопором взвился в небо черный дым, черный с оранжевыми просветами пламени. В своем вихревом движении он все еще повторял вращение оторванных лопастей.

В лицо Фишеру пахнуло жаром, едким запахом горящего бензина, масла, краски, человеческого мяса и резины.

Глухо взорвался бензобак одной из разбитых машин. За ним рванули второй и третий. И ржавые трупы разбитых машин каждый раз подпрыгивали в своей посмертной агонии, выбрасывая в воздух языки дымного пламени. Растекшийся бензин перебросил огонь на другие машины.

Фишер непрерывно снимал, пока не кончилась пленка. Когда камера остановилась, он бросил отснятую кассету на сиденье машины и, торопясь и нервничая, достал из сумки новую. Порыв ветра отнес дым в его сторону, он закашлялся и закрыл рот платком. Теперь горело уже много машин, и трудно было определить место, куда упал вертолет. Ган Фишер влез на крышу своего автомобиля, чтобы снять пожар с верхней точки. Здесь было еще жарче. Он провел длинную панораму по лесу, по дымному зареву автомобильного кладбища, по шоссе с проносящимися по ней машинами.

Задыхаясь от дыма, Фишер прыгнул на землю и влез в машину. Запустив двигатель, он сразу почувствовал себя спокойнее.

«Пожалуй, стоит отъехать немного и снять пожар общим планом», — подумал он.

Фишер быстро развернул машину, но, проехав едва несколько ярдов, увидел лежащую в траве у обочины оторванную лопасть винта. Он подал машину назад и выскочил на дорогу.

Край лопасти был отрезан очень ровно, как по линейке.

Края разреза оплавилась так же, как микроскоп в лаборатории доктора Нерста. Ган Фишер попробовал поднять лопасть, но она была слишком тяжела и длинна для того, чтобы он мог увезти ее в своей машине. Он еще раз провел пальцами по гладкой оплавленной поверхности разреза. Она была чуть теплой. Ган Фишер оттащил лопасть в сторону от дороги и забросал ее травой. После этого он сел в машину и поехал к выезду на магистраль.

Отъехав на некоторое расстояние, достаточное для того чтобы чувствовать себя вне опасности, он опять остановил машину, соединился с редакцией и продиктовал подробный отчет о трагическом итоге первой попытки уничтожить муравьев с воздуха.

5

12 июля.

В то же время.

Доктор Нерст сидел в своем низком кресле в углу лаборатории. Его длинная фигура, составленная из ломаных прямых линий, напоминала сложенную кое-как плотницкую линейку, такую желтую складную линейку с дюймовыми делениями, какими пользовались мастера в конце прошлого столетия и какими сейчас еще пользуются редкие мастера, упорно не признающие современного машинизированного производства.

Нерст сидел, подперев голову руками, опершись острыми локтями на острые колени, и внимательно смотрел на мерцающий экран топоскопа. На экране, разделенном примерно на два десятка отдельных ячеек, одновременно пульсировали голубоватые линии осциллограмм. Причудливые изгибы этих линий, непрерывно меняющихся по частоте и амплитуде, образовывали в целом хаотическую мозаику импульсов, подчиненную тем не менее крайне сложным, но все же вполне точным закономерностям. Экран топоскопа представлял в целом схематический план мозга человека. Отдельные ячейки, в которых были установлены электронно-лучевые трубки, соответствовали определенным участкам мозга.

На голове Нерста, почти так же как в прежних опытах на голове рыжей обезьяны, были укреплены провода, образующие нелепую шевелюру из тонких проволок в яркой изоляции. Провода подсоединялись к датчикам на металлизированных участках кожи. Эти серебристые кружки, величиной с мелкую монетку, поблескивали среди почти таких же серебристых седеющих волос.

Разноцветные провода, собранные в толстый жгут, подобно косе античной модницы, свисали на затылке, лежали сво-

бодными кольцами на спинке кресла и затем тянулись к усилительному блоку топоскопа. От металлизированных кружков на височных долях черепа отходили две тонкие, длинной в указательный палец, блестящие антенны. Они напоминали игрушечную комнатную антенну телевизора, или рога улитки, или усики насекомого.

Серый муравей сидел на правом плече Нерста.

Доктор Нерст с предельным вниманием вглядывался в пульсирующий ритм осциллограмм на экране топоскопа. Он стремился уловить связь между тем, что он думал, связь между образами, возникающими в его мозгу, и тем, что он видел на экране, отражающем биотоки мозга. Временами ему казалось, что такая связь обнаруживается. Собственно, он был в этом почти уверен. Каждый раз, когда он вызывал в своем воображении абстрактное понятие «число», это сопровождалось определенной, часто повторяющейся группой колебаний на некоторых ячейках экрана. Сейчас он пытался уловить зрительную разницу между картинками, возникающими на экранах в тех случаях, когда он представлял себе понятия «один» или «два». Но при этом он каждый раз терялся в хаосе импульсов. Если абстрактное понятие «число» часто сопровождалось более или менее похожими группами колебаний, то понятие «единица» отражалось всегда по-разному. Это зависело от того, представлял ли он себе число «единица» в виде цифры, записанной на бумаге, или одного пальца, одного человека, одного экрана. Ему не удавалось абстрагировать понятие «единица» от тех зрительных образов, которые с ним связывались, и поэтому он видел на экране отражение уже не абстрактного понятия, а конкретных представлений. Они возникали в сознании случайно, каждый раз путая электронную картину наслоением побочных, несущественных деталей.

Устав от долгого напряжения, Нерст переключил топоскоп на автоматическую запись, откинулся на спинку кресла и постарался ни о чем не думать. Он закрыл глаза и целиком отдался тем мыслям и представлениям, которые могли возникнуть в его мозгу под влиянием внешнего воздействия.

Это воздействие осуществлялось муравьем, сидевшим у него на плече.

Зрительные образы, начавшие проявляться в его сознании, были сперва расплывчаты и бесцветны. Они напоминали обычную черно-белую фотографию, слегка подкрашенную двумя тонами — красновато-коричневым и зеленоватым. Потом у него появилось ощущение приятной влажности и свежести.

В сумрачном рыжевато-сером фоне выделилась широкая зеленая полоса. Ее края были слегка зазубрены. Нерст сделал над собой усилие, чтобы как-то почувствовать размеры этой полосы, слегка покачивающейся, поднимающейся почти

отвесно вверх. Она была гладка и упруга, и ее конец терялся в вышине. Она была, во всяком случае, шире его тела. С непривычной легкостью и быстротой Нерст побежал вверх по этой гладкой зеленой поверхности. Он почти не чувствовал своего тела. Он различал направление вверх и вниз, но движение вверх не представляло никаких трудностей, как если бы изменилась сила земного притяжения. Вообще произошло какое-то странное смещение привычных чувств и ощущений. Он мог бежать очень быстро. Если сравнить с движением на автомобиле, то, может быть, больше ста миль в час. Так ему казалось. Так он чувствовал. Взираясь по отвесной зеленой полоске, широкой, как шоссе, он не испытывал ни напряжения, ни усталости, ни сопротивления встречного воздуха. Он легко перебирал своими неощутимо легкими конечностями и быстро достиг вершины зеленой травинки. Ее заостренный конец заметно раскачивался. Прямо под собою Нерст увидел муравьев. Они представились ему такими же большими или такими же маленькими, каким был он сам. Они показались ему одного с ним размера. Он воспринимал все окружающее глазами муравья, с точки зрения муравья.

Нерст открыл глаза. Перед ним по-прежнему мерцал экран топоскопа. Голубые линии осциллограмм продолжали свой пульсирующий дрожащий бег. «Как странно,— подумал Нерст,— муравьи смогли создать такую сравнительно высокую техническую культуру, и в то же время они так примитивны в своих потребностях. Зачем им техника? Люди изобрели паровую машину и ткацкий станок потому, что им было холодно. Им была нужна одежда. Много тканей. Муравьям одежда не нужна. Вероятно, им чуждо и понятие комфорта. Они не знают любви — они бесполо. Что же остается? Зачем нужна техника? Для связи? Но у них эта проблема решена биологически, они обмениваются информацией непосредственно с помощью излучения мозга. То, к чему люди пришли в результате тысячелетнего развития техники, образовалось у них с самого начала как физиологическое свойство организма. Что же остается? Любопытство? Война? Голод? По-видимому, это единственные стимулы,двигающие вперед их цивилизацию. Или, может быть, что-то другое, о чем мы, люди, не можем даже догадываться...»

Нерст снова закрыл глаза и сосредоточился на восприятии того, что произвольно возникало в его мозгу. Эти странные образы отличались той же мерой условности и реальности, как и необычайно яркие воспоминания о давно прошедших событиях, которые появляются при электростимуляции мозга посредством живленных электродов.

В созданной Нерстом, вместе с Ширером, установке перемнное поле, генерируемое мозгом муравья, принималось чув-

ствительным приемником и после усиления вводилось через фокусирующие электроды в те участки мозга, которые управляли образным мышлением. Как часто бывает в науке, в данном случае экспериментальные результаты существенно опередили теорию этих сложных процессов.

Возникновение в мозгу человека тех или иных, по преимуществу зрительных, образов под воздействием излучения мозга муравья было им обнаружено почти случайно. Прямая биологическая радиосвязь между муравьем и человеком была возможна и без применения каких-либо специальных приборов усиления, однако в этом случае возникавшие у человека мысли или желания были весьма смутны и неопределенны. Используемая Нерстом аппаратура, разработанная, в основном, еще для опытов с обезьяной, позволяла получать значительно более четкое отражение образов и восприятий муравья. Для Нерста оставалась неясной возможность обратной связи — от человека к муравью. Некоторые наблюдения давали основание думать, что это осуществляется даже с большей-легкостью.

Сейчас Нерст направил свое внимание, свои мысли и волю на то, чтобы установить какой-либо обмен информацией в области таких отвлеченных понятий, как основания геометрии.

Перед его мысленным взором постепенно из тумана неопределенности образовался круг. Довольно четкий белый круг на коричневато-черном фоне. В круге прочертился диаметр и возникло число: $305/100$.

Нельзя было сомневаться, что муравьи пытаются сообщить число π — отношение длины окружности к диаметру. Но эта фундаментальная мировая константа равна, как известно, $3,14...$ Нерст еще раз проверил свое ощущение и снова, увидя $3,05$, не мог предположить ничего иного, кроме того, что или все его попытки установить контакт с муравьями ни к чему не приводят и все это является лишь его собственной галлюцинацией, или же что в «муравьином мире» действуют иные законы геометрии и там имеет место иное соотношение между основными геометрическими понятиями.

Между тем круг, представлявший его воображению, начал постепенно деформироваться, он приобрел материальность; теперь это был уже не круг, а сфера, полый шар, стенки которого были всюду одинаковой и совершенно неопределенной толщины. Нерст очень остро, каким-то дополнительным чувством ощущал эту общность отвлеченного понятия замкнутой сферической полости со стенками всюду равной толщины и плотности. Зрительные образы, сопутствующие этим представлениям, были неопределенны и в то же время конкретны. Все было темным, коричневатым, всюду одинаковым и все же видимым. Он представлял себе эту темную сферическую полость одновременно и как бы изнутри, и снаружи, и в разрезе.

Себя самого он почувствовал внутри полости, свободно парящим в пространстве. Он мог двигаться и не мог перемещаться. Он как бы находился в состоянии полной невесомости, подобно космонавтам в космическом корабле, лишенным воздействия гравитационных сил.

Нерст услышал звук открывающейся двери.

В лабораторию вошел доктор Ширер.

— Я не помешал, Клайв? — спросил Ширер. — Вы просили зайти к вам.

Нерст резко повернулся. Фантастический мир странных видений сразу исчез. Он полностью вернулся к действительности.

— Нет, нет, Лестер, вы как нельзя более кстати. Я здесь совсем запутался.

— Что-нибудь новое?

— Да, и весьма интересное. Наш усилитель работает отлично. Теперь мне удастся довольно уверенно устанавливать двустороннюю связь. Во всяком случае, мне так кажется. Я делал попытки найти общий язык на базе математики, но пока получается что-то не то. Видимо, они мыслят не словами и не понятиями, а образами. В основном зрительными и осязательными образами. Садитесь, Лестер. Это больше всего похоже на галлюцинации.

— Я никогда не испытывал галлюцинаций.

— Я тоже. Я сужу только на основе клинических описаний. К сожалению, этот вопрос еще так мало разработан.

Серый муравей, сидевший на плече у Нерста, перебрался на спинку кресла, оттуда на рабочий стол, заваленный аппаратурой, и скрылся в глубоком ущелье между двумя конденсаторами.

Нерст отсоединил от усилителя жгут проводов и сунул конец разъема в карман пиджака.

— Ну, а что у вас? — продолжал Нерст. — Разобрались вы наконец в этой стрекозе?

— Почти ничего. Все чертовски сложно. Единственное, что нам пока удалось установить с несомненностью, — это что они пользуются плазменным двигателем, работающим на дейтерии. Однако механизм действия этого двигателя совершенно непонятен. Видимо, им удастся создавать в очень малом объеме магнитные поля совершенно невероятной напряженности. Но пока это только наши предположения. Жаль, что этот ваш друг, бразилец, так здорово ее помял.

— Понимаете, Лестер, то, чем я сейчас занимаюсь, это не заслуживает в наше время названия научного исследования. Пока это всего лишь жалкие дилетантские опыты. Мы с вами с первых же шагов столкнулись с таким невероятным обилием совершенно новых, принципиально новых фактов, что для их систематизации, только систематизации, не говоря уже о се-

ррезном научном исследовании, потребовалась бы лаборатория с десятками, сотнями сотрудников, с другим, более совершенным оборудованием. На все это нужны деньги, но сейчас об этом нельзя и думать. На данном этапе нам нужно выяснить хотя бы некоторые основные факты, такие факты, которые мы могли бы предать гласности, а тогда уже можно заняться настоящим изучением этой проблемы. Пока же нам не остается ничего иного, как действовать нашими примитивными методами. Кое-что мне удалось установить, но все это очень запутано. После того как муравьи сами вернулись в мою лабораторию, я не могу сомневаться в том, что они стараются войти с нами в контакт. И в ряде случаев это мне удается. Я уверенно принимаю передаваемые ими образы, но их истолкование представляет большие трудности. Слишком велика разница между муравьем и человеком. Я говорю о принципиальных различиях в методике мышления, о различиях в такой области, как основные понятия математики. Например, их представление о круге, о геометрических отношениях, связанных с кругом, видимо, совпадают с нашими, но почему-то в их геометрии отношение длины окружности к диаметру, число пи, составляет не 3,14, а только 3,05.

— Этого не может быть,— уверенно возразил Ширер.— Если вы умеете... — Ширер замялся, подыскивая подходящее слово,— ...если вы можете понимать передаваемые ими числа, то это уже очень много. Собственно, пользуясь только числами, можно передать любые понятия, как это делается, например, в наших компьютерах. Но число пи должно оставаться числом пи даже в муравьиных масштабах. Я уверен, что если на других планетах, в любом уголке Вселенной существует цивилизация, существует Разум, то и там дважды два равно четырем, а пи равно 3,14...

— Они передавали мне образы какой-то полой сферы... — Нерст рассказал о своем ощущении невесомости внутри замкнутой полости.

Ширер некоторое время сосредоточенно думал, потом сказал:

— Ну, это понятно. Если я вас верно понял и если вы правильно изложили то, что вам старались внушить, то это всего лишь иная, весьма необычная для нас, интерпретация закона тяготения Ньютона. Собственно, это ваше видение эквивалентно известному положению из элементарной теории гравитации: шаровой слой не притягивает материальной точки, расположенной внутри слоя... Если принять это положение за основу, то из него можно вывести закон тяготения Ньютона в его обычной формулировке... Но почему пи не равно пи?

— С числами вообще получается какая-то нелепица. Возьмите этот ряд цифр, который они мне сообщили. В нем нет ни-

какой закономерности. Иногда создается впечатление, что они умеют считать только до пяти.

— И тем не менее строят плазменные двигатели? — усмехнулся Ширер. — Конечно, здесь явное противоречие. Но меня поражает другое. С одной стороны, все данные говорят за то, что наши муравьи достигли уровня разумного общества, научились создавать технику посложнее человеческой, но в то же время мы видим, что иногда они ведут себя как самые безмозглые насекомые: кусают неповинных людей, заползают в бутылки с виски и, если не считать ваших сегодняшних наблюдений, не делают никакой попытки войти с нами в контакт. А ведь если они разумны, то это первое, что должно их заинтересовать. Вместо этого они просто воруют у нас нужные им материалы. Как-то не верится... Может быть, за всем этим кроется что-то другое, более сложное, такое, до чего мы еще не добрались?

— Мне кажется, Лестер, в нас говорит сейчас обычное человеческое самомнение. Мы слишком привыкли считать себя вершиной разума и хотим все мерить на свои мерки. А с точки зрения муравья, люди могут представляться какими-то двигающимися горами, разумность которых совсем не очевидна. Что мы знаем о них? Вы говорите: они воруют. А доступно ли им само понятие воровства? Для этого должно прежде всего существовать понятие собственности. А если его нет? Если они вообще в принципе не знают, что такое твое, мое, чужое? Они просто берут то, что им нужно. Почему они обязаны понимать различие между рубином и желудем, валяющимся под каждым дубом? Откуда они могут знать о физиологическом действии алкоголя? Может быть, кусая Грига, они просто были пьяны? Вы говорите: они не пытались установить контакт с людьми. Как знать, может быть, они и делали такие попытки, а людям даже и в голову не приходило, что это разумные насекомые. Слишком велика разделяющая нас пропасть. Разве могут они сразу уловить разницу между нами, учеными, и теми тысячами обывателей, чей интеллектуальный уровень значительно ниже муравьиного? Очень может быть, что они не заметили различия между мной и моей обезьяной и, принимая ее за человека, пытались вступить с ней в контакт, а она давила их как блох? Я не знаю...

Зазвонил телефон.

— ...я не знаю,— повторил Нерст.— Я не берусь высказывать сейчас какие-то окончательные суждения. Можно говорить лишь о том, что я... что я сам...

Зазвонил телефон.

— ...наблюдал. Конечно, «наблюдение» — это не самый подходящий термин для данного случая, но я не могу подобрать лучшего.— Нерст нервничал. Его раздражали...

Зазвонил телефон.

...эти ритмично повторяющиеся звонки. Он знал, что это звонит Мэрджори, что она опять будет горячо и долго убеждать его бросить свою работу и уехать...

Зазвонил телефон.

...вместе с нею во Флориду. Это злило Нерста тем более, что он отлично понимал, что Мэдж давно уже решила уехать одна, без него, что все это лишь пустая маскировка.

Зазвонил телефон.

Нерст снял трубку.

— Доктор Нерст? Говорит Хальбер. Я вам помешал? Вы долго не отвечали.

— Нет, нет, пожалуйста, чем я могу быть вам полезен?

— Может быть, вам будет интересно узнать, доктор Нерст, что из моей лаборатории исчезли запасы неодима. Это весьма редкий металл, используемый в некоторых лазерных устройствах большой мощности. Не может ли это находиться в связи с вашими экспериментами с думающими муравьями?

Хальбер не постеснялся дать почувствовать скрытую в его словах насмешку.

6

15 июля.

В середине дня.

— А есть ли они на самом деле, эти муравьи?— спросила миссис Бидл.— Видел ли их кто-нибудь своими глазами?

Миссис Бидл вместе с Мэрджори занималась укладкой чемоданов. По всей комнате да и по всему дому были раскиданы пляжные халатики, шорты, платья, туфли, чулки, несесеры, платки, полотенца, купальные простыни и купальные костюмы, блузки, кофточки, юбки, свитеры, подвязки, детективные романы, духи, тубики с кремом, бусы, темные очки... Поразительно, какой чудовищный беспорядок могут создать две неорганизованные женщины, собирающиеся в дорогу. Они уже давно безнадежно запутались среди этой массы нужных и ненужных вещей, запутались так, что теперь уже положительно не знали, что они берут с собой, а что оставляют здесь. Мэрджори уезжала во Флориду, в Майами, на берег моря, ее мать — к себе на север, в Вайоминг.

— Иногда мне кажется,— продолжала миссис Бидл,— что вся эта история с муравьями просто рекламный трюк. Фирме нужно продавать свои инсектициды. Ты берешь эти платья?

— Нет, они мне малы.

— Уже малы?

— Да, малы,— с досадой повторила Мэрджори.— Как ты можешь спрашивать, видел ли их кто-нибудь, когда весь город заражен муравьями? Их сколько угодно у Клайва в лаборатории. Они там, наверное, так и ползают по всем столам.

Мэрджори лишь однажды была в лаборатории доктора Нерста и довольно смутно представляла себе характер его занятий.

— Ну, у него вообще столько этих разных жуков и бабочек... Как только он не запутается в них? Я всегда удивлялась, как может в наше время серьезный мужчина заниматься такой мелочью.

— Ему это нравится.

— Да, но за это платят так мало денег!— Миссис Бидл бросила взгляд на телевизор.

На экране респектабельный мужчина и респектабельная дама обсуждали проблемы, сложившиеся в связи с тем, что у младшего сына начался насморк, а старшая дочь Айлин поссорилась со своим женихом как раз в то время, когда они всей семьей собрались на велосипедную прогулку.

Это была еженедельная передача из серии «Семья Парсонс»— передача, не имеющая ни конца, ни начала, продолжающаяся неделя за неделей уже на протяжении нескольких лет.

— Клайв сегодня опять задержится?— спросила миссис Бидл.

Мэрджори, думавшая в это время о другом, ответила не столько на вопрос матери, сколько своим собственным мыслям:

— Он говорит, что не может никуда уехать, пока не закончит свою работу с этими муравьями.

— Тогда, может быть, лучше тебе пока остаться?

— Я уже сто раз говорила, что не могу здесь оставаться больше ни одного дня.

Между Мэрджори и миссис Бидл уже давно установились отношения молчаливого взаимопонимания и невмешательства в личные дела. Мэрджори неверяла матери своих секретов, хотя отлично знала, что та о многом догадывается, а миссис Бидл со своей стороны старалась не задавать дочери таких вопросов, которые могли бы поставить ее в затруднительное положение. Как всякая мать, она пребывала в счастливой уверенности, что между нею и дочерью нет и не может быть никаких тайн. Все же некоторые обстоятельства, повлиявшие на решение Мэрджори немедленно уехать из города, ускользнули от внимания миссис Бидл, а Мэрджори, как человек, слишком далеко зашедший по пути лжи и обмана, теперь уже не могла быть откровенной. То, что ее волновало, знала только она и, может быть, еще один человек. Она не

была в этом твердо уверена, но ей показалось, что в мужчине, подошедшем к ней в универмаге, она узнала того, кто подвез ее из леса в день смерти Роберта Грига. Тогда она была настолько подавлена случившимся, что ее охватило какое-то тупое безразличие ко всему окружающему. Она плохо запомнила человека, сидевшего за рулем. Останавливая попутную машину на шоссе, она следила лишь за тем, чтобы в ней не было пассажиров и чтобы номер был не черного цвета, то есть чтобы машина была не местная. Перебирая в уме все события того дня, она никогда не считалась с возможностью вновь встретить того, кто ее подвез. Эта улика казалась ей надежно сброшенной со счета, и когда в универсальном магазине она лицом к лицу встретила с этим человеком и он ее, видимо, узнал, она почувствовала себя пойманной за руку на месте преступления. Даже при том, что обвинения в убийстве теперь явно отпадали, все равно установление ее личности грозило неминуемым скандалом. В этой ситуации она видела для себя единственный выход в немедленном бегстве из города. Нужно уехать, уехать, все равно куда, лишь бы иметь возможность переждать, пока все успокоится, пока возникнет новая сенсация, дающая пищу газетам и сплетникам. Но во все эти деликатные обстоятельства она никого не посвящала, предоставляя миссис Бидл полную возможность строить любые предположения по поводу ее настойчивого желания немедленно уехать в Майами.

Мэрджори не знала и не понимала того, что полиция уже давно проследила каждый ее шаг в тот день, что все ее телефонные разговоры записывались на пленку, что полиции были известны такие подробности ее биографии, которые она сама уже давно позабыла. Она наивно думала, что ей удалось что-то скрыть, что она сохраняет свободу воли, и не понимала, что эта свобода не больше той, которой располагает инфузория в капле воды на предметном стекле школьного микроскопа.

— Совершенно не понимаю, почему вдруг тебе понадобилось немедленно уезжать из города, — заметила миссис Бидл. — На твоём месте я бы ни за что не оставила Клайва одного. Зачем ты опять все вынимаешь из чемодана?

— Я забыла положить серый костюм. Они, кажется, сейчас помирятся. — Мэрджори кивнула головой в сторону телевизора.

Сложные проблемы семейства Парсонс получили наконец благополучное разрешение, и на экране появился любезный теледиктор:

— Я воспользуюсь минутной паузой, чтобы сделать следующее сообщение: взволновавшие в последние дни наш город события, связанные с появлением в магазинах и некоторых

общественных зданиях серых муравьев, побудили нас к решительным действиям. Муравьи будут уничтожены завтра. Совет графства принял постановление о полной ликвидации серых муравьев. С этой целью из лагеря Спринг-Фолс близ Прадайз-сити вызвано специальное подразделение войск химической обороны. Войска придут в наш город завтра после полудня. Команды дегазаторов сперва изолируют очаг размножения от остальной местности — будут прокопаны канавы и почва обработана инсектицидами, а затем будет приступлено к планомерному уничтожению муравьев в месте их размножения. Жители города могут быть уверены, что печальные события, случившиеся в последние дни, больше не повторятся...

Диктор любезно улыбнулся и исчез.

7

16 июля.

12 часов 10 минут.

— Так-то, Мораес, — сказал Рэнди. — Будете еще в наших краях, заезжайте на ферму. В конце августа мне опять понадобятся рабочие на сбор персиков.

— Премного вам благодарен, босс, большое спасибо. Обязательно постараюсь заехать, — говорил Васко Мораес, засовывая в карман не слишком толстую пачку долларовых бумажек. — Непременно заеду, когда буду в этих местах.

Мужчины стояли у порога белого дома фермы Рэнди. Был тихий солнечный день середины лета, ясный, безветренный день, когда пахнет нагретой землей и над полями дрожит и струится горячий воздух; когда ласточки летают высоко в прозрачном, чистом небе и серебряные нити паутины тихо плывут над душистой спелой травой.

Им нечего было больше сказать друг другу. Мораес отработал свое и получил заработанные деньги. Рэнди закончил уборку ранних овощей и теперь несколько недель мог обойтись без работника. Когда снова подойдет горячая пора, он без труда найдет другого такого же Мораеса, который за ту же цену будет ему помогать и потом, получая расчет, будет так же неловко стоять перед ним и топтаться на месте, словно хочет еще что-то сказать, когда говорить уже нечего.

Оба думали в этот момент об одном и том же. О том, что их связывало в жизни нечто большее, чем случайная полевая работа. Тот день, когда они двое с напряжением всех душевных сил пытались спасти жизнь маленького Деви Рэнди, навсегда запечатлелся в их памяти. Слова и мысли,

чувства людей, вместе переживших трагедию, не исчезают бесследно. Они застревают в глубинах сознания, роднят людей, устанавливают между ними неощутимые нити душевных контактов. Ни Рэнди, ни Мораес не были сентиментальны. Каждый был целиком поглощен своей борьбой за существование, не оставляющей места мыслям о том, что не было связано с насущными задачами сегодняшнего дня. Они стояли на различных ступенях общественной лестницы и, каждый по-своему, в меру своих возможностей, боролись за свое место под солнцем. Их цели и стремления в известном смысле противоречивы, как всегда бывают противоречивы цели рабочего и работодателя. Один заинтересован в том, чтобы получить за свою работу как можно больше, другой старается заплатить как можно меньше. Это непреложный закон борьбы за существование в том обществе, в котором они жили. Казалось бы, все очень просто — работа сделана, деньги заплачены и люди расходятся, как спортсмены после встречи, окончившейся вничью.

И все же мужчины молча стояли у порога дома, топтались на месте, не решаясь окончательно порвать тонкую нить, на время связавшую их судьбы. Эта эфемерная, призрачная связь, установившаяся между ними, лежала вне рамок привычных отношений. Она определялась проявлением необычного для них чувства *человечности*. В критические минуты опасности, когда нужно быстро и энергично действовать, не щадя своих сил и не считаясь со своими формальными обязанностями, они на какое-то время перестали быть хозяином и работником и стали двумя товарищами, делающими общее дело.

Мораес еще раз переступил с ноги на ногу и сказал:

— До свидания.

— До свидания, — ответил Рэнди.

Мораес повернулся и пошел к машине. «Плимут» долго не заводился, и пришлось несколько раз включать стартер. Наконец мотор заработал, и Мораес развернул машину. В боковое окно он увидел Рэнди, все еще стоявшего у порога. Мораес помахал рукой. Рэнди ответил тем же, повернулся и вошел в дом. Мораес вывел машину на дорогу, ведущую к магистральному шоссе.

По федеральной дороге, держась в крайнем правом ряду, строго соблюдая дистанцию между машинами, двигалась воинская часть. Колонна шла на скорости сорок миль в час, интервал между машинами всюду был равен десяти футам — примерно половине длины грузовика. В голове колонны шел бронетранспортер — приземистая, угловатая, лязгающая тре-

ками машина. За ней как единое целое, как бы связанная невидимой сцепкой, ревя моторами, шла колонна грузовиков — крытых фургонов с людьми и снаряжением, с походными кухнями, радиостанциями, цистернами с химикатами, дозиметрическими лабораториями и всем другим сложным военным снаряжением, необходимым для того, чтобы обеспечить деятельность молодых парней, набившихся в грузовики.

Машины шли так плотно одна за другой, так точно держивали заданную скорость, что солдаты, сидевшие в кузове впереди идущей машины, могли свободно перекидываться шуточками с парнями, сидевшими в кабине следующей. Они не стеснялись отпускать солдатские остроты по адресу обгонявших легковых машин. Они делали это с особенным удовольствием, чувствуя свою полную безнаказанность, сознавая себя частицей огромной военной машины, неудержимо и беспрепятственно катившейся по заполненному автомобилями шоссе.

Капрал Даниэльс, ехавший в кабине последней, замыкающей машины, развалился на сиденье рядом с водителем, высунув ноги в открытое окно. Встречный ветер приятно охлаждал икры. Даниэльс посасывал дешевую сигару и чувствовал себя в том блаженном состоянии, когда все идет нормально, по строго установленному порядку, когда все обязательства выполнены, а впереди ждет что-то новое, приятное уже тем только, что оно отличается от привычного и надоевшего. До города оставалось меньше пятидесяти миль, через несколько минут они должны были прибыть к месту намеченной стоянки. Предстоящая акция по уничтожению серых муравьев представлялась ему, да и всем остальным участникам этого несколько необычного похода, чем-то веселым и праздничным, призванным нарушить унылое однообразие воинской службы.

Васко Мораес миновал лесную опушку и подъехал к месту пересечения с магистральным шоссе. Всю дорогу от фермы Рэнди он обдумывал план своих дальнейших действий, но все еще не пришел к определенному выводу. Увольнение с фермы, хотя и было вполне естественным, так как работа, на которую он подрядился, была закончена, все же явилось для него некоторой неожиданностью. Он надеялся, что ему удастся несколько дольше задержаться на этой уютной белой ферме с хорошими, благожелательными хозяевами. Теперь ему нужно было решать, куда направить свой путь. Если ехать в город, то надо было проехать прямо через тоннель на другую сторону шоссе и повернуть налево. Если ехать на восток, надо было сейчас сворачивать направо и вливаться в поток машин, едущих в сторону Прадайт-сити. Мораес, не вы-

ключая двигателя, притормозил у развилки, чтобы еще раз взвесить представлявшиеся ему возможности. Если поехать налево, в Нью-Карфаген, то там едва ли удастся найти сейчас работу, но зато представлялись весьма туманные перспективы снова подработать на чем-нибудь, связанном с муравьями. Если он уже два раза получил от Фишера по пятьдесят долларов, то, возможно, ему подвернется снова что-то в этом роде. Если повернуть направо, то с этим будет покончено, но зато можно рассчитывать на небольшой, но верный заработок на какой-либо ферме. Можно, наконец, продвинуться дальше, в Канзас или Айову, там сейчас должен быть спрос на рабочую силу...

Раздумывая так, Мораес сидел в своем «плимуте», машинально прислушиваясь к звукам мотора, глядя через ветровое стекло на проносящиеся по дороге машины.

Вдали справа показалась зеленовато-серая колонна военных грузовиков. Они шли довольно быстро, слитно держась один за другим, похожие вместе на сумасшедшую гусеницу или на пьяный экспресс, внезапно покинувший рельсы, чтобы прокатиться по белой ленте шоссе. Дороги.

Слева навстречу проносились легковые машины. Приближался огромный белый фургон рефрижератора.

Мораес смотрел на шоссе рассеянно, занятый своими мыслями, и потому он не видел, как это началось. Он заметил только, как прямо перед ним большой синий автомобиль вдруг разделился на две части, как бы разрезанный вдоль невидимой нитью, протянутой поперек шоссе на высоте двух-трех футов. Линия разреза пришлась чуть выше бортов машины. Нижняя часть продолжала двигаться вперед, а верхняя, отброшенная сопротивлением воздуха, съехала назад. Высекая снопы искр, она проволочилась несколько ярдов по шоссе и была смята колесами встречной машины. Остаток лимузина, потеряв управление, съехал на обочину, ударился бортом в перила путепровода над тоннелем и, перевернувшись в воздухе, с глухим скрежетом упал на нижнее поперечное шоссе.

Разбившийся лимузин загорелся.

Встречная машина, налетевшая на верхнюю, отрезанную часть синего автомобиля, пытаясь затормозить, стала поперек шоссе. В нее тут же ударились машина, следовавшая за лимузином. Тяжелый белый фургон-рефрижератор, стараясь избежать столкновения с машинами, загородившими шоссе, взял слишком вправо. На какое-то мгновение его колеса повисли над краем путепровода, и в следующий момент, хрустя и ломаясь, как яичная скорлупа, он рухнул на горевшие остатки синего лимузина.

Колонна военных машин не имела времени затормозить.

Головной бронетранспортер с ходу смял стоявшую попе-

рек машину, отбросил ее влево и тем расчистил путь следующим за ним грузовикам.

Через полторы секунды с ним повторилось то же, что произошло с первым лимузином. Он так же был разрезан невидимой нитью, пересекавшей шоссе, ярдов на шестьдесят левее. На этот раз линия разреза пришлась несколько ниже, очевидно, были затронуты механизмы управления, потому что треки сразу заклинило, нижняя часть бронетранспортера развернулась и остановилась, а верхняя, кусок брони с башней, скользнула по инерции вперед, превращая в кровавую кашу все, что было внутри. Ближайшая машина, шедшая следом за бронетранспортером, врезалась в него и загорелась. Вторая тоже не смогла избежать столкновения — они шли слишком близко одна за другой. Последующие, постепенно притормаживая и сворачивая в стороны, сбились в кучу у места катастрофы.

Все это произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем Мораес сумел отдать себе отчет в том, что здесь происходит. Он тупо смотрел на горящие машины, на выползающих из-под обломков людей и все яснее ощущал свое бессилие оказать помощь. Справа и слева от места катастрофы начали скапливаться машины. Кто-то очень громко кричал.

В этот момент Мораес заметил стрекозу. Она летала вокруг машины, временами почти неподвижно зависая в воздухе, временами стремительно взмывая вверх. Сделав еще один круг, она села на капот машины, уцепившись лапками за огрызок эмблемы. Ее металлическое тело вытянулось в прямую линию, и Мораес увидел довольно яркую вспышку. От стрекозы по направлению к шоссе протянулся прямой, тонкий, как вязальная спица, луч красноватого света. Он продержался неподвижно доли секунды, потом взлетел вверх, разрезал наискось стальную ферму высоковольтной линии электропередачи, снова опустился на шоссе, описал плавную дугу, разрезая на пути остановившиеся военные машины, и погас.

Взорвался бензобак последней машины в колонне грузовиков. Загорелся растекшийся бензин. Струя пламени скользнула по насыпи и перекинулась на разбитый фургон.

Мораес включил скорость и тронул машину. Стрекоза улетела. Мораес развернул «плимут» и, поднимая клубы пыли, поехал обратно в сторону леса. Сзади он услышал дробный стук — несколько звонких ударов по крышке багажника, но он не обратил на это внимания.

Капрал Даниэльс со своей позиции в кабине грузовика не мог видеть дороги. Когда он заметил, что машина резко тормозит, он, не вынимая сигары изо рта, спросил водителя:

— Приехали?

— Нет. Авария на шоссе. Ведущий остановился.

Даниэльс втянул высунутые из окна ноги, стряхнул с рубашки осыпавшийся пепел, открыл дверцу и спрыгнул на землю. Для того чтобы увидеть место аварии, ему нужно было обогнуть машину. Он сделал несколько шагов и почувствовал, как сильно затекла у него левая нога. Он нагнулся, чтобы растереть лодыжку, и это его спасло. Луч лазера прошел у него над головой. Он успел заметить яркую вспышку, исходящую от потрепанной черной машины, стоявшей слева внизу на поперечном шоссе. В следующий момент он услышал у себя за спиной грохот взрыва. Все это вызвало у него болезненно яркие воспоминания о войне. Повинуясь привычному автоматизму, он растянулся на асфальте и пополз к обочине, одновременно освобождая оружие. Он еще раз отметил вспышку и вслед за тем увидел, что черный «плимут» начал разворачиваться. До того как он скрылся за поворотом, Даниэльс успел выпустить по нему две коротких очереди из автомата.

8

16 июля.

12 часов 20 минут.

Первые сообщения о катастрофе на федеральной дороге пришли в город от полицейской патрульной машины. Заметив скопление автомобилей, далеко не доезжая до места происшествия, констебль Роткин вызвал по радио полицейский вертолет и мотоциклистов. Еще не зная, в чем дело, полагая, что это одна из обычных аварий, образовавших временный затор, он вывел свою машину на левую сторону и, пользуясь отсутствием встречного движения, проехал вперед. Вся правая сторона шоссе была забита машинами, стоявшими вплотную одна к другой в несколько рядов, растянувшихся мили на полторы. Эта вереница машин непрерывно увеличивалась за счет новых, подходящих со стороны города. Впереди был виден столб черного дыма, поднимавшийся почти отвесно в тихом, безветренном воздухе.

Водители задних, только что подошедших машин, привыкшие во всем полагаться на указания полиции, терпеливо ждали, когда будет ликвидирован затор. По опыту они знали, что, если в подобных обстоятельствах нет возможности свернуть на боковую дорогу, не остается ничего иного, как ждать, пока снова восстановится движение. Но чем дальше, чем ближе к месту катастрофы, тем больше росло возбуждение этой механизированной толпы. Люди видели впереди огонь и дым и

догадывались, что там случилось что-то серьезное, но, сидя в своих удобных, комфортабельных машинах, слушая радио или продолжая начатые разговоры, болтая по телефону и досадуя на задержку, они в то же время ни на секунду не допускали мысли, что им самим угрожает опасность. Такие мысли не возникали потому, что в их сознании любые опасности, связанные с машиной, всегда ассоциировались только с ездой. Слишком быстрой ездой. Опасной дорогой, крутыми неожиданными поворотами, случайными неисправностями, но все это было опасным лишь во время движения. Если же машина вынуждена стоять, то это не может ничем угрожать, кроме досадной потери времени.

Те, кто стоял ближе к месту катастрофы, видели горящие впереди машины и понимали, что там произошла тяжелая авария, но также не связывали это с какой-либо опасностью для себя и тоже выжидали. Каждый водитель, если бы он на пустынной дороге увидел машину, попавшую в беду, несомненно остановился бы и оказал помощь, но здесь было слишком много людей и машин, и каждый молчаливо слагал с себя обязательства по оказанию помощи, полагая, что там и без него справятся.

Наконец, водители самых передних машин, видевшие катастрофу, но сумевшие избежать столкновения, были совершенно потрясены масштабами происшедшего. Непосредственно у самого места катастрофы образовалась плотная свалка, клубок покореженных, сцепившихся друг с другом автомобилей, перегородивших всю ширину шоссе. Впереди, смрадно дымя, горела колонна военных машин. Плакали дети и стонали раненые. Некоторые из них оставались в машинах, другие выползли на обочину. Металось растерянное люди. Некоторые пытались оказать первую помощь пострадавшим, другие просто глазели и давали советы. Кто-то достал аппарат и фотографировал горящие машины и окровавленные трупы. С другой стороны горячей свалки время от времени слышались короткие очереди из автомата, но кто и почему стреляет, было неизвестно.

Констебль Роткин доложил по радио о том, что он успел увидеть, и просил блокировать шоссе на выезде из города, чтобы прекратить увеличение затора. Пока это было единственное, что он мог сделать до прибытия подкреплений. Вся его выучка, опыт и тренировка были направлены лишь на разрешение обычных неожиданностей. Подобные же обстоятельства не имели прецедента в его практике. Насколько можно было судить с того места, где он остановился, больше всего пострадала колонна военных машин. Они были уничтожены практически полностью. Впереди пылал огромный бензиновый костер, протянувшийся вдоль шоссе более чем на сотню ярдов.

Констебль Роткин вылез из машины. Навстречу, по левой обочине, двое мужчин и женщина несли обожженного. На нем тлела одежда.

— Надо эвакуировать людей! Надо эвакуировать раненых!— кричал один из мужчин.— Где полиция?! Они засели с правой стороны в лесу! Я видел! Они могут опять пустить свою дьявольскую штуку!

— Кого? Кто засел?— растерянно спросил Роткин. Он все еще не понимал, что здесь произошло.

— Это диверсия! Как вы не понимаете, это диверсия! Они засели в лесу... Они стреляют по машинам...

Впереди, с той стороны, где горели военные грузовики, опять послышались выстрелы, и мужчина пригнулся.

Слева у дороги громоздилась разрезанная невидимым лучом ажурная мачта линии высоковольтной электропередачи. Оборванные провода извивались на земле, разбрасывая снопы голубых искр.

Кричали дети.

В небе показались два вертолета. Они быстро приближались.

Человек с окровавленным лицом пытался выбраться из разбитой машины. Дверцу заклинило, и он неуклюже, головой вперед, выползал через разбитое окно. Констебль Роткин бросился к нему, чтобы помочь. В машине плакал ребенок. Мать была без сознания.

Подлетевшие вертолеты зависли над местом катастрофы. Один из них — белая санитарная машина — сделал круг и начал опускаться на лужайку между шоссе и лесом. Поток воздуха пригнул, расчесал траву, затрепал ветви кустов, дохнул в лица черным дымом.

Тогда со стороны леса блеснул едва видимый в ярком солнечном свете тонкий красный луч. Он срезал верхушку молодого деревца, мазнул по скопившимся на шоссе машинам, рассек надвое санитарный вертолет, секунду поколебался в воздухе, метнулся вправо ко второму вертолету, и тот вспыхнул ярким желтым пламенем.

Кто-то подал команду «Ложись!», но люди, выбравшиеся из машин, продолжали стоять, сбившись в кучи, и следили за тем, как медленно падает, кружась в воздухе, горящий вертолет.

Те, кто сидел в своих машинах сравнительно далеко от места катастрофы, до этого сохраняли относительное спокойствие. Они просто не понимали, что, собственно, здесь происходит. Никому из людей, скопившихся на шоссе, не могло прийти в голову, что они присутствуют при полном крушении всех установленных ими правил и законов.

Констебль Роткин был здесь единственным представите-

лем власти, обязанным принять меры для восстановления нарушенного порядка. Но один он был совершенно бессилен что-либо сделать. С минуты на минуту должны были подойти мотоциклисты и санитарные машины. Он снова вызвал полицейское управление города. Ему ответили, что помощь выслана.

— Вертолеты!— крикнул он.— Вертолеты сбиты! Оба! Сгорели! Нас обстреливают!

Его не поняли.

— Вертолеты вылетели,— ответил спокойный голос.— Они должны скоро прибыть.

Роткин бросил трубку.

Слева горели обломки вертолета. Впереди стреляли. Роткин оглянулся назад. Шоссе было забито машинами почти на всю ширину. Только у правой обочины оставался узкий проезд. Несколько машин пытались развернуться в обратном направлении, и это грозило уже полным хаосом.

Роткин включил громкоговоритель:

— Здоровые мужчины, ко мне! Врачи или санитары, ко мне! Водители машин, слушать меня! Водитель первой машины, серый «форд», подайте машину вперед и постарайтесь развернуться на левую обочину. Серый «форд» тридцать три — пятьсот семьдесят два, я обращаюсь к вам. Остальные ждут моей команды... Здоровые мужчины, врачи, ко мне!

Вдали на шоссе послышался вой санитарных машин. Они были на расстоянии больше мили от места катастрофы, когда их остановил красный луч. Ехавший впереди мотоциклист был разрезан надвое примерно на уровне пояса. Это произошло быстро. Внезапно он испытал острую боль в обеих руках и в области диафрагмы. В течение нескольких секунд его мозг еще продолжал функционировать и принимать информацию от органов чувств. Он понял, что с ним случилось что-то ужасное и непоправимое. Поток встречного воздуха отрезанная часть туловища была отброшена назад. Он еще успел увидеть продолжающий движение мотоцикл с половиной его тела и цепляющимися за руль обрубками рук.

Следовавший за ним санитарный фургон, захлебываясь, как свинья на бойне, диким ревом сирены, разваливаясь на части, сбивая стоявших у машин и на обочине людей, расплываясь горящий бензин, загородил оставшийся проезд. Через несколько секунд в этом месте полыхал второй бензиновый костер, из которого выскакивали обезумевшие от ужаса горящие люди.

Констебль Роткин с того места, где он находился, не мог видеть всех обстоятельств гибели санитарных машин. Он слышал вой сирены и видел поднявшийся там столб пламени. Те-

перь дорога была перерезана в двух местах, и бесполезно было ожидать помощи из города. Нужно было спасти оставшихся в живых людей, орущих и плачущих, бессмысленно мечущихся вдоль шоссе, боящихся покинуть эту узкую полосу привычной культурной земли, протянувшуюся среди чуждой горожанину зеленой стихии природы, находящейся к тому же в частном владении.

Констебль Роткин снова повторил свой призыв:

— Здоровые мужчины, врачи, санитары, ко мне!

— Я врач,— сказал высокий седой мужчина в дорогом костюме.— Я все видел. *Они* ведут огонь из леса. Нужно выводить людей через кукурузное поле под прикрытием насыпи. Вы были на фронте?

— Нет,— сказал Роткин.

— Я займусь ранеными, а вы... У вас действует радио?

Роткин кивнул головой.

— Вызывайте санитарные вертолеты, пускай они садятся в поле не ближе двух миль от шоссе...— То ли от волнения, то ли из-за большого сердца врач говорил медленно, делая большие паузы между словами и тяжело, со свистом, набирая воздух.— Я займусь ранеными, а вы уводите людей в поле... *Они* только с той стороны шоссе.

Людская толпа, случайное сборище чужих, ничем не связанных между собою людей, враждебных, трусливых, смелых, нахальных, охваченных страхом за себя и свое благополучие, объединенных лишь одним общим стремлением как можно скорее выбраться из этого страшного места и вернуться к привычному комфорту, людская толпа, растерянная и возмущенная, понуро брела по кукурузному полю. Стадный инстинкт на время победил воспитанный в этих людях с раннего детства американский индивидуализм. Перед лицом непонятной опасности, вынужденные спасти свои драгоценные жизни, они невольно собрались в толпу, старались держаться друг друга и, как стадо баранов за вожаком, растянулись длинной неровной цепочкой среди высоких зарослей кукурузы.

9

17 июля.

11 часов 30 минут.

Паника в Нью-Карфагене началась в тот вечер, когда прибыли первые беженцы с места катастрофы на восточной дороге. Усталые, измученные, запыленные, перепачканные глиной, в разбитой обуви и порванной одежде, они заполни-

ли гостиницы города и, как это свойственно людям, потерпевшим поражение, представили все события в сильно преувеличенном виде. По их рассказам, все случившееся приобретало характер чудовищной космической катастрофы, полного крушения всех устоев нормальной жизни. Впервые столкнувшись с реальной опасностью, увидев обожженные трупы не на экранах телевизоров, а здесь, рядом, став непосредственными участниками разыгравшейся трагедии, чувствуя свою полную беспомощность, все добравшиеся до города в своих рассказах изображали события так, что по сравнению с ними поражение в Пирл-Харборе или бегство англичан из Дюнкерка могли показаться детской игрой в солдатики. Распространяясь по городу, эти рассказы, многократно усиленные и искаженные, способствовали развитию паники, побуждали людей к бегству из Нью-Карфагена.

Сбивчивая информация, передаваемая в первые часы радиостанцией Парадайз-сити, только усиливала эти панические настроения. Однако наибольшее влияние на умы обывателей оказало то, что город лишился электроэнергии. Вечером улицы Нью-Карфагена были темны и мрачны, как улицы Лондона в дни войны. Не горели огни реклам, и было темно в домах. Не работали пылесосы и телевизоры. Выключились холодильники и электрические плиты. Кондиционеры перестали подавать в комнаты свежий воздух, и на электрических тостерах нельзя было поджарить гренки.

В первый момент, когда прекратилась подача электроэнергии по линии, проходящей вдоль восточной дороги, на местной подстанции переключили питание на другую линию и выслали ремонтную бригаду на место аварии. Ремонтники вылетели на вертолете. При попытке снизиться вертолет был уничтожен. Приблизительно через полтора часа вышел из строя главный трансформатор подстанции. Он был разрезан лучом лазера.

Примерно в то же время вышел из строя узел телефонной и телеграфной связи.

Местная радиостанция прекратила передачи. Жизнь города была практически парализована. Продолжали работать лишь те немногие предприятия, которые имели резервные автономные источники питания электроэнергией. Водопровод еще действовал, но подача воды сильно сократилась.

Утром тысячи жителей Нью-Карфагена не смогли, как обычно, как ежедневно, принять ванны — вода из кранов едва сочилась тоненькой струйкой. Впервые за много лет они не нашли у своих дверей пакетов со свежим хлебом. Газеты не вышли. Крупные магазины были закрыты. Торговали мелкие лавочки, и в закусочных подавали только холодные блюда.

У бездействующих колонок скопились длинные очереди машин. Бесполезные и ненужные, брошенные своими владельцами, они с терпеливостью мертвецов ожидали того момента, когда жизнь снова войдет в свою колею.

Транзисторные приемники, включенные в каждом доме, приносили все более путаную, противоречивую информацию, которая только усиливала тревожное настроение города: Радиостанции Парадайз-сити, Денвера и Сан-Франциско передавали сообщения о небывалой катастрофе, охватившей весь район Нью-Карфагена. Осторожно, как бы все еще не веря в правдоподобность такого объяснения, говорилось о каких-то чудовищных насекомых, вступивших в борьбу с людьми за овладение городом.

С десяти часов утра началась передача радиорепортажа из Нью-Карфагена, транслировавшаяся по всей стране.

— Сейчас мы едем по восточной федеральной дороге к месту вчерашней катастрофы.— Репортер вел передачу в привычном быстром темпе, пропуская слова и не следя за стилистикой, подобно тому как это делают радиокомментаторы бейсбольных матчей.— Итак, мы приближаемся к месту катастрофы. Только что миновали тридцать шестую милю, осталась еще одна-две минуты — и мы прибудем. Дорога на всем протяжении от самого города совершенно пустынна. Ни одной машины — ни встречной, ни попутной, даже как-то странно! Шоссе словно вымерло. Пока мы не видели никаких повреждений, просто ничего нет, и все... Джеф, возьми, пожалуйста, чуточку левее, чтобы я мог видеть идущие впереди машины. Это я прошу нашего водителя взять левее, а то мне все загораживает фургон телевизионщиков. Так хорошо, Джеф, спасибо. Наша машина идет третьей. Впереди на открытой машине едут кинооператоры. Они установили свои треноги и сейчас, наверно, уже снимают, хотя снимать пока нечего. Дорога по-прежнему пустынна. Не видно ни огня, ни дыма. Пожар, вероятно, уже потушен. Сейчас я возьму бинокль. Джеф, води, пожалуйста, ровнее. Ага, в бинокль я что-то вижу! Да, конечно, впереди, на расстоянии примерно около мили, я вижу несколько машин. Это обгоревшие машины. Одна, крайняя, лежит поперек шоссе. Сейчас ее видно уже невооруженным глазом. Кинооператоры в передней машине засуетились... Так и держи, Джеф... Они едут на расстоянии примерно ста восьмидесяти ярдов впереди нас, затем, ярдах в ста, фургон телевизионной компании «Эй-Би-Эс». Справа от нас лес, слева кукуруза... А... Вот... С передней машиной что-то случилось... Они полетели за борт, и люди и камеры, амашинавсеедет... Их разрезало, их смело... Джеф, тормози-и! Фургон! НадвоеразрезанДжефтормози-и-и... тормо...

...После этого в приемнике послышался треск, а потом спокойный голос другого диктора сообщил:

— По техническим причинам передача временно прерывается... А сейчас послушайте немного музыки!

Пятнадцать миллионов зрителей, смотревших в это время телевизионную передачу, видели, как люди, сидевшие и стоявшие со своими киноаппаратами в открытой машине, были разрезаны пополам на уровне немного выше бортов машины. Невидимый луч срезал ветровое стекло машины, голову водителя, перерезал треножник киноаппарата и двух людей, стоявших около него.

Все это произошло очень быстро, но было отчетливо видно на телеэкранах. Лишенная управления машина врезалась в обгорелый остов, лежавший поперек шоссе. В следующий момент телепередача прекратилась.

До последней секунды в телестудии была включена магнитная видеозапись. Все, что случилось с автомобилем кинооператоров, не только было несколько раз передано по телевидению всеми станциями Соединенных Штатов, но с этой записи были изготовлены фотоувеличения отдельных кадров, показывающие в деталях весь ход катастрофы. Эти фотографии были широко распространены информационными агентствами и появились в печати многих стран мира.

10

22 июля.

12 часов 00 минут.

Луис Морли — сенатор от штата Южная Миссисипия — придвинул один из разложенных на столе снимков. На большой глянцевой фотографии был изображен тот момент, когда автомобиль с кинорепортерами попал в зону действия лазера. Сам луч не был замечен, но было хорошо видно, как срезанное ветровое стекло машины перекошилось и сдвинулось назад.

На другом снимке, сделанном в более поздний момент, все, что находилось выше той линии, по которой прошел луч, уже отсутствовало. В машине можно было разглядеть тело водителя, прикрытое упавшим ветровым стеклом, и что-то, представлявшее собой останки оператора и его помощников на заднем сиденье машины. На переднем плане было видно сильно смазанное изображение двух фигур, отброшенных назад встречным потоком воздуха. В момент, когда был сделан снимок, они еще не успели коснуться поверхности шоссе.

Сенатор отложил снимки и обвел взглядом собравшихся членов Специальной комиссии по расследованию событий в штате Южная Миссикота. За длинным столом, кроме него, сидело еще шесть членов комиссии: представители министерства внутренних дел, Федерального бюро расследований, Центрального разведывательного управления, Комитета начальников штабов, Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и представитель отдела внутренней безопасности министерства юстиции. Все это были умные, энергичные люди, обладавшие большим профессиональным опытом в своей области, привыкшие обсуждать серьезные вопросы и не боявшиеся ответственности за принятые решения. Все они принадлежали к чиновной элите Вашингтона, и каждый обладал более или менее прочными связями в деловых кругах. Большинство из них до того, как стать чиновниками, занимало ответственные посты в частных фирмах, и эта прошлая деятельность неизбежно накладывала свой отпечаток на характер принимаемых ими решений. Но в данном случае никто из них не преследовал каких-либо скрытых целей. При обсуждении событий в штате Южная Миссикота они могли руководствоваться только своей совестью и интересами общественного благополучия. Это объяснялось тем, что по сравнению с масштабами, в которых они привыкли действовать, вся эта муравьиная история представлялась слишком мизерным фактом. Это не была война в Корее или Вьетнаме, не убийство Кеннеди и даже не расовые беспорядки. Поэтому при обсуждении событий в штате Южная Миссикота они со спокойной совестью могли думать лишь об интересах своей карьеры, престиже своего ведомства и благосостоянии своей нации.

Сенатор еще раз посмотрел снимок и, не обращаясь к кому-либо особенно, сказал:

— А не может ли все это быть просто ловкой мистификацией? Вы ведь знаете, в кино могут делать самые невероятные трюки...

— Это исключено, — возразил представитель Федерального бюро расследований. — Я абсолютно уверен, что это исключено. Я сам видел эту передачу, и, кроме того, у нас есть вполне достоверные показания очевидцев. Как-никак уничтожено целое воинское подразделение и пострадало много гражданских лиц.

— Все же... — сенатор недоверчиво покачал головой, — так просто разрезать лучом автомобиль и даже бронетранспортер... Если это верно, то им ничего не стоит обрушить таким же способом Бруклинский мост?! Что вы об этом думаете? — Сенатор обратился к представителю Комитета начальников штабов.

Подтянутый полковник загадочно улыбнулся и пожал плечами.

— Не знаю,— сказал он.— По официальным данным, лазерная техника наших потенциальных противников еще не достигла такого уровня. Я не могу сказать, доступно ли им обрушить Бруклинский мост с помощью лазера.

— Прежде всего, я думаю, нам следует установить, кому это *им*,— заметил представитель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Наступило молчание.

— Я полагаю,— предложил представитель ФБР,— было бы целесообразно выслушать показания нашего агента, проводившего расследование на месте. Он находится здесь.

Никто не возражал.

Оливер Бонди бочком вошел в зал заседания.

У него было ясное сознание, что наступил тот решительный момент, к которому он давно готовился. Ожидая в приемной, сидя у стенки на жестком стуле, положив на колени объемистый портфель желтой кожи, он без конца перебирал в уме все детали предстоящего доклада. Очень легко представлять себе свои героические действия, когда сидишь один в тихой комнате, и совсем другое — реально действовать в критические минуты, когда надо собрать всю свою волю и умение для решительного момента. Для Бонди это выступление в сенатской Комиссии представлялось именно тем Большим Шансом, которого он всегда искал и который всегда от него ускользал.

— Я прошу вас вкратце рассказать о результатах проведенного вами расследования,— сказал представитель ФБР.

Оливер Бонди остановился у свободного конца длинного пустого стола, за которым сидели члены комиссии, положил на стол свой тяжелый портфель и начал:

— Проведенным следствием твердо установлены следующие факты: в конце июня текущего года, а именно: двадцать третьего шестого, двадцать шестого шестого, двадцать седьмого шестого...

— Несколько короче, пожалуйста,— заметил представитель ФБР.

Бонди глотнул слюну и продолжал:

— ...были отмечены случаи смерти от паралича сердца при не выясненных до конца обстоятельствах. Примерно в то же время и несколько позже были отмечены не раскрытые до настоящего времени случаи ограбления ювелирного магазина и двух лабораторий в местном университете. В частности, из лаборатории доктора Хальбера похищены запасы редкого металла неодима, используемого в экспериментах по созданию мощных лазеров.

В начале июля в местной печати появились сообщения, в

которых все эти события объяснялись деятельностью не-
которого вида муравьев, якобы достигших высокого уровня
развития и научившихся пользоваться металлами и другими
не свойственными им материалами. Корреспондент местной
газеты Фишер показал на допросе, что эти сообщения были
инспирированы неким доктором Нерстом, профессором Нью-
Карфагенского университета. Газетные статьи вызвали в го-
роде большое возбуждение и повлекли за собой новые жерт-
вы. По слухам, очаг размножения муравьев находится где-то
в лесу, на расстоянии около сорока миль от города. Под да-
влением общественного мнения местные власти были вынужде-
ны принять меры для уничтожения вредных насекомых, но
это не дало положительных результатов. Тогда городское са-
моуправление обратилось за помощью к военным властям
для проведения широкой акции по полному уничтожению «ра-
зумных муравьев» во всем районе, примыкающем к восточной
федеральной дороге. С военной базы Спринг-Фолс, распо-
ложенной близ Парадайз-сити, было вызвано подразделение
химических войск...

— В армии Соединенных Штатов нет химических войск! —
прервал Оливера Бонди представитель объединенных шта-
бов. — Международной конвенцией запрещено применение
химического оружия.

— Моя ошибка, — поправился Бонди. — Я имел в виду спе-
циальное подразделение, в задачу которого входит ликвида-
ция последствий химического или ядерного нападения.

Представитель штабов удовлетворенно кивнул головой.

— Далее разыгрались события, широко освещенные на-
шей прессой. На подходе к предполагаемому месту обитания
серых муравьев воинское подразделение было почти пол-
ностью уничтожено. Уцелела лишь небольшая группа солдат.
Почти одновременно были выведены из строя электростанции
и узел связи. Все диверсии осуществлялись с помощью неиз-
вестного оружия, основанного на действии лазера. В после-
дующие дни ни одна машина не смогла подойти к месту ка-
тастрофы. Все они уничтожались на подходах к сорок
второй миле. Сейчас там образовался завал из нескольких
десятков, если не сотен, сгоревших машин. Точное число
жертв пока не установлено. Два полицейских агента сумели
подойти к месту катастрофы, пробравшись по кукурузному
полю. Вот сделанные ими фотографии.

Оливер Бонди выложил перед комиссией пачку снимков,
на которых можно было видеть искореженные, обгоревшие
остовы машин, потерпевших аварию, и длинные вереницы не-
поврежденных машин, покинутых своими владельцами. Они
стояли в несколько рядов, растянувшись вдоль шоссе в обе
стороны от места катастрофы.

— Движение на этом участке федеральной дороги полностью парализовано,— продолжал Оливер Бонди.— Полицейские агенты пробыли на месте катастрофы около часа и тем же путем, через кукурузное поле, вернулись обратно. По словам констебля Роткина, осматривая машины, он видел в них много серых муравьев.

— Полицейские агенты принимали какие-нибудь предохранительные меры?— спросил представитель Департамента внутренних дел.

— Да, на них были защитные костюмы, те, которые применяются для работы с ядохимикатами, и они опрыскали себя инсектицидом.

Развитию паники в немалой степени содействовали распространяемые в городе слухи о нападении муравьев. По заявлению ряда свидетелей, они видели серых муравьев в своих домах или в магазинах, но эти данные не достоверны. Способствовало бегству населения из города и то сообщение, с которым выступили по радио Парадайз-сити два профессора местного университета — уже упоминавшийся доктор Нерст и доктор Ширер. Они предупреждали население о необходимости соблюдать осторожность, опять повторили свои утверждения, будто серые муравьи наделены разумом и умеют пользоваться машинами. Они сообщили, что ведут исследование этой проблемы, но отказались дать какие-либо подробности, пока не закончат своей работы. Стенограмма их выступления имеется в деле.

Из материалов допроса непосредственных свидетелей катастрофы наибольший интерес представляют показания капрала Даниэльса. Они позволяют увидеть эти события в совершенно ином свете. Как я уже говорил, капрал Даниэльс в момент катастрофы находился в замыкающей машине воинского подразделения, и ему удалось избежать гибели. Я не буду оглашать протокол полностью, прочту лишь наиболее существенные места...

Оливер Бонди хорошо освоился с обстановкой и теперь говорил достаточно четко и уверенно. Он не спеша открыл свой портфель и достал папку с протоколом допроса. Он не заметил, да и не мог заметить нескольких серых муравьев, скрывавшихся в складках портфеля.

— Итак, я цитирую,— начал Бонди.— «Вопрос. Что вы сделали, выскочив из машины?»

Ответ. Я постарался сориентироваться на местности, сэр. Вопрос. Что значит «сориентироваться на местности»?

Ответ. Это значит постараться определить, откуда исходит опасность, где может скрываться противник.

Вопрос. Что же вы обнаружили?

Ответ. Прежде всего я оценил обстановку. Справа было

открытое кукурузное поле, слева лес. Диверсанты всегда предпочитают прятаться в лесу. Да и по расположению подбитых машин мне показалось, что огонь вели из леса.

Вопрос. Вы слышали выстрелы?

Ответ. Нет, выстрелов я не слышал, но я слышал взрывы.

Вопрос. Не было ли это результатом взрыва бензобаков машин?

Ответ. Может быть, но я в этом не уверен.

Вопрос. Что вы сделали дальше?

Ответ. Я пополз на левую сторону шоссе и стал наблюдать за лесом. На проселочной дороге, у выезда из леса, я заметил автомашину. Она была повернута в сторону шоссе. Я стал просматривать лесную опушку и в этот момент увидел в машине яркую вспышку, и затем от нее протянулся едва заметный красноватый луч света. Очень тонкий луч. Он был направлен в сторону шоссе, и там что-то взорвалось. Я не видел, что именно, так как смотрел в другую сторону. Луч светился несколько секунд, потом погас, и машина стала разворачиваться. Тогда я открыл по ней огонь.

Вопрос. Вы попали в нее?

Ответ. Думаю, что попал. Я не мог промахнуться. Правда, расстояние было довольно большое, но я должен был в нее попасть до того, как она скрылась в лесу.

Вопрос. Что вы делали после этого?

Ответ. Я собрал оставшихся в живых солдат и приказал им вместе со мною вести наблюдение за лесом. Мы еще два раза видели красный луч, и оба раза на шоссе происходили катастрофы. Но мы не видели вспышек. Луч выходил из леса. Мы вели огонь, пока у нас не кончились патроны...»

Оливер Бонди сложил свою папку и продолжал:

— Эти показания капрала Даниэльса представляют исключительный интерес, так как они являются по существу единственным достоверным свидетельством очевидца и прямого участника событий. Немедленно по получении этих сведений на всех дорогах, ведущих от места катастрофы, были установлены контрольные посты. Пока они не обнаружили машину, отвечающую описанию, данному Даниэльсом, и если только она не успела скрыться в первые же часы, она должна оставаться в этом районе. Данные, полученные от капрала Даниэльса, заставляют нас предполагать здесь тщательно продуманный и широко осуществленный акт диверсии против вооруженных сил Соединенных Штатов. А вся шумиха, поднятая вокруг пресловутых «думающих муравьев», — это всего лишь ловкий ход, предпринятый с целью посеять панику и скрыть следы диверсантов. В этой связи особое внимание привлекает деятельность некоторых преподавателей местного университета. Показания доктора Хальбера...

— А что из себя представляет этот доктор...— сенатор взглянул на лежавшую перед ним записку,— этот доктор Нерст? Вы знакомились с его досье?

— Да, господин сенатор, я сейчас об этом доложу. Доктор Нерст...— Оливер Бонди опять покопался в своем портфеле, доставая нужную бумагу.— «Доктор Нерст, профессор энтомологии, родители — выходцы из Голландии. Проходил проверку лояльности. Женат. Жена, Мэрджори Нерст, проживает с мужем, занятие — домашнее хозяйство. Доктор Нерст лютеранского вероисповедания, но церкви не посещает. Никогда не участвовал ни в каких политических выступлениях. На выборах обычно голосует за демократов. Член нескольких национальных и европейских научных обществ. Участник ряда международных конгрессов». Как видите, весьма заурядная личность. Несколько больший интерес представляют данные о его ближайшем сотруднике, совместно с которым он выступал с сообщениями по поводу муравьев. Я имею в виду доктора Ширера из того же университета.— Оливер Бонди взял другой листок:— «Лестер Ширер, профессор теоретической физики. В молодости отличался радикальными взглядами. Был отстранен от работы в атомной промышленности Соединенных Штатов. Принадлежит к методистской церкви. Уроженец Соединенных Штатов. Холост. На протяжении ряда лет находился в связи с некоей Идой Копач, участницей прокоммунистической организации «Комитет борьбы за демократию». Эта организация отнесена к разряду подрывных. После вызова в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности Ширер заявил о своей лояльности и порвал с Копач. Последнее время состоит профессором Нью-Карфагенского университета...»

Оливер Бонди сделал паузу и окинул взглядом собравшихся. Все молчали.

— Итак,— продолжал Бонди,— собранные материалы дают хотя и косвенные, но довольно веские основания полагать, что в данном случае мы имеем дело с диверсионными действиями, в которых принимали участие коммунистические организации. Если сделать предварительные выводы, то...

— Выводы будем делать мы,— оборвал его сенатор Морли.— Ваша задача — предоставить нам факты и только факты. Я думаю, мы можем больше не задерживать мистера...— Сенатор посмотрел на представителя ФБР...

— Бонд. Джеймс Бонд,— подсказал Оливер Бонди.

— ...мистера Бонда,— продолжал сенатор.— Вы можете быть свободны, но я попрошу вас все же подождать в приемной, быть может, вы нам еще понадобится.

Оливер Бонди стал собирать свои бумаги. Серые муравьи выползли из портфеля, но он их не заметил. Его сморщенное

старушечье личико выражало достоинство и сознание собственной значимости. Он откланялся и вышел из зала. Муравьи расплозились среди фотографий, раскиданных по столу.

— Ну, так что вы об этом думаете?— спросил сенатор.

Все молчали.

— Мне кажется, мы все еще не располагаем достаточным материалом, для того чтобы делать окончательные выводы,— осторожно сказал представитель Отдела внутренней безопасности.

— Однако факты есть факты. Нанесен значительный материальный ущерб, погибли сотни американских граждан и парализована жизнь целого города.

— Не ясно, чем это вызвано.

— В сущности, мы имеем только два возможных объяснения: или это организованная диверсия, как предполагает ФБР, или следует принять версию о «разумных муравьях», что мне лично представляется слишком уж фантастичным. Мне кажется, мы должны оставаться в рамках реальности,— заметил представитель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

— Но практические действия в обоих случаях должны быть совершенно различны,— возразил представитель Департамента внутренних дел.— Если принять версию о каком-то заговоре, то нужно действовать в основном полицейскими мерами и выявить прежде всего организаторов. Материалы, собранные Федеральным бюро расследований о деятельности этих двух профессоров, представляются мне пока весьма небудительными...

— Это только первые данные,— вмешался представитель ФБР.— Настоящее расследование еще впереди.

— Я понимаю. Но мне не ясно, какую цель может преследовать такая диверсия. Было бы интересно узнать, что по этому поводу думает представитель ЦРУ?

Представитель ЦРУ, человек с крайне невыразительным лицом и оттопыренными ушами, ответил:

— У нас нет никаких данных о подготовке подобного заговора. Но подробный анализ сообщений советской печати и некоторых публикаций советских авторов в иностранных журналах позволяет утверждать, что в Советском Союзе ведутся обширные работы по исследованию высшей нервной деятельности различных животных, и в том числе насекомых.

— Эти работы, конечно, засекречены?

— Н-не совсем... Собственно, у нас нет сведений, что Советы ведут эти исследования в секретном порядке. Мы пользовались только публикациями в печати.

— Тогда какое это может иметь отношение к данному случаю?

— Пока никакого. Я только констатирую факты, собранные нашей информационной службой.

Представитель Департамента внутренних дел хотел еще о чем-то спросить представителя ЦРУ, но передумал.

— Тогда, если остановиться на предположении о действиях каких-то вредоносных муравьев, следует просто принять эффективные меры для уничтожения насекомых в этом районе.

— Объявить войну муравьям?— воскликнул представитель ФБР.— Но это же смешно! Армия Соединенных Штатов против... муравьев! Смешно.

Полковник пожал плечами. У него было свое мнение, которое он пока не высказывал.

Сенатор постучал карандашом по столу.

— Джентльмены,— сказал он,— будем придерживаться фактов и попытаемся дать им разумное объяснение. Мне кажется совершенно невероятным, что муравьи или какие-либо другие насекомые могли создать столь мощное оружие, действие которого мы испытали. Насекомые могут ужалить, могут причинить смерть, но они не могут пользоваться новейшими лазерами. В этом я совершенно уверен. Следовательно, это сделано людьми. Я полагаю, необходимо продолжить начатое ФБР расследование и как можно скорее довести его до конца. Не исключено, что здесь действовали оба фактора. Это мне кажется наиболее вероятным. Было бы неправильно отрицать возможность появления в каком-то районе неизвестных ядовитых насекомых. Я это не исключаю. Допустим, произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Это, естественно, вызвало возбуждение общественного мнения. Тогда некоторая подрывная организация решает использовать создавшееся положение и осуществляет свой план диверсий.

— Но зачем?

— Политическая цель подобной акции совершенно ясна. Она призвана вызвать волнение в нашем обществе, дискредитировать правительство и способствовать проведению пропагандной кампании, направленной на подрыв устоев американского образа жизни. А разумные муравьи — это миф...

— А что вы думаете об этом?— сказал представитель Отдела внутренней безопасности, указывая на лист бумаги, лежавший перед сенатором.

По бумаге полз серый муравей.

Сенатор не сразу понял, о чем идет речь, но, заметив муравья, он спокойно и неторопливо поднял стоявший перед ним пустой стакан и накрыл им насекомое.

— Вот и все,— сказал он.

Члены комиссии со сдержанным любопытством разглядывали муравья. Он не проявлял признаков беспокойства. Он

стоял смирно, пошевеливая усиками. По стенке стакана медленно стекала капля воды.

— Вот и все,— повторил сенатор.— Я никоим образом не склонен отрицать возможности появления тех или иных ядовитых насекомых. Один из примеров — перед вами. Но не надо это преувеличивать. В конце концов, это всего лишь муравей, который не может выбраться из стакана. Будем смотреть на вещи трезво. Совершить подобную диверсию могли люди и только люди. И наша задача их обнаружить и обезвредить.

— То, что говорит уважаемый сенатор, представляется мне в высшей степени разумным и логичным,— сказал представитель министерства внутренних дел,— но давайте взглянем на события с несколько иной точки зрения. Допустим, все это действия какой-то подрывной организации, использовавшей появление серых муравьев лишь как удобный предлог для того, чтобы замести следы. Во-первых, в этом уже есть известное противоречие. Насколько я могу судить, в результате катастрофы пострадали гражданские лица и маленькое саперное подразделение. Следовательно, военное значение этой диверсии практически равно нулю. Я имею в виду возможное ослабление нашей обороноспособности... Значит, эта диверсия преследовала лишь политические цели. Но здесь возникает противоречие: сваливая всю вину на муравьев, эта подрывная организация тем самым лишает диверсию ее политического значения. Тогда это просто стихийное бедствие, несчастный случай, не более.

Представитель Департамента внутренних дел взглянул на собравшихся. Никто не возражал. Сенатор, казалось, был целиком занят своими мыслями. Полковник из Пентагона кивнул головой.

— Я хотел бы развить и дополнить мысль, высказанную моим коллегой,— сказал представитель Отдела внутренней безопасности. Это был сравнительно молодой человек лет сорока, с небрежной прической, как у студента.— Давайте рассмотрим возможные последствия принятых нами решений. Допустим, мы обнаружим ту или иную подрывную организацию, которая будет обвинена в совершении диверсии. Прежде всего не так легко собрать неопровержимые улики, особенно если судить по сегодняшнему докладу. Но, допустим, мы соберем достаточно данных для возбуждения судебного процесса. Что за этим последует? Каковы будут политические последствия подобного процесса? Газеты неизбежно поднимут кампанию против наших органов безопасности, прежде всего против ЦРУ и ФБР, допустивших самую возможность осуществления подобной диверсии. Признание существования в нашей стране столь сильной оппозиционной группы также не будет

способствовать проведению принятого нами курса политики. Априорно следует считать, что в нашей стране подобные события невозможны. Следовательно, придется опять сваливать все это на действия какого-то фанатика, совершавшего свои преступления в одиночку. Мы уже имели подобный опыт, и вы должны согласиться, что это не легко. Наконец, нет никакой гарантии в том, что нам удастся ликвидировать предполагаемую подрывную организацию полностью. Возможны случаи повторения диверсий, и тогда это может перерасти в скандал международного масштаба — скандал, могущий существенно повредить престижу Соединенных Штатов. С другой стороны, если мы применим быстрые и энергичные меры к полному уничтожению очага размножения муравьев, то тем самым лишим возможные эксцессы их политического значения. Я не берусь судить сейчас о том, могут ли муравьи создать столь совершенную технику, но я думаю, что нам выгоднее признать такую возможность.

— Иными словами, вы предлагаете оставить без внимания собранные нами данные, включая совершенно ясные и недвусмысленные показания капрала Даниэльса, видевшего диверсанта, и принять объяснение событий, предложенное такими вызывающими подозрения личностями, как эти профессора Нерст и Ширер? — Представитель ФБР смотрел упорным, немигающим взглядом.

— Я предлагаю продолжать следствие, не предавая его огласке, и полностью уничтожить очаг размножения муравьев.

— Какими методами вы предлагаете это осуществить?

— Я полагаю, здесь не может возникнуть серьезных затруднений. Конечно, придется прибегнуть к помощи вооруженных сил, так как обычные средства борьбы с сельскохозяйственными вредителями могут оказаться недостаточными.

— Они уже оказались недостаточны, — заметил представитель министерства внутренних дел. — Было бы интересно выслушать, что думает по этому поводу полковник?

— Мне представляется предложение министерства юстиции наиболее правильным в данной ситуации. Я тоже не хотел бы выносить сейчас окончательное суждение о том, кто является виновником катастрофы — люди или муравьи. С военной точки зрения, оба эти понятия объединяются одним термином — противник. Им было совершено нападение на вооруженные силы Соединенных Штатов, и он должен быть уничтожен. Насколько можно судить, этот противник располагает довольно эффективным оружием, действующим, однако, лишь на малых дистанциях, порядка одной мили. Во всяком случае, мы не имеем сообщений о большей дальности. Это позволяет ему осуществить блокаду дороги, но противник, судя по всему, вынужден скрываться в ближайшем лесу или в самом

городе. Если весь этот район подвергнуть тотальному уничтожению, то погибнут все — и муравьи, и диверсанты. Это практически полностью решает проблему.

— Вы считаете, что такое тотальное уничтожение технически осуществимо?

Полковник изобразил на своем лице любезную улыбку.

— Мы располагаем более чем достаточными средствами для того, чтобы уничтожить все живое не только в этом районе, но и на всем земном шаре. Полностью. И это займет не очень много времени.

— Вы, очевидно, имеете в виду атомное оружие, но его применение, в силу известных вам международных соглашений, в данном случае исключено. Окажется ли оружие обычного типа достаточно эффективно против муравьев? Ведь оно рассчитано на уничтожение главным образом людей, а не насекомых?

— Я полагаю, да. Конечно, проще всего было бы применить здесь тактические атомные бомбы небольшой мощности. Это дало бы отличный результат и одновременно позволило бы нам провести боевые испытания новых образцов. Но и обычные вооружения вполне годятся для этой цели. Мы будем обрабатывать эту площадку с воздуха: сперва уничтожим дома, деревья и тому подобное, затем выжжем всю местность напалмом и, наконец, используем отравляющие вещества. Конечно, уничтожить человека легче, чем муравья. Простой подсчет показывает, что вероятность поражения муравья при стрельбе из винтовки с расстояния триста футов приблизительно в тысячу раз меньше, чем вероятность попадания в человека. Кроме того, насекомые могут скрываться под землей, в корнях деревьев, в расщелинах между камнями, словом, в таких местах, где человек скрыться не может, но я не предвижу здесь особых трудностей. Естественно, пока будет вестись подготовка этой акции, необходимо, чтобы противник оставался на месте. Очевидно, он ставит своей целью не допускать наши машины к месту катастрофы. Для того чтобы удержать его там, нужно периодически проводить ложные атаки. Это сопряжено с некоторыми жертвами, но на это придется пойти.

— Значит, все же сражаться с муравьями?! — подал голос сенатор. — С муравьями, один из которых сидит здесь, у меня на столе, прикрытый стаканом?

Сенатор посмотрел на стоявший перед ним перевернутый стакан. Под ним ничего не было. Только чистый лист бумаги.

— Куда же он делся? — Сенатор подозрительно посмотрел на присутствующих. — Кто его выпустил?

Члены комиссии испытали то странное чувство растерянности, которое обычно испытывает человек, сталкиваясь с непонятным. Они внимательно осматривали стакан и бумагу —

там не было ни малейшего просвета. За несколько минут до того они все разглядывали серого муравья, сидящего под стаканом, а сейчас его не было.

— Но вы же сами его выпустили,— медленно сказал представитель ЦРУ.— Я все время наблюдал за вами, сенатор. Мне казалось, что вы так заняты своими мыслями, что не замечаете окружающего и готовы заснуть. Потом вы приподняли стакан и выпустили муравья.

— Этого не может быть! Я этого не делал. Я пока еще нахожусь в здравом уме и твердой памяти и отвечаю за свои поступки. Этого я не делал!

Сенатор разволновался, как всегда волнуются старики, подозревая в молодых недоверие к своим способностям.

— Тем не менее это факт,— спокойно заметил представитель ЦРУ.— Подобный случай доказывает лишь то, что с муравьями дело обстоит далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.

11

22 июля.

14 часов 40 минут.

Дорогу перебежала жирная крыса. Она шмыгнула вдоль стены и скрылась в невидимой щели.

Доктор Нерст ехал по пустынным улицам покинутого города на маленьком ярко-красном садовом тракторе.

Внешне здесь почти ничто не изменилось, не было только людей. Дома и улицы обрели некоторый налет запустения. Не то чтобы они покрылись пылью или где-нибудь были заметны разрушения, нет, все осталось прежним, и все же все было иным. Так выглядят жилые комнаты, в которые давно никто не заходил. Все вещи стоят на своих местах, все лишнее убрано, а войдя в такую комнату, сразу чувствуешь, что здесь никто не живет. Человек в своей повседневной деятельности вносит в неживую природу тысячу едва уловимых следов своего присутствия, тысячи едва заметных неправильностей, или, вернее, правильностей, нарушающих устойчивое равновесие хаоса, к которому стремится природа. Говоря современным языком, деятельность человека всегда и всюду, кроме войны, ведет к уменьшению энтропии, к внесению в природу некоторого, несвойственного ей порядка. Природа имеет свое направление развития, противное воле человека. Люди сооружают плотины, строят дома, украшают их стены семейными фотографиями, а реки смыывают дамбы, и пыль покрывает серым налетом портрет любимой.

Улица была пустыня. Ветер смел пожелтевшие обрывки

бумаги и опавшие листья к краям тротуаров. Глянцевитые черные полосы, накатанные автомобилями на асфальте улиц, потускнели и стали серыми. Бледные ростки хилой травы еще не успели пробиться между камнями, но казалось, они вот-вот готовы протянуть к солнцу свои острые лепестки.

Красный садовый трактор, на котором ехал Нерст, раньше стоял без употребления в углу гаража. Он купил его вместе с домом, но так ни разу и не использовал по назначению. Он сам обычно не имел времени для работы в саду, а Мэрджори принадлежала к тому типу женщин, которые не слишком любят утруждать себя возней с гудящей, дымящей, капризной и своевольной техникой. Сейчас доктор Нерст перегонял трактор в университет для того, чтобы использовать его там как дополнительный источник электроэнергии. Небольшой генератор, который он с Ширером установил в лаборатории в первый же день после аварии на электростанции, был недостаточно мощным для питания всей необходимой аппаратуры.

Нерст повернул влево и выехал на аллею, ведущую к университету. Его трактор был, вероятно, единственным движущимся экипажем в этом покинутом городе, и все же, разворачиваясь на перекрестке, он автоматически выехал на правую сторону, словно бы здесь еще действовали правила уличного движения. В этой части города, застроенной одноэтажными жилыми домами, муравьев почти не было видно. Они орудовали, главным образом, в центре, на Главной улице, где были сосредоточены магазины.

Снова пробежали одна за другой две крысы. Они даже не заметили трактора, промчавшись в двух шагах от него. Беспокойно взлетела стайка голубей, как бы испугнутых неожиданной опасностью. Они pokrжились и улетели.

Впереди, на расстоянии нескольких ярдов, Нерст заметил довольно широкую темную полосу, пересекающую дорогу. Он почувствовал резкий и неприятный запах. Серая полоса на серой дороге медленно двигалась, извиваясь, как гигантская змея. Она выползала из разрыва между двумя домами, пересекала тротуар, сползала на проезжую часть улицы, наискось пересекала серый пыльный асфальт и скрывалась между домами на левой стороне.

Это шли муравьи.

Миллионы муравьев плотным серым потоком неслышно двигались по безлюдной улице покинутого жителями города. Они шли, строго соблюдая определенное направление, подчиняясь какому-то непонятному приказу. Нерст остановил свой трактор. Его поразила удивительная организованность и четкая целеустремленность этого массового переселения. Муравьиная колонна двигалась как единое целое, как лента конвейера, как ручей, как пехотная дивизия на марше. Нерст

вспомнил рассказы натуралистов, наблюдавших подобные переселения муравьев-кочевников. Они уничтожали все живое на своем пути, все, что не могло улететь или спастись бегством. После их ухода оставались только стерильно очищенные скелеты животных — мышей, крыс, лягушек, собак, если они были привязаны, коз и телят, случайно оставшихся в загонах. Есть описание того, как муравьи-кочевники заживо съели ягуара, запертого в клетке.

Нерст с любопытством ученого наблюдал стройное движение этого бесконечного серого потока. Он не испытывал страха: с тех пор как муравьи сами вернулись в его лабораторию, как бы предоставляя себя для исследований, он привык к мысли, что ему лично ничто не угрожает. Ему казалось, что между ним и муравьями установилось какое-то негласное сотрудничество.

Внезапно, повинуясь неизвестной команде, колонна муравьев разделилась на два потока. Одна часть продолжала свое движение в прежнем направлении, а другая, как бы отрезанная невидимым ножом, круто свернула влево и направилась к тому месту, где стоял трактор. Сплошная лента муравьев, преграждавшая дорогу, оказалась разорванной. Нерст осторожно двинул трактор и направил его в образовавшийся просвет. Правая часть колонны, изменившая направление движения, обогнула трактор сзади и направилась на соединение с ушедшим вперед головным отрядом. Нерст еще раз оглянулся назад и проследил за тем, как муравьиный поток снова слился в одно целое. Он невольно задумался над тем, сколь точны и организованны были действия муравьев. Для того чтобы человеческая толпа могла выполнить подобный маневр, понадобилось бы, кроме общей команды, дать индивидуальные приказания каждому человеку в отдельности. Повидимому, связь, система общения у муравьев была много совершеннее, чем у людей. За последнее время он достиг известных результатов в своих попытках наладить обмен информацией, но это касалось лишь некоторых, крайне ограниченных областей. Его настойчивые попытки установить какое-то подобие взаимопонимания на базе простейших математических понятий неизбежно заканчивались неудачей. Он терялся в хаосе чисел и представлений, возникавших в его мозгу при общении с муравьями. Арифметические действия не подчинялись привычной школьной логике и приводили к абсурдным решениям, где пятью пять равнялось сорока одному.

Въехав во двор университетского здания, он подвел трактор к помещению мастерской, где стоял генератор. Ширера здесь не было, но двигатель работал. «Наверно, Лестер у себя в лаборатории», — подумал Нерст. Он заглушил трактор и направился по дорожке к главному входу в здание... Захо-

телось курить. Нерст машинально сунул руку в карман пиджака и вспомнил, что сигареты кончились, а Линда все еще не вернулась из Парадайз-сити, куда она поехала за покупками. Странное дело: город был завален продуктами, они лежали на витринах магазинов, на складах, бесполезно пропадали в бездействующих холодильниках, сигаретами были набиты сотни безмолвных и безответных автоматов, но ни Нерст, ни его товарищи ни разу не воспользовались брошенными товарами. Для них эта сдержанность была своего рода защитной реакцией, утверждением своего человеческого достоинства. В отличие от остального населения, для них жизнь все еще продолжала идти своим заведенным порядком. Оставшись одни в опустевшем городе, Нерст и Ширер целиком отдались работе. Что же касается тех неудобств и лишений, которые им приходилось испытывать, то они мирились с ними, старались не замечать отсутствия горячей воды или свежего хлеба и приспосабливались к новым условиям, оставаясь, по возможности, в рамках того порядка, тех норм поведения, которые были им привиты с детства. «Может быть, у Лестера остались еще сигареты?..» — подумал Нерст. Он постучал в дверь лаборатории, но никто не ответил. Дверь была не заперта. Нерст вошел. В лаборатории было темно и тихо. Узкие полоски света пробивались через опущенные шторы. Рентгенограф был включен, горели сигнальные лампы.

Ширер лежал, свернувшись в кресле, подперев голову рукой, неуклюже поджав ноги. В этой скрюченной фигурке было что-то наивно-детское, ребяческое.

Нерст опять испытал острое желание закурить.

Он подошел к окну и поднял штору. Снаружи на подоконнике ползали муравьи.

— Это вы, Клайв? — услышал он за спиной голос Ширера. — Я, кажется, задремал. Вы знаете, рентгеноструктурный анализ дал удивительно интересные результаты...

Нерст обернулся. Минуту он молча смотрел на Ширера.

— У вас есть сигареты? — спросил Нерст.

— Да, пожалуйста. Что, Линда еще не вернулась? А я заснул. Я последнее время очень плохо сплю. Одолела бессонница. Ночью часами лежишь, ворочаешься с боку на бок и не можешь заснуть, и вертятся в голове одни и те же черные мысли... — Ширер потянулся к приборной доске и выключил рентгенограф. — Если вам не трудно, Клайв, остановите, пожалуйста, генератор. Я протянул выключатель в лабораторию, чтобы не спускаться каждый раз в мастерскую. Он рядом с вами, слева у окна. Белая кнопка. Иногда очень остро чувствуешь свое одиночество. У вас есть семья, а я один. Я должен рассчитывать только на себя самого. Вот и лежишь ночью, прислушиваешься к своим ощущениям и представляешь себе

в деталях, как будешь умирать. Мы с вами вступаем в самый инфарктный возраст. Этого можно ждать в любой момент... Да, а с рентгеноструктурным анализом получаются замечательные результаты. Вы понимаете, они используют бездислокационные кристаллы — материалы, обладающие совершенно безупречной структурой. В таких условиях обыкновенное железо обладает прочностью в сотни, в тысячи раз большей, чем самые твердые стали! Вы понимаете, что это значит?

— Пока не очень. Вы сказали, Лестер: у меня семья. Какая же это семья? Я не менее одинок, чем вы. Я так же часто бессонными ночами думаю о смерти, а потом утром делаю гимнастику, чтобы держать себя в форме. У нас каждый должен рассчитывать только на себя самого. Я боюсь старости с ее дряхлостью и беспомощностью, но ни от кого не хочу ждать помощи.

— И все же, Клайв, я совсем один, а у вас есть жена.

— Мы очень разные люди. Мэрджори хороший человек. Она добрая и заботливая, но все ее интересы сводятся к очень примитивной программе — есть, спать, наряжаться. Больше ее ничто не волнует. Ей нет дела ни до меня, ни до моей работы, ни до чего-либо, что выходит за рамки этой программы.

— Ну что же, и это не так уж мало. Больше, чем у мурavyа. Тем, во всяком случае, не нужно наряжаться.

— У них есть любопытство, Лестер. Я много думал над вопросом, чем вызвана столь резкая вспышка их развития, что заставило их пойти по пути технического прогресса? Зачем нужны им машины? Ведь их потребности остались почти на прежнем уровне. Казалось бы, им ничего не нужно. Что же заставляет их работать, создавать новое? Любопытство. То же самое, что заставляет нас, меня с вами, оставаться в покинутом городе и, рискуя жизнью, вести свои эксперименты. Мне интересно, мне хочется узнать, как они живут, как они думают, как создают свои удивительные машины. Это возбуждает мое любопытство. Мне хочется узнать это так же, как мне интересно, какая будет завтра погода.

— А вы не думаете, Клайв, что нами движут, я бы сказал, более высокие соображения. Например, польза общества? Стремление предотвратить грозящие людям опасности? Пользуясь вашей биологической терминологией, не руководит ли нами инстинктивное стремление к сохранению и развитию биологического вида гомо сапиенс?

— Или, наоборот, мелкое тщеславие? Стремление к личной славе?

— Не знаю. Может быть. Но мне лично слава не нужна. Я предпочел бы взять свою долю деньгами.

Ширер поднялся со своего кресла.

— Вы слушали радио?

— Ничего особенного. В Вашингтоне создана комиссия из семи человек, которой поручено расследовать последние события. Представляю себе, какую ерунду они там говорят. Что они могут знать? У семи нянек всегда дитя без глаза.

— Нам нужно скорее заканчивать наши работы, Клайв. Нельзя оставлять общество в неведении.

— Если мы выступим с недостаточно обоснованными соображениями, нас просто поднимут на смех. Это может только повредить.

— Я вас понимаю. Вы все еще надеетесь, что вам удастся установить с ними контакт и взаимопонимание. Я в этом не уверен. Да, кстати, сколько у муравья ног?

— Шесть, конечно, у всех насекомых шесть ног.

— Я так и предполагал. Понимаете ли, я все думал над вашими неудачными попытками установить контакты на основе математической логики, и я знаю сейчас, почему это не удалось. Это до смешного просто. У них не десятичная, а шестиричная система счисления. Ведь мы выбрали число десять за основание нашей системы лишь потому, что у нас десять пальцев на руках. Это совершенно произвольно. Просто неандерталец начал считать по пальцам число убитых оленей. С тем же успехом можно взять любое другое число. Например, в наших компьютерах мы пользуемся двоичной системой, у древних майя была пятиричная система, а вавилоняне взяли за основу число шестьдесят, и мы до сих пор пользуемся этой системой для измерения углов и времени: шестьдесят секунд — одна минута — одна единица следующего разряда, шестьдесят минут — один час и так далее. А муравьи начали считать по ногам. Шесть ног — один муравей. Новый разряд — единица с нулем. Вы следите за моей мыслью, Нерст? Это весьма интересные данные для истории муравьиной науки.

Ширер торжествующе смотрел на Нерста. Он весь преобразился, охваченный радостью открытия. Человеку свойственно испытывать радость всякий раз, когда он понимает, находит стройную закономерность в том, что раньше казалось ему хаосом случайностей. Это тоже есть акт упорядочения информации, уменьшения энтропии.

— А те цифры, — продолжал Ширер, — которые вы мне тогда передали, это всего лишь ряд простых чисел в шестиричной записи!

Нерст молчал, напряженно думая, стараясь восстановить в памяти разрозненные результаты своих наблюдений и осмыслить их с новой точки зрения.

— Да, я понимаю вас. Это вполне логично и действительно дает некоторый ключ к пониманию исторического хода их развития... Но если так, то можно составить таблицы пере-

вода с одной системы в другую? Подобно тому, как это делается для компьютеров?

— Конечно! Это не представит ни малейших затруднений. Нужно только помнить, что у них число шесть является единицей следующего разряда, как у нас число десять. Тогда семь нужно записывать как наше одиннадцать, восемь — как двенадцать и так далее. Это очень просто. Важно то, что и в этой арифметике дважды два — четыре, а пятью пять — двадцать пять, только записываются они иначе...

Ширер суетливо подбежал к пишущей машинке, торопясь и нервничая, заложил лист бумаги и начал выстукивать таблицу перевода:

Таблица перевода чисел из одной системы в другую

Десятичная система	Двоичная система (компьютеры)	Шестиричная система („муравьиная“)
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	10
7	111	11
8	1000	12
9	1001	13
10	1010	14
11	1011	15
12	1100	20
13	1101	21

За окном послышался шум подъехавшей машины.

— Линда приехала, — сказал Нерст.

Линда Брукс вернулась усталая и оживленная. Так входят в дом матери, неся рождественские подарки: «Смотрите, дети, что я вам принесла...» — заранее предвкушая ту радость, которую они могут доставить своим близким.

— Я еле смогла добраться, — говорила она еще на пороге. — Все дороги перекрыты. Пришлось делать большой объезд. Я едва смогла убедить полицейских, чтобы меня пропустили. Пришлось доказывать, что у меня здесь осталось двое де-

тей... Разве не правда? — Она улыбнулась своей шутке. — Вот ваши сигареты, доктор Нерст. И почта. Я видела в городе этого корреспондента, мистера Фишера. Он, конечно, пристал ко мне со всякими вопросами, но я отказалась отвечать. Я была стойкой как скала. Он от меня ничего не добился. Он сообщил, он просил вам передать, что он продал свой договор с вами относительно монополии на право информации. Официальное уведомление должно быть в почте. Теперь вместо него с вами будет иметь дело Гарри Купер, комментатор из «Эй-Би-Эс». Вы его знаете?

— Не знаю и не желаю знать, — ответил Нерст.

— Ловкий ход, — заметил Ширер, не отрываясь от пишущей машинки. — Теперь у него развязаны руки. Он, очевидно, содрал с этого Купера хорошую сумму, а сам будет теперь направо и налево торговать той информацией, которую успел здесь собрать. Очень ловко. И мы лишены возможности на него повлиять. Я составляю таблицу до трех десятичных знаков. Я думаю, пока этого хватит?

— Да, да, конечно. — Нерст просматривал полученные письма. — Вот видите, опять из Оксфорда. Просят подтвердить мое участие в конгрессе. Очевидно, до них тоже дошли сведения о муравьях. Но они проявляют британскую сдержанность и прямо об этом не пишут.

— В Парадайз-сити только об этом и говорят, — заметила Линда. — Все помешались на муравьях. А наш город совершенно опустел. Никого. Ни одной живой души. За всю дорогу я видела только одного фермера — он грабил радиوماгазин. Вытаскивал из разбитой витрины какие-то ящики и грузил в свой «пикап».

Нерст разбирал бумаги, полученные из Оксфорда, — план работы конгресса и перечень докладов. Нерст увидел свою фамилию и предложенную еще весной тему: «К вопросу о биологической радиосвязи у насекомых». Среди других сообщений он отметил доклад профессора Ольшанского из Московского университета: «Влияние ионизирующей радиации на филогенетическое развитие высшей нервной деятельности у Апис меллифика». «Возможно, этот русский проводит на пчелах почти те же опыты, что я на муравьях, — подумал Нерст. — Только он, видимо, идет к цели с другого конца...» Нерст просмотрел список делегатов и анкету, в которой просили указать, когда и каким транспортом приедет делегат, и будет ли он один или вдвоем, и сколько мест в гостинице нужно резервировать.

Нерст сразу начал заполнять анкету. На последнем вопросе он задержался, взглянул на Линду и написал: «2 места».

22 июля.

15 часов 30 минут.

Рэй Гэтс стоял перед разбитой витриной радиомагазина. Издали могло показаться, что человек просто стоит и глазаеет на опрокинутую радиолу, изучает для собственного удовольствия случайные формы осколков стекла, странные извивы трещин.

Но в действительности Рэй Гэтс был здесь неспроста. Он ждал. В его позе было что-то покорно-услужливое, ватное. Эдакое лакейское подобострастие человека, полностью лишённого сознания собственного достоинства. В давние времена так держались мелкие писари перед лицом сурового начальника или дрожавшие за свою шкуру предатели на докладе у фашистского оккупанта.

Он стоял и ждал, как бы прислушиваясь к внутреннему голосу, который должен был подсказать ему, что он должен делать. Медленно и неуверенно он шагнул вперед. Хрустнули осколки стекла. Он прошел через витрину и остановился внутри магазина. На полках были выставлены приемники и телевизоры. Все осталось почти в том виде, как было в последний день перед бегством из города. Владелец магазина, видимо, так торопился, что не стал ничего упаковывать. Рэй Гэтс постоял минуту, как бы ожидая нового приказа, и затем, так же вяло и неуверенно, как раньше, прошел в глубь магазина к тому отделу, где находились радиодетали. Он остановился перед шкафом, составленным из множества отдельных ящичков с названиями деталей. Он не стал читать эти надписи, а вместо того начал медленно водить рукой, как это делают дети в игре «жарко — холодно» или саперы, работая с миноискателем. Рука задержалась у одного из ящичков. Рэй Гэтс натянул перчатки и выдвинул ящик. Там лежали упакованные в прозрачный пластик германиевые триоды. Он рассеянно поворошил их, как бы ожидая найти в ящике что-нибудь более ценное или хотя бы понятное, и, не найдя ничего заслуживающего внимания, поставил ящик на прилавок. Затем он прошел к двери в подсобное помещение. Она была заперта. Он подергал ручку — дверь не открывалась. Гэтс потоптался на месте и, не зная, что делать, присел на край прилавка. Закурил, но тут же бросил сигарету и придавил ее своим тяжелым башмаком. Звонко сплюнул на кафельный пол. Сдвинул на лоб свою широкополую шляпу и почесал за ухом.

На шляпе сидела стальная стрекоза. Она расправила крылья, взлетела, сделала круг и неподвижно повисла в воздухе на расстоянии примерно трех футов от двери. В полной

тишине покинутого города было слышно негромкое гудение крыльев. Потом раздался слабый щелчок, похожий на треск электрической искры, блеснула вспышка света, и от стрекозы к двери протянулся тонкий красный луч. Он шевельнулся и погас. Дверь едва заметно дрогнула. Запахло обгоревшей краской. Рэй Гэтс лениво поднялся со своего места и подошел к двери. Она легко открылась. Щеколда замка была разрезана. Рэй Гэтс вошел в помещение склада. Там было темно. Он потянулся к выключателю, но с досадой выругался, вспомнив, что электричество не работает. Он вернулся в торговый зал, прошел за прилавок, туда, где продавались электропринадлежности, и выбрал ручной электрический фонарик. Проверил его. Фонарь давал сильный и широкий сноп света. «Два доллара девяносто центов», — с удовлетворением отметил Гэтс. Он осветил фонариком помещение склада. Там, сложенные штабелями, стояли картонные ящики с радиоаппаратурой. Ящиков было много. Рэй Гэтс опять остановился в нерешительности. Он несколько раз поводил фонариком вверх и вниз, освещая причудливые архитектурные композиции, образованные случайным нагромождением серо-желтых картонок. Подобные сооружения выстраивают дети из своих разноцветных кубиков. Здесь он повторил ту же игру «жарко — холодно». Он стал методически, один за другим, освещать сложенные ящики. Он делал это с ленивым равнодушием человека, не заинтересованного в своей работе, не утруждающего свой мозг мыслями, не делающего ни малейшей попытки вникнуть в суть своих поступков, понять, что и зачем он делает. Очевидно, получив какой-то сигнал, он задержал свое внимание на нескольких ящиках, стоявших внизу с левой стороны прохода. Он пристроил фонарь у противоположной стены и принялся за работу. Пыхтя и ругаясь, он сдвинул верхние ящики, некоторые из них были довольно тяжелыми, разобрал штабель и, когда нужные ему коробки освободились, одну за другой стал их перетаскивать в стоявший у подъезда «пикап». В машине уже лежали два ящика фруктовых консервов и сильно вонявшая свиная туша. На ней копошились муравьи.

Рэй Гэтс посмотрел на них, усмехнулся своим мыслям, поправил ящики в кузове «пикапа» и вернулся в магазин. Он прошел прямо к двери конторского помещения и открыл ее. Замок был уже вырезан стрекозой. В конторке Гэтс легко нашел вделанный в стену сейф. Он потрогал рукоятку замка и отошел. Стрекоза, поняв его намерение, повисла в воздухе перед сейфом. Блеснул красный луч, и в стальной дверце образовался разрез. Гэтс открыл сейф. На полках лежали пачки документов. Некоторые из них, оказавшиеся на пути красного луча, были разрезаны. Наличных денег нашлось только

217 долларов. Гэтс пересчитал их, сунул в задний карман брюк, еще раз перевернул бумаги в сейфе и, не найдя ничего интересного, вернулся в торговый зал магазина. Он взял с прилавка оставленный им ящичек с триодами и остановился в раздумье, что бы еще захватить. Он покрутил один из транзисторов, тот сразу заработал — шла передача о бейсболе. Диктор говорил очень громко и взволнованно. Гэтс быстро его выключил и сунул приемник в ящик с триодами. Он еще раз оглядел напоследок магазин, толкнул ногой большую радиолу на тонких ножках, она опрокинулась, зазвенело разбитое стекло. Гэтс пнул ее сапогом в мягкое картонное подбрюшье — радиолка застонала. Гэтс вышел. Он покосился на мерзко вонявшую свиную тушу, влез в машину и захлопнул дверцу.

Гэтс проехал уже почти весь город и только у выезда на шоссе вспомнил, что он забыл набрать сахара. Он притормозил машину, думая развернуться, но вспомнил, что впереди, недалеко, есть маленькая дорожная закусочная. «Какая разница, — подумал он, — возьму сахар там. Что другое, а сахар-то должен остаться».

Закусочная была так же брошена хозяевами, как и все в городе. Остановив машину, он заметил, что дверь открыта. Должно быть, здесь уже кто-то успел побывать до него. На стойке стояли пустые бутылки. Одна, разбитая, валялась на полу. Гэтс сразу прошел в кладовку. Открывавшаяся внутрь дверь мягко распахнулась. Здесь был полумрак, на окне были спущены решетчатые жалюзи, и сквозь них пробивались косые лучи света. Сильно пахло тухлыми яйцами и еще какой-то кислотой. На полу лежала разорванная коробка от яиц. Кругом была разбросана яичная скорлупа. Гэтс глянул на полки, отыскивая, где лежит сахар, и в этот момент услышал за спиной тихий шорох.

Как бы ни был груб, нахален, примитивен в своем умственном развитии человек, все равно, когда он ворует, нервы его напряжены до крайности. Любой звук, любая неожиданность может нарушить неустойчивое равновесие духа и вызвать внезапный пароксизм страха.

Гэтс резко обернулся.

В углу, между ящиками, дрожал волчонок. На морде у него прилипли яичные скорлупки. Он смотрел на Гэтса испуганным человеческим взглядом, прося помощи. Он забрел сюда в поисках пищи, но дверь захлопнулась, и несколько дней он не мог выбраться на свободу.

Рэй Гэтс в какой-то дикой злобе бросился на волчонка. Тот увернулся и отскочил в другой угол. Гэтс изловчился и ударил его ногой. Волчонок заскулил и глубже забился между ящиками. Гэтс замахнулся, чтобы еще раз ударить, но

поскользнулся и едва удержался на ногах. Волчонок выскочил из своего убежища и забился в узкую щель под нижней полкой. Теперь Гэтс видел только кончик его оскаленной морды и большие испуганные глаза. Гэтс заметался по тесной кладовке в поисках подходящего орудия. Им овладела бессмысленная жажда убийства. Убийства во что бы то ни стало. Убийства ради убийства, без смысла и цели. Ему под руку попался тяжелый стальной ломик для выдергивания гвоздей. Но волчонок забился так глубоко в свое убежище, что Гэтс не мог нанести сильного удара. Он попытался выдвинуть ящик, за которым скрывался волчонок, но мешала стойка. Тогда он, наоборот, двинул ящик вглубь. Прижатый волчонок по-детски захныкал и выскочил из своей щели. Гэтс кинулся на него, не давая ему спрятаться, но в этот момент открылась дверь, и волчонок вырвался на свободу.

Рэй Гэтс остановился. В дверях стоял коренастый мужчина с конопатым лицом.

— Что это здесь? Могу помочь? — спросил он.

Гэтс швырнул в угол свой инструмент и вытер рукавом пот со лба.

— Волк,— хрипло сказал он.— Волк.

Он тяжело дышал и все еще смотрел диким, звериным взглядом.

— Убежал,— сказал Мораес.— Я не знал, что у вас здесь волк. Маленький. Одногодок.

— Пойдем выпьем,— сказал Гэтс.

Они прошли к стойке.

— А я еду мимо, вижу — машина стоит и дверь открыта. Ну, думаю, значит, здесь люди. А тут — волк. Бывает...

Гэтс налил.

— Джин. Виски я не нашел. Все вылакали.

— Можно и джин. А вы-то сами — хозяин здесь?

— Теперь все здесь хозяева. Бери что хочешь. Все убежали.

— И в городе?

— И в городе никого нет. Сегодня видел одну сумасшедшую, ехала в машине. Чего ей здесь надо? А вы-то сами откуда?

— С фермы. Батрачил.

— У Рэнди?

Мораес кивнул.

— Теперь я вас узнал. Я тоже тогда был в лесу. Надо же такому случиться... Вы на дороге были?

— Был. А чего вы с собой эту тухлую свинью возите?

Гэтс хитро подмигнул и налил еще по стакану.

— Вы муравьев боитесь?

— Я? Нет.

— И я не боюсь. Надо уметь устраиваться. Если есть голова на плечах — не пропадешь. Ну, мне пора. Надо еще сахару взять.

Он прошел в кладовку, Мораес подождал, пока Гэтс вышел с ящиком сахара. Они вместе прошли к машинам.

— Здорово воняет, — сказал Мораес.

Гэтс ухмыльнулся:

— Ничего, они это любят.

— Кто?

— Муравьи. Ну, привет.

— Привет.

Мораес дождался, пока Гэтс развернул машину и выехал на шоссе. Ему не хотелось, чтобы Гэтс видел пробоины в багажнике его «плимута».

13

24 июля.

15 часов 05 минут.

— Если вы собираетесь оставаться здесь дольше двух недель, джентльмены, я потребую, чтобы у меня была настоящая кухня. И большой холодильник. — Линда Брукс, в белом передничке, накрывала обеденный стол в кабинете доктора Нерста. — Нельзя все время питаться одними консервами и замороженными продуктами фирмы «Буш и Бекли».

— Это салат? — спросил Ширер. — Великолепно! Пропали бы мы без вас, мисс Брукс.

— Конечно, пропали бы. Разве мужчины способны на что-нибудь дельное, кроме своей науки?

— А за наукой вы все же признаете право на существование?

Линда Брукс улыбнулась:

— Да, если она обеспечит меня плитой с четырьмя конфорками. Это же невозможно — приготовить настоящий обед на такой маленькой плитке!

— Вот чисто утилитарный подход к науке. Что вы об этом думаете, Клайв?

— Я думаю, что мы уложимся в одну неделю. Не считая, конечно, тех двадцати лет, которые потребуются для дальнейших исследований.

— Вы удовлетворены, мисс Брукс? Кажется, нам не придется оборудовать здесь большой холодильник. Скажите, Клайв, а что вообще вы думаете о дальнейшем развитии нашей работы? Сейчас мы так увлеклись, так завязли в огромном количестве нового и необычного материала, что, мне кажется, утратили перспективу. Что вы об этом думаете?

— Ничего не думаю. Я привык ставить перед собой логическую задачу и разрешать ее. А потом возникает следующая, а потом еще одна, и так без конца. Сейчас единственное, что я могу делать в этих условиях,— это исследовать феноменологическую сторону механизма биологической радиосвязи у серых муравьев. Затем нужно исследовать тот же вопрос с позиций биофизики. Затем разработать эффективные методы обмена информацией между людьми и муравьями. Затем исследовать их общество, их культуру и технику. Конечно, я могу заниматься в дальнейшем лишь биологическими аспектами этой проблемы. Изучением техники или, скажем, социальной структуры будут заниматься другие. Но для этого важно прежде всего с достаточной научной строгостью установить факт обмена информацией. Как только этот этап будет пройден, можно опубликовать результаты исследований и заняться, уже в больших масштабах, другими вопросами. Я полагаю, мы могли бы выступить с сообщением по телевидению уже в начале августа. Как вы думаете, Лестер?

— Вы знаете, Клайв, основные результаты я уже получил, а полное исследование мы все равно здесь не сможем закончить. Я мог бы подготовить выступление к началу августа. Вообще при данной ситуации не стоит это затягивать. Передайте мне, пожалуйста, соли. Спасибо. Я думаю сейчас о другом. Вы строите такие далеко идущие планы изучения муравьев в полном отрыве от реальности. Не кажется ли вам, что их все равно придется уничтожить?

— Зачем?

— Не «зачем», а «почему». Дело в том, что, к сожалению, не мы будем решать этот вопрос. Вы привыкли смотреть на муравьев как на свое детище, как на свою научную, авторскую собственность. Но ведь мы с вами только случайно и временно находимся в такой полной изоляции в покинутом жителями городе. Кроме нас, существует остальное человечество, которому нет никакого дела до ваших научных интересов и которое не может оставить без последствий такие происшествия, как то, что случилось на федеральной дороге и о чем вы стараетесь не вспоминать. Вы просто отмахнулись от этого, игнорируете то, что в глазах общества представляется самым существенным.

— Это печальное недоразумение. Ошибка. Результат непонимания. Первобытного человека тоже, вероятно, кусали волки, прежде чем он сумел их приручить. В конце концов, муравьи действовали в порядке самозащиты.

— Вы надеетесь их приручить?

— Ешьте бифштексы, пока они не остыли. Неужели у вас мало времени для научных споров? — Линда Брукс, как всякая женщина, оказавшаяся в роли хозяйки, чувствовала за

собой в этот момент известные права, выходящие за границы обычных официальных отношений.

— Бифштекс превосходный,— ответил Нерст.— Я не собираюсь приручать муравьев, они слишком умны для этого. Я полагаю, будет найден некоторый модус вивенди, какая-то форма существования, допускающая развитие обеих культур.

— Сомневаюсь, что кто-либо согласится встать на вашу точку зрения. Слишком все это необычно, слишком далеко от наших представлений, от того, что мы привыкли считать здравым смыслом, нашим американским практицизмом. Мы не имеем представления о том, что сейчас делается в мире, в нашей стране. Мы не читаем газет и не слушаем радио... Вы наладили свой приемник?

— Нет. Он окончательно замолчал. Скисли батареи. Но у нас есть радио в машине.

— Это бесполезно. Кто же будет спускаться в машину специально для того, чтобы слушать радио? Во всяком случае, мое любопытство не заходит так далеко. Можно представить себе ту шумиху, тот бешеный ажиотаж, который развили вокруг последнего инцидента газеты. Политики постараются нажать на этом политический капитал, бизнесмены, несомненно, найдут способы извлечения денег из муравьиной проблемы; совершенно неизвестно, как отнесется к этому церковь...

— При чем здесь церковь?

— Согласитесь, Клайв, что церковь не сможет пройти мимо факта появления разумных существ, обладающих иной, не человеческой культурой и не человеческим происхождением. Здесь сразу возникнет масса вопросов: есть ли у муравьев душа? Доступно ли им божественное откровение? Применимы ли к ним догматы христианской морали?

— О чем вы говорите, Ширер? Что может быть общего между чисто научной проблемой — исследованием нового вида насекомых и догмами христианской религии? Что может их связывать?

— То же, что вообще связывает науку и религию. Вера в единый смысл и всеобщую целесообразность окружающей нас Вселенной. Если сравнивать науку и религию...

— Их нельзя и не нужно сравнивать,— прервал Нерст.— Они прямо противоположны! Наука — это комплекс познанных нами объективных закономерностей. Закономерностей, объясняющих причины и позволяющих предвидеть следствия. Область религии — это все то, чего мы не знаем, не понимаем, не умеем объяснить. И в этом смысле наука и религия прямо противоположны. Взгляните на историческое развитие человеческого знания. Первобытный человек не понимал, почему гремит гром, и он говорил: это бог. Люди не знали о существовании бактерий, и для них чума была проявлением воли

божьей. Чем больше мы узнаем, чем дальше развивается наука, тем меньше остается таких явлений, для объяснения которых мы вынуждены прибегать к сверхъестественной помощи. Я рос в семье, где соблюдались внешние формы религии, но мой отец, по-своему очень умный человек, однажды как бы вскользь сказал мне фразу, которая осталась у меня в памяти на всю жизнь: «Бога выдумали люди, чтобы объяснять непонятное». Кажется, до него это уже сказал Вольтер. Это стало основой моей личной философской системы.

— А не кажется ли вам, доктор Нерст, что доктор Ширер думает совсем не то, на чем настаивает, — вмешалась в разговор Линда Брукс. — Мне лично очень нравится Санта-Клаус. Я люблю получать рождественские подарки. Но что касается Неизвестного, то как можно приписывать ему какую-то сознательную деятельность, если это всего лишь не известные нам законы природы?

Ширер удивленно посмотрел на Линду. Он привык считать молчаливую ассистентку чем-то вроде лабораторного оборудования и не ожидал от нее такой способности к самостоятельным суждениям.

— Конечно, вы правы, дорогая мисс Брукс. Вы правы. Я, пожалуй, разделяю точку зрения доктора Нерста, но было бы так скучно жить, если бы никогда не возникало споров и все думали одинаково. Возможно, так живут муравьи, но тогда непонятно, как у них мог развиться разум и техническая культура. Для этого необходимо столкновение противоположных точек зрения. Как вы думаете, Клайв, муравьи умеют спорить?

Нерст взглянул на Ширера. Он был немного задет тем, что его вызвали на спор, который не имел под собой оснований.

— Вы шутите, Лестер, но вы не отдаете себе отчета в том, насколько серьезен этот вопрос. Пока я не могу на него ответить. Это покажет будущее.

— Тогда я хотел бы вернуться к началу нашего разговора. Мы не знаем, какова реакция общества на первое серьезное столкновение с муравьями. Сейчас мы не можем предвидеть, как будут развиваться события: муравьи — это не миф, а действительность. И, как показал опыт, достаточно опасная действительность. Где гарантия, что не найдутся люди, которые сумеют, помимо вас, вступить в контакт с муравьями и потом использовать их в своих целях? Как долго вы сможете сохранять монополию на общение с муравьями? Несколько недель. Как только мы опубликуем результаты своих наблюдений, так сейчас же появится множество последователей, истинных и мнимых. Возникнет чудовищная путаница, которая не принесет ничего хорошего. Я понимаю ваш интерес ученого,

исследователя, столкнувшегося с новой увлекательной проблемой. Мне тоже очень интересно разобраться в новых технических решениях, с которыми я встретился. Возможно, это принесет нам некоторую выгоду, даже материальную. Поможет ускорить прогресс техники. Поэтому я здесь и остался. Но, в общем, пока я не вижу ничего такого, до чего мы не могли бы додуматься сами, пускай несколько позже, это неважно. Но с другой стороны, при их чудовищной плодовитости и беспорочной работоспособности они могут представить серьезную угрозу для нашего общества.

— Однако, Лестер, вы должны согласиться, что бесполезно пытаться повернуть историю вспять. Нужно приспособляться к новым условиям существования. История развивается по своим сложным и не всегда понятным законам. Выживает тот биологический вид, который умеет лучше и быстрее приспособиться к изменившимся условиям.

— Иными словами, вы предлагаете плыть по течению?

— Мы расходимся в оценке событий. Уничтожить муравьев можно было раньше, несколько лет назад. А сейчас уже поздно. Для этого потребовались бы совершенно исключительные меры вроде атомной бомбы, но на это никто не пойдет. Все наши вооружения рассчитаны на уничтожение нас самих, а не муравьев. Вы можете целый день обстреливать лес тяжелой артиллерией, разнести всё в щепы, сровнять с землей, а муравьи будут спокойно ползать по вывороченным из земли корням. История — это процесс необратимый... Я думаю, нам пора идти. Мне хотелось бы сегодня обработать последние осциллограммы... Да, и еще, последнее, Лестер. Я вынужден просить вас: когда мы будем выступать по телевидению, не настаивать на необходимости уничтожения муравьев...

— Ну, разумеется, Клайв. Об этом не нужно говорить. Может быть, вы и правы. Может быть, так и нужно поступить в интересах нашего общества.

Нерст поднялся со своего места и, звонко стуча каблуками, заходил по комнате. Его длинная худая фигура то рисовалась темным силуэтом на фоне окна, то, наоборот, светлосерым на темном прямоугольнике двери.

— Вы говорите, Ширер: «общество». О каком обществе вы говорите? Мы нация индивидуалистов. Нас больше двухсот миллионов, и каждый тянет в свою сторону. Каждый думает только о себе и о своей выгоде. У нас нет единого, монолитного общества, выступающего как сплоченная социальная сила. Мы все разрозненны и думаем только о своих долларах. Такие люди, как мы с вами, — это редкие исключения, белые вороны, патологические отклонения от общего правила.

— Вы рассуждаете, как коммунист, Нерст.

— Я не коммунист. Я американец и так же, как вы, люб-

лю страну, в которой родился и вырос. Я люблю осенние красные листья на кленах, люблю свежий ветер полей, люблю наши озера и реки, люблю, наконец, весь тот уклад жизни, который мы создали. Но когда вы предлагаете уничтожить культуру, возникшую рядом с нами, только потому, что она совершенно отлична от нашей, я не могу с вами согласиться.

— Прежде всего, насколько я понимаю, быть коммунистом — вовсе не значит отрицать свою родину.

— Я не знаю, Ширер. Я не знаю. Я не политик и никогда не интересовался политикой, но как биолог я должен сказать, что в межвидовой борьбе за существование оказывается более жизнеспособным тот вид, тот коллектив, внутри которого отдельные особи способны жертвовать своими интересами ради взаимопомощи, ради сохранения вида в целом. И в этом отношении мы, американцы, существенно уступаем даже самым обычным лесным муравьям. Пойдемте работать, Лестер.

Ширер поднялся. Линда Брукс собрала со стола посуду.

Спускаясь по лестнице в первый этаж, она услышала внизу, в холле, какой-то шум. Это были неуверенные шаги человека, случайно забредшего в незнакомое помещение. Она остановилась. Человек подошел к лестнице и тоже остановился.

Она подождала, потом негромко спросила:

— Кто там?

— Хэлло, мэм, я уж думал, никого не найду...

— А кто вам нужен?

— Я не знаю... Кто-нибудь...

Линда спустилась. Мораес ждал внизу.

— Здравствуй, мэм. Я уж думал, никого не найду.

— Здравствуйте. Что вы здесь делаете?

— Я мимо ехал. Услышал — мотор шумит. Ну, думаю, значит, здесь люди. А я человека ищу. В городе никого не осталось. Я уже был здесь раньше...

— Я помню. Мистер...

— Мораес. Васко Мораес.

— Да, да, я помню. А почему вы остались? Почему не уехали?

— Мне нельзя сейчас уезжать. Они задержат меня на дороге. Мне нужно сперва отремонтировать машину. Вы слышали радио? Они ищут машину, пробитую пулями. Номера они не знают. Мне нужно ее отремонтировать, а здесь нигде нет электричества... И я не могу это сделать один. Там нужно работать вдвоем. Одному держать, другому работать. Мне нужен еще один человек.

Линда поставила посуду на ступеньки лестницы.

— Пойдемте, я вас провожу к доктору Нерсту.

24 июля.

20 часов 20 минут.

В тот час, когда на атлантическом побережье уже стемнело, здесь, в штате Южная Миссиссиппи, солнце еще не заходило. Близился тот мирный предвечерний час, когда стихает ветер, когда пыль на дорогах медленно оседает и воздух становится чистым и свежим, когда раскаленный шар солнца постепенно теряет свою слепящую яркость и все ниже склоняется к неровной линии далеких темных холмов.

Рэй Гэтс ехал по узкой проселочной дороге в своем клыкастом, похожем на старого бульдога «пикапе». Услышав сегодня сообщение по радио о предстоящем уничтожении всего района, заселенного серыми муравьями, и плохо представляя себе, во что это может вылиться, он почел за благо немедленно выполнить требование властей и возможно скорее покинуть опасный район. Его совсем не беспокоила судьба фермы. Все имущество было застраховано, и, кроме того, федеральное правительство гарантировало полное возмещение всех убытков. В этом случае он материально никак не страдал и даже, наоборот, мог рассчитывать на некоторую выгоду.

И еще одно обстоятельство повлияло на его быстрый отъезд.

Он получил приказание.

Он уже привык получать указания, оформленные как смутные, полусознанные желания сделать то или другое. Он быстро наловчился правильно понимать эти приказы и охотно выполнял их потому, что это не требовало от него большого труда и приносило заметную выгоду. Сейчас он знал, что должен во что бы то ни стало и как можно скорее выехать по направлению к местечку Бранденберг в одном из центральных штатов. Это приказание было настойчивым и возникло в его мозгу почти сразу после сообщения по радио. По складу своего ума, не расположенному к анализу ощущений, он просто повиновался этому мысленному приказу. Если бы он дал себе труд задуматься, проанализировать свои поступки, он, может быть, поступил бы иначе, но это его не интересовало. Его вполне устраивало создавшееся положение, при котором, выполняя несложные задания муравьев, он взамен получал некоторую помощь или содействие, позволявшие ему реализовать свои желания весьма практического свойства.

Большую часть ценностей, добытых в городе, он надежно закопал на территории фермы, а наличные деньги увозил с собой. Все это представлялось ему довольно выгодной сделкой, тем более что необычность обстоятельств, казалось бы, исклю-

чала неприятные последствия. Предстоящее уничтожение Нью-Карфагена было особенно выгодно, так как устраняло любые следы его деятельности.

Впереди, слева, несколько в стороне от дороги, показались белые строения фермы Рэнди. Над домом поднималась тонкая струйка сизого дыма.

С тех пор как человек научился пользоваться огнем, дым очага стал для него священным символом дома, родины, семьи. Завидев издали дым очага, усталый путник ускорял шаги, и ноша казалась ему менее тяжелой. На протяжении многих тысячелетий вся жизнь людей концентрировалась вокруг огня. Дым костра звал к себе, обещая тепло, еду, отдых. В наше техническое время жители городов почти утратили священное и поэтичное чувство домашнего очага, огня, у которого вечером, после тяжелого, трудного дня, собирается вся семья и мать раздает еду. Огонь костра всегда был для людей символом дружбы и единения. У огня забывались распри и ссоры, откладывалось в сторону оружие, и недавние враги сидели рядом, молча глядя на раскаленные угли. Собираясь вокруг огня, люди становились Людьми.

Рэй Гэтс посмотрел на дым и проехал мимо фермы Рэнди. Он смотрел на поднимающийся из трубы дым, пока это было возможно, а потом отвернулся. Впереди были участки хорошо обработанных полей, а дальше, на горизонте, поднимались невысокие холмы.

Проехав около мили, он все же притормозил машину, с трудом развернулся на узкой дороге и поехал обратно. Поравнявшись с фермой Рэнди, он свернул направо и подъехал к дому. Никто не вышел навстречу. Он продвинул машину вперед и за углом увидел Рэнди, возившегося с трактором у раскрытых дверей сарая.

— Хэлло, Рэнди! — окликнул Гэтс.

Рэнди повернулся. Низкое солнце светило ему прямо в глаза, и он прикрылся рукой, чтобы лучше видеть. Потом, вытирая на ходу испачканные маслом руки, он сделал несколько шагов навстречу Гэтсу.

— Хэлло, Рэнди, ты разве не слышал радио? Всем нужно уезжать. Комитет семи объявил нас опасной зоной. Будут уничтожать муравьев. Хотят выжечь и лес, и город, и все вокруг. Надо уезжать. У тебя что, машина не в порядке? Я могу подвезти тебя и Салли.

— Машина в порядке, — сказал Рэнди.

— Так надо ехать. Здесь все уничтожат с воздуха. Правительство обещает возместить убытки.

— Я не поеду, — хмуро сказал Рэнди. — Ты уезжай, а я не поеду. Я здесь родился, я здесь и останусь. Тут все мое.

— Да ты не понял, по радио передавали...

— Я слышал радио, я все знаю, только я никуда не поеду. Эту землю копали мой дед, мой отец, я... Здесь все мои...— Он замолчал.— Они все лежат здесь, в этой земле. Это наша земля, и я ее не оставляю, что бы они с ней ни сделали, что бы здесь ни наломали.

Рэй Гэтс глядел на Томаса Рэнди, на его перепачканный маслом комбинезон, грязные руки и хотел было спросить, зачем же он сейчас ремонтирует трактор, если знает, что завтра утром все будет уничтожено — и дом, и трактор, и все вокруг... Но Гэтс промолчал.

— Ты поезжай, а я останусь,— сказал Рэнди.— Спасибо за заботу. Будь здоров.

Он повернулся и пошел к трактору.

Гэтс развернул свой мордастый «пикап» и выехал на дорогу в сторону Бранденберга.

...На авиационной базе Бранденберг с вечера начали готовить самолеты к вылету. Разъехались по полю длинные белые автозаправщики. С глухим урчанием подползали они к сверкающим в голубых лучах прожекторов рядам бомбардировщиков. Длинные черные тени людей и машин метались по аэродрому. Команды технического обслуживания снимали чехлы с двигателей, проверяли исправность оборудования, строго следуя подробным инструкциям, деталь за деталью, прибор за прибором, проверяли они весь сложный комплекс механических, пневматических, гидравлических, электронных, радиотехнических, оптических, магнитных и гироскопических устройств, которыми оснащен современный самолет. Лихо заломив козырьки своих рабочих кепок, засучив рукава рубашек, здоровые, рослые парни, ребята — золотые руки, с привычной добросовестностью, с отменной тщательностью и профессионализмом американских рабочих проверяли все то, что им полагалось проверить в соответствии с точной, умно и ясно составленной инструкцией.

Эти американские рабочие в военной форме хорошо делали свое дело. Это была их работа, за которую хорошо платили. Они выполняли ее аккуратно и добросовестно, а все остальное их не касалось. Об остальном они старались не думать.

В их подробной инструкции не было пункта о том, что нигде в самолете не должны скрываться муравьи. Об этом никто не позаботился. Да разве возможно их обнаружить? В сложнейшем сплетении проводов, между обшивками корпуса, в тонких стреловидных крыльях они могли найти тысячи мест, где их нельзя, невозможно заметить.

Начали подвозить боезапас. Автопогрузчики, плавно по-

качиваясь на мягких шинах, подруливали к самолетам, бережно поднимали своими стальными лапами черные тела авнабомб и заботливо, как мать укладывает ребенка в колыбель, стараясь не потревожить его мирный сон, затискивали бомбы в раскрытые чрева самолетов. Все это делалось просто, спокойно, без лишней спешки, точно и деловито. Для работников аэродромной службы это было обычным будничным делом, ничем не отличавшимся от сотен других патрульных вылетов, направленных к берегам потенциального противника. Здесь все было слажено, продумано до мелочей, и весь этот комплекс машин и людей работал четко и ритмично, как хорошо отрегулированный механизм, как организм вполне здорового человека.

Рэй Гэтс беспрепятственно миновал контрольно-пропускной пункт на выезде из запретной зоны вокруг Нью-Карфагена. К авиационной базе Бранденберг он подъехал уже ночью. С пустынного в этот час шоссе были видны цепочки огней на аэродроме. То вспыхивающие, то внезапно гаснущие фары автомобилей освещали длинные ряды самолетов. Их стройные рыбы тела то загорались алюминиевым блеском, когда на них попадал косой луч прожектора, то, наоборот, в голубоватой дымке рассеянного света рисовались их четкие черные силуэты.

Рэй Гэтс поставил машину на обочину, обошел кругом, стоял у края канавы, подтянул брюки, достал из кузова небольшую картонку от яичного порошка и швырнул ее в канаву. После этого он сел в машину, закурил сигарету и уехал дальше в ночь.

Из картонки выполз муравей.

В штабе авиационной части, базирующейся в Бранденберге, начальник штаба проводил инструктаж командиров кораблей перед вылетом:

— ...в шесть часов тридцать семь минут первое звено должно выйти в район цели. Первый заход на высоте девяти тысяч футов, последующие — по решению командира. Оружие противника действует до высоты шести тысяч футов — это надежно проверено автоматическими самолетами-мишенями. На высоте девять тысяч футов вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Ваша задача: полностью уничтожить все живое в квадратах одиннадцать — восемнадцать и двенадцать — двадцать один. Это значит: плотность бомбовой обработки местности должна быть такова, чтобы были разрушены все здания до фундаментов и вскрыты подвальные помещения.

Необходимо создать условия для наиболее эффективного применения напалма и отравляющих веществ. Должна быть вскрыта любая щель, любая нора. То же относится и к лесному массиву и прилегающим фермам. Весь район, отмеченный на ваших картах, должен быть превращен в сплошное пожарище, выжженный пустырь, на котором не уцелеет ни одно насекомое. Так выжигают каленым железом ранку от укуса змеи на здоровом теле. Желаю удачи. Бог да благословит вас.

15

25 июля.

05 часов 17 минут.

Сперва возникли три белых лошади.

В бурой мгле, среди пыльных развалин они мчались и мчались вперед, калеча копытами мрамор колонн, ломая цветы и оставаясь все время на месте.

Кругом вздымались руины разрушенных зданий, закопченные, темные, с красными подтеками битого кирпича, безобразные, как гнилые зубы во рту великана.

Красный конь тянулся к черной чернильной воде и не мог до нее дотянуться. Густая, тягучая, словно вар, вода блестела в темноте и была неподвижна. Так неподвижны свинцово-осенние пруды в парках. На них плавали желтые листья. Младенец в коляске орал полицейской сиреной. Замолкая на минуту, как машина на повороте, он снова выпускал свой дикий вопль, дрожащий, вибрирующий на одной ноте...

Семь няnek в белых передничках сидели на скамейке Централ-парка и неслышно шептались.

Кривой мальчишка слепым, невидящим глазом целился в них из игрушечного автомата.

Нерст хотел остановить его, он силился пошевелиться, но мог только стонать.

— Проснись, Клайв. Ты так ужасно стонешь. Что тебе снилось?

Нерст очнулся от кошмара. В комнате было темно. Линда трясла его за плечи.

— Что тебе снилось?

— Так... Всякий ужас. Разве можно рассказать? Семь няnek, у которых дитя без глаза... Глупости. Почему ты не спишь?

— Меня разбудила сирена. Полицейская машина ездит по городу и сигналиит. Совсем как воздушная тревога. Слышишь? Опять.

— А ты разве слышала сигналы воздушной тревоги?

— Конечно. Учебные.

— А я слышал настоящие. В начале войны мы с отцом застряли в Лондоне. Я был тогда еще маленький. Мы прятались в убежище. Я очень любил своего отца. Он казался мне таким сильным, таким мудрым, он знал все и обо всем умел мне рассказать. И каждый вечер мы спускались в убежище. Это было совсем не страшно, ведь мы были вдвоем. Да и вообще дети не знают страха смерти. Они больше боятся уколоть палец. Мне нравилось, как стреляют зенитки, и было интересно видеть разрушенные здания.

— Зачем люди воюют?

— Иногда бывает так, что нельзя не воевать.

— Все равно это плохо.

— Конечно, плохо.

Небо за окном казалось темно-лиловым, и на нем тускло светили бледные звезды. Скоро начнется рассвет. Было очень тихо, только вдали иногда слышался вой полицейской сирены.

— О чем ты сейчас думаешь? — спросила Линда.

— А ты как узнала, что я о чем-то думаю?

— По глазам. Они улыбались твоим мыслям.

— Я думал... Я думал о том, что, если бы у нас родился сын, мы бы назвали его Ники... Николсом, как моего отца.

— А ты уверен, что был бы мальчик? А если девочка?

— Нет. Непременно мальчик. И он был бы веселым и смелым. И я ездил бы с ним на озеро ловить рыбу...

— Нет, не так. Сперва мы купили бы ему голубую колясочку, и я ходила бы с ним гулять в парк, и он смеялся бы, когда я к нему наклонялась. Ведь он был бы веселым? Правда?

— А потом он первый раз пошел бы в школу... Представляешь, как он будет волноваться?

— А я стояла бы за дверью и ждала, когда кончится урок...

— Летом я буду с ним уходить в лес, далеко-далеко. Я буду ему рассказывать, как растут деревья, как живут лесные звери, как птицы вьют гнезда. Ведь он будет совсем маленький и сперва совсем ничего не будет знать, а я ему буду рассказывать. Знаешь, это очень большая радость, когда можешь передать ребенку частицу своего опыта. Частицу самого себя... Ты спишь?

— Нет, я слушаю.

— Жаль, что ничего этого не будет.

Рассветный сумрак медленно пробирался в комнату, придавая всем предметам странные, причудливые очертания. Контуры стен, стулья, стол постепенно проявлялись из темноты, как скрытое изображение на фотопластинке.

Они молчали, прислушиваясь к тишине покинутого города.

Скоро яркий шар солнца поднимется над горизонтом. Сперва он осветит верхушки деревьев и красные крыши домов, потом, рассеивая утренний туман, его лучи проникнут в пустынные улицы, потянет ветер, шелестя обрывками старых газет. Из щелей и подвалов поползут к солнцу и свету новые хозяева этого города. Наступит день.

Где-то очень далеко последний раз прозвучал сигнал полицейской сирены. Констебль Роткин закончил свой объезд Нью-Карфагена и с легким сердцем, довольный сознанием выполненного долга, радуясь тому, что и на этот раз для него все обошлось благополучно, вывел свою машину на пустое шоссе и дал полный газ.

Было пять часов сорок три минуты.

16

25 июля.

06 часов 26 минут.

Капитану военно-воздушных сил Соединенных Штатов не положено особенно много рассуждать. В этом нет необходимости. Это за него делают другие. Он обязан выполнять приказ своего командования независимо оттого, что он думает о его смысле и целесообразности. Лучше всего, если он по этому поводу вообще ничего не думает.

Командир ведущей машины, так же как и все члены экипажа, как и командиры остальных машин, в данный момент выполнял приказ и делал это со всей точностью, которая требуется в таких случаях. Если у кого-либо из них и возникало неприятное чувство от сознания того, что они летят бомбить не какой-то чуждый им вражеский «военный объект», а свой, чистенький и благоустроенный американский городок, то они старались этого не замечать. Они гнали от себя такие мысли. Они старались не думать о том, что им предстоит превратить в дымящиеся руины частицу своей страны. Они смотрели на эту операцию, как на любое другое задание, подлежащее выполнению. Это была их работа.

Да и в самом деле, не все ли равно, куда сбрасывать бомбы — на покинутый жителями город или на изрытый воронками полигон в пустыне? При взгляде на карту район, обреченный на уничтожение, представлялся таким маленьким, таким ничтожным кусочком огромной страны, что сразу становилась ясной неощутимая малость такой потери. Все те материальные ценности, которые предстояло уничтожить — дома, холодильники, мебель, семейные портреты на стенах, посуда, расставленная на полках шкафов, и тысячи самых разнообразных предметов, созданных людьми для своего удобст-

ва, все то, что составляло призрачные, внешние атрибуты счастья для нескольких десятков тысяч людей,— все это в общей сложности стоило намного дешевле тех самолетов, которые сейчас приближались к городу.

Современный бомбардировщик — это удивительно сложная, совершенная и очень дорогая машина. Он спроектирован и построен так точно, так тщательно и продуманно, снабжен таким количеством прецессионной аппаратуры, что представляет собой как бы самостоятельный организм. Почти живое существо. Он очень умен, такой самолет. Его приборы могут делать очень сложные вычисления, учитывать множество изменяющихся величин; он может лететь с огромной скоростью на очень большой высоте; он может видеть и слышать все, что делается вокруг на далеком расстоянии. Он может видеть в темноте и тумане. Его радиолокаторы непрерывно ощупывают землю своими лучами, поддерживают связь со станциями слежения и наведения. Сотни приборов непрерывно контролируют его полет, работу всех агрегатов. В любой момент он точно знает свое место в пространстве, и ему не страшны никакие капризы погоды. Экипаж корабля занимает места в удобных кабинах, где все продумано до мельчайших подробностей, где все сделано для того, чтобы человек мог точно, уверенно и беспрепятственно убивать других людей. Это очень хитрая, сильная и дорогая машина — современный бомбардировщик.

Самолетом управлял автопилот.

Командир сидел, откинувшись на спинку своего кресла, изредка поглядывал на приборы, жевал резинку и думал о том, как сегодня вечером он встретится со своей девушкой.

Все шло нормально.

Для командира корабля этот полет был частью его работы, довольно выгодной и не слишком обременительной, не лучше и не хуже любой другой, дающей обеспеченное существование. Ему не пришлось участвовать в войнах, и он никогда не испытывал страха перед зенитными снарядами или самонаводящимися ракетами — для него они были всего лишь абстрактными понятиями из курса подготовки военных летчиков, такими же отвлеченными, какими для многих на всю жизнь остаются заученные в школе законы физики или формула решения квадратных уравнений. Война и связанные с нею опасности всегда скрытно присутствовали где-то в глубине его сознания.

Команды других самолетов, все эти здоровые, веселые, жизнерадостные парни, относились к предстоящей операции примерно так же, как их командир. Они просто о ней не думали. Каждый был занят выполнением своих, строго регла-

ментированных, обязанностей, требующих почти автоматических действий.

Все шло нормально.

Строгая, тщательно разработанная система субординации насильственно объединяла между собой команды самолетов и превращала все это воинское подразделение в единый, точно и слаженно работающий механизм. Самолеты летели в плотном строю, образуя в небе четкие геометрические фигуры. Они были как бы связаны друг с другом невидимыми нитями дисциплины. Они были очень хороши в небе, эти серебристые стрелы двадцатого века.

Командир ведущего корабля посмотрел на часы, переложил жвачку за другую щеку и нажал кнопку переговорного устройства.

— Спринг-Фоллс, я «Дэвид-пять». Сообщите обстановку в районе цели. Прием.

Станция в Спринг-Фоллс ответила грудным басом:

— «Дэвид-пять», я Спринг-Фоллс. Вы подходите к Парадайз-сити. Через полторы минуты смена курса. Новый курс — три ноль семь. В районе цели ясно. Ветер на высоте девяти тысяч футов — сто десять градусов, восемь узлов.

Командир корабля удобнее уселся в своем кресле, отключил автопилот и взялся за ручку управления.

Штурман сделал пометку на карте.

Все шло нормально.

Внизу, в брюхе самолета, в бомбовом отсеке висели в своих держателях бомбы. Длинные, черные, неподвижные, таящие в себе чудовищную разрушительную силу, они молчаливо ждали своего часа, того момента, когда по команде человека, повинувшись едва заметному нажатию кнопки, они сорвутся со своих мест и ринутся в гудящую пустоту, чтобы, достигнув земли, полыхнуть оглушительным взрывом.

По одной из бомб, второй снизу в правом ряду, полз муравей. Он спустился по ребру стабилизатора, пробежал по гладкой цилиндрической поверхности корпуса, миновал желтые буквы заводской маркировки и приблизился к закругленной головной части бомбы. Здесь уже копошилось несколько муравьев. Они суетливо бегали вокруг серой, похожей на паука машины. С тихим жужжанием, не громче исправной электрической бритвы, она вгрызалась в металл корпуса бомбы. Цепляясь за окрашенную поверхность восемью членистыми лапками, эта машина высверливала в металле круглое отверстие, приблизительно четверть дюйма в диаметре. Тонкие, как пыль, блестящие стружки разлетались во все стороны, оставляя на корпусе бомбы едва заметный серебристый налет.

По мере того как отверстие становилось глубже, пауко-

образная машина сгибала свои лапки, все больше и больше погружаясь в тело бомбы. Работа подвигалась медленно, и муравьи нервничали. В тот момент, когда наконец металл был просверлен насквозь, машина прекратила жужжание и повисла над чернотой отверстия. Муравьи один за другим быстро проникли внутрь корпуса. Они расползлись по стенкам головного обтекателя, перебрались на механизм взрывателя, быстро обследовали его и собрались в том месте, откуда удобнее всего можно было добраться до капсулы детонатора. После этого несколько муравьев вернулись к своей паукообразной машине, и она пришла в движение. Быстро и ловко перебирая лапками, «паук» подполз к тому месту, которое наметили муравьи на корпусе взрывателя, закрепился на нем и начал сверлить новый канал, открывающий доступ к детонатору.

Самолеты приближались к городу Парадайз-сити — столице штата Южная Миссиссиппи.

Было раннее утро. Люди еще спали, но воробьи уже проснулись. В этот час, пока еще не началось оживленное движение машин, они могли кормиться на тихих улицах. Закончили свою ночную работу пекарни. Автофургоны грузились горячим хлебом. На железнодорожной станции только что приняли большой товарный состав. На аэродроме готовились к вылету первые рейсовые самолеты. Последние полицейские машины, закончив ночное дежурство, разъезжались по своим участкам. На путях товарной станции два железнодорожника, молодые, статные негры, о чем-то спорили. Они говорили оба разом, быстро, зло и невнятно, потом оба одновременно засмеялись, похлопали друг друга по спине, достали сигареты и закурили. Вдали над горизонтом показались летевшие в строю самолеты. Их еще не было слышно, и только утреннее солнце блестело на серебряных крыльях.

Командир ведущего самолета подал команду приготовиться к перемене курса и, всем телом сливаясь с могучей машиной, предчувствуя каждым своим мускулом знакомое и приятное ощущение небольшой перегрузки, возникающей в момент поворота, вдавливающей тело в кресло, заставляющей сильнее напрягаться мускулы, безотчетно радуясь своей силе и могуществу, он уже готов был отклонить влево руль управления, когда все его мысли, чувства и желания разом оборвались. Он не успел ничего ни сделать, ни увидеть, ни услышать. Он не успел ничего почувствовать, потому что все началось и кончилось гораздо быстрее, чем нервные импульсы смогли дойти до коры головного мозга. Его такое удобное кресло, мгновенно смятое взрывом, сложилось надвое, стало

клубком изогнутых дюралевых трубок. В ничтожные доли секунды все то, что представляло собой самолет с его экипажем, приборами, двигателями, было превращено в клочья мяса, куски исковерканного металла, брызги горячей жидкости.

Железнодорожники увидели этот взрыв с расстояния приблизительно одиннадцати миль. Издали это было совсем не страшно. Где-то вдалеке, едва различимая в утреннем небе, серебристая стрелка внезапно превратилась в клубок оранжевого пламени и затем распалась на несколько дымных струй.

Следующий самолет взорвался немного ближе.

Затем, через несколько секунд, почти одновременно взорвались еще два самолета. Они были уже ясно видны, но железнодорожники все еще не слышали взрывов, так как самолеты летели быстрее звука. Только когда уже совсем близко разорвалась пятая машина, они услышали грохот взрывов и поняли, что эти казавшиеся далекими и безобидными вспышки желтого пламени в голубом небе могут угрожать их жизни. В инстинктивном страхе перед непонятным, не отдавая себе отчета в своих поступках, они скатились по насыпи и бросились ничком в канаву.

Следующий самолет упал в районе железнодорожной станции.

Последний разорвался над жилым кварталом окраины Парадайз-сити.

17

2 августа.

18 часов 56 минут.

Телевизионная студия довольно четко делилась на две половины — темную и светлую. В темной части стояли телекамеры, осветительная аппаратура, двигались люди — там шла какая-то работа. Светлая половина была пуста. Здесь не было ничего, кроме стола и трех стульев.

Нерста и Ширера провели в светлую половину.

— Пожалуйста, доктор Нерст, садитесь. Вот сюда, пожалуйста, прошу вас, доктор Ширер, садитесь слева от меня... — Телекомментатор компании «Эй-Би-Эс» мистер Купер был очень любезен. Даже слишком любезен. Такая приторная любезность была неприятна и настораживала.

Нерст занял предложенное ему место за большим гладким столом полированного дерева, на котором стоял белый телефонный аппарат. Нерст разложил листки со своими записями и осмотрелся. Прямо перед ним выстроились теле-

визионные камеры. Операторы неслышно передвигали их с одного места на другое, то поднимали, то опускали, выбирая нужные точки съемки. Лаконичными жестами операторы давали указания своим помощникам и так же беззвучно переругивались друг с другом на своем условном языке жестов.

Высокая худая девушка, ассистент режиссера, осматривала сцену опытным хозяйским взглядом, давала шепотом какие-то указания, о чем-то справлялась у стоявшей рядом с нею Линды Брукс и часто поглядывала на секундомер. Яркий свет был направлен на стол, за которым сидели Нерст, Гарри Купер и Ширер. Отсюда все остальное помещение казалось особенно темным, и в этом полумраке шла какая-то слаженная, очень четко организованная и совершенно бесшумная деятельность. Справа, чуть впереди телекамер, стоял передвижной пульт с телеэкраном.

— Напоминаю, джентльмены,— говорил Купер,— на этом экране вы будете видеть то изображение, которое идет в эфир. На включенной в данный момент телекамере загорается красная лампочка. Если вы захотите, чтобы ваше изображение на экране смотрело прямо в глаза зрителю, смотрите в объектив этой камеры.

Девушка-ассистент сделала шаг вперед и вытянула руку с поднятым пальцем.

— Осталась одна минута до начала передачи...

Доктор Нерст почувствовал себя подопытным кроликом на операционном столе. Сейчас он еще мог распоряжаться собой. Через минуту он окажется полностью во власти этих людей и тех миллионов зрителей в Соединенных Штатах и за границей, которые будут смотреть передачу.

Девушка согнула палец.

— Полминуты...

Гарри Купер ободряюще улыбнулся. Нерст подумал о том, как странно, что этот сладенький, заискивающий, насквозь фальшивый человек может пользоваться такой любовью и доверием публики.

Девушка сжала руку в кулак и сразу же резко выбросила ее вперед, уставившись указательным пальцем на Гарри Купера.

И в тот же момент он заговорил. Заговорил ясно, сильно, убедительно, с полным чувством собственного достоинства, без малейших следов того заигрывания с публикой, которое всегда идет от неуверенности оратора и так неприязненно воспринимается слушателями. Он превратился в совершенно иного человека. Он начал работать:

— Леди и джентльмены! Вы все, конечно, читали и слышали о тех трагических событиях, которые в последнее время

происходили в штате Южная Миссикота. Чудовищная катастрофа на восточной дороге, бегство жителей из Нью-Карфагена, гибель наших самолетов, наконец, последние сообщения о том, что серые муравьи замечены в атомных лабораториях Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института, в лабораториях, занятых исследованиями в области ядерной энергетики в Брукхевене, и в некоторых других атомных центрах. Все это не могло не вызвать среди населения нашей страны справедливой и обоснованной озабоченности. Раздаются возмущенные голоса людей, недоумевающих: как могло это случиться в нашей стране? Высказываются предположения о том, что муравьи в данном случае являются лишь предлогом, своего рода ширмой, за которой скрывается преступная деятельность враждебных организаций, стремящихся подорвать наш строй, нарушить наш американский образ жизни. Высказывается мнение, что нелепо приписывать муравьям такие исключительные способности, относить на их счет то, что на самом деле является результатом действий широко разветвленной подрывной организации...

Как только Гарри Купер начал говорить, Нерст почувствовал себя спокойнее и увереннее. Он взглянул на Ширера — тот, сдвинув очки на лоб, просматривал записи в своем блокноте.

Нерст посмотрел на экран монитора — там было крупное изображение одного Гарри Купера.

— ...Для того чтобы разобраться во всех этих сложных вопросах,— продолжал Купер,— мы пригласили сегодня в нашу студию известного энтомолога доктора Нерста и профессора физики доктора Ширера. В последнее время они занимались изучением всего, что связано с появлением серых муравьев...

Нерст все еще смотрел на экран монитора. Очевидно, камера, ведущая передачу, стала отъезжать, так как поле зрения раздвинулось, и он увидел на экране себя и Ширера... Он оторвал взгляд от монитора и растерянно взглянул на батарею телевизионных аппаратов, отыскивая среди них тот, на котором горел красный огонек. Линда встретила с ним взглядом и ободряюще кивнула. Ассистент, поняв его затруднение, жестом указала нужную камеру. Нерст взглянул в голубоватую линзу объектива и в знак приветствия едва заметно кивнул головой. Он впервые выступал по телевидению, и ему, привыкшему на лекциях непосредственно обращаться к живой аудитории студентов, было странно и непривычно искать контакта с этой бездушной стекляшкой, торчавшей в большом железном ящике.

— Доктор Нерст,— обратился к нему Гарри Купер,— не могли бы вы в общих чертах рассказать нам о ваших послед-

них работах по изучению серых муравьев? Что они собой представляют?

— Прежде всего я должен заметить, что наши работы еще далеко не закончены, собственно говоря, они только начаты, и если я позволяю себе выступить сегодня с публичным сообщением, то это вызвано исключительно желанием рассеять те нелепые слухи, которые успели широко распространиться. Я хотел бы внести некоторую минимальную ясность в проблему, с которой мы столкнулись. Дело в том, что впервые за всю историю своего развития человек — биологический вид, известный науке под латинским названием *гомо сапиенс*, то есть человек разумный, впервые встретился с живыми существами, с обществом живых существ, так же, как и он, обладающих разумом. Это новый биологический вид насекомых, муравьев, которому мы дали название *формика сапиенс*, то есть, по аналогии с человеком, муравей разумный. Высшая нервная деятельность этого вида насекомых принципиально, качественно отличается от всего, что нам было известно в мире животных. И различие здесь именно в способности этих муравьев думать, а не только действовать, повинаясь врожденному инстинкту, как бы сложен он ни был. Думать — это значит аналитически оценивать обстановку, предвидеть возможные последствия и сознательно принимать то или иное решение. Наши далекие предки стали людьми благодаря тому, что в силу ряда обстоятельств, вследствие генетических изменений наследственности и естественного отбора у них колоссально усложнился аппарат управления поведением — их мозг. Это привело к принципиальному качественному скачку в ходе эволюции. Человек обрел способность сам формировать программу своего поведения. Он стал трудиться.

Нечто подобное произошло в последние годы и с тем видом муравьев, которым мы занимаемся. Надо сказать, что нервная система муравья, его мозг, если можно так выразиться, несравненно примитивнее мозга человека. Биологическое развитие вида *формика сапиенс* пошло по принципиально другому пути. Не по пути развития и усложнения мозга отдельного индивида, а по пути развития связей между индивидами и создания таким путем коллективного мозга всего вида в целом... Здесь я должен коснуться понятия коммунибельности, то есть способности к общению между собой отдельных представителей вида. Хорошо известно, что ребенок, от рождения лишенный возможности общения с людьми, скажем, глухо-немо-слепой или искусственно изолированный от человеческого общества, будучи предоставлен самому себе, остается на крайне низком уровне умственного развития. Он не может выйти за пределы врожденных программ поведения. Вся наша культура, все то, что мы с гордостью называем ве-

личайшими достижениями человеческого разума, разума наших великих гениев, таких, как Франклин, Дарвин или Ньютон,— все это есть прежде всего результат коллективного разума, коллективного действия людей как биологического вида в целом. Вне общества, без общения с другими людьми их великие открытия не были бы сделаны.

У интересующего нас вида муравьев способность к общению друг с другом развита несравненно выше, чем у людей. И этим они восполняют примитивность организации каждого отдельного индивида. Как показали наши исследования, эти муравьи обладают почти неограниченной коммуникабельностью, возможностью передачи информации. Есть основания полагать, что они, весь коллектив, весь вид в целом, представляют собой как бы единый мозг. Все они связаны между собой общей системой передачи информации. Это позволяет им осознавать себя как единый организм, хотя бы и расчлененный на отдельные особи. Муравьи вида *формика сапиенс* все одновременно знают, что делает каждый из них. Если больно одному — больно всем. Если один из них нашел что-то заслуживающее внимания — об этом знают все. Такая универсальная связь позволяет им действовать с идеальной согласованностью. Развитие коммуникабельности восполнило несовершенство мозгового аппарата каждого насекомого в отдельности и сделало возможным развитие коллективного сознания, способности к разумной деятельности всего ансамбля как единого целого... Не слишком ли долго я задержал внимание наших зрителей, мистер Купер?

— Нет, нет, доктор Нерст, все, что вы рассказали, очень интересно и, в общем, я надеюсь, понятно... но... это весьма неожиданно. Трудно представить себе, что такое может существовать.

— Почему нет? В сущности, это доведенная до крайности модель нашего общества. То, к чему мы стремимся, развивая и совершенствуя наши средства связи, наши технические средства общения и воздействия на мысли. Например, сейчас мы с вами объединены в такую систему, но, в отличие от муравьев, эта система односторонняя. Нас видят, но мы не видим наших зрителей. У муравьев подобная система дополнена обратной связью от индивида к целому. И это очень важно. Это позволяет им обеспечить единство мыслей, полное подчинение индивида обществу. Может быть, не отдавая себе отчета, люди, как общественные животные, всегда стремились к этому, но нередко случалось обратное: что общество подчинялось воле отдельного индивида, который, используя ту или иную технику связи, старался осуществить контроль над мыслями. Тому есть немало исторических примеров. На этих же принципах основана наша массовая реклама или армейская

дисциплина. Представьте себе, что стало бы с нами, если бы мы лишились всякой возможности общения друг с другом. Люди очень скоро превратились бы в орду дикарей, нет, не в орду — она тоже основана на связи. Мы стали бы массой разрозненных индивидов, где каждый учитывает только свои личные интересы, — массой, обреченной на быстрое вымирание...

Гарри Купер корректно и сдержанно слушал Нерста, давая своим видом понять, что он пока не опровергает его высказывания, но и не соглашается с ним полностью. Он просто давал ему возможность высказать свою точку зрения, резервируя за собой право ответить. Хорошо владея своей профессией, он все время умело поддерживал специфически телевизионный контакт с аудиторией. В нужный момент его изображение на миллионах телеэкранов как бы встречалось взглядом со зрителем, молчаливо призывая его на свою сторону.

— Я сейчас подумал, — сказал он, — как хорошо, что мы, люди, владеем таким замечательным средством общения, как телевидение. Ваши слова, доктор Нерст, заставили меня поновому оценить это замечательное создание нашей техники. Скажите, пожалуйста, доктор, а вам удалось выяснить, каким именно способом ваши муравьи осуществляют между собой ту универсальную связь, о которой вы рассказали? Что же, у них есть какой-то язык? Или как вообще они объясняются друг с другом?

— Это чрезвычайно сложный вопрос, который сейчас еще полностью не разрешен. Поставленные нами опыты говорят за то, что у муравьев нет языка в нашем понимании. К ним неприменим сам этот термин — язык, слова... Дело в том, что у них нет органов слуха и речи. Видимо, они обладают способностью непосредственно воспринимать биотоки мозга, но об этом лучше расскажет мой коллега доктор Ширер.

Купер повернулся налево.

Ширер, казалось, был целиком поглощен изучением своих записей. Он сидел, уткнувшись в бумаги, не обращая никакого внимания на то, что происходило в студии. Такое пренебрежение к смотревшим на него зрителям невольно вызывало в них чувство некоторой антипатии. Сейчас, оторвавшись от своих записей, он растерянно взглянул вокруг, отыскивая перед собою невидимую аудиторию.

— К сожалению, та аппаратура, которой мы располагали на первом этапе работы, не позволила провести исследования с необходимой полнотой и точностью. Поэтому я вынужден ограничиться лишь замечаниями самого общего характера.

Сейчас можно сказать, что нервная система муравья является излучателем очень слабых электромагнитных колебаний и эти колебания могут непосредственно восприниматься

другими особями и дешифроваться, то есть переводиться снова в исходные представления. Короче говоря, муравьи передают друг другу не слова, как это мы делаем по радио, и не изображения, как в телевидении, а непосредственно те ощущения, те зрительные, вкусовые или осязательные образы, которые возникают в мозгу передатчика. Интересно отметить, что при благоприятных условиях передаваемые муравьями образы могут восприниматься людьми. Мы добились некоторых результатов, используя специальное собранное устройство и фокусирующие электроды, закрепленные на черепе человека. С другой стороны, можно с уверенностью утверждать, что обратный процесс восприятия муравьями тех образов, представлений или даже мыслей, которые возникают в мозгу человека, осуществляется значительно легче. Иными словами — муравьи могут понимать то, что мы думаем.

— Если я вас правильно понял, доктор Ширер, вы хотите сказать, что муравьи знают все наши мысли?

— Да, именно это. Конечно, не все мысли всех людей без исключения, но все то, что их в данный момент интересует.

— Возможно ли это, доктор Нерст?

— Да, безусловно. Это проверено на многих опытах. Более того, при благоприятных условиях, зависящих, в основном, от индивидуальной психической конституции, возможна прямая передача мыслей, или, пожалуй, правильнее — желаний от муравьев к человеку и без посредства тех приборов, которыми мы пользовались. Это должно восприниматься нами как своего рода внушение или галлюцинация. Этому должны быть подвержены люди с неустойчивой психикой и слабой волей.

— Тогда...— впервые в тоне Гарри Купера прозвучала нотка смущения и неуверенности,— тогда можно допустить, что и сейчас эти муравьи слушают и понимают нашу беседу?

— Я в этом не сомневаюсь. Очень возможно, что они присутствуют сейчас в этой студии или в домах зрителей и следят за нашей дискуссией.

— Но... неужели нельзя как-то оградить себя от их вмешательства в нашу жизнь, в наши мысли?

— А как? Попробуйте обнаружить муравья в этой комнате. Он может скрываться где угодно, в щелях пола, в складках занавеси, в этом столе... под воротником вашего пиджака... где угодно...

Гарри Купер нервно поежился и поправил свой воротничок, словно бы почувствовав на себе насекомое.

Миллионы людей на территории Соединенных Штатов испытали в этот момент такое же ощущение и повторили сделанный им произвольный жест. Поправили воротнички сенатор Морли и старый полковник Григ, поежилась Мэрд-

жори, отряхнулись миссис Бидл, и Дженни Фипс, и Ганнибал Фишер, и все миллионы людей, смотревших программу.

— Ну что же,— продолжал Купер,— вначале мы говорили, что они сумели создать своеобразную техническую культуру. Удалось ли вам исследовать какие-нибудь произведения муравьиной техники?

— Да, я имел возможность довольно подробно изучить некоторые механизмы, созданные муравьями. Они чрезвычайно интересны с технической точки зрения и дают возможность судить о путях развития муравьиной культуры. Прежде всего следует отметить огромное значение в их творчестве того, что мы теперь понимаем под словом «бионика», то есть использование в технических конструкциях принципов и схем, существующих в природе. Вообще, по-видимому, муравьиная техника развивалась совсем иным путем, чем наша. Мы начали с каменного топора и постепенно, за десятки тысячелетий, дошли до атомной энергии, кибернетики, молектроники и тому подобного. Они с этого начали. Они зажгли свечку с другого конца. Они не изобретали колеса и не пользовались огнем. У них не было паровой машины и водяной мельницы. Им это было не нужно. В их масштабах такая энергетика оказалась бы крайне неэффективной. Они начали сразу с использования атомной энергии. Они не пользуются горячей обработкой металлов — это понятно, потому что перед ними никогда не стояла задача добыwania металла из руды: они имели его в неограниченном количестве на наших автомобильных свалках. Это избавило их от огромного труда. С самого начала освоив атомную энергию, они тем самым полностью решили для себя проблему энергетики и могли сосредоточиться на развитии техники. Например, они сумели создать крайне миниатюрные лазеры, действие которых мы испытали на себе.

— Считаете ли вы, что их технический опыт, их изобретения, если можно так выразиться, могут представить какой-то интерес для нашей промышленности?

— Да, но с некоторыми оговорками. Так же, как и другие конструкции, созданные природой. Но я не думаю, чтобы мы могли буквально повторять их «изобретения», как вы говорите. Здесь все дело в масштабах. То, что оказывается целесообразным и эффективным для муравьев, может быть совершенно неприменимым в увеличенном виде. Здесь нельзя подходить механистически.

— Вы говорили, доктор Ширер, о том, что они, эти муравьи, научились пользоваться атомной энергией в производственных целях. Можно ли предположить, что их техника дошла до создания... атомного оружия?

— В принципе в этом нет ничего невозможного. Весьма

вероятно, что именно этим и вызвано их появление в наших атомных лабораториях, о чем вы говорили в начале вашего выступления. Конечно, они не могли и никогда не смогут создать атомную бомбу, подобную тем, которые были сброшены на Японию. Здесь опять-таки дело в масштабах. Те бомбы основаны на явлении так называемой критической массы и могут быть реализованы лишь в определенных, достаточно больших размерах. Но отнюдь не исключена возможность иных технических решений, скажем, применения далеких трансурановых элементов, для которых критическая масса может оказаться вполне доступных для них размеров, и тогда станет возможным создание маленькой «муравьиной» атомной бомбы. Но не нужно думать, что оттого, что она будет маленькой, она будет менее опасной. Много таких мини-бомб смогут принести вред не меньший, чем одна большая.

— Благодарю вас, доктор Ширер. Теперь я хотел бы задать несколько вопросов вашему коллеге. Скажите, пожалуйста, доктор Нерст, как вы оцениваете возможность установления какой-то связи, какого-то взаимопонимания между людьми и муравьями?

Нерст смотрел на свое изображение на экране монитора и думал о том, сколько людей, чужих и близких, следят сейчас за выражением его лица, за каждым его жестом. Вероятно, и Мэрджори сидит у телевизора где-то в Майами, за тысячи миль отсюда, и пытается понять его слова только потому, что сейчас это делают все.

— Прежде всего,— сказал Нерст,— я хотел бы возразить доктору Ширеру по поводу его предположений, что появление разумных муравьев в наших атомных лабораториях вызвано их намерением создать атомную бомбу. Такое предположение совершенно необоснованно. Как известно, все эти лаборатории заняты чисто научной деятельностью, не связанной с ядерным оружием.

Теперь что касается вашего вопроса, мистер Купер,— относительно установления взаимопонимания. Я думаю, что в будущем это окажется возможным. Здесь нужно учитывать целый ряд специфических особенностей, обусловленных биологией вида формика сапиенс. Как я уже говорил, они общаются путем прямой передачи мыслей, чувственных образов. Поэтому у них принципиально невозможен обман, ложь, умолчание, сознательная дезинформация. Все эти понятия, играющие такую большую роль в общении между людьми, совершенно отсутствуют в обществе муравьев. Поэтому у них нет и не может быть искусства, литературы, музыки или живописи. Это им чуждо. Их мышление предельно рационалистично. У них принципиально иная житейская логика, иные интересы, иное отношение к жизни. Они не знают многого

из того, что для людей является крайне важным и часто определяет наше поведение. Муравьи не знают любви. Во всяком случае, любви в нашем понимании. Подавляющее большинство муравьев — так называемые «рабочие» или «солдаты» — бесполо. В каждом муравейнике имеется только одна женская особь — матка и небольшое число мужских особей — трутней, которые часто погибают или изгоняются из муравейника после выполнения функции оплодотворения. У муравьев нет семьи. Нет экономики, потому что у них нет денег — они им никогда не были нужны. У них принципиально не может быть правонарушения, и потому у них нет закона и аппарата принуждения, следящего за его выполнением. Абсолютная коммуникабельность, абсолютная связь единого мозга делает это просто излишним. Они весьма ограничены в своих желаниях и потребностях: они хотят только есть, работать и удовлетворять свое любопытство, свое стремление к созиданию и познанию природы — это заложено в их наследственной программе поведения. Им не нужны развлечения, им чужды страсть, споры, противоречия, эксплуатация друг друга, стремление к обогащению — все то, что наполняет жизнь многих из нас. Что же касается маток и трутней, то они еще примитивнее в своих желаниях. Они не работают и не любопытны. Они практически лишены интеллекта и являются лишь носителями наследственности.

— Удивительно унылое общество! — заметил Купер.

— С нашей точки зрения — да. Но в некотором смысле, как биологический вид, они лучше приспособлены к борьбе за существование, чем мы — люди.

— В чем вы это видите? — возразил Купер. — В их технике?

— Отнюдь нет. Разум и вытекающую отсюда способность к созидательной деятельности я принимаю как данное, как отправной пункт наших рассуждений. Их преимущество как биологического вида состоит прежде всего в том, что у них интересы отдельной особи всегда стоят на втором плане по сравнению с интересами общества, всего вида в целом. Тогда как у нас, в Америке, мы привыкли думать только о себе. Мы страна эгоистов, и в этом наша слабость. С биологической точки зрения.

Как видите, различия между нашим обществом и муравьями весьма глубоки. Слишком глубоки для того, чтобы могло быть достигнуто полное взаимопонимание. Мы слишком разные. Причем нам, людям, легче понять их, потому что, при всех наших недостатках, мы все же организованы неизмеримо сложнее и совершеннее их. И даже главное преимущество муравьев вида *формика сапиенс* — их единый мозг и вытекающая отсюда идеальная согласованность действий — легко

может быть достигнуто нами при современных средствах коммуникации, но для этого необходимо сознательное подчинение всех наших усилий общей цели.

— Таким образом, если я вас правильно понял, вы не считаете реальным, если можно так выразиться, мирное сосуществование с муравьями?

— Нет, почему же. Я убежден, что те трагические события, которые имели место, произошли скорее по нашей вине. Муравьи нигде не нападали на людей первыми, они только оборонялись. Они просто хотят жить, и я не вижу причин, почему мы должны уничтожать разумные существа только потому, что они думают и живут иначе, чем мы. В конце концов, их потребности крайне ограничены и совершенно ничтожны по сравнению с нашими. Уничтожение муравьев должно стоить много дороже того, что они могут съесть за тысячу лет.

— Если они не будут размножаться.

— Вы правы. Если они не будут размножаться. Их способность в этом отношении такова, что они могут за год удвоить и даже удесятерить свою численность. Это и произошло, очевидно, в последние годы. Но дело в том, что если они обладают разумом, то они неизбежно должны ограничить свою плодовитость в таких пределах, которая позволит поддерживать биологическое равновесие между видами формика сапиенс и гомо сапиенс.

— А если нет?

— Тогда их нельзя считать разумными, и все этические проблемы отпадают.

— Значит, вы, доктор Нерст, все же за сотрудничество, за то, чтобы предоставить вашим муравьям возможность свободного развития?

— Да.

— А что вы думаете, доктор Ширер?

— В этом вопросе я не могу согласиться с моим другом доктором Нерстом. Я полагаю, что муравьи должны быть уничтожены.

Ширер сказал это подчеркнуто резко. Нерст удивленно поднял брови. Он не ожидал, что Ширер так легко пренебрежет его просьбой и своим обещанием не настаивать на уничтожении муравьев.

— В наше время на нас, на ученых,— продолжал Ширер,— лежит гораздо большая ответственность за наши поступки и высказывания, чем это было раньше, в прошлом столетии. Тогда научное открытие, каким бы значительным оно ни было, оказывало сравнительно малое влияние на судьбы человечества. Роберт Майер открыл закон сохранения энергии — один из кардинальных законов природы, и что же?

Кто знает его имя? Какое влияние это оказало на судьбы миллионов людей? Да почти никакого. Когда же Эйнштейн обобщил этот закон и дал формулу эквивалентности массы и энергии, это привело к созданию атомной бомбы, а это уже близко касается каждого из нас. Целое поколение нашей молодежи воспитано в страхе перед угрозой атомной войны. Ученые оказались в положении рыбака, выпустившего джинна из бутылки и не знающего теперь, как с ним справиться. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Я понимаю доктора Нерста, его интерес биолога к новой научной проблеме, но я уверен: не следует выпускать нового джинна из бутылки. Мы не можем сейчас предвидеть всех последствий, всего, что может вызвать появление на нашей маленькой планете новой разумной силы. Мы люди и должны прежде всего заботиться о себе. Мы должны действовать в интересах сохранения и развития своего вида, а не разумной жизни вообще. До таких высот альтруизма я не способен подняться. Я эгоист и буду отстаивать необходимость их уничтожения.

Доктор Нерст разволновался, и это было заметно зрителям.

— Но вы не можете отрицать,— возразил он,— что, если нам удастся установить деловой контакт с муравьями, это может принести большую пользу хотя бы в деле создания миниатюрных приборов, таких, какие мы никогда не сможем изготовить сами? Пример тому — события в Калифорнийском университете. Кроме того, если подходить к этому вопросу с позиций биологии, то следует признать, что подобно тому, как внутривидовая взаимопомощь способствует развитию вида, так же точно и взаимопомощь между различными цивилизациями способствует развитию Разума в самом широком смысле этого слова...

— А знаете, сенатор, мне нравится этот парень,— сказал старый полковник Григ.

— Который? В черном?

— Нет, другой, высокий, в сером. Биолог. В нем есть какая-то детская непосредственность. Наивность. Он так любит своих муравьев, что это вызывает симпатию. Хочется ему верить.

— Я купил другого. Ширера. Он теперь работает на нас.

— Толковый?

— Да, свое дело знает. Разобрался в конструкции их ла-зеров. Мы начинаем работы в этом направлении. Понимаете, полковник, эта история с самолетами наделала слишком много шума. Нельзя, чтобы такое повторилось.

Григ согласно кивнул и отпил из своего стакана.

— Но на биржу это оказало очень хорошее влияние. «Юнион кемикл» поднялись на три с половиной. Мы переводим еще два завода целиком на производство «формикофоба». Сегодняшняя передача тоже сделает свое дело.

— Конечно. Пока все идет хорошо.

— Еще как хорошо! Вы представляете, что будет твориться завтра по всей Америке? Мы и сейчас едва успеваем удовлетворять спрос. Понимаете ли, такой серьезный научный разговор лучше любой рекламы. Он должен очень сильно подействовать на воображение зрителей...

На экране телевизора доктор Нерст продолжал говорить, приводил новые доводы в защиту муравьев, но сенатор и полковник его уже не слушали.

— Так вы думаете, Морли, их нужно уничтожить?

— Я думаю, да, полковник. Дело зашло слишком далеко. Они в самом деле могут представлять некоторую опасность. Мы вынуждены считаться с общественным мнением. Скоро выборы.

— Какими же средствами вы предполагаете это осуществить?

— Наша комиссия еще не пришла к окончательным выводам. Конечно, вы понимаете: вся эта история с бомбардировкой носила скорее демонстративный характер, мы с вами об этом говорили. С самого начала было ясно, что нельзя уничтожить таким способом всех насекомых на довольно большой площади, — бомбежка могла подействовать не столько на муравьев, сколько на воображение потенциальных покупателей. Но я не ожидал, что им удастся подорвать наши самолеты в воздухе...

— Об этом не стоит говорить, сенатор, это дело прошлое. Что вы собираетесь делать теперь?

— Мы склоняемся к тому, что наиболее эффективным в этих условиях был бы ядерный взрыв.

— Но его нужно производить в атмосфере?

— Да, но этот вопрос, я думаю, нам удалось бы уладить. У меня есть одна идея. Мы действительно имеем здесь дело с исключительными обстоятельствами, на которые можно сослаться. С другой стороны, Пентагону может понадобиться повод для того, чтобы испытать наши новые боеголовки. В этом заинтересован Комитет начальников штабов. Это удобный предлог.

Григ довольно долго молчал, рассеянно глядя на экран телевизора.

— Вас беспокоит формальная сторона этого дела?— спросил сенатор.

— Нет. Я думаю о том, как это отразится на деловой конъюнктуре. В известном смысле, уничтожение муравьев нам не выгодно. Но нельзя забывать, что наши настоящие враги вовсе не муравьи, а люди, живущие за океаном, и с этой точки зрения испытание новых боеголовок может оказаться для нас важнее. Он правильно говорит, этот муравьиный доктор: иногда нужно идти на жертвы ради общего дела. Теряя некоторую часть прибылей, мы укрепляем нашу систему в целом...

Серые муравьи, контролирующие беседу сенатора Морли и полковника Грига, скрывались на обратной стороне крышки низенького столика, на котором стояли стаканы, бутылки и хрустальная посуда с кубиками тающего льда.

— А что думает по этому поводу ваш маленький профессор?— спросил Григ.

— Шире? Он считает такое решение вопроса наиболее рациональным. У него есть вполне конкретные предложения. Видите ли, здесь необходимо соблюсти строгую секретность. Я имею в виду секретность по отношению к муравьям. Нельзя допустить, чтобы повторилось то же, что с этими злосчастными бомбардировщиками. Необходимо полностью исключить малейшую возможность контакта муравьев с оружием. Он предлагает произвести запуск баллистической ракеты с подводной лодки, которая уже давно находится в плавании и где заведомо нет муравьев. А конкретную лодку выбрать по жребью в самый последний момент.

— Ну что же, в этом есть здравый смысл... Еще виски?

— Нет, спасибо... Впрочем, налейте. Довольно. А что касается конъюнктуры, я не думаю, что это существенно повлияет на спрос. Страх перед насекомыми еще долго будет владеть обществом, а потом это войдет в привычку... Знаете, полковник, мне только что пришла в голову интересная мысль: что, если нам оставить нескольких муравьев, настоящих или... мифических? Для поддержания рынка будет достаточно двух-трех сообщений в год о несчастных случаях. Это всегда можно организовать. Впрочем, газеты и сами позаботятся об этом, без нашей помощи. Теперь все будут сваливать на муравьев.

— Я об этом уже давно подумал,— сказал Григ.— По этому вопросу я прошу вас связаться с моим новым сотрудником мистером Фишером. Он теперь заведует отделом рекламы «Юнион кемикл». Он хорошо разбирается во всем, что касается муравьев.

...На экране говорил Гарри Купер:

— ...так вы предполагаете, доктор Нерст, что окажется возможным как-то приручить муравьев, превратить их в своего рода рабочих на специальных предприятиях? Это интересная мысль...

— Я не предreshаю сейчас конкретных форм возможного сотрудничества, об этом еще рано говорить...

— Я с вами согласен,— вмешался Ширер,— конечно, при известных условиях муравьи могли бы оказаться полезными в некоторых областях приборостроения, в военной промышленности, но неизвестно, захотят ли они с нами сотрудничать? С другой стороны, учитывая их плодовитость и бесспорные технические возможности, они очень легко могут выйти из повиновения...

— Не кажется ли вам, доктор Ширер, что вы мыслите колониалистскими категориями прошлого века?

— Но ведь они не люди!

— Но они разумны!

— И все же, взвешивая все «за» и «против», я прихожу к выводу — их нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше.

— Не думайте, что это так просто. Мы с вами уже разбирали этот вопрос. Мы до сих пор не смогли уничтожить малярийных комаров на нашей планете.

— Ну, я думаю, у нас найдутся средства для этого. Просто нужно правильно взяться за дело, пока не поздно, пока джинн только еще высунул голову из бутылки...

Ширер замолчал. Телевизионная девушка подняла руку и показала пять пальцев. Гарри Купер обратился к Нерсту:

— Доктор Нерст, наша передача подходит к концу, у нас осталось несколько минут. Я хотел бы задать вам последний вопрос: чем вы объясняете такое внезапное развитие этих серых муравьев, почему мы ничего не знали о них раньше? Почему они достигли такого высокого уровня развития именно сейчас, а не сто и не тысячу лет назад? Быть может, они были случайно или намеренно занесены в нашу страну с другой планеты или... с другого континента?

— Я не могу вам ответить с полной достоверностью — для этого нужно проследить всю историю их развития, но я могу высказать предположение, как я надеюсь, весьма близкое к истине. Нелепо думать, что эти муравьи занесены к нам откуда-либо извне, тем более с другой планеты. Оставим эту версию романистам. Исследование их анатомического строения показывает, что они весьма близки к широко распространенным и всем хорошо известным обычным лесным муравьям. Они отличаются от них примерно так же, как мы отличаемся от шимпанзе. Причина их быстрого эволюционного развития кроется в резком и внезапном изменении генетического кода,

в изменении наследственных признаков. Это могло произойти в результате радиоактивного облучения. Наукой изучено огромное число подобных примеров. Чаще всего изменение наследственности бывает неблагоприятным: такие особи быстро погибают. Но случайно возникают и такие изменения, которые способствуют развитию нового подвида. Таких примеров много. Как известно, центр размножения муравьев находится вблизи очага повышенной радиации. Судя по тому, что раньше в этой местности не наблюдались подобные явления, можно предполагать, что этот очаг радиации случайно возник вследствие проводившихся в нашей стране атомных испытаний. Таким образом, если кто-нибудь и виноват в появлении серых муравьев, то это только мы сами.

18

Через несколько дней.

Оливер Бонди потратил довольно много времени на то, чтобы выбраться из Нью-Йорка, и теперь, выехав на магистральное шоссе, испытывал то удовлетворение, которое неизменно испытывают все водители после городской суеты, видя перед собой широкую, ровную, серую ленту дороги, плавно взлетающую на холмы, спускающуюся в низины и так точно спланированную на поворотах, что машина проходит их, почти не снижая скорости, а потом снова легко ложится на прямой участок, и дорога с мягким шелестом стремительно расстилается под колесами.

Оливер Бонди включил приемник. Передавали что-то о муравьях. Диктор излагал основные сведения по морфологии насекомых вообще и муравьев в частности. Бонди переключил программу. На этот раз передавали джазовую музыку, и кто-то кричал, что он не хочет ничего слышать о муравьях, они страшны только тем, кто не пользуется «формикофобом». Бонди выключил приемник совсем.

Проехав миль пятьдесят, он начал присматриваться к местности вдоль шоссе. У Хоторна он свернул влево и пересек водохранилище. За Йорктауном, где все чаще стали попадаться лесные участки, он снизил скорость и свернул вправо. Он сделал еще несколько поворотов и наконец остановил машину на тихой лесной дороге.

Он заглушил двигатель, достал из-под сиденья пустую стеклянную банку от яблочного компота, нейлоновый чулок и детский игрушечный совок и направился в лес.

Он довольно долго бродил между сосен, прежде чем ему попался первый муравейник. Бонди осторожно обошел его кругом, приглядываясь к муравьям, потом присел на кор-

точки и стал наблюдать за тем, как они суетливо копошатся на его округлой поверхности, сложенной из сосновых игл.

Муравьи были заняты своим несложным делом и не обращали на него никакого внимания. От муравейника в разные стороны тянулись узенькие тропинки — дороги, проложенные муравьями в джунглях зеленых трав.

На одной тропинке вяло шевелился червяк. Муравьи облепили его со всех сторон. Он был слишком тяжел для того, чтобы они могли затащить его в муравейник, и они ели его здесь, на дороге.

Бонди довольно долго и с интересом наблюдал за тем, как муравьи разделяются с червяком. Он смотрел и думал: «Всюду одно и то же... Муравьи едят червяка, а черви едят нас, людей, после того как мы умираем. И мы едим друг друга, когда это удастся делать безнаказанно. Всюду одно и то же...»

Непривычная тишина и знойный запах соснового леса настроили мысли Бонди на философический лад: «Конечно, — думал он, — какому-нибудь доктору Нерсту я могу казаться таким же ничтожным червяком, он может даже меня не заметить, войдя в комнату, и все же я сильнее его. Придет мое время, и я съем его, Нерста, вместе со всеми его муравьями...»

Червяк извивался, не имея силы сопротивляться муравьям.

Бонди сорвал сухой стебелек травы и подцепил им одного муравья. Он подождал, пока муравей дополз до конца травинки, и только что хотел его раздавить, но муравей свернулся в крошечный комочек, сорвался со стебелька и исчез в траве.

Бонди достал сигареты и закурил. Он пустил струю дыма на муравейник. Насекомым это не понравилось — они быстрее забегали, но потом, когда дым рассеялся, успокоились.

Тогда Оливер Бонди воткнул сигарету в купол муравейника. Сигарета задымила и погасла. Муравьев это очень беспокоило. Весь купол пришел в движение. Муравьи суетились и, казалось, без всякого смысла перекладывали с места на место сухие веточки и хвойные иглы, но уже через несколько минут стало заметно, что поврежденное место снова приобретает первоначальную форму. Тогда Бонди, изловчившись, зачерпнул совком горсть хвойных игл вместе с муравьями и сыпал их в банку. Муравьи сразу начали расползаться. Он накрыл банку чулком и зачерпнул еще горсть, стараясь захватить побольше муравьев и меньше игл. Он повторил эту операцию несколько раз, пока банка не наполнилась. После этого он аккуратно завязал ее сверху чулком и направился к машине.

Ставя банку рядом с собой на сиденье, он посмотрел, как

себя чувствуют муравьи. Повинуясь инстинкту, они пытались навести порядок в своем новом жилище. Бонди встряхнул банку и понюхал ее. Она пахла прелым листом и дешевыми духами. «Это от чулка»,— подумал Бонди.

19

11 августа.

10 часов 10 минут.

Каждая страна, каждый город обладают своим, неповторимым, только им одним присущим запахом. Этот характерный запах страны охватывает вас в тот первый момент, когда вы спускаетесь по трапу самолета на всюду одинаковые бетонные плиты аэродрома, и потом уже не покидает вас во все время пребывания в этой стране.

Гавайи пахнут цветами, Бангкок — парной баней, Нью-Йорк — бензиновым перегаром, Исландия — морем, а Россия — полевыми травами. Англия пахнет каменноугольным дымом. За последние полтора года в этой стране сожгли такое количество угля, что его дымным, терпким запахом пропиталось все — одежда, мебель, шторы на окнах, дома, земля, деревья,— все. К нему не скоро привыкнешь, к этому запаху. Первое время он постоянно напоминает о том, что это другая страна, с другими обычаями, с другим ритмом жизни.

Выйдя из самолета, Нерст испытал приятное чувство успокоенности и благополучия, возврата к нормальному образу жизни. Все то, что его волновало в последние месяцы, вся трудная, напряженная работа, которую ему пришлось проделывать, осталось далеко позади, за тысячи миль, за несколько часов ночного полета над Атлантикой.

Проезжая в старомодном такси по узким улицам Лондона и потом, по дороге в Оксфорд, он думал о своем предстоящем докладе, о встрече с коллегами, собравшимися сюда со всех концов земли, о тех спорах и дискуссиях, которые неизбежно должны возникнуть в связи с его сообщением. Он радовался возможности вернуться в атмосферу чистой науки, где люди откровенно высказывают свои мысли, правильные или ошибочные, но по большей части искренние, свободные от конъюнктурных соображений, личной выгоды или сложных закулисных интриг. Здесь, в Англии, тревожные события последних дней как бы отодвигались в прошлое, позволяли взглянуть на себя со стороны, спокойно и объективно. Здесь никто не боялся муравьев. Никто о них просто не думал.

Нерст уже бывал раньше в Оксфорде, но сейчас он с новым интересом смотрел на улицы этого старинного города, та-

кого старого, что здесь называют здание, построенное в тринадцатом веке, всего лишь «Новым колледжем».

Машина проехала по шумной и оживленной Хай-стрит, мимо знаменитой библиотеки Радклифа, потом по тихим тенистым улочкам, таким уютно-старомодным, что, казалось, автомобили избегают на них показываться, стесняясь своей новизны.

Наконец машина остановилась у ворот колледжа, где размещался Международный конгресс биологов.

Это было действительно новое здание, построенное только двести лет назад. Нерст отнес чемодан в отведенную ему комнату в студенческом общежитии и спустился во внутренний дворик.

Было воскресенье, и в университетской церкви играл орган.

Удивительная музыка Баха, гениальная своей простотой и глубочайшей эмоциональностью, наполняла все пространство двора. Густой, почти физически ощутимой массой она переливалась над зеленым квадратом газона, мягко касалась красных кирпичных стен, обтекала ажурные выступы башен. Упругие кольца музыки свивались в гигантские космические клубы и уносились вверх, в ясное, безоблачное небо, где невидимый самолет чертил прямую, белую, нематериальную линию.

Нерст долго стоял неподвижно, вглядываясь в черную темноту раскрытых готических окон, откуда вытекала музыка.

Потом орган замолк, и пространство стало пустым.

Нерст услышал шорох листьев у своих ног. Смешно припадая на широко расставленные лапки, распушив хвост, к нему прыгала рыжая белка. Она остановилась и посмотрела, ожидая подарка. «Что ты, милая,—сказал Нерст,—у меня сейчас ничего нет. Как-нибудь в другой раз...» Белка поняла и запрыгала дальше.

Нерст прошел на лужайку, отыскивая взглядом знакомых среди собравшихся здесь людей. На зеленом газоне сквера стояли, сидели, прохаживались делегаты конгресса. Это было место встреч, бесед и неофициальных контактов. Пробежал, размахивая бумагами, маленький энергичный профессор из Вены, прославившийся своими околобиологическими работами. Нерст не любил людей такого сорта, слишком деятельных для того, чтобы стать настоящими учеными. Они всегда на виду и всегда занимают почетные места в президиумах, но после их смерти не остается ничего.

Нерсту хотелось встретить одного своего знакомого из Утрехта, но он его не находил. Он увидел американского коллегу из Колумбийского университета, скучного, прямого, сухого и занозистого, как неструганая доска. Он встретил ком-

панию слишком оживленных и не в меру болтливых итальянцев, скромного и застенчивого энтомолога из Праги и двух самодовольных немцев из Геттингена. Нерст раскланивался со знакомыми, обменивался пустыми, незначащими словами и спешил перейти к другой группе, избегая серьезного разговора. Он боялся неизбежных вопросов о последних событиях в Америке — вопросов, которые могли нарушить то состояние душевного равновесия, в котором он находился. Инстинктивно ему не хотелось вступать в такие разговоры сегодня, накануне его доклада, и тем растрачивать накопленные мысли и впечатления. Так певцы избегают петь перед маленькой аудиторией и писатели стараются не говорить о незаконченных произведениях, сберегая свой эмоциональный заряд для основной работы. Нерст вспомнил, что он не видел сегодня утренних газет и не знает, чем кончилось вчера обсуждение в Международной организации вопроса о применении против муравьев атомного оружия. Он направился к выходу на улицу, чтобы купить газеты.

— Доктор Нерст, — окликнул его кто-то по-английски, — как поживаете?

Нерст обернулся.

К нему подходил знакомый профессор из Берлинского университета. Вместе с ним был человек неопределенного возраста в темном костюме. Он как-то странно держал голову немного набок и пристально смотрел на Нерста. У него были очень светлые, чисто-голубые глаза.

Немец представил его:

— Профессор Московского университета, доктор... — Он назвал такую длинную и трудяпроизносимую фамилию, что Нерст даже не сделал попытки ее запомнить. — Профессор интересуется вашей работой о муравьях...

— Очень приятно, — сказал Нерст и протянул руку.

Русский пожал неожиданно сильно. Нерст не привык к таким энергичным рукопожатиям.

— Я читал запись выступления вашего по телевидению, — сказал русский. Он говорил медленно, на довольно сносном английском языке, но слишком книжном, для того чтобы его можно было легко понимать. — Меня заинтересовали некоторые мысли, вами высказанные в этой беседе. Я хочу задать несколько вопросов относительно этого.

В тоне, каким он говорил, в его манере держаться сквозила такая убежденность в своем праве задавать вопросы и получать на них ответы, что Нерст даже не пытался уклониться от разговора. Немец отклонялся, и они остались вдвоем.

— Я плохо говорю по-английски, — продолжал русский. — Знаете ли вы немецкий или французский языки? Мне было бы легче говорить по-немецки.

— Я провел два семестра в Геттингене,— ответил Нерст по-немецки.

Русский оживился. Он сразу почувствовал себя свободнее, перейдя на язык, которым хорошо владел. Он говорил быстро, легко, не подыскивая слов, употребляя чисто берлинские словечки и обороты.

— Меня совершенно не занимают детали ваших опытов и методика наблюдений. Я полагаю, что все было сделано на достаточно высоком уровне и эксперимент ставился строго. Я принимаю ваши результаты, но хотел бы сделать некоторые замечания относительно выводов и обобщений. Вы высказали интересную мысль о роли коммуникаций для развития культуры. Вы утверждаете, что муравьи обладают своего рода абсолютной системой связи, объединяющей их в единый, монолитный нервный аппарат, единый мозг. И вы видите в этом причину их быстрой эволюции. Но вы себе противоречите, потому что ранее вы утверждали, что своим развитием человеческая культура обязана не столько гениальности отдельных личностей, сколько возможности обмена информацией внутри коллектива.

— Я не вижу тут противоречия. По-моему, это одно и то же. Просто у муравьев эта способность к обмену информацией доведена до предела.

— Но это же абсурд! — Русский начал горячиться, и Нерста покорила его резкость. — Это абсурд,— повторил он. — Согласитесь сами: единый мозг, хотя бы и расчлененный на множество индивидов,— это все же один мозг, я подчеркиваю: один. Если связь абсолютна, как вы говорите, то нет обмена информацией. Все думают одинаково. И, следовательно, это неизбежно должно привести не к развитию, а к полной деградации коллективного интеллекта, так как в этом случае отпадает, полностью отпадает сама возможность диалектического развития. Вы следите за моей мыслью?

— Да, да, только говорите, пожалуйста, немного медленнее.

— Я согласен с вашим тезисом, что для развития культуры, для развития индивидуального интеллекта необходим обмен информацией внутри коллектива. Это есть процесс преодоления противоречий. Но если эта способность к обмену становится абсолютной, то есть если коллектив превращается по существу в один мозг, действующий с идеальной согласованностью, то с кем же он будет корреспондировать? С кем же он будет обмениваться информацией? Он уподобится одному изолированному индивиду и неизбежно прекратит свое развитие.

— Но остается обмен информацией с внешней средой, посредством органов чувств...

Русский удивленно и, как показалось Нерсту, насмешливо посмотрел на него.

— Внешняя среда... Неужели вы допускаете, что Эйнштейн, попав на необитаемый остров, стал бы заниматься теорией относительности? При всей своей гениальности он очень быстро превратился бы в животное и начал бы жрать сырое мясо... Скажите, пожалуйста, может быть, я вас задерживаю? Что вы собирались делать сейчас?

— У меня не было никаких определенных планов, кроме покупки газет... Когда здесь ленч? Я завтракал в самолете довольно рано.

— До ленча у нас еще почти полтора часа. Давайте пройдемся немного и по дороге поговорим. Я первый раз в Англии. Прекрасная страна! Но вы чувствуете этот запах угля?

— Да, здесь всегда так. Потом к этому привыкаешь и перестаешь замечать.

Нерста заинтересовал этот человек, так непохожий на всех, с кем ему доводилось встречаться. Ему была близка и понятна его страстная убежденность и готовность отстаивать свою точку зрения. Если бы разговор зашел о второстепенных деталях его сообщения, о частностях, вокруг которых обычно возникают дискуссии на официальных собраниях, он, вероятно, нашел бы способ уклониться от беседы. Но этот русский ухватился за самую суть, за самую глубинную часть его доклада, за ту проблему, которая далеко выходила за рамки данного конкретного случая и касалась самых общих вопросов развития любой цивилизации, вне зависимости от того, муравьи это, или люди, или представители иной планеты. Его интересовало не столько фактически сложившееся в данный момент положение, сколько динамика его развития.

— Вы говорите, обмен информацией с внешней средой,— продолжал русский, когда они вышли на улицу.— Но такой обмен может оставаться в рамках чисто рефлекторной деятельности. А здесь речь идет о развитии интеллекта, о развитии цивилизации. Я совершенно согласен с вами, когда вы утверждаете, что, лишённые всякой возможности общения, мы очень быстро превратились бы в разрозненное скопище глухонемых идиотов, живущих примитивной жизнью. Но и другая крайность — абсолютная информационная связь каждого индивида со всеми, абсолютное подчинение единому разуму, когда невозможны никакие споры, никакая критика и все раз навсегда определено и понято идеальным мозгом, который все равно знает лишь то, что он знает, и не больше; такое положение также неизбежно должно привести к деградации и вырождению, но уже не индивида, а всего коллектива в целом.

— Тогда какие же выводы следует сделать относительно перспектив развития вида формика сапиенс?

— Следовательно, или вы допустили ошибку и сильно переоценили их способность коммуникации, возможно, у муравьев имеется какая-то иная, гораздо более сложная система связи, но не столь совершенная, как вы предположили, обладающая неполнотой, оставляющая место для ошибок и непонимания, и тогда внутри этого общества должны существовать противоречия, конкуренция, внутривидовая борьба, которые в какой-то мере ослабляют возможность согласованных действий, но зато способствуют дальнейшему развитию их разума, общества в целом. Или другой вариант, вы полностью правы, и тогда эта внезапная эволюционная вспышка, приведшая к такому быстрому развитию, столь же быстро угаснет, и, предоставленные самим себе, муравьи утратят способность к развитию и снова превратятся в обычных муравьев, застывших на достигнутом уровне и желающих лишь есть, жить и размножаться. Они утратят любопытство, стремление к познанию и совершенствованию, ибо это свойство есть результат неполноты информации, несовершенства знания. Правда, это случится, только если они действительно будут предоставлены самим себе, то есть если вы не поведете с ними активной борьбы. В противном случае такая борьба явится мощным стимулом для развития их способностей. Я не вижу третьего варианта.

Некоторое время они шли молча. Потом Нерст сказал:

— Пожалуй, вы правы, но тогда я вижу еще не один, а два возможных пути развития.

— Какие?

— Первый — это если неполнота информации, непонимание приведет к таким непримиримым внутренним противоречиям, что в результате внутривидовой борьбы они просто уничтожат самих себя...

— В животном мире мы не знаем таких случаев... за исключением гипотетического пока примера с человеком разумным, добравшимся до атомной бомбы...

— Я это и имел в виду.

— Так, а другой вариант?

— Другой возможный вариант представляется мне в том, что деградация, о которой вы говорите, приведет к снижению жизненного уровня, к частичному вымиранию, и это послужит новым стимулом к развитию разума и, следовательно, цивилизации. Таким образом, это общество будет как бы колебаться около некоторого среднего уровня равновесия.

— Интересная мысль, но мне кажется... как бы это лучше выразить... недостаточно четко сформулированная. В известном смысле, вы правы: любые трудности в процессе борьбы за существование обычно в человеческом обществе приводят к обострению умственной деятельности. У нас, у русских, есть

поговорка: «Голь на выдумки хитра». Это трудно перевести на немецкий, но смысл вам ясен. В тяжелых условиях человек проявляет больше изобретательности, его сознание работает более интенсивно. Собственно, этому факту мы и обязаны своим развитием: вся наша цивилизация является следствием и проявлением борьбы за существование. Но человеческое общество развивалось в условиях постоянных дискуссий и противоречий. Это главное. Вне спора не может быть развития. Такова диалектика. Но, возможно, мы с вами допускаем ошибку, рассматривая это муравьиное общество изолированно, в отрыве от его связей с человеческим обществом. Это нельзя игнорировать. Я думаю, что именно это — существование рядом двух различных цивилизаций, возникающие между ними противоречия, их взаимодействие — должно явиться решающим фактором для развития каждой из них. В этом главное.

Воскресные улицы были пустыни и тихи.

Редкие автомобили и еще более редкие прохожие не нарушали этой торжественной тишины всеобщего отдыха, а скорее подчеркивали ее. Было слышно, как падает с дерева пожелтевший лист и где-то далеко звонит колокол.

— Священная тишина британского воскресенья, — заметил Нерст. — Удивительный народ англичане. Они стремятся сохранить свои традиции во что бы то ни стало, но с каждым годом им это удается все хуже и хуже.

— Ну, не скажите, — возразил русский. — Вчера в Лондоне на Пикадилли я видел такого великолепного Форсайта, что казалось, он только что сошел со страниц Голсуорси. У нас в Москве такого не увидишь. Да и в Америке, я думаю, тоже.

Навстречу прошли две девушки в ультрамодных юбках. Модных до последней крайности.

Нерст искоса взглянул на своего собеседника. Он впервые заметил у него на шее глубокий шрам. «Должно быть, поэтому он так странно держит голову», — подумал Нерст.

— Вы так хорошо говорите по-немецки, профессор, — сказал он, — вы учились в Германии?

Русский удивленно посмотрел на него.

— Нет, я учил язык в школе. Но в некотором смысле вы правы, если, конечно, называть это учением. Я там воевал. А потом должен был задержаться на несколько лет в Берлине.

Они дошли до конца улицы и свернули направо. Здесь начинался просторный английский парк с редкими группами деревьев, одиноко стоявшими на залитых солнцем зеленых лужайках. Двое мальчишек сбивали с дерева конские каштаны.

— Мальчишки всюду мальчишки, — заметил Нерст. — Скажите, профессор, вы не знаете, чем кончилось вчера обсужде-

ние в Международной организации вопроса об уничтожении муравьев?

— Разве вы не знаете? — удивился русский.

— Нет, я не видел утренних газет. Я приехал сюда прямо с аэродрома.

— Ваша делегация сумела настоять на своем, используя для этого несколько необычный прием. Вы действительно ничего не знаете?

— Нет, я же сказал — нет.

— В последний момент перед голосованием в зале заседаний появились муравьи. Возникла небольшая паника, кто-то стал покидать зал. Тогда ваш делегат выразил уверенность в том, что человечество сможет справиться с нависшей над ним угрозой. Это решило исход голосования. В конце концов, делегаты — это тоже люди. Но самое нелепое состоит в том, что муравьи оказались самыми безобидными лесными муравьями. Их просто выпустили в нужный момент в зал заседаний.

— Я ничего об этом не знал.

— Я не сомневаюсь. Вы же выступали против их уничтожения. Вообще, должен сказать, вам здорово повезло, что в результате случайного облучения возникли мутации, приведшие к такому изменению наследственности. Это чрезвычайно интересный и пока беспрецедентный факт.

— Вы говорите: «пока». Трудно допустить, чтобы такое стечение случайных обстоятельств могло повториться.

— Случайных — да. Но эти обстоятельства, такое изменение наследственности под воздействием ионизирующих излучений можно вызвать искусственно. Я опубликовал несколько статей по этому вопросу. Мы уже давно ставим опыты на пчелах и получили очень интересные результаты. Я буду об этом докладывать на конгрессе. Правда, наши пчелы еще не достигли такого уровня развития, как американские муравьи, но зато этот процесс нами полностью контролируется. Поэтому-то меня так интересуют ваши работы по муравьям формика сапиенс. Это крайне интересный объект исследования, и будет очень жаль, если вы его уничтожите. Хотя не исключено, что муравьи в последний момент еще выкинут какую-нибудь штуку... Вам не кажется, что мы слишком далеко зашли? Не пора ли возвращаться, мы рискуем опоздать к ленчу.

Нерст остановился. Он пытался прочесть фамилию русского профессора на значке делегата, приколотом к лацкану его пиджака, но так и не сумел разобраться в непривычном сочетании букв. Русский резко повернулся, и они зашагали обратно.

12 августа.

16 часов 35 минут.

Белый медведь медленно брел по заснеженному ледяному полю. Тусклое полярное солнце слабо просвечивало сквозь белую муть облаков. Все кругом было привычно белым, пустым и безжизненным. Медведь устал и был голоден. Инстинктивный, неосознанный опыт многих поколений вел его вперед, туда, где могла быть чистая вода, полынья, в которой можно было найти тюленей. Его вели к полынье сотни неуловимых сигналов, столь смутных и неопределенных, что ни один компьютер не смог бы их точно проанализировать и определить по ним направление. Едва ощутимое движение льда, неслышимые ухом, но ощущаемые всем телом потрескивания и скрип, цвет неба, слабый ветер, временами доносивший запах морской воды — все эти тончайшие признаки перерабатывались его сознанием в желание идти вперед в определенном направлении. Скоро он уже вполне ясно почувал запах воды и затрусил быстрее, слегка припадая на левую ногу. Все его движения были удивительно плавны, лаконичны и точны. Его тяжелые мохнатые лапы легко и мягко ступали на гладкую поверхность обнаженного льда, на плотный, слежавшийся снег, покрытый тонкой хрустящей корочкой.

Впереди показалось темное пространство свободной воды. Медведь остановился в заметенной снегом расщелине между двумя торосами и, вытянув вперед свою удлинненную горбатую морду, стал принюхиваться. Все было тихо. Вода неслышно плескалась о зеленоватую кромку льда. Полынья была большая, она далеко растянулась вправо и влево. Медведь уже переступил с ноги на ногу, чтобы подойти ближе к воде, когда заметил на ровной поверхности странное волнение. Это не было похоже на то, как всплывает тюлень, а китов он никогда не видел.

Вода вздыбилась бурлящим бугром, вода поднялась горой и развалилась пенными струями. Вода стекала с чего-то огромного, темно-серого, всплывавшего на поверхность.

Шумная волна с белой пеной раскатилась по ровной глади полыньи и выплеснулась на ледяной берег.

Из воды вырос громадный темный столб с тонкими крыльями-плавниками, распластанными, как у летящей птицы. С крыльев стекали потоки зеленой воды. Потом появилась темная спина, округлая и обтекаемая, как у тюленя, и большая, как айсберг. Серое чудовище, вынырнувшее из глубины, тяжело покачалось и замерло среди полыньи.

Медведь уже не раз видел здесь появление таких чудовищ.

Сперва они вызывали у него только любопытство, потом страх, потом он научился их различать по запаху. Они были опасны, память об одной такой встрече он носил в левом боку. Двуногие, пахнущие сигарным дымом, вылезшие из чрева серого чудовища, загремели, как ломающиеся торосы во время весенней подвижки льда, и тогда он почувствовал сильный удар в левый бок, и было очень больно, и он бежал, оставляя на снегу кровавый след, и потом долго отлеживался среди торосов, зализывая кровоточащую рану.

Капитан подводной лодки включил привод перископа. Гладкая стальная колонна плавно пошла вверх. Когда из шахты появились рукоятки, он привычным жестом откинул их и прильнул к окуляру. Медленно разворачивая перископ, он осмотрел белый берег, нагромождения торосов, протянувшуюся далеко вперед темную полосу полыньи, снова торосы и желтоватый силуэт медведя между ними.

— Отдранть люк! Поднять антенну! Радистам выйти на связь! — скомандовал он и отошел от перископа. — Белый медведь слева по борту, хотите взглянуть, Джим? — обратился он к старшему помощнику.

Тот подошел к перископу.

— Хорош... Разрешите сойти на лед, капитан?

— Стреляйте с борта. Он близко. Если убьете — спустим шлюпку. Цельтесь в голову. У меня один такой уже ушел.

Матросы протопали по трапу на мостик. Старпом пошел за винтовкой. Радист включил свою аппаратуру и передал позывные штаба подводного флота в Норфолке. Рулевые откинулись на спинки своих кресел.

Медведь все еще стоял на льду и нюхал воздух.

Глухо стукнула крышка открываемого люка. Несколько человек один за другим вылезли из чрева чудовища и разбежались по горизонтальным рулям.

Медведь сильно втянул воздух и сразу ощутил острый запах сигарного дыма. Он медленно повернулся и, прихрамывая, побрел между белыми ропаками. Когда старпом поднялся на палубу, его уже не было видно.

В центральном посту радист передал капитану полученную радиограмму. Капитан прочел и взглянул на радиста. Тот смотрел прямо на своего начальника, и его лицо решительно ничего не выражало. Капитан вторично перечел приказ. В нем говорилось, что вверенный ему корабль должен выйти на бо-

евую позицию в Мексиканском заливе и произвести запуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой по указанной цели на территории Соединенных Штатов.

Многие годы, на протяжении всей своей служебной карьеры, капитан готовился к войне. С тех пор как он принял командование атомной подводной лодкой, все его действия были подчинены одной цели, он жил одной мыслью о том критическом моменте, когда получит приказ ввести в действие те силы, которые были ему доверены. Его подводная лодка, в числе многих других, несла патрульную службу вблизи берегов «потенциального противника». Это был отличный корабль, и, как всякий моряк, он любил его, как любят живое существо. Американские рабочие, инженеры и ученые вложили много труда в его создание. Это был огромный труд. Одна такая подводная лодка стоила столько же, сколько стоит постройка современного города на 100 000 жителей. На те деньги, которые были израсходованы на создание подводного корабля, можно было построить пять тысяч комфортабельных домов, с электрическими кухнями, кондиционерами, гаражами и зелеными лужайками, на которых могли бы играть дети. 16 боевых ракет, спрятанных в глубоких шахтах в теле корабля, были в любой момент готовы вырваться на свободу и устремиться к назначенным целям. Каждая из ракет, в случае точного попадания, могла полностью уничтожить, превратить в руины средней величины город. И если к тому же нападение удалось бы совершить внезапно, одна ракета убила бы сотни тысяч людей — молодых и старых, мужчин, женщин, детей, влюбленных и беспечных, веселых и озабоченных, мальчишек, девочек, матерей и отцов.

На протяжении многих лет службы все мысли и усилия капитана были направлены на то, чтобы обеспечить эту внезапность.

Он упорно и настойчиво тренировал свою команду, добиваясь безупречно четкой и согласованной работы всех звеньев. Он до мельчайших, доступных ему подробностей изучил те 16 городов «потенциального противника», на которые должны были упасть доверенные ему бомбы. Он много лет каждый час и каждую минуту был готов получить приказ привести в действие систему ядерного нападения и, нажав кнопку, совершить непоправимое. Он много лет жил в постоянном страхе перед ответной мощью «потенциального противника».

Теперь вместо всего того, к чему он себя готовил, он должен был совершить почти то же, но выпущенная им ракета должна была обрушиться не на чужой город, отмеченный кружком на карте чужой страны, а на землю его родины.

Капитан аккуратно сложил бумагу и скомандовал:

— Приготовиться к погружению!

18 августа.

17 часов 10 минут.

Томас Рэнди вышел на крыльцо своего дома.

— Том! — окликнула его Салли.

— Что?

— Том, нам нужно уезжать отсюда. Мы одни здесь остались. Совсем одни. Все уехали.

Рэнди ничего не ответил. Он стоял на истертых ступенях, на каменных плитах, которые много лет назад, еще мальчишкой, помогал укладывать своему отцу, когда они заново перестраивали этот дом. Он смотрел на свои поля, на густую зелень кукурузы, на ровные ряды персиковых деревьев, которые в этом году дали первый урожай, на далекую темную полосу леса, за которой проходило, безжизненное теперь, федеральное шоссе.

— Том...

— Я сказал, Салли, это моя земля. Я здесь родился. Пускай делают что хотят, у них опять ничего не выйдет.

— Том...

Рэнди спустился по ступенькам и зашагал в поле.

Слева шелестела своими глянцевитыми листьями кукуруза. Скоро нужно убирать. Трудно будет. Одним не справиться. Будет очень трудно.

Земля лежала перед ним горячая, жаркая, распаренная, пахнущая ветром и травами. Сколько же труда вложено в нее, в эту землю. Сколько забот и радости, сколько надежд, горьких разочарований и счастья, удач с нею связано. Она как женщина—верная и преданная, иногда капризная и своевольная, она требует к себе внимания и ухода, ее надо знать, понимать, ее надо любить, эту землю, и тогда она тоже ответит любовью.

Рэнди медленно брел по меже.

Он нагнулся и сорвал ветку полыни, растер ее и глубоко вдохнул терпкий запах.

Скоро все это будет уничтожено.

В глубине сознания он понимал, что на этот раз сопротивление бессмысленно. Им придется уехать, придется в чужом и незнакомом месте начинать все заново. Обживать новую землю, которая только его детям и внукам снова станет родной и близкой.

Он последний раз окинул взглядом поля и повернул к дому.

19 августа.

07 часов 32 минуты 19 секунд.

— Через сорок секунд выйдем на боевую позицию, сэр,— доложили с поста управления боевыми операциями.

— Глубина?

— Сто двадцать три, сэр!

— Ход?

— Четырнадцать с половиной, сэр!

Капитан следил за медленно бегущей стрелкой секундомера.

— Приготовиться к пуску... и-и-и... Огоны!

Вахтенный офицер поста управления оружием нажал кнопку.

Подводный корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Америки сделал свой первый боевой выстрел.

На пульте указатель времени отсчитывал секунды, оставшиеся до взлета ракеты. Команда центрального поста замерла на своих местах. В полумраке светились циферблаты приборов, экраны локаторов и красные сигнальные лампочки. Рулевой, не отрывая взгляда, всматривался в экран «Коналога», на котором плавно бежала навстречу протянувшаяся в бесконечную даль полосатая линия «дороги» и ее отражение в верхней части экрана. Центральная марка точно держалась на точке схода. Вахтенный офицер поста управления громко отсчитывал секунды:

— Девять...

— Восемь...

— Семь...

— Шесть...

— Пять...

— Четыре...

— Три...

— Две...

— Одна...

— Зиро!

Сильный удар потрянул корпус. Подводная лодка начала медленно проваливаться в глубину. На экране «Коналога» уходящее в перспективу полотно «дороги» закачалось, искрилось и поползло вверх.

В момент выстрела ракета находилась в глубокой десятиметровой шахте, диаметром около полутора метров. Рядом было расположено еще пятнадцать таких же шахт с ракетами,

ждушими своего времени. После того как вахтенный офицер нажал кнопку, все дальнейшие операции происходили автоматически, управляемые очень хитро придуманными приборами. Тысячи рабочих, тысячи умелых рук изготовили их со всей тщательностью, на которую только были способны. А способны они были на многое и работать умели.

В нужный момент автоматические приборы впустили в шахту сжатый газ. Они впустили его ровно столько, чтобы уравновесить давление забортной воды. Затем приборы прекратили доступ газа и включили механизм, сдвинувший тяжелый двухметровый люк, закрывающий шахту. Теперь внутреннюю часть шахты с находящейся в ней ракетой отделяла от воды только тонкая пластмассовая пленка. После этого приборы включили механизмы управления ракеты и открыли доступ в нижнюю часть шахты сжатому под громадным давлением воздуху.

Как пуля из пневматического пистолета, пятнадцатитонная ракета рванулась вверх, прорвала полиэтиленовую пленку и, со скоростью двести километров в час, вырвалась из шахты в мутно-зеленую толщу воды. Взметнув белые фонтаны брызг, она поднялась над поверхностью моря, и в этот момент умные, хитрые приборы, управляющие ее полетом, отбросили ненужные больше защитные крышки и зажгли горючую смесь двигателя первой ступени. Гудящий, ревущий, бушующий столб пламени вырвался из хвостовой части ракеты и заставил ее двигаться все быстрее, и быстрее, и быстрее, все стремительнее врезаться в казавшуюся бесконечной синеву неба.

Сперва ракета двигалась почти вертикально. Потом хитрые приборы подсчитали, что если она будет лететь так дальше, то она попадет совсем не туда, куда послали ее люди. Приборы дали команду другим точным и сильным механизмам, и те повернули рули ракеты так, что она несколько изменила направление своего полета.

Приборы заметили, что горючее первой ступени выгорело полностью, и приказали отбросить эту часть ракеты и включить двигатели второй ступени. Исполнительные механизмы это сделали точно и аккуратно.

С той высоты, на которой находилась ракета, приборы хорошо видели юго-восточное побережье Соединенных Штатов. Серебряная лента Миссисипи плавно извивалась среди желто-зеленых берегов. Справа, вдали, на самом горизонте зеленел полуостров Флорида.

Приборы видели сияющее в черном небе Солнце и по-небному яркие звезды. Сверившись по ним, они решили, что нужно несколько изменить угловую ориентацию ракеты, и распорядились выполнить это.

Ракета летела в молчаливой пустоте космоса.

Холодные, бесстрастные приборы равнодушно смотрели на нашу родную Землю. Прекрасная, как невеста, она плыла в звездной россыпи мироздания, вся в белом кружеве облаков, окутанная голубой вуалью туманов.

Удаляясь от Земли, ракета постепенно замедляла свой стремительный полет. Достигнув наивысшей точки траектории, повинувшись строгим законам механики, известным только людям и созданным ими приборам, она плавно и медленно изменила направление своего движения. Она начала падать на Землю, все убыстряя, и убыстряя, и убыстряя свой бег. Под ней сейчас были видны серовато-желтые пустыни штатов Колорадо и Нью-Мексико, морщинистые гряды гор, глубокие, темные борозды каньонов, и серые пашни, и зеленые прерии, и темные пятна лесов, и серебро озер, и ленты рек, и прямые дороги, и города, и дома, и деревья, и травы...

Соппротивление воздуха раскалило ракету. С гулом и ревом, дрожа и обгорая, она рассекала плотные слои атмосферы, готовая вонзиться в невинное тело Земли.

Но хитрые приборы, сделанные людьми, не допустили этого. Они спокойно и терпеливо ждали, пока ракета достигнет нужной им высоты, и в этот момент замкнули тонкие золотые контакты. Лавина освобожденных электронов ринулась по проводам и привела в действие механизм взрывателя.

В небе над Нью-Карфагеном вспыхнуло ослепительно яркое, новое солнце.

Клубок белого пламени раскинулся над Землей, над полями и лесом. Дома, деревья, цветы и камни мгновенно превратились в горящий хаос, над которым глумливо кривлялось черное облако пыли.

Выворачивая с корнем деревья, ломая стены, сокрушая могильные плиты, выбрасывая в небо острые, белые кости, взрывная волна, подобно волне прибоя, раскатилась далеко вокруг, сметая все на своем пути.

Земля вспучилась и почернела, словно ее перепахали великанским плугом. С неба на нее падал серый радиоактивный пепел...

Безумный волк с выжженными глазами и опаленной шкурой метался среди черных, поваленных, разбитых в щепы стволов деревьев.

А потом все успокоилось, и пошел дождь.

Вода смывала радиоактивный пепел в низины, в глубокие расщелины, образовавшиеся в месте взрыва, скапливалась в темных кавернах и в поисках выхода протачивала в теле

Земли новые пути. Насыщенная радиоактивностью, вода постепенно образовала маленький подземный ручей. После долгих блужданий этот ручей выбрался на поверхность, и там собралось тихое озерцо. На берегу озера жил своей мирной и незаметной жизнью лесной муравейник.

Москва 1965—1968 гг.





Коротеев Н.

ПО СЛЕДУ УПИЕ¹

Приключенческая повесть

Было раннее и очень тихое утро. Тишина стояла ясная, хрустальная, как воздух, каким он бывает в глухой тайге в августе после ливня, прошедшего три дня назад. Земля уже подсохла, и лишь запах от полусгнивших колодин, терпкий и вязкий, устойчиво держался у земли. Деревья, даже смолистые кедры, и кустарники уже не пахли, потому что на них созрели плоды, а листья и хвоя стали суховатыми, жесткими.

¹ Корень женьшеня, которому насчитывается несколько десятков, а то и сотня лет.

Наискось по склону сопки поднимался неторопливо, но споро таежник с котомкой за плечами. Он был одет в шинель с подрезанными полами, штаны из шинельного сукна, на ногах олочи из сыромятной кожи. Голени оплетены сыромятными ремешками, а из олоч торчала ула — мягкая трава, которая греет не хуже шерстяных носков. По островерхой бараньей шапке можно было судить, что он не из коренных жителей. Таких шапок в здешних краях не носили.

Легко поднявшись на середину склона, человек остановился и осмотрелся.

Меж стволов высоченного, но молодого кедровника ему стала видна долина, перемежеванная полосами зарослей и леса, с распадками и полянками. Над одной кругами вились вороны.

«Чего они там крутятся? — подумал человек. — А, все равно. Совсем все равно. И не стоит думать. Теперь совсем не стоит об этом думать. Думать надо об одном: не остался ли я в дураках. Верно ли я понял Ангирчи? Не хвастался ли он, говоря о женьшене, который будто нашел еще его прадед?

И вряд ли там лишь один корень... Вдруг целая плантация? Рано, рано размечтался, Петро Тарасович, — остановил себя таежник. — Прибыль хорошо считать, когда красненькие в руках. А ну как ошибешься?.. Теперь надо смотреть в оба. Затески, шу-хуа¹ — язык искателей корня не проглядеть. Ягоды женьшеня красны, ярки — их птицы склевать могли... Листья — маралы или лоси объесть. Они великие охотники до женьшеня и прочих растений из семейства аралиевых, как говорит Наташка Протопопова. Верно, оттого в их рогах копится особая сила, во многом похожая на женьшеневую.

Смышленная девка. Ничего не скажешь. Коли ее отец не был бы участковым инспектором, милиционером, велел бы Леньке жениться на ней. Вот ведь только не та семейка, чтоб родниться. Узнай Самсон Иванович про мои дела — по-хорошему, по-родственному он не поступит. Упечет крепче, чем чужого. Чудак человек, будто кто знает, сколько я корней нашел, а сколько сдал. Тут меня голыми руками не возьмешь. И никогда Самсону не угадать, кто сбывает в городе мои коreshки. За столько-то лет не сообразил!

Но теперь — все. Хватит. Пофартило мне... Пора и тихо пожить. Годы не те, а подыхать в тайге, как Ангирчи собирается, мне совсем не хочется. В городе в свое удовольствие поживу. Да и надоело слышать у своего затылка дых Протопопова.

¹ В переводе с китайского — язык зарубок. Ими на стволах ближних деревьев указывается расстояние до корня, а иногда и имя искателя, нашедшего, но по тем или иным причинам не выкопавшего женьшень.

Совсем на пятки наступать стал. За каждым корнем смотрит, все учитывает...

Ну, где ж ты, корешок? Не зверь, не отзовется и следов не оставит... Сидит в земле, помалкивает... Вот!»

Петро Тарасович Дзюба замер, словно мог спугнуть корень. Даже не сам корень, а затески, особые надрубки на стволах кедров, которые для настоящего таежника — замок покрепче электронного в государственном банке. Затески свежие, прошлогодние...

Снял с плеч котомку, все так же осторожно и тихо, лишь шевельнув плечами. Сглотнул слюну — горло пересохло от волнения.

Взгляд таежника рыскал по редкой траве меж стволов. И, наконец, наткнулся на то, что искал. Удивление охватило Дзюбу. Хотя он и готовился к нежданному, но увиденное превзошло все надежды.

— Чу-удо... — шепотом протянул Дзюба. — Чудо...

В нескольких шагах от него, рядом с полусгнившей валежиной, вымахал едва не по грудь Петра Тарасовича толстый, в два пальца, мясистый стебель, увенчанный зонтом ярких, красных ягод.

Дзюба стал считать листья на стебле. По их количеству можно определить примерный возраст корня, но от удушливого, алчного волнения сбился со счета.

— Старый корень — упиие! Ясно! Ясно, старый, еще прадедом Ангирчи найден! Ему сто — сто пятьдесят лет! — бормотал Дзюба, по-прежнему стоя на месте, будто не решаясь до конца уверовать в свою воровскую удачу: так точно все разведать! Сколько ж лет ему понадобилось, чтоб втереться в доверие Ангирчи, льстить, подлаживаться к этому старому дураку...

Дзюба постоял еще немного, дав сердцу успокоиться. Потом вытер потные от волнения ладони и, не спуская глаз с яркого, красного зонтика, присел, на ощупь отыскал в котомке две костяные палочки, не длинные, с авторучку, шагнул к женьшеню.

Двигался Петро Тарасович медленно, крадучись. Он все еще не обвыкся с мыслью, что корень, к которому подбирался столько лет, — вот, перед ним. Подойдя к стеблю почти вплотную, Дзюба протянул руку к плодам и погладил тугие, глянце-вые, мясистые ягоды. Затем огляделся.

Ни рядом, ни поодаль стеблей женьшеня не было.

«Жаль... — подумал Дзюба. — Жаль. Одно верно: нашел я именно тот корень, о котором проговорился Ангирчи. Выходит, плантация у него в другом месте...»

Опустившись на колени, Дзюба стал осторожно отгребать от ствола женьшеня опавшие и полусгнившие прошлогодние

листья, длинную темную кедровую хвою, веточки. Он делал это без спешки, тщательно и очень осторожно. Заскорузлые, крючковатые пальцы двигались удивительно ловко и плавно. Очистив метра на полтора землю вокруг стебля, Дзюба взял костяные палочки и, став на четвереньки, словно в глубоком молитвенном экстазе, движениям, легкости и точности которых мог бы позавидовать нейрохирург, начал откапывать шейку женьшеня.

«Да, работы здесь хватит дня на три... Если не на неделю...»

*

Бывают же такие странные дни... Поначалу все вроде бы как надо, а потом вдруг пойдет наперекосяк, комом, будто кто подножку поставил. В домашних нескончаемых мелких хлопотах прошло утро. Антонина Александровна, жена участкового, не успела к отлету, чтоб, как повелось, проводить и отправить пассажиров. Самого Самсона Ивановича в селе не было — ушел с инспектором из райотдела в дальний леспромхоз. В таких случаях в «аэропорту» — на выгоне, где приземлялся вертолет, — дежурили либо сама Антонина Александровна, либо кто-нибудь из общественников. Чаше всего начальник «аэропорта» — Степан Евдокимович.

Никто из живущих в селе и появляющиеся в нем не считали подобную щепетильную заботливость участкового и его помощников ни обременительной, ни навязчивой. Напротив, уходящие в таежные дебри считали долгом сообщить участковому и о своих намерениях, и о маршруте. Мало ли что может случиться в тайге! Не появившись они в названный самими срок, участковый организует поиски, придет на помощь. Обычай этот укоренился несколько лет назад. Пропали тогда в тайге двое охотников-любителей. Ушли по чернотропу на кабанов и сгинули.

Вечером Антонина Александровна пошла в клуб. По средам вертолет доставлял в Спас кинофильмы, и первым обычно крутили самый новый.

Статная, с косами, светлой короной уложенными на голове, жена участкового выглядела много моложе своих сорока лет.

У клуба ее окликнул Степа, или Степан Евдокимович, начальник «аэропорта».

— Что ж вы решили предпринять, Антонина Александровна?

— Ты о чем, Степан Евдокимович?

— Как — о чем? — Начальник «аэропорта» глаза вытаращил. — Разве Леонид вам ничего не сообщал?

— Он бы еще с оркестром в хлев заявился! Дренькнул

гитарой, Астра подойник опрокинула. Турнула я твоего Леонида со двора.

— Турнули...

— Случилось что?

— Пассажир перед самым отлетом объявился. По реке пришел. На берестянке-самodelке. Сказал, мол, смердит у Радужного. У водопада, в скалах.

— Что смердит?

— А может, «кто»? — Степан Евдокимович склонил голову набок, как бы желая получше увидеть, какое впечатление произвел вопрос на жену участкового.

— Так уж и «кто»... Зверь в обвал попал. Чего только не может случиться в этих Чертовых скалах. Недаром их так называли.

Немолодой уже, краснолицый, с мешочками под глазами, как у всех истых любителей пива, начальник «аэропорта» достал папиросу и долго, старательно разминал ее:

— Мое дело сказать. Фамилия его Крутов. Вроде геолог. Рыжий такой. Торопился он.

Около Антонины Александровны и Степана Евдокимовича, стоявших у клуба, задержалось несколько жителей. Прислушались к разговору, переглянулись. Один вмешался:

— Да не столько пассажир торопился, сколько Степа был занят. С летчиками ругался.

— Брось, — махнул рукой Степан Евдокимович.

— Чего уж там — брось! Пива тебе обещанного не привезли, вот ты и ругался. А на геолога тот рыжий не похож. В комбинезоне и без кепки. Скорее пожарник-десантник.

Антонина Александровна разволновалась. Неопределенность, неясность, намеки сильнее всего действуют на воображение. А тут еще Степа явно наплевательски отнесся к важному делу. Так уж всегда — одно к одному.

— Степан Евдокимович, толком расскажи! — взмолилась Антонина Александровна.

— Да... все я рассказал... — пожал тот плечами. — Говорит Крутов этот: смердит, мол, у Радужного. А что, почему — не знает. Торопился... Ну хоть Леонида спросите... Он рядом стоял.

Будь Самсон Иванович дома, все было бы просто: он сам бы находился на «аэродроме» и решил бы, как поступить. А Протопопов и инспектор угрозыска из райотдела появятся в Спасе лишь дней через десять. Может быть, у Радужного ничего и не случилось — так, пустяки: зверь попал в каменную осыпь. А может, что и серьезное. Тут еще таинственный то ли геолог, то ли пожарник-десантник... Вдруг и «засмердило» у Радужного после того, как он там побывал? И торопился он,

чтоб скрыться? Или видел что-то, а сообщить не захотел: чего, мол, мне не в свое дело вмешиваться?

«Вероятно, Леонид подробнее расскажет», — подумала Антонина Александровна.

Но Леонид в клубе не появился. Идти же в дом к своей бывшей подруге Дуне Дзюбе Протопопова не хотела. И не пошла бы, даже если бы появилась еще бóльшая надобность. Так уж складываются порой отношения между подругами.

Фильм Антонина Александровна видела и не видела. Не до того было. Ждала окончания, чтоб поговорить с председателем сельсовета: больно уж странное дело. Илья Ильич был, кстати, и начальником штаба народной дружины. И еще Протопопова надеялась, что на танцах после кино появится Леонид.

Илья Ильич по своей привычке сначала больше гмыкал да вытирал платком лысину, нежели отвечал. Потом принял соломоново решение:

— Подождем до утра. Вдруг кто из тайги придет?

— Кому прийти-то? Не время, — возразила Антонина Александровна.

— Не время... Корневщики месяца не будет как ушли... Кородеры — тоже. А те, кто пантачил, вернулись. Гм... гм... Я и говорю: вдруг, — добавил Илья Ильич и вытер платком лысину. Был он полнотел, медлителен в движениях и мыслях.

Возвратившись домой, Антонина Александровна поужинала без вкуса и аппетита. Потом прокрутилась всю ночь с боку на бок, чего с ней никогда не бывало.

Засыпая, решила наконец, что чуть свет, едва выгонит корову, пойдет к Илье Ильичу. Но поутру он пришел сам.

— Гм... гм...

Откашливаясь то ли от смущения, то ли после первой папиросы, Илья Ильич сказал:

— Не спал... Оно таки очень странно. Съездить надо... Дней за пять обернемся.

Полдня ушло на споры — кого брать с собой, на сборы.

Поехали втроем: сам Илья Ильич, Степан Евдокимович и Леонид Дзюба.

Сын старика Дзюбы приехал со стройки, где он шоферил, в отпуск. Тайга парня не манила: наломаешься больше, чем за баранкой... Красивый, чубатый и кареглазый, Леонид пропадавал на реке, охотился неподалеку по перу, отдыхал в свое удовольствие. Старый Дзюба держал сына в строгости, но в последний год что-то случилось, после чего Петро Тарасович не возражал, когда сын, как он говорил, дармоедничал.

Прежде чем согласиться поехать к Радужному, Леонид долго отказывался. Как заметил Илья Ильич, его аж в пот бросило, что придется, может быть, иметь дело с уголовщи-

ной. Но и отказаться Леонид не мог — в отпуске все же. Степана Евдокимовича тоже уломали с трудом. Но экспедиции нужен был радист.

Чтобы скорее добраться до водопада Радужного и вернуться обратно, решили идти на моторке и по ночам.



Река Солнечная, если глянуть на карту, гигантской подковой огибала горный кряж. В том месте, где она прорывалась сквозь сопки, и образовался водопад.

Илья Ильич со спутниками добрались до Радужного к концу третьих суток. Ведь шли против течения и без отдыха, даже отсыпались в моторке. Остановились в заводи, едва не за километр от водопада. Отсюда легкие баты, оморочки или берестянки тащили на себе и спускали в реку уже выше водопада. Но они подниматься по Солнечной не собирались.

Выпрыгнув из лодки первым, Степан Евдокимович долго и тщательно чалился. Илья Ильич гмыкал — первый раз ему доводилось вот так, без Самсона Ивановича, выходить в тайгу на проверку «сигнала». Беспокойство Антонины Александровны, молчаливость Леонида во время пути, мрачность Степана Евдокимовича, твердившего, что погнали его зря и что тот рыжий — геолог ли, пожарник ли — балбес и выдумщик, настраивали Илью Ильича на тревожный лад.

Наконец они сошли на низкий травянистый берег.

— Тут устроимся... — сам не зная толком почему, сказал Илья Ильич.

С ним молча согласились.

От узкой поймы вверх к скалам, через чернолесье, вела узкая извилистая тропа — волок. Трава и кустарник выглядели нетронутыми, свежими. Лишь приглядевшись, можно было увидеть, что густая розово-белая кипень метелок хрупкого иван-чая и леспедции попримята, поломана.

Говорливо трепетали по-августовски звонкие кроны осин, шумели березы, мерцали под ветром листья кленов, а в вершинах лип кое-где светились первые желтые пряди, очень яркие среди остальной темной зелени.

Шуму леса вторил низкий, густой немолчный гул водопада, доносившийся издалека.

Подъем по просеке был не крут, но и не легкий. Трава скрывала острые выступы камней. Гул водопада с каждой минутой нарастал. Слева из-за верхушек лиственного леса поднимались причудливые, сильно выветренные, даже на вид непрочные верхушки красных скал. Наконец скалы взмыли вверх прямо перед ними. И так высоко, что деревья у их подножия выглядели крошечными. А справа, в клубах седой водяной

пыли, вспыхнула радуга. Они вышли на площадку перед допадом.

Никогда раньше Илья Ильич не замечал мрачной красоты этого места. Неуютным оно было, даже опасным. Меж скал виднелись светлые языки каменных осыпей. Но другого, более легкого пути к верховьям Солнечной не существовало. А там, за скалами, начинались самые богатые пушным зверем охотничьи угодья, заросли бархата-пробконоса. Там бродили стада пятнистых оленей, гиганты сохатые и жирные кабаны, рос женшень.

Ниже Радужного река растекалась бесчисленными протоками по болотистой долине, бедной зверем.

Остановились на краю поляны.

— Ерунда,— сказал Леонид.— Где ж тут смердит?

Степан Евдокимович вынул платок, трубно высморкался.

— Не гожусь я в гончие... Ничего не чую.

— Гм... Раз уж мы здесь, надо по порядку...

— «По порядку»...— пробурчал Степан Евдокимович.—

Один дурень сбrehнул, другие поверили...

— Бабий переполох,— поддержал его Леонид.

— Чего ж сердать? Радоваться надо. Ложная тревога — хорошо... Гм... гм... Только что ж вы решили, будто вот так посреди поляны и наткнемся?.. Давайте всерьез все осмотрим. Придется и в скалах полазить. Осторожно. Там и свою голову оставить — пара пустяков.

На поляне то тут, то там валялись серые ошкуренные стволы с торчащими корнями. Их вырвали из земли мощные сели — послеливневые паводки, которые возникали, когда вода в реке поднималась на несколько метров и горловина водопада не успевала сбросить поток. Река сама создала себе второе русло, смыв часть скал выше обычного уровня. По этому «аварийному руслу», по камням, отполированным тысячами селей, и перебирались в верховья Солнечной. Путь, что и говорить, трудный, но все же это было легче, чем тащить поклажу через горный кряж. Да и самый тяжелый путь — обратно, с добычей, — пройти по реке одно удовольствие: сама к дому принесет.

После селей поляна быстро зарастала травой, и лишь огромные валежины со щупальцами корней напоминали о редкой силы наводнениях.

Степан Евдокимович и Леонид двинулись за Ильей Ильичом вдоль скал. Они шли от расселины к расселине, старательно приноживались. Степан Евдокимович ворчал на «собачьи» обязанности, да и в душе Ильи Ильича место тревоги и осторожности заняла досада. Леонид следовал за ними как бы поневоле.

И тут Илья Ильич споткнулся, точно его нога попала в пет-

лю. Кряхтя, поднялся с четверенек и увидел, что он зацепился за ремень валявшегося в траве карабина.

— Эт-то... что? — с трудом вымолвил Илья Ильич, поднимая оружие.

— Э-те-те-те... — опешив от изумления, протоковал Степан Евдокимович. — Находочка! Целый? Дай-ка я посмотрю.

— Подожди! — отцепляя руки Степана от цевья и дула, воскликнул Илья Ильич. — На номер надо взглянуть.

Леонид, стоявший за спиной Степана Евдокимовича, сказал негромко:

— Отцов... похоже...

— Подожди... подожди... Очки достану. Дело такое...

— Отцов! Отцов карабин! — закричал Леонид, отстраняя Степана Евдокимовича, но к оружию не притронулся. — По ложу узнал! Отцов!..

— Дзюбы? Погодь, паря... погодь. Чего ты сразу так... Гм... Мало что бывает... Гм... гм... — Кое-как сладив с очками, Илья Ильич прочитал номер. — Точно... А сам-то Дзюба где? — Илья Ильич сдвинул очки на кончик носа и пристально огляделся вокруг, словно надеясь увидеть коренастую фигуру Дзюбы.

— Н-да! — покрутил головой Степан Евдокимович. — Не такой Дзюба человек, чтоб живым из рук оружие выпустить. Ишь ты... «Смердит»... Ловко он. И смысл.

— Раскаркался! — одернул его Илья Ильич и двинулся к широкой расселине.

Потоптавшись около карабина, Леонид пошел за ним, а Степан Евдокимович присел на корточки и сам прочитал номер:

— Дзюбин...

— Степан! — послышался крик Ильи Ильича. — Иди сюда!

Подбежав к председателю сельсовета и Леониду, Степан Евдокимович потянул носом: действительно смердило.

— Пахнет, — подтвердил Степан Евдокимович.

Леонид пошел было вперед, но председатель сельсовета удержал его:

— Не лезь... Дело такое...

И тут Илья Ильич увидел торчащую из-под камней непомерно распухшую фиолетовую руку с почерневшими ногтями.

Обернувшись, Илья Ильич глянул на Леонида: огромные, будто совсем белые, без зрачков глаза, лицо словно без губ — так они были бледны.

— Откопать... Откопать!

— Он давно умер... Он давно умер... — приблизив губы к уху Леонида, почему-то шепотом твердил Илья Ильич.

— Ну что ты... Ну что ты... — басил растерянно Степан Евдокимович.

— Откопать! Похоронить... дайте!

— Нельзя... Нельзя, — увещевал Степан Евдокимович.

— Темное... Темное дело... — вторил ему председатель.

Но Леонид не слушал их, вырывался, кричал. Они силком увели его подальше от скал. Когда он немного успокоился, спустились вниз, к лагерю.

Потом Степан Евдокимович развернул рацию и связался с райцентром, с отделом внутренних дел, и сообщил обо всем. Начальник отдела сказал, что завтра, видимо, на место происшествия прибудет вертолетом следователь прокуратуры. По пути, хоть и не совсем, они захватят участкового Протопопова и инспектора уголовного розыска Свечина.

— Главное — не трогайте ничего! Пусть все останется как есть.

Чтобы Леонид не натворил глупостей, Илья Ильич и Степан Евдокимович дежурили по очереди у костра.

Леонид тоже не спал, но и не пытался уйти в скалы.

*

Свечин вышел к реке первым. Хотелось лечь ничком и прикрыть веки. Но сильнее усталости, сильнее головной боли мучила жажда. Сбросив с плеч котомку, Кузьма подошел к заводу. Сквозь воду виднелось рыжее дно, стебли, поднимающиеся вверх. От воды веяло прохладой.

— Не надо, — раздался позади голос Самсона Ивановича.

— Чуть-чуть... Глоток.

— Не удержишься. Потом совсем сдашь. Чай сварить — минутное дело. Лучше сядь в тени.

У берега стояло гладкоствольное дерево. Ветви его раскинулись, словно пальмовые, и отбрасывали короткую густую тень. Там, в траве, кое-где светились росинки, спрятавшиеся от солнца. Кузьма лег ничком, окунул лицо в зелень, пахучую и влажную. Стылые капли росы смочили губы. Пить захотелось нестерпимо. Он поднял голову и взглянул на завод, близкую и манящую. Сквозь слепящий отраженный свет он увидел нечто, поразившее его.

Белые лилии в заводе стали голубыми... Как небо.

Вскочив на ноги, Кузьма шагнул назад. Хмыкнул. Закрыв ладонями глаза, опять глянул на заводь.

— Лотосы... Обычные лотосы, — послышался за спиной Кузьмы голос Самсона Ивановича. — Нелумбий.

Повернувшись в его сторону, Кузьма увидел, что участковый вроде и не смотрел на заводь. Он копался в котомке.

Усталость пропала, даже пить вроде расхотелось. Пожалуй, Кузьма просто не помнил уже: хотел или не хотел он пить.

Кузьма глядел на заводь, и объяснение Самсона Ивановича

ча представилось ему слишком обыденным и отвлеченным: «Лотосы...» Память по ассоциации вытаскивала из своей кладовки: «Древний Египет... Пирамиды... Фараоны... Нил... Священный цветок». Чересчур мало, чтобы объяснить чудо. Не древняя история, не Египет, а вот — наклониться и дотронуться.

Лотос поднялся над водой почти у самого берега. Он очень напоминал пион и был такой же величины. Но лепестки выглядели плотнее, восковитее. Кузьма заглянул в голубую чашу цветка фарфоровой прозрачности. Там бриллиантами сияли капли росы.

Время словно пропало. И будто померк солнечный день. Светился только цветок.

Неожиданно Кузьма услышал у себя за спиной усердное сопение, и нагой Самсон Иванович, пробежав рядом, плюхнулся в воду. Вынырнул, долго отфыркивался и кряхтел, по-бабьи обхватив руками плечи. Очевидно, вода была холодна.

— Зачем... — Кузьма сморщился, точно от зубной боли.

— Забыл ты сухари на заимке, Свечин. Вот я и иду на промысел. — И Самсон Иванович погрузился в воду, ставшую мутной от взбаламученного ила.

«Черт с ними, сухарями! Так бы поели. Купаться-то здесь зачем? — сердито думал Кузьма. — Дела нет ему до красоты, — с горечью размышлял Свечин, отойдя от берега и устроившись в тени похожего на пальму дерева. — А может, он просто привык? «Обыкновенные лотосы...» Не хотелось бы мне занять такую привычку и в шестьдесят лет. А Самсону Ивановичу всего-то сорок пять».

Подумал, кстати, Кузьма и о том, что долгое пребывание на одном месте, в одном районе, привычка к людям и обстановке, неизменно притупляют восприятие. Так, живя в городе, словно перестаешь слышать шум машин, а тишину начинаешь ощущать как нарушение обычного, заведенного порядка. Засиживаться в этих краях не входило в расчеты Свечина. Работу инспектора уголовного розыска в глубинке он считал своего рода стажировкой для своей будущей деятельности.

Прислонившись спиной к гладкому стволу, Кузьма прикрыл глаза. Вернулись усталость, боль в висках. Теперь она казалась даже сильнее, чем прежде. До слуха долетало фыркание и бульканье купавшегося Самсона Ивановича. Потом кряхтенье и трубное сморкание, чавканье ила под ногами участкового. Протопопов вышел на берег. Открыв глаза, Кузьма увидел его тело: поджарое, без единого грамма лишнего веса, хорошо тренированное.

Одевшись, Протопопов вернулся к берегу и поднял из травы целый пук вырванных с корнями лотосов.

«Вот так», — горько усмехнулся про себя Кузьма. Вздохнув,

он лег ничком. Не хотелось смотреть ни на заводь, ни на своего спутника. Усталость, досада и какое-то тоскливое разочарование обессилили Кузьму.

Голос Самсона Ивановича послышался как бы издалека:

— Сварим корневища. Отлично вместо хлеба сойдут.

Свечин не ответил. Незаметно для себя он словно провалился в сон. Привиделась какая-то ерунда: по Нилу плыли белые крокодилы и пожирали лотосы — яркие, пунцовые, буд-то канны на городских клумбах. По берегам Нила почему-то стояли пирамиды, а меж ними сфинкс с разбитой мордой мопса оглушительно хохотал, выл.

Вскочив, Кузьма и наяву продолжал слышать вой и треск. Вихрь едва не сбил его с ног. Наконец он понял, что над поляной завис вертолет. Кто-то распахнул дверцу, выбросил веревочный трап, знаками приказал им подняться на борт. В оглушительном треске и урагане от винта Свечин и Протопопов забрались по веревочной лестнице в кабину. Там, к изумлению Свечина, их встретил следователь районной прокуратуры Остап Павлович Твердоступ. Вместо приветствия следователь потрепал их обоих по плечам. Затем он уселся рядом с Самсоном Ивановичем и стал что-то кричать тому на ухо. Кузьма ничего не мог разобрать, хотя и сидел совсем близко.

По виду Самсона Ивановича он догадался, что стряслось нечто чрезвычайное. Резче обозначились морщины на лице участкового, словно свитом из канатов. Подождав, пока Твердоступ закончит разговор с Самсоном Ивановичем, Кузьма дотронулся до плеча следователя. Тот наклонился к Свечину:

— Нашли труп... У Радужного...

— Убийство? — спросил Кузьма.

— Похоже на несчастный случай. Надо разобраться, — неохотно ответил Твердоступ.

Они летели минут тридцать. Потом машина зависла. В иллюминаторе виделись рыжие скалы, похожие на столбы. Из кабины пилотов вышел плотный человек в кожаной куртке и, открыв дверь, выбросил трап. Твердоступ знаками показал: надо выходить. Ураган от винта мотал веревочную лестницу из стороны в сторону, и приходилось подолгу ловить ногой очередную ступеньку. Свечин спустился первым и сразу же отбежал в сторону. Потом добрались до земли Самсон Иванович и следователь прокуратуры. Вертолет боком отлетел на другой берег реки и сел на длинной косе.

Грохот мотора стих, но в воздухе продолжал слышаться мощный, непрерывный гул. Кузьма не понял сначала, откуда он доносится. Взглянув вверх по реке, увидел зеленый блистающий занавес водопада. Отсюда, издали, занавес казался неподвижным, замершим. И не было видно места, куда обру-

шивалась лавина. Его загораживали камни. Седыми, будто кисейными клубами поднималась водяная пыль, и время от времени в ней разгоралась яркая радуга. Она всыхивала неожиданно, словно кто-то зажигал ее то в глубине ущелья, то над водопадом, и так же быстро пропадала.

Скалы стояли около водопада полукольцом — высокие, ржавые столбы с широкой полосой осыпей у подножия.

«Страховидное местечко... — подумал Кузьма. — Каменная мышеловка! Надо быть либо совсем неопытным человеком, либо отлично знать этот лабиринт...»

Самсон Иванович, стоявший рядом с Кузьмой, тоже глядел на Чертовы скалы, словно увидел их впервые.

— Труп мы оставили на месте, — сказал подошедший вперевалку Твердоступ. — Вы, Самсон Иванович, хорошо знаете погибшего Дзюбу. Нам не понятно, зачем ему понадобилось забираться в эту ловушку.

Из нагромождения камней, перепрыгивая с обломка на обломок, вышел Степан Евдокимович. Кивнув в его сторону, Остап Павлович сказал:

— Не обрати он внимания на слова Крутова, вряд ли мы скоро узнали о гибели Дзюбы. Экспертиза теперь еще может более или менее правильно определить причины, повлекшие за собой смерть. А у вас неплохие помощники. Действовали как надо.

— Дзюбу опознал он? — спросил Протопопов.

— Еще бы мне Петра Тарасовича не знать, — улыбнулся Степан Евдокимович. — Только первым руку его в камнях Илья Ильич увидел. За ним — Леонид. А потом уж я.

— А где же...

— Илья Ильич с Леонидом? Внизу, у реки. Получилось же так!.. Сын отца опознавать приехал... Тяжко ему... Все-таки отец...

— Котомка Дзюбы цела? — обратился к следователю Самсон Иванович.

Твердоступ кивнул:

— В ней четырнадцать корней женьшеня. Отличные экземпляры!

— Жаль, что вы развязали котомку, — раздумчиво проговорил Самсон Иванович.

— Сначала ее сфотографировали, — быстро вставил начальник «аэропорта», увлекшийся расследованием.

Кузьму несколько удивило, с каким уважением Твердоступ относится к замечаниям Самсона Ивановича.

— Спасибо за помощь, товарищ Шматов, — сказал следователь.

Сообразив, что он слишком навязчив, Степан Евдокимович несколько обиженно пожал плечами и отошел.

— У меня такое ощущение, что произошел несчастный случай,— продолжал Твердоступ.— Пока я так думаю.

— Возможно. Карабин здесь... Котомка целая...

— Интересно и другое, Самсон Иванович,— сказал Твердоступ.— Вы, товарищ Свечин, тоже обратите внимание... Котомка была завязана и находилась у костра. Она, очевидно, просто осталась лежать у костра, когда потерпевший почему-то вскочил и побежал в скалы.

— Вскочил? — переспросил Кузьма.— Почему вы так думаете?

— Вы сейчас увидите — у него пепел на шнуровке олочи, на голени.

И они вчетвером направились к скалам, в лабиринте которых находился труп.

Прыгать с обломка на обломок оказалось делом нелегким и не безопасным.

— Иди за мной! — бросил Самсон Иванович, поравнявшись со Свечиным.— Здесь торопиться — не доблесть.

Послушался Кузьма безоговорочно: теперь он до конца осознал смысл фразы следователя: «Непонятно, зачем ему понадобилось забираться в эту ловушку».

За поворотом у подножия столба, в осыпи, они увидели обезображенный камнепадом труп.

Эксперт то и дело ослепляюще вспыхивал блицем, чертыхаясь, спотыкаясь о камни, отыскивая нужные точки для съемки. Молоденькая невысокая докторша стояла поодаль.

— Вот так он и лежал,— проговорил Остап Павлович.— Видимо, обвал настиг его на бегу. А вы как думаете?

— Похоже,— согласился Самсон Иванович.— Карабин валялся от него метрах в двадцати?

— Не больше. Получается так: он выстрелил и опрометью бросился в расселину, на верную гибель. Обвал ведь мог возникнуть от звука выстрела,— сказал Твердоступ.

Обернувшись, Свечин с сомнением осмотрел путь, который пришлось преодолеть Дзюбе после предполагаемого выстрела, и сказал:

— Мы сюда добирались секунд двадцать... Камни обвала рухнули бы раньше...

— Резонно...— заметил Твердоступ.— Но ведь он бежал. Бежал опрометью, не разбирая дороги. Бежал от костра, Смотрите...

Кузьма пригляделся. На правой ноге Дзюбы трава, вылезшая из задника олочи, обгорела. Прожжен был и суконный чулок. И что самое важное — на закраинах прожженной дырки, небольшой, с пятикопеечную монету, сохранился пепел.

— Сукно еще некоторое время тлело... уже после того, как обвал обрушился и придавил его,— сказал Свечин.

— И я так считаю,— кивнул следователь прокуратуры и обратился к Самсону Ивановичу: — А вы?

— Может, и так...

— Что же вас смущает, Самсон Иванович?

— Зачем ему было бежать опрометью в эту ловушку? Стрелять... Ведь он, наверное, стрелял.

— Да,— кивнул Твердоступ,— вот гильза. Ее нашли в двух метрах от валявшегося карабина. Вот план, Самсон Иванович. Здесь все обозначено. Это-то меня и интересует. Вы же очень хорошо знали Дзюбу. Его характер, привычки... Что, к примеру, могло заставить Дзюбу побежать в расселину, не смотря на риск?

— Легкая добыча...

— Интересно... Если так, то можно предположить: дело происходило днем. Дзюба находился у костра. И увидел... легкую добычу...

— В скалах козы, случается, бродят. Их тут много,— заметил Самсон Иванович.— И потом... Науку тайги ни за месяцы, ни за годы до конца не постигнешь. Тут так бывает. Уж казалось бы, какой опытный таежник — суперохотник. А вдруг на склоне дней такое отчебучит — диву даешься. Мало — сам пострадает, еще и товарищей подведет.

— Он мог испугаться кого-то или чего-то,— заметил Свечин.

Самсон Иванович покачал головой:

— Дзюба? Испугаться? Никогда не поверю. К тому же он был вооружен. Чего же бояться?

— Значит, легкая добыча,— констатировал Твердоступ.

— Не вижу ничего другого,— твердо заявил Самсон Иванович.

— Что ж... Если вскрытие и экспертиза не дадут ничего нового... закроем дело.

— Пойду в скалы, посмотрю, нет ли там этой легкой добычи,— сказал Самсон Иванович.

— Да, да,— согласился Твердоступ.— И потом... Ни ниже водопада, ни выше него нет лодки.

— Все-таки жаль, Остап Павлович, что вы не захватили нас с собой сразу...— попенял Протопопов.

— Честно — боялся, что общественики набедают...— несколько смущенно улыбнулся следователь прокуратуры.— Вы, товарищ Свечин, займитесь осмотром костра и пути от него до расселины.

— Я думаю, товарищ Твердоступ... мне лучше держаться с Самсоном Ивановичем,— пересилив себя, проговорил Кузьма.— Хоть я и год здесь... Но дела вел в райцентре. По-настоящему в тайге впервые. Могу упустить важное.

Часа полтора они лазали в скалах по гибельным камени-

стым осыпям, рискуя сломать себе если не шею, то ногу или руку наверняка.

Отыскиали полуразложившуюся, полурасташенную зверьем и вороньем тушу козла.

Протопопов обрадовался находке.

— Вот и «легкая добыча»! Дзюба мог только ранить козла. Побежал за добычей да под камнепад и попал.

Привели на место находки следователя и эксперта. Эксперт принялся сверкать блицем, а доктор после тщательного осмотра и записи в протокол заметила, что и в этом случае определить время гибели козла и характер ранения сразу нельзя. Нужна патологическая экспертиза.

Потом стали осматривать костер и местность вокруг него. Кострище, у которого лежала котомка Дзюбы, находилось в глубине поляны, далеко от обрыва, где гудел водопад.

— Здесь, как правило, местные останавливаются, — сказал Самсон Иванович. — Ты записывай по ходу, быстрее будет. Кострище старое. Ему уже сколько лет... А вот полено... отброшено.

— Ну и что? Головня, может.

— Еловое полено. Такое таежник в костер не положит. Стреляет еловое полено угольками. Недолго и одежду прожечь.

— И у Дзюбы есть прожог, — напомнил Кузьма.

— Да, но полено-то зачем ему класть в костер? Чтоб выкинуть? Нет, тут новичок был. С кем-то из опытных. Должен здесь был быть новичок. Ага... Банка из-под консервов знакомая... Вот упрямица!

— Кто? Вы о ком, Самсон Иванович?

— О Наташке. О дочке. Она любительница лосося в собственном соку. Обычно рыбных консервов в тайгу не берут. Капризные — портятся. Да и свежей рыбы много. Наловить можно. Может быть, они с напарницей по ошибке сунули в костер еловое полено?

— Еще банки из-под консервов. Две. Мясная тушенка. Семипалатинская. Вымыты дождями начисто.

— Семипалатинская? — переспросил Самсон Иванович.

— Да.

— А открыта как? — Взяв в руки банку, Самсон Иванович принялся рассматривать срез. — Дождь сильный был месяц назад... Срез... Семипалатинские мясные... Их получили метеорологи. Станция здесь неподалеку. Пятьдесят километров. Нож, которым консервы эти открывали, не самодельный, заводской. Старый. Из отличнейшей стали...

— Вы знаете, чей это нож?

— Да. Телегинский. Метеоролога Телегина. «Шварцмессер».

— Немецкий? — Кузьма так и подался вперед. — В переводе «черный нож».

— Уральский. В войну уральцы послали на фронт танковую бригаду. На свои деньги полностью укомплектовали, экипировали часть. В комплект обмундирования входил и нож в черном кожаном футляре. Нашим уральским золингеновский знаменитый как палку строгать можно было... Сталь под стать ребятам-танкистам. Их фрицы пуще огня боялись. А за ножи — не было таких в других частях — фашисты и прозвали бригаду «Шварцмессер»... Охотникам нашим ножи кузнец Семен делает. Тоже отличные. Из рессорной стали...

Самсон Иванович присел около банок, стал присматриваться к характерам срезов.

— Одну банку открывал Телегин. Сам. А вот вторую — кто-то другой. Телегин, тот воткнул нож, повернул банку — и готово. А второй этак пилил. И нож другой. Да и банка не так сильно поржавела, как первая.

Свечин, который записывал в блокнот замечания Протопопова, покусал кончик карандаша:

— Может, первая с прошлого года осталась?

— Нет. Поздней осенью я на всякий случай чищу поляну. Чтоб не путаться. А зимой охотники консервов с собой не берут. Эти баночки для меня что карточки визитные. Пришел человек в Спас — назвался, отметил. Я о снаряжении расспрошу, об экипировке... Потом уж тут для меня секретов нет. Был тот-то. А вот эта банка... Консервы одни и те же... — Самсон Иванович сравнил выдавленные на крышках цифры и буквы — индекс выпуска. — Кто ж их открывал? Кто тут был?

— Может, этот Крутов? Который тревогу поднял.

— Сомнительно... Крутов из другого района, из другой организации... И чтоб сошелся номер партии, время выпуска...

— Да... Но ведь и в реку пустую тару бросают.

— Редко. Почти никогда... Все успел записать?

— Все.

У трех других кострищ в разных концах поляны ничего существенного обнаружено не было.

— Самсон Иванович, где может быть лодка Дзюбы? — спросил Твердоступ.

— Где ж ей быть? Выше порога. Вот если ее не будет... — Протопопов поднял палец, — то Дзюбу кто-то сюда привез.

Лодка действительно оказалась за порогом. Она была вытаскана высоко в тальник.

— Мог ли Дзюба один втащить лодку так высоко? — спросил Остап Павлович.

— Дзюба мог, — не задумываясь, ответил участковый.

В лодке были и шест и мотор, покрытый брезентом. Все в полной сохранности.

— Экспертизу у нас в больнице будете проводить? — поинтересовался Протопопов. — Тогда уж Матвея Петровича пригласите.

— Само собой, — кивнул Твердоступ. — Сдается мне, что результат будет один — установим одновременность смерти Дзюбы, погибшего под обвалом, и козла, которого он ранил.

— Вроде так... — согласился Протопопов. — Коли корешки в котомке целы.

— Вы знаете, где его дружки корнюют?

Самсон Иванович кивнул:

— Не вовремя он ушел из бригады...

— Заболел... Простыл... — предположил Твердоступ.

— Петро Тарасович?!

— Хоть бы и так. Что, Петро Тарасович заветное слово знал?

— Знал: «женьшень». Таких стариков, как он, ничем не проймешь. Корешки их не только кормят. Они и себе их оставляют. Пользуются.

— И не только государству сдают, но и поторговывают, — в тон Самсону Ивановичу протянул Твердоступ.

— Лицензий на женьшень нет. Корень — не шкурка, клейма на нем не поставишь.

— Вы сказали, что Дзюба не вовремя ушел из бригады? — спросил Остап Павлович. — Как это «не вовремя»?

— Сезон в разгаре — середина августа. Если ушел, то или на самом деле совсем лихо ему стало, или, может, пофартило. Скорей всего, последнее. Корень хороший, крупный нашел. Граммов на сто пятьдесят. С таким бродить в тайге опасно.

— Опасно? — спросил Кузьма.

— Для корня. Подпоить, подмочить то есть, можно. Поломать. Половина цены долой. И только. Да... Однако, и заболеть мог... Матвей Петрович, помнится, говорил, что печень у Дзюбы шалит. А ему как не верить? Звание заслуженного врача республики ему присвоили небось не за то только, что он безвылазно сорок лет на одном месте проработал. Матвей Петрович — врач замечательный... И научную работу ведет. Говорили, что вот-вот доктором наук станет.

— Есть у меня предложение, Самсон Иванович, — сказал следователь. — А не пойти ли вам с инспектором Свечиным к корневищам? К Храброву и Калиткину...

— Как же... как же... Если что... и если запираяться начнут, то как расскажу о Дзюбе... Одно им останется... Либо корни потерять, либо правду сказать. Тем более, что намерений-то их мы не знаем — как они хотели с корнями распорядиться. Можно и к ботаникам добраться, и на метеостанцию... Ангирчи увидеть можно.

— Заманчиво... Старик Ангирчи очень наблюдательный, — сказал Твердоступ. — А корешки в котомке вы, Самсон Иванович, посмотрите. И оформим их актом.

— Как же... как же...

Подойдя к котомке Дзюбы, Самсон Иванович поднял ее за лямки, словно взвесил. Потом стал доставать из нее лубянки — конверты, сделанные из лубодерины. Сверху они были аккуратно перевязаны лыком, чтоб не раскрылись ненароком. Двенадцать лубянок. Самая большая — со сложенную вчетверо газету. В каждом конверте лежал закутанный мхом корень, чем-то похожий на крохотного воскового человечка: один напоминал стоящего на посту солдата, другой выглядел словно моряк на палубе штормящего судна, третий как бы заложил ногу за ногу, четвертый танцевал...

Самсон Иванович осторожно брал корни и взвешивал по одному на аптекарских весах, взятых из котомки Дзюбы. Весы — часть экипировки искателя женьшеня, как и костяные палочки, которыми выкапывают корень.

— Не так уж и велика добыча... — сказал Самсон Иванович, закончив взвешивание. — Из-за такой не стоило торопиться в заготконтору. Явно не стоило. Дзюбу заставило выйти из тайги что-то другое.

*

Перед тем как отплыть к искателям женьшеня, Самсон Иванович сказал следователю:

— Выясним, пропало ли что из котомки, и тут же дадим вам знать. Лодку корневищикам оставим — ихняя. Ну, а нас, как договорились, вертолетом вывезете. Погода вроде не должна подвести.

— К тому времени и у нас многое станет ясным. А вы, товарищ Свечин, рацию берегите, — улыбнулся Твердоступ стройному лейтенанту, на котором новехонькая форма сидела словно на магазинном манекене — не обмялась, не приладилась.

Кузьма ответил весело, с задором:

— Как зеницу ока!

Движок заработал сразу. Плоскодонка резво отошла от берега.

По-осеннему радужные берега, поднимавшиеся вверх от синей реки, выглядели равнодушными, безжизненными.

Разговаривать с Самсоном Ивановичем, сидевшим на корме у гремящего мотора, было невозможно.

Следователь прокуратуры и Самсон Иванович, должно быть, правы: с Дзюбой произошел несчастный случай. Позарился старый на «легкую» добычу — козла. Выстрелил в него, а тут обвал. Не всегда он начинается лавиной: пока-то каму-

шек по камушку ударит. А Дзюба кинулся в расселину сразу. Вот и угодил в самое пекло. Их же поездка — необходимая формальность, без которой дела не закроешь.

Но для него лично поездка значит очень много. У Самсона Ивановича есть чему поучиться. Недаром же он больше двадцати лет проработал в тайге.

Солнце оказывалось то справа от Кузьмы, то слева, било в глаза и грело затылок. Высота берегов и гор, вздымавшихся по сторонам, менялась, и Кузьма потерял ориентировку и даже чувство времени, а когда взглянул на часы, понял: плывут они уже шесть часов с лишним.

Самсон Иванович размышлял о своем и по-своему. В глубине души ему как-то не верилось, будто все происшедшее с Дзюбой — несчастный случай. Петро Тарасович был человеком осторожным, осмотрительным.

Похоже, есть сомнения и у следователя, но ощущение — это еще не доказательство.

«Легкая добыча»? Может быть. Плюс ошибка от самоуверенности. Может, может быть.

Они пристали к берегу, когда солнце скрылось за горный хребет. Самсон Иванович достал из котомки моток серебряной нейлоновой лески, из-под подкладки фуражки — крючок и велел Кузьме наловить рыбы на перекате, уху сварить.

— А я пока к Ангирчи схожу.

— Он живет неподалеку? — поинтересовался Свечин.

— Пантовал здесь. Панты теперь сушит. Ждет охоты на реву. А живет... Вся тайга — его дом. Он вроде шатуна. С чудинкой человек. Вон его бат в кустах стоит, припрятан.

— Какой бат?

— Лодка большая, долбленная из целого тополя.

— А-а... — протянул Кузьма, недовольный собой, что не заметил укрытой в прибрежных кустах длинной лодки.

— Посмотри, Кузьма, спички у тебя не подмокли?

— Сухие. Жаль, лопатки нет.

— Зачем тебе?

— Червей накопать. На наживку.

— Мух налови. Шмелей.

— У реки их нет.

— Вон около бата должны быть.

— Откуда они там? — хмыкнул Кузьма.

— Мясо там спрятано. Не за одним же изюбром пришел сюда Ангирчи! Накоптил, поди. И для себя и на продажу, чтоб припасы на зиму купить. Да леску не режь!

— На одну удочку ловить?

— Хватит, — улыбнулся участковый. — Я скоро. Чуешь, дымком пахнет?

— Нет, — признался Кузьма.

Самсон Иванович ничего не сказал и пошел по галечнику к береговым зарослям, высокий, сутуловатый. Камни под его сапогами не скрипели, не постукивали. Вздыхнув, Свечин тоже двинулся к зарослям — срезать удилище. Справив снасть, Кузьма с превеликим трудом поймал пяток мух и вышел к перекату. Приглядевшись к прозрачной воде, увидел стоящие против течения рыбины. Сначала одну, потом еще и еще. Различить их на фоне пестрого галечного дна было не так-то просто: веселого цвета радужный плавник как бы рассекал рыбу надвое. Серо-зеленый хребет и пятнистая буро-желтая голова довершали мимикрический наряд.

Прочно нацепив на крючок одну из пяти так трудно доставшихся ему мух, Свечин закинул леску. Муха коснулась воды у самого уреза, но стремительное течение подхватило ее и понесло на быстрину, туда, где стояли рыбы. Забрасывая удочку, Кузьма потерял добычу из виду и теперь старался угадать, увидят ли рыбы наживку. И вдруг меж витых струй выскочила из реки серебристая, с радужным отливом рыбина и, описав короткую дугу, исчезла. Леска тут же натянулась, и удилище едва не выскользнуло из рук Кузьмы. Свечин дернул. Рыбина вновь выскользнула из витых струй переката, будто только для того, чтоб глянуть на Кузьму крупным ошалелым глазом, и скрылась. Свечин, вываживая, попятился.

Наконец у берега показалась крупная пятнистая голова. Рыба остервенело билась на гальке, пока Кузьма не исхитрился оглушить ее ударом камня.

Так он поймал еще три рыбины. В меру своего умения Кузьма выпотрошил, почистил их, поставил варить уху.

Хотя солнце давно уже закатилось за сопки, темнело исподволь. Небо меркло медленно. Река выглядела светлой полосой.

Сообразив, что уху надо чем-нибудь заправить, Кузьма полез в котомку Самсона Ивановича за пшеном и наткнулся на перевязанный бечевкой конверт из тополиной коры. Свечин пощупал его, понюхал, подавил. Кора была свежая, лежало в ней что-то упругое, пахло деревом и еще чем-то странным. Из лубяного конверта торчала лохматушка мха, а на ней светилося что-то пестрое, сухое, похожее на крылышко мотылька.

«Откуда это?» Кузьма был готов поручиться, что еще вчера тополиного конверта в котомке не было. Ведь он укладывал продукты да еще забыл сухари.

Уха получилась на славу, как считал Кузьма, только в юшке оказалось много чешуи, и приходилось то и дело отплевываться.

Похвалили уху и участковый с Ангирчи. Когда тот вместе с Самсоном Ивановичем вышел из кустов, Свечин поначалу принял его за мальчишку-подростка. Низенький, сухонький,

со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, старичонка протянул Свечину руку лодочкой и все время улыбался.

Видимо, по дороге участковый не успел, а вероятнее всего, и не стал говорить с Ангирчи. После ужина, прошедшего в торжественном молчании, старичонка облизал ложку, сунул ее за оную и сказал:

— Вверх идете...

— К корневищам,— кивнул Самсон Иванович.

Ангирчи тоже покивал головой:

— Очень Дзюба вниз торопился. Я махнул ему, чай пить звал. Не остановился.

— Ночевать пришлось бы ему здесь. Не успел бы к Радужному до темноты.

— Зачем не успел? Рано-рано шел. Солнце над сопками не поднялось. Только свет был. Значит, ночью шел. Луна, как теперь, вполовину была. На рожденье, однако.

— Вы не будете возражать, если я запишу разговор? — спросил Свечин.— На пленку.

— Пиши, начальник. На что хошь пиши.

Прихватив свой рюкзак, Свечин сел позади Ангирчи и Самсона Ивановича и включил магнитофон. Это была его гордость — сам собрал: портативный, на транзисторах. В таких условиях вещь незаменимая. И кроме магнитофона-самоделки, есть у него «оружие» и посерьезнее. Но о нем не знает ни следователь, ни Протопопов.

Свечин задал Ангирчи несколько вопросов, заставив его повторить сказанное. Ведь старик точно назвал срок, когда Дзюба прошел здесь,— две недели назад. И время — утро. Выходит, Дзюба пришел к Радужному в полдень. Но Протопопов вроде бы не обратил внимания на слова Ангирчи. Лишь повторил:

— Торопился, наверное. Болел...

— Нет. Большая котомка был. Много корня вез.

— Много?

— Большой-большой котомка был.

— Вы ошиблись,— сказал Свечин.

— Не-ет. Ноги слаб стал, глаз — нет. Большой котомка! Много корня. Что с ним? Почему на его лодке пришли?

Самсон Иванович рассказал о гибели Дзюбы и заверил Ангирчи, что в котомке у того корней оказалось немного.

— Хунхуз объявился...— Известие о гибели Дзюбы очень взволновало Ангирчи; он, недвижимый до того и, казалось, глухой ко всему, зацокал, покачался из стороны в сторону, будто от внезапной боли.— Его ищи, Самсон.

Кузьма подался к старику:

— Кто такой «хунхуз»?

Но ответил Самсон Иванович:

— Хунхузы — бандиты. Грабили золотодобытчиков, искателей женьшеня. Были такие когда-то.

— Хунхуз Дзюбу убил, — настойчиво сказал Ангирчи.

— Почему же хунхуз этот все корни не взял? — спросил Свечин.

— Чтобы мы думали, что с Дзюбой произошел несчастный случай, — сказал Самсон Иванович. — Котомка-то полупустая, а Ангирчи утверждает — большая котомка. Только откуда и кто мог знать, когда Дзюба будет у Радужного? Ангирчи, — обратился участковый к удэгейцу, — ты здесь каждый куст знаешь... Мог Петро найти необыкновенный корень?

— Нет, однако, можно сказать. — Старичонка стал смотреть в костер. Лицо его будто окаменело. — Да — тоже можно... Если он взял корень... Корень мог и сорок соболей стоить.

— Откуда ты знаешь про такой корень?

— Мой много знай, мало говори... Посмотреть, однако, надо... Своими глазами гляди. — И Ангирчи замолк, будто склеил губы.

Свечин задал ему еще несколько вопросов, но Ангирчи будто и не слышал его.

Кузьма выключил магнитофон, поднялся, взял чайник:

— Я за водой...

Он понял: разговор, собственно, окончен.

Подойдя к воде, Кузьма уловил мягкое, редкое и глухое постукивание. Он долго прислушивался, пока не понял, что это камни под водой бьются друг о дружку. Сильное течение тащит гальку по дну.

Когда огонь взвивался особенно высоко, на быстрых струях речки мелькал пляшущий свет костра. Звезды отражались в воде нервными, дергающимися черточками.

«С норовом старичок, — думал Кузьма. — Но что-то он знает... Или догадывается? Может быть, подозревает, но не хочет говорить? Да, норовистый старик».

Пока Кузьма был у реки, около костра не обронили ни слова. Подвесив чайник над огнем, Свечин глянул на лица сидящих и поразился их окаменелой похожестью. Даже мечущиеся отсветы пламени не оживляли их, как это обычно бывает.

Закипел чайник. Кузьма достал из рюкзака заварку, бросил в бившую ключом воду. Крышка запрыгала, пена фыркнула через край. Не успел Свечин сообразить, чем снять чайник с рогульки, как Ангирчи взялся голый рукой за дужку висящего над огнем чайника и поставил его на землю. Пальцы его были точно железные, в движениях не чувствовалось ни тени торопливости, будто дужка холодная. Ангирчи спросил:

— Зачем вы его лодку взяли?

— Корневщики на ней вернутся, — ответил Самсон Иванович.

«Ведь сейчас. Протопопов фактически сообщил Ангирчи, что они попадут в Спас другим путем, другим способом,— подумал Свечин.— Сообщил, что они уже не встретятся больше с ним, Ангирчи... Зачем старичонке это знать?»

Спать Ангирчи улегся в своем бате. Милиционеры устроились на лапнике у кустов. Проснулся Кузьма от холода и сырости. Едва светало. Река приукрылась туманом.

Вскочив, Свечин принялся пританцовывать и хлопать себя ладонями по плечам. А ведь он был в ватнике. Подойдя к бату, Кузьма увидел, что охотника нет. Забыв о холоде, Свечин заспешил к Протопопову:

— Ангирчи ушел!

— Ему некогда — охота,— спокойно ответил Самсон Иванович.— Не надо беспокоиться.

— И все-таки я хотел бы знать, почему вы...

— Почему отпустил его?

— Я хочу знать...

— Вы хотели бы поступить опрометчиво? Ангирчи не причастен к этому делу.

Потом они сели в лодку и поплыли вверх по реке. Вечером за ужином Самсон Иванович сказал:

— Отдохнем часа два и пойдем дальше.

— Ночью? В темноте?

— Луна взойдет после полуночи,— ответил Самсон Иванович.

Кузьма внимательно посмотрел на участкового. Свечина не в первый раз поражали решения Самсона Ивановича. Так же удивляло его и собрание книг в библиотеке участкового: полка накопленных годами изданий «Роман-газеты», тома «Истории войны на Тихом океане», военные мемуары, комплекты юридических журналов. Все это не вязалось с представлениями Кузьмы об участковом инспекторе в «глубинке», самим обликом Протопопова.

Он, Кузьма, конечно, другой. Он-то должен знать очень многое. Но он, Свечин, и не собирается «завязнуть» на своей должности. И потом, он и мысли не допускал, что можно провести сравнение между ним, Кузьмой Семеновичем Свечиным, и Протопоповым.

А Самсон Иванович глядел в огонь костра, слишком жаркий и слишком желтый. Понимал — быть завтра грозе — и радовался, что будет гроза, а не нудный обложной дождь. Поэтому он и решил идти ночью, когда взойдет ущербная, но еще довольно яркая луна. Размышлял Самсон Иванович и о Свечине. Он жалел Кузьму. Он не раз встречал молодых людей, которые, приобретая знания, считают, что проценты от этих знаний прежде всего ложатся ступеньками карьеры, их жизненного успеха.

И можно ли вот так, как Кузьма, мерить жизненный успех, счастье в жизни метрами и сантиметрами служебной лестницы?

И потом, где она, мера человеческих способностей? Сам-то человек что Микула Селянинович — кажется ему похвальба правдой... И на чем старухе рыбачке следовало остановиться? На новом корыте, избе, на боярских, на царских хоромаш? А? Ведь никто не знает, где предел возможностей его «золотой рыбки» — таланта.

В какой-то книжке, за давностью уже и забыл какой, он читал мудреную и мудрую притчу, как один человек задал дьяволу вопрос: «Кто самый великий полководец на земле во все времена?» А дьявол показал на холодного сапожника, что сидел на углу улицы: «Вот он — самый великий полководец во все времена. Только он не знает об этом».

«Ну, а ты? — спросил сам себя Протопопов. — Участковый. Не плохой, если верить начальству, участковый... И будь доволен!»

— Самсон Иванович...

Протопопов перевел взгляд с играющего пламени костра на Свечина. Очевидно, Кузьма уже несколько раз обращался к нему и теперь дотронулся до его плеча, чтоб вывести из задумчивости.

— Самсон Иванович, что за конверт из коры у вас в рюкзаке?

— Лубянка. В ней корешок женьшеня.

— Откуда?

— Из котомки Дзюбы. Совсем крошечный корешок. Года два. Не принято такие брать.

— Разве не всякий вырывают?

— Умный корневищик — не подряд. У умных корневищиков свои плантации есть. По десять, по двадцать лет ждут, пока подрастет женьшень. Найдут вот такой, к примеру, корень. Крошечный. Выкопают его, пересадят в тайное место. Ухаживают.

— А если кто другой выкопает?

— Узнают, кто выкопал... Могут и убить за такое.

Кузьма подивился спокойствию, с которым участковый проговорил эти слова, спросил:

— И не грабят плантаций?

— Свой кто наткнется случайно — не тронет. По свежим затескам на деревьях увидит — не бесхозная плантация. По посадке корней увидит, по уходу. Не возьмет. Да и хозяин бывает неподалеку. Плантация что огород — завел, так и кормишься с нее. Уж не корни, семена подсаживает.

— Вы знаете таких кладовладельцев? Да и сколько стоит, ну, средняя плантация? — с интересом спросил Свечин.

— Ни их жены, ни дети не знают, где плантация. Редко когда сыновей посвящают в тайну. Перед кончиной обычно, или уж ног таскать не станет корневищник. А случись что с хозяином — все в тайге в тайне останется... — Искося взглянув на Кузьму, Самсон Иванович усмехнулся: — А стоимость... И до десятков тысяч может дойти. Сколько корней, смотря какой возраст... Бывало, натыкались на старые плантации. Фартило... Не при мне, стороной слышал. Оценивали такие плантации в самородок золота с конскую голову величиной.

— Но ведь, Самсон Иванович, иметь плантацию — государственное преступление! — воскликнул Кузьма. — Существует закон, по которому...

— Да. Статья сто шестьдесят семь Уголовного кодекса. Но в ней ничего не говорится о женьшене, хотя он дороже золота, металлов и кое-каких камней. «Нарушение отдельными гражданами правил сдачи государству добытого ими из недр земли золота или других драгоценных металлов или драгоценных камней...» Не относится женьшень и к кладам. Так-то. Никто, кроме самого корневищника, не знает: сколько он нашел, сколько сдал государству, сколько себе оставил... И сколько на сторону за хорошие деньги сбыв.

— Не представляю! — нервно передернул плечами Кузьма. — Корешок травы — и такая ценность! Десятки тысяч рублей денег!

— Молоды... — проговорил Самсон Иванович. — Молоды!

— Чтобы понять?

— Нет. Вот Владимир Клавдиевич...

— Кто?

— Арсеньев. «Дерсу Узала» читали?

— А... Читал.

— Так он писал, что на строительстве железной дороги был найден корень в шестьсот граммов! Редчайший из редких. Его тогда за границу за десять тысяч золотом продали. Это, считай, тысяча соболей. И не в деньгах дело... Когда старость да болезни корезить начнут, никаких денег человек не пожалеет. Деньги...

— Что ж, он от смерти спасает, женьшень?

— Как считать... — протянул Самсон Иванович. — Прошлой зимой запаролся я в промоину. По грудь вымок. Дело уж затемно было. До займки — километров восемнадцать. А мороз. Только к утру до тепла добрался. И хоть бы чихнул.

— Женьшень принимали?

— С осени.

— Случай... — Кузьма даже рукой махнул.

— Больно много случаев... Пора нам, — нахмурившись, бросил Самсон Иванович и добавил, будто про себя: — Такой корень, про который Ангирчи говорил, должен граммов четы-

реста с гаком весить. Это уже государственная ценность. Та-
ежная реликвия. В музеях таких нет. Слышал я о находке в
четыреста граммов. Но если Ангирчи угадал, то Дзюба нашел
побольше.

Взяв котелок, чтобы пойти за водой и залить костер, Све-
чин сказал:

— Кто же такой корень купит?

— Государство.

— Я не про то...

— А-а... Покупают же «Волги». Для удовольствия. А ко-
решок может лет десять жизни подарить. Кто с умом его при-
нимает. Молод ты, здоров. Вот и не веришь.

Вернувшись, Свечин залил костер, но Самсон Иванович не
торопился с отправлением в ночное плавание.

Быстро взошел большой тусклый серп луны. Но, постепен-
но поднимаясь, он делался серебристее, ярче. Стали различи-
мы отдельные кусты, а легкая туманная дымка, пологом про-
ступившая над рекой, еще сильнее рассеяла свет.

Мотор застучал раскатисто и басовито. Ясно зашелестела
вода, расталкиваемая тупым носом плоскодонки. Протопопов
повел лодку не быстро, но уверенно. Он хорошо знал стрежень
реки. В блеклом, неверном свете он без особого труда находил
дневные ориентиры.

Долина реки быстро сузилась. Берега взмыли вверх. Если
бы не туманная дымка, рассеивавшая свет, то в ущелье, где
по-медвежьи урчала вода, было бы совсем темно.

Подавшись вперед, крепко сжав рулевую ручку мотора,
Самсон Иванович взглядом и на слух прощупывал реку перед
собой.

Потом, к заре уже, берега расступились. Протопопов за-
жал ручку мотора под мышкой, набил трубочку, закурил.

Устроившись около средней банки, Кузьма спал.

Не мог предполагать тогда Самсон Иванович, что два дня
спустя он и Свечин будут едва не ползком искать на здешних
берегах следы, смытые ливнем.

*

Леонид сказал неожиданно и резко:

— Хватит спорить! Чего тут торговаться?! Не бросать же
лодку здесь. Давайте я спущусь в Спас на лодке...

Твердоступ, Илья Ильич и начальник «аэропорта» пере-
глянулись и почувствовали себя неловко. Настало время от-
лета, но все еще было неясно, кто отправится на вертолете,
а кто погонит лодку.

— Я серьезно. Доберусь за двое суток до Спаса,— повто-
рил Леонид.

— Гм... гм... Нехорошо получается.

Остап Павлович подумал, что у Леонида, наверно, обо-
стренное чувство товарищества. Это, конечно, очень хорошо,
но Леониду следовало подумать о своей матери, на которую
так внезапно обрушится удар, а рядом не окажется самого
родного и близкого человека — сына... И в то же время Сте-
пану Шматову надо как можно скорее попасть в Спас — дела.
И у Ильи Ильича — тоже.

— Гм... Остап Павлович, — откашлявшись, сказал предсе-
датель сельсовета, — дайте листок бумаги. Без справки его
ведь не похоронят. И печать со мной...

Степан Евдокимович, горячившийся почему-то больше дру-
гих, отошел в сторонку.

Махнув рукой, Леонид поморщился, промолвил безраз-
лично:

— Как хотите... Мне все равно.

По реке погнал лодку Илья Ильич.

В Спасе Остап Павлович передал в райотдел внутренних
дел, что сигнал Крутова подтвердился — обнаружен труп, и
просьбу: выяснить личность этого Крутова, поскольку не яс-
ны обстоятельства, при которых он обратил внимание, что у
Радужного «смердит».

Ни гостиницы, ни Дома приезжих в селе не было, и Твер-
доступ по приглашению Антонины Александровны остано-
вился у Протопоповых. Остап Павлович попросил Шматова дать
ему список фамилий пассажиров, улетающих из Спаса в по-
следний месяц. Их было не много — всего восемь человек.
Твердоступ встретился с ними и поинтересовался целями их
отъезда, их отношением к Дзюбе. Второе получалось как бы
ненароком. Гибель Дзюбы в Чертовых скалах жители Спаса
восприняли так же, как и Самсон Иванович: считали, что по-
гнулся Петро Тарасович за легкой добычей. Это никем не
оспаривалось. Говоря о Дзюбе, люди даже слово «деньги»
употребляли на его манер: «гроши».

— Гроши он любил...

— Где пахнет грошем, тут Дзюбу понукать не надо...

— Он всякий грош до копицы, до кучи нес...

— Он все больше по договорам: охота, женьшень, панты,
бархат...

— Только на себя мужик надеялся...

— Сбочь от людей шел...

Часу в одиннадцатом вечера в комнату, где расположился
Остап Павлович, пришли доктор, выезжавшая на осмотр
места происшествия, и местный врач-нанаец Матвей Петро-
вич. Они закончили вскрытие тела Дзюбы.

— Вот протокол вскрытия, — сказала Анна Ивановна. —
Никаких свидетельств, что смерть Дзюбы произошла от нане-

сения ему огнестрельных или ножевых ранений, нами не обнаружено. Однако у Матвея Петровича есть кое-какие сомнения...

— Вы это занесли в протокол? — спросил Твердоступ.

— Да, — ответил врач.

— В чем дело, по-вашему, Матвей Петрович?

— Сомнения — не доказательство, Остап Павлович... — начал доктор. — Тем более, состояние трупа... Я считаю, что нужно провести дополнительно тщательную химическую и гистологическую экспертизу. Но в наших условиях это, к сожалению, невозможно.

— Вы, Матвей Петрович, предполагаете, что...

— Отравление.

— А вы, Анна Ивановна?

— Здесь у меня нет твердого мнения, хотя согласна, что гистологическую экспертизу провести совершенно необходимо. Это поможет установить более или менее точно время гибели Дзюбы. А также злополучного козла...

— Да... — ответил Твердоступ, подумав: «Не получается, выходит, несчастного случая... Впрочем...» — И Остап Павлович обратился к Матвею Петровичу: — А что-либо о характере отравления можно сказать?

— Об этом может с уверенностью говорить лишь химик.

— А все-таки... Как вы думаете?

— Характер яда — психотропный... действующий на нервную систему. Но не только на нее. Так сказать, яд с широким спектром действия. Обычно такими ядами являются растительные. Характерные признаки указывают на цикуту.

— Съел случайно что-нибудь? — спросил Твердоступ.

Матвей Петрович пожал плечами.

— Что ж... — поднялся Твердоступ, а за ним и врачи. — Благодарю. Отправьте все, что нужно, в крайцентр...

Через несколько дней прилетел инспектор краевого управления внутренних дел Виктор Федорович Андронов. С собой он привез результаты гистологической и химической экспертизы. Предположение Матвея Петровича подтвердилось: до того, как Дзюба попал в обвал, его отравили. Точнее, Дзюба выпил спирт, в который подмешали яд — цикутотоксин.

Розовощекий, улыбчивый Виктор Федорович появился в знакомом ему доме Протопоповых — как показалось Остапу Павловичу, уже привыкшему к глуховатой тишине, — чуточку шумливо.

Он «подселелся» к Остапу Павловичу. Они знали друг друга еще по тому времени, когда Виктор Федорович только что начал после демобилизации свою работу в милиции участковым и был «соседом» Самсона Ивановича.

Чай пили в своей комнате, чтобы не мешать хозяйке,

а главное, обсудить дело. Выводы экспертизы, подтвердившие догадку старого врача Матвея Петровича, многое меняли.

— С Крутовым беседовали? — спросил Остап Павлович.

— Сначала его надо найти, — улыбнулся Андронов.

— В бегах?

— Вроде нет. Он действительно десантник-пожарник. И действительно торопился. Крутов был в тайге около двух недель. Вернувшись, в тот же день оформил отпуск и уехал с женой отдыхать. А вот куда — неизвестно. Говорили, будто отправятся — ближний свет! — на Черное море. То ли в Сочи, то ли в Ялту. Писать не обещали. Некому. Ищем.

— Может быть, это ловкий ход? — вздохнул Твердоступ. Не нравилось ему, очень не нравилось, что люди отправляются в вояж за тысячи километров, не сказав куда.

— Вы ведь, наверное, тоже время не теряли, Остап Павлович?

— Поговорил со многими... О Дзюбе. Ну и с теми, кто последний месяц выезжал из Спаса. Ничего особенного. Но сам покойный был человеком своеобразным. Мягко выражаясь.

— Такого типа не забудешь и через пятнадцать лет. Все греб и греб к себе. Так уж руки у него устроены...

— Но сейчас он мертв...

— Да, и умер он все-таки не от отравления. Он был еще жив, когда на него обрушился камнепад. Вот ведь в чем дело, Остап Павлович. Ранения, полученные Дзюбой, погубили его раньше цикуты. Я побывал перед отъездом у экспертов. Они назвали одно-единственное растение, которое содержит цикутотоксин, — вех. Он распространен по всей России. От Балтийского до Охотского моря.

— Таежники, бывает, долго сидят без еды, — как бы про себя рассуждал Твердоступ. — Однако если ты едешь по реке, можешь остановиться, чаю попить. В котомке сухари, копченое мясо. Отличное, Виктор Федорович... Выходит, Дзюба спешил. Очень. Гнал во все тяжкие, чтобы успеть куда-то, к кому-то. Куда?..

— Может быть, и не к Радужному. Может быть, в Спас.

— Да... Но он был отравлен. Следовательно, есть отравитель. Почему Дзюба отравлен и кто его отравил? А пока мы не знаем даже, зачем или почему он спешил.

— Я слышал, — заметил Андронов, — что вехом травились дети и туристы. По недоразумению. Один раз какая-то очень уж дотошная хозяйка обвиняла пастуха в том, что он, мол, нарочно загнал ее корову в болото, где вех растет. Но чтоб мало-мальски таежный человек наелся веха — не бывало.

— Может быть, не слышали потому, что люди просто-напросто пропадали в тайге?

— Это бывало, — согласился Андронов. — Но ведь Дзюба

почти ничего не ел... Смерть от циклотоксина наступает и через двадцать — тридцать минут, а случается, что и через несколько дней.

— Но признаки отравления появляются уже через пять — десять минут. Недаром вех зовут еще водяной бешеницей. И все же у нас очень мало фактов. Связь со Свечиным и Протопоповым завтра вечером. Возможно, у них есть новости... А пока, я думаю, продолжить изучение Дзюбы. В деталях восстановить его образ жизни, привычки, склонности, связи. Необходимо знать не только местных пассажиров вертолета, но и тех, кто в это время уходил в тайгу и где был. Непонятным остается, Виктор Федорович, одно немаловажное обстоятельство. Почему все это произошло у Радужного? Случайность? Роковое стечение обстоятельств? Или заранее обдуманые действия? Отравление, стрельба, обвал...

— Мне думается, Остап Павлович, преступник действовал по наитию. Плана, заранее обдуманного, у него не было. Отсюда и этот ералаш в поступках. Неопытный, импульсивный человек, он метался, пытаясь во что бы то ни стало скрыть следы.

— Может быть... Может быть. И все-таки, почему именно у Радужного?

— Обычное место встречи, — заметил Виктор Федорович.

— Тогда следует предположить, что Дзюба был знаком со своим убийцей, хорошо знаком! И при чем тогда во всей этой истории козел, которого, надо полагать, убил Дзюба? Ведь экспертиза подтвердила, что корневищник мог убить животное. Их смерть, можно сказать, наступила одновременно. По крайней мере, произошла в один и тот же день.

— По-моему, Остап Павлович, надо ждать вестей от Свечина и Протопопова. Если у Дзюбы были еще корни, кроме тех, что остались в котомке, то будет ясен мотив убийства, отравления. Его ограбили. Но забрали не все, а только часть, чтоб запутать следствие.

Утром Виктор Федорович решил познакомиться и поговорить с родными погибшего. «Дзюбина хата» — так все и сам покойный называли крепостицу из бревен в обхват — была, не в пример другим домам, огражденным хилыми плетнями, обнесена дощатым забором. На калитке висела жестяная табличка с надписью масляной краской: «Осторожно! Злая собака». Рядом с калиткой проволочка, очевидно, к звонку. Андронов дернул. Раздалось бряцанье бубенца. В подворотне сердито, но без лая фыркнула собака. Потом слышались легкие, будто невесомые шаги. Постукивали один за другим какие-то запоры. Наконец дверь открылась.

— Совсем забыла, что хозяин помер. Законопатилась на все задвижки,— вместо приветствия пробормотала худенькая сутулая женщина.

— Вы жена Петра Тарасовича? — спросил Виктор Федорович.

— Вдова уже... — и махнула рукой. — Хозяйка теперь, выходит.

— Разве вы раньше его не были?

— Отмучилась...

Двор, открывшийся Андронову, был, что называется, вылизан. Видимо, каждая вещь имела свое, только ей предназначенное место. Лишь у калитки валялись дубовые засовы, только что брошенные хозяйкой.

В комнатах не ощущалось никакого беспорядка, какой бывает в доме внезапно и трагически погибшего человека. Лишь зеркало было завешено простыней. Тяжеловатая дорогая мебель выглядела словно сконфуженной среди светлых, медового цвета, высокобеленных стен. Мебели явно не хватало света, чтоб, как говорят, «глядеться».

От сутулости, верно, руки Авдотьи Кирилловны казались очень длинными, а ее привычка смотреть исподлобья, напряженно, будто угадывая мысли собеседника, словно гипнотизировала.

— Большое у вас хозяйство. Управитесь? Трудно будет.

— Трудно... — неопределенно проговорила Авдотья Кирилловна. — Известно. Две коровы, свиньи, овцы, куры... ульи, сад, огород... А работников всего десять. — И женщина вытянула крупные, узловатые руки с широкими, красными, припухшими пальцами.

— Сын поможет.

— Нет. Уедем с ним в город. Покойник все командовал, командовал. В черном теле держал. Оттого сын и на стройку утек. Пусть теперь вздохнет. Поживет по-людски.

— Ваш сын дома, Авдотья Кирилловна?

— Нет.

— Он в Спасе?

— Тут.

— Мне бы его повидать хотелось.

— Не девушка... Чего его видать? А вот лодку нашу угнали.

— Кто?

— Ваши. Самсон и этот... чистенький. Посмотришь на него — прямо с витрины. Из района который. Следствие ведут. А закон — тайга, прокурор — медведь.

— Я тоже когда-то здесь жил.

— Помню. До города уже дослужились. Начальство... А Самсон тут и зачах. Судьба. Она тенью за человеком ходит.

«Неужели ей всего сорок лет? — с недоумением подумал Андронов. — Так состариться! Дорого же ей досталось хозяйствство...»

— Пригонят вашу лодку. Отдадут.

— Калиткин и Храбров? Нет. Скажут, бригадная. Мы, мол, за нее и тем-то и тем-то заплатили.

— Значит, она артельная.

— Петро Тарасович говорил — его. Сам мастерил. Когда ж нам корешки отдадут? — поинтересовалась Авдотья Кирилловна. — Поди, бригадные так поделят, что достанется с гулькинос.

— У них с Петром Тарасовичем свои расчеты.

— Ясно — не наши.

«Да. Держал ее Дзюба в руках крепко. Тени несогласья не терпел. А платье на ней дорогое... Совсем новое, но шила, видно, сама...»

— Баловал вас муж...

Авдотья выпрямилась, точно ее ударили в подбородок, даже сутулость пропала.

— Баловал... — Она подошла к трехстворчатому шифоньеру, запахнула. — Баловал. Вот это — двадцать лет назад куплено. А вот — десять висят, по году прибавляйте. А потом отрезы пошли. Все ново, все цело, все лежит. Пять пар туфель я за двадцать лет заработала. Вот. Два костюмчика детских — на шесть и на пятнадцать лет. Все не надевано. Некуда было надевать. Это Петра Тарасовича костюм. Говорил, довоенный.

— Зачем вам все это? — неожиданно сорвалось у Андронova.

— Добро... Нажито. Сыну останется.

— И богат Дзюба?

— Хватит Леониду, чтоб жить не по-нашему. Как мне только во сне снилось.

— Пил Петро Тарасович?

Вдова покосилась на кухонную перегородку, словно и сейчас там мог сидеть хозяин.

— Выпьет стакан самогону, посидит, хлебом занюхает... Ждет, пока в голову ударит...

«Самогону»... — повторил про себя Виктор Федорович. — Ведь на спирту настаивают женшень. Пил ли его Дзюба?» И Андронов спросил об этом у вдовы.

— Как же! Такому бугаю еще лет тридцать жить бы да жить. Да дума — за горами, а смерть — за плечами.

— Где ж он самогон гнал? Дома?

— У себя на заимке. Тут нельзя — Самсон. И на заимке-то с предосторожностью. Спирт денег больших стоит... А брюхо добра не помнит, говорил Петро Тарасович.

— Не болел Дзюба?

— Покатается иной раз с печенью, а так особо не жаловался.

Они вышли из дома. Собака, лежавшая у калитки, понуро поднялась, отошла в сторону.

— А на калитке написано: «Осторожно! Злая собака», — сказал Андронов.

— По хозяину тоскует. Пятый день не жрет. Похоже — сдохнет. Леониду сказать, чтоб к вам зашел? Невесело у нас...

Действительно, выйдя со двора Дзюбы, Виктор Федорович как-то свободнее вдохнул чистый воздух, напоенный и свежестью близкой реки, и ароматами тайги.

«Тяжеленько жилось Авдотье, да, наверное, и Леониду, — подумал он. — А самому Дзюбе? Экий скупой рыцарь двадцатого века. Скупой? Нет, что-то другое. Жене в год по платью, по отрезу. Пять пар туфель. Сыну костюмы «на шесть и на пятнадцать лет». Мебель. «Выпьет стакан самогону. Ждет, пока в голову ударит»... Даже здесь расчет!»

Андронов рассказал следователю прокуратуры о своем посещении вдовы, о привычках и характере Дзюбы.

— Вот и выяснилась весьма существенная деталь, — добавил Виктор Федорович. — Дзюба выпил яд, очевидно подмешенный в спирт. Но это было чье-то угощение. Вот зафиксированный в протоколе список вещей в котомке. Среди них — «фляжка алюминиевая армейского образца. Наполнена жидкостью с запахами самогона и специфическим — женьшеня». Результат химического анализа: «Спирт с большим содержанием сивушных масел — самогон. Настойка корня женьшеня». Вынул же Дзюба из котомки только кружку. Наверное, и еду: Но ее птицы могли растащить. Пил же Дзюба спирт, а не самогон. Таково заключение экспертизы. Спирт!

— А если там никого не было? — Твердоступ прищурил один глаз. — Если отравитель оставил Дзюбе спирт? Тогда все-таки следует предположить: у Дзюбы был тайный сообщник. Доверенный человек. С ним Дзюба, видно, вел дела не один год.

*

Ливень ударил сразу после полудня, но Самсон Иванович не повернул к берегу. Вымокшие до нитки, уже в сумерках, они увидели на яру костер и пристали около отесанного кола, белевшего в полутьме. Он был прочно вбит в расселину каменной стены.

— Может, это не корневишки? — спросил Кузьма.

— Боле некому...

После дождя небо очистилось, а пунцовая заря долго не

гасла. Самсон Иванович впотьмах искал тропку наверх, чертыхался, поминал корневищиков недобрым словом за то, что они, заслышав мотор, не спустились навстречу. Наконец они поднялись на яр. Под высокими липами у костра полулежали двое. Над огнем висел парующий котелок. Очевидно, корневищики недавно вернулись и готовили ужин.

— Что не встретили? — молвил Самсон Иванович, выйдя из тени к свету.

Оба корневищика разом обернулись. Было видно, что они ожидали кого угодно, только не участкового. Поднялись, сделали по нескольку шагов навстречу.

— Гость-то какой! — всплеснул руками заросший по глаза мужичонка и по-бабьи хлопнул себя по ногам. — Да не один!.. Милости просим!

— Здорово, Терентий, — сказал участковый.

— Соскучился, что ли, Самсон? Чего дома не сидится? — спросил второй корневищик. — Аль запрет какой на корешки вышел?

— Да вот... — Самсон Иванович повел своим длинным носом, — учуял вкусный запах. Дай, думаю, поужинаем кстати. Решил вот, Серега, к тебе в гости напроситься. А?

— Ангирчи угостил, — улыбнулся конопатый Серега, мужик с редкой клокастой бородежкой. — Еще когда подымались... Добрый человек. Хорошо копчена изюбятина.

— Чую, чую... — добродушно отозвался участковый. — А это товарищ из района, — кивнув на Кузьму, добавил он.

— Очень... очень... — кланяясь, подскочил к Свечину Терентий, а Серега, кивнув, пробурчал что-то неразборчивое себе под нос и опять улегся у огня.

— Поздравить вас надо, мужики! — улыбнулся Самсон Иванович.

Терентий захихикал: мол, шутит начальство, понимаем. А Серега, скривив губы, цыкнул слюной в костер.

— Неужто сохатых разрешили без лицензий бить?

— С находкой вас... — присаживаясь на валежину у огня, ласково продолжал участковый.

— Ты что, Самсон, белены объелся? — Бойкий мужичонка принялся подпрыгивать, размахивая руками, как-то по-куриному и квохча бросать слова, словно они жгли ему рот. — Типун тебе на язык! Едва дорогу оправдаем. А харч? «С находкой»! Да в середине сезона... Тьфу, тьфу... Эк шутить! Сам знаешь, люди мы не государственные. На свой страх и риск идем. Ни черта нет. Три сопки обломали — пусто. «С находкой»... Да этот... Дзюба! Туды его... Сутки в таборе провалялся — и вон из тайги. Печенку схватило. Ишь! Темнил что-то. Глаза у него не больные — ясные. Вот те крест — не так что-то. Будто я его не знаю! Потом — у Лысой сопки — дымок...

— Не пыли...— глухо буркнул Серега.— Столько намельтешил. Не продохнешь. Тебе, Самсон, Дзюба находкой хвастался?

— Нет, Ангирчи сказал.

— Ангирчи? — Серега быстро, не по возрасту, сел, скрестив ноги, плюнул в огонь.— Хм... Ангирчи...

— Значит, не находили вы крупного корня?

— Да не смейся, Самсон! — вновь закудахтал Терентий.

— Не пыли... Не пыли, Терентий! Затоковал. Погодь, Самсон. Ангирчи сам у Дзюбы большой корень видел? Какой корень?

Серега подался к участковому, будто готовясь к прыжку. Его темные глаза сузились в щелочки, а клокастая борода как-то странно зашевелилась в разные стороны. И тут же корневищик расхохотался, показав два ряда ослепительных зубов:

— Ловишь, ловишь, участковый! Поклеп на Дзюбу возводишь.

— Погиб Дзюба.

То ли пожав, то ли передернув плечами, Серега точно сказал: «Все может быть... Все под смертью ходим... Только, если погиб Дзюба, при чем здесь корень?» Терентий же присел на землю и, схватившись за щеку, постанывал, словно у него разболелся зуб.

— Мы на вашей моторке приехали. Можете посмотреть,— сказал Самсон Иванович, будто именно этот факт неопровержимо свидетельствовал и с полной очевидностью доказывал, что Дзюба погиб.

— А корень? Корень цел? А, Самсон Иванович? При вас? — Серега сглотнул нечто застрявшее у него в глотке, а вопрос его прозвучал до странности вежливо.

— Нет его... Другие вроде целы. А большого корня нет.

— Хи... Хи-хи-хи... И не было. Совсем не было. Сболтнул Ангирчи.

— Не пыли! Кто украл? Наш он! Самсон Иванович, наш ведь? Мы в бригаде с Дзюбой. Что ж... он по дороге мог найти. Остановился отдохнуть — увидел. Он бы обязательно с нами поделился. Старшинка наш. Бригадир и учитель. Какой человек! Ангирчи сказал — большой корень?

— Ангирчи сказал — сорок соболей стоит.

— А то и все пятьдесят,— добавил Кузьма.

Удивление и корысть, проступившие на лицах корневищиков, даже позабавили Свечина. Так легко и просто примирились бригадники со смертью своего «старшинки» и так всполошились, узнав, что в «наследство» им достанется корень стоимостью в сорок — пятьдесят соболей.

У костра стала глухая тишь. Булькало в котелке варево.

— Ах, хи-хи-хи...— запрокинул голову Терентий, подняв

к небу густую мелкокольчатую бороду.— Держи, Серега, карман шире! И найдут, да нам — шиш!

— Почему же... Почему? Нет такого закона! Верно, Самсон Иванович? Не крадено! Най-де-но! Тогда — в бригаду. Вы не беспокойтесь, Самсон Иванович.— Серега снова подался к участковому, но теперь глаза его были широко открыты, голова чуть склонена набок, а руки прижаты к груди.— Мы по справедливости. И ему, погибшему безвременно... его часть... сполна выделим. По справедливости. Правда, Терентий? Ведь выделим? Вы, Самсон Иванович, не сомневайтесь. Сами знаете. Мы не какие там-нибудь. Мы люди.

— Люди... — нахмурившись, протянул Самсон Иванович.— А такое зачем творите? Из какой корысти?

Участковый, не вставая, протянул длиннющую руку к котмке, пошарил в ней и вынул небольшой, в ладонь, конверт-лубянку из тополиной коры. Раскрыв лубянку, Протопопов протянул ее Сереге. Кузьма, сидевший рядом с корневищем, увидел на подстилке из мха крохотный, в полмизинца, тощий корешок, схожий с корешком петрушки, и два хилых листка на стебельке. А меж тенетами мха запутался какой-то светящийся голубовато-серый жучок.

— Не наш панцуй! Не наш! — замотал головой Серега.— Враги мы себе? Его через три года или через пять лет выкопать — другое дело. А это ж погодок. Пестун, можно сказать. Не цвел еще. Не взрослый. Не-ет.

К Сереге подскочил Терентий.

— Хи-хи,— не то посмеялся, не то гмыкнул он,— нет такого мха здесь, Самсон Иванович. Как есть нету. Хотя все тутошние сопки облажайте. Нет. А этот грибок...— Терентий выковырнул то, что Кузьма принял за светлячка,— этот грибок местах в пяти и всего видел. Редкий. Ночью, однако, увидел раз такой пень... весь мерцает, играет зеленым, с желтизной, с голубизной. Ну, думаю, пропал. Крестился, чурался — мерцает и прямо на меня вроде движется. Стрельнул... хи-хи... по привидению. Да кубарем... Утром не утерпел — слазил. Грибочки махонькие облепили пень. Где ж его гибель нашла? — без перехода спросил Терентий о Дзюбе.

— Около Радужного, в скалах. Зашел в эти Чертовы скалы, порешил козла. От выстрела пошел обвал. Вот и засыпало. Терентий поднялся, затеребил пальцами бородавку.

— От то-то... В прошлом годе хотел я там поохотиться... сбоку издала... Не пустил он меня. «Не дури», — сказал. Однако. Не верил я, что был у Дзюбы большой корень. А теперь уж совсем верю, что был! Вот как перед истинным говорю вам, Самсон Иванович: был. Существовал обязательно! Хотя голову на отрез дам!

— С такой находкой далеко не уйдешь, Серега знает,—

сказал о себе в третьем лице Серега.— Куда?.. Так что, как обнаружите его,— сразу нам. В крае только слово сказать — во всех заготконторах ждать будут. Как миленького. Объявится — тут его и хватать.

Протянув свои длинные ноги, участковый вздохнул:

— Доказать надо, что корень был и что он у Дзюбы украден.

— Это уж ваше дело, Самсон Иванович. Вы — власть, вы и докажете. Как же иначе? Нас ограбили. Шутка ли! Я за двадцать лет корневки столько не заработал. Трудно вам будет. Да назвался груздем — полезай в кузов. Найдено бригадой — в бригаду и возверните. Серега всегда все по закону, по справедливости. Мы, Самсон Иванович, труженики тайги, и прочее. Что потопаем, то и полопаем.

— Так вы, Терентий Савельич,— обратился Протопопов к пышнобородому,— говорите, что после ухода Дзюбы видели дым костра у Лысой сопки?

— Видел, видел, Самсон Иванович. С левой стороны от вершины. Как от нас смотреть.

— А когда Дзюба ушел?

— На новолунье. Хмарилось, да попусту.

— На новолунье — три недели назад... Находки у вас хорошие. Поэтому заторопился, может? Котомка его цела. Видел ваши корешки.

— Удачлив, удачлив он, Самсон Иванович. Так удачлив, проклятый, царство ему небесное...

— Ты погоди, Терентий, не пыли... Вот списочек, между прочим, Самсон Иванович. Итого — триста шестьдесят четыре грамма. Все — первый сорт! Серега тут толк знает.

Свечин не сдержал улыбки: до того по-детски наивно скрытничали и простодушнейше признавались бородатые корневщики.

— Всё на месте. А сортность в заготконторе определяют.

— Были первосортные,— упрямо проговорил Серега.— Знаем мы, пока из ваших рук в заготконтору попадут... Дадут за женьшень цену петрушки. Нам жить надо, кормиться.

И мужик лет пятидесяти с гаком, упорно звавшийся Серегой, принялся бубнить, что заработок идет на троих и даже с большим корнем, который, конечно, найдут, каждому все равно достанется понемногу. Нельзя, мол, считать, будто эта находка оправдывает «хождение нонешнего года». В прошлом вот наши кошкины слезы, а три года назад и обувку не оправдали. Самсон Иванович по виду слушал и не слушал сеговования Сереги. Он изваянием сидел у огня, как тогда вечером, когда ужинал с Ангирчи. Его сухое лицо, словно сплетенное из канатов, замерло. Крепкие руки его, лежавшие на острых коленях, казались высеченными из камня.

Стараясь не перебивать бормотание Сереги, Терентий подвинулся к Кузьме и тихо сказал:

— Лапнику поди наруби. Спать-то на чем будете?

Кивнув, Кузьма захватил топор и отошел от костра. Несчастный случай на охоте, в который поверили все, теперь, как казалось Свечину, превращался в нечто другое. Тот, кто украл или кому Дзюба передал корень, мог его и убить.

Сорок соболей — четыре тысячи! Еще в милицеской школе Кузьма слышал, что в тайге, понадеявшись на безнаказанность, убивали охотинспекторов и лесников всего лишь «за сохатого». А сохатый «тянул» едва на сотню с небольшим! А тут не только в деньгах дело: корень редчайший.

Он вздохнул полной грудью прохладный до остроты, душистый и невесомый воздух, переложил на другое плечо охапку веток и, пройдя еще с десятков шагов, бросил их у костра.

— А, это ты, Кузьма... Догадался, хорошо,— встрепенулся Самсон Иванович.

Свечин хотел сказать, что, мол, догадался-то не он, а Терентий ему подсказал, но решил, что не в этом суть, и достал из-за голенища ложку. Котелок с похлебкой стоял на земле. Терентий и Серега вытащили из своих мешков по сухарю и собрались приняться за еду. Самсон Иванович вынул из мешка буханку, вторую из трех, что передал ему Твердоступ перед отъездом, отрезал всем по ломтю, а остальное убрал. Терентий принялся цыкать зубом от удовольствия, а Серега понюхал хлеб, как цветок, отломил половину и спрятал.

— Ишь, со свежим хлебом ходят...— уписав пол-ломтя, буркнул он.— Как же вы обратно добираться думаете?

Кузьма хотел сказать: «Вертолет вызовем», но сдержался, поперхнулся и зашелся кашлем. Когда наконец Свечин успокоился, Самсон Иванович сказал:

— Подбросить бы нас надо. До Черемшаного распада.

— Начётисто...— ответил Серега.

— А на чем бы вы возвратились? Мы же вас выручили, лодку пригнали.

— Сезон в разгаре. Да и власть должна заботиться о нас. На то она и власть. Нет? Увидел непорядок — исправь. Нет? Плот бы вы связали. Вниз-то за полдня добежите.

Участковый кивнул:

— Ясно...

«Ну и жлобы!» — подумал Кузьма.

— Чего ты, Сережа, гношишься? Дело ведь и наше. Они ж не гуляют — наш корень ищут.

— Должны — вот и ищут. А Сереге шастать туда да обратно резону нет. У участкового своя посудина есть. Мотор, бензин государственные. Чего на своем не пришел? Жалко? Сколько нашего бензина спалил!

Кузьма не выдержал:

— Так и Дзюба приехал бы на лодке!

Сергеа мотнул головой, усмехнулся:

— От... городские... Он бы с нами остался, корневал. Добыток в бригаду пошел. Эх, что тебе говорить...

— Прокачу вас, Самсон Иванович,— закивал Терентий.— Может, пофартит... Не то что корень сам, а хоть местечко, где рос, обнаружите... При таком большом должны быть и помехи. Серег, может, и нам туда податься?

— Не пыли... Засвербило! Ну, найдет. Корень от нас не убежит. И место мы найдем. На будущий сезон туда подадимся. А окажется, что Ангирчи сбrehнул, так мы и этот сезон себе не испортим. Голова! Тока, если поедешь с ними, мои находки за то время в общий котел не пойдут.

— Бога побойся, Сергеа!

— Умные люди говорят: нету его.— Сергеа подался к Терентию.

Кузьме показалось, что сейчас он язык покажет своему напарнику, так озорно сверкнули его глаза. А может быть, в это мгновение ярче полыхнул костер.

— Прокатишь? — спросил Самсон Иванович.

— Крепкий человек был Дзюба,— кивая, ответил Терентий,— а все ж человек...

Ужин был съеден, чай выпит. Все стали устраиваться на ночь. Кузьма лег навзничь.

«Черт возьми! — думал Кузьма.— Сколько надо терпения, чтоб ладить вот с такими... Сколько лет надо потратить, чтоб завоевать их доверие, уважение, чтоб они вот так простодушно признавались во лжи... Сколько лет надо жить их интересами, входить в мелочи быта. Или просто надо обладать талантом... Смешно! Талант участкового инспектора районного отдела внутренних дел... Смешно? Нет. Действительно, талант нужен. Талант общения с людьми. А он у меня есть? Может, я, как мальчишка, научившийся лишь брэнчать на рояле, вообразил себя композитором? Пусть и не великим».

Где-то над черными и чуть подсвеченными снизу костром купинами ветвей блестели звезды. Меж сучьев беспорядочно металась, мерцая неверным, зеленоватым колдовским огнем, крупные светляки. Чуть слышно шипели в огне валежины, и совсем едва-едва доносился легкий, почти призрачный звон воды в камнях.

Потом звезды как-то поплыли и растаяли.

— Пора! — ударил в уши громкий голос Самсона Ивановича.

Кузьма вскочил и ощутил, что основательно продрог. Солнце еще не взошло. Согрелся, пока бегал с чайником к реке да на одном дыхании взбирался обратно на яр. Плотнo по-

завтракали, а потом Терентий со вздохом отправился их «прокатить».

На воде стало теплее. В мягких сумерках паровала река. Пряди змеились по течению подобно поземке.

Протопопов сел у мотора, а Терентий свернулся клубком и дремал, привалившись к боку Кузьмы. Свечин думал: смогут ли они найти в тайге место, где был якобы вырыт женьшень? Ведь пока они не найдут это место, не установят, что именно здесь и именно крупный корень выкопан, все узнанное ими — разговоры, пустые разговоры. А как отыскать его? Крупный корень, вернее большая лубянка-конверт находилась якобы в лодке Дзюбы, и видел его только Ангирчи. Было это седьмого августа. Ушел Дзюба из табора первого. Спуститься на моторке от лагеря корневищников до Ангирчи — три дня, может, и четыре. Не больше. Где был Дзюба остальные три?

Дотронувшись до плеча Терентия, Свечин перекричал рокот мотора:

— Терентий Савельич, когда уехал Дзюба?

— Первого, первого!

— Когда?

— Не на ночь же глядя!

«Значит, утром,— подумал Кузьма.— А если мы дойдем до Черемшаного распадка за полдня... За столько же дошел туда и Дзюба. Первого же августа он примерно в два-три часа пополудни остановился. Дела в тайге начинаются с утра. Светает чуть позже четырех. Вот тогда Дзюба отправился в тайгу, к корню... Знал ли он, где растет женьшень? Должен был знать. Не пошел же наобум? Шел день, полтора... Иначе он не смог бы за то же время вернуться к лодке и седьмого быть у Ангирчи... А если он шел и ночью? Две ночи — пятого и шестого. Седьмого к вечеру... У Радужного. Получается. Если он плыл и по ночам, то ушел от Черемшаного пятого и, против обыкновения, едва не в сумерках!

Неужели он шел полтора дня, чтоб дойти до места, где рос женьшень! И он знал где! А мы? По следам? После ливня! Смех... Да! Сколько времени надо, чтоб выкопать корень? Выкопать... Корешок... Ну, пять, десять минут. Не целый же день!»

— Терентий Савельич! — Свечин вновь наклонился к спутнику и громко спросил: — Долго женьшень выкапывать?

— Какой?..

— Большой.

— Два дни.

— Сколько?

— Два дни. Может, и боле.

— Так долго?

— Это скоро. Кто очень хорошо умеет и знает, как надо...

— А самый маленький, самый...

— Какой корень... Можно и день потратить.

Кузьма видел и не видел, как порозовели, а потом стали медовыми облака под солнцем. Из прибрежных кустов вылетали голубые сороки. Надоедливо-ритмично стучал мотор.

«Вот так раз! — продолжал думать Свечин. — Два дня выкапывать корни! Как это так? Пошутил старик. А если нет? Тогда место, где рос женьшень-великан, неподалеку от реки. Вероятно, мимо Лысой сопки мы прошли ночью. Я ее не видел. Вечерние и утренние сумерки были густы... Два дня выкапывать корни!»

К Черемшаному распадку они подошли после полудня. Терентий Савельич тотчас уехал обратно. Постук мотора долго слышался меж отвесными берегами. Распадок-ущелье разрезало каменную громаду и резким поворотом уводило куда-то в глубь плато. Узкая галечная полоса — берег. Грязные полосы на камнях, видневшиеся на уровне двух-трех метров, говорили о том, что во время сильных дождей в верховьях вода здесь поднимается очень высоко, и беснующаяся река ревет в тесном русле на протяжении нескольких километров. И иного выхода на плато из ущелья, кроме Черемшаного распадка, поблизости нет.

— Почему так долго выкапывают корень?

— Ювелирная работа, Кузьма. Доведется — увидишь.

— Вы тоже считаете, что если корень старый, то он рос не один?

— Кто знает? Женьшень — растение таинственное. Остаток древней флоры, обитавшей здесь то ли миллионы, то ли десятки миллионов лет назад. Реликт. Как тигр, к примеру. А в те времена женьшень, наверное, встречался так же часто, как теперь кошачий корень. Тогда он, может, рос и под Москвой, и на Таймыре, — ответил Самсон Иванович.

— Чего же он там не выжил, этот реликт?

— В прошлый, третий ледниковый период до нашего края ледники не доползли, не спустились.

«Третий ледниковый период... Что-то знакомое...» — подумал Свечин, но память более ничего не подсказала.

Они неторопливо продвигались в глубь ущелья. Прошедший вчера ливень крепко нахозяйничал в узком и глубоком каньоне. Неожиданно Самсон Иванович повернул обратно к реке.

— Он должен был предусмотреть... Состорожничать... — пробормотал участковый.

— Что, что?

— Надо поискать, где он оставлял лодку. Он знал, что будет гроза. Помнишь, в тот день мы с тобой дневали на займке... Тогда, еще по дороге в леспромхоз, прошла гроза?

— Да.

— В тот день он приехал сюда. Он тоже, как и я, по признакам должен был догадаться о ливне. И спрятать лодку. Вытащить ее выше отметок на камнях, оставленных водой.

— Поднять лодку на три метра по такому крутому склону? — удивился Свечин. — Одному?

— Остаться без лодки... Еще тяжелее.

Они возвратились к гирлу каньона.

— Если он прятал лодку, то на правом склоне.

— Конечно... — удовлетворенно заметил Самсон Иванович.

— Там течение спокойнее. В левый же борт вода бьет со всей силой. Она врывается с реки и бьет в левый борт каньона...

— Известно, — поощрил Самсон Иванович.

— Веревка у него была. Сами в лодке видели. Капроновый шнур. Такой и полтонны выдержит...

Кузьма, разговаривая, внимательно осматривал склон, поросший по трещинам и выступам травой. Кое-где за крохи почвы цеплялись и деревья. Корни их наподобие змей обвивали камни и уползали в расщелины в поисках земли. Но редко какое дерево выросло сильным. Большинство засыхали и даже обваливались, расщепив скалы своими корнями. Лишь метрах в ста от начала каньона на небольшой площадке рос молодой кедр.

— Самсон Иванович! Там бат! Такой же, как у Ангирчи!

— Что? Где?

Забыв об осторожности, они оба, принякая телом к скале, цепляясь за выступы и трещины, полезли к густо поросшей кустами верхней террасе. И там они увидели долбленку Ангирчи. Лодка была пуста. Только шест, с помощью которого толкают бат против течения, оказался привязанным к борту.

— Это лодка Ангирчи... — как-то странно, вставляя проговорил Протопопов. — Что же ему здесь надо?

— Честно говоря, Самсон Иванович, я предполагал что-либо подобное. Помните его странное молчание... Он в конце разговора перестал отвечать на вопросы. Тогда вам это не показалось странным. А жаль.

— Я, Кузьма, и сейчас не верю, что Ангирчи имеет хотя бы малейшее отношение к делу Дзюбы... И мы не нашли места, где оставлял лодку сам Дзюба.

Усмехнувшись про себя, Свечин двинулся по террасе за Самсоном Ивановичем. Ему думалось, что Дзюба здесь мог и не быть. Ангирчи оговорил Петра Тарасовича, сказав, что Дзюба вез «большую котомку». По каким-то причинам старик сам расправился с корневищем...

Дальнейшее развитие этой версии Кузьме пришлось прервать.

— Вот здесь стояла лодка Дзюбы! — твердо сказал Прото-

попов.— Но как Ангирчи догадался, что сюда приходил Петро Тарасович?

— А в сговоре они каком-то не могли быть?

— В сговоре...

— Да. Именно в сговоре!

— Сговор... Сговор... О чем, по поводу чего?

— Я высказал предположение вообще...— неловко оправдался Кузьма.— Вот чувствую какую-то связь между Дзюбой и Ангирчи. Сам Ангирчи натолкнул меня на подобную мысль. Помните его последние слова? «Мой много знай... Мало говори... Посмотреть, однако, надо... Своими глазами гляди...»

— Ты хочешь сказать, что Ангирчи едва ли не прямо предупредил нас о своем походе?

— Выходит, что так, Самсон Иванович.

— Что ж, двинемся по их следам. Поглядим, зачем приходил сюда Дзюба и что тут понадобилось Ангирчи.

Они спустились с террасы на дно каньона и пошли по острой щебенке, устилавшей ущелье. Постепенно дно поднималось, и скоро они вошли в густые заросли иван-чая и кустарники. Сюда вода при подъеме не добиралась.

Вдруг что-то в зарослях стукнуло, мелькнуло, и Протопопов, шедший впереди, охнув, завалился на бок... Кузьма бросился к нему и увидел стрелу, настоящую оперенную стрелу, вонзившуюся чуть выше правого локтя Самсона Ивановича.

*

В тот вечер, когда Леонид Дзюба по приглашению Виктора Федоровича зашел с ним в дом Протопопова, интересного разговора как-то не получилось. На вопросы об отце он отвечал односложно, неохотно. А когда Остап Павлович спросил, хороша ли была охота в Лиственничном, Леонид заверил, что не очень.

— Да вот хоть у Ермила Копылова, Федьки Седых да Васьки с Петькой Ивлевых спросите,— заметил Леонид.— Они тоже палили на кордоне.

— Вы с ними виделись? — поинтересовался Твердоступ.

— Я на них и здесь насмотрелся. А настоящая охота только начинается.

— Снова собираетесь?

— Отсюда не уеду, пока про отца все толком не узнаю,— нахмурился Леонид.

«Прямо на вопрос не ответил...» — подумал Андронов.

— Чего ж узнавать?

— Вот теперь товарищ Андронов здесь объявился. И вы, товарищ Твердоступ, не уезжаете. Инспекторы — и наш из райотдела — в тайге... Не все, значит, просто и ясно. А?

— Ваше присутствие в Спасе ничего не изменит,— сказал Твердоступ.— Отец хорошо знал лесничего Ефима Утробина? Дружили? Он к вам часто заезжал?

— Хотите поохотиться — компанию составлю. А про Ефима не знаю. Батя мне не докладывал.

— Что ж...— Андронов подумал, что надо проверить у лесничего, охотились ли там и кто именно, и про его отношения с Дзюбой-старшим узнать.— Вот послезавтра и подадимся.

Время было не позднее, и после ухода Леонида Андронов отправился в чайную, своего рода местный мужской клуб. Там Виктор Федорович пробыл допоздна. Из разговоров он узнал обо всех отлучках жителей Спаса за последний месяц: кто, куда и зачем ходил в тайгу, когда ушел и быстро ли вернулся. Не верить было просто невозможно. Тут же в непринужденной беседе это подтверждалось свидетелями, большими знатоками здешних условий.

Когда он вышел из чайной, совсем стемнело. Проходя мимо клуба, Виктор Федорович на минуту задержался в раздумье. Из широких окон падали на вытопанную площадку пятна света. Слышался четкий ритм чарльстона. Старательно «лягались» пары. Улыбнувшись, как ему показалось, удачному сравнению, Андронов направился в сторону больницы.

«Вех... Да его полно около болот, в любой низине встретишь белые зонтичные цветы. А одного пористого, дырчатого, как сыр, корня хватит, чтобы умертвить десяток людей. Но каким образом заставили Дзюбу выпить яд?»

Если верить сообщению Ангирчи, которое передал по радио Свечин, к Радужному Дзюба приехал утром седьмого. Там его кто-то ждал, с кем он мог выпить. Может быть, и выпил с удовольствием. Ведь даром же! Потом... Трудно предположить, как будет действовать человек, отравленный вехом.

Но кто мог отравить Дзюбу? Каковы мотивы? Свечин передал, что есть предположение: у Дзюбы в котомке могли быть еще корни или один большой корень, очень ценный. Но пока это лишь предположение. Надо точно установить, что корни — или один крупный женьшень — действительно найдены Дзюбой...»

Матвей Петрович жил в небольшом домике на территории больницы. Врач пригласил Андропова в дом — семья ужинала, но Виктор Федорович отговорился и ждал доктора в беседе, у клумбы с душистым табаком.

— Как вы думаете, Матвей Петрович,— начал Андронов,— это сделано местными? Если судить по характеру отравления?

— Местные... Они больше верят в карабин. Сколько живу — не помню случая отравления. Тем более исподтишка. Тихой сапой.— На морщинистом лице врача проступили недоумение и брезгливость.

Виктор Федорович в задумчивости барабанил пальцами по перилам. Цветы табака слабо светились в темноте и дурманяще пахли.

— Матвей Петрович, я слышал, вам присуждают степень доктора медицинских наук... И даже без защиты диссертации.

— Да... В здешних местах я проработал тридцать лет. Вел кое-какие научные исследования. Опубликовал около ста работ. Весьма различных. Но последние лет двадцать занимался женьшенем, проверяя некоторые выводы по клиническому применению женьшеня.

— Удачно?

— Очень! — обрадованно закивал нанаец.

— Самсон Иванович говорил, что женьшень — лекарство для здоровых.

— Совершенно верно.

— Зачем же лекарства здоровым?

— М-м... Вы слышали о дамасской стали? Весь секрет ее крепости в особой закалке. Вот так же женьшень закаливает организм. Человек становится подобен дамасской стали. То, что для другого грозит гибелью, для него лишь испытание. Трудное, но испытание. Женьшень не дает бессмертия, но может продлить дни жизни. Он — не живая вода, человека не воскрешает. Однако помогает саморегуляторам организма держать его в параметрах, которые называются здоровьем. Поэтому женьшенем нужно пользоваться до болезни.

— Как вы думаете, — спросил Андронов, — из котомки Дзюбы могли взять лишь часть корней?

— Кто знает, Виктор Федорович, кто кого повстречал в тайге, кто с кем свел счеты... — вздохнул доктор. — Но отравление у Радужного...

— Я думал об том, Матвей Петрович... Почему не в тайге, в глухомани, где, может, искать пострадавшего пришлось бы годы? Если вообще нашли бы... Почему в таком месте, где за лето и зиму проходит добрая сотня народу?

— Да-да... — закивал доктор. — Так поступают, наверное, «вотще решаешь на злое дело...»

— Как? Как вы сказали?

— Так мог поступить человек «вотще (с отчаяния) решаешь на злое дело».

— Именно с отчаяния, — повторил Андронов. И поднялся. — Что ж, Матвей Петрович. Извините, что отвлек. Спасибо.

Они расстались. По дороге к дому Андронов размышлял о том, что ему все-таки не совсем ясен этот Дзюба. Странен, замкнут и Леонид. На селе его считают нелюдимым. Скорее, наоборот. Но при вопросах об отце он отмалчивается, отнекивается, словно тень Петра Тарасовича стоит у него за спиной. Как же складывались отношения между отцом и сыном?

С учительницей из спасской школы-интерната Виктор Федорович встретился на другой день. Агния Мионовна была в свое время классным руководителем группы, в которой учился Леонид. Седая, подтянутая женщина, с глубокими, «профессиональными», как отметил Андронов, морщинами от крыльев носа к углам рта и множеством продольных складок на лбу, несколько удивилась приходу Андропова:

— Дзюбу Леонида? Конечно, помню. Отличник. Но...— Агния Мионовна развела руками.— Неудобно говорить плохо о покойнике... Леонид, видите ли, был отличником поневоле. Раз я ему поставила тройку. До сих пор не могу забыть его лица — отчаянного, молящего... Спросила на перемене: «Что с тобой?» — «Не пойду домой... Отец...» — «Он тебя бьет?» — «Нет, отвечает, есть не даст. И страшно». Попыталась поговорить с Петром Тарасовичем. Как вы думаете, что он мне сказал? «Вы учите, а воспитаю его я сам...»

— А потом?

— Леонид получал отличные оценки. Но любви к знаниям, к труду у него, по-моему, не было. И нет.

— Больше вы со стариком Дзюбой не говорили?

— Пробовала. В ответ — вопрос: «Леня плохо учится?» — «Нет». — «Вот спасибо». И весь разговор. Для Леонида учеба была изнурительней рабского труда.

*

На кордон Андронов с Леонидом уехали на следующее утро. До избы лесничего на берегу озера добрались к заходу солнца. Семейство Ефима Утробина обрадовалось приезду гостей, словно это был праздник в их бирючей жизни.

— Осень ночью, слышь, ранняя. Сентябрь вон когда придет, а глухари токовать пошли. Вчера слышал.

— Спутал, поди, Ефим, — улыбался Леонид. — Обрадовать хочешь. Рано осеннему току быть. Перелетные — другое дело.

— Рано! Сам знаю, рано! — Достав коробок спичек, Ефим спрятал его под столом. — А вот вышел заутро и...

Тут лесничий защелкал ногтем по коробку, точь-в-точь как токующий каменный глухарь. Рассмеялись и гости, и дородная лесничиха, и их двое детей: подростково вытянувшаяся дочка и круглолицый мальчишка лет десяти.

— Затемно отправимся, — продолжал лесничий, — на лодке дойдем до лиственного бора. Там они токут. Собак не надо. В бору сушь, а свету и прозрачности столько, что воробья на другой опушке увидите.

Леонид сам очень осторожно завел разговор о своем пребывании здесь. Взрослые разговорились, а детишки отправились спать.

— Да, Ефим, а когда мы с тобой тигрицу слышали, помнишь, в скалах ревела? — спросил Леонид.

— Как — когда? — удивился Ефим. — Я тогда к таксаторам подавался, а ты у озера ночевал. Вот когда.

— День, число какое? — спросил настойчиво Леонид.

— Число... Да третье. Я у таксаторов бумаги подписывал. Дату ставил. А на другой день ты домой отправился. Озерко на лодке переплыл, а там пеше. Лодку я потом взял. На обратном пути от таксаторов...

Как и договорились, Ефим отвез их еще задолго до рассвета к Лиственничному бору. Они быстро поставили палатку, но костра не разводили. Изредка с озера доносилось мягкое, но четкое в чуткой тишине всплескивание рыбы.

— Слышь, глухарь играет! — шепотом проговорил Ефим и присел на корточки, словно так было лучше слышно.

Подражая Ефиму, Андронов тоже присел и услышал далекое-далекое постукивание, действительно напоминающее щелчок ногтем по спичечному коробку.

— Недалече... В километре... — снова прошептал взволнованно Ефим.

Они пошли в ряд. Бор был чист от подлеска, устлан мягчайшей хвоей и тонкими, хрупкими веточками, которые ломались под сапогами бесшумно.

Пощелкивание слышалось все ближе. Ефим и Леонид пригнулись и перебежками начали приближаться к подернутой тонкой туманной пеленой мари. Передвигались они теперь только в то время, пока токовал глухарь. Выйдя на опушку, они не увидели его. Так уж получилось, что Виктор Федорович первым догадался поднять голову и различил на белой вершине лиственницы крупную черную птицу. Она сидела, вытянув шею и низко опустив как бы безвольно повисшие крылья. Андронов выстрелил из карабина навскидку. Глухарь дернулся, вроде стал падать, однако тут же вскинул крылья, звучно зашелкал при взмахмах перьями. Но полет птицы был неуверенным. Она быстро теряла высоту и силы, потом врезалась в гущу ветвей, с шумом, кувыркаясь, начала падать и тяжело ударилась о землю.

— Н-да! — протянул Ефим. — С вами я хошь на кабана, хошь на медведя пойду.

Подстрелили еще двух глухарей. Ефим заторопился.

— Вам счастливой охоты, а мне — домой. С подполом возиться. Продукты надо впрок закладывать, а мышей из тайги понабежало видимо-невидимо. Нужно потравить вехом.

— Вехом? — переспросил Андронов.

— Ну да, — кивнул Ефим. — Соку из корней нажмем да и польем крупу. Крупу в подпол, дохлых мышей — вон.

— Вех-то, поди, подсох, — заметил Леонид.

— Да у нас есть, — ответил Ефим. — Только вот задевала жена куда-то бутылочку. Хоть и приметная — треугольная из-под уксусной эссенции, — да запропастилась.

— Как же вы так неосторожно? — посетовал Андронов. — У вас же дети.

— Они знают. Нечего за них бояться. Жена недавно мышей морила. И месяца не прошло. А этих тварей опять полно.

— Что ж, бутылочка-то из-под эссенции недавно пропала?

— Я ж и говорю — месяца не прошло.

— Странно... — сказал Андронов и подумал: «Ничего себе для начала!»

— Чего ж странного? — пожал плечами Ефим. — Сама хозяйка и поставила, да забыла куда. Она у меня может сковороду день-деньской искать.

И Утробин ушел. Леонид и Андронов решили остаться до следующего утра. Ефим обещал заехать за ними.

Часам к десяти каждый добыл по пятаку крупных, тяжелых птиц. Хранить глухарей было негде, и пальбу решили прекратить. Вернувшись к палатке, плотно то ли позавтракали, то ли пообедали, выпотрошили птиц. Леонид набил тушки какими-то травами, чтоб мясо сохранилось подольше.

«Дело ветвится, — несколько лихорадочно размышлял Андронов. — Только перед отъездом сюда мы с Остапом Павловичем прикидывали, кто был и кто мог быть у Радужного в начале августа. Список получился небольшой: Крутов, Телегин, ботанички... Предположительно, у водопада мог появиться Леонид. Он охотился на Лиственничном. А этот кордон хоть и немного в стороне, но на полдороге между Спасом и Радужным. Получается же, что не только Леонид, но и Утробин, вместо того чтоб пойти к таксаторам, мог завернуть к Радужному с бутылочкой из-под эссенции... Но бутылочку действительно могли и стащить... Кто? Леонид? Не слишком ли я разошелся?» — остановил себя Андронов.

Он покосился в сторону Дзюбы-младшего. Тот лежал неподалеку от костра и глядел на серое, под стать небу, озеро. Погода так и не разгулялась. Еще с рассветом небо затянули тучи, низкие, тяжелые, с набрякшими днищами, из которых, того гляди, посыплет нудная, невесомая морось.

Словно почувствовав на себе взгляд, Леонид полуобернулся к Андронову и мечтательно протянул:

— Жизнь в городе вольготная!

— Это как смотреть... — Андронову вспомнились слова учительницы Леонида: «Но любви к знаниям, к труду у него не было. И нет», — и спросил: — Вы любили отца?

— Гм... Люби не люби... Куда денешься — отец.

— Вы когда вернулись в Спас после охоты здесь? — спросил Андронов.

— Десятого.

— Ваш отец, говорят, скопидомок был...

— Как гроши наживаются — я знаю. Теперь тратить почувчусь... — Леонид поднялся и пошел вдоль берега озера. Ветер дул ему в спину и уродливо косматил волосы на голове.

До слуха Андропова доносилось быстрое и злое хлюпанье маленьких, торопливых волн.

*

Участковый вскочил на ноги так быстро, что Кузьма не успел отстраниться, и оперенье стрелы мазнуло его по щеке. И, пожалуй, именно это прикосновение убедило его, что виденное — не сон. Самсон Иванович выдернул стрелу из предплечья, охнул и присел от боли.

— Достань бинт, Кузьма, — бросил он Свечину. — В котомке, в кармашке.

Кузьма подивился его ровному голосу, умению владеть собой. Пока Свечин непослушными пальцами рылся в рюкзаке, Самсон Иванович положил стрелу на землю и, зажав рану левой рукой, шагнул в кусты, откуда несколько мгновений назад раздался щелчок. Разрывая вощенку, в которую был обернут перевязочный пакет, Кузьма шагнул за участковым и остановился, увидев в кустах нечто похожее на средневековый арбалет.

— Что за черт... — проговорил Самсон Иванович. Он был бледен, посеревшие губы нервно кривились.

— Кто?! — спросил Кузьма, помогая снять китель и заворачивая рукав рубахи участкового. — Кто это сделал?

— Значит, точно вышли на след. Подожди... Что за черт...

Самсон Иванович рванулся было в кусты, но Свечин удержал его:

— Дайте перевязать. Дело паршивое... Стрела. Наконечник наверняка ржавый. Вертолет срочно вызывать нужно.

— Места мы не нашли, где корень выкопан.

— Самсон Иванович...

— А вот ты ушел бы? А, Кузьма?

— Ржавый, старый наконечник. Заражение крови может быть.

— Ты мне не ответил.

— Я молодой. Обошлось бы.

— Э-э, да ты дипломат, — постарался рассмеяться Самсон Иванович. — Нет уж. Будем считать, что у нас сутки в запасе.

Участковый посмотрел на повязку. Сквозь ватный тампон и бинт проступала кровь.

— На фронте не такие «пчелы» жалили. Обходилось. Ты думаешь, сталь снарядов стерильная? Только вот «визитная

карточка» мне не нравится. Вон, Кузьма, подними. Под кустом нож валяется.

Нагнувшись, Кузьма увидел на земле финку в черных кожаных ножнах.

— «Шварцмессер»? — Кузьма быстро глянул на участкового.

— Он, — кивнул тот и, взяв оружие, стал пристально его разглядывать. — «Шварцмессер». Телегина, метеоролога. Только странно... Как эта штука здесь оказалась?

— Получается, Телегин здесь был.

— Получается-то получается... — неопределенно проговорил Самсон Иванович.

Последний раз Протопопов видел «шварцмессер» у Ивана Телегина два месяца назад, когда по пути в стойбище ночевал в домике метеорологов.

Участковый знал, что Телегин очень дорожил ножом — единственной памятью об отце.

И тут он почувствовал головокружение, покачнулся. Кузьма поддержал его.

— Отвык, — сказал Самсон Иванович, словно извиняясь. — Очень уж неожиданно ударило.

— Надо срочно вызвать вертолет.

— Нам нужны сутки... Поговори со мной, Кузьма... Как-то не по себе. Давай, Кузьма, чаю попьем.

— Самсон Иванович, вы можете руку потерять. И вообще...

— Вот попьем чаю, найдем место, где выкопан корень... Потом подумаем «вообще».

По просьбе участкового Свечин заварил очень крепкий чай. Самсон Иванович, обливаясь потом, выпил четыре кружки. Затем они снова пошли к Лысой сопке, которая вздымалась уже совсем неподалеку. Самострел и стрелу взяли с собой. Чтобы не стереть отпечатки пальцев, которые, возможно, на них были, Кузьма обложил оружие огромными, в зонт, сочными листьями белокопытника.

— Надо взять. Очень интересная вещь. Самострел, я помню, принадлежал Ангирчи... Нож — метеорологу Телегину...

— Я как чувствовал, Самсон Иванович... Как чувствовал: не обошлось это дело без Ангирчи.

— Подумать надо. Не торопись. Ангирчи ведь здесь после Дзюбы был.

— А если он и в первый раз с Дзюбой приходил? Потом еще... И нигде нет следов человека, — сказал Кузьма.

— Появятся, — уверил участковый. — Они есть.

— Где?

— Ты не заметил — кора с плавуна срезана. Молодое дерево смыло, занесло в распалок во время ливневого паводка. А кора с него сорвана. На подметки пошла.

— Что же вы мне не сказали? — упрекнул участкового Свечин.

— Я тоже не до всего сразу додумываюсь. Только теперь и сообразил.

— Вам в больницу надо...

— Вот найдем место, где корень выкопан, тогда...

Они снова пошли по звериной тропе в сторону Лысой сопки. Она на самом деле оправдывала свое название. По склонам темнела тайга, выше виднелась кайма стланика, а сама вершина была вроде бы совсем белой и даже поблескивала на солнце.

Настал полдень. Под пологом леса было душно. Однако в подлеске все еще держалась обильная роса. Стоило притронуться к стволу, задеть плечом ветки, как сверху сыпался сверкающий дождь, звонко ударявший по жестким августовским листьям.

— Вот и следы, — остановился Самсон Иванович.

Кузьма подошел и взглянул из-за плеча Протопопова. Почва в неглубокой лощинке, которую пересекали участковый и Свечин, была вязкой, и среди толстых, крепких стволов высокого дудника и белокопытника с зонтоподобными круглыми листьями Кузьма увидел сломанный кусок корья, а чуть дальше четко отпечатавшийся след сапога с окованным каблуком.

— На Дзюбе были олочи, — припомнил Свечин.

— Следы сапог Телегина. Метеоролога. Отдохнем давай, Кузьма. Кровь не остановилась. Повязка намочла. В голове стучит. Да и подумать надо.

— Ведь все ясно...

— Не совсем, Кузьма... — Протопопов присел на валежину.

Свечин очень тщательно сделал несколько снимков, с ориентирами и масштабом, потом снял слепок со следов Телегина.

— Что же не ясно, Самсон Иванович? — спросил он, подходя к участковому.

Выглядел тот очень усталым, глаза запали, лоб покрыла крупная испарина.

— Не нравится мне это, Кузьма. Неужели их было здесь трое?

— Во всяком случае, есть кого подозревать.

— «Подозревать»... Тяжело. Люди жили бок о бок со мною. Здоровались, смотрели в глаза, не отводя взгляда.

— Чем же объяснить столько совпадений? Тайга не похожа на улицу, по тротуару которой проходят тысячи неизвестных людей, — проговорил Кузьма.

— Пока неизвестных нет. Крутова ищут и найдут. А совпадения... Если сочинять, то можно объяснить все совпадения. Но их должны объяснить они — Ангирчи, Телегин, Дзюба. А обстоятельства... Корень — женьшень. Видимо, и за два-

дцать лет я не все узнал об этих местах. Что-то осталось секретом, который, похоже, разгадал другой. Дзюба, например.

Свечин глянул на участкового искося — не бредит ли? — и напомнил:

— Дзюба мертв. А Ангирчи, конечно, все свалит на него.

— Мертв... Но в данном случае говорить будут дела... Слова — что? И еще надо доказать, что самострел поставил Ангирчи. А Телегин... Не знаю... Ума не приложу, почему он тут оказался.

Пока Кузьма укладывал фотоаппарат и прочие вещи в рюкзак, Самсон Иванович осматривался, будто только сию секунду пришел сюда. Когда Свечин был готов отправиться в путь, участковый посоветовал:

— Идите по следам Телегина. Ангирчи шел за Дзюбой.

— Нам, по-моему, лучше держаться вместе. Вы не дойдете.

— Потом, потом. А то не успеем... Я не успею.

— Иду, иду, Самсон Иванович, — заторопился Кузьма, поняв, что Протопопов держится из последних сил, а дел у них еще много. Главное, пусть участковый убедится, как Ангирчи провел его, воспользовался доверчивостью Самсона Ивановича.

Самострел — старое, запрещенное оружие охоты. Это Свечин знал. И кто, кроме Ангирчи, мог воспользоваться им?

Войдя в низинку, Кузьма двинулся сбочь от цепочки следов. Судя по отпечаткам, Телегин шел спокойно, ровно, не останавливаясь, очевидно твердо уверенный в правильности направления. Время от времени он преодолевал завалы, но и тогда Свечин без труда находил царапины и обдиры на трухлявой древесине. А в густом подлеске, где палые листья толстым слоем покрывали землю, стоило лишь точно сохранять взятое Телегиным направление, и Свечин снова выходил на след.

И вдруг следы пропали. Напрасно Кузьма кругами обходил заросли какого-то колючего, широко разросшегося кустарника.

— О-го-го! — донеслось сверху. — Кузьма-а!

Свечин чертыхнулся про себя. Надо же было Протопопову окликнуть его в тот момент, когда он потерял следы.

— О-го-го! О-го-го! Кузьма-а!

— Да-да-а!

— Сделай затеску, где стоишь. Давай ко мне! Я выше тебя! Бери левее! Перед тобой скала! Левее иди — там расселина!

— Иду! Иду! — откликнулся Кузьма, поражаясь, что Протопопов знает, где он.

Свечин взял левее и действительно вскоре в стороне увидел стену сброса, по которой ему было бы не подняться. А прямо перед ним зияла расселина, и он быстро взобрался наверх. Тайга здесь была совсем не похожа на ту, которую он только что оставил.

Высоченные кедры стояли не часто. Их темной меди стволы в два обхвата походили на исполинские колонны. Меж ними весело пестрел березняк и нежные липки и клены. Сквозь опавшую хвою кое-где пробивалась трава. Место было довольно сухое и теплое, приятное.

В этом сквозном радостном лесу Кузьма издали увидел Самсона Ивановича. Тот колдовал около молодого кедра, едва поднявшего крону над подлеском. Заглядевшись на участкового, стараясь понять, что это делает Протопопов, Кузьма споткнулся и затрещал сухими сучьями валежника.

— Иди смотри! — крикнул Протопопов.

Неподалеку от Самсона Ивановича Свечин увидел большую продолговатую яму. Земля, насыпанная по краям, выглядела так, будто ее просеяли сквозь мелкое сито.

— Что это?

— Здесь рос большой корень. Очень большой.

— Вот такой — метра два длины?

Самсон Иванович поглядел на удивленно вскинутые под козырек брови Кузьмы и едва сдержал улыбку.

— Нет. Корень сантиметров в сорок. Гигант! Чуть ли не восьмое чудо света. Раз в полвека находят такие. А то и реже. Больше четырехсот граммов вес. Может, и больше.

Глядя в пустую глубокую яму — цель их утомительного путешествия, Кузьма присел на валежину и почувствовал усталость. Семь суток они мчались, не досыпая, не доедая, и вот — яма, откуда выкопан корень-гигант, «чуть ли не восьмое чудо света».

— Ты сюда смотри, Кузьма.

Свечин вскинул глаза и увидел на стволе молодого кедра большой белый прямоугольник — след содранной коры.

— Лубодерина-то какая огромная! — воскликнул Протопопов.

Еще одно подтверждение. Лубянку из такого куска в лодке действительно трудно не заметить. Прав Ангирчи!

— Я след этого метеоролога потерял, Самсон Иванович.

— Он вел не сюда. Телегина здесь не было. А вот Ангирчи... Смотри, сколько его следов! Бесновался прямо-таки старик... Неспроста. Похоже... ограбил его Дзюба.

— Замешан Ангирчи в этом деле! Я же говорил! Дзюба ограбил его, а Ангирчи убил Дзюбу. Вот так. Вот так, Самсон Иванович.

— После разговора с нами Ангирчи пошел проверить корень, а он-то выкопан. Однако на сопке следы не только Дзюбы, но и Телегина. Вот почему мы не встретились здесь с Ангирчи. Он, наверное, отправился на метеостанцию. Старик решил поговорить и с Телегиным.

— Логично, Самсон Иванович. Интересная версия.

Глядя на воспаленное лицо участкового, на его болезненно блестящие глаза, Кузьма подумал, что ранение Протопопова дает о себе знать. Самсон Иванович попросил Свечина очень тщательно сфотографировать и яму, и лубодерину, а сам принялся измерять задир на стволе кедра.

— И получается, Дзюба — вор. Вот зарубки Ангирчи на стволах. Это был его корень... Точно, его. Я знаю его метки.

— А настороженный самострел? Нож, наконец...

— Они у нас. Экспертиза определит, отпечатки чьих пальцев на них остались. Если остались. И живы их владельцы — Телегин, Ангирчи. Им еще предстоит нам ответить.

Увидев, что Кузьма хочет его перебить, Самсон Иванович поднял левую руку, попросил помолчать.

— Ангирчи таких тонкостей не знает, чтобы ставить самострел в перчатках. Дзюба... может знать. Телегин тоже мог бы сообразить.

— Самсон Иванович! Если Дзюба вырыл маленький никудышный корень, то... тогда он знал: не вернется больше в тайгу. Никогда!

— Ты молодец! Я ждал, когда додумаешься. — Самсон Иванович, закачавшись, поднял руку и заскрипел зубами от боли. — А вот Телегин в каньоне у реки не был. Он шел с метеостанции, мимо Радужного. Лодки у него нет. Не было... Да и у Радужного — помнишь? — банка из-под семипалатинских консервов? Отметился он там.

— Но ведь нет второй банки, открытой «шварцмессером»! Вторая вскрыта другим ножом!

— Не знаю, что тебе ответить. Надо спросить Телегина, если он на метеостанции.

Они работали долго. Кузьма не обнаружил поблизости ни одного следа, похожего на телегинский. У ямы были лишь следы Дзюбы. И беспорядочные, путанные следы взволнованного, ошеломленного потерей Ангирчи.

Смеркалось. Становилось свежее, но, присмотревшись к Протопопову, Кузьма увидел крупные капли пота у него на лбу. Участковый окончил дотошный осмотр лубодерины и, наконец, словно решившись, сделал надрезы на коре по сторонам от задира и отделил вырез. Теперь у них была как бы форма, точно соответствовавшая размерам и приметам лубодерины, в которой находился выкопанный здесь и исчезнувший женьшень.

Взглянув на часы, Кузьма отметил, что до выхода в эфир осталось четверть часа, и заторопился. Он дал себе слово: обязательно сообщить о ранении Протопопова, о необходимой ему медицинской помощи.

В установленное время на связь неожиданно вышел радист краевого управления. Прежде чем передать новости, Кузьма,

стараясь не смотреть в сторону Протопопова, потребовал немедленной присылки вертолета за раненым. Самсон Иванович вскочил и стал над рацией: участковому стоило большого труда сдержаться и не разбить ее вдребезги. Но в следующую минуту Самсон Иванович почувствовал сильную слабость от потери крови, подскочившей температуры и отошел в сторону. Кузьма передал все о результатах поездки, о корне, в существовании которого уже не приходилось сомневаться, о вещественных доказательствах, требовавших немедленной экспертизы.

Участковый хмурился, но смолчал.

Кузьма, пока еще было светло, отправился собирать валежник на костер. Вернувшись с вязанкой хвороста, он увидел, что участковый сидит, прислонившись к стволу кедра и запахнувшись в плащ. Его, видимо, сильно знобило. Однако при Свечине он старался казаться бодрым, засуетился, разжигая костер.

Потом Свечин пошел за водой к ручью, который звенел где-то внизу.

Вернулся задумчивый:

— Мы так и не проследили до конца, куда ходил Телегин...

Самсон Иванович поежился под плащом:

— Зато другое установили наверняка... Что чайник в руках держишь? Так он до утра не вскипит. А поставишь — вон туда пройди шагов двадцать. И глянь на вершине сопки.

Кузьма отошел в сторону и замер от неожиданности.

Во тьме, выше по склону и будто вдали, обозначился четкий квадрат глубокого фосфорического свечения. Он горел сначала манящим слабо-зеленым огнем, потом желтым, почти солнечного оттенка, а затем засквозил голубым сиянием. В темноте казалось, что свет исходит из глубины.

Непреодолимая оторопь на некоторое время овладела Свечиным. Холодок в груди мешал дышать. Рядом зашуршала палая листва под чьими-то легкими лапами. Кузьма вздрогнул. И наконец заставил себя пошутить:

— Что это... Лаз в преисподнюю? Маловат...

Пересилив оторопь, он двинулся к ночному чуду, которое будто вело в недра. И едва не натолкнулся на него в глубоком обманчивом мраке. С инстинктивной осторожностью Кузьма протянул руку к мириадам сросшихся «светлячков». Пальцы нащупали сухую и холодную коросту, плотно облепившую пень. Свечин отломил кусочек и зажал в ладони.

У костра молодой инспектор разглядел крошечные, невзрачные сероватые грибки с бурой окантовкой. Они, словно две капли воды, походили на тот, из лубодернины с крошечным корнем, найденным в котомке Дзюбы.

— Такие грибки-кориолюсы — редкость в тайге, — заметил

Самсон Иванович.— Я знаю наперечет такие места. Другого поблизости нет.

— Значит, у нас есть неоспоримое доказательство, что Дзюба был здесь,— сказал Свечин.— Иначе откуда в котомке у него взялся мох с таким грибом!

*

Вертолет должен был вылететь с первым светом и к полудню приземлиться на вершине Лысой сопки.

Узнав об этом, Самсон Иванович еще вечером забеспокоился, что им не удастся закончить дела: осмотреть местность вокруг находки Дзюбы, узнать, куда ведут следы Телегина. Но ночью он начал бредить, а утром не смог подняться, метался в забытии. Рука у локтя сильно распухла. Одутловатость поднялась к плечу, пальцы стали холодными, ногти посинели.

Кузьму он перестал узнавать и поминутно просил пить. Вода кончилась давно, еще перед рассветом. Ночью, пока Свечин ходил к далекому ручью, Протопопов в ознобе подкатился к костру, и на нем затлел ватник. Подоспевший Кузьма едва успел уберечь Самсона Ивановича от сильных ожогов. Теперь он боялся оставить Протопопова одного, томился, слушая его сбивчивый бред:

— Пить, Тоня. Капельку!

Достать воды было не самое трудное. Предстояло втащить Протопопова на вершину, где только и мог совершить посадку вертолет. Но предварительно пришлось привязать участкового к кедру и пройти на вершину одному — отыскать удобный путь. Двести пятьдесят метров подъема — не так уж много, однако напрямик идти было невозможно. То здесь, то там вздымались неприступные отвесные скалы.

Разведав более или менее доступный подход, Кузьма соорудил волокушу из жердей, старательно привязал к ней Самсона Ивановича. Подъем занял добрых три часа. Несколько раз Кузьма валился с ног от усталости. Камни и щебень плыли под ногами вниз, и каждый метр высоты он брал по нескольку раз. Руки и колени его были сбиты и расцарапаны, а форма превратилась в лохмотья, словно ею хлестали по бороне.

Взойдя на вершину и не давая себе отдыха, Свечин набрал дров на сигнальный костер.

Потом он спустился к лагерю забрать вещи и тут впервые задумался над тем, как ему поступать дальше. Остаться в тайге на доразведку, улететь с Самсоном Ивановичем или попросить подбросить его на метеостанцию, к Телегину? Остаться в тайге для поиска возможных улик не так уж и безрас-

судно. Однако много ли он сможет сделать без опытного помощника-следопыта? Нет, пребывание на Лысой сопке бесполезно. Нужно продолжать маршрут — встретиться с Телегиным, с ботаниками... Главное, с Телегиным. Нож его, конечно, с собой не возьмешь. Его нужно отправить вместе со слепами следов, вырезкой коры в форме лубодернины, самострелом и стрелой, пленкой со снимками. Надо прежде всего выяснить цель появления Телегина на Лысой сопке. А вдруг он все-таки сообщник Дзюбы? Задержать его и на вертолете доставить в Спас? Ведь там следователь и, наверное, приехал инспектор угрозыска из крайуправления. Пожалуй...

Собрав вещи, Кузьма поднялся на вершину встречать вертолет. По дороге он клял на чем свет стоит того, кто насторожил самострел. Ранение Самсона Ивановича смешало все планы.

За полчаса до назначенного времени Свечин зажег костер. Погода стояла тихая, дым под мягким нажимом муссона поднимался косой полосой. Вертолет прибыл словно по расписанию. Крохотный старик нанаец, назвавшийся доктором, осмотрел Протопопова и отругал Свечина: следовало вызвать машину тотчас же после ранения.

Кузьма не оправдывался. Он понимал: у врача были основания опасаться за жизнь Самсона Ивановича.

Подойдя к пилоту, Свечин попросил высадить его на метеостанции, тем более это как раз по пути.

Но ему ответил доктор:

— Для вас вертолет — не такси. Машина в моем распоряжении.

— Я туда не на прогулку. Возможно, там скрывается человек, по чьей вине ранен Протопопов.

Старик искоса посмотрел на Свечина.

— Сколько времени вам нужно?

— Только взять на борт Телегина.— И подумал: «Если он там...»

— Хорошо,— быстро закивал доктор и крикнул пилоту: — Полетели, полетели!

*

Андронов вернулся в Спас недовольный собой. Много хлопот задала ему трехгранная бутылочка из-под уксусной эссенции, в которой жена лесничего Утробина надумала хранить сок веха. Очень мешал Леонид. При нем нельзя было проявлять особого интереса к исчезновению этой треклятой склянки. Сыну Петра Дзюбы пока совсем ни к чему знать, что его отец отравлен.

С другой стороны, уж очень настойчивое желание Леонида поскорее вернуться в Спас тоже настораживало. Парень

горяч. Наломает дров, коли подвернется случай, себя под удар поставит. Плохой ли, хороший ли характер имел Петро Дзюба, он — отец Леонида. Этим все сказано. Рассуждать парень по молодости долго не станет, а охотничье ружье бьет наповал не только зверя...

И, словно догадываясь о мыслях следователя, Леонид, вернувшись с охоты, принял в поисках злополучной посуды самое деятельное участие.

— Да при тебе ж, Ленья, мы тогда мышей травили! — восклицала лесничиха.

— Я видел, на полочку вы бутылочку ставили, — отвечал Леонид. — И не один я у вас был. Ивлевы заходили. Потом этот продавец из леспромхозовского магазина. Может, бутылочку-то детишки ваши разбили?

Лесничиха с пристрастием допросила своих чад. Не обошлось при этом и без недозволенных приемов — увесистых материнских подзатыльников, а также клятвенных заверений применить еще более строгие меры для выяснения истины. Однако ребята дружно, без рева, но с искренней обидой стояли на своем: пузырька даже не видели. Пусть мать сама хорошенько подумает и вспомнит, куда могла его припрятать.

Утробин старался успокоить жену:

— А черт с ней, с этой бутылкой! Пришла тебе охота пошуметь! Нет, и ладно.

— Сам знаешь, сколько у нас народу бывает. А бутылка-то с уксусной этикеткой. Плеснет кто не спросясь — греха не оберешься.

— Ефим, — неожиданно обратился к лесничему Андронов, — вы тогда, ну, когда Леонид в первый раз приезжал, с таксаторами виделись? Застали их?

— Не... Понапрасну ходил. Не застал их на таборе, на стоянке, значит. Ушли.

— Это какой же вы крюк сделали?

— Почитай, до Радужного добрался, — вроде простодушно ответил лесничий.

«Простодушно ли... — подумал Андронов. — Ведь кто-то помогал Дзюбе сбывать «левые» корни...» И спросил:

— В город часто ездите?

— Бывает. А осенью так обязательно.

«Как охотно Утробин идет навстречу расспросам, — размышлял Виктор Федорович. — Лесничий мог быть у Радужного. И именно у него в доме пропала склянка с ядом — соком веха. Нет у Утробина и алиби. С таксаторами он не виделся. Или таксаторы — просто отговорка? Но алиби нет и у Леонида. Он охотился на кордоне, когда Утробин уходил, и никто не знает, действительно ли он оставался здесь. Да еще какой-то продавец из леспромхозовского магазина...»

Леонид и лесничий вышли из дома: Утробин попросил молодого Дзюбу помочь ему сменить столбы в изгороди.

— Давно у вас Петра Тарасовича не было? — обратился Андронов к жене лесничего.

— Какой еще Петро Тарасович? — удивилась та.

— Да Дзюба, отец Леонида.

— Не бывал... Видно, не любитель ходить по перу... Ведь тут у нас серьезного зверя нет. Это выше Радужного. Там настоящие охотятся. Тут — так, балуются.

— Когда вы спохватились, что пропала склянка? — как будто между прочим спросил Виктор Федорович. — Ведь если не по ошибке, а сознательно кто-то взял бутылку с соком веха...

Утробина посмотрела на Андронova широко открытыми глазами, потом склонила голову набок, словно хотела проверить: не ослышалась ли?

— Да вы знаете, товарищ инспектор, что может случиться?

— Я-то знаю... А вам такая мысль не приходила?

— Н-нет... Кто же на такое решится? Может, я по забывчивости бутылочку на чердак или в чулан убрала? Дом переверну, а найду. Ведь я и сама могу ошибиться. Мой-то все перченое-переперченное да маринованное любит...

— А тот продавец из леспромхоза...

— Кочетов-то?

— Его фамилия Кочетов?

— Да. Семен Ефимович Кочетов.

— Он заходил к вам на обратном пути? Когда с охоты возвращался?

— Этот не заходит обычно. — И, понизив голос, добавила: — Мой-то сказывал, будто шалит он. Потому и уходит верхом, от Радужного. Только ведь не пойман — не вор, а язык, он без костей. Мало что говорят, а сглупу повторяют.

— От вас далеко до леспромхоза? — поинтересовался Андронов.

— Не... Четверо суток. Да вы у моего моторку попросите. Вам он не откажет. За трое доберетесь. Течение в ручье очень быстрое, перекатов много. Кое-где волоком придется. Плесов да заводей почти и нет.

Решение съездить в леспромхоз и повидаться с Кочетовым Виктор Федорович принял тотчас же, но осуществить его не пришлось. Узнав о намерении Андронova, лесничий, насупившись, сказал:

— Добраться до леспромхоза можно. Только сейчас попусту. Кочетов говорил, что раньше чем через месяц туда не вернется. В тайге он. А из тайги обычно в город, в Находку, подается. Через перевал к Прибрежному выходит, — уточнил лесничий. — Оттуда и летит в город и обратно.

— Зачем он так? — удивился Андронов.

— Кто ж его знает... — неопределенно ответил Утробин.—
Всяк живет как хочет.

— Теперь этого Кочетова в Находке искать надо?

— Не поручусь. Еще и в тайге, может, бродит.

— Леонид, ваш отец знал Кочетова? — спросил Виктор Федорович.

— Не думаю... — не очень уверенно отозвался Дзюба-младший.— У нас в доме я его не видывал...

«М-да... — подумал Андронов.— Леонид работает на строительстве в Находке, куда ездил или поедет Кочетов Семен Ефимович. Случайность? Не обманул ли Дзюба-младший, сказав, что не знаком с Кочетовым?»

— Постой, Леонид,— вдруг спросил Андронов.— Ты говоришь, не видывал Кочетова. А здесь разве вы не встречались?

— Я сказал: у нас в доме я его не видывал. Ну... не знаю, знаком ли он был с отцом. А на кордоне я его видел. Так... шапочное знакомство.

«Все-таки,— подумал Виктор Федорович,— надо встретиться с Кочетовым. Но прежде всего нужно из Спаса связаться с леспромхозом. Помнится, там у Самсона Ивановича есть не плохие помощники. И сам Протопопов, верно, знает Кочетова. Если возникнет особая необходимость, то из Спаса до леспромхоза всего-то два часа лету... А теперь, пожалуй, пора в Спас. Лесничиха едва ли найдет свою трехгранную склянку. Она где-то в тайге. Зачем ее взяли — ясно. Но кто? Вернее всего, тот, у кого окажется корень женьшеня, найденный Дзюбой».

*

Только Андронов с Леонидом появились в селе, как Степан Евдокимович Шматов сообщил, что ждет прибытия спецрейса, которым доставят раненного в тайге из самострела Протопопова и арестованного метеоролога Телегина.

— Телегина арестовали! — взвился Леонид прежде, чем Андронов успел что-либо сообразить.

Как хотелось Виктору Федоровичу отчитать этого болтуна Шматова! Ведь еще ни ему, ни Твердоступу не были известны причины, которые заставили Свечина задержать Телегина. Виктор Федорович только что возвратился в Спас с кордона, а Твердоступ находился в райцентре. Он счел необходимым ознакомиться с корнями, сданными в этот сезон, и с формулами находок. При сдаче женьшеня корневишки, как правило, на специальных бланках точно указывают место своей находки.

— Арестовали гада! Ясно!

— Прекрати истерику! — прикрикнул Андронов.

Но Дзюба-младший, что называется, закусил удила. Он грозился пристрелить Телегина, едва того выведут из вертолета.

*

На аэродроме прилетевших встретил Андронов. Самсона Ивановича, который был без сознания, бережно перенесли на телегу и под наблюдением Матвея Петровича отправили в больницу. Едва телега с раненым отъехала, как со стороны села донесся женский крик. Андронов и Кузьма, оглянувшись, увидели на крыльце протопоповского дома Антонину Александровну, а у плетня Леонида с карабином в руках. Андронов сделал два шага к Телегину и стал так, чтобы прикрыть его собой. Метеоролог, видимо, понял, в чем дело, и побледнел.

— Задержанный, зайдите в помещение. — Андронов кивнул на избушку-«аэровокзал».

Просить дважды не пришлось. Телегин рванул дверь и скрылся в убежище.

— Не прядьте — все равно убью гада! — прокричал подбегавший Леонид.

— Успокойся! — приказал Андронов.

— Сказал — сделаю!

— Я тоже сказал и тоже сделаю. Что ты с карабином носишься? Придется отобрать. А тебя привлечь к ответственности.

— Давай! И меня арестовывай. Ну! Ни черта не можете! — тяжело дыша, кричал Леонид.

Андронов взял его за плечо:

— Успокойся. Не маленький.

— Мне молчать?! — Леонид вырвался.

И вдруг сел на траву и заплакал. Через несколько минут Леонид немного успокоился. Поднялся. Возможно, он почувствовал, что вел себя уж слишком нелепо, и ему стало неловко.

— Виктор Федорович, — обратился он к Андронову, шмыгая носом и по-мальчишески беспомощно вытирая рукавом слезы, — может, мне уехать из Спаса? Побродить по тайге... В себя прийти...

Инспектор нахмурился, пристально взглянул на молодого Дзюбу:

— Разве ты не поедешь в город?

— Нет. Пока убийцу не отыщете — не поеду.

— Следствие может затянуться.

— Буду ждать, — упрямо проговорил Леонид.

— Вот что, зайди ко мне через час. Тогда и поговорим.

— Подписки о невыезде я вам не давал.

Положив руку на плечо Леонида, Андронов сказал сдержанно и спокойно:

— Я просто прошу тебя, понимаешь? Зайди в кабинет Пропопова через час. Дело есть.

— Для меня? У вас?

— Да.

Пожав плечами, Леонид направился в село.

— Истерика... — проговорил Андронов, когда Леонид отошел на почтительное расстояние. — Он совсем раскис. А ведь поначалу как держался! Вести следствие при нем трудно. И у нас есть повод послать его в тайгу. Нам нужно выяснить два обстоятельства: где находится или где появится Кочетов, продавец из леспромхоза, и не встречали ли ботанички Дзюбу. Поэтому надо побывать у них, а Леонида взять проводником. Проводником, и только. Он не должен ни в коем случае получить каких-либо сведений. Ни в коем случае.

— Понятно. Не при нем же вести опрос ботаничек.

— Говоря откровенно, — задумчиво произнес Андронов, — когда с Леонидом приключилась истерика, я подумал, что это неспроста. Теперь, чтобы успокоиться, он хочет на время уйти из Спаса в тайгу. Но только ли для этого?

— Виктор Федорович, — сказал Свечин, — может, эти «переживания» и нужны ему для мотивировки отъезда. Мне кажется, не ради одной охоты явился Леонид в Спас именно сейчас, когда идет корневка. Возможно, у него был сговор с отцом?

— Это и я хотел бы знать. Пока нет никаких доказательств, что найденный Дзюбой крупный корень женьшеня в Спаса или в городе. Женьшень спрятан где-то в тайге. Но его надо высушить или законсервировать в водке. Такой корень во фляжку не сунешь, на солнышке не провялишь. Разрезанный на части, он потеряет в глазах знатоков до девяноста процентов стоимости. Оставить его в тайге в сыром, как говорится, виде нельзя. Испортится.

— Виктор Федорович... Вы в чем-то подозреваете Леонида?

— Если бы я сказал «нет», то солгал. Он может знать, где находится корень. Но не говорит, так как боится, что бригадники отца потребуют доли. А Леонид тоже гроши очень уважает. Отца уж не воскресишь, а деньги — уплывут.

— Интересно... Что ж, от меня он, естественно, ничего нового для себя не узнает. Но ботанички...

— Строго предупредите: если будет особая необходимость. Кстати, прибор ночного видения при вас?

— У меня и магнитофон есть. Свой, самодельный.

— Записывали беседы?

— С Ангирчи.

— Оставьте мне эту пленку. Если ботанички не станут возражать, то и их сообщения запишите. С Леонидом будьте осторожны. Не давайте ему понять, будто мы... догадываемся о возможных причинах его страсти к перемене места. Вам предстоит также рассказать Наташе, дочери Протопопова, о ранении ее отца. Сделайте это поделикатнее...

— Постараюсь, Виктор Федорович.

— Не тяжело в тайге? У вас едва не пуд аппаратуры.

— Откуда пуд? Все портативное: рация, магнитофон, прибор, фотоаппарат. Самое необходимое. А своя ноша не тянет.

— Держите со мной связь. Когда понадобится, вышлем вертолет. Но о Леониде это пока наш предварительный уговор. С Телегиным побеседовали?

— Нет... А задержал я его потому, что он — единственный, кто может сообщить нам о происшедшем около Лысой сопки. Ведь там рядом с настороженным самострелом найден его нож.

— Что ж, резонно. Пройдем в кабинет Самсона Ивановича, там с Телегиным и потолкуем.

В комнате участкового инспектора, как всегда хорошо прибранной, у стола сидел Телегин.

Кузьма лишь теперь смог по-настоящему разглядеть метеоролога — не старого, лет тридцати, длинноногого, сутулого, на вид усталого человека.

После первых вопросов, которые задавал Андронов, метеоролог странно выпрямился на стуле.

«Неестественная, нарочитая поза...» — отметил Свечин.

— Скажите, каким образом ваш нож оказался около самострела?

— Не знаю. Понятия не имею. Я очень уважаю Самсона Ивановича.

— Не отдавали ли вы свой нож?

«Да это просто подсказка!» — Свечин удивился неудачному, как ему показалось, вопросу Андропова.

— Отдал, — кивнул Телегин.

— Реликвию... Единственную память об отце? Кому вы отдали нож?

— Ангирчи.

— Ангирчи? — переспросил Андронов.

Телегин кивнул.

— Когда?

— Весной. Нет, в конце июня.

— И тогда вы шли мимо Радужного? Открывали банку консервов?

Телегин оторопело посмотрел на инспектора:

— Точно...

— А три недели назад?

— Я не был у Радужного. Ведь табор Ангирчи на левом берегу.

— Значит, вторую банку...

— Я завтракал у Радужного на обратном пути от Ангирчи. Летом в июне. Открыл ее простым охотничьим ножом. Вот этим.— И Телегин положил на стол нож, какой можно купить в любом магазине.

— Вы продали нож? Или подарили?..

— М-м... Можно сказать, продал.

— Продали или обменяли? — настойчиво спросил Андронов.

— Обменял.

— На что?

— На корень. На женьшень.

— Большой?

Телегин замешкался несколько, угловато повернулся на стуле, ударился коленями об стол. Потом, словно догадавшись о чем-то, показал на средний палец андроновской руки:

— Вот такой.

— Вы знаете, сколько стоит подобный корень?

— Дорого...

— Вы ведь обманули Ангирчи. Корень стоит намного дороже ножа.

— Ангирчи сказал: «Бери, дарю». Подаркам-то совсем не обязательно быть равноценными...— несколько обиделся Телегин.

— Куда вы пошли потом, после встречи с Ангирчи? Ведь на метеостанцию вы вернулись позавчера, через три недели после встречи со стариком.

— Ходил к ботаничкам,— ответил Телегин.

— Ходили к ботаничкам? — Свечин не сдержал недоуменного восклицания.

— Минуточку, минуточку! — прервал его Андронов.— Где вы виделись с Ангирчи? Когда?

Телегин ответил, что спустился к Ангирчи от метеостанции, и точно назвал день.

Свечин быстро достал блокнот.

«Получается,— прикинул Кузьма,— что он вышел за два дня до того, как у Радужного был убит и, видимо, ограблен Дзюба. Если Телегин не спешил, он не мог, никак не мог дойти до Радужного, а потом, совершив преступление, добраться пешком до Ангирчи. Да и зачем? Для алиби?.. Берега вдоль уреза воды непроходимы. Сам видел. Остается один путь — по сопкам. Ангирчи видел Дзюбу пятнадцатого...»

Вопрос, который задал Андронов, был как бы продолжением мыслей Свечина:

— От кого вы узнали о месте лагеря ботаников?

— Ангирчи сказал. Они за два дня до меня поднимались выше по реке. Останавливались у Ангирчи. Чаевали.

«Так,— продолжал рассуждать Свечин.— Ангирчи видел Дзюбу пятнадцатого. Девятнадцатого к удэгейцу пришел Телегин, а за два дня до этого — ботанички. Значит, семнадцатого...

Но Ангирчи ничего не рассказывал! Хотя... Разве не мог он перекинуться несколькими фразами с Самсоном Ивановичем, пока они шли к костру, а я удил рыбу? К тому же о том, что ботанички и Телегин были у Радужного, мы знали. Просто не знали дня!»

— И еще,— продолжил Андронов,— зачем вы ходили к ботаничкам? Ведь путь неблизкий — десять дней. Может быть, хотели проверить, настоящий корень дал вам Ангирчи или обманул?

— Нет! — запротестовал Телегин.— Ангирчи не обманет! Я не сомневался, что корень настоящий. А нож... Ангирчи при последней встрече сказал, что хотел вернуть его. И отдал Дзюбе для передачи мне, но я не встретил Петра Тарасовича.

— Минуточку, минуточку! Дзюба останавливался у Ангирчи?

— Да, когда шел на корневку. Он-то и рассказал Ангирчи о том, что это за нож. То есть почему он мне дорог. И Ангирчи решил его вернуть через Дзюбу.

— Никак не вяжется. Ведь вы должны были встретиться с Ангирчи?

— Да,— согласно кивнул Телегин.— Но Дзюба обещал передать мне нож раньше. Он предполагал корневать неподалеку от метеостанции. А корень мне Ангирчи и так обещал дать. В подарок.

Андронов почесал правую бровь, совсем разлохматив ее.

— Обещал занести, а вместо того... Что вместо?.. Оставил у настороженного самострела? Черт знает что... — скорее не проговорил, а подумал вслух Виктор Федорович.

— Подождите, товарищи! — вдруг воскликнул Свечин.— Так Дзюба... — и замолчал, с трудом пересилив себя: «Телегин и мог рассчитывать, что своими ответами вызовет именно такое впечатление. Ведь на сопке и около нее было трое: Дзюба, Телегин и Ангирчи! Только трое! Важно понять, кто и на кого мог насторожить самострел... Самострел, как утверждал Самсон Иванович, принадлежит Ангирчи. Нож — Телегину... Но телегинский нож находился в то время у Дзюбы. Так утверждает метеоролог. Не верится, что Ангирчи, оставив лодку в распадке у реки, пошел настораживать самострел. Однако почему он после разговора с нами вдруг отправляется в Черемшаный? Чем объяснить это «вдруг»?»

— Минуточку, минуточку... А вы, товарищ Телегин, на об-

ратном пути от ботаников виделись с Ангирчи? Ведь вы проходили там... пять дней назад.

— Сам удивлен. Не встретил. Он мне тропку кратчайшую показал. Говорил, что будет ждать охоты на реву. Пришел я на его стоянку, а там пусто. В хибарке — шаром покати.

— Хм... — неопределенно заметил Андронов. — Как вы думаете, что же могло случиться с таким обязательным человеком?

— Понятия не имею. — Телегин пожал сутулыми плечами.

— И все-таки зачем вы ходили к ботаникам?

— Как — зачем? Об элеутэрококке узнать. Есть такой куст в тайге. Его еще нетронником, чертовым кустом зовут. И даже диким перцем. Этот вот нетронник исследовали ученые и считают, что он действует на организм человека так же, как женьшень. Наталья Самсоновна, дочь Протопопова, сказала: помогает организму бороться со всякими болезнями. А в тайге этого нетронника — пруд пруди, — радостно закончил Телегин.

*

С самого раннего утра летали они над тайгой вдоль реки, пытаясь найти Ангирчи. Но старик удэгеец, который одиноко жил на берегу, как сквозь землю провалился. Он — и только он — мог ответить почти на все вопросы, возникшие в ходе расследования.

Вернувшись в село, они собрались в кабинете Протопопова. Андронов, хмуря густые брови, сидел на лавке у открытого окна, а Свечин, чтобы скрыть заплаты на своей еще недавно новехонькой форме, поместился поближе к столу следователя районной прокуратуры.

— Ну вот, — не поднимаясь со стула, начал Твердоступ, — теперь можно подвести некоторые итоги... Начнем с вас, Кузьма Семенович.

— Сегодня мы получили из крайцентра данные экспертизы, — заговорил Свечин. — Нож «шварцмессер», самострел и стрела чисты, как стеклышко. Очень заботливо протерты. Лубянка для женьшена-гиганта вырезана «шварцмессером»... И нужно точно установить, у кого был в то время нож...

Его перебил Андронов, посоветовал:

— Кузьма, вы по порядку. С самого начала.

— Сначала мы встретились с Ангирчи. Запись разговора с ним вы слышали. Последняя фраза настораживает: «Надо пойти посмотреть...» Тогда мы не обратили на нее внимания. Считали, что он имеет в виду нас. После разговора со стариком мы отправились к корневищам. Те напрочь отрицали, что нашли нечто необыкновенное. И вообще считали, что корневка не удалась, а Дзюба покинул лагерь по болезни. Однако они

видели дым костра на Лысой сопке и почему-то решили, что там Дзюба. Но мы, когда добрались до ямы от выкопанного корня, точно установили: костра Дзюба не жег. Дзюба...

— Не сбивайтесь, не сбивайтесь, Кузьма Семёнович. Излагайте в хронологическом порядке, пожалуйста. И не волнуйтесь,— заметил Твердоступ.

— После встречи с корневищами мы спустились на их лодке до Черемшаного распадка. По нему двинулись к Лысой сопке. Самсон Иванович шел впереди. И тут из кустов и вылетела стрела, которая ранила участкового. Будь Протопопов чуть пониже ростом, она угодила бы ему в шею или в голову...

По тому, как одобрительно кивнул Твердоступ, Кузьма понял, что ненароком он высказал очень интересную мысль. Из тех, кто побывал на сопке, ниже всех ростом был Ангирчи.

— Нам необходимо найти старика. Без него для нас многое останется неясным. И, конечно, побывать у ботаничек.

Кузьме и поручили отработку версии, что корень-гигант вырыл Дзюба и он же насторожил самострел. Андронову предстояло отыскать Кочетова, того самого продавца из леспрохозовского магазина, который охотился на кордоне Лиственничном, а потом, как говорят, подался к Радужному...

*

К табору ботаников на берегу ручья Тигрового вертолет доставил Свечина и Леонида уже перед заходом солнца. Они запалили костер, поставили варить кашу, подвесили над огнем чайник. Потом нарубили сосновых веток и прилегли у огня.

— И зачем нам нужны эти ботанички? — раздраженно произнес Леонид. — Разгадку, кто моего батю под осыпь загнал, они в своих папках для гербария не принесут. А вот Ангирчи — крепкий орешек. Самострелом охотники уж сколько лет не пользуются. Он только у Ангирчи и сохранился.

— Тебе виднее... — Кузьма пожал плечами.

— С Ангирчи этот Телегин и мог сговориться, — подался к Свечину Леонид.

— Для чего?

— «Для чего, для чего»...

— Смотри — гости! — раздался женский голос. — Я же говорила!

Кузьма поднялся навстречу хозяйкам. В ватниках, одинакового роста, одна в юбке армейского образца, другая в джинсах, ботанички были к тому же и некрасивы. Как бы желая пресечь обычные вежливые вопросы о здравии домохозяек, Леонид сказал:

— Я — проводник. У товарища Свечина к вам дело.

— Дело? — удивилась младшая. — Вот интересно! Вы

знаете, с какого времени мы в тайге? Едва не полтора месяца.

— Иди, Наташа, умойся,— негромко проговорила старшая. Она присела на валежину у костра, закурила, глубоко и со вкусом затянулась.

Только сейчас Кузьма, хоть ему и самому себе было стыдно в этом признаться, осознал, что младшая, ботаничка в джинсах, дочь Самсона Ивановича! И ему, Свечину, придется сказать ей о несчастье, которое случилось с ее отцом.

— Наташа,— продолжила старшая,— в зеркало на себя посмотри. Я еще у реки говорила тебе: умойся. А ты: потом, потом.

Выватив из внутреннего кармана ватника зеркальце, девушка всплеснула руками и, продолжая что-то бормотать, быстро пошла вниз, к воде.

Провожая ее взглядом, Свечин про себя отметил, что Леонид с появлением ботаничек как-то стушевался, а Наташа с самого начала подчеркнуто не замечала молодого Дзюбу.

«А ведь они из одного села...» — подумал Свечин.

— Первое время,— сказала Полина Евгеньевна,— Наташа прямо не могла нарадоваться всему, что встречала в тайге. Стоило нам остановиться, она тут же шла бродить. Думала, сейчас же найдет нечто сверхинтересное. Может, даже увековечит свое имя в науке, обнаружив какой-нибудь если и не вид, то разновидность растения, неизвестного миру. Она хоть и местная, но здесь не бывала. Сюда лишь кондовые таежники добираются.

От палатки к костру направлялась Наташа, и Свечин с тоской подумал, что обе женщины заговорят его до озлобления. Кузьме при словоохотливости ботаничек не хватило бы и километра пленки, а у него осталась всего одна кассета. Подняв глаза на Протопопову, Кузьма не узнал ее. Она оказалась очень красивой: большеглазая, с высоким лбом и волной медных волос.

«Неужели расческа, губная помада и пудра способны сделать такое чудо?» — несколько робко подумал Свечин и сказал:

— Мне нужно поговорить с вами...

Полина Евгеньевна поднялась:

— Леонид, пойдем нарубим еще лапнику, пока светло.

Когда они ушли, Наташа, сразу посерьезневшая, неожиданно спросила:

— Что случилось с отцом?

— С... с Самсоном Ивановичем?

— Говорите прямо.

Не ожидавший такого поворота, Кузьма опустил взгляд:

— Мы с ним вместе шли...

— Что случилось?

— Ранен в руку... Из самострела... Но сейчас ему легче.

— Сердце — вещун... Как вас с Леонидом увидела, так и подумала: что-то стряслось с отцом. Мы с мамой всегда очень беспокоимся, когда он уходит в тайгу. Даже теперь... А ведь прошло пятнадцать лет, как его едва не убили в перестрелке браконьеры... — И встрепенулась: — Вы спрашивайте... спрашивайте. Ведь вы по делу приехали.

Подняв глаза, Кузьма увидел непроницаемое лицо девушки, очень похожей в эту минуту на Самсона Ивановича.

«Никак не мог предполагать, что она так спокойно, совсем по-мужски примет тяжелую весть. Отцовский характер!» — подумал Свечин.

— Спрашивайте.

— Вы не будете возражать, если я запишу наш разговор на магнитофон?

— Пожалуйста.

— В первых числах вы были у Радужного?

— Мы ушли оттуда семнадцатого утром. Находились... Собственно, переночевали.

«Так, — прикинул Свечин, — они пришли, когда Дзюба уже был мертв», — и спросил:

— По дороге вы никого не встречали?

— Нет. На реке ниже водопада много проток. Можно разминуться.

— А после?

— Тем более. Правда, завернули к Ангирчи. Потом сюда к нам приходил Телегин. Пробыл два дня. Он очень интересовался нашей работой.

— А у самого Радужного вы не заметили ничего необычного?

— Необычное... Нет. А что считать необычным? Для меня — я впервые была там — все необычное. Водопад. Грива белой пены и радуга над ним. Розовые скалы, прекрасные и дряхлые. Удивительные! Согласитесь: все это необычное.

— Да-а... — протянул Кузьма. — Но, может быть, какая-то деталь...

— Нет. Хотя... Когда мы подошли к волоку, то там, в кустах перед водопадом, увидели кепку. Старую? Нет. Дождем прибитую. На нее уже упало несколько листьев.

— Давайте нарисуем план. Где она лежала?

— Пожалуйста.

На то время, пока Наташа рисовала в блокноте схему, Свечин выключил магнитофон. Потом беседа возобновилась.

— Отец действительно выздоравливает?

— Да. Он у вас сильный, смелый... отличный человек.

— А не секрет, что произошло?

— В скалах у Радужного погиб Дзюба.
— Погиб? А когда ранили отца?
— Большого я вам сказать не могу.
— Значит, Леонид поэтому не уехал в город на работу?
— А вы почему задерживаетесь?
— Для нас важен именно сентябрь. Тема такая. Мне разрешили задержаться.

— Вы, Наташа, хорошо знаете Леонида?
— Когда-то дружили...
— Поссорились?
— Нет. Компании разные.
— Как это?
— Так... Поехал он в город учиться, а больше лоботрясничал. Вырвался из-под опеки отца и загулял. Потом бросил учебу. «Шоферю», — говорит.

— Чье-то влияние, видимо.

— Ах, уж это влияние!.. Как все просто — влияние! Слабая душа... Не верю я в слабые души, которые поддаются влиянию. Леонид — не телок. Нужна, по-моему, одинаковая сила воли, чтоб поддаться дурному влиянию или хорошему. «Ах, идти по хорошему пути трудно — будни, одно и то же». Ведь говорят так? Говорят. А что «будни», «одно и то же»? Мне, например, интересно узнать новое. И я каждый день узнаю. В науке. Просто в прочитанной книге. Фильме, спектакле, картине. Что может быть разнообразнее? Шалопайство? Гулянки? Вот уже где все абсолютно одно и то же!

— Вы так говорите...

— Как будто видела? Знаю? Да. Мне хватило двух недель. Это произошло два года назад. Деньги у Леонида появились. Говорил, отец дает. И тут же у него дружки завелись. Две недели посмотрела я на эту «разнообразную» жизнь. Так можно жить, если ничего не любишь, даже себя.

— Эгей-гей! — послышался из-за кустов голос Леонида.

Кузьме жаль было прерывать разговор с дочерью Самсона Ивановича, но еще нужно было поговорить с Полиной Евгеньевной.

— Ждем! — крикнул Свечин и добавил, обратившись к Наташе: — О нашем разговоре не надо никому рассказывать. И если что вспомните, то скажете потом.

— Конечно.

Выйдя к свету, Полина Евгеньевна и Леонид бросили у костра лапник. Наташа поднялась и ушла в палатку.

— Теперь я один прогуляюсь, — постарался бодро сказать Леонид.

Запись беседы с Полиной Евгеньевной инспектор начал с вопроса, не заметила ли она у Радужного чего-нибудь необычного, не присущего этому месту.

- Вроде бы нет.
- «Вроде бы»! Или нет?
- Нет. Конечно, нет.

Ничего нового из беседы с Полиной Евгеньевной инспектор не узнал. Но, заканчивая разговор с нею, Кузьма не мог отделаться от ощущения, что она не то чтобы умалчивает о чем-то, а просто еще не решила, действительно ли та деталь, которую она припомнила, заслуживает внимания.

Ночью Кузьма, спавший, как и Леонид, у костра, проснулся оттого, что его теребили за плечо. Спросонья он не сразу понял, что его будит Полина Евгеньевна.

— В чем дело? — Он машинально достал папиросу, закурил.

— Скажите, товарищ Свечин... Дзюба случайно не отравился?

— Что? — Кузьма поперхнулся дымом и надолго закашлялся.

Леонид проснулся, посмотрел на них настороженно.

— Отойдем! — сказал Свечин. Поднялся, прихватил магнитофон.

Они отошли подальше от костра и остановились у ствола какого-то дерева.

— Почему вы так решили, Полина Евгеньевна? Откуда это вам известно? — сипло спросил Кузьма.

— Я до сих пор сомневаюсь: не ошибка ли мое предположение.

Попробовав затянуться, Свечин вновь закашлялся и отбросил папироску:

— Выскажите ваши предположения... Там подумаем, ошибка или нет.

— Я не могу ручаться на все сто процентов. Поэтому отнеситесь к тому, что я скажу, очень осторожно.

— Хорошо, хорошо... Так что вы хотите сказать? — поторопил ее Свечин.

— Там, у Радужного... Когда Наташа пошла за вещами, я осталась одна на пятачке, окруженном скалами. Я люблю смотреть на водопады. Так засматриваюсь, что у меня голова начинает кружиться.

— Хорошо, хорошо, — снова поторопил ее Кузьма.

— Да... Вот я и пошла к водопаду... И тут неподалеку от обрыва увидела бутылку. Вернее, склянку. Знаете, в таких хранят уксусную эссенцию. Ее специально в таких бутылках выпускают — трехгранных, чтоб не спутать... А знаете, как пресное в тайге надоедает? Соль да черемша вместо лука. И то не всегда ее найдешь. А склянка эта наполовину заполнена. Эх, думаю, дурак бросил. Возьму-ка ее на всякий случай...

— Да-да...

— Бутылка была заткнута. Я по привычке на свет поглядела. Жидкость по цвету показалась странной. Открыла я склянку, палец смочила чуть-чуть — и на язык. Не эссенция. Запах петрушки. Ну, в общем, разобралась. В склянке из-под уксусной эссенции — сок веха. Яд.

— Вех? Что за вех?

— Цикута.

— Цикута?

— Да-да, та самая цикута, которой отравили Сократа, приговорив его к смерти. Та самая. Еще вех зовут мутником. У тех, кто его съест, мутится сознание. Или «гориголова» — при отравлении горит голова. А еще водяной бешеницей называют. Пострадавшие становятся очень беспокойными, как бы с ума сходят.

— Что вы сделали с бутылкой? — совсем не громко спросил Кузьма.

— Выбросила. Выбросила в водопад.

— А... Черт возьми! Вот ведь не везет!

— Я предупреждала вас, товарищ Свечин, что могла ошибиться. Все это мне могло просто показаться. У меня и в мыслях не было анализировать содержимое. Решила, что дрянь какая-то в бутылке, и выкинула. То, что это был вех, я окончательно поняла только через час. Голова у меня раскалывалась. А ведь лизнула-то всего чуть-чуть. Наташе я не сказала...

— Плохо, очень плохо... — бормотал Свечин. — Где же можно достать этот вех? Не растет же он на каждом шагу.

— На каждом шагу. Буквально, — заверила Кузьму пожилая ботаничка.

— Вы точно помните, что брошенная в водопад бутылка разбилась? — Вопрос был более чем наивен, и, задав его с ходу, Свечин почувствовал себя неловко.

Остаток ночи он не спал. А когда с первым светом в лагере поднялись, он спросил у начальницы ботанической экспедиции Полины Евгеньевны:

— Вы когда думаете сниматься?

— Через неделю. Примерно.

— Я договарюсь, и за вами придет вертолет.

— Не можем. У нас по смете нет таких расходов.

— Если вы не возражаете, мы возьмем вашу лодку, — сказал Кузьма. — А вы воспользуетесь нашим транспортом.

— Что ж... если так нужно... — Полина Евгеньевна развела руками.

Утро споро набирало силу.

Туман еще не оторвался от воды, когда Кузьма и Леонид распрощались с ботаничками и столкнули лодку в ручей.

По Тигровому шли, держа мотор на весу: ручей был мелковат, с частыми перекатами. Едва выскочили в Солнечную и ходко двинулись на моторе, как время тоже словно ускорило бег: пелена над рекой быстро поредела. Из узких ущелий-распадков и ключей, мимо которых они проезжали, вытягивало скопившийся ночной туман. На речном просторе его быстро растаскивало ветерком с верховьев.

К полудню впереди засветились буруны порога. Кузьма инстинктивно сжался, даже затаил дыхание. Словно догадавшись о его состоянии, Леонид, сидевший на руле, ободряюще похлопал инспектора по плечу.

Лодка будто выскочила на донельзя разбитую дорогу. Ее мотало из стороны в сторону, она бухала днищем, поднимая каскады брызг, вертко съезжала со вспучившихся бурунов, черпала бортами. Плоскодонка наполнилась почти до половины. Кузьма ни за что на свете не смог оторвать своих пальцев от обшивки, чтобы вычерпать воду.

Наконец их вынесло в спокойный плес.

Свечин заставил себя разжать одеревеневшие пальцы и долго растирал их, прежде чем взять черпак.

А впереди виднелись буруны следующего порога.

Кузьма поднялся, чтоб посмотреть, не намок ли его рюкзак. Как и все другие вещи, он был завернут в брезент, но лодка начерпала слишком много воды, а влага, попади она в рацию или магнитофон, могла вывести их из строя.

— Сядь! — закричал Леонид. — Сядь! Сядь!!

И тут Кузьма почувствовал: то ли у него закружилась голова, то ли Дзюба-младший качнул лодку. Он протянул руку, чтоб схватиться за борт, промахнулся и упал в реку. Порог был уже в метрах ста. Кузьму подхватило течением и понесло к порогу, в серединную его часть, где подобно клыкам торчали из воды камни.

Оглянувшись, Кузьма понял, что Леонид не сможет сразу же прийти ему на помощь. Лодку бы разнесло в щепы. Более спокойный боковой проход, куда правил Леонид, находился от Кузьмы в стороне.

Порог стремительно приближался. Вытянув вперед руки, Свечин смягчил удар грудью о камень, выступавший из пенной струи рядом с другим, гладким, похожим на плешивый череп. Через него то и дело перехлестывала вода. Обрадовавшись, что ему удалось выбраться из стремнины, Кузьма прильнул телом к камню и на мгновение забыл даже о холоде воды, о сведенной судорогой ноге. Лишь вздохнув всей грудью, он почувствовал, что ребра как бы сжаты ледяным корсетом. Он осознал, что секундная задержка у клыка — лишь передышка. Не передышка даже — насмешка. Ему подарено еще одно мгновение жизни только для того, чтоб он до глубины

своего существа понял, какая именно грозит ему гибель, ужаснулся бы, сдался и прекратил борьбу.

Меж камнем, похожим на гладкий череп, и клыком вода бурлила и ревела. Она низвергалась с оглушительным шипением, и там, внизу, в разъяренных вихрях, из ослепительной пены выскакивали блестящие зубья скальных обломков. Он увидел и осознал это тут же: для такой крохотной доли, наверное, и не существовало меры времени. Ноги его стало затягивать между камнями.

Все живое возмутилось в нем.

Неимоверным, рыбьим изворотом он подтянул ноги, сгруппировался, отпустил клык и, оттолкнувшись, выскочил из воды больше чем по пояс, перевернулся и упал животом на едва омываемый гладкий камень. Он не почувствовал, что ударился лицом, грудью со всего маха. В глаза бросилась сверкающая, витая гладь мчавшейся к нему воды.

— ...и-ись! — донеслось откуда-то.

Подняв взгляд, Кузьма с трудом уловил поодаль на искрящейся грани воды размытый блеском силуэт Леонида, стоявшего в лодке.

Он хотел ответить ему, но горло пересохло. Вскочив на колени, Кузьма зачерпнул пригоршнями и выпил, вернее, протолкнул в себя воду, стылую до зубной боли. Затем, основательно освоившись, он встал на ноги и заорал торжествующе:

— Держусь!

Теперь, когда он стоял на камне, окружающее в его видении стало обычным: река, освещенная солнцем, синяя вода в длинной и косой тени яра, желтые березы, пылающие рдяные клены, лиловые черемухи, изумрудная ольха и иссиня-зеленая ель, поднимающаяся над всеми деревьями, и лодка — совсем недалеко, ближе, чем казалось секунду назад. Она шла к солнечному берегу.

— Держи-ись!

Свечин огляделся. Ему хотелось немедленно начать действовать, как-то выбраться из ловушки, в которой он оказался. Кузьма находился посредине реки, у края низвергавшейся, грохочущей лавины. Выбраться отсюда самому нечего было и думать. Однако Свечин не представлял себе другого пути спасения.

«Как Леонид поможет мне?» — подумал он и до боли сжал зубы, чтобы унять неприятное клаяние. Озноб колотил его. Мокрая одежда, пронизываемая ветром, не грела. Кузьма увидел, как, выйдя на берег, Леонид принялся рубить ель, ближе других высоких деревьев стоявшую к воде. Леонид махал топором как одержимый. И лишь теперь Кузьма сообразил, в чем состоял план Дзюбы-младшего: срубить дерево, столкнуть в воду и завести так, чтоб образовался «мост» меж

каменьями и берегом. Но тут же отказался от своего предположения: поток в одно мгновение переломил бы ствол как спичку. И потом Леониду понадобилось бы столько усилий и столько сноровки, что требовать подобного от одного человека просто невозможно.

Лишь когда вершина ели ухнула на середину галечной косы, Свечин понял: Леонид хочет воспользоваться срубленным деревом как якорем. А тот снял мотор и разгрузил лодку. Затем закрепил один конец веревки на ели, а другой — на носу лодки. Все это сооружение находилось прямо против Свечина. Потом Леонид еще раз перехлестнул веревку через ствол и, столкнув лодку в воду, стал стравливать бечеву.

Пустую плоскодонку, конечно, снесло на стрежень. Но, когда она дошла почти до самого порога, Леонид намертво закрепил конец веревки за ель. Теперь плоскодонка была надежно подстрахована. Леонид раз двадцать подводил лодку к порогу, но она оказывалась слишком далеко от Свечина. Только часа два спустя она вплотную подошла к камням, и Кузьма без риска перебрался в нее. Закоченевшие руки и ноги почти не слушались его.

Наконец Леонид выволок лодку на косу и, крикнув, чтоб Кузьма раздевался, бросился в затишье меж береговыми скалами, быстро запалил там огромный костер. Леонид ухаживал за Кузьмой, словно за малым ребенком: растер его шерстяным свитером, спиртом, одел во все сухое, снятое с себя, а одежду повесил сушить, плотно накормил Свечина и уложил спать.

Ощущая приятную теплоту и хмельную радость, Кузьма после пережитых волнений быстро уснул, едва успев с благодарностью подумать о Леониде. Ведь он спас его. Спас!

Открыв глаза, Кузьма встретился с устремленным на него взглядом Леонида.

— Как ты? Не ломает? Оклемался?

— Будто ничего и не было.

— Нормально! — восторженно воскликнул Леонид и вздохнул с облегчением. — Очень я за тебя беспокоился. Не хватало только, чтоб с тобой какая-нибудь ерунда приключилась.

— Обошлось, — поднимаясь, сказал Кузьма.

Настроение было отличным, и все, что он увидел, представилось ему прекрасным. Туман бисером мелкой росы вышел паутину меж веток ближнего куста. На рыжих листьях висели крупные капли. В них крохотными серпиками светилось утро. Седой дым от влажных дров припахивал пожарищем. Шум порога, скрытого пеленой, слышался глухо, утробно.

— Ну, сегодня я дежурный, — продолжил Свечин. — Завтрак такой сварганю...

— Уже готов. Ешь — и поехали. Я лодку приготовлю.

— Ее же волоком надо перетаскивать...

— Уже. — И, встретив удивленный взгляд Кузьмы, Леонид пояснил: — Ты спал двенадцать часов. Спустить лодку под уклон не так уж трудно. Тем более пустую. А вещи я потом перетаскал. Не знал, сможешь ли ты подняться.

Кузьме стало неловко и тревожно. Леонид проделал большую работу. И все из-за его оплошности. Оплошности ли? Он мог погибнуть, ничего не узнав. Однако он жив, черт возьми! Значит, по-прежнему будет действовать.

А что мог сделать Леонид, пока Свечин спал?

Прослушать магнитофонную запись! Леонид слишком настойчиво интересуется ходом расследования. Но он и виду не подает, что теперь знает и об отравлении своего отца, и о кепке ниже водопада, у волока. Почему?

Какие у него причины молчать? Соучастие в отравлении? Чушь... Чушь?

С ним надо быть очень осторожным. Очень.

Завтрак, приготовленный Леонидом, оказался действительно вкусным.

После еды Кузьма глянул на часы, приложил к уху:

— Все. Отработали. Сколько времени?

— Восемь...

— Пора выходить на связь.

— Так ты обычно выходил на связь вечером.

— Ты не знаешь расписания связи. Сегодня — утром.

— Твое дело. Чего объяснять?

Миновав берегом порог, Кузьма и Леонид прошли к лодке. Она уже была на плаву.

Взяв рюкзак, Кузьма придирчиво оглядел застешки, узел. Все выглядело вроде бы нетронутым. Но, осматривая магнитофон, он обратил внимание, что единица, показывающая метраж, не дошла до места в смотровом окошечке. А он хорошо помнил: она занимала иное положение. Тогда Кузьма заклеил клавиши управления особой пленкой. Под ней оставались в неприкосновенности следы пальцев Леонида в том случае, если он касался клавиш и не оборачивал палец тряпкой.

Леонид возился в лодке и всем своим видом старался показать, что копания Свечина с рюкзаком его не интересуют. Коробку с прибором ночного видения Леонид, по всей вероятности, не смог открыть. А передатчик почему-то не работал. Сколько Свечин ни ломал голову, выискивая поломку, все было тщетно.

— Мы скоро пойдем? — послышался голос Леонида.

Свечин решил заняться рацией на вечернем привале. На связь ему действительно нужно выйти в двадцать один тридцать, а к берегу можно пристать раньше. На первый взгляд,

видимых повреждений в передатчике он не обнаружил. Винить Леонида в поломке не приходилось.

— Ну, Кузьма, теперь дорога гладкая. К мотору садись ты. А я — посплю.

Так и просидел Кузьма весь день на корме у мотора.

Вечерний сеанс связи пришлось пропустить. Поломки Свечин не нашел, передатчик молчал. Оставалось думать одно: сели батареи.

К вечеру следующего дня они прошли мимо яра, где еще неделю назад находился табор корневщиков. У воды белел свежееотесанный кол. Лодки не было. То ли Калиткин и Храбров подались ниже, то ли, заботясь о судьбе корней, доверенных Дзюбе, а главное — корня-гиганта, спустились в Спас.

Все это время Свечин думал о человеке, с которым он плыл в одной лодке, сидел у одного костра. Зачем Леониду понадобилось прослушивать записи?

Пока Кузьма копался в передатчике, Леонид предавался любимому занятию — строгал веточки. Возьмет одну и аккуратно, будто карандаш, стругает ее, пока не останется огрызок. Затем берет новую веточку, и все повторяется сначала.

«Ну, прослушал он записи, а дальше? Он узнал, что кто-то отравил его отца. Или он ищет другое, интересуется другим — драгоценным корнем? Это деньги, которые не придется делить ни с кем. Но для того чтобы искать, где спрятан гигантский женьшень, надо наперед знать: он непременно существует. Откуда Леониду это известно?

От отца?

А ведь может быть! Тогда понятна двойная заинтересованность Леонида в поисках убийцы. Убийца — он же и похититель корня. Однако откуда убийца знает о редком женьшене? Почему убийца встречал Петра Дзюбу? Не понятно. Как и то, откуда Леонид брал деньги на веселую жизнь в городе. Возможно, в стоворе с отцом, он сбывал женьшень и раньше. Хотя бы последние два года.

Вывод, пожалуй, один. Я и Леонид знаем: у Дзюбы был корень, Дзюбу отравили, а корень похитили, вернее, спрятали. Если бы отец передал корень сыну, тот не стал бы сидеть в Спасе. Он бы уехал и продал женьшень. В заготконтору? Такой корень — не иголка в стоге сена. Но если и до этого Леонид получал от отца корешки, то у сына есть свои каналы связи с покупателями. Сбыть корень втихую для него не проблема. «Покупают же «Волги» ради удовольствия», — как говорит Самсон Иванович.

Что ж, Кузьме тогда понятны и слова Леонида: «Не хватало только, чтоб с тобой какая-нибудь ерунда приключилась». Ведь так было сказано. Так, но кто убийца? Телегин? Крутов? Или человек, на след которого еще не напали?

Снова они шли целый день. Леонид словно забыл подмывать Кузьму у мотора. На этот раз Свечин почувствовал, что основательно выдохся.

Наконец Леонид сказал:

— Глуши!

Мотор смолк. Лодка стала подворачивать к берегу.

— Заночуем в Черемшаном распадке. Самое удобное место.

— Наверное,— неопределенно пожал плечами Свечин. Он окинул взглядом будто бы знакомые очертания берегов, уже тонувшие в глубоких сумерках.

— Вы на обратном пути тоже здесь ночевали?

— Мы... Вроде...

Высадились. Кузьма огляделся и вдруг понял, что попал в совсем незнакомое место. Оно не походило на Черемшаный распадок, хотя еще минуту назад Свечину казалось, что именно тут они причалили с участковым инспектором Самсоном Ивановичем, перед тем как идти к Лысой сопке, где и нашли яму от вырытого корня-гиганта. Кузьма решил не выяснять, почему Леонид лгал. Пока не выяснять. В конце концов, ему все равно, где они заночуют, а чего хочет добиться таким ходом Дзюба-младший, станет ясно из его дальнейших поступков.

Стоп, Кузьма! Стоп!

«Сегодня мы первый день идем по тому отрезку пути к Радужному, по которому Дзюба двигался уже с корнем. С женьшенем в лубянке!

Дзюба был отравлен и погиб при странных обстоятельствах в скалах у водопада. Но корень он мог оставить в условном месте. Ведь, по моей версии, отец и сын находились в сговоре.

Рано тревожишься, Кузьма. Лубянку видел старик удэгеец Ангирчи. Самсон Иванович ему верил.

А где та коса, на которой мы встретились со стариком? Если я не узнаю Черемшаного распадка, то коса, наверное, нами уже пройдена. На карте я не делал отметок ни тогда, ни теперь. Спросить у Леонида, далеко ли до Радужного?»

Тот ответил:

— Часов восемь. Ты что, места не узнаешь? Ничего, бывает.

— А против течения сюда за сколько времени можно дойти?

— Смотря какое течение. После дождя... В долгое ведро... По-разному. Потом, какая лодка, какой мотор...

«Почему Леонид уходит от прямого ответа? — подумал Свечин. — Можно, конечно, попросить его, чтоб указал на карте, где остановились. Но поступить так — уверить его в том, что

я догадался и о сговоре, и о существовании тайника, где спрятан женьшень-великан... Придется не спать».

Принять решение было куда легче, чем выполнить его. Тем более, приходилось делать вид, будто спишь.

Снова и снова в мыслях Свечин возвращался к возможной причине отказа рации, разбирал самые сложные варианты. И вдруг его осенило: он не проверил, не разъединены ли каким-либо образом контакты между элементами, питающими рацию. Достаточно было Леониду просунуть между стыками сухих элементов клочок бумаги — и рация бы вышла из строя.

С первым светом Кузьма проверил это предположение и убедился, что оно правильно. Теперь у него не осталось никаких сомнений: Леонид должен знать, где находится тайник. К моменту убийства в котомке старика Дзюбы сокровища уже не было.

«Вот почему Леонид изматывает меня днем, держа на руле! — подумал Свечин. — Ему надо, чтобы я спал мертвым сном. Ему надо, чтобы я не мог сообщить в Спас о нашем точном местонахождении и вообще не знал его. Что ж, поборемся! До Радужного нам осталось идти часов десять. Если я воспользуюсь рацией, то Леонид поймет, что его подлость обнаружена, и к тайнику уже не подойдет. Придется сделать вид, что я ни о чем не догадываюсь, и наблюдать за ним».

Когда Свечин разбудил Леонида, тот, протирая глаза, сказал, что всю ночь очень плохо спал — живот разболелся.

— Режет. Сил нету.

Пришлось устроить дневку. А Кузьма не мог позволить себе спать и следующую ночь. Выдержать пытку бессонницей на вторые сутки было очень трудно. Мысли мешались, путались, темнота убаюкивала. Иногда Свечину казалось, будто он спит с открытыми глазами.

Если бы можно было двигаться, хотя бы сидеть, глядя в огонь костра! Нет, Кузьма лежал, отвернувшись от огня, чтоб случайно брошенный Леонидом взгляд не застал его врасплох.

А днем Свечину снова пришлось занять место у руля.

Только на другой вечер они вошли в заводь у скал. В ту самую, откуда полторы недели назад Кузьма и Самсон Иванович на лодке Дзюбы отправились к его напарникам-корневщикам. Было еще достаточно светло. В заводи серо отражалось затянутое облаками небо. Чертовы скалы — высоченные, сильно выветренные — вздымались от самого уреза и опрокинутыми рисовались на глади воды.

Все осталось по-прежнему.

— Чего гнали? Было ж ясно — к вечеру придем! — раздраженно бросил Кузьма. Две бессонные ночи доконали его. От звуков, цвета, запахов его отделила стена усталости.

— Погода могла испортиться... — отговорился Леонид.

При одной мысли, что и третью ночь — хоть она и решающая — придется не спать, к горлу Свечина подкатывал ком тошноты.

Леонид принялся похрапывать. Потом повернулся на другой бок и затих.

А Кузьма, загородившись от света костра рюкзаком, думал о том, что с легкостью перенес бы любую боль, лишь бы ему сомкнуть глаза. Ему казалось, что тогда жги его, режь — он не проснется.

Леонид проворчал что-то во сне, повернулся. Потом сел, потряс головой, словно отгоняя тяжелый сон.

Из полутьмы, из-за рюкзака, которым Кузьма загородился от света костра, он видел, как Дзюба-младший, немного посидев, потянулся, похлопал себя ладонями по плечам и, крикнув, поднялся.

Прошла минута, другая. Сквозь мерный шум водопада до слуха Кузьмы донесся хруст ломаемых сучьев. Свечин глянул в сторону зарослей у спуска к реке. Опять оттуда послышался треск. Явственный, даже нарочитый.

Кузьма затаил дыхание. Потом медленно протянул руку к рюкзаку. Развязал его. Вытащил плоскую коробку с прибором ночного видения, достал аппарат, похожий на старинный, неуклюжий пистолет с широким дулом.

«Пистолет», голову и руки Свечина по-прежнему скрывала густая тень от рюкзака. Кузьма на ощупь поставил наводку прибора, прильнул к окуляру, нажал кнопку и вздрогнул: в ярком салатном свете перед ним возникла фигура Леонида. Он был как будто рядом. Вероятно, Леонид шел от костра по прямой, поэтому Свечин сразу же и «наткнулся» на него.

Чуть тронув виньер настройки, Кузьма «отдалил» от себя Леонида. Стали обрисовываться ветки кустов, в которых стоял Дзюба-младший.

Он не скрывался, но все-таки выглядел из-за листьев осторожно, будто догадывался о возможностях Кузьмы. Наконец изображение в окуляре шевельнулось. Свечин услышал треск ветвей. Не оставалось сомнений, что Леонид проверял: спит ли инспектор, или только притворяется.

*

— Долго быть у больного нельзя, — нахмурившись, проговорил Матвей Петрович.

Андронов впервые видел доктора в его рабочей обстановке, и крохотный старик в белом халате и белой шапочке показался ему внушительнее и даже выше ростом. Обычная мягкость в обращении, которая порой казалась едва ли не приторной,

куда-то исчезла. Перед инспектором стоял словно другой человек.

— Хорошо... То есть мне надо кое-что рассказать Самсону Ивановичу, посоветоваться с ним, кое о чем спросить.

— Это его не очень взволнует?

— М-м... Не думаю, — ответил Андронов, хотя и знал, что это было неправдой. Но обсудить с участковым ход расследования было просто необходимо.

Андронов подошел к двери палаты, в которой после операции лежал Протопопов, приоткрыл ее. Самсон Иванович был один. Вторая койка пустовала. Участковый быстро повернул голову в сторону вошедшего и постарался улыбнуться.

Подойдя к нему, Андронов привычно протянул руку, но участковый, тоже привычно попытавшись поднять правую руку, болезненно поморщился.

— Извини, извини, Самсон Иванович... — скороговоркой проговорил Андронов, смущенно опустив взгляд.

— Я сам то и дело забываю, что здороваться мне пока надо левой.

Времени у Виктора Федоровича было мало, и он сразу перешел к делу:

— Ни в одной заготконторе края такого крупного корня не принимали.

— Не примут, — заверил Самсон Иванович.

— Выходит, почти безнадежное дело. Не найти нам «уплывший» корень, — промолвил Андронов.

— Не похоже, чтобы он «уплывал» из тайги. Думаю, даже в Спасе корня того нет. Рыжего геолога, или пожарника, нашли?

— Нашли. Действительно спешил человек. Решил: смердит так смердит. Доложу, и баста.

— Расскажите мне обо всем, что произошло за эти пять дней, — попросил Самсон Иванович.

— Телегин твердит, что самострел и нож у Ангирчи взял Дзюба. По дороге на корневку. Пристыдил, мол, старика, что нехорошо менять такой нож на корень. А самострелом его он и раньше пользовался.

— Да, не уследил я...

— Вот и я не уследил. Пропал Ангирчи. Да и тот ли он человек?

— Я верю Ангирчи. Это хороший человек, Виктор Федорович.

— А вот Твердоступ твердит, что нет. Много мелких грехов за Ангирчи... Дзюбу покрывал. Самострел ему одолжил. Хорош свидетель обвинения. Может, поэтому и скрывается старик?

— Нет. Он не стал бы скрываться. Здесь что-то другое...

— Вы уверены?

— Твердо, Виктор Федорович.

— Кстати, что там с продавцом из леспромхоза стряслось? Вы же это выясняли со Свечиным?

— Проворовался, пропился.

— А какие отношения были между Дзюбой и этим Кочетовым?

— Дзюба был человек скрытный и ловкий... — помрачнел Самсон Иванович. — Осторожный. Может, и сплавлял корень-другой. Знал бы я наверняка — другое дело... Что случилось, Виктор Федорович?

— Странное совпадение... — откашлялся Андронов. — Без особой надежды на успех я связался по радио с леспромхозом. Оказалось, Кочетов наконец-то там объявился. Сейчас находится в больнице. Его нашел в тайге — говорит, что случайно, — Утробин, лесничий с кордона Лиственничного. Еле живого, побитого, с легким огнестрельным ранением. И что самое важное, продавец хоть и не сильно, но отравлен.

— И что за эту траву принялись?!

— Тут другое. Из дома Утробина, как я узнал, пропала склянка из-под уксусной эссенции. В ней хранился сок вежа. Им жена Утробина мышей травила. А накануне гибели Дзюбы Кочетов заходил на кордон... Кстати, большая была у него нехватка?

— Три тысячи с лишним.

— И это в таком магазинчике?

— Да там сейчас целый универмаг.

— А мог ли, Самсон Иванович, такой человек, как Кочетов, если бы узнал о редком корне, на преступление пойти?

— Мог. Этот — мог.

Андронов встал. И, не протягивая руки, легонько дотронулся до здорового плеча участкового:

— Поправляйтесь. Эх, если бы не ваше ранение, давно бы дело закончили!

Самсон Иванович заметно смутился:

— Да будет вам, Виктор Федорович... Вам-то что прибедняться? А как Свечин?

— Пожалуй, выйдет из него толк. Цепкий парень...

Полет занял немного времени. Вскоре машина приземлилась около поселка лесодобытчиков. Андронов разыскал больницу — новый дом, сложенный из еще не потемневших, медового цвета бревен, — вошел в приемную и представился врачу, средних лет женщине, с крупными карими глазами.

— Вас проводить к больному?

— Давайте прежде поговорим, — предложил Андронов.

Его интересовало многое: состояние больного, характер ранений и их примерная давность.

— Сейчас Кочетов чувствует себя вполне удовлетворительно, — ответила врач. — Огнестрельная рана в области грудной клетки — касательная, легкая. Характер ранений и ушибов... Впечатление такое, что он либо скатился с горы, либо... его краем задел камнепад. Так, каменная мелочь. Но местами ранения глубокие, ушибы были сильные. Ведь он почти две недели пробыл в тайге...

— Не больше?

— Я говорю: в тайге. А потом еще на кордоне Лиственничном.

«Итак, — прикинул Андронов, — лесничий доставил Кочетова на кордон едва ли не сразу после моего отъезда оттуда... Сообщить нам об этом, по своей наивности, не догадался: мало ли что, мол, может случиться в тайге...»

— Что ж, проводите меня, пожалуйста, к пострадавшему.

То, что Андронову пришлось выслушать от взволнованного, испуганного продавца, было одновременно и просто, и сложно, как это и бывает в жизни.

А началось все с шанежек — кушанья удивительно вкусно-го даже в холодном виде. Отправляясь в город, где он думал достать денег для погашения растраты, Кочетов взял с собой из дома всяких печеностей. По дороге он зашел на кордон и случайно узнал у Леонида, что у Радужного должен появиться Дзюба-старший. Так у кого же и попросить денег, как не у старого приятеля, которого сам выручал в делах куда по-серьезней?!

С этой мыслью Кочетов и пошел на поиски Дзюбы. Утром перед уходом он взял с кухонной полки бутылку с уксусной эссенцией — знал, как приедается в тайге пресное. Бутылку со спиртом он загодя положил в котомку еще дома.

Дзюбу он застал у водопада и очень обрадовался. Приди он туда сутками позже, и считай, зря бил ноги. Петро Тарасович был не в духе. Позарился на козла — больно уж тот удобно стоял в скалах неподалеку — и убил, но услышал, как шуршат, осыпаясь со склонов расселины, камни, и побоялся идти в каменный лабиринт. За ужином, прежде чем заговорить о делах, Кочетов и предложил Дзюбе домашних шанежек, да еще с уксусом. Петро Тарасович подобрел, поглядывал ласково. А когда продавец достал и бутылку спирта, Дзюба совсем оживился. Махнул в мясо, запеченное в тесте, солидную порцию «уксуса», да еще пожаловался: мол, сильно развел, не жжет. Кочетов от приправы отказался: давно уж желудком страдает. Уж и по второй собрались выпить, когда Дзюба побагровел и зло спросил, какой это отравой напоил его Кочетов. Тот взял «уксус», лизнул слегка, почувствовал что-то не то и, закрыв склянку, отставил ее в сторону.

А полуобезумевший Дзюба уже «пёр медведем». Кричал, что Кочетов, мол, пришел его ограбить, схватился за карабин. Тут продавцу стало не до объяснений, он бросился куда глаза глядят — к скалам. Едва добежал до расселины, раздался выстрел, и ему обожгло бок. Он продолжал бежать опрометью, и в это время сверху посыпались камни.

Очнулся Кочетов утром. Все тело было избито, изранено. К тому же его выворачивало наизнанку. Еле-еле выбрался на поляну, но Дзюбы не нашел. С трудом передвигаясь, взял свои вещи и пошел прочь. Внизу, у начала волока, связал кое-как плоток из валежин. Кепку, ватник потерял.

— А накануне как переправились?

— Так Дзюба и перевез.

— А если бы его не застали?

— На том берегу и заночевал бы. Дело привычное.

Когда тщедушный, исхудавший Кочетов узнал о смерти Дзюбы, отравленного вехом и засыпанного камнями, он заплакал. Шумно, взхлеб.

*

В окуляре прибора ночного видения мелькали салатные очертания скал и кустов. В прогалах меж ними быстро двигалась человеческая фигурка. Против ожидания Кузьмы, считавшего, что Леонид пойдет вниз, к реке, тот пробирался по опушке к Чертовым скалам.

Цепь кустов оборвалась. Леонид стоял у подножия высоких скал, пристально глядя в направлении костра. Кузьма не шелохнулся.

Конечно, Дзюба-младший мог дойти до скал проще, напрямую, а не тащиться по кустам. Только ему, очевидно, нужно было идти так, чтоб в любую минуту сделать вид, что собирался он не туда.

Шло время. Леонид не отводил взгляда от костра.

Скрывшись по плечи в тени рюкзака, Кузьма лежал неподвижно, боясь спугнуть Леонида, хотя тот находился метрах в трехстах и едва ли заметил бы, шевелится его спутник или нет.

Неожиданно фигура Дзюбы-младшего исчезла за скалами. Вновь появилась. Он карабкался вверх. Было просто удивительно, как он умудрялся ориентироваться в темноте. Наверное, отлично знал, куда шел, и не раз туда ходил. Причем риск был громадный: каждый шаг мог стать последним.

Кузьме приходилось теперь не только следить за Леонидом. Время от времени он вскидывал «пистолет» и по зубцам «привязывал» путь Леонида к скалам, чтобы не потерять ориентировку. Иначе потом он не смог бы найти это место.

Поднявшись метров на двадцать вверх, Дзюба-младший остановился. Он снова долго смотрел в сторону костра.

«Похоже, еще раз хочет убедиться, не проснулся ли я, не спохватился ли, что его нет, не пошел ли искать, — понял Кузьма. — Значит, тайник там».

В следующее мгновение Леонид юркнул за скалу и пропал из виду.

И тут Кузьма едва не вскочил на ноги и не заорал во все горло: метрах в двух выше, как бы заглядывая — да, именно заглядывая — в расщелину, в которой скрылся Леонид, появился человек, по пояс высунувшийся из-за скал. Переведя виньер прибора на самое сильное увеличение, Кузьма узнал в этом человеке... Ангирчи.

Свечин протер глаза. Может, с усталости померещилось? Но нет. Облик Ангирчи он узнал бы из тысячи других. И старик, видимо, следил за тем, что делает Леонид. Он наблюдал!

«Вот что, Кузьма, — обратился Свечин к самому себе. — Подожди. Подожди с выводами, заключениями и даже предположениями. Наблюдай! Внимательно наблюдай! Не упускай ни одного движения — ни Леонида, ни Ангирчи!»

Сколько времени прошло, пока появился Леонид, Кузьма не знал. Но едва тот стал спускаться на поляну, как Ангирчи легко перелез через груды камней и бесшумно скрылся в расщелине, откуда только что вышел Дзюба-младший.

Снова Кузьма, чтобы одновременно наблюдать за Леонидом и Ангирчи, пришлось уменьшить увеличение.

Леонид преодолел уже половину спуска, когда Ангирчи появился над камнем, похожим на голову орла в профиль. Он-то и прикрывал расщелину. В руках у него было нечто похожее на большого формата книгу, атлас, что ли, длиной в полметра, а шириной немного поменьше.

«Лубянка? Лубянка!.. С корнем!»

Кузьма снова усилил увеличение и увидел, что створки лубянки распахнуты. Значит, она пуста.

Ангирчи снова с ловкостью барса взобрался на скалы и скрылся за ними.

Кузьма перевел объектив прибора к подножию. Леонид еще не закончил спуска. Он двигался очень расчетливо, придерживаясь за камни одной рукой, а вторую не отрывал от груди. Видимо, что-то прятал под ватником. И снова, оказавшись на поляне, он не пошел к костру напрямик, а двинулся вдоль опушки.

Свечин не спеша убрал аппарат в коробку и, увидев, что Леонид направился к костру, задвинул ее под рюкзак. Через несколько минут Дзюба, покашливая, подошел к огню. Присел. Закурил. Неторопливо, с чувством, и лишь затяжки его — глубокие, прерывистые — свидетельствовали: он только

закончил трудное и опасное дело, потребовавшее от него напряжения всех сил.

Глядя сквозь чуть приоткрытые ресницы, Кузьма понял: у Леонида под ватником что-то есть.

Убедившись, что Свечин спит, а тот, поевшись, преспокойно повернулся на другой бок, почмокал губами и затих, Леонид повернулся спиной к костру, переложил спрятанное за пазухой в свою котомку. Потом бросил окуроч в огонь, подложил дров и лег.

Раздумывая над происшедшим, Кузьма сообразил: перед рассветом на поляну непременно поползет с реки туман. Тогда он сможет незаметно пробраться в скалы и точно узнать, зачем же туда пробрался Леонид... Туман — это хорошо. Он вряд ли поднимется выше вершин.

Решив так, Свечин стал думать о том, правильно ли он вел себя и так ли, как надо, поступил. Первый вопрос, который он себе задал, был: «Почему ты не задержал обоих на месте преступления?» И тут же ответил: «Но разве нельзя предположить такое: я просыпаюсь, а Леонид смеется и говорит: «Пока ты спал, инспектор-салага, я корень нашел. Вот он!!»

Леонид достаточно честолюбив, чтоб поступить именно так. Но зачем Ангирчи лубянка? И почему Леонид не взял ее. В том-то и дело! Если бы Ангирчи был в сговоре с Леонидом, то не стал бы тайком утаскивать лубянку, когда корень женьшеня из нее уже взят. А Дзюбе куда ее девать? Корень, правда, пострадает, но и упустить то, во имя чего совершилось преступление...

А ты, Кузьма, сам-то уверен, что Леонид его совершил? Я не сказал еще точно: Леонид... Не назвал убийцей? Но ведь убийство совершено для того, чтобы завладеть женьшенем...»

И тут Кузьма увидел, что к свету костра из ночного мрака выходит Ангирчи с лубянкой в руках. Он шел неторопливо и уверенно.

Свечин сел и вытаращил глаза на старика. Он был поражен тем, сколько в фигуре на вид хрупкого удэгейца было достоинства и силы. Поднявшись, Кузьма сказал:

— Здравствуй, Ангирчи. Я рад тебя видеть. Где ты пропадад, Ангирчи? — Уголкем глаза инспектор наблюдал за Леонидом.

Тот словно окаменел, скрючившись на земле.

— Кузьма...

Ангирчи заговорил совсем негромко, но в ночи его слова не заглушались даже шумом водопада.

— Кузьма, у костра твоего — вор и сын вора...

— Может быть, и убийца?..

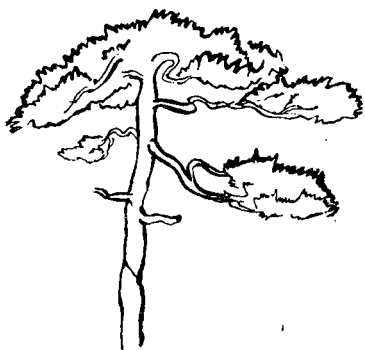
— Нет! Я не убивал отца! — закричал, не поднимаясь, а только ощерившись, Леонид. — Нет!..

— Твой отец украл у меня корень... Ты скрывал место, где он спрятан. Ангирчи догадался. Он две недели ждал тебя. Только это не мой женьшень. Ангирчи стар. Ему немного осталось жить на земле. И я хотел отдать корень людям.

Неуловимым, мягким, но неожиданно сильным движением Ангирчи оказался около Леонида. Достал из его котомки корень, очень похожий на индийского танцовщика, изваянного из слоновой кости. Отсветы костра играли на нем, и казалось, что фигурка живая.

Старик бережно, словно ребенка в колыбель, уложил женьшень в лубянку и передал ее Свечину:

— Держи его. Это чудо не для грязных рук. Храни и передай людям...





Безуглов А.

**ВАС
БУДУТ
НАЗЫВАТЬ
«ДИКС»**

Приключенческая повесть

У журналистов, как и у актеров, есть, очевидно, свои амплуа. Одни пишут фельетоны, другие — серьезные статьи. Мне чаще всего приходится писать судебные очерки.

В Зеленогорск я попал случайно. Не было ни редакционного задания, ни командировки. Просто хотелось повидаться с одним старым другом, побродить с ружьем, вспомнить студенческие годы. Но отдохнуть так и не пришлось: события, о которых мне рассказал мой товарищ, целиком захлестнули меня. Происшествие было настолько необычным, не похожим на те, с которыми мне пришлось сталкиваться прежде, что я не мог не написать о нем, хотя это запутанное дело выходило за рамки судебного очерка.

Я долго думал о форме повести и пришел к выводу, что лучше всего будет, если я не добавлю от себя ни единого слова: пусть обо всем расскажут главные участники этих событий. Итак...

Я сижу в кабинете Лазарева и, хотя все вопросы, которые я сегодня собираюсь ему задать, знаю наизусть, почему-то медлю. Капитан милиции, человек средних лет, внимательно смотрит на меня; он знает о цели моего визита и весь подобран и сосредоточен. «Нельзя начинать с главного,— думаю я.— Он ограничится изложением фактов, а мне важна каждая мелочь, каждая незначительная деталь».

— Сергей Васильевич,— обращаюсь я к Лазареву,— очень прошу вас, расскажите мне все по порядку, не пропуская буквально ничего. Не бойтесь, что кое-что в вашем рассказе может показаться мне малозначительным или вовсе не нужным.

Лазарев на минуту задумался, потом начал.

*

— Это случилось 17 ноября 1969 года. День в нашем райотделе начался как обычно. Лейтенант Скирда рассказал первый за этот день анекдот и обиделся, что никто на него не отреагировал. Лейтенант слывет у нас остряком (впрочем, кроме него самого, в это никто всерьез не верит). И обиделся он на нас зря: я лично этот анекдот слышал еще, когда был студентом. Но обида Валерия Скирды была столь неподдельна и искренна, что я смалодушничал и попросил его рассказать что-нибудь еще. Пусть человек реабилитируется. И тут же раскаялся в своем малодушии, потому что Валерий рассказал еще более древний анекдот. Откровенно говоря, я не сдержался и прочел ему краткую лекцию о том, чем должен заниматься в служебное время инспектор уголовного розыска. Скирда, растеряв весь свой юмор, что-то буркнул в ответ и по-мальчишески надул губы. Парень он хороший, способный, есть хватка, со временем из него выйдет толковый работник, но пока он еще очень молод. К нам его прислали недавно, и, очевидно, работа в милиции представлялась ему бесконечными приключениями и подвигами при его личном, Валерия Скирды, участии. А у нас все проще. И на первых порах трудно ему привыкнуть к мысли, что кино — это кино, а жизнь — это жизнь. Валерию, наверно, хотелось с пистолетом в руках выслеживать опасного преступника, применять на практике познания в области самбо — в общем, «Именем закона!». А тут иди и составляй протокол «о хищении козы, принадлежащей гражданке Пыховой». Есть от чего напускать на себя таинственный вид перед местными девчатами. Служба в милиции — это не игра в казаки-разбойники, с ее азартом, погонями, перестрелками. Бывает, конечно, и такое, но не это главное. Работа в милиции не только своевременное раскрытие преступления

и задержание преступника. Прежде всего это предотвращение преступления, как мы говорим — профилактика. Чем меньше преступлений совершено, тем лучше работает милиция. Все это Валерий понимал умом, но в сердце своем все же лелеял образ столь милого ему киногероя.

Я подумал, что обсуждение методов воспитания молодых оперативных работников не входит в задачи моего интервью, и осторожно перебил Сергея Васильевича:

— Скажите, а когда вы узнали о случившемся?

— В четырнадцать часов двадцать пять минут мне сообщили, что на дороге, ведущей в леспромхоз, недалеко от города, обнаружен труп мужчины, сбитого, очевидно, автомашиной. Отдав распоряжение об охране места происшествия, я захватил с собой судебно-медицинского эксперта Николая Николаевича Першина, лейтенанта Скирду и выехал на место происшествия.

Осень в том году выдалась холодная. С неба на размытую землю вперемежку с косыми тяжелыми дождями сыпалась белая крупа. Снежинки таяли в грязи тротуаров, растворялись на мокрых лентах асфальтовых дорог. Кое-где под заборами на прелой листве снег уже лежал чистыми полосками, напоминая о близкой зиме. Свинцовые тучи ползли так низко, что казалось, они вот-вот зацепятся за колокольню старинного собора, самого высокого здания в нашем городе. Валерий, сидящий на переднем сиденье, рядом с шофером, закурил, а Николай Николаевич демонстративно опустил стекло. В лицо ударила струя холодного воздуха.

Першина я знал давно, но если б меня спросили, что я думаю о нем, то мне было бы нелегко дать вразумительный ответ. Человек он замкнутый, скрытный, и я не помню, чтобы за годы нашей совместной работы мы разговаривали с ним о чем-нибудь, кроме служебных дел. Першин слыл эрудитом, глубоко и по-настоящему знающим свое дело. Не было случая, чтобы работа, проведенная им, требовала повторной экспертизы. Иногда он предлагал свою, как правило, очень оригинальную и хорошо мотивированную, следственную версию и частенько оказывался прав. Но было в нем качество, не вызывавшее во мне симпатий. Очевидно, наступает такая стадия в развитии человека, когда аккуратность переходит незаметно в педантизм, а сдержанность — в равнодушие. Вот, пожалуй, на такой стадии и находился Николай Николаевич. Единственное, к чему он, по-моему, был неравнодушен, так это к собственному здоровью. Он не пил, не курил и терпеть не мог, когда курили при нем. Однажды кто-то из сотрудников спросил его, правда ли, что медики начинают курить после того, как побывают в анатомичке. Першин, иронически посмотрев на него, ответил:

— А я вот поэтому и не курю, что слишком много трупов повидал.

Несмотря на преклонный возраст, он занимался спортом, вечно возился с какими-то травяными отварами и вместо чая пил настойку шиповника. По слухам, Першин собирался дожить до ста лет. А Валерий клятвенно утверждал, что наш эксперт каждый вечер измеряет температуру и, если она поднимается хоть на одно деление против тридцати шести и шести, тут же ложится в постель. Впрочем, это было явной выдумкой, так как здоровьем Першин обладал действительно отменным, и я не помню, чтобы он хоть раз болел чем-нибудь.

— Вы бы окошко прикрыли, — попросил Валерий, поворачивая к нам посиневший на ветру нос.

— Свежий воздух гораздо полезнее табачного дыма, — наставительно отозвался Николай Николаевич и, всем телом повернувшись ко мне, добавил: — Курящие думают, что отравляют только себя. Это заблуждение: окружающие страдают нисколько не меньше.

Валерий досадливо крикнул и, слегка приспустив стекло, выбросил недокуренную сигарету.

— А у меня вот дед и курил, и пил дай бог как, — неожиданно вступил в разговор шофер, — и дожил до восьмидесяти шести лет.

— Исключение из правил только подтверждает правила, — сухо сказал Николай Николаевич и крепче вцепился в чемоданчик, стоявший у него на коленях. Переспорить Першина было невозможно.

— Что-то рано в этом году зима начинается, — примирительным тоном сказал Скирда, стараясь, очевидно, свернуть разговор к ничему не обязывающим ахам и охам по поводу действительно необычно ранних для наших мест холодов.

— Ну это еще не зима, — охотно подхватил шофер. — Я вот в армии служил в Иркутске — вот там зима. Выйдешь на улицу, вздохнешь, как будто самогонки хватил. Один раз, помню, были у нас учения, мороз сорок пять градусов.

— В тени? — невозмутимо поинтересовался Валерий.

— Моторы паяльными лампами разогревали, — не обращая внимания на его выпад, продолжал шофер...

Как мне знакомо вот это состояние перед тем главным, что нас ожидает. Люди разговаривают о совершенно посторонних вещах, а все мысли там, где совсем недавно неожиданно оборвалась чья-то жизнь. К смерти привыкнуть невозможно. Каждый по-разному представляет, что ждет его на месте происшествия. Каждый про себя строит версии, вспоминает похожие случаи, прикидывает, с чего взяться за дело. Но мы не говорим об этом, не обсуждаем предстоящей работы. Каждый напряжен и за обычными разговорами пытается скрыть свое

напряжение. С той минуты, как мы выйдем из машины на место, где произошел несчастный случай, а может быть и преступление, не будет сказано ни одного лишнего слова.

Машина выбралась за город и, разбрызгивая лужицы, скопившиеся в выбоинах, на предельной скорости понеслась по шоссе. За окнами замелькали голые мокрые деревья...

...Несмотря на отдаленность от жилья, на месте происшествия собралось немало любопытных. Я попросил Скирду выяснить, является ли кто-нибудь из собравшихся свидетелем происшедшего, и вместе с Першиным подошел к труп. Человек лежал ближе к обочине, лицом вниз, неловко выбросив вперед руку. Серое драповое пальто было испачкано дорожной грязью. Устанавливать личность убитого не было необходимости: в человеке, лежащем на шоссе, я узнал учителя географии Леонида Николаевича Карпова. В нашем городе его знали многие. Общественник, бывший подпольщик...— Лазарев на минуту умолк и потянулся за новой сигаретой.

— Скажите, Сергей Васильевич, на месте было что-либо обнаружено?

Лазарев резким движением руки разогнал табачный дым.

— Да, след машины, которая, очевидно, сбила Карпова, был хорошо замечен. После наезда след вилял примерно метров триста, а далее пошел ровно. Видимо, шофер был настолько растерян, что не мог совладать с нервами. Эти триста метров машину буквально бросало из стороны в сторону. В одном месте она настолько близко подошла к обочине, что даже зацепила бортом деревце, росшее у края дороги. Свежее повреждение коры находилось на высоте 107 сантиметров от земли. По ширине колеи, следу и форме узора протектора покрышки я пришел к выводу, что наезд совершен на грузовом автомобиле «ГАЗ-51». Через несколько дней экспертиза подтвердила этот вывод. Тщательно сделав гипсовый слепок следа протектора, я подошел к Першину.

— Обратите внимание, Сергей Васильевич.— Першин нагнулся к труп. На голове Карпова, среди слипшихся от крови волос, червонным золотом поблескивало несколько длинных рыжих волосков.— Перелом основания свода черепа. Очень странно.— Першин тяжело поднялся.— Думаю, что все станет ясно после вскрытия. Рад, что вы не задаете традиционного вопроса «Когда наступила смерть?»,— добавил он, увидев, что я внимательно разглядываю часы Карпова.

Очевидно, одно из колес прошло по руке, часы марки «Салют» буквально врезались в запястье, небьющееся стекло, вдавленное непомерной тяжестью в циферблат, покрылось густой сеткой трещин, стрелки остановились и показывали тринадцать часов тридцать семь минут.

— Значит, смерть наступила в тринадцать тридцать семь.

— А может быть, и раньше. — Першин иронически посмотрел на меня.

— Почему вы так решили?

— Я еще ничего не решил, это только предположения, и не больше.

— А на чем все же основываются ваши предположения?

— Хотя бы на том, что часы могут идти не точно. Бывает ведь такое?

Першин явно хитрил, но за годы работы с Николаем Николаевичем я привык к тому, что он иногда говорит загадками. Когда у Першина рождались какие-то предположения, он никогда ни с кем ими не делился до тех пор, пока сам тщательно не проверял их обоснованность.

На месте происшествия я действительно кое-что обнаружил: гвоздь, кусочек вогнутого стекла и булыжник. Причем каждый из этих предметов в отдельности, впрочем как и все они вместе, могли не иметь к случившемуся ровно никакого отношения. Изъял я также рыжие волосы, найденные на голове убитого. Лейтенанту Скирде повезло больше — среди собравшихся любопытных он отыскал женщину, которая видела, как примерно в то время, когда случилось происшествие, по дороге проехала зеленая грузовая машина. Номера женщина не запомнила, помнит только, что к кабине был прикреплен треугольный красный флажок. Скирда с таким суровым и таинственным видом допрашивал свидетельницу, что она окончательно растерялась и к тому времени, когда я подошел к ней, только испуганно моргала. А Скирда, грозно нахмутив брови, железным голосом спрашивал:

— Неужели больше вы ничего не запомнили? Я ведь вас предупреждал...

«Ах ты, Шерлок Холмс чертов», — подумал я, видя, что женщина взволнована и запугана и толку от нее будет немного. Это состояние свидетелей мне, к сожалению, хорошо знакомо: они ожидают наводящих вопросов следователя и могут подтвердить все, что угодно. Я вообще с большой осторожностью отношусь к свидетельским показаниям. Гладко и точно дают показания обычно только лжесвидетели. Человек же, бывший действительно на месте происшествия или преступления, часто сбивается, не может точно установить время происходившего, путает цвета и другие приметы. Есть, конечно, внимательные люди с прекрасной зрительной памятью, но таких, к сожалению, не много, большинство же не обладает этим ценным для свидетеля качеством. Ну, а уж если свидетель запуган или взволнован, то нужных показаний от него не жди. Из искреннего желания помочь следствию он может нагородить такое, что до второго пришествия не разберешься. Я записал адрес и фамилию женщины и отпустил ее, решив до-

просить в более спокойной обстановке. Отведя в сторону усердного лейтенанта, я второй раз за день прочел ему нотацию, на этот раз вполне серьезно. Валерий слушал с недовольным лицом, изображая непонятого гения, такого молодого Мегрэ, к которому придирается старый бездарный инспектор.

— У вас была какая-то версия? Вы кого-нибудь заподозрили?

Лазарев покачал головой.

— Версия рождается из целого ряда удик: прямых и косвенных. Кого я мог заподозрить? У меня не возникало сомнений в том, что Карпова сбил какой-то лихач. Надо было срочно разыскать машину, на которой было совершено преступление, а затем выяснить, кто находился за рулем.

Найти машину, совершившую наезд, оказалось несложно. В гараже городской автобазы я сразу обратил внимание на «ГАЗ-51» зеленого цвета, к кабине которого был прикреплен выцветший треугольный флажок. При детальном осмотре машины на правом переднем колесе были обнаружены следы крови для экспертизы, я тщательно осмотрел борта кузова. На правой стороне, на высоте 107 сантиметров, явно выделялась царапина от удара о дерево, рисунок протектора покрышки совпадал с отпечатком, обнаруженным мной на месте происшествия. Сомнений не было: это та самая машина, сбившая Карпова. В диспетчерской автобазы, проверив путевки, я выяснил, что сегодня на этой машине в леспромхоз выезжал шофер Горбушин. Отдав распоряжение притихшему после выговора Скирде доставить на допрос Горбушина, я поехал в райотдел: надо было успеть написать постановление о назначении экспертиз по поводу желтых волосков, стекол, обнаруженных на месте происшествия, группы крови, соскобленной с колеса машины, и, наконец, следа протектора. К тому времени, как я закончил писать последнее постановление, у меня изрядно разболелась рука. Чего-чего, а писанины в нашем деле хватает.

Горбушин мало чем напоминал шофера грузовой машины: его скорей можно было принять за студента, молодого инженера, за кого угодно, но только не за шофера. Красивое, тонкое лицо с девичьим румянцем, белая нейлоновая рубашка, аккуратно повязанный галстук. Те шоферы, с которыми мне доводилось встречаться, как правило, несли на себе отпечаток своей нелегкой профессии: обветренные лица, загорелые руки, а уж если белая рубашка, то только по праздникам. Народ веселый, напористый, грубоватый.

— Давно работаете шофером? — спросил я.

— Второй год. Как вернулся из армии. — Голос у Горбушина был тихий и приятный.

«Вот черт, — мелькнуло у меня в голове, — ведь этот вежливый, аккуратный паренек сегодня задавил человека! А держится спокойно, будто ничего не произошло. Что это? Самообладание, уверенность, что он уйдет от расплаты, или просто равнодушие? Обыкновенное равнодушие, которое притаилось за элегантной внешностью? Ни тени испуга, ни следа растерянности, как будто его вызвали не в милицию, а пригласили к друзьям в гости. Мне случалось видеть, как люди, ни в чем не виновные, вызванные в милицию по самым пустяковым вопросам, нервничали и чувствовали себя не в своей тарелке. А этот спокоен. Ну, погоди, Горбушин Михаил Семенович, тысяча девятьсот сорок четвертого года рождения, женатый, член ВЛКСМ, сейчас мы поговорим с тобой как следует».

— Вы догадываетесь, зачем вас сюда вызвали?

— Не имею ни малейшего понятия. — Горбушин открыто посмотрел мне в глаза и озабоченно добавил: — Что-нибудь случилось?

— Где вы были сегодня от тринадцати до четырнадцати? — в упор спросил я и заметил, как по красивому лицу шофера скользнула тень.

— В тринадцать — в рейсе, — слегка помедлив, но все так же спокойно ответил он. — Ездил в леспромхоз.

— И по дороге сбили человека, — не давая ему опомниться, быстро сказал я, — сбили и уехали...

— Никого я не сбивал, вы что-то спутали.

— Бросьте, Горбушин, мы же не дети. Следствие располагает неопровержимыми доказательствами, что ваша машина 25-34 на шоссе, ведущем к леспромхозу, сбила человека.

Горбушин судорожно сглотнул слюну и, проведя указательным согнутым пальцем за воротником рубашки, испуганно сказал:

— Это какое-то недоразумение.

— Сегодня не первое апреля и вообще: если бы я хотел вас разыграть, то наверняка придумал бы что-нибудь поостроумнее и повеселее.

— Уверяю вас, товарищ, — Горбушин даже привстал со стула, — я никого не сбивал. Я очень аккуратно вожу, у меня вообще никогда ничего подобного не было... — Голос у него дрожал, в глазах появилось растерянное выражение. Вместо уверенного в себе «студента», как я мысленно окрестил Горбушина, передо мной сидел побледневший, испуганный мальчишка.

Я нарочно неторопливо закурил и простым, будничным тоном, как бы давая ему понять, что мне все уже ясно, спросил:

— Ну что, Горбушин, может быть, все сами расскажете? Зря вы запираетесь. Не тяните время.

Горбушин срывающимся голосом сказал:

— Что вам может быть известно? Никого я не сбивал, что я, пьяный? Это какая-то ошибка. Бред какой-то...

В его взволнованном голосе чувствовалась такая убежденность, что я невольно подумал: «Из «студента» наверняка бы получился незаурядный актер». Да, трудно признаться, что ты убил человека. Я понимал, что в Горбушине сейчас происходит внутренняя борьба, но ощущение того, что он слишком уж уверенно держится для выбранной им позиции, не покидало меня. Так может вести себя человек, которому действительно ничего не известно о происшествии. Что это? Холодный расчет или талант, умение собрать волю и разыграть весь этот спектакль? В том и другом случае добиться признания будет трудно. Я подумал, что рассчитывать на легкий успех с Горбушиным мне не придется. Для того чтобы сбить его с прочно занятой позиции, мне было совершенно необходимо предъявить ему какое-нибудь веское, неопровержимое доказательство его вины. Решение пришло сразу.

— Пойдемте, Горбушин, — резко вставая с места, сказал я. Парень испуганно посмотрел на меня.

— Куда вы меня ведете? В тюрьму?

Не отвечая на его вопрос, я позвонил Скирде и попросил спуститься к дежурной машине. На автобазе, куда я доставил Горбушина, нас встретил начальник отдела эксплуатации, толстый пожилой мужчина, в щеголеватой, давно вышедшей из моды габардиновой кепке-восьмиклинке. Не обращая никакого внимания на Горбушина и на меня, он кинулся к Скирде.

— Товарищ лейтенант, узнали что? — высоким, бабьим голосом, так не гармонировавшим с его внешностью, спросил он. — Ведь я не из любопытства, это же пятно на весь коллектив, ЧП. Коллектив у нас передовой, за прошлый год получили переходящее знамя. Что же теперь будет?

Толстяк так просительно и подобоострастно поглядел на Скирду, которого, очевидно, принимал за старшего, что мне стало его искренне жаль. Наш Шерлок Холмс принял самый недоступный вид и строгим, начальственным тоном изрек:

— Не знаю, не знаю...

Начальник отдела эксплуатации горестно вздохнул и принялся сбивчиво перечислять заслуги автобазы. Тут были и безаварийные пробеги, и экономия горючего, сверхплановые перевозки, и даже помощь подшефному колхозу. Прервав поток его красноречия, я попросил провести нас к машине, на которой совершал сегодня езду Горбушин.

— Пожалуйста, пожалуйста... — заторопился толстяк и тут, кажется, впервые заметил Горбушина, сидящего в машине. Наклонившись к стеклу, он с отвращением глянул на него и искренне, с душой сказал:

— Подлец же ты, Горбушин!

— Товарищ Ермаков, — строго взглянул на него Скирда, — прошу без оскорблений.

— Извините, товарищ лейтенант, но ведь этот гад общественником прикидывался, стенгазету выпускал. Видали у нас в конторе «За рулем»? Писатель! — Толстяк сплюнул.

— Может быть, вы все-таки проведете нас к машине? — обратился я к Ермакову.

— Конечно, конечно, товарищ... — Толстяк засмеялся, не зная, очевидно, как меня назвать.

— Товарищ следователь, — подсказал ему Скирда.

С этой минуты, поняв, что я старше по должности, Ермаков переключил все свое внимание на меня. Высадив из машины Горбушина, мы направились в гараж. Ермаков лебезил до неприличия и даже попытался поддержать меня под локоток, когда мы обходили лужу, подернутую жирными радужными пятнами мазута. Не умолкая ни на минуту, он снова и снова говорил о заслугах автобазы и почтительно, понизив голос, сообщил, что начальник автобазы Евтеев — депутат райсовета и член райкома партии. Гневно взглянув на Горбушина, шагавшего между мной и лейтенантом, Ермаков патетически воскликнул:

— Ну ничего, коллектив автобазы смоем это черное пятно!

— Бензином, — невозмутимо изрек Скирда.

— Зря шутите, — отозвался толстяк, — беззаветным трудом. Правильно я говорю, товарищ следователь? — И он как-то по-собачьи заглянул мне в глаза.

Мне стало так противно, что я едва сдержался, чтобы не сказать ему несколько «теплых» слов. Терпеть не могу людей такого типа, с неумейной жаждой подчиняться, ни в чем и никогда не имеющих собственного мнения, прикрывающихся высокими словами, любящих с апломбом доказывать, что дважды два — четыре.

— Вот эта самая машина, — драматически понизив голос, сказал Ермаков, подводя нас к уже знакомому мне грузовику. — Я все сделал, как сказал товарищ лейтенант: никто к машине не подходил, — опять заторопился он, — ведь надо же — такое пятно на коллектив...

— Помолчите, Ермаков! — не вытерпел я.

Ермаков испуганно захлопал глазами и пискнул:

— Слушаюсь.

— Вы на этой машине сегодня ездили? — обратился я к Горбушину.

— На этой, — тихо ответил он. — Только уверяю, товарищ следователь, никакого наезда я не совершал.

— Брось отпираться, Горбушин! — вмешался Ермаков. — Советский суд не обманешь.

— Здесь еще никого не судят, — сказал я и, подведя Гор-

бушина к правому борту, обратил его внимание на царапины и потертости кузова.— Чем вы можете объяснить происхождение этих царапин?

Горбушин пожал плечами.

— А кто его знает, зацепил кто-нибудь. Я лично нигде ни за что не цеплялся.

— Сейчас мы возьмем двух понятых и выедем на место происшествия. Я покажу вам, где вы приобрели эти шрамы. Лейтенант Скирда, вы поведете грузовик.

Скирда козырнул мне и полез в кабину.

Я торопился прибыть на место происшествия засветло. По дороге Горбушин несколько раз пытался заговорить со мной, но я обрывал его. Сейчас, в ранних сизых сумерках осеннего дня, шоссе выглядело обычно; ничто не говорило о произошедшей здесь трагедии.

— Знакомое место? — спросил я у Горбушина, выводя его из машины. Я заметил, как он вздрогнул...

«Так, «студент», — подумал я, — сейчас я тебе покажу». И, подведя его к дереву с ободранной корой, попросил Скирду вплотную подогнать машину. Скирда осторожно сдал грузовик назад и прижался правым бортом к поврежденному дереву. Как я и предполагал, царапины на коре в точности совпадали с царапинами и потертостями на правом борту кузова. Скирда, выйдя из кабины, закурил и, сделав непроницаемое выражение лица, как бы между прочим спросил у Горбушина:

— Ну, что вы теперь скажете?

Я незаметно подал ему знак, чтобы он не вмешивался, и, не торопясь, сделал нужные мне снимки. После этого я так же неторопливо подошел к Горбушину:

— Видите теперь, откуда эти царапины на борту грузовика?

Шофер ошалело смотрел на меня:

— Ничего не понимаю, я не задевал дерева. Чтобы так сильно врезаться, надо вообще не уметь водить машину.

— Да, но факты — упрямая вещь. Именно вашей машиной было ободрано дерево. И именно машиной, ободравшей дерево, был совершен наезд.

— Я никого не убивал! Никого не давил! — Голос Горбушина сорвался на крик. — Какого черта вы ко мне пристали? Я ничего не знаю. — Он рванул ворот своей нейлоновой рубашки — белая пуговица покатила по шоссе.

Я поднял пуговицу и, показав ее Горбушину, спросил:

— Что это?

— Пуговица.

— Нет, это вещественное доказательство того, что у вас сдали нервы, а вот это дерево и борт вашего грузовика тоже

улика того, что сегодня в тринадцать часов тридцать семь минут вы наехали на человека.

— Я ни на кого не наезжал... — Горбушин заплакал, совсем по-детски хлюпая носом.

Утро следующего дня началось с неприятностей. Прокурор Рудов наотрез отказался дать санкцию на арест Горбушина. И, как я его ни убеждал, он твердо стоял на своем, говоря, что в деле много неясных мест, что надо, мол, дожидаться заключений экспертов. Формально, может быть, он и прав, но мне кажется, что арест Горбушина был бы именно тем фактором, который бы заставил его чистосердечно признаться...

Повторный допрос Горбушина снова не дал никаких результатов. По воспаленным глазам, осунувшемуся лицу было видно, что он провел бессонную ночь. Он затравленно смотрел на меня и с непонятным упрямством отвергал обвинение...

— Скажите, — прервал я Лазарева, — в ту минуту вы были убеждены, что Горбушин виноват?

— Если говорить честно, я мало верил показаниям Горбушина, тем более что все улики говорили не в его пользу. Кроме того, несмотря на правдивость его тона, каким-то шестым чувством я ощущал, что Горбушин что-то скрывает, недоговаривает. Это ощущение не покидало меня до конца допроса. Теперь Горбушин выглядел совсем не так, как при первом нашем знакомстве. Он как-то весь сник, полинял и мало чем напоминал вчерашнего щеголеватого «студента»: чувствовалось, что в нем происходит внутренняя борьба. Это состояние обвиняемого следователям известно. Сначала полное отрицание даже самых явных улик, затем спад — душевная депрессия и признание вины. Помню, как несколько лет назад я расследовал дело об убийстве. Обвиняемый на первых допросах, несмотря на неопровержимые улики, вел себя нагло, кричал, что это мне так не пройдет; что сейчас не те времена; что я порочу его честное имя; грозился жаловаться в вышестоящие инстанции, а потом, после какого-то внутреннего перелома, сник и без театральных ударов в грудь подробно рассказал, как было дело. Мне показалось, что у Горбушина наступило именно такое состояние.

— Ну, Горбушин, а теперь расскажите, как все было.

Шофер вздрогнул и, зло взглянув на меня, срывающимся голосом ответил:

— Вы просто издеваетесь! Я вам русским языком сказал, что ни на кого не наезжал. Больше мне добавить нечего...

На следующий день хоронили Карпова, и в местной газете «Знамя труда» появилась заметка, из-за которой я крепко поспорил с нашим комсоргом, адвокатом Песчанским. В заметке говорилось, что шофер Горбушин, сбивший Карпова, не дол-

жен уйти от расплаты. Я был уверен, что заметка написана правильно, что она выражает мнение общественности, а Песчанский заявил, что заметка вредная, что никто не имеет права до того, как вина не доказана, объявлять человека преступником. Кроме того, мол, такие выступления печати могут повлиять на решение суда.

— Если суд решит, что Горбушин не виноват, то никакая газета ничего сделать не сможет, — не выдержал я.

Песчанский близоруко посмотрел на меня и своим поставленным адвокатским голосом спросил:

— А доброе имя человека?

— Слушайте, Песчанский, я не народный заседатель, и на меня ваши красивые слова не действуют.

— А жаль. — Песчанский сощурился. — Вы ведь еще не доказали, что Горбушин совершил преступление, а уже всенародно объявили его убийцей. Задумайтесь над этим, и тогда вам станет ясно, что это не просто красивые слова. Поставьте себя на его место.

— Если бы я поставил себя на его место, то давно бы уже признался, — невольно вырвалось у меня и, чтобы прекратить этот ненужный спор, вышел из комнаты.

Вернувшись к себе в кабинет, я достал из сейфа папку с делом и в который раз внимательно стал изучать весь собранный материал. Почему Горбушин столь упорно запирается? Он прекрасно должен понимать, что улики против него. Если он совершил наезд... Стоп! Какого черта я уперся в эту версию? Видимо, потому, что она удобная, все под рукой: машина, Горбушин. А что, если наезд совершил не он? Тогда кто? Нет, Карпов был сбит именно этой машиной, тут сомневаться не приходится. Криминалистика — наука точная. А за рулем этой машины сидел Горбушин. Значит, виноват все-таки он. «Опять ты себя загоняешь в тупик, — с досадой подумал я. — Ясно пока одно: наезд был совершен грузовиком «ГАЗ-51», все совпадает — и след протектора, и царапины на правом борту. Если наезд совершил не Горбушин, то, значит, за рулем находился кто-то другой. Могло же такое случиться».

— *Что вам давало основания так думать?*

Лазарев пристально посмотрел на меня и, чуть понизив голос, внятно сказал:

— Рудов был, конечно, прав, в деле оставалось много неясного. Что это за желтые волосы на голове убитого? Что за осколок стекла? Ну хорошо. Осколок мог лежать на месте преступления случайно. А волосы? Чертовщина какая-то... В конечном итоге и признание Горбушина ничего не давало. Вы же знаете, что признание обвиняемого не есть бесспорное доказательство его вины. К тому же было еще одно обстоятельство, которое наводило на размышления.

Дело в том, что после вскрытия трупа Карпова Першин написал в заключении, что удар, приведший к перелому основания свода черепа, мог быть нанесен до наезда. Следовательно, Горбушин мог наехать на Карпова уже после того, как тот был мертв. Мне это показалось маловероятным. Если бы дело происходило ночью, такой вариант был бы возможным. Но днем не заметить человека, лежащего прямо на шоссе... Я решил посоветоваться с Першиным. Ум хорошо, а два лучше...

В райотделе Николая Николаевича не оказалось, и я отправился к нему домой. Погода стояла холодная, заметно подморозило. Тротуары покрылись тоненькой корочкой льда, сапоги скользили, и пришлось идти медленно и осторожно. Не успел я сделать несколько шагов, как на крыльцо выскочил Скирда.

— Сергей Васильевич! — громко крикнул лейтенант и, увидев, что я остановился, прыгнул с крыльца. Сильно разбежавшись, он не смог затормозить на скользком тротуаре и проехал на подошвах ботинок мимо меня, нелепо размахивая руками.

— В чем дело, Скирда? — строго спросил я, глядя на его возбужденное лицо.

Но Скирда, не обращая внимания на мой тон, вынул из кармана бумажку и, обретя наконец равновесие, торжественно протянул ее мне:

— Вот, читайте.

Я развернул бумажку — это был акт экспертизы, в котором говорилось, что соскоб, взятый с колеса машины, является кровью третьей группы.

— Ну и что?

— Как — что? — изумился Скирда. — На колесе кровь третьей группы, так?

— Так, — согласился я.

— А у Карпова, если вы помните, — тон лейтенанта стал язвительным, — тоже третья группа. Так?

— Так.

— Из этого следует, что именно Горбушин уколошил товарища Карпова.

— Ничего из этого не следует.

Скирда растерянно захлопал ресницами.

— Вот что, уважаемый Валерий Игнатьевич, я буду у себя часа через два, а ты за это время доставь в райотдел свідетельницу Макарову. Но учти: если ты опять запугаешь ее, как тогда на шоссе, пеняй на себя. И не забудь надеть шинель: насколько я понимаю, лето уже кончилось.

— И все-таки, Сергей Васильевич... — Скирда обиженно надул губы.

— Делай, что тебе сказали.
— Дайте мне высказать свое мнение.
— Для того чтобы высказывать мнение, его надо как минимум иметь. Прикажешь отдать письменное распоряжение, чтобы ты доставил свидетеля?

— Ну зачем же...— В голосе Скирды зазвучали обиженные нотки.— Я схожу...

— Вот за это спасибо от лица службы. И не забудь, о чем я тебя просил. Обращайся с Макаровой, как с родной, любимой тетей, которую ты не видел лет десять. Ясно?

— Ясно,— нехотя проворчал Скирда.

Дом Першина находился на улице, круто спускавшейся от Соборной площади к реке. Раньше эту улочку называли просто Ввозом, а с некоторых пор ей было присвоено звучное имя — Профсоюзная. Дома здесь стояли деревянные, крепкие, построенные еще дедами. Они чем-то неуловимо напоминали своих жильцов — людей солидных и немногословных. Когда-то все население Ввоза состояло из подрядчиков — народа хваткого и двужильного. За годы Советской власти многое здесь ушло в прошлое, а дома остались прежними, поставленными, казалось, на века рачительными хозяевами.

Дом Першина стоял на отшибе, в самом конце улицы, дальше тянулись пожелтевшие, запорошенные снегом огороды, круто опускающиеся к реке. Железная, изрядно проржавевшая табличка, прибитая к фасаду, говорила о том, что дом застрахован в 1896 году страховым обществом «Россия». Ничего, кроме телевизионной антенны, не говорило здесь о сегодняшнем дне. Дома у Николая Николаевича я никогда не бывал, несколько раз подвозил его на служебной машине, но дальше калитки не ходил. Я знал, что Першин закоренелый холостяк, живет один и поэтому, войдя во двор, заранее приготовился увидеть беспорядок, столь обычный в холостяцком хозяйстве. Ничего подобного не оказалось: двор был тщательно выметен, за домом, у сарайчика, сколоченного из крепкого потемневшего горбыля, аккуратно высилась поленница колотых березовых дров. Я пересек двор и, взойдя на крыльцо, сначала обчистил от грязи сапоги о скребок, вбитый в доску, а потом вытер их о резиновый коврик, заботливо положенный у самых дверей. «Педант!» — подумал я и поискал глазами звонок. Но ни звонить, ни стучать к Першину мне не пришлось. Дверь распахнулась, и на пороге я увидел хозяина, одетого в меховую безрукавку и старые, подшитые валенки.

— Ну-с,— не здороваясь, сказал Николай Николаевич, блестя глазами,— с чем изволили пожаловать?

Я промямлил что-то невразумительное: уж больно неожиданно появился передо мной Першин.

— Так, ясно,— невозмутимо произнес наш эксперт. И, сделав широкий жест, торжественно сказал: — Заходите, сделайте милость. А то, гляжу, бродите вы по двору, высматриваете что-то, вроде никаких грехов за собой не помню, а вы, оказывается, в гости. Ну что же, очень приятно.

В передней, куда меня провел Першин, висело старинное зеркало в резной ореховой раме, по бокам горели два вычурных бронзовых канделябра, в которые вместо свечей были вставлены каплевидные матовые лампочки.

— Уж не осудите,— закричал Николай Николаевич, доставая из-под вешалки шлепанцы,— я, знаете ли, убираю сам.

Пришлось снять сапоги. В большой светлой комнате царил образцовый порядок. Каждая вещь занимала место, отведенное для нее раз и навсегда. Несмотря на обилие мебели, комната имела какой-то нежилой вид. Неяркое осеннее солнце отражалось на золоченых корешках старинных книг. Я с невольным уважением окинул взглядом библиотеку Першина. Книги, выстроившиеся ровными, по-солдатски, рядами, занимали два больших дубовых шкафа и бесконечные стеллажи, тянувшиеся вдоль стен. Перехватив мой взгляд, Першин криво усмехнулся и, подняв вверх сухой указательный палец, наставительно сказал:

— Не шарь по полкам жадным взглядом. Здесь книги не даются на дом.

— Ну что вы, Николай Николаевич, я бы и не осмелился у вас попросить.

— И правильно бы сделали. Вообще должен вам сказать, дорогой Сергей Васильевич, если вы желаете сохранять с людьми хорошие отношения, никогда не давайте им книг или денег взаймы. Это мое многолетнее правило.

— Наверное, чтобы собрать такую библиотеку, вам потребовались годы,— попытался я изменить неприятную тему.

— Годы? — Николай Николаевич, как мне показалось, с сожалением посмотрел на меня.— Не годы, батенька, а вся жизнь. Эту библиотеку начал собирать еще мой отец. Вот полюбуйтеесь...— Николай Николаевич, совсем как экскурсовод, указал на один из шкафов.— Здесь вся «Академия», вся, до единого тома. Многие из этих книг стали библиографической редкостью. Здесь,— он небрежно кивнул в сторону золоченых корешков,— полный Брокгауз и Ефрон, Брем, «Человек» Ранке и прочее, и прочее. Ну ладно, заговорил я вас. Сел на своего конька. Простите старика.

— Ну что вы, Николай Николаевич! Я вполне понимаю вашу страсть. Сам люблю книги, собираю их, но, конечно, моей библиотечке далеко до вашей. Наверно, таких книг нет и в городской библиотеке.

— «В городской»...— Лицо Першина озарила горделивая

улыбка.— Убежден, что некоторых экземпляров нет даже в Ленинке. «В городской»... Чудак человек! Ну, хватит о книгах. Как говорили наши предки: «Соловья баснями не кормят». Сейчас я вас буду потчевать,— решительно объявил Першин.

— Спасибо, Николай Николаевич, но я совсем недавно пообедал.

— Зря отказываетесь. Готовлю я отменно. Уж не знаю, какой я медик, а повар исключительный. Может быть, рюмочку водки под соленый рыжик? Я сам не пью, а для гостя найдется. И рыжики у меня что надо, собственного засола.

Я, ссылаясь на дела, вежливо, но твердо отказался от водки и, чтобы не обидеть старика, попросил у него стакан чаю. В столовой царил тот же образцовый порядок, круглый дубовый стол был покрыт белоснежной камчатой скатертью. За стеклянными дверцами старинного буфета разноцветными бликами поблескивали бесконечные ряды хрустальных рюмок и вазочек. Так же как и в кабинете, по стенам тянулись стеллажи, плотно уставленные книгами.

— Здесь у меня специальная литература. Медицина, юриспруденция, философия. Ну, да мы договорились не говорить о книгах,— сказал Николай Николаевич, доставая из буфета разноцветные банки с вареньем, закрытые белой бумагой и аккуратно завязанные бечевочками.

— С чем чай пить будете: айва, слива, вишня, клубника...

— Если можно, с вишней,— сказал я.

— Ну и я с вишней.— Николай Николаевич махнул рукой, будто он собирался совершить какой-то отчаянный, из ряда вон выходящий поступок.

Пока Першин вышел на кухню, чтобы поставить чайник, я стал разглядывать комнату и обратил внимание на блюдечко с молоком, стоящее возле буфета.

— Кошку держите? — спросил я у входящего в столовую эксперта.

— Нет, кошек не люблю,— брезгливо поморщился Першин. И, нагнувшись, позвал:— Егорка! Егорка! — а затем как-то особенно зачмокал губами.

Из-под буфета показалось острое любопытное рыльце с черными бусинками глаз.

— Егорка,— ласково, совсем как к ребенку, обратился к ежику Першин,— давай вылезай, у нас гость.

Ежик хрюкнул и, постукивая коготками по полу, шустро подбежал к хозяину и уткнулся в его валенки. Я протянул к нему руку, но ежик тут же юркнул под буфет.

— Вы на него не обижайтесь,— насупил брови Николай Николаевич.— Не привык он к чужим, а так ручной совсем, третий год у меня живет.

Мне вдруг стало до боли жалко этого одинокого старика. Вот ведь работали вместе много лет, а что я о нем знаю? Ровным счетом ничего. Педант, хороший специалист, холостяк, человек замкнутый. Как мы иногда преступно мало обращаем друг на друга внимания. Как, наверно, ему одиноко среди всех-этих книг и стерильной, больничной чистоты. А ведь мог же я зайти к нему не по делу, а просто так, как старый сослуживец, знающий его много лет. В конце концов мог пригласить его к себе домой. Побыл бы старик в семейной обстановке, отогрелся немного. Я даже не знаю, был ли он женат, имел ли детей. Тон, которым он разговаривал со зверюшкой, особенно остро дал мне почувствовать всю глубину одиночества этого умного и милого человека. И мне стало стыдно за то, что я не мог раньше разглядеть за его сухостью и педантизмом обыкновенную застенчивость, желание не быть никому в тягость, желание не навязывать никому своего общества. Неужели я так огрубел? Ведь никогда я не был черствым и невнимательным. Мысленно я дал себе слово: при первой же возможности пригласить к себе Николая Николаевича или посетить его без всяких на то причин. Просто прийти и провести с ним вечер, сыграть в шахматы, поговорить о книгах. Николай Николаевич налил мне крепкого душистого чаю и, как бы угадав мои мысли, спросил:

— Сергей Васильевич, простите за любопытство, что вас все же привело ко мне?

— Хотелось с вами посоветоваться.

— По делу Карпова?

— Да. Вы написали, что травма черепа могла быть нанесена и до наезда. Как это понимать?

— Как понимать? А очень просто.— Першин вскочил из-за стола и с неожиданной резвостью кинулся к себе в кабинет.— Идите сюда,— уже из другой комнаты раздался его голос.

Я прошел в кабинет. Першин сидел за столом и уверенными, крупными штрихами что-то рисовал на большом листе бумаги.

— Это хорошо, что вы пришли,— бормотал он, не переставая рисовать.— Очень хорошо, я сам к вам собирался.— Першин рывком пододвинул ко мне рисунок. На листе довольно сносно были изображены контуры человеческого черепа.

Я недоумевающе посмотрел на Першина.

— Ну что же тут непонятного?— хорошо знакомым мне недовольным тоном сказал эксперт.— Я пока не буду касаться массовых и тяжелых повреждений, нанесенных Карпову машиной...— Першин произнес несколько слов по-латыни.— Дело сейчас не в них. Нас интересует травма черепа. Повреждения у Карпова были вот здесь.— Першин уверенно нари-

совал стрелку, указывающую место перелома.— Что из этого следует?

— Что? — спросил я, внимательно разглядывая рисунок.

— А то, что это повреждение никак не могло быть нанесено машиной. Предположим все-таки, что его стукнула машина радиатором, бортом, чем угодно. В таком случае должна пострадать затылочная кость, но она цела. Удар был нанесен сверху. Для того чтобы получить такую травму, Карпов, простите, должен был стоять на четвереньках, лицом к движению, абсурд!

— Так, значит...— Передо мной мелькнуло растерянное лицо Горбушина.

— Значит,— подхватил Першин,— наезд был совершен на труп. Карпов был мертв, когда по нему прошла машина.

— Выходит, Карпов был убит, а уже потом положен под колеса.

— Выходит, что так.

— Но кто это мог сделать? — невольно вырвалось у меня.

Першин развел руками.

— Как говорили древние: «Кому это выгодно?» Вот и ищите того, кому это выгодно.

Не успел я войти в райотдел, как ко мне подскочил лейтенант Скирда. На его юношеском светловом лице отражалась сложная гамма переживаний; чувствовалось, что лейтенанта буквально распирает какая-то новость. Схватив меня под руку, он торопливо оглянулся, как бы желая убедиться, не слушают ли нас, и, сделав круглые глаза, таинственно сказал:

— Пришла!

— Макарова? — спросил я.

— В том-то и дело, что нет. Совсем незнакомая девушка. Отказалась назвать свою фамилию. Хочет видеть главного следователя. Я уже и так и сяк...— Скирда развел руками.— Одно твердит: «Я про Горбушина знаю правду...»

— Где она?

— Ждет около вашего кабинета.

— Ну хорошо, поговорим с ней. А где свидетельница Макарова? Я же велел тебе во что бы то ни стало доставить ее сюда.

На лице Скирды появилось виноватое выражение:

— С Макаровой, Сергей Васильевич, получилась неувязка.

— Что такое?

— Уехала в деревню, к родным.

— Куда именно?

— В Сухановку. Будет дня через два.

— Вот что, Валерий Игнатьевич, немедленно свяжись с Сухановкой. Там участковым инспектором старший лейтенант

Гаврилов, объясни ему ситуацию. Чтобы завтра к утру Макарова была здесь. Если надо, сам поезжай за ней.

Скирда недовольно пожал плечами: видно было, что ему не улыбалась прогулка в Сухановку.

— Пойми,— строго сказал я,— что Макарова единственная свидетельница, которая видела машину примерно в то время, когда произошел наезд. От ее показаний зависит очень многое.

Увидев, что Скирда направился было за мной, я остановился и официальным голосом спросил:

— Куда это вы, лейтенант Скирда?

— Хочу вас проводить к этой девушке.

Чувствовалось, что Скирда умирает от любопытства. Наконец, с его точки зрения, появилась в следствии какая-то загадочная личность, а он, непризнанный гений сыска Скирда, должен тащиться в какую-то Сухановку, вместо того чтобы присутствовать на допросе таинственной незнакомки.

— Дорогу к своему кабинету я найду без посторонней помощи. А ты займись тем, что тебе велено.

— Слушаюсь.

Скирда даже крикнул от досады, но, очевидно поняв, что спорить со мной бесполезно, круто повернулся и пошел в дежурку.

Возле своего кабинета я увидел девушку, застывшую в неудобной позе на стуле, стоящем возле дверей.

— Вы ко мне?— спросил я, открывая дверь.

— А кто вы будете?— настороженно спросила она.

В коридоре было темно, и я никак не мог разглядеть ее лица.

— Мне доложили, что вы хотите сообщить что-то по делу Горбушина. Я следователь, который ведет это дело. Моя фамилия Лазарев, зовут Сергей Васильевич.

— Тогда к вам, товарищ Лазарев.— Девушка тяжело вздохнула.

— Проходите,— пропустил ее вперед и, войдя в кабинет, зажег свет.

Теперь я мог как следует рассмотреть ее. В тускло освещенном коридоре она показалась мне старше. На самом деле ей можно было дать лет девятнадцать-двадцать. Ее вполне можно было назвать хорошенькой, если бы лицо не портили заплаканные красные глаза с тяжело набрякшими веками.

— Ну что ж,— как можно приветливей сказал я,— раздевайтесь, садитесь, будем знакомиться. Кто вы и что привело вас ко мне?

Девушка расстегнула пальто, но, так и не сняв его, села на стул.

— Я Клава, Клавдия Брызгалова.— Девушка поправила выбившуюся прядь волос и, с обидой взглянув на меня, сказала:— Вы вот, товарищ Лазарев, собираетесь засудить Мишу...

— Горбушина?

— Да, Горбушина. А Миша ни в чем не виноват. Ну, вот ни капельки. Не мог он этого сделать. Ну никак не мог!

Голос ее звучал уверенно и даже резко; было видно, что она взяла себя в руки и новых слез можно не опасаться.

— Ну хорошо,— сказал я,— а если не он, то кто это сделал?

— А я почему знаю? Но могу вам дать честное комсомольское, что это не Миша.

— У нас есть доказательства, что...

— Какие доказательства? — Клава упрямо поджала губы.— Вот,— она вынула из кармана сложенную в несколько раз газету и кинула ее на стол,— читайте.

Я развернул «Знамя труда» и сразу же увидел заметку, из-за которой поспорил с Песчанским.

— Я читал эту заметку, факты в ней изложены правильно.

— Правильно? — В голосе Клавы послышались гневные нотки. Она выхватила у меня газету и торопливо, как бы боясь, что я ее перебею, прочла: — «17 ноября в тринадцать часов тридцать семь минут на шоссе, ведущем из города в лес-промхоз, автолихачом был сбит учитель географии средней школы Леонид Николаевич Карпов. Лихачом, сбившим Карпова, оказался шофер городской автобазы некто Горбушин».

— Ну и что из этого следует? — спросил я.

Девушка положила газету на стол и, как бы устыдившись своей вспышки, опустила вниз глаза.

— А то, товарищ Лазарев, что Миша никак не мог сбить Карпова в тринадцать тридцать семь, потому что с без четверти час до двух он был у меня. Если не верите, можете спросить у тетки Матрены, она его видела.

— Кто это — тетка Матрена?

— Папина сестра.

— Так.

Меньше всего я ожидал, что разговор пойдет об алиби Горбушина, о котором, кстати, он сам даже не заикнулся. Что это? Сговор или просчет следствия?

— А вы знаете, что Горбушин мне ничего не сказал о том, что он был у вас? Ни единого слова.

— Что он мог сказать? — В голосе Клавы опять послышались слезы.— Что ему теперь говорить-то... Только зря он волнуется, я никуда не пойду жаловаться, и денег мне его не надо...

Наша беседа с Клавой длилась более двух часов. Сбиваясь, то плача, то говоря гневно и обличительно, она рассказала мне следующую историю...

Клава познакомилась с Михаилом в вечерней школе. Постепенно между ними возникло чувство, в котором трудно провести грань между дружбой и первой юношеской любовью. Большинство свободных вечеров Михаил и Клава проводили вместе: ходили в кино, на танцы или в городской сад. Были и первые робкие поцелуи и признания... Но то, что для Михаила, человека мягкого и безвольного, не способного на сильные и глубокие чувства, было лишь увлечением, для Клавы стало ее первой настоящей любовью. Подошло время, и Михаила призвали в армию.

Клава писала ему письма, слала посылки. Между молодыми людьми был уговор, что после демобилизации они поженятся. Но вскоре письма от Михаила перестали приходить. Клава не знала, что думать, ходила в военкомат и даже, поборов девичью гордость, наведлась к матери Михаила. Горбушина приняла ее сухо, сказав, что не вмешивается в личную жизнь сына. Клава ушла с пылающим лицом. А вскоре пришлось то памятное письмо, без марки, со штампом «воинское», которое Клава запомнила наизусть. На листке, вырванном из ученической тетради, было написано несколько слов. Но что это были за слова:

«Клава, с этого дня мы с тобой чужие. Я ничего не намерен тебе объяснять, а тем более слушать твои объяснения. Михаил».

Как выяснилось в дальнейшем, незадолго до этого Михаил получил письмо от Клавиной подруги Тамары Сысоевой, в котором она писала, что Клава забыла Горбушина и «гуляет» теперь с Володькой Казаковым, известным в городе красавцем-киномехаником.

Время шло. Клава закончила десятилетку, пробовала поступить в заочный институт, но не прошла по конкурсу. С завода, где она работала, Клава уволилась и переехала из общежития к отцу, лесничему леспромхоза. Зарплата в леспромхозе была выше, и Клава устроилась учетчицей. К тому времени Михаил вернулся из армии, но прежние взаимоотношения между молодыми людьми не восстановились. Несколько раз они встречались в леспромхозе и в городе, но Михаил проходил мимо, даже не здороваясь.

Клава решила окончательно забыть о нем. Решила, но не смогла. Вскоре до нее дошли слухи, что Михаил женился на Тамаре Сысоевой, ее школьной подруге. Тогда еще Клава не знала, что именно Тамирино письмо послужило причиной для их разрыва.

Горбушин получил в армии специальность шофера и те-

перь на своем грузовике часто приезжал в леспромхоз. Однажды, когда Клава возвращалась с работы — дом ее отца был расположен не遠далеке от леспромхоза, — около нее на шоссе остановилась тяжело груженная машина Михаила.

— Садись, подвезу, — не здороваясь, распахнул дверь Горбушин.

— Спасибо, как-нибудь сама доберусь, — гордо отказалась Клава.

— Садись, садись, чего там, что было, то прошло. Я на тебя не сержусь.

— А за что это ты на меня можешь сердиться? — Клава чуть не задохнулась от гнева.

— Как будто не знаешь? — Михаил закурил и, прищурившись от табачного дыма, нагло поспемотрел на нее. — Кто с Володькой Казаковым шуры-муры крутил, когда я был в армии? Эх, ты... Нужна ты ему больно, да у него таких... — Михаил хотел еще что-то добавить, но, увидев изменившееся Клавино лицо, замолчал.

Еле сдерживая себя, она нарочито спокойным тоном сказала:

— Дурак ты, Миша, ой какой дурак! Никогда в жизни, слышишь, маминой памятью клянусь, — голос ее осекся, — никогда ни с Володькой, ни с кем другим ничего у меня не было. Я не то что... — Клава хотела сказать «твоя Томка», но воздержалась.

— Знаем мы вас... — неуверенно протянул Михаил.

— Ты у Володьки спроси, он тебе врать не будет... — Еле сдерживая слезы и не оглядываясь, Клава зашагала по шоссе.

Михаил с силой захлопнул дверь, дал газ.

А через несколько дней, оставив машину на шоссе, он подошел к домику, где жила Клава. Вызвав ее за калитку, Михаил сказал, отводя глаза в сторону:

— Ты была права. Я дурак, даже хуже, чем дурак. Прости меня, если можешь. — В его голосе было столько тоски и боли, что Клава, помимо своего желания, не оттолкнула его, не сказала ничего обидного.

Молодые люди стали вновь встречаться. Михаил рассказал ей, что Володька Казаков поднял его на смех, когда он, выпив для храбрости, стал расспрашивать киномеханика о его отношениях с Клавой. Рассказал и о злополучном письме и долго не признавался, от кого он его получил. Не признался до тех пор, пока не проговорился, что не любит Тамару, что жизнь с ней в тягость для него. Тогда все и выяснилось.

Михаил, как бы чувствуя свою вину перед девушкой, относился к ней очень внимательно и заботливо. Любовь к Горбушину, которую Клава так и не смогла в себе подавить, раз-

горелась с новой силой. Девушка и дня не могла прожить, чтобы не увидеть Михаила. Встречаться им приходилось тайком: ведь Михаил был женат. О своем будущем молодые люди не говорили. Это подразумевалось как бы само собой.

И Клава была страшно удивлена и расстроена, когда увидела, как испугался Михаил, узнав, что у них будет ребенок. Целых четыре дня Горбушин не появлялся ни в леспромхозе, ни в доме у Клавы. И только когда она с одним знакомым шофером передала ему записку с просьбой приехать к ней, Михаил появился у калитки ее дома.

Случилось это в тот самый злополучный день, когда был сбит Карпов. Отказавшись войти в дом, Михаил сбивчиво объяснил Клаве, что с Тамарой сейчас разойтись не может, так как у них только что родилась дочка.

Разговор получился тяжелый и неприятный. Ушел Горбушин от нее в два часа — это она помнила точно, потому что на крыльцо вышла тетка Матрена и добродушно, не зная, какой разговор она прерывает, сказала:

— Хватит лясы точить, Миша, два часа уже, Клавдия на работу опоздает...

Выслушав сбивчивый и взволнованный рассказ девушки, я попросил собственноручно записать свои показания, обратив особое внимание на ту часть, где говорилось о времени пребывания Горбушина у ее дома.

Пока Клава писала, я машинально пробежал глазами знакомую наизусть заметку в газете «Знамя труда»...

— Скажите, Сергей Васильевич, а не мог Горбушин уговорить девушку дать ложные показания? Ведь если она говорила правду, то он действительно не виноват.

— Я об этом думал. Конечно, он мог встретиться с ней и придумать всю эту историю. Почему ни на одном из допросов Горбушин ни слова не сказал о том, что он заезжал к Брызгаловой? Он не настолько глуп, чтобы не понимать, какое значение имеет такой факт. С другой стороны, в рассказе Клавы я не чувствовал ни малейшей фальши, ни малейшей натяжки. Путаное дело... Надо немедленно устроить им очную ставку, — решил я. — Нет, пожалуй, сначала лучше допросить Горбушина, выяснить, будут ли расхождения в их показаниях. Необходимо также немедленно допросить тетку Брызгаловой.

Я мысленно стал составлять план предстоящего допроса и только тут заметил, что Клава перестала писать и, помусолив палец, пытается стереть с него чернильное пятнышко.

— Вы пишете, пишете, я подожду.

— А я уже кончила. — Клава пододвинула ко мне лист бумаги, заполненный ровным, каллиграфическим почерком.

Я прочел ее показания, машинально поставил перед «что»

запятую и попросил расписаться где положено. Показания были написаны толково и без лишних слов.

— Скажите, Клава,— обратился я к девушке,— когда можно повидать вашу тетю, в какое время она бывает дома?

— Да она все время дома сидит, она у нас пенсионерка. А если это срочно, товарищ следователь, то вы можете ее увидеть хоть сейчас: она меня внизу дожидается. Когда узнала, что я в милицию иду, ни за что не захотела меня одну отпустить.

— Где же вы ее оставили?

— Внизу у вас коридорчик, направо от входа, там диван стоит, я ее усадила и пошла вас искать.

— Ну что ж, пойдете за вашей тетей, если она, конечно, не ушла. Сколько вы здесь были? Часа полтора, не меньше...

— Никуда она не денется, она у нас терпеливая.

В коридорчике, который вел к паспортному столу, на широком кожаном диване действительно сидела пожилая полная женщина, чем-то неуловимо похожая на Клаву. Завидев девушку, она тяжело приподнялась с дивана и, поправляя теплый пуховый платок, нараспев сказала:

— Ну, слава те господи, я уже думала, ночевать здесь придется, и народ такой настырный: «Чего надо?» да «К кому пришла?» Пойдем, что ли, Клава...

— Вот, тетя, познакомься,— Клава кивнула в мою сторону,— следователь, товарищ Лазарев Сергей Васильевич, он как раз и занимается Мишиным делом.

Клава тетка протянула мне негнущуюся руку со стертым обручальным кольцом, врезавшимся в безымянный палец, и так же нараспев представилась:

— Матрена Степановна Гушина, это по мужу Гушина.— И тут же без всякой видимой связи, другим голосом, каким обычно разговаривают в очередях, добавила: — Что же вы, товарищ, к Мише прицепились? Аль вам жуликов мало? Кого надо, вы небось не трогаете. Вон, к примеру, Митрохин: оклад сто рублей, жена не работает, а дом отгрохал — чисто санаторий...

— Да погодите вы, тетя,— поморщилась Клава,— при чем здесь Митрохин?

Но, видно, Матрена Степановна достаточно за сегодня намолчалась и теперь горела желанием высказаться.

— Как — при чем! — тем же недовольным голосом продолжала Клава тетка.— Жулик он, а они ноль внимания. Взяли себе моду невинных людей по милициям таскать. Да еще настырные какие! «Зачем пришла!» А я никого не боюсь, человек честный, мне государство пенсию платит.

Чтобы остановить поток ее красноречия, я пригласил Ма-

трени Степановну подняться ко мне в кабинет, а Клаву оставил в дежурке. По дороге к кабинету Гущина не умолкала ни на минуту, разоблачая неведомых мне жуликов и проходимцев, сокрушаясь по поводу того, что они до сих пор не попались на глаза милиции.

В кабинете, заполняя протокол свидетельских показаний, я настоятельно попросил ее отвечать только на те вопросы, которые буду задавать я. Показания Гущиной в основном совпадали с тем, о чем рассказывала Клава.

Проводив Клавину тетку, которая ворчала всю дорогу, недовольная тем, что ей не дали излить душу, я попросил дежурного как можно быстрее, по телефону, пригласить на допрос Горбушина.

В кабинете я перечитал показания Брызгаловой и Гущиной. Расхождений в них не было. Были кое-какие мелкие неточности, но они скорее свидетельствовали о том, что Клава и ее тетка говорили правду. Например, Гущина никак не могла припомнить, во что был одет в тот день Горбушин. Это казалось мне логичным, видела она его минуту-полторы, не больше, издалека, и поэтому вполне могла не запомнить или просто не обратить внимание на то, как он одет.

На вопрос, почему она так точно помнит время, когда она вышла на крыльцо, Гущина ответила:

— У нас часы идут неточно, то спешат, то отстают. Чтобы племянница не опоздала на работу, я включила приемник. Как раз по «Маяку» передавали мою любимую песню «Рязанские мадонны», и сразу после этого тик-так: «Московское время четырнадцать часов». Ну я и вышла, чтобы поторопить Клаву, она с Мишей о чем-то у калитки толковала.

— А почему она в это время оказалась дома? — спросил я.

— Как — почему? На обед пришла, повариха у них в лес-промхозе ушла, горячего не готовят, а на сухоматке долго не протянешь. Колбаса да сырки плавленные — куда это годится? А я суп сварю и котлетки поджарю.

Чувствуя, что Матрена Степановна не прочь пуститься в рассуждения на кулинарные темы, я спросил, как она относится к Михаилу.

— Парень как парень. Ничего плохого сказать про него не могу. Так из себя вежливый и специальность хорошая, к тому же шофер, а не пьет.

— Откуда вы знаете, что он не пьет?

— Пьющего сразу видно. Вот мой, — очевидно имея в виду мужа, сказала Матрена Степановна, — на что был непьющий, а в получку обязательно назюсюкается. А Миша — тот и в получку ни-ни, хороший парень! — решительно добавила она.

Очевидно, Матрене Степановне не было ничего известно о конфликте, произошедшем между Горбушиным и ее пле-

мянницей. Последний вопрос, который я задал Гушиной, носил несколько необычный характер.

— Скажите, Матрена Степановна,— как бы невзначай спросил я, всем своим видом давая понять, что серьезный разговор закончен,— вы, случайно, не помните, кто пел «Рязанские мадонны»?

Матрена Степановна покосилась на меня, очевидно приняв мой вопрос за праздное любопытство.

— Зыкина. Я ее от всех отличу. И Русланову помню, и Ковалеву, и Сметанкину, а лучше Зыкиной нет — за сердце берет.

Чувствовалось, что в этом вопросе Гушина обладает изрядной эрудицией и не прочь поделиться со мной своими познаниями. Я жестом остановил ее и, прочитав показания, попросил их подписать. Слушая меня, Матрена Степановна поддакивала, кивала головой, и только когда я дошел до места, где она утверждала, что перед проверкой времени по «Маяку» передавали «Рязанские мадонны» в исполнении Зыкиной, брови старой женщины удивленно полезли вверх.

— К чему это? Какое это имеет отношение к Мише? — недовольно проворчала она.

— А может быть, передавали что-нибудь другое? — с надеждой спросил я.

— Не путайте. Я эту песню наизусть знаю, — рассердилась Гушина и старательно вывела свою подпись.

Я встал из-за стола и, отложив в сторону протоколы, прошелся по кабинету. В этом году из-за некалендарных холодов начали раньше топить. В кабинете было жарко. Я встал на стул и открыл форточку — в комнату хлынул холодный воздух. Не слезая со стула, я всей грудью вдыхал свежую морозную струю. «Простужусь, — мелькнула у меня мысль. — Ну и черт с ним! Как хорошо было бы посидеть сейчас дома, попить чай с малиновым вареньем, поиграть с сынишкой в шахматы! Сашка, несмотря на свои одиннадцать лет, в последнее время все чаще и чаще стал меня обставлять, да и не мудрено — ходит во Дворец пионеров, в шахматную секцию, выучил такие заковыристые слова, как «эндшпиль». А отец за всю свою жизнь освоил всего одну шахматную премудрость — киндермат. Офицером и ферзем — не густо!»

Я спрыгнул со стула и вновь зашагал по кабинету. Не знаю почему, но, когда у меня что-то застопоривалось в делах, на ходу думалось лучше.

Выходит, что в тринадцать тридцать, вернее, в тринадцать тридцать семь, если верить часам убитого, Горбушин не мог его сбить. Но почему он не сказал о том, что заезжал к Брызгаловой? И Гушина и Клава отрицают встречу с Горбушиным после происшествия; если они искренни в своих

показаниях, то о сговоре не может быть и речи. Я позвонил дежурному и попросил срочно, через московских товарищей, связаться с редакцией радиостанции «Маяк» и выяснить, что передавали в интересующий меня день перед проверкой времени в 14 часов. Может быть, здесь появятся разногласия. Пока что у меня нет оснований для опровержения показаний Гушиной и Брызгаловой.

Я еще раз подумал, что прокурор Рудов прав: чем глубже я вникал в дело Карпова, тем больше находил в нем неожиданностей. В дверь постучали, и дежурный по райотделу ввел в кабинет Горбушина. Михаил остановился на пороге, нервно комкая в руках черную каракулевую шапку с кожаным верхом.

— Раздевайтесь, Горбушин. Проходите, садитесь,— приветливо, как старому знакомому, сказал я ему.

Горбушин покорно разделся и, тяжело вздохнув, сел. По лицу Михаила было видно, что последние дни не прошли для него даром — он сильно осунулся, глаза запали и лихорадочно блестели. Я тоже сел и, как бы между прочим, спросил:

— Как называли дочку?

— Зоя,— машинально вырвалось у Горбушина.

— Сами решили или Тамара?— тем же дружеским тоном осведомился я.

— Тамара. Я хотел Ниной назвать.

— В честь Нины Николаевны?

Михаил испуганно посмотрел на меня, услышав имя матери; он явно не понимал, к чему я клоню.

В это время я вынул из сейфа его показания и неторопливо прочел их вслух.

— Вы подтверждаете, что все записанное здесь с ваших слов является правдой?

— Да, подтверждаю.— Михаил стиснул руки и, взглянув на меня, добавил:— Могу дать любое слово.

— И соврать,— в тон ему подхватил я.— Почему вы не сказали, что заезжали в этот день к Клаве Брызгаловой?

— К какой Клаве?— Михаил даже привстал со стула, лицо у него побледнело, на лбу выступил пот.— К какой Клаве?— надрывно повторил он.— Никакой Клавы я не знаю!

— Опять обман.— Я снял трубку и попросил пригласить ко мне свидетельницу Брызгалову.

До прихода Клавы Горбушин сидел сутулясь, опустив глаза. Когда девушка вошла в кабинет, он вздрогнул, искоса взглянул на нее и снова усталился в пол.

— Гражданка Брызгалова, знаете ли вы этого человека?

Клава молча, в знак согласия, кивнула.

— Кто он?

Девушка молчала.

— Назовите его имя, фамилию...— как можно мягче снова спросил ее я.

— Горбушин, Михаил,— еле слышно сказала Клава и, сделав паузу, добавила:— Учились вместе.

— А вы, Горбушин, знакомы с этой гражданкой? Посмотрите на нее.

Он нехотя поднял голову и, воровато стрельнув глазами, снова устался в пол.

— Ну, что скажете, Горбушин?

— Никого я не знаю.

— Миша!— ахнула Брызгалова.— Да как же так!— Она, как от удара, прикрыла лицо рукой и, очевидно только сейчас оценив меру его предательства, глухо, сквозь зубы сказала:— Ну и подлец же ты!

— Что она оскорбляет?— возмутился Горбушин.

— Нет, она вас не оскорбляет, по-моему, она сказала очень правильно,— не сдержался я.— Повторите ваши показания, гражданка Брызгалова!

Клава слово повторила все то, что рассказала мне часа полтора назад.

Когда Клава закончила говорить, я спросил у Михаила:

— Горбушин, вы подтверждаете то, что сейчас сказала свидетельница Брызгалова? Подумайте, прежде чем ответить.

— Да, подтверждаю,— по-прежнему не поднимая головы, чуть слышно сказал Горбушин.

Я поблагодарил девушку и сказал, что она и ее тетка свободны... Клава кивнула мне и молча вышла из кабинета.

— Ну, Горбушин, давайте теперь поговорим откровенно, или вы опять будете вилить и путать следствие?

— Я вам все скажу, все, вот сейчас, честно...

Горбушина было трудно узнать: все черты его лица выражали неподдельный страх, руки тряслись, губы перекошились в жалкой улыбке. И тут я понял, что мешало ему дать правдивые показания,— страх. Обыкновенный страх. Этот элегантный и подтянутый парень оказался патологическим трусом.

Михаил, захлебываясь, как бы опасаясь, что я его перебивью, говорил:

— Да, я заезжал к ней, заезжал, а она сказала, что ждет ребенка. Я не хотел, чтобы Тамара узнала: она убьет меня, вы ее характера не знаете. Ночью стукнет чем попало. Она мне сто раз говорила, что за ревность ей дадут условно. А Клава, то есть гражданка Брызгалова, жаловаться пришла. Она, и когда я в армии был, путалась с кем попало. У меня есть письма, документы. И вообще надо еще доказать, чей это ребенок. Сейчас доказывают по группе крови!

В своем страхе он даже не понимал, из каких побуждений

пришла ко мне Клава. Его сейчас заботило только одно: как бы история их взаимоотношений не всплыла на поверхность. На своем веку я повидал много преступников: циничных, развязных людей, у которых осталось мало тех качеств, из-за которых их можно было назвать людьми. Но, пожалуй, ни один из них не вызывал во мне такое чувство отвращения и брезгливости, как этот изворачивающийся, запуганный, изолгавшийся человек. Но моя профессия не давала мне права идти на поводу у чувств. Нарочито спокойным тоном, чтобы прервать бессвязную исповедь, я спросил:

— Что вы делали после того, как ушли от Брызгаловой?

— Я могу поклясться, что ни на кого не наезжал.

— Мне не нужны ваши клятвы. Я повторяю. Что вы делали после того, как ушли от Брызгаловой?

— Да ничего особенного. Правда, но вы мне опять не поверите, мне показалось, что машина, которую я оставил на шоссе, стоит намного дальше того места, где я ее оставил.

— На сколько дальше?

— Не могу точно сказать, но дальше.

— Почему вы так решили?

— Да потому, что я оставил ее как раз напротив дома, там надо идти через опушку леса метров триста — четыреста, все прямо и прямо. А когда я шел обратно к шоссе, то увидел, что машина стоит намного правее, так что пришлось идти наискосок.

— Вы это точно помните?

— Ну конечно, там еще канава, пришлось ее обходить. А если идти прямо, то никакой канавы нет.

— Почему вы сразу об этом не сказали?

— А кто бы мне поверил, вы вон как на меня навалились. Признавайся, да и все тут. А я действительно ни на кого не наезжал. Я очень аккуратно вожу, вот посмотрите.— Горбушин полез в карман и достал водительские права.— Третий год — и ни одного прокола.

— Когда вы подошли к машине, вы ничего особенного не заметили?

— Нет, я был в таком состоянии после разговора с Брызгаловой, что если там что и было, то все равно бы не заметил...

— Заводные ключи оставались в машине?

— Не помню...

— Вы никого не встретили на шоссе после того, как вернулись от Брызгаловой?

— Нет, а может быть, и встретил, я вам говорю, что был в таком состоянии...

— Почему вы скрыли, что заезжали к Брызгаловой?

— Боялся, что Тамара узнает. Кому это приятно?

— Да, приятного мало...— согласился я.— Ладно, Горбушин, идите.

— Товарищ следователь...— Михаил умоляюще посмотрел на меня,— можно вас попросить...

— Идите, идите,— строго сказал я, зная заранее, о чем он будет просить.— Идите и помните, что подписка о невыезде остается в силе. «Пусть поволнуется, трус паршивый»,— злорадно подумал я, хотя в эту минуту был почти уверен в том, что Горбушин не совершал наезда.

Горбушин вскочил и торопливо, не попадая в рукава пальто, стал одеваться.

— *Что вы почувствовали, когда поняли, что Горбушин не виноват в наезде?*

— Я не сказал, что Горбушин не виноват. Вы меня неправильно поняли. Я сказал, что был почти уверен в его невиновности, а это не одно и то же. Надо было доказать, а для того, чтобы доказать, надо было найти преступника. Но отвечаю на ваш вопрос: «Что я чувствовал?» Злость. Самую настоящую злость на самого себя. Что я уцепился за Горбушина? Очень уж удобная версия. Машина — пожалте машину, преступник — пожалте преступник. Первый круг ассоциаций. С самого начала я отверг несколько мелочей, забыв о том, что в нашем деле мелочей не бывает. Какой дурак придумал поговорку: «Все гениальное просто». Ничего подобного: не только не гениальное, а даже все правдоподобное, жизненное, очень сложно. Вот пойдешь предугадай, что Горбушин, боясь разоблачения перед женой, будет сознательно скрывать свое алиби. Прав был все-таки Песчанский: преждевременно напечатала заметку наша газета. Конечно, Горбушина трудно назвать светлой личностью, вел он себя как самый настоящий подонок. Но все же он не убийца. Подонок, мерзавец, трус, но не убийца, хотя я знаю случаи, когда убивали из-за трусости. Зря многие думают, что трусость безобидное качество, от которого страдает только ее обладатель. Трусые предаются, позволяют совершать при них преступления, а часто сами совершают их именно из-за трусости. Вот такой субъект вполне мог убить Клаву, чтобы не быть разоблаченным перед своей женой, которую, видно, боится до полусмерти. Клаву мог, но вот Карпова? По всем имеющимся у меня данным они даже не были знакомы. Нет, это сделал не Горбушин.

— *Тогда кто? — не вытерпел я.*

Лазарев удивленно посмотрел на меня.

— Кто? Тот, кому это выгодно — как сказал Николай Николаевич. Впрочем, это он повторил слова кого-то из древних. Любое преступление, и тем более такое страшное, как убийство, имеет свои причины, мотивы. В противном случае оно

совершенно человеком ненормальным. Какие мотивы могли быть в данном случае: ревность? Корысть? Мсть?

Что я знал о Карпове? У него учился мой сын. Несколько раз я встречал Карпова в школе на родительских собраниях. Близко с ним не знаком. Передо мной лежало личное дело Карпова, изъятое из канцелярии школы, где он работал учителем географии. Я еще раз просмотрел пожелтевшую папку.

— А может быть, все-таки это сделал Горбушин,— подумал я почему-то вслух.

Да, надо довести до конца версию с Горбушиным, и, подняв телефонную трубку, попросил соединить меня с директором леспромхоза Сабировым. Через несколько секунд я услышал сквозь потрескивания и шумы голос директора:

— Сабиров слушает.

— Привет, Сафар Асхатович. Лазарев звонит, прости, что поздно беспокою.

— Ничего, ничего, Сергей Васильевич, всегда рад тебя слышать.— Сафар говорил с легким акцентом, слегка растягивая гласные.— Что-нибудь случилось?

— Нет, просто хочу навести справку. Что там у тебя случилось с поварихой?

— Ничего не случилось, все в порядке.

— Ты мне скажи, она работает или нет?

— Как — работает, бала будет у нее, бала.

— Что,— не понял я,— что будет?

— Бала, говорю, ребенок по-русски. С завтрашнего дня нового человека беру. А что, уже пожаловался кто-нибудь?

— Нет, никто не жаловался. Спасибо, Сафар.

Поговорив с директором еще немного, я положил трубку. И тут же снова поднял ее, чтобы ответить на звонок.

— Что это у тебя с телефоном, занято и занято,— недовольно проворчал густой бас: я узнал дежурного по райотделу майора Шуйдина.— Тебя интересует ответ на запрос?— так же недовольно пророкотала трубка.

— Уже получили?— невольно удивился я.— Вот это оперативность.

— Столица!— солидно пробасил майор.— Ну, слушай: «17 ноября сего года с 13 часов 45 минут до 14 часов по московскому времени по радиостанции «Маяк» передавался концерт из произведений советских композиторов; в 13 часов 56 минут была передана песня А. Долуханяна на слова поэта А. Поперечного «Рязанские мадонны» в исполнении народной артистки республики Людмилы Зыкиной...»

— Александр Фомич, занеси мне, пожалуйста, эту справку,— попросил я майора.

— Ты, Сережа, помоложе будешь,— наставительно сказал Шуйдин и повесил трубку.

Значит, все, что говорила Гушина, полностью подтвердилось. Я достал общую тетрадь — «талмуд», как в шутку называл ее Скирда, где кратко резюмировал ход дела, и возле показаний Клавиной тетке поставил два жирных красных креста.

Я раскрыл личное дело Карпова. На фотографии, приколотой к автобиографии канцелярской скрепкой, он выглядел намного моложе. По длинным, свисающим вниз уголкам воротника я пришел к выводу, что фотография сделана не меньше десяти лет назад, — именно тогда носили рубахи с такими воротниками. В лице Карпова не было ничего примечательного, значительного. Люди с такими лицами встречаются часто, а вместе с тем биография этого человека была не совсем обычной. Родился он в 1924 году в Ростове-на-Дону, отец кадровый рабочий, участник гражданской войны, мать домохозяйка. В 1927 году семья переехала в небольшой городок Солоницы, там прошли детство и юность Леонида Карпова. К началу войны окончил десятилетку, был членом комитета комсомола школы. Эвакуироваться не смог, потому что перед самым вступлением в Солоницы гитлеровских войск перенес операцию аппендицита. Оставшись в оккупированном городе, вступил в подпольную комсомольскую организацию «За Родину!» и вскоре стал одним из активнейших ее членов, возглавив боевую диверсионную группу. В сорок третьем году организация была раскрыта гестапо. Все ее члены были арестованы и приговорены военно-полевым судом к расстрелу. Был приговорен к расстрелу и Карпов. В ночь после расстрела Карпова подобрали недалеко от братской могилы местные жители. Он был тяжело ранен в голову и левую руку. Около двух недель семья Панченко, жители села Троицкого, скрывала у себя раненого подпольщика, а затем переправила его к партизанам. Руку ему пришлось ампутировать в партизанском госпитале. Вместе с другими тяжело ранеными Карпов был вывезен на Большую землю, в Зеленогорский госпиталь. Выписавшись из госпиталя, Карпов устроился работать воспитателем в ФЗО и одновременно поступил на заочное отделение областного педагогического института. В 1949 году Карпов с отличием окончил географический факультет, после чего перешел в среднюю школу, где и проработал до последнего дня своей жизни. За боевые действия в тылу врага Л. Н. Карпов награжден посмертно (его считали погибшим) орденом Боевого Красного Знамени, а также медалью «Партизан Великой Отечественной войны» второй степени, медалью «За победу над Германией». В 1967 году Карпову за педагогическую деятельность был вручен орден «Знак Почета». Карпов был активным общественником, дважды избирался депутатом райсовета, принимал активное учас-

тие в создании школьного музея боевой и трудовой славы жителей Зеленогорска... В деле находилось заявление на имя директора с просьбой оформить Карпова на должность преподавателя географии, датированное 1949 годом, благодарности в приказе, анкета... И больше ничего.

— *Вы знали, что имя Карпова было высечено вместе с именами погибших подпольщиков на обелиске в Солоницах? — спросил я у Лазарева.*

— Знал, хоть этого и нет в его биографии, приобщенной к делу. Знал, потому что Карпов специально ездил в Солоницы и попросил убрать с обелиска свое имя, раз уж он остался в живых. Искключительной скромности был человек. Но вернемся к делу. Помните, я говорил вам о трех китах, на которых держится такое преступление. Итак, ревность. Мог ли Карпов стать жертвой ревности? В принципе да, но оперативные данные, собранные Скирдой, полностью исключали эту возможность. Люди, близко знавшие его, отрицали какие бы то ни было связи покойного с женщинами. Карпов был женат, но семейная жизнь у него сложилась неудачно, и он развелся. В настоящее время его бывшая жена проживает в городе Канда-лакше. Корысть? Но кому могла принести пользу смерть Карпова? Наследников, если не считать его матери, у него нет. Да и какое наследство он мог оставить? Мест? Это, пожалуй, подходит больше. Тут мотивы бывают столь разнообразны и причудливы, что над этой версией придется серьезно поработать. Но за что могли мстить Карпову? Он никого не разоблачал, никого не преследовал. По всем известным мне данным, не то что врагов, но даже недоброжелателей у него не было. Нет, пока что ни один из трех китов не являлся опорой для построения более или менее правдоподобной версии. Может быть, убийство с целью ограбления? Но у него ничего не было взято. Из хулиганских побуждений? Маловероятно. Убийство такого рода не стали бы совершать столь сложным способом с явным расчетом подsunуть вместо себя шофера Горбушина. У хулиганов соображение работает слабо: пырнуть ножом, ударить обрезком водопроводной трубы или велосипедной цепью, полоснуть бритвой — это они могут, но пытаться ввести в заблуждение следствие при помощи инсценировки — такое им в голову вряд ли придет. Чаше всего хулиганские поступки совершают под влиянием алкоголя, а в пьяном состоянии человек соображает особенно туго...

А что, если все-таки Горбушин сбил Карпова? Дались мне эти часы. Ведь еще на месте происшествия Першин сказал, что часы могут идти неточно. В конце концов, они могли просто стоять. Да, но тот же Першин утверждает, что перелом основания свода черепа, от которого погиб Карпов, был нанесен не машиной. Машина наехала на него позже, когда он был

уже мертв. Но с какой стати Горбушину убивать Карпова? Скорее, он мог убить Клаву, которая имела против него компрометирующий материал. Стоп! А не является ли причиной гибели Карпова то, что он тоже против кого-то имел компрометирующие данные. Каким-то особым чувством, хорошо знакомым людям моей профессии, я понял, что нахожусь на верном пути. Мотивировки, из которых нельзя было построить более или менее приемлемую версию, отпали одна за другой. Но в ту минуту, как я подумал, что Карпов мог кого-то разоблачить в неизвестных еще грехах, в темном лабиринте догадок появился некий прорыв. Тогда, если я, конечно, на правильном пути, преступник не Горбушин. Что мог он сделать такого, чтобы из боязни быть разоблаченным убить человека? Ну, левая ездка или даже если совершенно неизвестными путями Карпову стала известна история с Клавой,— все равно Горбушин не решился бы на такое.

Я раскрыл свою книжку и записал на чистой странице: «Кому это выгодно?», а под изречением древнего юриста поставил красным карандашом жирный кс. Телефонный звонок прервал цепь моих рассуждений: звонил из научно-технического отдела эксперт-криминалист Ивашов.

— Ну, что там у тебя?— не вытерпел я.

— Значит, так,— деловито начал эксперт,— заключение на стеклышки... Где же оно?.. Ах, вот. Осколки стекла являются частью оптических стекол от очков с диоптрией плюс восемь с половиной. Так. А вот второе заключение. Волосы, представленные для исследования, принадлежат лисице.

— Что?!— Я чуть не выронил трубку.— Кому, ты сказал?

— Лисице,— невозмутимо повторил Ивашов и, пожелав мне спокойной ночи, повесил трубку.

Ночь я провел плохо. В голову упрямо лезли версии одна фантастичнее другой. Я вставал, выходил на кухню (в комнате я не курю) и, не зажигая огня, подолгу сидел там, прислушиваясь к пощелкиванию холодильника. Потом, когда, как мне показалось, события последних дней стали выстраиваться в стройный ряд, я, обрадовавшись, совершил неосмотрительный и, в общем-то, глупый поступок. Осторожно, чтобы никого не разбудить, сварил себе черный кофе, чтобы «прояснились мысли». От двух чашек крепкого кофе действительно в мыслях наступило прояснение, но вот именно оно-то и не дало мне построить стройной версии. Все мои предположения показались запутанными и надуманными, будто вычитанными из какого-то третьесортного детективного романа, а ни о каком сне не могло быть и речи. Наконец я заснул, но меня тут же разбудил резкий звонок будильника. Пришлось встать, хотя я чувствовал себя плохо, голова была тяжелая, словно налитая свинцом.

В райотделе меня уже поджидал лейтенант Скирда со свидетельницей Макаровой. Она слово в слово повторила свои показания, данные ею раньше.

— Скажите, Галина Степановна,— морщась от головной боли, спросил я,— вы, случайно, не обратили внимание на шофера, который вел интересующую нас машину?

Откровенно говоря, я абсолютно не рассчитывал на успех и вопрос задал просто для проформы.

— Как же, товарищ следователь, обратила.

— И вы могли бы его узнать?— нарочито неторопливо, чтобы не выдать своего волнения, спросил я.

— Не знаю...— неуверенно протянула Макарова и добавила, сделав небольшую паузу:— Но думаю, что смогла бы...

Когда словесный портрет был составлен, я попросил свидетельницу подождать и, выскочив из кабинета, приказал Скирде немедленно доставить в райотдел Горбушина. Затем я забежал в соседнюю аптеку и принял сразу две таблетки тройчатки. Через полчаса Горбушина доставили и вместе с двумя посторонними мужчинами предъявили свидетельнице для опознания. Макарова, войдя в комнату, внимательно посмотрела на всех троих и молча отрицательно покачала головой.

— Посмотрите внимательно, Галина Степановна,— попросил я.— Может быть, кто-нибудь из этих людей вам знаком?

— Нет, я никогда не видела этих товарищей,— уверенно ответила женщина.

Когда Горбушин и понятые ушли, я то ли от досады, то ли от усталости совершил абсолютно недопустимый промах.

— А между тем один из этих людей, по нашим предположениям, был за рулем машины,— сказал я.

Макарова испуганно взглянула на меня.

— Но тот же совсем другой, лицом поменьше и покруглее.

«Ах, идиот!— подумал я.— Чуть не натолкнул человека на ложные показания. Хорош! Ничего не скажешь».

— Меньше и покруглее, вы говорите,— чтобы хоть что-нибудь сказать, растерянно пробормотал я вслух.

— Да,— уверенно ответила Макарова.— Я его хорошо рассмотрела, потому что удивилась, как он вел машину...— Свидетельница сделала волнообразное движение рукой.— Как пьяный...

— Давайте еще раз уточним, во что он был одет.

— Так я же уже говорила, что шофер был в пальто и зимней шапке, такой мохнатой.

— Какого цвета пальто?

— Или черное, или темно-синее, темное, одним словом.

— А шапка?

— Шапка, знаете, такая рыжая.

— Вы говорите, рыжая шапка?— не скрывая волнения, спросил я.

— Да, пушистая такая... Это я хорошо запомнила.

— Спасибо, Галина Степановна.— Я вышел из-за стола и крепко пожал ей руку.

Женщина с удивлением посмотрела на меня.

— Вам придется на несколько дней отложить свою поездку в деревню.

— Ну что же, если надо, значит, надо,— просто сказала Макарова.

Вызвав к себе Скирду, я попросил его немедленно выехать в леспромхоз и выяснить на месте, есть ли у кого-нибудь из работников или людей, бывавших там в последнее время, рыжая, по всей вероятности, лисья шапка. Скирда подобрался и чем-то неуловимо стал походить на охотничью собаку, застывшую в стойке.

— Только очень тебя попрошу, Валерий,— поняв его состояние, попросил я,— будь осторожен. Ни в коем случае не задавай этого вопроса в лоб. Придумай какую-нибудь версию, ну, скажем, у нас есть подозрение, что кто-то из леспромхозовских учинил в городе драку. Придумай приметы...

— Высокий, похож на грузина, пальто-бобрик, черное, хромовые сапоги, на лице шрам,— выпалил Скирда.

— Кто похож на грузина?

— Ну тот, в лисьей шапке,— безмятежно ответил Скирда.

— Не надо столько подробностей, достаточно упомянуть, что, мол, высокий, черный, и потом вроде невзначай вспомнить о шапке... Ясно?

— Ясно,— блеснул глазами Скирда.

— Еще раз прошу: будь осторожен. Все дело можешь испортить. Действуй! Да, постой: если выяснишь, кто хозяин шапки, ни в коем случае не предпринимай никаких мер.

— Слушаюсь.— Скирда обиженно хлюпнул носом.

Отпустив его, я позвонил в аптеку и выяснил, что очки в нашем городе можно заказать всего в двух местах: в первой аптеке на проспекте Карла Маркса и в аптечном ларьке при горбольнице. В первой аптеке я узнал, что за последние полтора-два месяца никто не приобретал очки со стеклами восемь с половиной. По дороге в больницу меня все время не покидала мысль, что успех еще далеко не гарантирован. На месте преступления обнаружен осколок стекла от очков с диоптрией плюс восемь с половиной. И этот осколок мог оказаться там совершенно случайно. Даже если это осколок от очков, принадлежащих убийце (Карпов вообще не носил очков), то не обязательно, что убийца тут же бросился заказывать себе новые. В конце концов, могла же быть у него запасная пара. Но, памятуя святое правило, что в нашем деле не бывает ме-

лочей, я решил довести эту линию до конца. Каждая, даже неправильная версия, доведенная до конца, сужает круг поисков и приближает к правильному решению.

На аптечном киоске висело объявление, написанное от руки: «Ушла на базу». Я разделся и сел в кресло возле кабинета терапевта, расположенного как раз напротив аптечного киоска.

— У вас какая очередь?— тут же спросила меня старушка на соседнем кресле.

— Я не к врачу, мамаша.

— Знаем вас: «не к врачу»! Тут вот один пришел на минутку, бюллетень подписать, а сидит целых полчаса. Вот молодежь пошла, так и норовит без очереди пролезть.

— Да я здоров, мамаша.

— Все здоровы! Чего же тогда по больницам ходишь?

— Жену жду,— брякнул я первое пришедшее в голову объяснение.

— А что с ней?— участливо спросила старушка.

Я неопределенно пожал плечами.

— Вот-вот, у меня тоже ничего определить не могут — и кардиограмму делали, и рентген. «Вы, говорят, здоровая...»

Видно было, что бабка села на своего любимого конька. Я, не вслушиваясь в ее рассуждения, кивал, поддакивал, не сводя взгляда с киоска. Наконец в киоск вошла пожилая полная женщина. Я, не дослушав старушку, поспешил к киоску.

— Здравствуйте,— обратился я к женщине,— я бы хотел спросить у вас...

— Киоск закрыт.— Женщина показала мне на плакатик.

— Я следовательно.— Я протянул ей свое удостоверение.

— Следовательно?— В ее голосе послышалось удивление.— По какому поводу? Наркотики отпускаю только по рецептам, все зарегистрировано, никаких левых дел. Если вам кто наклеузначал, что я кому-то чего-то не отпустила, то это не потому, что для кого-то прячу лекарства; бывает, их просто нет.

— Я вовсе не по этому поводу,— успокоил я ее.— Как вас зовут?

— Спирина Мария Федоровна.

— Ну вот что, Мария Федоровна,— сказал я, видя, что к киоску торопится какая-то женщина с рецептом в руке,— где бы нам с вами поговорить? Много времени это не займет.

Допрашивать Спирина мне пришлось в кабинете главного врача.

— Вспомните, пожалуйста, Мария Федоровна, не пришлось ли вам за последнее время продать кому-нибудь очки плюс восемь, плюс восемь с половиной?

— Ну как же, пришлось,— с готовностью ответила Спири-

на.— Две пары продала: одну в импортной оправе, а другую в нашей.

— Вы это точно помните?

— Конечно, а как же, товарищ следователь, плюс восемь редко кто спрашивает, это вот такие стекла.— Спирина пальцами с ярким маникюром показала предполагаемую толщину стекла.— Самые ходовые — это до плюс пяти. Шутка сказать, плюс восемь! Человек с таким зрением без очков почти ничего не видит.

— А кому вы их продали, не помните?

— Помню,— уверенно сказала Спирина.— Первую пару я продала одной старушке, Михаил Семенович их выписал.

— Кто это Михаил Семенович?— поинтересовался я.

— Наш окулист,— ответил главврач.

— Для кого она брала очки?

— Как — для кого,— удивилась Спирина,— для себя! Фамилию ее не помню, но можно спросить у Михаила Семеныча.

— А вы убеждены, что для себя?

— Конечно, она целый час мерила, говорит, что берет их для чтения.

— Ну хорошо, а вторую пару?

— Вторую у меня взяла Галя.

— Какая Галя?

— Галя Олейник. Наша процедурная сестра.

— Тоже для себя?

— Да нет, что вы?!— Спирина даже всплеснула руками.— Зачем ей, она женщина молодая, интересная и очки вообще не носит.

— А для кого же она их купила?

— Этого я не знаю. Подошла ко мне и говорит: «Мне нужны очки плюс восемь, нет ли у вас, Мария Федоровна?» Ну я ей и продала. Что мне, жалко, что ли?

— А рецепт она вам какой-нибудь давала?

— Нет, но я тут, товарищ следователь, никакого правила не нарушила, спросите хоть у Степана Ивановича.— Спирина кивнула в сторону главного врача.

— Да, тут нарушения нет. Как правило, пациенты помнят свой номер и, чтобы не терять время у окулиста, обходятся без рецепта,— подтвердил главный врач.

— Ну хорошо. Спасибо. Попрошу никого о нашем разговоре в известность не ставить.

— Конечно, конечно,— торопливо сказала Спирина.

— Могу я повидать эту медсестру?— спросил я главврача.

— Пожалуйста, пригласить ее сюда?

— Пройдемте лучше к ней.

— Как хотите.

Поднявшись на второй этаж, мы подошли к процедурной

как раз в тот момент, когда из дверей выглянула женщина в белом халате и громко спросила у ожидавших больных:

— Кто еще на внутривенное?

— Это она,— сказал главврач и, жестом остановив поднявшегося с места больного, пропустил меня в кабинет.

— Хорошо, что вы зашли, Степан Иванович. Я сама к вам собиралась. Надо менять большой автоклав. Он уже никуда не годится, я тысячу раз говорила об этом Ерофееву, а он ноль внимания.— Женщина поправила пушистую прядь волос, выбившуюся из-под белой косынки.

— Об этом потом, вот товарищ к вам, Галина Сергеевна.

— Слушаю вас.— Женщина спокойно посмотрела на меня.

— Скажите, Галина Сергеевна, вы покупали недавно очки внизу, в киоске?

— Очки?— Брови женщины удивленно полезли вверх.— Ах, очки. Покупала, а в чем, собственно говоря, дело?

— Какие очки вы покупали?

— Ну как — какие? Какие мне были нужны, такие и купила.

— Поймите, Галина Сергеевна, что я расспрашиваю вас об этом не из праздного любопытства.

— Ну хорошо.— Олейник недоуменно пожала плечами.— Я купила очки плюс восемь, в немецкой оправе, заплатила три рубля тридцать с чем-то копеек, но я все-таки не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете?

— А для кого вы купили эти очки?— не отвечая на ее вопрос, спросил я.

— Для одного своего знакомого.

— Какого знакомого?

— Знаете ли,— вспыхнула Галина Сергеевна,— я в достаточной мере взрослый человек, и потом, почему я должна отвечать на ваши вопросы?

— Мы так и не познакомились, простите: следовательно Лазарев.

— Следователь?— В глазах женщины мелькнул испуг.— Боже мой, с Костей что-то случилось?

— Ни с кем ничего не случилось. Не волнуйтесь. И очень прошу вас вспомнить, для кого вы купили очки.

— Для своего знакомого Князева Константина Гордеевича.

Дверь отворилась, и в процедурную вошел высокий мужчина.

— Слушайте, товарищи, это нечестно,— забасил он.— Мало того, что ворвались без очереди, так еще сидите здесь целый час, а мне за ребенком в детсад идти.

Чувствуя, что разговор с Олейник у нас будет долгим, я попросил Галину Сергеевну поехать со мной в райотдел. Ког-

да мы спустились на первый этаж, я увидел, что киоск до сих пор не открыт, а Спирина о чем-то с азартом рассказывает регистраторше. Как видно, сохранить что-либо в тайне было выше ее сил.

В райотделе Олейник пробыла около часа. Из разговора с ней выяснилось следующее. Прошлым летом Галина Сергеевна решила провести отпуск на юге. Путевки в санаторий или дом отдыха ей достать не удалось, и поэтому она поехала на Кавказ, как говорят, «диким» способом, рассчитывая устроиться у кого-нибудь на квартире. В Хосте ей повезло — удалось снять койку.

— Особых удобств мне и не требовалось, — сказала Олейник, — главное — солнце и море.

В том же доме, где и Галина Сергеевна, остановился Князев, человек тихий и незаметный, работавший, по его словам, экспедитором в Элисте. Тактично и ненавязчиво Князев стал ухаживать за Галиной Сергеевной. То вставал ни свет ни заря и занимал ей место на пляже, то доставал билеты в кинотеатр. Перед самым отъездом Галины Сергеевны Князев пригласил ее в ресторан. Пили сухое вино, и Галина Сергеевна немножко захмелела. Князев ей казался милым и одиноким человеком. В его отношениях к ней не было и намека на легкий и ни к чему не обязывающий «курортный роман», и поэтому ей показалось вполне естественным, когда Константин Гордеевич попросил ее адрес.

— Гора с горой не сходится, — сказал Князев, поднимая бокал. — За новую встречу. Я ведь бываю в ваших краях. А может, и письмо когда напишу. Разрешите?

Галина Сергеевна разрешила ему писать. Но писем от Князева она так и не получила. Олейник стала уже забывать о своем курортном знакомом. Но совсем недавно, несколько дней назад, он позвонил к ней на работу и сказал, что приехал в Зеленогорск в командировку недели на две и остановился в гостинице. Галина Сергеевна к себе в гости его не приглашала, так как у нее склочные соседи и ей не хотелось, чтобы пошли всякие сплетни. Очки Князев попросил ее заказать, объяснил, что случайно разбил свои. Зная, что Галина Сергеевна работает в больнице, он попросил сделать это как можно быстрее потому, что с его зрением он без очков как без рук.

Женщина, сидящая напротив меня, была очень взволнована, лицо и шея покрылись у нее красными пятнами. Она не понимала, зачем я расспрашиваю ее о Князеве, и, очевидно, эта неизвестность заставляла говорить о нем очень осторожно. Я чувствовал, что она все время пытается что-то скрыть, скорее всего, свои подлинные отношения с Князевым. Впрочем, меня это мало интересовало. На вопрос, знакома ли ей

фамилия Карпов, Олейник ответила отрицательно. Во всем ее поведении чувствовалось желание придать отношениям с Князевым невинный оттенок случайного знакомства. В дальнейшем, как я и предполагал, выяснилось, что у Галины Сергеевны был с Князевым тот самый пошлый «курортный роман», наличие которого она столь упорно отрицала.

— Скажите, Галина Сергеевна, а как одет Князев?— спросил я у нее.

— Как одет?— удивилась Олейник.— Обычно одет. Пальто, костюм, шапка...

— Черная каракулевая с кожаным верхом,— вспомнив шапку Горбушина, подсказал я.

— Нет,— уверенно ответила Олейник.— Вы его с кем-то, наверное, перепутали.— Женщина облегченно вздохнула.— У Константина Гордеевича лисья шапка, такая... желтая.

Я почувствовал, как учащенно забилось сердце. «Наконец-то! Неужели я вышел на того, кто мне нужен? Неужели икс найден? Не слишком ли просто?» Еле сдерживая охватившее меня нетерпение, я внимательно перечитал показания Галины Сергеевны и попросил расписаться. Затем, сославшись на то, что она мне еще потребуется, вежливо попросил ее подождать некоторое время в дежурке. Проводив ее туда (я опасался, что она могла предупредить о нашем разговоре Князева), я кинулся к телефону. В леспромхозе мне сказали, что Скирда давно выехал от них. Кажется, никого в жизни я не поджидал с таким нетерпением, как нашего лейтенанта. И когда он, усталый, но довольный, ввалился ко мне в кабинет, я нетерпеливо спросил:

— Ну, что узнал?

Впрочем, взглянув на Скирду, можно было этого вопроса и не задавать. Глаза Валерия сияли, и чувствовалось, что его буквально переполняют какие-то важные новости.

— Значит, так,— зачастил скороговоркой Скирда,— в леспромхозе ни у кого лисьей шапки нет. Такая шапка есть у заготовителя, который приехал из Элисты.

— У Князева Константина Гордеевича,— не выдержал я и увидел растерянное лицо Скирды. Поторопил его:— Ну дальше, дальше.

— А дальше,— удивленный моей осведомленностью, продолжал Валерий,— то, что Князев в день наезда появился в леспромхозе как раз около двух часов. От места происшествия до леспромхоза ходу минут двадцать — двадцать пять! Вот вам и дальше!— торжественно закончил он.

— Молодец, Валерий!— хлопнул я его по плечу.— Едем в гостиницу.

— За Князевым?— подтянувшись, спросил Скирда.

— Вот именно.

— Оружие брать?

Я хотел было сказать, что не стоит, но, подумав, что этим сильно подорву интерес Скирды к предстоящей операции, великодушно махнул рукой:

— Бери!

...В вестибюле гостиницы стоял крепкий приторный запах тройного одеколона, несшийся из парикмахерской. Администратор, пожилая женщина с нездоровым, отечным лицом, полагая книгу приезжих, сказала, что Князев остановился в номере 23. Мы со Скирдой поднялись по скрипучей лестнице; устланной вытертой ковровой дорожкой, на второй этаж. Скирда, как ему, наверно, казалось, шел походкой индейца, вступившего на боевую тропу.

Нахмутив брови и не вынимая руки из кармана, где лежал пистолет, он не шел, а буквально крался по коридору. На лице лейтенанта застыло суровое, сосредоточенное выражение. Я оглянулся и, увидев, что коридор пуст, шепотом строго сказал:

— Вот что, милый, или ты сейчас же вынешь руку из кармана и прекратишь весь этот цирк, или катись отсюда к чертовой бабушке! Брать будем тихо, без рукоприкладства и перестрелок. Ясно?

Скирда поспешно выдернул руку из кармана и, покраснев, виновато посмотрел на меня:

— Ясно, Сергей Васильевич.

Подойдя к двадцать третьему номеру, я негромко постучал.

— Входите, не заперто,— раздался из-за дверей мужской голос.

Мы вошли. У зеркала, висевшего над раковиной, стоял невысокий мужчина в пижамной куртке. Я обратил внимание на его неестественно прямые плечи и спину. Видимо, перед самым нашим приходом он брился: на стеклянной полочке лежали бритва, помазок и тюбик с пастой для бритья. На левом ухе застыл клочок мыльной пены.

— Вы ко мне, товарищи?— спокойно спросил мужчина, поворачиваясь к нам.

Лицо у него было небольшое, аккуратное, с маленькими, глубоко посаженными глазами, с небольшим шрамом, пересекавшим верхнюю губу. На первый взгляд было трудно определить, сколько ему лет. «Вот уж истинно маленькая собачка до старости щенок»,— невольно подумал я, вспомнив, что, по показаниям Олейник, Князеву должно быть далеко за сорок.

— Простите, ваша фамилия?— спокойно спросил я.

— Моя? Князев, а что? Да вы проходите, присаживайтесь,— приветливо сказал мужчина, тщательно промывая под струей воды безопасную бритву.

Я окинул взглядом номер, но лисьей шапки нигде не было.

— Мы из милиции,— сказал я как бы между прочим.

— Вот как?— без тени удивления произнес мужчина и внимательно взглянул на меня; в его маленьких серых глазах блеснул холодный, недобрый огонек.

— Одну минутку.— Он ополоснул лицо и тщательно вытер его.— Одеколону не употребляю,— ни к кому не обращаюсь, сказал Князев. И, заметив, что Скирда по-прежнему стоит у дверей, сделал широкий жест.— Садитесь, садитесь, в ногах правды нет.

— Ничего, я постою,— холодно ответил лейтенант.

Князев пожал плечами, вынул из кармана очки, протер их полой пижамы и, надев, повернулся ко мне.

— Слушаю вас.— Казалось, лицо его ничего не выражало, кроме вежливого внимания.

— Вот что, товарищ Князев. К нам поступили сведения, что вы незаконно получили в леспромхозе некоторые дефицитные пиломатериалы, надо разобраться,— веско сказал я.

— Вас ввели в заблуждение. Все, что я получил, оформлено по накладным, можете проверить.

— Это я и собираюсь сделать.

— Пожалуйста.— Князев вынул из папки, лежащей на столе, кипу документов и протянул их мне.— Чепуха какая-то. Как это, скажите на милость, я могу получить то, что мне не положено? Я ведь представляю государственную организацию, а не частную лавочку.

— И все же вам придется поехать с нами.

— Это еще зачем?— все так же спокойно спросил Князев.— Я думаю, что можно разобраться на месте. Поверьте, я ни в чем не виноват.

— Вот и хорошо,— сказал я, вставая,— напишите объяснительную записку, много времени это не займет. Одевайтесь.

— Ну, как хотите,— недовольно проговорил Князев и начал одеваться.

«Где же шапка,— мучительно думал я.— Неужели он ее выбросил?» А может быть, спрятал. Тогда придется делать обыск. И только когда Князев снял с вешалки пальто и вытащил из рукава засунутую туда рыжую лисью шапку, я, не удержавшись, облегченно вздохнул. Вот она, теперь все в порядке. Правда, бывают в жизни самые неожиданные совпадения...

Войдя ко мне в кабинет, Князев аккуратно разделся и закурил, не спрашивая разрешения. Держался он уверенно, как бы давая понять, что вызов его в милицию ошибка, и не более. Записав анкетные данные, я откинулся в кресле и, пристально посмотрев на Князева, спросил:

— А теперь, Константин Гордеевич, скажите мне, где вы были семнадцатого ноября с тринадцати до четырнадцати часов?

Князев зло блеснул глазами и промолчал.

— Вы что, не поняли вопроса? Могу повторить,— раздельно произнося слова, сказал я.— Где вы были семнадцатого ноября с тринадцати до четырнадцати часов?

Тут произошло что-то совсем уже несуразное. Князев хрустнул пальцами, глубоко, с аппетитом зевнул и, отвернувшись от меня, уставился в окно.

— Не хотите отвечать, ну хорошо. Кстати, Князев, вы водите машину?

Князев хитро посмотрел на меня, добродушно улыбнулся и высунул язык.

— Прекратите валять дурака!— строго сказал я, поняв, что Князев пытается прикинуться душевнобольным.— На месте преступления обнаружены осколки от ваших очков. Вот показания гражданки Олейник, которая по вашей просьбе заказала новые очки с такой же диоптрией, те самые, которые сейчас на вас. Вот результаты экспертизы, подтверждающие, что на голове убитого Карпова обнаружены лисьи волосы. Кстати, я изымаю вашу шапку для установления идентичности с найденными на месте преступления шерстинками. Но и без всякой экспертизы я убежден, что волосы именно от этой шапки обнаружены на месте преступления. Меня интересует, почему вы убили Карпова?

Князев посмотрел на меня отсутствующим взглядом и снова зевнул. Допрос длился довольно долго, но на все мои вопросы Князев отвечал молчанием. Только когда вызванная свидетельница Макарова среди других опознала в нем человека, которого она видела за рулем автомашины, переехавшей убитого, Князев вновь захихикал и высунул язык.

Допросы Князева шли уже третий день, но он по-прежнему молчал. Не отрицал своей вины, не оправдывался, просто молчал, тупо уставившись в одну точку. Время от времени он равнодушно зевал и почесывал небритый подбородок. Начальник следственного отдела Сурен Акопович Мартиросян предложил направить подследственного на судебно-психиатрическую экспертизу. Но я был твердо убежден, что Князев симулирует и хочет выиграть время. Для чего? По колющим искоркам, мелькавшим иногда у него в глазах, я ясно видел, что он прекрасно понимает смысл моих вопросов; чувствовалось, что его мозг работает лихорадочно и вполне отчетливо в поисках выхода из сложившейся ситуации. Нет, на экспертизу я его всегда успею отправить. Сейчас важно сломить его упрямство, дать ему понять, что выхода у него нет, заставить его говорить. Зря он рассчитывает, что я не вытерплю, нервы

у меня в порядке, и я очень надеюсь, что первым они сдадут у него. Поэтому, не повышая голоса, я в который раз задавал Князеву одни и те же вопросы.

Скирда ходил все эти дни в героях. Распивая кефир в нашем буфете, он в сотый раз рассказывал сотрудникам о трудностях, с которыми нам (то бишь ему, Валерию Скирде, и мне) пришлось столкнуться по этому запутанному делу.

Постепенно нашим поединком с Князевым заинтересовался весь райотдел, и поэтому я не был удивлен, когда ко мне в кабинет пожаловал сам прокурор Рудов. Яков Тимофеевич живнул мне и, внимательно посмотрев на обвиняемого, тихо спросил:

— Ну что, игра в молчанку продолжается?

Князев буквально впился глазами в Рудова; он даже привстал на стуле, но тут же сел и, прикрыв рукою лицо, шумно выдохнул из себя воздух.

— Послушайте, Князев,— так же спокойно сказал Рудов,— неужели вы не понимаете, что ваше молчание ничего вам не даст? Ну, отправят вас на экспертизу, небольшая оттяжка, и говорить все равно придется. Может, хватит, а?

И тут произошло неожиданное. Князев медленно опустил руку и, еще раз пристально взглянув на Рудова, жестом показал, что хочет что-то написать. Я поспешно протянул ему бумагу и карандаш, ничего не понимая: ведь я десятки раз повторял Князеву эту же фразу и она не производила на него никакого впечатления.

Князев что-то написал и протянул бумагу Рудову.

— Прошу оставить нас вдвоем,— попросил меня Рудов.

Увидев мое недоуменное лицо, он молча дал мне записку. «Буду давать показания только Рудову»,— было нацарапано корявым почерком.

Я встал, молча вышел из кабинета.

«Интересно получилось,— подумал я.— Бился, бился, и нате. А Рудов хорош: пришел, увидел — расколол! Будет теперь разговоров».

Впопыхах я забыл сигареты, но возвращаться в кабинет мне не хотелось.

— Дай-ка закурить,— обратился я к проходящему мимо Шуйдину, совсем забыв, что он некурящий.

Шуйдин молча развел руками.

— Ты что, тоже немой?!— не сдержавшись, заорал я на весь коридор.

— Валерьянки выпей,— спокойно пробасил Шуйдин. И пошел дальше.

Минут через сорок я все же не вытерпел и постучался в свой собственный кабинет. Князева уже увели. Рудов по-прежнему сидел на моем кресле и задумчиво смотрел в окно.

— Ну?— не вытерпел я.— Что удалось узнать, Яков Тимофеевич?

Рудов молча протянул мне протокол допроса. На чистом листе бумаги была написана всего одна фраза: «Я не виновен»— и стояла размашистая подпись Князева.

— Что это значит?— Я с удивлением уставился на прокурора.

— А то,— спокойно ответил Рудов, отбирая у меня листок бумаги,— что Князева придется из-под стражи освободить.

— Как — освободить? Что за глупые шутки!

— Я вовсе не шучу.— Рудов строго посмотрел на меня.

— Вы что, действительно считаете, что он не виновен? А улики?

— Против Горбушина у вас тоже были улики, не так ли?— спокойно возразил Рудов.

— Но я не согласен с вами!— взорвался я.

— Принципиальность для следователя нужна не меньше, чем для прокурора, и все же, дорогой Сергей Васильевич, я очень прошу вас написать постановление...

— О чем? О прекращении дела? Ни за что!

— А кто вам сказал, что дело нужно прекращать? Я предлагаю изменить меру пресечения: возьмите подписку о невыезде, но из-под стражи Князева освободите и никаких следственных действий в отношении его не проводите.

— Я буду жаловаться прокурору области.

— Это ваше дело.— Рудов встал с моего места и вежливо добавил:— Ваше законное право.

Взглянув на часы, прокурор направился к двери и уже у порога сказал:

— Извините, но меня ждут на заседании исполкома. К нашему разговору мы вскоре вернемся. Позже вы все узнаете.

Я буквально кипел от злости. На каком основании Рудов решил выпустить из-под стражи Князева? Может быть, это тактический ход? Но почему тогда он ничего мне не говорит об этом? Неужели не доверяет?

Я бился, распутывая это дело. Вышел, как мне казалось, на верный путь. Просчетов здесь быть не должно. И вот я сейчас должен собственными руками отпустить шуку в реку, как в той басне. Скрепя сердце я сел и написал постановление об изменении меры пресечения. Когда этому постановлению был дан законный ход, вызвал к себе Скирду и, ничего не объясняя, сказал, что мы меняем меры пресечения к Князеву. По ошарашенному виду Скирды я понял, что освобождение Князева показалось ему, как и мне, совершенно неожиданным и необоснованным.

Начальник следственного отдела Мартиросян, к которому я обратился со своими подозрениями, ворчливо попросил не

вмешивать его в это дело, сославшись на то, что ему скоро уезжать в длительную командировку. Я в сердцах поговорил с ним, но на Мартиросяна это не произвело ни малейшего впечатления.

В тот же день вечером, в одиннадцать часов, ко мне домой прибежал взволнованный Скирда и, утащив на кухню, возбужденно сказал:

— Только что в кафе «Георгин» видел Князева.

— Ну и что? — не понимая причины его волнения, спросил я. В том, что тот пошел в кафе, не было никакого кризиса.

— Да, но с кем я его видел? — торжествующе блеснул глазами лейтенант. — С Рудовым, пили коньяк, — не дожидаясь моего вопроса, выпалил Скирда.

— Как — с Рудовым? — уставился я на него. — Ты ничего не перепутал, часом?

— За кого вы меня принимаете, Сергей Васильевич? Ровно в двадцать ноль-ноль Князев вышел из гостиницы, и я решил посмотреть, куда он пойдет. Пошел прямым ходом в Черемушки. (В каждом городе есть свои Черемушки. У нас, в Зеленогорске, тоже есть район, носящий такое название.) Сошел с автобуса, — возбужденно продолжал Скирда, — и в кафе «Георгин», а там в отдельном кабинете, его поджидал Рудов. Говорили они часа полтора. Потом Рудов ушел, а Князев сидел еще минут пятнадцать и тоже ушел, сейчас он в гостинице, лег спать, во всяком случае, свет в номере погасил. О чем говорили, сказать не могу — в кафе я не заходил, чтобы себя не расшифровывать, наблюдал с улицы через окно.

— Так, — только и мог проговорить я.

Надо сказать, что место для встречи было выбрано очень правильно. В это время года в кафе-мороженое «Георгин» почти никто не ходит. Его даже собирались закрыть из-за нерентабельности в зимний период. Значит, Рудову нужно было уединенное место для переговоров с Князевым. Но зачем? Неужели тот пообещал ему взятку? И он согласился?.. На Рудова это не похоже. Тогда в чем же дело? Почему прокурор при столь явных уликах дал распоряжение освободить Князева из-под стражи?

— Вот что, — сказал я Скирде, — ты Князева оставь пока в покое. Завтра с утра я поеду к прокурору области и обо всем ему доложу.

— Как вы думаете, Сергей Васильевич, почему Рудов встретился с Князевым?

— Если бы я знал, Валерий! Чего мы будем сейчас гадать? Во всяком случае, факт этой встречи говорит о многом. В чем тут дело, докапаемся непременно. А ты делай, что тебе велено.

В областную прокуратуру я попал во второй половине дня. Но мне повезло — у прокурора области Барышева не было посетителей, и я сразу прошел к нему в кабинет. Василий Семенович поздоровался и поинтересовался, что привело меня к нему. Я подробно доложил Барышеву дело об убийстве Карпова и высказал свои соображения по поводу непонятной позиции, занятой Рудовым. Барышев внимательно, не перебивая меня, выслушал все мои доводы и, неожиданно улыбнувшись, спросил:

— И какие у вас есть соображения по этому поводу?

— Даже не знаю, что думать, но согласитесь — дело путаное.

— Охо-хо, в том-то и оно, что путаное, — загадочно сказал Барышев. Он встал из-за стола и протянул мне руку.

Выходя из кабинета, я был неприятно поражен, столкнувшись в дверях с Рудовым, который как ни в чем не бывало поздоровался со мной. Я почувствовал, как к моим щекам приливает кровь, и быстро вышел из кабинета. «Решит, что приехал на него жаловаться. Очень красиво! Впрочем, сам согласился на то, чтобы жаловался», — размышлял я. В коридоре ко мне подошел капитан Ступин и, поздоровавшись, скороговоркой спросил:

— Давно вы здесь?

— А что?

— Как — что? Я чуть телефон не оборвал — звоню. Никто не отвечает.

— Я нужен?

— Еще как! Но об этом потом. А сейчас ищу Рудова. Вы его не видели?

— Он у Василия Семеновича, — ответил я, продолжая думать о своем.

И только когда Ступин скрылся за высокой дверью, обитой черной клеенкой, я вспомнил, что он вот уже третий год как перешел на работу в органы КГБ.

«Так, — мелькнуло у меня в голове. — Если Рудовым заинтересовалось КГБ, то дело еще более усложняется. Но что могло произойти, почему Рудов отпустил Князева?»

Чем больше я об этом думал, тем больше запутывался, тем более возникало сомнение. Я было собрался уходить, но меня остановил вахтер.

— Вы Лазарев?

— Я.

— Товарищ Барышев просит подняться к нему.

Я снова пошел в кабинет к областному прокурору. Ну, о том, какой разговор был в кабинете Барышева, и о событиях, предшествующих этому разговору, думаю, вам лучше расспросить не у меня. Я вам рассказал все то, что мне известно

по этому делу, все то, в чем я принимал непосредственное участие.

Я поблагодарил следователя Лазарева за обстоятельный рассказ. Завтра мне предстояло изучить материалы уголовного дела по обвинению Князева.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Листы дела 95 — 98

...Честно говоря, мне не хотелось ехать в Зеленогорск. Непонятное чувство тревоги владело мной. Наверное, виною этому был многолетний страх. Постоянное ожидание конца. Панические метания по медвежьим углам. Бессонницы и холодный пот от животного страха за свою жизнь. Впрочем, можно ли назвать жизнью то состояние, в котором я пребывал все эти годы?.. Я устал, дико устал. Бывали минуты, когда смерть мне казалась избавлением, но всегда в самый последний момент не хватало силы воли, чтобы принять окончательное решение. Впрочем, что толку сейчас говорить. В Зеленогорске случилось то, чего я опасался больше всего на свете, то, от чего потерял сон, то, от чего бежал без оглядки, бросая друзей, работу, насиженное место.

Вы спрашиваете: могу ли я еще быть честным? Даже не со следователем, не с мифической совестью (все люди подлецы — глубоко в этом убежден), просто с самим собой? Вряд ли. Я столько лгал за свою жизнь, что давно потерял различие между ложью и правдой. То и другое так тесно переплелось во мне, что порой трудно, а то и просто невозможно отличить правду от вымысла. И все же попытаюсь быть честным — говорят, это приносит облегчение. Я приехал сюда из-за Галины.

Правилась ли она мне? Пожалуй, нет. Во всяком случае, не больше, чем все остальные женщины, с которыми до этого я был знаком. Наша встреча произошла в Хосте, куда я ездил отдыхать два года подряд. Единственное и неперемное условие, которое поставила мне Галина: чтобы никто ничего не знал о наших отношениях. Связь, начавшаяся так прозаически, постепенно укрепила во мне веру, что я могу быть с этой женщиной если не счастлив, то, по крайней мере, спокоен. Галина была именно тем человеком, который мог принести мне это спокойствие. Уравновешенная и нетребовательная, недалекая, но добрая и внимательная, она могла стать идеальной женой для такого человека, как я. И поэтому, взяв при расставании ее адрес, я всерьез задумался: а не имеет ли смысл переменить жизнь? Я устал от бесконечного напряжения, от переездов, от всей своей неустроенности. Что, если

покончить со всем этим, осесть где-либо в небольшом городке, жить тихо, мирно, смотреть телевизор, забыть и похоронить свое прошлое.

Кажется, у австралийцев есть оружие, гнутая палка — бумеранг, который, описав дугу, возвращается к охотнику. Так вот наше прошлое и есть этот проклятый бумеранг. При чем возвращается оно в самую неподходящую минуту.

Решение жениться на Галине пришло не сразу. Я тщательно взвешивал все «за» и «против», обдумывал десятки возможных вариантов. Кроме всего прочего, я не был убежден, нет ли у нее друга в Зеленогорске. То, что она говорила в Хосте о своем одиночестве, на деле могло оказаться неправдой. Писем я не писал.

Однажды вечером, вернувшись в свою грязную, нетопленную комнату, я с ужасающей ясностью понял, что дальше так жить нельзя. Да и разве можно было назвать жизнью все эти годы прозябания? Подавленный своими вечными страхами и опасениями, я опустился до того, что неделями не менял белье, не прибирался в комнате. Мое жильё сильно смыхивало на берлогу, на звериное логово, — трудно было поверить, что в такой грязи, в хаосе, среди немытых тарелок, окурков, пустых бутылок может жить человек.

«Надо начать новую жизнь, — решил я, — тихую, нормальную жизнь. Но одному мне это не под силу. Надо немедленно ехать в Зеленогорск, увидеть Галину. Именно она тот поплавок, что удержит меня на поверхности, иначе я пойду на дно».

И вот тут-то я ощутил то беспокойство, которое можно назвать предчувствием.

«Что-то должно в Зеленогорске произойти, — кольнуло меня, — что-то должно случиться. Глупости, — тут же успокоил я себя, — не валяй дурака, у тебя просто не в порядке нервы. В Зеленогорске ты никому не нужен, кроме Галины. Все забыто, все похоронено. Ты уже давно не ты. Трус паршивый, возьми себя в руки! Так и до петли недалеко».

Я решил ехать.

Наша птицефабрика, в которой я работал завхозом, нуждалась в пиломатериалах, и поэтому командировку в Зеленогорск мне дали без особого труда. Сразу же по прибытии я позвонил Галине на работу. Ее, как мне показалось, мой звонок обрадовал. Вечером мы встретились, и я честно сказал ей о цели своего приезда. Галина приняла мое предложение. Но как человек практичный просила обождать с оформлением нашего брака. Я не хотел оставаться в Зеленогорске, она же должна была скоро получить отдельную квартиру в новом доме и трезво рассуждала, что обменять ее на жилплощадь где-либо в другом городе будет нетрудно. Так что вопрос о том, где мы будем жить, оставался открытым. В общем, за

исключением мелких житейских неурядиц, все шло хорошо, как вдруг... Ах, это проклятое «вдруг»... Именно здесь, в этом забытом богом городишке, именно тогда, когда я несколько успокоился и мысленно, перечеркнув свое прошлое, рисовал новый этап своей жизни, бумеранг вернулся.

Листы дела 108 — 120

Я родился и вырос в Солоницах. Мать моя, Елизавета Федоровна Садкова, была дочерью местного акцизного чиновника, умершего еще до революции. Бабки своей я тоже не помню, так как она скончалась, когда я находился в младенческом возрасте. Домик, в котором я жил с теткой Матреной, принадлежал именно этой бабке. Мать я помню смутно, потому что провел с ней всего несколько лет, да и то когда был совсем маленьким.

С отцом она познакомилась в нашем городе, где он проходил действительную службу в Красной Армии. Сразу же после демобилизации они поженились. Через какое-то время родился я. Отец был беспокойным человеком, не способным сидеть на одном месте. Им вечно владела охота к перемене мест. Через год после моего рождения он уехал в Среднюю Азию, в Чимкент, на строительство какого-то комбината, но пробыл там недолго. Вернувшись в Солоницы, он пожил какое-то время дома, а потом, забрав мать, укатил с ней в Сухуми, из Сухуми они перебрались на Урал, а уже с Урала отбыли на Кубань.

За время этих переездов мать дважды была в Солоницах и один раз прожила дома целых семь месяцев. Отец не приезжал ни разу.

В 1936 году родители, завербовавшись, уехали на Крайний Север, как говорила тетка, «за длинным рублем», и с тех пор, кроме денежных переводов и редких коротеньких писем, я от них ничего не получал. Может быть, они живы и по сию пору — не знаю, меня это мало интересует. Тетка была человеком недалеким, со всяческими предрассудками и верой во всевозможные приметы. Единственным смыслом ее жизни было желание, чтобы в доме было не хуже, чем у других.

Я рос странным и капризным ребенком. Тетка рассказывала, что в детстве я мог часами молчать, уставившись в одну точку. Стоило мне разреваться, и любое мое желание, даже самое нелепое, беспрекословно исполнялось. Я рано это понял и беззастенчиво пользовался теткой добротой и мягкосердечностью. Так постепенно во мне развивался эгоизм.

У меня было очень плохое зрение, но необыкновенная зрительная память. Стоило мне хотя бы один раз увидеть человека, его лицо навсегда запечатлевалось в моей памяти. Со

своими сверстниками я никогда не был особенно близок. Физической боли я боялся панически и однажды, зная, что тетка с утра должна вести меня к зубному врачу, сделал вид, что вешаюсь, чем напугал ее до полусмерти.

Всю жизнь я чувствовал себя невероятно одиноким, с теткой общего языка я не находил, как не находил и ничего общего со своими школьными товарищами. В шалостях и драках я участия не принимал, и за это ребята меня презирали.

Следователь. Неужели у вас никогда не было друзей?

Князев. Нет, почему же... Когда я учился в школе, у меня даже было чувство, похожее на первую юношескую любовь к моей однокласснице Лене Ремизовой. Мне нравилось бывать в доме Ремизовых, где всегда было полно молодежи, где никогда не умолкал смех. Как отличался он от тесной и тихой теткойной квартиры! В доме Ремизовых я никогда не слышал разговоров о том, что «все безумно дорого», что «где-то выкинули что-то», бесконечных толкований глупейших снов и прочего — всего того, что было так мило Матрене Степановне.

Следователь. Вы были членом комсомольской подпольной организации?

Князев. Да. Как раз Лена Ремизова и вовлекла меня в подпольную организацию «За Родину!». Немцы оккупировали Солоницы. Серо-зеленая гусеница танков ползла по главной улице города. Солдаты в тяжелых глубоких шлемах весело смеялись, переговаривались, останавливались у колодцев и водоразборных колонок и, не стесняясь местных жителей, раздевались догола, чтобы смыть с себя дорожную пыль.

Тетка, сидевшая весь день в погребке, накинулась на меня с упреками и руганью (она беспокоилась, не зная, где я), но когда я рассказал обо всем увиденном, облегченно вздохнула:

— Ну, слава богу, может быть, и обойдется,— и пошла разогревать борщ.

Но ничего не обошлось. Уже на следующее утро на заборах и фонарных столбах запестрели первые приказы нового начальства.

Комендант города сообщал жителям Солониц, что с сегодняшнего дня им запрещается: хранить оружие, выходить из дома после комендантского часа, а точнее, после восьми вечера, и так далее, и тому подобное. За малейшее нарушение его распоряжений обер-лейтенант грозил расстрелом. Другой меры наказания оккупанты не предлагали. Жизнь в городе на какое-то время замерла. Магазины были закрыты, а на рынке, несмотря на то что фашисты поощряли частную торговлю, было пусто, хоть шаром покати. Правда, вскоре рынок ожил.

На главной улице в ресторане открылось казино для немецких офицеров. В Солоницах всюду шли аресты, искали

коммунистов и советских работников. Об этом говорили шепотом. Тетка ходила на рынок и, так как деньги были совершенно обесценены, меняла вещи на продукты. Она и приносила всевозможные слухи, пересказывая их с выпученными от страха глазами.

Вскоре дали о себе знать партизаны: подожгли дом, в котором расположились офицеры, обстреляли немецкую автоколонну, убили какого-то важного полковника. В разных концах города появлялись листовки со сводками Совинформбюро.

Я был глубоко убежден, что все партизаны прячутся в лесах, и никак не мог понять, как им удается проникать в город, где кругом вооруженные оккупанты. А о том, что среди партизан могут быть мои вчерашние одноклассники, мне даже в голову не приходило.

Но вот однажды зимой я встретил на улице Лену Ремизову. За то время, что мы с ней не виделись, она сильно изменилась. Повзрослела, вытянулась и выглядела гораздо старше своих семнадцати лет. В глазах у Лены появилось какое-то особенное сосредоточенное выражение. Ее вряд ли можно было назвать красивой — были в нашем классе девочки красивее, — но мне она почему-то нравилась больше всех. Она куда-то спешила, и мы договорились встретиться на другой день утром.

В тот день я проснулся рано и, позавтракав, с нетерпением стал поглядывать на старенький будильник с лопнувшим стеклом.

— Куда это ты собрался? — недовольно проворчала тетка. — Сейчас такое время, что лучше сидеть дома и носа не высовывать.

Я не обращал внимания на ее бормотание, еле дождался десяти часов и, накинув пальто, вышел на улицу. Лену я застал дома одну: она только что проводила своего брата Сергея на службу в магистратуру. Чтобы избежать отправки в Германию, Лена собиралась устроиться официанткой в офицерском казино; тогда я не знал, что это было заданием подпольной организации, и стал отговаривать, но она как-то странно посмотрела на меня и, с силой сжав мою руку, твердо сказала:

— Нужно, Олег, ничего не поделаешь.

Кстати, тогда меня звали Олегом. Лена спросила, вижу ли я кого-нибудь из одноклассников и поддерживаю ли с ними какие-нибудь отношения. Я ответил, что случайно кое-кого встречал, но отношений ни с кем не поддерживаю.

— Чем же ты занят, Олег? — Лена опять как-то особенно посмотрела на меня.

— А ничем, — беспечно ответил я, — тетка достала мне справку о том, что у меня тяжелый порок сердца и, кроме

того, зрение сама знаешь какое, так что сижу себе дома да книжки почитываю.

— Что же, так и думаешь отсиживаться до прихода наших?

— Придут ли они, вот в чем вопрос. Немцы — сила. Всю Европу взяли. Ты видела, сколько техники они гонят на Восток?

— Придут, обязательно придут! — В голос Лены звучала такая убежденность и вера, что я невольно с уважением посмотрел на нее. — И потом, что немцы? Ты когда-то неплохо знал историю. Помнишь, Наполеон Москву взял, и все равно мы победили, потому что Россия непобедима. А твоих немцев, кстати, под Москвой расколошматили в пух и прах.

— Почему это «моих»? — обиделся я. — Они такие же мои, как и твои. Кстати, про то, что им недавно всыпали, я слышал — тетка говорила.

— И что же она говорила?

— Ну, что им всыпали.

— «Всыпали, тетка сказала»! Ах ты! Слушай. — И Лена подробно рассказала о разгроме немцев под Москвой.

— Откуда ты знаешь об этом? — удивленный ее осведомленностью, поинтересовался я.

— Не все в такое время сидят дома и романчики почитывают, — загадочно ответила Лена и, увидев, что я не на шутку обиделся, добавила: — Потерпи, когда-нибудь узнаешь.

— А что мне делать? — все еще злясь на ее назидательный тон, спросил я. — Выйти на улицу и ухлопать какого-нибудь фашиста? Да у меня и оружия нет.

— Это совсем необязательно. Но поверь мне: стыдно смотреть, как советский человек... А может, ты бывший советский?

— Почему же бывший? — обиделся я.

Но Лена, словно не замечая моей обиды, продолжала:

— Тем более стыдно смотреть, как советский человек в тяжелый для Родины час забился, как мышь, в нору и преспокойно выжидает, что будет дальше.

Я узнал прежнюю Лену Ремизову. На школьных собраниях лучше было ей на язык не попадаться.

— Сейчас самое главное, чтобы народ знал правду, — продолжала Лена, — чтобы было меньше отсиживающихся по своим норкам. Фашистская пропаганда запугивает таких ложью и своими мнимыми победами парализует их. Помнишь, сколько они трепались, что взяли Москву? И у многих после этого руки опустились. А Москва стояла и стоять будет. Надо, чтобы каждый, чем только мог, вредил этим гадам. — Девушка гневно сдвинула брови. — Чтобы ни одной минуты они спокойно не чувствовали себя на нашей земле!

— Да я бы с удовольствием им насолил. — Ее взволнован-

ная речь подхлестнула меня, сделала сильным и, как мне казалось, способным на все.

— Я так и думала, Олег.— Лена пристально посмотрела мне в глаза.— Хочешь нам помогать?

— Кому это «нам»? — спросил я.

— Нашим, советским,— уклончиво ответила она.

— В чем должна состоять моя помощь?

— Для начала будешь переписывать листовки. Писать будешь печатными буквами. Тексты листовок будешь получать от меня.

Я с радостью согласился. В ту минуту я вовсе не думал о последствиях. Мне ужасно захотелось в глазах Лены выглядеть смелым и сильным. Прошло полгода, прежде чем я узнал о существовании подпольной организации «За Родину!». Лена умела хранить тайну. Все это время я аккуратно размножал листовки и передавал их Ремизовой. О привлечении меня к более сложной работе речь зашла тогда, когда понадобился связной с областным центром. Моя кандидатура показалась штабу подходящей. Так я стал полноправным членом подпольной комсомольской организации «За Родину!».

В нашей семье произошли за это время серьезные перемены. Тетка Матрена неожиданно стала коммерсанткой. Войдя во вкус обменных операций на рынке, она заявила мне, что снимет на рынке ларек. Я не нашел, что ей возразить. На следующий день Матрена Степановна сходила в городскую магистратуру и за соответствующую мзду выхлопотала себе патент. Странные метаморфозы происходят порой с людьми: тихая Матрена Степановна буквально на глазах превратилась в крикливую, нахальную торговку. Впрочем, метаморфоза ли? Ее всегда больше всего в жизни интересовали две проблемы: «где что дают» и «почем». Просто ей негде было применить на практике свои таланты, которые дремали в ней до поры до времени.

Так или иначе, новое положение моей тетки было мне на руку: во-первых, я официально был при деле, как совладелец торговой точки, а во-вторых, мои отлучки в областной центр можно было объяснить коммерческими делами.

Догадывалась ли тетка об истинной причине моих поездок? Думаю, что нет. На ее вопросы о том, что я делаю в городе, я придумал, как мне тогда казалось, хорошую отговорку. Я заявил ей, что завел в городе девушку и навещаю ее к ней.

Теперь с Леной мы виделись часто. Порой мне казалось, что она просто воспользовалась моей увлеченностью ею и использовала меня в своих целях. Ни размножение листовок, ни тем более утомительные поездки в областной город не доставляли мне никакого удовольствия. Я считал все это детской

игрой. Кроме того, меня раздражали ее бесконечные рассуждения о Родине, о долге, все это напоминало мне комсомольские собрания, на которых Ремизова всегда играла первую скрипку. Меня так и подмывало сказать ей в такие минуты, что на меня эта голая агитация не производит впечатления. Но, конечно, ничего подобного я ей не говорил, а, наоборот, поддакивал и даже весьма удачно имитировал энтузиазм, прекрасно понимая, что переубедить ее невозможно...

Листы дела 150 — 167

Следователь. Скажите, Князев, вы знали Карпова?

Князев. Конечно. Карпов был членом штаба и руководил диверсионной группой в подпольной организации «За Родину!».

Следователь. Почему вы его убили?

Князев. А что мне оставалось делать? Все началось со знакомства с майором СС Кригером.

Следователь. Расскажите об этом поподробней.

Князев. К майору Кригеру я попал по чистой случайности. Выполняя задание подпольной организации «За Родину!», я в качестве связного несколько раз ходил в областной город. В тот памятный январский день 1943 года я, ничего не подозревая, шел на явочную квартиру на Железнодорожной улице. В подкладке моего пиджака были зашиты разведданные, собранные группой Павлычко.

Тихий городок Солоницы во время войны стал крупной узловой станцией. Сбор разведывательных данных о прохождении военных эшелонов имел важное значение для командования Красной Армии, готовившей наступление на нашем участке фронта. Мои документы были в полном порядке. В городской магистратуре работал наш человек, и поэтому проверок я не опасался. В небольшом домике по Железнодорожной, на конспиративной квартире, меня ожидал работавший слесарем-водопроводчиком дядя Ефрем. Я бывал у него не раз, и поэтому все формальности с паролем и отзывом казались мне смешной и ненужной забавой. Вообще к конспирации большинство из нас, зеленых мальчишек, относилось как к увлекательной игре. Дядя Ефрем не раз журил меня за это, но я обращал мало внимания на его наставления, считая их просто блажью. За это я и поплатился. По условиям наших встреч, я ни в коем случае не должен был останавливаться, а тем более подходить к дому, если на ближнем к крыльцу окне не были задернуты занавески. День выдался морозный, я окоченел, кроме того, сильно устал и проголодался; хотелось как можно скорее скинуть с себя сапоги, выпить горячего чая, которым меня всегда угощал дядя Ефрем, и завалиться

спать, чтобы завтра пораньше отправиться в обратный путь. Подойдя к знакомому дому, я быстро пересек двор и, даже не взглянув на окно, взбежал на крыльцо и постучал условным тройным стуком. Дверь быстро распахнулась, и кто-то рывком втащил меня в сени. Не успел я ахнуть, как мне больно заломили руки, а потом втолкнули в комнату.

— Свет! — произнес властный голос.

В комнате вспыхнул свет. Ноги у меня подкосились от страха и боли, я чуть не потерял сознание. За столом сидел человек в кожаном пальто и шляпе, надвинутой на самые глаза, в комнате находились еще какие-то люди в штатском, но, сколько их было, я не помню.

— Ну, что скажете, молодой человек? — спокойно спросил тот, что был в шляпе, и добавил что-то по-немецки.

От стены отделился верзила и похлопал ладонями по всему моему телу, очевидно разыскивая оружие.

— Я жду, — так же спокойно повторил человек, постукивая по столу костяшками пальцев. — Только не надо говорить, что вы разыскиваете Ивановых или Петровых.

Я произвольно кинул взгляд на контрольное окно — так и есть: занавески не задернуты.

— Минуточку! — Человек в шляпе резко поднялся из-за стола. — Вот почему они обходили этот курятник... — Он подошел к окну и задернул занавески.

— Они должны быть так? Ну, считаю до трех! — Человек в шляпе вынул из кармана «вальтер».

— Я ничего не знаю, — охрипшим голосом выдавил я из себя.

— Думаю, что ты не врешь, — усмехнулся мужчина, — такому молокососу вряд ли доверят серьезное дело. Но про занавеску тебе известно. Не так ли? Второй день, как явка провалена, и никто сюда не является. Так не бывает, дружок. Поверь мне на слово, я человек в подобного рода делах опытный. Единственное, что я не понимал, так это то, каким способом бывший хозяин дал знать об опасности. Ты мне помог, спасибо. Но смотри не обмани меня, я этого не люблю. Итак, я прав насчет занавесок? Раз... Открой-ка рот и учти: я тебя уговаривать не буду. Два... — Мужчина сунул мне в рот холодный вороненый ствол пистолета. — У тебя почти не осталось времени. Даю тебе слово, что при счете «три» я тебя пристрелю. И учти: свое слово я привык держать. Если захочешь что-нибудь сказать, моргни глазами. Два с половиной...

Не знаю, если бы он кричал, бил меня, я бы, наверное, выдержал. Но в его вежливом и равнодушном тоне не было даже угрозы. Я понял, что мне осталось жить считанные секунды, увидел, как медленно стал сжиматься его указательный палец, лежащий на спусковом крючке, и зажмурил глаза.

Мужчина не торопясь вынул ствол пистолета у меня из рта, аккуратно вытер его платком и, улыбнувшись, почти ласково сказал:

— Ну, смелей!

«Второй день, как они здесь. Наверняка все в городе знают, что явка провалена. Черт с ним, скажу о занавеске»,— решил я.

Страх, желание выжить оказались сильнее чувства долга.

— Итак, я прав насчет условного знака? — Спрашивающий указал в сторону занавешенного окна.

Я молча кивнул.

— Ну вот и умник! Если занавеска закрыта, то путь свободен? Я правильно ее закрыл?

— Правильно,— выдавил я и почувствовал, как меня бьет мелкая противная дрожь.

— Ну и хорошо. Только смотри не обмани меня. За обман — особая плата. Как это у вас поется: «По заслугам каждый награжден». Вот я тебя и награжу по заслугам. Если раньше ты не желал говорить, то это, в конце концов, твое дело, а ты просто тебя пристрелил. Но если ты меня обманул,—гитлеровец горестно вздохнул,—ты будешь меня умолять, чтобы я тебя пристрелил. Смерть покажется тебе недостижимо прекрасной и заманчивой. Ну, а теперь давай знакомиться.

Мужчина потянулся за моими документами, которые верзила положил на стол.

— Так, Курдюмов Олег — это твое настоящее имя?

— Да, настоящее.

— «Как ныне собирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Знаешь такие стихи?

— Знаю.

— Начитанный парень. А теперь давай то, что ты сюда принес. Давай, давай, не стесняйся.

Я молча оторвал подкладку пиджака под левым бортом и протянул ему сведения, собранные ребятами из группы Павлычко. Мужчина развернул донесение и, бегло просмотрев его, нахмурил брови.

— А дело-то серьезное, вещий Олег. Я думал о тебе хуже, прости, пожалуйста. А ты, товарищ Курдюмов, вполне созрел для полевого суда. Ты ведь, наверно, знаешь, что разведчиков в плен не берут. А почему? Да потому, что самый злой род войск — это мы, разведчики. Одно вот такое донесение наносит больше урона, чем танковый корпус. Но ничего, поговорим с тобой с глазу на глаз, авось что-нибудь и придумаем. У нас ведь есть о чем поговорить, не так ли? — Мужчина отдал какое-то распоряжение по-немецки и затем добавил, обращаясь ко мне: — Сейчас ты поедешь со мной, машина стоит

на соседней улице, но очень прошу: не выкидывай никаких глупых номеров. Рихард,— он кивнул в сторону верзилы,— придушит тебя, как котенка. А ты мне нравишься, слово чести, нравишься...— Мужчина поднял воротник пальто и вышел из комнаты.

Верзила грубо подтолкнул меня к дверям. Так я и познакомился с майором, а вернее, штурмбанфюрером СС Отто Кригером.

Гестапо находилось на площади Труда. Здание было старинное, с множеством коридоров и комнат, с глубокими зарешеченными подвалами. Жители города старались обходить стороной этот дом. Всем было хорошо известно, что человек, попавший в него, редко возвращается домой. Сама форма гестаповцев, череп и кости на фуражке, внушали людям ужас.

Отто Кригер был несомненно опытным контрразведчиком; его методы сильно отличались от топорной и грубой работы большинства его коллег, способных замучить человека до смерти. Штурмбанфюрер обладал талантом в распознавании «материала». Каким-то непонятным чутьем он понимал буквально с первых допросов, будет на него работать тот или иной человек или нет. Если перспективы перевербовки были безнадежны, он передавал допрашиваемого обер-штурмфюреру Рейнгарду, патологическому садисту, которым брезговали даже гестаповцы. Люди, попавшие в руки Рейнгарда, кончали свою жизнь в страшных мучениях. Если перевербовка казалась Кригеру возможной, он бульдожьей хваткой вцеплялся в человека, пуская в ход весь свой богатый арсенал — от красноречия до угроз. Он не мучил, даже не бил, а просто рассуждал вслух, создавая иллюзию искренней заинтересованности в судьбе нужного ему человека. Иногда для контраста он заставлял своих «подопечных» присутствовать на допросах с пристрастием, которые проводил обер-штурмфюрер Рейнгард. Довелось и мне однажды побывать на таком допросе. Рейнгард на моих глазах замучил девушку-радистку лет двадцати. Он не узнал даже, как ее зовут, потому что после перенесенных пыток девушка находилась в полубезумном состоянии, и, кроме криков боли и невнятного бормотания, от нее невозможно было ничего добиться.

С того времени минуло много лет, но до сих пор при воспоминании об этом допросе меня до самых костей пробирает мороз. Это было так страшно, что я там же, в камере, потерял сознание.

Но вернуться к тому морозному январскому дню, когда я впервые попал в старинный мрачный дом на площади Труда. В комнате, которую занимал Кригер, не было ничего лишнего, и, если бы не тяжелые решетки на окнах, ее можно было принять за обычный кабинет обычного чиновника. Кригер,

Ройдя в комнату, снял пальто, аккуратно стряхнул с воротника снег и повесил пальто на плечики, которые он достал из стенного шкафа. Затем он снял шляпу и неторопливо зачесал назад свои редкие волосы.

— Садись, Олег,— Кригер глазами указал мне на стул,— разговор у нас будет долгим.

Теперь я смог как следует рассмотреть его. На вид Кригеру можно было дать лет сорок — сорок пять. Роста он был среднего, под идеально сидящим на нем синим костюмом угадывалось мускулистое, сильное тело. Держался он прямо, но не как кадровый военный. Его осанка говорила скорее о длительной спортивной тренировке. Лицо его можно было назвать красивым, если бы его не портили маленькие, глубоко посаженные глаза. Губы Кригера были постоянно раздвинуты в полуулыбке. Вот как раз эта-то полуулыбка совершенно не гармонировала с холодным, змеиным выражением глаз. Кригер сел в кожаное кресло, неторопливо закурил и, улыбувшись мне, тихо сказал:

— Ну, товарищ Курдюмов, выкладывай, кто ты и что ты. Рассказывай подробнее. Мне надо знать о тебе все.— Говорил он по-русски чисто, без малейшего акцента, только иногда некоторые слова произносил очень тщательно и отчетливо. Кригер сделал небольшую паузу и, не дождавшись моего ответа, предупредительно поднял руку.— Только учти, что каждое твое слово я проверю. И, если хоть в чем-то меня обманешь, сгоришь без дыма!

— Ничего я вам больше не скажу! Ни единого слова. Делайте, всё что хотите. Можете меня расстрелять, плевать я на это хотел! — Я вскочил с табурета и выкрикивал еще какие-то фразы.

Кригер с усмешкой, спокойно наблюдал за мной. Он не стукнул кулаком по столу, не закричал, нет, он просто смотрел и улыбался. Когда мой запал кончился, я в изнеможении опустил на табуретку.

— Все? — по-прежнему не повышая голоса, бесстрастно осведомился Кригер.— Как же тебе не стыдно? В твоём возрасте иметь такие нервы. Ай-яй! — Кригер укоризненно покачал головой.— Ну и дураки же твои руководители, разве можно такому сопляку доверять серьезные вещи?! А я хотел спасти тебя. Ты понимаешь, где ты находишься? И почему здесь находишься? Объясняю.— В голосе Кригера зазвучали металлические нотки.— Здесь гестапо. Ты задержан как вражеский разведчик. Ты знаешь, что такое гестапо? Думаешь, здесь поругают и отправят домой, к маме? — Кригер вышел из-за стола, подошел ко мне и положил руку на плечо.— Ах, дурачок ты, дурачок, не веришь, что я хочу тебя спасти? Думаешь, я тебя обманываю? Сейчас я тебе покажу, как здесь поступают

с теми, к кому я отношусь плохо, а потом вернемся к нашему разговору.

Так я попал на допрос девушки-радистки. Очнулся я от того, что кто-то больно хлопал меня по щекам. Девушка уже не кричала — она лежала на цементном полу, широко раскинув руки, и из ее рта вместе с дыханием вырывался тяжелый, надсадный хрип. В дверях камеры стоял улыбающийся Кригер.

— Пойдем-ка ко мне, — как ни в чем не бывало сказал он. — У тебя действительно паршивые нервы.

Но не успел я выйти в коридор, как приступ неудержимой рвоты буквально потряс все мое тело. Раздавленный и потрясенный, согнувшись в три погибели, я стоял, прислонившись к шершавой стене, не в силах сделать ни единого шага.

— Поговорим утром, — брезгливо глядя на меня, сказал Кригер и, добавив что-то по-немецки дюжему фельдфебелю, неторопливо зашагал по коридору.

Фельдфебель дал мне еще пару оплеух, а затем схватил за шиворот и грубо поволок в противоположную сторону. Дойдя до конца коридора, мы спустились вниз по узенькой лестнице без перил. Я почувствовал сырой и затхлый подвальный запах. Вдоль коридора, освещенного тусклой лампочкой, одетой в металлическую сетку, тянулся ряд дверей, обитых листовым железом. Отопкнув одну из дверей, фельдфебель втолкнул меня в камеру. Я снова потерял сознание. Очнулся на рассвете. В камере не было ничего, кроме охапки прелой соломы. При тусклом свете, пробивавшемся в маленькое зарешеченное оконце, я заметил надписи, сделанные на стенах. Надписей было много: это были прощальные слова узников, сидевших здесь до меня. Некоторые из них были сделаны кровью.

«Живым мне отсюда не выбраться», — мелькнула мысль. Но, как ни странно, эта мысль не вселила в меня чувства страха: после всего виденного и пережитого мной овладело тупое безразличие. Нестерпимо хотелось пить, и это единственное нехитрое желание полностью охватило меня. Мне все время мерещилась вода, какой торговали на всех перекрестках Солониц до войны, шипучая газированная вода.

За стакан простой чистой газировки, с белыми пузырьками, я готов был отдать сейчас все, что угодно...

С лязгом отворилась дверь, и в камеру втолкнули мужчину в разорванной рубашке. Мужчина, застонав, неловко опустился на солому.

— Мерзавцы, — процедил он сквозь зубы, — все печенки отбили! Эй, паренек, — повернулся он ко мне, — помоги-ка.

Я подскочил к нему и в нерешительности остановился, не зная, чем ему помочь.

— Переверни меня на бок, только осторожнее,— попросил мужчина, сморщившись от нестерпимой боли.— Крепко они меня отделали, по-научному.

— За что они вас так?

— За что? — Мужчина невесело усмехнулся.— Это тебе знать не стоит.— Он внимательно посмотрел на меня, а потом спросил: — Ты, часом, не знал дядю Ефрема?

— Нет,— невольно вырвалось у меня.

— Значит, показалось. Видел я однажды у него хлопика, похожего на тебя.

— Нет, нет, это был не я!

— Да ты не таись.— Тут лицо мужчины перекосилось от боли.— Нам все равно выхода отсюда нет. Жаль только, что мало этой фашистской рвани уничтожил! Продала нас какая-то тварь, чтоб ей ни дна ни покрывки!

— А что с дядей Ефремом? — поспешно спросил я, чтобы сменить тему.

— Если б я знал... Может, его уже и в живых нет. То, что не он предал,— голову даю на отсечение! Проверенный человек. А тебя я сразу узнал, ты к нему приходил из Солониц. Так, что ли? Меня ты видеть не мог, я у Ефрема в сараюшке сидел, оттуда в шелку тебя и видел. Где тебя взяли?

— Там, на Железнодорожной.

— Ясно. Меня тоже там. Иду — занавески закрыты. Все в порядке. Стук-стук-стук — тут они и навалились. Но я им, гадам, дал шороху, двоих положил на месте. Знать бы только, кто нас продал, сообщить товарищам.

— Давно вас взяли? — спросил я.

— Часа три назад.

Я почувствовал, как кровь ударила в лицо. Это я помог арестовать сидящего передо мной человека, из-за моего малодушия он обречен на смерть. Увидев, что я изменился в лице, мужчина приподнялся и, строго посмотрев на меня, сказал:

— Эй, парень, только не раскисай, ты ведь, поди, комсомолец. Покажем фашистам, как умеют умирать советские люди!

Снова загремели замки, и меня повели на допрос. Кригер отослал конвоира и только после этого, широко улыбувшись, протянул мне руку.

— Господин Курдюмов,— лицо его приобрело официальное выражение,— от имени германского командования выражаю вам благодарность за содействие в поимке опасного государственного преступника. Садись, Олег,— просто добавил он.

— Какого преступника? Что вы говорите? — еле ворочая языком от ужаса, сказал я.

— Не скромничай,— силой усаживая меня на табурет, ответил Кригер.— Благодаря тебе мы задержали одного из руководителей подпольного обкома — ты его только что видел в камере. Это большая удача, Олег. Я за ним давно охотился. Дело в том, милый, что я тебя обманул, каюсь, но в интересах дела. В разведке это называется дезинформация. Квартиру на Железнодорожной мы накрыли часа за два до твоего прихода, так что она была совершенно свеженькой. И если б не ты, не видать нам этого товарища Степанова как своих ушей. Степанов — это, конечно, псевдоним, но ничего — Рейнгарт и не таким развязывал язык.

Слова Кригера доходили до меня словно через плотный слой ваты. Значит, я предатель, меня обманули, как глупца. Я погиб!

— Не спорю,— продолжал Кригер,— положение твое сложное. Теперь ты, как говорится, между молотом и наковальней. С одной стороны, я могу расстрелять тебя как вражеского разведчика, с другой стороны, твои товарищи-подпольщики хлопнут тебя за предательство. Большевики такого не прощают, не так ли? А я сумею проинформировать твоих друзей о той роли, которую Олег Курдюмов сыграл в аресте товарища Степанова. Кстати, убежден, что явка на Железнодорожной даст еще богатый улов.— Кригер сделал паузу, закурил и озабоченно добавил:— Давай вместе думать, как нам быть?

«Покажем фашистам, как умеют умирать советские люди!» — вспомнил я слова Степанова. Мне захотелось кинуться на Кригера, вцепиться ему в горло. Но я был сломлен, я был просто раздавлен всем случившимся. Да, я виноват, и моей вине нет прощения. В ту минуту мне казалось, что лучше было бы погибнуть, как та девушка-радистка. Но, вспомнив ее, я вздрогнул. Нет, все, что угодит, только не это. Жить, жить любой ценой! Выйти отсюда и бежать куда глаза глядят, забиться в какой-нибудь уголок и сидеть там долго-долго — всю жизнь, наслаждаясь покоем и безопасностью. И, вместо того чтобы кинуться на Кригера или гордо сказать ему «нет!», я жалким, дрожащим голосом попросил у него воды. С этой минуты я стал послушной игрушкой в руках майора. Подав мне стакан, Кригер, как бы угадав мои мысли, сокрушенно покачал головой.

— Да, Олег, рановато ты на тот свет собрался. А вместе с тем выход есть. Буду с тобой играть в открытую, как говорится, карты на стол! Ты сейчас подпишешь соглашение о сотрудничестве с нами, а затем, не торопясь, обстоятельно, положишь все, что тебе известно о подполье в Солоницах. И пойми: это единственный выход для тебя. Вернувшись, ты скажешь своим друзьям, что явка завалена. Видишь, я иду даже на это. Твою задержку мы объясним, ну, скажем, тем,

что тебя по другому поводу задержала фельджандармерия. Соответствующую справку ты получишь.— Кригер посмотрел на часы.— Даю тебе пять минут на размышление, как положено во всех детективных романах,— усмехнулся он,— но слово чести, у меня и без тебя есть дела. Итак, пять минут.

— Я согласен.

Кригер удовлетворенно потер руки.

— Был убежден, что именно так ты и ответишь. Ты на меня сразу же произвел приятное впечатление. Запомни, что с сегодняшнего дня за твою безопасность буду нести ответственность лично я,— напыщенно сказал он.— Не в моих интересах проваливать нужного агента. А в том, что ты принесешь много пользы, не сомневаюсь. Поэтому я буду твоим крестным. Запомни: с сегодняшнего дня твоя кличка... — Кригер задумался на секунду,— Дикс!

О подпольной организации «За Родину!» в ту пору я знал немного. И поэтому первым моим заданием, полученным от Кригера, было возможно подробнее узнать о структуре организации и руководстве. Особенно интересовала Кригера боевая группа, действовавшая на железной дороге. Он подробно инструктировал меня о том, как лучше завоевать доверие подпольщиков, о том, как внедриться в состав боевой группы. Я слушал, кивал и неотступно думал о том, что, как только меня выпустят, я тут же попытаюсь скрыться, и вновь, как будто отгадав мои мысли, Кригер строго сказал:

— Если ты думаешь удрать, то сразу выкинь и эту мысль из головы: за тобой неотступно будут следить мои люди, вот,— Кригер вынул из кармана пистолетный патрон,— это твой. Я клянусь честью, именно эту пулю ты получишь в затылок, если вздумаешь вилать. Но с другой стороны,— майор улыбнулся,— ты парень ловкий, не так ли, мой друг? Предположим, что тебе это удастся. Тогда, будь уверен, я найду способ сообщить в НКВД, что ты наш агент. Когда нам нужно завалить агента, который проштрафился, мы именно так и поступаем. И учти, что, кроме твоего жизнеописания, НКВД получит фотографии, подробнейшие приметы и отпечатки твоих пальцев. Тебе ясно?

Я почувствовал, что попал в западню. Все аргументы, которые Кригер приводил, казались убедительными и неопровержимыми. Мне не надо было рассказывать, как партизаны поступают с предателями. Я сам видел в городском парке труп полиция Семена Ляшенко. Долго мне потом мерещилось его синее лицо с вывалившимся языком и аккуратный картонный плакатик на груди с единственным словом — «предатель».

— Опасаться тебе нечего,— продолжал между тем Кригер.— Организации типа «За Родину!» состоят из молодежи. Одураченные коммунистической пропагандой, они склонны

расценивать каждого члена своей организации как истинного патриота! Мне уже приходилось вести подобные дела. Комсомольские мальчишки понятия не имеют, что такое немецкая контрразведка, и лезут напролом. Знаешь, как стреляют диких уток? Могу рассказать. На озере, где они бывают, сажают обыкновенную утку, привязанную за лапку. Она так и называется — подсадной уткой. Вот ты и будешь моей подсадной уткой. И мы с тобой славно поохотимся. Ну не обижайся. Это, как говорят у вас, для красного словца. Кстати, почему красного? А не зеленого и не синего. Ну и язык, черт ногу ломает.

— Вы хорошо знаете наш язык, — с каким-то тайным желанием подлизаться, презирая себя за это, сказал я.

— Ну, ну, не льсти мне. Хорошо знать язык — это думать на этом языке. Хорошо можно знать только свой родной язык. А выучить при соответствующем упорстве можно что угодно, вплоть до телефонного справочника. — Кригер встал и без всякой видимой связи официальным тоном сказал: — Сейчас тебя накормят, и мы продолжим нашу беседу. Ты ведь голоден, не так ли?

Я утвердительно кивнул, хотя есть мне абсолютно расхотелось, страшно болела голова и ломило тело, как при гриппе. После обеда, который я заставил себя проглотить, я снова встретился с Кригером.

— Теперь мы обсудим с тобой вопросы связи... — Майор постучал костяшками пальцев по столу. — Слушай меня внимательно. Связь — это ахиллесова пята разведки, уязвимое место, — добавил он, думая, что я не понял, о чем идет речь. — Большинство разведчиков проваливается именно на связи. За примером не надо далеко ходить: вчера ты сам имел возможность убедиться, как нужно быть осторожным. Придется тебе послушать небольшую лекцию о том, что такое связь. За отсутствием времени я изложу тебе все это в сжатом виде. Итак, отбросив сразу радиodelo, перейдем к двум видам связи, которыми мы можем воспользоваться. Первая — непосредственная связь с нашим человеком. В данном случае ты должен быть предельно осторожен; выйдя на связь в определенное время в условленном месте, убедиться, нет ли за тобой хвоста, попросту — слежки; находиться на данном месте в случае отсутствия связного не более пятнадцати минут; тщательно проверить знание пароля и отклика. Учитывая твою неопытность, я отклоняю такой вид связи, тем более что Солоницы не Берлин и не Москва, каждый чужой там на ладони. Следовательно, нам остается второй, более безопасный вид — безконтактный. В определенном месте, которое мы с тобой оговорим особо и выберем вдвоем, ты устроишь тайник: туда будешь класть свои донесения, там же ты будешь находить наши ин-

струкции. После ознакомления с инструкциями ты обязан их немедленно уничтожить, лучше всего сжечь. На контакт с нашим человеком ты выйдешь в случае крайней необходимости. Для этого ты должен подойти к часовщику на Базарной площади. Он там один, и ты его прекрасно знаешь, не так ли?

Я в знак согласия кивнул.

— Опиши мне его,— приказал Кригер.

— Большие усы, пожилой, шепелявит,— сказал я.

— Правильно.— Кригер снова постучал костяшками пальцев по столу.— Проверишь предварительно, нет ли кого-нибудь поблизости. Скажешь ему всего три слова: «Я от племянника».

— Это все?

— Все. Запомни: твой разговор с часовщиком будет означать, что ровно через час в условном месте тебя будет ждать наш человек, он подойдет к тебе сам и...— Кригер порылся в ящике и достал оттуда большие часы Кировского завода,— ...и предложит купить эти часы. «За рубли или за марки?» — спросишь ты. «За марки»,— ответит этот человек. Только после этого ты можешь смело с ним говорить.

Мы с Кригером подробно обсудили места для будущего тайника и встречи с агентом. Я что-то говорил, поддакивал, предлагал, но в голове упрямо таилась одна-единственная мысль: я погиб, погиб! И вместе с тем где-то в глубине сознания безрадостно, но властно вспыхивало: я жив, жив! Что для меня все они, если погаснет солнце, если я перестану чувствовать, дышать, даже мучиться?

Почему-то вспомнились все обиды, заслуженно и незаслуженно нанесенные мне товарищами. Чувствуя, что с каждой минутой пропасть между мной и ими увеличивается, и для того, чтобы увеличить этот разрыв, я старался вспомнить все плохое, что было между нами. Что мне толку, если они будут жить, любить, радоваться и горевать, а меня, Олега Курдюмова, не будет на свете? Да, я эгоист. А они не эгоисты? Втянули меня, зная, чем это грозит. В школе я избегал даже драк. А тут дело страшнее. И все это из-за Ленки Ремизовой — тоже мне, развела агитацию! Не хочу я быть героем, просто не могу. В конце концов, они, не задумываясь, пожертвовали бы мной, а почему я должен их щадить? Ради чего? Их хорошие слова в случае моей гибели мне не помогут. Да и не скажут они их, если я завалил какого-то Степанова. Кто он мне: сват, брат? «Быстро ты сдаешься, Курдюмов»,— подумал я. Но тут же отогнал эту мысль: нечего кокетничать с самим собой. Главное сейчас — выжить, выжить любой ценой! Майор Кригер — умный человек, с таким не пропадешь: пока я ему нужен — я в безопасности. В общем, Кригер был прав, когда сказал, что я находился между молотом и наковальней.

Следователь. Какова судьба Лены Ремизовой?

Князев. Ее расстреляли вместе с другими четырьмя членами штаба подпольной организации «За Родину!».

Следователь. Скажите, Князев, а почему тогда Карпов остался жив?

Князев. Никак не могу понять. Может быть, и он был человеком Кригера, хотя это и маловероятно. Но даже в этом случае я боялся его.

Следователь. Расскажите подробно, как вы убили Карпова.

Князев. Утром семнадцатого я сходил на товарную станцию и договорился о погрузке лесоматериала. Возвращался в гостиницу вместе с экспедитором леспромхоза. Мы шли не спеша, разговаривая о делах. Я курил. Ко мне откуда-то со стороны подошел мужчина и попросил прикурить.

— Пожалуйста,— почти автоматически ответил я, не прерывая разговор о делах.

Я машинально отметил, что, прикурив, мужчина пристально посмотрел на меня. Не дождавшись положенного «спасибо», я отряхнул с конца сигареты пепел, и мы направились дальше. Я сделал шаг, второй и, чувствуя на спине чужой взгляд, повернулся. Мужчина, стоя на месте, не спускал с меня глаз.

— Курдюмов,— окликнул он меня.

«Карпов, его голос!.. — Я почувствовал, как ноги приросли к тротуару, внутри что-то оборвалось.— Что за наваждение,— лихорадочно подумал я,— а может быть, это вовсе не он? Как он может очутиться в Зеленогорске?»

— Олег! — еще раз как током ударило меня.

— Вы ошибаетесь, Леонид Николаевич,— поправил его мой спутник.— Это не Курдюмов, а наш заготовитель Князев из Элисты.

— Извините,— неуверенно сказал Карпов.

— Кто это? — спросил у экспедитора.

— Наш учитель географии Леонид Николаевич Карпов,— объяснил он.— Известный человек, после войны к нам приехал. Партизан, о нем в газетах писали и даже по телевидению передача была.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Карпов живет за городом, на территории леспромхоза.

Много раз по ночам мне представлялась сцена ареста, много раз мерещилось, что за мной следят, много раз слышалась фраза: «Гражданин Князев, пройдемте». Но никогда я не думал, что встречу человека с того света. Язык прилип у меня к небу. Невероятным усилием воли заставил себя не кинуть-

ся со всех ног в ближайшую подворотню. Прежним размеренным шагом мы продолжали свой путь, а я старался спокойно отвечать на вопросы экспедитора, лихорадочно обдумывая создавшееся положение. То, что Карпов узнал меня, не вызвало никаких сомнений. А может быть, и мне лучше было бы «узнать» его, разыграть радостную встречу, наврать с три короба. Нет, это не годится. Он знает Олега Курдюмова и теперь знает, что я — Князев из Элисты. Начнут копать, что к чему, докопаются до Дикса. Я чувствовал, как пульсирует у меня кровь в висках. «Теперь погиб! Погиб!» — владела мной единственная мысль. Идет он за мной или нет? Вот когда мнегодились уроки, полученные в разведшколе. Заметив на другой стороне улицы зеркальную витрину, я предложил перейти через дорогу. Карпов меня не преследовал. Я подошел к афишной тумбе и, делая вид, что рассматриваю афишу, оглядел улицу. Карпов шел в противоположную сторону, метрах в тридцати от меня, по направлению к школе.

Экспедитор попрощался и ушел, а я стоял у афиши и думал: «Почему Карпов остался жив? Может, он был завербован, и я просто об этом ничего не знал. Нет, это исключено, слишком хорошо я знал боевую биографию Карпова. Он наверняка сообщит в КГБ о нашей встрече. Тогда все пропало. Сейчас главное — убрать этого неожиданно ожившего свидетеля».

Занятия в школе должны вот-вот закончиться, и Карпов, скорее всего, пойдет домой. Пустынная дорога, которая вела к его дому и в леспромхоз, мне знакома. Я поспешил на шоссе. Если встреча не состоится, надо будет тут же бежать, не заходя в город, замести следы.

Минуты, что я провел в лесу возле шоссе, поджидая Карпова, показались мне самыми длинными в жизни. Наконец вдалеке на пустынном шоссе показалась одинокая фигура — Карпов!

Вы можете не поверить, но я лично никогда никого не убивал. И вот теперь я вынужден был это сделать. Во мне не было ни страха, ни сожаления, мной владела только одна мысль: не встретиться с ним лицом к лицу, не увидеть его глаза. За поворотом, невдалеке на обочине, я заметил стоявшую без шофера грузовую машину. Решение принял сразу: юркнул за радиатор, присел на корточки и стал наблюдать за приближением Карпова. И только теперь в моей голове пронеслось: нужен какой-нибудь тяжелый предмет. Сначала я хотел незаметно открыть дверь машины и достать разводной ключ или заводную ручку, которые обычно шоферы берут под сиденьем, но у самого кювета заметил булыжник. Я быстро подобрал его. Он был увесист, но велик по размеру, и держать его в руках было неудобно. Я снял шапку и положил в нее

булыжник. Получилось нечто вроде кистеня. Карпов был уже близко. Вот он поравнялся с машиной, прошел мимо борта, потом радиатора, сделал шаг вперед, и это был последний шаг в его жизни. Я ударил раз, затем другой в висок, Карпов глухо вскрикнул и навзничь упал на шоссе. Впопыхах я не заметил, как с меня слетели очки, и только треск стекла, на которое я наступил, вернул меня к действительности. Я торопливо подобрал сломанную оправу и осколки стекла и сунул их в карман. И тут мне пришла в голову блестящая идея: надо инсценировать наезд. Я вскочил в машину, включил зажигание, выжал сцепление и дал газ. Машина, грузно перевалившись через труп Карпова, рванулась по шоссе. Отъехав на некоторое расстояние, я выключил мотор и, выйдя из машины, оглянулся. Без очков я видел очень плохо, но не настолько, чтобы не заметить, что шоссе по-прежнему пусто. Я быстро зашагал в сторону леспромхоза.

Когда вернулся в гостиницу, первой моей мыслью было скорее бежать из Зеленогорска. Я метался по номеру, как зверь в клетке. Выпив залпом стакан воды, я немного успокоился и пришел в себя. Собственно говоря, почему я должен бежать? Кто узнает, что Карпова убил я? Наоборот, если я поспешно уеду, могут возникнуть подозрения: почему человек ни с того ни с сего сорвался и уехал? Нет, надо остаться в городе. А когда в газете появилась статья о шофере-убийце, я и совсем успокоился.

Листы дела 212 — 223

Следователь. Почему вы молчали на первых допросах?

Князев. А что я мог сказать? Признать одно — значит, надо признать и другое. Кто бы мне поверил, что я не предатель. Трус? Может быть, но за это не судят, а я прекрасно понимал, что мне грозит за измену Родине. А убийство? Что ж, Лазарев неопровержимо доказал, что я убийца. На первом же допросе он буквально припер меня к стенке. Но важны мотивы. Следствие было бессильно что-либо доказать. Вот я и решил: пусть мои действия расценят как поступок душевнобольного. Уж лучше провести остаток жизни среди психов. Эта идея созрела давно. Опасаясь ареста, я разработал целую систему, как вести себя в таких обстоятельствах. Я решил при аресте симулировать и даже прочел специальные книги по судебной психиатрии. Придерживаясь избранного мною метода, на все вопросы следователя я отвечал полным и упорным молчанием и ожидал только одного, чтобы меня скорее направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

Следователь. Тогда почему вы решили дать показания прокурору Рудову?

Князев. Вы, наверное, считаете меня военным преступником? А я скорее жертва собственной нерешительности, трусости, чего хотите. Мелкая рыбешка, запутавшаяся в сетях. А вот крупные шуки устроились получше. Дело в том, что прокурор Рудов мой старый знакомый, обер-лейтенант абвера Герман Рюге.

Следователь. Какую роль обер-лейтенант Герман Рюге сыграл в вашей жизни?

Князев. Как-то меня вызвал Кригер...

— Ты теперь не Олег и не Курдюмов,— сказал он,— ты теперь Князев Константин Гордеевич, запомни это твердо. Заодно запомни свою кличку — Дикс. Я долго думал о твоей дальнейшей судьбе,— продолжал Кригер,— и принял кое-какие решения. Как ты, наверное, догадываешься, в Солониках тебе появляться нельзя. Использовать тебя здесь тоже не могу. Не имея связей, в местном подполье ты совершенно бесполезен и только зря будешь есть хлеб. А зря есть хлеб — большой грех. Как это у вас говорят: кто не работает, тот не ест. Это, пожалуй, единственное, в чем я схожусь с коммунистами. Скажу тебе честно, я бы не стал с тобой возиться, если бы ты мне не понравился. Чувствуется, что ты человек грамотный, трезво оценивающий обстановку, с отличным нюхом, необходимым настоящему разведчику. Все эти качества, на мой взгляд, необходимы настоящему разведчику. Работа разведчика — дело тонкое. Но без соответствующей подготовки не может работать ни один разведчик. Дилетантизм в нашей профессии смертелен. Поэтому тебе придется кое-чему поучиться.

— Но я вовсе не собираюсь стать разведчиком.

Кригер нахмурился:

— Я не спрашиваю тебя о согласи. Это приказ. Запомни: от нас не уходят. Твоя судьба до конца жизни связана с гестапо, где бы ты ни служил и что бы ты ни делал, а то будешь лежать там, где лежат твои бывшие друзья. Ты теперь наш человек. Несколько дней назад к нам прибыл представитель абвера обер-лейтенант Герман Рюге, он с нашей помощью отбирает кандидатов для одного учебного учреждения... — Кригер усмехнулся. — Вот я тебя с ним и познакомлю. Кстати, обер-лейтенанту Рюге вовсе не обязательно знать, что ты наш агент. Просто ты изъявил желание работать с немецким командованием. Мы тебя проверили, и ты оказался благонадежным. Тебе все ясно?

— Да, господин майор.

— Ты становишься военным человеком и учишься отвечать по-военному: «так точно, господин майор»!

— Так точно, господин майор! — послушно повторил я.

— В этом учебном заведении от нас будешь не только ты.

Сейчас я тебе скажу пароль и отклик. «Ты очень похож на моего двоюродного брата». — «А как зовут твоего брата?» — «Сергей». Человеку, сказавшему тебе пароль, ты должен беспрекословно подчиняться. Ясно?

— Так точно, господин майор.

— Ты делаешь успехи. Вопросы будут?

— Что я все-таки там буду делать?

— Учиться, хорошо и прилежно учиться. И учти, что если в своей школе за плохой ответ на экзаменах тебе могли поставить двойку, то здесь вместо двойки будет пуля. Вечером ты получишь от меня более подробные инструкции, а сейчас пошли. — Кригер мельком взглянул на часы. — Через пять минут встреча с обер-лейтенантом Рюге. Постарайся ему понравиться. Запомни: это для тебя первый экзамен.

Обер-лейтенант абвера Герман Рюге, как и Кригер, прекрасно владел русским языком, так что разговор со мной он вел без переводчика. Собственно, особого разговора между нами не было. Обер-лейтенант записал мои анкетные данные (я назвался Князевым), подробно расспросил о членах семьи, поинтересовался, почему я желаю сотрудничать с немецким командованием. Если биографию я рассказал без запинки, то на последний вопрос я, как сейчас помню, ответил маловразумительно. Я и сам толком не знал, почему мне хочется сотрудничать с немецким командованием, а точнее, с военной разведкой. На мое невнятное бормотание об идеях национал-социализма и обидах, нанесенных мне Советской властью (которые я придумал на ходу), Рюге только иронически кривил губы. К своему удивлению, вечером я узнал у майора Кригера, что произвел на обер-лейтенанта приятное впечатление, но я до сих пор убежден, что решающую роль в моем зачислении в разведывательную школу сыграла рекомендация Кригера. В последнюю нашу встречу майор дал мне подробные инструкции на период пребывания в разведшколе. В мои обязанности входила слежка за товарищами по группе, провокационные разговоры, выяснение настроений. Обо всем этом я должен был со временем доложить человеку, сказавшему мне соответствующий пароль. На прощание Кригер пожал мне руку и почувствованно сказал:

— С богом, мой мальчик, никогда не забывай, что твоим крестным был я, а это что-нибудь да значит. Думаю, мы еще с тобой поработаем.

На другой день я и еще один будущий курсант в сопровождении фельдфебеля выехали в Германию. Своего будущего соученика Игната Поночевного я невзлюбил с первого взгляда. Высокий, широкоплечий, с тупым лицом, усеянным прыщами, он оказался ярым националистом и принципиально обращался ко мне только по-украински. Не стеснясь, да-

же с удовольствием, рассказывал он о грабежах и насилиях, в которых принимал участие, лебезил перед фельдфебелем, на каждый его вопрос отвечал по-немецки, коверкая язык немилосердно.

«Вот уж кто добровольно выразил желание сотрудничать, холуй чертов», — подумал я со злостью и твердо решил при первой возможности написать на него донос. Я знал, что немцы не очень-то поддерживали любой национализм, кроме своего собственного, и им самостийная Украина была не нужна. Всю дорогу мы дули самогонку, которую Игнат, как фокусник, доставал из своего необъятного чемодана. Чтобы не показаться жадным, я купил на марки, полученные от Кригера, две бутылки румынского рома и угостил фельдфебеля.

— Гут, — одобрил он и высосал весь ром сам, не дав Игнату ни капли.

Без особых приключений на четвертый день мы добрались до цели нашего путешествия — Шварцвальда, небольшого местечка, расположенного под Гамбургом. Поздней ночью грузовик доставил туда меня и Игната, и фельдфебель сдал нас под расписку дежурному. Хотя мы очень устали, очень хотели спать, нас постригли наголо и погнали на санобработку. Я никак не мог отрегулировать душ и попеременно то отпрыгивал от струи кипятка, то вздрагивал от ледяного холода, стоя на шербатам асфальтовом полу.

«Кто же я? Олег Курдюмов, Константин Князев или Дикс?» — с тоской думал я.

После этого малоприятного купания заспанный солдат в белом несвежем фартуке, надетом поверх мундира, побрызгал нас какой-то вонючей жидкостью и, хлопнув со всей силы Игната по жирной спине, заржал, показывая длинные желтые зубы. Игнат скривился от боли, но тоже захихикал, чтобы не обидеть шутника. Солдат не торопясь зашагал в каптерку, а Игнат, у которого от обиды дрожали губы, забыл о своем национализме, сказал мне по-русски:

— Вот гад! Меня даже батя так не лупцевал.

Я промолчал, хотя ответ вертелся у меня на языке.

Вскоре солдат вернулся и принес нам белье, потрепанную форму и низкие немецкие сапоги. За каждую вещь пришлось отдельно расписываться, и только после этого он вывел нас на крыльцо и жестами объяснил, как пройти к бараку. Ежась от холода, мы перебежали двор, обнесенный высоким забором с колючей проволокой. На этом наши мучения не кончились. Дежурный отослал нас в административный корпус, где нам сделали прививки, затем погонял нас с час, чтобы мы научились представляться по форме, и только после этого указал койки. Мне показалось, что я только что заснул, как прозвонел резкий звонок.

— Подъем! — протяжно крикнул кто-то над самым ухом.

Я вскочил с койки и ошалело захлопал глазами, не соображая со сна, где нахожусь.

— Пять минут оправиться! — раздалась новая команда.

Я топтался на месте, не зная, что делать.

— Новенький, что ли? — торопливо спросил меня сосед по койке, невысокий голубоглазый крепыш, и, не дождавшись ответа, так же торопливо сказал: — Дуй за мной.

— Куда?

— В умывалку, через пять минут построение, потом заправка коек. Ну рысью, кто быстрее!

Я побежал за ним. День в этой школе был расписан по минутно. И с подъема, в шесть ноль-ноль, до отбоя в одиннадцать вечера был так плотно забит, что не оставалось ни единой свободной минуты. Изучали радиодело, системы оружия, ориентацию на местности, уставы Советской Армии, способы тайнописи, шифровки, учились подделывать всевозможные документы (от паспорта до справки об инвалидности), незаметно фотографировать военные объекты и прочее и прочее. Унтер-офицер Бюргер, человек с перебитым носом и длинными, как у гориллы, руками, преподавал нам науку о том, как без оружия можно убить человека. Меня за мою неповоротливость он возненавидел лютой ненавистью, и столько приседаний и заячьих прыжков, сколько пришлось мне сделать в наказание на его занятиях, наверняка не сделал ни один спортсмен, готовящийся к первенству мира по бегу. Вскоре в школе появился обер-лейтенант Рюге. Какую должность он занимал, я до сих пор не знаю. Но помню, что он приходил на наши уроки, задавал вопросы и, если наши ответы не удовлетворяли его, распекал по-немецки педагогов. А те стояли вытянувшись и покорно слушали. Предполагаю, что Рюге был большой чин.

Состав курсантов в школе был пестрый, в возрасте от семнадцати до тридцати лет. Были здесь и власовцы, и украинские националисты, люди, ненавидевшие Советскую власть и просто запуганные и растерявшиеся, не вынесшие ужасов лагерного режима, те, кому даже адские порядки нашей школы казались санаторием. Но точно узнать, кто есть кто, было почти невозможно. Несмотря на разницу в возрасте и образовании, народ подобрался опытный. Каждый опасался сказать лишнее слово, довериться другому, каждый видел в соседе врага.

Первые месяцы сорок третьего года ознаменовались массовыми налетами английской авиации на Гамбург. По ночам было видно, как на горизонте пылало багровое зарево далеких пожаров. Наши педагоги ходили хмурые и подавленные,

у некоторых из них в Гамбурге были семьи. В одну из таких ночей английские самолеты, отогнанные от Гамбурга огнем зенитной артиллерии, сбросили бомбовый груз на Шварцвальд. Это небольшое местечко, в котором не было ни одного крупного предприятия, не имело никакого прикрытия, кроме двух батарей 85-миллиметровых зенитных орудий. Англичане в несколько заходов буквально сровняли его с землей. Досталось и нашей школе: тяжелая фугасная бомба до основания разворотила административный корпус. Прямым попаданием был уничтожен мой барак, под обломками которого погиб поклонник Симона Петлюры — Игнат Поночевный. Я спасся только потому, что в этот вечер был в наряде на кухне. Смертельно перепуганный и оглушенный, я не сразу почувствовал, что ранен. Крошечный осколок, не больше горошины, попал мне в коленный сустав левой ноги. После отбоя, когда радио сообщило, что самолетов противника в воздушных пределах третьего рейха нет, нас, тяжело и легко раненных, повезли в госпиталь. Операцию мне сделали наспех, и после того, как рана зажила, выяснилось, что сделали ее неудачно. Еще многие годы я сильно прихрамывал на раненую ногу, да и сейчас после долгой ходьбы я начинаю на нее припадать. Военно-медицинская комиссия признала меня негодным к строевой службе, и я был направлен на военный завод, где работали иностранцы, вывезенные в Германию со всей Европы. Я получил задание выявить участников группы Сопротивления, действующей на заводе. Организация Сопротивления, в которую мне удалось проникнуть, работала в цехе, где делали корпуса к авиабомбам. В нее входили поляки, французы и русские. Руководил ею бывший капитан Советской Армии, который выдавал себя за рядового. Но я никого не выдал. Работа уборщиком действительно давала мне возможность свободно передвигаться по территории, заводить новые знакомства, прислушиваться к разговорам, вести провокационные беседы, за что я получал усиленный паек, состоящий из двух кусков хлеба, намазанных маргарином, банки мясных консервов и полфунта искусственного меда. Заметив, что я повадился часто ходить к нему, агент гестапо стал кормить меня только в том случае, если я приносил действительно ценные сведения. И я старался... нес всякую околесицу и ни слова не говорил о главном.

В 1944 году усилились воздушные налеты. Почти ни одна ночь не проходила спокойно. Выли сирены, грохотали зенитки. Гулко ахали разрывы тяжелых авиабомб. Во время налетов рабочих не выводили в бомбоубежище, и они метались, запертые в бараках, забивались под нары. На меня во время бомбежки находило одеревенение, я был не в силах пошевелить пальцем; вынужденный сидеть вместе со всеми, я только су-

дорожно переводил дыхание и, хотя никогда не был верующим, молил бога сохранить мне жизнь. Несуществующий бог, как видно, внял моим просьбам — я выжил, пройдя сквозь этот ад. Войска Советской Армии подходили всё ближе и ближе. И однажды на рассвете канонада русской артиллерии прокатилась над городом.

На заводе началась паника, ни о какой планомерной эвакуации не было и речи. А к вечеру город был занят войсками Советской Армии. Рабочие плакали, целовались, обнимали друг друга. Я тоже ликовал вместе с ними, хотя на душе скребли кошки.

Целую ночь мы с песнями и национальными флагами, раздобытыми неведь откуда, ходили по улицам освобожденного города. Немцев почти не было видно, из многих окон свешивались в знак капитуляции флаги из простыней. Солдат и офицеров Советской Армии, показавшихся нам навстречу, обнимали и качали, высоко подбрасывая в воздух. Рано утром молоденький капитан, приехавший на завод, попросил граждан Советского Союза отойти в сторону. Многие знали, что я русский, и поэтому мне ничего не оставалось, как присоединиться к ликующей толпе моих соотечественников. Нас накормили и отправили во временный лагерь для проверки. Я назвался Князевым Константином Гордеевичем, красноармейцем, попавшим в плен в 1942 году. Легенда была разработана майором Кригером, и я знал ее наизусть. Подлинного Князева давным-давно не существовало на свете, все его родственники погибли во время оккупации, так что опасаться мне было нечего. Многие, попав в плен, назывались другим именем и другой фамилией, так что назваться можно было кем угодно. В лагере для репатриированных все шло гладко. Проверяли нас не особенно тщательно: на это просто, видимо, не хватало ни людей, ни времени. После того, как я прошел медицинскую комиссию, мне из-за ранения и усилившейся за это время дальновзоркости дали «белый» билет и проездные документы. Так я попал обратно на родину. День Победы я встречал в казахском городе Кокчетаве. Я знал, что такие, как я, считаются государственными преступниками. И страх неминуемой расплаты не давал мне долго засиживаться на одном месте, не давал обзавестись семьей и друзьями. Мне постоянно чудилось, что за мной следят, что меня разоблачили, и я срывался с насиженного места и мчался сломя голову, заметая следы, в какой-нибудь медвежий угол. Порой мне казалось, что страхи мои лишены оснований; я успокаивался, но ненадолго — через некоторое время все начиналось сначала. Шли годы, война забывалась, молодежи она казалась чем-то отдаленным, как нам нашествие Наполеона. Но во мне война продолжала жить. Испытывал ли я раскаяние? Да, но

вместе с тем тут же оправдывал себя, приводил тысячи спасительных доводов и, что самое главное, точно знал, что расплатился за все сделанное мною гораздо большей ценою, чем смерть.

За прошлое всегда приходится платить. Грехи наши всплывают, словно утопленники, и, как правило, в самый неожиданный и неподходящий момент. Ну, разве я мог когда-нибудь предположить, что в каком-то Зеленогорске нос к носу столкнусь с Леонидом Карповым, а буквально через несколько дней с обер-лейтенантом Рюге.

И если я считал первую встречу убийственной, то вторая, как мне казалось, была послана самим богом во спасение...

СЛОВО ПРОКУРОРУ

У Якова Тимофеевича Рудова внимательные и спокойные глаза. Виски густо запорошены сединой. Лицо усталое. Говорит он неторопливо, вежливо, тщательно подбирая слова.

— Скажите, Яков Тимофеевич, как вы стали прокурором? — задаю я ему свой первый вопрос.

Рудов какое-то время медлит с ответом, видимо, он ждал, что я спрошу о другом. Потом сухо, как бы нехотя начинает свой рассказ.

— После войны, в 1946 году, поступил в заочный юридический институт. После окончания пять лет проработал следователем, потом три года помощником прокурора, а с 1959 года стал прокурором. Последние десять лет работал в соседнем районе.

— Давно вы приехал в Зеленогорск?

— Скоро будет четыре месяца.

— Была ли для вас неожиданностью встреча с Князевым?

— Не скрою, этого я ожидал меньше всего.

— Что вам сказал Князев, когда вы остались вдвоем?

— Когда Лазарев вышел из кабинета и закрыл за собой дверь, Князев, еще раз внимательно посмотрев на меня, неожиданно заговорил:

— Нас здесь никто не подслушивает?

— Разумеется, — ответил я, не подозревая, к чему он клонит.

Князев облегченно вздохнул и, глядя мне прямо в глаза, тихо сказал:

— Тогда здравствуйте, господин обер-лейтенант.

Я вздрогнул и чуть не выронил сигарету. Кто этот человек? Откуда он знает о моем прошлом?

— Чего же вы молчите, господин Рюге? — Князев усмехнулся.

— Вы не ошиблись?— невольно вырвалось у меня.

— О нет. Вы, конечно, изменились за эти годы. Но, несмотря на это, я вас узнал. У меня прекрасная память. Вспомните майора Кригера, Солоницы, наконец, Шварцвальд... Вам это о чем-нибудь говорит?

— Кто вы?

— Это не так уже важно.

— Слушайте, Князев, если вы уж вспомнили майора Кригера, то, как он любил говорить, карты на стол.

— А вы неплохо устроились,— вместо ответа нагло посмотрел на меня Князев,— крыша что надо. Работаете на новых хозяев или по-прежнему верны абверу?

«Он не знает, что я был в СС,— отметил я про себя.— Кто же он: кто-нибудь из военнопленных, видевший меня в концлагерях во время вербовки, или один из моих бывших подопечных. Откуда он знает Кригера? Если он знает Кригера, то наверняка был связан с гестапо. Самое главное сейчас — найти правильный ключ в разговоре с ним».

— Послушайте, Князев, втемную у вас со мной не пройдет. Или вы немедленно скажете, кто вы и что вам от меня нужно, или я сейчас же вызову конвой и вас отправят туда, откуда привели.

— Вы этого не сделаете,— спокойно ответил Князев.— Иначе вам будет крышка, господин обер-лейтенант.

— Вы мне, кажется, угрожаете? Что вы можете мне сделать? Заложите? Но вам придется признать, что вы были тайным агентом гестапо.

Я увидел, как у Князева дрогнуло лицо. Значит, я угадал: он действительно человек Кригера.

— Доказать это будет просто,— сказал я, глядя в упор на Князева.— У вас в свое время брали отпечатки пальцев. Архивы сохранились. Итак, повторяю в последний раз: что вы от меня хотите?

— Я Курдюмов, Олег Курдюмов. Вам это ничего не говорит?

Мне это имя действительно ничего не говорило, и я отрицательно покачал головой.

— Тогда я Дикс!

— Дикс!— невольно вырвалось у меня, словно я услышал голос Кригера: «У меня в детстве был чудный терьер по кличке Дикс...»

Теперь я вспомнил все — и как Кригер настойчиво предлагал взять в разведшколу абвера какого-то хилого паренька... Ну конечно, его фамилия была Князев. Но если мне не изменяет память, он потом куда-то исчез. Кригер так и не раскрыл мне тогда своего агента. Впрочем, почему я удивляюсь? Кригер — отличный разведчик: он всегда работал с пя-

тикратной подстраховкой. У него были агенты, о которых знал только он, и никто больше.

— Ну что же, вспомнили, обер-лейтенант?

— Теперь, кажется, вспомнил,— сказал я и протянул Князеву руку.— Так вот вы какой...

Князев с жаром пожал протянутую руку и сказал:

— Господин обер-лейтенант, спасите меня, готов сделать все, что угодно. Придумайте что-нибудь чтобы меня отпустили или замяли дело.

— Во-первых, Князев,— подчеркнуто произнеся его фамилию, сказал я,— здесь нет никаких обер-лейтенантов, а во-вторых, как вы, собственно говоря, представляете свое освобождение?

— Возьмите того шофера.

— Это не так просто, вы наделали массу глупостей, Князев. Оставили улики. Придумали эту идиотскую молчанку. Просто не знаю, что делать. Кстати, за что вы ухлопали этого, как его...— Я замолчал, не закончив фразу.

— Карпова,— услужливо подсказал Князев; теперь он совершенно переменился и, как говорится, ел глазами начальство.

— Вот именно, Карпова.

— А что оставалось делать? Этот покойничек узнал меня.

— Хорошо, Князев, я постараюсь вам помочь. Но предупреждаю, что за это потребую, ну, скажем, небольшую услугу.

— Все, что угодно...— Князев молитвенно сложил на груди руки.

— Сейчас вас уведут, а вечером вы будете свободны. Я предложу следователю вынести постановление о вашем освобождении.

— А он согласится?— с тревогой спросил Князев.

— Это моя забота. Все будет хорошо.

— Ну, дай-то бог!— вздохнул Князев.

— Теперь слушайте,— приказал я.— Завтра в двадцать тридцать встречаемся в кафе «Георгин». И не приводите «хвост». Если заметите слежку, возвращайтесь в гостиницу. О месте следующей встречи сообщу дополнительно.

— Двадцать тридцать в кафе «Георгин»,— повторил Князев.

— Кстати, не думайте скрыться из города. Я вас найду, можете не сомневаться. Донести на меня вы не осмелитесь и отсидите за убийство как миленький, ясно?

— Куда ясней.

Я вызвал конвой. Князева увели.

— Когда и при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Князевым?

— Зимой 1943 года. Я приехал в один из крупных лагерей для военнопленных. В мою задачу входил отбор кандидатов для разведшколы. С Князевым я познакомился через майора СС Кригера. Было у меня еще одно задание, о котором Кригер не знал,— меня интересовали Солоницы.

— *Если не секрет, чем они вас интересовали?*

— Теперь это уже не секрет. Как вы знаете, 1943 год был решающим в ходе второй мировой войны. В конце ноября Красная Армия перешла в наступление под Сталинградом, и через три дня группировка войск в составе двадцати двух дивизий под командованием Паулюса попала в окружение. Начальник генштаба Цейтлер предложил фюреру ряд конкретных и эффективных мер по выводу из котла шестой армии. Но фюрер отклонил предложение Цейтлера. Канарис через своих верных агентов в Англии получил точные сведения, что Черчилль, несмотря на многочисленные заверения союзников об открытии второго фронта, не намерен в 1943 году реализовать свои обещания. При таком положении вещей высвобождались огромные воинские силы на западе. Гитлер принял решение о переброске целых дивизий на восток в группу войск «Дон», которой командовал фельдмаршал фон Манштейн. Как раз там на него и возлагалась ответственная задача прорвать кольцо окружения армии Паулюса. Рейхсминистр Геринг заверил фюрера, что до подхода войск Манштейна будет создан воздушный мост, который поддержит боеспособность шестой армии. Вот в это время тихий, никому не известный городок Солоницы и попал в поле зрения разведки.

Ведь именно через него шли на восток эшелоны с боевой техникой и живой силой. Мимо этих самых Солониц проезжали те, кто бомбил Мадрид, маршировал по покоренному Парижу, Праге, Афинам. Так я оказался в Солоницах...

— *Там вы и познакомились с Князевым?*

— Нет. Я познакомился с Князевым не в Солоницах, а в областном центре, в помещении гестапо, которое находилось на площади Труда.

— *Какое впечатление произвел на вас Князев?*

— Я знал, что Кригер любит подсовывать в нашу школу людей со своей начинкой, это был не первый случай. Князев не вызвал у меня никаких особых эмоций. Обычный осведомитель гестапо, и не больше.

— *Скажите, пожалуйста, а вы встречались с Князевым уже здесь, в Зеленогорске, после его освобождения из-под стражи?*

— Да, в назначенный срок, в кафе «Георгин».

— *О чем вы говорили?*

— Говорил, собственно, он. В эти минуты я казался ему

единственной опорой. Он был глубоко убежден, что я работаю на новых хозяев и, кажется, был не против войти с ними в контакт. Наконец, он смог за столько лет впервые говорить откровенно. Расставаясь, мы договорились о новой встрече.

— *Она состоялась?*

— Нет, на следующее утро меня вызвали к прокурору области. На свидание с Князевым пошел другой человек. Я понимаю, что нарушаю правила интервью, но мне очень хочется узнать, как вы относитесь к показаниям Князева? — спросил меня Рудов.

— *По-моему, они правдивы и напоминают исповедь человека, осознавшего свою вину,* — сказал я, честно говоря не очень подумав над содержанием своего ответа.

— Ну что же, если он и сказал правду, то, пожалуй, только в том месте, где утверждает, что давно утратил свойство видеть различие между правдой и ложью.

— *Почему вы так думаете?*

Не отвечая на мой вопрос, Рудов достал из письменного стола бобину с магнитофонной пленкой:

— Хотите послушать, что рассказал о себе Князев обер-лейтенанту абвера Герману Рюге в тот вечер в кафе «Георгин»?

Не дожидаясь моего ответа, Рудов заправил в магнитофон ленту и нажал кнопку. В динамике что-то щелкнуло, а потом я услышал голос Рудова, а затем Князева:

«Я не требую от вас исповеди о ваших переживаниях. Мне нужны факты и только факты. Говорите все, начиная со знакомства с Кригером, не пропуская ничего. Мы должны знать все о вашей службе».

«Хорошо, я расскажу все. У вас еще есть время?»

«Сколько угодно».

«Ну, тогда не обессудьте, если буду сбиваться, как вы изволили выразиться, на лирику. Я столько лет молчал и носил в себе все события этих лет, что вы просто не представляете, как я рад впервые за эти годы быть откровенным. Молчание — очень тяжелая штука, господин обер-лейтенант... товарищ Рудов или товарищ прокурор? Как вам удобнее?»

«Называйте, как вам больше нравится. Однако вы много пьете, а спьяну человек говорит лишнее, и в нашем деле это не годится, так что пейте меньше».

«О, пусть вас это не волнует. Я пью редко и, как правило, не пьянею. Итак, по порядку? Ну что ж, слушайте».

Мое возвращение в Солоницы прошло гладко. Товарищи приняли историко с фельджандармерией за чистую монету и даже посочувствовали мне. Погоревали о дяде Ефреме. Случайно я узнал от Карпова, что на самом деле дядя Ефрем был экономистом и настоящая его фамилия Скрыпник. Видимо, я

все же сильно простудился в подвалах гестапо и дня четыре не выходил на улицу. Странно, глядя на ребят, навещавших меня, я не чувствовал раскаяния. Наоборот, где-то в глубине души поднималось злорадное чувство, ощущение моего могущества, моей власти над их жизнями. В условленный срок я отнес в тайник свое первое донесение и через день вынул оттуда инструкцию. В инструкции было всего несколько слов. «Не спешить, работай в основном направлении». Я тут же сжег ее. Шли дни — ничего не менялось, я аккуратно писал донесения и получал инструкции. Крупной акцией подпольщиков за это время был подрыв бензохранилища, о котором я не смог сообщить Кригеру, хотя и принимал в этой операции непосредственное участие. Случилось это так. Решение взорвать бензохранилище было принято боевой группой неожиданно. Я узнал о ней буквально за полчаса до начала. Отказаться я не посмел. Вся моя роль заключалась в том, чтобы стоять на страже. За то, что я не предупредил майора вовремя, я получил разнос в следующей инструкции. В донесении я сообщил о тех, кто принимал участие в подрыве бензохранилища. Но это самое главное: наконец я проник в боевую группу и был немало удивлен, узнав, что ею командует Ленька Карпов. Парень, которого я знал еще в школе, — человек тихий и даже застенчивый. Мало-помалу я узнавал планы организации и, где обходными путями, где прямо, выявлял ее участников. На связь с часовщиком я выходил всего лишь раз, когда готовился поджог паровозного депо. Подпольщики были встречены неожиданными заслонами и потеряли в этой операции одного человека. Но, как я ни старался, мне так и не удалось выявить группу, работающую на железной дороге. Помог случай. Убитого подпольщика опознали, и руководство организации, опасаясь, что будут аресты среди родных убитого, отправило их в лес к партизанам. Ушел в лес и связник, державший связь с группой на железной дороге. На его место назначили меня. После участия в ликвидации группы, взорвавшей бензохранилище, мои акции в глазах Кригера сильно поднялись. Теперь по его заданию мне оставалось выяснить, кто непосредственно поддерживает связь с партизанским отрядом. Удалось в конце концов и это. А в последних числах октября начались повальные аресты. Об этом стоит рассказать подробнее. К тому времени штаб организации «За Родину!» установил прочную связь с подпольщиками, с подпольным обкомом партии, временно потерянную после провала группы дяди Ефрема. Из-за срыва последних операций, а особенно из-за неудач на железной дороге, в подпольном обкоме пришли к выводу, что в ряды организации «За Родину!» сумел проникнуть провокатор.

Тут Кригер ошибся: мы, конечно, были зелеными мальчишками, но в подпольном обкоме партии, который непосредствен-

но руководил нами, нашлись достаточно опытные люди, видимо чекисты, оставленные на работе в тылу врага, и старые большевики, прошедшие школу подпольной борьбы еще до революции и в годы гражданской войны. Они-то как раз прекрасно понимали, что к чему. В их лице Кригер нашел достойных противников и, кроме завала группы дяди Ефрема, происшедшего, как я потом выяснил, случайно, майор не добился в борьбе с подпольным обкомом каких-либо ощутимых побед. Моя перевербовка и раскрытие организации «За Родину!» являлась для Кригера невероятной профессиональной удачей, пожалуй самой крупной удачей за всю его карьеру.

Поэтому все контакты со мной майор сохранял в величайшей тайне, в которую не посвящал даже самых близких своих сотрудников. Он прекрасно понимал силу чекистов и, будучи человеком неглупым, не мог относиться к ним легкомысленно.

Как это ни парадоксально, но одним из первых, кто узнал в нашей организации о предполагаемом провокаторе, был я.

Случилось это так. В Солоницах были введены ночные пропуска. Я уже говорил, что в городской магистратуре работал наш человек — старший брат Лены Ремизовой, Сергей. Сергей был старше нас всех, ему исполнилось двадцать пять лет. Из-за костного туберкулеза, перенесенного в детстве, в армию его не призывали. Он прилично знал немецкий язык, и поэтому подпольная организация, в которую он вступил одним из первых, направила его на работу в магистратуру. Для оккупационных властей Сергей был вполне подходящей кандидатурой — его отец был в тридцатых годах репрессирован.

В тот день я пришел к Ремизовым, чтобы договориться с Сергеем о выдаче мне нового ночного пропуска. Лена сказала, что Сергей должен быть дома с минуты на минуту, и решила напоить меня чаем. Пока она ставила чайник на «буржуйку», я болтал о каких-то пустяках.

— Ты знаешь, Олег... — Лена осеклась. — Ладно, ничего...

— Вечно у тебя какие-то секреты.

— А, — махнула рукой Лена, — все равно скоро об этом узнаешь, и, кроме того, ты человек проверенный, только прошу: больше никому не говори.

— Да что, в конце концов, случилось? — чувствуя, что Лена хочет сказать что-то важное, спросил я.

— Мы скоро все уйдем к партизанам в лес. Представляешь, как здорово взять в руки настоящий автомат и гнать эту мерзость с нашей земли! — Глаза у девушки засверкали.

То, что она мне сказала, являлось полной неожиданностью.

— Что за странный приказ?

— Ты понимаешь, в обкоме убеждены, что в нашу организацию сумел проникнуть провокатор.

— Что за бред? — еле выдавил я из себя.

— Я тоже так считаю,— спокойно сказала Лена, не замечая моего волнения,— но с другой стороны, провал в депо, гибель товарищей... Если провокатор существует, то ему должно быть многое известно...

Я почувствовал прилив какого-то истерического возбуждения.

— Да такого подлеца убить мало! — выкрикивал я, размахивая руками.

Я еще что-то много и горячо говорил и даже грубо выругался. Лена спокойно налила чай и, придвинув мне чашку, строго сказала:

— Успокойся, Олег: если он существует, от нас не уйдет. А вот ругаться не надо. Я понимаю тебя. Но все же не надо.

— Прости,— смущенно проговорил я.

Нет, Ремизова не понимала меня, наивно принимая игру за искреннее возмущение.

«Не уйдет! — стучало у меня в голове.— Не уйдет!» Я вспомнил синюю рожу повешенного полиция. Прямо скажу: мне не хотелось болтаться на суку. И я твердо решил: уж если кто и не уйдет, так это ни один из них. Надо немедленно встретиться с человеком Кригера и все ему рассказать. Я чуть было тут же не побежал к часовщику, но вовремя вспомнил, что должен дожидаться Сергея и хотя бы для виду переговорить с ним о новых ночных пропусках. К счастью, Сергей не заставил себя ждать. Когда он вошел в комнату, Лена сделала мне предостерегающий жест, чтобы я ему не рассказал о нашем разговоре. Я в знак согласия молча кивнул. Договорившись с Сергеем прийти к нему завтра за пропуском в это же время, я нарочито неторопливо попрощался и вышел от Ремизовых. Опасаясь слезки, я минут десять кружил по улицам, прежде чем пойти к часовщику. Наконец я добрался до него, сказал пароли и тут же ушел. Ровно через час я подходил к гипсовой фигуре «Дискобол» в городском парке. На скамейке возле статуи, повернувшись ко мне спиной, уже сидел какой-то мужчина в потрепанном пальто, с черным каракулевым воротником. То, что он дожидался меня, не вызывало никаких сомнений: в это время года парк почти не посещался. Дождавшись, когда я подошел, мужчина резко повернулся и с деланной улыбкой посмотрел мне прямо в глаза. Я обмер. Передо мной был не кто иной, как Степанов. Язык прилип к горла. Тот самый Степанов, с которым я сидел вместе в камере гестапо. «Неужели он бежал? — мелькнула у меня мысль.— Но почему он здесь? Я раскрыт! Что делать?» От испуга мысли смешались в голове. Бежать? Но он несомненно вооружен. Вдоволь насладившись моим испугом, мужчина неторопливо полез в карман и вынул оттуда большие «кировские» часы, которые мне показывал Кригер.

— Не купишь, паренек? — Мужчина спокойно покрутил за вод.— Работают, как трактор!

И только сейчас до меня дошло: Степанов — человек Кригера, а не подпольщик, такой же агент, как и я. Только, видимо, завербован раньше, и задание у него было иное. В общем, купил меня Кригер как маленького. Ну да черт с ним, теперь этот человек — союзник.

— За рубли или за марки? — стараясь придать голосу как можно более независимую интонацию, осведомился я.

— За марки,— ответил мужчина. И, сплюнув, добавил уже от себя: — На кой они ляд мне, твои рубли...

«И как я его мог принять за работника обкома?»—невольно подумал я, анализируя недалекое прошлое.

— Ну что слышно? — спросил мужчина.— Говори спокойно, не бойся, здесь никто не услышит.

Я вкратце изложил ему то, что узнал от Лены.

— Дело серьезное,— покрутил он головой,— думаю, господин майор останется довольным. Да ты не дрейфь: передадим твою камсу, как клопов, злой я до них! Батьку моего в Сибирь укатали. Имею к тебе официальное приказание,— строгим тоном добавил он.— Сегодня в двадцать два ноль-ноль явишься на Садовую, семнадцать. И не дай тебе бог привести «хвост», а то твои же и пришьют — они мастаки. А теперь топай и не оглядывайся.

Я повернулся и пошел, утопая сапогами в снегу.

— Стой,— раздалось мне вслед,— если остановят немцы, пароль «Бремен».

Весь вечер я не находил себе места, слушая бесконечную воркотню тетки Матрены. А когда стрелки на будильнике показали половину десятого, оделся и осторожно вышел из дома. На улице было пустынно. Я без особых приключений добрался до Садовой, 17. Дверь мне открыл Степанов. В комнате, куда он меня провел, за столом, на котором была расстелена большая карта, сидел Кригер. Майор кивком отослал Степанова и, улыбнувшись своей застывшей улыбкой, протянул мне руку.

— Здравствуй, Олег. Садись. Как видишь, твое сообщение не застало меня врасплох. Я уже второй день в Солонихах. И буду лично руководить предполагаемой операцией. Плод созрел, и думаю, что пора его сорвать. Но сначала о самом главном: ты выяснил, кто поддерживает связь с подпольным обкомом?

— Нет, господин майор, это держат в тайне.

— Нет ничего тайного, чтобы не становилось явным. Запомни, мой мальчик: от этого многое зависит в твоей будущей карьере.— Майор многозначительно посмотрел на меня.

— Господин майор, мне кажется, что после провала явки на Железнодорожной от нас вообще не было связного...

— Разумно... — Кригер постучал костяшками пальцев по столу. — Тем более разумно, что в обкоме подозревают о наличии в местном подполье нашего человека. В таком случае должно быть два вида связи. Первый — человек из области сам приходил в Солоницы, и второй — связь с вами поддерживалась через партизан. Какой тебе из этих вариантов кажется более реальным? Говори, не стесняйся: ты лучше знаешь местные условия.

— Думаю, что второй, господин майор.

— Почему?

— Да потому, что новости и инструкции из области появлялись в отряде после того, как Яценко бывал у партизан.

— Гм... — Кригер нахмурил брови. — Тогда, как говорят у вас, кое-кому я крепко надеру уши. Дело в том, мой мальчик, что наши люди как раз сегодня «проводжали» Яценко, чтобы выяснить расположение партизанской базы, но были, очевидно, обнаружены. Яценко вывел их прямо на партизанский заслон. В перестрелке заслон был уничтожен, но что самое досадное — погиб Яценко, хотя я и дал строгий приказ ни в коем случае в него не стрелять. — Майор открыл папку и, достав фотографию, протянул ее мне. — Это он? Я не ошибаюсь?

Я посмотрел на фотографию и невольно зажмурился. Семен Яценко лежал на снегу, шапка валялась рядом, смоляной чуб, которым он так гордился, спадал на изуродованное лицо.

— Подорвал себя гранатой, — спокойно проговорил Кригер, — но узнать можно...

— Да, это он, — глухо ответил я, отдавая майору страшную фотографию.

Мне ли не знать Яценко, того самого Яценко, который вечно списывал у меня диктанты. Веселого и бесшабашного парня... Я ему всегда тайне завидовал. Семку, хваставшегося своим дедом, который дожил до ста восьми лет и умер, опившись самогонки на свадьбе у своей правнучки... Подорвал себя гранатой, какая страшная смерть!..

— Я вижу, ты еще не вылез из впечатлительности. Так нельзя, мой мальчик, — мягко сказал Кригер. — Война есть война. Смею тебя уверить, что этот товарищ Яценко преспокойно засунул бы тебя в петлю, если бы знал, кто ты есть на самом деле. Когда люди становятся врагами, их перестают связывать не только дружеские взаимоотношения, но даже семейные узы. Законы борьбы неумолимы. Итак, приступим к делу. Сколько человек на сегодняшний день состоит в штабе организации?

— Теперь девять, — подумав о Яценко, сказал я.

— Девять без тебя?

— Без меня, я же не член штаба.

— Значит, арестуем все-таки десять. Мне придется и тебя

арестовать. Но, ради всех святых, не волнуйся,— посмотрев на меня, торопливо сказал Кригер.— С тобой ровным счетом ничего не случится. Я ведь тебе обещал нести ответственность за твою безопасность. Но зато после ареста ты будешь в их глазах таким же патриотом, как они. В камере перед смертью у многих развязываются языки. Все члены организации «За Родину!» у меня в руках, но наша главная задача — не только уничтожить этих фанатиков, но через них выйти на подпольный обком. Так что твой арест будет чистой формальностью. Заранее предупреждаю, что тебе придется поставить пару синяков; постараюсь, чтобы это было не очень больно. Теперь уточним адреса, ты мне сейчас их покажешь на карте.— Кригер пододвинул мне карту города, разложенную на столе.— Сегодня у нас двадцать третье... — задумчиво продолжал майор.— Ну что же, особенно спешить нам не стоит. Операцию назначаю в ночь на двадцать шестое. Все выходы из города будут перекрыты, так что ни одна птичка не упорхнет. Посмотрим: может быть, до двадцать шестого они пошлют нового связника к партизанам? И если на этот раз его не возьмут, я лично перестреляю моих олухов. Итак, начнем: Леонид Карпов, Базарная, двенадцать...

Утром, когда я еще спал, ко мне в окошко постучалась Лена. Я пригласил ее войти в дом, но она отказалась. Я спросил, в чем дело, почему она прибежала в такую рань.

— Немедленно собирайся и приходи к нам.

По взволнованному голосу девушки я понял, что произошло что-то очень важное. «Неужели узнали о моей вчерашней встрече с Кригером?» — похолодело все внутри. Стараясь говорить как можно естественнее, спросил:

— Что за срочность такая? — И, зевнув, добавил: — Дай сон досмотреть.

— Олечка, милый,— торопливо отозвалась Лена,— не могу я тебе ничего сказать, спешу — мне еще надо к Карпову сбежать.— Она махнула рукавичкой и побежала к калитке.

«Пронесло! Если бы она что-то про меня знала, не было бы никакого «милого Олечки», — отлегло у меня от сердца.— Но что же все-таки случилось?»

Я стал одеваться, ломая себе голову над причиной столь необычного раннего визита.

Когда я пришел к Ремизовым, то застал там Сергея и Женю Пилипчука; у них был встревоженный вид.

— В чем дело, хлопцы? — придерживаясь все того же спокойного тона, как и с Леной, спросил я с порога.— Что за со вещание ни свет ни заря?

— Садись,— строго сказал Сергей.— Веселого мало. Сейчас придут Лена с Карповым, тогда поговорим: не могу я каждому в отдельности повторять одно и то же.

— Что произошло? — уже серьезно спросил я Пилипчука, усаживаясь с ним рядом.

— Откуда я знаю! — Женя пожал плечами. — Я пришел за пять минут до тебя.

Сергей, ни на кого не глядя, расхаживал по комнате, припадая на больную ногу. Так продолжалось минут десять, пятнадцать. Наконец дверь распахнулась, и в комнату вошли Лена и Леонид.

— Так, все в сборе, — даже не поздоровавшись с Карповым, сказал Сергей. — Товарищи, наша организация раскрыта гестапо. В ночь на двадцать шестое назначена облава. Подпольный обком партии предложил членам нашего штаба, которые прошлой ночью отправились к партизанам за оружием, в город не возвращаться, а нам немедленно по одному или группами не более чем по два человека покинуть Солоницы. Сбор у Березовских каменоломен. Для связи остается Курдюмов. Все. Вопросы будут?

Вопросов не последовало. Все стали расходиться. Направился к двери и я.

— Олег, — раздался голос Сергея, — задержись на минутку! получишь задание штаба.

Но каким было задание штаба, я так и не узнал. Кригер обманул всех, в том числе и меня. Нас взяли в ту минуту, когда мы должны были расходиться от Ремизовых. Больше всех досталось Карпову, который успел выхватить пистолет, когда в комнату ввалились солдаты. От удара прикладом он потерял сознание, но его еще долго пинали тяжелыми коваными сапогами. В кузове машины, куда нас затолкали, я увидел Яшку Кучера — его оставил Сергей на страже. У Яшки были скручены за спиной руки и проломлена голова. Он так и скончался, не приходя в сознание, в камере, куда нас кинули после ареста.

А в общем, Яшке повезло. Ребят допрашивали круглые сутки. Через два дня они были истерзаны и изломаны так, что мало чем походили на людей. Меня, несмотря на обещание Кригера, тоже отделали весьма прилично. Все мое лицо было сплошным кровоподтеком. Когда я решился напомнить ему о нашем уговоре, он, как всегда, улыбнулся и назидательно заметил:

— Ты же не хочешь, чтобы они тебя придушили в камере? А потом, говоря честно, ты это заслужил: не сообщаем ничего нового, мой друг, ничего нового. Все признания, на которые ты их вызываешь, не стоят ломаного гроша. Мне важно выйти на подпольный обком. Ну хоть какую-нибудь зацепку, черт побери! Будь смелее — я тебя полностью обезопасил, отсадив отдельно Пилипчука. Кстати, ты сказал в камере, что видел его, когда возвращался с допроса?

- Да, сказал,— еле шевеля разбитыми губами, ответил я.
- Ну и что, они поверили?
- Вроде поверили,— вяло ответил я.

У майора Кригера все было расписано как по нотам. Поместив нас всех в общую камеру, он тут же при аресте отсадил отдельно Женю Пилипчука. На первом допросе, когда Рейнгарт так безжалостно отделал меня, Кригер велел мне сказать ребятам, что, когда меня вели с допроса, я якобы видел Пилипчука живого и невредимого, разговаривавшего с кем-то из гестаповцев. Но, несмотря на то что товарищи вроде поверили в измену Пилипчука и на меня никакие подозрения не падали, ничего нового о связях с подпольным обкомом я ни у Сергея, ни у Карпова не выведал, а кроме них, вряд ли кто-нибудь об этом знал. 28-го ночью нас повезли на расстрел. Кригер ничего не добился, и все же до самого конца он решил не расшифровывать меня: Пилипчука среди нас не было, его, как выяснилось позже, расстреляли отдельно. Нас везли по затихшим улицам ночного города. Кто-то из ребят запел «Орленок, орленок...», все дружно подхватили знакомые слова.

Расстреливали всех вместе. Ребята стояли около неглубокой ямы, освещенные фарами машин.

— Прощайте, друзья! — крикнула Ремизова.

С бронетранспортера по шеренге подпольщиков ударила пулеметная очередь.

Я в это время уже сидел в «оппель-капитане» Кригера.

— Ну, вот и все,— закуривая, спокойно сказал он и, увидев, что меня бьет дрожь, протянул фляжку.— Выпей, здесь коньяк, это тебя подкрепит.

Солдаты деловито переговаривались, наскоро забрасывали могилу мерзлыми комьями земли. Машина круто развернулась и, набирая скорость, понеслась по шоссе, ведомому в областной город. С этого дня я никогда больше не бывал в Солоницах.

Через несколько дней, уже в гестапо, в здание на площади Труда, меня вызвал к себе Кригер.

— Садись, Олег,— как всегда, улыбкой встретил меня майор.— У меня есть для тебя приятное известие.— Кригер протянул мне лист бумаги с немецким машинописным текстом.— Впрочем, я забыл, что ты не силен в немецком,— улыбнулся Кригер.— Ну ничего, думаю, что по-русски это будет звучать не менее приятно. Ты представлен к награде за успешную ликвидацию Солоницкого подполья. Список утвержден и подписан. Поздравляю! — Кригер встал из-за стола и торжественно протянул мне руку.

Кстати, награду мне почему-то так и не вручили...»

Рудов встал и выключил магнитофон.

— Ну как? Сильно отличается этот рассказ от того, что записано в показаниях Князева?

— Да, но тогда как же вы решились отпустить такого человека?

— Иного выхода у нас не было. Мне нужно было добиться полного доверия Князева и узнать подробности провала Солоницкого подполья. Я должен был сделать сейчас то, что не смог сделать почти двадцать шесть лет назад. Карпов был мертв, да он и не знал имени провокатора. Кригера уничтожили партизаны. Единственный человек, знавший правду, был Князев. Нужно было развязать ему язык. Я позвонил в КГБ и рассказал о Князеве. Мои действия одобрили. Я прекрасно понимал возмущение Лазарева, но посвящать его до поры до времени в подробности этого дела не имел права.

— А не мог Князев сбежать, воспользовавшись свободой?

— Нет. С самого начала обо всем знали работники КГБ. Каждый шаг Князева был им известен. А вскоре Курдюмов — Князев был вновь арестован. Это произошло в тот самый день, когда следователь Лазарев доложил прокурору области Барышеву о необоснованном освобождении Князева, о том, что прокурор района встречался с преступником.

Лазарев иначе поступить не мог. Увидев его в приемной прокурора области, я сразу догадался, в чем дело, и попросил Барышева пригласить Лазарева в свой кабинет, что он и сделал. Когда Лазарев прослушал пленку с записью моего разговора с Курдюмовым — Князевым, он растерянно посмотрел на меня и следователя КГБ, а затем, обратившись к Барышеву, спросил:

— Так, значит, товарищ... — А потом, словно споткнувшись о привычное слово «товарищ», он произнес: — Извините, гражданин Рудов...

— ...действительно был сотрудником абвера, — подхватил я.

Барышев рассмеялся и, глядя на Лазарева, сказал:

— А вы и не подозревали, что рядом работает такой опасный человек, как обер-лейтенант Рюге?

Когда к вечеру мы с Лазаревым возвращались в Зеленогорск, мне пришлось рассказать ему свою биографию.

— Не могли бы вы повторить ее мне?

— Если она вас интересует, пожалуйста. Я наполовину немец. Девичья фамилия моей матери Грот. Дед преподавал до революции в Московском университете, но в 1905 году вместе с несколькими педагогами был лишен кафедры за поддержку революционно настроенного студенчества. Карл Францевич Грот был из обрусевших немцев, но родной язык, несмотря на это, знал прекрасно. До конца жизни он оставался либерально настроенным интеллигентом. Революцию в России принял всем сердцем, хотя многое из происходящего в то время ему было неясно. Моя мать была настоящей большевичкой и познакомилась с отцом, саратовским рабочим Тимофеем Рудо-

вым, в то время, когда он находился на нелегальном положении. Я появился на свет за год до Великой Октябрьской социалистической революции, 25 октября 1916 года по старому стилю. По этому поводу в нашей семье часто шутили, говоря, что Анна, моя мать, ошиблась на год, как и Маяковский. Помните? «Где взгляд людей обрывается куций, главою голодных орд, в терновом венке революций, грядет шестнадцатый год...»

Отца я не помню, он погиб в 1919 году, при подавлении белогвардейского мятежа в Кронштадте. Воспитывал меня в основном дед, поэтому с самого раннего детства у меня было два родных языка: немецкий и русский. Для меня были одинаковы близки Гёте и Пушкин. Когда я учился в школе, наша «немка», милейшая старушка Адель Львовна, в случае, если кто-либо не выучил урок, обращалась ко мне, и я, чтобы не подвести товарища, пускался с ней в длинные разговоры, нажимая на свое «чисто берлинское» произношение. Адель Львовна таяла, и инцидент бывал исчерпан. Я рос, как тысяча моих сверстников: школа, комсомол, общественные нагрузки. В мире было неспокойно. В Германии к власти пришли фашисты. Истерические вопли Гитлера о реванше и жизненном пространстве для немцев перестали быть пустой угрозой. Лучшие люди Германии покинули страну. Человечество было поставлено перед лицом новой мировой войны.

Дед, читая газеты, трагически поднимал брови и заявлял:

— Черт возьми, что стало с Германией или они все там с ума посходили?

Я подтрунивал над ним, взывая к «голосу крови». А дед, не понимая иронии, топорщил седые усы и фальцетом кричал на меня:

— Мальчишка, что ты в этом смыслишь! Да, я — немец, немец, но из тех немцев, из которых Моцарт, Гейне, Бетховен! Гитлеры и прочие имеют к Германии такое же отношение, как я к папуасам. Русские мудры, они правильно говорят: в семье не без урода.

Войну я встретил студентом юридического факультета МГУ. Услышав по радио о начале войны, я поцеловал деда и молча двинул к двери.

— Подожди, Яшенька.— Дед засеменял ко мне.— Береги себя, слышишь... — Он заплакал и обнял меня своими слабыми руками...

Перед тем как идти в военкомат, я заехал в наркомат просвещения попрощаться с матерью. Несмотря на воскресный день, у нее был какой-то семинар. С матерью я последнее время виделся редко. Несколько лет назад она вторично вышла замуж, а с отчимом, как говорится, мы не сошлись характерами. Я переехал к деду, в его большую и гулкую квартиру на Петровке. Разговор с матерью был короток.

— Ты молодец, что решил идти на фронт. Отец одобрил бы твое решение,— только и сказала она.

Моя мать принадлежала к тому поколению, для которых общественное и личное были несоразмеримые категории. Сколько я помню, она вечно куда-то спешила — заседать, налаживать, организовывать. Все, что не касалось ее дела, для нее не существовало. Натура по природе сильная и цельная, она нашла себя и в борьбе. Для нее революция не кончилась вместе с гражданской войной, она продолжалась для матери всю жизнь. И в тяжелые дни эвакуации она осталась такой же. Как мне потом рассказывали, она была бодрой и энергичной, ходила в Кемеровский горком, добивалась улучшения работы эвакуационника. Подбадривала людей, поддерживала их своим оптимизмом. До самой последней минуты мать оставалась такой, какой была всю жизнь. Она умерла в Кемерове в декабре 1942 года от крупозного воспаления легких.

— Скажите, Яков Тимофеевич, а как вы стали разведчиком?

Рудов пожал плечами.

— Вообще-то случайно. Из военкомата я был направлен на одну из подмосковных станций, где формировался стрелковый полк особого назначения. В полку я подал по команде рапорт, где докладывал о том, что в совершенстве владею немецким языком. Говорил я это и в военкомате, но в те июньские дни, когда военкоматы были забиты до отказа, разобраться с каждым в отдельности, очевидно, не было возможности. Через некоторое время меня вызвали в политотдел, где я познакомился со старым чекистом полковником Денисовым. Разговор у нас с ним состоялся обстоятельный и подробный. А через два дня я был отчислен из части и переведен в распоряжение полковника. Сергей Михайлович привык тщательно обдумывать каждую операцию, которой он руководил. Он прекрасно сознавал, что имеет дело с одной из сильнейших разведок мира, и великолепно знал, что те реальные немцы, с которыми его подопечным придется иметь дело, сильно отличаются от немцев, изображаемых в кинокартинах, снятых в первые годы войны.

Моя подготовка велась тщательно. Однажды поздним вечером, когда я, устав после напряженного дня, собирался лечь спать, ко мне в комнату вошел довольный, улыбающийся Денисов.

— Не помешал? Да ты сиди, сиди,— сказал он, заметив, что я вытянулся по стойке «смирно».

Денисов уселся поудобнее и вновь обратился ко мне:

— Ну, брат, нашел я тебе двойника, пальчики оближешь.

Полковник провел по лицу и вздохнул. Я украдкой рассматривал его. Передо мной сидел усталый пожилой человек, с набрякшими от бессонницы глазами, лысый, курносый, самый

обыкновенный на вид. Под гимнастеркой с полковничьими петлицами туго выпирал солидный животик. И вместе с тем я знал, какой острый и проницательный ум, какое горячее сердце скрывается за этой заурядной внешностью.

— Тебе что, не интересно? — Денисов достал «Беломор» и, по-особому смяв мундштук, закурил.

— Как — не интересно, Сергей Михайлович, очень даже интересно,— глупо, совсем по-детски ответил я.

— Тогда слушай: Рюге, Герман Рюге, из прибалтийских немцев, репатриировался в Германию незадолго до установления в Латвии Советской власти. Имел в Германии дядю. Дядя как дядя, владелец писчебумажного магазина в Брауншвейге. Но! — Денисов поднял вверх указательный палец. — Дядя в январе сорок первого возьми да помри от рака, так что теперь никаких родных у Рюге нет. Сирота, одним словом. Старше тебя на два года, очень похож.

— Откуда вы его достали?

— Подарок фронтовой разведки, надо сказать — ценнейший подарок. Ну, спать будешь или еще поговорим?

— Конечно, поговорим, товарищ полковник, если вы не устали. Вам ведь тоже спать надо.

— А,— махнул рукой Денисов,— я на том свете отосплюсь.

Мы проговорили с полковником еще несколько часов, обсуждая вопросы, которые завтра я и он должны задать лейтенанту Герману Рюге. Полковника волновало, что я не знаю латышского языка, которым Рюге владел прилично.

— Зато ты знаешь русский,— рассуждал вслух Денисов,— этого скрывать не надо. Там,— добавил он, пристально глядя на меня,— в Латвии, многие знают русский. Старайся говорить с легким акцентом, но не переборщи. Впрочем, тебя в этом потренируют. И придется подучить латышский. Ты у нас полиглотом станешь.

— Когда он должен прибыть в часть? — спросил я.

— Скоро,— вздохнул Денисов.— Но мог же он попасть под бомбежку, могло его контузить.

— Да, нужны справки, документы,— неуверенно сказал я.

— Это пусть тебя не волнует, это уж наша забота.— Денисов встал и открыл форточку.— Ух, и накурили же мы с тобой! — сказал он укоризненно...

На другой день с утра в кабинете у Денисова я встретился со своим «двойником» — Германом Рюге.

— Предупреждаю вас, Рюге,— холодно сказал Денисов,— малейшая лож повлечет за собой самые тяжелые последствия.

Рюге испуганно посмотрел на Денисова и, сглотнув слюну, торопливо ответил:

— Клянусь, господин полковник, что я буду говорить только правду.

Я внимательно глядел на Рюге. Нет, он не был моим двойником. Очевидно, вчера полковник решил меня ободрить. Впрочем, не все ли равно, похож или не похож. Если я встречу там хоть кого-то, кто хорошо знал его, он быстро поймет, что я не тот Рюге, который, скажем, сидел с ним на одной парте в гимназии. Вопросы мы задавали по очереди. Сначала пленный отвечал коротко, но потом осмелел, обвыкся и даже пытался шутить.

— Почему вас взяли в СС? — спросил Денисов.

— Я оказал рейху коё-какие услуги.

— О ваших услугах СС вы дадите нам подробный письменный отчет.

— Слушаюсь.

— Люди, принятые в СС, проходят особую проверку. Как вы объясните, что вас, фольксдойче, все-таки взяли туда?

— Простите, господин полковник, но вы ошибаетесь, я не фольксдойче, а рейхсдойче. Дело в том, что я родился в Германии, — с гордостью ответил Рюге, — я родился в Брауншвейге. Дядя доказал это по церковным книгам, моя мать была католичкой. Проверку я тоже прошел.

— Брили ли у вас отпечатки пальцев?

— Не помню.

— Я спрашиваю: брали ли у вас отпечатки пальцев?

— Нет, я всего два месяца как в армии.

— Откуда же лейтенантское звание?

— Я имею высшее образование и, кроме того, знаю латышский и русский языки.

— Насколько мне известно, за это в чине не повышают.

— Возможно, мне зачли... — Рюге замаялся.

— Вашу работу в гестапо?

— Да.

Допрос длился более трех часов, а после, наскоро перекусив, я отправился к преподавателю латышского языка, который я изучал недели две.

...Перед моей заброской в тыл врага провожал меня на аэродром полковник Денисов.

— Запомни, — твердил он, дымя папиросой, — справка из госпиталя, та, что у тебя, сделана отменно, но она — липа. На явке в Харькове получишь настоящую.

— Самую что ни на есть настоящую? — попытался пошутить я.

— Не валяй дурака, — строго посмотрел на меня Денисов, — запись в фастовском госпитале будет подлинная, человек из-за этого жизнью рисковал, — тихо добавил он.

— Простите, Сергей Михайлович, — виновато сказал я.

— Ничего, ничего... Неужели ты думаешь, что я такой уж выживший из ума олух? Если справка будет без записи в гос-

питальной книге, ты же завалишься на первой проверке. А проверять тебя, Яша, будут много, ох как много!..— выдохнул он.— Помни все, о чем мы говорили, все, чему я тебя учил.

— Палдиес!

— Что? — переспросил меня Денисов.— Ах, палдиес — спасибо! Я по-латышски, пожалуй, только это и знаю.

Ветер гнал по полю аэродрома колючую снежную крупу. Мы обнялись. Сергей Михайлович неловко чмокнул меня в тщательно выбритую щеку.

— Ну, Тимофеевич, с богом!

Самолет, набирая скорость, понесся по взлетной полосе. Вот так я и стал разведчиком...

— Скажите, пожалуйста, а как вы попали в Солоницы?

— В январе 1943 года абвер направил меня в Солоницы отбирать учеников в разведшколу. Я сообщил в Центр и получил задание по выяснению перемещений дивизий вермахта с западного направления в группировку «Дон». Маленький городок Солоницы стал во время войны крупной узловой станцией. До поры до времени на этом участке все складывалось благополучно, но в самый нужный момент из Центра в подпольный обком пришли тревожные сигналы. Данные, поступавшие из Солониц, проверенные по другим каналам, оказались тонко состряпанной дезинформацией. Кроме того, из подпольного обкома через связного сообщали, что хорошо продуманная и тщательно подготовленная операция по уничтожению паровозного депо провалилась. Я решил выехать в областной центр и на месте во всем разобраться. Командировка не представляла большой трудности, так как вблизи от города находился большой лагерь военнопленных, где я бывал уже несколько раз, вербуя учеников в разведшколу Шварцвальда. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Как вы знаете, между гестапо и абвером шла глухая и непрекращающаяся вражда, окончившаяся в конце концов поражением Канариса.

Гестапо тщательно собирало компрометирующие материалы о сотрудниках абвера, и поэтому я был особенно удивлен, узнав на допросах подлинного Германа Рюге, что он, помимо прямой работы на абвер, является еще и агентом гестапо. Только этим обстоятельством я объясняю те доверительные отношения, которые сложились у меня с майором Кригером. В тот памятный январь сорок третьего из разговоров с Кригером я понял, что дезинформация о солоницком железнодорожном узле дело его рук. Расспросить его подробнее, как ему удалось внедрить в подпольную организацию своего человека, я не решался, чтобы не вызвать у майора подозрений. Кригер был опытным контрразведчиком, и любой неосторожный вопрос мог его насторожить.

Обсудив создавшееся положение с представителями подпольного обкома, мы решили срочно переправить участников подполья в лес, к партизанам, тем более что, по словам Кригера, ликвидация организации «За Родину!» назначалась на двадцать шестое число. В тот день в Солоницы ушел связной. Наметили мы также кандидатуры людей для работы на железнодорожной станции. Я думал, что на этом дело и кончится, и уже собрался уезжать, но Кригер спутал все карты: вместо двадцать шестого он провел операцию по ликвидации Солоницкого подполья двадцать четвертого. Весть о том, что пять наших товарищей схвачены гестапо, произвела на меня тяжелое впечатление, я буквально не находил себе места. Через несколько дней, поздравляя Кригера с успешным проведением операции, я как бы невзначай спросил его о том, как это ему удалось. Кригер загадочно улыбнулся и, постучав костяшками пальцев по столу, мечтательно сказал:

— У меня в детстве был чудный пес по кличке Дикс.

— Ну и что? — не понимая, к чему он клонит, спросил я.

— Чужих он пускал в дом охотно, но обратно выйти никто не мог. Вот и в этом деле мне помог мой верный Дикс!

Дальнейший разговор с Кригером не внес ясности.

Нам было известно, что все арестованные подпольщики расстреляны. Одно из двух: или предателем был неизвестный нам человек, имя которого не удалось установить, или Кригер вместе с подпольщиками расстрелял и своего осведомителя, который перестал быть ему нужным. Зная Кригера, я был убежден в то время, что второе предположение более правильное, тем более что случайный человек вряд ли мог знать всех членов организации.

И вот через столько лет правда восторжествовала. Эхо далекой войны, о которой мы всегда должны помнить, дало себя знать. Карпов стал последней жертвой среди героев Солоницкого подполья. Жаль его безмерно. Обидно, что мы жили с ним рядом, а не были знакомы, даже ни разу не поговорили.

— *А вам известна дальнейшая судьба подпольной организации «За Родину!»?*

— Находясь за сотни километров от Солониц, я с большим удовлетворением читал секретные донесения о том, как один за другим шли под откос немецкие эшелоны, как утром Первого мая над зданием райисполкома взвился красный флаг, на котором были вышиты слова: «За Родину!» Значит, организация жила. На место погибших героев пришли новые.

— *Яков Тимофеевич, как вы можете объяснить то, что Курдюмов был на следствии в КГБ так откровенен, не отрицал убийства Карпова, признался в своих связях с гестапо?*

— Вы ошибаетесь. Князев не был откровенен. Зная, что он разоблачен, этот провокатор пытался создать новую версию,

выгородить себя, представить себя жертвой жестокости фашистов. Теперь это ему не поможет. Суд установит его подлинное лицо.

— *А вы будете выступать в суде?*

— Обязательно. Но не в качестве прокурора, а как свидетель.

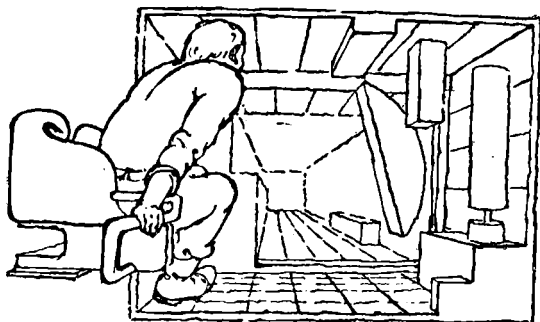
— *И этим ваша миссия по этому делу будет исчерпана?*

— Нет. Я поеду в Солоницы, ведь там на мемориальном обелиске до сих пор стоит имя предателя... История внесла корректив. На этом месте по праву будет имя Карпова, которое он попросил в свое время убрать. Имя патриота Леонида Николаевича Карпова, дважды убитого, будет жить.

*

Такова история уголовного дела «Об убийстве учителя Карпова», которую я случайно узнал в маленьком городе Зеленогорске.





Абрамов С.

ВОЛЧОК ДЛЯ ГУЛЛИВЕРА

Фантастическая повесть

1. СЕДЬМОЕ ЧУДО ВЕКА

Когда Майк Харди, старший конструктор фирмы электронных приборов, двадцатидевятилетний холостяк, вернулся с работы много позже обычного, он устало плюхнулся в кресло, вытянув ноги к электрообогревательному камину, горящему, несмотря на летний угасший день. Летним, впрочем, он был только по времени года — с утра в Лондоне лил мелкий осенний дождь и зловеще протяжно, как в романах Анны Рэдклифф, завывал ветер за разохшимися от старости створками окон — ох, уж эти мне древние английские дома, не желающие умирать даже к самому концу века! Но комната все же хранила тепло и уют: не вставая, можно было взять сигару или сигарету, виски и лед из висячего бара с морозильником и даже просмотреть программу миниатюрного телевизора, укрепленного на ручке кресла под линзой с прогрессирующим увеличением. Но Майку не хотелось ни есть, ни пить — он поужинал по дороге домой в баре напротив, — не хотелось курить и даже просто думать о чем-нибудь занимательном. Идея нового изобретения, терзавшая его уже два с лишним месяца, нако-

нец оформилась, и он чувствовал себя опустошенным, как кухонный холодильник после очередного налета гостей.

В этот момент и проник в полусонную тишину вечера чуть приглушенный зуммер видеофона. Майк не включил экрана — не захотелось.

— Ну? — сказал он лениво.

— Харди? — спросила трубка.

— Мистер Харди, — поправил Майк.

— Говорит представитель «Хаус Оушен-компани», — властно сказала трубка, игнорируя назидательность реплики. — Почему не включаете видео?

— Не хочется.

— Ваше дело. Пока мы не имеем права настаивать, — «мы» и «пока» прозвучали явно подчеркнуто, и Харди тотчас же это учел, — но мне бы хотелось встретиться с вами, не откладывая. Встреча может быть интересной и для нас, и для вас.

Майк, не очень довольный своими делами в фирме, ожиwился. Неожиданный разговор что-то обещал.

— Где и когда? — спросил он.

— Скажем, завтра. Позавтракаем вместе в двенадцать.

— Невозможно, — вздохнул Харди, — завтраки доставляют нам из бара «Думсдей». Шеф не любит, чтобы мы покидали лабораторию.

— Плюньте на вашего шефа. До завтрака он будет уволен.

— Не понимаю...

— Поймете. Вы любите французскую кухню?

— Люблю, — растерянно откликнулся Майк, — но...

— Включите экран.

На экране возник холеный седоватый джентльмен с модными в этот сезон викторианскими бачками.

— В двенадцать в Сохо, — сказал он. — У Жюля Леметра. Третий стол у окна.

Экран погас.

Майк встал и прошелся по комнате, нервно потирая руки. Предстоявшая встреча с «Хаус Оушен-компани» взволновала бы каждого. Ведь само название это было производным от слова «Хаус» — «Дом» с большой буквы, — седьмого чуда света в последние десятилетия двадцатого века. До рождения Дома таких чудес было шесть. Тоннель под Ламаншем, накрепко привязавший Британию к континенту, и пластмассовый мост через Каспийское море, соединивший Баку с Красноводском; пятикилометровая вонзившаяся в небо игла — парижская телебашня, сменившая старенькую игрушку Эйфеля, и свободно плавающий остров-курорт Майями Флай-айленд; международный космопорт на Луне и постоянно действующая советская автоматическая беспилотная станция на Венере. Дом был седьмым. Седьмым чудом уходящего века, воздвигнутым инженер-

ным гением Доминика Лабарда всего за шесть лет до начала третьего тысячелетия живущего по григорианскому календарю человечества.

Майк знал о Доме все или почти все, о чем буквально вопили мировая печать и радио, видел Дом на кино- и телеэкранах, на рекламных плакатах и журнальных фото. Двухкилометровой высоты, полтора километра в диаметре поперечного сечения, он походил на гигантский волчок, поставленный на крохотном островке-риффе в Атлантическом океане таким космическим Гулливером, сошедшим со звезд к земным лилипутам. «Волчок» вращался, не прекращая движения ни днем, ни ночью, и, говорили, именно это и обеспечивало ему устойчивость и недоступность для ветров и бурь. Построенный за пределами американских территориальных вод, этот дом-город в 450 этажей, с трехмиллионным населением и собственной индустрией был не государственным, не национальным, а частным владением, личной собственностью миллиардеров Грэгга и Хенесси, контролирующих две крупнейшие и перспективнейшие отрасли американской промышленности — электронную и автотранспортную на воздушных подушках, вытеснившую к концу века почти все виды морского и сухопутного транспорта.

Создание Дома было ответом на предсказания ученых о демографическом взрыве, который якобы вот-вот последует. Так, по мнению строителей дома, могла быть освобождена земля от перенаселяющих ее городов. А города росли и укрупнялись, образуя могучие агломерации, связавшие десятки городов-карликов в единый гигант Мегалополис. С восточным Мегалополисом, объединившим добрую сотню городов от Бостона до Балтимора, был связан и Дом пуповиной-тубом, ежедневно выбрасывающим с гиперзвуковой скоростью вагоны поезда на центральных вокзалах Нью-Йорка и Вашингтона.

Майк знал и больше — ведь рекламные проспекты «Хаус Оушен-компани» распространялись по всему миру, — он даже представить себе не мог, чем он, Майк Харди, безвестный конструктор фирмы «Притчарде и Притчардс», никогда не сообщавшей, кто является автором запатентованных ею электронных новинок, чем мог он заинтересовать создателей уникального технического феномена. Может быть, слухи об идее, терзавшей его два с половиной месяца, все же дошли до их ушей — ведь он мог сболтнуть кое-что кое-кому в часы ресторанно-клубных идиллий.

Все выяснилось на другой день в двенадцать часов в ресторане Леметра за столиком у окна, выходившего на такую же, как и вчера, дождливую лондонскую муть, в которой внизу мелькали мокрые туфли и туфельки, а наверху — черные и цветные зонты. Моды, как заяц, петляя и путаясь, возвращались на следы тридцатилетней давности.

Навстречу поднялся холеный псевдовикторианец с поседевшими бачками.

— Стрэнг,— назвал он себя.— Завтрак я уже заказал по своему вкусу.

— Все обошлось, как нельзя лучше,— заметил Майк.— Шеф даже не зашел ко мне до двенадцати.

— В одиннадцать его уволили,— пояснил Стрэнг.— Дело в том, что мы купили компанию «Притчардс и Притчардс». Этим, в сущности, и вызвана наша встреча.

Майк раскрыл рот и умолк, ожидая продолжения, но Стрэнг предпочел перейти к завтраку. Майк не настаивал. Спаржа и крылышко цыпленка с белым вином требовали повышенного внимания, да и любопытство следовало скрыть. Стрэнг молчаливо одобрил выдержку Харди: не торопится, не суетится, выдержан, немногословен.

— У нас к вам предложение перейти на работу в Дом,— сказал он.— Диспетчером автоматических блоков связи. Сложная цепочка электронных компьютеров. Но думаю — справитесь. Контракт на пять лет. Гонорар двойной против лондонского.

— А если не справлюсь? — улыбнулся Майк.

— Вернем вас в лондонскую лабораторию.

— А если захочу уехать, не отработав контракта?

— Уплатите неустойку, едва ли для вас приемлемую.

— И последнее,— засмеялся Майк.— Если не соглашусь?

— А почему? Мы предлагаем вам пост одного из представителей интеллектуальной элиты Дома. Вы, может быть, думаете, что наш диспетчер — это нечто вроде диспетчера автобазы или разгрузочной станции? Нет, это электронщик очень высокой квалификации. Вы, например,— король связи. Видеофонной, телевизионной, лучевой. Связи с внутренним и внешним рынками. С любым абонентом любой страны. Машина нашей индустрии, торговли и образования остановится, если оборвутся каналы связей. Вы — дирижер этих связей, алгоритм их непрерывности. Ваши компьютеры что-то убыстряют, тормозят, открывают, блокируют, дают задания автоматическим системам. Вы — композитор этой симфонии. Мало?

— Слишком помпезно. У меня в Лондоне тихая, почти независимая, своя лаборатория.

— Свою лабораторию вы получите и у нас, кстати, лучше и современнее оборудованную, но только после обязательного объема работы. Что пострадает? Киносеанс, или телепрограмма, или, может быть, встреча с девушкой? Едва ли об этом стоит жалеть. А любое ценное изобретение, рожденное у вас в лаборатории, тут же приобретается после удовлетворительных испытаний и патентуется с указанием имени автора.

Майк все еще колебался. Он не понимал одного: чем же объяснялась настойчивость этого незаурядного предложения.

— Мое положение? — пожал он плечами. — Едва ли оно значительно. Мои таланты? Едва ли они заметны.

— Не скромничайте. Мы знаем вас лучше и ценим дороже, чем Притчардсы. Мы тщательно изучили вашу документацию по молеэлектронике и все изобретательские находки. Ваш ручной телевизор-браслет с десятикратно увеличивающей изображением линзой по сравнению с достижениями микроэлектроники прошлых десятилетий — феномен, чудо. Мы уже приобрели патент и пустим в производство как «Харди-микро». Есть у вас и другие плюсы: скромность, честность, необходимая жесткость характера и к тому же нет ни жены, ни детей.

— Неужели и это имеет значение?

— И даже большое. Не всякой женщине мы можем предложить работу, а неработающих жен у нас и так слишком много, особенно на верхних уровнях Дома. Бездетность же — обязательное условие его демографической стабильности. Вы можете влюбляться, сходиться, жениться, но только не иметь детей! Иначе — расторжение контракта и высылка по месту прежнего жительства.

— Меня это не пугает, — засмеялся Майк.

— Значит, согласны?

— Когда прикажете начинать?

— Контракт подпишем сегодня, — ответил Стрэнг. — А выехать вам придется завтра утром из Лондонского порта на одном из наших суперкраулеров. Контракт и прочие документы — в этом конверте.

И он передал Майку конверт с гербом «Хаус Оушен-компани» — «Домом-Волчком» на океанской скале. Майк поклонился и вышел, ничуть не подозревая, какая цепь удивительных и необычайных событий потянется за этим, казалось бы, сухо деловым разговором.

2. ВОЛЧОК В ОКЕАНЕ

Суперкраулеры, напоминающие плоскобрюхих китов с закованным в органическое стекло пустым и прозрачным туловищем, лежали прямо на берегу Темзы. Для них не нужно было строить ни пристаней, ни причалов — достаточно широкой искусственной насыпи, окаймленной невысоким забором. Рядом со своими суперсобратями, рассчитанными на сотни пассажиров и сверхкомфорт путешествия, лежали более скромные надводные стайеры со вместимостью междугородных автобусов. Но и те и другие пересекали Атлантику запросто за два-три часа. Их звуковая и сверхзвуковая скорость, отсутствие

качки и абсолютная безопасность путешествия вытеснили к концу века и морские и воздушные лайнеры. Первые переключились на амплуа плавучих гостиниц и санаториев для людей с избытком денег и времени, а вторые — кто на перевозку грузов и почты, а кто попросту стал металлическим ломом.

Харди никого не встретил, кроме хорошенькой стюардессы, указавшей ему место рядом с проходом; он сел и утонул в бархатистом кресле с почти неощутимыми из-за мягкости сиденьем и спинкой. Краулер заполнялся быстро, пассажиры не опаздывали. Одни были знакомы друг с другом и перекликались весело и непринужденно, другие сидели молча, оглядываясь настороженно и с любопытством. Нетрудно было догадаться, что первые возвращались в Дом из служебной или курортной поездки, а вторые ехали дальше — в Бостон, Нью-Йорк или Балтимору. Майк не заметил среди них ни одного бедно одетого человека: его суперкраулер был лайнером для крупных бизнесменов и высокооплачиваемых служащих.

Кто в шестидесятых или семидесятых годах мог представить себе ощущение пассажира суперкраулера? Только профессиональный гонщик на прямой трассе без виражей или военный летчик, идущий на своем сверхзвуковом «Фантоме» на цель. Краулер плавно соскользнул на воду, поднялся над ней беззвучно и пошел, едва касаясь ее курчавых барашков, ловко маневрируя в портовой тесноте. Мелькнули в стекловидной стенке причалы и склады, ажурные башни порталных кранов, гигантские рекламы, подвешенные над берегом, потом все слилось в белый хаос брызг и тумана, словно краулер нырнул в пену Ниагарского водопада. Снаружи он и походил на вспененный водяной кокон, с немыслимой скоростью скользящий над пенным кружевом волн. Да Майк и не мог видеть его снаружи, а изнутри была та же вспененная белая тьма — до конца путешествия.

Неожиданный конец его вырвал Майка из уютной дрёмы. Неожиданный потому, что это был не конец, а промежуточная рекламная остановка в десяти километрах от Дома, у островка-поплавка с полукруглым обзором, супербиноклями и ресторанными столиками. Огромный даже издали красный волчок Дома казался единственным мазком волшебной кисти по густой синьке моря и неба.

— Нравится? — спросила стоявшая рядом стюардесса и в ответ на восхищенный вздох Майка продолжала: — Каждый раз потрясает. А смотрю уже в сотый.

— По-моему, островок не так мал. Шире Дома, — сказал Харди.

— Все это пристройки. Причалы и морской вокзал. Искусственно расширенная площадь.

— А основание Дома?

— Сто пятьдесят метров в диаметре. Такова же и вышка. А посредине — около двух километров. Зеленые полосы видите?

— Серые.

— Так это издали. А вблизи все это зеленые насаждения. Лесопарковые галереи-кольца. Чем выше, тем шире. Я была — невероятно!

Восхищение ее казалось неподдельным, но Майк знал: реклама Дома входила в обязанности каждого сотрудника «Хаус Оушен-компани», и потому промолчал. Смотреть на далекий красный волчок, казалось, соединяющий небо и океан, было приятнее, чем слушать рекламную воркотню стюардессы-экскурсовода.

— Он кажется совсем неподвижным, — все же заметил он.

— Только издалека. Будем подъезжать — увидите, как крутится эта игрушка.

Последние десять километров они прошли со скоростью обычного торпедного катера. И с каждым оставшимся позади отрезком пути громадина становилась все больше, заслоняя небо и солнце. Сейчас гулливеров волчок уже не восхищал, а пугал, подавляя своими размерами и почти беззвучным кружением. Сходство с волчком еще более усилилось — ведь любой детский волчок бесшумен, пока не иссякнет энергия вращения. А эта энергия не иссякала, сохраняя один и тот же неизменный ритм, точь-в-точь включенная в розетку бесшумная электробритва. Краулер на искусственном покатом причале, ожидавший старта, казался коричневым жучком под красным парасолем художника. Да и красный цвет его вблизи выглядел блестяще-багровым, как еще не высохшая кровь.

Краулер, высадив больше половины пассажиров, ушел к берегам Америки, а Майк с двумя чемоданами — в одном нехитрый скарб холостяка, в другом инструменты и приборы ученого-электронщика — растерянно проследовал, увлекаемый пассажирским потоком, в неширокий проход к бегущей вниз лестнице, похожей на входы в метро и так же уводящей под землю.

Тут его и встретил мужчина — его одноклассник по внешнему виду, — сероглазый и рыжий, с еле заметными следами веснушек на упрямо сохраняющем мальчишеский облик лице. Одет он был по-домашнему — в черном свитере без пиджака и мягких туфлях на поролоне.

— Так удобнее, — усмехнулся он в ответ, заметив взгляд Майка, и официально холодным тоном спросил: — Мистер Харди?

— Да.

— Ваш коллега по Дому. Джонни О'Лири, диспетчер транспортных линий.

— О'Лири? — переспросил Майк. — Ирландец?

— Только по фамилии. Родился и вырос в Штатах. Сначала в Теннесси, потом в Восточном Мегалополисе, мистер Харди.

— Бросьте «мистер», Джонни. Просто Майк.

Рыжий сразу оттаял и уже совсем другим тоном спросил:

— Впервые в Доме?

— Угу.

— И туристом не побывал?

— Не пришлось.

— Тогда — глаза шире. Не слинял от любопытства.

Лестница вытянулась лентой и привела в большой круглый зал, отделанный цветным пластиком и нержавеющей сталью. Он замыкался вокруг такого же круглого, массивного и красного стояка с открытыми проходами внутрь. Именно здесь столкнулись два человеческих потока: прибывшие устремились к красным проходам, встречные — к широким дверям в стене, похожим на ворота скаковых конюшен.

— Спешат к тюбу, — пояснил Джонни, — за три минуты выплюнет тебя в Нью-Йорке или Филадельфии.

— Кто спешит? Жители Дома?

— Те, кто здесь не работает.

— А есть такие?

— Немного, но есть. Жители верхних уровней. Крупные дельцы, хозяева маклерских и адвокатских контор, акционеры банков. Наш брат без специального пропуска покинуть пределы Дома не может.

— Та-ак, — протянул Майк. — А куда эти проходы ведут?

— К лифтам. Это основание конструкции Дома.

— Почему же оно не вращается?

— Вращается только надводная внешняя оболочка.

— Зачем?

— Вращение по принципу ионкрафта создает ионизированный поток воздуха, своеобразный «электрический ветер», отбрасывающий атмосферные воздушные потоки. Поэтому Дому не страшны никакие тайфуны и бури.

— Переход от стабильной к движущейся части обеспечивают эскалаторы?

— Конечно. Семь лент, покрашенных в цвета спектра. Кстати, так же покрашены и двери лифтов. Семь цветов — семь скоростей от непрерывной лифтовой ленты до лифтов-экспрессов и лифтов-«мгновенников». «Мгновенники» доставят тебя действительно мгновенно в любую часть Дома — вертикальное движение на требуемом уровне сменяется горизонтальным, и ты на месте.

— Так и пешком ходить разучишься.

— Не разучишься. «Мгновенниками» пользуются только в

исключительных случаях. А пешеходных дистанций сколько угодно — хоть два часа ходи. Самый дешевый способ.

— Разве лифты оплачиваются?

— Конечно. Специальные компьютеры высчитывают число поездок, определяют стоимость и зачисляют в твою графу расходов.

— Расчетливо, — скривился Майк и переменял тему: — А сейчас куда?

— К тебе. На триста семидесятый. Уровень — экстра-класс. Парк больше нью-йоркского. А этажом ниже — твой департамент; шагай пешком, лифта не нужно. Кстати, учти: «мгновенником» не поедem — спешить некуда, а баловство дорогое. Поедem на сплошной ленте: посмотришь, по крайней мере, все транспортные связки. И не забывай, что король транспорта — я.

Прошли галереей лифтов, широкую, как городская улица, и пестревшую расцвеченными по спектру дверьми. Выбрали синий.

— Скорость так себе, — пояснил Джонни, — зато все увидишь: шахта прозрачная.

Лифт не то чтобы медленно, но и не очень быстро пополз вверх сквозь высокие — метров до четырех — этажи. Синева двери поблекла и приобрела прозрачность стекла, позволяя увидеть то уголок большого конференц-зала, то магазина, похожего на суперрынки больших городов, то автоматического машинного цеха без единого человека, но со множеством белых, далеко отстоящих друг от друга дверей («Квартиры», — шепнул Джонни), и коридоры с цветными дверями («Горизонтальные лифты: видишь — половина черная, половина цветная»), и даже настоящий лес с высокими кленами и сосняком («Целых три уровня — дивись, друг!»), незнакомым подлеском и дорожками, припудренными красноватым песком. А лифт все шел: триста семидесятый этаж — целое путешествие. По пути увидели и футбольное поле с довольно высокими трибунами («Тысяч на сорок», — подсказал Джонни), и бассейн с песчаными пляжами под полосатыми тентами от солнца («Искусственного, должно быть», — подумал Майк) и загорелыми купальщиками в плавках и бикини. Наконец лифт затормозил, дверь засинела и раздвинулась, выпустив их на неширокую улицу с ярко освещенными витринами магазинов. Майк тотчас же подметил, что довольно малочисленные прохожие если и заходили в магазин, то на витрины не заглядывались, как это обычно бывает в фешенебельных кварталах больших городов, где покупатели обычно ездят на автомобилях, а пешком прогуливаются, чтобы поглазеть на витринные выставки. Здесь ездили на лифтах, а пешком ходили только для моциона, мысленно отметил Майк, пройдя пятидесятиметровую улицу и свернув в переулок, напоминающий коридор на океанском лайнере.

Одну из дверей его рыжий спутник открыл без ключа, набором цифр на панели, и тут же сбил рычагом цифровой пропуск: «Сам придумаешь». Тем и закончилось вознесение Майка в его трехкомнатный рай на триста семидесятом уровне.

— Почему, кстати, уровне? — спросил он.

— Первая заповедь доминиканца: избегать шаблонов. А ты теперь доминиканец.

— Не понимаю.

— Всех, кто служит Доминику Лабарду на высшем уровне, именуют доминиканцами.

— Моего шефа у Притчардсов звали Тамплом, но тамплиером¹ я не был.

Джонни прикрыл рукой рот Майка и шепнул еле слышно:

— Тсс!.. Ни слова больше, следуй за мной! — и громко добавил: — Все, кто подчинен Доминику Лабарду, влюблен в него безоговорочно. Ты тоже влюбишься.

И, подмигнув Майку: молчи, мол, увел его в ванную с бассейном из черного мрамора, автоматическим аппаратом для массажа, душами и сушилкой. Он тут же открыл все краны, и ванная наполнилась ревом Ниагары.

— Теперь можно говорить, не рискуя, — тихо произнес он, присаживаясь на черный пластиковый табурет. — Кроме шума воды, никто ничего не услышит. А то все и везде здесь прослушивается.

— Микрофоны?

— Микротелепередатчики. И черт знает, где они вмонтированы. Никто не находит. Должно быть, в стенах: те звуко-сверхпроводимы. Если лет тридцать назад только подслушивали на расстоянии и в любой среде, то теперь научились и подглядывать. Микротелепередатчик зафиксировывает каждый твой шаг, слово, жест и даже выражение лица. Тебе, электронщику, лучше знать, как это делается. Даже оставаясь один, ты не можешь быть уверен, что ты в одиночестве, а не под наблюдением парочки скачующих «астрономов».

— Невероятно! — шепотом удивлялся Майк. — Ведь электронное подслушивание запрещено ООН еще в восьмидесятых годах. Микрофоны и микросъемки исключены даже из методов судебного разбирательства.

— Ты не в ООН и даже не в Штатах. Ты в частном владении. И запомни: рассчитывай каждый свой шаг и взвешивай каждое слово. Ты птичка в роскошной клетке. У тебя работа — не бей лежачего и княжеский гонорар. У тебя ванна — мечта голливудской звезды и лаборатория — рай электронщика, а каждая из сотни кнопочек в столовой и спальне молчаливо

¹ Доминиканцы и тамплиеры — монашеские ордена у католиков.

взывает: жми, жми, жми! Нажмешь — и приемлешь все дары электронных данайцев, от слизывающей бритвы «Нежность» до ирландского рагу в чесночном соусе. Кстати, учти: с трехсотого этажа и выше — никакой химии. Все натуральное — и виски, и русская икра. А делать, говорить и думать будешь только по мановению указующего перста папы Доминика. Кроме «папы», впрочем, есть еще и «кардинал» с не менее колоритным именем — Лойола. Правда, не Игнаций, а Педро, но служителей его именуют, как и положено, «иезуитами». Их трудно отличить от всех прочих, потому что рясы они не носят, а служебный жетон прячут за лацканом. Но будь уверен, что кто-нибудь сейчас прильнул к экрану и удивляется, что это мы так долго делаем в ванной.

И, подхватив совсем уже растерявшегося Майка под руку, Джонни вывел его в квартиру со словами, рассчитанными не на микрофон, а на рупор:

— Суперкомфорт, милок. Быт цезарей. Не мытье, а нега в магометанском раю, только без гурий. Впрочем, гурии тоже будут — увидишь, а мне пора.

Он тихо выскользнул в коридор, еще раз подмигнув на прощание, а Майк, обалдевший от полученной информации, растерянный и непонимающий, не потянулся ни к одной кнопочке, а плюхнулся на диван и уже не вслух, а про себя отчаянно выдохнул:

«Влип!»

3. «Я ХОЧУ ЖИТЬ!»

Утром он попробовал кнопки. Все сработало. И выстиранное, отутюженное белье, положенное накануне в белый пластмассовый ящик, и вкусный завтрак, и рюмка коньяку для бодрости. Автоматический механизм сменил и старые полуботинки на новые, более современные и изящные, из натуральной кожи. «Никаких заменителей» — видимо, такова была программа здешней потребительской автоматики. Но Майку вспомнились и слова Джонни о том, что с трехсотых этажей никакой химии. А до трехсотых? Что предлагала автоматика там?

Надо было спешить в диспетчерскую, но Майк не воспользовался «мгновенником» у себя в холле — обычная лифтовая кабина на двух человек, кнопочная панель с цифровым набором, нержавейка и пластик. Он пошел пешком — надо же соблюдать «пешеходную дистанцию». На этот раз она привела по коридору к мраморной лестнице, застланной иранским ковром, спустила на этаж ниже и вывела на диспетчерскую — анфиладу холлов с раздвижными дверями разного цвета. У дис-

петчерской Майка был голубой с синим номером 36 и фамилией в металлической рамке. Место фамилии было пусто: его предшественник уже снял свою. Кстати, Майк так и не узнал ее и чувствовал себя неловко, пройдя автоматически пропустившую его дверь. Но встретивший его за ней широкоплечий американец с каменно-неподвижным, точно вырубленным из розового туфа лицом, холодно пришел ему на помощь.

— Роджер,— представился он.— Входите, не стеснясь, мистер Харди. Давно жду. И нетерпеливо.

— Почему нетерпеливо? — переспросил Харди.

— Долгий разговор,— отмахнулся Роджер.— Может быть, мы и вернемся к нему, а может, и нет. Сейчас же принимайте хозяйство.

Майк осмотрел большой зал, не очень высокий — метра четыре-пять, не больше — с невидимым, но достаточно сильным источником света, дневного, как и всюду. По стенам тянулись блоки компьютеров со входными и выходными каналами, перфорационными лентами, вспыхивающими и потухающими глазками различных цветов, огромными, средними и совсем крохотными экранами с непрекращавшимся движением зубчатых и волнистых, тоже цветных линий и скользящими вдоль стен платформами управления. Все это было уже знакомо, предстояло лишь разобраться, как говорится, что к чему, где видеофонная и телевизионная связи, где лучевая, где блокирующая автоматика и контрольные пункты. Вскоре Майк с помощью Роджера установил все без труда, но и без энтузиазма.

Роджер сразу это заметил. Его каменное лицо чуть оживилось улыбкой, насмешливой, но все же улыбкой.

— Первый раз вижу новоиспеченного доминиканца с такой кислой рожей.

Майк равнодушно пожал плечами:

— Я конструктор, а не регулировщик.

— Пленились гонораром?

— Отчасти. Да и выхода у меня не было. Они же купили Притчадсов.

— У меня тот же случай. Купили «Чикаго электроникс», а заодно и меня.

— Пять лет назад?

— Три.

— Платите неустойку? — удивился Майк.

— Получил наследство, вот и плачу. И если бы вы знали, с каким удовольствием! Впрочем, погодите, не спрашивайте.— Он извлек из кармана какой-то микроприбор и взглянул на стрелку крохотного циферблата: она не двигалась.— Не подслушивают,— удовлетворенно заметил он.— Правда, я поставил условие, чтобы убрали все микрофоны из диспетчерской. Но кто

их знает? Ухожу почти со скандалом. С неустойкой! Первый случай в их практике. Насилу уговорили, чтоб вас подождал.

— Неужели так плохо?

— Хотите виски? — вместо ответа спросил Роджер, кивнув на бар у стола. — Приют алкоголика, — усмехнулся он, наполняя бокалы. — И вы станете через год таким же. Все зависит...

— От чего?

— От процента человеческого достоинства. Если оно у вас есть.

— Я уже кое-что слышал и, честно говоря, услышанное не вдохновляет.

— От кого слышали?

— Неважно.

Каменный Роджер снова засветился улыбкой, на этот раз совсем не насмешливой.

— Хвалю. Вы, кажется, стоите того, чтобы вам открыли глаза.

— На что?

— На седьмое чудо уходящего века. С душком чудо. Смердит.

— Чем?

— Всем. А главное — парадокс обеспеченности и унижения. Обеспеченность максимальная, жизненный уровень выше, чем в Штатах, и платят в два раза больше, и в три раза — чем в Европе. Нет ни забастовок, ни трудовых конфликтов и профсоюзов нет, так что и пожаловаться все равно некому. Развлечения дешевле выпивки — стриптиз-бильярдные, бары и кино на всех этажах. Телевизоры принимают все программы Мегалополиса. А через каждые десять этажей — стадион или ринг, все виды спорта, от коньков на искусственном льду до тенниса на травяных кортах. Хотите билеты на матч века между тяжеловесом Дома Клайдом Биггерсом и чемпионом Восточного побережья Штатов Джимми Мердоком — нажмите кнопку под титром ФД. А здешние ЭВМ подсчитывают не только плату за телесвязь и видеофонную трепотню, но и за каждый ваш жест, подлежащий оплате. За кнопочные завтраки и души Шарко, за свежее мыло в ванной и пьяное изобилие в ресторации за углом. А когда наступит день получки, сумма вычетов может свести ее до нуля. И пойдет жизнь взаймы, в неоплаченном долгу у «Хаус Оушен-компани», потому что кнопочные радости стоят не дешево. А цены на квартиры, в особенности на верхних этажах, так высоки, что оплачивать их могут только миллионеры. И представьте — платят. Работают в своих банках, маклерских конторах или адвокатских офисах в Нью-Йорке и Вашингтоне и ездят сюда на уик-энд — еще бы: Хаус, седьмое чудо, океанский простор и парки, повисшие над пенистой пропастью.

— Много платят — дорого берут. Закономерно, — пожал плечами Майк. — Где ж унижение?

— А то, что вы никогда не остаетесь один. То, что каждое ваше слово фиксируется и записывается, потом производится соответствующая селекция и составляется досье, полностью определяющее ваш духовный портрет. С неподходящими контр-акта не возобновят, критиканов уберут с соответствующим иском, который адвокаты Дома всегда выиграют. Существуют и местные наказания: «иезуиты» чрезвычайно изобретательны. Кстати, возьмите вот этот приборчик. Когда захотите поговорить откровенно, проверьте: движется стрелка — значит, подслушивают.

— Зачем им это? — недоумевал Майк. — Ведь сюда же приходят добровольно.

— Но добровольно не уходят. Долг погашается отработкой в кредит. В идеальном «обществе потребления» Дома кредит доведен до магии. Он — кнут и пряник. На верхних этажах равняет с миллионерами из Майями, на нижних этажах закабальет, как бессрочное долговое обязательство.

— Ад и рай, — улыбнулся Майк.

— Не смейтесь. Только рай — как в театре с партером и галеркой. На нижних, «производственных» этажах, где находятся все промышленные предприятия Дома, — то же кнопочное, только уцененное изобилие. Жратва — химия, выпивка — пойло, развлечения — верблужьи радости.

— А если бунт?

— Какой? Забастовка? Рабочая аристократия не бастует.

— Пассивное сопротивление. Никудышная работа, например. Пусть увольняют.

— Кому выгодно увольнение с судебным иском. К тому же каждый работник Дома — его акционер и заинтересован в росте прибылей. А никудышную работу изобличит машина.

— Можно же найти какую-то форму протеста?

— Нельзя. Вы всегда будете в проигрыше. Почта перлюстрируется. Видеофонная связь только в пределах Дома. Отпуска запрещены — это оговорено в контрактах. Тюб закрыт. Ни один краулер не возьмет на борт работника Дома. А будете надоедать, с вами может случиться несчастье. Здесь есть и крематорий для таких неудачников.

Майк помолчал, подумал и сдался.

— Действительно — магия.

— И самая черная. Со своими «тайнами мадридского двора». Я как-то попробовал вычислить на машине, где и по каким признакам распределяется трехмиллионное население Дома. Оказывается, два миллиона восьмьсот тысяч с лишним работают в системе его предприятий, промышленных и торговых. Более полутораста тысяч — в Штатах или вообще нигде, толь-

ко живут здесь, как на курорте. Что делают остальные несколько тысяч жителей Дома, компьютер не знал: не было входных данных, никакой, по существу, информации. Спрашивается, где же они работают, если не покидают пределов Дома, и куда исчезают с восьми утра до шести вечера?

— А вы не обращались с таким вопросом к шефу «доминиканцев»?

— Я хочу жить.

Лицо Роджера давно уже утратило свою неподвижность, губы дергались, зубы то стискивались до судороги в челюстях, то нижняя челюсть бессильно отваливалась. Он выпил, не разбавляя, еще бокал виски и тихо закончил:

— Я потому и удираю отсюда, что проник в эту тайну. Они не тронут меня, если я буду молчать. Поэтому не спрашивайте меня ни о чем. Считайте, что разговора не было.

В наступившей тишине вдруг щелкнула входная дверь, и низкий женский голос спросил больше по привычке, чем по существу: «Можно?» Дверь тут же открылась, пропустив милостливую девушку, больше похожую на итальянку или испанку, чем на американку из северо-восточной группы Штатов — ни безукоризненной прически, ни косметически оформленного лица, ни спортивной спины, как у девушек из колледжа. Стриженная по-мальчишески голова, пряди черных волос заложены за уши, не подкрашенные глаза и губы, и только большие темно-синие, как сливы, глаза заставляли вас обратить внимание на это лицо. Майк не был исключением. Внимание он обратил сразу и замер на полуслове.

— Вы уезжаете, Роджер? Завтра, да? — спросила она, даже не взглянув на Майка, словно его и не было рядом.

— Увы, — вздохнул Роджер.

— Сдались? Еще один струсивший гладиатор.

— Сдался. Красс сильнее. А Спартак у нас нет. Может быть, он? — Роджер искоса и с улыбкой взглянул на Майка и сказал: — Познакомьтесь, Полетта. Мой сменщик Майк Харди, и, кажется, стоящий парень. Я в людях редко ошибаюсь, вы знаете.

— Полетта Лабард, — сказала девушка, глядя неподвижно и строго.

— Лабард? — удивился Майк. — Однофамилица?..

— Не однофамилица, а приемная дочь, — перебил Роджер, — и учтите, Харди: она хотя и личный секретарь своего приемного папочки, но отнюдь не разделяет его взглядов на Дом и, пожалуй, на жизнь. И еще одно учтите: папочка пока не знает, с кем дружит и кому помогает его приемная дочь. Несмотря на все микрофоны.

— Их нет только у отца и Лойолы, — сказала Полетта.

— Гений с причудами, — добавил Роджер. — Зовут его До-

миник — он придумал «доминиканцев», нашел Лойолу — создал «иезуитов». А это — четыреста пятьдесят шерифов и тысячи тайных и явных агентов, утверждающих власть магистра. И всех влюбил в себя — от Лойолы до Грэгга с Хенесси.

— Не влюбитесь и вы, — пригрозила Майку Полетта. — У Доминика огромное обаяние ума и таланта. Кстати, вы сегодня же и познакомитесь с ним на проводах Роджера. Официально вас приглашаю. Четырехсотый этаж, внешний парковый ресторан. Любой информаций выведет. Будете?

— Сочту за честь, — сказал Майк.

4. МАГИСТР ОРДЕНА «ДОМИНИКАНЦЕВ»

В семь вечера Майк в белом смокинге, как это было принято на курортных приемах, воспользовался «мгновенником», и через полторы-две секунды неизвестно откуда возникшая воздушная волна мягко вытолкнула его из клетки лифта на внешний перрон четырехсотого этажа. Мимо него с возрастающей скоростью двигались одна за другой семь эскалаторных кольцевых дорожек шириной в три метра каждая. Все кольца до последнего паркового, двигавшегося уже вместе с внешней оболочкой Дома, были выкрашены, как и клетки лифтов, в последовательные тона спектра, от фиолетового до красного. На парковом вас встречал газон, переходящий в кустарник, а затем, как на лесной опушке, в рассыпной строй деревьев разных видов. Каштан соседствовал с белой акацией, а магнолия — с североморской сосной. Быстрота движения здесь совсем не ощущалась, настолько гладким и плавным было скольжение этой стометровой в поперечнике, удивительной по красоте лесного ансамбля внешней парковой полосы.

На перроне и движущихся кольцевых дорожках было довольно много народу. Поражало только отсутствие пожилых и детей, обычно преобладающих в лондонских парках. Здесь же преобладали тридцати- и сорокалетние, едва ли старше. Должно быть, шли на вечернюю прогулку парочками и группами поглазеть с высоты двух километров на океанский простор или поужинать в ресторанах и барах, растянувшихся кругом по внешней опушке леса.

Дорогу Майк не искал. Уже первый попавшийся информационный киоск-автомат указал ее мелодичным, записанным на магнитную пленку голосом. Пешеходная дистанция и тут не оказалась слишком утомительным терренкуром. Ресторан под туго натянутой полимерной пленкой раскинулся совсем близко, прямо на траве среди цветников и кустарников, а кроны деревьев опускались над столами, днем даруя спасительную

тень от субтропического солнца, а вечером — неяркий рассеянный свет от скрытых в их зелени электрических лампочек. «Умеют работать и жить», — восхитился Майк, забыв о предупреждениях Джонни и Роджера. Они оба в таких же, как и у него, белых смокингах ничем не напоминали утренних мизантропов. Сидели за столом у края кольца над двумя километрами пропасти, отделенные от нее лишь тонкой прозрачной пленкой, которую, однако, не пробил бы даже средний артиллерийский снаряд, а широкая лента можжевельника и травы столь же надежно отделяла их от соседних столов, создавая иллюзию вечернего пикника на лесной лужайке.

— Майк Харди, — представил его Роджер, и все, кроме Полетты, встали, церемонно склонив головы в знак уважительного внимания.

«Грэгг», «Лабард», «Фрэнк», — услышал в ответ Майк.

— Ну, вот и опять встретились, старина, — небрежно откликнулся Джонни.

Полетта только подняла и опустила ресницы, а одутловатый человек в морском кителе с золотыми нашивками ничего не произнес, не взглянул даже, а просто встал, поклонился и сел, прислушиваясь к происходящему.

— Я особенно рад, что на этот раз к нам прибыл «доминиканец» из Англии, — сказал Лабард. — Скоро весь мир будет представлен в элите нашего Дома.

За столом он был бесспорно самым заметным и примечательным. И внешне — в белом фраке и лиловом жилете, с давно вышедшими из моды волосами до плеч, и внутренне — с гипнотическим взглядом немигающих глаз, повелительными интонациями баритонального голоса и темной, тяжелой силой каждого сказанного слова. Все в нем привлекало сразу, покоряло и притягивало, подавляя сопротивление. В свои пятьдесят лет он казался еще совсем молодым, полным сил, готовых развернуться, как сжатая стальная пружина. Остальные невольно отступали перед ним, как бы уходя в тень. Педро Лойола, натурализовавшийся мексиканец с животом-мешком, выпирающим из-под бортов его псевдоморского кителя, с действительным или показным безразличием молча посасывал ледяной кофе с мороженым.

Фрэнк, родной брат Полетты и, кстати, очень на нее похожий, оказался коллегой Майка — управляющим блоком химической автоматики. «Король нашей химии», — представил его Лабард, безраздельно владевший разговором. Даже Грэгг, суховатый владелец контрольного пакета акций «Хаус Оушен-компани» и фактический босс Лабарда, ни разу не перебил его.

— Вернемся к Роджеру, — говорил Лабард. — Я все-таки не понимаю, почему вы расторгаете контракт. Мы нарушили его?

Нет. Вас обсчитывали? Тоже нет. Вы имели здесь больше, чем любой равный вам инженер на континенте.

— Вы же знаете,— поморщился Роджер,— наследство позволяет мне создать собственную лабораторию в Штатах.

— А разве здесь у вас ее нет?

— Трудно сообразить что-либо путное после дежурства в диспетчерской.

— Вы цените деньги, Роджер. Ваш счет у нас чист: ни цента долгу. И вы с легким сердцем выплачиваете нам прожиточный минимум остальных лет. Двух лет. Где же логика?

— Логика в свободе капитала, Лабард,— неожиданно вмешался Грэгг.— Насколько мне известно, сумма наследства Роджера вполне позволяет ему рискнуть неустойкой.

— Не верю,— встряхнул длинными волосами Доминик.— Это не свобода капитала и не свобода времени. Это освобождение от нашего общества. Вы не любите Дом, Роджер.

— Что подтверждают и мои данные,— как бы вскользь, никому не глядя в глаза, бросил Лойола.

«Вы правы: не люблю,— хотелось крикнуть Роджеру,— и жажду свободы. От страха, от сыска, от невидимого и неслышимого насилия». Но он промолчал. Лабард знал, что говорит.

И тут подняла ресницы Полетта:

— А за что ему любить Дом, Доминик? За электронные развлечения Лойолы? За свободу его «иезуитов» открывать наши комнаты и рыться в наших бумагах? О какой свободе идет речь? Я не могу без специального разрешения воспользоваться ни краулером, ни тубом. Это я. А Роджер? А Джонни? А Майк? Не рассчитывайте, Майк, на морские прогулки и летние отпуска. Здесь не заинтересованы в свободе ваших передвижений.

Доминик Лабард побледнел, замер, машинально согнул серебряную вилку, но сдержался.

— Не знал. Моя дочь переходит в оппозицию.

— Две неправды,— откликнулась Полетта.— Первая: я помогаю, а не мешаю вам. Как секретарь я бы удовлетворила даже Лойолу. И вторая: я не ваша дочь.

— Приемная, Полетта. Но что это меняет? Я вырастил тебя, как родную дочь.

— Котенка тоже можно вырастить, Доминик.

— Полетта права,— поддержал сестру Фрэнк.— Вырастить и воспитать еще не значит отнять право мыслить по-своему.

Семейный спор, думал Майк. А пожалуй, это не только спор, но и расхождение во взглядах, скрытая, но уже обнаруживающая себя враждебность. Ведь Полетта не случайно дружит с Роджером, а отношение Роджера к Дому уже известно. И Джонни хотя и молчит, только губами поводит, слов-

но резинку жует, но явно сочувствует и Полетте и Фрэнку. Значит, в Доме действительно есть оппозиция его главе и создателю, и Доминик, вероятно, об этом догадывается, а Лойола наверняка знает. Тогда Лабард должен дать бой своим скрытым противникам, дать бой именно сейчас, чтобы завоевать Майка, потому что именно сейчас Майк должен решить, примкнуть ли ему к оппозиции или остаться нейтральным. Ведь пять лет впереди уже отнял контракт, а у него нет наследства, чтобы выплатить неустойку, а может быть, сейчас Лабард преодолевает его сомнения.

И Доминик, словно прочитав мысли Харди, повел наступление, как адвокат, убежденный в правоте подсудимого, расчетливо и вдохновенно.

— Не любить Дом нельзя. Все, что о нем писали как о чуде,— правда, и я не стыжусь напомнить об этом. Я убежден, что это и вершина демографической мысли. Вообразите себе моря и океаны мира, застроенные тысячами таких домов. Островов хватит. Бермуды, Багамы, Гавайские, Соломоновы — мало ли их? А ведь такому дому-городу нужна только скала размером не больше футбольного поля. Все население Земли можно будет разместить в этих океанских волчках — пять, десять, двадцать пять миллиардов. Не страшен никакой демографический взрыв, никакая перенаселенность. На Земле останутся — я имею в виду сушу — только опустевшие города-музеи, свидетельство прошлого нашей цивилизации, охотничий рай лесов и поля — сельскохозяйственная кухня планеты. Воскреснут изобилие викторианских житниц, романтика древних странствий по миру и цветущая прелесть природы, не тронутой человеком. Давайте, Грэгг, строить такие дома по всем архипелагам мира. Вкладываемые в них свои миллиарды — выручите триллионы. Станете вместе с Хенесси властителями единого мира!

— А кто объединит этот мир, Доминик? — тихо спросил Грэгг, отхлебнув разведенный виски из бокала со льдом. — Кто объединит наши страны и нации, перекроит их экономику, сплавит политику и перелизует быт? Социалистическая система? Едва ли это устроит нас с вами. ООН? Что-то не верится. Мировая война?

— А вдруг?

— Тогда мы назначим вас фельдмаршалом, — засмеялся Грэгг. — Вы неисправимый мечтатель, Доминик. Прямой поток ламанчского рыцаря. Живой анахронизм. Нет, мой друг, имеется другой, куда более реальный проект.

— Какой?

— Дом станет еще одним американским штатом. В ближайшие месяцы мы попробуем войти с этим предложением в сенат. Прямая выгода для Дома и для государства. Дом стано-

вится административной государственной единицей, а государство приобретает выдвинутую далеко в океан мощную оборонную базу. Ну, а мои миллиарды, Доминик, право, реальнее и прочнее ваших триллионов.

Сжатые губы Лабарда чуть-чуть скривились. В усмешке? Не к месту. Но Майку все же показалось, что он смеется, беззвучно, одними глазами, но смеется откровенно и не стесняясь.

— Штат? — повторил он. — Это мало. Очень, очень мало для Дома — только один штат.

Он поднялся и, не прощаясь, пошел к выходу — высокий, длинноволосый, в белом фраке, точь-в-точь дирижер симфонического оркестра где-нибудь во Флориде.

5. ИЗ ДНЕВНИКА МАЙКА ХАРДИ

Первая запись

В ноябре, на пятый месяц моего пребывания в Доме, я начал вести дневник. Не часто и не регулярно, потому что времени было мало, да и дело это не легкое. Пишу не на бумаге, которую можно прочесть и которую негде спрятать, а на магнитной нитке, тонкой, как шелковинка, и прочной, как нейлоновый шнур. Для сохранности и безопасности наматываю ее на пуговицы своего двубортного пиджака — никакая «иезуитская» слежка не обнаружит. Пока закончил две записи, третью начал и ночами в уборной прослушиваю их на крохотном магнитофоне, вмонтированном в старый агатовый перстень. Раньше он без дела валялся — забавная поделка, а теперь ношу его, не снимая. Агат отвертывается, нитка закладывается в отверстие, и, приложив к уху, можно отчетливо слушать запись.

Поначалу я подробно рассказал о Доме, о его кнопочной роскоши и неограниченном потреблении, о лифтовых экскурсиях по этажам-уровням и прогулках по «улицам» с искусственным видом на океан, о сверхрынках и универмагах-гигантах, где можно приобрести в кредит все, что жадно ухватит глаз, от пачки сигарет до миниатюрной пластинки, исполняющей целую оперу или симфонию на проигрывателе, втиснутом в зажигалку или пудреницу. Казалось, капитализм создал здесь модель идеальной стадии «постиндустриального общества потребления», но я, даже не будучи ни коммунистом, ни просто знатоком и почитателем Маркса, все же разглядел, что разрекламированная золотая цепь уже на изломе. В дни получек редкие «акционеры» Дома — а мы все считались таковыми, получая годовичные премии в несколько акций на брата, — радовались двум нулям на листке своего текущего счета. Первый — в графе дневной разницы между прожитой и заработанной

суммой, второй — в графе месячной или годичной задолженности. Неизменная тенденция ее роста в конце концов превращала пятилетний контракт в семи- или восьми-, а то и десятилетний, а «преуспевший» таким образом акционер «Хаус Оушен-компани» мог купить себе свободу лишь ценою приобретенных акций, да и то, если задолженность не превышала их суммы.

Любопытно, однако, что на нижних этажах — в цехах, мастерских, лабораториях и офисах Дома — почти никто и не жаловался на его порядок. Молодые, здоровые парни, завербованные во всех странах, у себя на родине считались редкими и высокооплачиваемыми специалистами. Здесь же неограниченное потребление и королевские траты превращали их в лунатиков, бредущих с закрытыми глазами по карнизу американского небоскреба. В личные карточки текущего счета они даже и не заглядывали. Зачем? Ведь общество здесь предоставляет им жизнь взаймы по образу и подобию миллионеров, пока они не постарели. А перспектива одинокой голодной старости мало кого тревожит в тридцать или сорок лет. Кто похитрее, сколотит все-таки капитал, но хитрых не так уж много в трехмиллионном обществе Дома, а если они и находятся, то могут смело украшать обложки журналов, как живая реклама «постиндустриальной» идиллии Дома.

С обитателями его верхних этажей, за исключением друзей и связанных со мной по работе лиц, я почти не общался. Миллионеры и мультимиллионеры жили обособленно, позволяя своим банкирам оплачивать любую задолженность. А потребление здесь на трехсотых и четырехсотых уровнях стоило много дороже, чем на любом мировом курорте, за исключением плавающего острова Майями Флай-айленд. Конечно, как и во всяком богатом городе, этот суетный, праздный сброд был смешан и перетасован, как карты в колоде, где рядом с финансовым тузом ловчил в баккара мелкий червонный валет. С некоторыми из них был знаком и я, чокался в барах, обменивался визитными карточками, курил свои или чужие сигары. Но ни один из них даже издали не подвел меня к тайне, которая заставляла бежать Роджера.

Именно сейчас я и включаю свой потаенный магнитофон, еще и еще раз вслушиваясь в слова дневника. Не ошибся ли я, не пропустил ли чего-нибудь, не усмотрел ли в чьих-то словах какого-нибудь хоть и далекого, но важного для меня намека. Оппозиция? Да нет же здесь никакой оппозиции. Есть несколько горячих голов, возмущенных диктаторскими замашками Доминика Лабарда и электронным сыском Лойолы. Они искренне встают против материального благополучия человека, если оно приводит к морально-этическому бесправию. Но ни один из них не знает рецепта, как исправить это унизи-

тельное положение, и каждый по-своему относится. Для Фрэнка и Полетты это всего лишь результат болезненно растущего пагубного властолюбия их приемного отца. Даже Джонни относится к нему с философским равнодушием: меня лично это не задает, стерплю, погашу задолженность и нищим, как приехал, уеду. Роджер в такой же ситуации сбежал еще раньше. Но он знал больше всех и — главное — знал тайну, так смертельно его напугавшую. Вот брошенную им перчатку и поднял я, твердо решив, что пяти лет достаточно, чтобы раскрыть карты властителей Дома и сыграть с ними в свою игру. В такой игре могут участвовать и газеты, всегда падкие на сенсацию, и общественность, которую иногда можно разбудить от спячки.

Автоматическому сыску Лойолы я противопоставил свой, индивидуальный, прибегнув так же, как и он, к электронике. Обнаружив, что мой крохотный, вмонтированный в корпус ручных часов телевизор полностью дезорганизует прием микротелепередатчиков, я подарил его Лойоле, который обрадовался ему, как ребенок новой игрушке. Взамен я получил «иезуитский» значок-пропуск, который облегчал мне пешеходные и лифтовые экскурсии по Дому. Все микрофоны в лаборатории я подавил с легкостью, не опасаясь агентов Лойолы.

Дня через два он меня спросил:

— Это ваш ручной телевизор подшучивает над микротелепередатчиками?

— Конечно, — признался я невинно. — Я уже сконструировал еще один.

— Примем к сведению. — Лойола сморщился, как надувная кукла, из которой выпустили воздух. — Только больше никому не дарите, а то всюду, где появляюсь я, микротелепередатчики слепнут и глохнут.

Но свой телевизорчик я сконструировал иначе. Он мог работать и на другой волне, лучше, чем всякая микротелевизионная связь Лойолы, хотя и в том же дециметровом диапазоне, рассчитанном на пределы Дома. Помимо обычных телевизионных программ из Штатов, которые можно было принимать с помощью дополнительной приставки, мой телевизор-крошка принимал и сигналы двух микротелепередатчиков, которые я собирался тайком установить у Доминика и Лойолы.

Моя страсть к конструированию электронных микроагрегатов потихоньку превращалась в некую манию, хотя и вполне последовательную.

Фрэнк посмеивался:

— Ты становишься техническим гением сыска...

Смех смехом, конечно, но мой «технический гений» давал свои — и вполне пригодные к делу — плоды.

Я сконструировал еще два миниатюрных орудия: электронную отмычку, безотказно открывающую все виды замков, да-

же с цифровыми наборами, и электронный пистолет, бывший на двадцать метров крошечными ампулами с мгновенно усыпляющим газом, несколько миллиграммов которого полностью выводили человека из строя минимум на два часа. Газ мне достал наш «король химии» Фрэнк, он же отлил и «патроны» из тончайшего стекла, разлетающегося в порошок при ударе о любое препятствие. Пришлось сконструировать такой же пистолет и для Фрэнка.

Свой я вмонтировал в перстень, который, в отличие от магнитофона с агатом, носил уже на другой руке, причем вмонтировал очень хитро: при повороте камня вправо открывался стреляющий агрегат, а при повороте влево — диск лучевого видоискателя. То был крохотный план Дома, увеличенный с помощью миниатюрной лупы до трех сантиметров в диаметре, с красной точкой, скользящей во всех направлениях и позволяющей сразу установить, где находится лицо, с ней совмещенное. Этим лицом был Лойола, которому я незаметно, но прочно вклеил в шеврон позолоченную бисеринку. Она и управляла движением красной точки на видоискателе, показывая, куда шел Лойола и где он задерживался.

Четыре месяца работал я над своим электронным вооружением. В ноябре привел его в действие. Первый микротелепередатчик мы с Полеттой установили в кабинете Лабарда, находившегося в это время в Нью-Йорке. Не обошлось и без трудностей. Лабард был слишком искусным инженером, чтобы не обнаружить без выдумки установленный агрегат. Но мы придумали. Во-первых, он не нащупывался обычными средствами магнитного поиска, а во-вторых, в глазу бронзового Вольтера на книжной полке его не нашел бы сам Шерлок Холмс. Глаз высверлили и заделали так, что швы не просматривались и в лупу. А придя домой, я опробовал фокус: на экране моего ручного телевизора сразу же возникла улыбающаяся Полетта и часть стола с креслом Лабарда. «Ау,— засмеялась Полетта,— мы уже на крючке».

С Лойолой все оказалось сложнее: пришлось ждать, когда я ему понадоблюсь.

— Устрой миниаварию с выводом из строя телевизионных контактов,— предложил Джонни.— Сумеешь?

— А чинить он пригласит электронного Яго.

— Бальца?

— Может быть, Флетчера.

— Предоставим обоим Полетте и Фрэнку. Кто откажется от выпивки за чужой счет?

— Бальц непьющий.

— Зато он неравнодушен к Полетте.

И в один, как говорится, прекрасный день авария телекоммуникаций в кабинете Лойолы совпала с жестоким похмельем

Бальца и Флетчера. Я ждал видеофонного вызова. И дождался.

— Подымитесь ко мне, Харди. Что-то с контактами. Для вас это задачка из школьной практики.

Я поднялся с инструментом. Что-то вскрыл, что-то сдвинул, что-то нажал. Лойола не отходил от стола, видимо не рискуя оставить меня одного, хотя сейф был заперт сложнейшим электронным замком, а телеэкран закрыт наглухо замкнутой шторкой. Но, должно быть, что-то в кабинете Лойолы все же заставляло его держаться настороже.

Именно тогда и прожужжал зуммер видеофона. Заговор действовал: Лабард по настоянию Полетты вызывал Лойолу для срочной беседы. «А если по видеофону?» — нехотя протянул Лойола. «Не спорьте, Педро, — услышал я голос Лабарда, — тем более что вы не один». Молодец Полетта, все учла!

— Вам долго еще возиться? — недовольно спросил Лойола.

— Минут пять — десять самое большее.

— Закончите — уходите. Дверь за вами сама закроется.

Я остался один. Контакты соединил мгновенно. Нашел место для телепередатчика, вмонтировав его в раму портрета Лабарда, висевшего как раз напротив письменного стола. Прибор был настолько мал, что не прощупывался там ни рукой, ни зондом, а магнитный песок его обнаружить не мог. Затем я быстро, стараясь ничего не упустить из виду, обошел кабинет. Никаких секретов. Только две лифтовые двери у входа буквально пригвоздили меня к месту. Два «мгновенника». Почему два? У одного синяя дверь отличалась от своей соседки красной полоской у ручки. Зачем? Куда мог привести этот лифт? И не из-за него ли Лойола так не хотел оставить меня одного в кабинете? Я повернул камень перстня: красная точка остановилась в апартаментах Лабарда. Времени хватит, беседа шефа «иезуитов» с Домиником по милости Полетты займет не менее получаса. И я рискнул, хотя и понимал, что риск может стоить жизни.

Сначала нажал ручку двери с красной полоской. Дверь открылась легко и бесшумно. Обыкновенная лифтовая кабина для мгновенного продвижения по Дому. Рискнул войти — ничего страшного, все на месте. Никаких панелей и указателей, кроме красной стрелки вниз на пусковой кнопке. Дверь, как и у всех «мгновенников», автоматически закрылась. Оставалось только нажать кнопку. Я еще раз взглянул на застывшую на месте красную точку: значит, Лойола все еще сидел в кабинете Лабарда. Р-раз! И кнопка легко сдвинулась вглубь.

Лифт без толчка, мягко и плавно переместил меня куда-то. Автоматически открылась дверь, оставив кабину на месте, как и у всех «мгновенников». Значит, путь назад оставался открытым, если только лифт не вызовут до моего возвращения.

Я оглянулся: синий холл с белой одностворчатой дверью, по которой периодически пробежала огненно-красная надпись:

ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ КРАСНЫЙ ПРОПУСК!

Красного пропуска у меня не было — я даже не мог открыть двери, чтобы не нарваться на охранника. Вместо этого я только отдернул лацкан пиджака, открыв для обозрения бляшечку «иезуита». Я знал, что нахожусь под невидимым наблюдением с той секунды, как открылась лифтовая дверь. И не ошибся. Прозвучавший ниоткуда хриплый басок насмешливо спросил:

— Пропуск забыл? Сегодня — красные. Учти, чучело!

Ничего не оставалось, как немедленно ретироваться в кабину, кстати тут же закрывшуюся. На этот раз уже без нажима кнопки «мгновенник» доставил меня обратно с тем же комфортом. Я взглянул на красную точку в перстне: она медленно двигалась назад и вперед в миллиметровом диапазоне. Значит, Лойола расхаживал по кабинету Лабарда, в чем-то его убеждая. Порядок. Я тихо открыл дверь лифта и вышел из кабинета, чуть позвякивая инструментом в сумке. Секретаря у Лойолы не было, дверь его открывалась только для тех, кто предварительно сговаривался по видеофону. Поэтому, никем не замеченный, я спустился в лабораторию, тут же включив свой миниатюрный видеоскоп.

Я увидел Лабарда в кресле и стоящего перед ним Лойолу. Крохотный размер фигурок не мешал мне — я видел их такими, какими знал. Телевизор включился, когда Доминик уже заканчивал:

— Лучшее время — канун Нового года. Точнее, даже самый час встречи. Лучшее место — салон Грэга и Хенесси. Там мы их и замкнем со всей ярмаркой. Полный набор миллионов с Мегалополиса. А ты почему нервничаешь?

— Я оставил Харди одного в кабинете.

— Ну и что?

— А вдруг он обнаружит второй «мгновенник»?

— В крайнем случае спросит, зачем он тебе понадобился.

— Жаль потерять такого специалиста.

— Почему же его терять?

— А если он найдет спуск в преисподнюю?

— Харди достаточно умен, чтобы не лезть туда без разведки.

Наивный Доминик! Он преувеличивал мою осторожность. Впрочем, он тут же набрал требуемый номер на панели видеофона. Я не видел экрана, но услышал чуть приглушенный двойным контактом молодой голос:

— Я вас слушаю, сэр.

— Кто-нибудь сейчас спускался по лифту «А»?

— Я только сейчас сменил дежурного, сэр. При мне никаких происшествий не было, а в книге записей обе графы пусты.

Вероятно, сменившийся дежурный не считал мое появление достаточно важным, чтобы вносить его в книгу записей. А перед уходом глотнули по стаканчику со сменщиком и забыли обо всем. Вот уж везет так везет!

— Все спокойно, Педро,— вновь услышал я бархатный голос Лабарда,— тайна блистона — все еще тайна. Пока,— застукали деревянные дощечки: он смеялся.

Лойола молча поклонился и вышел. Я выключил телевизор. Колени у меня дрожали, как у человека, который едва не попал в аварию.

Блистон!

Вот она, тайна Роджера. Я не раз удивлялся его негодованию против электронного сыска Лойолы. Ведь система электронного подслушивания и подглядывания существовала по крайней мере уже полстолетия. И мы, электронщики, только тем и занимались, что варьировали и совершенствовали микрофоны и микротелепередатчики. В конце концов даже в Америке электронной охоте за чужими секретами был положен предел законодательственным вмешательством Конгресса. Но в промышленности эта охота процветала по-прежнему, и напрасно негодовал Роджер: в его нынешней «собственной» лаборатории в Штатах сейчас, наверно, уже внедрены кем-нибудь такие же микротелепередатчики.

Нет, здесь они действовали не столько для охоты за чужими тайнами, сколько в целях сохранения одной-единственной тайны, неизвестной, судя по разговору Доминика с Лойолой, даже фактическим владельцам Дома.

6. ИЗ ДНЕВНИКА МАЙКА ХАРДИ

Вторая запись

Сам по себе блистон ни для кого не был тайной.

Новый трансурановый элемент, открытый канадским химиком после геологических изысканий на Луне в восьмидесятых годах и получивший свой номер в менделеевской таблице под его именем, приобрел не меньшую популярность, чем уран или золото. Не прошло и трех лет, как блистоновые руды на Луне начали разрабатываться совместно советско-американской компаний. Было заключено специальное соглашение, к которому присоединились все государства мира, не использовать блистон для военных целей. Если трех водородных бомб было бы достаточно для того, чтобы уничтожить Англию, то три бли-

стоновые отправили бы на дно океана всю Северную Америку. В руках безумцев блистоновая бомба означала бы самоубийство мира.

Что же вырабатывалось на подземных уровнях Дома, куда доставлял Лойолу специальный «мгновенник»? Я повторял и повторял слова Доминика: «Тайна блистона пока все еще тайна». О какой тайне шла речь? Ведь блистон вырабатывался совершенно открыто и в Советском Союзе, и в США, причем исключительно в мирных целях, заменив уран в атомной энергетике. Блистон использовался и как новый вид топлива для космических ракет и трансконтинентальных краулеров, и, вероятно, сыграл и играет свою роль в механизме вращения Дома. Но почему это тайна? Почему скрываются работы за дверью со световой надписью «Предъявляйте красный пропуск» и почему Лойола так боялся, что я открою «спуск в преисподнюю»? Да и не об атомной энергетике думал Лабард, когда уверял Лойолу, что «тайна пока еще не открыта».

Но Роджер открыл ее и уехал, объяснив свой отъезд откровенным «я хочу жить». Я тоже хотел жить, но еще не открыл тайны. Я только подошел к ней, понимая, что ступил на «минное поле». Идти ли дальше?

Роджер никого не посвятил в свое открытие. Я поступил иначе. В тот же день я сообщил о необходимости срочной встречи Полетте, Джонни и Фрэнку. В моей лаборатории, хотя и огражденной от электронного сыска, такое собрание могло бы вызвать подозрение Лойолы, который узнал бы о нем через две-три минуты. Но Полетта могла попросту пригласить нас в гости, а у нее мы были уже в полной безопасности.

Прежде чем рассказать, я долго думал о том, что нас связало до того, как я проник в тайну Лабарда. Джонни просто были не по нутру диктаторские замашки Доминика и Лойолы. Уйдя из Дома, он стал бы обычным средним американцем, отменным специалистом, равнодушным к любой политической акции. Союз Фрэнка и Полетты вызывал еще большее недоумение. Лабард взял их из приюта с явно рекламной целью. Потеряв жену, сбегавшую со своим другом детства, он объявил публично, что создаст новую семью на новой основе, и тут же распределил детей «по рукам» с хорошей оплатой за содержание и «дрессировку». Учились Фрэнк и Полетта не только в разных учебных заведениях, но и в разных штатах, зато оба прошли сквозь стихию студенческих волнений, снова в конце восьмидесятых — начале девяностых годов охватившую капиталистический мир. Видимо, это и сблизило их, когда оба оказались в кадрах «Хаус Оушен-компани» под крылом воспитавшего о них «отца», которого они не знали и не любили. А что меня привязало к ним? Единомыслие? Едва ли. О политике мы почти не говорили, и я даже удивился, увидев как-то

у Фрэнка настольную книгу моего отца, всю жизнь отдавшего борьбе на левом фланге лейбористской партии, но так и не приобщившего меня к ней. Книжка была растрепанная, фамилия автора оторвана, но название воекресило воспоминание детства: «Динамика социальных перемен. Хрестоматия марксистской науки об обществе». Фрэнк смущенно прикрыл книгу иллюстрированным журналом. «Интересуешься?» — спросил я. «Надо знать больше, чем учили нас в школе», — уклончиво ответил он и переменил тему. Разговор о политике с Полеттой тоже не получался, да и не политика нас связала. Видимо, просто общая неприязнь к Лабарду. Но сейчас дело менялось: надо было не ворчать, а действовать.

— Я знал, что несколько тысяч рабочих занято на каких-то специальных работах, — сказал Фрэнк, выслушав мой рассказ. — Я просто этим не интересовался.

— Я знаю больше, — добавил Джонни. — Мои транспортные счетчики ежедневно регистрируют отправку и возвращение безадресных рабочих партий. Эти лифты циркулируют три раза в сутки, не совпадая с обычными часами «пик». Все группы отправляются на самые нижние уровни, ниже центрального подъездного вокзала. Я думал, что это связано с какими-то подводными работами — внутрискальные механизмы или подводные ремонтные операции. А может быть, специальная подводная полиция?

— Несколько тысяч человек? Зачем? — удивился я.

Джонни, недоумевая, пожал плечами:

— Еще одна тайна.

— Та же самая. Доминик ясно сказал: «Тайна блистона — пока еще тайна». Для кого тайна? Для жителей Дома?

— Или для мира? — задумалась Полетта.

— А может быть, ты недослышал, — усомнился Джонни. — Случайная обмолвка в случайной беседе.

— И обмолвки не было, — подчеркнул я. — Доминик очень ясно ответил на беспокойство Лойолы. Почему начальник полиции так встревожился тем, что оставил меня одного в кабинете? Из-за второго «мгновенника»? Бесспорно. Он совершенно логично предположил, что я им воспользуюсь. И почему Лабард тотчас же проверил это у наблюдателя? Хорошо еще, что мне повезло со сменщиком!

— Ты сказал о красных пропусках?

— Да.

— Я слышал о синих.

— Очевидно, их меняют из предосторожности.

— Но ведь тайна блистона — нонсенс! — воскликнул Джонни. — Блистон не засекреченный препарат. Это все знают.

— Верно, но не точно, — усмехнулся Фрэнк. — Блистон не

засекречен в атомной энергетике. А если из него делать оружие?

— Чушь! Зачем? Какое оружие?

— Бомбы.

На минуту все смолкли от чудовищности предположения.

— А почему, вы думаете, сбежал Роджер? — сказал я. — Когда я спросил его об этом, знаете, что он ответил: «Я хочу жить».

Опять все замолчали.

— Я вспоминаю день, когда он вернулся откуда-то вместе с Домиником, — задумчиво проговорила Полетта. — Он сразу же попросил у меня стакан виски. «Дай ему «хайболл», Полетта, — сказал Доминик, — и не разбавляй содовой. Может быть, это сразу отшибет ему память».

— Они были внизу? — спросил Джонни.

— Не знаю.

— Между прочим, его отпустили без неустойки, — вставил реплику Фрэнк.

— Или уплатили за молчание, или ликвидируют на континенте, — предположил Джонни. — Кто знает, может быть, мы завтра или послезавтра прочтем о кончине выдающегося американского специалиста по молеэлектронике, павшего жертвой лопнувшей воздушной подушки под его новой машиной. «Иезуиты» сделают это чистенько и без промаха.

Я почувствовал, как рука Полетты судорожно сжимает мою.

— Мне страшно, Майк.

— Мне тоже. Но не бежать же всем, как Роджеру.

— Надо проверить, — сказал Фрэнк. — Мы еще не все знаем.

Ощущение нелепости происходящего вдруг охватило меня. Что мы знаем? Зачем Доминику блистоновые бомбы? Тайное соглашение с «ястребами» американской внешней политики? Вздор. Штаты не нарушат договора, подписанного всем миром. И не зря же его заключали: с блистоном не шутят и превратить землю в руины не рискнет ни одно государство. А вдруг Доминик сошел с ума или возмечтал себя новым Гитлером? Да ведь Дом уничтожат прежде, чем квазидиктатор продиктует свой ультиматум.

— Не так-то легко уничтожить Дом, — сказал Фрэнк.

— Чепуха. Одно попадание обыкновенной фугаски.

— Термоионные преобразователи, создающие ветровой вакуум вокруг вращающейся конструкции Дома, оттолкнут любую бомбу в море.

— А взрывная волна?

— Она изменит направление или расколется, обогнув Дом.

Я не сдавался:

— Есть же флот, наконец!

— Какой? Суперкраулеры-авианосцы? Тот же результат.

— А подводные лодки?

Фрэнк задумался.

— Подводные лодки могут, конечно, серьезно повредить или даже частично разрушить скалу, на которой поставлен Дом. Может быть, часть засекреченных рабочих и занята сейчас на подводных работах. Не так уж трудно создать мощную заградительную сеть для торпед и подлодок.

— Давайте по порядку,— вмешалась Полетта.— Допущение первое: Лабард вообразил себя новым Гитлером. Допущение второе: где-то на нижних уровнях Дома изготавливаются блистоновая бомба и ракетное устройство для доставки ее на место. Спрашивается: где и с какой целью может быть нанесен первый удар?

— Где? — переспросил я.— Вероятно, на севере Канады или в Гренландии, где жертв будет не так уж много. Лабард не станет уничтожать континенты, он просто пригрозит миру такой возможностью. Вот вам и цель удара. Ультиматум будущего владыки планеты. Одно государство может уничтожить другое, одна система может ниспровергнуть другую. Но Дом никто ниспровергнуть не может. Он неуязвим и безнаказан, если я правильно понял Фрэнка.

И снова замолкли все, и опять спросила Полетта:

— А что означают слова Доминика о том, что время — канун Нового года, место — салон Грэгга и Хенесси, где их и замкнут с какой-то целью! С какой?

— Не знаю,— откровенно признался я.

— До встречи Нового года у нас больше месяца,— сказал Фрэнк.

И тут раздался смех Джонни, поразивший нас всех, как самая нелепая выходка в самое неподходящее время.

— Не глядите на меня, как на сумасшедшего,— произнес он по-прежнему с веселыми искорками в глазах,— я сейчас оправдаюсь. Мне стало смешно, что мы в отчаянии обсуждаем смертельную угрозу миру, когда именно мы, четверо, легко можем предотвратить ее.

— Как? — вырвалось у нас одновременно.

— Проверить высказанное здесь предположение. Следить за всеми подозрительными встречами Доминика и Лойолы. Здесь нам помогут Полетта и ручной видеоскоп Майка. Все выяснить, вычислить и проявить. А затем наносим удар мы, прежде чем Лабард предъявит свой ультиматум.

— Как? — опять повторили мы.

— И это спрашивают электронщик и химик! — засмеялся Джонни.— Майк выключает всю связь в пределах Дома, в крайнем случае вообще выводит ее из строя. Я делаю то же с транспортом. Ни один лифт не сдвинется с места, замрут

все эскалаторные дорожки и кольца. Фрэнк изолирует наши этажи жидкостным газовым заслоном в случае пешеходного продвижения полицейских отрядов. А основные полицейские резервации легко блокировать автоматическими решетками. Это еще более осложнит положение Доминика и Лойолы в их час «пик».

— А нас пристрелит первый же незаблокированный полицейский,— сказал я.

— Так мы и будем ждать его лицом к стенке! Нет, уж драться так драться. Можно замкнуть наглухо диспетчерские пункты. Есть огнестрельное оружие и газовые гранаты. Есть, наконец, и лазеры, которые можно использовать против массивных полицейских ударов. А за это время можно сообщить всему миру о надвигающейся угрозе, о блистоновой бомбе в руках маньяка. Если он собирается замкнуть Хенесси и Грэга вместе с сотней мультимиллионеров, значит, юридические владельцы Дома не участвуют в заговоре. Пожалуй, у нас не меньше козырей, чем у Лабарда с Лойолой.

— А кто выиграет?

— У нас много шансов.

— Фифти-фифти.

— Что-то мне не хочется умирать из-за короны Доминика,— вздохнула Полетта.

— Мне тоже не хочется умирать,— поднял перчатку Фрэнк,— но, думаю, речь идет не только о короне Доминика. Никто не ответил, но никто и не возразил.

— Значит, решено,— подытожил дискуссию Джонни.— Штаб проверяет, вычисляет и обдумывает. Собираемся у Полетты якобы для игры в бридж. Командует Майк.

Я даже не отнекивался. Не все ли равно, кому командовать?

7. ЧТО МОЖНО ЗАПИСАТЬ НА МАГНИТНУЮ НИТКУ

В конце ноября и начале декабря Майк дневника не вел. Он только записывал на свою магнитофонную нить все наиболее существенные встречи и разговоры, которые принимал его ручной микротелеприемник. Тут же записывались и комментарии «Совета четырех», на заседаниях которого под видом очередной партии в бридж прослушивалась очередная запись.

Записи располагались в следующем порядке.

Лойола и незнакомый блондин со значком инженера-ракетчика на лацкане пиджака.

— Значок вам придется снять во избежание ненужных вопросов. А работа, я думаю, вам знакомая. Обыкновенные боеголовки, только с другой начинкой.

— А кто гарантирует мне безопасность, если об этом проносятся ищущие?

— У нас своя полиция.

— Я имею в виду контролеров ООН.

— Они к нам не заглядывают.

— Но могут заглянуть.

— Работы ведутся в полной изоляции от нижних и верхних этажей.

— При заключении контракта меня предупредили об этом. Но я же буду возвращаться к себе, захочу развлечься. Контракт не отнимает у меня права на личную жизнь.

— Не отнимает. Но жить вы будете на блокированных уровнях. Где-нибудь между сто одиннадцатым и сто шестнадцатым.

— Но не в одиночном же заключении?

— На этих уровнях около двадцати тысяч жителей. Целый город. Заводите знакомства, но не болтайте.

— И есть где выпить?

— Хотите в одиночку — нажмите кнопку у себя в номере. Требуется партнер или партнеры — бар за углом. Жаждете океанской прохлады — лифт доставит вас на внешнюю галерею. Там рестораны цепочкой.

— Подходит, шеф.

Джонни. Это специалист по глобальным ракетам. Должно быть, Нортон. Рыжий?

Майк. И веснушчатый.

Джонни. Он.

Полетта. А выводы?

Джонни. Проследить, где он будет в канун Нового года, и заблокировать подземку.

Майк. Принято.

Джонни. Если в баре, так этажи все равно прикрыты. Мы их замкнем окончательно.

Ужин у Лабарда. Доминик, Грэгг, Хенесси — толстенький аккуратный человечек, Пикквик в современном костюме, — и две дамы — брюнетка с высоким и резким голосом и платиновая блондинка с мелодичным контральто. Запись открывается репликой Лабарда по адресу своей светловолосой соседки.

— А что такое, по-вашему, счастье, Барб?

— Любить и быть любимой.

— Пресно, Барб. Иногда это случается, но быстро надоедает.

— Доминик прав. — Это брюнетка с высоким голосом. — Счастье — это много денег и возможность обладать всем, что захочешь.

Смех Лабарда:

— Грэгт под этим подпишется.

— Едва ли, Доминик. Счастье — это не наличие денег, а возможность их делать. Согласны, Хен?

— Полностью.

— И все вы ошибаетесь. — Бархатный голос Лабарда подымается до высоких нот. — Счастье — это власть. Абсолютная, неограниченная, беспринципная. Мир — это «джиг-со». Карта, составленная из кусочков цветного пластика. Пятнышки-государства. Ты меняешь их, перекладываешь, выбрасываешь. Вспомните Гитлера.

— Пиноккио, поставленный у карты немецкими мультимиллионерами. Забытая всеми кукла. Вы знаете Гитлера, Барб?

— Кто-то из старых фильмов?

— Зебра! — воскликнула брюнетка. — Мы же проходили это в школе. Что-то военное, да?

— Умницы, — смеется Лабард.

И Майк выключает запись.

М а й к. Кто эти идиотки?

Д ж о н н и. Блондинка — Барбара Торнелли, итальянская звезда Голливуда. Брюнетка — ее соперница, Диана Фэн.

П о л е т т а. По-моему, Барбара равнодушна к Доминику.

Д ж о н н и. А ну их к дьяволу! Включай дальше, Майк.

— Деньги могут дать власть, но власть — это не деньги, — снова включается бархатный голос Лабарда. — Ее капитал — сила. В обществе, основанном на неограниченной власти, нет ни классов, ни классовой борьбы, ни буржуа, ни пролетариев. Человек измеряется мерой силы, ему положенной. Он может быть ничтожной мышкой или живым богом, отбросившим все привычные моральные категории.

Смешок Грэга.

— Отрывка нищезанятия, Доминик... Я предпочитаю тоже старомодный, но живучий практицизм. Вы построили Дом на мои деньги. Вы говорите, я слушаю. Но пенки с молока снимаю я, а не вы.

Теперь уже смешок Доминика:

— Кто знает, Грэгг, чем измеряются зигзаги удачи?

Ф р э н к. Лабард раскрывается.

Д ж о н н и. Повторяется.

П о л е т т а. Уже не стесняясь владельцев Дома. Должны же они это заметить.

М а й к. Сейчас узнаете.

...Кабинет Грэгга. Грэгг и Хенесси. Запись произведена с микротелепередатчика общего типа для всего Дома.

— Что-то мучает тебя, Джо.

— Верно, Хен. С того вечера на веранде.

— Доминик?

— Он.

— Я так и думал. Что-то он затевает. Странные слова. Странные мысли.

— Я уже давно догадываюсь. Но что?

— Украдет Дом?

— А вдруг?

— Это не слишком легко.

— Но и не слишком трудно. Интересно, с какой целью он пригласил на работу Линца и Нортон?

— Линц — старый блистонщик. Нужно же кому-то крутить Дом.

— Не думаю, что его нужно крутить с помощью глобальных ракет.

— Не понял.

— Нортон — специалист именно по глобальным ракетам, недавно оставивший работу в военно-промышленном комплексе.

— Неужели ты считаешь...

— Я считаю только будущие прибыли и убытки.

— Если он украдет Дом, мы потеряем около восьми миллиардов ежегодно. Не считая его номинальной стоимости.

— Как бы мы не потеряли больше. Ты понимаешь, о чем я думаю?

— А заманчиво все-таки стать владыкой мира. Я бы не возражал.

— Какой ценой? Если Доминик выиграет, выгодно нам это или невыгодно? Мы и так контролируем экономику тридцати восьми стран. А что начнет Доминик? Стирать их с карты. Строить свои Дома в океане и загонять туда государство за государством. Начнет с Африки: там государств и народов как сельдей в бочке. Их — в океан, а континент — в джунгли. Так выиграем мы или проиграем?

— Наши капиталовложения в Африке — это несколько десятков миллиардов.

— Более полусотни.

— А переселение народов процесс длительный. Доминик, конечно, наобещает нам миллионы акров плантаций и даровую рабочую силу, но его демографические забавы — это игра.

— Игра хороша, если беспронгрышна. Есть еще и социалистическая система, а там сложa ручки сидеть не будут. Нет, Хен, даже с блистоновой бомбой мы не вернем всего, что потеряем.

— Тогда надо действовать.

— А может быть, сначала проверить? Скажем, через агентство Хаммера. У них дельные ребята.

— Не будем множить число самоубийц, бросившихся в океан с ведома Педро Лойолы. Есть и другие средства. Сенаторы, например. Половина поддержит нас, если понадобится.

— Тогда подумаем. Еще есть время.

Полетта. Как это их свободно выпускают отсюда после таких откровений?

Фрэнк. Доминик показывает, что его уже ничто не пугает.

Майк. Сейчас вы узнаете, почему.

Лабард и Лойола.

— Остались считанные дни. Реклама самой дорогой встречи Нового года должна быть усилена. Нажимай все кнопки: газеты, радио, телевидение. Воскреси старомодные «сэндвичи» на улицах, листовки с вертолетов, кинорекламу на крышах. Пусть все и везде кричит: Новый год, Новый век, Новое тысячелетие! Где самая феешенебельная, самая дорогая встреча? В Доме! Я хочу собрать здесь всех мультимиллионеров Мегалополиса. В час ночи я им преподнесу ультиматум.

— Это копия.

— Наметанный глаз. Подлинник пошлем в ООН.

— Третий экземпляр я возьму себе в сейф. Кстати, кто печатал?

— Диктофон.

— Не доверяешь Полетте?

— Чем меньше людей знают об этом, тем лучше для дела.

— Когда будет нанесен первый удар?

— В полночь. На рубеже веков.

— К одиннадцати у Нортон все будет готово.

Джонни. Хорошо бы узнать текст ультиматума.

Майк. Беру на себя.

Джонни. У Лойолы сейф с электронным замком.

Майк. А у меня электронная отмычка.

Полетта. Надо спешить, мальчики.

Джонни. У меня все готово. У них — к одиннадцати, у нас — к десяти.

Фрэнк. Не забывай о полиции. Они могут поставить охрану раньше.

Джонни. Я никого не пушу в диспетчерскую. Есть спе-

циальное распоряжение Лойолы: все приказы только от него и только по видефону. У Майка тоже. Кстати, нас не собираются заменять перед акцией.

М а й к. Откуда ты знаешь?

Д ж о н н и (загадочно). Знаю.

М а й к. Ну, а сейчас все узнают.

Лойола и Джонни.

— Я вас слушаю, сэр.

— К сожалению, только неприятное, Джонни.

— Я готов, сэр.

— Вы не будете встречать Новый год, Джонни. Вы будете работать.

— С повышенной оплатой, сэр?

— В три раза.

— Возражений нет. Жду инструкций.

— Вы знаете, конечно, о существовании грузового лифта «даблью»?

— Запломбированного? Конечно.

— Вы сорвете пломбу и подымете его по первому сигналу лампочки. За минуту получите мой личный приказ.

— Есть опасность?

— Какая?

— Но лифт «даблью» запроектирован только для подъема грузов на уровень причала сверхкраулеров. В случае опасности, сэр.

— Вы не в курсе, Джонни. Лифт «даблью» подымает на верхнюю площадку Дома.

— Но...

— Никаких «но». Я приказываю — вы подчиняйтесь. И не проявляйте излишнего любопытства, как не проявляет его Майк. Могу сообщить вам обоим, что я доволен вашей работой. Можете идти.

Ф р э н к. Что это за таинственный лифт?

Д ж о н н и. Понятия не имею. Он с основания Дома запломбирован.

П о л е т т а. А я догадываюсь. Он выведет ракету на смотровую площадку.

Д ж о н н и. Не выведет.

М а й к. Не сорвешь пломбы?

Д ж о н н и. Не только. Заблокирую авторешетками все выходы с подводных уровней.

П о л е т т а. Да благословит вас бог! Это я по старой привычке, простите. Воспитывалась у католичек.

М а й к. Охотно прощаем, девочка.

Осталась всего неделя до встречи Нового года, самого страшного года в нашей судьбе.

Вернее, он мог быть таким.

Ожидание — всегда нервотрепка. И когда ждешь окончания дела, исход которого беспокоит, или приговора врача, или просто свидания с девушкой, на которое она опаздывает, и ты не отрываясь следишь за бегом минутной стрелки, сердце бьется все чаще с каждой секундой. А мы были в цейтноте, когда ход противника требовал немедленного ответа.

Противник записал ход, но мы не знали его. Запись хранилась где-то у Доминика и в сейфе Лойолы. Текст ультиматума, который должен был зачитать Лабард после боя часов, возвещающего пришествие нового века. Более полутора тысяч гостей ожидалось на этой встрече, и каждое слово ультиматума должно было встать костью в горле, которую не запьешь коньяком или шампанским.

Мы всё подготовили, всё рассчитали, как шахматный этюд. Никакие ракеты с боеголовками не подымутся вверх ни в десять, ни в одиннадцать часов, блистоновый «пистолет» Лабарда не выстрелит, и человечество может оставаться спокойным: новый век придет тихо и торжественно, как Санта-Клаус, не разбив ни одного бокала на столиках в гостевом салоне владельцев Дома. Десять сенаторов и шесть губернаторов, генеральный прокурор Мегалополиса и два министра, сотня миллиардеров и более тысячи миллионеров будут мирно звенеть бокалами и кричать: «Хелло! Ура! Желаем всем счастья и процветания в новом столетии!»

Но что произойдет через час, через два, когда связь будет восстановлена, лифты пущены, а наши трупы будут дожевывать акулы, шныряющие вокруг седьмого чуда уходящего века? Нас только четверо, а «иезуитов» Лойолы сотни на каждом этаже. Мы можем радировать во все газеты мира о том, что ждет человечество, мы можем вызвать подводный флот десятка держав, а «пистолет» Лабарда успеет выстрелить, уничтожив полмира. Мы можем убить Лабарда и Лойолу до последней полуночи года, но вдруг окажется, что ультиматум Доминика был новогодней шуткой, и мы все четверо сядем на электрический стул.

Не зная ультиматума, мы не могли действовать; не зная, что происходит в подводных этажах Дома, мы не могли пугать человечество. Короче говоря, мы не могли двинуть ни одной фигурой, пока противник не объявит записанный ход.

Следовательно, мы должны были найти и продиктовать миру текст ультиматума за несколько часов до того, как он мог быть прочитан одновременно с вырвавшейся в небо раке-

той. Этому и было посвящено наше последнее совещание во время очередной «партии в бридж» за неделю до Нового года.

— Может быть, мы сделали ошибку, не создав массовой оппозиции заговору? — с сомнением высказался Майк.

— Глупости! — сказал Джонни. — Создать агитационный комитет, искать ущемленных и недовольных — у нас ушли бы на это месяцы, а может, и годы. При наличии электронного сыска Лойолы ни один разговор не остался бы неподслушанным. Кто-нибудь попался бы через два дня, и весь наш заговор лопнул бы, как мыльный пузырь. Роджер не зря бежал: его уже фактически выследили.

— Джонни прав, — согласился Фрэнк, — у нас единственный выход — уничтожить Доминика.

— Останется Лойола.

— Начнем с Лойолы.

— Не с Лойолы, а с поисков текста ультиматума, переданного ему Домиником, — сказала Полетта. — Майк взял это на себя еще две недели назад.

— Но Лойола никуда не выходит.

— А как же он общается?

— Только по видеофону.

— Может, «потрогать» Доминика?

— Займет слишком много времени. Я не знаю, где он хранит секретные документы.

— Тогда в открытую, — сказал Джонни. — За два часа до встречи, когда связь и лифты будут выключены, атакуем Лойолу. А там видно будет.

31 декабря газеты, мелькая шапками на всю полосу: «Самая дорогая встреча Нового года», «Короли биржи и банков в новогоднюю ночь над океанской пучиной», «Миллионы и миллиарды в гостях у гения нашего времени», валялись на полу под ногами. Майк ожесточенно топтал их, отмеряя шагами окружность диспетчерской. Связь он только что выключил. Ни один телевизор, ни один видеоскоп не осветится, хоть сотни раз нажимая кнопки. Не откликнется ни телеграфная, ни радиосвязь с континентом. Ни одно приказание не сможет быть передано по этажам. Майк знал, что одновременно остановились все лифты и эскалаторные дорожки. Только «мгновенники», доставляющие гостей на четырехсотый этаж, ждали своей очереди. Лестницы же от подземных этажей до трехсотпятидесятого уровня, откуда начинались диспетчерские промышленные функции «Хаус Оушен-компани», были автоматически перекрыты стальными решетками, которые нельзя было ни пробить, ни взорвать.

Ровно в десять в диспетчерской появились Фрэнк, Полетта и Джонни.

— Все готово, Майк.

— Все. Только боюсь, что это обнаружится в ближайшие полчаса.

— Мы уже двенадцать раз это обсуждали. Обнаружится так обнаружится. Встретим.

— Хорошо, что Доминик лег спать и просил его не беспокоить,— сказала Полетта.

— Зато Лойола бодрствует,— зло усмехнулся Майк.

— Тем лучше: будить не придется.

Они вышли вместе. Подняться надо было всего на один пролет лестницы. Никто не встретился.

— Где же «иезуиты»? — удивился Майк.

— Вызваны на четырехсотый этаж. Туда уже съезжаются гости,— пояснил Джонни.

Белые пластиковые двери Лойолы, как всегда, были закрыты. Майк молча извлек свою электронную отмычку и почти мгновенно открыл замок. Два гиганта-охранника бесшумно выросли в коридоре, но струя газа из крохотного пистолета Фрэнка так же бесшумно бросила их на ковер. Высокий ворс его погасил звук падения тел. Холл перед кабинетом был пуст, а дверь открыта. Лойола, не ожидавший визитеров, суетился у панели с кнопками связи и транспорта и даже головы не поднял, когда в кабинет вошли все четверо.

— Бросьте, Лойола,— сказал Джонни, подошедший ближе,— не тратьте сил. Все выключено.

— Как — выключено? Кем выключено? — крикнул Лойола, все еще ничего не понимая, но руки его уже машинально шарили в приоткрытом ящике стола в поисках оружия.

— Руки на стол,— потребовал Джонни.

Но Лойола уже успел выхватить пистолет. Майк, ближе всех находившийся на линии выстрела, мог стать первой жертвой — трусом Лойола не был. Майк не прочел в его глазах страха — только мгновенное осознание того, что произошло и может произойти. Да, трусом Лойола не был, но он не был слишком проворным. Поворот перстня Майка предупредил неминуемый выстрел. Струя того же газа, которым был заряжен и пистолет Фрэнка, ударила кардиналу «иезуитов» в лицо. Эффект был мгновенным — тело Лойолы мешком сползло с кресла.

Полетта стояла отвернувшись, но ее не упрекали: девушке не к лицу было заниматься «мужским» делом. Джонни и Фрэнк, не церемонясь, вытащили грузное тело Лойолы из-под стола и щелкнули наручниками. Теперь его безвольные руки оказались скованными.

— Вы убили его? — хрипло спросила Полетта.

— Разве его убьешь? — усмехнулся Фрэнк. — Полежит пару часов и очнется в наручниках. Да и Новый год, пожалуй, встречать не будет: мускулы ослабнут, не встанет.

А Майк тем временем уже возился со своей отмычкой у сейфа. Сначала отмычка вращалась быстро и Майк только отмечал на диске, какие цифры вспыхивали. Составив число, он снова пустил в ход отмычку, передвинув в ней какие-то штифтики, и замок сейфа мягко щелкнул, обнаружив содержимое «тайного тайных». Поверх кипы бумаг лежал всего один лист, отпечатанный на диктофоне, но он-то и был нужен им как самая крупная драгоценность в мире.

— «Дорогие дамы и господа,— начал читать Майк дрожащим от волнения голосом,— вот мы уже подняли и выпили свои бокалы за Новый год, Новый век и Новое тысячелетие. Пробили часы. И одновременно с последним, двенадцатым боем ушла в небо первая ракета с верхней площадки Дома. Первая ракета с блистоновой боеголовкой. Не удивляйтесь и не трепещите. Я не признавал и не подписывал договора о запрещении блистонового оружия. Правда, у меня нет государства, но есть Дом с трехмиллионным населением, который сильнее любого государства и неуязвим для пушек, ракет и бомб. И он может войти в ООН, скажем, на тех условиях, как административный округ Колумбия со столицей Вашингтон входит в состав Соединенных Штатов Америки. Ни одно государство не сможет помешать мне, потому что моя первая ракета с блистоновой боеголовкой уже стерла с карты земного шара часть суши, равную половине Европы. Это не очень важная часть для человечества — я гуманен и выбрал для первого удара Гренландию, где много льда и не так уж много человеческих жизней. Но второго удара человечество не допустит: какое государство отважится на самоубийство? Так будет объединен мир, единоличным главой которого стану я, новый мир без войн и границ, без классовой борьбы, забастовок и демонстраций. Когда-то нечто подобное провозглашал Гитлер, но был он мал и ничтожен. Теперь историю пишу я, и мое перо легко вычеркнет коммунизм и социализм, а судьбу человека будет определять по аппетитам его, по силе его, по способностям приложить эту силу к достижению доступных ему высот. Будут сверхлюди и просто люди и недочеловеки, высшие и низшие расы, господа и рабы. Многие из вас будут мне аплодировать — я уже вижу сенатора Бультивелла и двух губернаторов с восторженно поднятыми руками,— и я не обману ваших надежд. Кое-кто пострадает, конечно. Грэгг и Хенесси потеряют миллиарды Дома, но я отдам им английские и бельгийские рудники в Африке, и они простят мне эту экспроприацию. Смирятся и Белый дом, и Уайт-холл, и Кремль, потому что мое маленькое государство уничтожить нельзя, а я могу уничтожить полмира».

— Мы угадали,— сказал Фрэнк,— он начал с Гренландии.

— Не начал,— сказал Джонни.— Начнем мы.

Майк спустился в диспетчерскую и, включив внешнюю радиосвязь, передал следующую радиogramму:

«ООН и всем правительствам мира.

Говорит радиостанция «Хаус Оушен-компани». Готовится чудовищное преступление против мира и безопасности. На нижних подводных уровнях Дома уже давно фабрикуются в тайне от трехмиллионного населения Дома ракетные боеголовки из блистона, запрещенные специальным соглашением всех государств, входящих в Организацию Объединенных Наций. Волею главы Дома инженера Доминика Лабарда первая ракета с такой боеголовкой должна быть выпущена сегодня после полуночи во время встречи Нового года на четырехсотом этаже. Одновременно Доминик Лабард огласит перед собравшимися свое обращение к ООН и правительствам всего мира».

Далее следовал изъятый из сейфа текст.

«Мы, группа противников заговора,— продолжал выстукивать открытым текстом свое обращение Майк,— блокировали ракетную шахту Дома. В полночь блистоновая пушка не выстрелит. Полицейские резервации почти на всех этажах блокированы автоматическими решетками. Просим к утру прибыть инспекцию ООН для обследования блистоновых установок Дома. Инспекторов должен сопровождать охранный отряд на случай возможного сопротивления полиции, если блокировка казарм к тому времени будет снята. Начальник полиции Дома пока обезврежен и находится под арестом в своем кабинете».

Зажглась красная лампочка видеофона.

— Хорошо, что ты включил поэтажные связи,— сказал Фрэнк.— Здесь Грэгг и Хенесси. Мы вызвали обоих. Передай по радио от их имени, что они присоединились к нам и поддерживают наше обращение.

Майк снова вышел в эфир, кратко сформулировав заявление владельцев Дома. Закончив, тяжело вздохнул и опустил руки, как боксер между двумя раундами. О том, что было сделано, он уже не думал: оно отняло все помыслы, желания и силы. Тянулась цепочка ненужных мыслей: хорошо бы выпить чашку кофе с ликером, пришить оторванную пуговицу на рукаве, отстричь загнувшийся на мизинце ноготь. Когда Майк поднялся наверх, то никого не увидел: яркий свет ослепил его— у него в диспетчерской было темно,— и лица людей, ожидавших его в кабинете Лойолы, казалось, плавали в тумане, подсвеченном невидимыми «юпитерами». И первое, что он услышал, было жалобное восклицание Полетты:

— А ты поседел, Майк. Спереди совсем белый.

В никелированной поверхности сейфа отразилось уменьшенное лицо Майка с серебряной, точно припудренной, набегающей на лоб прядью волос.

— Вы герой, мистер Харди,— слышал он голос Грэгга и наконец-то разглядел американца.— Чтобы предотвратить такое бедствие, нужно обладать не только умом, но и рыцарской храбростью.

«Еще бы,— зло подумал Майк,— сохранили тебе восемь миллиардов годового дохода».

— Я же был не один,— сказал он лениво.

Говорить не хотелось: в глазах мелькало видение ракеты с блистоновой боеголовкой — что-то длинное и сверкающее, как башня в пламени.

— Мы оценим всех,— торжественно произнес Грэгг,— только бы вовремя прибыла инспекция ООН.

— При чем здесь инспекция ООН? И вообще, что, собственно, происходит? Я пришел сюда по трупам охранников,— раздался гневный голос с порога.

В дверях, как изваяние, стоял разъяренный Лабард в белом парадном смокинге.

— Они живы,— сдержанно ответил Фрэнк.— Временный транс.

Но Лабард не сдерживался, он еще ничего не понимал.

— Почему стоят лифты? — закричал он, заметив Джонни.

— Лифты без перебоев доставляют прибывающих гостей на четырехсотый этаж,— отбарабанил Джонни.

— Я спрашиваю о лифтах вообще. По какому приказу они остановлены? И вообще, почему вы здесь? Где Лойола?

Джонни не требующим пояснения выразительным жестом указал на ковер, где со скованными руками лежал кардинал «иезуитов».

— Мертв? — вскрикнул Лабард.

— Очнется,— равнодушно заметил Джонни.

— Вы проиграли, Доминик,— сказал склонный к патетике Грэгг,— мы уже ознакомились с вашим ультиматумом, знаем все о готовящемся преступлении и благодарны людям, сумевшим ему помешать.

Доминик сделал шаг назад, к открытой двери.

— Не трудитесь, Лабард,— остановил его Джонни.— Все этажные перекрытия блокированы. Все лифты, кроме гостевых, остановлены. Хотите вызвать полицейских — вы найдете лишь тех, которые дежурят в банкетном зале. А они подчиняются только приказам Лойолы.

— Что вы говорили здесь об инспекции ООН? — спросил Доминик.

— Мы вызвали ее к утру проверить ваши блистоновые установки на подводных уровнях,— сказал Фрэнк и, подойдя

вплотную к Доминику, тихо добавил: — Ваши руки, сэр, если не хотите насилия.

Еще раз мягко звякнули наручники.

— И ты, Фрэнк? — вздохнул Лабард.

— И он, и я, — откликнулась Полетта. — Вы маньяк, Доминик. Называть вас отцом — значит оскорбить память наших действительных родителей. Вы преступник, чудовищный, хладнокровный, безжалостный.

— Как и те, которых когда-то судили в Нюрнберге, — прибавил Фрэнк.

К нему присоединился и до сих пор молчавший Хенесси.

— Вас тоже будет судить международный суд, Доминик. И я, как юрист, могу вам сказать, что ни один адвокат не поможет вам ускользнуть от петли. Мне страшно подумать, чем кончилась бы начатая вами мировая война.

— Жаль, — сказал Лабард. — До войны, пожалуй, дело бы не дошло. Но я проиграл, вы правы. Не посмотрел, что у противников на руках все четыре туза: ум, расчет, связь и транспорт. — Он усмехнулся. — Гордитесь: вы почти победили непобедимого Лабарда.

— Почему «почти»? — удивился Джонни.

— Побеждать нужно живых... — Лабард не закончил, поднял скованные руки к лицу, проговорил: — Это старомодно, но по-прежнему надежно, — и надкусил уголок манжета сорочки.

Джонни рванулся к нему, но не успел: Лабард вздрогнул, дернулся и, не сгибаясь, упал на ковер.

— Идиот! — простонал Джонни. — Это я идиот. Не сообразил.

— Мы все не сообразили, — сказал Фрэнк. — Но, может быть, так и лучше...

Никто не смотрел на Доминика. Никто не подошел к нему, не нагнулся над ним. Только Джонни сказал, неловко скривив губы:

— Наручники, пожалуй, придется снять, — и снял их, не прикасаясь к телу.

— Я думаю, до прибытия инспекции и полиции из Штатов нам ничего не нужно трогать в этой комнате, — деловито проговорил Хенесси. — Врач не потребуется ни ему, ни Лойоле — тот все равно останется до утра в таком состоянии: я знаю действие этого газа. Надо закрыть комнату и уйти.

— Хен прав, — сказал Грэгг и взглянул на часы, — без десяти двенадцать: попадем как раз вовремя. Хозяева Дома должны обязательно быть на банкете, и встреча Нового года должна пройти не омраченной даже намеком на то, что произошло в этой комнате. Вам, Харди, придется принести себя в жертву и остаться в радиобудке для связи с миром, если

возникнет необходимость отвечать на многочисленные радио-запросы о случившемся. Я думаю, что уже сейчас нас вызывают отовсюду, а радио Дома молчит. Поэтому поспешите. Лифты, я полагаю, кроме гостевых, можно не включать до утра. Тех из вас, кто хочет встречать Новый год в общем зале, я приглашаю к столу, но у кого возникнет желание остаться в диспетчерской вместе с Харди, я, естественно, не возражаю — все для праздника будет им обеспечено. Но всем нам до утра пригодится и сдержанность, и умение сохранять спокойствие в любой ситуации.

Так закончился этот последний и самый страшный день в уходящем году.

10. ИЗ ДНЕВНИКА МАЙКА ХАРДИ

Третья, и последняя запись

Мы с Полеттой уезжаем в Англию. Дом получил статут города, и мэром единогласно избран Фрэнк. Директором всех коммерческих предприятий Дома назначен Джонни. А вместо находящегося под следствием Педро Лойолы прибыл бывший начальник полиции штата Нью-Джерси.

Мне не пришлось платить неустойку. Напротив, мне предложили премию в сумме моего годового оклада. Я отказался: не хочу ничем быть обязанным администрации Дома.

— Мне жаль отпускать вас, Харди,— сказал Грэгг,— не понимаю вашей неуступчивости. Может, все-таки передумаете?

— Нет, мистер Грэгг, не передумаю. Я устал — слишком много пережито. Вы помните: я приехал сюда брюнетом, а уезжаю почти седым.

— Вы можете возглавить наше отделение в Англии?

— Предпочту небольшую, хорошо оборудованную лабораторию с ассистентом в лице Полетты.

— Я, между прочим, так и не догадался о ваших отношениях,— усмехнулся он.

Я тут же отреагировал:

— Мы, англичане, как вы сами заметили, умеем быть сдержанными в своих чувствах.

С Джонни мы расстались по-дружески, осушив две бутылки martinis, но, в общем-то, без особых сожалений и угрызений.

Прощание с Фрэнком было иным.

Мы стояли на внешнем парковом поясе Дома над океанской далью, уплывающей в сумерки. Глубоко под нами шумели волны.

— Ты можешь гордиться единоклубным избранием, Фрэнк,— сказал я.

Он усмехнулся:

— Чем тут гордиться? Правые элементы в руках Хенесси и Грэгга. Левые всегда бы меня поддерживали. Ты не знаешь одного, Майк: даже без помощи Джонни ракета Доминика все равно бы не вышла с боеголовкой. Накануне ее заменили.

— Кто?

— Нашлись и у меня единомышленники на блистоновых установках.

Я посмотрел ему в глаза: он улыбался откровенно и многозначительно.

— Странно, Фрэнк,— сказал я,— ты же всегда говорил о рабочей аристократии Дома и о невозможности избавиться от электронного сыска.

Он не смутился.

— Это Роджер говорил, а не я. А кроме того, не всегда и не всем можно говорить то, что знаешь. Даже среди рабочей аристократии может найтись горсточка настоящих людей. Главное сделано, а за годы моего правления надеюсь сделать еще больше. Без боеголовок, ракет и электронного сыска. «Иезуиты», думаю, нам тоже не понадобятся, а хозяйские аппетиты можно будет и подсократить.

— Едва ли это обрадует Хенесси и Грэгга,— заметил я.

— А ты обольщен их доверием?

— Не обольщен, но удивлен, пожалуй, что они не поддерживали Лабарда.

— Из благороднейших побуждений, из любви к человечеству, да? Нет, мой милый, из трезвого экономического расчета. Ты же сам записал их разговор. Игра хороша, если беспроектна. А в игре Лабарда было слишком много риска и авантюры. Рулетка. Не для солидных, обеспеченных ставок. Конечно, американские «ультра» охотно возвели бы Доминика на мировой престол, но трезвых голов на американском финансовом Олимпе все-таки больше. И они, эти трезвые головы, как и Грэгг с Хенесси, могли бы точно подсчитать: смирится ли мир с угрозой Лабарда? Нет, не смирится. Есть и разумные руководители наций, есть, наконец, социалистическая система, и блистоновые бомбы изготовить там тоже сумеют. Кстати, и скорее и больше. Да и так ли уж неуязвим Дом? Пробовали массированные воздушные налеты? Нет, не пробовали. А вдруг попробуют и прорвут где-нибудь защитный ионный барьер? Под водой еще проще. Там одной торпеды с блистоновой начинкой достаточно, а взрывная волна сметет все восточное побережье Мегалополиса. Хен с Грэггом все несомненно продумали, подсчитали и учли. И не такие уж они ангелочки, чтобы тревожиться о судьбах человечества. О своих миллиардах они тревожились и нас покупали, чтобы их сохранить. Только ничего у них не выйдет.

— Отнимете?

— Отнимем. Два-три миллиарда они потеряют наверняка. Мы создадим профсоюзы, отменим кабальный кредит, поломаем всю электронику сыска и добьемся снижения цен до континентального уровня. И учти, что все это только начало.

Я вспомнил мечту Лабарда о его демографическом рае.

— И ее на свалку дурных воспоминаний? А не просчитаетесь?

Фрэнк предпочел не заметить иронии.

— Почему воспоминаний? Гигантские дома-города на воде уже и сейчас строят. В Средиземном море на острове, откупленном французским правительством у наследников миллионера Онассиса, на Змеином острове против устья Дуная по проекту советских и румынских инженеров. И Хенесси с Грэггом скоро раскошелятся — не захотят отставать. Невыгодно? Вздор. Производство городов в океане вскоре станет одним из наивыгоднейших капиталовложений. Только строить будут «по потребности», в зависимости от угрозы перенаселения. А старые города, конечно совершенствующиеся со временем, могут преспокойно оставаться на земле в положенных им границах, и незачем сгонять все человечество на воду. Земля была и будет его кормилицей, и противоестественно превращать ее в охотничьи джунгли. Это бред, и Лабарда следовало поправить заблаговременно. Но кто знал?

Мне стало грустно оттого, что я теряю этого нового, так недавно и неожиданно раскрывшегося передо мной человека. Я бы кое-чему у него научился.

— Ты и так научился,— сказал он.— Практически. А теоретически подучит Полетта. Тут она помудрее меня.

Я усомнился: где мне! Не то мышление, не то воспитание.

— Ты Полетты не знаешь,— сказал он многозначительно.— Пройдет год-два, и «тихая» лаборатория покажется тебе тюремной камерой. И сбежишь ты, мой милый, к старине Фрэнку вместе с Полеттой.

Как говорят в таких случаях: он словно в воду смотрел.





А. Зак, И. Кузнецов

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Приключенческая повесть

Пролог

В Знаменском, в имении князя Тихвинского, долгое время после бегства хозяина за границу все оставалось по-старому. Все так же ослепительно сверкал паркет, на высоких подставках у стен белели мраморные скульптуры, в хрустальных подвесках старинной люстры солнечные лучи, преломляясь, играли всеми цветами радуги.

В полуденной тишине парадных комнат бронзовые часы, стоявшие на камине, неторопливо, удар за ударом, отсчитали двенадцать...

Под циферблатом раскрылись бронзовые ворота, из которых показался всадник, закованный в доспехи. Он неторопливо проехал вдоль стены замка и скрылся в других воротах. Вместе с последним ударом медленно поднялся подъемный мостик, перекинутый через ров, и наглухо закрыл ворота миниатюрной крепости.

По длинной анфиладе парадных комнат шли трое: комиссар Кочин, матрос Петровых и бывший управляющий князя Илья Спиридонович Тараканов. Кочин, лысый, с поседевшей бородкой, в потертой гимнастерке, прищурившись, разглядывал висевшие на стенах картины. Петровых, с маузером в деревянной кобуре под распахнутым черным бушлатом, держал себя демонстративно независимо, и только большие руки, мнявшие бескозырку, выдавали его растерянность перед великолепием княжеских покоев. Илья Спиридонович, тщедушный человек в полотняной толстовке, в очках со слегка затемненными стеклами, шел чуть впереди, раскрывая двери перед представителями Советской власти.

— Это кто же такой, явняя его дери?! — спросил Петровых, остановившись перед конным портретом генерала, блиставшего орденами и эполетами.

— Генерал-аншеф князь Тихвинский Федор Алексеевич, герой двенадцатого года, прадед владельца этого поместья, — вежливо сказал Тараканов.

Кочин усмехнулся:

— Полагаю, вы хотели сказать — бывшего владельца?

— Извините, господин комиссар, привычка... — Тараканов изобразил подобие улыбки.

А Петровых уже разглядывал портрет немолодой женщины с широкой атласной лентой, повязанной через плечо.

— А это что за дамочка, явняя ее дери? — снова спросил он.

— Императрица Елизавета Петровна, — сказал Кочин.

— Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, — с готовностью подтвердил Тараканов. — По ее указу это имение было передано навечно князю Петру Андреевичу Тихвинскому.

— Навечно? — снова усмехнувшись, переспросил Кочин.

— В указе, хранящемся в архиве князя, написано именно так: навечно, — не глядя на Кочина, сказал Тараканов.

Из соседнего зала послышался раскатистый бас Петровых:

— А это что за пацан, явняя его дери?

Кочин и Тараканов вошли в просторный зал, увешанный от пола до потолка картинами в золоченых рамах, и остановились у небольшого портрета мальчика в голубом костюме.

— Пинтуриккио? ¹ — спросил Кочин.

¹ Здесь и в дальнейшем при упоминании произведений искусства наряду с подлинными названиями и именами вы встретите также и вымышленные.

Тараканов кивнул.

— Если не ошибаюсь,— сказал Кочин,— это знаменитый портрет мальчика в голубом из собрания Медичи?

Тараканов снисходительно улыбнулся и сухо сказал:

— Сергей Александрович приобрел эту картину во время последней поездки в Италию, за год до войны.

— Подлинник? — спросил Кочин.

— Князь не собирал копий,— сказал Тараканов.

— А это Буше? — спросил Кочин, показывая на небольшую картину в пышной золоченой раме.

— «Амур и Психея»,— ответил Тараканов.

В зал вошла высокая сухая старуха в черном кружевном платье.

— С кем имею честь? — слегка склонив голову, спросила она Кочина.

— Иван Евдокимович Кочин, полномочный представитель Народного комиссариата имуществ Республики.— Кочин протянул старухе мандат.

Старуха повертела в руках бумагу и передала Тараканову:

— Не сочти за труд, Илья Спиридонович, выручи старуху, прочитай.

— «Веками потом и кровью создавалась Россия,— негромко, чуть надтреснутым голосом начал читать Тараканов.— Куда ни посмотрим — всюду мы видим плоды рук трудового народа. Вчерашние дворцы возвращены их законному владельцу, победителю, революционному народу. Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коими тешились лишь цари и богачи, стали нашими».

Старая княгиня, слушая Тараканова, внимательно разглядывала Кочина.

— «Мы никому их не отдадим,— продолжал Тараканов,— и сохраним их для себя, для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него».

— Довольно, Илья Спиридонович, я все поняла. И что же, сударь,— старуха показала на картины, висевшие на стенах, и на фарфоровые статуэтки под стеклянными колпаками,— вы поделите все это... между пролетариями и мужиками? На всех не хватит, дружок.

— Ты, бабуся, думай, что говоришь,— не вытерпел Петровых.

— Товарищ Петровых...— укоризненно остановил его Кочин и, обращаясь к старухе, сказал: — Можете быть спокойны, Елена Константиновна. Мы хорошо понимаем, с какими художественными ценностями имеем дело. Коллекция вашего сына отныне является достоянием Республики и будет це-

ликом передана Петроградскому Государственному музею по решению Совета Народных Комиссаров, подписанному Лениным.

И вдруг из соседней комнаты раздался резкий, пронзительный голос:

— Государ-р-р-ю импер-р-р-атор-р-ру ур-р-ра, у-р-р-ра, ур-р-ра!

Петровых выхватил маузер и, оттолкнув старуху, бросился в раскрытые двери.

В нарядной клетке, стоявшей у окна, сидел большой попугай.

— Ур-р-ра! — вызывающе сказал попугай, глядя на матроса.

— У-у, контра, язвля тебя дери! — засмеялся Петровых. — Скажи спасибо, что ты птица. Был бы человек — на месте шлепнул!

*

Конный отряд Струнникова ожидал погрузки на узловой станции. Старый паровичок медленно подтаскивал к низкой платформе запыленные вагоны товарного состава.

— Первые пять вагонов — под лошадей! — скомандовал Струнников. — Шестой — под фураж!

Заскрипели отодвигаемые двери, бойцы подносили к вагонам тесаные бревна, складывали из них помосты для лошадей. Струнников придержал коня возле одного из вагонов и увидел внутри большие ящики с лаконичной надписью: «Петромузей».

— Освободить вагон! — скомандовал он.

Несколько бойцов бросились выполнять приказание командира. На одном из ящиков, накрывшись бушлатом, богатырским сном спал Петровых. Под общий смех ящик со спящим матросом вытащили из вагона. И только когда рыжий жеребец, подведенный к вагону, от испуга встал на дыбы и оглушительно заржал, проснувшийся Петровых вскочил на ящик и, прежде чем сообразил, что происходит, выхватил маузер. Конники засмеялись.

— Контра, язвля вас дери! — заорал Петровых. — Грузи ящики обратно!

Конники захохотали. Жеребец, подтягиваемый за повод, неохотно поднялся по бревнам. Петровых бросился наперерез, закрывая дверной проем вагона.

— Осади назад, стрелять буду! — кричал он. — Я везу в Петроград имущество князя Тихвинского!

Со всех сторон послышались гневные возгласы:

— Шкура!

— Барский холуй!

— Гони его в шею!

— К стенке гада!

Бойцы стащили Петровых на платформу, отняли у него оружие и скрутили руки. И тут же, как из-под земли, перед ним появился Струнников на сером в черных яблоках коне.

— Кто такой? — спросил Струнников.

— Холуй князя Тихвинского. Барское добро спасает, — сильным голосом доложил худошавый боец.

— Это я холуй? — задыхаясь от ярости, прохрипел Петровых. — Это я, матрос революционной Балтики, холуй?! Я же тебя, контра, являя тебя дерю!..

— Мандат есть? — спросил Струнников.

Бойцы, державшие Петровых, отпустили его руки, он достал свой мандат и протянул его Струнникову.

— Читай сам, — приказал Струнников.

— «Веками потом и кровью создавалась Россия, — с трудом разбирая текст, читал Петровых. — Куда ни посмотрим, всюду видны плоды рук трудового народа...» — И, уже не глядя в бумагу, как оратор на митинге, Петровых бросал конникам запомнившиеся ему слова мандата: — «Царские и княжеские дворцы, бесценные произведения искусства, коими тешились лишь цари и богачи, стали нашими. Отныне и навечно они возвращены законному владельцу — победителю, революционному народу!» — И неожиданно для себя, подхлестнутый собственным воодушевлением, он закричал: — Ура!

— Ура! — подхватили конники.

Но Струнников дождался паузы и скомандовал:

— Заводи лошадей!

— Не пушу! — закричал Петровых, снова бросаясь к вагону.

— Не дури, матрос, — строго сказал Струнников. — Нам каждая минута дорога. Республика в опасности! На фронт едем! Отойди, слышь!

Петровых метнулся к Струнникову, сунул ему в лицо мандат:

— Читай, если грамотный. «Всем местным властям, железнодорожным начальникам и командирам воинских соединений предписывается настоящим оказывать всяческое содействие товарищу Петровых в доставке ценного груза Республики». Печать Совета Народных Комиссаров видишь? Или неграмотный?

— Грамотный, — заглянув в бумагу, нетвердо сказал Струнников. — Отдайте ему пушку, а вагон отцепите.

И Струнников, вздыбив коня, поскакал вдоль состава.

К Петровых протиснулся худошавый боец, обозвавший его княжеским холуем.

— А не можешь ли ты сказать, Балтика,— засипел он,— в какой сумме выражается стоимость данного имущества? В золотых рублях. Ну, скажем, в тысячах, в миллионах или, допустим, в миллиардах?

— Бери выше,— важно сказал Петровых, укладывая маузер в кобуру,— в биллионах, а может, даже в этих... в бильярдах.

*

Через два дня во внутреннем дворике Петроградского музея служащие разгружали подводы с ящиками, доставленными Петровых. Лошади подбирали с земли остатки сена. Директор музея, придерживая рукой спадающее пенсне, проглядывал длинную опись коллекции, с трудом удерживая довольную улыбку.

— Вы, товарищ Петровых, даже представить себе не можете, какое великое дело вы совершили...— сказал он, пожимая руку матросу.

Рядом с маленьким директором в черной шапочке матрос выглядел гигантом.

— А вы не скажете, товарищ заведующий,— расплываясь в улыбке, спросил он,— в какой примерно сумме выражается стоимость этой коллекции... ну, скажем, в золотых рублях?

— Не скажу. Даже приблизительно. Эта коллекция, собранная князьями Тихвинскими на протяжении почти двух веков, практически цены не имеет. Она бесценна.— Он заглянул в опись.— Вот, скажем, номер шестьдесят семь... Пинтуриккио. Мальчик в голубом. В 1672 году герцог Миланский заплатил за нее золотыми монетами, уложенными в два ряда по всей поверхности картины. Сегодня, в 1918 году, ее цена возросла во много раз. Она уникальна, то есть, иными словами, бесценна. Я прошу вас, Андрей Аполлонович,— обратился он к одному из сотрудников,— откройте пятый ящик... Сейчас вы увидите этот шедевр...

Сотрудники музея вскрыли один из ящиков, подняли крышку.

— Осторожнее, ради бога, осторожнее!..— с волнением произнес директор.

Он отстранил рабочих и аккуратно приподнял слой войлока, под которым оказалась стружка...

Он опустил руки в стружку и вытащил из ящика старый, поломанный стул.

— Что это значит? — обернулся он к Петровых.

Матрос бросился к ящику, запустил руки в стружку и вытащил оттуда старую керосиновую лампу...

Войлок и стружка... Больше в ящике ничего не было.

— Откройте другой ящик... вот этот...— упавшим голосом сказал директор.

И во втором ящике оказалось то же самое — войлок, опилки, старая рухлядь, кирпичи...

— Что вы нам привезли? Где коллекция?!

— Вот этими руками... собственными руками... укладывал,— тихо сказал Петровых, и на лице у него выступили крупные капли пота.

Часть первая

ОДНРУКИЙ СТАРЬЕВЩИК

Трое мальчишек в скуфейках и кургузых послушнических рясах, со свечами в руках молились перед иконой богоматери. Чуть вздрагивало пламя свечей, едва заметно шевелились их губы. В полумраке собора Острогорского монастыря несколько монахов, подоткнув под пояс рясы, мыли пол. Грузный дьякон осторожно заливал масло в большую лампаду зеленого стекла. В гулкой тишине собора слышался негромкий голос:

— Мальчата, отец настоятель кличет.

В дверях стоял плечистый рыжебородый монах. Мальчики накапали воск, поставили свечи перед иконами и, перекрестившись, вслед за монахом вышли из собора.

Мартовское солнце освещало большой монастырский двор.

Настоятель отец Николай, с черной, в первых проседях бородой, в круглых, в железной оправе очках, стоял посреди монастырского двора с представителем укома, бывшим машинистом Сергеем Мызниковым. В кожаной, выдавшей виды фуражке и старой железнодорожной шинели, из-под которой виднелась белая косоворотка, Мызников пристально разглядывал высокого и статного отца Николая. Оба молчали. Чуть в стороне стояли укомовские сани. На козлах, свесив голову и не выпуская из рук вожжей, дремал кучер.

Монах подвел мальчиков к настоятелю и, поклонившись, отошел в сторону, к большим саням, нагруженным сеном. Вооружившись вилами, он взобрался на верх копны и стал сбрасывать сено в распахнутые двери сарая.

— Вот они, дети. Этот, меньшей,— Иннокентий, побольше который — Алексей, а этот вот... долговязенький,— Олександр.— Настоятель ласково поглядел на мальчишек и сказал: — Вот, поедете с этим человеком из уездного комитета... А перед тем соберете свои котомки да к отцу Леонтию загляните, он вам на дорогу харчей соберет.

Мальчики настороженно покосились на Мызникова и, по-

клонившись настоятелю, ушли по узкой каменной дорожке, пересекавшей еще не освободившийся от снега монастырский двор.

— У нас тут они обуты, одеты, накормлены,— тихо сказал отец Николай.— А вы подумали, чем вы их поить-кормить станете и какая судьба им уготована? Времена смутные, пропадут дети.

Мызников заговорил, и голос у него оказался сильным и низким.

— Дети — наше будущее, отец Николай,— сказал он.— Стариков перевоспитывать поздно, а детей отравлять религиозным дурманом мы не позволим. И за судьбу их не бойтесь. Республика их в обиду не даст. Если подумать, для кого мы революцию делали? Для них, для их светлого будущего. По решению укома мальчиков в учение отдаем, ремеслу будем учить, полезному для народа.

— Была бы моя воля, не отдал бы вам мальчиков.

Отец Николай поклонился и отошел от Мызникова.

Мальчуган, которого настоятель назвал Иннокентием, стоял перед высоким сутулым монахом в светлой келье, уставленной иконами и загрунтованными досками. На доске, стоявшей у стены, был изображен Георгий Победоносец на коне, длинным копьём пронзающий змея.

— Данило, а Данило...— разглядывая всадника, спросил мальчик.— А кони красные бывают?

Данило поглядел на доску, бережно погладил Иннокентия по голове.

— А то... Вот когда солнышко к земле клонится, оно все вокруг в свой цвет красит... Не токмо кони, а человек и тот красный делается. Не замечал?

— Не...— покачал головой мальчик.

Данило обтер руку полой перепачканного краской подрясника и перекрестил Кешку.

— Полюбил я тебя, Иннокентий, за нрав кроткий, за послушание... Не боязно ехать-то?

— Боязно,— тихо ответил Кешка.

— А ты не бойсь, Иннокентий. Может, оно и к лучшему. Людишек повидаешь, божий мир поглядишь. Ладан-то небось надоело нюхать? — засмеялся Данило.

Иннокентий поглядел на валенки Данилы.

— Валенки-то... каши просят,— улыбнулся Кешка.— Я тебе новые достану.

— Где же ты их возьмешь? — усмехнулся Данило.

— В городе-то, говорят, чего только нет...

Данило тихо рассмеялся и снова перекрестил Кешку:

— С богом! Ступай! Добрая ты душа...

Укомовские сани выехали из монастырских ворот, над ко-

торами возвышалась квадратная церковь, почти в сумерки. Мызников сидел рядом с кучером. Он то и дело оборачивался назад, ободряюще подмигивал ребятишкам, сидевшим на заднем сиденье. Кучер помахивал кнутом, и лошади весело бежали по дороге, ведущей в заснеженное поле. Солнце едва скрылось за лесом, и облака, подсвечиваемые им, были как бы прозрачны... У Мызникова было хорошее настроение, и он запел:

Мы красная кавалерия,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо, мы смело
В бой идем,
Идем!

Он пел негромко и как-то задумчиво. Мальчики сзади чуть приободрились, и первая улыбка появилась на лице Кешки...

Веди ж, Буденный,
Нас смелее в бой,
Пусть гром гремит,
Пускай пожар кругом,
Пожар кругом.
Мы беззаветные герои все.
И вся-то наша жизнь есть борьба,
Борьба!

Дорога свернула в лес, сразу потемнело, сани обступили высокие стволы редко посаженных сосен. Мызников снова обернулся к мальчишкам, ребята смущенно опустили головы. И вдруг позади послышался топот. Мызников привстал и, выхватив вожжи и кнут у кучера, стал подхлестывать лошадей. На дороге появились всадники.

— Мызников, стой! — закричал один из них. — Стой! Стой, комиссар, все равно не уйдешь!

За поворотом дороги, между стволами деревьев, хорошо были видны фигуры всадников. Послышались выстрелы. Двое всадников, отделившись от остальных, понеслись наперерез саням.

Мызников бросил вожжи кучеру и, пригнув головы мальчишек книзу, выхватил револьвер.

— Гони! — крикнул он кучеру. — Это бандиты, лагутинцы! Гони! Спасай ребятишек!

И Мызников, прыгнув с саней, упал в снег. Чуть припод-

нявшись, он выстрелил, один из всадников упал с лошади. Другой, нагнав сани, почти в упор выстрелил в кучера. Кучер упал в снег. Лошади, возбужденные выстрелами, понесли... Сани подбрасывало на кочках, било о стволы деревьев, и мальчишки едва удерживались, чтобы не вывалиться.

Выстрелы слышались уже далеко позади, когда лошади вынесли сани к полотну железной дороги. Возле насыпи они остановились, и мальчишки бросились врассыпную.

— Шурка! Алешка! Погодите! — кричал Кешка, но грохот проходящего состава заглушал его голос.

Мальчики не слышали его, и, когда поезд, замедлив ход, вдруг остановился, Кеша увидел, что он остался один. Из леса доносились выстрелы, и Кеша, путаясь в раске, стал карабкаться вверх по заснеженной насыпи, к вагонам, на зеленых стенках которых были прикреплены таблицы:

ПСКОВ — ПЕТРОГРАД.

На подножке одного из вагонов, накинув на плечи шинель, курил красноармеец в буденовке. Увидев Кешку, он крикнул:

— Давай скорее, монах! А то тронемся, не поспеешь.

Кешка остановился, что-то вспомнив.

— Погодите, я сейчас! — крикнул он в ответ, кубарем скатился вниз, подбежал к саням и, прихватив свой мешочек, снова стал карабкаться по насыпи вверх.

*

Поздним вечером по безлюдному в это время Загородному проспекту шел запоздалый прохожий. Под мышкой он нес какой-то плоский предмет, аккуратно завернутый в старую кухонную клеенку. Близилась ночь, и только кое-где тускло светились окна. Прохожий, поеживаясь от пронизывающего весеннего ветра, по мокрому снегу торопливо шагал в сторону Невского. И вдруг совсем рядом, из подворотни, послышалось странное завывание. Прохожий вздрогнул и остановился. Из подворотни появились странные, похожие на призраки фигуры в длинных белых балахонах. Чуть покачиваясь из стороны в сторону, то взлетая над землей, то опускаясь, они стремительно приближались к прохожему, испуская пронзительный, леденящий душу вой. Прохожий застыл от ужаса. Он узнал их, узнал, хотя видел их впервые и не верил в их существование.

Это были те самые «попрыгунчики», о которых в Петрограде говорили шепотом, загадочные «попрыгунчики» — не то пришельцы с того света, не то просто переодетые налетчики-грабители.

Оцепенение прошло, и прохожий побежал. Он бежал по-

среди мостовой, а за ним с воем и улюлюканием неслись «попрыгунчики».

У площади Пяти Углов «попрыгунчики» настигли и окружили его. Прохожий, испугавшись припрыгивающих вокруг него призрачных гигантов, споткнулся, упал, уронил на мостовую очки и, наконец поднявшись, с воплем побежал в обратную сторону. «Попрыгунчики» догнали его, и один из них, закатываясь нечеловеческим смехом, вырвал у него сверток.

— Отдайте, отдайте! — закричал в отчаянии прохожий. — Возьмите деньги! Все, что у меня есть... только отдайте!

Но «попрыгунчики» с гиканьем и воем, высоко взлетая над мостовой, уносились всё дальше и дальше, разбрызгивая мокрый снег, смешавшийся с липкой рыжей грязью.

Расстояние между ними и прохожим все увеличивалось, а он все бежал и бежал за ними, пока они совсем не скрылись из его глаз. Прохожий, ограбленный «попрыгунчиками», меньше всего мог предположить, что уже наутро драгоценный для него сверток будет лежать на письменном столе Карла Генриховича Витоля, начальника Петроградского уголовного розыска.

Усталый, с землистым от бессонницы лицом, не выпуская из рта погасшую папиросу, он сидел на обыкновенном венском стуле перед великолепным письменным столом с замысловатыми бронзовыми инкрустациями, принадлежавшим еще недавно какому-то крупному царскому вельможе, в особняке которого и располагался Петроугрозыск. Кресло, впрочем, такое же массивное и так же инкрустированное темной бронзой, находилось тут же, но Витоль не пользовался им, а представлял его в распоряжение посетителей.

Сейчас в нем сидел уже знакомый нам директор Петроградского музея.

— Георгий Абгарович, взгляните, пожалуйста, — с отчетливым латышским акцентом сказал Витоль и развернул сверток.

В свертке оказалась небольшая картина без рамы, изображавшая какой-то мифологический сюжет.

Георгий Абгарович торопливо вытащил из кармана пенсне и, нагнувшись, стал внимательно разглядывать полотно. Витоль следил за ним, покусывая потухшую папироску. Наконец Георгий Абгарович поднял лицо и взглянул на Витоля.

— Откуда она у вас? — спросил он взволнованно.

Витоль не ответил и в свою очередь спросил:

— Представляет ли она какую-нибудь ценность?

— Безусловно. Это «Амур и Психея» работы Франсуа Буше, картина из коллекции князя Тихвинского.

Витоль кивнул головой.

— Как эта картина оказалась у вас? — снова спросил Георгий Абгарович.

- Ее похитили «попрыгунчики» у какого-то прохожего.
 - Вы задержали его?
 - Мы задержали одного из «попрыгунчиков».
 - Было бы лучше, если бы вы задержали прохожего.
- Оба молчали.

— Обнадеживающая находка,— сказал Георгий Абгарович.— Все эти годы я считал эту коллекцию... утраченной... И вот теперь... эта находка. Значит, коллекция не погибла...

— А вы не допускаете,— спросил Витоль,— что сохранилась только одна эта картина?

— Допускаю. Но вот какое странное совпадение... Недели полторы назад наша сотрудница, проглядывая иностранные газеты, обратила внимание на небольшую заметку. Речь шла о том, что шведский коммерсант Ивар Свенсон ведет переговоры о приобретении одной из картин коллекции князя Тихвинского. Я не очень поверил этому, поскольку подобные сообщения всякий раз оказывались блефом.

Витоль молча положил папиросу.

— Я даже не представляю себе, кому поручить это дело. Все мои сотрудники просто валятся с ног от усталости.

— Речь идет о бесценных сокровищах искусства, принадлежащих народу,— неожиданно резко заговорил Георгий Абгарович.— Владимир Ильич и Анатолий Васильевич придают нашему делу первостепенное значение. Наш музей получает дрова на эту зиму по специальному решению Совнаркома. Если вы не сумеете изловить двух-трех спекулянтов, это не нанесет России такого ущерба, как потеря этих сокровищ.

— Есть у меня один сотрудник... только что демобилизовался. Опыта у него еще маловато, но паренек старательный. К тому же сам искусством интересуется... Живописью.

На высоких малярных козлах, под самым потолком круглого зала в особняке, где помещался угрозыск, Макар Овчинников закрашивал белой краской плафон с изображением Венеры, рождающейся из пены вод в окружении амуров с трубами. Столы сотрудников были сдвинуты к входной двери и покрыты газетами.

Витоль вошел в зал и, увидев Макара, поморщился:

— Тебе что, Макар, делать нечего?

— Я, Карл Генрихович, по поручению партиячейки... Решили ликвидировать этих венер и амуров. Завтра придет Миша Рубашкин и распишет потолок революционным искусством. В центре нарисует пролетария, мускулистой рукой сжимающего глотку многоголовой гидры-разрухи, а по бокам — рабоче-крестьянский орнамент в виде серпов и молотов вместо этих амуров и психеев.

— Слезай, Макар. Есть для тебя дело поважнее, тоже... по живописной части... Будешь этих амуров и психеев... разыскивать.

Он подошел к буфету и достал с полки одну из папок:

— Вот, держи. Познакомишься с делом, найдешь.

Он направился к двери и, остановившись на пороге, сказал:

— А Рубашкину своему скажи, чтобы не приходил. Пото-лок уродовать запрещаю.

Витоль ушел. Макар спустился вниз и взял папку, на кото-рой было написано:

ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ КОЛЛЕКЦИИ

бывш. кн. Тихвинского С. А. 1918 год.

Папка оказалась довольно тощей. Содержалось в ней лишь несколько свидетельских показаний, часть из которых была написана чернильным карандашом, и тоненькая брошюрка с описанием собрания художественных ценностей князя.

Из свидетельских показаний Макар узнал, что комиссар Кочин, проводивший реквизицию имущества кн. Тихвинского, был срочно вызван в Петроград, а упаковкой и доставкой кол-лекции руководил матрос Петровых. Сам Петровых был, ко-нечно, вне всяких подозрений, поскольку по происхождению он был из рабочих и на фронте показал себя преданным бой-цом революции.

В упаковке коллекции, помимо Петровых, принимали уча-стие еще два человека — бывший управляющий князя Илья Спиридонович Тараканов и плотник Егор Поселков, которого Петровых и Тараканов в своих показаниях называют просто Митричем. Однако поматериалам дела и Митрич и Тараканов также оказывались вне подозрения, поскольку упаковка ящи-ков производилась под строгим надзором самого Петровых, который ничего подозрительного за ними не заметил.

Этими сведениями и ограничивалось дело о похищении коллекции.

За отсутствием каких бы то ни было улик и вещественных доказательств, а также в связи с уходом следователя Веден-кина на фронт следствие по делу было прекращено.

Изучив документы и поговорив с Витолем, Макар решил начать новое расследование с допроса задержанного «попры-гунчика».

Макар допрашивал задержанного «попрыгунчика» в круг-лом зале. Все было уже расставлено по местам, и только бе-лое пятно на плафоне напоминало о незавершенной затее Макара.

Макар поднял голову к потолку и, увидев незакрашенную Венеру, в сердцах ударил кулаком по столу.

— Скажешь или нет? — грозно обрушился он на «попрыгунчика». — Я же не чиновник какой-нибудь, я твой брат рабочий!

«Попрыгунчик» съежился:

— Я же говорю... Плюгавенький такой буржуйчик. В очках. В черном пальто.

— Очкастых да в черных пальто в Петрограде тысячи. Как я его буду искать?

— Ты начальство, тебе виднее...

— «Начальство, начальство»... — рассердился Макар. — Три года, как революция, пора бы отвыкнуть от этой рабской психологии. А если, к примеру, завтра мировая революция, что будешь делать?

— А чего делать? — осклабился «попрыгунчик». — Не знаю. Тебе виднее, ты начальство...

— Ох и темный ты!.. — огорченно вздохнул Макар. — Ну хоть голос у него какой, можешь описать?

— Голос у него был жалобный. Я, говорит, денег вам целную кучу отвалою, у меня денег, говорит, куры не клюют. А на что они нам, деньги?! Мы никого не трогаем, так только, пугаем, да и то больше буржуев недорезанных.

— Толку от тебя, Козихин, как от козла молока! Ну, к примеру, глаза у него какого цвета, волосы?

— Волосы? Не то лысый, не то в кепке. А глаза... я же говорю — в очках. В темных очках, вроде как у слепых.

— Ладно, подпиши...

Макар протянул протокол допроса Козихину, тот широко улынулся:

— Я неграмотный.

— Ставь крестик. Вот здесь.

Козихин пососал кончик чернильного карандаша и поставил крестик.

— Да, вспомнил, — спохватился он. — На ногах у него сапоги были хромовые... или галоши резиновые... В темноте блестели.

— Так сапоги или галоши?

Козихин задумался.

— Не помню. Вот только помню, что блестели. Может, галоши, а может, и сапоги.

Козихин, однако, неспроста путал галоши с сапогами. Человек, у которого «попрыгунчики» отняли картину, действительно носил галоши, но галоши глубокие, доверху закрывающие ботинки.

Галоши эти, в то время как Макар допрашивал Козихина, месили весеннюю грязь на пустынной дачной улице в Озерках, под Петроградом.

Увязая в жидкой и глубокой грязи, человек этот с плете-

ной кошелкой в руке направлялся к двухэтажной даче с цветными стеклами на огромной террасе. Остановившись у калитки, он оглядел дачу, казавшуюся необитаемой, обернулся и, убедившись, что улица пустынна, открыл щеколду, запертую изнутри, и толкнул калитку. По выложенной кирпичами дорожке он направился к крыльцу.

Поднявшись по узкой скрипучей лестнице, он оказался в просторной комнате с высокими, во всю стену, окнами.

Посреди комнаты стояла холодная, как видно давно не топленная, железная печурка, а в углу — мольберт с потемневшей от времени картиной старого голландского мастера, изображавшей трех повес, пирующих в кабачке.

Повсюду у стен стояли картины в золоченых и не золоченых рамах, картины без рам, рамы без картин и просто холсты, свернутые в рулоны.

— Кто там? — раздался простуженный голос из-под груды тряпья, валявшегося на низкой тахте.

— Добрый день, господин Тамарин, — произнес посетитель. — Это я.

Тряпье зашевелилось, и из него появилось бородатое лицо сравнительно молодого человека. Выбравшись из тряпья, он накинул на плечи солдатскую шинель и с брезгливой миной взглянул на вошедшего.

— Вы? Что вам? — спросил он, позевывая.

— Я принес два фунта коровьего масла и мерку пшена...

Тамарин взглянул на посетителя, на этот раз уже с некоторым интересом:

— А что еще принесли?

— Больше ничего, господин Тамарин. Это все, что мне удалось раздобыть.

— Врете, Тараканов. Я же вас знаю. У вас есть еще кое-что. На всякий случай. Если я заупрямлюсь. Так вот, считайте, что я заупрямился.

Тараканов немного поколебался и, пожав плечами, сказал:

— Сало есть... немного... меньше чем два фунта.

Тамарин расхохотался:

— Ладно, берите. Любую берите.

Тараканов отдал кошелку Тамарину, а сам направился к картинам.

Он выбирал. Он вытащил из стоявших у стены ту, которая была ближе всего к стене, аккуратно обтер ее от пыли и поднес к свету.

— Вы варвар, дорогой мой господин Тамарин, — сказал он, качая головой. — Вы так небрежны с картинами, будто это просто хлам, старый, негодный хлам.

— Вот именно — хлам. Старый, негодный хлам, — повторил Тамарин, роясь в кошелке. — Что вы там углядели?

Он подошел к Тараканову и, взглянув на картину, усмехнулся.

— Н-да...— вздохнул он.— Хорошая работа. Тонкая... Очень даже недурная работа.

На картине был изображен мальчик в голубом.

*

В одном из петроградских дворов, похожих на темные глубокие колодцы с выложенным булыжником дном, невдалеке от Кузнечного рынка, высокий молодой человек в черной широкополой шляпе, в ярко-оранжевой блузе и высоких охотничьих сапогах с отворотами голосом ярмарочного зазывалы обращался к выглядывавшим из окон обитателям дома:

— Граждане Советской России! Революция освободила вас от царя, помещиков и капиталистов! Я освобожу вас от рабства вещей. Зачем свободному человеку предметы роскоши?

Могучий голос человека в широкополой шляпе разбудил мальчишку, бывшего юного послушника Острогорского монастыря Иннокентия, а теперь обыкновенного петроградского беспризорника по имени Кешка, а по прозвищу Монах. Не было на Кешке ни скуфейки, ни рясы, и он ничем не отличался от двух своих приятелей, укрывавшихся здесь, на чердаке, от холода и патрулей под рваным, в клочках ваты, грязным одеялом.

Услышав голос старьевщика, Кешка выбрался из-под одеяла, перелез через сломанное кресло с торчащими пружинами и, забравшись на ломберный столик, выглянул из чердачного окна.

Внизу, в прямоугольном колодце двора, человека в широкополой шляпе уже окружало несколько зевак. Старьевщик сбросил с плеча мешок, и Кешка увидел, что вместо правой руки у него пустой рукав.

— В каждой квартире, у каждого хозяина найдется старая картина или хрустальная люстра, бронзовый канделябр или фарфоровая статуэтка, — продолжал он. — Вчера эти вещи украшали вашу жизнь, сегодня они стали камнем на шее свободного человека! Несите эти камни сюда, и вы получите за них хорошие деньги, миллионы рублей!

Изящно поклонившись, он взмахнул шляпой. К старьевщику подошел невзрачный человечек в выцветшем сюртуке чиновника почтового ведомства и протянул ему полированный деревянный футляр.

Старьевщик приподнял крышку и восхищенно прищелкнул языком. В углублениях на вишневом бархате лежали два дульных пистолета с воронеными стволами и ручками, отде-

ла́нными перламутром. Старьевщик вынул один из пистолетов, ловко подбросил его.

— Эта бельгийская безделушка изготовлена в городе Льеже почти сто лет назад. Зачем гражданину свободной России эта бессмысленная и опасная вещица? Я освобождаю вас от нее.

Кешка, раскрыв рот, следил за происходящим внизу.

— Осторожнее! — закричал человек, когда старьевщик взвел курок. — Один из этих пистолетов заряжен!

Вокруг старьевщика сразу образовалась толпа. Пожилая женщина с трудом тащила мраморный бюст императора Александра I.

— Русских царей и императоров не беру. Испанских, французских, австро-венгерских, римских беру, русских — не беру.

За спиной Кешки послышался шум, крики, брань, мимо него прошмыгнули выбравшиеся на крышу приятели.

— Кешка, шухер! — крикнул один из них.

— Мотай! — закручал другой, и оба бросились наутек, громяхая по железной крыше.

Кешка не успел опомниться, как из окна высунулась раскрасневшаяся физиономия разъяренной старухи.

— Вору! Грабители! Караул! — истошно заголосила она, схватив Кешку за ногу. — Попался, урка! Я тебе покажу, как бельё воровать!

— Пусти! На что мне твое бельё!

Кешка стащил с ее плеча мокрую наволочку и накинул на голову старухи.

— Караул, режут! — заголосила она.

В толпе раздался взрыв смеха.

А Кешка вырвался и побежал по крыше.

Из другого окна проворно выскочил дворник и бросился ему наперерез.

— Ахмет, держи его! — закричала старуха, освободившись от наволочки.

Все забыли о старьевщике и, задрав головы, следили за погоней.

— Ахмет, он за трубой! — кричала рыжая толстуха из окна верхнего этажа.

Старьевщик бросился к пожарной лестнице и, засунув за пазуху пистолет и ловко подтягиваясь одной рукой, стал подниматься вверх.

— Поймал! — раздался ликующий голос толстухи.

— Бей его! Бей негодяя! — послышался визгливый голос снизу.

— Отпусти мальчишку! Стрелять буду! — крикнул старьевщик, добравшийся до самого верха лестницы.

Дворник ташил упиравшегося Кешку к слуховому окну. Старьевщик вылез на крышу и поднял пистолет.

— Отпусти мальчонку, или я сделаю дырку в твоём картузе, чтобы не повредить твою дурацкую голову!

Из окна третьего этажа выглянул пожилой человек, на полном лице которого острая бородка клинышком и тоненькие усики выглядели несколько легкомысленно при его тяжелой, осевшей к старости фигуре. Он выглянул из окна как раз в тот момент, когда старьевщик картинно подбросил левой рукой пистолет... Раздался выстрел, и фуражка Ахмета полетела вниз, во двор. Человек, продававший дуэльные пистолеты, поднял фуражку дворника, и окружавшие его люди увидели дырку в тулье фуражки.

— Я предупреждал, что один из пистолетов заряжен, — испуганно лепетал человек.

Ахмет отпустил Кешку и скрылся в слуховом окне. Старьевщик снял шляпу и поклонился невольным зрителям этого представления. Потом он подошел к краю крыши и бросил пистолет в раструб водосточной трубы. Пистолет с грохотом пролетел все пять этажей и выскользнул из трубы к ногам хозяина.

— Вот это да... — вырвалось у Кешки.

— Идем, малыш, со мной, — торжественно сказал старьевщик и протянул руку Кешке.

— А вы... кто?.. — растерянно спросил Кешка.

— Я? — усмехнулся старьевщик. — Я разрешаю тебе называть меня просто... маркизом.

Они пошли по мокрой от весеннего дождя крыше и скрылись за дымовыми трубами.

Человек с бородкой проводил их взглядом и закрыл окно.

— Алена, — обратился он к женщине, сидевшей в кресле-качалке и читавшей какую-то французскую книгу. — Ты не помнишь, Алена, в двенадцатом году... или в тринадцатом, если я не ошибаюсь, мы смотрели с тобой в цирке Чинизелли номер «Однорукий Вильгельм Телль» — молодой человек левой рукой сбивал яблоко с головы мальчика...

— Помню, конечно, помню, это был эффектный номер, — сказала женщина. — А почему ты вдруг вспомнил об этом?

— Так... по странному стечению обстоятельств.

Он прошелся по комнате и остановился возле портрета, с которого он сам из того самого далекого двенадцатого года смотрел на самого себя сегодняшнего. В углу под портретом стояла подпись художника — И. Репин, а к раме была приделана медная дощечка с надписью:

Портрет известного криминалиста
Прокофия Филипповича Доброво. 1912 г.

В крохотной комнатухе большого дома на Каменноостровском или точнее — на улице Красных Зорь, как он стал называться после революции, сидели двое: хозяин комнаты, уже знакомый нам Илья Спиридонович Тараканов, и узколицый блондин с тщательно приглаженными редкими волосами.

Закинув ногу на ногу, блондин курил длинную папиросу, с интересом разглядывая попугая в клетке, стоявшей на широком подоконнике.

— Мне нужны деньги и паспорт, — сказал Тараканов. — Вы принесли деньги и паспорт?

— Вы их получите, как только у меня на руках будет картина, которую вы мне обещали, — с акцентом произнес блондин.

— Я вам уже сказал: картину похитили «попрыгунчики».

— Да, да... «Попрыгунчики». Я прекрасно понимаю, что это очень неприятно, — кивнул блондин, глядя на хозяина слегка выпученными глазами. — Я верю вам, господин Тараканов. Но мои компаньоны хотели бы убедиться в том, что коллекция князя у вас. И мы с вами в прошлый раз договорились, что вы предоставите мне хотя бы одну картину. Любую, по вашему выбору.

Тараканов поправил очки и поднялся:

— Хорошо. Если вы так настаиваете...

Он подошел к тяжелому, громоздкому буфету, занимавшему едва ли не половину всей комнаты.

— Что поделаешь, господин Тараканов! В наше трудное время всюду нужны доказательства, — повторил блондин.

Тараканов достал из-за буфета завернутую в цветную ткань картину.

— О! — невольно вырвалось у блондина, когда Тараканов поставил на стул картину в скромной дубовой раме.

— Надеюсь, это доказательство, господин Артур?

— Пинтуриккио... Этому невозможно поверить! — восторженно прошептал господин Артур. — «Мальчик в голубом»!

— Мне срочно нужны деньги и паспорт, — быстро заговорил Тараканов. — Без них я ничего не могу сделать... «Амур и Психея» Буше уже висит в музее. Надеюсь, вам понятно, что это означает?

— Нет, простите, не понимаю.

— Это означает, дорогой господин Артур, — со сдержанным раздражением объяснил Тараканов, — что картина из исчезнувшей коллекции князя должна привлечь к себе внимание властей, что поиски коллекции неизбежно возобновятся. Они уже идут, вероятно. И я не исключаю, что меня уже разыскивают. Мне нужны деньги и паспорт, — снова повторил Тараканов и выжидающе посмотрел на Артура.

— Деньги вы получите завтра... так сказать, аванс... А документы... — Артур достал из кармана паспорт и протянул его Тарakanову: — Отныне вы есть Леопольд Францевич Авденис, коммерсант из Либавы.

Тараканов раскрыл паспорт и увидел фотографию человека с фатоватыми усами.

— Усы? — удивленно сказал Тараканов. — Почему усы?

— Да, я совсем забыл поставить вас в известность: Леопольд Францевич носит шнурбарт, усы.

— Но у меня-то их нет?! — возмутился Тараканов. — Для того, чтобы вырастить такие усы, понадобится полгода.

— Зачем полгода... Не надо... полгода. — Холеный господин протянул Тараканову конверт: — Здесь вы имеете... два шнурбарт... то есть два уса, на всякий случай. — Он засмеялся. — Если вдруг ветром сдует. А это — лак, чтобы их наклеить. — Он вытащил из кармана маленькую бутылочку. — Отличный лак, немецкая фирма «Лейхнер».

— Ур-р-ра! Ур-р-ра! Ур-ра! — неожиданно закричал попуай.

На другой день Илья Спиридонович направился на набережную Фонтанки. Усы Леопольда Францевича Авдениса уже украшали его физиономию, и если бы не темные очки, от которых Илья Спиридонович не мог отказаться, он был бы неузнаваем.

Моросил мелкий дождь. Тараканов шел, как бы прогуливаясь, держа обеими руками за спиной толстую трость с набалдашником. У Горбатого моста он остановился и, облокотившись на перила, долго разглядывал старенькую баржу, пришвартованную к гранитной стене набережной. Когда-то на ней привезли сюда дрова, а потом, в неразберихе прошлых лет, забыли о ее существовании. Тараканов перешел через Горбатый мост и направился к барже.

В трюме баржи, посреди каюты, стояла докрасна нагретая буржуйка, труба которой уходила в круглый иллюминатор. На стене, заклеенной старыми «Биржевыми ведомостями», висела картина в позолоченной раме, такая темная, что разобрать, что именно на ней изображено, было просто невозможно. На столе рядом с бюстом Наполеона стояла миниатюрная копия конной скульптуры Донателло.

Однорукий Маркиз, обнаженный до пояса, уже не был одноруким, в правой «несуществующей» руке он держал шпагу и показывал Кешке фигуры фехтования. Кешка зачарованно смотрел на Маркиза.

— Двойной выпад с переброской шпаги в левую руку... — пояснял Маркиз. — Прием, с помощью которого д'Артаньян одолел своего коварного противника де Рошфора. Смотри внимательно. Эн, де, трау, катр, сенк...

Он показал Кешке прием и бросил ему шпагу.

— Репете!.. Эн! Де! Труа! Катр! Сенк!

Кешка повторил показанный прием.

— Для начала манифик! Если возникли вопросы, задавай!

— А что такое... манифик? — спросил Кешка.

— Манифик... в переводе с французского... ну, скажем — превосходно, блестяще. Еще вопросы есть?

— Дяденька Маркиз, а где мне достать валенки?

Маркиз расхохотался:

— Валенки? Зачем тебе валенки? Зима-то вроде кончилась.

— Эта кончилась, другая будет.

Маркиз снова засмеялся:

— Будут тебе валенки.

— Так то не мне, дяденька Маркиз, большие нужны, для Данилы.

— Для Данилы? Найдем и для Данилы. Итак, эн! Де! Труа! Катр! Сенк!

Илья Спиридонович, некоторое время стоявший возле баржи, неожиданно проворно для своего возраста перебрался через перила и, спустившись вниз по лестнице, скрылся в трюме.

Когда он открыл дверь в каюту, шпага, брошенная Маркизом, воткнулась в деревянную переборку прямо над его головой.

— Браво! — усмехнулся он.

— Что вам угодно? — сухо спросил Маркиз.

— Вы, кажется, не узнали меня? Меня прислал к вам Сергей Александрович.

— Присаживайтесь, — сказал Маркиз и накиннул на плечи свою оранжевую блузу. — Отец Иннокентий, выйди на палубу, подыши воздухом.

Кешка завернулся в одеяло и выскользнул из комнаты.

— Вы из Парижа, Илья Спиридонович? — спросил Маркиз, когда они остались вдвоем.

— Я получил от князя письмо. Сергей Александрович указал на вас как на человека, который может переправить через границу кое-что из его имущества, — тихо сказал Тараканов, протирая стекла очков.

— Я этим больше не занимаюсь, — ответил Маркиз, скручивая сигарку из газеты. — Я не хочу ссориться с Советской властью.

— Поэтому вы скупаете за гроши ценные произведения искусства и продаете их иностранцам? — В голосе Тараканова Маркиз почувствовал угрозу.

— Что вы хотите переправить? — небрежно спросил Маркиз.

— Кое-какая живопись, скульптура.

— Много?

— Несколько ящиков, которые умещаются на одной под-
воде.

Маркиз усмехнулся:

— А «Медного всадника» вы не собираетесь отправить
князю за границу?

— Нет, «Медного всадника» мы с вами оставим на месте.

— Простите мое любопытство, — сказал Маркиз, — но я
хотел бы знать, где находятся эти ценности?

— Это вы узнаете в свое время.

Маркиз усмехнулся.

— Разрешите взглянуть на вашу трость, — сказал он и,
взяв трость, быстрым движением отвинтил набалдашник и
обнажил лезвие кинжала.

— Я купил эту трость в Гамбурге пять лет назад, но даже
не подозревал о ее секрете.

— Вы неточны, господин Тараканов, эта трость действи-
тельно приобретена в Гамбурге, но не вами, а мною, в ту са-
мую поездку, когда я сопровождал князя в качестве воспита-
теля его младшего сына. Как видите, Илья Спиридонович, я
тоже кое-что знаю... Вы рассчитываете на мою помощь. А если
я откажусь? Я не уверен, что смогу вам помочь.

— Вы не откажетесь, — улыбнулся Тараканов. — Вы слиш-
ком многим обязаны князю. Это во-первых. А во-вторых...
Я полагаю, вам не хотелось, чтобы большевики узнали, что
бегство князя Тихвинского было организовано вами, господин
Шиловский.

— Вы, кажется, вздумали меня запугивать, господин Тара-
канов? Запомните: я ничего не боюсь. Я не боюсь ни вас, ни
бога, ни черта.

Он внимательно, изучающе поглядел на Тараканова.

— Насколько я понимаю, — сказал Маркиз, — вы знаете,
где находится коллекция князя?

Тараканов промолчал.

— Так, так, — усмехнулся Маркиз. — Значит, похищение
коллекции... дело ваших рук.

— Я это сделал по поручению князя, — улыбнулся Тарака-
нов. — Вы знаете мою преданность его сиятельству.

— Ваша преданность!.. — Маркиз задумчиво посмотрел на
Тараканова, потом подошел к двери и вытащил шпагу, торчав-
шую в деревянной переборке. Он несколько раз взмахнул
шпагой, рассекая воздух, и наконец глухо, не оборачиваясь к
Тараканову, сказал: — Хорошо. Я помогу вам переправить
коллекцию через границу. Вы правы, я действительно многим
обязан князю. И я не хочу, чтобы эти сокровища были раз-
граблены... — И, обернувшись, добавил: — Или попали в ваши
руки.

Тараканов улыбнулся:

— Вы не доверяете мне. Что ж, это ваше право. Со временем вы сами убедитесь, что я не обманываю ни вас, ни князя.

Маркиз поклонился.

— А этот ваш мальчуган... он нам пригодится, — сказал Тараканов. — Это очень хорошо, что у вас есть мальчуган.

*

На узорных воротах Знаменского имения князя Тихвинского висел большой амбарный замок. Калитка тоже была закрыта. Маркиз посадил Кешку, и тот проворно перебрался через ограду.

— Отодвинь щеколду, — сказал Тараканов.

Тяжелая заржавленная щеколда не открывалась.

— Камнем стукни, — посоветовал Маркиз.

Кешка нашел камень и стукнул по щеколде. Щеколда подалась. С резким скрипом открылась калитка. Когда все трое вошли, Тараканов прикрыл калитку и задвинул щеколду. К опустевшему барскому дому вела широкая липовая аллея, заросшая травой и сорняком. Поднявшись на парадное крыльцо, Тараканов достал ключ и открыл дверь. Из просторного вестибюля два полукруглых марша мраморной лестницы вели на второй этаж.

В парадных комнатах было полутемно. Свет едва проникал через закрытые ставни, на стенах не было картин, исчезли ковры, гобелены и мебель...

Тараканов остановился возле камина, на котором когда-то стояли часы со всадником. А Кешка подошел к зеркалу, покрытому густым слоем пыли. Он стал водить пальцем по стеклу, и в луче пробивающегося из-за прикрытых ставен света постепенно появился причудливый контур сказочного коня с узкой длинной шеей, с вьющейся по ветру гривой... Маркиз подошел к зеркалу и нарисовал на Кешкином коне всадника в широкополой шляпе. Кешка засмеялся.

— А ну-ка, поди сюда, — окликнул его Тараканов и, указав на камин, сказал: — Полезай.

— Не лезу! — заупрямился Кешка.

— А я тебе говорю — полезай! — вспылил Тараканов.

— Чего это я в печку лезу? — Кешка посмотрел на Маркиза.

— Зачем ему лезть в камин?

— Скажите ему, чтобы лез в камин, я объясню, что делать.

Маркиз кивнул Кешке, и Кешка скрылся за каминной решеткой.

— Нащупай колесико. Сбоку. Нашел?

— Нашел.

— Поверни налево.

— Не крутится.

— А ты посильнее!

Тараканов прислушался к едва уловимому скрипу, доносившемуся из камина. И вдруг камин слегка вздрогнул и медленно стал поворачиваться, открывая тайник...

— Черт поberi! — засмеялся Маркиз. — Надежное местечко!

Камин, повернувшись, открыл проход в темную комнату.

Тараканов нащупал в темноте фонарь, зажег его и осветил узкую комнату. Комната была пуста.

Кешка нагнулся и поднял с пола разбитую фарфоровую статуэтку.

— Что ты там нашел? — спросил Маркиз.

Он взял у Тараканова фонарь и осветил голубую фарфоровую фигуру коня с отбитым крылом.

— Лошадка... С крылами, — сказал Кешка.

— Это Пегас. Крылатый конь вдохновения, — сказал Маркиз.

В дрожащем свете фонаря Пегас казался сказочно красивым. Его глаза диковато смотрели на Кешку, а сохранившееся крыло, казалось, вздрагивало и трепетало.

— Где же ваши... ящики? — спросил Маркиз у Тараканова.

Тараканов вырвал из рук Кешки Пегаса и со злостью швырнул его на пол. Конь разлетелся вдребезги.

— При чем же тут этот... несчастный Пегас? — усмехнулся Маркиз.

К воротам имения тем временем подъехал удивительный кортеж. Впереди, на извозчике, рядом с молодой красивой дамой в пудренном парике сидел разбитной парень в кожаной тужурке, с мотоциклетными очками, поднятыми на лоб. За извозчиком ехал ломовик с ящиками и полосатой сторожевой будкой. За ломовиком следовала телега с гусарами и гренадером в высокой шапке, а еще дальше шесть лошадей, запряженных цугом, тащили золоченую карету, в которой какие-то молодые люди распевали «Яблочко». Кортеж остановился около ворот, парень с мотоциклетными очками соскочил с пролетки и, открыв амбарный замок, распахнул ворота. Вся процессия с шумом подкатила к барскому особняку.

Перепаханный сажей Кешка выбрался из камина, снова закрывшего вход в тайник, в ту минуту, когда снизу послышался шум.

— Кто это? — встревожился Тараканов. — Что там за люди?

Маркиз подтолкнул Кешку за плечи.

— Ну-ка, отец Иннокентий, сбегай узнай, что там происходит.

Возле парадного подъезда заканчивались приготовления к киносьемке.

Возле полосатой будки прохаживался гренадер со старинным ружьем, у лестницы стояла карета, в которой сидела красавица в пудренном парике, на высоких козлах восседал ливрейный кучер в треуголке, а в открытой автомашине рядом с оператором и кинокамерой стоял наголо обритый режиссер в клетчатой курточке с накладными карманами. Приложив рупор ко рту, он кричал:

— Приготовились!.. Поехала карета! Камера!

Оператор завертел ручку. Гренадер сделал «на к-раул». Дама, приложив к глазам лорнет, кокетливо выглянула из-за занавесок кареты.

— Стоп!— закричал режиссер.— Где грумы? Не вижу грумов! Боржомский, где грумы?!

Парень в мотоциклетных очках бросился к режиссеру.

— Какие грумы, Яков Николаевич? В сценарии грумов нет.

— А голова у вас на плечах есть?!— кричал режиссер.— Парадный выезд, шестерка цугом, ливрейный кучер, а кто на запятках? Я вас спрашиваю, кто на запятках?!

— На запятках? Пожалуйста, Яков Николаевич, я сам встану на запятки...

— Мне нужны грумы или хотя бы... негритенок!

— А где я возьму вам негритенка? Мы с вами не в Африке, Яков Николаевич.

— Вы уволены, Боржомский. Съемка отменяется,— неожиданно спокойно сказал режиссер и стал раскуривать погасшую на ветру трубку.

Именно в этот момент парадная дверь приоткрылась, и из нее выглянула удивленная физиономия Кешки.

— Съемка продолжается!— снова закричал Яков Николаевич.— Я нашел вам грума, Боржомский. Берите этого мальчишку, и чтоб через пять минут на запятках был негритенок!

Маркиз через щель в ставнях увидел, как Боржомский схватил Кешку за рукав и потащил к костюмерше, стоявшей на подводе у раскрытого ящика с костюмами.

— Пойдемте, Илья Спиридонович, нам тут делать больше нечего. Полюбопытствуем, как снимают кино.

— Стоит ли рисковать?— спросил Тараканов.

— Не бойтесь,— ответил Маркиз.— Кроме съемки, их сейчас ничего не интересует.

Когда Тараканов и Маркиз вышли на парадное крыльцо, режиссер сразу же обратил внимание на элегантную фигуру Маркиза.

— Хорошо стоишь!— крикнул ему режиссер.— Так и оставайся. Наденьте на него камзол! А вы,— крикнул он Тараканову,— будете открывать дверцы кареты!

— А по какому, простите, праву...— начал было Тараканов.

— Не спорьте, Илья Спиридонович,— остановил его Маркиз.— Отдадим несколько минут нашей жизни Великому Немому!

Рассуждать было поздно — на них уже надевали цветные камзолы и пудренные парики.

— Съемка!— закричал режиссер.— Поехала карета! Камера!

Карета тронулась. Кешка с вымазанной черной краской физиономией, в непомерно большом камзоле и в парике, с растерянным видом трясся на запятках. Когда карета остановилась, Тараканов, бессмысленно улыбаясь, распахнул дверцы, красавица медленно и величественно поднялась по ступеням, и Маркиз застыл в изящном поклоне.

Когда съемка закончилась, режиссер подозвал к себе Кешку и сказал:

— В понедельник приходи на кинофабрику. Я начинаю снимать новую фильму «Гуттаперчевый мальчик». Будешь играть роль! А пока — держи!

Он достал из сумки, лежащей на сиденье, буханку хлеба и отдал ее Кешке.

Автомобиль загудел и тронулся вслед за шумным кортежем, покидавшим имение.

— Это что, гонорар?— спросил Кешку Маркиз, показывая на буханку.

— Не... хлеб...— улыбнулся Кешка, махнув на прощанье рукой режиссеру.

— Ну что ж, Илья Спиридонович,— усмехнулся Маркиз,— вас кто-то опередил?

— Все-таки отвратительный у вас характер,— поморщился Тараканов.— Только вы напрасно злорадствуете... Еще далеко не все потеряно, Шиловский. Для начала мы поместим вашего мальчугана в детский дом имени Парижской коммуны.

Когда к дому подъехала пролетка и из нее вышли Макар и Петровых, шумные кинодеятели были уже далеко, а Маркиз, Тараканов и Кешка уныло брели к станции, каждый погруженный в собственные мысли.

Петровых, в старом бушлате, надетом на косоворотку, в картузе, сменившем матросскую бескозырку, потерял свой грозный вид и даже ростом стал вроде бы поменьше. Остановившись на крыльце черного хода, Петровых, щурясь от яркого солнечного света, закурил папиросу.

Здесь, за городом, еще виднелись островки почерневшего снега, с крыш, из водосточных труб стекала вода.

— Тут на крыльце у меня круглосуточный пост был. И у парадного хода часовой стоял,— рассказывал он Макару.— Дом после пропажи прочесали, можно сказать, насквозь и даже глубже. Нет тут коллекции, точно нет, можешь мне поверить.

Они вместе обошли вокруг дома, вышли к парадному крыльцу, где всего час назад разыгрывалась сцена из старинной роскошной жизни.

Макар открыл дверь и вошел в вестибюль.

— Вот по этой лестнице аккуратно ящики и таскали...— объяснял Петровых, поднимаясь по лестнице.— Гляди-ка, перила поломанные... Мы и поломали, являя его дери...

— Чердак обыскивали?— спросил Макар.

Глаза его смотрели на Петровых строго и недоверчиво.

— Обыскивали,— пожал плечами Петровых.

— Стены простучивали? Подвалы осматривали?

— Вроде простучивали,— снова повторил Петровых.

— «Вроде»!— передразнил Макар.— Здесь должны быть ящики! Больше им быть негде!— с завидной уверенностью сказал он и решительно направился на чердак.

Через два часа, мрачный, перепачканный, весь в пыли и паутине, с продранной локтем, Макар бродил по пустынному дому уже без прежней уверенности. Нигде не было даже следов, способных натолкнуть его на какие-либо предположения.

Петровых сочувственно поглядывал на Макара и тяжело вздыхал.

— Митрича, плотника... допрашивал?— спросил Петровых, когда они наконец уселись покурить на подоконнике в зале второго этажа.

— Митрича... нет.

— Возьми его в оборот. Он ящики сколачивал, может, чего и знает.

— Нету Митрича,— вздохнул Макар.

— Как так — нету?

— Кокнули Митрича.

— Наши?

— Нет.

— Белые?

— Нет.

— А кто же?

— Бандиты. Лагутинцы.

— А старуху княгиню видел?

— Нет. В прошлом году умерла от тифа.

Петровых почесал затылок.

— А Тараканова... допрашивал?

— Нет,— вздохнул Макар.— Пропал Тараканов. Исчез. Будто сквозь землю провалился...

— Шутка сказать... Три года прошло... Ищи ветра в поле.

Макар еще раз оглядел стены, обитые вишневым шелком с большими темными прямоугольниками на тех местах, где когда-то висели картины.

— Нечего здесь делать,— сказал он сокрушенно.— Пошли.

Решительно натянув кепку, он направился к выходу. И вдруг, проходя по каминному залу, он остановился. Возле большого камина на затынутом пылью паркете виднелась какая-то свежая, едва заметная полоса. Эта дугообразная полоса как бы от раскрывавшейся двери и возле камина была непонятна и неестественна.

Макар внимательно осмотрел пол. На паркете виднелись следы ног. Их было много, и разобраться в них было почти невозможно, хотя Макар, как ему казалось, узнавал следы собственных сапог и матросских ботинок своего спутника — они проходили здесь, наверно, раз десять. Но дугообразная полоса никак не могла быть объяснена их собственным присутствием здесь. Макар провел ладонью по мраморной поверхности камина, ощупал ребра, нагнулся, заглядывая в печное отверстие.

— Ты чего увидел, а?— спросил Петровых.

Макар вскочил и выбежал из комнаты. Потом вернулся с большой кувалдой и ломом и, задыхаясь от волнения, сказал:

— За камином тайник. Факт.

Он забрался за каминную решетку и стал ломом дробить кирпич. Кирпич не поддавался.

— Ну-ка я попробую.— Взяв кувалду, Петровых сменил Макара.

Макар ликовал — он предвкушал победу. И действительно, вскоре ему с Петровых удалось пробить такое отверстие, через которое Макар проник в тайник.

Но и его, как и Тараканова, ожидало разочарование.

— Пусто?— спросил Петровых.

— Пусто, да не совсем.— Макар протянул Петровых осколок Пегаса.— Коллекция была здесь. Обвели тебя вокруг пальца, как маленького, Петровых!

*

Шведский коллекционер Ивар Свенсон завтракал в номере парижской гостиницы «Мажестик», когда его секретарь доложил о приходе посетителя:

— Вас хочет видеть князь Тихвинский.

Свенсон, высокий, не старый еще человек с поседевшими слегка висками, нахмурился.

— Я не могу его принять. Я занят...

— Господин Свенсон, рано или поздно вам придется встретиться с князем, лучше не откладывать.

— Ну что ж, Нильс, вы, пожалуй, правы. Пригласите его.

Нильс вышел, а Свенсон подошел к мольберту, на котором стояла картина Пинтуриккио «Мальчик в голубом», и накинул на нее кусок материи.

Вошел Тихвинский. Это был несколько располневший, но подвижный человек среднего роста, с чуть насмешливым выражением глаз.

— Господин Свенсон,— сказал князь, поклонившись,— я весьма сожалею, что наше знакомство происходит при мало-приятных для нас обоих обстоятельствах.

— Я тоже сожалею,— ответил Свенсон.

— Картина, которую вы приобрели у неизвестного лица, является моей собственностью. Вы известный коллекционер, я не сомневаюсь, что в вашей библиотеке есть каталог моей коллекции и, таким образом, вы, разумеется, отлично знаете, что приобретенная вами картина принадлежит мне.

— Принадлежит,— сухо сказал Свенсон.

— Принадлежит,— улыбаясь, сказал Тихвинский.— Цель моего визита состоит в том, чтобы заявить вам: я буду вынужден обратиться в суд с просьбой вернуть картину мне, законному владельцу.

— Это ваше право, князь. Но вряд ли у вас что-либо выйдет.

— Поживем — увидим, господин Свенсон,— снова улыбнулся Тихвинский.— Но прежде чем уйти... я хотел бы взглянуть на картину. Простите мою сентиментальность, но я не видел ее несколько лет.

Свенсон подошел к мольберту и откинул драпировку.

Тихвинский подошел к мольберту.

— Вы подновляли ее?— спросил он.

— Нет,— насторожился Свенсон.

— Странно,— сказал Тихвинский.— У меня такое впечатление, будто ее заново покрыли лаком.

Он взял в руки картину и осмотрел холст с тыльной стороны. Потом подошел с полотном к окну и, внимательно рассмотрев холст, снова поставил картину на мольберт.

— Я должен извиниться перед вами, господин Свенсон. Я не буду подавать в суд. Не буду потому, что эта картина не моя.

— Не ваша?— растерялся Свенсон.

— Не моя. И не Пинтуриккио!

— Не Пинтуриккио? Но ведь я консультировался со специалистами!

— На всех картинах моей коллекции на обратной стороне

холста есть оттиск моего герба. Вам подсунули фальшивку. Превосходную, я бы даже сказал — талантливую... но подделку!

— Вы уверены в этом, князь?

— Да... Свой герб на подлинник я наносил собственноручно. Что касается этой копии, то я ее знаю: она написана нашим петербургским художником Борисом Тамариным, можно сказать — гением своего дела. Не знаю, во что вам обошлась она, но могу вас утешить, господин Свенсон. Лет через сто талантливые копии Тамарина, быть может, будут цениться не многим дешевле подлинников.

*

Витоль стоял у окна своего кабинета и смотрел, как на каменных плитах двора две девочки и свободный от дежурства молоденький милиционер играли в классы.

Макар докладывал о результатах розыска.

— Картина похищения в целом представляется так. Люди, принимавшие участие в упаковке коллекции, в самый последний момент незаметно для Петровых, видимо, подменили ящики. Ящики со всякой рухлядью прибыли в Петроград, а подлинная коллекция была спрятана сначала в имении, а потом перевезена в какое-то другое место.

— Это твоя догадка? — спросил Витоль, не оборачиваясь.

— Нет, Карл Генрихович, не догадка. Я обнаружил тайник за камином в одной из парадных комнат, — ответил Макар. — Там валялись осколки фарфоровой фигурки Пегаса, обозначенной в списке коллекции. Факт, а не догадка.

— Куда же девалась коллекция? — Витоль обернулся и посмотрел на Макара. — В какое другое место ее перевезли? И кто это сделал?

Макар пожал плечами:

— В марте прошлого года мальчишки в Знаменском видели, что плотник Егор Поселков вывез из имения какие-то ящики, — сказал Макар.

— Куда?

— Не знаю.

— А Поселкова ты разыскал? — нетерпеливо спросил Витоль.

— Нет.

— Почему?

— Бандиты его убили. Лагутинцы.

— А человека, у которого «попрыгунчики» похитили картину, ты нашел?

— Нет, — огорченно произнес Макар и добавил: — Судя по описанию Козихина, это, вероятно, Тараканов.

— Тараканов?— заинтересовался Витоль.

— Управляющий имением Тихвинского,— пояснил Макар.— Вскоре после реквизиции коллекции он куда-то уехал. Появился в Петрограде у княгини Тихвинской незадолго до ее смерти, затем исчез.

Витоль прошелся несколько раз по кабинету и снова остановился у окна. Он вдруг обратил внимание на куст сирени у высокой кирпичной стены, выпустивший первые зеленые листики.

— Весна...— сказал он негромко.

— Что?— не понял Макар.

— Весна, говорю... Время идет, а дело наше не движается. Как ты объясняешь следы возле камина? Следы свежие?

— Свежие... Какие-то негодяи узнали о тайнике, проникли в него, но тоже опоздали.

Витоль вернулся к столу.

— Что же ты намерен делать дальше?

— Вызвать всех имеющих в Петрограде Таракановых и устроить им очную ставку с Козихиным.

Витоль улыбнулся:

— Сколько, по-твоему, Таракановых в Петрограде?

Макар пожал плечами.

— Думаю, несколько тысяч, Макар. Во всяком случае, очень много. Но тот Тараканов, который нам нужен, если только он действительно замешан в этом похищении, к нам не явится.

— Опыта у меня маловато,— вздохнул Макар.— Боюсь, что не справлюсь с этим делом, товарищ Витоль.— Макар опустил голову.

Витоль обнял его за плечи.

— Дело это серьезное, Макар, и тебе, пожалуй, не по плечу.— Он задумался и, помолчав немного, сказал:— Есть в Петрограде человек, который мог бы нам с тобой помочь. Видный криминалист, опытный сыщик, большой знаток искусства... Правда, он обижен на нас... на Советскую власть...— Витоль усмехнулся.— Попробуй, может быть, тебе удастся его уговорить.

— Вы говорите о Доброве?— спросил Макар.

— Да,— задумчиво сказал Витоль.— Прокофий Филиппович Доброво.

*

Прокофий Филиппович Доброво, покачиваясь в качалке, терпеливо выслушал Макара и тихо спросил:

— Зачем, молодой человек, вы мне все это рассказываете, а?

— Мы очень просим вас, Прокофий Филиппович...— начал было Макар.

Но Доброво прервал его.

— Напрасно просите, господин Овчинников,— так же тихо сказал он.— Во-первых, употребляя вашу терминологию, я полицейская ищетка и обращаться вам, представителю революционного пролетариата, ко мне не следовало. Так-то-с.

— Прокофий Филиппович...— попытался вставить слово Макар.

— Во-вторых,— так же тихо, не давая себя прервать, продолжал Доброво,— кому сегодня нужна эта коллекция, когда Россия летит в тартарары?!

— Но, Прокофий Филиппович...— снова перебил его Макар.

— И, наконец, в-третьих,— так же неумолимо продолжал Доброво,— вы здесь выразились в том смысле, что я буду получать у вас паек. Запомните, господин Овчинников, Доброво не продается ни оптом, ни в розницу даже за ваш паек. Так-то-с...

— Но вы специалист своего дела, вы опытный сыщик!

— Я не сыщик,— презрительно сказал Доброво.— Я криминалист. Сюда, в этот кабинет, приходили за советом крупнейшие юристы России. В этом кресле сиживал ныне здравствующий Анатолий Федорович Кони, если вам что-нибудь говорит это имя. Меня приглашали на консультации в Париж, в Милан, в Амстердам и даже в Венецию. И этот мой портрет,— он показал на свой портрет, висевший на стене,— писал сам Илья Ефимович Репин! Вот так-то-с!

Доброво поднялся и, перебирая четки, направился к выходу. Он распахнул дверь перед Макаром, показывая, что разговор окончен.

— Очень жаль, Прокофий Филиппович, что вы отказываетесь нам помочь,— жестко сказал Макар.— Вы, конечно, уверены, что без вашей помощи мы с этим делом не справимся. У вас опыт, знания, у меня их нет. Если хотите, я только сегодня утром ходил к Витолу, отказывался от этого дела. Но сейчас... Запомните, господин Доброво, я найду эту коллекцию. Найду, если даже ее утащили черти. Можете считать, что у вас не был!

Макар вышел из кабинета и тут же вернулся.

— Личный вопрос задать можно?

— Можно,— усмехнулся Доброво.

— В девятьсот двенадцатом году, в деле об ограблении ссудной кассы, как вы догадались, что именно Ковригин спрятал деньги?

— Случайно,— засмеялся Доброво.

— Случайно?— недоверчиво переспросил Макар.

— Совершенно случайно, молодой человек. Правда, должен заметить, что подобные счастливые случайности идут в руки только тому, кто их ищет.

— Не хотите сказать... Ваше дело.— И Макар быстро вышел из кабинета.

Доброво подошел к окну. Через знакомый двор шел Макар. Когда он скрылся в подворотне, Доброво обернулся и увидел жену. Кутаясь в белую шаль, она спросила:

— Ты отказался?

— Ты же знаешь, Алена, Доброво не продается,— горько сказал Прокофий Филиппович.

— Это я знаю. Но нам с тобой совсем нечего есть, Проша,— грустно улыбаясь, сказала жена.

— Я сказал, что Доброво не продается... Это так... Но мы продадим... другого Доброво.

И он посмотрел на свой портрет.

*

В зале французского искусства XVIII века Петроградского музея экскурсовод рассказывал о картине Франсуа Буше «Амур и Психея».

Экскурсанты — рабочие и красногвардейцы с суконными шлепанцами на грубой обуви — окружили хрупкую седую женщину в заштопанной шерстяной кофте.

— Франсуа Буше — один из крупнейших живописцев эпохи рококо,— восторженно говорила она.— Своими декоративными картинами, преимущественно на мифологические и эротические сюжеты, он обслуживал вкусы аристократии и разбогатевших откупщиков. Франсуа Буше умер в 1770 году, незадолго до Великой французской революции.

Среди экскурсантов в таких же шлепанцах на сапогах, как и у всех, стоял Макар. Он напряженно вслушивался в слова экскурсовода, не отрывая глаз от картины Буше.

— «Амур и Психея», картина из коллекции бывшего князя Тихвинского, необычайно характерна для живописной манеры Буше. Обратите внимание на смелую живописную лепку и теплые, насыщенные краски, позволяющие художнику передать материально-чувственный облик изображаемого.

Экскурсанты теснее окружили женщину, внимательно разглядывая картину.

— И хотя перед нами мифологический сюжет,— продолжала женщина,— мы с вами восхищаемся умением художника ярко передать красоту человеческого тела и пробуждение в юных героях первого трепетного чувства любви.

Девушка в белом платочке украдкой взглянула на стоявшего рядом паренька и, слегка покраснев, потупила глаза.

— А теперь мы пройдем в следующий зал, где вы познакомитесь с искусством Великой французской революции.

Экскурсанты, волоча шлепанцы по блестящему паркету, направились к дверям.

— Я задержу вас на минуту,— негромко сказал Макар, останавливая экскурсовода.— Вы уверены, что эта картина... та самая, из коллекции князя Тихвинского?

— Несомненно. Ее подлинность установлена специалистами по ряду признаков, в том числе по фамильному гербу Тихвинских на обратной стороне холста.

— Я из угрозыска,— тихо сказал Макар и показал свое удостоверение.— Покажите мне... обратную сторону холста.

— Нет, нет!— растерянно залепетала женщина...— Это невозможно. Необходимо специальное разрешение директора... Я не могу...

— Не будем спорить, гражданка,— решительно оборвал ее Макар и, подойдя к картине, повернул ее к себе, не снимая со шнура.

— О господи!— вздохнула женщина.

В углу справа на полотне виднелся герб — два оленя с двух сторон тянулись к кроне вишневого дерева.

— Я где-то видел этот герб,— сказал Макар.— Черт побери, где я видел этот герб?

— Не знаю,— испуганно пролепетала женщина.

*

Воспитанники детского дома возвращались из бани. Они шли, выстроившись попарно, по булыжной мостовой. А сзади на подводе везли мешки с бельем, шайки и веники. Впереди колонны шла миловидная девушка в длинной юбке, в шляпке с бантом и в сапогах. Коротко стриженные воспитанники приближались к бывшему княжескому особняку с песней:

Долой, долой монахов,
Раввинов и попов,
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов!

Кешка, шагавший в общем строю, не пел. Песня была для него слишком кощунственной. Но шагавший рядом паренек, заметив, что Кешка не поет, ткнул его кулаком в бок, и Кешка вместе со всеми подхватил песню:

Раз, два,
Горе — не беда!
Направо — околесица,
Налево — лабуда!

С колонной поравнялся Маркиз в своем экзотическом наряде однорукого старьевщика. Когда воспитательница прошла мимо него, Маркиз склонился в изысканном поклоне.

— Коман са ва, мадемуазель?— произнес он по-французски.

— Са ва,— улыбнулась воспитательница.

Мальчишки захохотали.

— Сова! Сова!— закричали они.

Кешка, отстав от ребят, подбежал к Маркизу.

— Как дела?— тихо спросил Маркиз.

Кешка неопределенно пожал плечами.

— Иннокентий!— послышался голос воспитательницы.

— Сейчас!— откликнулся Кешка, влюбленно глядя на Маркиза.

Маркиз задумчиво ворошил спутанную Кешкину шевелюру.

— Ты узнал, где в доме помещается котельная?

— В подвале у черного хода.

— Слушай меня внимательно. За котельной есть комната, вроде столярной мастерской.

Кешка кивнул.

— Ночью, когда все уснут,— продолжал Маркиз,— спустись в мастерскую. В левом углу, под верстаком, есть люк.— Маркиз протянул Кешке большой, слегка заржавленный ключ.— Найдешь на крышке люка круглое отверстие, вставишь ключ и повернешь три раза. Под люком будет винтовая лестница. Спустишься по ней в нижний подвал. Там под самым потолком... дверь железная, закрытая на щеколду. Откроешь щеколду. Я буду ждать за дверью. Понял?

— А чего там искать, в подвале?— спросил Кешка.

— Ящики. Много ящиков.

Маркиз как-то странно — не то виновато, не то насмешливо — поглядел на Кешку и отвернулся.

— Запомнил? Повернуть ключ надо три раза.

— Запомнил,— улыбнулся Кешка.

— Ну, беги!— Маркиз шлепнул Кешку по спине и, нахмурившись, быстро зашагал прочь.

Кешка с некоторым недоумением поглядел ему вслед и, сунув ключ за пазуху, побежал догонять ребят. Догнал он их уже в воротах, над которыми висел транспарант на красном полотнище с надписью:

«Детский дом № 6 имени Парижской коммуны».

Макару понадобился целый день, прежде чем он вспомнил, где он видел этот герб с двумя оленями и вишневым деревом. Каждый день, направляясь в угрозыск, он проходил мимо роскошного барского дома, где на двух каменных квадратных столбах парадных ворот красовалось по гербу с оленями. Ве-

чером того же дня он входил в эти ворота бывшего городского особняка князей Тихвинских, где теперь располагался детский дом.

Директор детского дома, уже немолодой человек со старомодным пенсне, покашливая в платок, который он все время держал возле рта, поручил Макара молоденькой воспитательнице, которая представилась ему как Анна Дмитриевна. Вместе с Макаром они обошли весь дом — это заняло довольно много времени, — побывали на чердаке и в подвалах, и уже совсем поздно, когда воспитанники укладывались спать, они поднялись в учительскую, где Макар принялся расспрашивать Анну Дмитриевну.

А тем временем Кешка со свечкой в руках спустился в подвал. Здесь было сыро. Где-то мяукала кошка... Он прошел через котельную, выбрался в длинный коридор и вдруг услышал какие-то странные звуки, чавканье, приглушенные голоса.

— Эй ты, шкет, дай ложку.

— Дай ему ложку!

— Там пусто.

— Как — пусто? Была цельная кастрюля.

— Вот заразы, всю кашу сожрали!

Кешка загасил свечу.

В коридор вывалилась компания с большой кастрюлей. Мальчишки пробежали мимо котельной и скрылись. Кешка зажег свечу и толкнул дверь столярной мастерской. В углу были сложены старые доски, на полу лежали поломанные кресла и стулья, на верстаке валялись брошенные инструменты. Под верстаком пол из кафельных плиток был завален опилками и стружкой. Кешка поставил свечу, разгреб опилки и стружку, отодвинул верстак и, присмотревшись, увидел отверстие для ключа, забитое опилками. Кешка улегся на пол и стал прочищать замочную скважину гвоздем. Потом вставил ключ и с трудом повернул его три раза. Щелкнула какая-то пружинка, и большой квадрат, выложенный плитками, слегка приподнялся. Кешка открыл люк и, взяв свечку, стал спускаться по винтовой лестнице...

Помещение, в котором он оказался, было большим сводчатым подвалом с кирпичным полом. Со стен сочилась вода... Послышался слабый писк, и в дрожащем свете свечи Кешка увидел двух крыс, внимательно наблюдающих за ним. Кешка попрыгал к лестнице, как вдруг сверху по металлическим ступенькам скатилась целая ватага ребят. У одного из них в руках была большая керосиновая лампа. Он приблизил ее к лицу Кешки и сказал:

— Монах! Ты что тут делаешь?

— Ничего, — испуганно сказал Кешка.

— Шпионишь, гад!— придвинулся к нему долговязый парень с кастрюлей в руках.

— Не трожь его, Верзила, он безвредный,— сказал мальчишка с лампой.

— А чего он сюда залез?— не унимался парень с кастрюлей.

— Глядите, шпана,— сундук!

Мальчишки бросились к стене, где одиноко стоял кованый сундук, сорвали заржавевший замок и откинули крышку. Сверху лежал овчинный полушубок, под ним оказались носильные вещи, сапоги, валенки... Мальчишки мгновенно опустили сундук. Парень с кастрюлей уселся на пол и стал примерять огромные новые валенки.

— Валенки мои!— бросился к нему Кешка.— Отдай!

— Катись, пока не заработал!— угрожающе сказал Верзила.

Кешка бросился к нему и, ухватившись за валенок, сорвал его с ноги.

— Мои валенки!— закричал он, прижимая их к груди.— Я сюда первый пришел.

Верзила поднялся с пола и пошел на Кешку.

— Убью,— мрачно сказал он.— Положь валенки или сейчас убью...

Он вытащил из кармана ножик и раскрыл его.

— Убивай. Валенки не отдам.

— На что они тебе?— смягчился Верзила.— Ты в них утонешь.

Мальчишки облегченно захихикали.

— Валенки мои,— упрямо повторил Кешка.

Верзила вырвал сапоги у стоящего рядом пухлого мальчугана и сказал:

— Подавись своими валенками, я сапоги возьму.

И, усевшись на пол, он стал примерять сапоги.

Пухленький мальчуган захныкал.

— Не хнычь, Булочка, они тебе велики,— миролюбиво сказал Верзила.

Кешка, прижимая к груди валенки, оглядел помещение. Кроме сундука, в подвале ничего не было...

Верзила натянул сапоги, скомандовал своей компании: «Айда, ребята!»— и все так же стремительно, как появились, исчезли в люке наверху.

Кешка подставил к видневшейся под потолком железной двери лестницу, валявшуюся на полу, поднялся по ней и с трудом отодвинул щеколду. Половинка двери со скрипом открылась, и в подвал просунулось лицо Маркиза.

Маркиз оглядел подвал и усмехнулся.

— Где же наши ящики? А, Иннокентий?

— Нету. Вот только сундук.

— Ладно, пошли отсюда... — Он подал руку Кешке и, оттолкнув ногой лестницу, захлопнул дверь.

Именно в это мгновение компания Верзилы снова появилась на винтовой лестнице. С ужасом увидели они, как в пустом подвале падает лестница, и бросились бежать наутек.

Макар все еще сидел с Анной Дмитриевной в учительской.

— Трудно с ребятами,— говорила она,— с виду они дети, малыши, а такое успели повидать за эти годы, что, знаете, я просто иногда теряюсь...

Макар же настойчиво продолжал расспрашивать девушку:

— А что, Анна Дмитриевна, из служащих... бывших служащих князя, никто у вас не работает?

— Нет, не работает. Когда я пришла сюда, года два назад, говорили, будто работал тут какой-то столяр. Не помню, правда, его фамилии, я его не застала. Слух прошел, что он уехал в деревню, а там его бандиты убили.

— Не Поселков ли его фамилия?— насторожился Макар.

— Не помню... Его все называли по имени — Егор.

В эту минуту в комнату вбежал пухлый мальчуган с трясущимися от страха губами.

— Привидение!— закричал он.— Анна Дмитриевна, там, в подвале, привидение!..

За спиной мальчика толпилась вся компания Верзилы с белыми от страха лицами.

— Привидений не бывает, Булочка. Запомни, это просто суеверие,— твердо, хотя не очень уверенно сказала воспитательница.

— Какие еще там привидения?— сказал Макар.— А ну-ка, пойдемте, покажите, где они, эти ваши привидения.

Ребята толпились на винтовой лестнице, не решаясь спуститься вниз. Анна Дмитриевна трясущейся рукой держала фонарь, а Макар, оглядев подвал, приставил к стене лестницу и, взобравшись на нее, приоткрыл дверь.

По пустынной улице, залитой белесым сумраком, четко постукивая копытами, ехал конный патруль.

В Петрограде начинались белые ночи. Маркиз и Кешка шли по набережной. И вдруг Маркиз остановился:

— Ты погляди, Иннокентий, какая красота!

Кешка огляделся.

— Где?— спросил он.

— Вокруг, всюду,— сказал Маркиз.

В белесой прозрачности белой ночи Кешка шел за Маркизом, широко шагавшим по набережной Невы с таким видом, будто он сам построил этот город. Он то и дело останавливался, протягивая вперед руку и как бы говоря: смотри! И мальчику открывалась неведомая дотоле красота города, реки, ночи...

Когда они остановились у «Медного всадника», Маркиз спросил у Кешки:

— А ты не боишься, что он вдруг поскачет?

— Он железный,— улыбнулся Кешка.

— Медный, а не железный. Но однажды ему это не помешало. Он поскакал! Один бедолага здорово перепугался.

Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой!

Кешка испуганно попятился.

— Не бойся,— засмеялся Маркиз,— это всего лишь стихи.

Возле сфинкса у Академии художеств Маркиз и Кешка усадились на гранитной лестнице у самой воды.

— Вот что, отец Иннокентий,— тихо сказал Маркиз,— ты больше ко мне не ходи. Живи в своем доме имени Парижской коммуны и будь счастлив.

— А вы... уезжаете?

— Нет, Кешка, я никуда не уезжаю. Просто боюсь, пропадешь ты со мной.

Кешка опустил голову.

— Надоел вам?

Маркиз достал из кармана ломоть хлеба, завернутый в бумагу, и сунул Кешке:

— Жуй!

Кешка взял хлеб, а Маркиз поднялся, на мгновение прижал к себе Кешку и, уже не оглядываясь, ушел.

Когда Кешка вернулся в детский дом, он, крадучись, пробрался к своей койке и быстро нырнул под одеяло.

— Монах, а Монах, ты где пропадал?— тихо окликнул его Булочка.

— А тебе что?— буркнул Кешка.

— Верзила велел, чтобы завтра с утра на кладбище был.

— Это еще зачем?

— В Крым решили махнуть.

Кешка удивленно поглядел на Булочку:

— Почему в Крым?

— Верзила сказал, там тепло. Там яблоки.

— Ну, а на кладбище... пошто?— спросил Кешка.

— Харчей на дорогу запасти надо. Верзила говорит, если в склепах пошарить, барахла можно найти... на продажу.

— Какое барахло... на кладбище! — сердито сказал Кешка.

— Верзила говорит, на нашем кладбище одних графьев да князей хоронили. Могилы богатые, золото небось и то есть, — шепотом объяснял Булочка.

Кешка слушал недоверчиво.

Все же наутро, не осмеливаясь спорить с грозным Верзилой, Кешка вместе со всеми отправился на кладбище.

Подсаживая друг друга, мальчишки перебрались через кирпичную стену, отделявшую сад детского дома от кладбища. Кешка перелез последним и, прыгнув с высокой стены, упал на заросшую высокой травой могилу. Поднявшись, он побежал вслед за ребятами к возвышавшемуся среди могил большому склепу. В нише у входа мраморная женская фигура скорбно склонилась над урной. Массивная железная дверь была заперта, и мальчишки проникали в склеп через выбитое стекло в крыше склепа.

Когда Кешка оказался внутри, его приятели вытаскивали откуда-то снизу, из-под отодвинутой плиты, тяжелый ящик. Ловко орудуя ломиком, Верзила отрывал доску за доской. Под слоем войлока оказалась стружка, а под ними — большие бронзовые часы. Мальчишки подняли их, вытащили из ящика и поставили на пыльное надгробие посреди склепа. Яркий солнечный луч, проникавший сверху, осветил часы, некогда стоявшие на камине в имении князя Тихвинского.

Верзила повернул ручку завода, и в тишине послышалось мерное тиканье...

— Золотые... — расплылся в улыбке Булочка.

— Дурак ты, Булочка, — солидно сказал Верзила. — Нешто часы из золота делают?

Он пальцем перевел стрелку. Послышался мелодичный перезвон, раскрылись ворота, и перед глазами изумленных мальчишек всадник отправился в свой привычный путь.

Булочка от восторга засмеялся.

— Лыцарь... — сказал он.

— Егорий Победоносец! — авторитетно сказал Кешка.

— У Егория — копьё, — сказал Верзила, — а это — рыцарь!

Он еще раз перевел стрелку, и снова всадник под мелодичный перезвон проехал перед мальчишками.

А Тараканов и Маркиз неторопливо брели по Невскому. Возле Аничкова моста они остановились.

— Как вы думаете, почем нынче такие кони?.. — Маркиз, усмехнувшись, показал на клодтовских коней. — Ну, разумеется, не здесь, а там, за кордоном?

Тараканов не ответил.

— Ну что вы так убиваетесь, Илья Спиридонович? В конце концов, коллекция не ваша. А князь потерял нечто большее... Петербург, Медного всадника, наконец, святую Русь.

— Перестаньте паясничать, Шиловский!

Тараканов облокотился на перила моста, глядя на пестрые разводы нефти на воде.

— Этот болван Митрич... Куда же он дел ящики?— раздраженно пробормотал Тараканов.

— Кстати, Илья Спиридонович, возьмите ваш ключ.— Маркиз протянул ключ от подвала.

— Мы с ним договорились вполне определенно. В случае опасности он перевозит коллекцию в городской особняк. Что вы мне суете ключ? На кой черт он мне нужен?!

Тараканов схватил ключ и швырнул его в воду.

— Это катастрофа, Шиловский, понимаете — катастрофа. Митрич убит, и никто, никто на свете не знает, где он спрятал коллекцию Тихвинских.

Тараканов задумался и вдруг обернулся к Маркизу:

— Зачем вы отпустили мальчишку? Он слишком много знает.

— Я не хочу, чтобы он стал таким же прохвостом, как мы с вами,— широко улыбнулся Маркиз.

— Прошу вас, Шиловский, выбирать выражения!— вспылл Тараканов.

— Извините,— буркнул Маркиз.

Послышались жидкие звуки траурного марша. По набережной Фонтанки шла похоронная процессия. За длинными белыми дорогами шел одинокий скрипач, а за скрипачом — небольшая кучка людей, не вызывающих сомнения в своей принадлежности к «бывшим».

Маркиз снял шляпу.

— Не кажется ли вам, Илья Спиридонович, что эта траурная мелодия в исполнении единственной скрипки звучит для нас некоторым образом символично? А этот посланец вечности, восседающий на козлах... Нет, вы взгляните на его лицо! Не хотел бы я, чтобы в последний путь меня провожал подобный экземпляр.

На козлах в белом балахоне, в цилиндре восседал бородастый мужик устрашающего вида, с бегающими глазками.

Тараканов перекрестился.

— Вам не нравится этот человек?— спросил он.

— Красавец,— насмешливо сказал Маркиз.

Тараканов торжествующе взглянул на него.

— Вы смеетесь, а между тем для меня это лицо сейчас — прекраснейшее в мире! Потому что это мой Егор! Мой исчезнувший Митрич!

Он подхватил Маркиза под руку и потащил вслед за уходящей процессией.

— Но ведь его убили бандиты,— вглядываясь в возницу, сказал Маркиз.— Первый раз вижу мертвеца, который сам возит на кладбище других покойников.

*

В одном из петроградских залов по средам, как и в прежние времена, все еще проводились аукционы по продаже предметов искусства и антиквариата. Правда, покупателей почти не было, в большом амфитеатре в этот день едва можно было насчитать десяток посетителей, разбросанных по всему залу. На небольшой сцене за высокой конторкой сидел аукционер — громоздкий мужчина в потертом фраке, с обвисшими седыми усами. Ударив молоточком по конторке, аукционер громко возвестил:

— Портрет известного криминалиста Прокофия Филипповича Доброво работы художника Репина. Оценивается в два миллиарда семьсот миллионов.

Два служителя вынесли на сцену портрет и установили его рядом с конторкой.

Доброво с женой сидели на самом верху амфитеатра. Когда внесли картину, жена дотронулась до плеча Прокофия Филипповича.

— До чего мы дожили...— тихо сказала она.

— Два миллиарда семьсот миллионов — раз!— объявил аукционер.

Зал молчал.

— Два миллиарда семьсот миллионов — два!

Аукционер скорее по привычке, чем по необходимости, сделал паузу и, стукнув молотком, сказал:

— Три. Снимается с продажи.

— Вот и вышло по-твоему, Алена,— тихо сказал Доброво.

Служители унесли портрет, а аукционер объявил:

— Бронзовые каминные часы работы швейцарского мастера начала восемнадцатого века Клода Жоффруа, анкерного хода, с месячным заводом, с курантами на музыку Генделя, с рыцарем, выезжающим при бое. Оцениваются в семь миллиардов.

Служители вынесли часы.

Доброво поднялся и стал спускаться к сцене. Жена последовала за ним.

— Семь миллиардов — раз!

Аукционер взглянул на Доброво, но тот сделал отрицательный жест и приблизился к часам.

— Семь миллиардов — два.

Доброво внимательно разглядывал часы, что-то вспоминая. Жена подошла к нему.

— Семь миллиардов — три! Снимается с продажи.

Служители унесли часы.

Из первого ряда поднялась толстая, почти квадратная женщина в шляпе с пером и направилась к выходу. Доброво последовал за ней и догнал ее на лестнице.

— Простите, мадам, не вы ли хозяйка этих часов?

— Я, — вызываясь ответила она. — В чем дело?

— Мадам, часы краденые, — улыбнулся Доброво. — И вы это знаете.

— Я их купила на толкучке. И знать ничего не знаю.

Женщина в шляпе стала спускаться с лестницы.

— Простите мою назойливость, где вы приобрели эти часы и у кого именно?

Женщина остановилась и изобразила на лице улыбку:

— Это ваши часы?

— Нет. Но мне знакомы эти часы, так чтобы не соврать, уже сорок лет. Вот почему мне хотелось бы узнать, каким образом они попали к вам в руки.

— Я купила их на Сенном рынке у беспризорников. И оставьте меня в покое!

Женщина проворно сбежала вниз.

Когда к Доброво подошла жена, он задумчиво сказал:

— Скажи, Алена, ты, случайно, не знаешь, кто сейчас забирает особняк Тихвинского?

— Не знаю, Проша. В последний раз, когда я там проходила, в саду играли какие-то дети. Может быть, там приют?

*

Макар продолжал обследовать особняк Тихвинских. Он облазил весь дом, всю запутанную сеть подвалов, простукивал стены, измерял их толщину, стараясь угадать, не скрывается ли где-нибудь такой же тайник, как тот, за камином в имении. В нем жила странная уверенность, что сокровища князя должны быть именно здесь, где-то совсем близко. Он несколько раз снова и снова изучал нижний подвал с дверью под потолком и пришел к выводу, что коллекции там никогда не было — никаких следов от ящиков он не обнаружил.

Макар сидел с Анной Дмитриевной в ее комнатухе и пил чай вприкуску, когда воспитательница, прислушавшись, выскочила за дверь и вернулась, таща за руку упирающегося Булочку. В руках у Булочки был мешок, набитый чем-то почти доверху.

— Опять что-нибудь украли? — грозно спросила Анна Дмитриевна.

— Вовсе мы ничего не украли,— насутился Булочка.
— А в мешке что?
— Хлеб.
— Откуда хлеб?— удивилась Анна Дмитриевна.— Где вы взяли хлеб?
— Купили.
— На какие деньги?— недоверчиво спросила воспитательница.— Ну, говори.
— Часы продали. Медные,— признался Булочка.
— Часы?— всплеснула руками Анна Дмитриевна.— Какие часы? Со второго этажа, с амуром?
— Не, другие, здоровенные такие, с лыцарем...
— Где вы их взяли?
— В могиле...
— В какой еще могиле? Где?— вскочил Макар.
— На нашем кладбище, в склепе, где генерал-аншеф князь Тихвинский похоронен... Федор Алексеевич.
Макар схватил Булочку, потащил его за собой.
У фамильного склепа Тихвинских стояли Прокофий Филиппович Доброво и бородатый кладбищенский сторож, у которого испуганно поблескивали маленькие глазки.
— А вы, барин, значит, им родственником приходитесь?
— Да... Дальний родственник,— кивнул Доброво и сунул старику деньги.

Старик быстро спрятал их.

— Это уж вы, барин, зря... За уход вперед плачено, за десять лет, до марта месяцу девятьсот двадцать пятого года...

Они подошли к склепу, старик открыл дверь ключом из большой связки. Доброво прошел вперед, и они оказались внутри склепа.

— Стекло-то беспризорники выбили... Я фанеркой прикрыл, нету нынче матовых стекол...

Доброво посмотрел на мраморную плиту, на которой было написано:

Генерал-аншеф

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ ТИХВИНСКИЙ

1783 — 1851

— А внизу?— спросил Доброво, перебирая четки.— Внизу тоже есть помещение?

Старик отодвинул массивную плиту, и Доброво спустился вниз.

— Сюда никто не наведывался в последнее время?— спросил он.

— Как не наведываться?— сказал старик.— По соседству приют. Приютские тут такой шалман устроили... Я заглянул —

бабушки светлы! Войлок, стружка, стекло битое... Цельный день прибирался, старуху приводил... полы мыть...

— А кроме мальчишек, здесь никто не был?

— Акромя мальчишек, никого. Мы, барин, при кладбище живем, так что если бы кто наведывался, как вы, к примеру, мы бы не пропустили.

Когда Доброво вышел из склепа, он внимательно осмотрел посыпанную песком дорожку, ведущую к склепу, на которой были заметны размытые дождем следы от колес.

— А какая телега сюда подъезжала?— спросил Доброво.

— Это я, барин, песок привозил,— ответил сторож.

В этот момент Доброво увидел приближающегося Макара и чуть заметно улыбнулся.

— Вы здесь, Прокофий Филиппович?— удивленно спросил Макар и уже строго спросил:— Что вы здесь делаете?

— Да вот, с вашего разрешения... навещал усопших родственников,— насмешливо ответил Доброво и приподнял шляпу.

Макар бросился к склепу.

— Не спешите, господин Овчинников. К сожалению, вы, как, впрочем, и я, несколько опоздали.

— Опоздали?— обернулся Макар.

— Да, любезнейший господин Овчинников. Нас с вами опередили. Увы.— Доброво ткнул тростью, показав на хорошо заметный след колеса:— Видите этот след? Может быть, он вас куда-нибудь и приведет. Не далее как вчера коллекция Тихвинских была здесь, в этом склепе.

Доброво приподнял шляпу, заложил трость за спину и медленно пошел по аллее к выходу. Сделав несколько шагов, он вернулся к Макару.

— Советую вам поинтересоваться этим пройдохой кладбищенским сторожем!— сказал он тихо.

Макар оглянулся. Сторож, только что стоявший рядом и подслушавший весь их разговор, исчез. Это был Егор Поселков, попросту Митрич.

*

Тараканов и Маркиз укладывали ящики в трюме баржи, служившей Маркизу жильем, когда наверху послышался грохот и сверху по лестнице скатился Митрич. Борода у него была всклокочена, глаза вытаращены от страха.

— Егор?— рассердился Тараканов.— Зачем ты, братец, сюда явился? Я же тебе велел...

— Возьмите меня с собой, не губите!— взмолился Егор.— Хватит с меня, натерпелся страху за эти годы, не приведи бог, а тут еще...

— Я сказал тебе, еще недельку останешься на кладбище, чтобы своим исчезновением не всполошить кого не надо.

— Дознались, Илья Спиридонович, дознались. Нынче приходили из угрозыска... До всего дознались, еле ноги унес. Не губите, Илья Спиридонович!— причитал Егор.— Возьмите с собой!.. Верой и правдой служил вам— ящики пуше глаза своего берег! От страха и так дрожишь, а тут еще покойники кругом.

— Ну, Егор, грех жаловаться на покойников, они недурно кормили вас,— усмехнулся Маркиз.

— Вот что, Митрич,— сказал Тараканов,— с нами ты не поедешь. Добирайся сам. Жди нас в Больших Котлах... через неделю. И не беспокойся — свое получишь.

— А не обманете, Илья Спиридонович?

— Не обманет,— сказал Маркиз.— Я тебе обещаю, Егор, не обманет.— И он насмешливо взглянул на Тараканова.

*

В пустынном, нетопленном зале Петроградского зоологического музея среди гигантских скелетов ископаемых животных прохаживались Тараканов и Артур.

У Тараканова был вызывающе самодовольный вид, он то и дело потирал руки. С лица Артура не сходила вежливая, чуть презрительная улыбка.

— Я хотел бы вам сказать...— заговорил наконец Артур, остановившись у витрины с челюстью пещерного медведя,— что вы обманули меня. И не только меня. Вот уж никак не думал, что вы обыкновенный проходимец и обманщик, господин... Авденис.— Он произнес эти слова тихо и даже вежливо.

— Я попрошу вас выбирать слова, господин Артур,— вспыхнул Тараканов.

— Я выбирал слова, господин Авденис, самые точные слова. Пинтуриккио не есть подлинник. Он есть подделка.

— Ах, это,— засмеялся Тараканов.— Но у меня не было другого выхода. Вы мне не верили, требовали доказательств. А мне нужны были деньги и паспорт. Теперь все это не имеет никакого значения. Коллекция в моих руках, и мы с вами можем продолжать наше общее дело.— И Тараканов засмеялся.

— Вы смеетесь?

Тараканов дотронулся до руки Артура:

— Я прошу извинить меня, господин Артур.

Артур перевел взгляд с медвежьей челюсти на лицо Тараканова.

— Хорошо,— после некоторого раздумья произнес Артур.— Предлагаю для переправки груза воспользоваться дипломатическими каналами. Такая возможность у меня есть.

— А меня вы переправите тоже... дипломатической почтой?— усмехнулся Тараканов.

— Вы получаете деньги... валюту.

— Здесь, в России, мне ваша валюта не нужна. Я сам доставлю коллекцию.

— Стоит ли подвергать риску... такой ценный груз... и себя?..

— Что делать... Зато я буду уверен, что меня не обманут.

— О!— вспомнил Артур насмешливо.— Вас обманут? Вас?!— И уже серьезно спросил:— Какое, вы полагаете, время достаточно для доставки груза?

— Недели полторы-две,— сказал Тараканов.

— Согласен. Наши люди будут ожидать вас с двадцатого числа в известном вам месте.

— Хорошо.

Они разошлись, не прощаясь. Тараканов вышел из музея, а Артур еще некоторое время задумчиво бродил среди чучел и скелетов давно вымерших животных.

*

На кладбище, возле склепа Тихвинских, стояли Витоль, Макар и еще двое сотрудников Петроугрозьска.

— Ты уверен, что кладбищенский сторож именно тот самый плотник Митрич?— спросил Витоль Макара.

— Он, товарищ Витоль. По всем описаниям — он,— сказал Макар удрученно.

— Ты говорил, что его убили лагутинцы.

— Так мне сказали в деревне. Наверно, он сам пустил этот слух.

— Почему ты дал ему уйти?— резко спросил Витоль.— Почему ты не задержал его?

— Растерялся, товарищ Витоль. Ну каких-нибудь две минуты упустил... В голову не пришло, что он может сбежать...

Витоль бросил давно погасшую папиросу и сунул в рот свежую.

— Опыта не хватает, Карл Генрихович,— виновато заметил Макар.

— Н-да, не хватает. Только не опыта, а сообразительности. Сдашь дела Когану и Булатову.

— Нет, Карл Генрихович,— возмущился Макар,— я этого дела ни Когану, ни Булатову не отдам. Я на прошлой неделе в Народном доме выступление товарища Луначарского слушал и хорошо понял, что пролетариату без общечеловеческой культуры,— Макар провел по шее ребром ладони,— во! И коллекцию эту мы обязаны найти.

— Хорошо, что ты это понял,— сказал Витоль.— Но дело это я у тебя все-таки забираю. Завтра с утра займешься ограблением на Кирочной. А вы,— обратился он к стоявшим рядом сотрудникам,— явитесь ко мне через час.

И он быстрыми шагами направился к воротам кладбища.

Булатов, худошавый брюнет с аскетическим лицом, сочувственно похлопал Макара по плечу:

— Не раскисай, Макар. Революции, в конце концов, различно, кто именно спасет ее достоиние. Важно, чтобы оно было спасено!

— Понимаю,— сказал Макар.— Но я хочу сам... Сам! Сам хочу докопаться!

— В другой раз,— бесстрастно сказал Булатов.

С высокой ограды детдома, как горох, сыпались мальчишки. Они перебирались через ограду, выскакивали из окон и бежали, подхватив свои тощие мешочки, сбивая с ног прохожих, бежали к набережной и дальше, через мост на другую сторону Невы.

Макар возвращался с кладбища и проходил мимо ограды детского дома, когда на него откуда-то сверху свалился мальчишка. Мальчишка поднялся, Макар узнал Булочку и схватил его за плечо.

— Куда ты?

— В Крым.

— Зачем?

— Там тепло, там яблоки... Пусти.

Макар не отпускал его.

С ограды свалился Верзила.

— Отпустите огольца! — Он ударил ребром ладони по руке Макара, и Макар выпустил Булочку.

Оба мальчика бросились вдогонку за бежавшими вдоль улицы детдомовцами. Макар растерянно поглядел им вслед.

Из ворот выбежала воспитательница.

— Дети, дети, вернитесь! — кричала она, пытаясь схватить то одного, то другого, но ребята вырывались из ее рук и убегали. — Помогите мне! — крикнула она Макару. — Задержите их!

— Как их удержишь,— мрачно сказал Макар,— вон их сколько.

Мимо пробежал Кешка.

— Кешка, и ты... Куда ты? — крикнула ему Анна Дмитриевна.

— В Крым! — крикнул на ходу Кешка. — Там тепло, там яблоки...

Макар и Анна Дмитриевна стояли у чугунных перил набережной Фонтанки. Наступила ночь, белая петроградская

ночь, и они задумчиво смотрели на отсвечивающую металлическим блеском воду, на небольшой буксир, тащивший старенькую баржу.

— Не гожусь я для этой работы,— сказала Аня и тихо заплакала.— Я с ними была так добра, я так их любила! А они убежали... В Крым...

— Там тепло, там яблоки,— ласково улыбнулся Макар.— Не огорчайтесь, Аня...

— Вам что... А меня с работы снимут. Я не хочу... я люблю эту работу,— всхлинула снова Аня.

— Меня уже сняли,— невесело усмехнулся Макар.

— Вас? За что?

— Мне один человек сказал... если ищешь, случай сам тебе в руки идет. Вот он и шел... случай этот... а я проглянул...

На барже, шедшей мимо них, в каюте у Маркиза, за столом, на котором стояла клетка с попугаем, Тараканов и Маркиз рассматривали географическую карту. В каюте было тесно от ящиков, поставленных друг на друга. Это были такие же ящики, как и те, которые Петровых когда-то доставил Петроградскому музею.

— Госудао-о-о-рю имперар-р-ратор-р-ру ур-р-ра!— неожиданно крикнул попугай.

Макар и Аня вздрогнули, услышав приглушенный крик с баржи.

— Голос какой странный,— сказала Аня,— будто не человеческий.

— Человеческий!— зло сказал Макар.— Очень даже человеческий. Перепились какие-то контрики. Надо запомнить номер этой баржи... Семьсот семьдесят семь...

Часть вторая

ЦИРКОВОЙ ФУРГОН

В Париже, в одном из переулков Монмартра, ставшего с давних пор излюбленным местом художников всего мира, в небольшом кафе, расположившемся прямо на тротуаре под брезентовым тентом, за круглым столом возле большой вазы с цветами сидели трое мужчин в широкополых шляпах, как видно художники. Не обращая ни на кого ни малейшего внимания, они вели оживленный разговор, о чем-то горячо спорили, обильно жестикулируя.

Мимо них неторопливо прошел пожилой человек с аккуратно подстриженной скандинавской бородкой и, неторопливо расправив рукой полы пальто, уселся поодаль, за отдельным

столиком. Тут же к нему подбежал официант и почтительно склонился в поклоне.

И пока двое художников продолжали свой бесконечный спор, третий внимательно приглядывался к только что вошедшему человеку, перед которым расторопный официант уже поставил высокий стакан с молоком. Художник, наблюдавший за ним, положил руку на плечо одному из своих приятелей и тихо сказал:

— За вашей спиной сидит пожилой господин и пьет молоко. Взгляните на него, друзья.

— Что за птица? Я где-то видел это лицо.

— Шведский промышленник Ивар Свенсон собственной персоной.

— Спичечные фабрики и свиные бойни?

— И алмазные копи в Африке.

К столику Свенсона быстро подсел Артур в щеголеватом костюме в полоску и положил перед ним какую-то телеграмму. Свенсон неторопливо поднес ее к глазам и, проглядев текст, сказал:

— За этим прохвостом, как говорят русские, нужен глаз да глаз... После этой истории... с Пинтуриккио я ему не верю.

— Вы ничем не рискуете...— чуть скривив губы в улыбке, сказал Артур.— И потом... ждать осталось совсем недолго. Если же вы, патрон, не верите и мне...

— Не горячитесь, Артур, это вам не идет... ваш стиль — сдержанность.

— Пожалуй, вы, как всегда, правы, патрон.

Артур взял со стола телеграмму, сунул ее в боковой карман и, поднявшись, церемонно раскланялся:

— Честь имею!

Художники все еще разглядывали Свенсона.

— Что он здесь делает, у нас в Париже, этот бандит?

— Скупает все, что попадает под руку. Он возвращается из Рима, где, говорят, приобрел картины Джотто и Перуджино.

— Постой-ка, Серджо... Не он ли наложил руку на какую-то крупную русскую коллекцию?

Тот, которого называли Серджо, кивнул:

— Он. Это довольно темная история. Пользуясь тамошней неразберихой, какие-то негодяи похитили коллекцию и вот теперь сбывают ее этому... знатоку искусства.

— Но ведь это же уголовное дело! Грабеж!

— Этот господин не так прост,— все еще продолжая смотреть на Свенсона, сказал Серджо.— Он не станет демонстрировать эту русскую коллекцию. Он просто спрячет ее.

— Ты хочешь сказать, что никто, кроме него, так и не увидит ее?

— Во всяком случае, нас с тобой он не пригласит.

Третий художник, до сих пор не проронивший ни слова, спросил:

— Он что-нибудь понимает в искусстве, этот мясник?

Серджио рассмеялся:

— Спроси у него.

— Ну что ж, спрошу.

Он поднялся и подошел к столику Свенсона:

— Господин Свенсон, если не ошибаюсь?

— Допустим...— настороженно кивнул Свенсон.

— Вы что-нибудь понимаете в живописи, господин Свенсон?

Свенсон чуть прищурил глаза и поднял монокль.

— С кем имею честь?

— Дино Моллилари, художник.

Свенсон презрительно поджал губы:

— Моллилари? Не слыхал.

Дино подошел еще ближе к Свенсону.

— Я вас спрашиваю — вы что-нибудь понимаете в живописи, господин мясник?!

Свенсон поднялся и крикнул официанту:

— Меня оскорбляют! Уберите его!

Дальше все произошло так молниеносно, что подбегавшему официанту только и осталось, что помочь Свенсону вытереть молоко, которое выплеснул ему в лицо Дино Моллилари.

— Вот моя визитная карточка,— под общий смех посетителей кафе сказал Дино, положив ее на стол перед Свенсоном.— Теперь, я надеюсь, вы запомните мое имя!

*

Макар, огорченный неудачами, никак не мог смириться со своим поражением. И хотя ему было поручено совсем другое дело, он все еще думал только о том, как напасть на след похищенной коллекции, перебирая в уме в который уже раз все известные ему подробности дела. И поэтому он и не заметил, как оказался возле подъезда огромного желтого дома с колоннами. Здесь, среди бесчисленного количества табличек с названиями разных учреждений, его внимание привлекла к себе только одна. На слегка проржавевшей железке желтой краской было выведено:

ПЕТРОГОРТОП.

Петрогортоп, организация, снабжавшая Петроград топливом в эти трудные годы, заинтересовала Макара только потому, что теперь здесь работал тот самый матрос Петровых, который когда-то привез в Петроградский музей пустые ящики...

Макар постоял немного перед подъездом, бросил в урну недокуренную папиросу и открыл дверь.

Когда Макар вошел в кабинет Петровых, тот поднялся ему навстречу, крепко пожал руку и сразу же сказал:

— Дров я тебе не дам.

— А мне дров и не надо,— хмуро ответил Макар.

— И торфу не дам.

— И торф мне без надобности.

— А угля нет!— почему-то почти ликующе сказал Петровых.— Уголь только по ордерам Петросовета.

— Мне и угля не надо.

— Что ты ко мне ходишь?— снова усаживаясь за огромный стол, сказал Петровых.— Все я тебе рассказал. Все. Ничего больше не знаю.

Макар оглядел кабинет Петровых. Здесь в прежние времена была, вероятно, просторная гостиная барского дома. Макар подсел к столу Петровых, на котором, занимая чуть ли не половину всей поверхности зеленого сукна, стоял роскошный серебряный чернильный прибор с чернильницей в виде римской колесницы, запряженной четверкой лошадей.

Макар немного помолчал и, стараясь не глядеть в глаза Петровых, сказал:

— Да нет, я не по делу. Я так зашел. Проходил мимо... Дай, думаю, загляну к Петровых, как он там поживает...

Петровых облегченно вздохнул.

— Я теперь другим делом занимаюсь,— сказал Макар.— На Кирочной среди белого дня у одного известного артиста квартиру очистили. Все до нитки вынесли... В том числе бронзовые канделябры в стиле рококо.

Петровых протянул Макару пачку папирос. Оба закурили.

— Слушай, Петровых. Не по службе, а так просто... Может, еще что-нибудь вспомнишь? Кто еще, кроме перечисленных тобой лиц, присутствовал при реквизиции коллекции? Кто еще там был?

— Тыфу!—в сердцах сплюнул Петровых.— Что ты ко мне пристал—кто да кто? Ну, попугай еще присутствовал!

Макар опешил от неожиданности.

— Ты надо мной не издевайся. Какой такой попугай?

— Точно тебе говорю. Попугай. Не то ара, не то какаду. Старуха покойница сказывала, ему чуть ли не двести лет.— Петровых рассмеялся, припомнив что-то смешное.— Я его чуть не слепнул, гада!

— За что?

Петровых затаился и закашлялся.

— За что? А за то, что монархию пропагандировал. Государю, говорит, императору, пропади он пропадом, ура, говорит. Орет, что на митинге.

Макар вытарашил глаза.

— Государю императору? Не врешь?

— Слово в слово. Государю императору, говорит, ура! Я этого попугая на всю жизнь, можно сказать, запомнил.

Макар от удивления раскрыл рот, но тут же опомнился.

— На Фонтанке баржа... Номер семьсот семьдесят семь... Можешь узнать, чья она, эта баржа?— схватив Петровых за плечи, крикнул Макар.

— Ты что, полоумный?!— рассердился Петровых, сбрасывая руки Макара.

— Можешь ты узнать, чья она, эта баржа?— настаивал Макар.

— Тут и узнавать нечего.— Петровых на всякий случай отошел подальше от Макара.— Наша это баржа, гортоповская. Наша. Прошлой осенью застряла, там и стоит, на Фонтанке.

— Стоит?!

— Стоит.

— Ты можешь поручиться, что стоит?

— Могу,— сказал Петровых, теряя свою уверенность.— Во всяком случае, еще утром она была там.

— Была! Была, да сплыла! — крикнул Макар и бросился к двери.

*

Маленький буксирный пароход под гордым названием «Повелитель бурь» тащил баржу № 777 по Неве мимо деревянных домиков петроградских пригородов. Паровой буксир, весело попыхивая, уводил ее все дальше и дальше от Петрограда, а Маркиз тем временем, привязав себя на веревках к кранцам, старательно перекрашивал номер. Несколько уверенных мазков белой краской, и вместо баржи под номером 777 плывет по Неве баржа с новым номером... 999.

В порту, куда на служебном «Даймлере» примчался Макар, ему сразу же показали небольшой катерок, мерно покачивающийся у высокого причала.

Макар спрыгнул на его корму и махнул рукой механику. Суетливо застучал старенький мотор, и катерок, оторвавшись от причальной стенки, двинулся по реке. И вот уже катерок поравнялся с баржей, по виду совершенно такой же, как и та, которую ищет Макар. Катерок приближается к носу баржи, и только тогда Макар видит, что номер закрыт большим красным транспарантом с надписью «Хлеб — Красному Питеру». Длинным шестом Макар приподнимает полотнище, под которым вместо номера написано старое название «Бурлаков, сыновья и К^о».

...Маркиз спустился в трюм баржи, где, пристроившись на одном из ящиков, Тараканов сосредоточенно раскладывал какой-то замысловатый пасьянс. Рядом стояла клетка с попугаем. Маркиз подошел к клетке, приоткрыл дверцу и налил немного воды в маленькое блюдечко. Попугай взмахнул крыльями и вдруг закричал пронзительно-скрипуче:

— Государ-р-рю импер-ра-тор-ру ур-р-р-ра!

Тараканов вздрогнул от неожиданности и, взглянув на Маркиза поверх своих темных очков, проворчал:

— Он погубит нас в конце концов. Сверните ему шею!

— Зачем же? — возразил Маркиз. — Мы научим его чему-нибудь новенькому.

Маркиз вытащил попугая из клетки и посадил к себе на плечо.

— Двести лет ты твердишь одно и то же. Пора менять репертуар. А ну-ка скажи: «Тараканову ур-р-ра!»

— Чему вы учите птицу, Шиловский?

Тараканов смешал карты и отошел к столу.

— Вы помните о своем обещании пронумеровать мои ящики, Шиловский?

— Ваши ящики? — Маркиз впустил попугая в клетку. — Разве они ваши... эти ящики?

— Не ловите меня на слове. — Тараканов попытался отшутиться. — Вы меня не так поняли.

— Нет, Илья Спиридонович, я понял вас правильно. Именно поэтому я буду сопровождать ваши ящики... — Маркиз так язвительно произнес слово «ваши», что Тараканов даже вздрогнул, — непосредственно до встречи с князем.

— У вас нет оснований подозревать меня! — взвизгнул Тараканов. — Я не давал повода!

— Давали, давали... — спокойно ответил Маркиз. — И вообще разрешите вам заметить, драгоценный Илья Спиридонович, что вы ведете со мной бесчестную игру.

— Я не понимаю вас, Шиловский!

— Сейчас поймете. Я хотел бы знать, зачем вы, Илья Спиридонович, выменяли у несчастного Тамарина на пшено и коровье масло его великолепную копию «Мальчика в голубом»?

Тараканов побледнел.

— Не удивляйтесь, господин Тараканов, Боря Тамарин когда-то был моим товарищем, мы вместе учились в Академии художеств.

— Извольте, я объясню вам... если на то пошло, — засуетился Тараканов. — Люди, которые помогают нам с вами, хотели иметь гарантию...

— Они хотели иметь гарантию... а вы — деньги?

— Какие там деньги... Гроши.

— Гроши за «Мальчика в голубом»? Это не похоже на вас, Илья Спиридонович. Вы ведь, конечно, догадались умолчать о том, что это копия? Или вернее — подделка?

В глазах Тараканова, скрытых за темными очками, промелькнуло что-то недоброе.

— Не волнуйтесь, Шиловский, вы получите свое.

— А я и не волнуюсь. Я только наперед предупреждаю вас, Илья Спиридонович, чтобы вы не вздумали обманывать меня! Нечестной игры я не потерплю!

...На рассвете «Повелитель бурь», выбрасывая из трубы черные облачка дыма, стоял у пристани рядом со знакомой баржей.

Небольшая пристань на берегу Ладожского озера носила чисто служебное название «3-й участок Гортопа».

Макар, стоявший поодаль с капитаном буксира, внимательно наблюдал за баржей.

Когда из трюма появились грузчики с ящиками, Макар решительно направился к ним.

— Ну-ка, товарищи, стойте,— приказал он.

Грузчики опустили ящик.

— А ты кто такой?— лениво спросил один из грузчиков.

— Не видишь, что ли... генерал от инфантерии!— засмеялся другой.

— Генералов нынче всех в Черном море потопили, а я такой же, как вы, беспорточный,— засмеялся Макар.

Засмеялись и грузчики.

— Я из угрозыска,— сказал Макар.— Ищу покражу.

— Коли с розыску — смотри.

Один из грузчиков взял ломик и вскрыл ящик. В ящике были топоры.

— А в этом что?— Макар показал на другой ящик.

— Пилы.

Макар обернулся к капитану буксира:

— Где ящики брали?

— Ящики-то?— по-вологодски окая, переспросил капитан.— С базы Гортопа. Из Питеру.

— По дороге нигде не останавливались?

— Как — не останавливались! Останавливались. Ночью в Михайловку заходили, двоих высадили. С грузом. К поезду, надо думать.

— Что за люди? Какой груз?— спросил Макар.

— Люди-то? Люди как люди. На барже зимовали. А груз-то? Ящики... Вона... вроде этих.

Макар и капитан буксира подошли к носу баржи, на которой стоял номер 999.

— Кто перекрасил номер?— спросил Макар.

— Как так... перекрасил?— удивился капитан.

— Когда эта баржа стояла на Фонтанке, у нее был другой номер.

— Чертовщина какая-то...— почесал затылок капитан.— Сейчас проверим. У нас в журнале-то все прописано. Ванька!— крикнул он.— Погляди-ка в книге, какой там номер был у баржи-то?

Веснушчатый увалень, выглядывавший из капитанской рубки, заглянул в журнал и ответил:

— Три семерки.

— Три семерки?— удивился капитан.

— То-то и оно,— сказал Макар,— были три семерки, а стали... три девятки. Вот такая история.

Макар и капитан буксира поднялись по трапу на баржу и спустились в трюм. В трюме было пусто, и только в каюте, где жил Маркиз, на столе стояла клетка с попугаем. Увидев людей, попугай лениво взмахнул крыльями и отвернулся. Макар подошел к нему.

— Ну что испугался? Говори, не бойся.

Попугай, отвернувшись, молчал.

— Говори! Тебе говорят —говори!— прикрикнул на него Макар.

Попугай, нахохлившись, посмотрел на Макара.

— Тар-р-раканову ур-р-р-ра!— сказал он и снова отвернулся.

...В Михайловке Макар сразу же отправился в просторный станционный пакгауз. Старичок весовщик в форменной железнодорожной фуражке раскрыл перед Макаром нужную страницу в толстом бухгалтерском фолианте.

— Я плохо разбираю ваш почерк,— сказал Макар.

— Вот вы из Питера, вы бы там сказали —писать нечем. О чернилах я и не мечтаю, хотя бы карандаши чернильные дали. Пишу огрызками, какая уж тут каллиграфия.

Макар проглядывал запись.

— «Поезд 569-бис...»— читал Макар.— А тут что написано, не разберу...

Старичок неторопливо надел свои плохонькие очки с дужками, обмотанными суровыми нитками.

— Это к вам не касается. Это разгрузка. А погрузка ниже. Вот видите, ящики... Вот вы из Питера, вы бы там сказали... бумага газетная, ничего не видеть.

— Вы лучше скажите мне, что это такое?

— Где? Здесь?— Он протер очки краем засаленной клеенки и, внимательно посмотрев, сказал:— Что-то сам не разбираю...

— Вот здесь ящики. Станция назначения — Изгорск?

Старичок вдруг рассердился:

— Сами все прекрасно разбираете, зачем же морочите голову старику? Ящики. Общий вес двадцать один пуд.

— А это что?—указывая на другую запись, спросил Макар.

— Тоже ящики. Тут ясно написано: ящики, общий вес тридцать пять пудов. Станция назначения — Кандалакша.

— А это ящики? Станция назначения Гдов?

— Ящики. В эту ночь, можно сказать, как нарочно, чуть не весь груз — ящики. А на той неделе день был — в пятницу или в четверг, не помню, — не поверите, одни бочки грузили. Вот вы из Питера, вы бы там сказали...

Макар, не слушая весовщика, старательно переписывал сведения из книги в свою помятую терадку.

Старенький телеграфный аппарат «Морзе», постукивая, выталкивал длинную ленту с точками и тире. За спиною телеграфиста стоял Макар и, глядя на таинственные знаки, слушал флуговатый голос дежурного:

— «Осмотр грузов Кандалакше никаких результатов не дал. Проверка, проведенная Коганом Гдове, также результатов не дала. Продолжение розыска вам лично разрешаю. Немедленно выезжайте Изгорск». Подписано — «Петроугрозыск. Витоль».

Он оборвал ленту и протянул ее Макару.

Макар сунул ленту в карман и, хлопнув телеграфиста по плечу, сказал:

— Спасибо, товарищ. Для меня эта депеша вроде как якорь спасения. Она мне, можно сказать, жизнь вернула.

Макар толкнул створки окна и выпрыгнул на перрон.

Телеграфист покачал головой и снова склонился к своему аппарату.

*

В полутемном вагоне, освещенном коптящей керосиновой лампой, все спали. Спали сидящие на нижних лавках, спали счастливицы, растянувшиеся на полках рядом с тюками и баулами, спали и те, кто в проходе пристроился на мешках. Дремал в тамбуре проводник, не выпуская из рук фонаря. Безмятежно спал и Макар, притулившись возле окошка. Размерно постукивали колеса, убаюкивая пассажиров...

Под вагоном в угольном ящике ехало трое мальчишек. Здесь стук колес был оглушающим. Верзила, Булочка и Кешка не спали. В лохмотьях, перепачканные углем, они занимались весьма мудреным делом. Кешка и Булочка крепко дер-

жали высунувшегося из ящика Верзилу, который на ходу поезда пытался зацепить крюк, привязанный к веревке, за раму открытого окна. Наконец крючок зацепился. Верзила подергал веревку и, убедившись, что цель достигнута, залез обратно в ящик.

— Лезь, Булочка,— сказал он.

— Почему я?— испугался Булочка.

— Ты самый легкий,— сказал Верзила.

— У меня руки слабые,— захныкал Булочка.

Мальчишкам приходилось кричать, чтоб услышать друг друга.

— Я бы сам слазил, да меня веревка не выдержит!— крикнул Верзила.

— Жеребь тянуть,— предложил Кешка.

Верзила, придерживая веревку, поломал какую-то палочку на три части и, упрятав их в кулаке, протянул мальчишкам. Жребий вытянул Булочка.

— Не полезу, боюсь!— У Булочки затряслись губы.

Кешка увидел испуганные глаза Булочки и сказал:

— Ладно. Я полезу.

Он поменялся местом с Верзилой, схватился за веревку и, выглянув наружу, испуганно огляделся. Внизу мелькали шпалы, у Кешки зарябило в глазах, и он влез обратно.

— Не дрейфь, Монах!— подбодрил его Верзила.

И Кешка осторожно полез вверх по веревке. Добравшись до окна, он ухватился руками за раму. Ноги соскользнули с веревки, и он беспомощно повис... Паровоз дал длинный гудок, и вагон с висящим мальчишкой пронесся мимо пустынной платформы с одиноким дежурным, лениво помахивавшим фонарем.

Кешка нащупал ногами веревку и, подтянувшись на руках, влез в полуоткрытое окно.

Макар открыл глаза и увидел чьи-то ноги. На столике стоял мальчишка. Он деловито обшаривал верхнюю полку, осторожно вытащил из-под головы спящего пассажира буханку хлеба, положил ее в холщовый мешок и снова стал шарить...

Макар взял Кешку за ногу.

— Пусти!— испугался Кешка.— Пусти, дяденька!

— Ты что тут делаешь, мазурик?— негромко сказал Макар.

— Пусти, я больше не буду,— захныкал Кешка, стараясь разжалобить Макара.— С голодухи... неделю маковой росинки во рту не было... Пусти, дяденька.

— Ты откуда взялся?

— Оттуда.— Кешка мотнул головой в сторону окна.— С улицы.

Макар увидел крюк на раме, снял его и вытащил веревку.

— Ловко! Ты один?

— Один,— соврал Кешка.

— Врешь?

Макар привязал холщовый мешок к крючку и спустил его вниз. Верзила ухватился за мешок и дернул его. Веревка вырвалась из рук Макара.

А внизу, в угольном ящике, Верзила вытащил хлеб из мешка, и оба они вместе с Булочкой накинудись на хлеб, которого уже давно не ели. Они отламывали его круглыми кусками и давились, не успевая прожевывать черный липкий хлеб.

Макар раскрыл свой брезентовый саквояж, вынул оттуда кусок белого хлеба, отрезал сала и, усадив Кешку на колени, сказал:

— Жуй.

Кешка жадно набросился на еду.

— Куда пробираешься?

Кешка широко улыбнулся:

— В Крым.

— Зачем?

— Там тепло. Там яблоки...

Макар пристально посмотрел на Кешку.

— А ты из Питера? Из детдома Парижской коммуны?!

Кешка удивленно вытаращил глаза:

— А вы откуда знаете?

— Я тебя давно подкарауливаю,— усмехнулся Макар.

— Обратно в Питер повезете?—с оттенком обреченности спросил Кешка.

Макар засмеялся и уже серьезно спросил:

— Отец с маткой где? Живые?

Кешка отрицательно покачал головой.

— Убили?

— Отца на германской убили, а мамка от сыпняка померла...

Макар снова открыл саквояж, достал кусок колотого сахара и протянул Кешке.

— Рафинад...— удивленно прошептал Кешка.

*

Господин Вандерберг, один из крупнейших голландских коллекционеров, принимал ванну. Огромная ванная комната со множеством зеркал была ярко освещена. Ванна, в которой лежал Вандерберг, была утоплена в кафельном полу и доверху наполнена мыльной пеной, из которой виднелась только лысая голова Вандерберга.

Перед ним стоял ливрейный лакей в полном облачении.

— Приехал этот господин — из России, — негромко сказал лакей.

— Зови! Зови, зови его! Скорей!

Лакей удалился, а Вандерберг высунул из воды ногу и нетерпеливо пошевелил пальцами.

В ванную комнату вошел Артур и церемонно поклонился Вандербергу.

— Ну, что же вы молчите, Артур? Я сгораю от нетерпения. Как наши дела? — Вандерберг прикрутил кран, чтобы не шумела вода. — Ну, рассказывайте, Артур!

— Еще полторы, ну, максимум две недели, господин Вандерберг, и коллекция Тихвинского будет здесь.

Вандерберг восторженно шлепнул рукой по воде, обдав Артура мыльной пеной.

— Ха-ха! — раскатисто захохотал он. — Вы молодец, Артур. Золото, а не человек. Вы дьявольская пронира!

Артур поморщился.

— Не сердитесь, Артур. Я шутя. Вы знаете, как я ценю вас. И не только ценю, — Вандерберг снова рассмеялся, — но и щедро оплачиваю ваши услуги. Кстати, что этот негодяй требует за свои немислимые богатства?

— Господин Тараканов, по моим наблюдениям, опытный деловой человек, к тому же весьма осторожный. Он настаивает, чтобы оценку производили компетентные эксперты.

— Ну что же, пусть будет так.

Вандерберг поднялся, включил сильный душ и, отчаянно фыркая, стал смывать мыло. Потом он накинул на себя ворсистую простыню и, усевшись в низкое кресло, сказал:

— Теперь о главном. Я бы хотел знать, на что именно я могу рассчитывать. Что вы отдаете Свенсону и что получаю?

— Видите ли, господин Вандерберг... Это вопрос деликатный, — замялся Артур. — Я бы хотел быть с вами вполне откровенным.

— Разумеется, мой друг. Мы с вами деловые люди. Вы кладывайте все.

— Господин Свенсон настаивает на единоличном владении всей коллекцией.

Вандерберг откупорил бутылку с пивом.

— Что за чушь! У него нет таких денег, можете мне поверить.

— Возможно, что и так. Но он хочет оставить себе живопись. Все остальное он собирается уступить вам с таким расчетом, чтобы оправдать почти все свои расходы.

— Всю живопись я ему не отдам! Слышите, не отдам!

Артур подсел к столу, и Вандерберг разлил по стаканам пиво.

— Артур, я предлагаю вам честную игру. Как только кол-

лекция окажется у вас, мы с вашим патроном устроим маленький аукцион.— Вандерберг снова раскатисто засмеялся.— Вы меня понимаете — аукцион! Кто больше даст! Выручка пойдет в вашу пользу.

— Господин Свенсон на это не пойдет. Больше того: в последнем разговоре он намекнул, что, если вы не пойдете на его условия, он оставляет всю коллекцию за собой.

— Не понимаю, к чему вы клоните, Артур.

— Я обещал господину Свенсону живопись. Мы отдадим ему живопись. Но я вовсе не обещал ему всю живопись.— Артур многозначительно выделил слово «всю».— Мои разговоры с патроном носили, я бы сказал, предварительный характер... А теперь я располагаю документом, представляющим определенную ценность.

Артур вытащил из бокового кармана тоненькую книжицу и положил ее перед Вандербергом.

— Я не читаю по-русски,— сказал Вандерберг.— Переведите, пожалуйста.

— С удовольствием,— улыбнулся Артур и, раскрыв книжицу, стал называть имена: — Веласкес, Веронезе, Ван Дейк, Рубенс...

— Стоп, стоп, стоп! — замахал руками Вандерберг.— Давайте сразу отметим, что будет принадлежать мне!

*

У станции Изгорск поезд, в котором ехал Макар, остановился перед закрытым семафором. И вдруг в сонной тишине вагона послышался чей-то испуганный голос:

— Ой, што это? Кажись, горим?!

— Горим, братцы, горим! — истошно завопил тот же голос, и все пассажиры спросонья бросились к окнам. Макар тоже высунулся из окна и увидел, что станционные пакгаузы охвачены огнем.

Расталкивая пассажиров, перебираясь через мешки и корзины, Макар выскочил из вагона. У пакгауза стояли какие-то люди, безучастно наблюдая за тем, как двое пожарников качали ручную помпу, а третий направлял тонкую струю воды на деревянную стену багажного сарая. Вслед за Макаром от поезда к пакгаузу бежали пассажиры, на ходу рассуждая о причинах пожара.

— Молния, что ли, вдарила?

— Да грозы-то не было, от сухости, надо думать, возгорелось.

— Будет болтать! — сказал кто-то. — Бандиты подожгли, лагутинцы.

У горящего пакгауза собралась большая толпа.

Макар подбежал к растерянному человеку в фуражке с красным околышем:

— Что вы стоите?! Ведро, багры, кастрюли, баки — все, что есть, тащите!

И, обращаясь к пассажирам и стоявшим возле пожарников зевакам, крикнул:

— Товарищи, граждане! Что же вы стоите глазеете, когда на ваших глазах гибнет достояние Республики?!

И, не дожидаясь ответа, Макар выхватил у одного из пожарников топорик и устремился в горящий пакгауз.

Верзила, Булочка и Кешка с валенками под мышкой бежали к пакгаузу.

— Пацаны, куда вы?! — кричал Верзила. — Смываться надо! Самое время смываться!

Но Кешка, а за ним Булочка бросились к месту пожара.

А здесь уже от маленького пруда к горящему зданию бежали с ведрами и кастрюлями первые добровольцы.

Макар с остервенением, заслонясь рукавом от огня, в дымном сарае взламывал ящик за ящиком. С треском отлетела доска, и Макар увидел еще не выделанные овечьи шкуры. Задыхаясь от дыма, он выскочил из дверей и, подбежав к начальнику станции, суетившемуся возле пожарных, схватил его за плечо:

— Где ящики, которые прибыли ночью из Михайловки?

— Из Михайловки... — оторопело пробормотал начальник станции. — А... да, да, были ящики. Они в третьей секции. — И он показал рукой на закрытую дверь одного из отделений пакгауза.

— Сюда воду, сюда! Сюда! — крикнул Макар.

И он бросился к дверям, на которых стояла цифра «3».

Пожарники подтащили брандспойт и, взломав дверь, направили струю туда, откуда валил густой дым и вырывалось пламя.

А между прудом и пакгаузом выстроились две цепи. По одной передавали ведра с водой, по другой — порожние. Среди взрослых стояли в цепи трое беспризорников. Кешка и Булочка передавали ведра с водой, а Верзила — порожние. То и дело наклоняясь к Кешке, он тупо повторял одно и то же:

— Пацаны, тикать надо, пока твой комиссар не хватился! Слышь, Монах!

И вдруг в третьей секции раздался оглушительный взрыв. Столб пламени высоко взметнулся над пакгаузом. Обе цепочки шарахнулись в сторону и в испуге застыли, глядя на раскрытые двери пакгауза.

Пожарники бросились внутрь и вскоре вытащили из пакгауза обожженного Макара. На нем тлела одежда. Пожарники направили на него струю, чтобы сбить огонь.

— Фельдшера!— крикнул начальник станции.— Скорее фельдшера!

— Опоздал. Опоздал я,— с отчаянием говорил Макар, вытирая лицо рукавом, и, неожиданно потеряв сознание, повис на руках у пожарников.

К Макару подбежал Кешка:

— Дяденька, ты живой? Живой? Живой?

Тем временем Верзила схватил за руку Булочку и утащил за собой.

Макар открыл глаза и, увидев Кешку, едва шевеля губами, тихо произнес:

— Сгорело... Все сгорело.

*

В кинематографе «Арс» на Невском шел новый фильм режиссера Тарсанова «Фаворитка его величества». Доброво со своей супругой смотрел картину на последнем сеансе.

В переполненном зале зрители вслух читали надписи, а пожилой тапер, глядя на экран, играл старинный вальс.

...Золоченая карета, запряженная шестеркой лошадей, подкатила к парадному крыльцу большого барского дома. На запятках стоял негритенок, одетый в ливрею. К карете подошел слегка сутулый человек с близорукими глазами, раскрыл дверцу и склонился в поклоне. Из кареты вышла дама в пудреном парике и, взбежав по лестнице, улыбнулась красавцу лакею, предупредительно распахнувшему перед ней парадную дверь...

После сеанса Доброво поднялся в кинобудку и попросил длинноволосого киномеханика в студенческой курточке показать ему некоторые куски пленки. Он долго и внимательно разглядывал их на просвет и наконец обратился к механику:

— Попрошу вас... Вырежьте мне, пожалуйста, несколько кадров... Этот... этот и вот этот...

— Не могу. Нам не разрешают. Вы попросили показать, я показал. А вырезать не могу,— сказал киномеханик.— И потом... простите, кто вы?

— Моя фамилия Доброво.

— Прокофий Филиппович?— расплылся в улыбке киномеханик.

— Откуда вы меня знаете?— удивился Доброво.

— Я был студентом юридического факультета. Я знаю ваш учебник криминалистики. Собирался быть адвокатом...— усмехнулся киномеханик.— Зачем вам эти кадрики, Прокофий Филиппович?

— Видите ли... мне показалось, что один из этих статистов замешан в деле, которое меня интересует,— сказал Доб-

рово.— И я был бы вам очень признателен, если бы вы все-таки подарили мне эти три маленьких кусочка ленты.

Киномеханик улыбнулся и взял ножницы.

...Помощника режиссера, молодого человека в кожаной тужурке и мотоциклетных очках, Доброво разыскал в задымленной комнатухе кинофабрики, где одновременно гримировали и переодевали артистов, режиссер и оператор обсуждали план съемки, а участники массовых сцен получали деньги у пожилой кассирши, кутавшейся в темный шерстяной платок.

Разглядывая на просвет вырезанные кадрики, помощник режиссера сказал:

— Мы снимали этот эпизод в Знаменском, в имении Тихвинских. Это парадное крыльцо... Слуга у кареты и лакей наверху — не артисты, люди случайные.

— Случайные?— переспросил Доброво.— Участники народных сцен?

— Нет, нет, это не наши люди. Они случайно были там, в Знаменском, в имении. Не знаю, право, что они там делали, но, когда они появились, Гарсанов решил их использовать. Ему понравилась фигура вот этого лакея, у двери.— Помощник режиссера показал на пленке Маркиза.

— А фамилии этих людей... я мог бы узнать? — спросил Доброво.— У вас, вероятно, записаны их фамилии?

Помощник режиссера заглянул в свою тетрадку, вытащенную из куртки, и сказал:

— Фамилии... фамилии... Здесь столько фамилий... Малинин, Кривченя, Масленникова, Петров. Нет, нет, все не то, другая съемка... А здесь? Вот. Баранов-Переяславский, Кусакина, Лихачев, Калужский, Сипавина... Нет. Не помню. Решительно не помню, кто из них кто. И к тому же, насколько я помню... я просто не записал их фамилий.

— Жаль,— сказал Доброво.— Я бы дорого дал, чтобы узнать фамилию хотя бы этого человека.— Он показал на Тараканова, стоящего рядом с каретой.

— А зачем вам... этот человек?— спросил помощник режиссера.

— Видите ли... я когда-то учился с ним в одной провинциальной гимназии. Хотелось бы его разыскать.

Доброво поклонился и вышел из комнаты.

Старушка в зеленом капоте подошла к помощнику режиссера и спросила шепотом:

— Вы знаете, Петенька, с кем вы только что беседовали?

— Нет. А вы знаете?

— Конечно, знаю. Это знаменитый Доброво.

— Доброво? Не знаю.

...Дома, в своем кабинете, Прокофий Филиппович разложил фотографии кадров из фильма «Фаворитка его величества» на письменном столе и стал их тщательно рассматривать через лупу. Со двора донеслись звуки шарманки, и надтреснутый старческий голос запел:

Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Доброво подошел к окну, распахнул его и увидел во дворе рядом с сараями старого шарманщика с морской свинкой, окруженного детьми. Из окон выглядывали жильцы, а в глубине двора кто-то звал дворника:

— Ахмет, Ахмет!..

Доброво задумчиво взглянул на крышу, на чердачное окно, откуда когда-то появился Кешка...

Он вернулся к столу, из нескольких фотографий выбрал две — увеличенные портреты Тараканова и Маркиза, — отложил их отдельно. Потом Прокофий Филиппович подошел к книжному шкафу и, порывшись на одной из полок, вытащил тоненькую книжечку, такую же, какую Артур привез Вандербергу.

На обложке было написано:

*ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
принадлежащих князю С. А. Тихвинскому
СПБ—1915 г.*

Доброво полистал каталог и раскрыл его на фотографии фарфоровой статуэтки, изображающей крылатого Пегаса. Он положил каталог на стол и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Клетка с попугаем, которую Макар нашел в каюте Маркиза, стояла в кабинете у Витоля. Попугай дремал, не обращая никакого внимания ни на Витоля, беседовавшего с Доброво, ни на молодую женщину в кожаной курточке, что-то диктовавшую машинистке, закутавшейся в старый плед, ни на сотрудника угрозыска, занятого поиском нужной карточки в картотеке, занимавшей целую стенку в комнате.

— Нет, нет, Карл Генрихович, вы меня неправильно поняли, — говорил Доброво. — Работать я у вас не собираюсь. Я слишком стар, чтобы начинать жизнь заново. Просто я не хочу, чтобы уникальная коллекция Тихвинского пропала для России...

— Она пропала, Прокофий Филиппович... — с горечью сказал Витоль. — Сгорела.

— Как — сгорела?
— Во время пожара. На станции Изгорск. Сгорела дотла. Доброво прищурил глаза:
— Эти сведения достоверны?
Витоль подсел поближе к Доброву:
— Вполне. Сгорел пакгауз, все, что там было. Спасти ничего не удалось.
Доброво помолчал.
— Боже мой... А я размышлял... медлил...
Он встал.
— Мне показалось,— сказал Витоль,— что вы хотели мне что-то сообщить. Или я ошибся?
— Нет, не ошиблись. Я хотел сообщить кое-какие подробности, к сожалению ныне потерявшие всякий смысл...
Доброво направился к выходу, но задержался в дверях:
— Вы сказали, что из огня ничего вынести не удалось?
— Ничего. Наш сотрудник пытался спасти хоть что-нибудь, но ему это не удалось...



В большой палате Изгорской городской больницы, куда после пожара попал Макар, больные еще спали, когда ранним утром в раскрытом окне появился Кешка.

Макар заметил его и тихо присвистнул. Кешка подошел к нему и развязал узелок, в котором оказалась миска с вареной картошкой.

— Все в окна лазишь?— шепотом спросил Макар.

— А в двери меня не пускают,— улыбнулся Кешка.

— Откуда взял?— Макар кивнул головой на миску с картошкой.

Кешка вздохнул и отвернулся.

— С рынка?

Кешка вяло кивнул.

— Краденого есть не буду,— так же тихо, но твердо сказал Макар.

— А ты мне деньги, что ли, давал?!

— Мне ничего и не надо.

— «Не надо»...— проворчал Кешка.— Жрать не будешь — совсем подохнешь.

— Неужто ворюга из тебя вырастет?— вздохнул Макар.

— Не...— улыбнулся Кешка.— Я богомазом буду.

— Богомазом?

— Ну да. У нас в монастыре Данила Косой знаешь сколько огребал? За одного Георгия Победоносца ему отец Николай целый мешок проса отвалил.

Макар помрачнел.

— Опять за свое! Сколько раз я тебе говорил — нету бога, нету!

— Слышал я это,— снова заулыбался Кешка.— Однако иконы-то есть?

Скрипнула дверь. Кешка нырнул под кровать. Старая нянечка заглянула в палату, кого-то разыскивая, и тут же прикрыла дверь.

— Ушла? — спросил Кешка.

— Ушла.

Кешка выбрался из-под кровати.

— А валенки куда девал? — испуганно спросил он.

— Не бойся. У нянечки в шкафу твои валенки.

Кешка посмотрел на миску с картошкой.

— Съел бы картоху-то.

Кешка взял картошку и стал аппетитно есть.

Макар потянулся к миске рукой, Кешка, заметив это, ободряюще кивнул ему, и тогда, рассмеявшись, Макар взял картошку и тоже стал есть.

— Только гляди, чтобы это было в последний раз! — строго сказал Макар.

Кешка кивнул.

Оба уселись на низком подоконнике.

В утренней дымке, освещенный низкими лучами солнца, Изгорский Кремль выглядел сказочным чудо-городом.

Высоко над кирпичными стенами поднимались башни. А на самой верхушке одной из них словно полоскался на ветру флюгер, вырезанный каким-то умельцем, — силуэт архангела с трубой. Озеро подкатывало свои ленивые волны к самым стенам крепости...

— Как считаешь, Иннокентий, красиво?

Кешка кивнул головой. Он смотрел на архангела, и ему вдруг почудилось, что заиграла труба...

— А это, братец, между прочим, подневольный народ строил, — сказал Макар. — Рабы да крепостные! И вот, представь ты себе, какую красоту свободный пролетарий не для царей да господ, а для себя сотворить может? Я так думаю, что и представить себе этого нельзя!

Весело трубил архангел на верхушке одной из башен.

У дощатой платформы станции Изгорск остановился пассажирский поезд. Из последнего вагона вышел Прокофий Филиппович Доброво с небольшим кожаным чемоданом. Он огляделся по сторонам и направился к сгоревшему пакгаузу.

У невысокого станционного забора пассажиры остановившегося поезда торопливо запасались вареной картошкой, солеными огурцами, яблоками. Покупали на деньги, меняли на

вещи. Тут же толкался Кешка, высматривая что плохо лежит, пока наконец не взял прямо из-под рук шумно спорившей из-за цены торговки маленькое ведерко с мочеными яблоками... Кешка шмыгнул в толпу, и в тот момент, когда он почувствовал себя в безопасности, на его плечо легла чья-то рука.

— Угостил бы яблочком,— услышал он откуда-то сверху.

— Дяденька, я больше не буду... — начал он было привычное нытье, но, подняв голову, увидел перед собой Маркиза.

— Дяденька Маркиз... Неужто... вы?

— Я, отец Иннокентий. Я самый! — Он взял Кешку за руку и потащил за собой. — Зачем же ты из детского дома удрал?

— Все убежали.

— Куда же пробираешься? Из Вологды в Керчь?

— Ага. В Крым,— заулыбался Кешка.

— Чего там не видел?

— Там тепло. Там яблоки.

— Ну, вот что,— сказал Маркиз,— хватит тебе, Кешка, скитаться. Ни в какой Крым ты не поедешь. Будешь работать со мной.

— Опять ящики искать? — спросил Кешка. — Ящики искать не буду!

— О ящиках забудь. Были и нету. Сгорели. Видишь сарай? — Он показал на станционный пакгауз. — Вот в этом самом сарае и сгорели.

Тем временем Доброво вошел в помещение пакгауза. Обгоревшие стропила во многих местах рухнули, крыша обвалилась... Доброво осмотрел пакгауз — всюду видны были следы пожара. Пол был покрыт толстым слоем золы, на нем валялись обгорелые балки, ржавые куски железа, узкая металлическая лента, скреплявшая сгоревшие ящики, обручи от бочек...

Когда Доброво вышел на привокзальную площадь, он увидел круглую афишную тумбу, на которой была наклеена нарисованная от руки многоцветная афиша, изображавшая человека в широкополой шляпе, с револьвером в левой руке.

!!!ОДНРУКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЫ!!!

!!!Последняя гастроль Революционного цирка!!!

Вряд ли на афише можно было узнать в одноруком Вильгельме Телле Маркиза, но Прокофий Филиппович сразу же понял, что догадка его подтвердилась — Шиловский здесь. Значит, где-то здесь и Тараканов.

Но прежде чем отправиться в цирк, Доброво решил разыскать Макара. Больница была на окраине города, но Прокофий Филиппович решил пройти пешком.

Длинный дощатый забор больницы был выкрашен в густой темно-красный цвет. Проходя мимо него, Доброво обратил

внимание на несколько рисунков мелом, сделанных на заборе. Возле одного из рисунков он остановился. Это был сказочный конь с длинной, узкой шеей и с вьющейся по ветру гривой...

Доброво встретился с Макаром во дворе больницы.

Они сидели на лавочке, и Доброво, по обыкновению перебирая четки, неторопливо говорил:

— Во время пожара, когда весь пакгауз был охвачен пламенем, в такой, можно сказать, эмоциональный момент вы, естественно, не могли трезво сопоставить факты, вам прежде всего хотелось погасить огонь...

— Я опоздал... Когда я добрался до третьей секции, там все уже сгорело... — огорченно сказал Макар.

— Все, что было в пакгаузе, сгорело. Этот факт не вызывает сомнений. Но коллекции к тому времени там уже не было. И это тоже факт.

— Как — не было? Была! Мне начальник станции сказал! Груз, который ночью прибыл из Михайловки, был в третьей секции.

Доброво улыбнулся:

— Коллекции там не было. Попробуем рассуждать спокойно. Если бы она сгорела в пакгаузе, там, во-первых, можно было бы обнаружить хотя бы осколки фарфора. Не так ли, господин... Макар?

— Да? Да, конечно... — пробормотал Макар.

— Во-вторых, — продолжал Доброво, — не мог сгореть и бронзовый бюст Вольтера...

— Работа французского скульптора Гудона, уменьшенный вариант собственноручной работы автора, — на одном дыхании выпалил Макар.

— О, вы, оказывается, к тому же и знаток изящных искусств? — удивился Доброво.

— Нет, — простодушно сказал Макар. — Я выучил на память весь каталог коллекции князя. Эта бронзовая скульптура записана там под номером сто двадцать девять.

— Вот видите, — улыбнулся Доброво. — Номер сто двадцать девять никак сгореть не мог.

— Теперь-то я наконец понимаю, зачем они подожгли пакгауз! — вскипел Макар. — Заметали следы, гады!

— Возможно, что и так... Но мы с вами этого не знаем. Может быть, им просто повезло, а пакгауз действительно подожгли лагутинцы... или просто произошло совпадение... поджог совершили какие-то злоумышленники, пытавшиеся прикрыть свои хищения.

— Неужели еще не все пропало? — обрадовался Макар. — Что же делать? Надо действовать!

— Вне всякого сомнения. И как можно быстрее. Прежде всего, если вам разрешат врачи, вы отправитесь сегодня вече-

ром на прощальное представление цирка. А я составлю вам компанию.

— В цирк? Зачем в цирк? — удивился Макар.

— Доверьтесь мне, господин Макар. Я надеюсь, вы не пожалеете об этом.

Доброво приподнял свою шляпу в знак окончания разговора.

У ворот изгорского Кремля стоял фургон, оклеенный афишами передвижного цирка. В окошечке фургона кассир продавал билеты на представление, которое вот-вот должно было начаться. В приоткрытых воротах вокруг контролера толпились мальчишки, а за стеной крепости играл оркестр.

Макар с рукой на перевязи подошел к фургону, заглянул в окошечко и протянул деньги. Макар получил билет и отошел от кассы, но потом вернулся и снова заглянул в окошечко, разглядывая кассира; его лицо показалось Макару знакомым.

— Вам что? — слышался голос кассира.

— Мне?.. Мне еще один билет.

— А деньги?

— Деньги... Вот деньги.

Макар взял ненужный билет и пошел к воротам. Но снова вернулся к фургону и опять заглянул в кассу.

— Чего вам еще? Ступайте, ступайте! — слышалось из окошка.

Макар еще некоторое время потоптался возле кассы и вошел в ворота.

Макар твердо знал, что лицо этого кассира он где-то видел. Но где?

Кто он такой, этот кассир?

Представление уже началось. Во дворе крепости вокруг арены были расставлены скамейки, окруженные фургонами. Зрители расположились на скамейках, на крышах фургонов, на крепостной стене...

Из-за пестрой занавески, натянутой между двумя фургонами, появился шпрыхсталмейстер, похожий на швейцара роскошного отеля, и громогласно объявил:

— Революционная пантомима «Освобожденный труд»!

Под звуки оркестра на манеж вышел гигант с обнаженным торсом и кузнечным молотом в руках. Два униформиста, одетые подмастерьями, вынесли огромную наковальню. В такт музыке гигант сделал несколько ударов молотом, но тут выбежали артисты, изображавшие помещика, фабриканта, попа и генерала, и окружили молотобойца, с ужасом наблюдая за ним. По сигналу генерала появились «жандармы», они заковали гиганта в цепи, а генерал, помещик, фабрикант и поп взобрались на него, образовав пирамиду.

Макар уселся на скамейку недалеко от арены в тот момент, когда оркестр заиграл «Смело, товарищи, в ногу!» и гигант сбросил с себя облепивших его эксплуататоров и мощным усилием разорвал цепи. И тут под музыку на манеж вышли артисты, изображавшие рабочих и крестьян, с красным знаменем. Зрители неистово аплодировали.

А на манеж вышел шпрыхшталмейстер и объявил новый номер:

— Неразгаданные тайны Востока! Индийский факир Тумба-Юмба-Али-Бад!

Погасли фонари и тут же зажглись снова. На манеж в костюме факира на верблюде выезжал Али-Бад.

К кассе цирка подошел Доброво. Он протянул деньги и так же, как Макар, с интересом посмотрел на кассира. В человеке в темных очках он сразу же узнал Тараканова. Он взял билет и прошел в ворота.

На манеже Тумба-Юмба-Али-Бад с помощью своего ассистента «распиливал» женщину, лежащую в ящике на возвышении.

Доброво прошел между рядами и уселся сзади Макара.

Послышались аплодисменты. «Распиленная» женщина стояла рядом с Али-Бадом и посылала зрителям воздушные поцелуи.

И снова перед занавеской появился шпрыхшталмейстер:

— Неповторимый номер! Однорукий Вильгельм Телль!

Оркестр заиграл марш, и на арену вышел Маркиз в костюме тирольского охотника. Правый рукав был заправлен за пояс. Униформисты вынесли мишени, изображавшие Антанту, империалистов, Врангеля, Колчака, Деникина, Юденича... С поразительной меткостью Маркиз поразил мишени, перебивая нитки, на которых они висели.

Тараканов пересчитал деньги, закрыл окошечко и вышел из фургона.

А шпрыхшталмейстер надевал черную повязку на глаза Маркиза. Новая серия выстрелов... Новый взрыв аплодисментов.

— Смертельный номер! — объявил шпрыхшталмейстер. — Администрация просит людей со слабыми нервами покинуть цирк!

Все зрители остались на местах.

Маркиз взял небольшой пистолет и выстрелил вверх. Раздалась тревожная барабанная дробь, и на арену в коляске, запряженной пони, выехал Кешка в красном камзолычке и белых чулках с бантами. Кешка расставил руки, и шталмейстер положил в них по яблоку. Третье яблоко он положил ему на голову. Маркиз повернулся спиной к Кешке. Смолкла барабанная дробь. Маркиз, глядя в зеркальце, прицелился. Один за другим послышались три выстрела. Все три яблока

раскололись пополам. И под гром аплодисментов Кешка бросился к Маркизу. На арену вышел Макар. Он подмигнул Кешке и, похлопав по плечу Маркиза, сказал:

— Молодец, Вильгельм! Дай-ка свой пистолет, теперь я попробую!

Он взял у Маркиза пистолет. Униформисты по сигналу шпехшталмейстера вынесли мишени.

— Маэстро, прошу! — скомандовал Маркиз.

Раздалась барабанная дробь.

— Завязывай глаза!

Шпехшталмейстер завязал ему глаза.

Зрители, сидевшие поблизости от мишеней, перебрались подальше от опасности. Барабан смолк.

Макар прицелился и выстрелил. Мишень, на которой был изображен Врангель, упала. Цирк взорвался аплодисментами.

Макар сделал серию выстрелов. И снова раздались громкие аплодисменты. Цирк бушевал. Макар отдал пистолет Маркизу и, снова подмигнув Кешке, как победитель вернулся на свое место.

Когда он сел, Доброво склонился к нему и тихо сказал:

— Вы молодец, Макар! — Он кивнул в сторону Тараканова, стоявшего возле занавески, и спросил: — Вы знаете, кто этот человек?

— Как будто Тараканов, — тихо сказал Макар. — Но меня смущают его усы.

— Пусть они не смущают вас. Он их приклеил, — улыбнулся Доброво. — Если я вам понадобится, вы найдете меня в гостиной.

Он поднялся и пошел к выходу.

После представления Макар за кулисами разыскал Маркиза и Кешку. Униформисты укладывали имущество цирка в фургоны. Клетки с животными стояли уже на подводах, артисты, изображавшие силача и попа, несли скатанные ковры.

Кешка стоял рядом с Макаром.

— Поедемте с нами, дяденька Макар, — поглядывая на Маркиза, сказал Кешка.

Маркиз кивнул:

— Поехали?

— Ну, допустим, поеду я с вами, какая моя роль будет? — спросил Макар у Маркиза.

— А как сегодня, — сказал Маркиз. — Будешь выходить из публики в своем костюме или оденем тебя матросом для эффекта.

Мимо них торопливо прошел Тараканов, на минуту задержался, подозрительно приглядываясь к Макару.

— Согласен! — сказал Макар и протянул Маркизу руку.

Кешка обрадованно прижался к Макару.

...Цирк уезжал из Изгорска рано утром. По главной улице вслед за цирковыми фургонами бежали мальчишки. Лаяли городские собаки, чуя животных. Ревели медведи. Ржали лошади. За одним из фургонов гордо выступал верблюд Али-Бада.

Доброво из окна гостиницы наблюдал за движением циркового кортежа. На фургоне с изображением Вильгельма Телля он увидел Макара, сидящего рядом с Маркизом.

Доброво закрыл окно.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Доброво.

В номер вошли Витоль, Булатов и Коган.

— Здравствуйте, Прокофий Филиппович. Знакомьтесь с моими сотрудниками. — Витоль показал на своих спутников: — Василий Булатов и Миша Коган.

— Прошу вас, садитесь.

Витоль подошел к окну и, приоткрыв его, взглянул вслед удаляющемуся цирковому обозу.

— Какая жалость, что нам не удалось побывать на представлении! — засмеялся Витоль. — Представьте, мне ужасно не везет. С детских лет не бывал в цирке.

— Вы много потеряли. В этой провинциальной труппе, — сказал Доброво, подходя к Витолу, — есть подлинная жемчужина — столичный артист из цирка Чинизелли — однорукий Вильгельм Телль. Но самое любопытное в этой процессии заключается в том, что в одном из этих фургонов господин Тараканов увозит в Латвию коллекцию, которую вы разыскиваете.

— Это ваше предположение? — спросил Витоль.

— Предположение, основанное на ряде фактов. В этой цирковой труппе есть два человека, тесно связанные между собой. Это Тараканов, работающий на скромной должности кассира, и сам Вильгельм Телль — Петр Васильевич Шиловский, по кличке Маркиз, человек разнообразных дарований, многим обязанный князю Тихвинскому, служивший у него некоторое время воспитателем младшего сына... Этот Шиловский последнее время занимался перепродажей художественных ценностей.

Доброво положил на стол фотографии Маркиза и Тараканова из фильма «Фаворитка его величества».

— Вот они оба.

Вслед за тем Доброво вынул из ящика стола карту и, разложив ее, показал кружочек, возле которого была надпись: «Изгорск».

Витоль, Коган и Булатов склонились над картой.

— Маршрут бродячей труппы... от Пскова через Изгорск ведет к Ивановке, то есть, как вы изволите видеть, к границе Латвии.

Витоль взглянул на Когана.

— Это совпадает с нашими предположениями, — сказал Витоль. — Миша был на квартире, где последнее время жил Тараканов, и ему кое-что удалось узнать.

— Человек, который его навестил, оставил ему кое-какие продукты, завернутые в латышскую газету, — сказал Миша. — К тому же среди оставленных им книг я нашел русско-латышский словарь.

— Ну, допустим, цирковой обоз направляется все ближе и ближе к границе. Но почему вы уверены, что Тараканов везет коллекцию с собой? — спросил Витоль.

— Я не уверен, Карл Генрихович. Это моя рабочая версия, — сказал Доброво. — Во всяком случае, к моменту прибытия цирка в Ивановку, я думаю, Макар это будет знать точно.

— Предлагаю догнать их, пока еще не поздно, и арестовать, — сказал Булатов. — А там видно будет, с ними ящики или нет...

— Вы, как всегда, горячитесь, Булатов, — сказал Витоль. — Мы еще не знаем, где коллекция. Арестуем Тараканова и Шиловского, а коллекция уйдет от нас...

— Во всяком случае, действовать надо быстро и решительно, — сказал Доброво.

— Вот и не будем терять времени, — сказал Витоль. — Благодарю вас, Прокофий Филиппович.

— Во-первых, Карл Генрихович, я человек суеверный и благодарить меня еще рано, — сказал Доброво. — Во-вторых, интуиция мне подсказывает, что мы имеем дело с людьми ловкими, хитрыми, изворотливыми, и, вне всякого сомнения, нас еще ждут неприятные сюрпризы... И, наконец, в-третьих, — Доброво улыбнулся, — я прошу помнить, что я не служу у вас, а занимаюсь этим делом только для того, чтобы достояние России не оказалось за ее пределами.

— Ну что ж, Прокофий Филиппович, — улыбнулся Витоль, — я все-таки не теряю надежды, что мы с вами еще встретимся в интересах Советской России.

Комбриг Струнников, тот самый Струнников, который три года назад был командиром отряда, приказавшим выбросить Петровых с его ящиками из вагона, принимал Витоля в своем штабе в Изгорске, расположенном в зале бывшего дворянского собрания.

— Рад бы помочь тебе, да не могу, — трубным голосом говорил Струнников. — Покончу с Лагутиным, приходи. Взвод попросишь — дам! Эскадрон? Бери эскадрон. Лагутинская банда терроризирует всю губернию, буквально выскальзывает из рук. Днем в деревне — мужик мужиком, а ночью — бандит.

Вчера были в Дятлове, сегодня в Понизовке... Куда тебе надо бойцов?

— В Ивановку.

— Так бы сразу и сказал. В Ивановке-то у меня эскадрон Корытного стоит. Эскадрона тебе хватит?

— Хватит.

— Кулагин! — позвал Струнников своего ординарца.

К Струнникову подскочил молодой ординарец.

— Пиши приказ. «Командиру эскадрона Корытному. Настоящим я, комбриг Струнников, приказываю оказывать всякое и всяческое содействие представителю Петроградского уголовного розыска...» Как твои фамилии? — обратился он к Витю.

— Витоль, Карл Генрихович.

— Пиши, — приказал он ординарцу. — «...оказывать содействие товарищу Витоль всеми доступными средствами и всеми силами эскадрона в выполнении важнейшего задания Совнаркома Республики».

*

Господин Вандерберг пригласил к себе своего адвоката, чтобы посоветоваться с ним по одному щекотливому поводу.

— По имеющимся у меня сведениям, господин Вандерберг, — говорил адвокат, — как только все эти ценности окажутся в ваших руках и в руках господина Свенсона, князь Тихвинский немедленно подаст в суд. Надеюсь, вы понимаете, что суд вряд ли поддержит нас с вами.

— Мы попытаемся избежать судебного процесса, — улыбнулся Вандерберг, протягивая адвокату сигары. — Для этого вы прежде всего сделаете заявление от моего имени, что я вовсе и не собираюсь приобретать коллекцию князя Тихвинского. Изобразите дело таким образом, что князь просто поверил газетной утке.

Вандерберг поднялся.

— Кроме того, я прошу вас посетить самого князя Тихвинского и от моего имени чистосердечно заверить его, что я, так же как и он, уважаю право частной собственности, и если вдруг я что-либо узнаю о его коллекции, я, разумеется, тут же всё сообщу князю в Париж.

Вандерберг, довольный собой, шумно рассмеялся.

Адвокат встал, поклонился, и Вандерберг проводил его до дверей.

И сразу же в кабинет вошел Артур.

— Наши планы несколько меняются, Артур, — сказал Вандерберг. — Вы, как мы и договорились, встретитесь с Таракановым в Либаве, а оттуда повезете коллекцию не сюда, в Амстердам, а на мою виллу в Норвегии. Кроме вас и меня,

об этом не должна знать ни одна живая душа. Ситуация сложилась... щекотливая. У этой коллекции теперь два хозяина — князь Тихвинский и новое правительство России. Вот я и решил: пусть коллекция полежит в тиши норвежского фиорда...

— Но что же я скажу Свенсону? — вырвалось у Артура.

— Вы ему скажете то же самое, что и князю Тихвинскому. Пусть все считают, что сокровища снова исчезли, так же как и тогда, в восемнадцатом году... — И Вандерберг снова расхохотался. — Что же касается России, то будем надеяться, что там скоро будет другое правительство. Желаю вам успеха, Артур. Ждите меня в Норвегии. И не хмурьтесь, дружище. Вот вам задаток. — И он протянул Артуру плотную пачку банкнотов.

*

Цирковые фургоны с поднятыми оглоблями стояли на берегу реки. Тут же, неподалеку, паслись распряженные лошади. Цирковой табор недавно проснулся — артисты умывались, разводили костры...

Маркиз и Макар сидели на мостках и удили рыбу. Поплавки застыли в неподвижной воде, и они оба внимательно наблюдали за ними. Макар сидел несколько сбоку, так, что ему было хорошо виден большой деревянный фургон, в котором жил Тараканов.

Кешка рядом с мостками, на глинистом берегу, по своему обыкновению, соорудил какую-то замысловатую крепость.

Откуда-то доносился звук валторны, где-то рычал медведь, на поляне разминались акробаты, индийский факир Тумба-Юмба-Али-Бад в рваном халате и мятой буденовке жарил яичницу, держа сковороду над костром.

— Скажи, Маркиз, где ты так стрелять насобачился? — спросил Макар.

— Видишь ли, Макар, в нашем кругу, я имею в виду истинных аристократов, — Маркиз с достоинством наклонил голову, — с детства, можно сказать с пеленок, обучают фехтованию, стрельбе из пистолетов и верховой езде. Кроме того, в предреволюционные годы в целях заработка я работал в цирке Чинизелли...

Пока Маркиз говорил эти слова, из фургона, за которым наблюдал Макар, вышел Тараканов в бархатной курточке, с полотенцем через плечо. Он вытащил из кармана замок, запер дверь фургона и направился к воде.

— Я — неудивительно, — продолжал Маркиз. — А вот где ты успел наловчиться?

— Я-то?.. — засмеялся Макар. — Два года имперналистической, в окопах, на Стоходе, да три гражданской! Пять лет с винтовкой в обнимку.

— А потом?

— Потом?

Макар пододвинулся поближе к Маркизу:

— Этот... ваш кассир... Его как зовут?

— Тараканова? Илья Спиридонович.

Макар придвинулся еще ближе:

— Сдается мне, что этот ваш Тараканов большой жулик.

— Думаешь, деньги из кассы берет? — заинтересовался Маркиз.

— Этого я не знаю.

Тараканов прошел к своему фургону, открыл замок, бросил полотенце, взял котелок и, снова заперев замок, направился к костру.

— Фургончик свой аккуратненько на замок запирает. Что у него там? — спросил Макар.

— Как — что? Деньги.

— Деньги он еще вчера директору отдал.

— Все-то ты замечаешь, Макар! — рассмеялся Маркиз.

— Не клюет, — сказал Макар.

Маркиз посмотрел на причудливую крепость из глины с башенками, глубоким рвом и подъемным мостиком. Кешкино сооружение было чем-то похоже на корпус бронзовых часов из дома Тихвинского, но об этом не подозревали ни Макар, ни Маркиз.

— Откуда же ты такой замок взял? — спросил Маркиз. — Из головы?

— Не, — улыбнулся Кешка. — Видел.

— Видел? — удивился Маркиз.

— Ага, — ответил Кешка и снова углубился в свое занятие.

— Заберу я его у тебя, — тихо сказал Макар. — Учиться ему надо.

— А если я не отдам? — так же тихо сказал Маркиз.

— Отдашь. Нет у тебя на него прав.

— А у тебя есть?

— Есть. Потому как, если хочешь знать, он есть воспитанник детского дома имени Парижской коммуны!

— Вот как... — усмехнулся Маркиз. — А я и не знал. Но все равно Иннокентия я тебе не отдам.

— Отдашь, — уверенно сказал Макар.

...Вечером цирковой обоз подъезжал к лесу. Дальше дорога шла вдоль лесной опушки. Солнце скрылось за деревьями, и густая тень легла на дорогу. Посреди процессии все так же гордо вышагивал верблюд Али-Бада. Дремали в своей клетке медведи. Скрипели на ухабах колеса телег и фургонов...

Последним в обозе шел фургон Тараканова, где впереди

сидели Тараканов и Маркиз. Тараканов держал в руках вожжи и изредка помахивал кнутом. А сзади за фургоном тащился на привязи пони со своей тележкой, на которой сидел Кешка.

— Я вас догоню в Больших Котлах, — негромко говорил Маркиз. — У местного звонаря разыщите Егора. Он спрячет вас до моего приезда... — Маркиз насмешливо посмотрел на Тараканова: — Только не вздумайте уговаривать его переправиться через границу без меня. Не выйдет.

— Вы все еще не верите мне, Шиловский?

— Что вы, Илья Спиридонович... Пока вы без меня не можете обойтись, я вам вполне доверяю.

— Мальчишку оставьте этому... своему помощнику, чтобы не путался под ногами, — сказал Тараканов.

— С Иннокентием я не расстанусь. Вы возьмите его с собой, — ответил Маркиз.

— На кой черт вам нужен этот щенок?

— Вам этого не понять, Тараканов. Просто я полюбил мальчика. Понимаете, полюбил!

Маркиз прыгнул на землю и быстро, обгоняя повозки, направился к голове обоза. Поравнявшись с фургоном, на стенке которого был изображен Вильгельм Телль, он вскочил на козлы и сел рядом с Макаром.

— Где Иннокентий? — спросил Макар.

— Сзади, на пони.

Макар оглянулся и увидел позади обоза, на повороте дороги, тележку с пони, привязанную к фургону Тараканова, на которой действительно сидел Кешка.

Когда обоз свернул на дорогу, ведущую к реке, Тараканов, несколько поотставший со своим фургоном от всех, неожиданно погнал лошадей в лес. Кешка прыгнул с тележки и, подбежав к Тараканову, встревоженно спросил:

— Куда вы, Илья Спиридонович? Зачем в лес?

— Гнедой копыто сбил...

Тем временем Маркиз и сидевший с ним рядом Макар подъезжали к мосту, ведущему в деревню, показавшуюся на другой стороне реки.

— Пролетарское чутье тебя не подвело. Молодец, Макар! — говорил Маркиз. — Тараканов-то и вправду жулик.

Макар с интересом посмотрел на Маркиза.

— Знаешь, что он прячет? — спросил Маркиз.

— Что? — бесстрастно спросил Макар.

— Семечки.

— Какие семечки?

— Подсолнечные, — подмигнул Маркиз. — Десять мешков семечек.

— Десять мешков... семечек... — повторил Макар и, как бы невзначай, взглянул на конец обоза.

Фургона Тараканова не было. Не было и тележки, запряженной пони, на которой ехал Кешка. Макар понял, что надо действовать. Действовать быстро и решительно. Но как?

Перед самым мостом он потянул вожжи и съехал с дороги. — Зачем останавливаешься? — сказал Маркиз. — Поехали! Мимо прошел Али-Бад со своим верблюдом.

— В чем дело, Макар? — спросил Али-Бад. — Что-нибудь случилось?

— Нет. Просто хочу лошадей напоить, — ответил Макар.

Али-Бад недоуменно пожал плечами.

Цирковой обоз проходил мимо.

— Али-Бад прав. Лошадей поить в дороге нельзя, — жестко сказал Маркиз. — Поехали дальше, Макар! — Маркиз вытащил пистолет и, улыбнувшись, сказал: — Сделай одолжение, дружище, поезжай дальше.

Макар тут же обернулся, держа в руке револьвер.

— Что вы делаете, мужчины? Так можно и убить друг друга, — сказала женщина, которую «распиливал» Али-Бад.

— Мы джентльмены, Марион! Мы не любим крови! — крикнул ей вдогонку Маркиз.

Марион засмеялась, а ее телега, ехавшая последней, загрозотала по деревянному настилу моста.

— Прошу тебя, Макар, поезжай! — снова сказал Маркиз. — Марион права, зачем нам убивать друг друга? Какое тебе дело до семечек Тараканова!

— Брось оружие! — крикнул Макар.

— Ты прав! Я слишком хорошо им владею!

Маркиз отбросил пистолет в воду и в то же мгновение вышиб ногой револьвер из рук Макара. Макар бросился на Маркиза. Сцепившись, они покатались по мосту. То один, то другой брал верх, пока Макар, изловчившись, не прижал Маркиза к перилам. Раздался треск, и Маркиз полетел в воду.

Макар поднял свой револьвер, подбежал к фургону и, вскочив на сиденье, погнал лошадей к лесу.

В лесу, на полянке, где Тараканов оставил свой фургон, Кешка внимательно осмотрел копыта Гнедого и, убедившись, что подковы в порядке, подошел к Тараканову, отвязывавшему пони от фургона.

— Илья Спиридонович, у Гнедого копыта не сбиты... — сказал он. — Поехали, Илья Спиридонович, как бы не заблудиться...

— Сейчас поедem, — буркнул Тараканов. — Не заблудимся. — Он раскрыл дверцу фургона и, показав на котелок, лежавший на одном из ящиков, попросил: — Ну-ка, достань котелок.

Кешка залез в фургон, и в то же мгновение Тараканов хлопнул дверцу.

Кешка оказался закрытым в фургоне.

— Пустите!.. — закричал он. — Зачем вы меня закрыли?!

В фургоне было почти совсем темно, только через узенькую щелку сюда проникал тонкий луч света. Кешка стал колотить кулаками по дверце.

— Отпустите меня! — кричал он. — Я скажу Маркизу! Я ему все скажу!

Тараканов не отвечал. Он вытащил из кармана связку ключей и, взглянув поверх очков, нашел нужный. Затем, вставив ключ в отверстие, дважды повернул его.

Кешка от бессилия стал колотить ногами по дверце.

— Что я вам сделал? Зачем вы меня заперли? — кричал он.

Но Тараканов, не обращая внимания на его крики, подошел к пони и, не распрягая из тележки, стал выводить его на дорогу. Потом он достал из-под сиденья кнут и резко хлестнул по спине маленького коня. Пони вздрогнул и, шумно отфыркиваясь, побежал к лесной опушке. А Тараканов, проводив взглядом тележку, вернулся к своему фургону.

— Илья Спиридонович, где вы?.. Куда вы ушли?! — все еще кричал Кешка.

— Да ты не шуми, — неожиданно миролюбиво сказал Тараканов. — Не съем я тебя, ничего с тобой не будет. Потерпи маленько, выпущу.

Он забрался на козлы и, натянув поводья, стал разворачивать лошадей. Выхав на дорогу, он сильно ударил вожжами по крупу коренной, и лошади покатали фургон все дальше и дальше по лесному проселку.

Кешка, чтобы не упасть, уцепился руками за дверную ручку. В фургоне стало совсем темно — плотные кроны деревьев, казалось, совсем не пропускали солнечного света.

Макар, преследовавший Тараканова, торопился, но он не мог гнать лошадей слишком быстро — надо было внимательно наблюдать за дорогой, за перепутанными следами на пыльной колее, чтобы не пропустить того места, где свернул с дороги Тараканов, и понять, куда он угнал свой фургон. Макар уже приближался к лесу, когда навстречу ему появилась тележка, запряженная пони, и он увидел, что тележка пуста... Следы таракановского фургона вели к лесному проселку. Макар спрыгнул на землю и осмотрел дорогу. Сомнений не было — Тараканов свернул здесь. Макар хорошо понимал, что нельзя терять время. Вскочив на козлы, он развернул лошадей и, направив их по лесному проселку, резко ударил вожжами.

— Но, мои золотые! — крикнул он. — Вперед!

...Маркиз, после того как, мокрый, выбрался на берег, кое-как выкрутил одежду и бросился догонять цирковой обоз. Последним в кортеже шел фургон Марион, и Маркиз еще издали закричал:

— Марион! Марион, остановитесь!

Но голос Маркиза заглушал шум ветра, и Марион не слышала его. Она сидела впереди, на высоких козлах, погруженная в свои размышления.

— Марион, вы что, не слышите меня?

Она увидела перед собой возбужденное лицо Маркиза, догнавшего ее.

— Остановитесь, Марион!

Марион натянула поводья, фургон остановился, и Маркиз, подбежав к ее упряжке, стал распрягать одну из лошадей.

— Что случилось, Маркиз? — испуганно бормотала Марион. — Умоляю, скажите, что случилось?! Из-за чего вы поссорились со своим ассистентом? Зачем вы купались в одежде?

Маркиз не отвечал, он быстро седлал коня.

Марион подбежала к нему:

— Зачем вы распрягли лошадь? Право же, это невежливо... отнимать у женщины лошадь...

Марион попыталась удержать Маркиза, но он, вежливо отстранив ее, вскочил на коня, махнул рукой и поскакал по дороге.

— Не грусти, Марион, я скоро вернусь! — крикнул он.

— Где ваше благородство, Маркиз... где ваше благородство?! — беспомощно повторяла Марион, глядя вслед удаляющемуся всаднику.

Макар, без устали погонявший лошадей, стал уже сомневаться в том, что выбрал верную дорогу, когда проселок вывел его из леса к излучине реки и он заметил вдали фургон Тараканова, приближающийся к броду.

«На этот раз вы от меня не уйдете, господин Тараканов», — подумал Макар и снова подхлестнул усталых лошадей.

Но Тараканов, казалось, вовсе и не опасался Макара; он видел, что его догонит какой-то другой фургон, и был уверен, что на помощь ему спешит Маркиз. Он даже хотел придержать лошадей и подождать его, но, когда услышал зычный крик Макара, подхлестывавшего свою упряжку, он понял, что ошибся.

И тогда Тараканов кнутом сильно стегнул лошадей, они, будто обезумев, рванулись к воде, стремительно преодолели речку и вынесли фургон на противоположный берег.

— Стой! — закричал Макар. — Стой, Тараканов!

Макар поднялся с сиденья и снова сильно ударил вожжами по спине коренного. Заднее колесо его фургона подпрыгнуло на камне, и из оси вылетела шпонка, удерживающая колесо. Колесо стало сдвигаться все ближе и ближе к краю оси... Макар не мог видеть этого, он отчаянно хлестал лошадей. Его фургон вслед за таракановским скатился по отлогому песчаному съезду к воде, и лошади потащили его по каменистому дну. И тут наконец разболтавшееся колесо соскочило с оси. Фургон сразу же завалился набок, и лошади встали. Макар спрыгнул в воду и бросился распрягать лошадей. Быстро освободив из упряжки пристяжную, Макар вскочил на нее и поскакал вслед за Таракановым.

Таракановский фургон пронесся мимо хутора, распугивая гусей и кур, и, едва не сбив козу, выскочил на дорогу, идущую через поле нескошенной ржи.

Кешка через узкую щелку в дверях фургона увидел приближающегося всадника. В свете заходящего солнца белая лошадь всадника казалась пурпурно-красной. Красным было и небо у горизонта. Всадник быстро приближался, и Кешка узнал в нем Макара.

— Дядя Макар, дядя Макар! — радостно закричал он.

Макар почти вплотную приблизился к таракановскому фургону.

— Я здесь, дядя Макар! — кричал Кешка.

— Слышу, Кешка. Я сейчас, погоди маленько.

Макар прищпорил коня и поравнялся с фургоном. И в это мгновение один за другим прозвучали два выстрела. Тараканов стрелял, высунувшись из-за передней стенки фургона. Макар, оставшийся невредимым, немного отстал и теперь держался на лошади так, чтобы фургон закрывал его от Тараканова.

— Стой! — крикнул Макар.

Но в ответ снова одна за другой просвистели пули.

— Тараканов, стойте! — снова крикнул Макар и тут же увидел высунувшееся из-за фургона искаженное лицо Тараканова, его револьвер...

Но выстрела не было, и Макар понял, что у Тараканова кончились патроны.

— Остановитесь, Тараканов, я буду стрелять! — предупредил Макар и выстрелил в воздух.

Но Тараканов все стегал и стегал лошадей. Макар, снова поравнявшись с фургоном, на ходу перепрыгнул со своей лошади на крышу таракановского фургона, а с крыши — на коренную лошадь его упряжки и с силой натянул поводья. Тараканов хлестал по крупам лошадей, по спине Макара, но взмыленные лошади остановились, и Тараканов бросился в рожь.

— Стой! Стреляю! — крикнул Макар, прыгивая с лошади и бросаясь за Таракановым.

Но в эту минуту послышался истошный крик Кешки:

— Дяденька Макар, дяденька Макар! А-а-а...

Макар подскочил к двери фургона, рукояткой револьвера сбил замок и, распахнув дверь, увидел Кешку, придавленного ящиком, сдвинувшимся при резкой остановке.

— Ногу... Ногу придавило...

Макар плечом отодвинул ящик, и Кешка спрыгнул на землю.

Макар огляделся. Тихо стрекотали кузнечики. В сумерках слабо шелестела рожь...

— Удрал...

Макар сплюнул и, поднявшись в фургон, стал открывать ящик, придавивший Кешку.

— Семечки, говоришь?..

Он поднял крышку и увидел завернутые в вату фарфоровые фигуры.

— Номер семьдесят три, — улыбаясь, сказал Макар. — Терпсихора, муза танцевального искусства, императорский фарфоровый завод, конец восемнадцатого века...

Макар вытащил из другого ящика небольшой, свернутый в рулон холст, развернул, и лицо его просветлело.

— Номер шестьдесят семь, «Мальчик в голубом». Художник Пинтуриккио. Так вот он какой, мальчик... Гляди, Кешка! — почти шепотом сказал он. — Ему почти пятьдесят лет, а он живой!

Кешка смотрел на портрет мальчика, на его чуть настороженные глаза, на его голубой костюмчик... В спустившихся сумерках портрет приобрел какую-то таинственность, краски заката причудливо видоизменили полотно...

И вдруг, будто из-под земли, появились какие-то люди.

— Не найдется ли закурить? — миролюбиво спросил один из них, подходя к Макару.

Макар полез за кисетом.

— Тебе не страшно? — лениво спросил другой.

— А чего бояться? — отшутился Макар.

— Чего везешь? Что за товар?

Кешка испуганно смотрел на подошедших.

— Вот вам табачок... а разговоры разговаривать мне некогда.

— Да и у нас времени в обрез, — сказал первый, принимая кисет у Макара и пряча его за пазуху.

В то же время второй вывернул руку Макара и бросил его на землю. Все трое накинулись на него и, связав, засунули в рот кляп.

— Лезь в фургон! — прикрикнул на Кешку первый.

Связанного Макара уложили на ящики, Кешку усадили рядом с ним, и первый снова распорядился:

— Ты, Родя, присмотри за ними, а мы спереди сядем.

И фургон мирно покотился по дороге...

Было уже совсем темно, когда Маркиз, потеряв следы Макара, наконец догнал фургон Тараканова. Приблизившись к нему почти вплотную, он увидел на дверце афишу с рисунком однорукого Вильгельма Телля и, убедившись таким образом, что он не ошибся, крикнул:

— Илья Спиридонович, остановитесь!

— Дяденька Макар, это Маркиз, — прошептал Кешка.

Макар в темноте прикрыл Кешкин рот ладонью.

А Маркиз, прищипав коня, рванулся вперед и подскочил к сидевшим на облучке фургона бандитам.

— Илья Спиридонович, уж не думаете ли вы скрыться от меня? И где Иннокентий?!

— Никак, обознался, любезный, — довольно миролюбиво отозвался один из бандитов.

— Езжай своей дорогой, — хрипло проворчал другой.

— Джентльмены, прошу вас остановиться, вы затеяли дурную игру! — крикнул Маркиз и снова рванулся вперед, поставив свою лошадь на пути упряжки, катившей фургон.

Лошади остановились, и Маркиз крикнул бандитам:

— Что вы сделали со стариком и ребенком?

— Слушай ты, джентельмен, — злобно сказал хриплый, — убирайся ко всем чертям, если не хочешь получить пулю в лоб!

— Пулю? С кем имею честь, господа?!

Кешка отодвинул руку Макара от своего рта.

— Это Маркиз, — снова зашептал он. — Маркиз!

— Я тебе покажу маркиза! Молчать! — прикрикнул охранявший внутри фургона Макара и Кешку бандит, которого называли Родей.

— С кем имею честь? — снова повторил свой вопрос Маркиз.

На этот раз вместо ответа последовал выстрел.

Маркиз рванул лошадь.

— Вот это уже напрасно, господа! — крикнул он. — Вам следовало для начала хотя бы поинтересоваться, с кем вы имеете дело!

Один из бандитов хлестнул лошадь, и фургон покотился дальше.

Из-за туч показалась луна, и Маркиз, поскакавший вслед за фургоном, увидел, что лесная дорога внезапно оборвалась у стен Острогорского монастыря. Глухие, казалось, ворота надвратной церкви распахнулись, пропустили фургон и так же

быстро захлопнулись. Маркиз понял, что невольно оказался у самого гнезда лагутинцев. Он пришпорил коня и поскакал обратно по лесной дороге.

В просторной монастырской трапезной при тусклом свете изрядно коптившей керосиновой лампы лагутинцы за большим столом, сколоченным из массивных дубовых досок, угрюмо играли в лото. Посреди стола стояли опустошенные бутылки от самогона, рядом с картами лото валялись остатки сала, куски черствого хлеба.

Сидевший в торце стола бледный и очень худой человек неторопливо доставал из ситцевого мешочка бочата с цифрами и лениво называл номера, едва шевеля губами:

— Двадцать девять... Барабанные палочки...

За неимением фишек почти все играющие пользовались патронами от обрезов, которые лежали здесь же, возле карточек лото.

— Пятьдесят четыре...

Двое дюжих бородачей втокнули Макара через узкую сводчатую дверь в трапезную и подвели к столу. Макар оказался напротив худого, который так же тихо и невозмутимо продолжал называть номера.

— Сорок четыре... шесть... — Он на какое-то мгновение взглянул на Макара и спросил: — Хотел бы я знать, мил человек, у кого вы столько добра награбили? — И тут же объявил: — Семьдесят пять.

— Я не грабил, — хмуро сказал Макар. — Я хотел вернуть республике... ее достояние.

— Какой республике, мил человек?

— Советской Республике рабочих и крестьян, — твердо сказал Макар.

Лагутинцы оторвались от карт и уставились на Макара.

— Дед, — снова объявил худой, и играющие опять уткнулись в карты. — У меня, господа, квартира.

Худой отложил в сторону ситцевый мешочек и взял в руки наган.

— Комиссар? — тихо спросил у Макара.

— Нет.

— Коммунист?

— Да.

Худой вздохнул.

— Я вычеркиваю вас из списков живущих на этом свете. Как члена партии коммунистов.

Он заложил в пустой барабан всего три патрона и повернул его. Потом поднял наган и прицелился в Макара.

Бородачи, охранявшие Макара, взяли его за плечи, но Макар резким движением скинул их руки.

— Стреляй!

Худой продолжал целиться.

— Попытаем судьбу,— сказал он, нажал спусковой крючок.

Выстрела не последовало — боек ударил в пустое гнездо, где не было патрона.

— Повезло, — все так же бесстрастно сказал худой и, отложив наган в сторону, снова взял ситцевый мешочек. — А ведь не правда ли, хочется жить?

Макар не ответил.

— По глазам вижу — хочется. Так вот ведь, подумайте только, какая несправедливость: вам жить хочется, а вы жить не будете, мне же совсем не хочется, а я буду.

Лагутинцы захохотали.

— Но все равно считайте, что вам пока повезло, — продолжал худой. — Вас отведут в божий храм, и у вас будет достаточно времени, чтобы подумать о своей душе и помолиться господу богу, прежде чем отправиться в иной, лучший мир. — Он вытащил бочонок и объявил: — Тридцать пять. У меня, господа, партия. .

Лагутинцы зашумели, отодвигая от себя карты. Бородачи взяли Макара за плечи и повели к двери.

— Куда вести-то его? — спросил один из бородачей.

— Не слышал, что ли... Лагутин велел в церковь, — ответил другой.

Когда они вывели Макара на монастырский двор, к нему тут же бросился Кешка с валенками под мышкой:

— Дядя Макар!

Бородач оттолкнул его.

— Пустите мальчика, — попросил Макар.

— Пушай идет, — мирно сказал второй лагутинец.

— Пушай, — согласился первый и вырвал валенки у Кешки.

— Дяденька, отдайте валенки!

— Отдай! Отдай пацану валенки! — крикнул Макар.

— Отдай, на что они тебе, — сказал второй лагутинец.

Кешка вырвал валенки и пошел вслед за бородачами, которые, скрутив руки Макару, повели его через залитый солнцем монастырский двор, через двор того самого Острогорского монастыря, из которого когда-то Мызников увез Кешку и который теперь превратился в главную резиденцию Лагутина.

Лошади, повозки, костер посреди двора, пулеметы, ружья, составленные в пирамиды, разношерстное войско Лагутина — все это заполняло монастырский двор, который теперь больше напоминал военную крепость, чем божью обитель.

Монахи, напуганные лагутинцами, попрятались в своих кельях, и только изредка через двор, прижимаясь к стене, торопливо проскальзывали одинокие фигуры в рясах.

Макара и Кешку подвели к закрытым дверям церкви. Один из парней отодвинул засов, открыл массивную дверь, и Макар с Кешкой оказались в церкви.

У ворот монастыря безногий инвалид на тележке со скрипучими колесиками развлекал часовых лагутинцев и толпившихся здесь же деревенских жителей частушками, которые он пел, подыгрывая себе на трехрядке. На голове у него была шапка-ушанка с оборванным ухом, на плечах — подвернутая шинель, подпоясанная веревкой. Частушки он пел незамысловатые, но слушатели были в восторге.

— Ты его во двор допусти, пускай мужиков потешит! — сказала часовому молоденькая бабонька в плюшевой куртке.

— Кабы ты попросилась, может, и допустил бы... мужиков потешить, — под общий смех сказал часовой. — А балагуров у нас своих хватает!

— До чего дожили! — жалобно заныл инвалид. — Убогому человеку помолиться не дают. В церкву не пускают!

— Говорят тебе, дурья башка, нельзя в церкву, там арестанты содержатся. И вы, люди добрые, расходитесь, нечего тут околачиваться, кругозор застилаете.

И часовой прикладом винтовки стал разгонять толпу.

Инвалид на своей тележке, закинув за плечи гармошку, быстро покатился вдоль стены и скрылся за угловой башней. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что за ним не следят, он проворно отвязал ремни и, освободившись от тележки, поднялся на ноги. Достав из-за пазухи веревку с камнем, он ловко забросил ее на стену, веревка зацепилась за зубец, и инвалид, оказавшийся переодетым Маркизом, быстро полез на стену...

Отсюда ему хорошо был виден весь монастырский двор. Пригибаясь, Маркиз побежал вдоль парапетной стенки и, поравнявшись с трапезной, увидел за ее углом таракановский фургон с яркой надписью: «Революционный цирк Острогорского губоно». Фургон стоял в закутке, между трапезной и монастырской гостиницей. Рядом, у стены, привязанные лошади лениво жевали сено. На переднем сиденье фургона, накинув на себя овчинный тулуп, спал какой-то лагутинец. Маркиз закрепил веревку и соскользнул по ней вниз. Когда до земли оставалось не больше сажени, он бесшумно прыгнул на сено. Спавший лагутинец приоткрыл глаза и, не заметив Маркиза, повернулся на другой бок. Маркиз подкрался к нему и, зажав ему рот, стащил на землю. Связав, он кинул его на сено и заглянул внутрь фургона. Ящики с коллекцией были на месте. Маркиз заложил двери фургона палкой и стал запрягать лошадей.

Лагутинский лагерь жил своей обычной жизнью.

Родя со своими приятелями неподалеку от ворот чистил оружие, когда из-за угла трапезной выехал фургон. На козлах сидел незнакомый им человек в шинели, без шапки. Он выехал на середину двора и, направив лошадей к открытым воротам, хлестнул кнутом. Лошади рванулись вперед. Испуганные лагутинцы шарахнулись в стороны, а Родя вскочил и с криком: «Держи его, робя!» — бросился наперерез фургону. Маркиз выхватил пистолет и выстрелил в воздух.

Кто-то из лагутинцев бросил под ноги лошадям бревно, но лошади взяли это препятствие, и фургон, подпрыгивая, понесся к воротам.

Весь монастырский двор пришел в движение. Наперерез фургону бежали лагутинцы.

— Ворота! Затворяй ворота! — закричал Родя.

Но лошади уже влетели в подворотню. Казалось, ничто не остановит их, однако в последнюю минуту часовые захлопнули внешние ворота. Лошади с налету чуть раздвинули их, но навалившаяся толпа, ухватившись за поводья и оглобли, задержала фургон.

Маркиза стащили на землю, и Родя, заглянув ему в лицо, узнал его.

— Вильгельма Телль! — удивленно сказал он.

— Да нет, тот однорукий, — усомнился стоявший рядом лагутинец в папaxe.

— Точно, Вильгельма, — убежденно сказал Родя и, обращаясь к Маркизу, спросил: — Ты Вильгельма?

Маркиз кивнул.

— Врет. Рука-то правая откеда взялась? — спросил лагутинец в папaxe.

— Дурень ты, Сенька, — сказал Родя. — Безрукий он в цирке, для интересу.

— А-а... тогда да... — согласился Сенька. — Ежели для интересу, тогда да...

— Все одно, — сказал Родя. — Хошь он и Вильгельма, а Лагутин ему рецепт на тот свет пропишет.

— К Лагутину его, к Лагутину! — загудела толпа.

— Все, Вильгельма! Отстрелялся. Видно, тебе на роду написано от самого Лагутина смерть принять, — сказал Родя.

Когда двое лагутинцев втолкнули Маркиза в церковь, он сначала увидел в полутьме высокие леса, возведенные чуть ли не к самому куполу, и только потом заметил в углу спящих на сене Макара и Кешку. Он подошел к ним и, толкнув Кешку, сказал:

— Коман са ва, отец Иннокентий?

Кешка, продрав глаза и увидев Маркиза, обрадовался.

— Сова! — засмеялся он.

— Бон жур, месье Макар! Будь другом, подвинься, пожалуйста, а то я притомился малость.

Макар сел и хмуро посмотрел на Маркиза:

— Ты как сюда попал?

— Выписали из списка живущих и послали молиться. С тобой за компанию.

— Я гадам не компания, — мрачно сказал Макар.

— Гад... — задумчиво повторил Маркиз. — Может быть, и гад. Однако все это для нас с тобой уже несущественно. Суета сует и всяческая суета, как любил говорить старик Экклесиаст.

Заметив в глазах Кешки недоумение, Маркиз усмехнулся и и сказал Макару:

— Завтра на рассвете выведут нас с тобой во двор, поставят лицом к монастырской стене... — Маркиз прищелкнул языком. — Так стоит ли ссориться перед смертью?

— А я и перед смертью и после смерти скажу: гад ты, гад и есть! Для кого стараешься? Для эмигрантов, для мировой буржуазии?!

Кешка старался понять, о чем говорит Макар.

— Мне, Макар, если сказать по правде, нет дела ни до мировой буржуазии, ни до мировой революции. — Маркиз погладил Кешку по голове. — Просто хотелось сохранить для потомства эти прекрасные безделушки, из-за которых мы с тобой... поссорились.

— Для потомства? Врешь! Вот оно, потомство, перед тобой сидит! — Он притянул к себе Кешку. — Для него ты стараешься? Для него?

Маркиз поглядел на Кешку и ничего не ответил. Он достал кيسет и протянул Макару. Макар слегка поколебался, но табак принял.

— А ну-кась, Иннокентий, — слышался гулкий голос откуда-то сверху, с лесов, — поднимись ко мне.

Кешка проворно стал взбираться на леса.

— Кто это? — спросил Маркиз.

— Богомаз. Кешка у него подручным был.

Маркиз посмотрел на леса и в свете солнечных лучей, проникавших через узкие окна под куполом, увидел высокого сутулого монаха с кистью в руке и рядом с ним Кешку.

— Поддай-ка мне умбру, — сказал Данило. — Ноги мои, Иннокентий, совсем никуда стали. Не хотят ходить.

Кешка разыскал нужную краску, передал Даниле.

— Я тебе, Данило, валенки раздобыл... новые. Держи.

— Вот уж никак не ожидал! Спасибо, — оживился Данило. — В храме больно зябко... — И он тут же уселся и стал надевать валенки. — Ну, как тебе свет божий, понравился?

Кешка кивнул:

— Ага. А я, Данило, красных коней видел.

Данило пристально посмотрел на Кешку и ласково сказал:
— Это хорошо. Значит, глаз у тебя есть. А для художника глаз — первое дело.

Маркиз и Макар молча курили, прислушиваясь к голосам, доносившимся с лесов.

Маркиз жадно затянулся и, вздохнув, сказал:

— Смешная у меня жизнь получилась. В Академии художеств стипендиатом был. В Италию за казенный счет послали. А художником так и не стал. Егерем был, цирковым артистом, воспитателем барских недорослей, жокеем на ипподроме, авиатором и то был. Даже фотографом. А художником так и не стал...

— Все потому, что правильной цели у тебя не было, — сказал Макар.

— У тебя есть, — усмехнулся Маркиз.

— Есть. Я для революции живу. Для светлого будущего всего человечества. Чтоб этот пацан... Вот помани мое слово, коли уйду от смерти — будет Иннокентий знаменитым революционным художником.

Сверху спустился Кешка и возбужденно зашептал:

— Данило говорит — убьет вас Лагутин. Он завсегда на рассвете... убивает. Молись, говорит и в голову из пистолета стреляет. Каждое утро кого-нибудь стреляет.

— Ну, это еще посмотрим, кто кого. Не так просто убить Вильгельма Телля, — сказал Маркиз. — А Макару и вовсе умирать нельзя: кто же без него мировую революцию совершит?

— Я могу вон из того окошечка, — Кешка показал рукой на узкое окошко наверху, — на крышу вылезть, а потом по стенке наружу...

— Так... — оживился Макар. — Где уком, знаешь?

— Не, — помотал головой Кешка.

— В Ивановке. Запомнишь?

— В Ивановке? Ага...

— Теперь слушай, — сказал Макар и, обернувшись к Маркизу, предупредил: — Только ты имей в виду, если нас и выручат, тебе от пролетарского суда все равно не уйти. Это я тебя наперед предупреждаю.

— Согласен. Буду уповать на то, что пролетарский суд окажется гуманней лагутинского.

Когда стемнело, Макар, Маркиз и Кешка поднялись на леса. Макар посадил с помощью Маркиза Кешку, и тот палкой выбил стекла из узкого стрельчатого окна. Стекло вылетело со звоном, и все трое прислушались. Было тихо. Кешка вынул осколки, из рук в руки передал Маркизу.

— Бог в помощь, — сказал Маркиз.

Макар недовольно покосился на него и сказал:

— Ни пуха ни пера...

Кешка просунул руки, а вслед за ними и голову в разбитое окно. Макар подтолкнул его, и Кешка с трудом протиснулся наружу. От окошка до ската крыши было довольно высоко. Кешка снял ботинки, бросил их в окошко, а сам повис на руках, держась за нижний переплет рамы. Отпустив руки, он упал вниз и, не удержавшись на ногах, покатился по крыше. С трудом зацепившись за водосточный карниз, он притаился и прислушался...

За монастырской стеной двое лагутинцев неторопливо рыли могилу.

— Кому яму-то роем, Семен? — откашливаясь, спросил один из них.

— Да Вильгельму Теллю и его напарнику, — тоненьким голоском ответил Семен. — Ентому, который из публики выходил. Первый воткнул лопату и покачал головой.

— А пошто одну яму роем, коли их двое?

— Мертвые не подерутся.

Первый закурил и сел, опустив ноги в яму.

— Неужто Лагутин самого Вильгельма шлепнет?

— А то... — ответил Семен и тоже закурил, присев рядом.

Сверху, со стены, донесся какой-то шум. Семен прислушался.

— По железу ктой-то ходит.

— Кошка по крыше бегает.

— Нешто кошки так громыхают?

— Ночью всякий звук в объеме увеличивается.

— И то, — согласился Семен.

Кешка, пригибаясь, добрался до того места стены, где она подходила к пригорку и расстояние до земли было меньше сажени. Кешка спрыгнул и огляделся. По лугу, пощипывая траву, бродили две стреноженные лошади. Кешка подкрался к той, что была ближе, и освободил ее от пут.

Оба лагутинца все еще покуривали.

— Я вчераь дома ночевал. Вот баба моя и спрашивает, — рассказывал первый лагутинец, — «И чего это вы, дурачки, воюете, никак не успокоитесь? Антанту и ту расколошматили, а вы все никак не уgomонитесь...»

— И то... — согласился Семен. — Слух прошел, самого Струнникова против нас двинули.

— Коней-то наших не видать... Где они там?

Первый поднялся, взял винтовку и пошел вдоль стены.

Завернув за башню, он увидел мальчишку, скачущего вдоль берега реки. Он вскинул винтовку и выстрелил в ту сторону, куда ускакал Кешка.

— Семен, Семен!.. Мальчишка коня угнал!

...В ту же ночь Тараканов, оборванный и усталый, добрался наконец до деревни Большие Котлы и разыскал там Егора.

Тараканов сидел в деревенской избе за столом и жадно ел борщ из большой глиняной миски.

— Что же теперь будет... что же будет?.. — жалобно причитал Егор. — И надо же... такая напасть...

— Не ной! — огрызнулся Тараканов. — Запрягай телегу. Сейчас поедem.

— В ночь? Куда ехать-то, Илья Спиридонович?

— И ружье прихвати.

Егор перекрестился.

— Что вы задумали, Илья Спиридонович? — заныл Егор.

— Умолкни, ирод! Иди запрягай телегу.

Тараканов выбрался из-за стола и, подойдя к иконе, размашисто перекрестился.

На лесах в церкви Макара и Маркиза, покуривая, наблюдали за тем, как Данило заканчивал роспись, изображавшую Георгия Победоносца на ярко-красном коне. Утреннее солнце стояло еще низко, и его лучи, прорываясь в узкие окна, освещали купол, оставляя в полутьме весь собор.

Заскрипела дверь, и яркий свет прорезал дорожку на каменных плитах пола.

— Выходи! — раздался голос в дверях, и в собор вошли бородачи.

Данило перекрестил Макара и Маркиза, и они медленно стали спускаться с лесов.

— Поживей шевелись, Лагутин ждать не любит, — добродушно сказал один из бородачей.

Когда Макара и Маркиза увели из церкви, Данило услышал далекий свист, а затем звук камня, ударившего по крыше. Он положил кисть и палитру и, быстро спустившись с лесов, направился к двери.

Лагутин в черной косоворотке сидел в высоком вольтеровском кресле недалеко от монастырской стены, окруженный своими приспешниками. А у стены на ящиках, в которых хранилась коллекция Тихвинского, стояли фарфоровые статуэтки и мраморные античные скульптуры. Тут же в беспорядке валялись свернутые в рулоны полотна. Лагутинцы гоготали, разглядывая статуэтки, изображающие муз.

Толпа вокруг Лагутина притихла и расступилась, пропуская бородачей, ведущих арестованных. Руки Макара и Маркиза были связаны. Их подвели к Лагутину. Лагутин исподлобья взглянул на них и спросил:

— Помолились?

Ответа не последовало.

— Безбожники, — сплюнул стоявший рядом с Лагутиным старик.

— Мои люди говорят, — как всегда, тихо сказал Лагутин, обращаясь к Маркизу, — что видели вас в цирке. И будто вы в костюме Вильгельма Телля демонстрировали феноменальную меткость.

— Точно... Он самый и есть... Вильгельма... — зашумели лагутинцы.

К воротам монастыря подошел Данило, держа за руку Кешку, переодетого монашком.

— Откуда малой-то? — спросил часовой, преграждая им путь.

— Слепой, что ли, вместе с ним и выходили, — сказал Данило. — Помощник мой, краски растирает, кисти моет.

— Вас не разберешь, — сплюнул часовой. — Ходи живой!

Лагутин вытащил из кобуры свой наган и прицелился в Маркиза. Маркиз поднял голову. Лагутин усмехнулся и опустил наган.

— Я предлагаю вам небольшую забаву. — Он протянул Маркизу свой наган. — Здесь в барабане шесть пуль. Если вы шестью выстрелами снесете головы этим шести терпсихорам, я снова занесу вас в списки живущих на этом свете и отпущу на все четыре стороны.

Толпа восторженно ахнула.

Кешка пробирався через толпу лагутинцев, прислушиваясь к словам атамана. Он оказался впереди в тот момент, когда Маркиз, усмехнувшись, сказал Лагутину:

— Я в женщин не стреляю. — И вдруг лицо его стало жестким. — Вы, кажется, образованный человек. Как же вы додумались до этого? Уничтожаете сокровища искусства... Это варварство!

— Варварство... — будто взвешивая это слово, тихо повторил Лагутин. — Называйте это как угодно, милостивый государь. Но я знаю простого человека. — Он показал на коллекцию: — Это все — принадлежности дворцов и салонов. Игрушки богатых бездельников. Простому человеку этого не надобно. Скажите, братья, — так же тихо обратился он к окружающим его бандитам, — нужна вам вся эта парфюмерия?

— Нет! Не нужна! — закричали лагутинцы.

— Нужны вам эти раскрашенные фарфоровые барышни? Или вам нужны краснощекие, здоровые, работающие, живые?

— Живые! — выдохнула толпа.

Кешка испуганно смотрел на происходящее. Он встретился взглядом с Макаром. Макар чуть заметно улыбнулся.

А Лагутин снова протянул наган Маркизу:

— Выбирайте, уважаемый. Или вы стреляете, или я. Ну-с? Выбирайте. Я, может быть, стреляю хуже вас, но уверен в том,

что даже одной из этих шести пуль хватит, чтобы отправить вас на тот свет.

Кешка зажал рот кулаком и не отрываясь смотрел на Маркиза, стараясь поймать его взгляд. Маркиз заметил его, широко улыбнулся Кешке и громко сказал:

— Хорошо. Я согласен.

— Гад! — прошептал Макаре. — Продажная шкура!

Маркизу развязали руки и дали наган.

Телохранители Лагутина навели свои обрезы на Маркиза.

Маркиз взял наган в левую руку и тщательно прицелился в одну из фарфоровых фигурок. Он стоял спиной к Лагутину и долго целился.

Толпа притихла.

Лагутин внимательно наблюдал за Маркизом.

Маркиз опустил пистолет и, обернувшись к толпе, громко, как шпехшталмейстер, объявил:

— Смертельный номер. Администрация просит людей со слабыми нервами покинуть цирк.

Толпа загоготала.

А Маркиз снова повернулся спиной к Лагутину, прицелился в статуэтку, но внезапно вскинул руку с наганом и через плечо, не глядя, выстрелил в Лагутина.

Лагутин схватился за грудь.

В то же мгновение раздался выстрелы телохранителей, стрелявших в Маркиза.

Маркиз упал на землю.

Кешка бросился к нему:

— Дяденька Маркиз, дяденька Маркиз!..

Толпа смешалась, окружив убитого Лагутина.

Кешка встал на колени возле Маркиза.

— Вы живой, живой! — плача, повторял Кешка. — Они вас не убили...

— Убили, отец Иннокентий. А ты — живи... Живи, как человек...

Несколько лагутинцев подняли тело убитого атамана и понесли его, как вдруг в воротах появился всадник на взмыленном коне.

— Струнников идет! Струнников!

И тут всадник увидел мертвого Лагутина. Он резко осадил коня и снял шапку.

Монастырский двор притих. Все обнажили головы.

И в наступившей тишине раздался истерический крик:

— Братва, здесь нас всех перебьют!

Весь двор снова пришел в движение. Лагутинцы седлали лошадей, запрягали телеги, расхватывали оружие. И вот уже через ворота летели всадники, повозки, бежали пешие...

В панике лагутинцы забыли о Макаре. Кешка развязал

ему руки и сунул наган, тот самый, из которого стрелял Маркиз. К ящикам подкатил таракановский фургон, остановился у самой стены, и трое лагутинцев, соскочив с козел, бросились к коллекции, чтобы все снести в фургон.

— Стой! Стрелять буду! — закричал Макар, вскочив на козлы.

Лагутинцы отшатнулись. Но в эту минуту лагутинец, копавший ночью могилу, узнал в маленьком монашке мальчишку, угнавшего коня, и истерически завопил:

— Хватайте малого! Он коня моего угнал! Это он Струникова привел! Он! Бей его!

Толпа загудела и двинулась на Кешку. Макар отчетливо понял, что вот сейчас, в какие-то считанные мгновения, решается все — судьба Кешки, его собственная судьба... И сразу же увидел прищуренные глаза пожилого лагутинца в папаше, увидел, как поднялся ствол его обреза, нацеленный на Кешку. Раздался выстрел. Это стрелял Макар, опередивший лагутинца. Лагутинец упал. Макар подтолкнул Кешку за фургон и сам скрылся вместе с ним, помог ему быстро взобраться на крышу фургона, стоявшего возле самой стены.

Макар отстреливался, закрывая собой Кешку, но вдруг сам схватился за плечо. Превозмогая боль, он помог Кешке перебраться на монастырскую стену и сам прыгнул вслед за ним.

И сразу же Макар увидел, что навстречу ему по парапетной стенке долговязый лагутинец катил старый, выдавший виды пулемет «максим», колеса которого поскрипывали на стыках кирпичей. Макар выстрелил, и бандит упал. Тогда Макар подкатил пулемет к краю стены и крикнув Кешке: «Ложись!» — растянулся рядом с мальчуганом.

Отсюда, сверху, хорошо было видно, как к фургону с обеих сторон двигались вооруженные лагутинцы. Сюда же приближенные Лагутина на руках несли тело своего атамана.

— Все назад! — крикнул Макар.

Толпа на какое-то мгновение застыла...

Двуколка, запряженная жилистой низкорослой лошадкой, с Егором и Таракановым, тряслась по лесной просеке. При выезде из леса Егор остановил лошадь и, соскочив на землю, прислушался.

Тараканов подошел к нему, и они вместе вышли на опушку. Отсюда хорошо был виден весь монастырь, стоявший на высоком берегу реки. По всему склону, во все стороны — к реке, к лесу, к дальнему полю — неслись всадники, повозки, телеги, бежали люди.

— Лагутинцы драпают, — сказал Егор. — Кто ж это их спугнул?..

И вдруг Тараканов толкнул Егора в бок и, протянув руку, показал на фургон, выезжающий из ворот монастыря. Это был его фургон, в котором он жил и хранил коллекцию.

Фургон спустился к реке и, переехав через мост, направился к лесу. Молодой парень с винтовкой за плечами стоя гнал лошадей.

Тараканов и Егор развернули двуколку и углубились в лес.

Лагутинец с таракановским фургоном гнал лошадей по лесной дороге. За поворотом лошади внезапно остановились. Поперек дороги стояла пустая двуколка Егора. Лагутинец, чертыхаясь, соскочил с фургона и схватил лошадь Егора за уздцы. Но в это время могучие руки Егора обхватили его и повалили на землю. Связав его, Егор посадил лагутинца возле дерева, сам влез в двуколку и быстро погнал лошадь по дороге. Тараканов обошел фургон. Задняя дверь была забита крест-накрест двумя досками. Тараканов подавил улыбку и, взобравшись на козлы, поехал вслед за Егором.

Эскадрон Корытного приближался к монастырю. Рядом с молодцеватым командиром эскадрона ехали Витоль, Булатов и Коган.

— Странно, — сказал Витоль, — почему так тихо? Неужели мы опоздали?

— Эскадрон, за мной! — скомандовал Корытный, выхватив шашку из ножен, и конники рысью поскакали к монастырю.

Тараканов и Егор, на фургоне, по глухой лесной дороге приближались к границе. Егор натянул поводья и остановил лошадей.

— Дальше без Маркиза не поеду. И вас не пушу, Илья Спиридонович.

— Не дури, Егор, не время! — огрызнулся Тараканов.

— По совести скажу, боюсь — обманете вы меня, Илья Спиридонович. Вот найдем Маркиза, тогда и поедем.

Егор соскочил с козел и взял под уздцы лошадей.

Тараканов как бы застыл, бессмысленно глядя на Егора. Потом он выхватил пистолет из бокового кармана и, прицеливаясь в Егора, закричал:

— С дороги!

Егор отскочил в сторону, но Тараканов выстрелил, и Егор упал.

Тараканов хлестнул лошадей. Фургон, подпрыгивая на кочках, понесся к границе.

Дорога становилась все уже и уже, ветви хлестали по лицу Тараканова, а он все гнал и гнал лошадей.

Тяжело дыша, стоя, он все хлестал и хлестал лошадей, пока они не вынесли его на небольшую поляну, где Тараканов сразу же заметил мелькнувшую за деревьями фигуру в темном костюме. Он вздрогнул от неожиданности, но фигура показалась знакомой. Человек этот вышел на поляну и, сняв шляпу, махал ею Тараканову. Ну конечно же, это был Артур... Но ведь он должен был встречать его вовсе не здесь, а в условленном месте, там, за кордоном.

— Не опасайтесь, Илья Спиридонович! — крикнул Артур. — Это я! Это есть я!

— Вижу, что вы... — с трудом удерживая лошадей, ответил Тараканов. — Зачем вы здесь? Что вы здесь делаете?

— Я здесь для того, чтобы облегчить вашу задачу, — сказал Артур, снимая перчатки. — Последнее время на границе беспокойно... А нам не хотелось подвергать опасности ни вас, ни ваш ценный груз.

— Бесценный, вы хотите сказать. — Тараканов так устал, что ему даже не удалось выдать из себя улыбку.

— Я покажу вам надежную тропу, — сказал Артур. — Через границу ящики придется перенести на руках.

Тараканов прыгнул с козел на землю.

— Я сам буду сопровождать каждый из этих ящиков. — Он похлопал по стенке фургона. — Если б вы только знали, господин Артур, чего это мне стоило! Не думайте, что вы получите эти ящики за бесценок.

— Успокойтесь, дорогой Илья Спиридонович, мы не собираемся вас обманывать. Вы будете богаты. Как говорят у вас по-русски, вы будете сказочно богаты.

Где-то рядом на верхушке сосны дятел так сильно ударил своим клювом по стволу, что Тараканов невольно вздрогнул. Артур подошел к дверце фургона.

— А сейчас, если позволите, я хотел бы только взглянуть...

— Вы все еще не верите мне? — с горечью сказал Тараканов.

— Нет, нет, что вы... — Артур попытался успокоить его. — Мною руководит просто нетерпение. Обыкновенное человеческое нетерпение.

— Ну что ж, открывайте, — тихо сказал Тараканов. — Нет, я сам!

Он достал из-под сиденья топорик, с его помощью с трудом отодрал одну, затем другую доску и распахнул дверцы настежь.

На полу пустого фургона лежал труп, завернутый в одеяло. Тараканов приоткрыл край одеяла и в ужасе увидел незнакомое лицо мертвого человека...

Это был Лагутин.

— Где же коллекция, господин Тараканов? — спросил внезапно побледневший Артур. — Где ваши богатства?!

Тараканов молча смотрел на мертвого Лагутина...

Фургон был пуст.

...По дороге к Изгорску под охраной эскадрона Корытного ехал цирковой фургон с изображением однорукого Вильгельма Телля, на фургоне яркой краской крупными, размашистыми буквами было написано:

ПЕТРОМУЗЕЮ!

Впереди на фургоне сидел Макар с перевязанной рукой и с ним Кешка, смотревший куда-то вдаль.

— О чем задумался, Иннокентий? — спросил Макар.

Кешка не ответил. Он смотрел на голубое небо, по которому медленно плыли облака.





Жемайтис С.

КЛИПЕР «ОРИОН»

Главы из романа

4

1918 год. Бывшие союзники России в войне с кайзеровской Германией готовят интервенцию против молодой Советской Республики. Англичане в свой экспедиционный корпус, посылаемый в Архангельск, хотят включить и русское парусное судно — клипер «Орион». Командир клипера Воин Андреевич Зорин считает недостойным для русского офицера и патриота участвовать в карательной экспедиции против своего народа и решает бежать из-под опеки англичан. Дерзкий замысел удался. Миноносец, посланный в погоню за русским кораблем, гибнет от немецкой торпеды, но и немецкая субмарина тоже налетает на мину. Спаслись только двое англичан и немец — командир подводной лодки, взятые на борт «Ориона».

В «Мире приключений» печатаются заключительные главы первой книги романа. «Орион» после длительного перехода, штормов, сражения с немецким рейдером «Хервег» и аварии остановился для ремонта и отдыха команды на одном из островов Яванского моря. Капитан потопленного

рейдера Рюккерт и барон фон Гиллер (спасенный русскими моряками) с помощью местных пиратов пытаются захватить «Орион». Русских приглашают в деревню на местный праздник в честь бога Шивы и в качестве «подарка» посылают оставшимся на корабле отравленное пальмовое вино.

Коварный план срывается, и «Орион» продолжает свой путь. Несмотря на все препятствия, клипер доходит до Владивостока.

БУХТА ТИХОЙ РАДОСТИ

Вернувшись на шхуну «Розовый лотос», барон фон Гиллер сказал Рюккерту:

— Франц! Они все знают. Вернее, догадываются. Этот проклятый мальчишка заставил их насторожиться. Никто из них не будет на празднике.

— Все идет к дьяволу! — Рюккерт сжал серебряную чашу руками с такой силой, что она сплющилась, и ром брызнул вверх, залив лицо капитана.

Голубой Ли¹ на корточках застыл у двери каюты.

— Не совсем, Франц. Напиток Ли свалил добрую половину русских. Ли видел в иллюминатор матросов, лежащих на палубе и в жилом кубрике. Не пей больше, Франц. Ночью потребует вся ясность твоего ума.

— Атака?

— Да, нас больше в три раза!

— Такое количество и требуется для наступления. Мы пустим теперь наших союзников вперед! Они сами стремятся находиться в первых рядах, будто пронюхали о наших планах. Вначале они надеялись на меня. Представь, они считают, что в меня вселился дух смерти! Неплохо для начала! И знаешь, они правы. В каждом немецком солдате сидит дух бога войны, Фридрих! Мы сегодня с тобой идем на абордаж!

— Хорошо, Франц, только повторяю: не пей больше!

— Да, да... голова должна быть ясной. Ли! Дай мне той настойки на ваших дьявольских травах или водорослях, — попросил он, переходя на французский язык.

Шкипер вытащил из рундука под столом бутылку и налил из нее в чашку темно-коричневой жидкости. Рюккерт выпил, покрутил головой:

— Необычайно противное питье, но просветляет голову. Вот я уже почти трезв, Ли!

Шкипер поднял на Рюккерта свой вечно улыбающийся лик.

— Немедленно собери своих союзников, главарей лаутов, — так, кажется, малайцы называют пиратов.

¹ Голубой Ли — пират, владелец и капитан шхуны «Розовый лотос».

— Совершенно правильно. Они, капитан, давно ждут на палубе...

До поздней ночи светились вершины деревьев по обе стороны долины, где находилась деревня. Там горели костры. Доносился рокот барабанов. Время от времени прожектористы бросали на берег луч ослепительного света. На берегу не было ни души. Безлюдные катамараны, выхваченные из тьмы лучом, застыли на неподвижной воде. И на шхунах не замечалось никакого движения. Часовые у бортов клипера, расчеты у орудий коротали ночь, ведя тихие разговоры. Около часа ночи смолкли барабаны, померк свет над деревьями. Мир обволокла безмятежная тишина, с берега доносился только звон цикад, а с гряды рифов, перед входом в бухту, плыл убаюкивающий шум прибоя. От недавних опасений не осталось и следа, вошли в прежнее русло мысли русских моряков о далекой родине, о близких, об урожае, который скоро будут снимать бабы, если не потоптали его солдаты: красные, или белые, или невесть какие, сейчас на Россию накнулись все — и недавние союзники, и враги.

Раздался протяжный зевок. Матрос, стоявший недалеко от мостика, сказал:

— Во темень так темень! Прямо смола разлитая, а в воде какие-то гады шастают, смотри, как она вспыхивает. И отчего бы это?

— Должно, свойство такое, — ответил другой сонный голос. — Здесь все чудно и страховито. Смотри, будто искры тучей на берегу!

— Ну, это понятно: светляк здешний, жук такой. Давеча один залетел, хвост у него светится, как свеча. Не видал?

— Не.

— Ну, еще будет. — Опять зевок. — Хоть бы луна взошла.

— Месяц только народился. Видишь, там, за горами, светит, только малость позолотил верхушки.

Последовал вздох. Оба помолчали, затем первый сказал:

— Все здесь не то. Сейчас бы ушицы окуновой похлебать да у огонька под тулупом прикорнуть. Дух у нас какой от трав да от всего...

— И здесь дух дюже пахучий, да...

— Вот тебе и «да»... О, слышишь? Пойдем поближе, послушаем.

— И так слышать.

Зосима Гусятников, стоя у борта с винтовкой в руке, стал рассказывать сказку о том, как меньшей крестьянский сын Иван, несусветный дурак и простофиля, сталкиваясь с людьми и жизнью, умнел не по дням, а по часам и стал задумываться о таких вещах, которые прежде ему и в голову не приходили.

— ...И пришел он к царю. Старенький такой, плюгавый

царек на золотом троне сидит, стража кругом него с топорами да ружьями, министры стеной стоят, и все так на Ивана смотрят, будто он даже не последняя козявка, а еще хуже... Царь и спросил Ивана:

«Слышали мы, что ты зуб на нас имеешь. Хочешь бояр да меня, грешного, земли лишить, стражу мою верную пахать заставить, дочь мою Пелагею за себя замуж взять? Правда ли это? Говори, собачий сын, потому скоро тебе голову срубят и на кол посадят и никто твоей думки, тайны не узнает, и горько помирать будет тебе, беспутному, с таким грехом невысказанным, непокаянным».

«Все правильно, царь. Холопы твои слово в слово тебе доложили мои мысли. Только не себе одному престол я задумал взять и землю, и пашнями, и реками, и лугами владеть. Все я задумал поделить меж всеми мужиками. Только дочь твою Пелагею беру за себя, так как она на тебя не похожая и к людям жалость имеет и меня любит».

Царь аж посинел. Ртом воздух, как рыба, хватает...

— Эх, Зосима, Зосима Гусятников, — раздался голос Брюшкова, — влетишь ты со своими сказочками, как гусь в чугунок! Что ни царь у тебя, то последний дурак, справный мужик — мироед.

— Так оно и есть, Назар. Не был бы царь дураком, давно бы по справедливости землю разделил и мужичка не притеснял, и не было бы теперь свары на земле.

— Без тебя разберутся, кому положено.

Зуйков сказал, позевывая:

— Брось, Зосима. Не спорь с ним. Пустое дело. Назар сам из мироедского семейства. Батрачил у них, знаю. За сотню десятин нахапали.

— Трудом да головой. А ты, лодырь, молчи!

— Да я за грех считаю с тобой говорить об этом. Разговором тут одним не возьмешь.

— Да будет вам! — прикрикнул младший боцман Петушков. — Давай, Гусятников, да про Пелагею побольше расскажи, какая она из себя и вообще. Гладкая, наверное, да статная.

Вокруг засмеялись. Брюшков выругался и замолчал. Подошел вахтенный начальник Горохов:

— Вольно, вольно, ребята. Лясы точите?

— Чтобы сон отбить, — сказал Зуйков.

— Ну-ну. Только слушать получше. Чуть где всплеск — поднимайте тревогу. Полезут — пускайте в ход оружие.

— Да кто полезет-то, Игорь Матвеевич? — спросил Петушков. — Кому жизнь надоела?

— Слыхали, что днем было? Подослали нам сонной водки. До сих пор вторая вахта дрыхнет. Чем еще кончится, неизвестно. Вот что значит довериться неизвестным людям.

— То же было бы и с нами, сойди мы на берег, — сказал Зосима Гусятников. — Разве не выпьешь? Водка ихняя вроде пива, слабая.

Вахтенный начальник пошел обходить корабль, а у грота опять потек разговор Зосимы Гусятникова.

Не спали командир и старший офицер. Они после захода солнца не сходили с мостика, вестовые туда принесли им ужин. Сейчас командир, по обыкновению, сидел в своем удобном кресле, старший офицер мерил шагами мостик по диагонали.

Командир спросил:

— Вы заметили, какую эволюцию претерпел Иван-дурак у Зосимы Гусятникова?

— Как-то не было времени...

— А на вахте?

— Не занимался анализом его литературного героя.

— Именно литературного. Зосима — художник. И художник, тонко чувствующий веяние времени. Его Иван — народный борец. Все меньше и меньше надо ему самому. Заботится о народе. Себе оставляет только царевну Пелагею. Слышали?

— Пелагею? Действительно, оригинальное имя для царевны. Слышал я как-то — рассказывал он о Марье, тоже царской дочери... Воин Андреевич, меня тревожит туман. Надо расставить матросов на борту. Мало людей... Я пойду распоряжусь.

— Идите... Феклин!

Вестового пришлось позвать несколько раз, пока он отозвался.

— Виноват. Вздремнул. Все от этого мухомора проклятого. Выпил всего полкружки, не боле, а кто хватил по-настоящему, тот до сих пор спит. Везет же людям, — неожиданно заключил он.

— Везет, говоришь?

— Ну а как же! Мы глаза таращим, а они спят, как младенцы.

— Не хотел бы я быть на их месте. Иди умойся, выпей холодного кофе да нам с Николаем Павловичем принеси.

— Есть!

Кофе прогнал сон. Феклин стал было рассказывать командиру, как у них в деревне зимой ловят налимов, да вернулся старший офицер, и вестовой обиженно умолк, потому что дальше в его рассказе было, как он вытянул из проруби десятифунтового налима.

Воин Андреевич сказал:

— Тропики, жара, акулы, а вот Феклин только что рассказывал о зиме, морозе и налимах. Как-то даже прохладней стало.

— Туман сгущается, — заметил старший офицер, — стопро-

центная влажность. Понижилась температура перед рассветом, и вот извольте...

— Ничего, Николай Павлович. Будем надеяться. Да, звезды погасли, и даже светляков не видно на берегу. — Командир нашел в темноте руку друга и крепко пожал. — Обойдется.

Вахтенный матрос отбил три склянки — половина шестого, прошло полтора часа второй вахты, через полчаса взойдет солнце.

Тревожно прозвучал голос матроса:

— Справа по борту всплески!

Второй голос оповестил, что с кормы кто-то крадется по воде к «Ориону».

Старший офицер приказал дать несколько выстрелов вверх.

Всплески прекратились на некоторое время, затем послышались вновь, но попеременно с разных сторон.

Туман порозовел, но был так густ, что в трех шагах ничего не было видно.

Внезапно бухта огласилась криками и ударами об воду. Гулкое эхо в береговых кругах многоголосо повторяло и усиливало все звуки.

Под этот маскировочный шум к «Ориону» со всех сторон двигалось множество лодок. Туман уже начал подниматься, и с лодок смутно проглядывался корпус «Ориона» на метр выше ватерлинии. Лодки остановились в пятнадцати — двадцати метрах, тесно окружив клипер: ждали сигнала Голубого Ли, чтобы разом броситься со всех сторон.

На палубе клипера послышался смех, матросам показалось, что опасность миновала, да и никакой, собственно, опасности и не было. Просто офицеры ее придумали, чтобы не пустить на берег перед уходом в рейс. И вот сейчас, не спавши, придется карабкаться на реи, отдавать паруса, трекать снасти...

— Ух, и дурной же мы народ, братцы! — радостно на весь корабль гаркнул матрос Грицюк. — Так ведь воны рыбалят, рыбу в сети загоняют, помните, как на том острове, где банан брали и другую овощи!

— Помолчи, брат, — сказал Гусятников, — и так все гудит. Хитры, собаки... Никак, вода с весел каплет?

Старший офицер приказал прекратить все разговоры, и на палубе стало тихо, но голоса «рыбаков», удары по воде стали еще сильнее, яростней.

Кто-то из матросов уловил плеск весла и громко крикнул:

— Подходят! Близо уже!

И с другого борта донеслись предостерегающие возгласы. Защелкали затворами матросы.

— По местам! Сейчас они полезут на нас! Стреляйте, ребята! — крикнул командир. — Бейте их всем, чем располагаете. Помните, мы защищаем свою жизнь и честь русского...

Его речь прервал выстрел, затем началась частая стрельба, поплыл ледянящий кровь заунывный вой корсаров, идущих на abordаж. Они подошли вплотную и, зацепив за планширь крюками, карабкались вверх, стреляя из револьверов или норовя ударить ножом. Но мало кому удалось при первой атаке спрыгнуть на палубу, да и тут смельчака ждала печальная участь.

С каждой минутой светлело. Туман клочьями поднимался к реям.

— Так их, так их, братцы! — гремел голос командира. — Пусть узнают, как нападать на русских!

Он видел, как матросы бились насмерть уже на палубе, один против двух-трех пиратов. У мостика появился отец Исидор с винтовкой. Убегавший от него пират исчез за бортом, и отец Исидор, бросив взгляд вокруг, кинулся на выручку к Роману Трушину. Тот дрался одной рукой с юрким пиратом, вторая, окровавленная рука Трушина висела как плеть. Сбив с ног противника Трушина, отец Исидор поспешил к баку, где щелкали пистолетные выстрелы.

— Bravo, отец Исидор! — крикнул Воин Андреевич и оглянулся, привлеченный мягким стуком о палубу.

Он увидел высокого малайца в одних лава-лава; его шоколадное тело было мокрым, он, видно, только перебрался через борт. Пират присел на корточки и, молниеносно выпрямившись, нацелил нож в спину Феклина. Командир выстрелил в пирата, и тот, прокатившись по перилам мостика, упал и замер, неестественно вывернув руку с ножом.

Феклин обернулся, посмотрел на убитого, потом на своего командира с револьвером в руке и прошептал:

— Во, проклятый! И как это он подлез?

— Смотреть надо лучше. Не то нас с тобой, как кур, прирежут.

— Теперь уж я... — Феклин взял ружье наизготовку. — И как он, проклятый... Во! — Он приложился и выстрелил в бегущего вдоль борта пирата, промахнулся, и тот ловко перемахнул через фальшборт. Раздался плеск.

Косые лучи утреннего солнца осветили окровавленную палубу и поверхность бухты, покрытую космами тающего тумана.

Несколько матросов, положив винтовки на планширь, стреляли по уплывавшим пирогам.

У грот-мачты матросы накрывали брезентом павших товарищей.

Бледный доктор перевязывал матроса, раненного в плечо, сбоку стоял санитар Карпухин, держа сумку с бинтами.

Раненый матрос улыбнулся командиру:

— Сила их была. Как и отбились в такой темени да туман

не, право, не знаю. Лезут и лезут, как тараканы из щелей. И ножи у них, не приведи господи! Прямо косы, а не ножи!

Командир узнал матроса Луконина, тихого, застенчивого человека.

— Молодец, Луконин!

— Чего уж там молодец... — На серых щеках матроса появился слабый румянец. — Думал, не встречу солнца. А вон оно, жжет уже...

— Большие потери? — спросил командир у доктора.

— Еще точно не знаю. Пятеро убитых у нас и человек двадцать раненых. Карпушин, помоги раненому встать.

— Ничего, я сам... — сказал Луконин.

Подбежал, как всегда озабоченный, старший боцман, взял под козырек.

— Вольно! Жив, Петрович? Ну как, страшно было?

— Страх был, конечно, да не очень. Больше я за тех был в тревоге. — Боцман боднул головой в сторону нижней палубы. — Думал, не оклемаются...

— Ну, и как?

— Живы, черти! Николай Павлович приказал их еще поддержать в кубрике, пусть в чувство придут да совестью помучаются.

— Согласен.

Боцман замаялся, потом сказал:

— Это, конечно, правильно, да народ с похмелья, некоторым до галюна есть потребность...

— Ах, вот оно в чем дело! Выпускать по очереди...

Командир заметил Лешку Головина: с винтовкой, грязный, в разорванной рубашке, юнга шел по палубе с таким видом, будто вернулся сюда после многолетней отлучки.

— Головин!

Лешка вздрогнул, увидев командира, приосанился и, подбежав к нему, остановился в выжидательной позе.

— И ты воевал? — с удивлением спросил командир.

— Так точно, гражданин капитан второго ранга! Воевал! Все патроны расстрелял! Когда только вы скомендовали, я и начал!

— Рановато, голубчик, ты начал стрельбу в людей, да время сейчас лихое. Молодец!

— Рад стараться! — Лешка шмыгнул носом вслед командиру.

Ему так хотелось рассказать, как он, положив винтовку на кнехт, посылал пулю за пулей в подплывающих пиратов, что рядом с ним лежали и стреляли Зуйков, Трушин и еще кто-то и все же пираты подплыли правей, к форштевню, и полезли на клипер, и как там их встретили комендоры, а возле него кто-то дрался и наступал ему на ноги, а он все стрелял, пока не

кончились патроны, и хотел уже встать и тоже вступить в рукопашную схватку (как ему сейчас казалось), да почувствовал страшный удар в спину: пират прыгнул на него с фальшборта. Что с ним, этим разбойником, было дальше, Лешка не помнит: в глазах у него помутилось. Зато когда он снова увидел молочно-белый свет и смутные фигуры мечущихся по палубе людей, услышал выстрелы и крики и недолго думая хотел вскочить и броситься в драку, то почувствовал, что кто-то схватил его за грудки и держит мертвой хваткой (зацепился рубахой за утку), и как он рванулся что есть силы и стал на ноги, да пират куда-то исчез, а то бы...

— Лешка! Курицын сын! — услышал он голос Зуйкова. — Во, братцы, вояка! Как он в них сажил!.. Давай сюда! Не ранило?

— Кажется, нет...

Матросы стояли вдоль бортов, вполголоса делясь впечатлениями о недавнем бое. Уже доносился смех. Гарри Смит что-то рассказывал лейтенанту Фелимору, потрясая винтовкой. Фелимор в разорванной сорочке, с перевязанной головой стоял, подбоченясь, с зажатым в руке наганом. Лейтенант Горохов, оборонявший со своим взводом правый борт, смотрел в бинокль, поставив локти на планширь. Голос старшего офицера слышался с бака. Командир приятно удивился, услышав и скрипучий голос артиллерийского офицера. Ему вечером доложили, что Новиков и Стива Бобрин спят, уложенные напитком Шивы. Новиков проснулся при первых выстрелах и дрался на баке, возглавив орудийный расчет. Подошел старший механик, постаревший за ночь на десять лет. Сказал, что у него убили кочегара Куликова Федора, отца двух детей, что вся его машинная команда билась на юте, есть раненые и он сам в кого-то стрелял, что через час машина будет готова...

Командир подошел к баку, здороваясь с матросами. Зуйков, заливаясь смехом, рассказывал, как иеромонах крушил пиратов. Его с удовольствием слушали, хотя многие видели сами подвиги своего духовного наставника.

— Я их легонько сгонял с палубы, и только. Ну, может, и задел кого ненароком, так ведь война.

— Он и стрелял, братцы! — говорил Зуйков. — Так вжарил, что любо-дорого!

— Ну, и стрелял, так я же не целился, для остратки, слава тебе господи, не попал.

— Вдруг попал?

— Ну, и попал! Одним супостатом меньше. Ты вот зубы скалишь, а невдомек, что я не простой поп, а военный.

Заключительная фраза иеромонаха вызвала дружный смех. Заметив командира, матросы разом замолчали и стали стойке «смирно». Он поздоровался, и ему дружно ответили.

Вдоль другого борта пробежал вестовой старшего офицера Чирков, неся на вытянутой руке белоснежный китель. Николай Павлович в одной рубашке смотрел в прицел пушки. Чирков, тяжело дыша, стал за его спиной. Новиков стоял сбоку пушки и смотрел в бинокль.

— Фугасным! Зарядить! — прохрипел он.

В это время над головой просвистел рой пуль. На берегу в скалах застучал пулемет. У ног командира ударились рикошетом пуля, выломав длинную щепу. Три раза подряд ударила пушка, и пулемет стих.

— Отбой! — сказал Новиков, и в голосе его слышалось сожаление.

— Вот теперь, кажется, все, — сказал старший офицер, подавая руку командиру.

За его спиной стоял Чирков, держа китель за вешалку, ветер раскачивал его, и от золотых пуговиц во все стороны летели ослепительные зайчики.

Через несколько часов «Орион» вышел в океан.

УДАР КОПЫТОМ

Семейство зеленых попугаев в каюте капитана «Розового лотоса» вело себя на редкость шумно. словно счастливая чета стремилась оповестить весь мир о чрезвычайном событии: их первенцы впервые покинули гнездо и вот сейчас, покачиваясь, сидят на жердочке, укрепленной поперек клетки. Родители в нервном возбуждении метались по каюте, клевали бананы и плоды манго, лежащие на столе, кидались к птенцам, совали корм в их желтые рты, вылетали в иллюминатор и с озабоченными криками возвращались назад.

— Необыкновенно назойливые птицы, — сказал капитан Рюккерт, — чуть не перевернули чашку. Выпьем, Фридрих, за лучшее будущее. Я думаю, что у меня кончилась полоса невезенья, хотя этого и трудно ожидать после того, как им стало известно о замысле наших сообщников.

Гиллер сосредоточенно смотрел в желтоватую жидкость и молчал.

— Только русская водка может соперничать с этой маркой! — продолжал Рюккерт. Выпив залпом, он взял оранжевый плод манго, вяло съел его, налил себе еще чашу. — Ну, за твоё здоровье! — И он выпил вторую чашу.

Тем временем Фридрих фон Гиллер поймал одного из попугаев, севшего ему на плечо, и сунул его клюв в чашу с виски. Попугай мгновенно затих, обмяк. Выпущенная из рук птица упала на бок, забилась на столе и скоро затихла.

— Вот это напиток, — вяло ворочая языком, сказал капи-

тан Рюккерт. — Удар копытом «Белой лошади»!.. Что-то у меня круги в глазах, а у тебя ничего? Ах да, ты же не пил! Трезвенник...

Барон сказал холодно:

— Виски отравлен!

— Чушь! Все птицыдохнут от ал... от... черт, не могу выговорить... от этого... кроме одной скотины... человека.

— Отравлен! — повторил барон.

— Ты мне нравишься, Фридрих: отравлен, а сам сидишь. Друг гибнет, а он сидит. Раз отравлен, то что надо делать? Дать противоядие. У тебя оно есть?

— Не паясничай, тебе осталось жить очень мало. Неужели ты не чувствуешь?

Рюккерт схватился рукой за горло и с ненавистью посмотрел на своего соотечественника:

— Воды. Принеси морской воды... хорошее рвотное...

— Не поможет. Их яды действуют безотказно. Вот что, Рюккерт, ты сам знаешь, что для тебя это лучший выход. Ты не должен был покидать крейсер. Я скажу, что ты погиб во время боя с англичанами.

— Воды... подлец! Воды! — Рюккерт встал, его бросило в сторону, он еле удержался на ногах, ухватившись за кромку стола.— Воды!

— Возьми себя в руки. Ты знаешь, что их яды надежны.

Капитан Рюккерт внезапно протрезвел, голова у него стала ясной, только силы оставили его. Он упал на стул.

— Подлец! За что? — спросил он.

— Не обвиняй, а благодари. Да, я мог не дать тебе выпить яду. Но я сразу догадался по лицу этого подлеца, что тебе необходимо уйти.

Капитан Рюккерт не мог уже говорить, он только спросил глазами: «Почему?»

— Ты пережил свою славу. Германии ты такой не нужен. Хватит с нее позора. Ты должен остаться «Железным Рюккертом». И ты им останешься! Будь уверен, я преподнесу как надо твою смерть. Прощай, Франц! Так надо. Ты сам знаешь, что так необходимо...

Рюккерт сжал рукоятку пистолета, у него хватило еще силы вытащить оружие из кобуры, но в это время сердце капитана остановилось, и он сполз с сиденья на пол каюты.

Барон быстрым движением поднял с пола пистолет, выпавший из руки Рюккерта, снял с предохранителя, прислушался. На палубе мелодично журчали голоса малайцев, слышалось урчание мотора: подходил катер. Барон мигом оценил обстановку: «Сейчас Голубой Ли заглянет в каюту, чтобы убедиться в действии «Белой лошади» и закрыть на ключ дверь каюты».

По трапу скатились джутовые мешки.

«Саваны для нас», — понял барон и навел пистолет в проем двери. По трапу кто-то спускался без всякой осторожности, хлопая сандалиями. Показались коричневые ноги и край черного саронга. Гиллер выстрелил и, когда помощник шкипера рухнул в каюту, выпустил в него еще несколько пуль.

Голубой Ли следил за приближающимся катером, решив, что сейчас самый удобный случай разделаться с оставшимися в живых белыми. Он и их угостит виски, таким образом вся операция закончится без всякого шума. В это время раздались выстрелы в каюте, что несколько удивило его: яд всегда действовал безотказно. «Наверное, помощник решил подстраховать», — подумал он и пожалел обивку в каюте из сандалового дерева, продырявленную пулями. Но тут его насторожили звуки тяжелых шагов. У Голубого Ли выработалась молниеносная реакция на все неожиданности, часто встречающиеся в его опасной профессии, в следующее мгновение он уже прыгнул за борт, так как увидел в отверстии люка голову барона и пистолет в его руке. Голубой Ли плавал, как рыба. Пройдя под килем шхуны, он еще метров пятьдесят плыл под водой, вынырнув, чтобы сменить в легких воздух, снова ушел под воду. Гиллер догадался о его маневре, когда Голубой Ли подплывал уже к берегу. Перейдя на другой борт, он увидел его черную голову на застывшей голубой воде и не стал стрелять.

Все внимание он сосредоточил на подходившем катере¹. Мотор у него работал с перебоями. В довершение всего катер остановился в ста метрах от шхуны, и три матроса на ней склонились над мотором. Наконец катер подошел к борту.

— Что с машиной? — спросил барон.

Унтер-офицер артиллерист вяло ответил:

— Карбюратор. Вечная история. Когда мы шли сюда, раз пять промывали. Дьявол его знает, что с ним!

— Оставь дьявола в покое, когда разговариваешь со мной. Постарайся, чтобы карбюратор вел себя как надо! Понял?

Унтер-офицер посмотрел новому командиру в глаза, перевел взгляд на рукоятку пистолета, торчащую у барона за поясом, и, кашлянув, изобразил на лице покорность.

Два других немца, один тощий, длинноносый, в разорванной матросской рубаше, второй голый по пояс, с обгоревшими на солнце плечами, переглянулись.

Унтер-офицер спросил:

— А где наш капитан, если позволите спросить, капитан-цурзее?

— Мертв! Его отравил шкипер этого корыта. Разве вы не видели, как этот пират прыгнул за борт и уплыл на берег?

¹ Уцелевший катер с потопленного рейдера «Хервег».

— Что-то не заметили, — сказал унтер-офицер.

Матросы опять переглянулись, и длинноносый спросил с усмешкой:

— Как же вы уцелели, капитан-цурзее?

— Я не пью по утрам. И вообще пью редко. Я предупреждал вашего капитана, что виски отравлен. И даже провел опыт над попугаем. Увидите, он лежитдохлый на столе.

— Кто: попугай или капитан? — сострил длинноносый.

Унтер и второй матрос зашикали на него, и все стали спускаться в каюту.

— Картина! — Длинноносый остановился у комингса.

— Ну, что стали? Видите мешки?

— Приличные саваны, — сказал длинноносый. — Один был для вас?

— Меньше разговаривай. У нас нет времени.

Помощника шкипера, упрятанного в мешок, сбросили за борт без лишних церемоний. Тело Рюккерта положили у борта. Унтер-офицер сказал, вздохнув:

— На крейсере он совсем не пил и спиртное запретил держать. Даже доктору приказал спирт отравить, а тут — пил, глушил без просыпу, и вот...

— Кончай заупокойную мессу, — сказал длинноносый матрос. — Смотри, на берегу сколько их собралось. Никак, хотят принять участие в похоронах, и в наших в том числе.

Барон фон Гиллер тоже заметил толпу на берегу. Перед ней, у самой воды, бегал Голубой Ли и, что-то крича, показывал обеими руками на свою шхуну.

— Кончайте! — Барон фон Гиллер кивнул, и бухта Тихой Радости, скорбно всплеснув волной, поглотила тело «Железного Рюккерта».

Капитан-цурзее распорядился:

— Возьмите на шхуне все необходимое для большого перехода. Мы сейчас уходим из этого проклятого места. Сколько вас там еще осталось на берегу?

— С вашей помощью никого не осталось, — ответил длинноносый комендор. — Последних русские разнесли вместе с пулеметом. Раненый, что чудом остался на клипере, помер полчаса назад. Так что все мы здесь, капитан-цурзее.

— Вот и прекрасно.

— Куда уж прекрасней!

— Я не о том. Конечно, с нами случилось страшное несчастье. Хорошо, что мы, оставшиеся в живых, собрались здесь. Через четверть часа мы должны покинуть это проклятое место. Надо взять воды и продуктов. За дело, друзья! — В его голосе появились заискивающие нотки: он знал, как рискован-

но портить отношения с людьми, от которых будет зависеть исход плавания по неведомому морю.

Он едва сдерживал себя, наблюдая, как эти грязные оборванцы с подчеркнутой независимостью расхаживают по палубе, перетаскивая на катер продовольственные запасы Голубого Ли. Барон фон Гиллер думал не без горечи, как быстро падает дисциплина даже среди немецких матросов, стоит им очутиться вне привычной обстановки, и лишний раз убеждаюсь, что для государства «с новым порядком» необходимо создать расу человекообразных существ, абсолютно послушных, все строптивые чувства которых должны быть заменены преданностью господину, еще более сильной, чем у собак...

Вернувшись на шхуну, Голубой Ли огорчился по-настоящему, увидев на столе в своей каюте мертвого попугая. Ни проигранное сражение, ни промах с белыми туанами так его не расстроили. Попугай был не простой птицей, а служил местом для духа — покровителя «Розового лотоса». Теперь дух вылетел из мертвого тела, и шхуна, а следовательно, и ее хозяин остались без надежного заступника. Голубой Ли крикнул одному из уцелевших матросов, чтобы тот прибрал в каюте, а сам пошел на корму, где находился небольшой алтарь, зажег жертвенные свечи и, приняв молитвенную позу, обратился мыслями и сердцем к богине Кали, прося ее не оставлять его своими милостями. Он дал очень нелестную характеристику сбежавшему духу-покровителю. Во-первых, он не помог захватить корабль чужеземцев, хотя знал, какие жертвы обещаны и ему и ей, богине Кали. Сегодня же дух-покровитель до того растерялся, что дал отравить свое тело. Пусть богиня мщения пришлет более расторопного духа, он же, Ли, ее верный слуга и раб, не останется в долгу...

Ночь застала барона фон Гиллера и его незадачливую команду в открытом море вблизи банки, на которой стоял буюк с ацетиленовой мигалкой. Мотор останавливался раз десять, несмотря на ругань и угрозы командира. Наутро вблизи острова катер догнал голландский сторожевой миноносец и запросил, «не нуждается ли катер в помощи». Катер в это время стоял лагом, и его несло к банке. Барон фон Гиллер приказал поднять «флаги бедствия» и, когда подошла шлюпка, оставил катер. К удивлению барона и команды спасательной шлюпки, матросы с «Хервега» и их унтер-офицер отказались оставить катер. Как раз в это время мотор на катере вновь заработал.

— Мы дойдем до острова, — сказал унтер-офицер. — Вон же пальмы торчат. На какого дьявола мы оставим такую посудину?

— Хорошо, я буду ждать вас на острове, — согласился капитан-цурзее. — Если же у вас опять испортится мотор и мы

не увидимся, то надеюсь, вы не уроните чести флота кайзера Вильгельма.

— Чести нам никак нельзя уронить,— сказал длинноносый комендор,— она, эта честь, так низко сейчас лежит, что ее поднимать надо.

Второй матрос, мечтательно улыбнувшись, на миг представил себе, как они, продав катер, заявятся в кабак где-нибудь в Батавии, и уж там-то они «честь поднимут»...

Мотор взревел, и суденышко, словно обрадовавшись, что избавилось от неприятного пассажира, бойко пошло к острову.

— Пожалуй, мы пропустим этот остров,— сказал длинноносый комендор.

— Лучше всего пойдем к следующему,— подтвердил унтер-офицер.

— Выберем островок поспокойней, мы заслужили отдых.— Матрос с обожженными плечами подмигнул товарищам и вытащил из вещей, захваченных в каюте Голубого Ли, недопитую бутылку виски.— «Белая лошадь»! Я прихватил ее на шхуне. Враки, что малаец отравил кэпа. Они поскандалили из-за вчерашнего. У старика было неважное сердце, да еще этот проклятый пират вывел его из терпения, ну, и... Эх, какой приятный цвет! Выпьем за крепкий причал и мою Клару.

— Аминь,— произнес длинноносый комендор.

По обыкновению, судьба барона фон Гиллера складывалась гораздо лучше, чем у всех его соотечественников, с которыми он имел дела в последние полгода. С голландского сторожевика он пересел на английский миноносец, один из тех, что потопили «Хервег». Командир миноносца с радостью принял на свой борт человека, который знал о сражении из уст самого Рюккерта и плавал на непокорном русском клипере. В Гонконге бывшим командиром немецкой подводной лодки заинтересовалось высшее морское начальство и особенно английская разведка в лице майора Нобля. Майор снабдил его небольшой суммой денег и несколько дней присматривался к нему, расспрашивал о плавании на «Орионе», его экипаже. Майор с удовлетворением отметил, что пленный немецкий офицер не зря провел время среди русских: он добился значительных успехов в изучении русского языка; правда, говорил он по-русски хуже самого майора Нобля. Барон фон Гиллер признался, что на клипере избегал говорить по-русски и вообще выказывать знание русского языка, «чтобы иметь преимущество перед своими врагами»,— как он заявил майору Ноблю, и удостоился понимающей улыбки.

— Вы природный конспиратор,— одобрил майор Нобль.— Такие люди, как вы, да еще со знанием русского языка, сей-

час дороже бриллиантов. Вот что, дорогой барон, я могу вам предоставить возможность сражаться против русских и таким образом избавлю вас от плена. Как вы смотрите на поездку во Владивосток, где сейчас решается судьба всей азиатской России, и даже не только азиатской? Происходят грандиозные события. Россия рухнула, на ее обломках будет создано несколько государств, вернее провинций. Дальний Восток, Сибирь ждут предприимчивых колонизаторов. Насколько нам известно, барон, вы не обременены земельной собственностью у себя на родине?

— С середины семнадцатого века наш род опирался только на шпагу! — высокомерно ответил барон фон Гиллер, глаза его прищурились: он не переносил, когда разговор заходил о его имущественном положении.

Полное лицо майора Нобля расплылось в улыбке; он отхлебнул из стакана неразбавленного виски и подцепил на вилку коричневый кусочек трепанга.

— Ешьте, барон, эту гадость. Говорят, она благотворно действует на весь организм.

Они сидели в кабинете ресторана «Мандарин». В воздухе стоял приглушенный гул, доносившийся с улицы, и шорох лопастей вентилятора над головой. Барон выжидающе смотрел на майора Нобля, в то же время оценивая его. За кажущимся простодушием этого человека угадывалась железная воля, что он не остановится ни перед чем в достижении поставленной цели. Его лучше иметь союзником, чем врагом. Барон терпеливо ждал.

Майор Нобль одобрительно высказался о китайской кухне и, очистив тарелку, без перехода продолжал начатый разговор:

— Мы с вами не виноваты в том, что наши предки не смогли приобрести земельную собственность. Мы с вами можем поправить дела. И должен сказать, что сейчас настолько благоприятный момент, какие бывают раз в столетие. Происходит передел мира! И делим его мы, черт возьми! Сибирь, Дальний Восток, по существу, уже в наших руках. Надо закрепить успехи. Для этого нужны надежные люди, без предрассудков, с ясной целью. Выполняя мировую миссию, каждый, кто не дурак, может обосноваться там на «клочке» земли величиной с целое графство! Дорогой барон, вы произвели отличное впечатление не только на меня! Война на Западе, по существу, окончена, Германия потерпит поражение, но и она не останется забытой, ее интересы на Дальнем Востоке будут сохранены. Как вам известно, капитал стирает национальные границы. Вы можете стать одной из фигур на огромной шахматной доске.

— Надеюсь, не пешкой?

— Ну, что вы! Пешек везут на грузовых транспортах. Английский разведчик никогда не котируется ниже слона!

«Зачем столько ненужных слов?» — подумал барон и сказал:

— Благодарю. Я согласен...

Вот почему барон фон Гиллер очутился на мостике английского крейсера, направляющегося во Владивосток. Они стояли с майором Ноблем обособленно от других офицеров, и не потому, что стремились уединиться, — дистанция между ними двумя и всеми остальными на крейсере образовалась как-то сама собой. Чопорные английские офицеры сторонились бывшего командира немецкой субмарины и находили бестактным, что адмирал навязал им его общество. Что же касается пехотинца майора Нобля, то его репутация в глазах флотских офицеров тоже была невысока.

Но неожиданно этот толстяк привлек всеобщее внимание недюжинными знаниями по части парусников. Он по достоинству оценил внешний вид «Ориона», сравнив его с лучшими чайными клиперами, такими, как «Летящее облако», «Фермопилы», «Китти Сарк», «Молния», «Владыка морей». Перечислив с десяток клиперов и остановившись на их мореходных качествах, он опять перешел к «Ориону», которого обходил сейчас «Суффолк», имея клипер справа по борту.

— Неплохо, совсем неплохо! — говорил майор Нобль. — Смотрите, как лихо идут! Всю парусину вывесили. Поставили даже рингтэйль! Видите парус позади бизани? Запасной бомкливер! И все запасные стаксели! Удивительно, даже поставили шапockу! Шапockу! Вот она сейчас отлично видна, та, что пришнурована к нижней шкаторине фока. Увеличенные лиссели — по бокам всех прямых парусов! Никогда бы не подумал, что идет русский клипер. Исключительное зрелище! Вы не находите, барон?

— Да, если не вникать в суть данного зрелища.

— Понимаю. И завидую вашей целеустремленности. Я иногда могу предаться иллюзорным мечтам. Меня волнуют миражи вроде этого клипера, будто плывущие из восемнадцатого столетия. И мне жаль, что такое чудесное видение может исчезнуть навсегда... — Майор Нобль глубоко вздохнул и сменил мечтательный тон на сухой, официальный: — Вы должны сохранить клипер, используя свои связи. Отдано распоряжение, чтобы против него не применялись репрессии. Слишком ценный груз.

— Я понимаю и уже слышал...

— Да, я в общих чертах знакомил вас с планом захвата клипера. — Майор Нобль, просветлев лицом и обратив мечтательный взгляд за корму, где, распластав крылья, терялся в голубой дали «Орион», снова перешел на задушевный тон: — Не кажется ли вам, дорогой барон, что клипер из какого-то непонятного, рыцарского великодушия уступает нам дорогу?

Ему жаль ржавого «Суффолька», лишенного до конца дней своих подлинного общения с ветром, морем, солнцем. Все это для него враждебные стихии, в то время как они составляют душу «Ориона». — И опять жестко: — Вы не находите?

— Вы поэт, майор. Я — сухой прозаик. И все более убеждаюсь, что нашей судьбой движет случай.

— Ничего не могу возразить, но хотел бы подробностей в данном случае.

— Пожалуйста. Если бы я не налетел на мину в Атлантике, то, по всей вероятности, «Орион» не находился бы сейчас в поле вашего зрения.

— Как и вы?

— Разумеется.

— Но я счастлив, что так случилось!

— Я не могу полностью с вами солидаризироваться до момента встречи в Гонконге.

Они улыбнулись, каждый довольный тем, что так хорошо понимает другого, а сам остается для него загадкой.

Едва скрылся под горизонтом крейсер «Суффольк», как показался английский миноносец. Догнав «Орион», миноносец сбавил ход и некоторое время шел с равной с ним скоростью, держась в пятидесяти саженях с правого борта.

И хотя большинство команды клипера после боя с «Хервегом» и пиратами преисполнились чувством уверенности в своих силах и даже переоценивали их, сейчас, рассматривая хищное тело миноносца, с торчащими на нем стволами орудий и лотками минных аппаратов, матросы видели, что противник «серьезный», и все же им не верилось, чтобы их «Ориоша» сплеховал против этого «железного корытца», как охарактеризовал миноносец Зуйков.

— Поплоше немецкого крейсера будет, — сказал Трушин. — Тот, если сравнивать, больше на битюга походил — ломовая лошадь, а этот так себе, стригунок. Форсу много, толку мало.

— Он тебе даст толку, как саданет торпедами, настружает стружек, — заметил Брюшков.

— Крейсер тоже хотел, — Трушин задорно тряхнул головой, — ты тогда тоже пророчил. Эх, Назар, земляная твоя душа, привыкла клониться перед тем, кто посильней или кто кажется сильным. А ты свою силу показывай, свою удаль!

— Удаль... на дне-то?.. — ухмыльнулся Брюшков.

— Да везде! Пока душа живет.

Наводчик кормового орудия Серегин, человек обстоятельный, резонно заметил:

— Самое главное — надо момент не упустить, а первым ударить, фугасным, по машинному отделению. С такой-то дистанции верная ему крышка. Только если первым ударить...

Ему возразили:

— А если он опередит?

— Нас не опередит. Была бы команда в срок дадена, так врежем, что век не забудет.

— Он те врежет,— сказал Брюшков.

На него зашикали, и Брюшков замолчал, зло покусывая выгоревший в тропиках ус.

Прошел на мостик радист, бросив на ходу матросам:

— Прощайтесь с Гринькой Смитом. За ним и лейтенантом Фелимором пришел миноносец.

Матросы возмущенно зашумели. Веселый, никогда не унывающий англичанин всем пришелся по душе, даже Брюшков угощал его табаком, а такой «чести» он удостаивал очень немногих, да и то из унтеров.

Воин Андреевич, выслушав сообщение радиста, сказал:

— Жаль расставаться, да ничего не поделаешь, это их право. Позвать ко мне англичан.

И лейтенант Фелимор, и старший матрос Гарри Смит стали просить командира клипера, чтобы он разрешил завершить плавание на своем корабле, тем более что миноносец «Отранто» тоже шел во Владивосток. Командир приказал передать эту просьбу командиру «Отранто» капитану Коулю.

Тотчас же пришел лаконичный ответ: «Сожалею. Приказ адмирала».

Клипер лег в дрейф. У лейтенанта Фелимора подозрительно блеснули глаза, когда он прощался с офицерами. И как потом передавал Сила Нефедов, его окончательно «разделал в лоск» Стива Бобрин:

— Сует ему мой Белокрысенький самую большую коробку с перчатками, те, что он у Фелиморовой невесты купил в Плимуте, такого они желтенького цвета, малюсенькие из себя, на дитё и то, поди, не влезут; как-то я померил, они в каюте у него остались, так только три пальца и вошли — и по швам! Пришлось списать в иллюминатор, да их там еще около двух дюжин осталось. И надо вам сказать, что никогда я такой радости на лице у человека не видел, как у того Христофора Фелиморова. Аж затрясся весь, как увидел эти, прости господи, напальнички. Бормочет. В глазах слезы, жмет моему руки. Хороший человек. И куда они ему? Думаю, взял из деликатности, от доброго сердца, чтобы моего не обидеть. Ведь так потратился человек, одному отцу Сидору пятьдесят целковых должен. И такая радость у этого Христофора, будто в адмиралы произвели...

Не менее трогательным было прощание Гарри Смита с его многочисленными друзьями. Все понимали, что расстаются навсегда с этим славным компанейским парнем, и каждый старался вручить ему какой ни на есть подарок. В мешок, тоже подаренный, совали носки, платки, рубахи, Зуйков, хлопнув

подошвой о подошву добротными шлепанцами, сплетенными из манильского троса, сказал:

— Носи, Гриня, не марай!

Гарри Смит отдал Гриню Зуйкова, вручив ему свою фарфоровую наяду. Зуйков долго не брал такую драгоценность, да Гарри сунул ему трубку в карман и, хлопнув по плечу, сказал:

— Закуривай, и будь здоров!

Под выстрелом у борта клипера плясала на волнах английская шлюпка. Матросы, гребцы с миноносца, положив весла на валеки, прислушивались к голосам, доносившимся с палубы «Ориона», и обменивались впечатлениями «об этих русских» и их корабле. Пожилой боцман (боси), командовавший шлюпкой, неодобрительно хмурил густые брови. Ему не нравилось слишком затянувшееся прощание. Он даже считал неприличным поведение своих соотечественников, которые так затягивают прощание с русскими. Боцман вытащил из кармана часы и убедился, что прошло уже пятнадцать минут, как он подошел к паруснику, и больше сорока минут, как там стало известно, что за ними придут. Боцман лишний раз убедился, насколько было предусмотрительно высшее начальство, приславшее инструкцию, как вести себя в русских портах. Инструкция запрещала матросам общаться с большевиками и прочими революционно настроенными элементами, как военными, так и гражданскими. И если говорить о большевистской заразе, то здесь, на этом паруснике, ее, видно, хоть отбавляй. Недаром клипер сбежал из Плимута на Восток, где тогда еще у власти стояли красные. Этих двоих, особенно матроса, приказано держать «в карантине»...

Боцман опять вытащил часы и, взглянув на циферблат, сильно щелкнул серебряной крышкой, что не предвещало ничего хорошего, и буркнул:

— Он забыл, что все-таки является матросом Королевского флота! — Боцман сделал ударение на «матросе», он знал службу и никогда не позволял себе критиковать старших по званию, но в данном случае всем в шлюпке стало ясно, что боцман прошелся и насчет лейтенанта, и, быть может, главным образом имел его в виду.

Наконец лейтенант Фелимор ловко спустился по штурмтрапу, потряс руку боцману, поздоровался с матросами. Гарри Смит, прыгнув в шлюпку, только кивнул всем сразу и продолжал обмениваться прощальными словами с русскими матросами.

Шлюпка отвалила. Неожиданно Гарри Смит совсем по-русски сорвал с головы бескозырку (русскую) и, хватив ею по днищу, стал выкрикивать, мешая английские слова с русскими, все же достаточно ясно, чтобы понять, что Смит думает об адмирале.

Задавая темп гребцам, боцман кивал головой, загадочно шурая и ликуя в душе:

«Он раскусил этого Смита, ругавшего на чем свет стоит адмирала. За такое Смита можно спокойно упрятать до конца рейса в карцер, а там решит военный суд. И вот сейчас он, не закрывая рта, продолжает расхваливать русских, с которыми нам не сегодня, так завтра придется драться».

Боцман сказал:

— Что-то ты их так аттестуешь, будто лучше их людей нет?

Гарри Смит пожал плечами, секунду помедлил, прежде чем сказать:

— Встречал я и раньше хороших ребят, и думалось мне, что они водятся только у нас, оказалось, что везде есть стоящие люди.

Боцман спросил:

— Надеюсь, они найдутся и на «Отранто»?

— Еще бы, сэр! И прежде всех вы, сэр!

Матросы, опустив глаза и сиюсь не улыбнуться, налегли на весла.

Лейтенант Фелимор, стремясь выручить Смита, заметил, что и он сам ничего плохого не сможет сказать о русских, они спасли их от гибели и месяцы заботились, как о самых близких людях.

На что боцман проронил многозначительно:

— Посмотрим, посмотрим...

На другой день после встречи с «Отранто», увидав в миле с левого борта миноносец, Воин Андреевич сказал старшему офицеру:

— Видимо, у англичан серьезные намерения. Берут реванш за Плимут. Думают, что мы опять можем удрать.— Командир тряхнул головой:— Вот когда хотелось бы, чтобы «Орион» превратился в линейный корабль. Тогда бы вся эта шушера при встрече поджимала хвост.— Он вздохнул.— А теперь сила на их стороне. Да разве дело только в видимой силе, во всей этой стали, в пушках? Видно, нет, раз держится восставший народ... А уйти от них не так трудно, как вы знаете...

— Труда не составляет,— ответил старший офицер,— да зачем?

— Да, да, голубчик,— зачем? Не в нашем понятии, как говорят матросы, оставлять отечество в опасности. Я много думал и говорил о возможности уйти в один из нейтральных портов.

— Сейчас их нет нигде, этих нейтральных.

— Думаете?

— Вытекает из обстановки, Воин Андреевич. Не окончилась одна война против Германии и ее союзников, как началась другая, против России, и, судя по сообщениям радиста,

на нас ополчился весь мир, то есть все правительства, которые видят в русской революции опасность для своего строя, как в свое время видели в Парижской коммуне.

— Да, да, и мы знаем ее печальный конец. Погибли люди кристальной чистоты и несгибаемого мужества! Похожие на нашего лейтенанта Шмидта!

— В России все может пойти иначе, если мы используем опыт коммуны и найдутся люди, подобные Шмидту.

— Они, видимо, уже есть, такие люди, раз второй год держится новая власть, да и противник не так глуп, чтобы не учитывать исторический опыт.

Старший офицер улыбнулся:

— Отец Исидор говорит, что все — следствие корысти, злобы людской и потери веры в справедливость.

Они помолчали.

— Вы не думали, Воин Андреевич, что на Дальнем Востоке могут остаться неоккупированные порты в Охотском море, например, или на Камчатке? — спросил старший офицер.

— Думал и хотел с вами посоветоваться. Даже распорядился, чтобы Герман Иванович разведал на этот счет в своем эфире.

КОНЦЫ В ВОДУ

В девятом часу вечера Стива Бобрин вытащил из ящика стола клеенчатую тетрадь, раскрыл ее и, взяв карандаш, поставил дату и ниже написал: «Скоро решится все. На щите или со щитом! Медлить нельзя. Настает долгожданный случай...»

Дверь отворилась. Боком вошел машинист Мухта и остановился, закрыв собой весь дверной проем.

Бобрин укоризненно покачал головой:

— Опять заходишь без стука?

— Чего стучаться — не барышня. Звал?

— Да, я просил унтер-офицера Бревешкина...

— Он и передал. Что у тебя?

Стива опять болезненно поморщился.

Мухта понял:

— Не нравится, что простой машинист «тыкает»? А ты привыкай. — Мухта повысил голос: — Когда настанет царство свободы без власти, тогда при всеобщем равенстве не будет никакого «выканья».

Стива замахал руками:

— Тише! Ради всех святых!

Машинист понизил голос:

— Святых не призывай, предрассудок это и засорение идеологии. Когда?

— Скоро, Мухта, скоро. Как у тебя, все в порядке?

Мухта уставился на него, скривив губы:

— Э-эх, парень, резину тянешь! Надо действовать, а то у нас типы появляются, одного пришлось списать за борт сегодня ночью: сдрейфил, с доносом хотел идти.

— Белкина? Так он не сам упал?

— Помогли малость. Ну, когда?

— Перед подходом к заливу Петра Великого.

— Ой, упускаем время, голубь.

— Скорей нельзя, некому будет нести вахту. Кроме меня, не будет офицеров.

— Дотянули бы без них. Боцманов поставим?

— Не смогут.

— Жалко, угля нету. Будь они прокляты, эти паруса, только тормозят ход эпохи! Скоро залив твой?

— Дней через семь-восемь при свежем ветре. Можешь идти. На днях еще вызову.

— Не беспокойся, сам приду и уйти тоже сам уйду. Ты вот лучше скажи: что в стол сунул, что за книжка?

— Тетрадь.

— Дай сюда!

— Это личное, дневник.

— Давай, давай свой дневник. Кто уполномочил записи делать? Обращался к революционной массе?

— Зачем? Это личное.

— У нас ничего нет личного, запомни! — Мухта, оттолкнув Бобрину от стола, достал дневник и стал читать, бросая мрачные взгляды на обескураженного Стиву. Закрыв тетрадь, он ударил ею по столу, сказав: — Ух, и завихряет тебя, барин! Да если эта пакость им в руки попадет раньше времени — расстреляют, гады. — Он отвинтил барашки у иллюминатора, раскрыл его и, швырнув за борт Стивин дневник, спросил: — Как артиллерист? Все кобенится?

— Да. Вообще он сильно изменился. Считает восстание ненужным, даже вредным.

— Ишь ты, вредным! Все это по идейной отсталости. Через бунт обречем право свое! Понял? То-то!

— Безусловно... ясно... хотя...

— Не вижу, чтобы тебе особенно ясно было. Что это за «хотя»? Никаких «хотя», и баста! Что плечиками поводишь, как гимназистка? Ничего, мы тебя поставим на рельсы, подкуем в теории, и будешь настоящим боевиком. Ладно, помолчи!.. Своим монархистам — ни слова. Народ ненадежный, трепачи. Раззвонят. Потом привлечем к деятельности. И Новикова брось агитировать. Сам присоединится, как увидит итог. Понял? Молчи и обдумай мои слова. Все! — Не прощаясь, машинист грустно повернулся и вышел, сильно хлопнув дверью.

Стива вскочил. Все в нем клокотало от ярости. Как смел этот наглец так с ним разговаривать? Вырвать из рук и выбросить дневник, в котором отражена вся его жизнь, записаны мысли! И этот наглый тон... Но Стива только притронулся к дверной ручке и снова упал на диван. «Займу место командира, все припомню Мухте,— утешал он себя.— Брошу в канатный ящик и выдам властям,— решил он.— Анархистов не любить на судне. Сразу же скручу их в бараний рог! Сейчас ссора не ко времени».

Этот «идейный убийца», как называет его Новиков, мог разорвать все нити заговора, спугнуть драгоценный случай, которого Стива так ждал многие годы. Он самодовольно улыбнулся: нет, на этот раз он использует случай, возьмет все, что заложено в нем, и даже больше!..

Стива Бобрин всегда помнил последнее свидание с отцом, тоже моряком, вышедшим на пенсию. Стива был у него единственным сыном. Жил он в Балаклаве, в небольшом домике, под опекой своего старого вестового Лукина, тоже отслужившего более тридцати лет на флоте. Стояла осень, бухта в сиреневом свете заката недвижно лежала внизу с застывшими на ней шаландами и старой шхуной. Лукин принес тарелку винограда и бутылку молодого вина, разлил вино в стакан и в две кружки с отбитыми ручками. Выпили. Отец, задумчиво глядя вниз, на бухту, побарабанил пальцами по столу, крикнул и сказал:

— Степан! Не знаю, удастся ли нам свидеться... Нет, нет, хотя и война, но тебя бог сохранит, я о себе, сдает сердце, но это на всякий случай, может, и дождусь твоего возвращения. Мне хочется сказать тебе несколько слов. Думай как хочешь, но учти опыт своего старого отца. К сожалению, мы пренебрегаем опытом старших и потому повторяем их ошибки. Ты знаешь, что мы с Лукиным были не последними моряками, и вот итог: пенсия, этот угол, и все.

— Палат каменных на флоте не наживешь,— сказал Лукин хриплым басом,— хотя бывали случаи. Вот у нас в Кронштадте...

— Помолчи, Егор... Между прочим, все могло быть иначе, я мог сделать карьеру и, наверное, сейчас носил бы орлы на погонах, да упустил случай.

Стива знал об этом случае. Отцу предлагали выгодную должность в морском штабе, но он отказался оставить корабль. Человек, который занял его место, сейчас контр-адмирал.

Все же отец повторил всю историю и продолжал:

— Конечно, мы были напичканы романтикой моря еще в корпусе и создали себе идеалы, которые и привели меня на эту «виллу». Погоди, не ерзай, я сейчас закончу. Учти, что в

жизни не часто складываются благоприятные обстоятельства, и если они налицо, то используй их. Тут нужна смелость, некоторое предрасположение к риску, а это у тебя имеется в достаточной мере. Конечно, не следует нарушать законов чести. Да что я говорю! У тебя твердые устои. Я многого жду от твоего плавания на «Орионе». Прекрасный корабль, капитана я не знаю, но слышал, что достойный человек, старший офицер также...

«Смелость — риск — удача» стали девизом Стивы Бобриня. Он изнывал, ожидая случая, чтобы рывком выйти вперед, обойти однокашников, а случая все не подворачивалось; наоборот, благодаря чьей-то небрежности где-то в дебрях морского ведомства затерялся приказ о его производстве в мичманы, и он третий год плавал стажером, «вечным выпускником» старшей роты морского училища. Не радовало его и хорошее отношение командира, который, не ожидая производства, доверил ему самостоятельную вахту и приказал выплачивать жалование лейтенанта.

— Видимо, неудачи родителей, как и болезни, передаются детям, — как-то сказал он Новикову.

На это артиллерийский офицер ответил, кривя тонкие губы:

— Богатство — к богатству, к болячке — хворь, а посему выпьем...

Стиве казалось, что Новиков испытывал злорадное удовлетворение, что есть человек, жизнь которого складывается еще хуже, чем у него самого.

Бобрин пил редко, тоже следуя совету отца, и с ненавистью смотрел на Новикова. Общество этого человека не могло принести ничего хорошего, и еще Стива верил, что несчастья прилипчивы, как зараза, и Новиков в чем-то виноват в его бедах. На корабле деться было некуда. За столом они сидели рядом, жили в каютах через стенку. И между ними невольно возникла дружба. Дружба странная, питаемая неприязнью друг к другу. В минуту откровенности Бобрин поведал Новикову свои жизненные принципы и виды на будущее.

— Не густо, — сказал Новиков, — все же зацепка есть. Одним словом: «используй миг удачи», следуй по стопам пушкинского Германа. Кто не шел и не идет этой дорогой? Только, мой друг, вы совершили глубочайшую ошибку: с такими замыслами — да на парусник! Сейчас не времена «Очакова» и «Синопа». Ну какой вам может подвернуться случай выдвинуться из общей массы? Да еще в наших плаваниях. Разве погибнете геройской смертью, спасая матроса, или пойдете со всеми нами на дно от немецкой мины или снаряда? Детские мечты, мой друг, а посему выпьем...

Февральская революция, падение самодержавия, Временное правительство вернули Стиве Бобрину уже потускневшие

надежды на карьеру и славу. Теперь они с Новиковым часами говорили о «новой эре» Российского государства.

Бобрин и Новиков в эти дни стали ближе друг другу. Не понимая грандиозности Октябрьской революции, ее значения для хода мировой истории, они расценили ее «как бунт черни», восстание против священных устоев нации, то есть собственности, старых законов и установлений.

Новиков подал рапорт (отклоненный командиром) «о переводе в армию, сражающуюся с большевиками и им подобными»... Бобрин не подал такого рапорта: это был не тот случай, какого он ждал. Оставить клипер и сложить голову от пули русского мужика не входило в его расчеты.

«Надо еще подождать», — решил он, вместе с Новиковым возмущаясь диктаторскими замашками Мамошки¹, не разрешающего бороться с большевиками. Тут впервые у друзей зародилась мысль, что командир симпатизирует красным.

Он предложил Новикову написать и после его отказа сам написал письмо к адмиралу сэру Элфтону о готовящемся побеге «Ориона». В случае успеха, а тогда он казался стопроцентным, Стива сразу мог стать заметной фигурой среди довольно безликой массы русских офицеров, прозябавших в английских портах. Зная падкую на сенсации английскую прессу, он уже видел жирные заголовки над статьями о своем «подвиге» и свои портреты на первых страницах «Таймс».

Позорный провал с письмом был первым страшным ударом для Стивы. Он ждал смерти; будучи на месте командира, он, конечно, не пощадил бы человека, попытавшегося противостоять его воле. Да и Новиков поддерживал мысль о военнополовом суде. Когда гроза миновала, Стива мгновенно преобразился и, по определению того же Новикова, «выказал ранее скрываемую наглость».

Появление барона фон Гиллера на клипере оказало очень большое влияние на формирование личности Стивы.

Барон фон Гиллер говорил при каждом удобном случае, что он, Стива, один из тех немногих людей славянского происхождения, которых необходимо привлечь для создания «великого общества». Бредовые идеи Гиллера Стива воспринимал как откровения пророка. Сам не зная того, он ошупью приходил к тем же выводам; пленный немецкий офицер лишь ускорил этот процесс, избавил от раздумий, вложив в голову Стивы простую и ясную мысль, что люди неравны, есть господа — их немного, и есть рабы — их масса. Рабами, естественно, должны управлять господа, что и делалось испокон веков, но в последние столетия благодаря тлетворному влиянию социальных идей в мире нарушается «гармония», пришла пора ее восстановить на новом, высшем уровне.

¹ Мамочкой матросы называли капитана «Ориона».

Единственное, с чем Стива не мог согласиться, так это с тем, что главенствующую роль в создании «великого общества» должны играть тевтоны, и сказал об этом Новикову. Артиллерийский офицер внимательно посмотрел на него:

— Если дело так пойдет и дальше, то вы перешеголяете немца. Барон чрезвычайно прямолинеен в своих действиях, питает презрение ко всему, что не соответствует его понятиям, ко всем племенам и расам, кроме арийской; почему-то нас, славян, он считает неарийской, а следовательно, «низшей расой», и это презрение, переоценка своих данных и недооценка окружающих чуть было не стоили ему головы. И еще он беспрельдно нагл; в храбрости ему тоже не откажешь, но наглость — его отличительная черта. И еще, конечно, умен, только ум у него какой-то однобокий, как у всех маньяков. Ведь он даже вас провел и чуть было не использовал в своих целях!

— Когда? Извините!

— Охотно. Если бы вы не напились этого мухомора — «напитка бога Шивы», то...

— Думаете, я пошел бы на abordаж в бухте Тихой Радости? Ну уж извините!

— И на этот раз извиняю. На abordаж бы он вас не погнал, вы были ему нужны для управления парусами нашего клипера в случае его захвата. Ну как? Я не прав?

— Конечно! Я не мог пойти на явную измену, перейти на сторону пиратов!

— Врете, Стива. Перешли бы, если б знали, что есть шансы очутиться на «Суффольке». Я наблюдал за вами, когда вы увидели барона на мостике среди англичан. Ну что?

Стива молчал, закусив губу. Как он ненавидел сейчас этого прозорливого пьяницу!

— Ну, не сердитесь, — как-то совсем мягко сказал Новиков, — вы же знаете, какой я циник, мало чего приятного нахожу в жизни, и все-таки относительно вас я кое в чем согласен с Мамочкой. Толстой писал, что нет абсолютно хороших и плохих людей, и вы можете выровняться, если захотите, в этом главное различие между вами и бароном. Тому уж не выровняться.

— Оставьте, Юрий Степанович, этот тон гувернантки.

— Извольте, а посему выпьем...

Стива потянулся, сидя на диване. Он еще никогда не казался себе таким сильным, смелым, удачливым. От его воли зависела судьба экипажа и корабля и его, Стивино, будущее. Он с силой ударил кулаками по пружинящей коже дивана, вскочил и, заложив руки за спину, зашагал по каюте — четыре шага от двери до бортовой стенки и назад к двери. Он репетировал свое первое появление на мостике в роли командира:

«Матросы стоят на шканцах. Убраны все верхние паруса, и клипер торжественно движется по спокойному морю (в эту пору штормы здесь редки). Я останавливаюсь, глядя на озадаченные физиономии матросов, и говорю...»

В двери заглянул вестовой Нефедов. Стива было накинута на него:

— Какого черта! — но тут же спохватился: нельзя обострять отношения с нижними чинами в такие минуты. — Ну, что? — спросил он недовольным тоном.

— Да так. Думаю, может, чего надо...

— Спасибо, ничего пока... Постой! Зайди. Закрой дверь. Садись.

— Можем и постоять, но раз приглашаете, можно и сесть, хотя, как вас стал нянчить, только и дела, что лежать да сидеть...

— Нянчить?!

— Ну, не совсем нянчить, а всё уход, как за дитём.

Стива опять чуть не вспылил, но, сдержавшись, сказал:

— Ты оставь это. Какая ты мне нянька! Вестовой — и только. Я давно должен ходить в звании лейтенанта, а если бы плавал не на этой деревяшке, то и капитана третьего ранга. В войну производство идет быстро... Конечно, не будь революции.

— Ничего, еще чины будут. Было бы на чем погонь носить.

— Ты что мелешь?

— Да как же, Степан Сергеевич, время-то — сами знаете. Герман Иванович только что говорил, что у нас дома страшные бои идут! Попадем в самое пламя, вспомним еще наш тихий клиперок, хотя и он уже стал не тихий.

— Ты что причитаешь, Сила? Я не узнаю тебя. Бывало, слова не выдавишь из тебя, а сейчас — оратор!

— Сам удивляюсь. Будто язык подменили, и в голове мысля шевелится. Наверное, от пустой моей жизни. Когда был настоящим матросом, тогда думать было некогда: на реях наломаешься, до палубы доберешься, только и думы, как бы прикорнуть да чарки дожидаться. — Нефедов повел рукой. — Да и сейчас все думать стали, потому многое самим решать надо. Раньше что — барин или староста рассудят, а теперь, выходит, сам должен решать, каким идти течением в жизни.

Стива насупил брови:

— И ты попал под влияние большевиков! В философию пускаешься! Вот что, Сила, запомни и другим передай, что все эти разговоры о Советах и какой-то особой свободе — пустое дело. Будет все, как в пятом году. Ни мы, ни союзники наши не дадим погибнуть России. Все будет, как прежде, конечно, более организованно и справедливо.

— Хорошо бы, Степан Сергеевич! — Вестовой вздохнул. — Оно бы спокойней, да народ с узды сорвался, как говорит Зосима Гусятников, прямо удержу нету.

— Ну хорошо, оставим это. Скажи лучше, что говорят на баке?

— Разное говорят, а всё к одному идет: прежнего уже не будет.

— Опять про старое! Ну, а какие новости? Что говорят про того электрика... как его...

— Белкин! Да что говорить — свои сбросили за борт. Вот оно и получается. С Мухтой не поладил — и сбросили беднягу. И надо же, человек был он хороший, совестливый. Мутят что-то на юте анархисты. Слух пошел... — Нефедов с опаской покосился на дверь.

Стива привстал от нетерпения:

— Ну, а еще что?

— Будто и вы стакнулись с анархией...

Стива плюхнулся на диван, чувствуя, как весь покрылся липким потом. «Неужели все пропало?» — подумал он и крикнул срывающимся голосом:

— Вранье! Брешут! Не верь. Скажи там, на баке, что неправда это...

Нефедов с укоризной посмотрел на него:

— Мухта только от вас вылетел сейчас.

— Вылетел, говоришь? Так это я его отправил. Приходил со своей агитацией, книги предлагал. Я его в шею!

Нефедов недоверчиво спросил:

— В шею, говорите? Такого-то — да в шею?

— Не веришь?

— Ну, раз вы говорите, как не поверишь. Все же прохвост он, зверь. Когда бой был в бухте, Мухта раненого малайца ногами затоптал до смерти. Хоть и разбойник, а ведь раненый. Ужасно было смотреть. Я кинулся, хотел отнять, да тот уже мертвый. Не водитесь вы с ним, ну его к чертям собачьим. Подлец он. Убили они Белкина. Он со своим Свищем, больше никому.

— Может, Белкин сам за борт свалился.

— Так не бывает, чтобы без крику человек упал, да и падать в такую погоду, в тишь, невысказано. В бурю не падал, а тут упал, как камень. Всплеск под утро вахтенные слышали на юте. Вот оно что, Степан Сергеевич. Хуже не придумать. Человек погиб прямо, можно сказать, на пороге дома. Не приведи бог никому такое!

— Хорошо, иди, мне отдохнуть надо перед вахтой. Слухам не верь. Для чего мне связываться с анархистами? Ты же знаешь, что я против разбоя и за твердую власть. России нужен сильный правитель, такой, как Петр Великий!

— Оно бы, может, и ничего было, если бы такой нашелся, да Громов говорит, что из всех царей за триста лет, что были Романовы, только один и объявился. Может, с царями и взаимную правду покончить, а держаться за народную власть... И вам бы, Степан Сергеич, присмотреться да прислушаться, что Громов и Лебедь говорят, а не этот Мухта проклятый. Один раз вы уже обмарились, как бы снова не попали в еще худшую передергу.

Стива побагровел. Сейчас можно было не сдерживать «справедливого» гнева, который копился весь вечер и не находил выхода.

— Агитировать пришел? Учить? Вон, скотина!

Нефедов поднялся.

— Уйду и не приду боле. Стыдно, Степан Сергеевич. Ищите другого холуя.

— Постой! Ты всерьез?

— Всерьез!

— Ну, пшел к черту! Скоро...

— Что — скоро? Думаете, на брюхе приползу, так не надейтесь. Я-то думал... а вы, видно, без нутра, как тот немец.

— погоди. Ты что говоришь, да не договариваешь, что там еще за сплетни обо мне? Ну... Не сердись, Сила. Мало ли что бывает между своими. Ну погорячился, сам говоришь, что время такое. Сядь! Вижу, что не все сказал. Выкладывай!

— Э-эх, замарана у вас корма, видно, Степан Сергеевич, а вам чистить ее боле не буду! Н-ну... — И он вышел из каюты, оставив Стиву в полном смятении.

В это время Мухта проводил собрание своих сообщников-анархистов. В кубрике находилось более двадцати человек — кочегары, машинисты, матросы. Было душно — иллюминаторы задраены. Голос Мухты глухо слышался в низком помещении:

— ...Дотянули! Откладывать больше нельзя. Все напортила нам большевистская фракция. Сколько раз были возможности превратить наш «осколок царской империи» в оплот мировой революции!

— Конец!.. Хана! — как вздох, послышались голоса.

— Да, там мы попадем в лапы к интервентам, хотя мы и везде можем поднять восстание, наши сейчас есть повсюду, во всех армиях и странах!

— С большевиками разговаривал?

— Говорил сегодня с Лебедем и Громовым — отказались. Хотят вести борьбу против интервентов и буржуазии на берегу. Призывали присоединиться к ним. Сказал, подумаем. Конечно, чтобы не вызвать подозрения. Белкин, кажись, успел брякнуть. Так что, товарищи анархисты-боевики, ждать мы не можем, думаю начать завтра! Захватим корабль, скрутим всю контру. Кто не с нами — тех за борт, и повернем на револю-

ционный простор! Пойдем по всем странам. Понесем наше черно-красное знамя! Сейчас необыкновенная революционная ситуация! Мир — как сухая солома! Довольно искры, и вспыхнет пожар и охватит весь шарик... — Он замолчал: открылась дверь над входным люком, и Свищ, стоявший на стреме, стал спускаться, фальшиво насвистывая «На Молдаванке шухер завязался».

— Там эта белобрысая контра рвется, — сказал он. — Пускать? Да вот она и сама! Давай, не оступись, соратничек!

В кубрике пахло керосиновой гарью — лампа с закопченным стеклом покачивалась под настилом верхней палубы.

Стива, не различая лиц заговорщиков, но чувствуя на себе их взгляды, сказал, задыхаясь:

— Все пропало! — У него перехватило горло. — Они все знают... Мы раскрыты!

— Без паники, — сказал Мухта. — Сидеть тихо. Матросы — к себе! Выходить с разговорами, со смехом. Решение всем сообщат... Ну что? Откуда узнал?

Стива, запинаясь, глотая слова, рассказал о разговоре с вестовым.

Мухта расхохотался. Облегченно засмеялись и кочегары.

— И только? — спросил Мухта. — Да мало ли что о нас говорят и думают! Нам надо действовать, и побыстрей. Понял? Нефедова не отстранять! Попроси у него прощения! Хорошенько попроси, пусть при тебе будет, а мы за ним присмотрим, и за тобой тоже присмотр будет. К нам ни ногой. Большевички, наверное, опять накололи это твое посещение к нам. Лишних разговоров не надо. Сами будем тебя ставить в известность. Насчет всего. Еще одна просьба — заметь, мы не приказываем пока, только просим: поговори с Новиковым, можешь даже угрозить слегка, но чтобы не спугнуть и не обернуть совсем против нас. Вот и все, ребята! Ни у кого нет предложений товарищу гардемарину? Нету! Пока! Иди, уже третий час пошел, скоро тебе заступать на «собачью вахту». — Мухта, а за ним и все его единомышленники захохотали.

Как только захлопнулись двери люка, Мухта сказал:

— Дело серьезное, братишки анархисты-боевики. Хотя мы и осмеяли Белобрысенского, а пахнет керосином. Завтра будет поздно. — Он сделал паузу и прошептал: — Выступаем сегодня на его вахте, — Мухта боднул головой вверх, — как только пробьют первую склянку. Понятно? Ну, что затихли?

Свищ прихлопнул в ладоши.

— Переживаем, кореш! Дух захватило у боевиков! Сколько ждали, и вот пожалуйста! Погуляем, братишечка, снова в теплых морях, да не так, как с этими офицериками! Пошупаем мировую буржуазию! Подождем соломку мирового пожара и сами на огоньке погреемся! Так я говорю, командир?

— Закрой поддувало! Пусть другие скажут, если есть что сказать.

«Другие» подавленно молчали.

Стива лег на диван не раздеваясь, до вахты оставалось около часа. В ушах еще звучал издевательский смех анархистов, перед глазами проплывали их лица. «А не послать ли все к черту?» — подумал он и улыбнулся своему малодушию. Сейчас он лежал на мягком диване, плавно покачивающемся под ним, слушал меланхолический плеск волн за бортом, и все происшедшее казалось ему малозначительным, пустячным эпизодом, издержками в большой игре, которую он вел. Действительно, Мухта держит себя безобразно и явно оттирает его на второй план. Стива снова улыбнулся, представив себе звероподобного машиниста в роли командира клипера, а Свища — старшим офицером. «Получится настоящий пиратский корабль», — подумал он и не подозревая, что разгадал их замыслы...

Он погрузился в чуткий сон, готовый вскочить от легкого прикосновения вестового и с первым ударом в рынду подняться на мостик. Сквозь сон с палубы доносился шум, топот, удары, похожие на выстрелы. «Шквал. Прозевал Горохов», — определил Стива.

— Вставайте, Степан Сергеевич. Скорее! — услышал он.

У дивана стоял Бревешкин. Даже при зеленом свете ночника было заметно, как он напуган, в его выпуклых глазах застыл ужас.

— Вахта наша через склянку. Слушайте, какое дело. Кочегарье проклятое, анархия... бунт затевают. Мне Тимохин Димка сейчас сказывал, тоже с нашей вахты марсовый, к анархистам, гад, переметнулся.

— Да что случилось? — уже совсем пришел в себя Бобрин и понял, с чем пришел Бревешкин.

— Через сорок минут они всех порешить хотят. Димка сказал, что вы всё знаете, и вот я к вам...

— Молодец! — На Стиву нашло прозрение. «Вот он, тот случай, когда от секунды промедления зависит самое главное — жизнь!» И он решил: — Иди на мостик к Горохову, живо пусть играет боевую тревогу!

— Да как же?..

— Скажи, что передал Бобрин, приказ командира!

— Есть! — понял Бревешкин и вылетел из каюты.

Когда Стива вошел к командиру, там находился Громов.

— Извините! Чрезвычайное сообщение! На корабле готовится бунт!

В это время бешено зазвенела рында.

— Что такое? Уже? — Командир посмотрел на Громова и выхватил револьвер.

Стива сказал, чеканя слова:

— Нет. Бунт назначен через тридцать пять минут. Я от вашего имени приказал объявить тревогу.

— Вы? Голубчик! Отлично! Это спутает их планы. Вот и Громов принес мне те же прискорбные вести...

Стиву будто прорвало. Дрожа, как в лихорадке, он перебил командира, хотевшего еще что-то добавить:

— Разрешите немедленно арестовать зачинщиков — Мухту и Свища?

— Да, да, голубчик! Сейчас же арестуйте. Громов!

— Есть!

— Возьмите свое отделение и следуйте с вахтенным начальником.

— Есть!

— А мы, Феклин, идем на мостик.

Феклин с первыми ударами рынды уже стоял в каюте с фуражкой и плащом. Воин Андреевич машинально взял и надел фуражку, а плащ отстранил:

— И так, голубчик, жарко.

Феклин пошел следом, держа плащ.

На палубе было тихо и душно, волнение улеглось, казалось, корабль остановился посреди моря, залитого золотистым светом заходящей луны. Темное золото пропитало паруса и снасти, фигуры рулевых казались непомерно большими и тоже отлитыми из золота или бронзы.

У трапа командира встретил старший офицер и громко отрапортовал, что все подразделения на местах по боевому расписанию.

— Хорошо, хорошо. — Командир отвел его в угол мостика. — Я приказал арестовать Мухту и Свища, извините, без вас — не было времени. Вот список, прикажите и этих взять под стражу! Бунт! Коля, дорогой, у нас! Уму непостижимо! Действуйте!

— Кто берет Мухту?

— Бобрин!

— Не может быть!

Из машинного отделения глухо донеслись два револьверных выстрела...

По боевому расписанию Мухта и Свищ находились в машинном отделении, хотя топки были погашены и весь клипер освещался керосиновыми лампами. Здесь же стояли и сидели почти все кочегары и машинисты.

Молчали, прислушиваясь к звукам, доносящимся с палубы.

Свищ зашептал:

— Дознались, гады... Идут! Топают. Прикладами цокнули!

— Закрой хайло! — гаркнул Мухта, вытаскивая револьвер. — Оружие приготовить! Уничтожим тех, кто идет, а потом — по расписанию. В темноте мы их живо перекокаем. Только смотрите мне, Белобрысенького не попортить!

Появление в кубрике Бобрина во главе вооруженных матросов парализовало всех заговорщиков, кроме Мухты и Свища.

Свищ спросил, держа руки в карманах:

— Вы чего, братишечки? Заблудились?

Стива сказал, поведив перед собой наганом со взведенным курком:

— Мухта, Свищ! Вы арестованы! Взять их!

Мухта молча вырвал руку из-за спины. Стива успел нажать на спуск на сотую долю секунды раньше, чем мог бы это сделать Мухта. Свища схватили матросы, хотя он и не думал обороняться.

— Меня за што, братишечки? — говорил он задумчиво. — Ну што я сделал? Все это Мухта, покойничек. Вот ваш офицерик не даст соврать, что я был против и все ребята против. Мы хотели сами прибрать Мухту, да вы появились. Шум подняли. Это он кокнул Белкина...

Громов наклонился, взял Мухту за руку, подержал, опустил.

— Мертвый. — И, глядя на Стиву, сказал: — Зря вы второй раз стреляли. Мог бы кое-что сказать, а теперь — концы в воду.

РОДНЫЕ БЕРЕГА

Стояла теплая, почти тропическая ночь, хотя «Орион» шел Японским морем, приближаясь к родным берегам. Такая погода случается на Дальнем Востоке в конце августа, когда море щедро отдает тепло, накопленное летом, и дуют жаркие южные ветры.

За кормой стлалась голубая светящаяся лента, почти такая же яркая, как в Яванском море. Только за бортом, в глубине, не появлялись тусклые шары фосфоресцирующих медуз и не шлепались на палубу крохотные кальмары, как нередко случалось в ночные вахты в тропиках.

На клипере никто не спал, хотя приближалась полночь. Все ждали, когда покажется земля, «теперь уж наша», говорили матросы.

Ровно в 24 часа, когда Роман Трушин отбивал склянки, впередсмотрящие срывающимися голосами прокричали:

— Огонь слева по носу! Земля! Маяк показался!

Старший офицер, сдав вахту лейтенанту Горохову, остался на мостике, здесь же находился и Воин Андреевич.

Далеко на невидимом берегу вспыхивал и угасал маячный огонь. Вся команда молча смотрела на свет с родной земли.

Ветер дул ровно и почти не ощущался на палубе. Пела вода на форштевне, иногда слышался всплеск легкой волны о борт, да раздавался чей-нибудь вздох.

Неожиданно раздался звонкий голос Лешки Головина:

— Дядя Спиридон, а сколько верст будет до маяка, как ты думаешь?

Зуйков закашлялся, затем ответил сипло:

— Верст, верст... Эх, Алеха! Плаваешь ты по всем морям, просолел весь, как астраханская селедка сухого посола, а море на версты меряешь.

— Ну, миль, ошибся.— Юнга сконфузился.— Миль двадцать будет?

— Может, и все сорок будет. Давеча Герман Иванович говорил, что маяк на скале, высоко над морем, а с высоты еще дальше можно увидеть.

Снова настала тишина. Кто-то засмеялся и быстро оборвал смех, почувствовав, что он неуместен в такую торжественную минуту.

Опять заговорил юнга, но только шепотом:

— Ну, и перепутал версты с милями, потому что все разговоры о земле, а землю чем меряют?

— Понятное дело,— отозвался Зуйков.— Да ты не принимай к сердцу, позору тут нет никакого — что верста, что миля, только миля — она подлинней. Я вот тоже про милю помню, а все в уме на версты ее перевожу. Эх, Алеха, дома ведь почти уже, а! Чувствуешь? Вот ты, что бы хотел, как на свою землю ступишь?

— Не знаю... По земле побегать... С ребятами встретиться, поговорить...

— Все так. Ну, а самое первое что? Не знаешь? То-то и оно. Самое первое, Алеха, отправимся мы с тобой в баню. Да с веничком, да с парком пройдемся по грешному телу. Ух, хорошо! Смоем копоть с души и тела и возьмемся за настоящую работу.

По палубе прошел одобрительный шепот. Назар Брюшков сказал:

— Я последний раз в финской бане мылся два года назад, когда в Гельсингфорсе стояли. Ничего баня. Кто из вас в кабак, а я — в баню.— В голосе его слышалось превосходство над бесшабашной матросней.— И деньги сберег и попарился.

— Чище не стал,— заметил Зуйков.

Его поддержал Зосима Гусятников:

— Черного кобеля не отмоешь добела.

Матросы засмеялись. Гусятников продолжал, но уже другим тоном, умиротворенно:

— Если про баню говорить, то лучше ее нету, как у нас на Севере. Бани у нас просторные — хоромы. На задах у речки. Не какие-нибудь там финские, а русские, особенные. Топим мы их по-черному.

— Серость,— проронил Брюшков.

— Постой, Назар. Не серость, а мудрость и соображение. Ты слушай. Так вот, когда баня натопится, раскалится каменка, дым выйдет, первым паром очистится воздух, тогда банька закрывается, и дух в ней такой, как в кедровом лесу в сухое лето. И всего тебя жар обнимает и холит. Во! Возьмешь веничек да заберешься на полók, и как обдаст тебя жаром, дух захватывает. Любой француз или англичанин как рак сварится в таком духу, а тебе ничего, только необыкновенно хорошо. Как напаришься — и в речку, хоть летом, хоть зимой, а не то в снежок. Хорошо! И никакая хворь не берет, никакая простуда. Наоборот, выходит она от пара и жара и особого воздуха. А из холода опять на полók. И вот так раза три обернешься, и буд-то десять лет сбросил.

От мачты до мачты прошел веселый гул голосов, потом говор стал тише, невнятной, беседа потекла уже не для всех, а только для «своих»; кто-то засмеялся.

Над мачтами пролетела стайка птиц, жалобно перекликаявшаяся в высоте.

— Кулички-плакальщики, ночами перелет делают,— сказал Гусятников.— И куда летят?

Никто ему не ответил.

Командир сказал старшему офицеру:

— Действительно, куда летят? И в этих широтах, и на юге я обращал внимание и не знал, что это кулики-плакальщики. А вы знали?

— Нет. А тоже не раз слышал, и всегда появлялось какое-то щемящее чувство.

— Да-да, вот именно. Может, поэтому и матросы присмирили? А мы ведь на пороге дома!

— Горящего дома.

— Ну, зачем? Может, все не так плохо...

Помолчали. Затем командир сказал весело:

— Что бы там ни было, а дома! И не зря матросы о бане заговорили. Надо смыть и с тела и с души весь пепел, что накопился за войну. Может, перед новыми передрягами, а надо.— Он продолжал мечтательно: — Поставим «Ориошу» в Амурском заливе — и на берег. Там, помню, где-то возле Семеновского базара есть торговые бани, а затем в «Версаль» — ужинать и спать на твердой земле... — Помолчав, он спросил: — Как думаете, есть телеграфная связь с Севастополем?

— По всей вероятности, нет. Хотя...

Они замолчали. И разговор среди матросов совсем затих.

Застучали подошвы башмаков по ступенькам трапов: свободные от вахты и подвахтенные спускались в жилую палубу.

Новиков и Бобрин стояли на юте, глядя на огонь маяка, и невольно слушая матросов. Когда голоса стихли, Стива сказал по-английски:

— Удивительно! Стоим на пороге неизвестности, может быть, завтра примем участие в грандиозных событиях, и эти люди ведут себя так, будто возвращаются с поля в деревню.

Новиков ответил по-русски:

— Мне нравится такая уверенность, что все на месте, и дом и баня, где можно попариться.

— О нет, это не уверенность!

— Что же?

— Проявление тупоумия. Отсутствие чувства ответственности за судьбу России.

— Ого! Чувства ответственности нет, а решать им придется.

— Они только материал, пешки!

Новиков засмеялся и пропел, фальшивя:

— И пешки съели короля!

— Фиглярничаете в такое время!

Новиков положил ему руку на плечо:

— Не обижайтесь, Стива. Вы должны уже привыкнуть к моему характеру. В чем-то вы правы, в чем-то нет. Да и кто прав во всем? Избегайте делать безапелляционные выводы. Я тоже кое о чем думал последнее время. А посему идемте ко мне и отметим счастливое прибытие на восточную оконечность бывшей Российской империи.

— Почему бывшей?

— Ах, Стива, Стива!..

— Опять вы со мной как с младенцем разговариваете?

— Отнюдь. Приглашаю выпить как мужа. Постойте! Что это такое там горланят матросы?

Впередсмотрящие возвестили, что справа по носу видны ходовые огни двух транспортных судов, идущих на запад.

— Из Японии во Владивосток, — сказал Новиков. — Слетаются со всего света, и не с добром, а за добром, как говорит Зосима Гусятников.

Неслышно подошел отец Исидор и, стоя в густой тени от парусов, несколько минут слушал тихий разговор офицеров. Неожиданно он сказал рокоchущим басом:

— Ропщете, юноша, на порядки, а потом удивляетесь сами, откуда растут корни протеста и смуты у людей низшего звания. Нехорошо!

Новиков засмеялся. Стива Бобрин вспылил:

— Вот именно, нехорошо подслушивать!

— Мне-то? О юноша! Долг мой в том и состоит, чтобы улав-

ливать мысли людские, и если они не соответствуют морским установлениям и заповедям господним, то вразумлять сходящего с пути праведного, отвращая его от военного трибунала.

— Хватит, отче,— сказал Новиков,— пошли за компанию, выпьем с радости.

— Чего не делалось за компанию, какие мерзопакостные дела! Но я иду, дабы направить и худое дело на благо. И действительно, ночь-то благостная, тихая, идет клипер наш, будто и не по воде, а в облаках витает — так осторожно море его на себе держит, а ветер устремляет к цели нашего пути.

Они спустились по трапу и, когда подходили к каюте радиста, из нее поспешно вышел Герман Иванович.

— Есть новости, сын мой? — спросил отец Исидор. — Не отпирайся, на лице твоём написано, и, видно, не особенно хорошие.

— Да, приказано вместо Владивостока идти на Аскольд и ждать распоряжений. Извините, господа, спешу к командиру.

— Иди, сын мой, и не бойся плохих известий, ибо все в мире не стоит на месте — и плохое или то, что мы подразумеваем плохим, может обернуться хорошим и наоборот.

В каюте Новикова, развалиясь на диване, Стива Бобрин сказал срывающимся от волнения голосом:

— Все развивается так, как я предвидел: нам не простили, не забыли побег из Плимута. Сейчас союзное командование по достоинству оценило поведение нашего командира. Стороны в борьбе определились достаточно ясно, и мы, господа, в особенно выгодном положении, тем более что я сохранил копию письма к адмиралу сэру Элфону. — Стива подмигнул Новикову, накрывавшему на стол.

— Прошу, господа,— сказал Новиков,— из закусок только сухая колбаса, да не хочу будить моего вестового. За прибытие, господа!

Выпили.

Отец Исидор, понюхав корочку хлеба и глубоко вздохнув, сказал, глядя из-под кустистых бровей на гардемарина:

— Не натворите новых глупостей, юноша. Тот позорный документ порвите и развейте по морю. Не делает он чести, особенно сейчас; тогда, под влиянием неясности событий, еще можно было найти смягчающие вину причины, сейчас — нет. Обдуманная гадость становится подлостью.

Стива Бобрин, приподняв плечи, покосился на хозяина каюты и, переведя взгляд на отца Исидора, сказал:

— Позвольте, как вы смее!

Новиков поднял руку:

— Отставить, Стива. Продолжайте, отец, в ваших словах иногда проглядывает истина.

— Золотые слова!

— Ваши, отец.

— Тем приятней. Что же касается истины, то она глубоко сокрыта и многогранна, и только изредка кажет нам одну из своих бесчисленных сторон. Суждение сие относится к области высокой философии. Мы же, грешные, пытаемся решить дела более простые... Еще по одной? Не откажусь. Хороша!.. — Полюхав корочку, он продолжал, не спуская глаз с гардемарина: — Что касается изменения нашего курса и, другими словами, задержания или ареста, то здесь причина не только наш побег из Англии, о нем могли забыть в такой сумятице и, вспомнив, рады были бы нашему приходу, они же изолируют нас, как бы сажают в карантин. Почему? — Отец Исидор усмехнулся. — Потому, что все это дело пакостной души немецкого барона Гиллера. Воистину ни одно доброе дело не проходит безнаказанно. Сей парадокс к нам подходит вполне. Барон расписал самыми пакостными красками положение на корабле, ослабил капитана и команду, представив нас бунтовщиками. Вот и хотят нас вначале спрятать в тихой бухточке, а затем прибрать к рукам. Незавидная участь. В таком положении следует забыть все распри, дружно противостоять новой беде, никаких оговоров, хулы на товарищей своих, пусть неприятных нам, а связанных воедино многими опасностями и счастьем избавления от оных. Так-то, юноша. Выкинь все из головы, как сор, и почувствуешь облегчение немалое.

Гардемарин изрядно захмелел после третьей стопки, нагло вато усмехнулся:

— Нет уж, отец, на шею бросаться мы никому не собираемся, как и брать на себя чужую вину. Не послушались, чуть нас не расстреляли, а теперь мы должны снова подставлять за них грудь! Пардон, отец мой духовный! Думаю, и вы, Юрий Степанович, согласны со мной.

Новиков покачал головой:

— Нет, я думаю о другом.

— Интересно. У вас есть иное мнение?

— Не по этому поводу, в связи. Я думаю, какой же из вас сукин сын получится, Стива, если действительно вас не расстреляют!

— Что вы сказали? Как вы смее! Сейчас же извинитесь, или...

— Стреляться задумал? Так я пока не хочу вас убивать. Идите спать! Отец Исидор!

— Что, чадо мое хитроумное?

— Держите чашу, не видите — стол кренится.

— Пошла бортовая волна, — сказал отец Исидор, протягивая стакан.

— Вы не тянитесь, Стива, — сказал Новиков, наливая иеромонаху, — вам отпущена норма. Скоро на вахту, еще свали-

тес с мостика и подорвете свою славу, завоеванную в подавлении организованного вами бунта.

— Действительно,— сказал отец Исидор, глядя через стакан,— пьяный отрок есть явление скверное, говорящее о тяжелом недуге, пожирающем род наш.

Стива встал и, глядя побелевшими глазами на собутыльников, прошипел:

— Как я жалею, что кто-либо из вас не был на месте Мухты! — и швырнул стакан на пол.

— Стакан не разбился,— поморщился отец Исидор,— плохая примета.

— Стива великолепен! — сказал Новиков вслед Бобрину.— Пожалуй, кой в чем он приближается к барону, общение с Гиллером оставило на нем заметный след. Ведь как, подлец, ловко вывернулся из дела Мухты! Теперь никакой суд не осудит. Ну, пейте, отец. За благополучный приход в родные воды.

— Именно пока в воды, дальше не будем заглядывать. Хотя суеверие и порицается церковью, а я не могу совладать с собой, потому имею много примеров... Ну, будем! — Он выпил.— Противна зело жидкость сия. Отрок же наш действительно стал на пагубную тропу, одна надежда — образумится.

— Ну, батя, вряд ли. Он только в начале пути, как говорят последователи Будды...

Выслушав радиста, командир сказал:

— Ну что ж, пора привыкнуть к неожиданностям, может, оно и лучше, что идем на Аскольд: там отличная бухта, возможно, будет время оглядеться и прийти к каким-то окончательным решениям. Курса менять не будем, Николай Павлович. К утру выйдем на траверз Аскольда.

Впередсмотрящие прокричали:

— Справа по борту миноносец «Отрада»! Идет с нашей скоростью.

— Передайте этой «Отраде», этому... как его... сэру Коулу, капитану «Отранто», что растроганы его заботами, благодарим, но в помощи не нуждаемся. Действуйте!

— Есть!

— Постойте,— остановил радиста старший офицер.— Текст, по-моему, слишком изящный для таких типов. Предлагаю сказать просто: «Сэр, у нас в России не любят жандармов. Убийрайтесь к дьяволу!»

Воин Андреевич, крикнув, согласился:

— Пожалуй, так еще «изящней». Посылайте, Герман Иванович.

Когда радист ушел, Никитин сказал командиру:

— У меня есть еще одно предложение.

— Что такое, голубчик? Пожалуйста!

— У нас ценностей на пятнадцать миллионов рублей. Оружия, снарядов, боеприпасов, продовольствия — на целую дивизию.

— На две, голубчик!

— И все это...

— ...отберут, Коля.

— Если мы безропотно войдем в бухту Наездник и поднимем руки.

— Что же вы предлагаете? Опять не подчиниться? Но сейчас у людей не то настроение. Мы дома! Идти в Черное море? Но оно у французов и англичан.

— Постойте, Воин Андреевич. О побеге я не думал. Есть же у нас во Владивостоке русское морское командование!

— С которым вот уже месяц не можем связаться?

— Возможно, радиостанции под контролем «союзников». Все равно, если командование существует, то оно может воздействовать на англичан и защитить свои, наши интересы! Учтите, теперь, когда у них барон, они смогут нас обвинить в чем угодно, вплоть до пиратства, припомнят нам Плимут.

— Предлагаете апеллировать к нашим флотоводцам без флотов?

— И выяснить на месте обстановку. Не знаю, как вы, а я полон сомнений, что груз мы должны передать для подавления революции.

— Хорошо, Коля. Я согласен. Вы, как всегда, правы! Еще есть какие-то микроскопические шансы. Давайте их используем. Конечно, отправитесь вы?..

— Просил бы, и очень.

— Возьмете баркас, а команду — с вельбота. Народ там отличный, один Громов чего стоит.

— И об этом я хотел просить вас. Возможно, остался кое-кто из прежних однокашников.

— Вам карты в руки, я был здесь недолго, месяца два, и то месяц из них на Курилах и Камчатке. Идите готовьтесь, я принимаю вахту.

Впередсмотрящие прокричали:

— «Отрада» ближе подходит!

Когда «Орион» изменил курс, на эсминце переполошились, и Герман Иванович стал получать радиограмму за радиограммой с требованием ни в коем случае не идти во Владивосток.

— А хотелось бы, — сказал Воин Андреевич радисту. — Да у нас другой замысел. Капитан Коул получил приказание конвоировать нас на Аскольд и боится, что мы подведем его. Передайте: «На каком основании?»

Тотчас же радист принес ответ:

«Приказание командования объединенных сил».

«Мы им не подчинены, просим удалиться и не мешать».

Далее произошел обмен такими радиogramмами:

Коул. Вынуждены будем принять решительные меры.

Зорин. Мы также.

Коул. Я потоплю вас!

Зорин. Попробуйте!

Коул. Впереди рифы!

Зорин. Вы спутали залив Петра Великого с Английским каналом.

Коул. Ваше упрямство дорого обойдется,

Зорин. Кому?

Коул. Вам, черт возьми!

Зорин. Мы привыкли платить по счетам, не торгуясь.

Коул. Будьте же благоразумны, сядете на камни — в миле архипелаг Римского-Корсакова.

Баркас был спущен на воду, Воин Андреевич приказал передать только одно слово: «Спасибо», и взял курс на Аскольд.

На этот маневр последовало последнее, довольно язвительное послание Коула:

«Благодарю создателя. Все же ожидал, что вы выдержите характер».

На что получил ответ:

«Мы не обманули ваших ожиданий».

В ПЛЕНЕННОМ ГОРОДЕ

Баркас шел под парусами. Команда расположилась у левого борта. Матросы дремали. Никому из них не пришлось соснуть в эту ночь: сразу после первой вахты стали готовить баркас, затем отправились «из одного плавания, неоконченного, в другое — неизвестное», как сказал Зосима Гусятников на прощание.

У руля сидел Громов. Рядом на банке — старший офицер, по привычке прищурясь, поглядывал вдаль. Неуютные скалистые островки Римского-Корсакова остались позади, открылся остров Русский. Он казался очень большим, кудрявым, посредине его поднималась приземистая конусообразная сопка, похожая на вулкан, на вершине ее застыло серое облачко.

— Смотрите! — сказал Громов. — Неужели «Отранто» за нами охотится?

Показавшийся на западе миноносец прошел близко от баркаса, обдав нефтяным перегаром.

— Ничего, ребята, — сказал Николай Павлович, — все это неприятности временного характера. Россия не Индия, где англичане могут делать все, что хотят. К тому же стремление к завоеванию больших территорий, огромных стран в конце кон-

цов приводило к краху захватчиков.— Николай Павлович стал растолковывать Громову, Зуйкову и Трушину — остальные спали, пригревшись на солнце, — почему еще никому не удалось создать «единое мировое государство». Громов слушал особенно внимательно, и когда Николай Павлович замолчал, то заметил:

— Все это оттого, что у народов не было одной цели. Существовали и существуют классовые и национальные интересы, существует собственность на землю и средства производства.

— Да ты настоящий марксист!

— Далеко еще мне! Так, кое-что уяснил в кружке и сам почитывал, как будто уловил основы, а самую науку, тонкости — образования не хватает. Пошел бы сейчас учиться, засел за парту, за книги и читал, учил бы день и ночь, да вот...

— Нет, вы, Громов, — он невольно назвал его на «вы», — вы вполне развитый человек, а в области социологии — даже очень. Хотя в остальном надо учиться, чтобы не получалось односторонности в развитии.

Никитин задумался над тем, что за несколько лет совместной службы он так мало знает людей. Его интересовали только их деловые качества, нужные на клипере: знание своего дела, исполнительность, храбрость, высокая дисциплинированность. Все остальное — их внутренний мир, стремления, запросы — ему почти неизвестно. Только иногда с удивлением он узнавал, что у матросов есть суждения совсем иные, нежели у него, и, в чем приходилось сознаться, более верные. Сейчас, сидя с Громовым, он вдруг понял, какое огромное влияние оказали на него подчиненные ему матросы. Исподволь, по крупицам они заносили в его сознание сомнения, помогали находить ответы на многие мучительные вопросы. И сейчас он уже не тот самонадеянный, уверенный в себе мичман, затем лейтенант, вынесший из стен морского корпуса «много знаний, потускневших от времени идей и мало жизненного опыта»...

Баркас, подгоняемый в корму засвежившим ветром, подходил к южной оконечности острова Русского. Из бухты Новик, которая глубоко вдавалась между гористыми берегами острова, выходил японский транспорт.

Матросы проснулись и, заспанные, разглядывали японский пароход, остров, рыбацьи суда при входе в бухту.

«Какая скрытая жизнь шла на «Орионе» эти годы, — опять с удивлением подумал старший офицер, — если там отразились все идейные движения, происходящие в России: появились анархисты, черносотенцы, есть, говорят, и эсеры (тоже, кажется, среди машинной команды) и вот — большевики...»

— Лево на борт! — приказал старший офицер.

— Есть лево на борт!

— Вот, матросы, перед нами и Золотой Рог! Налево — город, причалы, направо — мыс Чуркина. Там мы и причалим. Против центра города.

Матросы с удивлением рассматривали рейд со множеством военных и торговых судов, белый город, сбегаящий с крутых сопок к шумному порту. Доносился грохот лебедек, гудки буксиров. От берега к берегу, перевозя пассажиров, сновали крохотные «юли-юли» с одним гребцом на корме, ворочающим длинным веслом.

— И наши есть, смотри, ребята! — сказал Трушин.

Три миноносца под русским флагом стояли недалеко от входа в бухту.

— «Грозный», — прочитал Зуйков. — Вот тебе и «Грозный»! Самого почти из бухты вытолкнули, а тоже — «Грозный»...

Посреди бухты грузно осели в воду линейные корабли, крейсера, миноносцы. На них свежий ветерок трепал многозвездный флаг Соединенных Штатов Америки, японский — белый с красным пятном посередине, английский «джек», французский, итальянский и даже греческий. Вся эта армада застыла, какстая хищников, готовая по сигналу вожака броситься на город, который беззаботно млеет под еще жарким солнцем, празднично сверкая окнами и стенами домов.

Капитан-лейтенант приказал убрать паруса и рубить мачту. Матросы гребли слаженно, с тем шиком и легкостью, которые даются годами тренировок во всякую погоду, а тут еще не хотелось ударить в грязь лицом перед многочисленными зрителями — моряками, глазающими со своих и иноземных кораблей.

Пройдя по рейду, Никитин велел повернуть к мысу Чуркина, где находились склады леса, стояли на приколе несколько барж и старых буксиров. Тут у одной из барж и было выбрано место для стоянки. На барже стоял высокий, плечистый старик с белой бородой, в старом полушубке и валенках.

— Давай заводи по ту сторону, — сказал он деловито, — здесь волной будет бить о мое корыто. Видишь, сколько посулин шастает, волну разводят, а там тихо.

— Мы у тебя, дедушка, здесь постоим немного, — сказал Никитин.

— Да господа, стойте, сколь хотите! Мне веселей. Баржа тонуть станет — вынете меня. Мне, ребята, тонуть еще рано, — говорил он, принимая конец и забрасывая на кнехт. — Мне ведь всего девяносто восемь лет. — Посмотрел хитровато на матросов сверху вниз: — Двух до ста не хватает. Вот доживу век, а тогда помру. Люблю ровный счет. Вижу, вы издалека прибыли, своих я всех здесь знаю. Вы что-то черноваты, у другого солнца грелись, да и успел я прочитать название на баркасе. Такого

судна здесь еще не бывало. Чай будете пить? Не бойтесь, вода у меня есть: племянник как мимо идет на водолею, так накачает полную бочку, я когда и приторговываю водичкой, ее на Чуркине почти нет — камень.

Он вскипятил огромный закопченный чайник в крохотном камбузе, высыпал осьмушку чаю.

— Ну, господа матросы, садитесь и пейте, харч у вас видный, заграничный, — сказал он не без ехидства.

— Пожалуйста, с нами, — пригласил Никитин.

— Чайку выпью, а есть это заграничное в банках не буду. Старой веры я. Чай бусурманский мне тоже не положено пить, да по старости оно ничего, обойдется, один лишний грех много не тянет.

Наскоро перекусив, старший офицер отвел Громова в сторону:

— Я сейчас отправлюсь в город, со мной поедут Трушин и Зуйков. Ждите нас здесь. Поговорите со стариком. Тут на берегу я видел матросов и солдат, поговорите и с ними. В общем, выясните обстановку здесь, а мы — на той стороне.

— А если спросят, откуда пришли и где корабль?

— Не стоит скрывать, мне все равно придется идти к начальству, но своего мнения обо всем происходящем не высказывайте. Завтра мы должны уйти на Аскольд.

— Да, там ждут. Не беспокойтесь, Николай Павлович, я все понимаю, да и ребята тоже. Езжайте спокойно.

Перевозчик на своей «юли-юли» доставил моряков в торговый порт, забитый артиллерией, походными кухнями, горами снаряжения у причалов, уже не вмещавшегося в огромных пакгаузах из оцинкованных листов волнистого железа. С транспорта «Сибири мару» по широким сходням спускался поток солдат в светло-желтой форме. Они шли молча, подгоняемые резкими криками унтеров. Закончил разгрузку «американец» «Колорадо», его оттаскивал буксир от причала. Другой буксир уже подтягивал с рейда «англичанина».

Пршел патруль американских солдат. Американские и английские солдаты стояли у складов, охраняли штабеля грузов и артиллерию. До выхода из порта нашим морякам пришлось пробираться среди иностранцев. На привокзальной площади, как перед парадом, тесно друг к другу стояли японские батальоны.

Только на Светланской, главной улице города, меньше встречалось иностранных солдат. Тротуарами завладела праздничная, по-летнему одетая толпа, мелькали офицерские мундиры различных армий.

Особняк, в котором прежде находился штаб Тихоокеанского флота, занимали англичане. Английский офицер, к которому обратился Никитин, пожал плечами и спросил:

— Разве у вас есть флот?..

У магазина «Кунста и Альбертса» навстречу шел морской офицер и двое матросов с винтовками. Еще издали на лице лейтенанта отразилось изумление, сменившееся широкой улыбкой. Капитан-лейтенант Никитин узнал своего однокашника Леньу Бакшеева.

Лейтенант был очень рад этой неожиданной встрече.

— Черт возьми, ты?! Нет, не может быть. Колька! Я глазам не верю! Так ты пришел на «Орионе»? Откуда?! Какими судьбами?

— И я рад, Ленья, очень рад... но...

— Ах да! Ты прав, мы устроили запруду из всей этой швали, я не имею в виду прелестных дам. Смотри, какая блондинка!

Зайдя за угол, он сказал своим матросам:

— Вот что, ребята. Видите, кого я встретил! Ну так вот: знакомьтесь и идите куда-нибудь в тихий уголок на два часа. Затем прибыть к ресторану «Версаль» и ждать у входа. И чтоб ни-ни, ни в одном глазу!..

Матросы дружно и весело гаркнули:

— Есть, ваше благородие!

— Кру-угом! Вот так! Эть, два! Курс на Семеновский базар. Н-но помнить!..

— И-иест! — ответили теперь уже все четверо разом.

Оба зала ресторана — и нижний, и верхний, — несмотря на ранний час, гудели от разноязычного говора. В дверях моряки остановились. Все столики были заняты, во втором зале, видном снизу через огромную выемку в потолке, огороженную перилами, двое американских офицеров удерживали третьего, пьяного в лоск.

— Обычная сцена, — сказал Бакшеев. — Наверное, опять рвется прыгнуть вниз на пари. Несколько типов уже поломали кто руки, кто ноги, а один убился насмерть. Имей в виду, что надо прыгнуть на занятый столик. Вот в чем весь шик. Ну, идем, Варфоломеич знаки подает.

Седой официант провел их в угол за пальму.

— Берегу столик для своих, — сказал он, устало улыбаясь. — Обедать будете или только закусить?

— И обедать и закусить. Спасибо, Иван Варфоломеевич. Старого друга встретил.

— Вижу, что не тутошний. Угостим. У нас все есть, для своих, конечно. Не беспокойтесь, Леонид Васильич, и накормим и напоим.

— Насчет питья как ты, Коля? А мне, сам знаешь, — вахта. Если рюмку, две?

— И мне не больше. Дела у меня очень серьезные.

— Вот и распрекрасно! — сказал официант, будто обрадо-

вавшись, что среди всех этих пьяниц нашлись два скромных человека, и свои — русские.

— Ну, Коля, рассказывай! Так ты с того самого «Ориона», что вогнал в тоску нашего последнего адмирала? Ты, конечно, слышал о нашем Свекоре! Нет?! Такая колоритная фигура! Он служит посредником между остатками эскадры и различными миссиями. Спиридон Фомич вначале обрадовался, когда узнал, что к нему в эскадру вливается свежая единица, а затем, особенно после приезда одного немца, который, говорят, плывал с вами, а потом сбежал где-то в Голландской Индии, увидав, что корабль захватывают «красные», расстроился. Ну, что улыбаешься? Я забегаю вперед, не выслушав тебя, извини, но тебе, я знаю, очень важно, что о вас думают здесь. Ну, рассказывай... Спасибо, Варфоломеевич! За встречу... И рассказывай!

Бакшеев много раз прерывал восторженными или гневными восклицаниями рассказ своего друга, а когда тот закончил, то сказал, пожимая ему руку:

— Какое плавание, какие вы орлы! А командир ваш прелесть! Так ему, Мамочке, и передай. Так обвести англичан! Хорошо, что вы не пошли с ними в Архангельск. Там сейчас, по скудным сведениям, творятся ужасные вещи. Да и у нас, видишь, что происходит, но мы здесь, хотя сохраняем видимость самостоятельности. А вообще — дело дрянь. Край оккупирован, заняты все города. Деревня бурлит. Поставляет массами «повстанцев». Красные отряды довольно сильно тревожат «союзников». Все признаки гражданской войны. Но как же с вами? Вот что, Коля, все-таки ты сходи к адмиралу, он может разрядить обстановку, прекратить дело, начатое при посредстве барона Гиллера. Хозяева всей этой своры, — он повел глазами по залу, — не заинтересованы в скандале с русскими военными моряками. У них в парламентах выступает довольно сильная оппозиция, к тому же они еще считаются с печатью, общественным мнением. Интервенцию они подают как «помощь братьям по оружию, союзникам, пострадавшему народу России». Поэтому могут уступить просьбе нашего Свекора — так мы его зовем для краткости, полное же его наименование Лебединский-Свекор. В «Союзном штабе» с ним считаются. Так называемый «Союзный штаб» — теперь главный орган всей власти на Востоке. В него входят представители всех стран, «бескорыстно» предоставивших свои силы и средства для помощи «исстрадавшейся России»... В штабе Свекор сидит по старой привычке до четырех, хотя делать абсолютно нечего, ждет вызова, телефонных звонков. Флот весьма невыгодно выглядит в глазах союзников. То ли дело пехота! Она сейчас прямо на вес золота. Надо сказать, матросы создают им немало трудностей. Вот сегодня объявлено о розыске одного из матросов, большевистского агитатора, который был схвачен, бежал из-под стра-

жи, находился где-то в Сибири и сейчас здесь. Контрразведка с ног сбилась, разыскивая беднягу. Некто Ведеркин Илья.

— Найдут?

— Мы — ни в коем случае. Вот видишь, как зарекомендовал себя флот. Поэтому Свекор и корчится, как береста на огне. На его счастье, у красных нет еще флота. Вот разве вы сделаете почин. Шучу, конечно... Пожалуй, пора.— Посмотрел на часы: — Матросы ждут уже десять минут. Как я рад, что встретил тебя — человека совсем из другого мира. Не маши рукой. Поживешь с нами, увидишь, как опустошены и растеряны люди. Оставь свои фунты стерлингов. Плачу я! Ты мой гость! Варфоломеевич, пожалуйста! Сдачи не надо.

— Нет уж, увольте, Леонид Васильевич, со своих, да еще моряков, чаевые не беру. Знаете, сын на Балтике — моряк. И я через него тоже причастен к морякам. Всего вам наилучшего!

— И вам тоже.

Они пожали руку вконец растроганному Варфоломеевичу.

У подъезда «Версаля» Никитина и Бакшеева ожидали четверо матросов. Лейтенант окинул их наметанным взглядом:

— Молодцы, ребята! Где были?

— Да нигде, на сопке просидели, — ответил один из патрульных. — Они такое рассказывали, что мы про все забыли...

Бакшеев привел капитан-лейтенанта к тому же дому, где расположилась французская военная миссия.

— Позволь, но мы уже здесь были!

— Догадываюсь. Ты не учел обстановку. Теперь французы в главном здании, а мы во флигельке, но и здесь наш адмирал устроился недурно: прямо в комнатах, где хранятся все личные дела офицеров и списки состава экипажей кораблей. Он, так сказать, в своей любимой сфере. Обрати внимание на письменный прибор: отлит по его чертежам в портowych мастерских в одном экземпляре, чудо, а не приборчик! Сейчас устрою тебе свидание!

Едва Никитин переступил порог, как ему невольно бросилась в глаза чугунная эскадра, занимавшая весь фасад на массивном и очень большом письменном столе. Лебединский-Свекор пристально разглядывал старшего офицера «Ориона» из-за носовых башен броненосца, служивших чернильницами. Он был лыс, лицо одутловатое, нездорового цвета. Глаза голубые, усталые, близоруко щурились. Адмиральский китель, казалось, он надел по рассеянности вместо вицмундира статского советника.

Капитан-лейтенант доложил о прибытии «Ориона» на Аскольд, о состоянии экипажа клипера, груза и сказал, что должен рассеять ошибочное мнение, сложившееся о корабле и его командире, что по этому поводу главным образом и решил-ся беспокоить его превосходительство.

— Мне уже все известно, капитан-лейтенант. Дело, могу сказать, прискорбное.

— Сведения, которые вы получили, исходят от спасенного нами военнопленного, бывшего капитана немецкой подводной лодки Гиллера.

— Барона фон Гиллера,— поправил адмирал холодным тоном,— прошу не выказывать пренебрежения в моем присутствии к титулованным особам, независимо от их национальности, тем более что барон в настоящее время на службе в войсках нашего союзника — Великобритании. Оставим это! Создается специальная комиссия, которая нелицеприятно разберется в вашем деле и накажет виновных.

— Ваше превосходительство, выслушайте хотя бы в общих чертах суть нашего так называемого дела. Мы, рискуя жизнью, сохранили корабль и груз, стоящий пятнадцать миллионов рублей, и пришли на родину. Корабль притом в хорошем состоянии.

— Позвольте об этом судить нам.— Вице-адмирал вздохнул, пошарив по столу, нашел очки, надел их и улыбнулся так, как будто обрадовался, что наконец увидел желанного гостя: — Прошу садиться. Много слышал о вас в последнее время. Например, вчера мне сообщили, что ваш капитан снова не подчиняется приказу, намеренно изменил курс и некорректно ведет себя в отношении капитана миноносца, посланного с целью облегчить ему плавание в незнакомых водах.

— Разрешите, ваше превосходительство...

— Не разрешаю! У вас еще будет время и место, где вы сможете оправдываться. Здесь вы должны понять тяжесть своих, мягко говоря, проступков. Я перечислю некоторые из них: приказ в Плимуте вы нарушили — р-раз!.. В водах Голландской Индии учинили сражение с рыбаками — два! Черт с ними, с этими малайцами, но скандал! Дипломатические запросы, вас обвиняют в пиратстве, батенька мой! И как вы оправдаете вообще свое бегство, дезертирство из рядов сражающегося флота к большевикам! Неся такой груз вины, следует быть тише воды, ниже травы, а вам удалось вызвать новый скандал с союзниками: облаяли капитана английского миноносца!

— Мы не обязаны терпеть наглость и подчиняться невесть кому!

— Вот-вот.— Он вздохнул.— Разучились подчиняться. В этом корень зла. Наша трагедия. Все разучились, не хотят подчиняться! Свергли монарха! Самим богом установленный порядок! Вы, я вижу, дельный офицер: доставить сюда парусник из Плимута — шутка! Но и в вас сидит тлетворное зерно анархии. Конечно, вы лицо подчиненное, за все ответит командир. Все же вы, хотя бы здесь, у меня, должны были дать здра-

вую оценку всему происходящему на судне. Я понимаю, вы возбуждены кажущейся несправедливостью, но только кажущейся! В конце концов вы поймете свои заблуждения. И не думайте, что вы были забыты во время плавания. Ваше рвение в период службы в составе Королевского флота отмечено приказами самого Первого Лорда адмиралтейства Уинстона Черчилля! Мы также не забывали вас и продвигали в звании, согласно заслугам. Вот, прошу взять выписку из приказа, полученного первого января 1917 года о присвоении очередного звания мичмана гардемарину Бобрину Степану Сергеевичу. Вот так, капитан-лейтенант! — Он пристально посмотрел на Никитина. — Второй приказ о присвоении званий и вам и многим другим, возможно, этого заслуживающим, приостановлены в движении по причинам, изложенным выше. Бобрин единственный, к сожалению, офицер, на кого не падает тень злых или вынужденных нарушений или даже преступлений. Так, гардемарину Бобрину присваивается и звание лейтенанта. Достойный молодой офицер! Может пойти далеко. Передайте ему мои личные поздравления. Надеюсь вскорости увидеть его. Вы как будто не разделяете моего мнения?

— Разделяю относительно присвоения ему очередных званий, так долго задержанных...

— Так-так... Но не разделяете моих лестных оценок его прочих качеств.

— Так точно, господин адмирал.

— Похвальная прямота, но неуместная в данном случае! Вы, как старший по чину и званию, должны были воздействовать на его отрицательные свойства, хотя в оценке данных свойств у нас с вами существенные расхождения. Как вы можете заметить, мы весьма осведомлены о вашем плавании и поведении людей. Почему вы до сих пор не доложили о разложении матросов?

— Мне неизвестно о таковом.

— Зато нам известно, капитан-лейтенант, и потому ваше дело, так как оно приняло формы вредного, недопустимого характера, подлежит уже компетенции «Союзного штаба» и нашего правительства. — Вице-адмирал поверх очков пристально посмотрел на Никитина и продолжал соболезнующим тоном: — С момента вашего появления у меня в кабинете я ждал, что вы, милостивый государь, доложите о главном, самом прискорбном явлении на вашем паруснике. Вы не догадываетесь, о чем идет речь?

— К сожалению, нет!

— Именно — к сожалению! Сожаления достойно, что старший офицер, докладывая о возвращении из плавания, забыл упомянуть о разложении команды и наличии среди нее большевиков!

— Повторяю: мне неизвестно о таких.

— Нам известно! О чем с прискорбием извещаю вас! — Все это время адмирал как бы сочувственно улыбался, скорбел, понуждая своего подчиненного к покаянию, но вот он снял очки, и лицо его стало отчужденно-холодным, надменным.

— Разрешите идти, господин вице-адмирал?

— Да, я сейчас отпущу вас, капитан-лейтенант, прошу лишь принять некоторые советы. Так вот! Немедленно отправляйтесь на корабль. Дальнейшее ваше пребывание в городе буду расценивать как новое ослушание и отдам приказ о вашем аресте. Передайте своему командиру, капитану второго ранга Зорину Воину Андреевичу, что адмирал рекомендует ему извиниться перед капитаном английского миноносца «Отранто» сэром Коулом. Из бухты Наездник не выходить без особого разрешения! Команду на берег не увольнять! Я уже отдал это распоряжение по беспроволочному телеграфу. Вас же, как еще исполняющего обязанности старшего офицера, ставлю в известность. Все!

Лебединский-Свекор снова надел очки и приветливо улыбнулся...

— Ну что? Полный пожар? — встретил Никитина лейтенант Бакшеев у крыльца адмиральского флигеля.

— Хуже! Пожар во время наводнения...

— Тогда сносно. Головешки можно затушить. Пошли в скверик. Главное, что ты еще можешь шутить... Вот сюда. Наши матросы тоже здесь, за теми кустиками, совсем подружались ребята. Боюсь, твои матросы вконец поколеблют и так сильно пошатнувшийся дух моих молодцов. Садись и рассказывай.

Выслушав Никитина, лейтенант Бакшеев сказал:

— Дело серьезное. Не знаю, что и посоветовать тебе. Наш бюрократ — в своем репертуаре. У меня с ним весьма натянутые отношения, по его милости я все еще, как видишь, хожу в лейтенантах, считает, что я непочтителен к вышестоящим и слишком либерален с подчиненными. Что, если обратиться к самому адмиралу?.. Да тоже не имеет смысла: старик напуган и также считает, что все беды — от падения дисциплины. Извини, я задерживаю тебя. Медлить нельзя. К вечеру выходи. Подготовь Воина Андреевича ко всяким неожиданностям. Лучше бы вам до поры до времени задержаться по пути во Владивосток.

— Думали, да матросы рвались домой, и мы сами считали, что не имеем права стоять в стороне от событий, решающих судьбу страны.

— И это правильно. Наверное, и я бы поступил так же. Идем, Коля, я провожу тебя. На адмиральской пристани есть

дежурная шлюпка, она в моем распоряжении и доставит тебя на Чуркин мыс.

На улице адмирала Невельского, круто сбегавшей к бухте Золотой Рог, они увидели русского матроса, стоявшего возле дощатого забора, и японских солдат. Унтер-офицер стоял посреди булыжной мостовой и хохотал, опершись о винтовку, два солдата, скаля зубы и тараща глаза, бросались на матроса, делая вид, что сейчас пригвоздят его штыками к забору. У матроса не было бескозырки, по щеке стекала струйка крови.

Бакшеев сказал, не оборачиваясь:

— Ребята, примкнуть штыки!

Трушин, весь подобравшись, побледнел и шагнул было к японскому унтер-офицеру, да капитан-лейтенант остановил его.

— Отставить!

— Эх, Николай Павлыч!..

— Спокойно...

— Да мы их, как цыплят... — сказал Зуйков. — Что с парнем делают!

Унтер-офицер первым заметил русских и резко крикнул что-то солдатам и стал говорить, скаля зубы и кивая на матроса. Солдаты взяли винтовки к ноге и также улыбались.

— Иди сюда, братец, — сказал Бакшеев матросу. — За что они тебя?

— Ни за что. Шел в Голубинку, остановили, сорвали бескозырку, забросили вон за ограду, и вот сами видели — стали издеваться.

— Откуда?

— С «Грозного».

— Почему один? Не знаешь приказа — ходить не менее трех человек?

— Знаю, мы и шли впятером, да я поотстал, корешей встретил из экипажа, и вот...

— Возьми бескозырку и иди, да побыстрей!

— Да они опять... Эх, дайте мне винтовку, я им...

— Не время еще. Иди!

Матрос сходил за фуражкой, сбил с нее пыль рукой, надел. Козырнул:

— Спасибо, ваше благородие. Кабы не вы, закололи бы, гады. Спасибо, ребята! — Он быстро пошел в гору.

Японцы было пошли за ним, но Бакшеев прикрикнул на них, а патрульные вскинули винтовки, преграждая им дорогу. Постояв немного, унтер-офицер буркнул команду, все трое повернулись и затрусили к Светланской.

— Вполне обычная картина, — сказал Бакшеев потрясенному Никитину. — Весной японцы закололи штыками кочегара с того же «Грозного». Данный эпизод нужно расценивать как «дружескую шутку» со стороны союзников. Не больше. — Не-

много помолчав, Бакшеев добавил: — Наши тоже не остаются в долгу. Ночью они по одному не ходят, да и днем, как видишь.

На пристани, прощаясь, Бакшеев подал Никитину листок из записной книжки:

— Мой адрес здесь, в городе. Имей в виду: можешь приходить в любое время суток, скажу хозяевам — примут. Всякое может случиться.

Они обнялись.

Трушин и Зуйков крепко пожали руки своим новым приятелям.

Команда дежурного вельбота, видимо, с уважением относилась к лейтенанту Бакшееву.

— Есть доставить на мыс Чуркин! — повторил приказание младший боцман — старшина шлюпки.

Матросы гребли не за страх, а за совесть, явно выказывая свое расположение знакомому лейтенанту Бакшееву. Да и незнакомый капитан-лейтенант им тоже понравился с первого взгляда, хотя бы потому, что со всеми запросто поздоровался. Внушало уважение и его спокойное, волевое лицо: «Такой и службу просит, и не выдаст».

— Не спешите, боцман! — сказал Никитин. — Минута-другая для нас не решает дела...

— Не беспокойтесь, ваше благородие, нам, вы знаете, не привыкать, да мало мы своих последнее время катаем. Как дежурство на адмиральской, так почему-то приказывают всякую пьянь по их коробкам развозить. Правда, не в вахту лейтенанта Бакшеева, тот не позволяет, а есть, сами знаете, какос наше начальство, угодить стараются. Вы, говорят, из дальней пришли?

— Кто говорит? Мы будто ни с кем и не говорили об этом? — улыбнулся Никитин.

— Ну как же! Только в бухту вошли, уже стало нам известно. Наши суда наперечет, а тут незнакомый баркас и название корабля редкостное. Да и ребята из штаба тоже говорили, будто вас англичане прижимают, чем-то вы им насолили.

— Скорее они нам.

— Ну, уж это мы видим, и соли и перцу подсыпали, не приведи господи.

— Вам тут, вижу, тоже не сладко живется?

— Что говорить! Так нас прижали, так взяли в оборот и в таком мы положении, будто не они у нас в гостях, а мы к ним в гости пожаловали. И встречают нас тем, чем ворота подпирают, а то и похуже.

— Да, печально, — сказал Никитин. — Все очень печально.

Младший боцман вопросительно, с надеждой посмотрел на него:

— Конец скоро будет?

— Не знаю, брат. Хотелось, чтобы скорее. От нас самих зависит. Если будем всё сносить, то они никогда отсюда не уйдут.

— Так, выходит, надо гнать?..

— Да, боцман!

— Трудно. Кабы флоту побольше да... — Он хотел сказать: «Да еще бы таких, как вы, командиров», но, подумав, что этот офицер может не так его понять: дескать, льстит, подлизывается,— подал команду гребцам. Шлюпка развернулась, и гребцы, уложив весла, протянули руки, не давая шлюпке удариться о баржу.

— Ты, капитан, не пори горячку, — сказал старик сторож на барже. — Дай ребятам поесть, отдохнуть малость, и потом пойдешь на Аскольд, будь он неладен совсем! Я годов двадцать назад на нем золото добывал, еще молодой был... Что смеешься, в семьдесят лет я женился пятый раз, мерли у меня все бабы, эта вот пятая — тянет еще, меня переживет... так вот, и говорю я тебе: не торопись. Сейчас выйдешь к вечеру из Босфора и заштилюешь у мыса Басаргина. Погода сейчас видишь какая, будто вареная. Тишь. Так после заката бризовый ветер потянет, да с моря. Ведь знаешь не хуже меня, на паруснике, говорят, старшим ходишь? Ну, и будет он тянуть, этот морской ветерок, часов до одиннадцати, а потом уж на него нажмет береговой, вот тогда ставь паруса и лети на Аскольд.

— Хорошо, дедушка, ты прав.

— Еще бы не прав, ведь я кем только не был за свою жизнь! Шестьдесят лет назад сюда пешком пришли из Тамбовской губернии, три года добирались. Железной дороги еще не было. Вот и шли. Жуткое дело!..

Подошел Громов и попросил разрешения сойти на берег вместе с Трушиным.

— Идите, но не задерживайтесь и далеко от берега не ходите.

— Здесь иностранцев нет.

— Все равно опасно. В случае чего дайте знать выстрелом.

— Есть! Должны ребята подойти с «Быстрого». Были после вашего ухода.

— Идите!

Старик сказал:

— Матросы у тебя хорошие. Тверезые матросы и тебя уважают. Я тут посмотрелся на всякие художества. Твои и себя понимают, и насчет дисциплины. Другие бы уже после такого плаванья насосались водки. Твои — нет, даже вот меня угостили, а сами только по чарке, и баста, а водка, видать, еще осталась. Мне она очень полезительная, при окружающей сырости, да сейчас, сами знаете, деньги только в золоте ходят, да еще всякие заграничные.

Николай Павлович велел Зуйкову угостить старика, и тот, выпив, присел на пустой ящик возле рубки. Никитин стоял, глядя на город, там утихал дневной шум. Солнце опустилось за сопки, позолотило их вершины. Где-то на террасе ресторана или на бульваре оркестр заиграл грустный вальс, звуки то почти совсем стихали, то усиливались. Внезапно на той стороне завывли гудки, поглотив все звуки, и скоро умолкли.

— Работу на сегодня закончили, — сказал старик. — Я и там работал, на заводе. Где я только не работал, чем не занимался! Даже золото мыл, и вот видишь, каким богатым стал. И лес валил, и рыбу ловил, и дома строил. Ведь когда мы пришли сюда, здесь голое место было, все сопки лесом поросли, олени водились. Они и сейчас на Русском острове и на Аскольде есть да и в окрестности города забредают, а тогда везде водились. Да что олени или медведи! Тигры по ту сторону бухты жили да и здесь, на Чуркином мысу, водились. Помню, я тогда при военной части печником работал. Переполох поднялся: часового тигр унес, да хорошо, парень голову не потерял от страха. Она его, тигра, взяла за воротник шинели и волочит в тайгу, а тогда кругом тайга, солдат и стал ремень расстегивать, а потом и пуговицы у шинели да и выпал из нее. Ну, а тигр так и убежал с шинелью, а солдата оставил. Может, сытый был, а может, баловник, ему лишь бы нашкодить. И зверь всякий бывает: его не тронь, и он не тронет, тот же тигр или медведь. Ведь он почему на того солдата напал? Потому что мы его земли, уголья захватили, а он, значит, предупреждение сделал: дескать, выметайтесь отсюда. Да где там! Убили того тигра солдаты, а шкуру взял себе полковник. Так-то оно, капитан хороший. К чему все это я? А к тому, что тогда мы как стали на эту землю, так и ни зверю, никому ее не уступали, и город-то как назвали — Владивосток: владей востоком, значит. А теперь што? Кто им владеет? И нами кто владеет? Вишь, выстроились! Даже греки приехали и муллов своих привезли. Да неужто мы так обессилели? Или все от раздору нашего, от распри? Наверное, от этого. Потому народ против иностранцев, а ваш брат за них, возле укрывается, защиту ищет. И от кого? От своего народа...

— Извини, дедушка, я должен распорядиться...

— Распоряжайся.

Когда Никитин спустился в баркас, старик сказал Зуйкову:

— Томится ваш офицер. Все мы томимся. На што я, мне бы сидеть да смотреть последние два года, а глаза не глядят. Охота, чтобы очистилось все от погани, чтобы надежда у людей появилась на лучшее.

— Мы их наладим, дед! — сказал Зуйков. — Так и пометим. Вот увидишь.

— Большая метла нужна. Надо ее по прутуку собирать да

туже связывать. Позавчера, когда племянник воду привозил, то сказывал, что на Сучане шахтеры все в тайгу ушли, в партизаны. Так бы весь народ поднялся, и куда бы те японцы и англичане делись!

— Поднимутся, и из России тоже придут на помощь!

— Когда? На словах все хорошо, как в сказке. По тому, как все складывается, дело годами пахнет, а мой срок маленький. Неужели так и помру и ничего не увижу?

— Увидишь, дед, поверь мне, увидишь!

Старик покосился на Никитина, который уже снова стоял на барже и отдавал какие-то распоряжения матросу Селезневу.

— Есть, гражданин капитан-лейтенант! — весело ответил Селезнев.

Старик повторил:

— «Гражданин»! Ишь ты, уже не «ваше благородие», а «гражданин». У нас еще здесь «благородят». — Он спросил еще, понизив голос: — Ты скажи мне, а вы не того... не из тех, не из красных, случаем?

— У красных все товарищи — и командиры, и матросы.

— Так, так, слыхал. Значить, не красные? — В голосе старика слышалось явное разочарование.

Вернулись с берега Громов с Трушиным и с ними человек без фуражки, в солдатской шинели, накинутой на плечи; он прихрамывал.

Перейдя на баржу по утлым сходням, он скинул шинель и оказался в матросской форме.

Громов докладывал старшему офицеру, поводя головой в сторону «гостя»:

— ...Матрос из экипажа. Его ищет контрразведка. Если найдет — расстреляет. Расстрелы здесь каждую ночь.

— Большевик?

— Наш...

— Фамилия?

— Он сейчас под другой фамилией. Скрывается. За парня могу ручаться.

— Не Ведеркин?

— Возможно, и он.

— Дело серьезное, Громов. Сам понимаешь.

— Сейчас все серьезное. Погибнет человек, а вины за ним, как и за нами, никакой.

— Подбивал матросов к бунту?

— Правду говорил!

— Правда, Громов, — самая неприятная и опасная вещь.

— Разрешите ему побыть здесь хотя бы до нашего отъезда.

— А потом?

— Оставим ему продуктов, отсидится у старика в трюме.

— Его найдут. Тем более, он приметный — хромает. Ра-
нили, когда из-под ареста бежал.

— Вот видишь. Нет, оставлять его здесь нельзя. Возьмем
с собой!

— Есть!

— Сейчас уходим!

— Есть!..

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ ГАРРИ СМИТА

Попав на «Отранто», Гарри Смит «заскучал», как сказали бы его приятели с «Ориона», увидев тусклую физиономию своего Гриньки, всегда такого жизнерадостного, любящего шутку и острое словцо. Сейчас он ходил по миноносцу как потерянный. Лединг Симен — старший матрос, когда-то не последний человек на «Грейтхаунде» и «Орионе», теперь он выполняет обязанности юнги на камбузе и чистит галюны. И это бы еще ничего, хотя и несправедливо, служба не вечна, да общительная душа Гарри изнывала в тоске от одиночества.

Спрыгнув в шлюпку «Отранто», он сразу почувствовал вокруг себя непривычную пустоту. Только несколько сочувственных взглядов заметил он, а остальные матросы, и особенно боцман, выказывали только любопытство с явной примесью недоброжелательства. Его встретили, как встречают футболисты своего бывшего члена команды, который сейчас играет за другой клуб.

Может быть, если бы Гарри Смит повел себя иначе с первых минут встречи с соотечественниками, картина была бы иной. Прошел бы какой-то период карантина, в течение которого он бы показал себя с самой «лучшей» стороны, то есть выказывал бы всеми доступными способами, как он рад, что возвратился на «свой» корабль, «траванул» бы что-нибудь о варварских порядках у русских, которые только чудом держатся на воде, приврал о своей тяжелой жизни среди «варваров».

Все были изумлены, наблюдая расставание Смита с русскими: его провожали с грубоватой нежностью и искренним огорчением. Полный мешок сувениров говорил об этом, вызывая недоумение и плохо скрываемую зависть.

— Видите, как эти славяне стараются замазать глаза нашим парням! Азиатские штучки! И как этот олух не может понять, что он роняет достоинство! — сказал боцман. — Я не говорю уж о лейтенанте, тот тоже подает неблагоприятный пример.

Испытания Гарри Смита начались сразу, как только он сел

на банку шлюпки «Отранто», и боцман, подав команду отваливать, тут же задал вопрос, все время вертевшийся на языке:

— Вижу, что тебе очень понравилось у русских?

— Всю жизнь буду помнить. Хорошие они парни!

Боцмана покорило. По приказанию старшего офицера он только сегодня провел беседу с младшим командным составом, а те в свою очередь с матросами и машинной командой о России и ее народе. Команде внушалось, что она идет в дикую страну, где часть отсталого населения взбунтовалась и теперь грозит превратить свое отечество в пустыню. Что эти люди выступают против веры и всех человеческих законов. А тут этот матрос все опровергает! Нет, боцман не мог этого оставить. Он, ехидно улыбаясь, задал явно провокационный вопрос и подмигнул гребцам:

— Неужели лучше наших парней?

— Не скажу, что все лучше, есть среди них разные. А есть и такие, с кем нашим придется потягаться. Товарищи хорошие.

— Слыхали, ребята? — сказал боцман. — Ну, допустим, тебе там кто-то понравился, и как это еще понимать, кто хорош, кто плох, но хороший парень у нас прежде всего — моряк! А тебе должно быть известно, что не было и не будет лучше моряков, чем британцы! Никто не может сравниться с нашим самым последним матросом! Запомни это, Смит!

Гарри не мог смолчать и сказал, зная, на что идет:

— Вы так говорите потому, что не видели этих парней в работе.

— Да, отличные моряки! — поддержал лейтенант Фелимор. И ободренный Гарри продолжал:

— Боюсь, что даже вы, сэр, кое в чем спасовали бы перед ними!

— Я?!

— Вы, сэр... Хотел бы я посмотреть на вас, когда подает команда: «Марсовые на марс!», «Убрать бом-брам-сели!» А корабль кладет с борта на борт, ноки задевают гребешки волн, а вы на них качаетесь, уцепившись всеми четырьмя!

Фелимор не мог сдерживать улыбку, представив, как боцман ведет себя на мачте. Дело в том, что в лице и фигуре боцмана было что-то обезьянье.

Матросы приоткрыли рты от изумления, левый загребной поймал «шуку», запустив по валеку весло в воду, и сбил всех гребцов с ритма. Сам боцман был озадачен наглой дерзостью матроса, побывавшего среди «красных». Для поднятия авторитета следовало дать ему по роже, да Смит сидел в носовой части шлюпки, а рядом улыбался лейтенант Фелимор, который тоже, видно, потерял всякое понятие о настоящей морской дисциплине. В довершение всего и этот «красный» лейтенант

подначил его, боцмана, сказав такое, будто находился не на военной шлюпке, а по крайней мере в пивной:

— Да, боси, поставил он перед вами задачу. Конечно, Гарри слегка перегнул: моряк с парового военного судна вот так сразу не сможет работать на паруснике, будь он трижды британец. Сам же Гарри, могу вас заверить, отлично работал на мачте при любой погоде, днем и ночью, и на самых верхних парусах!

Рыкнув на гребцов, боцман молчал с минуту, затем проорил:

— У нас нет высоких мачт и парусов, и боюсь, что Смит придется заняться работой на камбузе и наводить блеск в некоторых других местах...

— Не забывайте, боси, что Смит — старший матрос, — напомнил Фелимор.

— У него есть документ?

— Наши документы остались на «Грейтхаунде».

— Сделаем запрос.

— Я удостоверяю!

— Хорошо. Я не решаю. Вы знаете, кто решает...

В тот же день, чтобы показать настоящее место Смигу на «Отранто», боцман не стал вызывать его к себе в каюту, как он любил делать, а подошел к нему в кубрике и сказал вскочившему и стоявшему навытяжку Смигу:

— Вот что, милейший! Все разговоры, что ты старший матрос, ничем пока не подтверждаются, твой лейтенант сам не имеет документов. Сделают запрос, как полагается. Пока ты станешь, как я уже сказал, помогать в камбузе, но это не основная твоя работа, главное — будешь наводить лоск во всех гальюнах. Понял?

Гарри Смит молчал, сраженный несправедливостью. Гальюны убирали по очереди да еще провинившиеся — по наряду, а тут ни за что ни про что такое унижение!

Боцман, удовлетворенный, что его пошатнувшийся было авторитет был с «блеском» восстановлен, сморщился, что у него заменяло улыбку:

— Ну как, Смит? Понял наконец, где ты находишься? И помни: тебе надо много потрудиться, чтобы опять занять прежнее место во флоте его величества!

Гарри Смит с достоинством ответил:

— Сэр, я должен вам сказать, что всегда оставался матросом Королевского флота. Камбуз и гальюны меня не пугают. Я благодарю вас за такое ко мне внимание.

На третий день после прибытия на «Отранто» капитан миноносца получил приказ: при первой возможности отправить лейтенанта Фелимора во Владивосток. Возможность представилась к исходу дня: транспорт из Манилы, и Фелимор отбыл,

пожав руку Гарри и дав ему совет не ссориться с боцманом. Смит остался совсем один. То в течение дня он хоть раз другой видел лейтенанта и перекидывался с ним несколькими фразами, знал, что Фелимор всей душой сочувствует ему и уже вел разговор о нем со старшим офицером, правда безрезультатно: старший офицер не хотел подрывать авторитет боцмана, да ему самому не нравились ни новый матрос, ни лейтенант, хлопотавший за него. Очень скоро Смит пришел к выводу, что как бы тяжело ему ни было, нет смысла падать духом. И, вынося помой с камбуза или выполняя другую «грязную» работу, неизменно насвистывал самым беззаботным образом. Как-то один из матросов, желая угодить боцману, обозвал его «вечным гальюнщиком», и тут же получил с правой, чуть пониже глаза, где моментально всплыл великолепный фиолетовый фонарь. Больше никто не решался его задевать. И если бы сам Гарри не проникся полным презрением к матросам миноносца, то смог бы подметить и сочувственные взгляды, и даже попытки сойтись покороче. Гарри гордо отверг все эти «подвохи», полагая, что все это делается, чтобы посмеяться над ним, а он не любил, когда над ним смеются люди, не имеющие на то никакого права. Смеяться над собой он позволял только друзьям, да и то не особенно часто.

Чтобы еще больше унижить Гарри Смита и сломить его, боцман приказал перейти ему в кубрик к кочегарам. Тотчас же «услужливые» парни выбросили вещи Гарри из матросского кубрика на палубу. С этой минуты между ним и палубной командой порывались все официальные и неофициальные связи, он становился одним из «духов», то есть существом низшим в глазах «настоящего» матроса. «Духи» вначале отнеслись к нему не особенно тепло, хотя о нем уже шла слава как о человеке, который объявил войну самому Рыжему Джиму — событие небывалое не только для «Отранто», но и для всего Королевского флота, где боцман на иерархической лестнице занимает очень высокое место: чуть пониже короля и господ бога, по крайней мере для всего рядового состава.

Если «Орион» являлся частицей России, то и «Отранто» с полным правом можно было назвать миниатюрной копией Соединенного Королевства. Здесь еще жестче чувствовались классовые и кастовые разграничения. Каждая из служб на корабле имела свои преимущества, явные или кажущиеся, над другими службами, что вызывало зависть и недоброжелательство и в то же время стремление замкнуться в кастовом кружке, сохранить и укрепить преимущества образцовым выполнением своих обязанностей. Комендоры считали себя выше всех на корабле потому, что они главная его сила и все остальные работают на них. Но и дальномержики также не желали отдать пальму первенства: кто находит противника и дает дан-

ные для стрельбы? Находились точно такие же убедительные доказательства у сигнальщиков, радистов, минеров, электриков и, конечно, у рулевых. И все они, представители верхней палубы, считали себя неизмеримо выше «духов».

Глухая вражда между палубной командой и машинной зародилась со дня появления первого парохода. Моряки с парусников возненавидели «отступников», заменивших благородные паруса вонючей машиной. И хотя теперешние матросы в большинстве своем никогда не плавали на парусниках, им по наследству передавалась неприязнь к машинной команде. Таким образом, была отдана дань традиции, имеющей такую непоборимую силу во всех сферах английской жизни.

Так с помощью древнейшего принципа «разделяй и властвуй», заимствованного у древних римлян, на Королевском флоте поддерживался необходимый порядок и сохранялась высокая боеспособность.

«Отранто» описывал сложные кривые, стараясь не потерять из виду русский «красный» парусник. Гарри, улучив минуту, подолгу смотрел на его белоснежные паруса, вспоминал своих приятелей и невольно улыбался. Это заметили и донесли боцману. Рыжий Джим застал Гарри, когда он стоял за шлюпкой и махал рукой в надежде, что хоть кто-нибудь его заметит на «Орионе».

— Ты что это за сигналы подаешь большевикам?

— Просто помахал рукой.

— Слышите? — обратился боцман к матросам. — Этот тип просто машет рукой, когда ясно, что он семафорит. Ну, что ты передал им?

— Ничего не передавал. Я не знаю их языка, чтобы хоть что-то передать. Просто помахал им рукой.

— Расскажи кому другому. Ты разве не знаешь, что запрещено всякое общение с большевиками? С ними можно разговаривать только голосом пушек!

Рыжий Джим сморщился, что, как известно, заменяло ему улыбку. Собственно, он, боцман, сейчас ничего против Смита не имел. Сегодня было получено подтверждение, что он, Гарри Смит, действительно числится в списках старших матросов погибшего миноносца. Смиту следует вернуть его права и снова водворить в матросский кубрик. Все же неплохо будет, если перед этим он пройдет окончательную шлифовку в карцере.

— Так вот, Гарри Смит, чтобы ты не забывал, где находишься, отсидишь двое суток в «отеле». Понял?

— Да, сэр. Благодарю.

— Так тебе нравится жить в «отеле»? Могу продлить еще на сутки. Отдохни после работы у русских. Да и галюны ты драил отлично. Отведите его, ребята, и устройте с полным комфортом.

В железной каморке, куда втиснули Гарри Смита, нельзя было ходить, а только стоять или сидеть, скорчившись на полу. Зато в ней имелся иллюминатор, хотя и высоко, да Гарри легко подтягивался на руках и висел, глядя на море, пока не деревенели пальцы. Два дня миноносец шел малым ходом, затем выключил машины, загрохотала якорная цепь, и Гарри увидел из своей тюрьмы зеленые склоны, длинную низкую казарму на них, японский пароход у причала и, повернув голову, вскрикнул от радости: на голубой глади бухты стоял «Орион».

Матрос, чем-то напоминавший Гарри его погибшего друга Арта, принес галеты, кружку воды и, прислушавшись, не идет ли кто, вытащил из кармана сверток.

— Здесь мясо, только тихо! Бумагу отдай мне.

Матрос остался, наблюдая, как Гарри ест.

— Ну и рыжий у нас! — сказал матрос. — Сколько он нам крови испортил! Я зимой тоже здесь сидел. Думал, концы отдам. Сейчас хоть тепло.

— У русских так не издеваются, — произнес Гарри с полным ртом.

— У них нет боцманов?

— Как — нету? Есть. Да больше на людей похожи, а такие, как этот орангутанг, хвост поджимают.

— Мне надо идти. Часового у тебя сегодня нет, просто закрываешься на замок. Если захочешь в галюн, стучи.

— Я не прочь пройтись.

— Доедай мясо!.. Меня Томасом звать... Том Форд.

— Как приятно познакомиться с автомобильным королем!

— Меня так и зовут ребята. Народ у нас в большинстве хороший. Да сам знаешь, бояться проштрафиться.

— Ну уж нет. Это не оправдание. Так подло вести себя... Первый раз встречаю...

— Какая там подлость, Гарри! Тебя ведь тоже не сразу раскусишь. Вытри рот, и пошли.

«Ну прямо Арт, — печально подумал Гарри, — особенно когда улыбается».

С палубы Гарри оглядел бухту, закрытую довольно высокими скалистыми горами. С «Ориона» спустили шлюпку. Видимо, кто-то из офицеров съезжал на берег.

— Ну, идем, — Том толкнул в бок, — как бы не влетело и тебе и мне!

В сумерки Том принес ужин: те же галеты, воду и от себя плитку шоколада и главное — последние новости.

— Дела идут отлично, Гарри! — весело заявил Том. — Оказывается, уже два дня, как пришло подтверждение, что ты старший матрос с «Грейтхаунда». Кочегары уже выкинули твои пожитки, а я перенес их к себе в кубрик. Будешь спать надо мной. Ты рад, надеюсь?

— Не особенно. Я ведь знал, что рано или поздно утрут нос вашему рыжему боси. Ты скажи лучше, не видал ли кого из русских?

— Как же! Как раз хотел рассказать тебе о нашей встрече. Действительно, народ ничего. Один из них прямо мне понравился, подарил мне пачку табаку, такого крепкого, что глаза лезут на лоб. Как-то странно называется этот табак.

— Махра!

— Вот-вот! Приятные парни эти русские, да жаль, скоро пришлось отваливать. Их старший офицер был у начальника порта, да что-то быстро вернулся. Твое имя они называли и еще что-то говорили, судя по лицам — отзывались о тебе неплохо.

— Ну, может быть, и не обо мне шел разговор, — заметил Гарри. — Главное, что вы кое в чем убедились.

— Конечно! Я теперь тоже сомневаюсь, что это корабль пиратов, как зовет его боси. Тут у нас ходят слухи, что там, наверху, — Том поднял глаза к потолку из клепаных листов стали, — недовольны свержением с престола родственника нашего Жоржа: ведь Георг Пятый то ли брат, то ли дядя русского царя. Поэтому нам приказано преследовать и уничтожать при каждом удобном случае красных... Кто-то идет?..

— Не к нам. Ты что еще хотел мне сказать? Давай живей!

— Русским на паруснике грозят большие неприятности. Стюард в кают-компании слышал, как сегодня за обедом говорили о следственной комиссии, которая скоро прибудет сюда. Русским запрещено сходить на берег...

— Почему? Ты ведь с ними там встречался?

— Ослушались приказа. Сейчас они грузят уголь, хотя боси сказал, что он им не понадобится. Вот, Гарри, какие дела. Прощай! Завтра ты уже оставишь этот железный ящик. Ну, что хмуришься? Ешь шоколад!

«ОГОНЬ ОТКРЫВАЕМ МЫ!»

В большом матросском кубрике собрались почти все матросы, кочегары, машинисты, унтер-офицеры, только вахтенные находились на верхней палубе, и то у трапов, прислушиваясь к голосам внизу.

Собрание вели большевики. Громов, Трушин, Зуйков, Гусятников, раненый матрос с мыса Чуркина стояли у стенки под иконой Николая-угодника. Остальные плотно друг к другу сидели на полу, жались у трапов и бортовых стенок. В душной тишине глухо раздавался голос Громова:

— Видите, товарищи, что нас ждет. В лучшем случае сни-

мут морскую робу и пошлют в пехоту, воевать против своих... Тише, товарищи! Кто хочет, еще выскажется, а сейчас пусть скажет слово товарищ, который знает обстановку лучше нас, и вот тогда поговорим и примем наше решение, потому что идти, как бараны, на убой за чужие интересы, да еще против своих братьев, думаю, охотников мало найдется. Давай, Илья!

В это время в открытые иллюминаторы с берега долетел звук горна. Раненый матрос повел головой:

— Слышите? Японцы дудят! Вечерняя поверка. Видали, остров они заняли. То же и там, на материке. Вся железная дорога, города у них пока, у японцев, американцев, французов, и кого только нет у нас там! Прямо скажу — положение не из легких.

Раздался голос:

— Чего же щериться? Что веселого-то?

— А то, что унывать мы не привыкли. То, что они, гады, захватили нашу землю, ненадолго. Вокруг них и под ними земля начинает гореть! Вот что, кореш! И то, что мы не одни! Нами Ленин руководит, вот что, товарищи! — Он повысил голос, и его широкоскулое лицо стало суровым. — То, что весь народ поднимается на борьбу за свою народную власть, против поработителей всяких, вот что, дорогой товарищ! Мы не сидим здесь сложа руки! Не думайте, товарищи! Для вашего сведения, в Забайкалье сражается партизанская армия под командованием большевика Сергея Лазо! В Приморье боевой отряд, в нем больше тысячи человек, отряд товарища Бородавкина. И могу назвать еще десятка два партизанских отрядов, всех не запомнишь, да и сведения доходят медленно, а их уже многие сотни по всему краю и Сибири! Вот ты, товарищ, не знаю, как тебя...

— Ну Брюшков, а что?

— С ухмылкой слушаешь да шепоток в ухо пущаешь соседу.

— Нельзя, что ли? Мало ли ты что скажешь, а чем докажешь? Станем мы на вашу сторону, а нас и пощелкают, как воробьев на гумне. То-то же. Слыхали мы это!

После слов Брюшкова по кубрику пошел гул.

— И мы слыхали, — сказал раненый матрос и вытащил из кармана свернутую в несколько раз газету.

— Закурить, что ли, хошь? — спросил Брюшков.

— Опосля и закурим, а сейчас вот послушаем, что пишут о партизанах беляки, они-то уж знают, есть ли партизаны или я набрехал тут. Вот слушайте! Газета называется «Свободный край», у них тоже свое понятие о свободе. Все читать не буду, кто хочет, после прочтет. Только немного по существу вопроса. «Дальний Восток, — пишут беляки, — представляет собой ярко пламенеющий костер большевизма, который ничуть не скло-

нен потухать, но, наоборот, ежеминутно грозит перекинуть пламя в соседние местности. И это несмотря на то, что здесь-то всего более сосредоточено той иностранной силы, на которой мы строим все наши расчеты как на силе реальной в борьбе с большевизмом...» И вот немножко дальше: «Весь Дальний Восток сейчас должен рассматриваться как театр военных действий». Вот оно как, товарищ Брюшков!.. Да куда же ты собрался? Сейчас резолюцию будем выносить! И вы, товарищи?

Брюшков, Грызлов, Бревешкин и еще человек тридцать стали поспешно выходить из кубрика.

— И отлично! — сказал Громов, когда они ушли. — Без них воздух будет чище. Это, товарищ Илья, монархисты в большинстве, а за ними потянулись выжидающие из зажиточных мужичков, а также эсеры.

— Ах, контра?

— Не все, да не успели, не смогли всем разъяснить.

— Жизнь разъяснит. Теперь, товарищи, надо решать, и немедленно, как выбираться из петли, в которую вас загоняют интервенты и беляки, пока есть хоть малая щелка. Тут недалеко материк, тайга, там наши!..

Председатель следственной комиссии капитан Нордон попросил командира катера обойти вокруг клипера. Высокий тощий английский моряк с трубкой в зубах рассматривал такелаж и корпус корабля. Остальные члены комиссии тоже вышли на узкую палубу. Среди них были вице-адмирал Лебединский-Свекор, капитан первого ранга Струков, майор Нобль, барон фон Гиллер и еще несколько человек в военном и штатском из белогвардейской контрразведки.

Вице-адмирал сказал капитану Струкову:

— Выглядит клипер как будто удовлетворительно.

— Отлично! Возможно, все не так серьезно, как нам доложили.

— Очень серьезно! Вы бы поговорили с Никитиным! Как он мне отвечал! Все старался скрыть! Нет, Федор Павлович, не поддавайтесь первому впечатлению. Вам как боевому командиру прежде всего подай внешний вид, только иногда за этим бравым видом такое скрывается!.. Поверьте моему опыту.

Из уважения к представителям «Союзного штаба» говорили только по-английски.

Капитан Нортон буркнул, не вынимая трубки из рта:

— Парочка повешенных на рее только украсит этот хорошо выправленный такелаж.

— Боюсь, что парочкой не удастся обойтись, — сказал Гиллер.

Нортон повернул к нему голову:

— Не тревожьтесь, барон, мы будем справедливы.

Стива Бобрин, как только заметил на палубе катера начальство, сразу догадался, кто пожаловал, и замахал рукой.

Нобль спросил:

— Кто это так непосредственно выражает восторг по поводу нашего прибытия?

Барон ответил:

— Единственный человек, заслуживающий доверия. Его показания будут иметь огромную ценность.

Вице-адмирал радостно воскликнул:

— Лейтенант Бобрин! Да-а, отличный молодой моряк. Редкий, можно сказать, в наше тяжелое время.

— Вызвать завтра в восемь! — приказал капитан Нортон.

Катер, обойдя «Орион», направился к миноносцу. «Отранто» стоял в полумиле от клипера, ближе к выходу из бухты.

Старший офицер сидел в кресле у круглого стола из красного дерева, и, хотя за бортом было еще светло, яркая лампа освещала карту, развернутую на полированной столешнице. Командир стоял и, прищурясь, рассматривал побережье Японского моря от мыса Поворотного до Императорской гавани.

— Да, положение! — сказал командир. — Точь-в-точь как в Плимуте.

— Не совсем. Я бы сказал — почти. Здесь обстановка намного сложнее. Я бы сказал — гибельней.

— Ну уж, Николай Павлович, вы сгущаете краски! Да, обстановочка не из простых, но у меня остается еще надежда...

— Слабая, Воин Андреевич. Не будем себя обманывать. Нам следует быть готовыми ко всему и принять безотлагательные контрмеры немедленно! Завтра уже будет поздно.

— Да, но что?.. Какие меры?

— Частично вы их уже приняли. Вот карта на вашем столе. Вы погрузили уголь...

Воин Андреевич прошелся до двери, вернулся к столу:

— Действительно, вы же знаете, я давно думаю о возможности выбора. И выбор только один, почти как в Плимуте. Но там никто не подозревал, что мы решимся на такой шаг, привыкли к русской покорности, они даже в душе не верили в серьезность революции у нас, все экспедиционные корпуса снаряжались главным образом чтобы «застолбить» золотоносные, нефтеносные, лесные и прочие участки и как устрашение для соперников. Думали, что воспользуются нашей слабостью... Там нас не сторожили, не обвиняли. Теперь этот «Отрантишка» — словно пес у ворот... Пока нам повезло только с углем. Какой подлец этот начальник порта! Взял двести фунтов стерлингов. Говорит, что «вам все равно, деньги не ваши, а мне —

сами понимаете: жалование не платят уже полгода. Надо как-то жить, две дочери, сын...» И, по существу, он прав. Да! Еще говорит, что все тащат, разворовывают Дальний Восток. Японцы почти очистили остров. Вывезли все, включая адмиралтейский якорь, лежавший здесь со времен Невельского, запасы фуража и всех лошадей в придачу. Что делается, Коля!

— Надо действовать решительно, не теряя ни минуты.

За бортом послышался шум парового катера; он прошел невдалеке, вода в графине качнулась несколько раз и замерла.

Оба настороженно прислушались. Когда шум винта затих, командир взволнованно продолжал:

— Вы забыли, Николай Павлович, что не только мы с вами на клипере. А матросы? Как они отнесутся к новым тяготам, риску и, что скрывать, возможно, верной гибели?

— О гибели говорить еще рано. Матросов я беру на себя...

За дверью раздался характерный стук — ленивый, небрежный.

— Герман Иванович! — обрадовался командир, как будто тот должен был принести неожиданные новости, которые снимут с него непосильный груз.

Радист вошел, как всегда с печальной саркастической улыбкой, и остановился посредине салона, спрятав руки за спину. Без вводных слов он стал передавать содержание телеграммы:

— «Отранто» приказано повысить наблюдение за «Орион». Категорически запретить общение с берегом. Капитан получил нагоняй за то, что дозволил нам отбункероваться. Прибыла следственная комиссия. Только что. На катере. В числе инквизиторов наш барон Гиллер в новенькой английской форме. В телеграммах его называют экспертом по русским вопросам. Все! — И добавил от себя: — Положение гадкое. Хуже трудно представить.

Командир и его помощник молчали. Несмотря на все, в них еще тлела какая-то смутная надежда, что «все обойдется»: комиссия не придет, вице-адмирал сменит гнев на милость, новые, более важные дела заставят англичан оставить клипер, да и мало ли что могло случиться в это смутное время. Но ничего отрадного не произошло. Петля сжималась все туже. При полном молчании появился лейтенант Бобрин.

— Прошу извинить, я, кажется, помешал, на мой стук никто не ответил. Ваше высокоблагородие, господин капитан второго ранга...

Командир болезненно поморщился:

— Ну что вы, Степан Сергеевич, все «благородите» меня! Был давно приказ перейти на новую форму обращения. Ну, что там у вас случилось?

— На мой взгляд, у нас происходят события недопустимого характера.

— Ну, что там еще?

— Сейчас в матросском кубрике происходит сходка. Я слышал сам, как беглый матрос или, вернее, субъект в матросской форме призывал захватить шлюпки и бежать на материк к партизанам. Его следует немедленно арестовать и выдать властям!

— Николай Павлович, выясните, что за сходка! Я же приказал — никаких сходов. У вас, Бобрин, есть еще и приятные новости?

Стива погасил улыбку на своем сияющем лице.

— Прибыла следственная комиссия, и среди них вице-адмирал. Последнее обстоятельство дает право надеяться, что с нас снимут многие обвинения. — Стива не выдержал и опять улыбнулся.

На нем безукоризненно сидела новая форма, сияли золотом новенькие погоны. И сам он был новый, ликующий, уверенный, что все эти люди, еще так недавно стоявшие над ним или считавшие себя равными ему, как, например, кондуктор Лебедь, сейчас опускаются все ниже и скоро будут повергнуты в прах не без его участия. Теория «случая» торжествовала. Он как бы снисходительно вскинул руку к околышу фуражки, тоже новенькой, с козырьком чуть иной формы, чем положено, повернулся кругом, и чувствовалось, что все это он делает исключительно по своему собственному желанию, а не потому, что так положено по уставу.

Все трое молча проводили его взглядом.

— Нельзя допустить, чтобы команда предпринимала что-либо раньше времени. Пожалуйста, Николай Павлович, Герман Иванович, идите к ним, — сказал Воин Андреевич.

Командир позвал вестового и, когда Феклин появился в дверях, приказал немедленно вызвать к нему артиллерийского офицера и старшего механика.

В матросском кубрике, у трапа, все это время стоял отец Исидор, потупясь и вникая в каждое слово, наблюдая из-под кустистых бровей за своей паствой, явно готовой к бунту. И хотя его пастырский долг обязывал тушить искры неповиновения, не давая им разгореться пламенем, призвать к смирению, заставить положиться на волю Божию, без которой, как известно, не упадет и волос с головы человека, иеромонах молчал, так как его мятущаяся душа была с этими людьми, ищущими правды и готовыми за нее умереть.

Когда товарищ Илья умолк, отец Исидор сказал рокошущим басом:

— Много морей мы прошли, мезго перенесли бурь и прочих испытаний силы нашего духа, и все это время шел спор и внутри каждого из нас, и между собой, на чью сторону стать в смуте великой, что идет на многострадальной Руси нашей. И я думал и вникал и вот сейчас решил, товарищи матросы, снять свой сан и идти с вами до последнего своего часа, так как вижу, что справедливость на вашей стороне.

Отец Исидор сбросил рясу, под которой оказалась полная матросская форма.

Все вскочили, и в кубрике раздался оглушительный рев ста матросских «луженых» глоток, выражающих свой восторг и одобрение...

Наступили минуты, когда нельзя уже было отмалчиваться, скрывать свои мысли, выжидать, а надо было сказать свое слово, на чьей ты стороне, с кем! Пусть даже тебя еще грызет червь сомнений, останавливает страх, все равно надо было стать по одну из сторон черты, которая наконец ясно проступила на клипере, и люди делали этот шаг.

Командир знал убеждения старшего механика, приверженца монархических порядков, и, чтобы не вызывать с его стороны ненужных разговоров, просто приказал ему через полчасика приготовить машину.

Стармех обрадовался:

— Так, значит, идем во Владивосток?

Командир, ничего не ответив, отпустил его кивком.

С Новиковым было сложнее. Артиллерист пришел к нему одновременно со старшим механиком и, услышав приказ «приготовить машину», все понял.

— Ну, Юрий Степанович, вы знаете, зачем я вас вызвал?

— Да. Знаю...

Командир выжидая молчал.

— Знаю и готов предложить три варианта, с помощью которых мы можем выйти из бухты.

Командир перевел дух:

— Я слушаю,

— Снарядить взрывчаткой брандер и подорвать миноносец.

— Так... Второй?

— Таран!

— Третий?

— Обстрелять его танки с нефтью. Поджечь!

— Таранить рискованно. У нас маломощная машина, и мы можем в нем завязнуть. Были подобные случаи. Брандер соблазнителен, да придется жертвовать жизнью людей. Отпадает и этот вариант. Третий принимаю как единственно возможный, хотя и не сторонник таких методов, но выбора у нас нет. Готовьте расчеты и ваши орудия!

— Есть!

— Пойдите, Юрий Степанович, голубчик, мамочка моя!

Новиков не мог сдержать улыбку — никогда еще он не утомлялся таких знаков расположения.

— Будете стрелять только по танкам с нефтью и по машине.

— Есть!

— Идите, голубчик... Феклин! Феклин!

Вестовой влетел в каюту и остановился, тяжело переводя дух.

— Фуражку! Идем живо!..

Поспевая за командиром, Феклин не удержался, чтобы не сообщить новость, по мнению вестового заслоняющую собой все последние события:

— И знаете еще, Воин Андреевич, что наш отец Сидор сана себя лишил?

— Что за чепуха! Оставь, тут и без сана...

— Да нет, правда, рясу скинул, а под ей вместо его кальсонов в полоску — клёш, и фланелька, и тельняшка...

— Ладно, ладно, потом, — отмахнулся Воин Андреевич, избегая на мостик.

Его встретил старший офицер и сказал по-английски:

— Они догадались или просто предосторожность, но держат нас под прицелом. Завтра приходят сюда еще два эсминца. Приказано нас всех снять с клипера, взять под стражу, начать немедленно следствие и закончить в два дня, включая суд.

— Спешат! И нам нельзя терять ни секунды. Сейчас уходим. У нас есть единственный шанс вырваться отсюда.

— Да, один из тысячи! Если мы первыми откроем огонь...

— Это мы и сделаем, Коля! С богом!

— Идите вниз! По местам! Боевая тревога! В рынду не бить!

И хотя все уже стояли у своих мачт, у пушек, у брашпиля, у котлов, у машины, команду подхватили боцманы и унтер-офицеры, передавая ее непривычно тихо.

«Орион» бесшумно двинулся к выходу из бухты. Его маневр заметили вахтенные на палубе миноносца. Прошла минута, пока доложили капитану Коулу и тот поднялся на мостик. Командоры на миноносце приникли к прицелам и, как было приказано, целились по мачтам. На миноносце ослепительно вспыхнул прожектор, и его луч стал ощупывать палубу «Ориона». Клипер казался незащищенным существом, идущим на верную гибель. Сейчас раздастся залп из всех пушек миноносца, и полетят за борт его стройные мачты. Капитан Коул детально рассчитал со своим старшим артиллеристом, как все это произойдет в случае, если командир парусника, охваченный приступом безумия, попытается снова бежать. Теперь капитан Коул ждал, пока поднимется на мостик «высокая ко-

миссия»: ему бы никогда не простили, если бы он лишил ее такого зрелища. Не беда, если русские выйдут из бухты, тем больше оснований будет расправиться с ними в открытом море, и притом гораздо эффектней. Он только приказал проигнорировать: «Остановитесь, иначе — смерть».

На мостик миноносца один за другим стали подниматься члены следственной комиссии.

— Мне их искренне жаль, — сказал капитан первого ранга Струков.

— Между прочим, я этого ожидал, — проговорил вице-адмирал Лебединский-Свекор и обратился к Струкову по-русски: — Какой ужасный пример, Павел Федорович! Но Коул их проучит! — Последнюю фразу он произнес по-английски.

Капитан Нортон презрительно улыбнулся.

Майор Нобль воскликнул:

— Они молодцы! — и спросил Гиллера: — Вы несколько разочарованы, барон? Сожалеете, что никого нельзя будет повесить?

— На этот счет я не беспокоюсь, русские живучий народ. Вместо пушек я предпочел бы торпеду.

— С такого расстояния? По кораблю, начиненному тротилом?

— Ну нет. Не здесь...

Прочитав предупреждение капитана Коула, лейтенант Бобрин бросился к мостику. У трапа его остановили два матроса с винтовками:

— Приказано не пускать!

— У меня срочное... важное сообщение... — сказал он, задыхаясь.

С мостика донесся непривычно жесткий голос командира:

— На место, лейтенант!

— Что вы делаете! Безумство! Остановитесь!

— Арестовать! Вниз!..

Бобрин схватили под руки, и он с ужасом понял, что для него все погибло. Сейчас секунды решали все. Ему не удастся изменить решение командира «погибнуть и погубить всех». «Но что делать, что? — билось у него в голове. — Какой выход? И есть ли он в таком безнадежном положении?» Надо было уходить, бежать, не дожидаясь этой ночи. Ведь он знал, на что способны эти люди. Бобрин обмяк в матросских руках, и часовые почти выпустили его, подталкивая к трапу, ведущему в жилую палубу. Неожиданно Бобрин рванулся к борту, раздался плеск. Матросы оцепенели: «Как это мы? Не успе-

дили Белобрысенького! Утонет!» Полагалось во всю глотку оповестить: «Человек за бортом!» Однако никто не проронил ни звука: в такую минуту нельзя было отвлекать командование. И они тотчас же забыли о лейтенанте, заняв свое место у трапа и жмурясь от ослепительного луча прожектора, ощупывающего борт, мачты, палубу, ждали, что вот-вот плеснут огнем орудийные жерла миноносца.

Лейтенант Бобрин, ликуя, что и на этот раз он не упустил единственный шанс, счастливый случай, плыл к миноносцу.

Капитан Нортон покосился на капитана Коула — как тактический офицер он не считал себя вправе вмешиваться в распоряжения другого офицера — командира корабля, но все же не мог не дать понять, что пора переходить к более решительным мерам. Капитан Коул понял этот взгляд и кивнул артиллеристу, чтобы тот приступал к выполнению намеченного плана «укрощения русского парусника». Дело это казалось и капитану, и старшему артиллеристу настолько простым, с давно решенным исходом, к тому же у них были такие высокие судьи, что им хотелось как можно лучше, по всем правилам провести эту «учебную стрельбу». Артиллерист чуть помедлил, передавая приказание, офицеры у орудий также сделали небольшую паузу, прежде чем отдать приказания «зарядить». А в это время клипер подходил, занимая наивыгоднейшее положение для стрельбы из своих двух пушек. Всего на несколько секунд артиллерийский офицер Новиков опередил своего коллегу с «Отранто». Исполнилась мечта комендора Серегина, наводчика носового орудия: первым «трахнуть» по противнику. И он «трахнул». Снаряд попал в танк с нефтью. К небу поднялось пламя, гася звезды. Нефть огненным дождем падала на палубу миноносца, разгоняя орудийную прислугу. Следственная комиссия кинулась в рубку, стараясь погасить одежду, стереть с рук и лица горящую нефть. Барон фон Гиллер поскользнулся и упал, барахтаясь на горящем мостике, никто не помог ему встать, в панике офицеры топтали его ногами.

Одновременно с носовым орудием «Ориона» открыла огонь и его кормовая пушка, поражая в борт миноносец.

Не прошло и минуты, как «Отранто» потерял управление. Обезумевшая команда стала прыгать в воду с правого борта, где не было горящей нефти.

Командир клипера приказал прекратить огонь.

Путь из бухты к берегу был свободен.

Забрезжило утро. «Орион» уходил на север. Дул свежий юго-западный ветер. Командир еще ночью приказал, «не прекращая паров, вступить под паруса». Вахтенные на марсовых

площадках зорче, чем когда-либо, всматривались в серое море. вспыхивающее белыми гребнями на высоких волнах. Слева тянулся гористый берег, поросший густым лесом; до него было около двух миль, у берега кипел прибой, гул волн слышался на палубе, внушая надежду. Вид берега успокаивал, где-то уже недалеко находилась спасительная бухта. На палубе готовились к высадке на берег: из трюмов поднимали тюки с теплой одеждой, ящики и мешки с провизией, оружие. Все шлюпки подготовили к быстрому спуску на воду. Мало кто вздремнул за прошедшую ночь, и все же чувствовалось бодрое, приподнятое настроение. У открытого люка, из которого поднимали лебедкой ящики с консервами, унтер-офицер Бревешкин, явно ища расположения своих вчерашних недругов, говорил, почти не ругаясь:

— Кто, братцы, не ошибается? И на старуху бывает проруха. Ведь что нам говорил Белобрысый, царство ему небесное!.. Дескать, пойдем за ним и получим кресты, медали, чины всякие. В офицеры, говорит, всех произведут, а сам, туды его... в адмиралы метил. Я видал, как нашего лейтенанта взяли под арест, а он, туды его... за борт! Во дурак! Я видел, как он поплыл к «Отраде», а из ее — огненная нефть хлестанула и потекла ему навстречу. — Бревешкин вздохнул. — Утоп обгорелый. А надо сказать, далеко метил. А с другой стороны, кто знал, что так дело обернется? О себе скажу: как мы обрубали канат да пошли на «Отраду», у меня дух захватило! Я все смотрел, как там у пушек прислуга ихняя ждала команды, как даже заряжать уже стали, и тут наш артиллерийский офицер стеганул по нефтяному баку. На какой-то секунд опередил! Не боле...

Зосима Гусятников перебил Бревешкина:

— Ты сегодня по-человечески говорил и даже одну умную мысль высказал — про секунду, от которой наша жизнь зависела. Командир наш на ней, на этой секунде, да на смелости держался в прошлую ночь и ни разу в наше плавание не прозевал эту самую одну-единственную секунду...

Отец Исидор в матросской робе один оттаскивал тяжелые ящики к борту, ветер трепал его пастырскую гриву, волосы падали на глаза. Он остановился, тряхнул головой, сказал, будто подумал вслух:

— Только ступлю на твердь, тотчас же остригу власа, а бороду оставляю, так как знаю — морозы здесь стоят крепкие, а борода греет, — и снова принялся за работу.

Зуйков, Трушин и Брюшков укладывали снаряжение в баркас.

Подбежал юнга Лешка Головин. Все трое оставили работу и вопросительно смотрели на него.

Лешка весело выпалил:

— За нами погоня! Миноносцев пять, а может, и десять! Японских, французских, английских, американских!

— Ну что веселого нашел, дурень? — осерчал Зуйков. — Что они тебе, леденцы везут?

— Надо мне! Только им нас теперь не догнать.

— С двадцатиузловым ходом?

— Хоть с тридцати. Они только сейчас вышли. Герман Иванович всю ночь наушники не снимал. «Отрада» молчала. Что-то у ней с радиостанцией стряслось.

— Стрясется, если все судно разнесли, — сказал Брюшков, — за это по головке не погладят.

— Так мы им и дались, чтобы гладили! Дядя Герман говорит, что японцы своим передали о нас, а пока те раскачались, мы вон где уже! Скоро в бухте будем!

Матросы и юнга поглядели на желанный берег, ярко освещенный поднявшимся из моря солнцем.

Неожиданно засвистели боцманские дудки, и разнеслась команда:

— Мыться, бриться, к построению... форма три!

Как в праздники и перед увольнением на берег, команда выстроилась на шканцах. Офицеры также в парадной форме стоят на мостике. Матросы не спускают с них глаз. Уже пронесся неведомо кем пущенный слух, что «все образовалось: получен приказ идти в Петроград». И как будто действительно «все образовалось» — командир, как обычно улыбаясь, что-то говорит своему помощнику, разве только лицо его чуть бледнее, чем всегда, да знают, сколько он пережил за последние шесть часов.

Отданы положенные рапорта. Командир, как всегда, смотрит на свои золотые часы, подходит к перилам и обращается к матросам так, как никогда еще никто не обращался к ним:

— Товарищи! Дорогие соратники! Поздравляю вас с первой победой над врагами нашей родины!

Прошло несколько томительных секунд, прежде чем строй несколько вразнобой отозвался троекратным «ура».





Симонов Е.

СЕЗОН НЕСОСТОЯВШИХСЯ ВОСХОЖДЕНИЙ

*Аллах, аллах, взгляни на горы!
В самом деле,
Их головы от бед и горя
поседали.*

Кезим Мечиев

Романов лежал ничком под хлопьями снега, мокрого, как вода, в струях воды, холодной, как снег. Давно уже — так представляется ему — силится он стряхнуть это навалившееся на него бессилие. Но из всех пяти чувств оставлен тебе один слух.

«...Так, значит... Джазовый перестук — камнепады. А это наползающее, угрожающе надвигающееся шипение — это уже

лавина. И — ветер, не смолкающий на всем божьем свете ветер».

Приходя на миг в себя, начал, как и каждый альпинист, с того, что провел рукой по веревке. Хотя здесь-то порядок! Хотя здесь... Грудная обвязка с узлом проводника на месте. Основная веревка зачалена от тебя на крюк. И крюк забит по головку в гранит Домбая. И их четверо. И заночевали они на полочке, чуть не доходя вершины. Под перемычкой от Бульгенской «пилы» к плечу Восточного Домбая.

Это он помнит. Но это же не всё! Это лишь фон. А что же дальше? Да, не дальше, а раньше. Что было? Вот этого-то и не знает. Силится — в который раз! — поймать, сложить, понять, и только зыбкие, только ускользящие, не попадающие в фокус кадры... Вот поползла ужом по стене веревка. Теперь всплеснулась волной. Юра Коротков подает знак. Он выше. У него заело, надо думать, веревку о выступ. И еще — дымки дыханий в морозном небе утра. Три дымка трех его партнеров по восхождению. Ниже — каждое отдельным столбиком. Выше — одним. Самих не видать. Дыхание видать. Стена разбросала их поврозь. Дыхание общее.

Да не в этом же дело, товарищи дорогие! Совсем нет! В том, что случилось с ними, дело. Вот в чем...

И вновь подхватывают Бориса ощущения непонятной ночи. Подхватывает и тащит сквозь мрак, сквозь грохот движение, в котором сдвинулись с места и камни и горы. Впрочем, какое же это, к чертям, движение, если лично он не в силах приподнять хотя бы голову?

— Есть еще кто у нас? — Фу! Наконец-то смог овладеть собой. Но каждое слово врзается в грудь словно иглой.

— В самом деле. Что же все-таки было? — Еще один голос. Юры Короткова. Капитана их альпинистской команды на данное восхождение. Еще один, значит, тоже здесь. В агрегатном, так сказать, состоянии. А Ворожищев? И Кулинич? Улавливал же Борис шевеление с того края спальной полки, где они?

— Алло! Володяй! Юрик! Как вы там?

— Ни-че-го!

А что же это было? Нечего ответить тебе, капитан.

Лежу и думаю. Думаю и лежу. Вот и все!

И не впервой ведь мастеру спорта Романову вершины делать. Это для заезжего курортника все они на одно лицо. Для того, кто восходит на них, у каждой и лицо свое, и характер персональный.

Как у любого, кто испил хоть раз пресноватой воды ледников, жизнь Бориса Романова текла по двум руслам. Одно — это Москва, клятва Гиппократы, стерильные перчатки медика, вновь нарождающаяся дисциплина радиационной, космической медицины. Другое — всклоченная грива горных рек, бли-

стающий мир вершин. И пусть их резкий, грубый их голос ни в чем не схож со сладкогласным пением сирен, — он сильнее. Да и наши одиссеи в заскорузлых штормовках не залепляют воском ушей. Отвечают на зов. Уходят к вершинам.

Как и все, с «единицы-бе», элементарной Софруджу, на которую косяками водят новичков, сотен по шесть за сезон, начинал и Борис. Иные под завязку сыты альпинизмом с первого восхождения. Для других оно лишь первый шаг.

Так и Романов двинул вдаль да ввысь по вершинам: от цейского пика Николаева (4100) к семитысячным пикам Ленина, Коммунизма, Хан-Тенгри (6995). А после войны наши парни с аксельбантом капроновой веревки на плече повстречались и с зарубежными вершинами: от Тирольских Альп до Килиманджаро, Гималаев, Новой Зеландии, Кордильер. Лично он, Романов, наносит протокольный визит вежливости «Белой горе» — Монблану, делает шестерочные¹ стенные маршруты на Эгюи-де-Миди, иглу Эм. Это уже отвесы, сплошное лазанье, крючьева работа, даже ногу некуда примостить, только на подвешенные твоей рукой стремена.

Словом, не впервой в горах. Тем непостижимее «это»...

*

Случилось «это» в Домбае. Где голубизна снежников врезана в эмаль неба, чистого, как глаза ребенка. Где нефрит глетчеров оправлен пестроцветием альпийских маков, крокусов, рододендронов: лед и цветы рядом. Создатели школы сравнительной оценки ландшафтов англичане² не поскупились бы на самые высокие баллы Домбаю. Отдавали же ему предпочтение перед своими Альпами либо Тиролем сами же иностранцы Фишер, Рипли, Даншит.

Для советского альпинизма Домбай открывает лет с полста назад молодой алгебраист Борис Николаевич Делоне³. Но дальше не свелось к повторению пройденного. Когда были сделаны все подсказанные логикой, наименее рискованные пути к вершинам (по гребням), новые поколения избирают иные варианты: лет двадцать назад такие не мыслились хотя бы как «проблемные», «гипотетические». («Кой черт по этим стенам полезет! Ведь это же отвесы!»)

Летопись отечественных путей сообщения донесла рассказ, как кинутая на карту августейшей дланью линейка соединила по идеально прямой Москву с Санкт-Петербургом. В горах подобная прямая в пространстве, от подножия до вершины, ни-

¹ Высшая мера трудности по «Классификации вершин СССР».

² Типично английский ландшафт — 18 баллов, Гималаи на закате — 32.

³ Б. Н. Делоне — ныне член-корреспондент Академии наук СССР, мастер советского альпинизма.

когда не будет кратчайшим путем во времени, не говоря уж о той угрозе, что нависает на каждом сантиметре отвеса. Но так утверждало себя новое качество, класс «стенных восхождений» по прямой, по любой круче.

«А здравый смысл? — возразят непреклонные рационалисты. — Ради чего усложнять жизнь? Уверены, что никому и никогда не понадобится умение лазать по каким-то стенам, равно и — как их там — скалолазы! А в номенклатуре «нормальных» человеческих профессий имеются и верхолазы, и такелажники, наконец, пожарные с выдвижными лестницами. А ваших — хе-хе! — «скалозубов» держите при себе. Для настоящего дела они никогда не потребуются. Вещь в себе. Спорт для самих себя».

«А что, уважаемые оппоненты, если они понадобились, и очень даже скоро? Спрос на стенолазов давно уже превышает возможности «поставки» их секциями альпинизма».

«Так это вы о спорте, а мы же о деле».

«Вот именно о деле, как вы изволили выразиться. Такие вот стенолазы приходят недавно на выручку заблокированного обвалами рудника Осетии. Перед рудоуправлением дилемма: неделями пробивать обходную трассу в горах либо обезопасить гору, которая рушится на дорогу, а рудник работает, помимо всего прочего, на экспорт. Выручила тройка скалолазов. А прорыв ледника Медвежьего либо разлив Зарешана? Или вызов «молния» этакой скорой альпинистской помощи на отвесы будущих створов Токтогульской и Нурекской ГЭС, этих исполинов нашей энергетики? Да многое, вплоть до Красной площади либо одного из переулков у Никитских ворот».

«Тоже мне горные хребты! Москва-то при чем?»

«Очень даже при чем... На главной площади страны в канун Первомая никто, кроме альпинистов, не взялся сменить за несколько оставшихся часов оформление на мачтах над ГУМом. В Никитском переулке «зашившийся диссертант» вместе с ключом захлопнул в квартире и свою докторскую работу. Выручил опять-таки чемпион по скалолазанию: взобрался по фасаду в окно пятого этажа».

Одну из таких (не городских, конечно) стен и заявила на сезон шестьдесят третьего года команда «Труда» (Юрий Коротков, Борис Романов, Владимир Ворожищев, Юрий Кулинич).

Массив Большого Домбай-Ульгена бросается в глаза еще с развилки Клухорского перевала, подобно баскетболисту сборной нации в кучке болельщиков. Народ отметил это в имени вершины. Для карачаев она была таким же хозяином хребтов, как «доммай» — зубр в лесах.

Вспомните, как наблюдательнейший Гумбольдт, вслуши-

ваясь в болтовню попугая, настораживается. Улавливает реликты уже не существующего в жизни, уже умершего, вернее, убитого языка. Его знает этот попка и никто больше на свете. Даже историки или филологи. На нем изъяснялось поголовно вырезанное испанскими идальго индейское племя. Так и название «Домбай-Ульген» («Зубра убили») звучало для нас эхом начисто сведенного поголовья зубров (ныне восстановленного).

Сезон восхождений обещал быть в том году насыщенным. Николай Михайлович Семенов с ущельского КСП¹ напоминал инспектора ОРУД ГАИ в часы «пик». Пусть посмеиваются: «Хочешь перезимовать летом — займись альпинизмом», на турбазах, в альплагерях, мотелях на каждое койко-место приходилось по три соискателя и больше.

Все потому, что высота у нас в почете. И ни социологи, ни даже психиатры не в силах вывести закономерность, по которой все больше граждан, которым их достаток вполне позволял бы нежиться на пляжах Пицунды, с постоянством птиц, возвращающихся с юга в Заполярье, едут из года в год в горы, и только в горы. Едут, дабы мокнуть, мерзнуть, ходить нематыми, рисковать и возвращаться абсолютно удовлетворенными всем этим.

Среди таких была и четверка Короткова.

Она долго готовилась. Подбиралась. Притесывалась один к другому. Сила мышц, сила одиночки еще не всё для альпинизма. В нем не получится давать все пасы на лидера. А ему только и дел — забивать в «девятку». В матчах с вершинами не обойтись без того, что для оркестра назовут сыгранностью, в экипаже космонавтов — психической и физической совместимостью. В альпинизме — это схоженность. Когда капроновая нить сечением в девять миллиметров обращается в живой нерв и по нему перетекает от одного к другому уверенность в превосходстве человека над слепой материей. Оставаясь самой собой, каждый отдельно взятый человек обретает в команде ансамблевую сыгранность. Не только общности движений, но и мышления. И это там, где ситуации сменяются в темпе сверкающих молний.

Так и возникает команда.

Итак, их четверо...

Борис Романов, самый зрелый и сильный в четверке. Высок, строен, гибок, подчеркнуто прям. Ежик blondинистых волос над стального оттенка очами, которые словно зашторенное окно для стороннего. Властен, самолюбив, честолюбив. Когда нужно, не только сожмет зубы, но и весь в себя уйдет, — пойдй пойми, что у него на душе.

¹ К С П — контрольно-спасательный пункт, выдающий «добро» на восхождение.

Юрий Коротков. Из тех мальчиков, завидев которых девчата почти непроизвольно взбивают прически, искоса мечут взоры на смуглого, весьма приглядного Юрочку. Ничего не скажешь: хорош! Единственный технарь в команде трех медиков. Инженер по самолетостроению. Реактивный, моторный, взрывной, не любящий канителиться.

Владимир Ворожищев. По первому взгляду флегма. Но это от нелюбви мельтешиться, от рассудительности и надежности. Невысокий, кряжистый, из тех, на кого можно положиться в любой неожиданности, из которых и сложится восхождение. План. График. Раскладка. Это для себя, для начальства, не для вершин. Но это начало помогает осилить их, хотя они и будут пытаться вносить свои поправки.

И — *Юрий Кулинич.* Темноголовый, лобастый крепыш. Никогда не повысит голоса. Тих, может показаться нерешительным. Но это только по видимости, вообще-то сама надежность.

Конечно же, у каждого из сборной четверки «Труда» есть что-то и кроме восхождений. Ворожищев конструирует первую искусственную почку, Кулинич врачует малышей, Романов защищает на кандидата, Коротков инженерит в конструкторском бюро.

...И они сошли с последней травки Чучхурского ущелья и подошли вплотную к стене, которую задумал одолеть человек.

Тяжкая сила камня берет здесь верх над всем: нежностью лугов, взбитой пеной облаков, живым дыханием земли... Пепельные граниты. Кровавые граниты. Пробегающие по их телу такой ящеркой которая то уныряет внутрь, то снова выскокит наружу, зеленоватые сланцы. И все это здорово-таки тронуту временем, ветром, сменой жара и холода. Здорово-таки разрушено. Захватов, значит, будет навалом, скалолаз! Но и «живых» каменюг с избытком.

Они глядят на дальние склоны. «Камнепад», — бросает Ворожищев. Остальные понимающе кивают. Хотя камнепада, между прочим, не видно. Но белые брызги, белые вспышки, равномерно повторяющиеся на леднике, это и есть удары о лед.

На склонах сидят крупные облака. Не движутся. Не испортилась бы погода. Но они надеются проскочить.

Маршрут трудный. Но короткий.

...Время! Непонятно зачем поплевав на руки, Романов берется за выступ, растягивается в балетном шпагате. И, только вжав в камень ногу, отпускает руку. Священное правило «трех точек опоры», одинаково обязательное и для новичка, и для аса свободного лазания.

Первый метр из тысячи шестисот. Только первый.

*На горы круто взбираясь,
вдыхаешь ты, как старик.
Но если достигнешь вершины,
орлиный услышишь там крик.*

Генрих Гейне

В те же дни, что и четверка Короткова, выходят на свое восхождение и спартаковцы (Главный Домбай, по южной стене). Тоже четверкой. Капитан — Владимир Кавуненко. Обе команды в числе тридцати восьми заявленных на первенство СССР по альпинизму. И в тот час, когда бьет в стену крюк Коротков и, прежде чем загрузить его собой, пробует на звук, на рывок, на интуицию, это же проделывает и капитан главных их конкурентов на золотые медали — спартаковцев.

Альпинизм представляется многим сложенным сплошь из крупных объемов. И физических и психологических. Этакая игра атлантов. И только тому, кто лезет, позвякивая, будто цыганка монистами, всеми навешанными на него альпинистскими причиндалами (молотки, крючья, карабины), только тому виден он расщепленным на множество микродеталей.

- Выдавай.
- Выбирай.
- Готово?
- Пошел!
- Передай крючьев потоньше. Здесь нам не светит.
- Лепестковых?
- Их.
- Цепляю на репшнур.
- Вытягиваю. Закрепи, пойду маятником.
- Готов?
- Момент! Вдруг рывок. Забыю еще крюк. На всякий случай.
- Готов?
- Давай.
- Пошел.
- Выдаю.

И человек оторвался от скалы, и оттолкнулся, и взвился, и улетел. И его откачнуло обратно. И он повторил все, пока не ухватился за гранитную грань на том, на противоположном борту кулуара¹. И то, что со стороны смотрелось бы цирковым трюком, для исполнителя, для Кавуненки то есть, было всего лишь приемом продвижения по сложному скальному рельефу «маятником».

¹ Кулуар — углубление в склоне, созданное работой воды и лавин.

Так уж устроен человек, что адаптируется к тому, что считалось еще вчера невозможностью. Хотя первое, что чуть не отпугнуло навсегда от гор молодого одессита Кавуненко, прямого отношения к альпинизму не имело.

Он попал в заурядный каникулярный поход в Карпаты. И на подъеме к главной закарпатской высоте Говерле альпиниада заночевала в полузаброшенной колыбе¹. Спали неплохо... А вот и небо за окном становится жемчужным — лимонным — рубиновым — золотым. Кавуненко босиком подбежал к окну да так и... обмер. В упор на него ощерился беззубым ртом мертвяк. Череп то есть. И в другом окне не легче — во весь квадрат белесые ребра скелетов.

— День добрый, Кавуненко! Просыпаешься, вижу, с утра пораньше: заводской гудок приучил.— Резкий, скрипучий голос начальника альпиниады, одесского инженера и бывалого альпиниста Блещунова.

— Здравсте и вам, Александр Владимирович!

Слышал новичок Кавуненко, что на своем веку поднимал Блещунов станцию космических лучей на вершины Антикавказ, лазал к пещере Мататаш на Памире за несметными сокровищами китайских завоевателей, даже ловил галуб — явана, так и не появившегося на глаза «снежного человека».

Блещунов поправил седой пробор, и искорки смехинок заплескали в больших зорких глазах. Он все понял.

— Догадываюсь, о чем спросить тебе охота, да? Насчет окон, да? И никакой такой здесь мистики. Очень даже просто со всеми этими хижинами дяди ТЭУ². Не принимает их уважаемый дядя на свой баланс: ни трамплины здешние, ни хаты в горах. На эту колыбу базируются альпинисты Черновицкого мединститута. Фондовых стройматериалов не выделили. Вот и застеклили побитые окна отработанной рентгенопленкой. Только и всего!

Говерла станет первой его вершиной. Нижней ступенькой лестницы. И поднимется она выше облаков. И не только к рекордам спорта. Альпинизм — это и путь постижения незнаемого. Того самого, что не смогли разгадать ни Семенов-Тянь-Шанский, ни Пржевальский. И не потому, что были робкого десятка. Просто не знали в их годы в России, что же это за штука такая — альпинизм, с чем его едят. Запретил же царский цензор Елагин заголовок, выговаривал редактору «Научного обозрения» Михаилу Михайловичу Филиппову: «Полагал бы, сударь мой, что столь просвещенному, как вы, писателю и ученому, не след забывать о титулатуре. А что у вас? «Высочайшая гора Эверест». Смешно-с, коли не грустно. Даже семи-

¹ Колыба — пастушья хижина в горах.

² ТЭУ — туристско-экскурсионное управление (ныне — Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС.)

наристу ведомо, что «высочайшими» могут именоваться токмо особы царской фамилии».

На отсутствие в России альпинизма сетовал в нашем веке и Д. И. Мушкетов¹: изучение Высокой Азии «немыслимо будет без известной альпинистической тренировки, полное отсутствие которой у русских путешественников часто пагубно отражается на успехе их начинаний и вызывало досадные, но справедливые попреки иностранцев. В этом смысле надо всячески пробуждать и поддерживать учреждение горных обществ и клубов в Туркестане, *хотя бы чисто спортивно-туристического характера*, ибо только при их помощи возможна будет постепенная подготовка кадров, пользуясь которыми русская наука сможет завоевать пока недоступные для нее снежные громады Туркестана».

Не только в веке минувшем — еще в двадцатые годы нашего времени учительница Владикавказской епархиальной гимназии Преображенская олицетворяла чуть ли не весь российский альпинизм. Да где-то в заграничных Европах водил на вершины русский политэмигрант и альпийский проводник Семеновский. И лишь в 1928 году Н. В. Крыленко с Н. П. Горбуновым приступили к планомерной осаде Памира.

А тренер Кавуненко с художником Вербовым уже на восхождении, уже соображают:

— За оставшееся светлое время дня пройти бы до той вон рыжей балды.— И оба задрали головы в сторону выпирающей из стены глыбины.— Успеть бы обработать отрезок стены до нее, завтра сможем тогда рвануть на штурм всей капеллой. (Их двойка — лишь авангард, разведка.) Погода вроде бы обнадеживает.

Ниже, чем они, — базовый лагерь спартаковцев на нижней морене. Отсюда наблюдает за передовой двойкой (Кавуненко — Вербовой) Хаджи Магомедов. В нем, как краски на палитре, смешаны кровь и черты аварца с карачаевкой: монголоидно выступающие скулы, разрез глаз, смуглота кожи, покошачьи вкрадчивая поступь и речь. Хаджи для начала обводит взглядом весь сектор вершин, от Сулахата до Домбая:

— Порядочек, друзья, к тому же полнейший. Погода установилась, и можете поверить мне, надолго.

Магомедов вправе так решать: не один год в спасслужбе ушелья трубит; что-то, а горы знает. Наводит бинокль на полочку, с которой пойдет наверх Кавуненко. А Володя подошел уже вплитык к этому рыжему карнизу. Уперся. Те-

¹ Д. И. Мушкетов — известный путешественник, автор книги «Туркестан».

перь — известное дело — лед обкалывать, стремяна для ног закреплять, на карниз вылезать, рюкзак с палаткой-памиркой, общим спальным мешком на двоих вытягивать.

В притихшем под вечер небе, словно выделенный ретушью, прорисовывался альпинист: сурик ковбойки, белила каски, отсветы заката на гроздьях стальных крючьев. «...А это что?» Кавуненко неожиданно начал спуск к Вербовому, и лагерь на морене мог только гадать: что же перерешили двое на стене?

— Имею конструктивное предложение.— Кавуненко ослабил ремешок каски, по-старшиновски натянутый под нижней губой.— Дальше пойдут двадцать метров, самых паршивых. И камни над этой балдой не поймешь, на чем только держатся. И мы с тобой на пределе. Вымотались. А за ночь мороз там все сцементирует наглухо, и мы отдохнувшие будем.

— Понял я вас. Только заночевать где? На полке? Или спуск до первой удобной площадки?

— Этого только и не хватало: высоту терять! Такое нам без надобности.

— Для ясности замнем. Стена дается и вправду не дешево. Предлагаешь сидячий бивак?

— Не пойдет и такое, Володя. Трястись всю ночь, как цуцки. Обливаться цыганским потом. Согреваться дрожамши. Кому это нужно?

— Имеются конструктивные идеи?

— Полочка, на которой стоим, только и годится под нашест для курей. Принимаем решение... Рукавицы. Айсбайли. Снег. Расширять жизненное пространство под палатку. Нарастивать из снега площадку.

— Другой бы спорил.— Вербовой подвесил на крюки рюкзак.— Снег, кстати, за день стал насквозь волглый, а с закастом с морозом схватится, что твой напряженный бетон.

— Главное — надо сил наутро занять.

Два часа спустя... Ветер. Снежная крупка скребется по палатке. Плевать. Мы под крышей. Отблески молний на лицах. Обратно — плевать, с высокой, с гранитной, с нашей домбайской полки: у нас уже дом. Заправиться за весь день. «Альпинист лучше переест, чем недоспит». То, что булькает поверх котелка, — супчик, что пониже — горячее второе. Много ли человеку надо? Надо вообще-то, конечно, много, но и мало лучше, чем ничего.

*

Человек поднимается — мир опускается. И каждому метру высоты соответствовали десятки километров далей. Восхождением ты раздвигал собственные горизонты. Много ли видишь с днища долины? А отсюда уже можешь заглянуть по ту сторону Главного хребта, где то взбирается в гору, то спадает

с нее Военно-Грузинская дорога и ты можешь откинуться на страховке от стены и сосчитать все восемнадцать серпантинов Млетского спуска и, прищурившись, увидеть что-то белое и крохотное на чем-то изумрудном и большом. Как рассыпанные на плюше рисунки. Но это баранта на альпийских лугах Хеви.

— По времени свободно уложимся в график, до темноты будем у перемычки.— Кулинич отогнул манжет.— Нет и четырех.

— Це треба еще разжуваты.— Ворожищев недоверчиво уставился в сторону Черного моря.

— Что там смущает мужика?

— На траверзе Клухора... Поглядел?.. Убедился?..

— Эта вон клякса, единственная на всем стерильной чистоты небосводе.

— Она самая. Вспомни, что тот гнилой угол — поставщик непогоды на весь Домбай.

Ворожищеву верить можно. Не из трепливых. Чутью гор обучался у самого Габриеля Хергиани. Повел он их, тогда еще совсем зелененьких, на Ушбинское плато. И на подъеме от Щурака (пика Щуровского) вдруг:

«Стой! — Закурил. Уставился на зюйд-ост-ост.— Буду думать.— И весьма решительно продел ладонь в темляк ледоруба.— Наверх не ходим, ребята. Вниз будем ходить. Быстро давай! Быстро!»

«Прогноз же хороший, Гавриил Георгиевич!»

«Конечно, хороший. Кто говорит «нет». Облак только плохой. Не люблю такой. Такой, как хулиганы в парк культура».

Они только еще спускались тогда по утрамбованной тысячами ног дресве Шхельдинской морены, когда их охватило сырым и склизким: вошли в туман. Струи дождя. Хлопья снега. Раскаты камнепада. Габриель увел их в самый раз...

Так Ворожищев учился у свана из Местиа тому, чему не научат никакие пособия. Но что же тревожит его сейчас?

— Идет гроза, ребята. Прямоком на нас чешет.

— М-да! На таком месте вызываешь весь огонь на себя. Стена открытая. Подставлена под молнии.

— Идем-то, в общем, с опережением графика. Запас по времени имеется.

— Темп взяли опять-таки сильный от самого от старта. Помнится, за все годы только одной группе и удалось нашу стену пройти. Ваню Галустову. Силен ведь «Черный буйвол»¹, а шел эту же стену три дня с двумя ночевками.

— У нас меньше дня на тот же отрезок.

— Решено — бивак!

¹ Дружеская кличка мастера спорта И. А. Галустова. Его восхождение вошло в разряд призовых. Для команды Короткова эта же стена была всего лишь разминкой перед куда более сложным маршрутом.

Падает тот, кто бежит; тот, кто ползет, тот не падает.

Плиний

Давно спят мышцы, не спит мозг. И бегут, бегут перед спящим Кавуненко вершины его жизни... Волнистый гребень Сулахата с двумя куполами. И — Задняя Белалакая с вставшим поперек маршрута черным «жандармом». Та самая Белалакая, на спуске с которой и давал зарок Кавуненко: «Вы себе как хотите, но он лично в ваши горы больше не ходок. Не псих же он ненормальный, чтобы считать все это, я извиняюсь, конечно, отдыхом. Наелся вашего альпинизма на всю жизнь».

В чернильной тьме ночи они так и не нашли тогда палатки собственного бивака. А кругом — гроза, грохот, огни святого Эльма, черт те что! Ледорубы искрят. По кромке скал форменная иллюминация, как на Центральном телеграфе в Октябрьские дни. Измокли. Нахолодали. Только под утро наткнулись на палатку «Медика». Попросились. Впустили. В четырехместную «полудатку» впихнулось тринадцать ночлежников. А собственный их лагерь обнаружился утром, метрах в двадцати хода.

А зарок оказался некрепким. Горы крепче. Позвали на Домбай, и он пошел.

...Кавуненко спал, когда его качнуло, как в бортовой качке, и с ним качнулась сначала к долине, потом от нее не палатка — вся гора. Палатка только повторила ее движения. Качка?.. Как на сторожевом корабле, на котором и отслужил матрос первой статьи Кавуненко действительную? «Удерживать изнутри вздувающуюся парусом палатку? Выскакивать наружу?» — лихорадочно соображал Володя. Соображал и действовал: одной рукой расстегивал мешок, другой нахлобучивал каску на Вербового. Теперь на себя.

Молния открыла на миг тесный и темный мир палатки. Их подбросило и поставило на место под ливнями дождя, летящими где-то над головой камнепадами.

Нет, ребята, это не гроза! Чего-чего, их-то они повидали. Что-то другое. И еще эта придавливающая тебя тяжесть. Ты как капуста в бочке под гнетом. И знаешь ведь, что кругом горы, высота, простор, но не можешь отделаться от ощущения тяжести. Тяжесть подземелья. Как в бомбоубежище, которое укрывает от налета и оно же завалится на тебя при прямом попадании.

А здесь?..

Какое же это, к дьяволу, подземелье?..

— Пригни голову. Ко мне, говорю, ближе.

— Ну и дает! Не сыграть бы в ящик.

— Не думаю. По мне, так затихает.

— Не скажи.

— Твоя правда: опять тряхануло.

— Гроза или что?

— Гроза тоже.

— А что помимо?

— А толково это получилось, что рыжим карнизом от всех камней заслонились.

— А что это, по-твоему, вообще-то сегодня с природой?

— Быть бы заварухе, если бы повыше залезть с вечера успели. Представляешь себе наш бивак? На голой стене. Без никаких тебе прикрытий. Труба!

— Сдается все ж таки, что это не одна гроза. С ней еще что-то. Как думаешь, что?

— В носу что-то засвербило. Фу, черт! А у тебя?

— Тоже. Вспомни уроки химии. Сера. Камни ж о камни колотятся. Химию высекают. А гроза все ж какая-то ненормальная. Почему?

— Переждем — разберемся.

Угасли молнии неба. Включилась адская иллюминация камнепадов. Они не спадали, они текли сплошным огненным потоком, и он просвечивал сквозь полотнища палатки, и они видели огненный пунктир прямо перед собой.

Грохот... Огонь... Толчки...

Весь мир стронулся. С ума сошел. Только бы самим не спатить. Продержаться!

Вот вроде и подзатихло.

И то хлеб!

— Ты как знаешь, Вербовой, я лично обратно в спальник отключаюсь. Силы понадобятся.

— Давай.

— И тебе рекомендуется.

— Обожду. Что-то не по себе.

— Дело хозяйское.

Он не знал, сколько проспал. Знал, что Вербовой стянул с него мешок. Вовремя стянул. Из-под тебя уходила палатка и вместе с каменной полочкой улетала в тартарары. Да никуда не улетели. Никуда не проваливались. Они были. И палатка. И все остальное. И еще это подлое ощущение — падаем!

— За ребят Безлюдного, между прочим, опасаюсь. (Его команда должна была восходить отдельно, чтобы на вершине соединиться с четверкой Короткова.— *Е. С.*). Не накрыло бы. Бивак их на вовсе открытой морене. Все камнепады, их же сегодня до черта, туда куда-то стекают.

— Пойди разберись сейчас, что и на кого стекает.

— Остается дожидаться утра.

Больше заснуть не смогли.

Холод, сказал понимавший в этом и во многом Руал Амундсен, то, к чему никогда не сможет привыкнуть человек. Ощущение холода и вернуло сознание Романову и, как бы собирая рассыпавшиеся бусинки, поднимал и нанизывал минуты и события.

...Значит, так. Палатка. Друзья. Примус. Ощущение крыши над головой. Уже неплохо! А всего-то навсего уютное убежище прилепилось к отвесу, и меньше чем на шаг от них — сотни метров пустоты. Так было, когда они подвязали последнюю растяжку и расположились на заслуженный отдых, как говорят, правда, провозжая на пенсию.

И тут все разом...

Да... Он посмотрел еще время. 21.15. «Закипает. Снимайте котелок». Все те же 21.15. И тут удар в плечо. Но к нему же ничто не прикасалось? Удар и невидимый разряд. Прошил тебя насквозь. Пронзительный свет! Они еще сидели по углам палатки, примус посередке. «Постой-постой...» Потом уже толчок... Пораскидало ниц. Только и успели, что сбиться к склону, подальше от края. Но это инстинктом, не сознанием.

«Где же у меня боль?.. Боль у меня в боку, в спине боль, везде боль». Новый вал камнепада. «Чесанул по лавинному желобу. От нас все пятнадцать метров. Не достанет». Борис подергал палатку. Вот черт! До одного все крючья от палатки повырывало из стены. А понабивали дай боже! «На чем же держимся?.. Понятно. Основная веревка. Пропустили под коньком. Зачаились к ней расходным репшнуром от каждого: А палатка — одни клочья. Практически ее нет. А на дворе дождь со снегом, с ветром: хуже не придумаешь».

Нашупал круглый фонарик.

— Обход палаты начнем с тебя, Юрка,— сказал он, как бывало на клинической практике. И произнес это автоматически, а стало в чем-то увереннее.

— Спасибо. Камни. Тяжело. Застыл.

— А мы их поскидываем. Пуховочкой прикроем.— Достал отлетевшую в сторону пуховую куртку.

— Спасибо. Как ребята?

— За Кулинича опасаюсь.

Дрожит в неслушающейся руке луч. И — спокойное лицо Кулинича. Чересчур даже спокойное. И на груди целая плита. Как же это так, ребята? Руки, ноги неестественно вывернуты. Как же так? Просунул под ковбойку руку, затаил дыхание... Тук-тук... Часы?

— Юрик, у меня руки застыли. Найди его пульс.

— Нету пульса.

— Так и думал.

Тук-тук... Грудь уже холодная. Тук-тук... Часы живут — человек нет. Живые часы на мертвой руке.

Всё, ребята! Нету нашего Кулинича. Подрастут, глядишь, ползунки, которых возвращал к жизни педиатр Кулинич, станут кто слесарями, кто адмиралами, и все они, и знатные люди страны и тунеядцы, так и не узнают, что был такой дядя Кулинич и нет его, а они есть. Попомните это, и ребятки и родители!

— Далеко мы улетели? Далеко, слышите, спрашиваю?

Ворожищев! Очнулся. Не улетел. Уже легче. Хоть тут легче.

— Улетели только рюкзаки, спальные мешки, примус. Как ты-то сам?

— До низу далеко, говорю?

— Да мы на том на самом месте. Остался, правда, один коротковский рюкзак с кинокамерой. Как раз Юрка сидел на нем. Он и не улетел.

— Выходит, значит, что все еще летим? Понятно!

Как же втолковать тебе, что мы там, где и были. А от каски Ворожищева один ободок. Поднял руку, сорвал. Кинул. На кой такая. А волосы спутаны, спеклись кровью. Не будь на тебе каски, хуже было бы.

С касками им подвезло за день до отъезда. Помогли парни из секции альпинизма «Метростроя», той самой, которая навела в свое время на непосильные раздумья кого-то из бывших ихних кадровиков. «Образовали, видите ли, у нас какую-то там секту олимпинистов. Пора бы разобраться кому следует!» Через «секту» и разжились из неликвидов по безналичному списанными шахтерскими касками. Не на всех. На основную четверку. А раньше приходилось перед каждым сезоном ловчить. Альпинизм для Спорткомитета не олимпийский вид, не профилирующий, фондов ему в титула не закладывают.

...Прилавок секции метизов ГУМа. Видный собой плечистый малый: курчавые волосы, но без хиппских лохм, куртка-вельветка, мастерский значок.

— Девушки, что могли бы предложить по линии дуршлагов?

— В наличии все три размера.

— Мне бы от пятьдесят шестого номера до пятьдесят восьмого.

— Дуршлаг измеряются согласно литражу. Выбирайте. По номерам не подразделяются. К вашему сведению, они посуда, а не головной убор.

И тут на глазах у ошарашенных отличниц советской торговли Безлюдный бросил на прилавок беретку, примерил одну за другой на... голову с пяток посуды.

— Выпишите. Копию товарного чека оформите на ДСО «Труд».

Забрал. Кивнул. Ушел.

Отличницы провожали его сочувствующими взглядами.

— А с виду в норме.

— И не говори! Только подошел, подумала: парень — люкс. С таким бы на танцверанду без открытия прений.

— Зачем же тогда посудину — и на голову?.. Как хочешь, он все-таки из этих, с приветом!

— Думаешь, чокнутый?

— Спрашиваешь!

Безлюдный не слышит. Безлюдный уже открыл на дому ателье индпошива головных уборов для стенолазов... Отпилим у дуршлагов ручки, на подкладку — губчатую резину. А что верх перфорированный, так даже плюс: меньше веса. Каска-дуршлаг выручала Кулинича от камнепадов и на Аманаузе, и на Ушбе. А здесь весь удар — на грудную клетку. Всё! Тут не поможет никакая реакция.

— Сознание у Ворожищева здорово-таки затемненное, — шептал Романов Короткову. — Подозрение на перелом тяжелых костей таза, бедер, ключицы. Помогай отодвинуть его под стенку.

— А у тебя у самого что?

— Не могу ни откашляться, ни вздохнуть. Похоже, поло-мало ребра. Три, а то и четыре. (Не знал тогда, что дышит одним легким.)

— Рваные раны головы прибавь. Борь, а Борь, послушай.

— Чего?

— Придется сигнал бедствия подавать. Пока не загнулись.

— Не примут. Видимость нулевая. Облачность садится.

— Ракет, прямо скажем, не густо. Штуки четыре.

— Беречь до просвета. Тогда сразу сигналить. Всем, чем можем.

Утром в разрыве облаков Романов уловил неясное шевеление на снежнике. Сердце тревожно вздрогнуло. Нет! Не камни и не серны. Люди! Двое! Явно с Домбайского перевала. Скорей всего, кто-то из «спартаков»...

— Ты, Коротков, кричать способный? Я лично только шепотом. А они вот-вот войдут в зону голосовой связи. А там уйти могут.

— Го-го-го! Знаешь, могу. Вопрос — кому?

— Тем двоим. На снежнике которые.

— Да иди ты... Ты что, очумел, Боб? Там же ни души. Почудилось. Никого на всем Домбайском спуске не видать. Силы растрчивать не будем. Там же — сам видишь — сплошное молоко.

— Брось ты, Юрка. Туман в глазах у тебя. Идут, и один еще на ногу припадает. Значит, Тур с Поляковым. Больше некому. А видимость вполне. Беда — орать не могу. Когда подойдут, скажу, а ты уж звучка дашь... Обожди... Давай!

И Коротков набрал воздуха. И каждый глоток вдоха был сухой, жесткий, царапал.

Он не может кричать. Он должен кричать.

— И-я-ху-у! — Отсчитал про себя «десять» — и снова, и так до шести раз в минуту. Международный сигнал бедствия в горах. Альпинистский SOS. Значит: бросай личные восхождения, мужики; топать, куда скажет начспас. Железный закон гор.

— Есть такое дело. Остановились. Слушают: откуда?

И Борис ударил патроном о штычок ледоруба, и одна за другой прочертили красную дугу ракеты и рассыпались искрами по снегу. Оба замерли, но сначала снова в тишине то же тук-тук. Часы. Потом — кап-кап. Солнце коснулось сосулек. И только после — двойной голос человека, и над тобой брызжет искрами ответная ракета. Зеленая.

Ребята! Услышали. Хорошие мои. Молодцы. Спасибо! Теперь не загнемся. Теперь порядок. Теперь придут. Теперь ждать. Теперь жить...

Утром Кавуненко глядел и сам себе не верил. Разве бывает такое в горах?.. Человек может стать седым за ночь. За час. Гора не меняется и за тысячу лет. Кавуненко чувствовал себя, как фоторепортер, который кинул пленку в бачок, а появилось совсем не то, что заснял.

...Сползающий со стены Южнодомбайский ледник вчера (и год, и сто лет назад, и триста) был весь из льда. На данный момент?.. Словно и не было никакого льда, замостило весь за ночь битым гранитом.

А еще хотели спускаться с рассветом. Не пойдет такое. Ждать, пока поутихнет. А это что еще за явление Христа народу?.. Откуда эти-то двое взялись? Не иначе, с перевала. Но там же никого, кроме их собственных спартаковских наблюдателей. Витки Тура с Лёхой Ржавым (для отличия от другого спартаковца, сильно брюнетистого Арика Полякова, прозвали так Лешу за тускло-медную шевелюру). Обоим, как альпинистам, на данный сезон крупно не повезло: после срыва на скалах Туру выколупывали мениск, Полякову подававший назад машину шофер переломил ключицу.

Куда же они, я извиняюсь, чешут?.. Ин-те-рес-но все-таки, куда?.. Да к нам, и никуда больше. Два таких вот неполноценных — и нас спасать собрались! Со стены высшей категории трудности. Вот это номер! Идут и не знают, что лично мы в полнейшем ажуре.

А ну, подойдите поближе, орлы! «Вставай рядом, Вербовой, слушать мою команду. И — три-четыре!..» Гаркнули в обе глотки. Нет: слов внизу не разбирают. В самом деле, гора грохочет, как тыщи дробилок. Тогда так: встаем, показываем на себя — на них — на спуск — на навешенные с вечера пери-

ла. Закивали. Дуйте, в общем, на морену, до Безлюдного. По-нятно?

А перил, оказывается, и метра не осталось. Даже крючьев по всей стенке ни штуки. Всё этот дьявольский снайпер Гора: без прямого попадания крюка не выбьешь.

Гора ссыпала все, что припасла, и Кавуненко с Вербовым начали спуск на ледник. Обошли вставшую особняком скалу, согласно гляциологии — останцу, по-местному — хицану, и, только зайдя за перегиб склона, увидели серый треугольник палатки и в жестко пахнувшем битым гранитом и погребной сыростью воздухе почувствовали струю, которая несла щеко-чущий запах бензина, и супчика, и чего-то еще живого, сво-его, человеческого. И чем ближе, тем сильнее.

Лагерь Безлюдного.

— Салют, мужики!

— Обратно салют.

Здороваясь, не выдавая себя, уголком глаз с ходу пересчи-тать. Слава те... Отлегло, Кавуненко! Все восемь. Все в пыли, будто цементники. Но все!

— Представляем, чего нахлебались на стенке.

— И не говори!

— Хорошо, что так обошлось. Мы за вас уже шибко со-мневались. Молчите себе, и всё!

— Камнем рацию трахнуло. Вот и замолчала. А с вашей морены всю ночь грохот. Тоже опасались.

— Считайте, в сорочке родились. Морена сработала, как волнорез. Все камни обтекали нас. Видали, какие валы за одну ночь нагородило? Камень не падал, рекой стекал.

— А у Романова что?

— С вечера ни о чем таком и не думали. И прогноз нор-мальный: надвигается небольшой грозовой фронт. Только и делов.

— А с романовской ночевки ничего не принимали?

— О птицах ему скажи.

— Это да! Это он про уларов. Знаешь ведь, какие они, гор-ные индюшки. Человека за версту обходят. А тут летят и ле-тят. И всей стаей прямо на лагерь на наш пикируют. На палат-ки. Машут, вхохчут, мельтешатся. Пойди пойми. А разобрать-ся — они же первыми землетрясение учуяли. Задолго до первого толчка.

— Так это землетрясение?

— А вы что подумали?

— Нет... мы... ничего.

— Девять баллов, Семенов уже радировал.

— Но что же Романов?

— Сами хотели бы знать.

За часом час оживала морена Безлюдного, до этого насто-

роженно и выжидательно примолкшая. Шли с разных вершин. Похожие чем-то на вырвавшихся из окружения бойцов. Последними кинула на камень рюкзаки двойка Шатаев — Уткин.

Вот уж кому горы дали прикурить. И больше всего не на маршруте. На спуске, когда уже наконец-то можешь позволить себе расслабиться.

— ...Наелись во! — И обычно сдержанный Шатаев поднял ладонь поперек горла. — Какие-то двести метров всего-то и остаются. Еще чуть-чуть — и включай третью скорость, Уткин! Только это я подумал, как от Домбая откалывается кусок — Уткин не даст соврать, — метров пятьдесят на двести кусок. И не валится ведь, только себе клонится. Как дерево на порубке. Бежать?.. Куда?.. Ждать?.. Чего?.. А кусок уже дает крен в мою сторону. Уткин от него вдали — еще на веревке. Вот-вот жახнет. Думать некогда. Убежать не успею. Когда подумал, сам не знаю. Только — ледоруб наперевес, сигаю с маху в первый рандклюдт¹. Потом уже подумать успеваю, что учили нас обходить всегда трещины, а тут без нее пропал бы. А трещину, как по заказу, заклинило каменной пробкой, на нее и приземляюсь, весь обвал где-то поверху двинул. Затаился, как крот. И — голос Уткина: «Володь, а Володь! Как ты? Живой?» — «Да! — кричу ему. — В норме». Помог вылезти. Обернулись дальше идти — и глаза на лоб полезли: рядом с рандклюдтом, «моим», значит, другой рандклюдт, метров на тридцать по глубине. Как же это я в него сгоряча не махнул?

— Вся природа сегодня какая-то ненормальная, — бросил Вербовой. — Когда мы с Кавуненкой навстречь вам пошли, между нами — и не поймешь как — режется на глазах по леднику трещина. Разделила, одним словом, нас.

И только в долине узнает Шатаев, что, когда он исчез в трещине и скрыло их в вихре битого льда и снега, с бивуака передали на КСП: «Одна из двоек команды Радимова попала под обвал и погибла».

«Будешь долго жить, Шатаев, — скажет ему в Домбае Семенов. — Согласно народной мудрости».

А Шатаев подтвердил, что сигналият со стены Домбая.

— И мы услышали: «Помогите!» — подтвердили подоспевшие Радимов с Балашовым. — Правда, не могли разобрать, кто и откуда. «Сами-то как?» — «Не до себя, тех, со стены скорей выучать».

— Двух мнений быть не может, — сказал, дослушав всех, Безлюдный и вопросительно поглядел на Кавуненку. — В наличии на морене все, кто были на восхождениях. Мето-

¹ Р а н д к л ю д т — трещина на леднике.

дом исключения выводим: на маршруте один Романов с командой.

— И я так располагаю.

— Готовиться на аварийный выход?

— Только так. Раз сверху не спускаются, значит, своим ходом не могут. Не дожидаться же, пока спасотряды с Домб-бая до доберутся. По-быстрому двигать на стену.

— По-быстрому, да по-умному.

— Только так!

— Еще одна двойка у нас, значит, объявилась,— протягивает котелок с компотом Безлюдный и этак остороженько осведомляется: — А вторая связка поотстала, что ли, на подходе? (В четверке были еще Балашов с Радимовым.— Е. С.) Визуально наблюдаем вашу четверку с утра. Потеряли, когда вошли вы в облако. Вошло четверо, вышло двое.

— Точно! — подтвердил Шатаев и отхлебнул и не отрывался от переданного Уткиным котелка.

Шатаев — до педантичности точный, аккуратист, режимный — был не похож на самого себя. Глаза беспокойно бегают, сам какой-то отсутствующий. И сил уже нет и ни сидеть, ни заняться ничем не может. Такой взвинченный.

— Спасибо, ребята! А со второй связкой так... Вошли в облако, бац — ракета. Красная! Мы ходом до вас, Радимов с Балашовым пошли разведать, откуда могут сигналить.

Подумать только! От их бивака в глубокой нише на отметке «4000» было до романовской полочки метров сто. Правда, бивуаки ихние по разные стороны хребта. Ночью Шатаев слышал даже после удара разговоры. И — утром. Нет, слов не разобрать, но разговоры — факт — слышал!

— Где были, когда первый раз вдарило?

— В нише, в той самой нише, на ночевке. Не люкс, конечно, но переспать вполне можно: сами — полулежа в палатке, ноги — снаружи. Когда тряхануло, Балашову со сна почудилось, что летят и никак не остановятся. Сказал даже про ковер-самолет, Балашов, значит.

— Когда сообразили, что землетрясение?

— Сей минут, только когда ты сказал. До этого ни бум-бум.

И принялись счищать комья глины, никогда ее на восхождениях не видали, а тут сплошь намохла. Спрашивается, откуда? Похоже, срубило верхний слой каменного щита, она снизу и выперла.

*

«Из всех стихийных бедствий землетрясения вызывают самый панический ужас, ибо больше всех остальных грозных явлений природы они ставят под сомнение незыблемость основ

человеческого существования». К такому умозаключению пришел коллекционер землетрясений и их исследователь Гарун Тазиев.

Каждые тридцать секунд вздрагивает стрелка, и лента сейсмографа отмечает землетрясение на каком-то куске планеты. Приходят в движение, сталкиваются целые континенты, которые тот же Тазиев уподобляет плотам, плавающим в океане магмы. В таком катаклизме двенадцать тысяч лет назад, поведал Платон, за одну ночь ушла на дно вся Атлантида. Один из таких же идущих из глубины прибоев и поколебал в 1963 году верховья бассейна реки Кодори, потряхнул Домбай, вошел в каталоги «Чхалтинским землетрясением».

Экспедиция Института геофизики Грузинской Академии наук отметила «необычную для кавказских землетрясений энергию». Таких не бывало здесь уже сто лет. «В наиболее потрясенных селах почти все дома испытали сдвиговые деформации». Двигаясь на юг, волна угасала с девяти баллов (Птыш) до шести (Алибек) и трех (Тбилиси).

Величественная медлительность, с которой создается мир гор, сменилась в эту ночь взрывом. Шел год большого солнца. Но то, что радовало охотников за загаром и виноградарей, сработало как спусковой крючок. Он выстрелил с силой тысячи атомных бомб, высвобождая скопившуюся в земных пластах энергию.

Но этого не знали тогда ни Романов, ни Коротков. Они ждали. Надеялись.

Они были альпинисты. Их товарищи и конкуренты тоже.

*

День первый

Человек просыпается, как проснулся бы всегда. И гонит и отгоняет мысль, что оно лучше бы не просыпаться подольше, так это трудно, так непонятно. Ему. Им. Всем. А сон та антиреальность, обитание в которой легче, чем в подлинной, но мучительной и непонимаемой действительности.

Но никуда не деться от вас — утро, день, горы, бивак, холод, боль, грязь. Романов подполз к Кулиничу. То же лицо. Нет, еще спокойней. Покой того «ничто», куда он ушел первый. И похожие на роговые очки резко прорисованные круги под глазами. Значит, перелом основания черепа. А Ворожищев?.. Он здесь и не здесь. Ему легче, чем нам: идет себе в тумане собственного сознания и видит множество солнц и не видит ни себя, ни нас. А мы разрушены. Мы только оболочка того, что было.

— Хоть харч частично уцелел. Успели в скальный карман заложить. Будем сыты. И то дело.

— Конечно, дело,— безразлично откликнулся Коротков.

— Чего тебе дать?

— Мне?.. Ничего.

— А попить?

— Тоже неохота.

— Время уходит. А с ледника ничего. Что-то придется предпринимать.

— Похоже, что придется.

— Но я же видел их, как вот вижу тебя.

— Да, ты сказал, что увидел.

— И сил ни капли.

— С этим, прямо скажем, неважно.

— И лежать бревном толку не будет.

— Не будет.

Но они лежали. И весь огромный, принадлежащий человеку мир сжался, будто шар, из которого выпустили воздух. Его не хватало тоже — воздуха. И нынешний их мир был весь из камня, вдавившего тебя в камень, и даже воздух, когда ты хотел набрать его, был таким же жестким, каменным, колющим, и небом — все тот же камень над тобой.

Коротков лежал молча, но внутри не утихал разговор. С самим собой? С тенями ночи? Как киномеханик прокручивает задним ходом пленку, так он — все их восхождение, останавливая, вглядываясь. Где допустил слабину, капитан? Прорисовался? И еще неохота ему помирать в свои двадцать шесть. И еще звучит любимое присловье Кулинич: «А я везучий». И еще сквозь серость дня и неба дразнят сочные, как кровь, как жизнь, как чей-то девичий рот, рериховские краски вершин. Сюда бы лук с тетивой, сюда колчан. И, как на той картине Рериха, посылаешь ты стрелу с запиской на другой борт долины, где Безлюдный, и не надо им гадать в тумане, где мы и что мы, не надо, если не накрыло их самих, конечно.

Борис лежал. Мысли бежали.

«Ясно одно, Романов: время работает не на нас. Боль идет по тебе. В тебе самом необратимый процесс разрушения».

Зябко поежился. Натянуть хотя бы то, что от палатки осталось. От тумана прикрыться. Но ею укрыт Кулинич. А зачем? Они же знают — мертвы! И ни разу не произнесли: «Тело», «Труп». Только — «Кулинич», «Юра», «Он».

Лежал и вслушивался в голоса. Голосов не было. Были горы. И еще «кап-кап» над твоей полкой. Слезы тронутых дыханием дня ледышек. Только бы не пришлось им оплакивать и нас. И еще просим тебя, Домбай, не держи на нас зла за все за это. Да!.. Было... Хлестали тебя, веревками связывали. Факт! Изранили крючьями. Тоже факт! Но все это только для того, чтобы перестал ты быть вещью в себе, стал вершиной для людей.

А вода продолжает свое «кап-кап». Отмеряет время, подобно струйке песочных часов. Не спеши, Время! Подожди нас. Ведь молодые. Подай, бога ради, хоть частичку того, чего у тебя так бесконечно много, и не напоминай о том, что утекаешь из-под бессильных пальцев, как эти капли, которыми не дано утолить жажду иссохших губ.

Время работает не на нас.

Дробятся капли. Течет вода. Текут и дни, и последние наши силы.

*

*Скорей, скорей. На шее паруса
уже сидит ветер.*

Шекспир

Окошечко домика КСП Домбайской поляны светилось до рассвета, как маяк. Семенов положил на стол листок бумаги, взял было карту, да не стал раскатывать: знает сам не хуже. Три вчерашние тревожные минуты (на турбазе прекратили крутить фильм, увели всех из-под крыши ночевать на травку; из бассейна выплескивалась вода; в альплагере «Алибек» сгорел пищеблок). Эти три непонятные минуты сменились ясностью и действием.

А прилетевшие из некоей южной столицы отпускники уже рассказывали на КСП.

...В их гостиничном номере начала вдруг раскачиваться, наподобие маятника, огромная люстра, пооткрывались сами собой дверцы трельяжей, заволновалась вода в графине. В такие минуты не сидится человеку одному. Повыскакивали в коридор.

Полно. Как на проспекте Спендиарова. Взад-вперед снуют встревоженные усаые дяди. Гомон. Вопросы. Нервозность.

— Оно откуда-то сверху трахнуло. Я слышал собственно-ручно.

— Нет, это я слышал. И вполне ответственно вам заявляю: оно шло снизу.

— Не все ли равно, дорогой, откуда они могли что-то на нас сбросить.

— Не забывайте, что и Арарат и Арагац были вулканы. Могут они, спрашиваю вас, пробудиться или не могут?

— Вулкан! Не дело говоришь, джан. При чем тут арарат? Это все какой-нибудь НАТО — СЕАТО.

Споры прекратил взбегавший через две ступеньки администратор:

— Только что звонили из города. Ничего особенного, граждане клиентура. Самое нормальное землетрясение. Оснований

для поднятия паники администрация не усматривает. Просьба соблюдать правила внутреннего распорядка.

А Семенов уже вызывал междугородную, и Минводы, и командира вертолетного подразделения. И шукал в эфире всех, кого только мог, по домбайским бивакам и помечал на листке, кого нашел и кого нет. И уже названивает по альплагерям: «Пусть «Алибек» и «Звездочка» и более дальние узункольские лагеря поднимают по тревоге спасотряды. Планируйте самые сложные условия эвакуации пострадавших. Подробности? Подробности на месте. Выдать продуктов дней на пять. Тросовое снаряжение. Пуховки. Предположительно в аварийном состоянии группа Короткова — Романова. Эвакуация по стене».

Приходилось, и не раз, испытать из горькой чаши жизненных передраг самому Николаю Михайловичу Семенову, чей прищуренный глаз придает его лицу выражение несходящей иронии. Но это всего-навсего отметина войны, на которой были и раны, и плен, и нацистские лагеря.

Многое довелось хлебнуть тебе, друг Михалыч, но с такой штукой, которую сейсмологи именуют «внезапный разрыв сплошности среды», еще не доводилось. Но и он, и Кавуненко, и Безлюдный, и все они вели себя так, словно не раз уже имели дело с землетрясениями. Не такими ли показали себя и их деды, наши моряки, оказавшиеся за пятьдесят пять лет до этого на рейде Мессины? Свидетелем того землетрясения (1908 год, 84 тысячи погибших) оказался Максим Горький. Видел и безнадежность горя, и оперативные советы германской прессы — воспользоваться беззащитностью, дабы свести военные счета с Италией. Думается, наблюдай он три чхалтинские минуты, Горький не нашел бы здесь «духовно разрушенных людей, которые молча сгибались под ударами». Церкви всей Италии служили заупокойные мессы по городу, как покойнику. В Домбае не молились, не зывали ни к богу, ни к черту. Действовали!

День второй

Бивак на полке сумрачно выжидал. Лежат. Надеются. Лежит и Романов, отмечает, как поднимается вдоль ног и тела грязная теплая вода, и вторгается почему-то в память третьяковская княжна Тараканова, но они-то не располагают силами ни на то, чтобы встать в рост на отсутствующую койку, ни на то, чтобы всего-то-навсего слить воду с полки. Лежат в воде.

— Думаешь, они все ж таки должны были нас заметить? — в который раз начинал Коротков.

— Говорю тебе, чудило, видел их своими собственными

глазами. Как тебя. Это были они, и шли они к нам.— И тут же Романову подумалось: «Испытали сильнейший стресс¹. Не мог ли он сдвинуть и психику? Вполне мог. Вот и увидел ты не то, что есть, а то, чего хотелось». А сам успокоительно и мягче произнес: — Они уже где-то на ближних подходах.— «А если ты сам внушил себе все это?»

— По расчету времени вполне свободно могли подойти еще вчера. Если были вообще они.

— «Если-если»!.. Конечно, где-то уже пометили, что одна команда не спустилась. Значит — мы.

Встрял Ворожищев:

— Я так кумекаю: положение сложное, но ничего безнадежного. Как пишут в диагнозах — «средней тяжести». Понимай: плохо, но не безнадежно. Главное — не впадать в обломовские настроения. Делать хоть что-то.

Весь побитый, хоть собирай заново, а мыслит, как всегда, конструктивными категориями. Верен себе!

— Твои предложения?

— Подкинуть в организм калорий.

— В смысле поесть. Что-то неохота.

— Тогда через силу.— И приподнялся.

Со стороны он напоминал самого себя, показанного на экране в невероятно замедленном темпе. Все стало трудным: взять фляжку, отвинтить крышку, вскрыть тушенку — все чертовски трудным.

Но они понимали: действовать — это жить, безропотно ждать — это сдаться. Черта лысого, ребята! Разве сдавался Абалаков Виталий после обморожений и тринадцати ампутаций? Или Хергиани Михаил на пике Победы, когда в зоне, где нехватка воздуха даже для самого себя, нес на горбу другого Хергиани, нес из смерти в жизнь? Нет, не сдавались они. Не капитулируем и мы, пусть жизнь сведена сейчас к каким-то простейшим ее проявлениям — добыть глоток тепловатой жижи, прожевать кусок подогретой ветчины. Давишься, не идет — бери за глотку самого себя, впихни в себя жратву кулаком, не жалея себя, жалея свою жизнь, дело своих товарищей. Горы смяли нас. А мы распрямимся. Не ляжем, задрав кверху лапки.

И Коротков начал насвистывать. Что-то сипящее, срывающееся. Пародия на музыку. Но в этом было дыхание жизни. Ее мелодия. Та боевая «Баксанская», которую на таких же вот кручах сложили парни в форменных куртках горных стрелков и певали ее и в те дни, когда от Ростова отходили до Нальчика, от него — под Дзауджикау. Певали и в тот день,

¹ Стресс — крайнее, предельное психическое напряжение в результате особо сильных воздействий.

когда Гусев с Гусаком пинком русского валенка сшибали свастику с обоих Эльбрусов и глядели вдаль и видели платиновый блеск Черного моря, и, как всегда с вершин, виделось оно не плоскостью, но вертикалью,—уж не захотелось ли воде встать вровень с вершинами?

Романов искал примус. Нету! Улетел при первом обстреле. Впрочем, их сил элементарно не хватит на возню с тобой, пыхтун. Сольем бензин из канистр в порожнюю банку, подержим на ней мисочку со снегом.

Огонь был робким, синеватым. Но он был огнем, и его предком — Прометей, как говорят горцы, прикованный именно к кавказской вершине. И трое глядели на огонь, ибо какие бы ядерные, какие плазменные установки ни создаст человек, простое пламя костра и согреет теплее, и сблизит ближе. А для этих троих робкое пламя в банке становилось шагом не менее этапным, чем для того, кто первым озарил огнем свою пещеру.

«Попейте, ребята, тепленького». — «Теперь по мясцу вдарим». — «Не идет, не хочется, не можется, а вы через нас не могу».

И Ворожищев улыбнулся. Улыбались одни губы. А над ними остановившаяся напряженность взгляда. Увидел пробившее облачность солнце, уложил ледяной скол на кусок полиэтилена. Натаем чистой воды.

Солнце грело, обсушивало. Трое смогли отжать пуховые куртки, и, ей-богу, это тоже было трудно. Но тепло не только конец сырости, но и начало жажды.

В этот день к ним не пришел никто.

День третий

Нескладно устроен все-таки мир. Два дня пролежать в лужицах, под ливнями, а сегодня солнце, тепло, и вот уже ни капли влаги. А лед, а снег, даже скалы лучатся, сверкают, слепят, и Романов различает: то, что он принял было за камни, стронулось, сдвинулось, да не вниз, а вверх. Понимать надо, черт подери, вверх! Камни так не передвигаются.

«Хотел бы я знать, на нас они держат или куда? И кто они?» — спрашивал себя Романов и не мог себе ответить.

А снег пылал, и в каждой его снежинке полыхало еще одно собственное пламя, и горел уже весь воздух, и все это слепило и не давало разобрать тех, внизу. В них твое спасение. Жизнь... Да, вот и они. Двигают к Восточному Домбаю, по пятерочному маршруту. Коротков с Ворожищевым поорали. Ветер донес что-то похожее на ответ. Уже неплохо. Какие-то минуты спустя Романов увидел еще одно движение на снежинке, и это были еще двое и шли к Домбаю, к ним, к нам.

Уже легче. Уже что-то.

Бивуак оживал, зашевелился, заговорил.

Борис привстал, помахал красной курткой: «Это мы. Мы здесь. Мы ждем. Нужно выручать. Время не терпит».

«По-зволь-те... Почему же они отвернули?.. Почему уходят?.. Скрылись за контрфорсом». Не сказал об этом ребятам. Поняли по тому, как бессильно упала куртка.

— Вообще-то могли же элементарно не понять тебя?

— Вполне свободно могли.

— Грозовой фронт ушел, вот и двинули на свое личное восхождение.

— Не такие это ребята, чтобы просто так списать нас. «Пропавшие без вести». Ни за что не поверю в такое.

— Говоришь: двумя двойками шли. Вопрос — кто?

— Скорее всего, спартаковцы.

Час. И другой. Можно еще ждать? Еще ждать нельзя. Терпеть, конечно, можно. Но до каких? Где предел? Не в этом суть. В том, что кончаются силы, суть. И Романов решил больше не ждать.

— Ты, Коротков, на сегодня двигать своим ходом неспособный, — не так произнес, как выкашлял Романов.

— Я бы всей душой, ребята.

— С тебя и спросу нет. Выходит, в строю мы с тобой, Ворожищев. Мало-мало ходячие. Долезем куда сможем. Самое меньшее — воды запасем. Уже что-то.

На всякий случай Романов еще раз оглядел снежник. Только следы. Темно-серые на светло-сером.

— С чего-то начинать надо, — обернулся к Ворожищеву.

— Давай с веревки.

Резонно. Без нее по стене высшей категории ни на шаг, если, конечно, считать шаганием ожидавшее их сплошное лазанье.

На штурм брали метров восемьдесят основной веревки, с половину этого расходного репшура. В наличии?.. Ни одного конца длиннее двух метров. Сколько же понадобилось камней и прямых попаданий, чтобы так все искромсать! И все это переваливалось ведь через их полку!

Коротков молча следил за их усилиями. Эх, горы вы, горы кавказские! Сильны же, если два чемпиона, какой уж год в силу мастера ходящие, а тут срастить два конца веревки никак не могут. А надо, если за подмогой идти порешили.

— Подумать только, — сказал Романов, — веревки годной с гулькин клюв, а крюьевого хозяйства даже в избытке. — Сказал, а про себя подумал: «Худые дела. Согнуться никак не могу. А сколько раз нужно, пока хоть веревку распутаем». И тяжело опустился на колени за концом и стоял так и понимал: и встать не могу, и лечь не вправе.

— Я так располагаю, что у нас не меньше сотни скальных

крюков, штук сорок шлямбурных,—прикинул Ворожищев. А сам подумал: «Что-то не таё у тебя. Адова боль в голове при самом просто движении. Думал, подвигаешься и разойдешься, а все хуже». Подумал, да не сказал. (Счастье твое, что не знал ты тогда, врач и ученый-медик Ворожищев, про голову. Рассечена трещиной по всей затылочной кости. А по наружности только гематомы, ранки на коже, весь страх внутри.)

Коротков тревожно переводил глаза с одного на другого... Плохи! Дышат как загнанная кляча. А только и сделали, что срастили рифовым узлом веревку. Плохие мы стали. Прямо скажем, никудышные. Голову и ту не удержать. Мы сейчас совсем не мы. Одна оболочка. Как тот «жмурик». Помните, мешок с песком? На соревнованиях спасателей кладут на носилки, спускают как пострадавшего. Вот и мы стали «жмуриками».

Надо что-то сказать им такое. Ну, взбодрить. Стараются изо всех... Не сказал... Для чего?.. Сами знают. Скользнул по руке луч. Недолгая улыбка жизни. И не остановишь ее, не придержишь. А до чего же неохота расставаться с тем, что есть! Да и рановато бы вроде.

А двое уже принялись опять. Стараются. Варганят. Отбирают. Надвывают. Но это исчерпало их энергетический ресурс. Так угасает на глазах огарок свечи. Их хватило еще нанизать на репшнур гроздь крючьев. И тут Романов встретился взглядом с Ворожищевым, и Ворожищев с Романовым, и оба с Коротковым.

— Плоховаты мы еще, Юрий,—обронил Ворожищев.

— А путь по стене, сам знаешь, чистая пятерка,—добавил Романов.

— Да разве ж с вас чего-то такого требуют? — успокаивал их Коротков и еще раз подумал: «А вдруг это и всё?»

— Не сомневайтесь, нас уже начали искать. («Если внизу остались живые, конечно»,—это про себя.) А сами будем действовать таким, значит, манером,—решал за всех Романов.—Сегодня разрешаем себе дневку. Отлеживаемся. С утра все теплое и весь харч — Юрке. Сами двигаем. Самое меньшее до гребня. Хоть воды достанем. От жажды не подох... ну, не будем без питья, одним словом, сохнуть.

— Думаешь, наверх легче?

— Во всяком случае, ближе.

Легли. Умолкли. Романов не мог бы ответить на вопрос, что же подняло вдруг его где-то в районе 15.20. Он же не верит ни в какую чертовщину, даже именуемую «телекинезом» — умением силой взгляда перемещать предметы. Смешно сказать. Да существуй такое, разве не переместил бы он всех троих... прости, друг Кулинич... всех четверых с домбайской полки на бивак Безлюдного!

А тут что-то подхлестнуло, подняло. И он увидел их. И они его. И он взмахнул рукой. И они — ледорубами. И Романов показал: «Влево, забирайте левей. Там лучше. По полке до нас проще». Но они ушли на плечо. Дело хозяйское!

Только теперь обернулся к своей богадельне:

— А выход, между прочим, аннулируется. Наш, значит, выход.

— Чегой-то, друг, темнишь.

— И ничего не темню. Встречайте гостей. Идут к плечу.

— Не ошибся, часом?

— Ни боже мой! Узнал троих из четырех. Полный порядок!

— Что от нас требуется?

— Ничего такого. Сидеть и не рыпаться. Двинем навстречу — только напортим.

Да, четверо! Факт! Туман оседал. Романов успокаивался. Они подходили ближе... Кряжистый, в свитере, с откинутой на шею каской, поднятой головой, с ежиком короткой стрижки — Слава Онищенко. Бесхитростный малый. Немогучий оратор. Отличнейший человечина. По скалам ходит в связке с самим Хергиани. За ним кто-то ростом на все 185, но этот в тени, колпачок сдвинут на лоб, лица не разберешь. Под самым большим рюкзаком топает его племян, тоже Романов, только Славка. А тот, кто замыкающий, высокий, дымит, идет вразвалку, — явно Безлюдный. А идут ходко. Но без рывков. Как ходят альпинисты. Дошли бы!..

*

С вечера

трясется

Куско!

Месяц в небе

как печать.

Непонятное

искусство!

Землю

взять и раскатать.

Роберт Рождественский

Эпидемии оспы, полиомиелита отводят вакцинацией. Переболевший корью обретает иммунитет. Удивительное создание — человек адаптируется: обитает под водой и в вакууме космоса, на полюсе и на войне. Но есть ли такое, что может адаптировать к жизни в землетрясениях? Есть ли?..

Чхалтинское землетрясение дало ответ: «Есть!»—«В чем же оно?»—«В тебе в самом, человек. В твоём рюкзаке, альпи-

нист. А скинешь его с потных плеч — в тебе в самом будет». И это не игра словечками. Это факт!

В Домбае не ограничилось первым толчком. А уже в названии таких повторных толчков таится та моральная контузия, которую они наносят. «Афтершок». Слышите ли вы?.. Шок. Когда врачи разводят руками: медицина бессильна, подготовьте близких к худшему. А в ночь Чхалтинского землетрясения эти самые шоки повторялись, и как говорил нам, покуривая да вспоминая пережитое, Кавуненко: «Такого навидались, что и страх не брал. Не доходил. Задеревенели».

Земля за эти сутки не раз побывала в шоке. Только не люди. А ведь страшное оставалось таким же страшным. И обрушивалось не на город со всеми его службами, а на четырех, на двоих. Но все они были альпинисты и, даже оставшись одни, не чувствовали себя осколками разбитого вдребезги, но частицей огромного целого. И в этот час апокалипсически Страшного суда самые обыкновенные наши парни — работяги и интеллектуалы, гуманитарии и технари — не носились со своими переживаниями, не ловчили, как бы поскорей смыться до долины.

Такой оказался один.

Остальных валило с ног, и они поднимались с застрывшим в башке грохотом, смахивали каменную пыль и кровавую росу. «Кажись, уцелели?» — И, беспокоясь дальше не о себе: — «Что у тех, наверху?» Еще в 21.14 они были для тебя соперниками по соревнованию. Уже в 21.18 стали теми, кому нужна рука твоей помощи. Вот откуда брались иммунитет и адаптация. Противоречит закону науки?.. Согласен! Но заложено в законе альпинизма. И потому-то в этот грозный день Домбая не надо было никого подымать, мобилизовывать, охватывать.

Онищенко подал тетрадь радиogramм. Семенов приказывает Кавуенке возглавить спасработы.

Непростая это штука альпинизм. И стенные восхождения в нем — самые трудные. А тут не просто идти по стене, но спускать тех, кто не может сам.

...Еще поддрагивает земля. Дымятся отвалы. То там, то здесь ухнет скала, и отшвырнут эхо склоны Птыша либо Хокеля. Черт те что! Но четверым, что уже снаряжаются на выход, это без надобности. Они уже впряглись. Такие разные в жизни стали вдруг схожими, словно беда проявила таившуюся общую черту: и в рассудительном, уравновешенном, вежливом Романове, и порывистом, несдержанном Кавуенке, в методично обстоятельном Онищенко и в разбрасывающемся, богемистом Безлюдном.

Причесала под одну гребенку общая беда.

Хочешь добраться скорее — не обременяйся грузом (как-никак стена!). Хочешь помочь — без трепя тани на горбу ши-

ны Крамера и икру, бензин, шоколад, свитера, тросы... Да разве угадаешь отсюда, от чего зависит, быть может, спасение! Глоток бульона там нужнее тысячи добрых, самых предобрых слов. Без него они не более чем колебание воздуха.

Это только на общесоюзном экране (где альпинизм показывают широкоформатно и узкотемно, цветисто и бесцветно) в фильме некоей солнечной киностудии пробившиеся сквозь вентиляторную бурю спасатели приходят к терпящим бедствие без теплых вещей, без харчей. Правда, исполненный гуманизма Сибиряков (прототип — Абалаков) широким жестом делит на шесть равных долей пропитанную жиром рукавицу.

«По первоначальному замыслу спасатели по-братски давали пожевать рукавицу пострадавшим, потом уже утоляли ею голод сами,— рассказывал нам постановщик.— Наша задумка не встретила поддержки у консерваторов из худсовета. Натуралистично, поправили нас. Натурализм, переплетающийся с антисанитарией. Минздрав будет возражать». — «Бред какой-то! — взорвался собеседник. — Не могут же никакие хоть сколько-нибудь уважающие себя спасатели выходить на помощь без ничего. И откуда еще взялась эта идиотская рукавица?» — «За прессой следить надо. Очерки читать,— обиделся постановщик. — Эпизод «Рукавица» заимствовали, генацвале, непосредственно у вас».

Лихорадочно листаю подшивки. Вот оно что... Да, грешен, писал по свежим следам из Миссес-коша, как Абалаков на труднейшем траверсе Безенгийской стены (сорвался рюкзак, буря не подпустила к заброшенному в конце стены запасу) достает последнюю луковицу. По дольке на брата. А машинистка солнечной киностудии вместо «Л» нажимает «Р». Только и всего! «Луковица» становится «руковицей»: кушайте, пожалуйста, друзья дорогие! Неловкость рук и никакого мошенства.

Но те четверо, что, перекидываясь ничего не значащими словечками, собирались на выход, были не из киношных альпинистов. Горы не терпят сахара ни в котелке, ни в поступках. Сбрасывают маску, которую носит пай-мальчик, и он оказывается себялюбцем и трусишкой, а тот, кого вечно песочили за несоблюдение спортивного режима, он-то стоящий парень.

Кавуненко. Давайте для начала распределимся. Я лично займусь с Шатаевым, Радимовым, Балашовым. Разберемся, в каком состоянии те или иные склоны. Не переть же наугад. Запарываться — возвращаться — перебирать варианты. Не та ситуация. Только верняк.

Онищенко. И что это за штука такая землетрясение? Мы эту дисциплину в альпинизме не проходили. А получается — с ходу экзамен сдавать. Визуально маршрут прогляды-

вается, а вот поди угадай, что там за каждой скалой тебя поджидает. Придется иной раз ориентироваться на объективно опасный вариант, лишь бы самый быстрый.

Безлюдный. Народ подобрался как в экипаже космонавтов. Положиться можем вполне. А то сейчас выловил в эфире: «Радирует перевал Хокель. Сами в порядке. Не осталось только маршрута. За ночь развалился. Запрашиваем Семенова, что делать?» Бывают же такие чудики!

Кавуненко. И это не на вершине, на перевале. Да там же ишаков из аулов с картошкой гоняют. Однако к делу, хлопцы! Сборы закругляем, выход сразу после связи с КСП. Семенов вышлет кого-то с тросовым хозяйством, без этого по стене раненых не спустишь.

Безлюдный. Веревка, что по стене навешана, вся как есть побитая. И рельеф не узнать. Трещины позакупорены камнями.

Романов (*подавляя нервозность*). Кто только не спускался, все слышали сверху вроде бы: «Помогите». Не все разобрали, чьи голоса. Значит, кричат все слабее. Только бы не опоздать.

К шестнадцати часам Кавуненко проверил наличие: спортивный скарб, харч, аптечка. Порядок! Становиться — и на выход. «Кстати, как там с прогнозом по линии погоды и опять же землетрясений?» — «Семенов имеет в виду — связывался с Пятигорском. Не обнадеживают. Толчки могут повторяться. Прогрессирующие по силе». — «Тоже мне прогресс! Спасибо вашей тете!»

(Они не знали, что наука со всей ее сетью, сейсмостанциями и приборами лишь ведет отсчет пульса планеты, регистрирует балльность уже свершившихся сдвигов. Предугадывать их — дело будущего.)

Кавуненко на миг приостановился. Затих. В ответе теперь ты, Вовка! Дошло! Огляделся... На всех, кто здесь, положиться можешь, как на себя. Сдохнут, а до полки дотянут. А лучше не сдыхать. Между нами говоря, не хочешь, чтобы загнулись парни Короткова, — тyani из последних, а дойди.

Но кто ж его знает? Хорошо бы, добрались все четверо. А нет. Собьет кого? Будем рассуждать трезво. Нужен под руками резерв. Эвакуацию по такой стене, как домбайская, меньше чем двумя-тремя четверками не осилить. Бросил, не докурив «Казбек».

— Команда моя будет такая: ужинать. Ужин самого высокого напряжения. Распихать по карманам грудинку, галеты, конфеты. Час отдыхать. И — на выход. Остальные спасотряды будут подсоединяться по мере подхода, начиная с перевала. — Оглядел всех. Такие же, как всегда, ни намека на жертвенность, надрыв. Такие всего надежней, эмоции — только лиш-

ний расход нервных клеток, они хороши — эмоции, наигрыш — для кино либо самодеятельности. Здесь ни к чему.

Каждый уже занят делом, а ты что же, Кавуненко? Только под ногами у них мельтешишься. Да не мельтешусь, понимать надо, — прикидываю, вроде бы фигуры на доске расставляю. Ведь то, на что пойдем, — уже не спорт. В смысле — не один только спорт. Хотя и без него ни на шаг. Вот так, братцы: и рекордов не поставим, а рекордный маршрут одолеть придется, и в спортивный зачет его не включают.

«Толчки могут повторяться». Значит, перво-наперво эвакуироваться с этого места, где все они уже вашим землетрясением ушибленные. Сменим место, глядишь — не так уже трудно в моральном плане. Уходить, и поскорей! — Нервно подобрал и тут же кинул сжеванный чинарик. — Эй, да уж не психуешь ли ты, часом? Да не психую, просто малость переживаю, а вообще-то почти как в шахматах варианты перебираю. Бывают лица материально ответственные, я — ответственное морально.

Хожу е2—е4. С морены под перевал. Ваш ход, Гора. А чем она может ответить? Какую фигуру подвинет?

Это все и должно предусмотреть, предугадать ему, а не дяде. Идти, карабкаться, страховаться, бить крючья и держать в голове всю партию.

«В рюкзаки!» Первый ход белых — перевал. Для элементарного туриста вполне самостоятельное мероприятие, почти событие. Для альпиниста — не больше чем дорожка, где дается старт.

Вот и ваш ответ, черные. Весь день — солнце, блеск, кроткие, безобидные облачка-овечки. А тут всё враз. С утра вдали лохматились в небе цирусы¹. «Появились цирусы — встали дыбом волосы». Так и есть... Прометающий насквозь ущелье ветер. Гроза на миллионы вольт.

Густая тьма мгновенно, без сумерек садящейся ночи насланивается грозой. Остановиться?.. Укрыться?.. Рокироваться под склон?.. Кавуненко только и дал, что достать штормовки, раскатать плащи из серебрянки. Ночью в горах если и не видишь, то ощущаешь и тяжесть хребтов, и отсвет вершин в небе. А тут вовсе ничего. Долетит горьковатый запах сигареты — Кавуненко задымил, — вот тебе и стежка, держись, если сможешь, на запах и топай. И не на слух уже иди — только по осязанию, по инстинкту. Час, другой... пятый... Под ногами уже не хруст, уже скрип. Это снег. Камень кончился. Значит, правильно. Значит, гребень. А как вышли на него? Не нашего ума дело, как. Шли, шли и вдруг почуяли всем телом свободный и сильный ток воздуха, воздушный Гольф-

¹ Цирусы — облака, обычно предвещающие ухудшение погоды.

стрим, и в нем живое дыхание леса и щекочущее — моря. Такое движение воздуха всегда на перевалах.

В темноте голоса, топанье, волчки зрачки фонариков.

— Кто таков? Не нас, часом, дожидаетесь?

— Привет, ребята! Мы спасотряд «Звездочки» альплагерь «Красная звезда», прибыли в ваше распоряжение.

— Ты у них за главного?

— Не, Зискиндович, он в палатке.

— Зискиндовичу салют!

— Здравствуйте, Кавуненко.

— Сколько привел? Спортивная квалификация? Кто из твоего народа на спасработы по высшей категории трудности способный?

— Народ прямо с колес. Кто под рукой оказался, тех и привел. Квалификация не могучая: третьеразрядники с небольшим превышением. Мастеров — один я.

И с сохранявшейся в этой немыслимой обстановке ленинградской шепетильностью отвел Кавуненко под скалу. Извиняющимся тоном самый сильный из наличных в Домбае мастеров сразу стал темнеть, в момент выхода и вовсе сдрейфил:

— Я бы лично с открытой душой, да не прошел еще акклиматизацию. Боюсь вас подвести.

Кавуненко взорвался:

— А здесь ему что, Гималаи? Восхождение на восьмисотметровый? Скажи: не светит ему работать на дядю. Бережет драгоценное здоровье для личных мастерских восхождений. А ну его знаешь куда!

Значит, теперь их не четыре, их четырнадцать. И в рюкзаках у тех, кто пришел, — тросовое хозяйство для транспортировки пострадавших. Уже дело! Значит, не тащить в случае чего на горбу, а транспортировать по тросам и роликам.

Кавуненко по меньшей мере раза три проходил Домбайскую стену. Казалось, вся она не то что в памяти — в кончиках пальцев.

А сегодня?.. За полтора часа взяли сорок метров по высоте. И это при полной отдаче. Кавуненко наклонился над заклинившим трещину камнем. «Выходишь теперь вперед ты, Онищенко». Скалолаз проходит сначала маршрут глазами, потом уже пускает в ход руки. Но главная сила в ногах. Зеленого новичка выдает «игра на рояле», когда пальцы так и бегают по камню, как по клавиатуре, вместо того чтобы ритмично отжиматься от опоры до другой.

Но сегодня именно так и выглядел Онищенко. Он хочет пройти наверняка. А некуда. Чхалтинское землетрясение вновь напоминает о себе, Человек. Онищенко — не из пижонов. В руинах Баженовского дворца в Царицыне, этом скалодроме москвичей, на технике Славы обучают разрядников. Он за-

щищал цвета столицы, СССР и на чемпионатах страны, и в Альпах. А тут: «Дальше нельзя. Придется спускаться». Теряем высоту и время. Обидно-досадно. И ничего не попишешь!

Все сжалось против тебя в кулак... Высоту потеряли. С Главного Домбая двинул по ним камнепад. Сошла лавина. Угладели метров за двести, еле по трещинам рассредоточиться успели. А дальше отслоился кусок стены, навис над тропой и на тебя еще поглядывает. Этого только и не хватало!

Снова на пятачке. Вышли на связь. КСП советует с Буульгенской перемычки на плечо Восточного Домбай-Ульгена. Наименее затронуто землетрясением. Тоже резон!

И они сидят перед плоской гранитной плитой и водят пальцами по стертой на сгибах схеме. «Стена отпадает, объективно опасна». — «Через Главную по пиле? Худо-бедно на это двое суток. Чересчур долго». — «Вызвать вертолет? Но сначала расчищать для приема вертодром. А где для этого время и место?»

А снизу шли один за другим отряды и где-то на подходах были еще. Мелькнула даже упитанная личность «того», который отказался от выхода. Снова забубнил свое об акклиматизации. «Да никто тебя и не уговаривает. Обойдемся в лучшем виде».

И сколотили уже еще одну четверку (Витя Воробьев, Володя Вербовой, Вася Савин, Эрик Петров), а ясности все еще нет. Ясно одно: через вершину отпадает — можем элементарно не успеть.

— Так можно гадать до бесконечности, — сдерживая рвавшееся наружу раздражение, подытожил Кавуненко.

— И правда, пора бы выходить, — вставил Романов.

— А я о чем? О том же. Выход перед рассветом. Через Южную стену Главного Домбая. И траверсом на плиту. На сегодня это самый что ни на есть оптимальный вариант. Выходим обеими четверками. Семенову радировать: не дожидайтесь, пока дойдем до пострадавших, высылайте маршрутом Романова новые отряды.

Не произнес вслух того, о чем подумал: можем свободно не дойти, в нынешней ситуации и лавины и камнепады прут, откуда отродясь их не бывало.

— Заметано!

День шел к закату, когда Кавуненко здорово-таки ободранными пальцами взялся за влажноватый шершавый гранит. Снизу дали слабину веревке, и он ушел метров на десять от крюка. Работали молча. Уже недалеко от полки. И никого ведь не сбило шальным камнем. А вполне могло. Даже учитывалось в планах. Уговорились: в данном случае перевязываем, закрепляем на первой же укрытой полочке, сами идем дальше.

«И с чего это Кавуненко на элементарно простом «жандарме» застрял?»—спрашивал себя, терпеливо выдавая веревку, Онищенко.

А Кавуненко обогнул «жандарм» по кромке. Перегнулся. Застыл.

...Перед ним тени стены в слезящихся подтеках. Полочка. И он молча смотрит и не отвечает на окрики идущих за ним. Постой-постой! Да постой же!.. Разбросанные в стороны ноги в серых гольфах. Прикрытая палаткой-памиркой голова. Ближе к стене еще один. Жив ли? Не шевелится. Странное, какое-то перекрученное тело. А этот сидит, бросив меж колен голову. А четвертый? Его нет с ними. Четвертого.

— Чего застопорил?—опять крикнули снизу.— Уморился? Так и скажи. Давай подменим.

А он не мог ни двинуться, ни просто ответить. Очень медленно обернулся к своим. Показал на пальцах: трое мертвых, живых — один.

— Боб,— сказал он слишком тихо, как говорят возле гроба,— мы пришли.

— Знаю. Ждали. По каскам узнали.— Слова капали по одному, с мучительными перерывами.— Метростроевские такие у одного «Труда». А тебя сверху, извини, не признали. Спускайся к нам поаккуратней. Камни все подмытые.

— Чувствую.

И Кавуненко спрыгнул на полку. Присел к лежащим. Эх вы, доходяги!

Романов молча протянул ему люксовые защитные очки с алюминиевым ободком и перфорацией, не запотевали чтобы стекла:

— Держи. Будут твои. Из Шамони.

— Помню. Кулинича?

— Юрке уже не понадобятся.

— Понятно.

— Спасибо, что пришли. Очень вам всем спасибо.

— Переживали очень, когда с первого захода до вас не дотянули. Получай апельсин и «Мишку». И не наша вина. Давай очищу. Маршрут до метра хоженный, а куда не тыркнемся, рельеф весь новый. И не пройдешь. Давай «Мишку» разверну. Твои любимые. Ты заправляйся. Со мною двое врачей, сейчас вас обрабатываем. Ты жуй, восполняя потери.

А вид у них неважец. Ох и неважецкий же!

Но Романов держит себя спокойно. И не психует. А кожа как земля. И так лицо все сжалось, что глаза вперед вылезают, как у вытащенной из воды рыбы либо больного базедом. И дышит как.. Обронит слово и после каждого отдышаться должен. И это Романов. Чемпион лазунов. Кроссмен и лыжник. Красавчик Боб!

Ворожищев в спальном мешке, в нише. Откроет глаза — и они сами собой смыкаются.

Коротков в той самой позе, которая так удивила. Что же так изогнуло тебя, даже шевельнуться не может. А разговаривает в норме.

И осталось у них на все про все полбанки сгущенки. Не густо! Впритык подоспели.

— Воды достаньте, ребята, — проронил Коротков.

— Что из Москвы? — Это Романов. — Как она хоть? В порядке?

— Почему нет? Полнехонький ажур. Ведь наше землетрясение, — и повторил, как втолковывают туго воспринимающим ученикам, — все наше землетрясение чисто местного масштаба. Домбайское.

С той стороны «жандарма» все ближе голоса. Его ребята. Но возбуждение — «Добрались!» — сменилось тревожным: «Как быть? Их четверо и нас четверо».

И тут словно прорвало плотину. Здесь было всё. И понимание ситуации. И желание поддержать. Кавуненко развел такой могучий безудержный трёп, будто слова могли возместить те двести граммов, которые вовсе не помешали бы сейчас ни лежащим, ни ему.

— Спрашиваешь — говоришь за Москву. Не сомневайся, в курсе. За нами следом спасатели. Наладим троса и с ветерком всех вас до КСП — и нах Москау. Столица уже ждалась. Женатиков ждут супруги, остальных тоже кто-нибудь. Народ вы спортивный, тренированный, заживет как на собаке. Давайте уговоримся, самое позднее через месяц сбор всей капеллой на верхней веранде «Праги». Обмыть ваше возвращение на Большую землю. Только без трезвона. Свободно могут нарушение спортивного режима припаять. Вам что, а нас пропесочат. Уговор — встречу не зажимать, вы, в смысле спасаемые.

(Если бы знать тебе, Кавуненко, что этот твой «месяц» для одних обернется тремя, для Короткова и вовсе полутора годами!)

...А вот и зашептал молчавший до этого гранит «жандарма». Шуршит веревка. Скрежет оковки. Над камнем возникает каска и Онищенко: подтеки пота по лицу, уставший, улыбающийся, но свет улыбки в глазах разом выключается, когда он обводит взглядом троих и только чисто мышечным усилием удерживает ее на губах. Слава видит лежащих. Слава — медик. Слава понимает всё.

За ним Слава Романов. Уже спрыгнул на полку, а поглядеть в упор боится. Но вот повстречался глазами с Борисом Романовым и, как ни озабочен Кавуненко, примечает, как будто на демонстрации химического опыта с лакмусовой бу-

мажкой, по пепельно-серому лицу младшего Романова (чем ближе к полке, тем становился сумрачнее) резко, сразу вспыхнули отдельные красные пятна. Слились. И, как жидкость в колбе, поднималась от шеи ко лбу граница красной краски.

И трое, высекая триконями искру, сбежали по граниту. Кавуненко вздохнул. Уже не один. Уже легче. А разве не мог какой-нибудь незапланированный обвал отделить его от остальных? А так уж легче. Даже горе и боль легче, когда нас много. Когда плечо человека раздвигает угрюмую немоту камня. «Не бойсь, ребята, вырвем из плена. Вернем в жизнь». Вернем рюкзаком снега, его уже таяет из мульды¹ Безлюдный; сухим бельем, шприцем, бинтами в руках Онищенко; котелком и примусом, над которыми колдует Романов-младший.

И в эту минуту ветер донес и тут же понес дальше обрывки новых голосов, и понес их над всем миром вершин, и пусть не донесет до всех топающих по всем тропам спасателей (с лишним полста шагало выручать троих), и осядут звуки росой, это живые голоса четверки Воробьева, и она тоже рядом. Нет хуже в горах, когда пойдут две группы одна над другой. Того гляди, камень на нижних сверзишь. Вот и двинул Воробьев так, чтобы нигде не оказаться над Кавуненкой, через Буульгенское ущелье, на гребень Домбая.

В сиреновой тишине вечера слышались голоса, и это не голоса гор, это с воробьевского бивака, и, когда говорят спокойно, на глади сумерек прорисовываются не просто звуки, но слова людей. Звуки, обретающие смысл.

— Значит, Воробьев часах в десяти ходу. Совсем даже недурственно.

Мы дошли. Много, но не все. Воробьев на подходе. Больше, но тоже не все. Такие уж наши дела. Одолеи ступень, думал — самая трудная, за ней новая, еще тяжелей. И вся работа наша, как говорится, не пыльная. Чего-чего, а пыли в альпинизме не водится.

И всего-то-навсего сделать осталось то, что в отчете (если удастся тебе, тьфу-тьфу, не сглазить бы, его написать) назовешь «спуск». А нервов возьмет он и сил дай боже, как ни одно восхождение!

Думается, наши парни испытывали здесь что-то схожее с Дональдом Кэмпбеллом. Самый быстрый автогонщик планеты, он мыслил после финиша такими же альпинистскими категориями: «Жизнь — цепь горных вершин, и не надо бояться спусков, если вслед за ними вас ожидает новый подъем. Ужасно, когда не на что больше подниматься. Отсутствие цели страница смерти. Моя мечта — умереть в ботинках альпи-

¹ Мульда — выдолбленное работой льда углубление в склоне.

ниста». Не удалось это вам, старина! Поглотила вашу рекордную мотолодку и вас с нею пучина озера Кэнистон. А ходят наши парни в таких же ботинках альпиниста. Но предпочитают ходить в них за жизнью. Смерть не стала их мечтой:

*

Страх создает призраки, которые ужаснее самой действительности, а действительность, если спокойно разобратся в ней и быть готовым к любым испытаниям, становится значительно менее страшной.

Дж. Неру

Под вечер ущелье продул сильный и ровный, как в аэродинамической трубе, ветер, метеорологи зовут такой «коридорным» (полсуток с гор, остальные — в гору). С нагревшихся за день скал еще покапывало, и капли отскакивали от ледяного хрусталя, затянувшего отсыревшие плиты. Плотная, хоть бери в руки, струя холода уже стекала с вершин: ночь будет свежей, значит, день ясный.

Эфир оповещал:

«Оживление сейсмической деятельности наблюдалось на Западном Кавказе повсеместно».

«Теберда, курорт. Был испуг, гул».

«Алибек, альплагерь. Ощущали сильный горизонтальный толчок. Была паника, многие выбежали».

«На протяжении ста лет в плейстосейтовой области Чхалтинского землетрясения не было землетрясений с такой силой и с такими последствиями в лице обвалов, трещин, оползней».

Есть такое явление — миметизм: кучер становится похожим на своих лошадей, псарь — на борзых. Быть может, и в отношениях с вершинами человек вбирает что-то в себя. И большое, и что-то помельче. Так, пижону никак не дают уснуть гул волочащей камни горной реки, дальняя канонада лавин, и он ворочается на травке Медвежьей поляны, а вскоре совсем уже гадливо воспринимает и самое себя, походив недельку немытым. Иначе устроен альпинист. Кинул на камни, на лед моток веревки, квадрат пенопласта и спит себе могучим сном нераскаявшегося грешника. А многодневный слой грязи? Так он же даже экранирует солнечные лучи: гарант от ожогов. Да и вообще микроб — тварь нежная: грязи боится.

Юрий Николаевич Рерих как-то поведал нам о необычном соревновании йогов: кто растопит больше снега, пользуясь

только теплом собственного тела. Недалек от этого и альпинист, когда в мире льда и камня за счет такой же внутренней отопительной системы обогревает спальный мешок и самого себя. А здесь он уже не только термически, главное — теплом грубоватой души обогрел тех трех, что на полочке.

И спал в эту ночь приободрившийся домбайский бивак. Ну и вызвездило нынче! И было их ужас как много, звезд, и по причине хрустальной прозрачности воздуха казались они ближе, чем из долин. Слушай, небо! Звезды! Какие же из вас, очей небесных, захотят стать счастливой звездой путников?

Чудно устроен все-таки мир! Не покидая собственной комнаты, видишь перед собой на экране первого из землян, шагнущего на пепельный покров Луны. За 385 000 километров от себя, черт возьми, видишь! А из Домбайского КСП Семенов силится, мучается, не может не то чтобы увидеть, только узнать, что же там на полочке, до которой и пяти километров нет. «Что так долго в эфир не выходят? Не стряслось ли чего?» Впору сорвать с гвоздя плаш-серебрянку, рвануть в темпе до перевала. Но этого-то и нельзя.

Дергайся — психуй — сиди!

Он не знал, что у тех, кто дошел-таки до полки, катастрофически садятся батареи. Только и успели сообщить ближним отрядам: «Кровь из носу, ребята, гоните по-быстрому питание. В смысле рации и для нас самих».

Воробьев уже на полке. Прирост, так сказать, на все сто. Уже не четверо, уже восемь.

— Привет Кавуненке!

— Салют! Кадры твои мне известные.— И, понизив голос, указал глазами на тихого, тоненького парнишечку, старательно разматывавшего барабан с тросом:— Только его в горах еще не встречал. Кто таков?

— Подключился, можно сказать, с ходу. Взамен «того» самого. Того ты знаешь. Фрукт тот! Здоровей любого бугая, а шага не сделал, как загундосил: «У меня печень. Недостаточная у меня акклиматизация опять же». Явный сачок. А этот сам предложил. Скажешь — не могуч? Не отрицаю. А в дороге ни разу не пискнул.

Кавуненко с недоверчивым уважением глянул на тоненького, с какими-то детскими лапками спасателя. Поглядим тебя в настоящем деле, Петров Эрик.

— Не смотри, что пришли только четверо. Аврал по всему ущелью, большой сбор по лагерям.

— В порядке уточнения.— Вербовой раскрыл большеформатный блокнот. Быстренько перелистал.— Где же они, записи?— Что ни страница, контуры вершин, лица, понятные одному автору записи: «Багровый закат», «Лед в трещине потигриному полосатый», «На стыке ледника и долины стал

видимым даже воздух, нежно-серый, дрожит, похож на вуаль» (наброски художника).— Вот они куда заховались. На подходе ленинградцы с Савоном, еще их ребята с Кораблиным, Узункол уже выслал группу Степанова, где-то должен топтать со своими Лазебный. С полста, не меньше, факт!

Пошел деловой разговор о тросах («Хватило бы метража на весь первый отрезок. Посреди стены зависнуть — не сахар»), шлямбурных крючьях («Вас дожидаясь, в стену крючьев понабивали»), и только между делом и обронил Кавуненко: «Планировали таким образом, что может быть на подъеме убыль личного состава». И в этом не было ни паники, ни позы, просто один из запрограммированных вариантов. «Учили и такую возможность. Когда еще рюкзаки паковали, рассредоточили по всем емкостям и медицину, и примуса, и харч, и все теплое. Чтобы кто дойдет, тот и оказывал всю нужную помощь».

И это могло быть с каждым. Ты пошел, и ты не дошел. Не ты будешь помогать, а тебе. Но кто-то обязан дотопать до полки.

Год спустя и мы оказались под стеной Домбая... С почтением вглядываемся в силу камня, подброшенного к небу. Впечатляющая, доложу вам, штука! Слабакам соваться не рекомендуется. Но таких и не было в шестьдесят третьем. Все двинули выручать всех. А так ведь бывало не всегда и не везде.

Проведем же мысленную прямую на зюйд-ост от пилы зубцов Домбайской Джуги до похожего на снежную свечу пика Инэ. Линия приведет к Гималаям, на западной оконечности которых один из восьмимысячников планеты Нанга-Парбат.

Вершина, коей, по замыслу гитлеровцев, долженствовало стать через год после их прихода к власти символом победоносности нордического духа. Как-никак 8125 метров над уровнем океана. И человек не поднимался еще тогда ни на одну восьмимысячную вершину. Свастика над первым покоренным восьмимысячником планеты. «Колоссалы!» Эпохальная дата в борьбе человека со стихией.

Казалось бы, ход событий обнадеживал. От главной вершины экспедицию тридцать четвертого года отделяли какие-то двести семьдесят метров по прямой, порядка километра по горизонтали.

Штурм отложили на день, чтобы взойти всем пятерым. Ночная снежная буря?.. Ну и что, не впервой, отсидимся в палатках, на непогоду в июле кладем самое большее день-другой.

Так они рассуждали перед большим гималайским штурмом.

Считается, и с основанием, что альпинизм наименее зрелищный среди всех видов спорта. Но здесь то ли ради впечатляемости, то ли в назидание горы приподняли завесу и не спускали ее до последнего акта трагедии. Распахнув полы палаток Верхнего Ракхиотского фирна, их жители могли наблюдать затянувшуюся на десять дней гибель своих коллег.

На фоне готически тяжелого Зильберкранца («Серебряное седло»), отеканенного ветрами Моренкопфа («Голова мавра»), перед замершими в неподдельном волнении зрителями возникали и пропадали то зыбкие, то четко различимые в разреженной атмосфере силуэты. Их товарищи по связкам, палатке, спальному мешку, ферейну¹. Но они передвигаются все тише, все неувереннее, и ты уже спрашиваешь себя: люди это или только призраки Гималаев?

Ты насчитал их в первый день одиннадцать... Потом десять... Семь... Два... Ничего! Только белый снег да черный ветер смерти.

Одна точка, казалось, еще передвигалась, но и она уже не была — так решили в палатках — жизнью, только донесшимся из мрака эхом. Нет, «это» уже не шевелится. Будем считать, что «это» — всего-навсего скатившийся камень.

Так кончились на виду у нижнего лагеря Вилло Вельценбах, Ули Виланд и сам бара-сагиб Вилли Меркль. Начальник экспедиции, которого мы помнили по встречам на Кавказе, у нашей Ушбы и Шхары. Его тело найдут четыре года спустя в зеленоватом склепе льда. В кармане анораки записка, написанная неслушающей рукой Вельценбаха:

Сагибам между 6 и 7 лагерями, особенно доктору-сагибу. Мы лежим здесь со вчерашнего дня, после того, как на спуске мы потеряли Ули (Виланда, помните, скатившуюся «глыбу». — Е. С.). Оба больны. Попытка пробиться к лагерю не удалась из-за общей слабости. У меня, Вилло [Вельценбаха], предположительно бронхит, ангина и инфлюэнца. Бара-сагиб очень слаб и поморозил руки и ноги. Мы оба шесть дней не ели ничего горячего и почти ничего не пили. Пожалуйста, помогите нам скорее здесь, в лагере.

Вилло и Вилли

• ...Но где же рука и забота и подмога нижних лагерей? Неужели в кармане штанов на гагачьем пуху? Неужели она потянулась было к Бацинской впадине, чтобы тут же вернуться в карман, в пух, в тепло, в безопасность? Так и не протя-

¹ Ферейн — объединение, общество.

нулась к снегам, где умирают. По иронии судьбы один из тех, кто вовремя смылся сверху от товарищей и наблюдал из палатки за их гибелью, там, на Большой земле, был... следователем. Но он же и не преступил закон. Сам еле спасся. А уйди на выручку к Седлу, мог бы только увеличить перечень погибших. Не так ли?..

Перебираю страницы альпинистской памяти, и они заговорили со мной голосами Виталия Абалакова, Анатолия Горелова, Вацлава Ружевского, да я мог бы назвать рядом с ними и десяток наших парней и больше.

Год тридцать шестой. Зловеще и торжествующе пылает в небе Хан-Тенгри, словно напоминая о том, что киргизы зовут ее «Гора крови». По Иныльчеку, одному из величайших глетчеров планеты, припадая на обмороженные ноги, бредет человек. Абалаков идет на поиски выручки для покалечившихся, оставшихся наверху товарищей по команде. Идет один. Не думая о себе, о ползущем все выше обморожении. Ценой тринадцати ампутаций приведет помощь. Выручит всех.

Год пятьдесят восьмой. Лавина со склона пика Щуровского. Накрыло трюх. Первым откопался Горелов. О чем же была первая его мысль, пробившаяся на свет? Этого мы не знаем и не узнаем никогда. Знаем о первом движении врача Анатолия Горелова. Его, атлета, спортсмена-разрядника, едва хватает на то, чтобы подняться на четвереньки. Но он освобождает из спутавшихся оледенелых веревок Артема Варжапетяна, вытаскивает его заломленные за спину руки, укутывает, вводит стимуляторы. Осматривает и второго, Костю Сизова. Не хватило его только на третьего пострадавшего, на себя, на Горелова. А третий только и может сказать Варжапетяну: «Не надо мне больше ничего, Тёма. Не доставай свитер. У меня уходят последние силы.— Пауза. Шорох снега, порывы ветра, голос третьего второму.— Это всё!»

Варжапетян нащупал пульс. Нету пульса. Положил на губы снег. Не тает. Прощай, Тоша! Прости и прощай и спасибо тебе, врач без белого халата!

В Тырнаузской больнице скажут: у Горелова была оторвана почка, двойной перелом позвоночника. Нужно ли напоминать о том, что лечь, лежать пластом Горелов разрешил себе только после того, как отдал себя другим. Лег, чтобы не подняться.

Год шестьдесят восьмой. В горах Северной Осетии непогода застала молодых туристов. На выручку выходят инструктора-альпинисты Вацлав Ружевский с Иваном Акритовым. Нашли горе-путешественников, которые скинули до того, что лежат в промокших, оледенелых изнутри мешках, и нет у этих птенчиков сил не то чтобы разжечь примус, даже по

надобности за палатку выйти (а рядом, в рюкзаке, сухая сменка и спальный мешок).

Альпинисты выручили и здесь.

Так уж у нас заведено. А на Домбае? Неужто это было легче, чем буря на Нанге? Ни в коем разе не легче.

— Остается только спуск.— И Кавуненко сплюнул искуренный чинарик и без удивления видел, как тот не стал падать, стал, плавно планируя, подыматься.

Ничего такого выдающегося, ребята, нормальные восходящие движения свободной атмосферы.

— Это вы правильно изволили заметить. Именно «только»,— поддержал его Безлюдный.— Всего-то начать и кончить.

Кавуненко взрывается моментально. Сейчас нет. Наваливаются новые заботы. Лебедки, блок-тормоза, троса, лягушки¹. Всю тросовую технику доставили, не будем трясти бедолаг на носилках. Но как управляться со всей этой музыкой, в курсе один Воробьев. Понятное дело, никому об этом Кавуненко не скажет. Похоже, даже от самого себя скрывает. Ну ее, разберемся.

— Троса натянулись впритык!— кричит снизу Воробьев.— Давайте, кто первыми.

— Сначала кого-то для пробы из здоровых,— предупредил Кавуненко.— Вызываются, понятно, из изъязвивших желание. Добровольцы, шаг вперед!

И все понимающе ухмыльнулись: шагни — и загудишь и будешь гудеть аж до днища долины!

— Разрешите мне. Самый же легкий, вес боксера-мухача.

— Не возражаю. Обкатка трассы доверяется Петрову. Давай, Безлюдный, отправление.

Теплеет. Снизу легкой вуалью колышется дыхание проснувшейся земли. Тесно ей здесь, душат ее и лед, и камень, а берет она силу, родимая, и травинки сквозь гранит пробиваются, и пихта на сланцах вырастает, и дыхание земли берет верх над вечным холодом глетчеров. Косые лучи прострочили золотыми нитками туман, и в шевелении переливов кажется, что сами обступившие ледниковый цирк вершины склоняются, приглядываются. Горы те же. Но пришел человек, и упал человек, и пришли другие и подняли упавшего. Позвякивает металл, шуршит тросик, лацают блок-тормоза. Не гора, а транспортный цех. Конвейер. Производство жизни.

— Раскручивать помалу, что ли?

— Давай.

¹ Лягушки — приспособления для спуска и остановки блоков с эвакируемым.

— Кто внизу: по-гля-ды-вай! В оба!

— Есть поглядывать в оба!

И только много дней спустя, в тишайшей благодати долин, разговаряются парни из четверок Кавуненко и Воробьева: «Теперь все это пройденный этап. Доводилось на нашем веку и с верхотуры Эльбруса на лыжонках спускаться, и с парашютом затяжным падать. Домбайский спуск позлее. Глянешь наверх — мать моя родная, на чем же, собственно, спускаюсь? И знаешь ведь, что все прочностные характеристики обоснованы, но тротик такую тонину имеет, что на стенке и вовсе невидимый».

Но тогда на переживания не оставалось и секунды. Будто бег вперегонки. Кто кого? За тебя только ты сам. Против — и то, что видишь, и то, что крадется внутри у тех, кого камнями побило. Им очень худо, завтра может быть еще хуже, а послезавтра уже ничем не может быть хуже. Потому — конец! Крышка!

Сказал же самому себе Онищенко, осматривая Короткова: «Переломы ключицы, бедра, лопатки, таза. А шин ни метра. Как транспортировать, если его нельзя ни сгибать, ни со спины брать?»

— Беритесь, братцы, только за руки!

— В таком уж разе поместили бы где-нибудь: «Не кантовать», — весьма хладнокровно заметил пострадавший.

И они ухитрились — все-таки зашинировать, подвязав его репшнуром к ледорубам, и так он лежал, ошестинившись во все стороны стальными штычками и клювами, будто отбиваясь от новых напастей.

Можно приступать к эвакуации. Кто же из них не сдавал зачет по первой помощи. Но здесь?.. Гляньте на вырывающуюся из-под тебя, падающую вниз стену. Прибавьте к предстоящему «пути» заговорщический шепот лавин, пересвист летящих камней. Вот какой зачетик сдавать.

Сюда же, на перемычку, в темпе чемпионов поднялись ленинградцы Кораблин с Беляевым.

— Почему в кедах? Не турпоход, не бег трусцой по Летнему саду, — не столь рассердился, сколь подивился Кавуненко.

— Для скорости. Ни грамму чтоб лишка. Ни ботинок не обули, ни рюкзаков не взяли. Используй где нужно. Готовые на все. Рвануть за харчами — есть такое дело, рвануть!

— В этом случае умолкаю.

Кораблин с тем же безотказным работягой Беляевым подбросили снизу рюкзак консервов. «Братская могила», — разочарованно поднял банку Шатаев. Увы, это так! Под этикеткой «Консервы куриные» Невинномысский птицекомбинат поставляет хорошо вываренные... кости.

Слышите ли вы это, начальнички и завхозы домбайских альплагерей?..

Маленький Онищенко затянул лямки спасательного рюкзака, лицом к затылку Славы приторочили Бориса Романова. Осторожно раскручивают лебедку. Упершись в стену расставленными циркулем ногами, пошел первым Онищенко. Кавуненко, перевесившись над краем, отсчитывает метры. Только бы хватило троса. Не зависли бы. Нет, тютелька в тютельку, даже с запасцем.

И нельзя спешить. А надо. И пора бы подкинуть в организм больших калорий в смысле икорки, шоколада, ветчинки. Да нельзя! На весь высококалорийный харч пришлось наложить табу: только пострадавшим! И со всех сторон нахально слепят снежинки, а на самой стене ни снежинки, значит, и воды ни капли. Спасибо все тому же худышке Эрику. Пока перебазируют ребят на следующее «плечо» подвесной дороги, он встал и выстаивал на каком-то приступчике, стоял и по капельке набирал сочившуюся из расщелины воду. Терпелив же ты, Эрик! Наполнил-таки флягу. «Первую — лежачим». И снова встал у расщелины. «Эту можно и спасателям». Нацедил по крышечке от фляги. А что значит такой вот наперсток для твоей пересохшей глотки: в горах пьешь взахлеб, и с потом сколько влаги теряешь, и детериорация — обезвоживание организма опять же.

Так создаются горы.

Эрик накачивает примус. Из ложки осетровой икры сочинил супец. «Ничего более противного не едал за всю свою жизнь, — честно признался Кавуненко, — даже хорошо, что так мало».

И снова демонтируй пройденный участок, снимай трос, прокладывай дальше. Устал. Иногда кажется, что нет ничего от тебя и ты глядишь на себя на самого откуда-то со стороны. Прислонишься лбом к холоду камня, не давай закрыться глазам (заснешь ведь) и давай снова двигай, мужик! И заняты по горло: крюки — забивка — перевеска — троса — лягушки. Заняты, а горы напоминают, где ты и что ты такое перед ними. На твоих глазах созидался мир. Была гора — и нет горы. Срезало целый отрог. На место гребня — свежий скол цвета ветчины.

Последний метр стены.

И последним, подобно покидающему корабль капитану, Кавуненко. Из лазающего становишься ходящим. Вот и ты, земля: жирная, устойчивая, надежная, лоснишься от пота, разве и ты с нами работала? Мы работали. Мы и землетрясение.

«Землетрясение» — слово относительно молодое. Летописец давнего века выводил гусиным пером: «И бысть в лето Трус

(землетрясение) велик». Нынешний словарь Сергея Ивановича Ожегова дает иную этимологию: «Трус — человек, легко поддающийся чувству страха». Но в Домбае, как мы уже узнали, бысть «трус велик», и не бысть ни единого труса.

*

*Товарищ неизвестный мой
С корой сожженных губ
Придет на кручи, как домой,
Сжимая ледоруб.*

Николай Тихонов

Ветер свистел в ушах. Все еще свистел, хотя ты сошел с гор и ты шел по своему спартаковскому лагерю и думал, что не видел еще ничего подобного этой траве и не шел по дорожкам, по газонам шел, и еще думал, что только три дня, как ушел отсюда, а будто вечность, как это было. И когда сидел еще там, на гранитном приступчике, и когда на льду сидел, отчетливо представлял себе, как вытягиваешься во весь рост в постели и погружаешься на дно невиданных цветных снов и будешь спать и спишь сколько взлезет.

Так он и сделает. Толково это все: и койка, и простыня, и спанье.

Почему же тогда не спишь, чужак? Ведь теперь можно. За все дни. За все ночи. Потому не спится, и все тут!

В инструкторской корпел над книгой приказов малый с красной повязкой «Деж.».

— Вам, собственно, кого, товарищ?

— Мне бы из команды мастеров «Спартака» кого.

— Часом должны быть. Спустятся вот-вот. Первым ожидается Кавуненко.

— Ну, этот по времени должен уже быть.

Дежурный по лагерю полистал тетрадь:

— Убытие отмечено, в прибывших не значится.

— Будь другом, пошукай его, не заховался ли, часом, где?

— Будто я твоего Кавуненку в личность не признаю. Тому только три месяца, как зачет по скалолазанию на Царицынском дворце у нас принимал.

Владимир протянул руку:

— Кавуненко!

— Глаза, пожалуй, действительно ваши.

— Да и все остальное опять же.

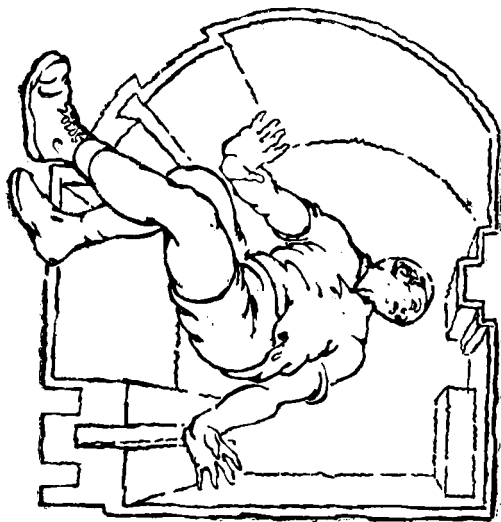
Так он и прослонялся по лагерю до самого подъема. Не спит, не бодрствует, только и может что циркулировать.

Весной, как всегда, придут они в старый особняк на Скартерном переулке, парни, что зовут себя «продавцы ледорубов». Имеешь стажировку, аттестацию, приходи и ты сюда, на инструкторскую биржу. Повстречаешь и Короткова, и Романовых обоих, и Онищенко. А встретишь их в метро либо в кино встретишь, в толпе и не выделишь: такие же, как все, разве что пижонства поменьше, и слушаешь, как говорят между собой, вроде по-русски говорят, а слушаешь и не всегда поймешь: «По лопате, через пилу, на третью Шхельду». — «Через Сурка и Черный бастион на Щурака». — «А Хергиани зеркало Ушбы хочет сделать».

Как всегда, летом в горы!

Как всегда!





Валентинов А.

ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА

Фантастический рассказ

Fool proof (англ.), буквально «дурацкая защита» — комплекс приспособлений, обеспечивающий безопасную работу агрегата или машины при неумелом управлении.

Если глядеть на запад, то степь казалась гигантским гофрированным листом: неширокие долинки — саи — почти параллельными рядами взлетали к горизонту, сбегаясь вместе где-то там, у розовых гор. На востоке степь тоже была гофрированной, но не так: саи казались совсем мелкими, почти сглаженными и хорошо выделялись только на пригорках. Это потому, что на западе садилось солнце, опуская в саи черные тени, а к востоку тени бледнели и саи сглаживались. Вечернее освещение углубило перспективу, и корявые кустики терскена, торчащие в одиночку, будто неприкаянные души, выделялись четко, как на старинной гравюре.

Машина тоже выглядела как на гравюре. Казалось, она притянула к себе все лучи заходящего солнца, на фоне которого появилась, выпрыгнув из-за гор, точно исполинский кенгуру. Потом она расплющилась для лучшего планирования и понеслась с высоты, разрывая розовые облака круглыми, вибрирующими на концах плавниками. Теперь она напоминала гигантского ската манту, налетающего с огромной скоростью, и изуродованные ветрами ветви терскена пригибались и кланялись ей вслед.

Я невольно попятился, споткнулся и сел на трухлявые ступеньки крыльца, когда огромный блин вдруг обдал хрупкие домики Базы упругой тормозной волной и стал быстро надуваться, превращаясь в толстую глянцевую колбасу.

На этих ступеньках поза у меня была отнюдь не элегантная. А ведь из рубки все видно... Выругавшись шепотом, я торопливо вскочил на ноги, сметая шортами кучу песка в тапочки. Черт побери, подметаешь два раза в день, а все равно степь несет и несет свое дыхание.

Надо же было именно сюда загнать испытательный полигон космических аппаратов индивидуального пользования! Сразу чувствуется отношение... Не нашлось места на космических полигонах, вынесенных за сорок тысяч километров от Земли, где испытываются большие аппараты.

Машина улеглась на утопанную волейбольную площадку, поджавшись, чтобы пролезть между столбами, и песок заскрипел под ее тяжестью. Черные влажные бока еще некоторое время колыхались, будто она не могла отдышаться. Серое пятно спереди глянцевито поблескивало. Неприятное место. Я заметил, что не только я, но и остальные члены группы избегали касаться его руками.

Остальные сидят внутри Машины. Я сегодня дежурный по Базе, с исполнением обязанностей повара по совместительству. Впрочем, как это часто бывает, обязанности по совместительству — самое главное. Кроме нашей группы, на Базе не было ни одного человека, если не считать Амантая, водителя гравикара, два раза в неделю подбрасывающего продукты. Он как раз улетел полчаса назад, сделав залихватский вираж над крышами и сшибив последнюю трубу. А ночи здесь прохладненькие. Впрочем, мы все равно не топили печи: нечем, дровами нас не снабжали.

Когда мы сюда прибыли, База имела восхитительно заброшенный вид. Человеческий дух абсолютно выветрился. Сейчас ведь все рвется на космические полигоны. Большие корабли, гигантомания. Боюсь, что мы остались единственными в мире, кто еще занимается спасательными лодками.

Бока Машины последний раз вздулись и опали, будто изнутри выпустили воздух. Краешек почти скрывшегося солнца

окрасил темной бронзой оплывшую оболочку. Только в одном месте, где прорезалась вертикальная складка, застоялась черная тень. Потом складка углубилась, разошлась, и из образовавшегося люка выпрыгнула Лена. Мне будто нанесли удар в область сердца: на фоне вечернего увядания такая она была неожиданно свежая, весенняя, в белой, туго обтягивающей водолазке и белых же расклешенных брючках, перехваченных в талии поясом из широкой золотой пластины. Другой золотой обруч охватывал ее голову, черный поток волос из-под него свободно струился по спине. Это была последняя мода — гибрид античности с архисовременностью.

Вслед за ней появились Кент и Гиви — тоже в белых отутюженных костюмах, ловкие, подтянутые, будто и сами были отутюжены и накрахмалены. Меня они не заметили, потому что вечерние тени уже протянулись от Машины к дому. Но все равно я невольно отступил за старый кривой карагач, всей кожей вдруг почувствовав, какая на мне нелепая полосатая рубашка не первой свежести и старые выцветшие шорты, крепко, по-мужски, заштопанные на правом боку. Да еще эти сбитые, все в царапинах колени.

Лена шагнула вперед, потом вдруг раскинула руки и издала торжествующий возглас, на манер победного клича древних индейцев, такой громкий, что звякнули стекла. Лицо ее было скрыто сумерками, лишь обруч на голове чуть светился, словно излучал накопленный за день солнечный свет.

Ребята вели себя более сдержанно. Впрочем, Кент всегда заморожен, у него это считается хорошим тоном. Зато Гиви шел на цыпочках, будто летел, быстро и мелко перебирая ногами. Так и чудилось, что на нем узкие кавказские сапоги. Глядя на них, я понял, что и это испытание прошло удачно.

— Вовик! — крикнула Лена протяжно и сюсюкая, как ребенок. — Вовик, не надо прятаться от тети. Выйди из-за дерева. Я же знаю, что ты там.

Таким тоном она звала меня, когда была в очень хорошем настроении, и меня всегда передергивало. Я почти ненавидел ее в эти минуты, потому что вдруг на мгновение понимал, что никогда не переступить мне тот заветный порог, за которым с мужчиной разговаривают совсем иначе. Но мгновение быстро проходило...

В общем, я вышел из-за карагача. Прятаться дальше было бы свержлупо.

— Привет тебе от Пата, горячий привет! — весело крикнула Лена, но конец фразы получился гораздо менее мажорным, чем начало. Она безуспешно пыталась удержать улыбку, сбегавшую с губ.

Я отлично понимал ее. Надень я к встрече чистый костюм, да побрейся, да сияй благодушием — это было бы в унисон их

удаче. А так... постылый влюбленный. Только ведь не объяснишь, что Амантай запоздал с харчами и я еле успел приготовить ужин, подогревая его собственным нетерпением, а уж для себя времени не осталось.

Лена внезапно дернула плечом и пробежала мимо меня в дом. Экспансивный Гиви побагровел, а Кент дипломатично поднял глаза к небу, старательно отыскивая что-то среди блестящих звезд. Но он был начальник группы и не имел права молчать.

— Все большой порядок. Завтра ты лететь, дурак,— сказал он, старательно улыбнулся и, аккуратно обогнув меня, пошел вслед за Леной.

Гиви исчез еще раньше. Тактичность этих ребят порой ранила больней, чем откровенные взгляды девушки. Да еще этот русский язык Кента! Будь он неладен, упрямый шотландец! Мы могли бы изъясняться с ним по-английски, так нет, вбил себе в башку, что непременно должен овладеть русским. И вот результат: «Завтра ты лететь, дурак». Нет, нет, не стоит растревлять рану. Я же отлично понимаю, что он хотел сказать: «Завтра тебе лететь дураком». Не дурак, а дураком. В качестве дурака. Подопытным кроликом. И тоже в белом выутюженном костюмчике... Впрочем, черт с ним. Главное — что мы сделали свое дело. Все предсказывали нам неудачу, какой-то ортодоксальный доктор космических наук выступил с разгромной статьей в печати, которая, к счастью, не имела последствий. Шутка ли: гибрид живого существа и машины! Из лабораторных реторт — прямо в промышленность, да еще космическую. Нас обвиняли во всех смертных грехах, даже в идеализме. Мы только стискивали зубы. И вот первый в мире универсальный танк сверхзащиты выдержал предпоследнее испытание. Эти трое пижонов в белых брючках только что вернулись с Луны. Я злорадно ухмыльнулся, представив, как рыжий Пат О'Кейси, начальник порта нерегулярных ракет, тарашит голубые глазки, пытаясь понять, почему очутилась здесь эта троица, да еще без путевки. Явиться к Пату в белых брючках! К Пату, который некогда потерпел аварию в кратере Коперника и прошел со сломанной рукой по лунному бездорожью триста километров с десятичасовым запасом кислорода. Вот почему Лена упомянула о «гор-рячем привете»: Пат просто вышвырнул их с Луны.

Мне стало легче от этой картины, так ярко нарисованной в воображении. Я даже уговорил себя, что страшно рад, что не участвовал в этом полете. Потерять уважение Пата... Почему-то я был уверен, что это самое последнее дело.

Я не пошел в столовую. Пусть сами копаются в кастрюлях. Жаль, что не догадался заранее перетащить к себе из холодильника несколько банок персикового компота, но те-

перь уже ничего не поделаешь. И вдруг я представил, как они сидят за столом, трескают компот и смеются надо мной. Это была чушь, но я ничего не мог с собой поделать. Их хохочущие физиономии так и стояли перед моими глазами. И особенно Лена. Пять лет мы работаем вместе. Когда меня выгнали из «НИИробот» за создание робота-парикмахера, который уродовал людские прически, потому что его эстетические воззрения абсолютно не совпадали с человеческими, она помогла мне устроиться в «ГИПРОкибер». Оттуда меня тоже попросили за машину-композитора, которая почему-то выдавала такую разухабистую музыку, что почтенных ученых, воспитанных на классике, мучило. После этого я устроился, опять-таки с помощью Лены, в Академию Космических Работ. В самую бесперспективную, как считалось, группу спасательных лодок. А потом в группе появилась Лена. Почему она так заботилась обо мне? Только не из-за любви, это она тысячу раз говорила. Ну и пусть. Завтра проведу испытания и, если ничего не случится, уйду. Кажется, на Марсе требуются физики-экспериментаторы... Я уже с час ворочался на кровати. Сон не шел. А завтра необходимо быть со свежей головой. Принять таблетку, что ли? И вдруг меня осенило. Да, это будет прекрасный сюрприз на прощанье.

Я пулей вылетел из кровати, зачем-то завесил одеялом окно, хотя никто и не думал подсматривать, и принялся за дело. Когда все было готово, я потушил свет, снял одеяло и, приплясывая босыми ногами на сыром песке, добежал до Машины. Вернувшись, я юркнул в кровать и мгновенно заснул. Не помню, что мне снилось, только что-то хорошее.

Кажется, утром я здорово огорчил всех. Это ведь традиция — проводить испытания в новых, с иголочки, костюмах, так сказать при полном параде. Я отлично понял, почему и Лена и ребята вышли провожать меня в шортах и простых рубашках: оттенить мой праздничный вид, подчеркнуть торжественность момента. А я... Я появился в немыслимо мятой рубашке, штопанных грязных шортах, да еще с двухдневной щетиной. В розовое свежее утро, когда все блестело, умытое росой, это выглядело кошунственно. Мне показалось даже, что у Лены в глазах сверкнула слезинка. Лицо у нее стало каменное. Гиви насупился и не глядел на меня, усы у него обиженно вздрагивали. Так и казалось, что он сейчас взорвется: «Ну и черт с тобой, понымаишь! Сам будышь виноват!» Даже Кент потерял обычное хладнокровие. На мгновение во мне шевельнулось раскаяние: ну зачем плевать товарищам в душу? Но, взглянув на Лену, я снова ожесточился.

Торжественных речей не полагалось, но существовал ритуал похлопать по плечам уходящего в рейс. Черт знает, из каких времен он дошел до нас. Но и этого удовольствия я им

не доставил. Разбежался и вскочил внутрь Машины, не дождавшись, пока она спустит подножку. Затем положил ладони на края люка, сделал легкое мускульное усилие, и стенки послушно пошли навстречу друг другу. И только тогда я не выдержал, крикнул:

— Счастливо оставаться, братцы!

В тот же момент стенки сошлись так, что шва невозможно было отыскать, и я не услышал, что закричали товарищи.

Потом я нажал кнопку излучателя, и датчики, вживленные в тело Машины, подали ложные сигналы ее рецепторам. Теперь Машина уверена, что снаружи космическая пустота и холод. Условия — как на астероиде, и, следовательно, выпускать пассажира наружу нельзя. А пассажир — дурак. В этом суть испытания: защита от дурака. Вернее, защита дурака. Вернее, защита дурака от себя самого. Мало ли что может случиться в полете среди равнодушных звезд. Обезумевший от ужаса пассажир после катастрофы; космонавт, заболевший особым видом безумия — космической паранойей; ребенок, наконец, в последний момент втолкнуемый взрослыми в танк, чтобы хоть он спасся, — любой из них, оказавшись один на один с космосом, может метаться по каюте, отдавать идиотские приказы... Машина обязана повиноваться человеку, но только в той мере, в какой обеспечивается его безопасность. Вот на эту-то меру я и должен провести испытание.

Нормальному человеку трудно «вжиться в образ» безумца. Несмотря на модные теории психологов, усиленно подчеркивающих разницу между человеческим и машинным мышлением, человек вовсе не подвержен алогичным поступкам. Наоборот, его поступки обязательно логичны, хотя причины, вызывающие их, могут лежать очень глубоко. Даже у сумасшедшего своя логика. Вся разница между Машиной и человеком в том, что у Машины причины поступков всегда на виду. И так же она понимает причины человеческих деяний, разматывая виток за витком все возможные логические обоснования. Поэтому я заранее решил, что буду вести себя, как расчетливый самоубийца. Только так можно обмануть Машину, потому что это единственное, чего ей никогда не понять.

Я подошел к пульту, оглядел пять рядов разноцветных кнопок, почему-то не решаясь начать. На серийных машинах пульта, разумеется, не будет: он годен только в планетных условиях. Дело в том, что сейчас отдавать мысленные приказы нельзя. Машина прочтет и вторую мысль, подспудную, объясняющую для себя самого смысл первой. И мгновенно игра **будет** проиграна. Наоборот, нужно глушить все подспудные мысли, убедить себя, что жизнь действительно не стоит того, чтобы **ею** так уж дорожить. Я вспомнил черноволосую

головку с точеным носиком и решил, что это будет совсем нелегко.

Однако пора приниматься за дело. Я ткнул пальцем в кнопку аварийного открывания люка. В обычных условиях на этот приказ Машина должна мгновенно развести стенки и высунуть далеко наружу трап, чтобы пассажиры опрометью могли выбежать. В обычных условиях... Стены рубки заволоновались, по ним прошла дрожь. Машина явно удивилась: как можно отдавать такой приказ, когда снаружи смертельный космос? Разумеется, она не выпустит пассажира. Над пультом появились слова, лаконично объясняющие ситуацию. Я сделал отметку в журнале наблюдений и надавил кнопку «Полный вперед».

Так начался этот поединок.

«Полный вперед» — это вторая космическая в условиях Земли. Но в этом случае необходимо дать и координаты той точки в космосе, куда необходимо попасть, так как удержаться на поверхности Земли с такой скоростью невозможно. Как поступит Машина? Если она не двинется с места, ожидая уточнения команды, — это решение разумное, но неверное. Ведь в каюте дурак и его надо куда-то доставить. Впрочем, Машине надо еще разобраться, какой у нее пассажир.

Машина помчалась над самой поверхностью. Стенки рубки внезапно посветлели, будто растворились в наружном воздухе, и пригибающиеся кустики терскена, казалось, метут по ногам, а аккуратные саи мелькали в учащающемся, прямо-таки музыкальном ритме. Та-та-та-та... Та-та-та-та... Та-та... В памяти вспыхнул мотив самой быстрой части Шестой рапсодии Листа. Звуки гигантского оркестра нарастали с увеличением скорости. Этим показом движения Машина явно намекала, что следовало бы уточнить курс. Световой зайчик спидометра резво перескакивал с цифры на цифру. 200... 500... 800... 1000... Тысяча километров в час. Скорость по паспорту, больше Машина давать не собиралась. Судя по всему, она намеревалась огибать так Землю до бесконечности. Ну что ж, подождем несколько часов, а там снова будем биться над этим проклятым полуживым механизмом, который не выдержал элементарного испытания. Что толку крутиться над мертвой планетой, надо везти пассажира туда, где он сможет жить.

Я задумался и не засек, сколько прошло времени, когда Машина резко задрала нос и полезла в небо. Разумеется, я тут был ни при чем: если пассажир командует с помощью кнопки, Машина не станет вступать с ним в биосвязь, пока уверена, что он нормальный пассажир. Значит, догадалась сама. Интересно, куда она собирается меня везти? Я бросил взгляд на медленно вращающийся звездный глобус. Пока Машина доверяет пассажиру, она показывает конечную цель. Ага, Лу-

на. Ближайшая населенная планета. Разумно, я бы и сам так сделал. Беда лишь в том, что моя задача — спровоцировать Машину хотя бы на одно неразумное действие. Я нажал кнопку «Вверх» и не отнимал палец, пока Земля не оказалась за кормой. Попробуйте удержаться на ногах, когда пол вдруг становится вертикальной стеной. Пришлось вцепиться в пульт обеими руками. Правда, Машина услужливо соорудила в полу ступеньки для ног. Молодец, умница, но как ты, должно быть, злишься, что тебя сбили с правильных координат, а курс опять не уточняют! Ничего, старушка, придется тебе попотеть.

Кажется, ступеньки под ногами стали чуть уже. Опять намок? Я осторожно свесил голову. Как быстро уходит Земля! Желтая степь стремительно сокращалась, словно шагреновая кожа, замыкаясь розовыми полосками гор на севере и западе, узкой ленточкой озера на юге, зеленым пятном оазиса на востоке. Красные крыши Базы еле-еле проступали крохотными крапинками, а может, это просто рябило в глазах. Хорошо идет, молодец, плавно, без шума, не переходит на форсированный режим! Это очень неприятно, когда она идет на форсаже: силовые поля, взаимодействуя выше определенной напряженности, надрывно воют, как леший в старинных сказках.

А ведь скорость-то увеличивается. Я с трудом повернул голову к спидометру. Подбираемся к первой космической. Предполагаю, что делается в блоках памяти! Снова и снова со скоростью света Машина перетряхивает свои знания и убеждается, что там, куда мы легим, нет ни планет, годных для жизни, ни орбитальных станций. И все-таки Машина уходит в космос. Значит, пока доверяет человеку как носителю высшего знания. Ладно, сейчас носитель себя покажет!

Кнопка «Вертикально вниз» находилась в самом верхнем ряду. Чтобы достать ее, мне пришлось подтянуться обеими руками и опереться животом об острый край пульта. Попробуйте побалансируйте на животе, когда проклятая доска упирается в диафрагму и уж действительно ни вздохнуть, ни охнуть. А ведь предстоит подать команду, после которой неизвестно еще что будет. Не удивительно, что я невольно зажмурился. Мелькнула совершенно идиотская мысль: а вдруг ошибусь, нажму не ту кнопку? Вот было бы здорово! Я рассвирепел от злости на собственную трусость, вытаращил глаза как можно шире и изо всей силы придавил кнопку, рискуя сломать палец.

Хорошо, что я рассвирепел. Иначе нипочем бы не удержался на пульте, когда Машина сделала лихой разворот на сто восемьдесят градусов. Сначала край пульта так впился мне в живот, что дыхание прервалось, а в глазах понеслись огненные кометы. Затем я взмыл к потолку, не весь, разумеется, а только ноги и туловище: руками держался крепко. На мгно-

вание наступило тошнотворное состояние невесомости, а потом меня будто мощным прессом припечатало к пульта, и я потерял сознание. Не то Машина не успела полностью поглотить инерцию, не то не захотела этого сделать. В последнем случае она поступила совершенно правильно: я и сам за подобные штуки любому сказал бы пару «теплых» слов.

Очнувшись, я обнаружил, что лежу на самом краю пульта, свесив голову и ноги через угол. Левая рука мертвой хваткой вцепилась в окантовку, правая продолжала давить на кнопку. Первой моей мыслью было... впрочем, нет, первой была не мысль, а ощущение, что каким-то чудом я еще жив. Затем обожгло, что мы вот-вот врежемся в Землю: неизвестно ведь, сколько времени я провел по ту сторону сознания. Я не успел продумать эту мысль до конца, как совершенно непроизвольно отдернул руку и скатился с пульта. Совсем рядом с ужасающей скоростью желтой смертью налетала Земля. Мгновение — и будет удар...

Видимо, нервы под влиянием ужаса заставляют зрачки удлинять фокусное расстояние и, как следствие, приближать предметы. Наверное, отсюда и пошла пословица, что у страха глаза велики. Чем иным можно объяснить, что, как только я очухался, Земля оказалась далеко-далеко внизу? И мы вовсе не падали, а плавно опускались. Требуемое неподчинение? Нет, Машина пунктуально выполнила приказ «Вертикально вниз», но в своей интерпретации. С небольшим запозданием меня прошиб пот и мускулы обмякли. Я сел на пол, прислонившись к прохладной обшивке пульта, и старался унять противную дрожь, начинавшуюся где-то у копчика и морозной волной пробегавшую по всему телу. Долго это не удавалось, пока я снова не разозлился на себя, а заодно и на Машину. Тогда все опять пришло в норму. Я сел на пульт, крепко обхватив его ногами, заставил Машину наклонить нос к Земле и скомандовал максимальную скорость.

Должно быть, Машина тоже рассвирепела. Во всяком случае, она ринулась к Земле с такой готовностью, какой я не ожидал. Вполне естественно: у биомеханического организма должны быть какие-то эмоции. Это моя собственная теория. Правда, ее никто не разделяет, я не раз схватывался на эту тему и с Кентом, и с Гиви, и с Леной. Они считают, что эмоции у машины могут быть только те, которые разрешил человек. Мои же парикмахер и композитор дают мне право считать, что мы не всегда властны над эмоциями роботов. Это, конечно, только теория. Но теория тем и хороша, что имеет право на существование, какой бы абсурдной ни казалась. Вот когда накапливаются неопровержимые факты, тогда теория либо рассыпается в прах, либо приобретает железобетонную силу закона.

Земля мчалась на нас со скоростью метеорита. Желтое пятно степи отодвинулось влево за борт, зато розовая полоска на краю зловеще набухла, как атомный гриб, меняя цвет на грязно-коричневый, перерезывалась морщинами, ошетикивалась острыми клыками... Горы. Их острые пики хищно вытягивались навстречу.

Я не мог заставить себя взглянуть на альтиметр. И так видел, что осталось мало, слишком мало...

Какая-то гнетущая тяжесть залила затылок, протянула щупальца к вискам, сдавила лобные доли. Точно свинцовый обруч плотно стиснул голову. А потом начали взрываться крохотные гранаты. Точка... тире... тире... точка... Гранаты рвались все глубже, чаще, меня затошнило, стало муторно и беспомощно, словно в кошмарном сне, когда не можешь пошевелиться, чтобы избежать опасности. Точки и тире сыпались, как пулеметная очередь, сливаясь в слова, разрывающие сознание. Это Машина исследовала мой мозг, упорно спрашивая: «Зачем? Зачем?» Закрыв глаза, напряжив мускулы до судорог, я твердил в ответ: «Надо! Надо!»

Палец онемел от напряжения. Теперь уже не он давил на кнопку, а кнопка на него. Будто кто-то внутри пульта изо всей силы выдавливал ее наружу. Пришлось удерживать ее в утопленном состоянии кулаком.

А горы были совсем близко. Их угрюмые пятнистые бока, казалось, трепетали от предвкушения... Вон тот камень, серый, с отломанным углом, что наполовину высунулся из коричневой осыпи. Он, пожалуй, устоит и перед таким ударом. Ну, может, еще один угол отломается. Какой у него неприятный изъеденный бок...

И вдруг кнопка провалилась. Разумеется, это только казалось: она осталась на месте, а исчезло сопротивление. Это было неожиданно и страшно, страшно своей безнадежностью. Так, должно быть, расстреливаемый, уловив в последнее мгновение белые одуванчики на дулах, успевает интуитивно понять — не осмыслить, на это уже нет времени, — что это все-таки конец: ибо до этих одуванчиков в нем все еще теплилась сумасшедшая надежда.

В тот же миг серый изъеденный бок метнулся вправо и исчез, а на меня обрушился удар. Впрочем, «обрушился» не то слово. Просто не могу подобрать точное определение той силы, что смяла, раздавила меня, оторвала от пульта и, как тряпку, швырнула в угол. Стены рубки, вытягиваясь длинными языками, хлестали меня, гоняли по диагоналям, перебрашивали по воздуху.

Я летел по рубке, обезумев от увесистых шлепков расшрепавшего механизма. Черт побери, у этого монстра больше эмоций, чем надо бы. Унизительно получить взбучку от Маши-

ны, которую создал собственными руками! Впрочем, унижения я не чувствовал. Наоборот. Как это ни странно, меня охватывала гордость.

Внезапно ноздри защекотал резкий запах. Кислород. И еще какая-то адская тонизирующая смесь вроде нашатыря с медом. Машина меняла состав воздуха, чтобы «образумить» пассажира. Я валялся на полу, мысленно собирая себя по кусочкам, и жадно вдыхал свежий, проясняющий мысли газ. Пожалуй, мы слишком тешим собственное самолюбие, внушая Машине такое неоправданное почтение к человеку. По расчетам, на этом испытании должны были закончиться, однако Машина все еще готова выполнять приказания. Ну что ж, у нас в запасе есть еще один сюрприз. Если Машина перешагнет и через него, испытания придется признать неудачными. Тогда снова за расчеты. А жаль: три года работы! На мгновение меня пронзила острая жалость к затраченным трудам. В скольких удовольствиях было себе отказано, и все напрасно! Но тут же передо мной встали лица шести мальчишек, детей физиков с Эйры. Страшные, не детские лица. Я был в поисковой партии, искал «Наутилус», который они угнали «покататься». И ни один из этих дураков не умел обращаться с ракетой. Только через месяц мы случайно нащупали их радаром совсем в другой точке космоса, чем предполагалось! Месяц! Счастье еще, что они не сумели войти в подпространство!

Наверное, так же и летчики-испытатели раньше никогда не летали одни. За их спинами, в салонах, сидели пассажиры. Дети, женщины, полные здоровья и сил мужчины. Тысячи пассажиров, десятки тысяч. И ради их жизней летчики рисковали своей, выжимая из машин максимум, выискивая ту крохотную, незаметную причину, которая через десятки или сотни рейсов приведет к катастрофе. Найти и устранить. Так уж повелось у людей: ничто не дается даром. Ты должен самым дорогим, самым ценным для тебя поручиться за людей, которые ходят по Земле, смеются, любят и ни о чем не подозревают. А самое ценное у человека — его жизнь...

Мы опять мчались над Землей. Высота три тысячи. Теперь в автопилот введены точные координаты. Однако я заметил, что Машина повиновалась не сразу. Она сначала «проиграла» маршрут в блоке памяти, уверилась, что ничего опасного на пути нет, и только после этого набрала скорость. Да и то небольшую. Это хорошо: Машина не доверяет пассажиру. Но все-таки слушается его, пока приказания разумны. А моя цель — довести Машину до открытого неповиновения. Так испытатели заставляли самолет разваливаться в воздухе, чтобы выяснить предел перегрузок.

Ноздри уже не щипало: Машина снова изменила состав

воздуха, как только пассажир, по ее убеждению, «пришел в себя». Но все-таки кислорода она давала больше нормы. Я понял это по отсутствию малейших следов усталости и по ясности мысли. Если бы еще не болел синяк под глазом! Я не поленился подойти к пульта и посмотреться в зеркальную шкалу альтиметра. Ну и вид!

Землю закрывали облака. Плотные, пухлые, как подушки на постели великана. По ним, ломаясь в ухабах, ползла тень — остроносая сигара. Самая удобная форма для любых неожиданностей. Внезапно нос сигары наклонился, и облака дробно застучали по корпусу.

Машина села точно на голый курган с каменной пирамидкой на вершине. Я надел на голову обруч с биодатчиками и, стараясь мыслить четко и конкретно, стал отдавать приказания. Теперь можно было войти в биоконтакт с Машиной: вторично она не полезет проверять психику.

В пирамидку вмурованы два кубика — белый и черный. Два симпатичных пластмассовых кубика, одинаковых по весу и объему, только черный обладает радиоактивностью, убивающей человека максимум за два часа. Я отдал приказание разложить пирамидку и доставить кубики в рубку. Машина вытянулась, нос ее почти вплотную подполз к пирамидке. Мне не было видно, но я отчетливо представил, как жадно дышит серое пятно, колыхаясь и чмокая, точно голодное болото. Все-таки не стоило, наверное, снабжать спасательную лодку с эмоциями таким оружием. По стенам пробежала дрожь, а пирамидка медленно таяла в воздухе. Все, будто ее и не было. Растаяли и кубики, но их Машина снова «соберет» сейчас по молекулам. Мне стало не по себе, когда я подумал, что Машина точно так же могла «разобрать» меня, чтобы «собрать» в безопасном месте. Тогда мне уже никогда не суждено было бы вновь материализоваться: на любой планете, на любой орбитальной станции датчики показали бы Машине космический вакуум. Миллионы лет бродила бы она по Вселенной, ища обитаемую планету... Мы не предусмотрели такой вариант. Впрочем, мы не предусмотрели и другого: что делать, если Машина внесет черный кубик в рубку. Были абсолютно уверены, что она этого не сделает. Да я и сейчас в этом уверен. Иначе было бы очень уж глупо. А если и внесет, тоже ничего особенного: понадобится несколько секунд, чтобы приказать его выбросить. За это время радиация большого вреда не сделает. Просто прибавит несколько рентген к тем семидесяти, что у меня уже есть.

Передняя стена заколыхалась, вытянулась в длинный язык, на кончике которого приплыл белый кубик. А в воздухе над пультом появились слова и цифры, объясняющие, что черный кубик опасен. Любому здравомыслящему пассажиру этого

было бы достаточно. Но я-то ведь не здравомыслящий. Поэтому, поправив биообруч на голове, я отдал идиотский приказ: подать сюда черный кубик.

И сразу стены рубки потухли. Черные глянцевые плоскости — больше Машина ничего не позволяла мне видеть. Теперь она окончательно убедилась, что везет полнейшего идиота. Я ухмыльнулся и отдал серию приказов — биотоками и на пульте. Приказов вполне разумных. Никакого эффекта. Машина не отзывалась. Она куда-то тащила меня, скорее всего на Луну. Ну что ж, испытания окончены. Я послал импульс датчикам, чтобы они прекратили сбивать Машину с толку, и почувствовал, что курс изменился: Машина повернула на Базу. Потом я раскрыл чемоданчик, который ночью спрятал в рубке, и достал белый костюм и бритву.

Экзамен выдержан. Машина отказалась повиноваться на четвертом идиотском приказе — это в пределах нормы. Несмотря на эмоции, она не выбросила меня в космос, не усыпила, не разложила на молекулы. Она служила человеку и честно боролась за него против него самого. Ей может довериться любой потерпевший крушение.

Несколько дней займут необходимые формальности, пока Ученый совет Академии Космических Работ рассмотрит материалы и вынесет решение, а затем Машину поставят на конвейер. Больше ей никогда не придется летать. Все, что мы вложили в нее, все, чему она сама научилась за время испытаний, она передаст тысячам других машин, подобных ей. А может, и не совсем подобных, это уж ей решать. Наверняка другие машины не будут так долго определять компетентность пассажира. Им достаточно будет одного глупого приказа. Я потрогал синяк. В конце концов, не такая уж большая плата за то, чтобы другие в будущем не получали синяков.

У меня было достаточно времени, чтобы привести себя в порядок и заполнить журнал. Про синяк я, разумеется, писать не стал: никому, кроме меня, это не интересно.

Мягкий толчок, стены рубки слегка опадают, и вот появляется светлая щель. Солнечный свет кажется нестерпимым, ощупью ступаю на Землю и слышу общий вздох и голоса:

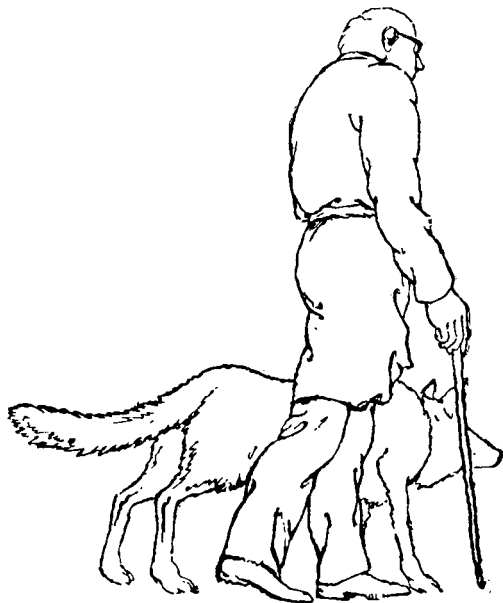
— Очень кароший мистификаций. У нас тоже любить так мистифицировать.

— Малчышка, понимаишь, рэмна тэбэ нада. Иди поцелую, дарагой. И не нада ничего говорить. Все ясно.

И еще один голос — милый и с такими необычными интонациями, что я мгновенно распахиваю глаза:

— Володичка, иди скорей в столовую. Я тебе приготовила такой ужин...

И тут я понимаю, что солнце не встает из-за гор, а садится за них и что испытание продолжалось шестнадцать часов.



Скорин И.

РАССКАЗ ОТСТАВНОГО «СЫЩИКА»

Десять суток просидеть за решеткой в противной, пропитавшейся карболкой и еще какими-то запахами клетке трудно. Трудно вдвойне, если знаешь, что не виноват; знаешь, что выполнил не только приказ, но и свой долг. Плохо сидеть без работы и прогулок, и к тому же еще и отвратительно кормят. Миска бурды на завтрак да такая же порция на ужин. Если бы не передачи, то хоть пропади. Правда, появилась уйма свободного времени и можно вспоминать друзей, трудную работу и все несчастья, свалившиеся за этот месяц.

Детства он почти не помнил, зато отчетливо сохранилась в памяти школа. Учился он прилежно и окончил ее с медалью. А сколько потом было этих медалей! Конечно, каждая медаль, приз или диплом доставляли большое удовольствие его другу

и наставнику, старшему лейтенанту милиции Акимову. Они проработали вместе целую вечность — восемь лет, и если бы не эта невеста откуда свалившаяся болезнь, наверное, все было бы по-прежнему. Легкая простуда, на которую он, в общем-то, не обратил внимания, дала осложнение, и его списали за невозможностью дальнейшего использования в уголовном розыске.

Сейчас, лежа на соломенном матрасе, он какой уже раз перебирал в памяти все события. Правду говорят, что уж если не повезет, то не повезет. Отчетливо запомнился тот день, когда к нему пришел старший лейтенант милиции Акимов, уселся на пороге и начал говорить. Он не все понял из того, что говорил друг, разобрал только главное: что ему нельзя больше работать, потому что после болезни пропало его основное качество — обоняние и по состоянию здоровья его списали из уголовного розыска. *Наверное, так думал — а он наверняка все понимал и умел думать — этот огромный служебно-розыскной пес Амур.*

В этот день Амур слушал Акимова внимательно, а тот говорил и украдкой смахивал слезу; говорил, что никогда не забудет Амура, что теперь у него уже не будет такого умного и добросовестного помощника, что ему пришлось взять другую собаку, так как он проводник, а проводнику нельзя без собаки. И он, Акимов, еще не знает, что получится из этого нового помощника. Перебирая парадный ошейник, сплошь увешанный медалями и жетонами, друг рассматривал их, как будто раньше никогда не видал, брал в руки медаль, смотрел и вспоминал, где они ее заработали. А Амуру нечего было вспоминать, он все их помнил наперечет. Несколько были за красоту шерсти и фигуру, как говорится, за экстерьер, но большая часть — за состязания. Любил Амур эти состязания. Ему нравилось гордо пройти по рингу перед публикой и судьями и нравилось идти впереди других собак. Команды он тогда выполнял особенно четко, с удовольствием, а когда разрешалось проявить инициативу, то с особой сноровкой показывал все, что знал. Так было до болезни. Но когда Амур заболел, не помогли ни врачи, ни лекарства, хотя в питомнике очень хороший врач — Галина Викторовна. Она поднимала на ноги почти издыхающих собак. Все помнят, как года три назад ранили Ладу, красивую восточноевропейскую овчарку с дымчатой шерстью, стройную и очень умную. Она пошла на задержание вооруженного бандита, ловко схватила крепкими зубами руку с пистолетом, но не заметила, что в другой у преступника был нож, и бандит ударил Ладу ножом. Проводник привез ее в питомник полуживую. Ох и переполох тогда поднялся! Начальник питомника и проводники разволновались, а собаки устроили такой лай, что их едва усадили. Га-

лина Викторовна спасла Ладу, сделала операцию, потом носилась с ней, как с малым щенком. Амур вместе с Акимовым навещал больную. Лада выздоровела и снова начала работать. Амур встречался с ней изредка: то на тренировочной площадке, то в машине, когда везли на дежурство, и даже пытался ухаживать, но красавица Лада несколько раз ласково куснула его и отвергла случайные знакомства. А вот Амуру врач не помогла, хотя и поила всякой гадостью, делала уколы.

После того как Акимов прощался с Амуром, он заходил к нему еще несколько раз, приносил сахар, вкусные вещи, от которых пахло домом. А однажды Амур, бросившись навстречу к старшему лейтенанту, услышал, что от его друга пахнет собакой. Другой собакой. Амур понял, что это конец, что у Акимова есть уже другой помощник. Амур отошел в дальний угол вольера и тяжело и горько заскулил. В тот день и на следующий Амур не притронулся к еде. Нет, он не объявлял голодовку. Ему просто не хотелось есть. Ему ничего не хотелось. Он забился в угол утепленной части своего жилья, положил голову на вытянутые вперед лапы и предался молчаливой тоске. Дежурный по питомнику несколько раз заходил к нему, приходила Галина Викторовна, говорила ему какие-то ласковые слова, но что эти слова, когда у него уже нет больше друга!

Потом пришел начальник всего служебного собаководства, невысокий плотный подполковник — Иван Егорович. Проводники его боялись, а собаки ему доверяли. Амур стлично знал этого подполковника. Знал, что он понимает собак, не дает их в обиду и держит в строгости всех людей. Сразу припомнился случай, когда во время тренировки молодая служебная собака испугалась лестницы и не пошла вверх, а ее проводник, тоже молодой, ударил трусишку поводком. Подполковник отчитал проводника, приласкал собаку, пустил на лестницу Амура, еще несколько опытных взрослых собак, а затем и молодую, и та пошла. Все это промелькнуло в памяти Амура, когда в вольер вошел подполковник. Он опустился на корточки рядом, приласкал его, почесал за ухом, погладил лоб и начал говорить:

— Что же нам делать с тобой, Амур? Ты здоровый, сильный, хорошо тренированный пес. Хорошо знаешь свою работу. Но без чутья нам ведь нельзя. В городе и так уйма посторонних запахов на следах, а теперь ты их не разберешь. Вспомни, как трудно было тебе летом во время ограбления магазина, когда преступники испортили свой след.

И Амур вспомнил.

Дежурство уже подходило к концу, занималось летнее утро. В ожидании происшествий Амур дремал в небольшом вольере возле дежурной части, где помещали собак, привезенных из питомника в суточный наряд. Он хорошо усвоил, что на дежурстве тишине и покою не следует верить. Просто нужно ждать. Когда Амур услышал быстрые шаги и заметил пробежавшего к машине шофера, сразу понял: что-то случилось и придется ехать. Вскоре торопливо выбежал Акимов со своей полевой сумкой и парадным ошейником. Ох, этот Акимов, любил он блеснуть! Любил приехать на происшествие и показать собравшимся Амура при всех его регалиях. Амур, по давно заведенному порядку, снял с гвоздя туго скрученный в жгут длинный поводок, зажал его в зубах и ждал. Акимов открыл дверь и жестом показал на микроавтобус. К нему уже спешили эксперт с кожаным чемоданом в руке, врач в белом халате, от которого всегда противно пахло, точно так же, как здесь сейчас.

Вышла следователь-женщина, работник уголовного розыска, молодой, видно новый, раньше Амур на дежурстве его не видел. Амур застыл у двери — не мог же он так же, как эти мужчины, лезть вперед, не пропустив женщину. Пока все сиделись, Акимов успел надеть на него парадный замшевый ошейник, тяжеленный-претяжеленный от медалей и жетонов. Последним вышел самый главный — подполковник Виктор Иванович. Он всегда выходил последним, никогда не торопился, но и не опаздывал. Он попросил женщину-следователя сесть рядом с шофером, и машина рванулась. Амур очень любил эти поспешные, но без суматохи выезды, любил смотреть в окно, ловить встречный ветер, в котором всегда, даже в жару, была свежесть и прохлада. Амур стоял посредине автобуса и смотрел на Виктора Ивановича, и тот, поймав его взгляд, как обычно понял и подвинулся, пропустил Амура к окну. Акимов освободил поводок, и Амур высунул голову в открытое окно навстречу ветру. За окном мелькали дома, деревья, улицы. Во встречном потоке убавилось городских запахов, пропал раздражающий бензин, не осталось копоти, гари, испарений асфальта, и Амур понял, что они едут на окраину, и прислушался к разговору. Виктор Иванович рассказывал:

— Один рыбак встал чуть свет и поспешил на зорьку. Шел мимо магазина и заглянул к сторожу, хотел узнать, как ему вчера ловилось. Обошел магазин, а сторожа нигде нет. Заглянул в ограду — двери в склад открыты, а в складе сторож убитый.

При слове «склад» Амур сразу же представил себе уйму запахов, представил, как трудно будет ему отыскать тот самый главный запах, что потом нужно запомнить и идти по его следу.

Не любил он эти склады, в них обязательно что-то разольют, разбросают самое пахучее, а ему разбирайся. Ну да ладно, решил он про себя, не впервой, разберемся.

Тем временем автобус пробежал по веселой, с травой и деревьями, улице и остановился возле светлого, из бетона и стекла магазина. Первым выпустили из машины Амура. Акимов отпустил его на всю длину поводка и позволил осмотреть лужайку, отдохнуть от поездки.

Амур обнюхал несколько столбиков, по давней собачьей привычке оставил на каждом свою роспись, а оперативная группа окружила мужчину с длинными удочками и слушала его рассказ. До Амура долетел, видимо, конец разговора. Хозяин удочек говорил:

— В склад я не заходил, заглянул в дверь, увидел, что дружок лежит на полу, и бросился к телефону.

Амур подумал, что, прежде чем искать след, нужно хорошо обнюхать этого рыбака, чтобы потом не перепутать. Акимов привязал Амура к дереву, растущему возле тротуара, а сам вместе с Виктором Ивановичем и врачом отправились в магазин. Амур наблюдал, как шли они медленно, уставившись себе под ноги, и с благодарностью подумал, что они стараются для него, хотят не затоптать следы, по которым потом ему работать. Когда они скрылись во дворе магазина, Амур стал рассматривать рыболова: мужчина как мужчина; конечно, взволнован, повторяет свой рассказ следователю, а та записывает все в блокнот. Закончился их разговор, и рыболов с опаской подошел к Амуру, с любопытством, не стесняясь, словно на выставке, стал его рассматривать. Пересчитал медали и спросил у следователя, сколько же Амур раскрыл преступлений. Та пожала плечами и ответила, что много, но сколько, она не знает. Конечно, не знает. Этого и сам Амур не запомнил. Разве что знают Акимов да начальник питомника. А рыбак снова спросил, за что у него награды, за пойманных преступников? Вот чудак, подумал Амур. Собакам дают награды только на выставках да на соревнованиях.

За раскрытые преступления иногда награждают Акимова или его начальника. Когда они поймают преступников, Амура, конечно, хвалят, угощают чем-нибудь вкусным. Если бы умел, Амур мог бы рассказать, что у Акимова на руке часы за пойманных ими грабителей. Дома — радиоприемник и фотоаппарат за раскрытые кражи и разбои. Что есть у его друга грамоты и тоже медали за преступников, которых они поймали вместе. Но не может же он, Амур, заставить Акимова все это таскать с собой на происшествия. Достаточно и этого надоевшего ошейника.

Со двора магазина выбежал веселый Акимов. Амур сразу и не понял, чему его друг радуется, а тот бежал и кричал:

— Живой, живой старик! Лежал связанный и кляп во рту.

Акимов быстро снял с Амура парадный ошейник, спрятал его в полевую сумку, проверил, хорошо ли закреплен поводок, и направился уже с Амуром к магазину. Амур едва поспевал за ним. Полагалось идти у ноги, а друг торопился, и ему, Амuru, пришлось бежать трусцой, словно какой-то дворовой шавке.

Сторож-старик, не переставая проклинать бандитов, рассказывал, что на него напало двое верзил, отняли ружье, связали, засунули в рот тряпку, от которой он чуть не задохнулся, забрали товары и часа через два скрылись. Он показал и место, где его подкараулили, когда он обходил магазин; рассказал, что веревка их собственная, что грабители принесли ее с собой. Акимов дал понюхать веревку Амuru, сложил ее в целлофановый пакет, а затем упрятал в полевую сумку и ему приказал искать. Тем временем Виктор Иванович сказал пареньку из уголовного розыска, чтобы тот сопровождал Амура и Акимова на всякий случай, будто они сами не справятся с какими-то двумя преступниками.

Амур вспомнил, как сразу же нашел нужный запах и взял след. Он побежал быстро. Акимов-то привык и поспевал за ним, а инспектор сразу запыхался. След пересек две улицы, большую рошу, где было тихо и пахло соснами и цветами, и вывел на пригорок. Амур запомнил запах преступников и шел уверенно. Противный был этот запах. В общем, какая-то смесь: пахло грязными ногами, водочным перегаром, табачным дымом и еще чем-то, но чем, Амур никак не мог разобраться. Он даже замедлил бег, пытаясь вспомнить, чем же это пахнет еще. Пробежали они довольно далеко. Спустились с пригорка; возле широкой грунтовой дороги, в канаве, Амур в полную силу легких через нос втянул воздух и чуть не упал. На него нахлынула волна сладковатого, удушливого запаха. Если бы он принюхивался осторожно, то такого ошеломляющего впечатления не было бы, а тут, разгоряченный азартом погони и бегом, он дышал глубоко и вместе с воздухом втянул в себя огромную дозу какого-то дурмана. Амур бросился от следа в сторону, попытался обойти удушливое место, закружил, сделал петлю, вышел на дорогу, но всюду было одно и то же. В безветренном воздухе противно пахло так же, как почти всегда пахнут белые тряпочки, которые люди называют носовыми платками.

Амур побродил по дороге и вернулся к Акимову, всем своим виноватым видом показывая, что потерял след. Этот след растворился, исчез в новом всепоглощающем запахе. То, что Амур потерял след, Акимов понял сразу. Понял это и тот паренек, что бежал с ними. Но вот почему он его потерял, тогда они не догадались. Они стали бродить по дороге, искать следы машины или лошади, решив, что бандиты уехали. А чего там искать? Понюхали бы — и сразу стало бы ясно. Посовещав-

шись, Акимов решил вернуться к магазину и еще раз пустить его, Амура, по следу. А инспектор сказал: бегайте сами, а он пойдет по дороге направо, в видневшийся поселок, и там будет все проверять. И ушел.

Они вдвоем с Акимовым вернулись к магазину. Во дворе возле переносного стола сидела следователь. Виктор Иванович ей что-то говорил, а она записывала. Эксперт фотографировал, а доктор беседовал со сторожем. Подполковник, едва заметив их, стал спрашивать:

— Ну что? Как? Неужели след потеряли?

Амуру стало не по себе. Он поджал хвост и виновато растопырил уши. Подполковник потрепал его по шее:

— Как же так, Амур! Ты же лучший специалист по этим самым следам, и вдруг такой конфуз! Примените, товарищ Акимов, еще раз.

Осмотревшись, Виктор Иванович не нашел работника уголовного розыска.

— А где инспектор?

— Пошел в поселок,— доложил Акимов.— Решил искать сам.

— Жаль. Некого мне больше с вами послать. Так что обходитесь сами.

Пока Акимов и Виктор Иванович разговаривали, Амур подошел к следователю и обнюхал ее сумку, которая лежала на земле возле стола. Едва он осторожно потянул в себя воздух, как снова почувствовал тот же запах, что и там, на дороге. Только из сумки пахло значительно слабее, не так резко.

Он взял след, и они с Акимовым побежали. У оврага все повторилось снова.

Акимов сел на траву рядом с Амуrom и начал советовать:

— Что же случилось здесь, дружок мой Амур? Давай разберемся. Давай посмотрим, вместе понюхаем.

Увидев, что поблизости нет никого посторонних, Акимов опустился к злополучной канаве на четвереньки и стал все осматривать. Вот он удивленно крикнул, вот что-то схватил в траве. Это оказалась зеленая пластмассовая пробка, понюхал ее сам и протянул Амуру. Амур сразу отвернулся, от пробки пахло тем же самым, что распространялось вокруг и поглотило запах следа. Акимов довольно улыбнулся, снова сел рядом и заговорил:

— Понятно, Амур, ни одна уважающая себя собака с хорошим чутьем не любит одеколona. Значит, эти бандиты здесь его разлили. Зачем? Для того, чтобы тебя сбить со следа. Если их здесь ждала машина, им можно было просто сесть и уехать без всякого одеколona. Потом, сколько мы прошли по следу? Километра три, не меньше. Зачем же банди-

там рисковать, тащиться с вещами, если у них машина? Можно было сесть в нее где-нибудь поближе и сразу же уехать. Нет, Амур, инспектор ошибся, у бандитов не было машины.

Амур обрадовался, завилял хвостом, оттого что Акимов и на этот раз его понял.

Старший лейтенант достал и закурил противную сигарету и не торопясь продолжал говорить:

— Если бандиты живут в том поселке, куда ушел инспектор, и не имеют машины, зачем же им идти по дороге, где их могут заметить? Им лучше идти рощей, ведь она подходит почти к поселку. Почему же они именно здесь залили свои следы одеколоном? Почему именно здесь захотели нас обмануть?

Акимов посмотрел в сторону небольшой деревни, раскинувшейся впереди за лугом, и, погладив по голове Амура, спросил:

— Слушай, Амур, а может быть, эти проходимцы живут вот тут, неподалеку, в деревне? Тогда есть резон, прежде чем отправиться домой, на всякий случай запутать следы. Давай пойдем вон той тропинкой и там попытаем счастья. Они с награбленным наверняка шли огородами; вот мы эти огороды и осмотрим, там и отыщем их следы — не хватит же у них одеколона на всю округу.

Когда они подошли к деревне, она уже просыпалась. На дороге сильно пахло молоком, и Амур понял, что уже прогнали на пастбище стадо. Возле крайнего дома у колодца стояла женщина с пустыми ведрами. Ей, наверное, не приходилось еще вот так поблизости видеть проводника с собакой, и она их внимательно рассматривала. Акимов подошел, поздоровался. Достал из колодца ведро воды, потом второе, наполнил ведра женщины, зачерпнул третье, налил воды Амуру в небольшую поилку, сделанную рядом с колодцем, разрешил ему пить. Сам напился из ведра. А женщина все стояла, не решаясь спросить, хотя любопытство и не позволяло ей уйти, не узнав, зачем пожаловали они в деревню. Акимов понял это и рассказал, что в пригороде ночью ограбили магазин и вот они с Амуром ищут бандитов, и спросил, нет ли у них в деревне каких-нибудь шалопаев, которые рискнут на эдакое дело. Амур, прислушиваясь к тому, что говорил старший лейтенант, подумал, что Акимов правильно спрашивает. Что же тут скрывать? Через час или два все равно все узнают: и так каждому ясно, что работник милиции, да еще с собакой, да на рассвете без дела в деревне не появится.

Женщина подцепила ведра коромыслом и, раздумывая, обронила:

— Нет у нас в деревне своих шалопаев. А вот у Ньюшки,

в пятой избе с того края, посмотрите. У нее часто гости бывают. Разные.

Сказала и ушла. Акимов достал из полевой сумки целлофановый пакет, вынул веревку и подозвал его, Амура.

— На вот, понюхай, а то, наверное, забыл, чем эти бандиты пахнут, и пойдем по деревне! Зайдем, конечно, и к той Нюшке, но ты нюхай. Эти мерзавцы могут быть и у кого-нибудь другого.

Первыми отреагировали на их появление деревенские собаки; одни, поджав хвост, бросились восвояси; другие, отбежав в сторону, подняли лай и тут же притихли, так как Амур шел молча и сосредоточенно. Он не привык обращать внимание на бродячих собак. Из некоторых дворов уже вышли люди. Впереди, из калитки, крепкий здоровый парень вывел мотоцикл. Установил его на подножку и стал копаться в моторе. Когда Амур со старшим лейтенантом проходили мимо, он проводил их долгим, внимательным взглядом. Все это заметил Амур, тщательно принюхиваясь, стараясь не пропустить запомнившиеся запахи. Когда они подошли к Нюшкиному дому, Амур верхним чутьем схватил тот самый запах, который был там, у магазина. Он забеспокоился, попросил у Акимова подлиннее поводок и, бросившись к воротам, нашел потерянный след. Амур даже взвизгнул от удовольствия и потянул во двор. Акимов догадался, что нужный след найден. Акимов приказал Амуру вести себя тихо, отстегнул поводок от его ошейника, приготовил пистолет, и они вошли в дом. В комнате за столом сидели женщина и двое мужчин, а рядом на диване лежали горой плащи, кофты, костюмы. Едва потянув носом, Амур сразу понял, что след, по которому он шел, оставили именно эти двое. Он заворчал, и тогда один из бандитов бросился к открытому окну. Команду старшего лейтенанта Амур выполнил молниеносно и успел схватить убегавшего, когда тот перегнулся через подоконник. Ох и крик же поднял этот тип, когда Амур втащил его в комнату! Оба бандита подняли руки. Акимов усадил их в пустой угол, а ему, Амуру, велел охранять, а сам в окно несколько раз посвистал в свисток. Перед тем как в дом вбежали мотоциклист, еще какие-то люди и тот самый инспектор, что ушел в другую сторону, Акимов, сжимая оружие в одной руке, другой надел Амуру парадный ошейник.

Инспектор остался в доме у Нюшки, а они вдвоем повели бандитов к магазину. Шли вдоль всей деревни: впереди — бандиты, за ними — Амур весь в медалях и рядом старший лейтенант...

В соседней клетке застонала, завозилась маленькая несчастная собачонка с грязной шерстью и слезящимися глазами. Амур встал со своего матраца, подошел к проволочной

сетке и с грустью посмотрел на соседку; ему было жаль беднягу, но он ничем не мог ей помочь. Подождал, пока та успокоилась, и только тогда вернулся на свое место. Лег, прикрыл глаза и предался воспоминаниям.

*

Амур отчетливо помнил тот день, когда пришел к нему в вольер начальник питомника. Помнил, как он его успокаивал, как говорил, что не хочет отдавать в сторожевую службу, где Амуру придется сидеть на цепи круглыми сутками, что он, Амур, своим трудом заслужил лучшую долю, что нет для собаки пенсии, но подполковник обязательно устроит его в хороший дом к славным людям.

Амур знал, как живут домашние собаки: жирные, выхваленные, ленивые. Изо дня в день ничего не делают, спят на мягких постелях, кормят их вкусно. Встречался он с такими домашними собаками и на выставках, и на происшествиях. Не раз завидовал. Особенно тогда, когда приходилось мокнуть под дождем. Плестись по слякоти, сознавая, что в такую погоду, когда добрый хозяин даже паршивую собаку из дома не выгонит, искать след бесполезно. Но работа есть работа, и он трудился: в стужу, в дождь, в жару. Конечно, хорошо бы пожить в тепле, у добрых людей, отдохнуть от этой суматохи. Ведь здесь, в питомнике, его-то жилье даже зимой не отапливается: не полагается служебно-розыскных собак делать неженками. Бывало, проторчит весь день на морозе, едва согреется, возвращаясь в машине,— и снова на холод. И еда не ахти какая: больше овсянка да мясные обрезки, что-нибудь вкусное перепадает редко. А потом, в уголовном розыске служба уж больно беспокойная. Того и гляди, кто-нибудь пырнет ножом, как Ладу.

Амур рассуждал сам с собой и ждал.

Однажды под вечер подполковник пришел с пожилым невысоким мужчиной. Назвал его Николаем Михайловичем и сказал Амуру, что это его новый хозяин. Чтобы Амур лучше понял, пристегнул к его ошейнику поводок и торжественно передал его из рук в руки. Амур, выходя из питомника, взглянул на длинные ряды вольеров, в которых остались собаки, те, кто еще работают, те, кто могут работать. Посмотрел на тренировочную площадку с лестницами, барьерами. Прошел мимо медпункта, в котором распорядилась Галина Викторовна, и ему стало не по себе. Отяжелели и словно сами останавливались ноги, видно, не хотели уходить из питомника, где прошла вся жизнь.

В машине, которой управлял его новый хозяин, Амур жалобно заскулил.

Николай Михайлович всю дорогу его успокаивал, рассказывал, что он тоже, как и Амур, не работает, уже на пенсии, что рядом с его домом лес и они там будут гулять, что квартира у него большая и Амуру будет привольно, его будут любить, ласкать.

Дома его встретили хорошо. Накормили, хотя он не был голоден.

В коридоре, в теплом, чистом углу, устроили мягкую, удобную постель, и Амур сразу уснул. Утром его поводили по всей квартире, разрешили заглянуть вниз с балкона. В белой чистой миске дали вкусную еду. Угостили сахаром, хотя он ничего не делал и, конечно, никак его не заработал. Днем Амур улегся на балконе на солнце, дремал и думал, что ему здесь хорошо, что теперь он будет жить спокойно, без всяких там дежурств и происшествий. Совсем быстро он привык к спокойной и ровной семье Николая Михайловича. Ему нравился он сам, его степенная и ласковая жена — Антонина Павловна.

Конечно, никого из них нельзя было сравнить ни с Акимовым, ни с Галиной Викторовной, тем более с подполковником, хотя у Николая Михайловича и была машина, правда маленькая и скрипучая, но он почему-то на происшествия не выезжал. Никого не задерживал, не заставлял Амура искать след, но, в общем, ему в новом доме нравилось. Так прошла неделя, другая, и Амур начал скучать. Иногда от безделья просто не находил себе места. Полежит в одном углу, потом пойдет в другой. Заглянет в комнаты, посмотрит, что делает Николай Михайлович, проведает на кухне Антонину Павловну — и снова спать, пока не отлежит все бока. Другой раз было просто совестно подходить к миске завтракать или обедать, и Амур решил — плохо без работы. Он с радостью брался за все, что мог. Но разве это работа — шагать рядом с Николаем Михайловичем и нести из магазина сумку или газеты? Однажды сам попросился тащить мусорное ведро, но из него так отвратительно несло перцем, лавровым листом, что пришлось бросить. Хорошо хоть, оно не упало.

Как-то под вечер, когда особенно остро ощущалось безделье, Амуру пришло почему-то в голову, что за ним должен прийти Акимов. Прийти и забрать его в уголовный розыск, в питомник. Ну ладно, пусть он теперь не может идти по следу, так зато сможет задерживать всяких вооруженных преступников, поможет Акимову обучать его нового помощника. Амур стал смотреть на дверь, стал прислушиваться к шагам на лестнице. Несколько раз подходил к двери. Улегшись на свою подстилку головой к порогу, Амур задремал и во сне жалобно, по-щенячьи стал взвизгивать.

Николай Михайлович подошел к нему, сел рядом на маленькую табуретку, стал гладить за ухом и говорить:

— Не можешь без работы, псина? Я вот тоже сколько лет на пенсии, а никак не привыкну. Проснусь ночью и не сплю. Думаю, как там мой завод? Всю жизнь трудился, с четырнадцати лет. Ты даже и не представляешь, как раньше был нужен. Я ведь главным инженером на здоровенном заводе работал. Без меня, брат, ни один важный вопрос не решался. А сейчас вот все у меня есть: квартира, машина, дача, пенсию большую платят, а я хочу работать, про завод забыть не могу.

Амур поднял голову, взглянул на Николая Михайловича и увидел в его глазах тоску, ту самую, что до этого слышал в голосе. Ту самую, что одолевала его, и он понял, что у них одна беда, что оба, получив отдых, заслуженный отдых, мечтают о работе. Амур почувствовал, что Николай Михайлович стал ему ближе; поскуливая, потихоньку встал, подошел к новому хозяину, лизнул его руку и положил свою огромную голову ему на колени.

— Не скули, Амур,— продолжал Николай Михайлович,— не смотри на дверь. Не жди, не придет твой Акимов. У него есть другой помощник. Ему некогда, а может, он просто жалеет тебя, не хочет расстраивать. Я вот так же, как и ты, ждал. Бросался к телефону на каждый звонок. Думал: вот понадобится, вот позовут. Сначала приходили, успокаивали, даже советовались. А теперь и приходиться перестали. Заняты они там, на заводе, своих дел по горло. В общем, им не до нас с тобой. Давай вместе учиться отдыхать. Это, брат, сложная наука. Я ее несколько лет никак не осилю. Идем-ка лучше побродим, полезно перед сном.

Гулять так гулять. Амур встал. Взял с тумбочки свой ошейник, поводок и терпеливо стал ждать, пока Николай Михайлович сменил пижаму на костюм.

Гуляли они долго. Ходили на пруд и смотрели, как там катаются на лодках. Прошлись по улицам. Купили в ларьке сигарет и, изрядно находившись, возвращались домой через сквер. Вечер был теплый, от политых газонов и асфальта поднималась прохлада. Приятно пахло цветами. Они выбрали в укромном углу под нависшими деревьями свободную скамейку и решили отдохнуть. Николай Михайлович разостлал газету и удобно уселся, а Амур устроился на подстриженной травке, рядом со скамьей. Николай Михайлович задремал, даже стал похрапывать. Амур видел, как постепенно опустел сквер, женщины укатили коляски с младенцами. Потом нехотя разошлись старухи, сидевшие на двух скамейках, составленных углом. С дальних лавочек ушли парочки. Только одна осталась по соседству на скамейке, поставленной между кустами. Прошла компания парней с двумя гитарами, горланившая песню, от которой Николай Михайлович проснулся, а Амур на всякий случай встал. Знал он таких парней. Сейчас

орут песни, ругаются, а потом затеют драку или еще что похуже.

Николай Михайлович достал сигарету, закурил, переменял ногу.

— Ложись, Амур. Вот покурю, посидим еще немного — и домой. Уж больно хорошо здесь, а дома жарко, душно. Давай завтра соберемся и махнем на дачу.

Но на дачу уехать им так и не пришлось. Вместо дачи Амур попал в клетку.

Когда в сквере все реже и реже стали появляться прохожие, торопливо цокая каблуками белых туфель, прошла молодая женщина. Видимо, сокращая расстояние, она свернула в боковую аллею и едва скрылась за деревьями, как оттуда послышался крик. Сильный, страшный. Женщина звала на помощь. Амур вскочил, взглянул на Николая Михайловича и понял, что тот растерялся, но на всякий случай взял со скамьи его поводок и тоже встал. Тогда Амур, как бы приглашая своего нового хозяина, потянул поводок; с соседней скамейки поднялись парень с девушкой и быстро ушли в другую сторону, а Николай Михайлович все-таки побежал за Амуром медленно, не выпуская ременного поводка. Они пробежали два десятка шагов и увидели, что здоровенный парень схватил ту женщину в белых туфлях. Она вырывалась, пыталась высвободить руки, кричать, но хулиган зажал ей рот, и крика уже почти не было слышно.

Николай Михайлович не знал, что ему нужно делать, а Амур нетерпеливо ждал. Перед ним была работа. Его обычная, повседневная работа, к которой он привык, которую он отлично знал и еще совсем недавно по ней тосковал. Но работу нельзя начинать без приказа, и Амур ждал приказа. Николай Михайлович, вместо того чтобы крикнуть «руки вверх» или «сдавайся», как всегда в таких случаях требовал старший лейтенант, стал ругать хулигана. Тот отшвырнул женщину в сторону и сквозь зубы процедил:

— Ты что же, дряхлый маразматик, со своим домашним псом в чужие дела ввязываешься? Пера захотел?

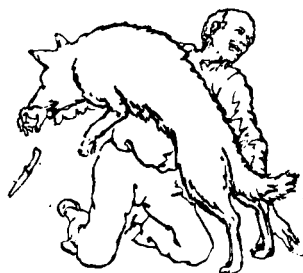
Преступник угрожающе шагнул в их сторону и выхватил нож. Это было уж слишком. Тут нечего было ждать приказа. Амур вырвал из рук Николая Михайловича поводок и в два прыжка оказался рядом. Амур не боялся ни ножей, ни пистолетов. Акимов научил его, как и в каком месте брать вооруженную руку. Амур в следующий прыжок вложил всю свою силу, все свое умение и взял эту вооруженную руку. Преступник взвыл от боли и обронил нож. Амур сжал челюсти чуть сильнее, чем следовало, но, наверное, так было и нужно, ведь рядом стоял не Акимов, а Николай Михайлович. Когда Амур отпустил руку, хулиган бросился бежать. Амур сразу же до-

гнал его, сбил с ног. Тот пытался подняться, но Амур слегка кусал его, и он с проклятиями снова ложился на землю. Потом приехала машина с синей полосой. Капитан милиции «принял» задержанного, обыскал его и нашел у него в кармане часы, принадлежащие женщине.

Что и говорить, прошлые угощения за подобные задержания не могли идти в сравнение с тем торжеством, что устроили ему, Амуру, в тот вечер Николай Михайлович и Антонина Павловна. Его угощали такими вкусными вещами, каких ему отродясь не приходилось пробовать.

А на другой день все обернулось по-иному. Николай Михайлович вернулся домой расстроенный и сообщил, что Амуру десять суток придется отсидеть в клетке. Амур слышал, что хулиганам дают по десять суток, и не понимал, за что ему эти сутки. Ведь он действовал правильно, и даже капитан там, в сквере, сразу же похвалил его. Николай Михайлович объяснил, что дело не в хулиганстве. Поликлиника, где делали перевязку задержанному, сообщила о случившемся в санэпидстанцию, и там распорядились продержат Амура десять суток в ветеринарной больнице, пока его проверят на бешенство. Врачи сказали, что из питомника он ушел почти месяц и его следует проверить. Ну что ж, пусть проверяют. Конечно, в больнице плохо, в новом доме лучше. Николай Михайлович ему понравился. С ним можно жить. Он приходит сюда к нему каждый день, приходила Антонина Павловна и даже та женщина в белых туфлях.

Амур растянулся на матрасике, что принесли его новые хозяева из его нового дома, и задремал. Во сне он увидел дежурную часть, и ему почудилось, что к нему снова пришло чутье и его вернули в уголовный розыск, что сейчас выйдут шофер, Акимов, оперативная группа и они поедут на происшествие...





Шитик В.

СКАЧОК В НИЧТО

Фантастический рассказ

Авторизованный перевод
с белорусского
МЕСКИНА Б. Е.

Следы обрывались, словно у Корзуна вдруг выросли крылья и он взлетел в фиолетовую бездну безоблачного неба Силены. Этого, конечно, быть не могло.

— Но все-таки интересно, куда девался Корзун? — Шибанов повторил вопрос вслух и взглянул на Саватеева.

Тот не ответил, и Шибанов снова посмотрел на следы. Четкие, точно на мягкой глине, с рубчиками и полосками от тяжелых ботинок скафандра, они начинались сразу под скалой, где сейчас стояли Шибанов и Саватеев со свитой кибернетических роботов и с которой час назад спрыгнул вниз Корзун. Он, по-видимому, не спешил — следы были аккуратные, даже в последней ямке стенки осыпались не больше, чем в остальных. А дальше желтел нетронутый песок, почти до самой воды, до которой оставалось еще метров десять.

— Волны смыли?..— Саватеев произнес это неуверенно, скорее всего, чтобы нарушить молчание.

Шибанов понял товарища и невесело усмехнулся: море было на удивление спокойное, как лесной пруд где-нибудь на Земле. За те минуты, что прошли с момента, когда с Корзуним прекратилась связь, оно не успело бы успокоиться. Да и вообще многодневные наблюдения свидетельствовали, что море бушует только ночью. И Шибанов ответил:

— Тут что-то другое, хотя, кажется, кроме как в море, он не мог никуда деваться.

— А что, если...— Догадка была нелепая и страшная, и Саватеев не осмелился высказать ее до конца.

Опять Шибанов понял его и отрицательно покачал головой:

— Нет! Это песок, не трясина.

— А яма, оползень или еще что! Не мог же человек исчезнуть среди бела дня, ничего не оставив после себя.

— Сирена — не Земля, какой уж тут белый день!

Невозмутимость, прозвучавшая в словах Шибанова, вывела Саватеева из равновесия.

— Беда случилась! Беда! Слышишь? — закричал он.

— Не кричи, — положил ему руку на плечо Шибанов. — Криком тут не поможешь. Я же спорю с тобой, чтобы себя убедить и быстрее выяснить истину.

Саватеев чуть успокоился и предложил:

— Давай проверять варианты.

Два робота, похожие на людей, одетых в неуклюжие скафандры, подошли к обрыву. Осторожно, будто старики, начали спускаться вниз.

Нетерпеливого Саватеева всегда раздражала эта неторопливость движений роботов, которые даже в опасных обстоятельствах никогда не нарушали своего механического хладнокровия.

Он знал, что именно так они запрограммированы, их электронный мозг не понимает эмоций, однако не мог не злиться. И сейчас, не сдержавшись, крикнул:

— Эй, вы, двигайтесь быстрее!

Роботы на мгновение замерли, повернули головы, будто удивились неожиданному требованию и оскорбительному тону, и дружно ответили:

— Степень опасности 0,4. Работаем на крайнем режиме.

Саватеев покачал головой, а Шибанов улыбнулся.

— А ну вас! — крикнул Саватеев и спрыгнул на песок.

— Дальше нельзя! Дальше нельзя!

Бесстрастный голос робота лишь подзадорил Саватеева, и он, сорвавшись с места, бросился к берегу. И тотчас же затрепетал в бессильном порыве, схваченный роботами за руки.

— Дальше нельзя! Дальше нельзя! — неторопливо и монотонно звучало в шлемофоне.

— Брось, Павлик! — сказал Шибанов сверху. — Ты ведь сам настроил их на опасность.

Саватеев понял нелепость своего поведения. Перестав сопротивляться, он буркнул:

— Ладно, буду стоять.

Роботы выпустили его из своих крепких железных объятий и пошли дальше, словно ничего не произошло. Они дошли до последнего следа, постояли, сделали еще один шаг вперед и включили аппаратуру.

Шибанов смотрел на экран, светившийся ровным зеленоватым светом, и ждал, что вот сейчас оправдается предположение Саватеева и под пластом песка они увидят Корзуна. Шибанов не волновался. Это был бы не такой уж плохой вариант — Корзун хоть и в легком герметичном костюме, однако мог бы продержаться и больше времени, кислорода хватало еще часов на десять.

Ни единая искорка не потревожила однообразное мерцание экрана. Песок был однородный, без посторонних предметов, на многие метры вглубь. Роботы покружились еще немного на месте, захватывая все большую площадь, и вернулись.

Пожалуй, только теперь Шибанов в полной мере осознал, что произошло. Раньше ему казалось, что исчезновение Корзуна — это шутка с его стороны, а если тут есть какая-то загадка, то безобидная. Он посмотрел на море. Оно было по-прежнему спокойное, но ему уже представлялось грозным. Что он может сказать определенного об этой могучей силе, затаившейся в гигантской массе воды? Ничего. А ведь эта сила может запросто поглотить человека, не оставив никакого следа. Возможно, вот так и случилось с Корзуном. И что вообще они знают о Сирене?

Месяц назад звездолет «Памир» совершил посадку на Сирене. Планета имела атмосферу с достаточно высоким содержанием кислорода, воду, близкую по своим химическим свойствам земной, и вместе с тем была лишена сложных органических форм жизни. Высокие голые горы, песчаные пустыни, окруженные со всех сторон морями.

Безжизненная планета, единственная в своем роде в системе Альтаира. Люди изучали ее строение, искали причины, которые могли бы объяснить резкие перемены погоды.

И вдруг исчез человек. Нужно было организовывать поиски, и никто не знал, с чего их начинать.

Шибанов отцепил от пояса бинокль, поднес его к глазам. Море было пустынное, лишь отблески далекой ряби блестели в полированных линзах.

— Не доверишь локаторам? — спросил Саватеев.

то решение. Ши-

Шибанов опустил бинокль, бросил взгляд на тонизэкран. локатора и с недоумением спросил:

— Павел, где Корзун?

Саватеев молчал.

Оставив на всякий случай двух роботов на берегу, Шибанов и Саватеев вернулись на «Памир», чтобы подготовить гидроплан. Отгадку тайны исчезновения товарища они решили искать в море.

Разведка ничего не дала. На добрую сотню километров море было тихим, спокойным, без признаков даже внутреннего движения, просвечивалось до самого дна.

Они вернулись, когда серебряное солнце огненным краем коснулось горизонта. Наступала ночь, короткая, темная и такая дождливая, что носа не высунешь. Природа в ночные часы словно возвращала морю всю воду, что забирала у него горячим днем.

Разочарованные, удрученные, Шибанов и Саватеев остановились возле звездолета. Корзун мог быть еще жив, но минут через сорок кислород должен был кончиться, и тогда... они не говорили, что будет тогда. Об этом лучше было молчать, чтобы не лишать себя надежды, маленькой и трепетной, которая, несмотря ни на что, не покидала их.

Внезапно космонавты переглянулись, еще не понимая, что происходит. В шлемофоне раздался голос робота, который буднично, как о самом обычном, методически повторял:

— На берегу человек! На берегу человек!

Бесстрастный робот с механической душой оказался, однако, более сообразительным, нежели люди. Сообщая новость, он одновременно вызвал вездеход. Не успели космонавты опомниться, как вездеход уже стоял рядом с ними. Они помчались к обрыву.

Корзун стоял на том самом месте, где обрывались его прежние следы. Он задумчиво смотрел на море и смущенно улыбался.

— Василий! Василий! — Шибанов крепко схватил его за плечо.

Корзун спокойно взглянул на товарища и удивленно спросил:

— Ты чего? Что случилось?

— Он еще спрашивает! — Шибанов обернулся к Саватееву: — Слышишь, Павлик?

— Где ты был? — Саватеев сделал шаг к Корзуну.

Корзун сморщил лоб, подумал немного и удивленно ответил:

— Ту-ут..

— Все время? — осторожно уточнил Шибанов.

— Какое время, я же только что пришел сюда.

...и наконец дошло, что товарищи в чем-то сомневаются...

— Взгляни! — Шибанов показал вначале на наполовину скрывшийся Альтаир, затем на опустевшие кислородные баллоны. — Видишь, сколько времени прошло?

Корзун широко раскрыл глаза и опустил на песок.

— Как же это, ребята?

— Узнаем, — успокоил его Саватеев и предложил: — По-едем домой. Скоро пойдет дождь.

Позже, уже сидя в уютном салоне звездолета, Корзун снова спросил:

— Скажите, что случилось?

— Сперва немного отдохнем, а потом уж попытаемся ответить на твой вопрос. Досталось нам сегодня! А возможно, и ты что-нибудь вспомнишь.

Корзун вспомнил немного: как пришел на берег, привлеченный земным видом моря, и как потом его встретили роботы. Что было между этим, он знал не более остальных.

— Вот только... как бы вам сказать...

— Ну, Вася, ну... — Шибанов рванул к нему.

— Нет, это трудно описать. Наверное, я просто загрустил по Земле. Я почувствовал и радость, и тоску, и счастье. Эти чувства овладели мной там, на берегу, и так продолжалось, пока вы не пришли.

Наверное, все действительно так и было, ибо Корзун снова стал таким, каким его застали на берегу друзья, — задумчивым, со смущенной улыбкой на губах. Больше к этому разговору космонавты не возвращались, во всяком случае при Корзуне.

Время шло. Внешне Корзун не изменился. Лишь чаще стал задумываться, словно приглядывался или прислушивался к чему-то известному только ему одному. Работал же он, как и прежде, старательно и аккуратно. Факт его исчезновения можно было бы посчитать случайностью, если б за ним не стояло нечто неизвестное, необъяснимое, граничащее с чудом и потому выглядевшее угрожающим и опасным для каждого космонавта, для корабля на все то время, пока они будут на Сирене.

Саватеев не выдержал.

— Я больше не могу, — пожаловался он Шибанову, когда они остались вдвоем. — Или мы стартуем, или, боюсь, что-нибудь еще произойдет.

— Не разгадав, что было с Корзуном?

— Мы тут бессильны.

В какой-то степени Саватеев имел основание говорить так. Минуло уже около двух недель, а они все еще не имели кончика той ниточки, которая позволила бы раскрыть тайну.

Действительно, нужно было принимать какое-то решение. Шибанов был капитаном их небольшого экипажа и понимал Саватеева. Он долго стоял у иллюминатора, из которого виднелось море — тихое, ласковое.

— Обманчивая красота.— Шибанов отвернулся от иллюминатора.— Сделаем, Павел, еще одну, последнюю попытку. Если не подтвердится мое предположение, покинем Сирену.

— Ты что надумал? — забеспокоился Саватеев.

— Повторю Корзуна. Только на берег пойду с роботами.

— Опасаюсь я этого скачка в ничто.

— И я, Павлик.— Шибанов нахмурился.— Но иначе нельзя. Да, нельзя. Хочешь сказать, что у нас другая задача? Согласен. Но теперь задача изменилась. Таков уж закон жизни, на все случаи заранее не придумаешь программы. Ты не волнуйся.— Он подошел к Саватееву, обнял его.— Василий ведь вернулся, и, кажется, нормально.

— Только что кажется,— проворчал Саватеев, зная, что Шибанов все равно сделает по-своему.

Сборы были недолгими, и завтра Шибанов с Саватеевым отправились к морю. У выхода они встретили Корзуна. Он неловко потоптался, заслоняя проход, и с грустью проговорил:

— Я знаю, что вы не хотите беспокоить меня. Может, и правильно делаете. Только я все время думаю об этом. Мне кажется, Сережа, что там были рыбы.— Он пошел, опустив плечи, словно в чем-то был виноват перед ними.

Шибанов догнал его, прижал к груди и попросил:

— Ежели со мной что случится, вы тут с Павлом не задерживайтесь, возвращайтесь на Землю.

Корзун кивнул.

Море встретило людей, как обычно,— покоем. Альтаир только что показался над горизонтом, и его диск светился на серой водяной глади длинной пурпурной полосой. Шибанов на секунду остановился, прислушиваясь к беспокойным ударам сердца, затем решительно прыгнул вниз.

За ним сползли роботы. Втроем — человек и два робота — оставляли множество следов. Но Саватеев видел только ямки от тяжелых ботинок Шибанова.

Спустя несколько минут Шибанов остановился. От моря его отделяла узкая полоса желтого песка. Он ждал чего-то невероятного, а вокруг все напоминало о земном пляже — вот если бы только росли деревья и кусты и не нужно было надевать герметичный костюм. Чтобы успокоить Саватеева, Шибанов оглянулся и весело крикнул:

— Видишь? На меня духи не действуют!

И тут же у него закружилась голова. Шибанов взглянул на море. На его поверхности не было ничего особенного. Это было последнее, что он успел отметить, потому что через мгно-

вание перед его глазами поплыли круги. Теряя равновесие, он взмахнул руками. Роботы поняли это как сигнал о помощи и бросились к Шибанову. Однако, прежде чем они подхватили его, он увидел перед собой какие-то кольца, лучи. Все это причудливо переплеталось, скрещивалось, мгновенно меняло окраску, создавая всё новые и новые невероятные геометрические фигуры. И словно яркие звезды падали вокруг густым осенним дождем. Шибанов уже не чувствовал своего тела, не имел представления о том, где он...

Капитан пришел в себя на каменистом обрыве, и первое, что увидел,— это обеспокоенное лицо склонившегося над ним Саватеева. Шибанов покачал головой.

— Тебе плохо? — с тревогой спросил Саватеев.

— Теперь уже нет.— Шибанов сел, подвигал плечами, пошевелил руками, восстанавливая утраченную власть над своим телом. И рассказал, что ему показалось.

— Думаешь, и с Корзуном было так же?

— Уверен.

— Тогда почему он не рассказывает? Скрывает или не помнит? — спросил Саватеев и поморщился, так неприятно было подозревать друга. Спыхватившись, он добавил убежденно: — Не помнит!

— Да! — Шибанов принял его последнее предположение без сомнений.— Значит, должно еще произойти что-то такое, что стирает следы из памяти. Я обязан вернуться на берег, Павел. Один. Без роботов.

— Не торопись. Нужно подготовиться. В костюм вмонтируем несколько миниатюрных киноаппаратов и передатчиков. Если ты что-либо и забудешь, они зафиксируют. И, возможно, сообщат твои координаты, если сумеют пробиться сквозь толщу воды.

Все повторилось сначала. Только теперь за Шибановым наблюдал и Корзун. Шибанов зашатался и закричал: «Выключи робота!» Космонавты видели, как он закружился в немислимом танце. В шлемофонах было слышно прерывистое дыхание Сергея, словно он с кем-то боролся. Затем обессилел и упал. Море ласково обмывало его прозрачный гермошлем. Корзун рванулся было на помощь, но Саватеев удержал его и шепнул:

— Смотри!

Неподалеку от берега из моря вдруг выбросился султанчик. Похожий на фонтан, он постоял на месте, затем всколыхнулся, словно под дуновением ветра, и превратился в вихрь, с каждой секундой набирая силу и все глубже вкручиваясь в воду. Вскоре на месте вихря образовалась воронка метров двадцать в диаметре. Ее стенки продолжали вращаться слева направо, пока не оголилось дно. Тогда одна сторона воронки,

ближайшая к берегу, вытянулась узким длинным языком, лизнула песок и возвратилась на место, захватив с собой распростертого на берегу человека.

Добыча словно удовлетворила море. Оно стало успокаиваться и минуты через три затихло.

— Что скажешь? — спросил Саватеев и пожалел об этом. Корзун стоял неподвижно, с побледневшим лицом.

— А? — вздрогнул он. — Все вылетело из головы.

— Скоро обо всем узнаем. — Саватеев говорил намеренно бодрым тоном. — Мне кажется, что море волновалось только с этой стороны, чтобы забрать Сергея.

Станции наблюдения вскоре подтвердили догадку Саватеева.

— Это очень важно, — оживился Корзун. — Во всем этом есть какой-то смысл.

— Не будем спешить с выводами, — остановил его Саватеев.

Тем временем проворные роботы пригнали гидроплан. Затем собрали здание, где люди могли бы отдохнуть, установили там пульта и экраны приборов наблюдения.

Минуты текли медленно, складываясь в еще более медлительные часы. И никаких вестей от Шибанова.

— Не пробиваются радиосигналы, — констатировал Саватеев.

— Я об этом думал. — Корзун взглянул на часы. — Минут через двадцать сигнал должен быть. Автозонд вырвется на поверхность.

— Ты молодец, Вася!

— Один срок уже миновал, — вздохнул Корзун.

Саватеев растерянно притих.

Сообщение пришло с опозданием на пять минут. Короткое, словно обессиленное. Автоматы «Памира» и радиомаяков запеленговали автозонд. Он сделал передачу на расстоянии в сто восемнадцать километров.

Через несколько минут гидроплан был уже над районом, отмеченным пеленгаторами. Однако Корзуна, отправившегося на поиски, ожидало разочарование. Ни на поверхности, ни в глубине воды ему не удалось заметить ничего существенного. Толща воды скрывала в себе тайну.

— Плохо, — сказал Саватеев, выслушав Корзуна. — Сергей находится где-то очень глубоко, а там чудовищное давление. Человек не выдержит.

— А как же я? — возразил Корзун.

— Будем ждать, ничего другого нам не остается.

Темнело. Небо покрывалось тучами, черными, как сама ночь. Подул ветер. Сперва слабый, он постепенно разгуливался, вынося из теснин облака пыли. Начался дождь, он хлестал

водяными каскадами по тонким металлическим стенкам временного пристанища космонавтов. Наступала ночь, шквальная, ливневая.

Саватеев увеличил яркость экранов, наблюдавших за берегом. Он увидел узкую береговую полосу, неподвижных роботов, прикрепленных тросами к столбу на обрыве, а в нескольких шагах от них — бурлящее море, посылавшее на берег волну за волной.

Саватееву даже за надежными стенками стало не по себе. А каково Шибанову, если он еще жив?

— Мое время прошло.— Корзун словно прочитал мысли товарища.

— У него аварийный запас кислорода.— Утешение было слабым, и сам Саватеев не очень в него верил, но иного не было.— Отдыхай, Вася, потом сменишь.

Порывы ветра участились, перешли в непрерывный гул. Приглушенный звукоизоляцией стен, он был монотонным, нагонял сон. Саватеев включил метроном. Звонкие секунды наполнили помещение тревогой. Это беспокоило, заставляло все время быть настороженным. Саватеев, сидя в кресле, внимательно вглядывался в экран.

Стихия лютовала. Волны уже захлестывали одинокие фигуры роботов, пытаясь сорвать их с места. Однако они стояли как вкопанные. И так час, два... Чтобы не заснуть, Саватеев то и дело мотал головой.

Вероятно, он все-таки прозевал что-то. Потому что когда раскрыл глаза, то левого робота на месте не оказалось. Динамик резко крикнул: «Человек в море!» И второй робот бросился в волны.

Они выбрались из воды вместе с Шибановым. К зданию он дошел сам, держась за роботов. Обессиленный, он бросил лишь: «Потом, потом» — и заснул на ходу.

Очнулся Шибанов часов через двадцать. Снова была ночь. Снова за тонкими стенами их временного жилища неистовствовал ветер, с гор катились водяные валы. Но это уже казалось несущественным. Люди снова были вместе. Космонавты собрались возле проектора. Пленки уже были проявлены.

— Вначале я расскажу, что сохранилось в памяти,— предложил Шибанов,— а то пленки могут сделать ненужную мне подкачку.

Шибанов держался совсем иначе, нежели Корзун, более уверенно. Это и удивило, и обрадовало Саватеева.

— Когда я пошел к берегу во второй раз,— начал Шибанов,— то примерно знал, что меня ожидает. Как только закружилась голова, я не стал противиться чужому воздействию и сразу упал на песок, стараясь не шевелиться. И это оказалось правильным. Голове стало немного легче, и мне удалось

кое-что увидеть. Помню, как меня смыло водой, как потащило по поверхности, как я стал проваливаться вглубь. Вот тогда в воде я почувствовал какое-то движение. Не течение, а что-то другое, ограниченное узкими рамками. Ты, Вася, вспоминал про рыб. Возможно, это были они. А может, и иные существа. Вокруг меня все время бурлил водоворот, и хотя в гидрокостюме был воздух, он не держал меня, я продолжал опускаться все ниже. Меня удивило, что было достаточно глубоко, а давления воды не ощущалось. Я испугался. Сделал попытку вырваться, и в этом была моя ошибка... Снова закружилась голова, и я провалился в небытие и очнулся только на берегу. Если бы не роботы, то неизвестно, что со мной было бы. А теперь давайте посмотрим пленки.

В костюме Шибанова были вмонтированы шесть маленьких кинокамер. Когда он вернулся, их осталось пять. Шестая пропала...

— Зацепилась за что-нибудь, а возможно, роботы оторвали, когда меня тащили, — сказал Шибанов.

Но достаточно было и остальных. Они включились в тот момент, когда море хлынуло на берег.

Саватееву удалось синхронизировать зафиксированное пленками так, чтобы на экране получилась цельная и объемная картина. Море было такое же, каким люди видели его каждый день, на глубине даже еще спокойнее. Тем более, было странно, что Шибанов двигался рывками.

Аппараты с автоматической наводкой быстро приспособились к окружающей среде. В воде они заметили тени, кружившие вокруг Шибанова. Аппараты увеличили резкость, и тени превратились в необыкновенных... рыб. Длинных, величиной с человека, узких и остроносых.

— Вася не ошибся! — обрадовался Шибанов.

Косяк, говоря земным языком, был немалый — рыбы окружали человека плотно, время от времени касаясь его тела ребристыми плавниками.

— Эх, зачем я пошевелился! — сожалел Шибанов.

— Аппараты расскажут все, что надо, — подбодрил его Корзун.

— Нет, я заметил бы больше.

Показалось желтое дно. Оно уже напоминало берег — песчаное, без признаков какой-нибудь растительности. Рыбы, не останавливаясь, продолжали плыть с огромной скоростью.

Наконец их движение замедлилось. На экране возникли нагромождения камней, которые вблизи оказались гротами. То ли рыбы жили тут, то ли было что-то другое, киноаппараты не уловили. Видимо, рыбы перестали поддерживать Шибанова, и он опустился на дно, потому что по экрану в этот момент пробежали темные полосы. Затем вновь прояснилось.

Шибанов лежал у входа в грот. Рыбы немного покружились возле него и куда-то уплыли. И снова полосы пробежали по экрану.

— Зачем они тебя несли? — усмехнулся Корзун.

— Ты тоже, наверное, побывал на этом дне. Хотя... — Шибанов удивленно посмотрел на товарищей. — Кажется, вспомнил. — Он отвернулся от экрана. — Сейчас меня перенесут к другому гроту. Там возле входа будет груды не то водорослей, не то актиний.

— Правда! — вскочил Саватеев.

По экрану в третий раз прошли полосы.

— Вспомнил! А? — сам удивился Шибанов.

Перенеся его, рыбы долго не возвращались. Почти весь день. И столько же у экрана просидели космонавты, боясь пропустить хоть какую-нибудь деталь.

— Жаль, что меня не видно... — произнес задумчиво Шибанов.

— Смотри, смотри! — прервал его Саватеев.

Подплыла рыба, повисла неподвижно, поводя плавниками, будто усами. Глаза — узкие щелки — поблескивали красноватыми огоньками. Через некоторое время рыба пошевелила носом кучку водорослей и снова замерла. Вскоре к ней присоединились еще две. Сведя головы друг к другу, они словно советовались. Шибанов даже засмеялся, таким нелепым показалось ему это предположение. Внезапно рыб стало больше. Они образовали кольцо. Шибанов оторвался от дна, и рыбы двинулись в путь.

Возвращался Шибанов уже ночью. Рыбы вели себя беспокойно. Часть из них отделилась и начала кружиться все быстрее и быстрее. Посреди круга образовалась воронка, которая постепенно увеличивалась. И тогда в водоворот устремились остальные рыбы, а на экран с огромной скоростью начал наплывать черный берег.

Когда Шибанов оказался на гребне волны, ни воронки, ни рыб аппараты уже не увидели. Лишь волны, словно взбесившись, одна за другой накатывались на берег. А оттуда, перебирая механическими ногами, торопились роботы.

— Путешествие окончено! — Шибанов встал и поклонился.

— Брось, — поморщился Саватеев, — тебе же самому не до шуток. Лучше скажи, ты понял, что это?

— Жизнь!

— Сам вижу. А какая жизнь — разумная, неразумная?

— Могу сказать, — уже серьезнее начал Шибанов. — Уровень развития невысокий, на мой взгляд, ими руководит инстинкт, как и у земных существ. Да, да, — перебил он Корзуна, пытавшегося возразить. — Сами посудите, как все произошло. Рыбы сочли меня своим собратом, которого море

выбросило на берег. А это, они знают, угрожает гибелью. Они пытаются установить со мной контакт, подбодрить; видимо, мы пользуемся примерно одинаковыми биотоками, отсюда мое почти бессознательное состояние. Рыбы на берег выйти не могут, но они умеют каким-то образом использовать силу моря. Видели, какой водоворот образовали? А потом, когда я не пришел в себя и под водой, они выбросили меня обратно. А что на то же самое место — случайность.

— Ага! — воскликнул Саватеев.

— Не лови на слове. На Земле ведь есть морские животные, у которых такое поведение вызывается инстинктом. Те же самые дельфины.

— На Земле есть. А здесь другое. — Саватеев от волнения не мог усидеть на месте и зашагал по тесной комнатке, лавируя между креслами и приборами. — Давайте вспомним все с самого начала. Рыбы умеют подчинять себе море. Они заметили, что ты неподвижен. Тогда что они делают? Собираются и обсуждают положение. Обсудили и понесли тебя обратно. Они поняли, что ты чужой. Только этим можно объяснить, что ты ничего не помнишь: обычная предосторожность. Ты теперь не сможешь, даже если бы и хотел, привести кого-нибудь или прийти назад сам. Возможно даже, посылая биотоки, узнают о наших намерениях.

— Думаешь, они не единственные жители Сирены? — оживился Корзун.

— Все может быть. Но не это главное сейчас. Эти рыбы, я уверен, уже обладают разумом.

— Вода не та среда, где может развиваться разумная жизнь. — Шибанов не мог согласиться с Саватеевым.

— Земная логика. Жизнь на Сирене так и не сумела вырваться из воды на сушу. Но это не значит, что она остановилась в своем развитии. Силы жизни могущественны, и она нашла себе свой путь. Так почему же жизнь не могла дать разум рыбоподобным? Во всяком случае, никакой другой гипотезы у нас нет.

— Повторим проверку? — предложил Корзун.

После долгого размышления Шибанов покачал головой:

— Теперь мы не можем. А что, если Павел прав, хотя он на многое не дал ответа, так же как и я? Что тогда о нас подумают хозяева планеты? Как мы будем выглядеть в их глазах? А раз они находятся на низкой ступени развития, что наиболее вероятно, то неизвестно, что будет с нами в следующий раз. Мы завершив свою работу, не трогая моря. А когда-нибудь позже, когда рыбы достигнут более высокой ступени развития, люди установят с ними контакт. Начав развиваться, жизнь не отступит. Теперь Сирена будет под наблюдением.

— Дал же кто-то планете такое название,— заметил Корзун.

— Не помню кто,— ответил Шибанов.— Название существует с прошлого века. Возможно, и тогда люди знали про этих рыб. Ну как, согласны с моим решением?

Возражений не было.

До рассвета космонавты остались на временной станции.

Хотя спать в креслах было не очень удобно, они проснулись бодрые, посвежевшие. Шибанов ходил по комнате и повторял:

— Ребята, а я, кажется, кое-что припоминаю.

Саватеев не выдержал и буркнул:

— Да припомни уж наконец.

— А что, возьму и...— Он выбежал в переходный тамбур и возвратился, держа в руках какую-то палочку.— Вот, она самая.

— Водоросль?! — воскликнул Саватеев.

Едва ощутимый запах озона, смешанного с чем-то еще, поплыл по комнате. Шибанов счастливо улынулся и сказал:

— Садитесь. Разговор только начинается.

Заинтригованные, друзья сели в кресла.

— Вчера мы не понимали, что за полосы нарушали видимость на экране. Теперь я вспомнил все, будто не было провала в памяти.

Волнение Шибанова передалось остальным. Они сидели, не отрывая от него глаз.

— Первый раз меня ударило, когда я оторвал один киноаппарат, вот он, был в кармане.— Шибанов разнял пальцы.— Второй раз — когда делал снимки грота, и третий — когда вот это,— он показал на водоросль,— клал в карман. А сейчас посмотрим, что на последней пленке.

Вспыхнул экран, на нем возникло подводное царство, точнее, его маленький уголок — грот. У задней стенки грота стояли полки, похожие на соты. И в каждой ячейке лежали водоросли.

— Инкубатор? — удивился Саватеев.

— Что-то подобное,— ответил Шибанов.

Однако самое удивительное было впереди. К полкам откуда-то сбоку, со стен грота, тянулись провода. Иначе назвать эти толстые нитки было нельзя. Съемка продолжалась считанные секунды, но и за это время в нескольких ячейках блеснули красные искорки.

— Что вы теперь скажете, друзья? — спросил Шибанов.

Товарищи развели руками.

— Тогда скажу я. Эти рыбы — роботы, вероятно даже биологические. Я помню их поведение, поэтому убежден. Они действуют логично, но без эмоций. Их создали такие же при-

шельцы, как и мы, из другого мира. Зачем? Под водой много этих водорослей, содержащих вещество, благотворно действующее на человека. Пока мы просматривали пленку, наши роботы сделали анализ моей крови. Она совершенно чистая, без каких-либо нарушений. Вот как подействовало на меня вещество.

— Допустим,— согласился Саватеев.— А биотоки?

— Мне кажется, объяснение довольно простое. Наши биотоки приблизительно такие же, как у пришельцев. Рыбы-роботы настроены на них. Поэтому они сразу и появляются, стоит кому-либо из нас оказаться на берегу.

— А потеря сознания? — не сдавался Саватеев.

— Это своего рода нейтрализатор. В его природе нужно будет разобраться, так как благодаря ему человек может плавать, как глубинное существо, не опасаясь давления. Услышав сигнал, рыбы-роботы берут хозяина, переносят его к гроту, где уже припасены водоросли. Конечно, водоросли роботы могут доставить и сами на поверхность, но, видимо, там необходимо присутствие хозяина.

— Но где доказательство, что рыбы — это роботы? — спросил Саватеев.

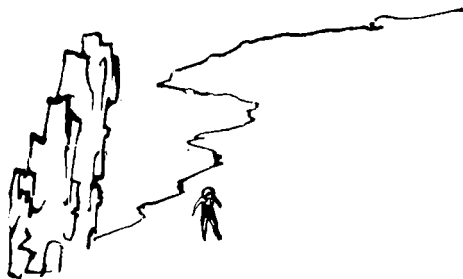
— Такое доказательство есть,— ответил Шибанов,— сейчас мы его приведем.— Он вставил в проектор пленку, на которой были сфотографированы рыбы возле гротов, соединил экран со счетной машиной.— Помните,— объяснил он,— есть формулы движения для живых существ и для кибернетических. С их помощью еще было доказано существование жизни на четвертой планете Проциона. Вот сейчас машина и применит их. Программу я уже составил.

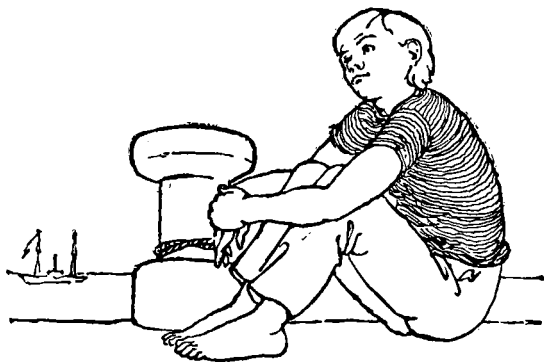
Через тридцать секунд после того, как кончилась пленка, машина вытолкнула ленту с ответом.

Рыбы, в соответствии с утверждением математики, не могли быть живыми.

— Странно,— вздохнул Корзун.

— Радостно,— заметил Шибанов.— Значит, люди встретятся еще с одним представителем разума, и, как мне кажется, очень похожим на человека. А ты говорил — инстинкт.





Джекобс У.

СТАРЫЕ КАПИТАНЫ

Рассказы

Перевод
с английского
БЕРЕЖКОВА А. Н.

В этих рассказах читатель найдет все, чему положено быть в классических повествованиях об отважных пенителях морей. Есть здесь отчаянный голодный бунт на борту и сорванец, пустившийся в море на поиски приключений, есть тайная охота за исчезнувшим сокровищем и коварный заговор команды против своего капитана, есть пылкая любовь помощника к капитанской дочке и вообще паруса, кубрики и трюмы, набитые порохом. Правда, борта кораблей здесь не окутываются пушечным дымом и не взвиваются на мачтах черные флаги с черепом и скрещенными костями, и капитаны здесь не из тех, кто распекает:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Да и откуда взяться в этих рассказах пушечной пальбе и пиратам, если действие их происходит не в восемнадцатом веке, а во второй половине девятнадцатого, и не в далеком Карибском море, а на реках и у берегов

доброй старой Англии! Капитаны, помощники и сорванцы, о которых пойдет речь, плавали на неприятельных барках и шхунах, доставляя скромные грузы из оптовых складов где-нибудь на Темзе в лавки, мастерские и заводики заштатных городков на побережье Уэлса или Корнуэла, и в глаза не видели золота с испанских галеонов, вполне удовлетворяясь скромным жалованьем, которое отсчитывалось им наличными прямо из выручки за фрахт. Экипажи их состояли из помощника, двух-трех матросов, кока да юнги, а то и вообще из одного только помощника, выполнявшего по совместительству все прочие судовые обязанности. Впрочем, и этим труженикам малого каботажного прихода приходилось переживать много занимательных приключений, и об этом-то и повествует в своих рассказах известный английский писатель-юморист Уильям Уаймарк Джэкобс (1863—1943).

Следует отметить, что даже на самом маленьком барке поддерживалась самая суровая морская дисциплина и субординация. Рядовые матросы жили в тесных, дурно пахнущих кубриках на носу корабля, и им категорически воспрещалось без дела или без вызова появляться на корме, где находился штурвал и располагалась каюта капитана и помощника. Снабжение матросов продовольствием лежало целиком и полностью на совести капитана, который лично закупал для них те продукты, которые считал нужным, то есть «числом поболее, ценою подешевле». Нарушения дисциплины жестоко карались либо вычетами из мизерного жалованья, либо тюремным заключением в первом же порту.

Как увидит читатель, Джэкобс великолепно знал жизнь на борту этих маленьких торговых судов. Его нельзя назвать писателем социальной темы, но он любил своих героев — грубых, невежественных, доверчивых моряков, в поте лица зарабатывавших каждый медный грош, и комические ситуации, создавать которые он так умел в своих рассказах, неизменно вызывают сочувствие к простодушно-хитрым капитанам, забулдыгам матросам и, конечно, к мальчишкам-юнкам.

ПРОСОЛЕННЫЙ КАПИТАН

— Старый Уэппингский причал? — произнес косматый тип, взвалив на плечо новенький матросский сундук и сразу перейдя на рысь. — Есть, капитан, место известное. Ваше первое плавание, сэр?

— Угадал, друг, — отозвался владелец сундучка, маленький худосочный подросток лет четырнадцати. — Только не беги так на своих ходулях, слышишь?

— Слушаюсь, сэр, — сказал мужчина. Замедлив шаг, он повернул голову и пригляделся к своему спутнику. — Нет, не первое это ваше плавание, сэр, — с восхищением в голосе проговорил он. — Быть этого не может. Я вас сразу раскусил, едва увидел. И что вам за охота втирать очки бедному работяге?

— Что ж, в морских делах я разбираюсь неплохо, это вер-

но,—сказал мальчишка самодовольно.— А ну, право руля! Еще немного право руля!

Мужчина незамедлительно повиновался, и таким манером, к большому неудовольствию прохожих, двигавшихся навстречу, они прошли оставшееся расстояние.

— И всего делов-то на какую-то паршивую полукрону, капитан,—сказал мужчина. С этими словами он поставил сундук на верхнюю ступеньку причала и благодушно расселся на нем в ожидании платы.

— Мне нужно на «Сюзен Джейн»,—обратился мальчишка к перевозчику, который сидел в своей лодке, придерживаясь рукой за нижнюю ступеньку.

— Ладно,—сказал тот.— Давай сюда твоё добро.

— Грузи его на борт,—сказал мальчишка носильщику.

— Слушаюсь, капитан,—сказал тот, весело улыбаясь.— Только сперва, если вы не против, я хотел бы получить свою полукрону.

— Ты же сказал на станции, что шесть пенсов,—возразил мальчишка.

— Два шиллинга и шесть пенсов, капитан,—по-прежнему улыбаясь, произнес носильщик.— Это у меня голос такой хриловатый, и вы, наверное, не расслышали про два шиллинга. Полукрона у нас — обычная цена, сбивать её нам никак не разрешается.

— Ничего, я никому не разболтаю,—пообещал мальчишка.

— Отдай человеку его полукрону,—с неожиданной злостью вмешался перевозчик,—и кончай отлынивать. А мне ты заплатишь восемнадцать пенсов, понял?

— Хорошо,—с готовностью согласился мальчишка.— Это недорого. Я не знал, какие здесь цены, только и всего. Но я не смогу с вами расплатиться, пока не попаду на корабль. У меня с собой только шесть пенсов. А на корабле я попрошу капитана, чтобы он отдал вам остальное.

— Кого попросишь? — взревел носильщик.

— Капитана.

— Слушай-ка,—сказал носильщик,—ты лучше отдай мне мою полукрону, а иначе я спихну твой сундук в воду и тебя следом за ним.

— Тогда погодите минутку, я сбегаю и разменяю деньги,—поспешно проговорил мальчишка и скрылся в узком переулке, ведущем к причалу.

— Он разменяет полсоверена, а то и весь соверен,—замечтил перевозчик.— Требуй с него все пять шиллингов, приятель, не стесняйся.

— Ты тоже не теряйся, сдери с него побольше,—любезно откликнулся носильщик.— Ох ты, ну и... Это же надо...

— Слазь с сундука! — приказал огромный полисмен, явившийся вместе с мальчишкой. — Бери свои шесть пенсов, и чтоб духу твоего здесь не было! Если я еще раз поймаю тебя на этом...

Не закончив фразы, он взял носильщика за шиворот и дал ему свирепого тычка на прощание.

— Плата перевозчику — три пенса, — сказал он мальчишке, между тем как человек в лодке, сделавши каменное лицо, принял от него сундук. — И я постою здесь, пока он не доставит тебя на судно.

Мальчишка уселся в лодку, и перевозчик, дыша сквозь зубы, погреб к стоявшим в ряд кораблям. Он поглядел на мальчишку, затем перевел взгляд на могучую фигуру на причале и, с видимым усилием подавив сильнейший позыв произнести несколько слов, яростно плюнул за борт.

— Какой он молодец, верно? — сказал мальчишка.

Перевозчик притворился, будто не слышит, взглянул через плечо и с силой загреб левой к небольшой шхуне, с палубы которой двое человек разглядывали маленькую фигурку в лодке.

— Это тот самый мальчик, — произнес капитан, — и вы должны твердо запомнить, что наш корабль — пиратское судно.

— Да уж пиратов у нас на борту предостаточно, — свирепо проворчал помощник; он повернулся и принялся оглядывать команду. — Экая куча лентяев, бездельников, тунеядцев, негодяев...

— Это задумано ради мальчика, — прервал его капитан.

— Откуда он взялся? — спросил помощник.

— Сынишка одного моего приятеля, и я беру его в плавание, чтобы в доме у него вздохнули свободнее, — ответил капитан. — Ему, видите ли, хочется стать пиратом, ну, и я, чтобы сделать отцу приятное, сказал, что мы-де занимаемся пиратством. Если бы я так не сказал, он бы нипочем сюда не явился.

— Ну, я ему покажу пиратство, — проговорил помощник, потирая руки.

— Он по всем статьям сущее наказание, — продолжал капитан. — Забил себе голову дешевыми книжонками про приключения и совсем от них свихнулся. Начал с того, что сделался индейцем и удрал из дому с двумя другими ребятами. Когда он решил стать людоедом, остальные двое воспротивились этому и выдали его полиции. После этого он совершил несколько ограблений, и его старику пришлось выложить немало денежек, чтобы замять эти дела.

— Хорошо. Ну, а вам-то он на что понадобился? — проворчал помощник.

— Я хочу выбить из него всю эту дурь,— тихо ответил капитан, когда лодка подошла к борту шхуны.— Ступайте на ют и расскажите команде, что от них требуется. Когда мы выйдем в открытое море, это уже не будет иметь значения.

Помощник с ворчанием отошел, а маленький пассажир взгромоздился на банку и перелез через борт. Перевозчик передал следом за ним сундук и, опустив в карман медяки, без единого слова оттолкнулся веслом и погреб обратно.

— С благополучным прибытием, Ральф,— сказал капитан.— Как тебе нравится мое судно?

— Удалой корабль,— отозвался мальчишка, с большим удовлетворением оглядывая потрепанную старую посудину.— А где же у вас оружие?

— Тс-с-с! — сказал капитан и приставил палец к кончику носа.

— Ладно, ладно,— сказал юнец раздраженно.— Мне-то уж могли бы сказать.

— Все в свое время,— терпеливо пояснил капитан и повернулся к команде.

Матросы подходили, волоча ноги и пряча ухмылки под ладонями.

— Вот вам новый товарищ, ребята. Он мал ростом, но он не подведет.

Новоприбывший подобрался и оглядел команду с некоторым разочарованием. Для отпетых негодяев они выглядели слишком уж добродушными и разболтанными.

— Что это с тобой, Джем Смизерс? — осведомился капитан, злобно уставясь на громадного рыжеволосого детину, который вдруг загоготал ни к селу ни к городу.

— Это я вспомнил о том парне, которого я прикончил в последней стычке, сэр,— ответствовал Джем, снова напустив на себя серьезный вид.— Я все время смеюсь, когда вспоминаю, как он визжал.

— Слишком много ты смеешься,— строго сказал капитан и положил руку на плечо Ральфу.— Вот с кого бери пример, вот с этого молодчика! Он не смеется. Он действует. Проводи его вниз и укажи ему койку.

— Соблаговолите следовать за мной, сэр,— сказал Смизерс, спускаясь по трапу в кубрик.— Здесь, конечно, несколько душновато, но тут уж виноват Билл Доббс. Наш Билл — старая морская лошадь, он всегда спит одетым и никогда не моется.

— Ну, это в нем еще не самое ужасное,— произнес Ральф, благосклонно озирая закипающего Доббса.

— Попридержи язык, приятель! — сказал Доббс.

— Ничего, не обращай внимания,— сказал весело Смирсер.— Никто не принимает старину Доббса всерьез. Если тебе нравится, можешь даже стукнуть его. Я за тебя заступлюсь.

— Мне бы не хотелось начинать с ссоры,— серьезно сказал Ральф.

— Да ты просто трусишь,— сказал Джем насмешливо.— Этак тебе сроду у нас не прижиться. Дай ему, я заступлюсь, ежели что.

Побуждаемый таким образом, мальчишка приступил к делу. Вначале хитроумным маневром головой, всегда вызывавшим восхищение у соседских мальчишек и почитаемым за образец ложного выпада у них же, он отвлек внимание Доббса к области желудка, а затем ударил Доббса по лицу. В следующее мгновение кубрик огласился шумом и гамом, Ральф был брошен поперек Доббсовых коленей и неистово воззвал к Джем, напоминая ему об обещании.

— Непременно,— утешил его Джем.— Я непременно заступлюсь за тебя. Он тебя и пальцем не тронет.

— Как же не тронет, когда он уже трогает! — вопил мальчишка.— Ты что, не видишь, что ли?

— И то верно,— сказал Джем.— Но ты погоди, вот я подстерегу его на берегу и так отделаю, что его родная мать не узнает.

В ответ мальчишка разразился потоком визгливых поношений, направленных по преимуществу на некоторые дефекты физиономии Джема.

— Экий ты, братец, грубиян,— сказал матрос, ухмыляясь.

— Если ты покончил с этим молодым джентльменом, Доббс,— произнес Джем с изысканной вежливостью,— будь любезен, передай его мне на предмет обучения хорошим манерам.

— Он не хочет к тебе,— ухмыльнулся Доббс, между тем как Ральф изо всех сил вцепился в него.— Он знает, кто к нему добрый.

— Погоди, я еще с тобой посчитаюсь! — разрыдался Ральф, когда Джем все же оторвал его от Доббса.

— Господи боже мой,— проговорил Джем, с удивлением его разглядывая.— Смотри-ка, да ведь он ревет, прямо слезами исходит! Ну, Билл, много я повидал в своей жизни пиратов, но этот какого-то нового сорта.

— Оставьте парнишку в покое,— вмешался кок, толстый добродушный мужчина.— Иди сюда, иди ко мне, старина. Не плачь, они ведь это не со зла.

Обретя у кока покой и безопасность, Ральф от стыда скрипел зубами, пока этот достойный человек, поставив его к себе между колен, вытирал ему глаза каким-то предметом, который называл своим носовым платком.

— Все будет хорошо,— приговаривал кок.— Ты и глазом моргнуть не успеешь, как станешь таким же молодым пиратом, не хуже любого из нас.

— Ничего, ничего,— рыдал мальчишка.— Погодите только до первого дела. Не моя будет вина, если кое-кто не заполучит пулю в спину.

Матросы переглянулись.

— Так вот обо что я расшиб руку,— медленно произнес Доббс.— А я-то думал, что это перочинный нож.

Он протянул длань, бесцеремонно ухватил мальчишку за воротник и подтащил к себе, после чего извлек у него из кармана небольшой дешевый револьвер.

— Ты только погляди на это, Джем,— сказал он.

— Сперваними палец с курка,— отозвался тот сердито.

— Выброшу я это за борт от греха,— сказал Доббс.

— Не будь дураком, Билл,— сказал Смизерс. Он взял револьвер и спрятал в карман.— Вещь стоит денег, и на несколько кружек пива мы за нее получим. Эй, посторонись, Билл, его пиратское величество желают выйти на палубу!

Билл шагнул в сторону, уступая мальчишке дорогу к трапу, а когда тот поднялся на несколько ступенек, поддал ему снизу плечом. Парень вылетел на палубу на четвереньках, со всей возможной поспешностью вновь вернул себе приличную позу и, отойдя, склонился над бортом — с надменным презрением наблюдать суету рабов на пристани и на реке.

Они отплыли в полночь и рано на рассвете прибыли в Лонгрич, где к ним подошел лихтер, груженный бочками, и мальчишка ощутил вкус романтики и тайны, когда узнал, что в бочках содержится порох. Десять тонн пороха погрузили они в трюм, после чего лихтер отошел, люки были задраены, и они снова двинулись в путь.

Это было его первое плавание, и он с живейшим интересом разглядывал суда, которые шли навстречу или обгоняли их. Он помирился с матросами, и те угощали его чудовищными рассказами о своей пиратской жизни в тщетной надежде запугать его.

— Это просто маленький мерзавец, и больше ничего! — с негодованием отозвался о нем Билл, поразив однажды себя самого мощью собственного воображения.— Подумать только, я рассказываю ему, как младенца бросили акулам, а он хохочет во все горло!

— Да нет же, он мальчик как мальчик,— тихонько сказал кок.— Вот погоди, Билл, когда у тебя будет семеро таких.

— Что ты здесь делаешь, юнга? — осведомился капитан, когда Ральф, забрел, засунув руки в карманы штанов, на корму.

— Ничего,— ответил мальчишка, вытаращив на него глаза.

— Твое место на том конце судна,— резко сказал капитан.— Ступай туда и помоги коку с картофелем.

Ральф поколебался, но ухмылка на физиономии помощника решила дело.

— Я здесь не для того, чтобы чистить картошку,— сказал он высокомерно.

— Ах, вот оно что,— вежливо произнес капитан.— А для чего же, если мне позволено будет узнать?

— Сражаться с врагами,— коротко ответил Ральф.

— Подойди сюда,— сказал капитан.

Мальчишка медленно приблизился.

— Теперь слушай меня,— сказал капитан.— Я намерен вбить в твою глупую башку немного здравого смысла. Я знаю все о твоих дурацких выходках на берегу. Твой отец жаловался, что не может управиться с тобой, и теперь я попытаюсь сделать это, и ты на собственной шкуре убедишься, что иметь дело со мной будет потруднее. Подумать только, он полагает, будто здесь ему пиратское судно! Да в твоём возрасте любой сопляк понимает, что в наши времена таких вещей не бывает!

— Вы сами сказали мне, что вы пират! — сказал мальчишка яростно.— Иначе бы ноги моей здесь не было!

— Потому я так и сказал,— возразил капитан.— Только мне и в голову не приходило, что ты такой дурак и поверишь этому. Пират! Да разве я похож на пирата?

— На пирата вы не похожи,— сказал мальчишка с ухмылкой.— Вы больше всего похожи на...

— На кого? — спросил капитан, подступая ближе.— Ну, что же ты замолчал?

— Я забыл, как это называется,— ответил Ральф, доказывая этим ответом, что здравый смысл ему отнюдь не чужд.

— Не смей врать! — сказал капитан. Смешок помощника вывел его из себя.— Выкладывай, живо! Даю тебе две минуты.

— А я забыл,— упрямо сказал Ральф.

Ему на помощь пришел помощник.

— На мусорщика? — подсказал он.— На уличного разносчика? На трубочиста? Ассенизатора? Воришку? Каторжника? Старую прачку?..

— Я буду вам очень обязан, Джордж,— произнес капитан сдавленным голосом,— если вы вернетесь к исполнению своих обязанностей и не будете впредь мешаться в дела, которые вас не касаются. Итак, юнга, на кого же я похож?

— Вы похожи на вашего помощника,— медленно сказал Ральф.

— Не ври! — злобно сказал капитан.— Забыть такое слово ты не мог.

— Я не забыл, конечно,— признался Ральф.— Только я не знал, как это вам понравится.

Капитан с сомнением поглядел на него и почесал лоб, сдвинув фуражку на затылок.

— И еще я не знал,— сказал Ральф,— как это понравится помощнику.

С этими словами он отправился на камбуз и уселся за котел с картошкой, выведя таким образом капитана из неловкого положения. Некоторое время хозяин «Сюзен Джейн» глядел ему вслед бессмысленным взором, а затем повернулся к помощнику. Тот кивнул.

— Да, с ним ухо нужно держать востро. Вот так облает тебя, а придаться не к чему.

Капитан промолчал, но, едва была почищена картошка, он направил своего юного друга чистить корабельную медь, а после этого — прибрать в каюте и чистить кастрюли и сковородки на камбузе. Тем временем помощник спустился в кубрик и обревизовал его сундук.

— Вот откуда он набрался всей этой чепухи,— объявил он, вернувшись на корму с большой связкой грошовых книжонков.— Одни названия чего стоят: «Лев Тихого океана», «Однорукий корсар», «Последнее плавание капитана Кидда»...

Он присел на светлый люк каюты и принялся листать одну из книжек, время от времени зачитывая капитану вслух поразившие его «жемчужины» фразеологии. Капитан слушал вначале с презрением, а затем нетерпеливо сказал:

— Ни бельмеса не понимаю, что вы мне там читаете, Джордж! Кто такой этот Рудольф? Читайте уж лучше сначала.

Получив это приказание, помощник нагнулся, чтобы капитану было лучше слышно, и прочел подряд от корки до корки первые три выпуска одной из серий. Третий выпуск заканчивался на том, как Рудольф плыл наперегонки с тремя акулами и полной лодкой людоедов; объединенные усилия капитана и помощника найти остальные выпуски успеха не имели.

— Ничего иного я от него не ожидал,— сказал капитан, когда помощник вернулся с пустыми руками после повторных поисков в сундуке мальчишки.— Ничего, на этом судне его приучат к порядку. Ступайте, Джордж, и закройте все остальные книжки у себя в ящике. Больше он их не получит.

К этому времени шхуна вышла в открытое море, и это начинало чувствоваться. Впереди открывался синий простор, испещренный изрыгающими дымы трубами и белыми парусами, спешащими из Англии в края романтики и приключений. Что-то вроде этого кок сказал Ральфу, стараясь убедить его подняться на палубу и взглянуть своими глазами. Кроме того, он порассуждал немного — с наилучшими намерениями, ко-

нечно, — о целительных свойствах жирной свинины в смысле спасения от морской болезни.

Последующие несколько суток мальчишка делил между тяжкими приступами морской болезни и усердной работой, каковую шкипер почитал за вернейшее лекарство от пиратства. Раза три-четыре Ральфа слегка побили, и еще — что было хуже колотушек — ему пришлось в утвердительном смысле отвечать на вопросы шкипера, чувствует ли он, что понемногу набирается здравого смысла. На пятое утро они подошли к Фэрхейвену, и, к своей радости, он снова узрел дома и деревья.

Они простояли в Фэрхейвене ровно столько, сколько понадобилось, чтобы освободиться от некоторой части своего груза, причем Ральфу, раздетому до рубашки и штанов, пришлось работать в трюме наравне с остальными, а затем судно направилось к Лоупорту, небольшому местечку в тридцати милях дальше, где им надлежало выгрузить свой «порох».

Был вечер, и был отлив, так что они бросили якорь в устье реки, на которой стоял городок.

— Ошвартуемся у пристани часа примерно в четыре, — сказал капитан помощнику, разглядывая кучку домиков на берегу. Затем он повернулся к мальчишке: — Что, юнга, тебе ведь лучше теперь, когда я выбил из тебя немного этой дури?

— Гораздо лучше, сэр, — почтительно ответил Ральф.

— Веди себя хорошо, — сказал капитан, направляясь к трапу, ведущему в каюту, — и тогда можешь остаться с нами, если пожелаешь. А сейчас ступай-ка спать, потому как утром тебе снова придется попотеть на разгрузке.

Он спустился к себе, а мальчишка остался на палубе. Матросы сидели в кубрике и курили, и только кок еще занимался своими делами на камбузе.

Часом позже кок тоже спустился в кубрик и стал готовиться ко сну. Остальные двое уже храпели на своих койках, и он совсем было собрался улечься, когда заметил, что койка юнги над ним пуста. Он вышел на палубу, огляделся, затем вернулся вниз и, почесав в задумчивости нос, потряс Джема за руку.

— Где мальчик? — спросил он.

— Э? — произнес Джем, пробуждаясь. — Который мальчик?

— Да наш мальчик, — сказал кок. — Ральф. Я что-то нигде не вижу его. Уж не свалился ли он за борт, бедняжка?

Джем отказался обсуждать этот вопрос, и кок разбудил Доббса. Доббс благодушно обругал его и снова погрузился в сон. Тогда кок опять поднялся на палубу и принялся искать мальчишку в самых неподходящих местах. Он даже покопался в сложенном такелаже, но, не обнаружив там никаких следов пропавшего, волей-неволей пришел к заключению, что произошло несчастье.

— Бедный парнишка,— трагически пробормотал он, перегибаясь через борт и вглядываясь в спокойную воду.

Покачивая головой, он медленно побрел на корму. Там он тоже заглянул через борт и вдруг испуганно вскрикнул и протер глаза. Корабельной шлюпки за кормой не было.

— Ч-то? — сказали оба матроса, когда он растолкал их и сообщил эту новость.— Ну, пропала шлюпка и пропала, нам-то что?

— Может, пойти и сообщить капитану? — спросил кок.

— Ну чего ты суетишься? — отозвался Джем, сладко мурлыкая под одеялом.— Это же его шлюпка, пусть сам за ней и присматривает. Спокойной ночи.

— А нам спа... на...— проговорил Доббс зевая.— Не забывай себе голову вещами, которые тебя не касаются, кок.

Приняв совет к сведению, кок быстро покончил с несложными приготовлениями ко сну, задул лампу и прыгнул в свою койку. В ту же секунду он ахнул, снова выбрался из койки и, нашарив спички, зажег лампу. Минутой позже он разбудил своих приятелей в третий раз, чем довел их до белого каления.

— Ну, как я тебе сейчас...— начал Джем разъяренно.

— А если не ты, то я уж наверняка! — подхватил Доббс, стараясь достать до кока стиснутыми кулаками.

— Это письмо — оно было приколото булавкой к моей подушке,— проговорил кок дрожащим голосом, поднося ближе к свету клочок бумаги.— Вот послушайте...

— Мы не желаем слушать никаких писем! — сказал Джем.— Заткнись, тебе говорят!

Но было в поведении кока нечто такое, что заставило матросов прекратить ругань. И когда они замолчали, кок стал читать с лихорадочной поспешностью:

— «Дорогой кок! Я смастерил адскую машину с часовым заводом и спрятал ее в трюме возле пороха, когда мы стояли в Фэрхейвене. Я думаю, она взорвется между десятью и одиннадцатью сегодня вечером, но я не уверен насчет точного времени. Не говори этим скотам, а прыгай через борт и плыви к берегу. Я беру шлюпку. Я взял бы тебя с собою, но ты сам рассказывал мне, что однажды проплыл семь миль, так что ты легко сможешь...»

На этом чтение прекратилось, так как слушатели выскочили из своих коек и, вылетев на палубу, с ревом ворвались в кормовую каюту, где, задыхаясь и перебивая друг друга, выложили содержание письма ее изумленным обитателям.

— Что он засунул в трюм? — переспросил капитан.

— Адскую машину,— сказал помощник.— Это такую штуковину, которой взрывают парламенты.

— Сколько сейчас времени? — взволнованно осведомился Джем.

— Около половины десятого,— весь дрожа, отозвался кок.— Надо кликнуть кого-нибудь с берега...

Они перегнулись через борт и послали через воды могучий оклик. Большая часть населения Лоупорта уже улеглась по постелям, но окна в гостинице еще светились, и виднелся свет в верхних окнах двух или трех коттеджей.

Они снова оглушительно заорали хором, в ужасе оглядываясь на трюмные люки, и вот в тишине с берега слабо доносся ответный крик. Они орали вновь и вновь как сумасшедшие, пока их чутко прислушивающиеся уши не уловили сначала скрежет лодочного киля по береговому песку, а затем и долгожданный скрип уключин.

— Да быстрее же! — орал во всю мочь Доббс навстречу лодке, медленно выплывавшей из тьмы.— Чего вы так медленно?

— В чем дело? — крикнул голос из лодки.

— Порох! — неистово завизжал кок.— Здесь на борту десять тонн пороха, и он вот-вот взорвется! Скорее!

Скрип уключин прекратился, послышалось испуганное бормотание; затем на лодке резко загребли одним веслом.

— Они поворачивают назад,— сказал вдруг Джем.— Я догоню их вплавь. Эй, на лодке! — закричал он.— Готовьтесь подбрать меня!

Он с плеском погрузился в воду и стремительно поплыл за лодкой. Доббс был неважным пловцом и последовал за ним после секундного колебания.

— А мне и шага не проплыть! — вскричал кок, клацая зубами.

Капитан и помощник, будучи в точно таком же затруднении, вслушивались, перегнувшись через борт. В темноте пловцов не было видно, но их продвижение было нетрудно проследить по шуму, который они производили. Джем втащил на лодку первым, а минутой-двумя позже слушатели на шхуне услышали, как он помогает Доббсу. Затем до их слуха донеслись звуки борьбы, глухие удары и бранные слова.

— Они возвращаются за нами,— сказал помощник и перевел дух.— Молодчина Джем!

Лодка, гонимая могучими ударами весел, устремилась к ним и скоро остановилась у борта. Трое оставшихся на судне торопливо ввалились в нее, Джем и Доббс взяли за весла снова с необычайным старанием, и обреченное судно сразу растаяло во мраке.

На берегу уже собралась небольшая кучка людей; узнав новости, они забеспокоились о безопасности своего городка. Общее мнение было таково, что уж окна-то, во всяком случае, находятся под угрозой, и были тут же отряжены гонцы предупредить жителей, чтобы окна держали раскрытыми.

Между тем покинутая «Сюзен Джейн» ничем не давала о себе знать. Часы на маленькой церквушке позади городка пробили двенадцать, а судно все еще было цело и невредимо.

— Что-то у них там не получилось,— сказал старый рыбак, не умевший правильно выражать свои мысли.— Сейчас самое время кому-нибудь отправиться туда и отбуксировать ее подальше в море.

Добровольцев не нашлось.

— Чтобы спасти наш Лоупорт,— продолжал этот оратор с чувством.— Если бы я был лет на двадцать помоложе...

— Это как раз дело для пожилых людей,— возразил чей-то голос.

Капитан ничего не сказал. Все это время он, напрягая глаза, вглядывался во мрак, в ту сторону, где стояло на якоре его судно, и мало-помалу он начал думать, что в конце концов все обойдется благополучно.

Прошло два часа, и толпа начала рассеиваться. Более важные обыватели, из тех, кто не любил сквозняков, позакрывали свои окна; неспешно привели обратно детишек, которых подняли с постелей и вывели на ночную прогулку подальше от берега. К трем часам стало ясно, что опасность миновала, а тут и рассвело, и все увидели покинутую, но по-прежнему невредимую «Сюзен Джейн».

— Я отправляюсь на борт,— сказал вдруг капитан.— Кто со мной?

Вызвались Джем, помощник и городской полицейский. Взяв все ту же лодку, они быстро погребли к кораблю; там они с невероятной осторожностью открыли люки и принялись искать. Вначале они нервничали, а затем понемногу привыкли; более того, ими овладело некое подозрение, вначале слабое, но постепенно все усиливавшееся, и это придавало им храбрости. Еще позже они стали стыдливо переглядываться.

— По-моему, ничего такого здесь нет,— сказал полисмен, сел и неистово расхохотался.— Этот мальчишка просто надул вас!

— Похоже на то,— простонал помощник.— Теперь мы станем посмешищем для всего города!

Капитан, стоявший к ним спиной, ничего не сказал; вдруг с громким возгласом он нагнулся и вытащил что-то из-за сломанного ящика.

— Вот она! — вскричал он.— Всем отойти!

Он торопливо выкарабкался на палубу, держа свою находку в вытянутой руке, а затем, отвернув лицо, зашвырнул ее далеко в воду. Громовое «ура» наблюдателей с двух лодок приветствовало это деяние, и далекий отклик послышался с берега.

— Это и была адская машина? — прошептал на ухо помощнику смущенный Джем. — А мне показалось, будто это самая что ни на есть простая банка мясных консервов...

Помощник покачал головой и искоса взглянул на полисмена, который жадно вглядывался в водную гладь.

— Ну что ж, бывало, что люди гибли и от консервов, — произнес он с ухмылкой.

В ПОГОНЕ ЗА НАСЛЕДСТВОМ

— Есть у моряков свои слабости, чего там говорить, — честно признал ночной сторож. — У меня у самого они были, когда я ходил в море. Но чтобы беречь деньги — такая слабость водится за ними редко.

Я как-то сберег немного денег — два золотых соверена провалились в дырку в кармане. Две ночи я провел тогда на улице и не имел во рту ни крошки, пока не нанялся на другое судно, и нашел я эти самые соверены в подкладке своей куртки, когда до ближайшего кабака было уже больше двух тысяч миль.

За все годы, что я проплавал, я знал только одного скрягу. Его звали Томас Геари, мы ходили вместе на барке «Гренада», который возвращался из Сиднея в Лондон.

Томас был человек в летах; я думаю, ему было под шестьдесят, и вообще он был старым дураком. Он копил больше сорока лет и, по нашим подсчетам, сберег что-то около шестисот фунтов. Очень ему нравилось разговаривать об этом и тыкать нам в нос, насколько он богаче всех остальных.

А через месяц, как мы вышли из Сиднея, старина Томас заболел. Билл Хикс объявил, будто это из-за полупенса, которого он недосчитался; но Уолтер Джонс, у которого семья была всегда больна и он думал, что в таких делах разбирается хорошо, сказал, что-де он знает, какая это болезнь, да только не может вспомнить, как она называется, а вот когда мы придем в Лондон и Томас покажется доктору, тогда-де и мы увидим, как он, Уолтер Джонс, был прав.

Так или иначе, но старику становилось все хуже и хуже. Пришел в кубрик капитан, дал ему каких-то лекарств и посмотрел его язык, а затем посмотрел наши языки, чтобы увидеть, есть разница или нету. Затем он оставил кока ходить за больным и ушел.

На следующий день Томасу стало хуже, и скоро всем, кроме него самого, стало ясно, что он отдает концы. Сначала он нипочем не хотел этому поверить, хотя и кок убеждал его, и Билл Хикс убеждал его, а у Уолтера Джонса совершенно таким же манером умер дедушка.

— Не буду я помирать,— говорит Томас.— Как это помру и оставляю все свои деньги?

— Это будет благо для твоих родственников, Томас,— говорит Уолтер Джонс.

— Нет у меня родственников,— говорит старик.

— Тогда для твоих друзей,— этак тихонько говорит Уолтер.

— И друзей нету,— говорит старик.

— Ну как же нету, Томас,— говорит Уолтер с доброй улыбкой.— Уж одного-то я мог бы тебе назвать.

Томас закрыл глаза, чтобы его не видеть, и принялся жалобно рассказывать о своих деньгах и каким тяжким трудом он их скопил. И мало-помалу ему делалось все хуже, и он перестал нас узнавать и принимал нас за шайку жадных пьяных матросов. Уолтера Джонса он принимал за акулу и так ему прямо и сказал, и как Уолтер ни старался, разубедить старика ему не удалось.

Помер он на другой день. Утром он опять плакался насчет своих денег и обозлился на Билла, когда тот напомнил ему, что с собой он их все равно не унесет, и он выудил у Билла обещание, что похоронят его, в чем он есть. После этого Билл поправил ему одеяло и, нащупав на старике парусиновый пояс, понял, чего тот хочет добиться.

Погода в тот день была ненастная, слегка штормило, и потому все были заняты на палубе, а смотреть за Томасом оставили юнгу лет шестнадцати, который обычно помогал стюарду на корме. Мы с Биллом сбежали в кубрик взглянуть на старика как раз вовремя.

— Я все-таки унесу их с собой, Билл,— говорит старик.

— Ну и правильно,— говорит Билл.

— Камень с моей души... теперь свалился,— говорит Томас.— Я отдал их Джиму... и велел выбросить их... за борт.

— Что? — говорит Билл, вытаращив на него глаза.

— Все правильно, Билл,— говорит юнга.— Так он мне велел. Это была маленькая пачка банкнотов. Он дал мне за это два пенса.

Старина Томас, похоже, слушал. Глаза его были открыты, и он этак хитренько глядел на Билла, словно бы потешаясь, какую он сыграл с ним шутку.

— Никому... не тратить... моих денег,— говорит он.— Никому...

Мы отступили от его койки и некоторое время стояли, уставясь на него. Затем Билл повернулся к юнге.

— Иди и доложи капитану, что Томас готов,— говорит он.— И гляди, если тебе шкура дорога, не сболтни кому-нибудь, что ты выбросил деньги за борт.

— Почему? — говорит Джим.

— Потому что тебя посадят за это,— говорил Билл.— Ты не имел права это делать. Ты нарушил закон. Деньги положено кому-нибудь оставлять.

Джим вроде перетрусил, а когда он ушел, я повернулся к Биллу. Гляжу это я на него и говорю:

— Что это ты затеял, Билл?

— «Затеял»! — говорит Билл и фыркает на меня.— Просто я не хочу, чтобы несчастный юнга попал в беду. Бедный парнишка. Ты ведь тоже когда-то был молод.

— Да,— говорю я.— Но с тех пор я немного вырос, Билл, и, если ты не скажешь мне, что ты затеял, я сам расскажу капитану и всем ребятам тоже. Ему велел старина Томас, так чем же мальчишка виноват?

— И ты думаешь, Джим его послушал? — говорит Билл, скривив свой нос.— Этот змееныш расхаживает теперь с шестью сотенками в кармане. Держи только язык за зубами, и я о тебе не забуду.

Тут до меня дошло, что затеял Билл.

— Идет,— говорю я, а сам гляжу на него.— За половину я молчать согласен.

Я думал, он лопнет со злости, а уж наговорил он мне столько, что я едва успевал отвечать.

— Ладно, раз так,— говорит он наконец.— Пусть будет пополам. И никакого грабежа тут нету, потому как деньги никому не принадлежат, и они не мальчишкины, потому как ему было сказано выбросить их за борт.

На следующее утро беднягу Томаса похоронили, а когда все кончилось и мы пошли обратно в кубрик, Билл взял юнга за плечо и говорит:

— Теперь бедняга Томас ищет свои деньги. Интересно, найдет или нет? Большая была пачка, Джим?

— Нет,— говорит юнга, качая головой.— Их там было шестьсот фунтовых билетов и два соверена, и я завернул соверены в билеты, чтобы они потонули. Ведь это подумать, Билл,— выбросить такие деньги! Это грех, как ты считаешь?

Билл ему не ответил, и после обеда, пока в кубрике никого не было, мы взяли за мальчишкину койку и обшарили ее всю как есть, однако ничего не нашли, и в конце концов Билл сел и объявил, что он, должно быть, носит их на себе.

Мы дождались ночи и, когда все захрапели кто во что горазд, прокрались к мальчишкиной койке, обыскали его карманы и ощупали подкладку, а затем мы вернулись на свои места, и Билл шепотом рассказал, какое у него мнение о Джиме.

— Наверное, он привязал их к животу прямо на голое тело, как Томас,— говорю я.

Мы стояли и шептались в темноте, а затем у Билла лопну-

ло терпение, и он на цыпочках снова отправился на поиски. Он весь так и трясся от волнения, да и я был не лучше, и тут вдруг кок с ужасным хохочущим визгом подскочил на своей койке и завопил, что кто-то его щекочет.

Я мигом забрался на свою койку, Билл забрался на свою, и мы лежали и слушали, как наш кок, который страшно боялся щекотки, излагает, что он намерен сделать, если это повторится еще раз.

— Ложись и спи,— говорит Уолтер Джонс.— Тебе все это приснилось. Сам подумай, кому взбредет в голову тебя щекотать?

— Слово даю,— говорит кок.— Кто-то подкрался ко мне и принялся меня щекотать, и рука у него была с баранью ногу. У меня до сих пор мурашки по всему телу.

В эту ночь Билл утихомирился, но на следующий день, сделав вид, будто считает, что Джим растолстел, схватил мальчишку и истыкал пальцем всего с головы до ног. Как ему показалось, что-то такое он нащупал у него вокруг пояса, но увериться в этом он не успел, потому как Джим издавал такие вопли, что остальные ребята вмешались и заставили Билла оставить его в покое.

Целую неделю мы искали эти деньги и ничего не нашли, и тогда Билл сказал, что с некоторых пор Джим постоянно околачивается на корме и это подозрительное обстоятельство наводит его на мысль, что мальчишка спрятал их где-нибудь там. Но как раз в это время, поскольку рабочих рук на судне теперь не хватало, Джима отрядили на нос палубным матросом, и тут стало ясно, что он просто избегает Билла.

Наконец однажды мы застали его одного в кубрике, и Билл обнял его, усадил на рундук и напрямик спросил его, где деньги.

— Да я же выбросил их за борт,— говорит юнга.— Я же тебе сказал уже. Что у тебя с памятью, Билл?

Билл взял его и разложил на рундуке, и мы тщательно обыскали его. Мы даже сняли с него башмаки, а пока он снова обувался, еще раз осмотрели его койку.

— Ежели ты не виноват,— говорит Билл,— почему ты сейчас не орал и не звал на помощь, а?

— Потому что ты велел мне помалкивать об этом деле, Билл,— говорит юнга.— Но в следующий раз я заору. И очень даже громко.

— Слушай,— говорит Билл,— скажи нам, где они, и мы поделим их на троих. Каждому достанется по двести фунтов, и мы расскажем тебе, как их разменять и не попасть в беду. Мы ведь умнее тебя, и ты это знаешь.

— Знаю, Билл,— говорит юнга.— Но зачем я буду врать? Я выбросил их за борт.

— Ладно, раз так,— говорит Билл и поднимается.— Пойду и расскажу все капитану.

— Ну и рассказывай,— говорит Джим.— Мне-то что!

— Как только ты сойдешь на берег, тебя обыщут,— говорит Билл,— и обратно на судно больше не пустят. Из-за своей жадности ты потеряешь все, а если ты поделишься с нами, у тебя будет двести фунтов.

Я видел, что мальчишке это в голову не приходило, и, как он ни старался, скрыть свои чувства он не смог. Он назвал Билла красноносой акулой, и меня он тоже как-то назвал, только я уже забыл.

— Подумай хорошенько,— говорит Билл,— и не забудь, что полиция схватит тебя за шиворот и обыщет, едва ты сойдешь с трапа.

— Интересно, а кока они тоже будут щекотать? — говорит Джим злобно.

— И если они найдут деньги, ты пойдешь в тюрьму,— говорит Билл и дает ему затрещину.— А там тебе придется не по вкусу, за это я тебе ручаюсь.

— Что же тебе там так не понравилось, Билл? — говорит Джим, держась за ухо.

Билл поглядел на него и пошел к трапу.

— Больше трепать с тобой языком я не намерен, дружок,— говорит он.— Я иду к капитану.

Он стал медленно подниматься, и едва он ступил на палубу, как Джим вскочил и позвал его. Билл сделал вид, будто не слышит, и мальчишка выскочил на палубу и побежал за ним следом; немного спустя они оба вернулись в кубрик.

— Ты хотел мне что-то сказать, дружок? — говорит Билл, задирая голову.

— Да,— говорит юнга и ломает пальцы.— Мы поделим деньги, если ты будешь держать пасть на замке.

— Хо! — говорит Билл.— А я-то думал, ты их выбросил за борт.

— Я тоже так думал, Билл,— говорит тихо Джим,— но когда я вернулся в кубрик, они оказались у меня в кармане штанов.

— Где они сейчас? — говорит Билл.

— Это неважно,— говорит юнга.— Тебе до них все равно не добраться. Я и сам не знаю теперь, как их взять.

— Где они? — снова говорит Билл.— Я сам их буду хранить. Тебе я не доверяю.

— А я не доверяю тебе,— говорит Джим.

— Если ты сию же минуту не скажешь мне, где деньги,— говорит Билл и снова идет к трапу,— я иду и рассказываю капитану. Они должны быть у меня в руках, по крайней мере моя доля. Почему бы не разделить их прямо сейчас?

— Потому что их у меня нет,— говорит Джим, притопнув ногой,— вот почему, и это все из-за ваших дурацких штучек. Когда вы ночью устроили мне обыск, я перепугался и спрятал их.

— Где? — говорит Билл.

— В матрасе второго помощника,— говорит Джим.— Я прибирал на корме и нашел в его матрасе снизу дырку, засунул туда деньги и затолкал их палкой поглубже.

— Как же ты думаешь достать их обратно? — говорит Билл, почесав затылок.

— Вот этого я и не знаю, ведь на корму мне теперь не разрешается,— говорит Джим.— Кому-то из нас придется рискнуть, когда мы придем в Лондон. И гляди, Билл, ежели ты попробуешь здесь смошенничать, я сам всех выдам.

Тут как раз в кубрик спустился кок, и нам пришлось прекратить разговор, но я видел, что Билл очень доволен. Он был так доволен, что деньги не выброшены за борт, что совсем упустил из виду, как же теперь до них добраться. Ну, через несколько дней он уразумел положение так же явственно, как и мы с Джимом, и тогда он мало-помалу совсем озверел и стал бегать на корму при всяком удобном случае и этим навел страх на нас обоих.

Трап в кормовые каюты был как раз напротив штурвала, и спуститься туда незаметно было так же затруднительно, как незаметно вынуть у человека изо рта вставную челюсть. Один раз, когда у штурвала стоял Билл, Джим спустился туда поискать свой нож, который он якобы там оставил, но едва он скрылся вниз, как выскочил снова в сопровождении стюарда со шваброй в руках.

Больше мы ничего не могли придумать, и нас прямо-таки с ума сводила мысль о том, что второй помощник, маленький человечек с большой семьей, никогда не имевший за душой ни гроша, каждую ночь спит на матрасе с нашими шестью сотнями фунтов.

Мы разговаривали об этом при каждом удобном случае, причем Билл и Джим едва удерживались от взаимных грубостей. Юнга считал, что во всем виноват Билл, а Билл все сваливал на юнгу.

— Я считаю, что есть только один выход,— говорит как-то юнга.— Пускай Билла хватит солнечный удар, когда его будут сменять у штурвала, и пускай он свалится вниз по трапу и покалечится так, что его нельзя будет переносить. Тогда его поместят внизу в какую-нибудь каюту, а меня, может быть, приставят за ним ходить. Так или иначе, он-то уж будет находиться там, внизу.

— Хорошая мысль, Билл,— говорю я.

— Хо! — говорит Билл и глядит на меня так, словно готов

сожрать со всеми потрохами.— А почему бы не свалиться по трапу тебе самому, если так?

— По мне, лучше, если это будешь ты, Билл,— говорит юнга.— А вообще-то мне все равно, кто из вас. Можете бросить жребий.

— Иди отсюда,— говорит Билл.— Иди отсюда, пока я чего-нибудь тебе не сделал, кровожаждущий убийца!.. У меня у самого есть план,— говорит он, понизив голос, когда юнга вылетел из кубрика.— И, ежели я не придумаю чего-либо получше, я пушу его в ход. Только гляди, ни слова мальчишке.

Ничего получше он не придумал, и однажды ночью, как раз когда мы входили в Ламанш, он пустил в ход свой план. Он был в вахте второго помощника, и вот он облакачивается на штурвал и говорит ему тихим голосом:

— Это мое последнее плавание, сэр.

— О,— говорит второй помощник, никогда не гнушавшийся беседой с простым матросом.— Почему же?

— Я нашел себе койку на берегу, сэр,— говорит Билл,— и я хочу попросить вас об одном одолжении.

Второй помощник буркнул что-то и отошел на шаг-другой.

— Мне нигде не было так хорошо, как на этом судне,— говорит Билл.— И остальным ребятам тоже. Прошлой ночью мы говорили об этом, и все сошлись, что это из-за вас, сэр, и из-за вашей к нам доброты.

Второй помощник кашлянул, но Билл видел, что это ему понравилось.

— И вот я подумал,— говорит Билл,— что, когда я покину море навсегда, хорошо бы унести с собой что-нибудь на память о вас, сэр. И мне пришла мысль, что, если бы я заполучил ваш матрас, я бы вспоминал о вас каждую ночь в своей жизни.

— Мой... что? — говорит второй помощник, вытаращив на него глаза.

— Ваш матрас, сэр,— говорит Билл.— Я бы предложил вам за него фунт, сэр. Мне хочется иметь что-нибудь из ваших вещей, и это был бы для меня лучший памятный подарок.

Второй помощник покачал головой.

— Мне очень жаль, Билл,— говорит он мягко,— но я не могу отдать его за такую цену.

— Я лучше дам тридцать шиллингов, чем откажусь от него, сэр,— смиренно говорит Билл.

— Я уплатил за этот матрас большую сумму,— говорит второй помощник.— Не помню, сколько именно, но сумма была велика. Ты понятия не имеешь, какой это дорогой матрас.

— Я знаю, что это хорошая вещь, иначе вы не стали бы ее держать у себя,— говорит Билл.— А пара фунтов вас не устроит, сэр?

Второй помощник мекал и экал, но Билл поостерегся набавлять еще. Со слов Джима он знал, что красная цена этому матрасу была не больше восемнадцати пенсов — для того, кто не очень брезгливый.

— Я спал на этом матрасе годы и годы, — говорит второй помощник, а сам глядит на Билла краем глаза. — Не знаю уж, смогу ли я спать на каком другом. Но, чтобы уважить тебя, Билл, я отдам его тебе за два фунта, если ты оставишь его у меня до берега.

— Спасибо, сэр, — говорит Билл, едва удерживаясь, чтобы не заплескать от радости. — Я передам вам эти два фунта, как только нас рассчитают. Я буду хранить его всю свою жизнь, сэр, на память о вас и о вашей доброте.

— Только смотри, никому ничего не рассказывай, — говорит второй помощник, которому не улыбалось, чтобы об этой сделке узнал капитан, — потому что иначе ко мне начнут приставать другие желающие купить что-нибудь на память.

Билл со всем пылом пообещал ему молчать, и когда он мне об этом рассказывал, то чуть не плакал от счастья.

— И замечь, — говорит он, — я купил этот матрас, закупил его весь целиком, и к Джиму это не имеет никакого отношения. Мы с тобой уплатим по фунту и разделим то, что внутри, пополам.

Он в конце концов убедил меня, но этот мальчишка следил за нами, как кот за канарейками, и мне простым глазом было видно, что уж его надуть будет нелегко. Похоже, к Биллу он относился более подозрительно, нежели ко мне, и чуть что, все приставал к нам, как мы решили с этим делом.

Из-за встречного ветра мы четыре дня проболтались в проливе, пока нас не подцепил буксир и не привел в Лондон.

Переживания у нас напоследок были ужасные. Прежде всего нам нужно было получить матрас, а затем нам нужно было исхитриться и избавиться от Джима. Билл было предложил, чтобы я увел его с собой на берег. Сказал бы, что Билл-де подойдет попозже, и там удрал бы от него. Но я на это заявил, что, пока я не получу свою долю, мне не вынести расставания с Биллом хотя бы на полсекунды.

И, кроме того, Джим нипочем бы не ушел без него. Весь путь вверх по реке он торчал возле Билла и то и дело спрашивал, что же мы собираемся делать. Он так переживал, что чуть не плакал, и Билл даже испугался, как бы это не заметили остальные ребята.

В конце концов мы отшвартовались в Истиндских доках и сразу повалили в кубрик помыться и переодеться в выходную одежду. Джим все это время не спускал с нас глаз, а затем он подходит к Биллу, кусает ногти и говорит:

— Как же это сделать, Билл?

— Держись поблизости, когда все уйдут на берег, и надейся на удачу,— говорит Билл и поглядывает на меня.— Посмотрим, как пойдут дела, когда получим аванс.

Мы пошли на корму получать по десять шиллингов на карманные расходы. Я с Биллом получил раньше всех, и тогда второй помощник, незаметно подмигнув, с таким беспечным видом вышел за нами следом и вручил Биллу матрас, завернутый в мешок.

— Вот тебе, Билл,— говорит он.

— Премного благодарен, сэр,— говорит Билл.

Руки у него так тряслись, что он едва не выронил этот мешок, и он хотел сразу уйти, пока Джим не поднялся на палубу. Но болван помощник останавливает его и произносит перед нами маленькую речь. Дважды Билл порывается идти, но помощник кладет ему руку на плечо и все рассказывает, как он всегда старался ладить с командой и как это ему всегда удавалось, и вот пожалуйста — в самый разгар этого представления появляется мистер Джим.

Он весь так и задрожал при виде свертка с матрасом и широко раскрыл глаза, а затем, когда мы двинулись на нос, он взял Билла под руку и обозвал его всеми бранными словами, какие только знал.

— Ты даже молоко из блюдца у кошки готов спереть,— говорит он.— Но только знай, ты с этого судна не уйдешь, пока я не получу свою долю.

— Я хотел сделать тебе сюрприз,— говорит Билл, сияясь улыбнуться.

— Можешь подавиться своими сюрпризами, Билл, мне они не по вкусу,— говорит юнга.— Где ты собираешься вспарывать его?

— Я думаю вспороть его у себя на койке,— говорит Билл.— Ежели мы понесем его через пристань, нас может остановить полиция и спросить, что там внутри. Так что пошли в кубрик, старина Джим.

— Ну да, держи карман шире,— говорит юнга и кивает ему.— А там уж вы что-нибудь придумаете, когда я останусь с вами один. Ничего, мою долю ты выбросишь мне сюда, а затем ты сойдешь с судна прежде меня. Ты понял?

— Пошел к черту! — говорит Билл.

Мы поняли, что последний шанс у нас пропал, спустились вниз, и он кинул сверток на свою койку.

В кубрике оставался только один парень. Он повозился минут десять со своей прической, кивнул нам и убрался.

Через полминуты Билл распорол матрас и принялся шарить в набивке, а я зажигал спички и приглядывал за ним. Матрас был не так чтобы очень велик, и набивки в нем было

не так чтобы очень много, но мы никак не могли найти эти деньги. Билл ворошил набивку снова и снова, а затем выпрямился, посмотрел на меня и перевел дух.

— Может, помощник нашел их? — говорит он охрипшим голосом.

Мы снова перетряхнули набивку, и тогда Билл поднялся до середины трапа и тихонько окликнул Джима. Он окликнул его три раза, а затем вылез на палубу, и я следом за ним. Юнги нигде не было видно. Увидели мы только судового кока, который мылся и причесывался перед выходом на берег, да капитана, который стоял на корме и разговаривал с владельцем.

Мы никогда больше не видели этого юнгу. Он не вернулся за своим сундучком и не пришел получать жалованье. Вся остальная команда была, конечно, тут, и когда я получил свои деньги и вышел на палубу, я увидел беднягу Билла. Он стоял, привалившись спиной к стене, и пристально глядел на второго помощника, а тот с доброй улыбкой осведомлялся, как ему спалось.

Бедный парень засунул руки в карманы штанов и со всей мочи старался ответить улыбкой на улыбку. Таким я в последний раз видел Билла.

В ПАВЛИНЫХ ПЕРЬЯХ

Капитан «Сары Джейн» пропадал уже два дня, и это обстоятельство наполняло радостью всех на борту, если не считать юнги, которого никто не спрашивал. До этого капитан, чью натуру можно было бы, вероятно, определить как беспорядочную, дважды опаздывал к отплытию своего корабля, и прошел слух, будто третий раз будет для него последним. Место было выгодное, и на него претендовал помощник, а на место помощника целился матрос Тед Джонс.

— Еще два часа, и я отчаливаю, — озабоченно объявил помощник матросам, которые стояли, облокотившись на борт.

— Да, примерно два часа, — отозвался Тед, наблюдая, как прилив медленно заливают полосу прибрежного ила. — Интересно, что со стариком?

— Не знаю и знать не хочу, — сказал помощник. — Стойте за меня, ребята, и нам всем будет хорошо. В последний раз мистер Пирсон ясно выразился, что, ежели капитан опять опоздает к отплытию, пусть больше не появляется на судне, и он прямо перед стариком приказал мне, чтобы я не ждал ни одной лишней минуты, а прямо отчаливал бы.

— Старый дурень, — сказал Билл Лох, другой матрос. — И никто не пожалеет о нем, кроме как юнга. Все утро он как

на иголках, я даже дал ему пинка во время обеда, чтобы он смотрел бодрее. Вон, поглядите на него.

Помощник бросил в сторону юнга презрительный взгляд и отвернулся. Юнга не подозревал, что на него обратили внимание.

Забравшись за брашпиль, он извлек из кармана письмо и внимательно перечитал его в четвертый раз.

«Дорогой Томми, — начиналось оно. — Я беру в руку перо сообщить тебе, что нахожусь тут и не могу уйти попричине что вчера вечером я праиграл маи адежды в карты и еще деньги и все остальное. Негавари ниадной живой душе об этом потомукак помощник целит на мою должность а сабери какойнибудь адежды и принеси мне неговоря никому. Пойдет адежда помощника потому — что иной какой у меня нет и не гавари ему. Про наски небеспокойся как мне их аставил. Глава у миня так балит что я тут канчаю. Твой любящий дядя и капитан Джо Бросс. Еще непападись наглаза памощнику когда пойдешь а то он тибя непустит».

— Еще два часа, — вздохнул Томми, засовывая письмо обратно в карман. — А как мне взять одежду, когда она вся под замком? И ведь тетка приказала присматривать за ним, чтобы он не попал в беду...

Он сидел, глубоко задумавшись, но тут команда по приглашению помощника сошла на берег пропустить по стаканчику, и юнга опять спустился в каюту и снова тщательно обыскал ее. На виду была только одежда, принадлежавшая миссис Бросс, которая вплоть до этого рейса плавала вместе с капитаном, чтобы самой присматривать за ним. Юнга усталился на платье.

— Возьму это и попробую махнуть в обмен на что-нибудь мужское, — решил он и принялся сдирать платье с вешалки. — Тетка не станет браниться.

Он поспешно скатал женские туалеты в сверток и вместе с парой ковровых туфель капитана засунул в старый короб изпод сухарей. Затем, взвалив эту ношу на плечо, он осторожно вышел на палубу, прыгнул на берег и пустился бегом по адресу, указанному в письме.

Путь был долгий, а короб был тяжелый. Первая попытка совершить товарообмен закончилась неудачно, ибо хозяина ломбарда незадолго до этого навестила полиция и он пребывал в столь разрушительном состоянии духа, что юнга едва успел подхватить свой груз и выскочить из лавки. Встревожженный, он поспешно зашагал дальше и свернул в какой-то переулок, и тут взгляд его упал на булочника скромной и добродушной наружности, который стоял за прилавком в своей лавчонке.

— Ежели позволите, сэр, — произнес Томми, входя и ставя

короб на прилавок. — Нет ли у вас какой-либо бросовой одежды, которая вам не требуется?

Булочник повернулся к полке, выбрал черствую краюху, разрезанную пополам, и одну половинку положил перед юнгой.

— Мне не нужен хлеб, — сказал Томми в отчаянии. — Но у меня только что померла мать, и отцу нужен траур для похорон. У него есть только новый костюм, и если он сможет обменять вот эти вещи матери на какой-нибудь поношенный, он тогда продаст свой новый и выручит деньги на похороны...

Он вытряхнул одежды на прилавок, и жена булочника, которая только что вошла в лавку, не без благосклонности их осмотрела.

— Бедный мальчик, ты, значит, потерял свою мать, — сказала она, переворачивая какой-то предмет туалета. — Это хорошая юбка, Билл.

— Да, мэм, — сказал Томми скорбно.

— А отчего она умерла? — осведомился булочник.

— От скарлатины, — со слезами в голосе сказал Томми, потому что это была единственная болезнь, о которой он слышал.

— От скар... Забирай сейчас же это барахло! — вскричал булочник, сбрасывая одежду на пол и отбегая следом за женой в противоположный угол лавки. — Забирай это сейчас же отсюда, негодяй ты этакий!

Голос его был столь громок, а поведение столь решительно, что перепуганный юнга, не пытаясь спорить, кое-как запихал одежду в короб и отчалил. Прощальный взгляд на часы привел его почти в такой же ужас, в каком пребывал булочник.

— Времени терять нельзя, — пробормотал он и пустился бегом. — И пусть старик надевает это либо пусть остается там, где он есть.

Он достиг цели, совершенно запыхавшись, и остановился перед небритым человеком в заношенном грязном платье, который стоял перед дверью и с видимым удовольствием покуривал короткую глиняную трубку.

— Капитан Бросс здесь? — пропыхтел он.

— Наверху, — отвечал человек со злорадной ухмылкой. — Сидит во власянице, посыпав голову пеплом, и пепла на нем больше, чем власяницы. Ты принес ему во что одеться?

— Послушайте, — сказал Томми. Он уже стоял на коленях и открывал крышку короба, совершенно в стиле бывалого торговца вразнос. — Отдайте мне за это какой-нибудь старый костюм. Торопитесь. Вот прекрасное платье...

— Чтоб мне провалиться! — произнес человек, вытаращив глаза. — Да у меня есть только то, что на мне! За кого ты меня принимаешь? За герцога?

— Ну, тогда достаньте где-нибудь, — сказал Томми. — Если вы не достанете, капитану придется идти в этом...

— Забавно, на что он будет тогда похож, — сказал человек, ухмыляясь. — Чтоб мне сдохнуть, я непременно приду наверх поглядеть!

— Достаньте мне одежду! — умолял Томми.

— Да я за пятьдесят фунтов доставать не стану! — сказал человек с возмущением. — Так и норовит испортить людям удовольствие! Ступай, ступай, покажи своему хозяину, что ты ему приволок, а я послушаю, что он тебе на это скажет. Он с десяти утра бранится на чем свет стоит, но уж об этом он должен сказать что-то совсем особенное.

Он повел отчаявшегося юнгу вверх по голой деревянной лестнице, и они вошли в маленькую грязную комнатушку, в центре которой восседал капитан «Сары Джейн» в носках и в газете за прошлую неделю.

— Вот юный джентльмен пришел и принес вам одежду, капитан, — сказал небритый человек, забирая у юнги короб.

— Ты чего так долго? — проворчал капитан, поднимаясь.

Небритый человек запустил руку в короб и извлек платье.

— Что вы об этом думаете? — произнес он выжидающе.

Капитан тщетно пытался произнести хоть слово, ибо язык его из милосердия отказался служить ему и предпочел застрять между зубами. В мозгу капитана гремели выражения, предающие анафеме зло и пороки.

— Ну, хоть поблагодарите, если вам нечего больше сказать, — предложил небритый человек с надеждой в голосе.

— Ничего другого не было, — поспешно сказал Томми. — Все вещи были под замком. Я попытался сменять это на что-нибудь подходящее и чуть было не попал за решетку. Одевайтесь поскорее, пожалуйста.

Капитан облизнул губы.

— Помощник отчалит сразу же, как только шхуна будет на плаву, — продолжал Томми. — Одевайтесь же, надо испортить ему удовольствие. Сейчас идет дождик. Никто вас не заметит, а на борту вы займете одежду у кого-нибудь из матросов.

— Платье самое модное, капитан, — сказал небритый человек. — Господи, в вас будут влюбляться с первого взгляда!

— Скорее же! — сказал Томми, пританцовывая от нетерпения. — Скорее!

Совершенно обалдевший капитан стоял смирно, дико ворочая глазами, а двое помощников обряжали его, пререкаясь по поводу деталей туалета.

— Говорят тебе, его нужно туго зашнуровать, — сказал небритый человек.

— Да нельзя же туго зашнуровывать без корсета, — презрительно возразил Томми. — Уж вам-то надо бы знать.

— Ну да, нельзя, — в замешательстве пробормотал небритый человек. — Ты-то уж что-то много знаешь для своих лет... Ладно, тогда обмотаем его шнурком.

— Шнурок искать некогда, — сказал Томми, привставая на цыпочки, чтобы закрепить на голове у капитана капор. — Обвяжите ему шарф вокруг подбородка, чтобы закрыть бороду, и нацепите эту вуаль. Слава богу, что у него нет усов.

Человек повиновался, а затем, отступив на два шага, полюбовался на дело рук своих.

— Не мне, понятно, говорить, но глядеть на вас — одно удовольствие, — провозгласил он гордо. — Ну, молодчик, бери его под руку. Веди его по задним переулкам, а если заметишь, что на тебя кто-нибудь глазеет, назови его мамой.

Будучи реалистом от рождения, небритый человек попытался на пороге сорвать у капитана поцелуй, и парочка пустилась в путь. К счастью, шел проливной дождь, и, хотя некоторые прохожие поглядывали на них с любопытством, никто на пути к пристани к ним не приставал. На пристань же они явились как раз в ту минуту, когда шхуна отчаливала.

Увидев это, капитан задрал юбки и припустил бегом.

— Эхой! — заорал он. — Стойте!

Помощник бросил на необычную фигуру изумленный взгляд и отвернулся, но в этот момент корма шхуны оказалась на расстоянии прыжка от пристани, и дядя с племянником, движимые единым порывом, обрушились на палубу.

— Вы почему не задержались, когда я вас окликнул? — набросился капитан на помощника.

— А откуда мне было знать, что это вы? — угрюмо возразил помощник, осознавший свое поражение. — Я, может, думал, что это русская императрица.

Капитан яростно уставился на него.

— Впрочем, мой вам совет, — продолжал помощник с ядовитой улыбкой, — оставайтесь в этой одежде. Вы никогда еще так мило не выглядели.

— Я хочу занять у вас какую-нибудь одежду, Боб, — сказал капитан и пристально на него поглядел.

— А где у вас своя? — спросил помощник.

— Не знаю, — сказал капитан. — Прошлой ночью у меня был приступ, Боб, и, когда сегодня утром я очнулся, одежды на мне не было. Кто-то воспользовался моим беспомощным положением и раздел меня.

— Весьма возможно, — сказал помощник. Он отвернулся и крикнул команду матросам, которые возились с парусами.

— Ну, так где же она, старина? — спросил капитан.

— Откуда мне знать? — удивился помощник.

— Я говорю о вашей одежде, — сказал капитан, быстро утрачивая терпение.

— А, о моей... — сказал помощник. — Ну, честно говоря, не люблю я одалживать свою одежду. Я, знаете ли, очень брезгливый. А вдруг у вас в ней случится приступ?

— Так вы не одолжите мне вашу одежду? — спросил капитан.

— Нет, не одолжу! — произнес помощник очень громко и значительно поглядел на настороживших уши матросов.

— Очень хорошо! — сказал капитан. — Тед, иди сюда. Где твоя запасная одежда?

— Очень сожалею, сэр, — проговорил Тед, неловко переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на помощника в поисках поддержки, — она будет совсем вам не по вкусу.

— Об этом лучше судить мне, — резко сказал капитан. — Неси ее сюда.

— Сказать по правде, сэр, я вроде помощника, — сказал Тед. — Я всего только бедный матрос, но свою одежду я не одолжу и королеве Англии.

— Неси сюда одежду! — взревел капитан, срывая с головы капор и швыряя его на палубу. — Неси сию же минуту! Ты хочешь, чтоб я так и ходил в этих юбках?

— Не дам, — упрямо сказал Тед.

— Очень хорошо, я возьму одежду у Билла, — сказал капитан. — Только имей в виду, приятель, ты у меня за это жестоко заплатишься. Билл — вот единственный честный человек на борту. Дай мне твою руку, Билл, старина.

— Я с ними заодно, — сказал Билл хрипло и отвернулся.

В ярости кусая губы, капитан поворачивался то к одному, то к другому, а потом, разразившись проклятиями, зашагал на ют. Но Билл и Тед опередили его, и, когда он спустился в кубрик, они уже сидели рядом на своих сундуках лицом к нему. Угрозы и мольбы они выслушали в каменном молчании, и отчаявшемуся капитану пришлось в конце концов вернуться на палубу все в тех же ненавистных юбках.

— Пошли бы в каюту и прилегли, — предложил помощник. — Я бы принес вам добрую кружку горячего чаю. А то ведь вас так кондрашка хватит.

— Заткнитесь, а то я вам все зубы повыбиваю! — сказал капитан.

— Это вы-то? — весело сказал помощник. — Силенок не хватит. Вы лучше поглядите на того вон беднягу.

Взглянув в указанном направлении, капитан раздулся от бессильной злости и яростно погрозил кулаком краснорожему мужчине с седыми бакенбардами, который посылал ему бесчисленные воздушные поцелуи с мостика проходящего парохода.

— Правильно, — одобрительно сказал помощник. — Их

нужно отшивать. Любовь с первого взгляда ломаного гроша не стоит.

Ужасно страдая от подавляемых эмоций, капитан ушел в каюту, а команда, подождав немного и убедившись, что он больше не появится, тихонько приблизилась к помощнику.

— Если в Бэтлси он прибудет в таком виде, все будет в порядке, — сказал тот. — Стойте за меня, ребята. На борту у него только туфли и зюйвестка. Выбросьте все иголки за борт, иначе он попырует сшить себе одежду из старого паруса или чего-нибудь другого. Если мы доставим его в этих юбках к мистеру Пирсону, все в конце концов выйдет не так уж и плохо.

Пока наверху договаривались об одних мероприятиях, внизу капитан и юнга обсуждали другие. Все поразительные проекты захвата матросской одежды, выдвинутые капитаном, были отвергнуты мальчиком как совершенно противозаконные и, что хуже всего, непрактичные. Битых два часа обсуждали они пути и способы, но завершилось это всего лишь монологами по поводу гнусного поведения команды; в конце концов капитан, чья голова еще трещала после вчерашних излишеств, впал в состояние мрачного отчаяния и замолчал.

— Клянусь богом, Томми, я нашел выход! — вскричал он вдруг, выпрямляясь и ударяя кулаком по столу. — Где твоя запасная одежда?

— Да она ведь такого же размера, что и эта, — сказал Томми.

— Давай ее сюда, — сказал капитан, кивая со значительным видом. — Хорошо, так. А теперь ступай в мою каюту и сними то, что на тебе.

Ничего не понимая и опасаясь, что великое горе повредило разум его родственника, Томми повиновался и вскоре возвратился в кают-компанию, завернутый в одеяло и с одеждой под мышкой.

— Ты понял, что я собираюсь сделать? — спросил капитан, широко улыбаясь.

— Нет.

— Теперь давай сюда ножницы. Так. Теперь ты понял?

— Вы хотите разрезать два костюма и сделать из них один! — догадался Томми и содрогнулся от ужаса. — Постойте! Не надо!

Но капитан нетерпеливо отпихнул его и, разложив одежду на столе, несколькими удалыми взмахами ножниц расчленил ее на составные части.

— А я что теперь буду носить? — спросил Томми, принимаясь всхлипывать. — Об этом вы подумали?

— Ты? Что будешь носить ты, себялюбивый поросенок? — строго произнес капитан. — Ты вечно думаешь только о себе!

Иди и принеси мне несколько иголок и нитки. Если что-нибудь останется и ты будешь хорошо себя вести, я погляжу, что можно будет сделать для тебя.

— Нету иголок, — прохныкал Томми, вернувшись после затянувшихся поисков.

— Ступай тогда в кубрик и принеси ящик с парусными иглами, — сказал капитан. — И смотри, чтоб никто не заметил, зачем ты пришел, и не забудь нитки.

— Чего же вы не сказали раньше, когда у меня одежда была цела? — простонал Томми. — Как же я теперь пойду в этом одеяле? Они же будут смеяться надо мной!

— Иди сейчас же! — прикрикнул капитан.

Он повернулся к юнге спиной и, тихонько насвистывая, принялся раскладывать на столе куски материи.

— Смейтесь, ребята, смейтесь! — весело произнес он, когда взрыв хохота возвестил о появлении Томми на палубе. — Подождите еще самую малость.

Но ждать пришлось ему самому, и притом целых двадцать минут, после чего Томми, наступив на край одеяла, скатился по трапу и упал у его ног. Поднявшись и ощутив голову, он торжественно провозгласил:

— На борту нет ни единой иглы. Я обыскал все.

— Что? — взревел капитан. Он поспешно спрятал обрезки ткани и позвал: — Эй, Тед! Тед!

— Здесь, сэр, — сказал Тед, сбегая в каюту.

— Мне очень нужна парусная игла, — произнес капитан. — У меня, видишь ли, порвалась юбка.

— Последнюю иглу я сломал вчера, — сказал Тед со злой ухмылкой.

— Тогда дай какую-нибудь другую, — сказал капитан, сдерживаясь.

— Вряд ли такие вещи имеются на борту, — сказал Тед, который в точности выполнил дальновидные указания помощника. — Да и ниток у нас нет. Я только вчера докладывал об этом помощнику.

Капитан вновь погрузился в бездну мрачного отчаяния. Отослав Теда взмахом руки, он присел на край рундука и угрюмо задумался.

— Очень жаль, что вы все делаете с такой поспешностью, — мстительно произнес Томми. — Насчет иголки вы могли бы побеспокоиться и раньше, до того, как испортили мою одежду. Теперь вот вдвоем будем ходить курам на смех.

Капитан «Сары Джейн» пропустил эту дерзость мимо ушей. В минуты глубочайших переживаний сознание человека, обыкновенно прикованное к вещам низменным, обращается к проблемам высокой морали. Потрясенный бедой и разочарованием, капитан сунул правую руку в карман (ему понадобилось

время, чтобы отыскать его), попросил обмотанного одеялом отрока присесть напротив и начал:

— Ты видишь, мальчик, к чему приводят карты и пьянство. Вместо того чтобы твердой рукой сжимать кормило своего корабля, соревнуясь в навигационном искусстве с капитанами других судов, я вынужден прятаться здесь, как какая-нибудь... э... какая-нибудь...

— ...актриса, — подсказал Томми.

Капитан оглядел его с головы до ног. Томми, не подозревая, какое он нанес оскорбление, честно смотрел ему в глаза.

— Что бы ты сделал, — продолжал капитан, — если бы в разгар веселья почувствовал, что принял уже слишком много, и, задержав кружку с пивом на полпути ко рту, вспомнил обо мне?

— Не знаю, — сказал Томми, зевнув.

— Что бы ты сделал? — повторил капитан, повысив голос.

— Наверное, засмеялся бы, — произнес Томми после недолгого раздумья.

Звук оплеухи огласил каюту.

— Гнусный, неблагодарный жабенок! — яростно сказал капитан. — Ты не заслуживаешь того, чтобы о тебе заботился такой хороший, добрый дядя!

— Пусть лучше заботится о ком угодно, только не обо мне! — рыдал негодующий племянник, осторожно ощупывая ухо. — И вообще вы больше смахиваете на тетю, а не на дядю!

Выпалив этот последний выстрел, он скрылся, только одеяло мелькнуло, а капитан, подавив мгновенно вспыхнувшее желание разрезать его на части и затем вышвырнуть за борт, снова уселся на рундук и закурил трубку.

Когда судно вышло из устья реки в море, он вновь появился на палубе и, не без труда игнорируя хихиканье матросов и колкости помощника, взял команду на себя. Единственным изменением, которое ему удалось внести в свой наряд, была зюйдвестка, сменившая капор, и в таком виде он выполнял свои обязанности, в то время как обиженный Томми кутался в одеяло и уклонялся от своих. Три дня в море были кошмаром для всех. Так алчен был взгляд капитана, что матросы то и дело хватались за свои штаны и, проходя мимо него, наглухо застегивались на все пуговицы. В грот-парусе он видел только куртки, из кливера выкраивал себе призрачные брюки и в конце концов принялся бессвязно лепетать что-то о голубой сарже и о шотландском сукне. Презрев гласность, он решил войти в гавань Бэтлси глухой ночью; однако намерению его не было суждено исполниться. Неподалеку от дома ветер упал, и Бэтлси, серый берег справа по носу, показался на горизонте, когда солнце было уже высоко.

Капитан держался, пока до гавани осталась миля, а затем руки его, сжимавшие штурвал, ослабели, и он озабоченно огляделся, нища взглядом помощника.

— Где Боб? — крикнул он.

— Помощник очень болен, сэр, — ответил Тед, покачивая головой.

— Болен? — Испуганный капитан даже задохнулся. — А ну, возьми штурвал на минуту...

Он передал управление и, подхватив подол, торопливо отправился вниз. Помощник полулежал на своей койке и уныло постанывал.

— Что случилось? — спросил капитан.

— Я умираю, — сказал помощник. — У меня внутри все узлом завязалось. Я не в силах выпрямиться.

Капитан кашлянул.

— Тогда вам лучше снять одежду и немного отлежаться, — сказал он благожелательно. — Давайте я помогу вам раздеться.

— Не стоит... беспокоиться, — сказал помощник, глубоко дыша.

— Да нет же, никакого беспокойства, — сказал капитан дрожащим голосом.

— Пусть моя одежда будет на мне, — тихо проговорил помощник. — Я всю жизнь лелеял мечту умереть в своей одежде. Может быть, это глупо, но ничего не поделаешь.

— Ваша мечта исполнится, будьте покойны! — заорал взбешенный капитан. — Вы негодяй! Вы притворяетесь больным, чтобы заставить меня ввести судно в порт!

— А почему бы и нет? — спросил помощник тоном наивного удивления. — Вводить судно в порт — это обязанность капитана. Ступайте, ступайте наверх. Наносы в устье все время меняются, знаете ли.

Капитан сдержался огромным усилием воли, вернулся на палубу и, взяв штурвал, обратился к команде. Он с чувством говорил о послушании, которым матросы обязаны своим начальникам, и об их моральном долге одалживать оным свои брюки, когда последние требуются таковым. Он перечислил ужасные наказания, следующие за мятеж на борту, и со всей очевидностью доказал, что предоставление капитану вводить судно в порт в юбках есть мятеж самого злостного свойства. Затем он отослал матросов в кубрик за одеждой. Они послушно скрылись внизу, но их так долго не было, что капитан понял: никакой надежды нет. А тем временем бухта уже раскрылась перед кораблем.

Когда «Сара Джейн» приблизилась к берегу на расстояние оклика, на набережной было всего два или три человека. Когда она прошла мимо фонаря в конце причала, там было уже

две или три дюжины, и толпа росла со скоростью в три человека на каждые пять ярдов, которые она проходила. Добросердечные, исполненные истинного гуманизма граждане, блюдя интересы своих ближних, подкупали мальчишек медяками, посылая их за своими друзьями, дабы те не пропустили такого грандиозного и дарового зрелища, и к тому времени, когда шхуна подошла к своему месту у причала, уже большая часть населения порта собралась там, лезла на плечи друг дружке и выкрикивала дурацкие и развеселые вопросы в адрес капитана.

Новость достигла ушей владельца шхуны, он поспешил в порт и явился туда как раз в тот момент, когда капитан, не обращая внимания на горячие увещевания зевак, готовился уйти к себе в каюту.

Мистер Пирсон был человеком быстрых решений, и он появился на пристани, кипя от гнева. Затем он увидел капитана, и его обуяло веселье. Трое крепких парней поддерживали его, чтобы он не упал, и чем мрачнее становился капитан, тем тяжелее становилась их работа. Наконец, когда он совершенно ослабел от истерического хохота, ему помогли подняться на палубу, где он последовал за капитаном в его каюту и ломающимся от эмоций голосом потребовал объяснений.

— Это самое восхитительное зрелище, какое я видел в жизни, Бросс,— сказал он, когда капитан закончил свой рассказ.— Я бы не пропустил его ни за что на свете. Я чувствовал себя неважно всю эту неделю, но теперь мне значительно лучше. Уйти с корабля? Не болтайте глупостей. После всего этого я ни за что не расстанусь с вами. Но если вы пожелаете взять себе нового помощника и набрать новую команду, это ваша воля. Ну, а если бы вы согласились сейчас пойти ко мне домой и показаться миссис Пирсон... она, видите ли, заболела... я бы дал вам пару фунтов. Надевайте ваш капор, и пойдем.

БЕДНЫЕ ДУШИ

День был прекрасный, а легкий ветер, дувший в старые залатанные паруса, нес шхуну со скоростью всего в три узла. Невдалеке снежно сияли два-три паруса, в воздухе за кормой парила чайка. И никого не было на палубе от кормы до камбуза и от камбуза до неряшливой груды такелажа на юте, кто мог бы подслушать беседу капитана и помощника, обсуждавших зловредный дух мятежа, который с недавнего времени обуял команду.

— Они явно делают это назло, вот что я вам скажу, — заявил капитан, маленький пожилой человечек с растрепанной бородой и светлыми голубыми глазками.

— Явно, — согласился помощник, личность от природы многословная.

— Вы бы нипочем не поверили, что мне приходилось есть, когда я был юнгой, — продолжал капитан. — Нипочем, даже если б я поклялся на Библии.

— Они лакомки, — сказал помощник.

— Лакомки! — с негодованием воскликнул капитан. — Да как это смеет голодный матрос быть лакомкой? Еды им дается достаточно, что им еще надо? Вот, глядите! Взгляните туда!

Задохнувшись от возмущения, он указал пальцем на Билла Смита, который поднялся на палубу, держа тарелку в вытянутой руке и демонстративно отвернув нос. Он притворился, что не замечает капитана, расхлябанной походкой приблизился к борту и соскреб пальцами в море еду с тарелки. За ним последовал Джордж Симпсон и тоже тем же возмутительным манером избавился от еды, которая, по мысли капитана, должна была насытить его организм.

— Я им отплачу за это! — пробормотал капитан.

— Вон идет еще, — сказал помощник.

Еще двое матросов вышли на палубу с застенчивыми ухмылками и тоже расправились со своим обедом. Затем наступила пауза — пауза, в течение которой и матросы, и капитан с помощником чего-то, видимо, ждали; это что-то как раз в этот самый момент старалось собраться с духом у подножия трапа в кубрике.

— Если и юнга туда же, — произнес капитан неестественным, сдавленным голосом, — я изрежу его на куски.

— Тогда готовьте нож, — сказал помощник.

Юнга появился на палубе, бледный как привидение, и жалобно поглядел на команду, ища поддержки. Их грозные взгляды напомнили ему, что он забыл нечто весьма существенное; он спохватился, вытянул перед собой тощие руки на полную длину и, сморщив нос, с превеликим трепетом направился к борту.

— Юнга! — рывкнул вдруг капитан.

— Есть, сэр! — поспешно откликнулся мальчишка.

— Поди сюда, — строго сказал капитан.

— Сперва выбрось обед, — произнесли четыре тихих угрожающих голоса.

Юнга поколебался, затем медленно подошел к капитану.

— Что ты собирался сделать с этим обедом? — мрачно осведомился тот.

— Съесть его, — робко ответил парнишка.

— А зачем тогда ты вынес его на палубу? — спросил капитан, нахмутив брови.

— Я так думал, что на палубе он будет вкуснее, сэр, — сказал юнга.

— «Вкуснее!» — яростно прорычал капитан. — Обед хорош и без того, не так ли?

— Да, сэр, — сказал юнга.

— Говори громче! — строго приказал капитан. — Он очень хорош?

— Он прекрасен! — пронзительным фальцетом прокричал юнга.

— Где еще тебе давали такое прекрасное мясо, как на этом судне? — произнес капитан, личным примером показывая, что значит говорить громко.

— Нигде! — проорал юнга, следуя примеру.

— Все, как положено? — проревел капитан.

— Лучше, чем положено! — провизжал трусишка.

— Садись и ешь, — скомандовал капитан.

Юнга сел на светлый люк каюты, достал складной нож и приступил к еде, старательно закатывая глаза и причмокивая, а капитан, опершись на борт спиной и локтями и скрестив ноги, благосклонно его разглядывал.

— Как я полагаю, — произнес он громко, налюбовавшись юнгой всласть, — как я полагаю, матросы выбросили свои обеда просто потому, что они не привыкли к такой хорошей пище.

— Да, сэр, — сказал юнга.

— Они так и говорили? — прогремел капитан.

Юнга заколебался и взглянул в сторону юта.

— Да, сэр, — проговорил он наконец и содрогнулся, когда команда отозвалась тихим зловещим рычанием.

Как он ни медлил, еда на тарелке вскоре кончилась, и по приказанию капитана он вернулся на ют. Проходя мимо матросов, он боязливо покосился на них.

— Ступай в кубрик, — сказал Билл. — Мы хотим поговорить с тобой.

— Не могу, — сказал юнга. — У меня много работы. У меня нет времени на разговоры.

Он оставался на палубе до вечера, а когда злость у команды несколько поулеглась, он тихонько спустился в кубрик и забрался на свою койку. Симпсон перегнулся и хотел схватить его, но Билл отпихнул его в сторону.

— Оставь его пока, — сказал он спокойно. — За него мы возьмемся завтра.

Некоторое время Томми лежал, мучаясь дурными предчувствиями, но затем усталость сморила его, он перевернулся на другой бок и крепко уснул. Тремя часами позже его разбудили голоса матросов; он выглянул и увидел, что команда ужинает при свете лампы и все молча слушают Билла.

— От всего этого меня так и подмывает объявить забастовку, — закончил Билл свирепо, попробовал масло, скривился и принялся грызть сухарь.

— И отсидеть за это шесть месяцев, — сказал старый Нед. — Так не пойдет, Билл.

— Что же, шесть или семь дней сидеть на сухарях и гнилой картошке? — яростно воскликнул тот. — Это же просто медленное самоубийство!

— Хорошо, если бы кто-нибудь из вас покончил самоубийством, — сказал Нед, оглядывая лица товарищей. — Это бы так напугало старика, что он бы сразу очухался.

— Что ж, ты у нас старше всех, — сказал Билл со значением.

— И ведь утопиться прямо ничего не стоит, — подхватил Симпсон. — Ну чего тебе еще ждать от жизни в твои годы, Нед?

— И ты бы оставил капитану письмо, что тебя, мол, довела до этого плохая пища, — добавил взволнованно кок.

— Говорите по делу, — коротко сказал старик.

— Слушайте, — сказал вдруг Билл, — я вам объясню, что надо делать. Пускай кто-нибудь из нас притворится, будто бы покончил самоубийством, и напишет письмо, как предложил здесь Слаши: что мы, дескать, решили лучше попрыгать за борт, нежели помереть от голода. Это напугает старика, и он, может, позволит нам начать новые припасы, не заставляя сперва доесть эту тухлятину.

— Как же это сделать? — спросил Симпсон, вытаращив глаза.

— Да просто пойти и спрятаться в носовом трюме, — сказал Билл. — Там ведь груза не много. Нынче же ночью, когда кто-нибудь из нас будет на вахте, мы откроем люк, и тот, кто захочет, пойдет и спрячется вниз, пока старик не очухается. Как вы полагаете, ребята?

— Мысль, конечно, неплохая, — медленно произнес Нед. — А кто пойдет?

— Томми, — просто сказал Билл.

— Вот уж о ком я не подумал! — с восхищением сказал Нед. — А ты, кок?

— Мне это в голову бы не пришло, — сказал кок.

— Понимаете, что хорошо, если это будет Томми? — сказал Билл. — Даже если старик об этом узнает, он всего-навсего задаст Томми трепку. Мы не признаемся, кто закрывал за ним люк. Он там устроится с какими хотите удобствами, ничего не будет делать и будет спать сколько пожелает. А мы, само собой, ничего об этом не знаем и не ведаем, мы просто хватились Томми и нашли на этом вот столе его письмо.

Тут кок наклонился, с довольным видом оглядывая своих коллег, и вдруг поджал губы и многозначительно мотнул головой в сторону одной из верхних коек: через ее край заглядывало вниз бледное и встревоженное лицо Томми.

— Хэлло! — сказал Билл. — Ты слышал, что мы здесь говорили?

— Я слышал, что вы будто бы собираетесь утопить старого Неда, — ответил Томми осторожно.

— Он слышал все, — сердито сказал кок. — Ты знаешь, Томми, куда попадают мальчишки, которые лгут?

— Лучше попасть туда, чем в носовой трюм, — сказал Томми и принялся тереть глаза костяшками пальцев. — Не пойду я. Все расскажу капитану.

— Ты ничего не расскажешь, — строго сказал Билл. — Это тебе наказание за все, что ты сегодня наврал про нас, и еще считай, что ты дешево отделался. А теперь вылезай из койки. Вылазь, пока я сам не вытащил тебя!

Парнишка с жалобным воплем нырнул под одеяло. Он отчаянно цеплялся за края койки и конвульсивно отбрыкивался, но его подняли вместе с постелью и усадили за стол.

— Перо, чернила и бумагу, Нед, — сказал Билл.

Старик представил требуемое. Билл стер с бумаги комок масла, приставший к ней на столе, и разложил ее перед жертвой.

— А я не умею писать, — объявил неожиданно Томми.

Матросы в смятении переглянулись.

— Врет, — сказал кок.

— Честно говорю, не умею, — сказал мальчишка с побудившейся надеждой в голосе. — Меня и в море-то послали потому, что я не умею ни читать, ни писать.

— Дерни его за ухо, Билл, — сказал Нед, которого оскорбила эта клевета на благороднейшую из профессий.

— Это ничего не значит, — сказал Билл спокойно. — Я сам за него напишу. Старик все равно не знает моей руки.

Он уселся за стол, расправил плечи, с плеском погрузил перо в чернила и, почесав в голове, задумчиво уставился на бумагу.

— Побольше ошибок, Билл, — предложил Нед.

— Ага, — сказал тот. — Как ты полагаешь, Нед, как бы мальчишка написал слово «самоубийство»?

Старик подумал.

— Са-ма-ву-бис-тво, — сказал он по слогам.

— А как же тогда будет без ошибок? — озадаченно спросил кок, переводя взгляд с одного на другого.

— Напиши лучше просто «убил себя», — сказал старик. — Наверное, мальчишка все равно не стал бы писать такое длинное слово.

Билл склонился над бумагой и медленно написал письмо, стремясь, видимо, всячески учитывать пожелания своих приятелей не писать слишком грамотно.

— Ну как? — спросил он, отодвигаясь от стола.

«Дарагой капитан я беру мое перо в руку последний раз сообщить вам что я немог дальше есть жудкие памои кторые вы называете еда я утопился это боле лекая смерть чем помирать сголоду я оставил мой складной нож билу и мои сиребряные часы ему тяжело помереть таким маладым томми браун».

— Прекрасно! — сказал Нед, когда Билл закончил чтение и вопросительно оглядел слушателей.

— Насчет ножа и часов я вставил, чтобы еще больше походило на правду, — сказал Билл со скромной гордостью. — Но если хочешь, я оставлю их тебе, Нед.

— Мне это не нужно, — великодушно сказал старик.

— Одевайся, — сказал Билл, позорачиваясь к всхлипывающему Томми.

— Не пойду я в этот трюм! — сказал Томми в отчаянии. — Так и знайте, ни за что не пойду!

— Кок, — спокойно сказал Билл, — давай сюда его барахло. Ну-ка, Томми!

— Говорю тебе, я не пойду! — сказал Томми.

— И еще вон тот линек, кок, — сказал Билл. — Он у тебя как раз под рукой. Ну-ка, Томми!

Самый молодой член экипажа перевел взгляд со своей одежды на линек и снова с линька на одежду.

— А как меня будут кормить? — мрачно спросил он, принимаясь одеваться.

— Сейчас ты возьмешь с собой бутылку воды и несколько сухарей, — ответил Билл, — а по ночам мы будем опускать тебе немного мяса, которое так тебе по вкусу. Прячь все это среди груза и, если услышишь, что люк открывают днем, сразу прячься сам.

— А как насчет свежего воздуха? — осведомился приговоренный.

— Свежий воздух будет тебе по ночам, когда поднят люк, — сказал Билл. — Не беспокойся, я обо всем позаботился.

Наконец приготовления были закончены. Дождавшись, пока Симпсон не сменил у штурвала помощника, они вышли на палубу, то волоча, то легонько подпихивая сопротивляющуюся жертву.

— Он у нас будто на пикник собрался, — сказал старый Нед: юнга мрачно стоял на палубе, держа в одной руке бутылку, а в другой — сухари, завернутые в старую газету. — Помоги-ка, Билл. Потихоньку...

Двое моряков бесшумно сняли с люка крышку, и, поскольку Томми наотрез отказался участвовать в этой процедуре, Нед первым спустился в трюм, чтобы принять его. Билл взял отчаянно брыкающегося юнга за шиворот и подал его вниз.

— У тебя? — спросил он.

— Да, — огозвался Нед придушенно и, выпустив мальчиш-

ку из рук, поспешно выкарабкался наружу, вытирая ладонью рот.

— Ты что, приложился к бутылке? — спросил Билл.

— Врезал каблуком, — коротко объяснил Нед. — Давайте крышку.

Установив крышку на место, Билл и его сообщники тихонько вернулись в кубрик и не без некоторого страха перед завтрашним днем улеглись спать. Томми тоже свернулся в углу трюма и заснул, подложив под голову бутылку, ибо проплавал в море достаточно долго и научился принимать вещи такими, как они есть.

Лишь к восьми часам следующего утра хозяин «Солнечного луча» узнал, что у него пропал юнга. Он задал коку вопрос, сидя за завтраком, и тот, будучи человеком весьма нервным, побледнел, уронил на стол кружку с кофе и пулей вылетел наверх.

Некоторое время капитан громогласно призывал его в самых изысканных выражениях, какие приняты в открытом море, а затем, весь кипя, поднялся за ним на палубу, где обнаружил смущенных матросов, сбившихся в тесную кучку.

— Билл, — встревоженно сказал капитан, — что с этим проклятым коком?

— Его постиг удар, — сказал Билл, покачивая головой. — И нас всех тоже.

— Сейчас вас постигнет еще один, — пообещал капитан с чувством. — Где юнга?

На секунду собственная дерзость повергла Билла в смятение, и он беспомощно оглянулся на товарищей. Те поспешно отвели глаза и уставились в море за бортом, и тогда капитан овладел паническим ужасом. Он молча взглянул на Билла, и Билл протянул ему грязный листок бумаги.

В полном ошеломлении капитан прочел письмо с начала до конца, а затем передал помощнику, который вышел на палубу за ним следом. Помощник прочел и вернул капитану.

— Это вам, — сказал он кратко.

— Не понимаю, — сказал капитан, качая головой. — Ведь только вчера он ел свой обед вот здесь, на палубе, и приговаривал, что нигде еще не получал такой хорошей еды. Вы ведь тоже слышали, Боб?

— Слышать-то я слышал, — сказал помощник.

— И вы все слышали его, — сказал капитан. — Ну что же, у меня есть пятеро свидетелей. Видимо, он просто сошел с ума. Никто не слышал, как он прыгнул за борт?

— Я слышал всплеск, сэр, во время моей вахты, — сказал Билл.

— Почему же ты не побежал и не посмотрел, что там такое? — спросил капитан.

— А я подумал, это кто-нибудь выбросил за борт свой ужин,— ответил Билл.

— А! — произнес капитан и закусил губу.— Вот как? Вы все время скулите из-за еды. Что с ней такое?

— Это отрава, сэр,— сказал Нед, качая головой.— Мясо ужасное.

— Оно вкусное и питательное,— сказал капитан.— Ладно, коли так. Можете брать мясо из другого ящика. Теперь довольны?

Матросы несколько оживились и принялись подталкивать друг друга локтями.

— Масло тоже плохое, сэр,— сказал Билл.

— Масло плохое? — сказал капитан, нахмурившись.— Как это так, кок?

— Да я его не порчу,— сказал кок беспомощно.

— Давай им масло из бочонка в моей каюте,— проворчал капитан.— Я твердо уверен, что ты плохо обращался с юнгой. Еда была прекрасная.

Он ушел, забрав письмо с собой; за завтраком он положил письмо на стол, прислонив к сахарнице, и потому ел без всякого аппетита.

В этот день матросы катались как сыр в масле, по выражению Неда: в дополнение к прочим роскошным блюдам им выдали еще и пудинг — угощение, которым они лакомились прежде только по воскресеньям. На Билла смотрели как на хитроумнейшего благодетеля рода человеческого; радость и веселье царили в кубрике, а ночью крышка люка была поднята, и пленника попотчевали отложенной для него порцией. Благодарности он, впрочем, не выразил, вместо этого он задал скучный и неуместный вопрос: что с ним будет, когда плавание кончится.

— Мы тайком переправим тебя на берег, не бойся,— сказал Билл.— Никто из нас не собирается оставаться на этом старом корыте. А тебя я возьму с собой на какой-нибудь другой корабль... Что ты сказал?

— Ничего,— солгал Томми.

Каковы же были гнев и растерянность команды, когда на следующий день капитан снова вернул их на прежнюю диету. Вновь выдали старую солонину, и прекратились роскошные поставки с кормы. Билл разделил судьбу всех вождей, дела которых пошли плохо, и из кумира своих сотоварищей превратился в мишень для их насмешек.

— Вот что вышло из твоей замечательной мысли,— презрительно проворчал за ужином старый Нед, с треском разгрыз сухарь и бросил обломки в свой котелок с чаем.

— Да, ты не так умен, как о себе думаешь, Билл! — заявил кок с видом первооткрывателя.

— И бедный мальчишка ни за что ни про что сидит взаперти в темном трюме,— сказал Симпсон с запоздалым сожалением.— И коку приходится работать за него.

— Я не собираюсь сдаваться,— мрачно сказал Билл.— Старик вчера здорово перепугался. Нужно устроить еще одно самоубийство, и все будет в порядке.

— Пусть Томми еще раз утопится,— легкомысленно предложил кок, и все расхохотались.

— Двоих за одно плавание старику хватит выше головы,— продолжал Билл, неблагосклонно взглянув на дерзкого кока.— Ну, кто у нас пойдет следующим?

— Мы и так уже доигрались,— сказал Симпсон, пожимая плечами.— Не зарывайся, Билл.

— А я и не зарываюсь,— возразил Билл.— Я не желаю сдаваться, вот и все. Тот, кто пойдет вниз, будет жить без забот, приятно и легко. Будет спать весь день, если захочет, и вообще ничего не делать. Вот у тебя, Нед, за последнее время очень усталый вид.

— О? — холодно произнес старик.

— Ну ладно, побыстрей разбирайтесь между собой,— сказал Билл беззаботным тоном.— По мне, все равно, кто из вас пойдет.

— Хо! А как насчет тебя самого? — удивился Симпсон.

— Меня? — возмущенно спросил Билл.— Да ведь мне нужно оставаться здесь и все устраивать!

— Ничего, мы здесь останемся и все сделаем за тебя,— насмешливо сказал Симпсон.

Нед и кок расхохотались, и Симпсон присоединился к ним. Тогда Билл поднялся, подошел к своей койке и извлек из-под тюфяка колоду засаленных карт.

— Младшая карта — самоубийство,— объявил он.— Я тоже тяну.

Он протянул колоду коку. Тот заколебался и поглядел на остальных двоих.

— Не валяй дурака, Билл,— сказал Симпсон.

— Что, трусите? — насмешливо ухмыльнулся Билл.

— Говорят тебе, это глупость,— сказал Симпсон.

— Ну и что же, мы все сидим в ней по уши,— сказал Билл.— Только вы все перепугались, вот в чем дело. Просто перетрусили. Юнгу туда отправили, а как дело дошло до самих, тут-то вы и сдрейфили.

— А, была не была,— сказал Симпсон бесшабашно.— Пусть будет так, раз Биллу хочется. Тяни, кок.

Кок повиновался с видимой неохотой и вытянул десятку. Нед после долгих пререканий вытянул семерку. Симпсон с королем в руке прислонился спиной к рундуку и небрежно разгладил бороду.

— Валяй, Билл,— сказал он.— Поглядим, что выйдет у тебя.

Билл взял колоду и перетасовал ее.

— Мне нужно взять не меньше семерки,— медленно проговорил он.

Он вручил колоду Неду, вытянул карту, и остальные трое залились громким хохотом.

— Тройка! — сказал Симпсон.— Браво, Билл! Письмо за тебя напишу я, иначе он узнает твой почерк. Что в нем написать?

— Пиши что хочешь,— резко ответил Билл, у которого дух занимался при мысли о трюме.

Горько и насмешливо улыбаясь, он отодвинулся от стола, а остальные трое весело уселись за сочинение, и, когда Симпсон спросил его, не желает ли он присовокупить к письму поцелуи, он ответил презрительным молчанием. Письмо передали ему на освидетельствование, и он сделал только одно замечание.

— Я-то думал, что ты пишешь грамотнее, Джордж,— заявил он высокомерно.

— Да я же писал за тебя,— сказал Джордж.

Тут надменность Билла куда-то пропала, и он снова стал самим собой.

— Если ты хочешь получить в глаз, Джордж,— сказал он с чувством,— то ты так и скажи, понял?

Настроение у него было настолько скверное, что половина удовольствия от вечера была испорчена, и церемония препровождения его в убежище не сопровождалась ни колкими словечками, ни жизнерадостным смехом, а больше всего походила на похороны. Последние штрихи добавил Томми, который совсем смелел от ужаса, узнав, кто теперь будет его сожителем.

— Для вас еще одно письмо,— сказал утром помощник, когда капитан, застегивая жилет, вышел из своей каюты.

— Что такое? — проговорил тот, бледнея.

— Оно у старика Неда,— продолжал помощник, ткнув большим пальцем в сторону трапа на палубу.— Не понимаю, что это на них нашло.

Капитан ринулся на палубу и механическим движением принял из рук Неда письмо. Прочитав его от начала до конца, он некоторое время постоял словно во сне, затем спустился, пошатываясь, в кубрик и обшарил все койки, не преминув заглянуть даже под стол, после чего вернулся на палубу и, склонив голову набок, остановился возле люка. Матросы затаили дыхание.

— Что все это значит? — проговорил он наконец, не поднимая глаз, и безвольно опустился на крышку люка.

— Плохая еда, сэр,— сказал Симпсон, ободренный видом

капитана.— Так нам и придется рассказывать, когда мы сойдем на берег.

— Об этом вы должны молчать! — сказал капитан, моментально вспылив.

— Таков наш долг, сэр,— возразил Нед с выражением.

— Послушайте меня,— сказал капитан и поглядел умоляюще на остатки своего экипажа.— Довольно с нас самоубийств. Старая солонина уже кончилась, и вы можете приняться за свежую, а когда мы придем в порт, я возьму на борт свежего масла и овощей. Только не надо никому говорить о том, что пища была плохая, или об этих письмах. В порту я просто скажу, что эти двое исчезли, пропали куда-то, и вас я прошу говорить то же самое.

— Это невозможно, сэр,— строго сказал Симпсон.

Капитан поднялся и подошел к борту.

— А как насчет суммы в пять фунтов? — спросил он тихо.

— Это несколько меняет дело,— осторожно сказал Нед.

Капитан взглянул на Симпсона. Лицо Симпсона выражало готовность принять самое добродетельное решение.

Капитан снова взглянул себе под ноги.

— Или по пяти фунтов каждому? — все так же тихо сказал он.— Больше я дать никак не могу.

— Пусть будет двадцать фунтов на всех — и по рукам. Как вы считаете, ребята? — осведомился Симпсон у приятелей.

Нед сказал, что это дело, и даже кок забыл о своих нервах и объявил, что раз уж капитан захотел их облагодетельствовать, они, само собой, будут на его стороне.

— А чьи это будут деньги? — спросил помощник, когда капитан спустился к завтраку и изложил ему, как было дело.— От меня, к примеру, они ничего не получают.

Светлый люк был открыт; капитан взглянул на него, затем нагнулся к помощнику и что-то прошептал ему на ухо.

— Что?! — проговорил помощник.

Он сделал попытку подавить хохот горячим кофе и беконом; в результате ему пришлось выскочить из-за стола и терпеливо вынести увесистые тумачи, которые капитан нанес ему по спине.

Имея в перспективе целое богатство, матросы взялись за дополнительную работу дружно и весело; кок работал за юнгу, а Нед и Симпсон поделили между собой долю Билла. Когда же наступила ночь, они снова подняли крышку люка и стали без любопытства ждать, что скажут их жертвы.

— Где мой обед? — прорычал алчно Билл, выбравшись на палубу.

— Обед? — удивленно сказал Нед.— Нет для тебя никакого обеда.

— Что? — произнес Билл с яростью.

— Понимаешь, капитан выдает теперь еду только на троих, — сказал кок.

— Почему же вы не оставили немного для нас?

— Нам самим ее не хватает, Билл, — сказал Нед. — Нам теперь приходится работать больше, и нам не хватает даже самим. У вас же есть сухари и вода, чего вам еще?

Билл выругался.

— Хватит с меня, — сказал он злобно. — Я выхожу, и пусть старик делает со мной что хочет. Мне наплевать.

— Не стоит, Билл, не надо, — сказал Нед успокаивающе. — Ведь все идет прекрасно. Ты был прав насчет старика, а мы были неправы. Он ужасно напугался, и он дает нам двадцать фунтов, чтобы мы ничего не разболтали, когда будем на берегу.

— Десять фунтов из них мои, — сказал Билл, несколько просветлев. — И оно того стоит. Поди-ка попробуй просидеть целый день там, внизу. У меня из-за этого уже черти в глазах мерещатся.

— Да-да, конечно, — согласился Нед, незаметно пнув кока, который уже раскрыл было рот, чтобы высказаться по поводу такого способа дележки.

— Старик проглотил все и не поморщился, — произнес кок. — Он совсем обалдел. Забрал все твои вещи и одежду и Тома тоже и собирается передать их твоим друзьям. В жизни не слышал такой забавной шутки!

— Дурак ты, — коротко сказал Билл. Он раскурил трубку, отошел и присел на корточки на носу, отчаянно борясь с дурным расположением духа.

В течение следующих четырех дней все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная, и потому ночную вахту несли матросы, и каждую ночь им приходилось переживать пренеприятные минуты, когда они поднимали крышку люка и из трюма, подобно чертику из коробочки, выскакивал Билл. Выслушивать его бесчисленные жалобы и обвинения в бессердечии было поистине тяжким испытанием, а убедить его вернуться на рассвете в свое логово можно было только столь же бесконечными воззваниями к его здравому смыслу и напоминаниями о его доле в деньгах.

Так без всяких происшествий они обогнули Лэндс-Энд. День выдался сырой и душный, но к ночи подул свежий ветер, и шхуна стала набирать хороший ход. С облегчением покинув спертую атмосферу трюма, узники сидели на юте и страдали от аппетита, который еще сильнее давал себя чувствовать на ночной прохладе.

Нед стоял на штурвале, остальные двое спустились в кубрик и улеглись спать, и тихие жалобы голодных слушать было некому.

— Глупая получилась игра, Томми,— сказал Билл, качая головой.

— Игра? — Томми презрительно фыркнул.— Ты мне лучше скажи, как мы выберемся отсюда, когда придем в Нортси.

— Предоставь это мне,— сказал Билл.— А старый Нед, кажется, здорово простыл,— добавил он.

— Он прямо задыхается от кашля,— сказал Томми, наклоняясь вперед.— Гляди, он машет нам рукой!

Они торопливо вскочили, но ударить им не удалось: капитан и помощник, поднявшись на палубу, уже направлялись в их сторону.

— Вы только посмотрите,— произнес капитан, поворачиваясь к помощнику и указывая рукой на преступников.— Вы и теперь не будете верить снам?

— Невероятно! — отозвался помощник, протирая глаза.

Билл стоял в мрачном молчании, ожидая дальнейших событий, а несчастный Томми прятался за его спиной.

— Мне приходилось слышать о чем-то подобном,— продолжал капитан с выражением,— но я никогда не думал, что мне доведется увидеть это своими глазами. Теперь уже вы не скажете, Боб, что не верите в привидения.

— Невероятно! — повторил помощник, покачав головой.— Совсем как живые.

— На борту привидения, Нед! — воскликнул капитан глухим голосом.— Вон они, души Билла и юнги, стоят против брашпиля!

Старый матрос от смущения промолчал; меньший из призраков засопел и вытер нос рукавом, а тот, что был крупнее, принялся тихонько насвистывать.

— Бедные души,— проговорил капитан, обсудив с помощником это невероятное происшествие.— Вы видите брашпиль сквозь юнгу, Боб?

— Я вижу их обоих насквозь,— насмешливо сказал помощник.

Они постояли на палубе еще немного, а затем пришли к заключению, что их присутствие здесь ничем не поможет и даже, кажется, смущает ночных гостей, и вернулись в свои каюты.

— Что это он затеял? — спросил Симпсон, осторожно выбираясь на палубу.

— Не знаю, будь он неладен! — свирепо сказал Билл.

— Может, он и впрямь решил, что вы привидения? — неуверенно предположил кок.

— Держи карман! — сказал Билл с презрением.— Он что-то такое затеял. Ладно, я иду к себе на койку. Ты тоже ступай, Томми. Завтра все выяснится, можешь быть уверен.

Утром кое-что действительно выяснилось, ибо после завтра-

ка как испуганно прибежал на ют и сообщил, что мяса и овощей выдано только на троих. Все погрузились в оцепенение.

— Пойду поговорю с ним,— произнес Билл, проглотив слюну.

Капитан и помощник над чем-то от души хохотали, но, когда матрос к ним приблизился, капитан замолчал, отступив на шаг, и принялся холодно его разглядывать.

— Доброе утро, сэр,— сказал Билл, шаркая ногой.— Нам хотелось бы знать, мне и Томми, будут ли теперь выдаваться на нас обеденные пайки, как раньше?

— Обеденные пайки? — сказал капитан с изумлением.— А зачем вам нужны обеды?

— Чтобы есть,— сказал Билл, глядя на него с упреком.

— Чтобы есть? — сказал капитан.— Да какой же смысл кормить привидения обедами? Вам же некуда их поместить.

Огромным усилием воли Билл заставил себя улыбнуться призрачной улыбкой и похлопал себя по животу.

— Это все один сплошной воздух,— сказал капитан и отвернулся.

— Тогда позвольте хоть получить наши вещи и одежду,— сказал Билл, скрипнув зубами.— Нед сказал, что вы их забрали.

— Ничего вы не получите,— сказал капитан.— Я доставлю их домой и передам вашим ближайшим родственникам. По закону ведь так следует, Боб?

— Так,— отозвался помощник.

— Они получают ваши вещи, а также ваше жалованье по ту ночь, когда вы совершили самоубийство,— сказал капитан.

— Не совершали мы никакого самоубийства,— сказал Билл.— Мы же на борту живые и здоровые.

— Ничего подобного,— возразил капитан.— В доказательство у меня в кармане ваши письма; ну, а если вы действительно живы и здоровы, мне придется по прибытии в порт немедленно отдать вас под стражу за дезертирство.

Он переглянулся с помощником, и Билл, постояв сначала на одной ноге, потом на другой, побрел прочь. Остаток утра он провел в кубрике, где показывал младшему привидению дурной пример безудержным сквернословием и угрожал своим собратьям самыми ужасными карами.

До обеда капитана никто не беспокоил, но едва он поел и раскурил трубку, как на палубе послышался топот, и через секунду в каюту вломился старый Нед, красный и рассерженный.

— Билл отнял у нас обед, сэр! — выпалил он, не переводя дыхания.

— Кто? — холодно спросил капитан.

— Билл, сэр. Билл Смит,— ответил Нед.

— Кто? — спросил капитан еще более холодно.

— Призрак Билла Смита! — рывкнул Нед. — Он отнял у нас обед, и теперь он сидит в кубрике с призраком Томми Брауна, и они жрут наш обед, не разжевывая, с ужасной скоростью!

— Гм, право, не знаю, чем я тут могу помочь, — лениво проговорил капитан. — Как же вы это ему разрешили?

— Вы же знаете Билла, сэр, — сказал Нед. — Я уже стар, кок ни на что не годится, а Симпсону теперь нужен кусок сырого мяса, чтобы приложить к глазам, иначе он неделю не будет видеть.

— Чепуха! — весело сказал капитан. — Вот еще новости — трое взрослых мужчин испугались одного привидения! Нет, я вмешиваться не стану. Но ты знаешь, что нужно сделать?

— Нет, сэр! — живо сказал Нед.

— Ступай наверх и почитай ему молитвенник, и он сразу исчезнет, как клуб дыма, — сказал капитан.

Секунду Нед безмолвно взирал на него, затем вышел на палубу, перегнулся через борт и принялся ругаться. Кок и Симпсон, тоже выйдя наверх, почтительно слушали и лишь время от времени оказывали ему поддержку, когда старикинская память подводила его.

Весь остаток плавания два преступника претерпевали разнообразие неудобств, связанные с утратой гражданства. Капитан нарочито не замечал их, а в двух или трех случаях вел себя прямо-таки вызывающе, пытаясь пройти сквозь Билла, когда тот появлялся на палубе. Много предположений было высказано в кубрике относительно судьбы привидений, когда они придут в порт, и, только когда на горизонте показался Нортси, капитан раскрыл свои карты. Он появился на палубе с их вещами, аккуратно упакованными в два узелка, и бросил эти узелки на крышку люка. Команда выжидательно смотрела на него.

— Нед! — резко сказал капитан.

— Сэр? — откликнулся старик.

— Как только мы ошвартуемся, — сказал капитан, — ступайте на берег и пригласите сюда управляющего и полисмена. Я пока не решил, кто из них нам понадобится.

— Слушаюсь, сэр, — пробормотал старик.

Капитан отвернулся и, переняв у помощника штурвал, повел судно в гавань. Он был так погружен в свое дело, что, по видимому, не замечал, как Билл и Томми украдкой пробирались поближе к своим узелкам и как нетерпеливо они ждали, пока шхуна приближалась к причалу. Затем капитан повернулся к помощнику и разразился громовым хохотом, когда преступники, подхватив узелки, перевалились через борт, спрыгнули на берег и пустились наутек. Помощник тоже расхохотался, и слабое, но совсем невеселое эхо донеслось с другого конца шхуны.

Облокотившись на борт шхуны, помощник капитана лениво разглядывал солдат в красных куртках, слонявшихся по Тауэрской набережной. Осторожные моряки вывешивали отличительные огни, а бесшабашные лихтеры пробирались вверх по реке, отталкиваясь от судов, стоявших на дороге. Зарываясь в пенистые «усы», с пытением прошмыгнул мимо буксир, и слабый испуганный вскрик донесся с приближающегося ялика, который подбросило на волне.

— Эй, на «Джессике»! — проревел голос на ялике, когда он подошел к шхуне.

Помощник, очнувшись от задумчивости, механически подхватил чалку; в одном из пассажиров ялика он узнал дочь своего капитана, и, прежде чем он успел оправиться от изумления, она была уже на палубе со своим багажом, а капитан расплачивался с перевозчиком.

— Это моя дочь Хетти, вы уже, кажется, знакомы, — сказал капитан. — В это плавание она пойдет с нами. Ступайте вниз, Джек, и постелите ей на свободной койке в чулане.

— Есть! — послушно отозвался помощник и повернулся, чтобы идти.

— Спасибо, я сама постелю! — сказала шокированная Хетти, поспешно заступая ему дорогу.

— Как хочешь, — сказал капитан и направился к трапу. — Зажгите-ка свет, Джек.

Помощник чиркнул спичку о подошву и зажег лампу.

— Кое-что отсюда придется убрать, — заметил капитан, открывая дверь. — Куда нам деть этот лук, Джек?

— Для лука место найдется, — уверенно сказал помощник, стаскивая с койки мешок и водружая его на стол.

— Я не желаю здесь спать, — решительно объявила гостья, заглядывая в каморку. — Фу, вон какой-то жук! Фу!

— Так он же дохлый, — успокоил ее помощник. — Живых жуков у нас на борту я сроду не видел.

— Я хочу домой, — сказала девушка. — Ты не смеешь принуждать меня, раз я не хочу!

— Надо было вести себя как следует, — наставительно сказал ее отец. — Как насчет простыней, Джек, и насчет подушек?

Помощник уселся на стол и задумался, ухватив себя за подбородок. Затем его взгляд упал на хорошенькое негодующее лицо пассажирки, и он моментально потерял нить размышлений.

— Придется ей обойтись моими вещами, — сказал капитан.

— А почему, — спросил помощник, снова взглянув на девушку, — почему бы не устроить ее прямо в вашей каюте?

— Моя каюта нужна мне самому,— холодно отвечивал капитан.

Помощник покраснел за него; девушка оставила их решать эту проблему, как им заблагорассудится, и они с грехом пополам устроили ей постель. Когда они поднялись на палубу, девушка, объект любопытства и почтительного восхищения всей команды, которая к этому времени возвратилась на борт, стояла у камбуза. Она оставалась на палубе до тех пор, пока шхуна не вышла на более широкие водные просторы, где задул свежий ветер, а затем, коротко пожелав отцу спокойной ночи, скрылась внизу.

— Как видно, она надумала идти с нами совсем неожиданно,— сказал помощник, когда она удалилась.

— Ничего она не надумала,— сказал капитан.— Это мы с женой надумали за нее. Весь замысел наш.

— Для укрепления здоровья? — предположил помощник.

— Здесь вот какое дело,— произнес капитан.— Видите ли, Джек, есть у меня один друг, крупный торговец провиантом; так вот, он задумал жениться на нашей девчонке. Мы с женой тоже хотим, чтобы он на ней женился, а она, конечно, хочет выйти за другого. Ну, мы с женой пораскинули умом и решили, что дома ей сейчас быть ни к чему. Видеть Таусона она все равно не желает и, чуть мать отвернется, удирает гулять с этим сопляком клерком...

— Красивый парень, наверное? — несколько встревоженно осведомился помощник.

— Ни капельки,— уверенно сказал капитан.— У него такой вид, словно он сроду не ел досыта. Вот мой друг Таусон совсем другое дело — фигура у него почти как у меня самого.

— Она выйдет за клерка,— объявил помощник.

— Спорим, что нет,— сказал капитан.— Я ведь человек страшный, Джек, и если чего-нибудь задумаю, то добьюсь непременно. Разве смог бы я ужиться в мире и согласии со своей женой, если бы не управлялся с нею по-своему?

Было уже темно, и помощник позволил себе ухмыльнуться: все управление капитана в семейном кругу состояло в рабском повиновении.

— У меня с собой его большой фортиграфический патрет,— продолжал коварный отец.— Таусон мне дал его с целью. Я поставлю его на полку в каюте. Хетти будет все время видеть его, а не этого клерка и помаленьку начнет думать по-нашему. Иначе я ее отсюда не выпущу.

— Хитро вы это придумали, капитан,— произнес помощник в притворном восхищении.

Капитан приставил палец к носу и заговорщицки подмигнул грот-мачте.

— Я кого угодно перехитрю, Джек,— тихо отозвался он.—

Кого угодно. Но вы тоже должны помочь мне. Надо, чтобы вы как можно больше разговаривали с нею...

— Есть, сэр,— сказал помощник, подмигивая грот-мачте в свою очередь.

— Все время расхваливали бы патрет на полке,— продолжал капитан.

— Непременно,— сказал помощник.

— Рассказывали бы ей, как все ваши знакомые девушки повыходили замуж за молодых людей в годах и с каждым днем влюблялись в них все больше и больше,— продолжал капитан.

— Достаточно,— сказал помощник.— Я понял, чего вы хотите. Насколько это будет зависеть от меня, за клерка она не выйдет.

Капитан крепко пожал ему руку.

— Если вы когда-нибудь сами будете отцом,— проговорил он с чувством,— пусть возле вас окажется человек, который встанет за вас горой, как вы встали за меня!

Увидев на следующее утро портрет Таусона на полке, помощник с облегчением вздохнул. Он пригладил усики и сразу почувствовал, что с каждым новым взглядом на эту образину будет казаться себе все красивее.

После завтрака капитан, простоявший у штурвала всю ночь, отправился к себе в каюту. Помощник вышел на палубу, принял вахту и стал с большим интересом следить за действиями пассажирки, которая заглянула на камбуз и учинила коку разнос за его способ мытья посуды. Потом она подошла и присела на светлый люк каюты.

— Вы любите море? — вежливо осведомился помощник.

— А что мне остается делать? — проговорила она, уныло покачав головой.

— Ваш отец кое-что рассказал мне об этом,— осторожно сказал помощник.

— Коку и юнге он заодно не рассказал? — спросила мисс Олсен, вспыхнув.— Что он вам говорил?

— Ну, говорил о человеке по имени Таусон,— сказал помощник, оглядывая паруса,— и о... еще об одном человеке.

— Я морочила голову одному, чтобы отделаться от другого,— сказала девушка.— Вовсе он мне не нужен. Я не понимаю девушек, которым нравятся мужчины. Громадные неуклюжие уроды!

— Значит, вы его не любите? — спросил помощник.

— Разумеется, нет! — Девушка вскинула голову.

— И все же вас отправили в море, чтобы разлучить с ним,— сказал помощник раздумчиво.— Ну что ж, вам остается только...

В этот критический момент смелость покинула его.

— Продолжайте,— сказала девушка.

— Я ведь вот что подумал,— сказал помощник, кашлянув.— Они отправили вас в море, чтобы разлучить с этим парнем... ну, а если вы влюбитесь в кого-нибудь здесь, на корабле, вас немедленно отправят домой.

— Правильно! — живо воскликнула девушка.— Я притворюсь, что влюбилась в этого красивого матроса, которого зовут Гарри! Вот будет здорово!

— Я бы не стал этого делать,— сказал помощник сурово.

— Почему? — удивилась девушка.

— Это нарушение дисциплины,— очень строго произнес помощник.— Никуда не годится. Его место на носу, в кубрике.

— А, понятно,— сказала мисс Олсен презрительно.

— Да нет, вы меня не так поняли,— сказал помощник, заливаясь краской.— Нужно только делать вид. Я хотел только помочь вам...

— Ну да, разумеется,— сказала спокойно девушка.— Ладно, а как мы должны будем вести себя?

Помощник сделался совсем багровым.

— Не очень-то я разбираюсь в таких вещах,— проговорил он наконец.— Нужно будет бросать друг на друга взгляды и все такое прочее...

— Что ж, я не возражаю,— сказала девушка.

— Мы будем действовать постепенно,— сказал помощник.— Я думаю, помаленьку мы привыкнем, и дальше нам будет легче...

— Все что угодно, лишь бы вернуться домой,— сказала девушка, поднялась и медленно пошла прочь.

Помощник взялся за роль влюбленного, не теряя ни минуты, и больше уже не спускал глаз с предмета своих чувств, так что едва не налетел на какой-то шлюп. Как он и предполагал, дальше ему стало легче, и в течение дня у него появились и расцвели пышным цветом новые симптомы влюбленности, как-то: потеря аппетита и пристрастие к ярким расцветкам в одежде. Он пять раз умывался между завтраком и чаем и едва не довел капитана до точки кипения, пытаясь удалить с пальцев смолу сливочным маслом из судовых запасов.

К десяти часам вечера помощник впал в глубочайшую меланхолию. Девушка до сих пор не удосужилась бросить на него ни единого взгляда, и, стоя у штурвала, он искренне сочувствовал несчастному Таусону. Его горестные размышления были прерваны появлением на палубе легкой фигурки; секунду поколебавшись, девушка подошла и заняла прежнее место на светлом люке.

— Тихо и спокойно на палубе,— сказал он, несколько обеспокоенный ее молчанием.— И звезды нынче какие яркие и красивые.

— Не смейте разговаривать со мной! — резко произнесла

мисс Олсен.— Почему это несчастное суденышко все время подпрыгивает? Вы это нарочно с ним проделываете!

— Я? — изумился помощник.

— Да, вы! Вот этим колесом...

— Уверю вас... — начал помощник.

— Я так и знала, что вы станете оправдываться,— сказала девушка.

— А вы бы попробовали сами встать за штурвал,— сказал помощник.— Вы бы тогда увидели...

К его несказанному удивлению, она подошла к нему и, мягко опершись о штурвал, взялась за рукоятки. Помощник принялся объяснять ей тайны компаса. Воодушевившись, он отважился положить ладони на те же рукоятки, а затем, совершенно уже осмелев, стал поддерживать ее за талию всякий раз, когда шхуна давала крен.

— Благодарю вас,— холодно произнесла вдруг мисс Олсен, отстраняясь.— Спокойной ночи.

С легким смешком она удалилась в каюту, и перед помощником возникла громадная темная фигура, мужественно выскребавшая из глаз остатки сна костяшками пальцев.

— Ясная ночь,— прогудел матрос, берясь за штурвал тяжелыми лапами.

— Ужасная,— невпопад отозвался помощник и, подавив вздох, спустился вниз и улегся.

Некоторое время он лежал с раскрытыми глазами, затем, удовлетворенный ходом дел за день, повернулся на бок и заснул. Проснувшись утром, он с радостью обнаружил, что за ночь волнение улеглось и что на шхуне не слышно никакого движения. Пассажирка была уже за столом с завтраком.

— Капитан на палубе, я полагаю? — начал помощник, намереваясь возобновить беседу с того места, на котором она была прервана прошлой ночью.— Надеюсь, теперь вы чувствуете себя лучше.

— Да, спасибо,— сказала она.

— Со временем из вас вышел бы хороший моряк,— сказал помощник.

— Ну уж нет,— сказала мисс Олсен, которая решила, что сейчас самое время загасить искорки нежности, отчетливо сияющие в глазах помощника.— Я не стала бы моряком, даже если бы была мужчиной.

— Почему? — спросил помощник.

— Не знаю,— задумчиво произнесла девушка.— Но почти все моряки — такой ничтожный малорослый народец...

— Ничтожный? — ошеломленно повторил помощник.

— Я бы уж скорее стала солдатом,— продолжала она.— Мне нравятся солдаты — они такие мужественные. Хотелось бы мне, чтобы здесь сейчас был хоть один солдат.

— Это зачем же? — спросил помощник, надувшись, словно обиженный школьник.

— Если бы сейчас здесь был такой человек, — задумчиво сказала мисс Олсен, — я бы подговорила его намазать горчицей нос старику Таусону.

— Что сделать? — спросил пораженный помощник.

— Намазать горчицей нос Таусону, — повторила мисс Олсен, переводя взгляд с судка с горчицей на портрет.

Только секунду колебался влюбленный по уши помощник, а затем потянулся к судку, выхватил из горчицницы ложку и мстительно ткнул ее в классические черты торговца провиантом. Поведение подстрекательницы не принесло ему облегчения: вместо того чтобы вознаградить его за проявленную храбрость, она только захихикала с самым глупым видом, прижав к губам платок.

— Отец! — вдруг сказала она: наверху застучали каблук. — Ну, сейчас вам достанется!

Она вскочила из-за стола, посторонилась, чтобы пропустить отца, и выбежала на палубу. Капитан грузно опустился на рундук, взял чайник и налил себе чашку чая, после чего отлил чаю в блюдце. Подняв блюдце к губам, он вдруг тупо уставился на портрет и снова поставил блюдце на стол.

— Кто... что... кто, черт подери, это сделал? — осведомился он внезапно охрипшим голосом.

— Я, — сказал помощник.

— Вы? — проревел капитан. — Вы? Зачем?

— Не знаю... — смущенно сказал помощник. — Что-то на меня вроде бы накатило, и я вдруг почувствовал, что мне надо это сделать.

— Но для чего? Зачем это? — спросил капитан.

Помощник только покачал головой.

— Что это за глупая выходка? — заорал капитан.

— Не знаю я, — упрямо сказал помощник. — Ну сделал и сделал, и нечего об этом больше разговаривать.

Онемев от бешенства, капитан глядел на него.

— Вот вам мой совет, Джек, — проговорил он наконец. — Я давно уже замечаю, что с вами что-то неладно. Так вот, когда мы придем в порт, пойдите и покажите вашу голову доктору.

Помощник промышал что-то нечленораздельное и отправился утешаться на палубу, но там выяснилось, что мисс Олсен вовсе и не собирается благодарить его, и он отошел от нее, тихонько посвистывая. И тут появился капитан, вытирая ладонью рот.

— Вот что, Джек, — сказал он грозно. — Я там поставил на полку другой патрет! Он у меня последний, и потому зарубите себе на носу: если он хотя бы запахнет горчицей, я устрою вам

такой разнос, что вы сами себя за шумом слышать не будете.

Он с достоинством удалился, и тогда его дочь, которая слышала каждое слово, бочком приблизилась к помощнику и очень мило ему улыбнулась.

— Он поставил там другой портрет,— тихонько сказала она.

— Горчица в судке,— холодно отозвался помощник.

Мисс Олсен поглядела вслед отцу, а затем, к удивлению помощника, без единого слова отправилась вниз. Помощник сгорал от любопытства, но он был слишком горд, чтобы вступить в переговоры, и потому удовлетворился тем, что подошел к трапу.

— Послушайте! — слышался снизу тихий шепот.

Помощник равнодушно озирает морские просторы.

— Джек! — позвала девушка еще более тихим шепотом.

Его бросило в жар, и он немедленно спустился в каюту. И он увидел, что мисс Олсен со сверкающими глазами, с горчицей в одной руке и с ложкой — в другой, исполняет воинственный танец перед новым портретом.

— Не надо! — встревоженно произнес помощник.

— Почему? — спросила она, приближаясь к портрету вплотную.

— Он подумает, что это сделал я,— сказал помощник.

— Для этого я вас и позвала,— сказала она.— Уж не думаете ли вы, что мне захотелось вас видеть?

— Положите ложку! — сказал помощник, которому несколько не улыбалось еще одно интервью с капитаном.

— А вот не положу! — сказала мисс Олсен.

Помощник подскочил к ней, но она увернулась и обежала вокруг стола. Он перегнулся через стол, схватил ее за руку и притянул к себе; ее раскрасневшееся смеющееся лицо оказалось совсем близко, он забыл обо всем и поцеловал ее.

— О! — негодуя сказала Хетти.

— Теперь вы отдадите мне ложку? — произнес помощник, обмирая от собственной храбрости.

— Берите,— сказала она.

Помощник снова потянулся к ней, и тут она злорадно шлепнула его ложкой — раз, другой и еще раз. Затем она бросила ложку и горчицу на стол, а помощник, испуганный шагами за дверью, повернул к вошедшему капитану пылающую физиономию, украшенную тремя мазками горчицы. Ошарашенный капитан не сразу обрел дар речи.

— Великий боже! — произнес он.— Теперь он мажет горчицей уже собственную личность! Сроду я не слышал о таких штуках. Не подходи к нему близко, Хетти. Джек!

— Что? — отозвался помощник, вытирая саднящую физиономию носовым платком.

— Вас раньше никогда так не разбирало?
— Конечно, нет,— сказал уязвленный помощник.
— Он еще отвечает мне «конечно, нет»! — взревел капитан.— Да на вас впору смирительную рубашу надеть! Нет, я пойду и поговорю с Биллом, как быть. У него родной дядя в сумасшедшем доме. И ты тоже ступай отсюда, красавица!

Он отправился искать Билла и не заметил, что дочь его не последовала за ним, а только дошла до дверей и там остановилась, с состраданием разглядывая свою жертву.

— Вы уж простите меня,— сказала она.— Очень жжет?

— Немного,— сказал помощник.— Вы не беспокойтесь обо мне.

— Это вам за то, что вы плохо себя вели,— рассудительно сказала мисс Олсен.

— Так ведь это того стоило,— произнес помощник, просяив.

— Боюсь, как бы не распухло.— Она подошла к нему и, склонив голову, с видом знатока обозрела поврежденные места.— Три отметины,— сказала она.

— А пострадал я только за один,— напомнил помощник.

— За какой такой один? — спросила Хетти.

— А вот за такой,— сказал помощник.

И он снова поцеловал ее — прямо на виду у капитана, который в этот момент осторожно заглянул в светлый люк, чтобы удостовериться, что предполагаемый сумасшедший все еще находится в каюте.

— Ты можешь идти, Билл,— сказал капитан эксперту охрипшим голосом.— Ты слышишь? Убирайся отсюда и смотри, никому об этом ни слова!

Эксперт с ворчанием удалился. Отец, снова заглянув в светлый люк и убедившись, что дочь его удобно прильнула к плечу помощника, тоже удалился на цыпочках, мрачно раздумывая над новым осложнением. Кто-нибудь другой на его месте немедленно помчался бы вниз и разогнал парочку, но капитан «Джессики» был уверен, что достигнет своих целей при помощи дипломатии. И столь осторожно он повел себя, что влюбленные даже не заподозрили, что их тайна ему известна: помощник покорно выслушал лекцию о симптомах начальной стадии идиотизма, которую капитан счел уместным прочесть.

До обеда следующего дня капитан не выдал себя ничем. Пожалуй, он был даже более обходителен, чем обычно, хотя гнев так и закипал в нем, когда он замечал, какими взглядами обмениваются через стол молодые люди.

— Да, кстати, Джек,— произнес он вдруг,— а как у тебя с Китти Лони?

— С кем? — спросил помощник.— Кто это Китти Лони?

Теперь очередь вытаращивать глаза настала для капитана, и он проделал это превосходно.

— Китти Лони! — сказал он, делая удивленное лицо. — Это девушка, на которой ты собираешься жениться...

Под взглядом, брошенным через стол, помощник густо покраснел.

— О чем это вы? — проговорил он.

— Не знаю, что это с вами такое, — сказал капитан с достоинством. — Я говорю про Китти Лони, про эту девушку в красной шляпке с белыми перьями, которую вы представили мне, как свою будущую супругу.

Помощник откинулся назад и уставился на него в испуганном изумлении, приоткрыв рот.

— Да неужто вы бросили ее? — продолжал безжалостно капитан. — Вы же брали у меня аванс на обручальное кольцо. Вы же купили ей кольцо?

— Ничего я не купил, — сказал помощник. — Я... Да нет же... Ну разумеется... Господи, о чем вы говорите?

Капитан поднялся из-за стола и поглядел на несчастного с жалостью, но строго.

— Прошу прощения, Джек, — чопорно произнес он, — если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах. Разумеется, меня это не должно касаться. Но может быть, вы скажете, что вы никогда и не слыхивали о Китти Лони?

— Конечно, не слыхивал! — проговорил ошеломленный помощник. — В жизни не слыхивал!

Капитан сурово оглядел его и покинул каюту, не сказав более ни слова.

«Если она в свою мамашу, — сказал он себе, хихикая, — то дело сделано».

После его ухода в каюте воцарилась неловкая тишина.

— Не знаю, что вы теперь думаете обо мне, — произнес наконец помощник, — но я понятия не имею, о чем здесь говорил ваш отец.

— Я ничего не думаю, — сказала холодно Хетти. — Передайте, пожалуйста, картофель.

Помощник поспешно передал картофель.

— По-моему, это он так шутил, — сказал он.

— И соль, — сказала она. — Благодарю вас.

— Не верьте этому, — жалобно сказал помощник.

— Не валяйте дурака, — холодно сказала девушка. — Какое это имеет значение — верю я или нет?

— Очень большое значение, — мрачно сказал помощник. — Для меня это вопрос жизни и смерти.

— Чепуха, — сказала Хетти. — Она не узнает о ваших шалостях. Я не скажу ей.

— Уверю вас, — сказал помощник в отчаянии, — никакой Китти Лони никогда не было! Как вы можете подумать об этом?

— Я могу думать, что вы очень низкий человек,— сказала девушка с презрением.— И вообще я вас прошу больше не разговаривать со мной.

— Ну, как угодно,— сказал помощник, потеряв терпение.

Он оттолкнул свою тарелку и вышел, а девушка, злая и возмущенная, переложила картофель обратно в кастрюльку.

Последние дни плавания она обращалась с помощником очень вежливо и доброжелательно, и сквозь эту стену доброжелательства пробиться ему не удавалось. К удивлению Хетти, отец не возражал, когда она попросила разрешения вернуться домой поездом. Вечером накануне ее отъезда они засели в каюте за вист, и помощник капитана в самых безразличных тонах говорил о трудностях предстоящего пути по железной дороге.

— Да, поездка будет долгая,— сказала Хетти, которая все-таки была слишком влюблена, чтобы отказаться от мелких уловок.— Какие у нас козыри?

— Ничего тебе не сделается,— заметил ее отец.— Пики.

Он выигрывал третий раз и, радуясь удаче, решил окончательно dokonать удрученного помощника.

— А ведь от карт вам придется отказаться, когда вы поженились, Джек,— сказал он.

— Совершенно верно,— отважно сказал помощник.— Китти терпеть не может карт.

— А мне было сказано, что Китти никогда не было,— заметила девушка, взглянув на него с презрением.

— Да, она терпеть не может карт,— продолжал помощник.— Помните, капитан, как мы здорово покутили с нею в тот вечер в «Хрустальном дворце»?

— Да, это было здорово,— подтвердил капитан.

— Помните карусель? — сказал помощник.

— Помню! — весело отозвался капитан.— В жизни эту карусель не забуду.

— Вы и эта ее подружка, Бесси Уотсон,— продолжал помощник как бы в экстазе.— Господи, как вы тогда веселились!

Капитан вдруг напрягся в своем кресле.

— О чем это вы говорите? — резко осведомился оп.

— Бесси Уотсон,— сказал помощник тоном невинного удивления.— Та девушка в синем платье, которая была с нами.

— Да вы пьяны! — Капитан заскрипел зубами: он увидел ловушку, в которую угодил.

— Вы разве не помните, как вы с нею потерялись и как мы с Китти искали вас по всему парку? — спросил помощник во власти сладостных воспоминаний.

Он поймал взгляд Хетти и с трепетом различил в нем нежное и уважительное восхищение.

— А ты, конечно, все маме расскажешь! — вскричал взбешенный капитан. — Тебе-то известно, какая она у нас. Только знай, что все это дурацкая выдумка.

— Прошу прощения, капитан, — произнес помощник, — если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах. Разумеется, меня это не должно касаться. Но, может быть, вы скажете, что вы никогда и не слыхивали о Бесси Уотсон?

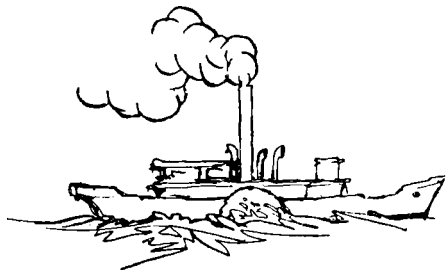
— О ней услышит мама, — сказала Хетти, между тем как ее родитель только беспомощно хватал ртом воздух.

— Может быть, вы скажете нам, кто эта самая Бесси Уотсон и где она живет? — спросил наконец капитан.

— Она живет там же, где Китти Лони, — ответил помощник просто.

Капитан поднялся, и вид у него был столь грозный, что Хетти инстинктивно бросилась под защиту к Джеку. И тот прямо на глазах у капитана обнял ее за талию, и так они стояли перед капитаном некоторое время в полном молчании. Затем Хетти подняла глаза.

— А домой я поеду морем, — сказала она.





Билеккин Д.

ДАВАТЬ И БРАТЬ

Андрею Исидоровичу Думкину, начиная с темного, в полосу костюма и кончая округлой манерой жестов, была свойственна та доля старомодности, которая так хорошо сочетается с рядами тронутых временем книг и профессией библиографа. Обычная при таком характере добросовестность и стала причиной случившегося с ним странного события.

Он допоздна засиделся в своем закутке, который также трудно было сыскать в лабиринте хранилища, как единичную клеточку памяти где-нибудь в недрах кибернетической машины. Было тихо и безлюдно, когда он оторвался от работы, лишь в отдаленном углу хранилища сверчком потрескивала газосветная трубка. Перед тем как погасить настольную лампу, Андрей Исидорович устало потянулся, снял нарукавники и подумал, что сегодня он, пожалуй, предпочтет поездку по радиальной линии метро.

Как правило, он избирал кольцевую линию, поездка по которой не требовала пересадки. Но ведь иногда, даже в ущерб удобству, хочется разнообразия!

Уже погасив лампу, Андрей Исидорович проверил, в кармане ли авторучка, поколебался, взять ли с собой записи, по-

смотрел на телефон, словно тот мог напомнить о каком-нибудь забытом разговоре,— все лишь затем, чтобы очистить совесть и подготовиться к переходу в состояние уже не библиографа, а пассажира и мечтающего об отдыхе домоседа.

Не сейчас, а позднее Андрею Исидоровичу явилась мысль, что люди, вроде него, совершают в жизни путь, подобный замкнутому движению планет. Существуют тысячи других миров, он может наблюдать их издали, узнавать о них в книгах, но они ему недоступны, так как отделены социальным пространством и тяготением привычек. Пожалуй, исключительный случай мог бы его ввести, допустим, в артистический мир, но он бы чувствовал себя в нем неуютно, ибо там действуют свои страсти и заботы, свои притяжения и отталкивания, и даже суточный ритм там иной, чем тот, к которому он привык. А ведь артистический мир не более своеобразен и открыт, чем мир овцевода или дипломата.

Но в тот вечер он ни о чем таком не думал. Он уже повернулся к выходу, когда заметил скользящий по полкам фиолетовый луч.

Верней, не луч, а фиолетовый круг сантиметра три в диаметре, перед которым не вспыхивала в воздухе ни одна пылинка.

В первые несколько секунд Андрей Исидорович вообще ничего не ощутил — ни замешательства, ни страха, ни даже любопытства. Просто стоял и смотрел, как движется фиолетовый круг. Тот медленно скользил по корешкам, нигде не расплываясь в овал, не расширяясь и не суживаясь, как если бы его источник вела чья-то механически точная рука. Едва Андрей Исидорович представил эту руку у себя за спиной, как спокойствию его пришел конец. Он отпрянул, едва не опрокинув стул. Сзади, однако, ничего не было — никакого видимого источника света. Андрей Исидорович был один в пустом книгохранилище, в своем закутке, по которому разгуливал призрачный луч.

Другой человек, по логике вещей, мог бы тут издать вопль или решить, что у него началась галлюцинация. Андрей Исидорович, однако, был слишком сдержан и скромен, чтобы устроить переполох, а о галлюцинации он вовсе не подумал, может быть, потому, что неизвестно откуда взявшийся луч вел себя, с одной стороны, чересчур обыкновенно, а с другой стороны, обладал дикими, даже для галлюцинации, свойствами. Андрей Исидорович сделал то, что было свойственно его характеру.

Стряхнув с себя оцепенение, с бьющимся сердцем, но без паники он обошел стеллаж и убедился, что луч не просвечивает полки насквозь. По обе стороны от себя Андрей Исидорович видел уходящие вдаль ряды книг, редко из-за позднего

времени горящие лампы, тот порядок, который был привычен и незбылем, как навечно заведенные часы. Немного успокоенный, Андрей Исидорович вернулся в закуток.

Луч шарил уже по верхним полкам. Ни тогда, ни позже Андрей Исидорович не мог себе объяснить, что же побудило его взять стремянку. Мышление в подобных случаях работает сбивчиво, человека, если он не остолбенел от страха, тянет довериться самым простым ощущениям. Страха Андрей Исидорович не испытывал, но в голове, как после залпом проглоченной водки, была оглушающая пустота. Он влез по стремянке и пальцем тронул фиолетовый круг.

Ни тепла, ни холода палец не ощутил. Круг в свою очередь не дрогнул, не исчез, но как ни в чем не бывало продолжал свой путь. И, что самое поразительное, палец не отбросил тени.

Недоумевая, Андрей Исидорович изменил позу, потянулся, чтобы глянуть по оси луча.

Точно раскаленное железо вонзилось в мозг! Вспышка, потом мрак и боль — и падение вниз, глухой удар об пол.

Извиваясь, как полурасдавленный червяк, он долго лежал на полу, ничего не соображая от ужаса и боли. Потом из беспросветности отчаяния донесся тихий голос:

— Я лучше смогу вам помочь, если вы отнимите ладонь.

Чьи-то заботливые пальцы отвели его руку, и в колеблющейся от слез полутьме уцелевший глаз Андрея Исидоровича смутно различил наклоненное над ним лицо и тускло мерцающий на переносице диск.

Внезапно боль исчезла.

— Теперь шире откройте глаз...

Диск приблизился, укрупняясь, пахнуло холодом, и пространство вдруг обрело глубину и резкость.

— Я вижу! — воскликнул Андрей Исидорович.

Он смотрел, видел, и счастье переполняло его. Но длилось это недолго. Тревожно вспыхнула мысль: здесь сейчас не может быть незнакомого человека!

Андрей Исидорович вскочил, ошеломленно глядя на своего спасителя. Диск куда-то исчез с его переносицы; вблизи находилось самое обыкновенное лицо самого обыкновенного человека — слишком обыкновенное для тех поступков, которые тот совершил! Сознание работало поразительно четко. Взгляд Андрея Исидоровича невольно метнулся к полкам...

— Искать не стоит, — сказал незнакомец. — Я думаю, с нашей стороны будет уместно извиниться за все случившееся и дать объяснения, на которые вы приобрели право.

— Вы... вы оттуда? — холодея от догадки, прошептал Андрей Исидорович.

— Да, — услышал он как сквозь вату.

Самое удивительное, что после всего этого Андрей Исидорович, встав, машинальным жестом указал пришельцу на стул и сам сел напротив. Его состояние походило на мозговую лихорадку: то он был спокоен, тупо спокоен, то возбужден почти до обморока.

— Мы виноваты и просим нас простить.— Странность слов пришельца усиливал его человеческий облик и заурядный серенький костюм.— То, что мы делали здесь, не должно быть зримо, но мелкие технические неполадки, к сожалению, случаются и у нас.

— Что, что вы здесь делали? — вырвалось у Андрея Исидоровича. В нем звенело одно только желание: выглядеть — во что бы то ни стало выглядеть достойно!

— Мы читали ваши книги.

— Ясно.— Голос Андрея Исидоровича упал.— Изучение примитивной цивилизации, космическая этнография, так сказать...

Его обрадовало, что в словах, которые он выдал, был сарказм.

— Не только и даже не столько,— последовал быстрый ответ.— Вы, сами того не подозревая, участвуете в той коллективной работе, которую разум ведет по Вселенной.

— Не понимаю,— подавленно сказал Андрей Исидорович.— Не понимаю...

— Сейчас поймете. Город, где вы живете, многолюден. Но могут ли его жители вести все необходимые им исследования? Развивать культуру с той же быстротой, что и весь мир? Нет. Обрубите интеллектуальные связи города с остальным человечеством, изолируйте эти миллионы людей, и прогресс замрет. Причина проста. Возможности разума, любого, сколь угодно могучего — индивидуального или коллективного, — конечны. А мир, который он пытается познать и переустроить, бесконечен. Вот противоречие, с которым неизбежно сталкивается любая цивилизация, как только ее интеллектуальные ресурсы исчерпаны. Выход здесь подобен тому, которому вы следуете в масштабах Земли: распределение усилий, обмен информацией, кооперация, только уже космическая. С недавних пор вы тоже к ней причастны, ибо добываете знания, которых мы не имеем.

— Но этого не может быть! — почти в отчаянии воскликнул Андрей Исидорович.— Мы же по сравнению с вами... с вашей...

— Глубокое заблуждение. Кем создан у вас, на Земле, бумеранг? От кого вы получили байдарку, полярную одежду, самый быстрый способ плавания? От тех, кого не слишком умные люди считают дикарями. А разве ваше искусство оставило далеко позади искусство технически неразвитой Древней

Греции? Так что не следует считать какую-то цивилизацию примитивной, это большая ошибка.

— Подождите... — Андрей Исидорович ощутил вдохновение. — Вы сказали: обмен. Но обмен предполагает... Да, да, понимаю! Прямой контакт невозможен, пока человечество... Значит, вы даете нам... незаметно?

Пришелец улыбнулся тепло и сочувственно. «Подумайте», — словно говорил его взгляд. И Андрею Исидоровичу показалось, что он уловил истину. Ответа не будет. «Нет» пришельца опозорило бы все космическое содружество, «да» утвердило бы над людьми тайную опеку. А открытый контакт бесполезен и даже вреден, пока на Земле есть гориллы с атомными дубинками, требующие коленопреклонения правители и прочая мразь, которая испоганит любой дар пришельцев.

— Не трудно догадаться, о чем вы думаете. (Андрей Исидорович даже вздрогнул.) На деле все гораздо сложнее, потому что ответ, которого вы ждете, лежит не в плоскости «да» и «нет», поверьте. Как бы пояснить? Ваши ученые двести лет задавали природе вопрос: свет — волна или частица? Верным оказалось третье: волночастица. В нашем случае, смею вас заверить, вопрос находится еще дальше от истины... Вот все, что я могу сказать. А теперь войдите в наше положение и не обессудьте. Моральный долг обязывал нас устранить несчастье, которое возникло по нашей вине, и дать разъяснения, чье отсутствие могло бы повредить вашу психику. Это сделано. Вы не в обиде на нас за случившееся?

— Что вы! Что вы! Я...

— Тогда разрешите попрощаться и пожелать вам, как принято на Земле, всего хорошего.

— Постойте! — ринулся не ожидавший такого поворота Андрей Исидорович.

Но на стуле уже никого не было — пришелец исчез. Андрея Исидоровича обступали до мелочей знакомые предметы, тишина хранилища, китайские стены книг, мир, в котором ничего не изменилось. А чувствовал он себя, как после грозного вала, который его, задыхающегося, волочил и швырял, а потом мягко опустил на безмятежный берег.

Этот вал, однако, все еще жил в нем! Лихорадочно соображая, что же ему теперь делать, Андрей Исидорович подобрал с пола портфель, зачем-то пошарил по карманам, и тут его остановила недоуменная мысль. Пришельцы ведь не хотели, чтобы человечество узнало о них, и все же открылись человеку!

Андрей Исидорович задумался, посмотрел на пустой стул и не без горечи усмехнулся. Они знали, что делали. Открыться ему их побудили обстоятельства. Но открыться человеку

еще не значит открыться человечеству, потому что есть вещи, которым никто не поверит.

Возможно, их луч, уже незримый, снова шарит по книгохранилищу, впитывая достижения человеческой мысли и что-то оставляя взамен. Или не оставляя? Хорошо, если бы так. Ибо человечество от этого ничего не теряет. Наоборот! Совсем наоборот!

— Вы слышите? — тихо спросил Андрей Исидорович. — Я разрешаю вам брать. Берите как можно больше... Берите все... Ибо потом, когда мы наконец встретимся, ваши знания уже будут не благодеянием старшего, а... Ну, да вы сами понимаете...

Сказав это, Андрей Исидорович тут же устыдился своего пафоса.

Кто он такой, чтобы решать? Молекула человеческого моря. Сейчас он оденется, спустится, сядет в метро, поедет, мельком встречаясь взглядом с сотнями людей, о которых он ничего не знает и которые ничего не знают о нем. Дома жена, как обычно, спросит:

— Ну, что у тебя новенького?

И он, как обычно, ответит:

— Да так, ничего особенного...



■

Болдырев В.

В ТИСКАХ. Приключенческая повесть 5

■

Домбровский К.

СЕРЫЕ МУРАВЬИ. Фантастическая повесть 91

■

Коротеев Н.

ПО СЛЕДУ УПИЕ. Приключенческая повесть 208

■

Безуглов А.

ВАС БУДУТ НАЗЫВАТЬ «ДИКС». Приключенческая повесть 296

■

Абрамов С.

ВОЛЧОК ДЛЯ ГУЛЛИВЕРА. Фантастическая повесть . . . 393

■

Зак А., Кузнецов И.

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Приключенческая повесть . . 439

■

Жемайтис С.

КЛИПЕР «ОРИОН». Главы из романа 537

■

Симонов Е.

СЕЗОН НЕСОСТОЯВШИХСЯ ВОСХОЖДЕНИИ 611

■

Валентинов А.

ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Фантастический рассказ 659

■

Скорин И.

РАССКАЗ ОТСТАВНОГО «СЫЩИКА» 672

■

Шитик В.

СКАЧОК В НИЧТО. Фантастический рассказ. *Авторизованный перевод с белорусского Мескина Б. Е.* 686

■

Джекобс У.

СТАРЫЕ КАПИТАНЫ. Рассказы. *Перевод с английского Бережкова А. Н.* 700

■

Биленкин Д.

ДАВАТЬ И БРАТЬ. Фантастический рассказ 758

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Для среднего и старшего возраста
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

■

Ответственный редактор

Н. М. Беркова

Художественный редактор

Л. Д. Бирюков

Технические редакторы

Л. В. Гришина и Т. Ю. Юрханова

Корректоры

Е. Б. Кайрукштис и В. Е. Калинина

Сдано в набор 7/VIII 1972 г. Подписано к печати 27/III 1973 г. Формат 60×90^{1/16}. Бум. типографская № 2. Печ. л. 48. (Уч.-изд. л. 49,8). Тираж 100 000 экз. А09100. Заказ № 4584. Цена 1 р. 65 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва. Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

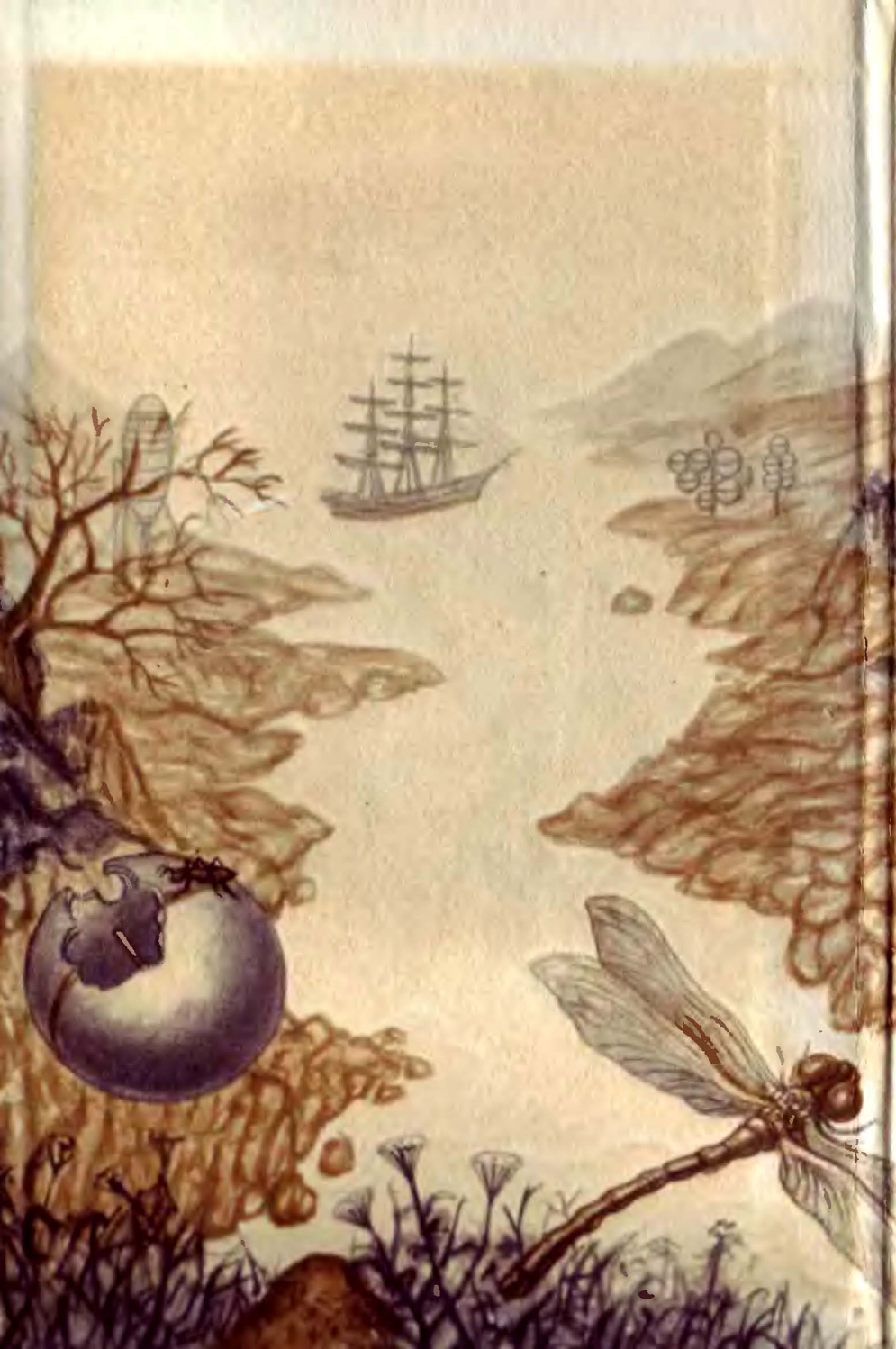
Мир приключений. Рис. В. Сальникова. М.,
М 63 «Дет. лит.», 1973.

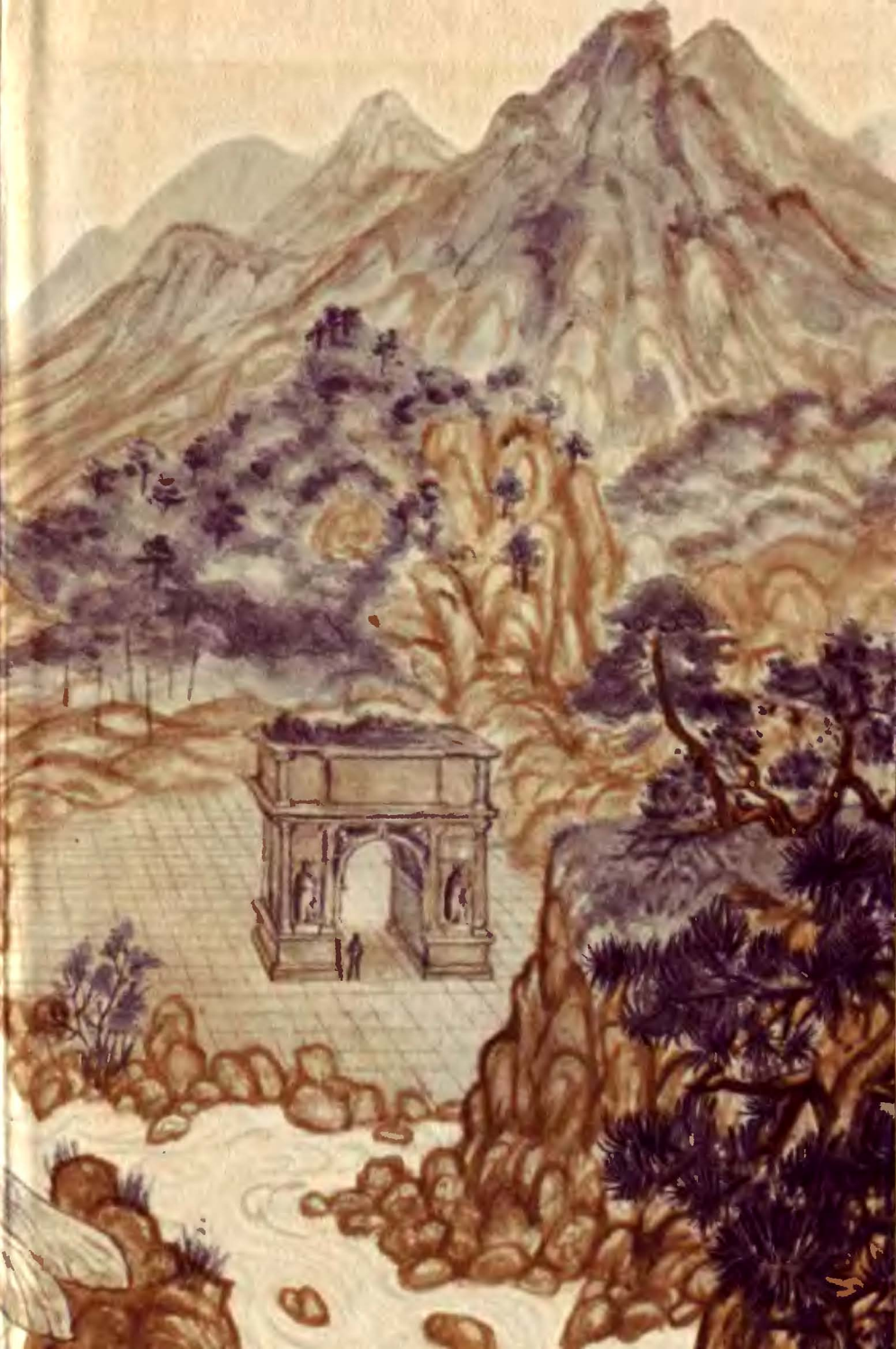
765 с. с ил.

Сборник приключенческих и научно-фантастических повестей и рассказов советских и зарубежных писателей. В сборник входят произведения, посвященные наиболее актуальным проблемам науки и техники, а также затрагивающие морально-этические проблемы.

Сборник рекомендуется для школьников среднего и старшего возраста.

С61





1р. 65к.